мастера современной прозы

ГЕРМАН КАНТ

МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ

Редакционная коллегия:

Анджапаридзе Г. А., Андреев Л. Г., Барабаш Ю. Я., Засурский Я. Н., Затонский Д. В., Мамонтов С. П., Марков Д. Ф., Палиевский П. В., Челышев Е. П.

84 Нем.
К-19.

ГЕРМАН КАНТ

АКТОВЫЙ ЗАЛ

РОМАН

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

РОМАН

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО

016380

УРГАНЧ ДАВЛАТ
УНИВЕРСИТЕТИ
КУТУБХОНАСИ

ББК 84.4Ге
К19

Предисловие *В. Девекина*
Примечания *И. Каринцевой*

Кант Г.
К19 Актовый зал. Выходные данные: Романы./ Пер. с нем.; Предисл. В. Девекина.— М.: Радуга, 1987.— 720 с.— (Мастера современной прозы).

Герман Кант — один из крупнейших писателей ГДР, многократный лауреат Национальной премии ГДР.

Своими романами «Актовый зал» (1965) и «Выходные данные» (1972) Г. Кант способствовал мировой известности литературы ГДР.

Роман «Актовый зал» посвящен молодым строителям социализма, учащимся рабоче-крестьянского факультета. В центре романа — художественный анализ сложного противоречивого процесса становления новой, социалистической личности.

«Выходные данные» — роман о простом рабочем, прошедшем сложный жизненный путь и ставшем министром. Темой романа является диалектика возможного и необходимого, широких перспектив, данных человеку социалистическим обществом.

К $\frac{4703000000-209}{030(01)-87}$ 10—87

ББК 84.4Ге
И(ГДР)

© Предисловие и примечания издательство «Радуга», 1987

В ДОПОЛНЕНИЕ К АНКЕТЕ

Герман Кант (р. 1926) принадлежит к тому поколению немецких социалистических писателей, которое в конце пятидесятых годов пришло на смену ветеранам революционных боев и антифашистской борьбы. Он и его сверстники еще успели изведать ужасы и трагизм второй мировой войны на самом последнем ее этапе. Фронт, плен, возвращение — вот начало пути большинства из них, юнцов без всякого жизненного опыта, одурманенных лживой пропагандой. Плен стал для некоторых первой школой жизни, Герман Кант был в их числе.

Именно в лагере для военнопленных девятнадцатилетний электромонтер впервые встретился с советской литературой. Знакомство началось с пьесы Константина Симонова «Русский вопрос», которую поставил самодеятельный кружок. И хотя, по свидетельству самого Канта, продолжительного влияния она на него не оказывала, интерес к новой литературе пробудила. Зато роман «Буря» И. Эренбурга, подаренный ему сразу же после возвращения на родину, бувально ошеломил будущего писателя и открыл ему глаза на многое. К впечатлениям от «Бури», в которой, в частности, сказано немало горьких слов в адрес немцев тех лет, вскоре добавились новые от таких произведений, как «Разгром» А. Фадеева, «Педагогическая поэма» А. Макаренко и «Хождение по мукам» А. Толстого. Эти книги, эти авторы положили начало большой и искренней дружбе, которая вот уже сорок лет связывает Г. Канта со многими советскими писателями, с нашей многонациональной литературой.

Однако вернемся к «мрачной поре ноября» 1944 года, когда восемнадцатилетний паренек облачился в форму фашистского вермахта. Его отец и старший брат уже погибли на войне, и теперь «счастье умереть за фюрера» выпало на долю Германа. Он решительно отказался от такой перспективы и после недолгой солдатской службы сдался в плен в двадцатых числах января (неподалеку от польского города Конина, чуть южнее которого по иронии судьбы тогда же воевал и автор этих строк). Почти четыре года плена сформировали нового человека, который буквально рвался к знаниям. В 1949 году Кант поступил в Грайфсвальде на рабоче-крестьянский факультет, а затем изучал германистику в Берлинском университете им. Гумбольдта. Некоторое время он работал там ассистентом, затем редактором в прессе и удачно выступал как публицист. Наконец, после того как он получил за свои острые полемические статьи премию имени Генриха Гейне, Кант прочно ступил на писательскую стезю.

Его первой книгой был сборник рассказов, вышедший под названием «Кусочек южного моря» (1962); с него и начинается Кант — художник, которого наш читатель успел хорошо узнать и полюбить. Некоторые рассказы сборника носят автобиографический характер (например, «Среди суровой зимы», «Маленькая шахматная история», «На шоссе»); другие можно определить как рассказы-притчи («Труба», «Пароль»). Завершает книгу «Золото» — рассказ-шутка, в котором уже в полную силу проявился специфический и своеобразный юмор Канта. Герои этих небольших историй — люди простые, казалось бы ничем не примечательные, однако автор малыми средствами сумел показать нам их в необычном ракурсе, раскрывающем их привлекательный духовный мир. Таким образом, дебют Канта в большой литературе прошел удачно, хотя и не так шумно, как успех его последующих произведений.

Интересно, что и в ранних рассказах намечаются некоторые существенные черты зрелого творчества Канта. Например, вкус к деталям, причем иногда как будто к деталям второстепенным, но именно они могут «заиграть» в полную силу и стимулировать активность мышления читателя. В таком стимулировании писатель уже тогда видел свою важную задачу. И на этом этапе творчества, и позже Кант далек от того, чтобы давать рецепты или навязывать читателю готовые концепции, он лишь стремится помочь ему выработать самостоятельный взгляд на происходящее. Также в зародыше проявляется в некоторых рассказах еще одна любопытная черта: писатель даже в произведениях малой формы использует вставные эпизоды и забавные анекдоты. Этот

прием широко применен в трилогии («Актовый зал», «Выходные данные», «Остановка в пути»), особенно в последних книгах.

Книгу «Кусочек южного моря» издали в 1968 году и в ФРГ, а в ГДР Канту за рассказ «Посещение больного» в 1963 году присудили литературную премию Объединения свободных немецких профсоюзов. Лучшие истории в сборнике отличал высокий художественный уровень, позволявший ждать от автора дальнейших удач. Ожидание не затянулось: осенью 1963 года еженедельник «Форум» начал печатать первый роман писателя — «Актовый зал», вышедший отдельным изданием в 1965 году. Успех его сразу же перешагнул границы ГДР (русский перевод — в 1968 году); так в современную немецкую литературу пришел высокоталантливый художник с индивидуальной манерой письма, острым, требовательным взглядом и прочно сложившимся мировоззрением.

«Актовый зал» — книга, насыщенная эпизодами и густо населенная образами. Автор во многом сродни своим молодым героям, особенно Роберту Исвалю: и писатель, и его герои едины в отношении к первой немецкой республике рабочих и крестьян. Перед Кантом и его поколением уже не стояла проблема выбора, теперь художественного осмысления требовала сама проблематика социалистического общества. Достижения ГДР стали настолько значительными, что возникла потребность оглянуться на прошлое, подвести итоги и продумать новые задачи. «Актовый зал» — страстный гимн обретенному трудовому отечеству, жизни вне которого и вне интересов которого писатель себе не мыслит.

Стремясь полнее раскрыть успехи своих героев, писатель диалектически связывает прошлое и настоящее, ведь только такое осмысление позволит правильно уяснить себе перспективы будущего. Не случайно эпиграфом к роману взяты слова Генриха Гейне: «День нынешний есть результат вчерашнего. Следует изучить, что желал вчерашний, если хочешь понять, чего желает нынешний».

Обращаясь ко дню вчерашнему, Г. Кант показывает, как связано для героев «Актового зала» настоящее с прошлым. Он не подтасовывает прошлое, не обеляет и не очерняет его. Правда истории помогает писателю установить преемственность событий, закономерность открывшейся перспективы; его молодые рабфаковцы, сознательные граждане ГДР, твердо верят в будущее социалистической родины. В изображении исторически значительных достижений страны писатель прибегает к такому художественному приему, как смещение временных пластов в повествовании. Этот прием достиг особенно сильного эффекта в сценическом варианте «Актового зала», который впервые пока-

зал драматический театр города Галле в 1968 году, а затем, также с большим успехом, поставили на других сценах, в том числе и в Берлине.

В обстоятельной беседе с П. Топером автор «Актового зала» признался, что сердится, когда о его книге говорят: это роман о рабоче-крестьянском факультете. «Вероятно, так можно определить тему романа,— сказал Кант,— но ни в коем случае не его идею. Идея же книги в том, что стать человеком никогда не поздно. Даже тогда, когда кажется, что все возможности уже испробованы, надо уметь начать снова». Удалось ли стать человеком Роберту Исвалю, солдату вермахта в далеком и слушателю рабоче-крестьянского факультета в недавнем прошлом? Удалось ли это его однокашникам, которые вместе с ним вступили в новую жизнь? Роман Канта дает на эти вопросы четкий ответ — но, разумеется, не прямолинейно и не сразу. Писатель обстоятельно анализирует процесс формирования личности, ее духовного роста в новых условиях. Его не смущает, что становление качественно иной интеллигенции, вышедшей из народа, проходит порой не гладко, а иногда — с серьезными конфликтами; он ничего не упрощает и не приукрашивает. Читатель как бы перелистывает альбом с фотографиями: лесоруб, плотник, швея; листаем дальше (как они быстро выросли) — и перед нами: врач-окулист, старший научный сотрудник-китаист, начальник главного управления министерства лесного хозяйства, а в этом полковнике госбезопасности и не узнаешь бывшего народного полицейского. Их много в книге — таких же разительных метаморфоз, а тот, «кто и теперь еще не понимает, что такое РКФ, кто и теперь еще не уразумел, что такое ГДР, того нам просто жаль, тому помочь трудно, того Роберт Исваль и видеть не желает...».

Вероятно, многих заинтересует судьба Квази Рика. Действительно, тут особый случай. Как мог один из лучших рабфаковцев, человек недюжинных способностей, прирожденный организатор, о котором автор говорит, что и Рик был словно создан для молодой республики, и ГДР была словно создана для него,— как мог такой человек обмануть надежды и доверие своих товарищей и сбежать в Гамбург? Однако опрометчиво поступят те, кто без раздумья осудит беглеца, на чью долю, возможно, выпало ответственное и самое опасное задание. Видимо, некоторых удивит, что Г. Кант не поспешил расставить точки над «i», а призвал к самостоятельному размышлению, что, как известно, не просто. С одной стороны, факт налицо: Квази Рик стал хозяином пивной в ФРГ и партбилет свой демонстративно вернул в райком... А с другой — как понять его недомолвки в разговоре с

Якобом Фильтером или конец его беседы с Исвалем в Гамбурге? Есть свои «за» и свои «против», а Г. Кант любит заставить читателя поразмышлять и не судить скоропалительно о людях на основании лишь двух-трех обстоятельств. Когда создавалась книга, такая установка была необычной. Г. Кант и сейчас, двадцать лет спустя, отказывается комментировать «дело Рика», даже в профессиональных кругах, подчеркивая, что хотел дать своим читателям повод задуматься. О Квази Рике критики написали немало; прибавлю еще один факт, который стоит бросить на весы: когда Кант приступил к учебе в Грайфсвальде, у него обнаружили начавшийся туберкулез; шесть недель постельного режима при открытом окне — таково было распоряжение врача. Вставив этот эпизод в роман, писатель «положил» на свое место многострадального Рика.

«Актовый зал» вошел в литературу ГДР на довольно высокой критической ноте. В гражданском звучании романа проявилась четко осознанная партийная позиция автора и стремление внести ясность во многие актуальные проблемы и понятия. Писатель считает, что не следует путать догму с верностью принципам, перестраховку с деловой и трезвой осторожностью, недоверие с бдительностью. Вот один из конкретных уроков, который дает обитателям комнаты «Красный Октябрь» секретарь райкома партии товарищ Хайдук, объясняя разницу между недоверием к людям и бдительностью: «Недоверие отравляет атмосферу — бдительность очищает ее. Человек бдительный внимательно наблюдает, точно рассчитывает, а главное, всегда думает, думает о последствиях, к которым приведет тот или иной шаг. Бдительность ведет его вперед; иногда он делает шаг в сторону или даже назад, но в целом идет всегда вперед. Бдительность — сестра храбрости, недоверие — порождение трусости. Недоверие ведет огонь по призракам, это пустая трата боеприпасов. Оно преступно и наказуемо». Такая позиция выражает подлинные основы демократии.

«Актовый зал» — роман социальный; он акцентирует огромное историческое значение революционных преобразований в сфере народного просвещения. Отсюда пристальное внимание писателя и к формированию социалистической интеллигенции, и — в более широком масштабе — к росту сознания народных масс, почувствовавших себя хозяевами своей страны. Однако первенцу Г. Канта наряду с этим свойственно и новое эстетическое качество, которое стало характерным для ряда произведений шестидесятых годов (Э. Штритматтер, К. Вольф и др.).

Центральная позиция Роберта Исваля оправдана необходимостью осмыслять и комментировать живое разнообразие эпизодов;

такой герой придает определенную упорядоченность свободному чередованию временных плоскостей повествования и вносит гибкую монологическую интонацию, которая затем прочно закрепится в остальных частях трилогии. Готовя свою речь, Исваль проводит тщательную «проверку», действуя так, словно конечный итог ему еще не известен и нуждается в подтверждении; тем самым он имеет возможность показать читателю средства достижения результата и дать им нравственную оценку. Последняя очень важна и для героя и для автора, ведь им не безразлично, какой ценою достигнут тот или иной результат. В этом плане очень поучительно не только решительное осуждение перестраховщиков, начетчиков (Вельшов, Ангельхоф), но и честный скрупулезный самоанализ Роберта, своего поведения при обсуждении кандидатур для поездки в Китай.

Подобный прием самоанализа вслух, детального самоотчета становится в эти годы характерным для литературы ГДР. Последние типологические исследования с полным основанием говорят о появлении нового типа произведений — «роман-отчет»,— в которых доминирует доверительная, монологизирующая структура. Непосредственное действие ограничено в них коротким промежутком времени, иногда (например, «Выходные данные») всего одним днем, но в жизни персонажей этот день таит в себе опыт многих месяцев, а то и лет. Стоит отметить, что хронологически первым в ряду таких романов был «Актовый зал». Более того, Исваль дает возможность «отчитаться» и другим, а за некоторых (например, за Якоба Фильтера) сымпровизировал отчет сам; таким образом, в «Актовом зале» мы встречаемся с коллективным отчетом, что, в общем, соответствует его сути, ведь убеждает нас не столько судьба Роберта Исваля, сколько судьба всего курса.

«Актовый зал» — веселая книга. Она пронизана иронией, лукавым юмором, шутками и пародиями, в которых явственно ощущается связь с лучшими традициями гейневской прозы. Веселая, радостная, а местами задиристая тональность романа вытекает в первую очередь из его сущности. Не случайно бывший лесоруб, сидя в своем начальственном кабинете, предлагает Исвалю отметить в торжественной речи: «Это было лучшее время нашей жизни и самое веселое». Годы студенческие, годы молодые, первые многообещающие удачи на жизненном пути — это ли не источник брызжущего веселья? Однако юмор, ирония имеют в романе и другие функции. Они помогают Исвалю сохранить дистанцию в его формально так и не состоявшейся речи, помогают рассказывать о прошедшем тем людям, «для которых оно давно прошедшее», и позволяют избежать при этом

бесплодного старческого пафоса — «А вот в наше время...». Добродушно-насмешливая интонация, забавные комические ситуации прекрасно уживаются у Г. Канта с серьезными делами, с политически острыми проблемами. Позднее, в эссе «Отчетливый след» (1973), писатель признается, что тут его учителем был Фридрих Энгельс, чья книга «Анти-Дюринг» (он прочел ее, когда болел туберкулезом) открыла ему, в частности, широкие возможности язвительной полемики, пронизанной иронией и юмором, прекрасно сочетающимися даже с научной серьезностью.

Многое из того, что составляет сильную сторону «Актового зала» — теплый доверительный тон, тонкий юмор, пластичность и глубокая жизненность образов, вкус к конкретным деталям и т. п., — встретится читателю и в романе «Выходные данные» (1972). В этом — может быть, самом своеобразном — своем романе Г. Кант показывает нам всего лишь один рабочий день главного персонажа. Вполне обычный и даже не очень напряженный день. Однако ретроспективно автор в ярких подробностях раскрывает многотрудный жизненный путь, который еще и еще раз мысленно пробегает Давид Грот, стремясь принять правильное решение в ситуации весьма примечательной: ему, главному редактору иллюстрированного еженедельника «Нойе берлинер рундшау», предлагают пост министра. Что и говорить, предложение почетное, но радости оно у Грота не вызывает. Работу в еженедельнике он изучил как свои пять пальцев, отлично с ней справляется, а главное, очень любит ее; так с какой стати ему менять портфель редакционный на министерский? Но ведь кандидатуру его выдвинули уважаемые люди, они знают его биографию, его возможности. Они верят в него и взвесили все «за» и «против». Все ли?

Как и в первом романе, действие развивается в двух временных плоскостях и «день вчерашний» снова позволяет нам глубже постичь, чего желает «день нынешний». Давид Грот, как и многие его сограждане, родился в гинденбургской Германии, рос в фашистском рейхе, живет и трудится в Германской Демократической Республике. Сорок лет его жизни охватывают три эпохи в жизни страны, и биография героя книги полна примечательных, иногда неожиданных событий, которые позволяют уяснить содержание каждой из этих эпох. Скажем сразу, несмотря на трудное детство, Гроту в общем сопутствовала удача. И в работе. И в делах личных. Его «возвышение» от подмастерья оружейника и курьера редакции до главного редактора «Нойе берлинер рундшау» не кажется в наши дни чудом и связано с природой социалистического общества. Вот, собственно говоря, несложный сюжет романа «Выходные данные»; остается лишь

узнать, к какому решению пришел в конце концов его герой.

Многослойный и многоплановый роман опирается в своей структуре на обилие эпизодов; их здесь гораздо больше, чем в «Актовом зале», и некоторые из них носят характер вставных новелл. Все они связаны с главным персонажем, неизменно находящимся в фокусе повествования. Отдельные эпизоды написаны в духе современного плутовского романа и в чем-то напоминают манновского Феликса Круля, иные кажутся очень частными и маловероятными, но все же не настолько, чтобы можно было с уверенностью воскликнуть: «Стоп! Так не бывает». Складывается впечатление, что в таких случаях Г. Кант умышленно провоцирует читателя, чтобы заставить его задуматься не только над необходимым и закономерным, но и над случайным, которое не так уж редко встречается в жизни и которое, как утверждают философы, является формой проявления необходимости.

Фабула излагается с пропусками в манере эпической прозы, с характерным для нее отсутствием тесной взаимосвязи отдельных частей и типичным столкновением поворотов-противопоставлений, позволяющим взглянуть за рамки изображаемых событий и лучше уловить закономерность процесса развития. В «Выходных данных» рефлексия преобладает над действием, ассоциативно-логические связи охотно используются писателем и часто оттесняют событийные элементы на задний план. Но несмотря на видимость некоторой хаотичности монтажа — все особенности формы подчинены выражению основной идеи произведения. Она значительно отличается от идеи «Актового зала». Идею своего нового романа Г. Кант определил так: «Если ты нашел свое место, на котором надеешься принести *максимум* (подчеркнуто мною.— *В.Д.*) пользы себе и обществу, тогда держись за него, не меняй его на другое, с виду более высокое. Самое высокое место, которого может достичь человек,— это то, на котором он сможет больше всего сделать».

Итак, каждый гражданин на своем месте — вот идеал социалистического общества. И сохраняет он свою злободневность, разумеется, не только для министерских кресел. Просто писатель решил заострить ситуацию и выбрал случай редкий, не повседневный, использовал, как говорится, «увеличительное стекло». А вопрос о том, как найти свое место в строительстве развитого социализма, останется актуальным, даже если понизить должность до директора, до заведующего или до старшего мастера. Автор «Выходных данных» хорошо понимает, что звено, связующее нынешний день с будущим, зовется трудом,— «это кратчайшая линия между двумя названными пунктами». Именно труд,

освобожденный и сознательный, формирует высокогуманные нравственные принципы людей. В его сфере стремится утвердить себя трудящийся человек нового типа, каким, безусловно, является Давид Грот. Для него труд связан с мыслью, с творчеством, с мечтой («Мечтать — значит пребывать в движении»).

Такой труд, естественно, должен быть тесно увязан с учебой. Пафос развития личности, пафос учебы пронизывает все творчество Германа Канта. И даже его мягкий изобретательный юмор нацелен на те же объекты: «Мы стонем под диктаторским режимом науки. Здесь пытают настольной лампой. Деспотия заталкивает нас в бездну премудрости. А прессом ей служит пресса. Недаром говорят, где ученье, там мученье... Мы заперты в клетки собственного мозга. Нам приказано мыслить. У нас оккупированная кибернетикой зона. У нас единый лагерь тишины: тише, папа учится, еще тише, мама тоже!»

И роман «Выходные данные» открывается эпиграфом из Гейне, в нем вновь подчеркивается тесная связь времен. Писателю важно показать, откуда и как пришли в немецкое социалистическое государство такие персонажи романа, как Грот и Франциска, Иоганна Мюнцер и Возница-Майер, Карола Крель и Федор Габельбах. Свою разветвленную, кажется, нескончаемую вереницу эпизодов он подчиняет этой задаче. На фоне планомерно движущегося, рассчитанного по часам рабочего дня редактора одна за другой вспыхивают колоритные картины прошедшего и давно прошедшего времени, словно выхваченные лучом из глубин истории. Некоторые критики упрекали автора в неупорядоченности подачи эпизодов — упрек несправедлив: эпизоды у Г. Канта передают в перебивах, в непоследовательности мысли, вспышки памяти его героя, загруженного текущими делами. Каждое из воспоминаний высвечивает какую-то новую черту в характере персонажей романа, иногда весьма неожиданную и даже отрицательную. Таковы, например, «афера» Давида Грота с обручальными кольцами или постыдное участие Федора Габельбаха в варварском сожжении нацистами книг прогрессивных авторов в мае 1933 года.

Особого внимания заслуживают вставные новеллы; они не связаны столь тесно с центральными образами «Выходных данных» и почти самостоятельны. Во многих новеллах (трогательное, отлично написанное повествование о военнопленном Гергарде Рикове, полный искрящегося юмора рассказ о памятнике Мольтке, глубоко драматичная история акушерки Туро и др.) затрагиваются проблемы, имеющие самостоятельное значение. Как непросто решался для ГДР вопрос об отношении к классическому наследию, читатели увидят на примере ожесточенной

полемики о Мольтке между советским военным комендантом Спиридоновым и бургомистром, коммунистом Фрицем Андерманом. О сложной человеческой судьбе, чуть было не погубленной воинствующим ханжеством, бесхитростно рассказала акушерка Туро, и ее взволнованные слова прозвучали в романе как крик исстрадавшейся души.

Да, конечно, подобные новеллы делают структуру произведения более рыхлой, но, во-первых, при всей своей частичной самостоятельности они органично входят в повествование, и, во-вторых, в них интегрированы многие сложные слагаемые того времени. А если придирчивый критик и скажет, что они ничего не имеют общего с работой иллюстрированного журнала, то ему можно напомнить, что еженедельник «Нойе берлинер рундшау», как это подчеркивает Г. Кант, был «точным слепком» самой страны, будущее которой во многом зависело и от успешной борьбы с мещанством, с ханжеством, и от правильного решения вопроса о традициях и т. д. И вовсе не шутки ради (хотя комизма в этой истории предостаточно) герои романа вынуждены лететь в Лондон через Цюрих, Лисабон и... Пуэрто-Рико. Ведь за внешней комичностью читателю открывается твердолобое упорство поборников «холодной войны», не желающих признать Германскую Демократическую Республику, а в ее посланцах видящих «нежелательных иностранцев неизвестной национальности». Так с помощью небольшой и занятной истории писатель дает нам возможность, перефразируя Маяковского, рукою своею собственной пощупать бестелое слово — «международная политика». И темы внутренние, от кардинальных до самых малых, волнуют Г. Канта ничуть не меньше, ведь они заставляют задуматься о вопросах жизненно важных для всей страны и, следовательно, для «Нойе берлинер рундшау».

С работой — пусть даже и на своем месте — автор связывает еще одну важную проблему, проблему «следа». «Скажи, какой ты след оставишь?» — такой отнюдь не риторический вопрос поэта волнует и ветеранов — Иоганну Мюнцер, Возницу-Майера и сорокалетнего Давида Грота. Примечательна в этом отношении сцена в отделе кадров, после которой главному редактору впервые приходит на ум тревожный вопрос: какую память он оставит по себе, когда уйдет из журнала? Г. Кант и здесь верен своей манере не расставлять всех точек над «i», дать читателю возможность поразмыслить вместе с полюбившимися ему персонажами. Но в конце книги, когда с новой силой возникает вопрос «для чего же ты пришел в мир?», Давид Грот позволяет себе дать свой непритязательный ответ. Читатель, разумеется, вправе развить его, высказать собственные суждения; Г. Кант

доверяет ему, и, кроме того, он не терпит догматизма, шаблона, схемы. Он уверен, что именно в таком духе надо воспитывать юное поколение граждан ГДР, причем успешное выполнение этой задачи связано с весьма важной стороной проблемы «следа» — учитель и ученик. В их тесной, плодотворной творческой связи видится писателю залог процветания страны. Учитель и ученик — вот два полюса, два электрода, между которыми вспыхивает искра знания. В роли ученика долгое время был сам герой романа; в многочисленных эпизодах мы видим его «учителей», среди которых пальму первенства надо отдать Пентесилее (так за глаза по-дружески называют сотрудники редакции Иоганну Мюнцер). Но и Вознице-Майеру, и Федору Габельбаху обязан Давид Грот своими успехами. Все они помогли ему одолеть крутой подъем от курьера до шефа журнала. Никогда он не забудет их уроков, их дружеского участия. Однако все это в прошлом, а в настоящем пришла пора платить долги: пришли новые ученики и теперь уже Давид Грот должен выступить в роли учителя. Такова диалектика жизни, и наш герой относится к своей задаче очень серьезно. Ведь он понимает, как нужен социалистической прессе новый Эгон Эрвин Киш, новый «неистовый репортер», и, кто знает, может, им станет один из талантливых пареньков, которых не так уж мало, стоит только хорошенько поискать. Отыщи такого, воспитай его — и можешь считать, что ты уплатил долг своим учителям.

Интересно педагогическое кредо Давида Грота, оно позволяет судить о его взглядах на гражданина социалистического государства. «Не торопись,— советует он учителю,— и его не торопи, но подгоняй. Заставь для начала одолеть тысячу книг... Спорь с ним, спорь до хрипоты, пока у него не останется ничего другого, как высказать собственное мнение. Сбивай его с толку, чтобы он разработал свою систему защиты. Научи его как огня бояться схемы. Громи его, если он станет презирать то, чего не понимает; приласкай, если признается, что не понимает тебя. Накричи на него, если он повторит слово «народ», где следует сказать «люди», и закури с ним, если он сочтет слово «обездвиженность» вопиюще несуразным... Попытайся сделать из него человека дружелюбного, но не трусливого, скептика, но не пессимиста, насмешника, но не циника, такого, что любит работать и наслаждается досугом; ценит свободу, но не мыслит себе жизни без дисциплины; в невежестве видит зачаток варварства; не следует догмам, а верность принципам не путает с догматизмом; сделай из него настоящего товарища своим товарищам и непримиримого врага врагов своих товарищей».

Проблема «учитель — ученик», несомненно, натолкнет эруди-

рованного читателя еще на одно размышление, связанное с жанром книги «Выходные данные». И по своей композиции, и по своей структуре это произведение Г. Канта примыкает к традициям просветительского романа, «романа воспитания». Это ясно подчеркивается и централизацией темы «учитель — ученик», и самим стилем романа, с его неспешным повествованием, вкусом к детализированному (иногда даже чересчур) описанию бытовых сцен, и просветительским пафосом книги в целом. Вместе с тем «годы учения Давида Грота», бесспорно, являются и новаторским шагом в дальнейшем развитии этого жанра. Г. Кант прочно стоит на позициях социалистической литературы; он свободен от противоречивости, свойственной в прошлом даже лучшим образцам просветительского романа. Если в «Годах учения Вильгельма Майстера» стремление героя найти свое место в жизни осмыслялось главным образом с точки зрения интересов отдельного индивида, то в «Выходных данных» мы видим стремление решить проблему, исходя прежде всего из интересов общества. Именно с таких позиций учат Давида Грота и помогают ему занять его место в жизни.

В отличие от многих других «романов воспитания» писатель сразу же знакомит нас с завершающим этапом развития своего героя: характер его уже сложился, и лишь задним числом рассказываются отдельные «ключевые» моменты его биографии, причем далеко не всегда соблюдается хронологическая канва. Однако не только отсутствие постепенного и последовательного развития характера отличает Давида Грота от Вильгельма Майстера и других его литературных предтеч; герой романа «Выходные данные» полон уверенности, полон сознания исторической перспективы, и это придает всей книге устойчивый, обоснованный оптимизм. То, на что надеялись герои «Актового зала», стало для Грота реальной действительностью, порождающей в свою очередь другие светлые надежды. Подчеркнем еще и то, что Г. Кант не ограничился изменением функции и характера «ученика», а изменил также функцию и характер его «учителей», мировоззрение которых незыблемо. Они твердо стоят на весьма определенных нравственных позициях, все силы свои и чаяния они отдали делу рабочего класса. Поэтому их не может удовлетворить эволюция героя романа как таковая; они учат и воспитывают Грота в духе социализма. Писатель показывает в своей книге такое совершенствование характера «ученика», которое могло бы содействовать совершенствованию характера читателя.

Не следует думать, что Давид Грот — герой без изъяна. Недостатков у него не так уж мало, да и ошибаться ему случалось

не раз. Однако его натура такова, что он, хоть и не сразу, а побушевав и погорячившись, поступит по-партийному, даже если его личные намерения были первоначально другими. Сознание личной ответственности роднит его с ветеранами партии, акцентируя преемственность революционных поколений. Именно эту ответственность за все автор подчеркнул своим несколько необычным названием романа. Чисто профессиональным термином «выходные данные», как известно, называют краткие сведения о печатном издании (книге, журнале и т. п.), в том числе и о круге лиц, несущих за него ответственность. И действительно, расширительно толкуя термин, возникший в издательском деле, Г. Кант ведет в своем романе речь о людях, которые несут ответственность, и, разумеется, не только за журнал «Нойе берлинер рундшау», который, подчеркнем это еще раз, рассматривается автором как «точный слепок» всей трудовой республики, всей ГДР.

Оба романа имели большой успех в стране и за ее пределами. В 1967 году писателя удостоили премии имени Генриха Манна, а в 1973-м — звания лауреата Национальной премии ГДР. Г. Кант прочно утвердился как романист; критика с интересом ждала завершения трилогии. Однако вместо следующего романа Г. Кант порадовал читателей новым сборником рассказов — «Переход границы» (1975). Возвращение писателя к рассказу нельзя считать случайным. Забегая вперед, скажем, что Г. Кант сам отмечал определенную «ритмичность» в чередовании крупной и малой формы в своем творчестве. Это подтвердили последующие сборники: «Третий гвоздь» (1981) и «Бронзовый век» (1986).

Тематика произведений весьма разнообразна, однако можно с полным основанием говорить о стилевом единстве всех трех сборников. Истории, содержащиеся в них, пропитаны индивидуальностью рассказчика и позволяют составить верное представление о малой прозе Г. Канта, отличающейся специфическими чертами, во многом характерными для современного рассказа в социалистической немецкой литературе. Некоторые из новых историй уже знакомы советскому читателю, в частности по книге Г. Канта «Рассказы и размышления» (М., «Радуга», 1984) и отдельным антологиям.

В книге «Переход границы» мы встретим те же типы рассказов, что и в сборнике «Кусочек южного моря»; причем стоит отметить, что истории автобиографические и притчеобразные снова удачно дополняют друг друга. Общий высокий художественный уровень сборника в известной мере обусловлен тем, что у автора за плечами был уже опыт двух романов.

УРГАНН ДАВЛАТ
УНИВЕРСИТЕТ

Большинство поведанных нам историй продолжают и в известной мере модифицируют проблематику «Актового зала» и «Выходных данных». Сочный кантовский юмор играет яркими красками в таких рассказах, как «Переход границы» и «Праздничная лепта», но тональность резко меняется при встрече со старым нацистом, ухитрившимся «окопаться» в ГДР,— «Прогоревший жар» (в других переводах «Ржавчина» и «Окалина»).

Особенно примечателен короткий рассказ «Биография, второй абзац». Молодой солдат фашистского вермахта, спасаясь бегством от советских войск, врывается в избу польского крестьянина, требует еды, а затем в страхе забирается под кровать, как только «Первый Белорусский фронт забарабанил коллективным кулаком» в дверь избы. Нетрудно догадаться, чья это биография. Рассказ впервые был опубликован в журнале в 1970 году, затем в антологии «Первый миг свободы» (1974), а через год в «Переходе границы» и, наконец, с очень небольшими изменениями включен как эпизод в начало нового романа, «Остановка в пути» (1977). Так исподволь развивалась важнейшая мысль, давно уже владевшая писателем: плен был для многих немецких солдат первым шагом в свободу.

О своем увлечении малой формой Г. Кант высказался довольно самокритично: «У нас нет Мопассанов. И я не Мопассан — это мне хорошо известно. Но я знаю также, что рассказы необходимы: они входят в нашу серьезную и вместе с тем такую прекрасную жизнь. И именно потому, что они необходимы, я написал некоторые из них». Так вскоре после завершения трилогии «ритмично» появились сборники «Третий гвоздь» и «Бронзовый век». В каждом из них по пять чисто кантовских историй, а бухгалтер Фарсман, герой рассказа «Третий гвоздь», на радость читателям, перекочевал в «Бронзовый век», внеся туда новую порцию юмора и сатиры. Малая проза Г. Канта устойчиво сложилась как значительное явление современной литературы.

Роман «Остановка в пути» — последняя часть трилогии, но хронологически она является ее началом. Это самый автобиографичный (и самый любимый) роман Г. Канта; вот он, беспощадный расчет с проклятым прошлым, мучительное осознание тягостной вины, для которого автору понадобилось так много времени. Читатель уже знал, как совершалось становление Роберта Исваля, мог легко себе представить его дальнейший рост, породнивший героя «Актового зала» с Давидом Гротом, видел зрелую деятельность последнего и его впечатляющий «путь наверх». Теперь пришло время повести речь об истоках. Разго-

вор предстоял нелегкий, писателю потребовалось для него тридцать два послевоенных года и все пятьдесят лет его жизни. На это, отметил Г. Кант, имелись субъективные и объективные причины. Среди последних немаловажным было и то, что одно время «лагерная тема» трактовалась в ГДР очень узко. Но обстоятельства изменились, а писатель наконец справился с темой, кричавшей и вызревавшей в нем, и вот родился взволнованный рассказ о том, как Марк Нибур, восемнадцатилетний солдат фашистского вермахта, после нескольких месяцев войны попал в плен и по недоразумению подозревается в убийстве польки. Он заключен в следственную тюрьму в Варшаве, где проводит более года. Лишь после расследования с него снимают обвинение и отправляют в лагерь для военнопленных.

Марк Нибур — образ с ярко выраженными автобиографическими чертами, но и его нельзя отождествлять с автором. Все три героя романов трилогии самостоятельны, у каждого свой облик, своя жизнь; однако в них и очень много общего. Дело в том, как признался писатель, что у них есть общий родственник, и это сам Кант. Снег, град, иней родственны льду, но знака равенства между ними не поставишь, как не поставишь его и между Кантом и героями его романов.

Роман «Остановка в пути» — книга об изменении, о самоутверждении человека с сильным характером, умеющего отстоять свое «я». Первое, так сказать, стартовое изменение героя было «против правил из учебного пособия и против правил из героического эпоса». Бравый немецкий солдат пустился в бегство, удрал, спрятался под кроватью, затем выполз, высоко поднял руки и сдался в плен. Парадоксальность ситуации в том, что именно тут и начался путь Марка Нибура в свободу. Однако после такого несколько гротескового зачина, горький комизм которого контрастирует с хрестоматийным понятием о «солдатской доблести», тональность романа становится мрачновато-серьезной; в новой книге (в отличие от первых двух) мало шуток и смеха и уж совсем нет добродушных интонаций. Зато в ней много тревожных и глубоких раздумий, а порой и вспышек гнева.

Другой весьма существенной особенностью «Остановки в пути» является неопределенность того временного пласта, того «сегодня», из которого ведет свое повествование Марк Нибур. В отличие от предыдущих романов здесь отсутствуют «привязки» рассказчика к конкретному времени, рассказ о прошлом придвинут к читателю вплотную, без дистанции, это, так сказать, «ретро», луч на прошлое падает из неопределенной точки — читатель волен примыслить ее сам. Огромный опыт, который

приобрел герой книги, сохраняет тем самым свой глубокий моральный смысл при любой точке отсчета, сохраняет его на все времена. И в «Остановке в пути» эпизод, вставная история остается любимой формой организации текста, однако действия в настоящем времени здесь нет — все событийные моменты происходят в прошлом, причем последовательность их развития в новой книге нарушается значительно реже, чем в предыдущих.

Важным этапом в процессе изменения сознания Марка Нибура стали его переживания в камере-одиночке следственной тюрьмы. Он сетует на свою судьбу, так как чувствует себя невиновным и считает, что расплачивается за чужие грехи, за преступления других. Он уже в состоянии понять тяжкую вину фашистов и всей нации; он уже задумывается о преступности государственной и идеологической системы, породившей страшные бедствия во всем мире; но лично он тут ни при чем — ведь он не поддерживал нацистов и польской женщины не убивал. В книге акцент переносится на цепь изменений, происходящих в сознании героя, которые приводят его к тому или иному выводу. Ему в душу западают верные слова: «Мысли помогают — надо только уметь думать. И надо хотеть думать. Ты ведь сказал, что хочешь научиться хотению. Нибур, я полагаю, что с этого-то и начинается свобода. Не тогда, когда человек не обязан что-то делать. Только тогда, когда он чего-то хочет. Когда он хочет того, что обязан». Писателя интересует психология отдельной личности, ее внутренний мир, железная логика принятия трудного решения. И в отличие от некоторых других авторов он не торопит Марка Нибура на пути к ожидаемому финалу. Решение должно созреть всесторонне, естественно и правдоподобно, по всем законам психологической мотивации. Вместо когда-то традиционной скоропалительной «перековки» Г. Кант предлагает читателю обобщенный опыт эпохи.

Пристальное внимание писателя к нравственной сущности отдельного человека помогло ему создать впечатляющее, художественно убедительное произведение, кульминацией которого стало кардинальное изменение характера героя, означающее его моральное исцеление и самоутверждение. Совокупность побудительных причин и влияний приводит героя романа к пониманию того, что он, хотя и не убивал мирных жителей и не разрушал красавицы Варшавы, все равно несет значительную часть вины за все эти бесчинства. Сознание личной ответственности героя за преступления фашизма стало важным художественным и идейным завоеванием литературы ГДР, свидетельствующим о новом этапе ее зрелости.

Не случайно предисловие к русскому изданию романа «Оста-

новка в пути» написал Константин Симонов, уже раньше полюбивший Германа Канта за его «трудные, нравственно бесстрашные книги». Отмечая глубину, остроту и многослойность психологического анализа, тонкое использование ассоциативно-логических связей, Константин Симонов назвал роман «Остановка в пути» бесстрашным поиском правды, книгой «безбоязненной очистительной силы». И это, бесспорно, верная оценка.

Выше говорилось, что Г. Кант начинал с публицистики, именно от нее он пришел в большую литературу. Романы и сборники рассказов с их шумным успехом как бы заслонили от читателей этот боевой и темпераментный жанр, с которым писатель и не думал расставаться. Его публицистические и литературно-критические выступления весьма многочисленны и разнообразны. Некоторые из них поражали изяществом формы и оригинальностью аргументации (например, незаслуженно забытая статья «Культура и конец „Культуры"», посвященная банкротству западногерманского журнала «Культура», претендовавшего на репутацию «левого» издания). Важную сторону творчества Г. Канта составляют и блестящие эссе, и его доклады и выступления на писательских форумах; без них не понять его общественной позиции, его политической платформы, его дружеского, заботливого отношения к своим коллегам и товарищам по перу. Подчеркивая серьезность своей причастности к публицистике, Г. Кант выступил в 1981 году перед читателями со сборником «В дополнение к анкете», где в пяти разделах дал разнообразные и привлекательные образцы этого вида творчества. Сборник «В дополнение к анкете» очень расширяет наши представления о писателе и позволяет нам по достоинству оценить недюжинный дар Канта-полемиста. Все, о чем он пишет, оживляет и дополняет сухие анкетные данные, становится важным, колоритным добавлением к его жизнеописанию. На многие сильные стороны этой бесспорно значительной книги указала критика в ГДР и СССР. И во всех отзывах особенно подчеркивалась активная, наступательная позиция автора в борьбе за мир. Это безусловно справедливо. Г. Кант — неутомимый «подстрекатель» к миру, и, выражая свое сокровенное желание, он сказал: «Я хотел бы, чтобы литература и писатель обладали силой и возможностью обеспечить мир для всего земного шара и объявить человеческую жизнь и человеческое счастье священным достоянием». Согласитесь, это благородные слова хорошего человека и выдающегося писателя.

В. Девекин

АКТОВЫЙ ЗАЛ



DIE AULA

Berlin, 1965

Перевод *И. Каринцевой* и *А. Исаевой*
Редактор И. Марченко

© Перевод на русский язык издательство «Прогресс», 1974

День нынешний есть результат вчерашнего. Следует изучить, что желал вчерашний, если хочешь понять, чего желает нынешний.

Генрих Гейне

Человек сидит за пишущей машинкой, курит запоем, сдувает пылинки с клавиш, откусывая яблоко, вспоминает Шиллера, тупо глядит на чистый лист бумаги, потом на часы, прочищает литеру «а», берет очередную сигарету — и все это называет работой.

Он подкарауливает мысль.

Мысль выглянула из-за угла, немного помедлила и стала потихоньку приближаться.

Вот она уже совсем рядом!

Еще один-единственный, крошечный шаг — и ловушка захлопнется, мысль будет поймана, и он отстукает ее на бумаге.

В это утро Роберт Исваль почти два часа подкарауливал первую добычу. Он не проявлял нетерпения, но, поймав ее, все-таки обрадовался. Начало всегда самое трудное, и оно наконец пришло.

Но тут позвонили в дверь. На коврике в коридоре лежал желтый конверт с красным почтовым штемпелем — рожком и молниями.

Роберт Исваль терпеть не мог телеграмм. Он не помнил ни одной, содержавшей что-либо приятное. Незваные гости, грозные предупреждения, внезапная смерть — все, что нагоняло страх, узнавалось из телеграмм.

Роберт прочел:

«Окончании семестра намечено закрыть РКФ тчк запланирован торжественный вечер тчк сообщи возможность выступления тчк Мейбаум тчк директор».

В этом весь Мейбаум. Посылает зимой телеграмму о том, что в конце семестра надо произнести речь. Через полгода. Нет чтобы написать обыкновенное письмо. Только телеграммы. Это производит впечатление.

«Окончании семестра». Йохен Мейбаум полагает, верно, что Роберт Исваль всю весну и едва ли не все лето промучается над составлением речи, чтобы, как положено, затянуть торжественный вечер.

А вообще-то ему есть над чем поразмыслить, подумал Роберт, было бы только время, если, конечно, присутствующие не пожалеют времени, чтобы его выслушать. И он нарисовал себе эту сцену: он стоит за празднично украшенной кафедрой, склонившись над пухлой рукописью, исписанной примерно такими фразами: «Прежде чем кончить вступительную речь и обратиться к первому, основному пункту, мне бы хотелось сделать к упомянутым мною положениям Песталоцци о становлении личности еще несколько примечаний...»

Он ясно видел перед собой актовый зал, в первых рядах на золоченых стульях восседают заслуженные деятели университета, его превосходительство ректор и их превосходительства деканы в отливающих матовым блеском мантиях со златыми цепями на груди и беретами на коленях или уже под ногами; они, тщетно пытаясь бороться со сном, придают своему взгляду высокомерное выражение, и он слышал свой громоподобный голос: «Здесь, в этом величественном зале позднего барокко, бессмертном творении профессора математики Андреаса Майера, здесь, в этом зале, одном из немногих сохранившихся шедевров архитектуры некогда столь богатого ганзейского севера, среди искусно украшенных стен, в нишах которых — позвольте процитировать ученого-библиотекариуса Денерта,— «в нишах которых стоят бюсты четырех прославленных герцогов: Вартислава IX, основавшего сию академию, Филиппа I, восстановившего ее вновь после упадка, Эрнста Людвига, создавшего первый коллегиум, и Богислава XIV, благодаря щедрым дотациям которого академия процветает»,— здесь, в бывшей библиотеке и нынешнем актовом зале, именно здесь и произошло...»

Да, так что же здесь произошло? Происходило ли в этом зале с галереей, расписанной пухлыми амурчиками, когда-либо что-либо такое, о чем стоит упомянуть в речи, которую жаждет услышать Мейбаум, такое, что устанавливает связь между дорогостоящей затеей герцогов фон Поммерн-Вольгаст и фактом закрытия РКФ в конце семестра?

Роберт помнил одно: из-за этого архитектурно-математического шедевра господина Майера он едва не сбежал

из древнего университетского города еще до начала первой лекции.

Трулезанд, поглядев на здание университета, заявил:

— Смахивает на замок, где мы как-то ремонтировали крышу. Только побольше. Давай осмотрим.

Они поднялись по широкой лестнице и перед дверью, на которой вычурными буквами было выведено «Aula»*, немного помедлили. Трулезанд попытался разобраться в этом слове:

— Аула. Не знаю такой. Вот аýлы знаю.— Но, заглянув внутрь, испуганно пропел:— Ой, поги-и-ибли наши головушки!

Роберт хотел тут же повернуть назад.

— Они, видать, что-то напутали,— сказал он,— объявили здесь рабоче-крестьянский факультет, а ты погляди-ка! Да сюда разве что на коне с золотыми стременами въезжать, и прямо к трону, а на нем королева сидит и швыряет в тебя розы.

Трулезанду эта мысль понравилась.

— А ты со своей верхотуры, с коня этого, заглядываешь ей за вырез, и голова у тебя идет кругом, ну, пажи подхватывают тебя и дают отхлебнуть некару, потому как для них это дело привычное.

— Нектару,— поправил Роберт.— А теперь пошли отсюда, это какая-то ошибка, в таком дворце нам явно делать нечего.

Они купили пива и стали обсуждать, не лучше ли попросту вернуться домой, и только страх — в этом оба признались друг другу,— что дома их засмеют, удержал их. И слабая надежда, каковую и высказал Трулезанд:

— А вдруг все по-другому? Входим мы с тобой, рыцарей там всяких побоку, позвольте, позвольте, разрешите представиться — Исваль и Трулезанд, электромонтер и плотник. Ты подлетаешь к королеве, не сходить ли нам, дескать, в кино, «Мы из Кронштадта» поглядеть. Ну, что?

Да, действовать надо, как при штурме Зимнего, со штыками и криком «ур-ра!». Мысленным взором они видели себя верхом на огромных скрипящих воротах, грудь крест-накрест перехвачена пулеметными лентами, на бескозырках горят красные банты. Да, действовать надо только так, только штурмом!

Роберт Исваль соображал, можно ли сказать об этом в речи? Сказать-то, конечно, можно, только ни один человек его не поймет. Пожилые господа поглядят с недоумением, а студенты хмыкнут, все-де очкарики первого набора легко впадают в героическую романтику. Впрочем, Роберт с ними совершенно согласен: он и сам не терпит, когда старики твердят: «Вот в наше

---

* Актовый зал *(лат.)*.

время...» Словно хвалятся, что теперь уже не мочат штанишки, но ах какая прекрасная была пора, когда они это делали,— прекрасная, но трудная пора: да, последнее обстоятельство не должны забывать те, кто ныне благодаря усилиям предшествующего поколения появляется на свет сразу чистеньким. Речи подобного рода — первый признак старческого маразма то ли отдельной личности, то ли целого поколения. Побудить они ни к чему не могут.

И все-таки его приговор не совсем справедлив, Роберт это чувствовал: эффектно, как сожжение мостов, но точно так же опасно. Нельзя обрести будущее, отрекаясь от прошедшего; это азбучная истина, не требующая доказательств. Все зависит от того, как говорить о прошедшем с людьми, для которых оно давно прошедшее. Может быть, говорить лишь о светлых минутах, о блестящих успехах, которые тоже ведь были?

Тогда останется дополнить лирические рассуждения о великолепном творении Андреаса Майера описанием трогательного события. Он вспомнил о нем с гордостью: «...именно здесь одного из нас подняли на щит, и хоть воином он не был, но прошел сквозь тысячу битв!»

Вот как следует выступить. А что, разве они и правда не подняли его, Роберта, ну если не на щит, то на плечи, и не подкидывали в воздух на глазах у его превосходительства ректора и представителей государства — вверх, до бюстов четырех прославленных герцогов? Впоследствии Роберт утверждал, что побеседовал с глазу на глаз с одним из лакированных амурчиков на плафоне и даже показал ему язык. Да-да, все так и было, и всю торжественность, навеянную речью директора, торжественность, которую одобрили бы даже сам Богислав и сам Вартислав, как ветром сдуло, когда его стали подбрасывать в воздух. А тут еще, на беду, очки у него съехали, а руками пришлось прижимать к груди премию — Гёте и Шекспира в издании Филиппа Реклама-младшего, ни мало ни много четырнадцать томиков.

Рассказать-то, конечно, все можно, но, пожалуй, еще сочтут, что он хвастает, да и Мейбауму не понравится. Премии с тех пор стали выдавать куда более скромные, а ссылка на исключение, сделанное для Исваля, вряд ли помогла бы Йохену Мейбауму.

Впрочем, может, обо всем этом и следует рассказать хотя бы ради историй о том, как он читал классиков. Они пригодны для любого празднества такого рода. «С Гёте и Шекспиром вообще-то у меня чудно́ получилось,— можно было бы сказать.— Я их уже читал: Шекспира в плену, а Гёте когда-то в незапамятные времена. В плену мне пришлось работать на продовольственном

складе. Вскрывать бочки с сельдями, таскать мешки с сахаром, расфасовывать товары — муку, соль, крупу, горох — по килограмму, по два. Вскоре я так наловчился, что даже пакеты на весы не ставил — зачерпнешь совком, и точный вес. Думаю, в таком чувстве меры есть какой-то психологический фокус, может, условный рефлекс, не знаю. Там же, в подвале, стояли шесть огромных ящиков с книгами. В четырех из них я прочел все книги сверху и до самого дна. В одном лежал Шекспир. Так я впервые встретился с Фальстафом и Гамлетом и с кровавыми королями. Ящики стояли среди других, в которых хранилось американское сало, испанское вино и греческий чернослив — дары ЮННРА разоренной Польше. Не стану утверждать, что не притронулся к салу и вину, но самым для меня главным в этом подвале были все-таки книги. В тюремную камеру, куда меня поместили как военнопленного, я каждый вечер приносил с собой том, а тюремщик, делая обход, приводил двух служителей с носилками — для книг Исваля. Я жил в постоянной тревоге, что тюремщик появится прежде, чем я доберусь до конца, но это случилось лишь один раз — с «Ричардом III»; прошло не меньше пяти лет, прежде чем я прочел четвертую сцену пятого акта.

С Гёте я познакомился, когда был учеником электротехника. Любому электрику наверняка случалось работать в доме, где грязи по колено. И все же, думаю, другой такой грязной квартиры, как та, с Гёте, не сыщешь. Во всяком случае, я себе этого не представляю. Квартира была мерзкая, и я забастовал. Уселся на стремянку и жду мастера. И с высоты разглядел на шкафу стопку книг, покрытую толстым слоем пыли. Одну книжицу я обчистил от паутины и вечером уже читал «Фауста», первую часть. Владелец квартиры, бедолага, бухгалтер с высшим образованием, женился на старшей дочери хозяина, а та, как он мне рассказал, со дня свадьбы палец о палец не ударила. Женаты они были уже лет двадцать. На другой вечер мы с бухгалтером завели разговор о Фаусте, точнее сказать, он честно старался отвечать на мои наивные вопросы. Меня ведь в ту пору больше интересовало, как в театре устраивают небо да отчего скачет бочка в ауэрбаховском кабачке. И все же две-три книги и такой разговор разбудили во мне любопытство к миру, о каком я и слыхом не слыхал».

Эта часть речи Роберту понравилась, он только не был уверен, поймут ли его слушатели. Ведь если и принято в подобных речах говорить о Гёте и Шекспире, то уж, во всяком случае, не в таком аспекте. Лишь очень старые или очень преуспевающие люди могут позволить себе столь субъективное отношение к прошлому и к самим себе. Воспоминания молодого

человека — в этом есть что-то комичное и нескромное; юности свойственны желания, надежды и планы, а не подведение итогов.

Вздор, подумал Роберт, при чем тут итоги, просто я припомнил истории, которые можно рассказать. Рассказываю же я их при случае друзьям, и никто не находит это странным. Хотя, конечно, есть существенная разница. Одно дело, если я говорю приятелю: «Послушай, когда я...» Он меня слушает, ведь я его друг, у нас с ним много общего, я как бы частица его самого. А что получится, если я обращусь к посторонним? Им надо преподносить занятные истории, а не самого себя — истории, занятные хоть умри, кто бы их ни рассказал.

Прекрасно, превосходно, только вот как бы не перепутать всеобщие и объективные ценности с сугубо личными мелочами? Хорошо бы иметь специальный аппарат, скажем типометр, кибернетический, с микрофоном и шкалой: левая сторона красная — для типичных, достойных внимания слушателей примеров, правая синяя — для индивидуалистического мусора. Садишься к микрофону и читаешь в него все задуманное, а когда кончишь, в аппарате что-то звяк-бряк — он учитывает кое-какие обстоятельства: время и место действия, обстановку вообще и в частности, новейшие достижения науки; если же стрелка потом качнется вправо, на синюю сторону, значит, бросай свою историю в корзинку.

Роберт Исваль постучал себе пальцем по лбу и заложил в машинку чистый лист. Вот он, твой типометр, лист бумаги и голова, ничего другого пока в наличии не имеется. Так на чем же мы остановились? Ага, на истории с книгами. Да, о них можно долго рассказывать. О Маргарет Митчелл и о «Книге ужасов», к примеру. Наверняка никто не читал с таким вниманием «Книгу ужасов» и «Унесенные ветром», как я.

Роберт даже наизусть помнил первую строчку толстенного романа о гражданской войне в Америке: «Скарлетт О'Хара не была красавицей». Но особенно запомнился ему вес книги. Он читал ее стоя. От первых веселых страниц до слезливого конца он выстоял на табуретке под единственной подслеповатой лампочкой, горевшей по ночам в огромном бараке. Днем о книге нечего было и думать — ее читали повара, сапожники, парикмахеры. Вот ночью — пожалуйста, главное, вернуть ее к утру. Роберт работал тогда на берегу Вислы, грузил лопатой речной гравий на баржу. Он двигался точно в полусне. Не раз и не два решал он, что не станет читать в следующую ночь, и все же, только погасят свет, залезал на табуретку под ночником и бросался в битву Севера с Югом.

«Книгу ужасов» он тоже читал по ночам, в первый год плена,

год грязи и эпидемий. Тиф и воспаление легких, голод и дизентерия сделали то, чего не смогли сделать пули и пожары. Чесотка, распространившаяся в лагере, была еще наименьшим злом. Тысячи людей страдали от нее, но для врачей она была делом привычным, да и Роберт Исваль, заразившись, ничуть не удивился. Случались болезни и похуже. Но санитар, к которому попал Роберт, принял его болезнь за иную, куда более опасную. Роберт это понял, очутившись в особом бараке, где несколько сот подстреленных Амуром рыцарей с поразительным единодушием поносили своих последних возлюбленных. Когда же Роберт на вопрос соседа по нарам заявил, что у него чесотка, вокруг раздался злобный хохот. Сосед, двинув его локтем в живот, восторженно взревел:

— Надейся, голубчик, надейся!

Чтобы избежать опасного соседства, Роберт улегся за бараком на песок. И сразу же согласился дежурить, когда вызвали добровольцев на пожарный пост. На столике, за которым ему предстояло провести ночь, коптила керосиновая лампа, а рядом лежала «Книга ужасов» — днем от нее не мог оторваться санитар.

Роберт, обмотав пальцы краем спецовки и торопливо перелистывая страницы, читал историю восточного принца, приказавшего зашить своему пленному сопернику живую крысу в живот.

Даже сидя с этой книгой в качалке на солнечной террасе, Роберт содрогнулся бы от ужаса, а ведь он был пленный, ночной дежурный у коптящей керосиновой лампы, и сидел в низком бараке, где духота была хоть топор вешай и человек сто больных метались в жару. Одни бредили, другие стонали и всхлипывали во сне от страха, пока сосед, обозлившись, не двинет в зубы. Откуда-то из угла к Роберту подполз на коленях старик и попросил с ним помолиться. Он принял «Книгу ужасов» за Библию и все тянулся ее поцеловать. Хотел и Роберта поцеловать, тогда Роберт не нашел ничего лучшего, чем трахнуть его по голове этим собранием ужасов. Из заразного барака Роберта вызволила на следующий день врачебная комиссия.

Абсурдна даже мысль рассказывать об этом на торжественном вечере. Это ясно и без всякого типометра. Такой случай можно упомянуть разве что в кругу друзей за бутылкой водки, да и то если бутылка уже наполовину пуста.

А историю с романом Маргарет Митчелл тоже не стоит рассказывать. Хотя сама по себе она вполне приемлема. Молодой заблуждающийся немец за колючей проволокой потрясен явившимся ему чудом литературы. Обуреваемый жаждой образования, он ночами стоя читает тяжеленную книгу, хотя и губит зрение. Да, это уже нечто, тут уже есть что-то от spiritus

literaris*, такая история могла бы воодушевить слушателей и способствовать их эстетическому воспитанию. Безусловно, могла бы. Только для этого нужна другая книга, и уж, во всяком случае, не погребальная песнь феодализму американского Юга. У Скарлетт О'Хара зеленые глаза без единой коричневой крапинки и медно-красные волосы? Прелестно, но не дочь ли она плантатора-рабовладельца и, стало быть, паразитка?

Нет, эта история тоже не годится для мейбаумовского празднества в честь последних выпускников рабочекрестьянского факультета. Если бы не «Унесенные ветром», а, скажем, «Буря» Ильи Эренбурга или что другое с прогрессивными веяниями, тогда бы еще куда ни шло, тогда... но так — нет, не пойдет, дорогой товарищ!

Роберт Исваль давно уже понял, что Мейбаум не зря прислал свою заявку задолго до срока, хотя все-таки телеграмма — явный перегиб директора. Разумеется, несмотря на ряд наметившихся трудностей, речь не требует полугодовой работы, достаточно время от времени думать о ней. Но написать ее надо, это дело чести, и речь должна быть на требуемом уровне. Вот, значит, еще одно тягостное побочное поручение; нет, антипатия к телеграммам не такая уж причуда.

Роберт прикрепил бумажку с телеграфными полосками к плетеному коврику, висевшему на стене над его письменным столом. Под портретом Хемингуэя, между запиской «Сберкасса. Постоянное поручение — деньги за свет!» и открыткой из Камеруна, еще оставалось место. Хемингуэй! Вот бы Мейбаум узнал: его телеграмма под Хемингуэем. Он счел бы это чем-то вроде идеологического сосуществования, а такого быть не должно.

На коврике — пропасть разных напоминаний: «Отзыв на «Ойленшпигель» до 12-го», «Позаботиться о гараже», «Когда ты сходишь с сыном к врачу? Жена», «Выяснить с В. амурные делишки! До заседания бюро!», «Господин Исваль, кто-то звонил, машина готова. С уважением фрау Зельтер».

Там же огромной самшитовой прищепкой, на которой выведено «Срочно!», зажата одна-единственная записка с номером телефона, хотя дело давно улажено. Коврик куда удобнее, вся поверхность просматривается, правда не им одним. Жена, хоть и не страдает, по ее словам, любопытством и не вмешивается, тоже по ее словам, в его личные дела, все-таки поинтересовалась, что за амурные делишки предстоит ему выяснить и кто это В.

— А-а, вопрос о кадрах,— ответил он,— тебе не интересно, а В. ты все равно, надеюсь, не знаешь. Парень заврался, и мне

---

* Дух литературы *(лат.)*.

придется намылить ему голову — поручение бюро.

— Жаль, — заметила жена, — жаль, что известная пословица звучит в данном случае столь двусмысленно, а то бы я сказала: опять они кое-кого в огород пустили.

Эх, если не работать, все задания можно выполнить играючи. «Знаешь, старик, — слышит он часто, — журналистика вообще-то дело несерьезное, а ты вдобавок нигде не состоишь в штате. Да, брат, мне бы твое время! Ну как, возьмешь поручение?»

Чаще всего он брал; проводил собрание или беседу, выступал, держал речь. Вот следующую ему придется держать в конце семестра, в этом вся ее прелесть, это заметно отличает ее от других заданий, напоминания о которых висят на коврике: она хоть и заказана спешно и неотложно, но прозвучать должна еще очень и очень не скоро, где-то в весьма отдаленном будущем.

— А эта толстая книга тебе к лицу, — заметила Вера, — с ней ты внушаешь доверие. Что это?

Роберт поднял тяжелый том, и Вера прочла:

— «История университета»? Будешь что-нибудь писать?

— Пока читаю из чисто научного интереса, — ответил Роберт, — но потом мне придется выступить с речью о РКФ, правда, еще не скоро.

— Неужели они хотят закрыть факультет?

— Кто их знает, все может быть.

— Я пошла спать, — сказала Вера, — а вообще-то жаль, если его закроют.

— С исторической точки зрения он свою задачу выполнил, — пробормотал Роберт.

— А не с исторической? — спросила Вера, стягивая через голову свитер.

— Вопрос нелепый. На подобные вещи нельзя смотреть не с исторической точки зрения.

— Тогда почему ты подчеркиваешь «с исторической»?

Роберт отложил книгу.

— Возвращаю комплимент: тебе очень к лицу стоять вот так — без головы. Ну а если серьезно, то не такой уж это нелепый вопрос. РКФ можно рассматривать и не исторически.

— А ну давай, — сказала Вера и, сняв свитер, выжидательно посмотрела на него.

— Ты ведь хотела спать?

Она примостилась в кресле и показала на книгу.

— Читай. Интересно, как это получается с исторической точки зрения.

Роберт торжественно начал:

— «Рабоче-крестьянский факультет был создан по знаменательному решению Германской экономической комиссии от 31 марта 1949 года...»

Продолжать он не мог, очень уж развеселилась Вера.

— Поистине прекрасно,— сказала она,— мы были созданы по решению, теперь ошибки быть не может. Если кто и считал, что мы свалились с луны или явились плодом любви, то теперь он положен на обе лопатки. Мы созданы по решению, и к тому же знаменательному, и вдобавок по решению экономической комиссии. И все это с исторической точки зрения. С исторической точки зрения вообще все так или иначе создано по какому-нибудь решению. Рождество, например, по решению, которое чтит весь мир, и оспой мы не болеем тоже по решению о всеобщей обязательной прививке, и если...

— Ну-ну, шути, да знай меру,— прервал ее Роберт,— там ведь сказано, что не мы явились на свет по решению, а РКФ. Да и этого там нет, а говорится об образовании РКФ, и, чтобы выбить у тебя из рук оружие, должен заметить, что под образованием здесь понимается совсем не то, чем ты постоянно хвастаешь. А основание, основание РКФ, его создание... нет, и «создание» не подходит. Скорее, все-таки основание или образование его есть результат решения комиссии.

— Ание, вание, ение,— пробормотала Вера.

— Что ты говоришь?

— Решение — результат образования, образование — результат основания, а основание — результат постановления... с исторической точки зрения.

— Иди-ка лучше спать!

— И не подумаю. Хочу знать, как все было. Я требую ответа. Я — население, ты — пресса. Пресса обязана информировать население убедительно и терпеливо.

Роберт вскочил и узлом завязал у нее на шее рукава свитера.

— Был уже случай, когда репортер удавил свою жену, чтобы дать на следующий день материал в номер. Суд, правда, не счел причину уважительной. Но у меня будет уважительная причина, бог свидетель.

— А он явится по повестке?

Не успела она прикрыть за собой дверь, как Роберт крикнул ей вслед:

— Слушай-ка, а нам разве туго приходилось?

— Ты про что? Ах, вот ты о чем. Не знаю. По-моему, было весело. Помнишь, мне поручили укоротить твои СНМовские шорты, а ты не желал их снимать?

— СНМовские шорты? Вздор! Они наверняка назывались «укороченные брюки для членов союза молодежи». Но неужели ты воображаешь, что я выйду на трибуну и возвещу: «Когда мы, члены Союза свободной немецкой молодежи, получили новые штаны...»

— Нет,— ответила Вера, и по голосу слышно было, что она уже засыпает,— об этом говорить нельзя. Говорить надо о том, что лиха беда — начало, и о людях на нашем берегу, и о том, как закалялась сталь, и о земельной реформе, которая тоже явилась по решению...

Роберт прикрыл дверь и еще раз перелистал юбилейный сборник к пятисотлетию со дня основания университета. Глава о рабоче-крестьянском факультете была в конце второй части. Это его злило, но он твердил себе, что так оно и должно быть, ведь факультет был создан самым последним.

По случаю пятисотлетнего юбилея речь о РКФ шла на семи широкоформатных страницах, и Роберт спрашивал себя, сколько же места отведут факультету, когда наступит тысячелетний юбилей? РКФ просуществовал двадцать шесть семестров — всего каких-то несчастных тринадцать лет; что за срок для тысячелетнего альманаха? Проглядывая содержание, Роберт наткнулся на главу под названием «Пятьсот лет математики в нашем университете».

Он открыл книгу и убедился, что статья занимает ровно три страницы, если не считать портрета какого-то бородатого господина. Шесть столбцов на пятьсот лет развития науки о числах и объемах — более чем скромно, с этим мог справиться только мастер кратких и четких формулировок. Но к величайшему удивлению Роберта, автор пятисотлетнего итога умудрился напичкать свою статью простр: нными анекдотами. В одном речь шла о Галилее: «Опираясь на Данте, он для начала установил местонахождение и общие контуры ада. Вычертив вокруг Иерусалима окружность радиусом в $^1/_{12}$ периметра Земли, или в 3333 *км*, и построив на ней конус, вершина которого совпадет с центром Земли, он тем самым определил местонахождение ада. Вслед за тем Галилей попытался вычислить рост Князя тьмы. Так как Данте был ростом всего в 3 локтя, то Люцифер соответственно обладал внушительным ростом в 2000 локтей». И автор добавлял: «Достойно внимания, что всю эту чепуху зрелый Галилей отверг как забавы двадцатичетырехлетнего юнца».

Роберт оценил мастерство, с каким автор увязал лаконизм целого и подробности частного, ибо для журналиста самое трудное — это уложиться в определенное количество строк; эх, математику надо было изучать, а не германистику!

Краткость математики слегка приглушила порыв, а ведь всего секунду назад он готов был возмутиться незначительным объемом истории РКФ. К тому же в статье не сказано было главное: о пользе для науки этих двадцати шести семестров РКФ. А вот математики, как он успел заметить, ссылались на одного из своих собратьев, благодаря которому получили формулу, в принципе открывающую возможность «так разложить солнце, что, собранное заново, оно оказалось бы величиной с горошину».

— Нет, не годится так ставить вопрос,— громко сказал Роберт и тут заметил, что пора спать и ему.— Нельзя валить в одну кучу рабоче-крестьянский факультет и Институт математики. Статейка эта вообще ничего не значит, а тем более количество строк в ней.

Раздеваясь, он твердил себе: «Хватит, кончай!» Но проблема уже вырисовывалась, и Роберт, при чистке зубов пытаясь сосредоточиться на тексте «Белизна — витаминизированная зубная паста», был просто смешон. Он стойко сопротивлялся, пока не улегся в постель и не закурил последнюю сигарету, «контрабандную», по определению Веры.

Так как же, думал он, сдаваясь, определить пользу РКФ для науки, чем измерить ее, эту пользу, кто сумеет ее проанализировать, кто будет ее анализировать, а если и проделать все это, то кого вообще заинтересуют результаты? По сути, праздные размышления. Никто и не надеется услышать в его речи на торжественном собрании ответ на поставленные вопросы. Исторический анализ, разумеется, прерогатива директора, а Йохен Мейбаум уж постарается: «На всех факультетах, во всех институтах, в академиях и промышленных лабораториях, на руководящих постах в государственных учреждениях и общественных организациях, в армии и в области культуры трудятся ныне выпускники рабоче-крестьянского факультета, показывая...»

Пусть его, это сказать нужно, это производит впечатление нынче, произведет и завтра; ну а послезавтра, когда историю университета будут писать к тысячелетнему юбилею?

В октябре 2456 года люди прочтут, что пятьсот семь лет назад в университете был открыт факультет для рабочих, крестьян и их детей, чтобы установить исторически уже давно необходимое равенство. Им будет, пожалуй, трудно представить себе, какие различия были в те незапамятные времена между рабочими и крестьянами и почему рабочие и крестьяне, чтобы стать врачами и физиками, должны были получить больший объем общих знаний, чем обычно получали рабочие и крестьяне. Поймут ли они, что означало создание такого факультета?

А когда они прочтут, что диковинный организм существовал всего тринадцать лет и был упразднен, выполнив свою задачу,

произведет ли это на них впечатление? Вряд ли, ибо много ли с исторической точки зрения — тринадцать лет?

Вздор, подумал Роберт. Таким способом можно любое деяние, кое-что изменившее на этой планете, свести к нулю. Подобная точка зрения не имеет ничего общего с исторической. Ловкими трюками можно и солнце превратить в горошину; спрашивается только, кому нужна горошина вместо солнца.

И если продолжать философствовать в этом духе, то можно, пожалуй, сделать вывод, что телеграмма Йохена Мейбаума пришла слишком поздно.

Разошлю-ка я открытки, подумал Роберт и сразу почувствовал, как у него отлегло от сердца. И напишу: «Телеграмм не посылать», или: «От телеграмм прошу воздержаться», или еще лучше: «Отправление телеграмм согласно решению, ению, ению...»

— Подбросишь меня? — спросила Вера, и Роберту пришлось встать.

Вера задавала этот вопрос каждое утро таким тоном, словно он мог ответить «нет».

Она выигрывала на этом лишних тридцать минут сна, а он — уйму рабочего времени.

Когда Роберт слышал, что кто-то завидует якобы праздной жизни людей свободных профессий, он приходил в ярость: вот как представляет себе филистер свободу — дрыхнуть до обеда. Он, например, каждый день встает точно без десяти семь — железно! Почему именно без десяти семь? О, конечно, можно вставать и без одиннадцати семь или в девять минут восьмого, но он решил для себя твердо — без десяти. В том-то как раз и сказывается преимущество свободы, что можно установить добровольно: без десяти семь.

Вере надо в половине восьмого быть в глазной клинике, и если он встает без десяти семь, то успевает подбросить ее на работу.

Клиника расположена на уродливой улочке за каналом. Особенно уныло выглядит здание в дождливую погоду.

— Пустяки, — не реже раза в неделю говорит Роберт, — вашим подслеповатым пациентам все равно.

В это утро он сказал:

— Как мне раньше не пришло в голову. Ваш домишко напоминает домик на Рейбенштрассе, где мы сдавали вступительные. Ты не находишь?

— А ты, кажется, не на шутку завелся, — ответила Вера. — Ну, мне пора. Привет!

Роберт видел, как привратник открыл ей дверь, и слышал, как он поздоровался: «Доброе утро, фрау доктор!»

В те времена привратники ей дверь не открывали. И ему тоже. В день экзаменов он довольно долго околачивался у бокового входа и разглядывал входивших, пытаясь оценить, может ли с ними состязаться. Большинство было куда моложе, и все выглядели чертовски интеллигентными. Убедившись, что шансов у него никаких, он пошел следом за всеми.

В большом зале, смахивающем на класс, Роберт уселся в самом последнем ряду. Он яростно парировал любопытные взгляды и злился, что не принес портфеля, как остальные.

Но вот в зал вошел пожилой господин, и все застучали костяшками пальцев по скамьям и затопали ногами. Роберт знал, прежде студенты приветствовали так своих профессоров, и был немало удивлен, что обычай этот сохранился. К тому же они ведь еще вовсе не студенты, а рабочие и крестьяне, явившиеся на вступительный экзамен.

Пожилой господин положил свой берет на кафедру и сказал:

— За работу, друзья мои. Однако, прежде чем мы с божьей помощью углубимся в наш материал, я хотел бы довести до вашего сведения несколько замечаний, которые могут пригодиться нам впоследствии. Кандидат Визе подал мне работу о некоторых особенностях религиозной жизни Израиля в восьмом веке до рождества Христова, изложенных по книгам пророков Амоса, Осии и Михея. Я заручился согласием господина Визе на сие публичное заявление и желал бы по педагогическим соображениям прочесть вам выдержки из моего отзыва. Двоеточие, кавычки: «Хотя статистических данных в работе недостаточно, а за общей картиной зачастую не видны частности, что для студента скорее не упрек, а похвала, использованы имеющиеся данные весьма осторожно и верно. Кое-где проскальзывают, правда, догматические взгляды, но кто же станет требовать от студента независимых исторических суждений? Работа в целом свидетельствует о любви к делу, и я буду весьма и весьма рад, ежели в этом есть и моя заслуга, ежели я пробудил ее своими лекциями о малых пророках...»

Тут Роберт окончательно понял, что ошибся. Он хотел осторожно подняться, но откидное сиденье под ним заскрипело и стукнуло о спинку. Роберт так и застыл под взглядами обернувшихся студентов. Пожилой господин сменил очки и кивнул ему.

— Подойдите ближе, друг мой, дабы я мог разглядеть вас. Вы хотите нам что-то сказать? Пожалуйста, выйдите вперед.

Роберт, пробравшись вдоль зеленой стены, вышел вперед и сказал намного громче, чем хотел:

— Это ошибка. Я здесь по недоразумению. Я вовсе не собирался к малым пророкам.

Присутствующие расхохотались, и, как показалось Роберту, расхохотались отвратительно, забарабанили кулаками по скамьям, затопали ногами по полу — шум не стихал целую вечность.

Наконец пожилой господин, заклиная, воздел руки, и наступила тишина. Спустившись с кафедры, он обошел вокруг Роберта.

— Солдат, по всей видимости? Рыцарь с начищенными до ослепительного блеска пуговицами. Куда же вас тянет, друг мой, если не к малым пророкам? Быть может, к артиллеристам, к бомбардирам? Обмундирование ваше указывает на это, но, боюсь, военные науки в нашем доме более не найдут себе места. Богу угодно было, чтобы страну нашу освободили, и теперь здесь многое не найдет себе более места.

Раздался одобрительный гул, и Роберт совсем растерялся. Он оглядел свой костюм, единственный его костюм, который друзья сшили ему из спального мешка ко дню освобождения из лагеря. Он долго чистил медные пуговицы, прежде чем отправиться на экзамен.

— Прошу прощения,— сказал он.— Я совсем не сюда шел. Я шел сдавать приемный экзамен на рабоче-крестьянский факультет. Извините, пожалуйста.

— Редко можно встретить человека,— произнес пожилой господин и за рукав удержал Роберта, двинувшегося было к двери,— которого так тянет на экзамен. Но побудьте же, любезный рабочий — или вы любезный крестьянин? — еще немного с нами, вы здесь не такой уж чужак. Пастушеское сословие нам всем очень близко, вот, к примеру, Хазенегер на первой скамье — сын бедняка крестьянина, не так ли, Хазенегер?

Приземистый парень поднялся и подтвердил:

— Так точно, господин профессор, из Шпандоверхагена!

— Видите,— продолжал профессор,— он тоже от сохи. И наш господь, нести ученье которого мы здесь готовимся, был сыном плотника. А вы не сын ли плотника?

— Нет,— ответил Роберт,— мой отец был дворником.

— Дворником! — воскликнул профессор.— В этом есть какая-то глубокая символика, и наверняка вскорости мы прочтем в газетах: рожденный во прахе припал ныне к лону нашей матери-кормилицы! О век, о наука! Стало быть, любезный, мы были рады видеть вас у себя, однако не собираемся задерживать вас долее в вашем походе на факультет не малых, а великих пророков, зовущихся Маркс и Ленин. Счастливого пути.

Роберта под одобрительный грохот выпроводили за дверь.

Очутившись в коридоре, он прочел объявление на стене: «Проф. д-р Нот, семинар по Ветхому завету»,— и поспешно зашагал вдоль темного коридора; увидев за поворотом группу молодежи, он остановился. На этот раз он будет осторожнее! Роберт сделал вид, что интересуется объявлениями на стенах, и попытался уловить, о чем говорят кругом. «Обещали сообщить...», «В математике не силен, сказал мне один, но я слышал, он всем так говорит...», «Откуда мне знать Шиллера, а «Колокол» я знаю: «Краснея, вслед за нею бродит» и «Нам страшно львицы пробужденье». Они сказали, для начала, мол, это совсем не плохо».

Тут Роберт услышал, как назвали его фамилию.

— Здесь,— откликнулся он, и его пропустили вперед.

— Что ж ты торчишь на задворках, если на «и» начинаешься?— крикнул кто-то.— «И» уже дважды вызывали, эх ты, раззява!

Роберт остановился.

— К «раззяве» мы еще вернемся, приятель!

— Только смотри не позабудь!— успел он услышать и уже стоял перед экзаменационной комиссией.

Седой человек — его большие голубые глаза напомнили Роберту портрет Фридриха Великого, Старого Фрица,— указал ему на стул.

— Вы Роберт Исваль, не так ли? Довольно странная фамилия.

— Да,— сказал Роберт и сел.

— Повторю то,— продолжал Старый Фриц,— что я уже говорил всем вашим коллегам: выражение «экзамен» в извещении, которое вы получили, подобрано не совсем удачно. Коллега Фукс, составивший текст в мое отсутствие, согласен со мной, не так ли, коллега Фукс? У нас всего-навсего собеседование. Мы интересуемся не столько вашими знаниями, сколько вашими убеждениями. Понимаете?

— Да,— ответил Роберт.

— Вот и хорошо,— сказал Старый Фриц.— Вы человек бывалый, что явствует из вашей анкеты и автобиографии, а в двадцать три года это кое-что значит. Кстати, автобиография ваша написана весьма недурным стилем, не так ли, коллега Фукс?

Человек с заячьим лицом и усиками под носом сдержанно заметил:

— Не хватает тридцати двух запятых, коллега Вёльшов.

— Ну-ну,— буркнул седой и тут же дал слово более молодому преподавателю, поднявшему руку, как школьник.

Тот улыбнулся Роберту и спросил:

— Не научились ли вы в лагере немного говорить по-польски? Тогда вам, верно, нетрудно будет справиться с русским,

как вы думаете?

— Не знаю,— ответил Роберт.

— А как у вас обстоит с латынью?— задал кто-то вопрос, не испросив разрешения, причем таким тоном, что Роберту захотелось бегло ответить ему по-латыни.

— Никак,— выпалил он,— ну, то есть я хочу сказать, что понятия не имею о латыни.

Латинист удовлетворенно кивнул.

— Отлично. Вы, стало быть, чистый лист. Что ж, на чистом листе писать удобнее.

— Это я могу подтвердить,— кивнул Роберт, и сидевший рядом с учителем русского языка лысый великан ухмыльнулся. Глядя на стол, он спросил:

— Сколько вы сейчас зарабатываете?

— Нисколько. Я безработный. На прошлой неделе, когда я пришел в мастерскую, хозяина там не оказалось. На верстаке он оставил записку, что отбывает в Ганновер и может взять меня к себе.

— Ну и что же?— спросил великан.

— Да ничего,— ответил Роберт.— Что я забыл в Ганновере?

— Совершенно верно,— кивнул председатель комиссии,— что вы забыли в Ганновере? Так и надо ставить вопрос. Но следует еще спросить: правильно ли, что такой человек, как вы, остался без дела? Конечно, нет. Нашей стране нужны рабочие руки. Но разве ей не нужны хорошие головы? Нужны, и даже очень. В нынешней ситуации, как говорит товарищ Сталин, «кадры решают все».

На что латинист откликнулся:

— Следует ли заключить из ваших слов, коллега Вёльшов, что можно представить себе ситуацию, в которой что-либо происходило бы не так, как об этом говорит товарищ Сталин?

Вёльшов опустил глаза и подумал. А потом, выпрямившись в своем кресле, ответил:

— Коллега Ангельхоф сделал правильное замечание. Моя формулировка позволяет сделать неверные выводы. А ведь нам нужна ясность, особенно в языке, который непосредственно связан с нашим мышлением, да, ясность и еще раз ясность. Я уточняю. В этой, как и в любой другой ситуации, будут верными слова, сказанные товарищем Сталиным: кадры решают все, если дана верная политическая линия. Или еще точнее: если дана верная политическая линия, тогда кадры решают все!

— Надеюсь,— обратился лысый великан к Роберту,— вы добиваетесь возможности стать студентом, исходя именно из этого предположения.

Роберт покачал головой:

— Мне придется, я вижу, кое-что уточнить. Я вовсе ничего не добиваюсь. То есть я, конечно, хотел бы сделать попытку, во всяком случае, я заполнил анкету и написал автобиографию, но все это скорее случайно. Приятель моего теперешнего... теперешнего мужа моей матери принес мне бланк и до тех пор сидел со мной, пока я его не заполнил. Он сидел за завтраком и приговаривал, что будет есть, пока я не кончу. Он бы у нас все начисто сожрал, извините, он работает в театре...

— Методой сей не следует пренебрегать,— отозвался великан,— экономическое принуждение. У вас действительно веское основание для поступления к нам. А другого не было?

— Я так и так хотел из дому уйти,— ответил Роберт,— я и в народную полицию заявление подал, да вы быстрее ответили.

Тут в разговор снова включился Вёльшов.

— Полагаю, у нас нет причин быть на вас за это в обиде. Народная полиция и РКФ — это, безусловно, две равные возможности. При нашем антифашистско-демократическом строе ликвидирована древнейшая противоположность между аппаратом государственной власти и интеллигенцией. Позволю себе напомнить только о пайках для работников умственного труда. Но мы все-таки рады, что получаем столь ценного слушателя. Кстати, почему вы хотите уйти из дому? Для этого есть политические причины? У вас наметились разногласия по вопросам мировоззрения с теперешним, по вашему выражению, мужем вашей матери? Он, верно, не понимает духа нового времени, как, впрочем, и многие другие?

Роберт угрюмо ответил:

— Нет, это наши личные дела, совсем не то, что вы думаете. Он ради этого нового времени шесть лет отсидел в концлагере и что ни день об этом вспоминает. Нет, это дела личные.

Вёльшов смущенно закашлялся, а члены комиссии обменялись взглядами. Роберт почувствовал, что отношение к нему вдруг как-то изменилось. Ясно, что-то он ляпнул.

Тогда он поднялся:

— Да, вот так оно и есть. А в коридоре еще народу много. Может, в полицию меня возьмут...

Великан обошел стол и подтолкнул Роберта к окну.

— Не болтай ерунды. Согласись, тебе еще надо поучиться. Тебя никто не хотел обидеть. Теперь поезжай домой, а четвертого октября возвращайся. Не приедешь, я сам за тобой явлюсь. И если ты еще не станешь полицейским, я тебя сюда доставлю. Моя фамилия Рибенлам, будем знакомы. И выше голову.— Повернувшись к комиссии, он сказал: — Приедет.

Председатель с секунду помедлил, а потом подошел к Роберту и пожал ему руку.

— Итак, товарищ Исваль, мы рады, что вы не остались в стороне в момент, когда наш народ решает поистине историческую задачу. Ждем вас к началу семестра.

Уже выходя, Роберт услышал, что кто-то сказал:

— Я не хотел вмешиваться, но математика...

Роберт вздрогнул — в стекло постучали. На тротуаре перед клиникой стоял полицейский.

— Доброе утро, уважаемый, — сказал он, — долго мы собираемся здесь стоять?

— Я не стою, — ответил Роберт, — я остановился: вы же знаете, остановка на срок до пяти минут для посадки и высадки пассажиров, приема и сдачи небольшого груза...

Но полицейский покачал головой.

— Не выйдет. Сколько я за вами наблюдаю, ни приема, ни сдачи груза не приметил. Вы, уважаемый, устроили здесь стоянку, хотите доказательств?

— Лучше не надо, — сказал Роберт, — но я, правда, только выгрузил жену.

Полицейский ткнул пальцем в вывеску.

— У нее что-нибудь с глазами? Надеюсь, ничего серьезного?

— Нет-нет. Она здесь работает, она врач. Сама лечит тех, у кого глаза болят.

— В таком случае, — сказал полицейский, немного подумав, — даю вам пять секунд.

Он взглянул на часы, и Роберт включил мотор. Влипнешь ты когда-нибудь в историю, подумал он, и уж так просто не выпутаешься. Людям с гипертрофированной фантазией не следует давать права. Но, собственно, при чем тут фантазия! Фантазия — это когда выдумываешь. А я ведь не выдумываю, я вспоминаю. Ну и вспоминай на здоровье, но не за рулем. Вот, к примеру, видишь, как тот парень затормозил? Еще чуть-чуть, и ты врезался бы ему в багажник, а потом тебя бы обвинили, что не соблюдал дистанции. Шофер, соблюдай дистанцию! Журналист, ближе к жизни! Но разве думать двадцать четыре часа в сутки о РКФ — значит быть ближе к жизни? Интересно, да, но ведь в машинку заложена незаконченная рецензия на новеллу фрау Тушман «Не укради!». Да черт с ней, с фрау Тушман, и с ее нравоучениями, скажу, что нет времени, мне надо речь держать, срочно, по поводу события, имеющего историческое значение, вот даже телеграмму получил. А фрау Тушман исторического значения не имеет. Ясно, так и сделаю. Остается только поды-

скать кого-нибудь, кто бы эти полгода платил мне деньги за размышления над речью, заказанной Йохеном Мейбаумом.

Отпирая дверь, Роберт услышал телефонный звонок.

Женский голос сообщил, что говорит секретарь господина Широкого, она соединяет с господином Широким.

— Доброе утро,— тут же произнес господин Широкий,— надеюсь, я не слишком рано?

— Зависит от того, что вы от меня хотите,— ответил Роберт,— если речь, то слишком поздно. На речи я принимаю заявки не меньше чем за полгода.

Господин Широкий неуверенно хохотнул и сказал, что нет, говорить он будет не о речи, хотя вполне может предположить, что Роберт превосходный оратор, он внимательнейшим образом следит за его статьями и давно уже хотел с ним поговорить. Есть у них один проект, который, сдается ему, заинтересует Роберта, работа как раз для него — документальный фильм о концерне Кринтеля, об этой мерзкой фабрике лжи,— фильм разоблачительный, со всеми причиндалами, и название у них уже есть, хотя, разумеется, ну, само собой разумеется, это всего лишь предложение: «На словах — свобода печати, на деле — прокрустово ложе». Если Роберт придумает что-нибудь интереснее, они с радостью согласятся, хотя и сами немало попыхтели, во всяком случае, надо это дело обсудить. Когда у него найдется время?

— В ближайшее время — никогда,— ответил Роберт.— Мне очень жаль, но у меня уже есть работа. Может, осенью?

Новелле фрау Тушман не поздоровилось в рецензии Роберта. Опять заведут канитель о стиле его критики; Роберт даже слышал, как ворчит редактор: «Слишком ты резко. От нас ждут помощи. Хотелось бы знать, откуда у вас, у молодых, столько желчи».

Особенно раздражали Роберта все эти лакированные образы в рассказе; гладкие, как бильярдные шары, они катились именно туда, куда того хотела фрау Тушман. Конечно, для этого тоже нужно кое-что уметь, и Роберт не мог не признать, что автор неплохо владеет кием, ловко наносит удары и рассчитывает угловые. Но это именно игра в бильярд, прикладная математика, и все потому так сходится, что шары круглые и катятся по обтянутому сукном полю.

Математика — вещь превосходная; благодаря математике можно разрешить проблемы куда более важные, чем рост Люцифера в локтях и местонахождение ада; математика помогает в бильярде и при других жизненных обстоятельствах, но написать с ее помощью новеллу никак нельзя. Ведь в новелле речь идет о жизни, а в жизни то и дело встречаются рытвины и ухабы, как у

людей бородавки и щербинки. «У наших людей нет щербинок»,— скажет редактор, и, только когда кругом заворчат «ну, ну», он поправится: «Конечно, кое у кого, может, и есть, но разве это типично? Мы должны ориентироваться на новое, а новое — это человек без щербинок».

Секретарь редакции добавит: «Образно говоря, конечно!» — и будет настаивать на решении, которое в конце концов и примут: «Заголовок помягче, и с богом! Нам ведь нужна борьба мнений!»

Кажется, когда Роберт пришел на РКФ, понятия «борьба мнений» не существовало. Но может, стоит порыться в памяти, подумал он, дело, конечно, не в понятиях, а в сути явлений, в позиции, какую ты занимаешь по тому или иному вопросу.

Если он не ошибается, понятие это, во всяком случае в науке и искусстве, пришло на смену другому понятию — «критика и самокритика» — и означало, как бы это сказать, более спокойный, что ли, вариант спора.

Роберт пометил в блокноте: «Критика и самокритика — борьба мнений?» — и обвел красной рамкой. Никогда не мешает записать то или иное воспоминание. А вдруг именно в этих воспоминаниях окажется зародыш тех мыслей, которые он потом разовьет в актовом зале? Если ему удастся показать, что им пришлось всему учиться заново, даже искусству быть благоразумнее в спорах, это уже кое-что.

Никто не скажет, что критика и самокритика — нечто неблагоразумное; неблагоразумным был лишь метод их применения. Стукнут кого-нибудь по голове и совершенно искренне считают, что тот, даже давая сдачи, предварительно признает: критика не лишена рационального зерна.

Дружба Роберта с Трулезандом началась тоже с критики и самокритики.

Когда Роберт вышел из экзаменационной, на него набросились, почему он пробыл там так долго.

— Небось размусоливал историю своей жизни,— предположил парень, который уже раньше задирал Роберта,— ну и как, все рыдали?

Шея у него была обмотана толстым и немыслимо длинным шарфом. Роберт потянул за один конец, желая вытащить парня из толпы, но тот возмутился:

— Руки прочь от трудов моей бабушки! Она все петли пересчитает, когда я вернусь.

— Лучше бы она тебе носовой платок в карман сунула.

Тут вмешались девчонки. Роберт мог бы это предвидеть — у парня были густые черные кудри. Одна, худющая, ровесница Роберта, заявила, что, мол, нечего сказать, хорошее начало, так и

весь коллектив развалить недолго, а какая-то малышка заметила, что Роберт не только самый старший здесь, но и самый длинный.

Кудрявый отодвинул ее в сторону.

— Все в порядке, Мышонок, не бойся за Трулезанда, Трулезанд не оплошает, Трулезанд недаром плотник.— Он решительно зашагал по коридору, и остановились они лишь возле аудитории теологов.

Аккуратно заложив концы шарфа за спину, Герд спросил:

— Ну?

— Что значит «ну»,— огрызнулся Роберт,— вот двину, и влетишь к малым пророкам.

— Таких я еще не знаю, кто это?

Роберт потащил его дальше.

— Пошли отсюда. А вообще-то, в чем дело, чего ты привязался?

— Я привязался? Просто я тебя критикнул, приятель. Ты задержал нас, вот я тебя и покритиковал.

— Ну, дела!— протянул Роберт.

На лице Трулезанда отразилось беспокойство.

— Ни на грош самокритики,— констатировал он,— ты, брат, еще хлебнешь горюшка. Ты что, и правда не знаешь, как это делается? Так вот, я критикую тебя, а конкретно я говорю: раззява. Теперь твое дело обдумать, почему ты раззява. Когда сообразишь, выступи и скажи... Ну, как думаешь, что тебе надо сказать?

— Не мели чепухи,— буркнул Роберт.

Трулезанд мрачно глянул на него.

— Надеюсь, они тебе все начистоту выложили? Сказали, каков твой уровень? Придется взять над тобой шефство, так и быть, беру это на себя. Итак, в чем дело, друг, почему тебя отвели, ты что, из буржуев?

Какая-то девушка, выглянув из-за угла, крикнула, что вызвали Трулезанда. Роберт расхохотался, а Трулезанд, прежде чем последовать за девушкой, важно произнес:

— Критика попала в точку!

Роберт и сейчас слышит, как он это сказал, четко выговаривая согласные, натужным басом. Он и впоследствии, припрут его, бывало, к стенке, вполне серьезно признает, что критика попала в точку. Правда, после этого, опираясь на самодельную, но крепко сколоченную моральную платформу, он неумолимо, с чистой совестью и без излишних рефлексий давал сдачи.

На РКФ Трулезанд пришел по доброй воле и в известном смысле благодаря самокритике. Сам он так об этом рассказывал:

— Вот, стало быть, зуб у меня крошился да крошился. Я — к

зубному. Объясняю ему, что и как, а он говорит: «Вы, кажется, тоже из Штеттина? Теперь там поляк сидит». И вздохнул. Я ему: «Господин доктор, поляки в Щецине, так он теперь зовется, надо бы нам уже привыкнуть». А он: «Это,— говорит,— нелегкая задача». Ну, думаю, со шпателем во рту тебя не переспоришь, и с трудом спрашиваю, что у меня с зубом. «Кариес,— отвечает он,— кариес у вас». Ну я, конечно, хочу знать причину кариеса. Он полагает, что от недоедания. «А причина недоедания, в чем вы ее видите?» — спрашиваю я. Тут уж он мне эдак покровительственно отвечает: «Это ведь вам известно — последствия войны!» Тогда я ему задаю главный вопрос: «Что же является причиной войны?» Он было замолчал, а потом сообразил и говорит: «Ответить на это — задача нелегкая». И я решил ему малость помочь. Такой барьер ему самому не преодолеть из-за ограниченности сознания. Говорю ему: «Научными исследованиями доказано, что причина войны, о которой вы говорите,— империализм, то есть высшая стадия капитализма, вот она, причина». Он как раз подбирал бор и покосился на меня через плечо с таким выражением, что — вижу я — рад-радешенек мне ответить: «Если я правильно понял, виновник вашей зубной боли — капитализм?» — «Да»,— отвечаю я, но чую, сейчас он мне выдаст! Он и выдал: «Выходит, в средние века кариеса не было. И когда наступит социализм, зубная боль прекратится. Как вы полагаете, дело ограничится зубами или же воспаление среднего уха и ангина тоже исчезнут?» Я бы и тут кивнул, но дело рискованное. Представляете, у нас уже социализм, а я встречаюсь с доктором на улице, и он говорит: «Радуйтесь, у вас социализм, но, скажу вам по секрету, зубы у людей все еще болят. В чем же теперь причина, как вы думаете, ведь вы так хорошо разбираетесь в причинах».

— Значит,— сказал кто-то из слушателей,— ты захотел стать зубным врачом?

— Хотел поначалу,— ответил Трулезанд,— но как же быть с проблемами, которые не лезут в рамки профессии? Не-ет, ребята, смотреть надо в корень. Вот Трулезанд и решил изучать философию. Тогда он и с зубным врачом поспорит.

Всякий раз, когда Роберт вспоминал о Трулезанде, его начинала мучить совесть. И сколько ни твердил он себе, что это глупо и сентиментально, ничего с собой поделать не мог. У Роберта было много друзей, но ни раньше, ни уж тем более после не было такого, как Трулезанд. Их дружба началась не с драмы и не с подвига, ни один из них не выносил другого из огня и не

вытаскивал из ревущей пучины, но можно было не сомневаться: и тот и другой сделали бы это не задумываясь. Только время их разлучило. Время и обстоятельства — бессмысленно питать к ним злобу. И все-таки Роберт питал злобу, потому что, потеряв Трулезанда, он ощутил пустоту, и пустоту эту ничто не могло заполнить. Роберт ощущал ее, когда его одолевали заботы и когда он попадал в беду, но еще больше, когда выпадали счастливые дни. Достаточно было сказать Трулезанду: «Эх, старина!» — и в ответ услышать: «Да, старина»,— чтобы уяснить себе ситуацию, по достоинству ее оценить и занести в общий список воспоминаний, откуда черпай потом сколько душе угодно: «Помнишь, как епископ пил с нами томатное вино твоего шурина и уплетал салат моей тётушки?» — «Еще бы, старина!»

Когда через месяц-другой после экзамена они снова встретились, оказалось, что и Трулезанд не забыл их первого знакомства. Стоя на платформе в Рибнице, он спросил Роберта, высунувшегося из окна вагона:

— Эй, Длинный, местечко найдется?

Багаж его состоял из битком набитого вещмешка и лакированного дамского чемоданчика, который он сразу, как тронулся поезд, открыл. Протянув Роберту крутое яйцо и хлеб с салом, он сказал:

— Бабуся и тетечка наказывали: «Будь умницей, делись с товарищами, тогда, может, кто и подскажет». Потому как я тугодум.

— Все заранее решено в кругу семьи,— отозвался Роберт.

— Ты что, дома не ладишь?— спросил Трулезанд и, когда Роберт кивнул, продолжал: — А я лажу. У меня есть только дядя, тетя и бабушка, и они прекрасно понимают, что меня надобно баловать — ведь я сирота. От родителей мне осталась одна отцовская ночная рубашка, все остальное сгорело вместе с ними в Штеттине. Я тебе сразу про рубашку говорю, чтобы ты не задавал дурацких вопросов, когда увидишь ее. Кто не знает этой истории, удивится. Рубашка висела на водосточном желобе, на единственной уцелевшей стене нашего дома. Вот бабуся и твердит, что это, мол, неспроста и чтоб я всегда в ней спал. Вздор, конечно, но она ничего, удобная, надо только к ее виду привыкнуть.

Он сдвинул чемоданчик в угол скамьи, постелил на него свой длиннющий шарф, лег и заснул.

Приехали они довольно поздно. На дверях всех гостиниц, куда бы они ни толкнулись, висели дощечки с надписью: «Свободных мест нет». Какой-то пьяный посоветовал заглянуть в «Хохотунью». Там им предоставили чердачную каморку, в кото-

рую даже мешок Трулезанда с трудом втиснулся. Откинув одеяла, они убедились, что простыни надо снять и спать одетыми. Но только улеглись, как в дверь забарабанили. Двое полицейских потребовали их паспорта.

— А что, собственно, случилось?— спросил Трулезанд, однако полицейские не удостоили его ответом.

— Бдительность прежде всего,— сказал понимающе Трулезанд.— Все же, когда спуститесь, посоветуйте приятелю с барабаном колотить потише, здесь люди спят.

Младший полицейский обернулся в дверях:

— Это наш виртуоз-барабанщик Бобби Нейман, вряд ли он откажет себе в удовольствии. Да откуда ему знать, что в этом доме кто-то и вправду спит? Здесь это не принято.

В течение ночи им еще дважды приходилось предъявлять паспорта, а виртуоз Бобби Нейман в самом деле не пожелал отказаться от своего удовольствия и так колотил в барабан, что стропила дрожали. Ничего не поделаешь, пришлось рассказывать друг другу разные истории.

— В Рибнице, где ты сел,— сказал Роберт,— я как-то собаку купил, ирландского сеттера, длинношерстного рыжего пса. Он был француз и звался Ирак. В жизни не встречал такого глупого пса. Ох, и глуп же он был! Судя по его родословной, написанной по-французски, можно было надеяться на бог весть какое чудо. Но псина был просто глуп. Я заплатил за него, как условился в письме отец с его хозяином, который привез собаку из Франции. И пассажирским поездом отправился из Рибница в Парен. Тридцать пять станций, и на каждой входят разные пассажиры и говорят одно: о, какой прекрасный пес, а как его зовут, как тебя зовут, поди-ка сюда, дай лапу, а что он ест, у нас тоже был такой, очень похож, но немного другой, а он дрессированный? Ах, какой преданный взгляд, у собак вообще преданный взгляд, у нас был тоже такой преданный пес, вы и представить себе не можете, какой он был преданный, можно его погладить, он не кусается? Нет, он не кусался, он здоровался с каждым пассажиром, будто много лет вместе ножку задирали на Эйфелеву башню. Ну и глуп же он был. Отец из сил выбивался, чтобы разозлить его, и что же? Пес погиб. «Ирак,— учил отец пса, а разговаривал он с собаками как с людьми.— Ирак, заруби себе на носу, у всех великанов, кто тебя ласково привечает да цокает, на уме одно лишь дурное. Собаке не след ждать от человека хорошего, человеку, впрочем, тоже, но это тебе без интереса. Вот, стало быть, ты перво-наперво оскалься, а потом бросайся на них, для братанья всегда время найдется». Ну и что же, когда глупая скотина наконец все уразумела, что же она сделала? Бросилась на

паровоз, хотела вцепиться в колеса. Ради нее-то я и ездил в Рибниц.

— Ну, Рибниц за это не в ответе,— заявил Трулезанд,— мне там нравится. Не так, как в Штеттине, но со Штеттином покончено, а с научной точки зрения тоска по родине, верно, полная чепуха. Ты что-нибудь научное про эту самую тоску читал? Думаю, нас еще ждет много удивительного. Возьми, к примеру, любовь: в небесное предначертание я все равно никогда не верил. А недавно убедился, что с точки зрения науки это не что иное, как исторически сложившаяся конвенция плюс биология. У нас лекцию такую читали: «Знаешь ли ты самого себя?» Так прямо и сказали: исторически сложившаяся конвенция — это значит соглашение плюс биология. Ну, тут уж я удивился. Я-то думал, что в любви есть нечто такое, особенное. Оказывается, ничего особенного, все вполне объяснимо. У тебя есть девушка?

— Да,— ответил Роберт,— только к ней с историческим соглашением да с биологией лучше не соваться, тем более с биологией.

— Стало быть, с небесным предначертанием,— понимающе заявил Трулезанд.— Послушай-ка, может, она в бога верует? Знаешь, старина, поостерегись, я про это такое знаю, что ахнешь. Есть у меня тетушка, не та, у которой я живу, а другая, тетя Мими. Собственно, каждому все понятно, раз тетю зовут Мими, хотя с научной точки зрения она не виновата, что стала теткой и что зовется Мими. Набожность тети Мими не уступит, пожалуй, глупости твоего пса. Если она куда ходила, так только с разрешения пастора. Однажды устроили там благотворительный бал, и тетя пошла, участвовала в лотерее. Там-то с ней и познакомился дядя Удо, представляешь: тетя Мими и дядя Удо? Ну, что из этого могло получиться! Шесть лет они были обручены и четыре года женаты, а детей все нет и нет. Ну, они к пастору, а тот сказал, пусть-де к врачу обратятся. Они к врачу! Ох, брат, как представлю себе тетю Мими и дядю Удо у врача! Они ему все рассказали, все беды выложили, а тот их подробно расспросил. Во всяком случае, в семейные круги просочился слушок, будто доктор объяснил им, что одними молитвами в этом деле не обойтись... Нет, ты представь: год за годом стояли на коленях у кровати и думали, что этого довольно! А твоя тоже из эдаких?

— Ну и вопросы ты задаешь!

Дружба между Робертом Исвалем и Ингой Бьеррелунд для всех была загадкой — и для подруг Инги и для друзей Роберта, а прежде всего для них самих. Пересуды обычно кончались

банальным замечанием, что противоположности сходятся не менее часто, чем натуры родственные.

Началось все с резкой неприязни. Роберта послали в парен-ский интернат чинить электропроводку.

— Задержишься там подольше,— учил его мастер,— заведение принадлежит «Народной солидарности». Я тоже народ, а солидарность происходит от слова «солидный», вот мы и поможем себе, выписав солидный счет. Ну, валяй, да не забудь о счете!

Комнаты интерната были переполнены, а школьники болтливы и любопытны. Они глаз не спускали с Роберта, а когда он пыхтел, отодвигая их двухэтажные кровати от стен, чтобы добраться до проводки, стояли как вкопанные и только канючили, чтобы он был поосторожнее с картинками.

Девчонки были не лучше. Принимались спешно убирать белье, прежде чем впустить Роберта в комнату. А говорили они так вычурно, что Роберт, обращаясь к ним, невольно впадал в не свойственный ему резкий тон. Он спросил какую-то школьницу, что делает ее отец, а та ответила, что он человек умственного труда, головой работает.

— А, понятно, в цирке на голове ходит! — воскликнул Роберт.

И с тех пор звал интернатских «циркачками».

Отец Инги Бьеррелунд был пастором. Его портрет стоял на ее тумбочке — строгий человек в брыжах.

— Нельзя ли убрать сего благочестивого господина? — попросил Роберт, когда отодвигал мебель.

Никто из девиц с места не сдвинулся, но одна сказала:

— Это Ингин отец.

— И трогать его, выходит, нельзя?

— Инга этого не любит.

— Инга мне нравится,— усмехнулся Роберт,— кто из вас Инга?

Девочка открыла дверь в соседнюю комнату и осторожно позвала:

— Иди сюда, тут тебя спрашивают.

«Ага,— подумал Роберт, увидев девушку,— вот какая она, эта Инга, а папаша у нее — пастор!» Инга, видно, была старше других школьниц, великовозрастная девица лет двадцати, не меньше.

Гладкие светлые волосы коротко подстрижены, брови над серыми глазами чуть изогнуты и только рот — женственно-мягкий. Костюм ее сразу не понравился Роберту. Синяя юбка с красным кантом. «Что за юбка,— подумал Роберт,— точно форма пожарника, пожарная юбка и матросская блуза, ну и вкус!»

— Загвоздка у нас тут,— сказал Роберт,— надо отодвинуть тумбочку метра на два, на нее придется положить инструмент. Хорошо бы портрет господина духовника ненадолго убрать. Но вы этого не любите, как я слышал. Вот и помогите мне.

Девушка положила фотографию в ящик, расстелила на тумбочке газету и собралась было идти.

— Впрочем, я совсем забыл — здравствуйте.

— Здравствуйте,— ответила она и вышла.

Роберт без особого рвения принялся за работу.

— Подвернется случай — принесу вам розетку,— пообещал он,— при свете этой коптилки на потолке учиться немыслимо.

Случай подвернулся назавтра. Роберт пришел к ним после уроков.

— Здравствуйте, фрейлейн пастор,— сказал он,— а где же остальные цыплята, вернее, где же цыплята, вы уже, надо думать, не цыпленок.

На ней снова была пожарная юбка, и Роберта зло взяло, хоть он и сам удивлялся, какое ему до этого дело.

Она собрала свои книги, но он предупредил:

— Из-за меня вам уходить не обязательно. Я работаю тихо. Или, может, вам стихи учить надо?

Она неуверенно села и продолжала колдовать линейкой и циркулем.

Роберт подсоединил провод к выключателю, выгреб из кармана розетку и скобки, но, прежде чем приколачивать, сказал:

— Извините, я, кажется, пообещал невозможное. Придется немножко постучать, но потом опять буду паинькой, постараюсь поскорее все сделать.

Она отложила циркуль, скрестила руки на груди и стала наблюдать за его работой.

— Ну вот,— сказал он,— готово, можете снова чертить. Впрочем, один вопрос: почему это вы в школу ходите? Не могу себе представить, чтобы вы столько раз засыпáлись...

— Засыпалась?

— Ну, проваливались, оставались на второй год. Не могу даже подумать о вас такое.

— Большое спасибо! Нет, я два года не ходила в школу: пришлось работать у крестьянина по хозяйству, мы у него и живем теперь.

Роберт отложил инструменты в сторону и подсел к ее столу.

— Перекур... Так почему же это, позвольте узнать? Не хватает пасторского жалованья или они вообще не получают жалованья?

— Мой отец умер.

— Мой тоже. Погиб?

Девушка посмотрела на Роберта долгим взглядом и сердито сказала:

— Можно и так сказать, господин электротехник, хотя кое-кто говорит, что нет. Но я говорю — погиб. Он был проповедником в соборе в Кёнигсберге. Когда пришли русские, он встал в дверях, не пускал их через порог. Тогда они выстрелили. Стало быть, он погиб. Вот так, господин электротехник!

— Черт побери,— буркнул Роберт и принялся за работу.

Когда он прощался, девушка едва ответила.

Вечером он спросил об Инге у мужа своей матери. Нусбанк махнул рукой и завел свою обычную канитель, чем так отравлял Роберту жизнь в семье.

Дело совсем никудышное, сказал Нусбанк, загубленное с самого начала; если бы он, Нусбанк, раньше здесь работал, этого бы не случилось, но в то время он, как известно, занимался земельной реформой, вот тут-то все и случилось. Всегда так, если сам обо всем не позаботишься. Нет, девушку нельзя было пускать в школу. Допущена большая психологическая ошибка, Инга много старше остальных и чувствует себя несчастной. Хорошая профессия — вот что ей нужно. В двадцать лет ходить в школу — ну не глупость ли! А еще история с папашей. Он, Нусбанк, понятно, выяснил обстоятельства дела. Нацистом пастор не был, зато церковный фанатик — из тех, что еще в живого дьявола верят. В лагере Нусбанк знавал таких, но те видели Вельзевула в коричневорубашечниках, что, по сути, верно, хоть в жизни это им не очень помогало. Так вот, проповедник Бьеррелунд — кстати, шведская фамилия, предок попал сюда, верно, как полковой священник Карла Двенадцатого, а Померания, кажется, была когда-то шведской, она недалеко ведь от Восточной Пруссии, и семья его, может, оттуда, да что нам до его предков,— во всяком случае, Бьеррелунд умер хоть и не естественной смертью, но вполне объяснимой. Взрослый человек, а так поступил! Дочь теперь носится со своим несчастьем и в каждом советском солдате видит его виновника. К ней нужно проявлять чуткость, иначе пропадет девица. А мамаша ее, госпожа проповедница,— настоящий медный лоб, сидит в каморке у крестьянина и заставляет девчонку гнуть спину. Внушила ей, что ждать им недолго — смерть пастора, мол, будет отомщена. В этом смысле психологически верно, что девчонку у нее забрали и устроили в школу.

На другой день Роберт собрал из старых настольных ламп одну почти совсем новую и отнес в интернат.

— Розетка без лампы,— сказал он,— нечто платоническое.

Мне такое не по душе.

— Сразу видно,— сказала девочка, которую все называли Плюшка.

— Только не надейтесь понапрасну,— пробормотал Роберт.

Все девушки, кроме Инги, вскоре приручились и даже стали по-человечески разговаривать. Им бы очень хотелось сходить в цирк, поделились они с ним; они пытались уговорить Ингу, но она ответила, что в цирк ходить глупо, она не может убивать вечер на глупости.

Роберт заявил, что называть цирк глупостью — это и есть глупость, цирк — чудесное развлечение, и, если бы не работа, он обязательно пошел бы с ними.

— А вы сходите вечером,— посоветовала Плюшка,— и прихватите Ингу.

Инга сердито сверкнула глазами на девочку, а Роберт почувствовал, что краснеет, и поторопился уйти.

В этот вечер он не пошел с Ингой в цирк, зато на следующий решился. Дождавшись, когда она вернется из школы, он сказал ей:

— Вполне можете пойти со мной. Никто ничего не подумает, да и подумать-то нечего. Там есть обезьянки, ведь вы тоже любите обезьянок, правда? Или нет?

— Люблю,— ответила Инга,— обезьянок я люблю.

Но он чуть все не испортил. Места их были возле самой решетки, отделяющей зрителей от хищников. Когда белых медведей погнали на манеж, один остановился и, сунув морду между прутьями, обнюхал Ингину ногу. Она испугалась, и Роберт поменялся с ней местами.

— Видимо, медведю захотелось получше разглядеть пожарную юбку,— усмехнулся он.

И тотчас понял, что совершил ошибку — девушка словно окаменела и за представлением следила уже без всякого интереса.

В антракте Роберт попытался загладить промах.

— Надо вам сказать,— пробормотал он,— что не мастак я обходиться с девушками, а главное — привык в лагере черт-те что болтать, вот и срывается с языка, что ни подумаю. Ну, не сердитесь, пожалуйста, это ведь цирк!

Она чуть улыбнулась, потому что слово «цирк» он произнес как заклинание, и спросила:

— Вы были в плену?

Он кивнул и рассказал немного о себе; с этой минуты она начала по-другому к нему относиться, разговорилась, стала общительней, доверчивей.

И только много позже Роберт понял, что ее симпатия основана на недоразумении: она считала его пострадавшим, такой же жертвой, как она и ее отец.

Роберт, сев в постели, спросил Трулезанда:

— Спишь?

— Боже упаси, пытаюсь догадаться, какой системы придерживается барабанщик. Какой-то загадочной, но, может, в этом и весь трюк? А ты заснул?

— Нет, задумался.

— О девушке?

— О девушке? Вот уж нет, просто вспомнил еще одну историю о собаке, ведь отец был помешан на собаках. В газете мы как-то прочли: «Продается сторожевая собака, доберман, чистокровный». Мы с отцом поехали. Дело было летом, шагать пришлось далеко да все по солнцу. Хутор лежал в стороне от дороги, мы подошли, а за забором тишина, ни человека, ни собаки не видно. «Хозяева, верно, сено косят,— решил отец,— а добермана с собой прихватили. Может, бабуся дома, скажет, где их искать». Зашли мы во двор, но и там ни души, только собака лежит на солнышке, дремлет. Что там дремлет — храпит, да еще как! «Ну-ну,— сказал отец,— под сторожевой собакой я понимал нечто иное, но, может, они ее перекормили, да еще жара». Мы подкрались к псу, как индейцы, с подветренной стороны. Отец с опаской ткнул добермана палкой раз, другой, третий, только тогда собачка наконец поднялась да так зевнула, что я чуть с копыт не свалился. Тут захотелось ей поиграть отцовской палкой, но она быстро из сил выбилась и, повалившись на другой бок, снова захрапела. Отец прицепил ей к ошейнику записку: «А вашего сторожевого пса пустите лучше на колбасу». Мы потом часто вспоминали собачку.

— Ты любишь отца?

— Любил.

— Ах, да... Сказать тебе что-то? Страх меня берет.

Роберт пошарил в кармане, достал сигарету и, закурив, ответил:

— Не хнычь, меня тоже.

Трулезанд сел, поджав ноги, на постели и закутался в свой широченный дождевик, а Роберту припомнилась детская песенка: «Гномик из лесу пришел в плащике пурпуровом».

Он попытался пропеть ее мысленно в ритме Бобби Неймана, да ничего не вышло. Тогда он спросил:

— Ты в школе хорошо учился?

— Если говорить честно,— ответил Трулезанд,— то кое-как. Середка на половинку. Мне все равно было. Сознательности не хватало, сам понимаешь. Теперь дело другое. Теперь придется вкалывать. А то вернусь домой, спросят меня: «Ну, как учишься?» — что ж мне отвечать: середка на половинку? У них я ведь был не середнячком, а передовиком. Им и невдомек, чего здесь только не требуют — химию там и все такое...

Страх перед будущим заставил их проговорить до утра, и потом им еще не раз бывало страшно, особенно Трулезанду. Ему, правда, ученье давалось легче, чем многим другим, но мешало жить беспокойство — как бы не опозорить свой цех и самому перед ним не опозориться. Под цехом он разумел вообще всех плотников. Он всегда был готов схватиться с каменщиками и слесарями и постоянно обсуждал вопрос, чья профессия важнее не только для строительства домов, но и вообще для развития человеческого общества. Трулезанд не стесняясь приводил в качестве аргумента даже тот факт, что Иисус из Назарета был сыном плотника, и если в целом евангелие с научной точки зрения не выдерживает никакой критики — «встань, возьми постель твою и ходи» и тому подобная чепуха,— то все, что касается плотника Иосифа, не лишено смысла.

Однако нынешняя профессия Герда Трулезанда так же мало имеет общего с плотничеством, как и с отцом Иисусовым. Хотя к временам библейским она все-таки ближе, чем к плотницкому ремеслу. Но и с философией, от которой Трулезанд ждал ответа на скептические вопросы зубного врача, его профессия оказалась связанной лишь косвенно.

А виновен во всем Роберт Исваль, и вот пришел конец долголетней дружбе. Время и стечение обстоятельств — это, конечно, заслон от укоров совести, но заслон чересчур тонкий, он прикрывает, но не спасает. Время и стечение обстоятельств сыграли свою роль. Но когда же бывало иначе? Отговорка слабая, особенно если вспомнить, что и времени и обстоятельствам не столько подчинялись, сколько заставляли их служить себе — так поступил и Роберт Исваль. Роберт разыграл из себя судьбу, господа бога и историческую необходимость, но совершил деяние свое из мелких и злобных побуждений. Помимо его воли, все кончилось благополучно, хотя это вовсе не заслуга Роберта. В самом-то главном все окончилось совсем не благополучно: дружбе, связывавшей двоих людей, которые вынесли бы друг друга из огня и вытащили бы из ревущей пучины,— этой дружбе пришел конец.

Прежде чем держать речь, думал Роберт, необходимо внести ясность в отношения с Трулезандом. Нельзя же взобраться на трибуну и пропеть оду РКФ и нашим лучшим годам, зная, что внизу, среди почетных гостей и ветеранов, сидит Трулезанд и в упор на тебя смотрит. По его глазам нетрудно прочесть, что́ он о тебе думает и чем обернулись для него эти «лучшие годы». А Роза сидит неподалеку от Герда, вернее всего, в одном с ним ряду и тоже смотрит на тебя в упор. Но в том-то и закавыка: вполне возможно, что они будут сидеть рядом, что у них все обошлось и они до сих пор вместе, возможно, однако, что в этом сказывается дисциплина, ведь именно с помощью дисциплины ты и загнал их туда, куда хотел.

Во всяком случае, дальше так продолжаться не может. Ты слишком долго прятал голову под крыло, теперь изволь отвечать. А может, ты и в самом деле трусишь?

Роберт позвонил в редакцию. Секретарша обрадовалась:

— Вот, на ловца...

Но Роберт не подхватил шутки:

— Вернер у себя?

— Он как раз и хотел с вами поговорить. Переключаю.

— Алло, хорошо, что ты позвонил,— осторожно начал Вернер Кульман,— хочу с тобой потолковать, и, откровенно говоря, дело срочное.

— Выкладывай,— перебил его Роберт,— только дай сначала мне сказать. Понадобится тебе что-нибудь в Лейпциге — посылай меня. Очень уж мне нужно в Лейпциг, приятель там живет, сто лет его не видел, а теперь он мне позарез нужен. Ну, что случилось, где горит? Гинденбург, что ли, умер?

— Ах, друг мой, откуда мне знать, что в мире творится? С Лейпцигом, думаю, уладим, постараюсь помочь. Но вот какое дело: не съездишь ли пока в Гамбург? Надо использовать материал о наводнении. Есть сигналы, что опять мелкий люд надули, и сигналы серьезные. На летучке я напомнил, что ты из Гамбурга, и мы решили послать тебя. Жаль, разыскали только сегодня. Не удивляйся, все уже готово, нужна лишь фотография для паспорта, можешь ехать скорым завтра утром.

— Вы умницы! — воскликнул Роберт и повесил трубку.

Он уложил чемоданчик и позвонил Вере. Она огорчилась — придется вставать раньше, самой топить и за покупками бегать да четыре вечера провести в одиночестве, к тому же еще беспокоиться за своего благоверного.

— Смотри не попадайся там, а то еще посадят.

Роберту пришлось все же немало побегать, и спал он неспокойно, хоть уверял себя, что случиться ничего не может и

придраться им не к чему, но он слишком хорошо знал, как бывает в том краю, который был когда-то его родиной.

Фонари на набережной Шиффбауэрдамм еще горели, когда поезд отошел от вокзала. Роберт, стоя у окна, сонными глазами смотрел на улицы и на беспокойных чаек на Шпрее, пока какой-то дом возле моста на Луизенштрассе не заслонил ему вид. Окна клиники «Шарите» уже светились. Там подымаются спозаранку, подумал Роберт, надо перестелить постели, измерить температуру: «Ах, сестра, я так плохо спал этой ночью!..»

Университет, граница, стена. Четырнадцать лет назад Роберт впервые переехал эту границу, но в те времена ее видно не было, она была условной, бесплотной, и он рассмеялся, когда в городской электричке ему объяснили, что они сейчас пересекли границу, границу между советским и английским секторами города Берлина. Какая же это граница для человека, который вернулся домой из чужой страны, из плена, домой, в Германию, а не в советский или английский сектор? Разве понимали люди, пересекавшие эту границу, словно меловую черту, разве понимали они, что такое граница!

Вот на Одере это граница — между пленом и свободой, между мальчишкой с винтовкой и взрослым человеком с чемоданчиком; но для воображаемой линии, пересекающей огромный город с людьми одинаковой национальности по ту и по эту сторону, для такой линии надо побыстрее найти более подходящее наименование. Граница — это нечто совсем иное, вот как у Гейне:

> И лишь границу я увидал,
> Так сладостно и больно
> Забилось сердце. И, что таить,—
> Я прослезился невольно.*

Тогда, за три дня до рождества сорок восьмого года, Роберт отнюдь не прослезился, во всяком случае, не здесь, в центре Берлина, между Фридрихштрассе и Лертским вокзалом. И на Одере глаза его тоже оставались сухими, хотя, как переехали мост перед Франкфуртом, внутри у него все-таки что-то дрогнуло: вот ты и дома, брат, понимаешь? Ну, как тебе тут? Хорошо ему было, отлично, и даже тыквенная похлебка в карантинном лагере не испортила ему настроения, и поезд с выбитыми стеклами из Франкфурта в Берлин, и руготня в переполненных вагонах, и шутки про Хеннеке, и намеки окружающих, что вот, мол, конец его привольной лагерной жизни без норм и сверхсмен, и уж меньше всего их дурацкие замечания о том, что,

---

* Отрывки из поэмы Г. Гейне «Германия (Зимняя сказка)» даны в переводе В. Левика.

миновав вон ту речную пристань, они переехали границу.

Теперь все было иначе. Теперь он научился смотреть в корень, видеть то, чего в те дни видеть не мог. Здесь действительно проходила граница. И дело было вовсе не в реке и не в стене, дело было в различии между тем, что совершается и что уходит в прошлое, что зарождается и развивается по ту и по эту сторону границы. И если была теперь причина прослезиться невольно, то причиной этой была граница, перерезающая Берлин.

Лертский вокзал, склады, Дом конгрессов, бойня, вот пролетела близко Колонна Победы, а далеко за ней видны Бранденбургские ворота, дворец Бельвю, Ганзейский квартал — знаменитые здания финна Аалто и немца Гропиуса, улица 17 июня — сразу в памяти костры из книг и бестии-комендантши, еще раз совсем близко Колонна Победы, еще раз совсем далеко Бранденбургские ворота, и Красная Ратуша за ними, и, правда — путь с Востока на Запад; путь из завтрашнего дня через сегодняшний во вчерашний, и наоборот, Технический университет, вольеры с медведями и обезьяны в клетках, и вот уже станция городской электрички «Зоологический сад».

В купе Роберта вошли четыре пожилые дамы. Их провожала пятая дама и молодой человек в черном. Роберту пришлось давать справки, не дует ли из окна и работает ли отопление; выяснилось, что для их багажа не хватает сеток, а цветы... куда же поставить эти прелестные букеты?

Роберт сбежал от них на перрон; купленная в киоске «Вельт» сообщала о новой фазе европейского движения за единство, а «Франкфуртер альгемайне» — о настораживающих нотках в последней речи британского премьера; «Зольдатенцайтунг» напоминала о солдатских могилах на Волхове, а «Бильд» тревожилась о счастье Фары Диба. Наводнение, по всей видимости, затерялось где-то на вкладных полосах. Роберт купил «Шпигель» и, заглянув в купе, где четыре старые дамы угощали друг друга апельсинами и печеньем, отправился в вагон-ресторан.

Он недолго сидел за столиком один. Господин в очках небрежно осведомился, свободно ли место рядом, уселся и тотчас объявил, что Роберт ему симпатичен.

— Утром, в семь,— ветчина, сыр, яйца, завтрак в английском стиле, что ж, вы умеете жить, а значит, не можете быть дурным человеком. Завтракай, как король, обедай, как крестьянин, ужинай, как нищий,— проживешь сто двадцать лет. А между делом съедай горсточку чернослива — и оставь заботы о функциях своего организма,— он сохраняет молодость и бодрость. Вы сочтете это за шутку, однако же я говорю совершенно серьезно, я

убежден в этом, и это убеждение составляет содержание всей моей жизни. Вы удивлены, вы отодвигаетесь от меня и хотите позвать официанта. Не нужно. Все в порядке — и со мной и с черносливом. Знаете ли, была на свете книга какой-то американки, Бетси, или Дороти, или Кэтрин такой-то, имя ничего не говорит, книга называлась «Яйцо и я», она имела неслыханный успех, в ней действительно речь шла только о яйцах и об этой Бетси. Видите ли, такую книгу мог бы написать и я, однако не «Яйцо и я», а «Слива и я», «Чернослив и я». Сейчас мне точно известно, о чем вы думаете: вот прилип, думаете вы. Не спорьте, я по глазам вижу, но не беспокойтесь, я не обижаюсь. Кто не имеет дела с черносливом, должен именно так думать, должен, обязан и, уж конечно, может. Но кто имеет с ним дело, тот мыслит иначе. Вот люди болтают об ананасе, но против настоящей сливы ананас чистый блеф, целлюлоза с сахарной водой, ловко обстряпанный кактус, кинофрукт, что я говорю — фрукт, киноовощ, стоит где-то после дыни. Вы едали дыню? Если нет, так не советую; если да, так и говорить не о чем. Не годится она для нас, немцев, не предназначена нам. Более подходит восточным и южным народам, с совсем другой нижней челюстью. Попробуйте вы, у вас сок побежит за ворот. Иное дело — слива. Будто нарочно для рта уродилась, форма — на радость потребителю. Вы можете возразить: а ядрышко? Ядрышко мешает, куда его деть, вот вопрос. Но я отвечу: это проблема мнимая, ее не существует. Сколько мы над ней пыхтели, мы, коммерсанты, но без глубокого психологического анализа мы бы, по всей вероятности, до сих пор не одолели это ядрышко. Проверьте себя, какие ассоциации вызывает у вас слово «ядро». Только весьма приятные и полезные понятия. «Ядровый» — превосходное, абсолютно положительное слово, как приятно похрустывает оно на зубах, это слово, и вот еще одно — «ядреный», одно из прекраснейших слов нашего родного языка. Вы сразу видите эдакого ядреного парня, проводника в тирольских горах, нос с горбинкой, задубевшая кожа. Быть может, вам милее не горы, а море? Тогда представьте себе море и обветренного морского волка, ядреного, со здоровенными кулачищами, и пронзительный крик чаек, и песню: «Пена, как снежные хлопья, летит до небес», и бравого рулевого Джона Мейнарда, и другого героя — Ника Рандерса. Целая галерея героических образов встает перед нами при слове «ядреный». А сочетание «ядровый немец» разве случайное? Вы же не думаете этого, языку ведь не свойственна слепая любовь, он осмысленно избирает свои привязанности. А «ядровый немец» — здорово сказано, лучше не придумаешь. Господи боже мой, сколько возникает у нас при этом представлений: Бисмарк, Барбаросса,

Лангемарк, «фольксваген», Лили Марлен, Скагеррак и Петра Краузе, Карл Великий, несмотря на Видукинда, ведь тот ошибался, он трагичен, как у Вагнера, и Вагнера мы тоже поставим в этот ряд. Фауст, конечно же, Фауст, и немецкая марка, и клеймо «Made in Germany», и Кёльнский собор, битва при Танненберге и битва в Тевтобургском лесу, братья Гримм и Людвиг Эрхард, последний, правда, зависит от вкуса, тут уж экономика замешана, можно его и опустить, но остальное все немецкое, истинно немецкое, «ядровое» так сказать, и этого у нас никто не отнимет. Возвращаясь к началу нашего разговора, скажу: в итоге ничего отрицательного в слове «ядро» вообще нет, стало быть, с ядром можно справиться. Кое-кто намеревался вывести сливу без косточек, все нынче возможно, апельсины такие уже давно вывели, однако мы отказались: ядро ведь вещь положительная, стало быть, оставим его. Трудности нашего дела в другом, и с помощью психологии вы быстро догадаетесь, в чем именно. Что представляет себе обыватель, услышав слово «чернослив»? Да все, что мешает продаже. Нечто высохшее, сморщенное, вялое, на ум обывателю приходят старые девы и кое-что весьма неприятное: мысли о запоре, ибо чернослив — вернейшее против него средство. Еще несколько лет назад вы могли наблюдать, как смущенно покупали женщины пакетик чернослива. Вот и попробуйте его продать. Тут уж без психологии не обойтись. Чернослив потребовал новой рекламы: юность, свежесть, необремененность, продвижение по службе, легкость, перспективы, солнечное тепло. Стоило громадных денег, зато теперь чернослив обрел совсем иной образ. И хорошо продается. Но все равно, надо быть все время начеку. Возьмем, к примеру, такой случай: один из наших гамбургских складов затопило, я не жалуюсь, многим залило в те дни подвалы, ничего не поделаешь, высшие силы, всему есть свой предел. Отправился я туда — десять дней назад дело было, — жуть, что там творилось, но войти в склад я смог, собственными глазами оценить беду, так вот, вхожу я и что же вижу? Вижу — молодой человек, резиновые сапоги, лампа-вспышка, одним словом, фоторепортер. Кладовщик ему открыл, и мальчик не жалел пленки. Я было подумал: что ж, пусть люди посмотрят, какая нас постигла беда, разбухших коров и перины в канавах уже показывали по телевизору и в газетах, а о нас, коммерсантах, ни слова, так почему бы и нет? Но потом я представил себе эти фотографии — и вы тоже, пожалуйста, представьте: огромное помещение полно грязной воды, а в воде... что это плавает там? Чернослив, да-да, чернослив, все рябит от черных точек в коричневой тине, в помине нет ни свежести, ни солнца, перед вами картина бедствия, а это не

продается. Такое фото разрушило бы с трудом созданное нами представление о черносливе и подтвердило бы отвратительные подозрения, которые вечно к нам питают. Поглядит, поглядит какой-нибудь отец семейства на фото и скажет жене: «Слушай-ка, Фрида, чтобы ни одной чернослывины в ближайшие полгода в доме не было. Гляди, вон на фото они плавают, держу пари, эти ловкачи выловят их, еще раз просушат, а нам эту дрянь есть. От них всего можно ожидать. И вообще, что ты нашла в этом черносливе, я еще в детстве его терпеть не мог». В подобной ситуации вспоминаются именно старые привычки. И наши усилия полетят ко всем чертям. Что же мне оставалось делать? Я купил у мальчика пленку, все равно нужно для страховки, и говорю ему: «Сходите, молодой человек, на склад к Хёку и Хукеру, воды там не меньше, и катастрофа не меньше, а фотографировать легче. У них-то ананасы, бананы, те куда заметнее на снимке, чем наши крошечные сливы». Он так и сделал, милый мальчик, я позже сам видел снимки в газетах и скажу вам: даже будь я хорошего мнения об ананасах, с того дня изменил бы его. Жутко было смотреть на эти фрукты-овощи в маслянистой воде, просто каша из ананасов... Выпьете рюмочку? Не помешает после плотного завтрака. Может, сливовую настойку или сливовицу? Господин официант!

— Не надо,— остановил его Роберт,— пожалуйста, не надо сливовицы, уж если пить, так коньяк.

Но почему же, подумал он, почему же «ядрышко», разве в сливе не косточка?

Они выпили еще по рюмочке коньяку, торговец сливами скис, а Роберт вернулся в купе, в самый разгар деликатного спора старушек.

— Нет,— говорила одна из престарелых дам,— нет и еще раз нет, Софихен, не может это быть Эльбой. Эльба ведь куда шире, милочка.

Но Софихен была уверена в своей правоте:

— Подумай, Эльза, какие еще текут реки в здешней местности? Речь может идти только об Эльбе. Не правда ли, молодой человек, мы сейчас переехали Эльбу?

Вопрос следовало решить быстро и удовлетворить обе стороны, иначе покоя до Гамбурга не будет.

— В известном смысле вы обе правы,— ответил Роберт,— с одной стороны, та река, которую мы пересекли, действительно Эльба, и в то же время нельзя сказать, что это Эльба. Река ведь не только устье, но и исток, и сколь мало была бы она тем, что есть, без истока и без устья, столь же мало она была бы самой собой без рукавов и притоков. А в данном случае мы переехали

не что иное, как один из притоков Эльбы, чье чрезвычайно близкое родство с Эльбой сказывается уже в названии, ибо называется он Эльда, обратите внимание — через «д»: догма, дом, дофин, дьякон или дромадер. Река эта, на мой взгляд, слишком мало себя ценит и слишком подавлена своим вторым наименованием — «приток». А ведь она играет видную роль в экономике страны. До того, как соединится у Дёмитца с той рекой, близость которой вы, уважаемые дамы, столь справедливо предположили и которая отличается от своей прилежной помощницы лишь одной буквой «б»,— сравните: Библия, богоматерь, богослов или булла,— итак, до того, как она соединится с другой, она пробегает значительный путь от Мекленбургских озер, неся на своей спине тяжело нагруженные суда. Воистину эта река — честная труженица, как и многие другие.

Неплохо у тебя язык подвешен, подумал Роберт, но уж «воистину» можно было опустить, чуть-чуть пересолил. Однако, увидев восторженные взгляды пожилых дам, он успокоился: «Есть же еще милые молодые люди,— прочел он в их глазах,— и такие образованные! Как радостно это сознавать!»

Про Эльду он действительно знал все. На Эльде стоит Парен, городок, в котором он прожил несколько лет, а из Дёмитца был Квази Рик. С ним, правда, частенько приходилось спорить, особенно о том, где Эльда красивее — в верховье или в низовье.

Квази был неистощимым на выдумки организатором, другого такого Роберт не знал. Когда Роберт и Трулезанд после барабанной ночи прибыли к месту назначения, Квази уже стоял на гигантской груде угольных брикетов у входа в общежитие и приветствовал их вдохновенной речью:

— Дружба, ребята! Ваша комната — тридцать вторая, на четверых, с видом на фруктовую аллею, урожай, правда, уже снят. Кладите барахлишко и спускайтесь. Не забудьте надеть спецовки — уголь надо сбросить в подвал.

— А чего ты, собственно, кричишь? — спросил Трулезанд.— Ты что, активист из ССНМ?

— Комиссар,— ответил Рик,— сам себя назначил. Никого не нашлось, кто бы назначил меня, и никого, кого бы назначил я. Я — первый, вы — вторые. Теперь мы можем выбирать. Но прежде надо, я считаю, сбросить в этот квази подвал брикеты... А ну, свободная немецкая молодежь, за дело!

Роберт и Трулезанд пошли искать свою комнату. Оказывается, в доме была раньше казарма, теперь в нем пусто. В коридоре валяется строительный мусор, полы не настланы, а в их комнате,

кроме двух двухэтажных кроватей, вообще ничего нет.

Они молча огляделись, а потом Трулезанд, подойдя к окну, сказал:

— Зато вид великолепный.

Роберт подошел и встал рядом, но никакого великолепия не увидел. Перед ними лежала пустынная площадь со взорванным бомбоубежищем, мокрая улица, теряющаяся среди оголенных садиков и опустевших огородов.

Трулезанд видел все в ином свете.

— Ладно, старина, сейчас ведь октябрь, дождь, чего же ты хочешь? А представь себе: убежища нет, вместо пустыря — футбольное поле, по улице прогуливаются хорошенькие девчонки, на деревьях висят груши и все такое прочее — ну что, скажешь, плохой вид?

— Вид действительно что надо,— согласился Роберт, и оба рассмеялись.

Они переоделись в спецовки — в повестке о начале занятий рекомендовалось захватить их с собой, чтобы поработать в общежитии,— и спустились к Квази Рику.

Тот уже раздобыл штук шесть лопат и большие вилы и поставил Роберта и Трулезанда к люкам.

— Если расписание точное, то через полчаса подоспеет еще народ, поезд из Пазевалька прибывает с минуты на минуту. Начнем, друзья, запевай!

— «Мама, угольщик пришел!» — затянул Трулезанд.

Но Квази возразил:

— Во-первых, это не пение, а пьяное бормотание, во-вторых, на этом далеко не уедешь, я лично помню только: «Пол гнилой и воздух вредный, тут живет сапожник бедный», а в-третьих, все это квази не подходит к субботнику.

— Эй, Роберт! — крикнул Трулезанд.— Слыхал? Он говорит, что у нас субботник.

Роберт подхватил в том же тоне:

— Вот как? Субботник? А что это такое — субботник?

— Субботник,— спокойно ответил Квази,— это фактическое начало коммунизма, добровольная работа. Слово «субботник» происходит от русского слова «суббота».

Трулезанд застыл с лопатой в руке.

— Как же это так, суббота — и вдруг фактическое начало коммунизма? Что-то не вижу связи.

Рик, как не раз поступал потом, сразу перешел на организационные вопросы.

— На мой взгляд, у нас уже квази вырисовывается тема первого молодежного вечера: «Субботник как фактическое нача-

ло коммунизма». А вы вообще-то члены ССНМ?

— Вот еще! — воскликнул Трулезанд.— Мы квазибаптисты.

— Да,— подтвердил Роберт,— и даже с легким уклоном в анабаптизм.

Но тут Трулезанд перегнул палку:

— Как ты думаешь, Роберт, не созрел ли он для Великого крещенья? У него какое-то похотливое выражение глаз.

Они отложили лопаты и, взобравшись на груду брикетов, принялись внимательно разглядывать Рика. Тот рассмеялся:

— Ясно, друзья, вы парни что надо. Включу вас в программу первого же вечера. Публика от смеха животики надорвет.

Они сбрасывали брикеты, а Трулезанд рассказывал:

— Серьезно, я знал одного баптиста, фанатичного малого, он все хотел отучить меня от куренья, представляете, какой труд — я ведь никогда не курил. Создатель, говорил он, не курил сам и человека к этому не приспособил. Тогда я его и спрашиваю, как же он представляет себе человека, приспособленного для куренья. А он без запинки отвечает: «У приспособленного человека обязательно была бы отдушина для дыма. Может, сзади, на шее, может, еще где, во всяком случае, каждому понятно, что рот и нос человека — никак не божье устройство для дыма». Парень меня убедил, я так и не начал курить... Сказал «не начал» и вспомнил: а когда же мы начнем?

Квази знал и это. Он знал, что торжественное открытие состоится вечером в главном корпусе университета, знал расписание на первый месяц и знал даже, что поначалу они будут заниматься «во вторую смену» в помещении гимназии.

— Гимназия...— протянул Роберт.— Это слово мне не по душе.

Но Трулезанд хладнокровно ответил:

— Почему же, все дело в содержании. К примеру, кулек — это форма, а содержание — это то, что в кульке: пышки или опилки.

— Или простокваша,— подхватил Роберт.

Но тут они позабыли о проблеме формы и содержания. У подножья угольной горы поставил свой чемодан краснощекий молодой человек в зеленой шляпе с перышком, непромокаемом плаще и высоких сапогах. Сняв шляпу, он спросил:

— Извините, пожалуйста, это Роберт-Блюмштрассе, двадцать три?

— Спросим-ка дворника.— И Трулезанд показал на Квази Рика.— Господин дворник, это Роберт-Блюмштрассе, двадцать три?

Квази сполз вниз, изучил номер над дверью и важно кивнул, с трудом сдерживая улыбку.

Парень в шляпе поблагодарил и поднял чемодан. Но потом снова поставил, еще раз снял шляпу и обратился к Квази:

— Раз вы дворник, не подскажете ли, куда мне теперь идти? Я приехал учиться.

— Комната тридцать два,— ответил Рик.

Парень снова поблагодарил и пошел.

А Трулезанд громко спросил:

— Это что же, господин дворник, разве теперь и мужчин на повитух учат? Ведь здесь, кажется, районная школа акушерок?

— Верно, школа акушерок,— ответил Квази со всей серьезностью, на какую был еще способен.

Парень застыл на пороге, обернулся, вытащил какую-то бумажку из кармана и, внимательно перечитав ее, все-таки вошел в дом.

До того как прибыла следующая партия их будущих однокашников, они успели сбросить в подвал изрядную часть брикетов, причем Квази без конца с восторгом повторял: «Повитухи, а повитухи!» Он приветствовал каждого новичка вопросом, не хочет ли он тоже стать повитухой, и только потом сообщал ему номер комнаты. Всех прибывших Квази разделил на четыре смены, и каждый будущий студент хоть раз да услышал от него любимое словечко «квази». Так оно к нему и прилипло.

В обед Роберт с Трулезандом отправились в город и свели первое знакомство с актовым залом Андреаса Майера; второе состоялось два часа спустя.

Они сидели, благоговейно затаив дыхание, в мягких креслах и слушали приветственную речь его превосходительства ректора.

Ректор выглядел так, как иллюстраторы сказок изображают бравых пекарей или мельников: грузный, толстощекий человек со звучным голосом. Он мог бы и не подчеркивать, что он не оратор, но многократно это подчеркивал. Нет, говорил он, он и в самом деле не оратор, ему приходится витийствовать лишь по долгу службы; он — минералог, занимается камнями, с малолетства интересуется предметами, создаваемыми природой на протяжении тысяч и миллионов лет, а посему поспешность, с коей протекают неминералогические процессы, приводит его в замешательство, и, ежели в его вступительной речи, произнести которую он вынужден как ректор, это замешательство скажется явственнее, чем он того желал бы, он просит своих юных слушателей благосклонно выслушать его и извинить. По этой не очень складной речи, продолжал он глухим голосом, не следует делать заключения о его отношении к собравшимся; он, правда,

считает, что непреходящую ценность имеет лишь то, что устояло под давлением не только столетий, но и тысячелетий. Однако человек ведь не камень, а порядки человеческие не окаменелость.

— Впрочем,— заключил он со вздохом,— не следует думать, что наша alma mater не менялась на протяжении столетий. Совсем недавно, в двадцатых и тридцатых годах шестнадцатого века, структура нашей высшей школы резко изменилась в результате новых веяний, под которыми я подразумеваю лютеранский дух. Этот дух так глубоко укоренился в наших стенах, что, как узнал я, познакомившись с одним манускриптом, «молодые люди из католических семей, вознамерившиеся изучать науки в нашем университете, не получали на то родительского благословения, ибо,— как говорится далее в этом документе,— отцы страшились, что лютеранская ересь, обретающая все большую силу, введет сыновей их в соблазн».

Более опытный и менее углубленный в свой манускрипт оратор заметил бы движение, прошедшее по рядам, как только студенты поняли, куда клонит минералог, но он ничего не замечал и не слышал шепота Трулезанда.

— При чем тут Лютер? Ведь он опубликовал памфлет «Против кровожадных и разбойничьих шаек крестьян» и все такое.

А ректор продолжал, вздыхая:

— Но сдвиг в образе мыслей не был приостановлен отеческими, в данном случае лучше сказать — патриархальными, тревогами, и если бы, выражаясь терминами моей профессии, сохранился срез того материала, из которого самое позднее в 1540 году был создан наш университет, то мы обнаружили бы в нем наверняка отражение закона Трептовского ландтага о введении Реформации в Померании. Содержание сего знаменательного решения высокоученый Фома Канцов изложил в следующей классической формулировке: «Так пусть же по всей стране громогласно проповедуется евангелие, и пусть покончено будет со всеми богопротивными папистскими вывертами и церемониями».

В зале, правда, не зашумели, но внимание слушателей на какое-то время отвлеклось. «При чем тут Лютер?» — этот вопрос взволновал не только Трулезанда. Молодые люди, сидевшие в зале, и не предполагали, как тесно сведет их в последующие годы судьба с Лютером и многими другими личностями, кому они не отвели никакого места в воображаемой картине нового времени, иначе наверняка осталось бы довольно много незанятых коек в доме номер двадцать три на Роберт-Блюмштрассе, и не только в комнате тридцать два, угловой, с видом на фруктовую аллею.

Они вновь прислушались к словам оратора, когда он высказал

одобрение нынешним порядкам:

— Однако мне кажется — и это утешает меня, — будто руководители столь своеобычного общественного устройства, в коем мы живем после кончины рейха, уделяют внимание не только различным новшествам, каковым является, например, ваш факультет, но и старейшим учреждениям, доказавшим свою необходимость. С удовлетворением узнал я о решении построить для минералогического института, долгие годы страдающего от недостатка помещения, новое здание.

Замечание ректора об «удовлетворении» было столь же излишним, как и его ссылка на ораторскую неполноценность; по мере того как профессор расписывал свои беды, из коих его вызволило решение Экономической комиссии, явилось и красноречие.

— Нас, минералогов, никогда всерьез не принимали, — оторвав впервые взгляд от исписанных листков, пожаловался он. — Камни собирать, говорили, камни собирать может каждый, и я очень хорошо помню смех представителей других факультетов, вызванный моим сообщением о создании нашим институтом монографии «Мел Померании», которую я оценил как крупнейшее научное достижение. Господа медики и филологи буквально умирали со смеху, мел — ха-ха-ха, что за таинственный предмет изучения, ха-ха-ха! Ничего удивительного, если нас постоянно куда-то переводили. Подумать только, между 1823 и 1860 годами мы вынуждены были шесть раз переезжать. То в старинный коллегиум, то в Черный монастырь и даже, уважаемые дамы и господа, в родовспомогательную клинику. Вот, стало быть, как.

«Родовспомогательная клиника» не осталась без отклика, однако ректор принял хихиканье за поддержку и закончил свою потрясающую импровизацию с удовлетворением человека, высказавшего все, что у него наболело, а конец манускрипта прочел тем же звучным голосом, что и начало. Он пожелал счастья и успехов слушателям, и хоть мало питал надежды, что кто-либо из присутствующих неофитов станет студентом его факультета, ибо минералогия — наука в высшей степени точная, и ее изучение требует более основательных знаний, чем те, что они получат в своем новом учебном заведении с его скоростными методами, и хотя действительно надежды на это мало, тем не менее они всегда могут рассчитывать на его, ректора, доброжелательность.

Аплодисменты были жидкими и неуверенными, но тем громче звучали они после речи следующего оратора, доктора Мевиуса Вёльшова, будущего руководителя их факультета, человека с глазами Старого Фрица.

Он произнес речь, от которой у них захватило дыхание и

согрелись сердца. Он хвалил мужество молодежи, штурмующей крепость — крепость гордыни, предрассудков, страха за свои привилегии, суеверия и классового чванства. Он обличал сопротивление одних и скепсис других, цитировал известные и неизвестные строчки, он высмеивал:

Мы не созрели,
Эту песню пели
Столетьями нам,
Темным, неученым...

Он вещал:

Свет разума и сила знаний —
Да станут всенародным достояньем!

Доктор Вёльшов говорил целый час, овация длилась более пяти минут.

Они с шумом покинули актовый зал, уверенные, что у них достанет сил сдвинуть горы.

Строгие фасады больших домов показались им теперь не такими грозными, а мраморные и бронзовые доски с именами знаменитых ученых, воспитанников университета, из которых даже им кое-кто был известен, пугали их меньше. Верно сказал с кафедры доктор Вёльшов — не то что доктор Мартин Лютер, предатель, вероломный соловей,— верно сказал он: университет отныне принадлежит им, и пусть кто-нибудь попробует это изменить.

— А «каменный» профессор,— заметил Трулезанд, когда они вернулись в общежитие,— кого хочешь запугает. То сравнивает нас со средневековыми богословами, то рассуждает о камнях, как наш брат о Марксе и Энгельсе.

Квази с возмущением кивнул и заявил, что необходимо организовать беседу об историческом значении советской зоны оккупации, причем как можно скорее, чтобы внести полную ясность в этот вопрос.

Четвертый обитатель их комнаты, паренек в зеленой шляпе, не принимал участия в разговоре; он возился с постелью и натягивал поперек комнаты веревку, на которой развесил свои пожитки.

— «Веревка — вервие простое — нам заменяет в доме шкаф»,— продекламировал Роберт.— А как ты догадался, чего именно у нас не будет?

— Чего мне догадываться, знаю, со шкафами туго, потому как туго с древесиной.

— А ты лесник? — спросил Трулезанд.

— Лесоруб,— ответил парень.

Трулезанд протянул ему руку и представился:

— Трулезанд. Плотник. Ты ведь не злишься за акушерскую школу?

— Чего там,— ответил парень, которого звали Якоб Фильтер,— вы, городские, любите шутки шутить.

Совместными усилиями они доели бутерброды, привезенные из дому, с восторгом повторяя при этом слова Вёльшова.

— Героический штурм крепости Наука,— сказал Рик.— Такую речь и сам Калинин мог бы произнести. О Калинине мы тоже обязательно проведем беседу.

Якоб Фильтер, сидя на корточках перед печкой, колол щепу на растопку.

— У вас столько планов,— сказал он, обращаясь к Рику,— послушаешь, можно подумать, мы проучимся здесь сто лет. А у нас всего три года.

Роберт удивленно рассмеялся:

— Всего три — это хорошо. А ты представляешь себе, как долго длятся три года? Можно весь лес в округе вырубить.

— Вырубить-то можно,— ответил Якоб,— а вот вырастить?

— При правильной организации...— включился было Квази, но Роберт прервал его:

— Нет, он прав. Только я бы, друзья, не мучился такими вопросами. Три года — срок немалый.

В Бойценбурге в вагон вошли пограничники. Пожилые дамы уже час назад приготовили паспорта и теперь с боязливым ожиданием то и дело поглядывали на дверь. Они шептались, снова и снова пересчитывали свои скромные капиталы.

Сначала в купе появилась молоденькая девушка из таможни. Приветливая и быстрая, она обращалась к пожилым дамам с понимающей улыбкой, к Роберту — с выражением вежливой проницательности. Она зарегистрировала его деньги и фотоаппарат и, выходя из купе, пожелала пассажирам счастливого пути — Роберт ясно расслышал в ее голосе, кого она, собственно, имеет в виду.

Солдат пограничной охраны справился со своим делом еще быстрее; старушкам он сказал: «Приятного путешествия», а Роберту: «До свидания».

— До свидания!— ответил ему Роберт. И подумал: «До свидания, товарищ!»

Он попробовал углубиться в «Шпигель», но, заметив, что читает только глазами, отложил журнал.

Поезд миновал Шванхайде, транспарант на насыпи гласил:

«Германская Демократическая Республика желает вам счастливого пути!» Часовой под грибком помахал рукой; потом пошла ничейная земля, промелькнула постовая будка с гербовым орлом, и они подъехали к Бюхену.

Здесь поезд тоже стоял недолго; сошли всего несколько пассажиров.

Форма у пограничного контроля была подчеркнуто гражданского покроя, пистолетов видно не было, большие шкиперские фуражки скорее напоминали о морской прогулке, чем об охране государственной границы и конституции.

Пожилой пограничник переполошил старушек, спросив, не везут ли они из Западного Берлина спиртные напитки, пусть уж лучше сразу выставляют бутылки — таможенный чиновник идет по вагону следом за ним. И он подмигнул Роберту.

Однако, взглянув на паспорт Роберта, он перестал подмигивать.

— Гм, минуточку,— сказал он и вышел из купе.

Он исчез из поля зрения Роберта, но в окне коридора появилось его отражение. Отражение вытащило из-под мышки толстую книгу большого формата и раскрыло ее. Четыре пожилые дамы во все глаза уставились на Роберта, а он подумал: «Ага, знаменитый список разыскиваемых лиц. Сейчас полистает в разделе «Подлежит задержанию», но не найдет, так, во всяком случае, было в последний раз, а с тех пор, надеюсь, вряд ли что изменилось. Ну вот, переворачивает страницы, смотрит в оглавление, прекрасно! Рубрика: «При въезде — выезде сообщить в надлежащие инстанции»... Г, Д, Е, Ж, З, И, стой, где-то он здесь, голубчик. Инзельман, Иплер, Ирменбах, Исваль Роберт, рождения 1926 года, в Гамбурге, это он...»

Отражение повернулось на сто восемьдесят градусов, и пограничник вошел в купе.

Толстую книгу он держал под мышкой, словно она никогда не меняла своего местоположения.

— Простите, господин Исваль,— сказал он,— куда вы едете?

— В Гамбург.

— А оттуда?

— Назад в Берлин.

— Сколько дней вы пробудете в Гамбурге?

— Дня три-четыре.

— Вы едете по приглашению или в командировку? Государственный служащий или коммерсант?

— Ни то, ни другое, ни первое, ни второе: я — свободный художник.

— Прошу уточнить.

— Н-да, уточнить...— повторил Роберт, слегка растерянный.— Не так это просто. Отчасти я литературный критик, отчасти публицист.

— А какая ваша часть сейчас путешествует?

Вопрос понравился Роберту — среди шаблонной официальщины вспыхнула искорка личного интереса. Похоже, это был вообще сравнительно приемлемый представитель своей профессии, не из тех холодных и скользких типов и не из тех честолюбивых юнцов, что считают себя ходячими детекторами лжи и устраивают из каждого такого опроса нечто вроде операции по промыванию мозгов.

Роберт ответил:

— Хочу поглядеть, что там, в Гамбурге, теперь, после потопа.

Пограничник заглянул в его паспорт и сказал с удивлением, явно искренним:

— Вы ведь сами из Гамбурга, почему же вы там? И давно вы там живете?

— После плена домой уже не вернулся, и потом я там учился. Здесь бы это не вышло.

— Верно,— согласился пограничник,— у вас с этим делом попроще. Ну ладно, только смотрите не пишите про нас невесть что, раз вы сами из Гамбурга.

Он протянул Роберту паспорт и, вежливо попрощавшись, вышел из купе.

Роберт посмотрел ему вслед и подумал: «Почаще бы попадались вот такие, как ты, друг мой. Ты, видать, не такой уж любитель всяких там «следуйте за мной!» и «вы арестованы!». Да и я тоже».

— Смотрите, мы проезжаем Фридрихсру,— заметила одна из старушек.— Здесь могила Бисмарка. Я еще помню стихотворение: «Где Бисмарк Великий в могиле лежит? В Саксонском лесу над обрывом...»— Но тут, забыв о своих патриотических чувствах, она испуганно вскрикнула: — Господи, да ведь мы уже подъезжаем, а чемоданы еще наверху!

Роберт с трудом уговорил старушек посидеть спокойно, пока он снимет и выставит в коридор их чемоданы.

Они попрощались, растроганно благодаря его на все лады, и Роберт остался один в купе. Он глядел в окно на голые ветви буков и думал: «У каждого свои воспоминания о Саксонском лесе. Кто вспоминает Железного канцлера в глубокой могиле, а кто синюю фуражку, давно, наверно, истлевшую где-нибудь в кустах».

Это было одно из самых печальных воспоминаний его детства. Однажды, во время летних каникул,— он перешел тогда в третий класс — его отпустили к дедушке и бабушке в Парен совсем

одного. И он этим очень гордился. А еще больше — своей новой фуражкой. Синей, бархатной, с крученым шнуром над лаковым козырьком. Она стоила две марки с лишним, а может, даже и все три, и матери, видно, уж очень горька пришлась разлука с ее мальчиком, раз она решилась купить ему такую дорогую фуражку. Он не плакал на перроне, не заплакал и тогда, когда из окна вагона стал виден только носовой платок матери; он ехал в Парен в новой красивой фуражке, какие бывают только в Гамбурге, а в Парене таких никто никогда и не видывал. Это было в июле; поезд был переполнен, все окна открыты. Проводник не мог надивиться на маленького мальчика, который едет совсем один так далеко, да еще в такой красивой фуражке.

— Гляди-ка,— сказал ему проводник,— вон Саксонский лес, там могила Бисмарка.

— Где?— спросил маленький Роберт, высунув голову из окна, и фуражка улетела. Сначала он этому даже не поверил. Летним утром в солнечном буковом лесу просто не могла случиться такая беда. И вдруг он увидел свою фуражку — синее пятнышко на зеленой траве — и тут же снова потерял ее из виду, потому что поезд уже обогнул лес и шел все вперед и вперед. Тогда он громко заплакал, чем сначала напугал пассажиров, потом доставил им небольшое развлечение, а в конце концов вызвал их раздражение, и они не стали этого скрывать. Он приехал в Парен с опухшими от слез глазами и непокрытой головой. И потом, когда на уроке истории речь заходила о Бисмарке, он не мог уже относиться к нему дружелюбно.

Мать не купила ему другой фуражки, но, когда Роберт вернулся из плена, оказалось, что она раздобыла и сохранила для него, несмотря на трудные времена, не только пальто и ботинки, но даже шляпу. Шляпа эта тоже была синяя. Сперва Роберт не хотел ее надевать, но, заметив, как глубоко это огорчает мать, сказал, что шляпа очень красива. Она даже пришлась ему впору. И вскоре ей предстоял серьезный экзамен. На танцплощадке в тот вечер играл полицейский оркестр. Ребята, вернувшиеся из плена раньше него, и те, что вообще не уходили из дому, уверяли, что нельзя пропустить такой случай. Роберт надел новые ботинки, пальто и синюю шляпу. Ему казалось, что он похож на пугало, но гордый взгляд матери заставил его промолчать. Когда ему свистнули, он сбежал с лестницы, открыл парадную дверь, и... шляпа исчезла навеки. Порыв ветра подхватил ее и унес в неизвестном направлении.

Ему попросту не везло со штатскими головными уборами. Вот серая военная фуражка прослужила ему верой и правдой весь плен. Нельзя сказать, чтобы она выглядела под конец очень уж

красивой — ей приходилось бывать и подушкой, и хранилищем фотографий и бритв, и миской для вареной картошки, а однажды даже для двух горстей кислой капусты; козырек у нее сломался, она пропиталась потом и покрылась затвердевшими пятнами от постного масла и муки, десятки раз побывала она в дезинсекции, но ни разу он ее не терял.

Две другие шляпы, которые ему довелось носить в своей жизни, тоже не были утеряны, но каждая красовалась на его голове всего один день.

Первая была вообще не его. Она принадлежала Калли, и Калли выглядел в ней чертовски элегантно, был просто неотразим. Девчонки за ним так и бегали, и Калли утверждал, что все дело тут в шляпе. Он был призван на две недели раньше Роберта и, уезжая, дал Роберту взаймы свою шляпу. Роберт прошелся по главной улице Парена, от кино до мельничной плотины и обратно, потом снова от кино до плотины и обратно, потом еще раз. Девчонки за ним не бегали, но, наверно, только потому, что шел дождь. Роберт промок до костей, а шляпа — до нитки. Пришлось положить ее для просушки на печку, и наутро шляпа стала Роберту мала. Калли она бы тоже оказалась мала, но Калли так и не вернулся с войны.

А потом была еще одна шляпа — черная. С той было много возни и одни только неприятности. Шляпа эта вместе с сорока двумя такими же черными шляпами из того же магазина приняла в руках Квази Рика точно ту же форму, что и все другие, а потом разделила их судьбу. Открыл эти шляпы Квази. Вернувшись из города в общежитие, он постучал в дверь каждой комнаты, где жили мальчики, и возвестил:

— Шляпы выбросили! Запасайся шляпами, ребята! Теперь их все носят!

Не то чтобы весь факультет, но не меньше пятидесяти студентов РКФ тут же ринулись в магазин за шляпами. Правда, все были слегка разочарованы, так как шляпы оказались черными и бесформенными, кое у кого и вовсе пропала охота их приобретать, но сорок три черные шляпы тем не менее были куплены, ибо Квази разъяснил, что, даже если черные шляпы пока еще и не модны, это положение может резко измениться благодаря дружным усилиям молодежи: ведь тайна моды — в хорошей организации.

Возвращаясь домой, каждый нес свою шляпу под мышкой. В общежитии все по призыву Квази окунули шляпы в воду, а затем уселись в мокрых колпаках возле печек, и, пока с колпаков капали мутные капли, Квази перебегал из комнаты в комнату и вдохновенным движением руки придавал им шик и современную

форму. Часам к двум дня модели Рика еще не совсем просохли, а иные и несколько поблекли, но зато успели стать сенсацией.

Девчонки и те ребята, что воздержались от покупки шляп, высыпали во двор, ожидая появления законодателей моды. Каждого из них окружили, каждому пришлось поворачиваться во все стороны. Во дворе стоял гомерический хохот. И это бы еще ничего — законодатели перенесли его стоически, они даже смеялись вместе со всеми, да и кто бы не рассмеялся при виде парада сорока трех черных шляп! Но потом какая-то девчонка крикнула:

— Они решили стать монахами!

И под общий хохот кто-то добавил:

— Ну чем не школа иезуитов!

А другая девчонка, перекричав всех, возвестила:

— Нет, были монахи такие — капуцины, это их форма!

Тогда Трулезанд вытащил из кармана газету, скомкал ее, сунул в свою шляпу и поджег. Сперва шел только дым, но потом шляпа вспыхнула, и Роберт положил свою шляпу на шляпу Трулезанда, а уж о том, чтобы и все остальные попали в костер, позаботился сам Квази Рик.

Гимназия представляла собой ничем не примечательное кирпичное строение в прусском стиле, с матовыми стеклами в нижней половине высоких окон, с темными коридорами и угрюмым привратником. Здесь стоял неприятный запах, и всякий, кто переступал порог этого здания, сразу терял мужество. И надпись над входом, что учатся здесь не для школы, а для жизни, тоже никому не прибавляла бодрости, потому что все хорошо знали, как давно уже это тут написано.

Рибенлам вошел в класс и сказал:

— Добрый день! Приветствую вас и так далее. Мы с вами уже знакомы, но кто не намерен, как говорится, жать вовсю, тот со мною еще не знаком. О-го-го, ну и придется же вам поработать! Первым делом составим список класса. Его, собственно, надо бы называть «списком рабочей группы», но это чересчур длинно. А у нас с вами в запасе всего три года. Итак, каждый называет фамилию и профессию, начинаем слева, с первого ряда — громко и отчетливо, а кого волнуют детали, пусть произносит свою фамилию по буквам. Прошу!

Когда список был готов, Рибенлам объявил:

— Теперь вы рабочая группа А-один, тридцать четыре человека. Класс великоват, но, надеюсь, он не уменьшится. Мальчики — без затей, девочки, не наживайте детей! Вам придется делать

историю. А потому неплохо бы сперва узнать, что это такое — история. Шлюк, почтовый служащий, что такое история?

— История — ну это то, что случилось на свете. Когда была война и когда кончилась, где, когда образовалось новое правительство и когда были сделаны какие-нибудь открытия — Америка, например, или почему яблоко падает на землю.

— Браво! — сказал Рибенлам. — Вот это называется брать быка за рога. А как давно, по-вашему, фрейлейн Бильферт, швея, существует история?

Когда эта девушка встала, Трулезанд шепнул:

— Спорим, ее зовут Джульетта.

— Проиграли, — сказал Рибенлам, — ее зовут Вера. А вас зовут... Минуточку... Герд, а не Ромео. Во время занятий у нас здесь нет ни одного Ромео, ясно? Итак, вернемся к истории, фрейлейн Бильферт!

Девушка покраснела и тихо сказала:

— Я думаю, она существовала всегда, с самого начала.

Рибенлам сел на стол и заговорил негромко, словно обращаясь к самому себе:

— Да, так вы думаете. А если я сейчас спрошу вас, когда оно было, это начало, вы сядете в лужу, потому что Адама и Еву вы упоминать не станете, а ничего другого не знаете. И так мы все, хотя и в разной степени. А потому начало мы пока обойдем и обратимся к тем временам, когда уже появились первые люди, которых наверняка вовсе не звали Адамом и Евой хотя бы уже потому, что, прежде чем давать друг другу имена, надо как минимум научиться говорить. Вот видите, все это довольно сложно. Значит, придется нам пока отложить и этот разговор и возвратиться к тому, что предложил нам Шлюк, почтовый служащий. История, — сказал он, — это последовательность важнейших событий, в которых участвовало человечество, например войны, смена власти, самые значительные открытия, изменяющие жизнь. Неплохо, Шлюк, не исключено, что я поставлю вам «отлично», если будете продолжать в том же духе.

Он поднялся и стал ходить по классу: задавал вопросы, комментировал ответы, подбадривал.

— Вас ожидает здесь не совсем то, что вы думаете, — сказал он. — Вы думаете, вы тут просто еще кое-чему подучитесь, и дело с концом, но смею вас уверить, вы глубоко ошибаетесь. Все обстоит куда хуже. Вам придется разучиваться и даже переучиваться. Все мы ходили в школу, где все было поставлено с ног на голову, и тот образ мира, который нам там рисовали, стоял именно вверх ногами. А мы попробуем поставить его с головы на ноги. И если вы полагаете, что я проделаю такое один, то вот тут-то вы и

заблуждаетесь. Только с вашей помощью. Не могу дать вам никаких готовых рецептов, разве что несколько правил, зато довольно надежных. Итак, правило номер один. Но прежде разрешите прочесть вам стихотворение. Я вижу, вы удивлены. Ну что ж, удивляйтесь! Для учителя нет ничего приятнее удивления его учеников. Удивление — фундамент, на котором можно выстроить целую пирамиду знаний. Так вот, стихотворение:

Кто возвел семивратные Фивы?
В книгах стоят имена царей.
Разве цари на плечах таскали обломки утесов?
А Вавилон, многократно разрушенный...
Кто его строил снова и снова? В каком из кварталов
Сверкающей золотом Лимы жили строители?
Куда побрели в тот вечер, достроив Китайскую стену,
Каменотесы?

Рибенлам читал медленно и деловито, но в голосе его звучало такое раздумье, словно не поэт, а он сам задавал все эти вопросы. Кончив читать, Рибенлам с напряженным вниманием оглядел класс, и на его лице отразилось удовлетворение.

— Ага,— сказал он,— мы движемся вперед. Выражение у вас как раз такое, какое и должно быть. Словно вам кто-то глаза открыл. Вошел поэт с портфелем в руке... Кстати, как его фамилия? Знает кто-нибудь?

Роберт поднял руку и сказал, что фамилия поэта Брехт и, если можно, он хотел бы еще добавить, что стихотворение — просто блеск.

— Можно,— разрешил Рибенлам и обратился к классу.— А не придерживается ли кто-нибудь иного мнения, чем... да, как вас зовут? Исваль, электромонтер? Есть другие мнения?

Он обвел взглядом класс и, заглянув в список, сказал:

— Фрейлейн Роза Пааль, птичница, я заметил протест в движении ваших бровей. А ну-ка выскажите его вслух! Мы все полны нетерпения.

Роза Пааль поднялась, долго молчала, а потом вдруг выпалила:

— Но разве это стихотворение?

Она испуганно села и спряталась за спину сидевшего впереди Квази Рика.

— Фрейлейн Роза Пааль,— торжественно произнес Рибенлам, раскрывая записную книжку,— получает первую пятерку в истории рабоче-крестьянского факультета нашего уважаемого университета. За что? За то, что она сказала «но». Подумала «но» и высказала его вслух. Посмотрите на нее, берите с нее пример.

Итак, записываю: «Фрейлейн Роза Пааль, птичница и студентка, получает пятерку за правильное поведение на уроке». Что же касается ее вопроса по существу, то я ограничусь всего лишь кратким утвердительным ответом. Да, это стихотворение, хотя оно и без рифмы. Почему? На этот вопрос вам ответят на уроке литературы, а мы с вами будем держаться поближе к истории. Она необъятно велика, а вот количество часов, отведенное на нее учебным планом, совсем невелико. А раз так, друзья, вернемся к вопросам Бертольта Брехта и к первому правилу нашего нового подхода к истории. «Кто возвел семивратные Фивы?» — вот что нас интересует, вот какой вопрос мы будем отныне задавать всегда. И, проанализировав полученные ответы, мы в один прекрасный день начнем понимать, что такое история.

Когда прозвенел звонок и Рибенлам вышел из класса, Трулезанд обернулся к Якобу Фильтеру и весело спросил:

— Ну как, лесник, все еще трусишь?

Якоб поднял глаза от тетради и осторожно ответил:

— Да нет, пожалуй, истории я не боюсь. Но вот сейчас математика...

Математик, доктор Лазарус Шика, никому не давал спуску, это сразу было видно. Он тут же встал в позу, которая, как вскоре выяснилось, была его излюбленной,— вытянулся по стойке «смирно», пятки вместе, носки врозь, живот подтянут, грудь колесом,— взял указку обеими руками и, держа ее под самым носом, произнес:

— Первое. Из всех предметов, которые вам с сегодняшнего дня придется изучать, важнейший — математика. Второе. То, чем вам предстоит пока заниматься,— еще не математика, а арифметика. И мне это в тягость. Третье. Я воздаю должное старанию и терпению, но принимаю в расчет только результаты. Понятно?

Послышался легкий гул одобрения, а Трулезанд сказал вслух:

— Ну конечно, понятно!

Доктор Шика ткнул в него своей указкой и любезно спросил:

— Вы полагаете? Тогда разъясните, пожалуйста!

Трулезанд приступил к делу со всей обстоятельностью.

— Предположим, вы поручили мне построить дом — я плотник. Я из кожи вон лезу, пот катится градом — кто ни приходит на стройку, скорей надевает резиновые сапоги. Вот это и есть старание и терпение. А теперь перейдем к результатам. Если в день переезда все это сооружение обрушится вам на голову, то результат вам не понравится и вы, позабыв о моем поте, потащите меня в суд, верно?

— Наглядное объяснение,— заметил Шика.

А Роберт сказал:

— Только вот мы не дом вам строим, а хотели бы с вашей помощью уяснить, как нам добраться до математики.

Шика сделал легкий поклон в его сторону:

— Первое. Прежде чем что-то сказать, полагается просить слова. Второе. Я не застройщик, а вы не представитель профсоюза строителей. Я знаю свои права и обязанности. Третье. Дискуссия окончена, начинается работа. Возьмите карандаш и бумагу, считайте...

Ненависть Роберта к арифметике была такой необоснованной и наивной, что время от времени он и сам чувствовал, насколько это комично и недостойно. В плену один человек, решивший заняться исправлением мира с помощью психоанализа, говорил ему, что все особенности индивидуума, его причуды и таланты, коренятся в переживаниях детства, и Роберт, часами лежа на горячем песке аппельплаца, раздумывал о своей ранней юности и о причинах такой аллергии. Нет, он не мог вспомнить ни одного события, которое хоть в какой-то мере объясняло бы его страх перед числами. Был только один случай, когда арифметика сыграла в его жизни довольно большую роль, но случай этот, если верить теории того человека, должен был скорее приохотить Роберта к математике, чем от нее отвратить.

Был у него — кажется, во втором классе — один враг; во врагах, впрочем, у него никогда не было недостатка, и Вальдемар был просто злейшим его врагом. Вот этого-то врага Роберту и удалось нейтрализовать благодаря арифметике, по крайней мере на некоторое время. В один прекрасный день Вальдемар отколотил Роберта и с тех пор избивал его регулярно, как только кончались занятия. Причин к тому, собственно, не было никаких, и потому Роберт не мог придумать ничего лучшего, как защищаться, пока хватало сил, плохо ли, хорошо ли, работая кулаками, глотая кровь и слезы. Но победа всегда оставалась за Вальдемаром, и Вальдемар стал являться Роберту в ночных кошмарах.

И вдруг пришло неожиданное избавление. Оно исходило от учительницы, фрейлейн Бомеслейн. Три раза в неделю фрейлейн Бомеслейн занималась с ними на последнем уроке арифметикой. Однажды в среду она ввела новый метод: за пятнадцать минут до конца урока она объявила, что сейчас задаст длинный пример со сложением, вычитанием, умножением и делением; каждый будет считать в уме, а кто первый решит, подойдет к ней и скажет ответ на ухо — если он правильный, можно уходить, только тихо и быстро.

Роберт никогда не проявлял особого усердия к арифметике, он был одним из средних, а на этот раз и вовсе считал кое-как,

потому что предвкушал удары Вальдемара. Но, увидев, как Эльзхен Пиль, едва кончился длинный пример, подхватила свой ранец и с торжествующим видом выскользнула из класса, он вдруг прозрел. Вечером и на следующий день его сестрам пришлось задавать ему бесконечные устные примеры, и, когда он отвечал, в его голосе звучал не только страх, но и надежда. В пятницу он ушел с урока фрейлейн Бомеслейн раньше многих других.

В дни, когда не было арифметики, Вальдемар колотил Роберта сильнее, чем прежде, но он и сам чувствовал, что в его системе образовалась брешь. Он складывал и вычитал теперь на последнем уроке со всей страстью преследователя, в то время как Роберт умножал и делил с лихорадочностью загнанного зверя. Все остальные ребята в классе считали с новым подъемом — ведь их ожидала награда: захватывающее зрелище, от которого жаль было отказаться. А фрейлейн Бомеслейн с восторгом рассказывала коллегам о преимуществах новой методики и однажды даже вступила в негромкий, но решительный диспут с самим директором, пришедшим на ее урок и усомнившимся в педагогичности такого педагогического приема, который, по его выражению, приводит к высоким показателям учебы, суля скорейшее избавление от нее.

На самом деле, как вскоре заметил Роберт, он ничего не выиграл. Правда, тяжелые кулаки Вальдемара не так часто, как раньше, гуляли по его спине, но ломать голову над решением сложных цифровых загадок, которые с приветливой улыбкой, ничего не подозревая, предлагала их вниманию фрейлейн Бомеслейн, было едва ли не большей мукой.

Роберта не радовала победа, и он прибегнул к средству, воспоминание о котором и тридцать лет спустя заставляло его краснеть от стыда. Он стал задабривать своего врага. Он приносил ему жертвы, откупался оловянными солдатиками, мячиками и лимонадом. И Вальдемар повел себя как прирожденный владыка. Он принимал дары, ничего не обещая. Но оставлял своему рабу надежду. Он избивал его теперь не регулярно, а только так, время от времени, без всякого расписания, как бог на душу положит, хотя и чувствовалось, что до бога долетает фимиам жертвоприношений. Он принимал дары, но делал вид, что неподкупен. В конце концов он оставил в покое тело Роберта, но, увы, не его душу. Он терзал его угрозами телесных мук. И если до сих пор он находил удовольствие в публичной пытке, то теперь его прельщало тайное издевательство. После нескольких дней, а иногда и недель сомнительного мира он говорил Роберту без свидетелей и как бы невзначай, что завтра,

пожалуй, пора. Для Роберта наступали часы мучительных раздумий — он рассматривал свои скудные богатства и определял их ценность с точки зрения врага. Враг стал разборчив: теннисный мячик уже не склонял его к миролюбию, пирожное «наполеон» давно не насыщало. Роберт был у него на том положении, на каком повелитель всегда стремится держать своего раба,— совершенно подавлен и все-таки еще в силах развлекать и кормить.

Но тот, кто совершенно подавлен, размышляет не только о том, как умилостивить повелителя,— он мечтает о свободе, а поняв, что одни мечты ни к чему не приведут, ищет путей, чтобы ее обрести.

Сперва Роберт мечтал о смерти Вальдемара — от скарлатины или дифтерита. Раз Эльзхен Пиль умерла от аппендицита, то почему бы не случиться такому и с Вальдемаром? Но надежда была так слаба — его враг отличался завидным здоровьем.

Потом Роберт стал мечтать об учителе, который бы сам обо всем догадался и положил конец этому безобразию. Роберт задавал себе вопрос, как помочь учителю сделать такое открытие; но и от этой мечты пришлось отказаться, он так и не придумал никакого способа да и не знал ни одного учителя, от которого *можно было бы ждать такого чуда. Но шагом вперед было уже* то, что он начал раздумывать и о своей роли в освобождении.

Он мечтал об ошеломляющих ударах и о страшном оружии, с помощью которого навсегда повергнет во прах своего врага. Но сколько бы раз он ни швырял Вальдемара на землю в своем воображении, кулаки Вальдемара не становились от этого менее тяжелыми. И дело всякий раз кончалось тем, что Роберт вновь решал расстаться то со своей губной гармошкой, то с пригоршней пфеннигов, добытых из дедушкиной копилки.

Но вот однажды после длительного перемирия, пахнущего порохом, Вальдемар подошел к нему, скрестив руки на груди, поглядел в упор, словно ведьма на Гансика, и отошел, не сказав ни слова. Тогда Роберт понял, что час его снова пробил, но он понял еще и другое — с этим пора кончать.

Пока фрейлейн Бомеслейн распространялась о красотах родной природы и расхваливала Рейн, на берегу которого она родилась, Роберт не сводил внимательных глаз с затылка своего врага — твердого затылка с курчавыми волосами — и видел, что Вальдемар пригибается, прячась за спину сидящего впереди, как только фрейлейн Бомеслейн задает какой-нибудь вопрос.

Когда дверь за учительницей закрылась, поднялся обычный галдеж; все было как всегда. Но Роберт вдруг вышел вперед и встал у парты, за которой сидел Вальдемар; засунув руки в

карманы, он долго молча глядел на своего врага, пока наконец тот не поднял глаза; в классе воцарилась тишина. Роберт сказал:

— Нам надо поговорить. К двум часам придешь на Зонненвег к кривой березе... А вам там толпиться нечего — мне надо много места. Смотри не увиливай!

Роберт вернулся к своей парте и сделал вид, что не слышит свирепого пыхтения Вальдемара и перебранки болельщиков, тут же разделившихся на две партии — одни требовали, чтобы Вальдемар, не откладывая, намял бока Роберту, другие придерживались мнения, что надо соблюдать условия вызова.

Хотел того Роберт или не хотел, его распря с Вальдемаром снова стала публичной, она вышла из подполья; но что-то здесь в корне изменилось: несмотря на все прежние поражения Роберта, исход ее не был предрешен.

По пути из школы домой его осаждали ребята: они хотели дознаться, что он задумал против этого чурбана — узнал какой-нибудь полицейский прием? Выкопал волчью яму или, может, еще что? Нет, правда, ну что, скажи!

Роберт отвечал односложно, неопределенно, да и что ему было отвечать? У него не было ни плана, ни оружия; он просто сделал решительный шаг, необдуманный решительный шаг.

И хотя сто раз было доказано, что с Вальдемаром не сладишь, он больше его не боялся. Он пообедал и сделал уроки, а потом пошел на Зонненвег.

Многие мальчишки были уже там; они нехотя согласились отойти на сто шагов от поля боя. Одни сидели по краям канавы, другие взобрались на деревья, и все вглядывались вдаль — вот-вот на том конце Зонненвега появится Вальдемар.

Роберт сел под кривой березой и прислонился спиной к ее стволу; он закрыл глаза и, казалось, спал. Прислушиваясь к отдаленным голосам зрителей, он задавал себе тот же вопрос, который задавали они: что будет?

Он знал, что ему не победить Вальдемара, но он знал и другое: на этот раз у него есть более мощное оружие, чем слабые руки, на этот раз его врагу придется повергнуть на землю нечто большее, чем тщедушное мальчишечье тело. И он знал также, что Вальдемару это не под силу — ни Вальдемару, ни кому-либо другому.

Они ждали целый час, и понемногу настроение ребят изменилось. Устав ждать, они начали играть в Виннету́ и Олдшэтерхенда и совсем забыли про Вальдемара. Роберт был Виннету, и, когда Вальдемар на другой день сказал, что его не отпустили из дому, ему никто не поверил, поверил только Роберт, он сказал это вслух и протянул Вальдемару руку. С той минуты он и в

самом деле стал Виннету, и Вальдемар никогда больше этого не забывал.

Зонненвег давно уже не похож на охотничью тропу; следы индейцев залиты асфальтом, на месте кострищ трапперов стоят небольшие домишки. Береза уступила место телефонной будке, но улица по-прежнему зовется Зонненвег.

Она находится на северо-западной окраине города, в поселке, расположенном вдали от заводских кварталов и от крутого северного берега Эльбы. Когда ветер дует в сторону моря, над садами стоит запах дыма, когда он дует с юга, то доносит гудки пароходов, а когда пригоняет дожди и туманы с запада, в воздухе пахнет морем.

Роберт любил этот город, хотя и знал обо всем, что творилось некогда в его стенах, и обо всем, что в них может еще произойти. Он любил его, и любовь эта была тайная, тревожная, почти запретная. Над этим городом простиралось небо его юности.

О наводнении и последствиях этого наводнения в районе ничто не говорило, и все-таки Роберт сначала поехал сюда: здесь жила его мать. Когда он вошел в кухню, она сказала:

— Вот как хорошо! — и сняла с плиты кастрюлю, которую только что поставила на газ. — Надо добавить еще картошки, сейчас почищу. А может, сделать тебе пока бутерброд?

Мать обрадовалась фотографиям внука, которого знала все еще только по карточкам, и спросила про Веру — как всегда, сухо, потому что родители Веры были католиками.

Она жаловалась на дороговизну и ругала Аденауэра, тоже католика, и тех, кто распорядился провести над ее участком высоковольтную линию, — теперь только и жди помех в телевизоре. Костюм и ботинки Роберта ей понравились, но сам он чересчур уж худ, правда, он и всегда был таким — в точности как его отец. Потом мать спросила о том, о чем спрашивала всякий раз, увидев Роберта, — получил ли он наконец звание доктора, и, как всегда, огорчилась, когда он отрицательно покачал головой. Она просто отказывалась понимать, как это человек, который так поздно пошел учиться и так долго мучился, чтобы получить высшее образование, ограничился сдачей государственных экзаменов, и пеняла ему, что по его вине не может с триумфом заявить знакомым: «Мой сын получил «доктора»!»

— Придется уж тебе довольствоваться тем, что у тебя сноха доктор, — тоже, как всегда, ответил Роберт, — но я хочу тебе сделать одно предложение: в тот день, когда ты напишешь мне, что кто-нибудь из ребят с вашей улицы стал студентом и отцу его

при этом не пришлось выбиваться из сил, в тот самый день я еще разок подумаю о защите.

Мать отмахнулась, она слишком давно жила на этой улице.

Роберт пообедал с матерью и ее угрюмым третьим мужем, который наверняка был хорошим человеком, но больным и на редкость неразговорчивым. Кроме суждения о преимуществах табака «ХБ» перед «Урожаем № 23», от него так ничего и не удалось добиться...

Вот шурин Роберта, Герман, был совсем другим человеком, во всяком случае по вечерам. До обеда он спал, и вместе с винными парами испарялась большая часть его пугающе предприимчивого духа.

— Наводнение! — воскликнул он, сидя с Робертом в задней комнате своей пивной на Реепербане и уже пропустив для подкрепления стаканчик-другой.— Тебе-то что! Для тебя это так, ерунда, дерьмо. Прошу прощения, ты у нас человек образованный! А вот мы и в самом деле оказались в дерьме: три дня национального траура, ни пфеннига не заработаешь, а налоги дерут... Им-то что!

В газете было фото, как там этих бедолаг хоронили. Народищу! Конечно, тут бы в самый раз и залить свое горе, да ведь нельзя — национальный траур! А дождь! Я вообще сделал наблюдение — как кого хоронить, уж обязательно дождь зарядит. Я и сам, помню, произнес как-то надгробную речь. Ну, брат, и здорово же получилось, вот бы тебе записать. Это когда наш председатель помер. Корс-бриллиантщик, он, понимаешь, был председателем нашего ферейна — продавцов случайных вещей. Ну, все это были, конечно, скупщики краденого, а что поделаешь, куда же им, горемыкам, деваться со своим награбленным добром? Наш ферейн был зарегистрирован, все по закону, и на похороны Корса-бриллиантщика явились все как один.

Я был вторым председателем — потом-то стал первым,— вот вдова этого Корса меня и спрашивает, не скажу ли я речь, ну, ясное дело, это долг чести. А такую речугу толкнуть, сам понимаешь, штука не простая, люди тебя слушают, а ведь знаешь, как легко сказать что-нибудь не то.

Дождь целый день льет как из ведра, но все чин по чину, все в черных костюмах, только шпики выделяются — голодранцы голодранцами. Да мы-то их знаем как облупленных, и кому не надо было там быть, того там и не было — почтение тоже имеет свои границы.

Тим-часовщик держал надо мной зонт: а то как станешь

говорить с зонтом в руке? И я сказал, так это, знаешь, торжественно: «Вот ты лежишь, Корс-бриллиантщик, оставив нас одних в борьбе с суровой жизнью...»

Тут я сделал паузу, и только слышно было, как идет дождь, и край зонта плясал передо мной как-то чудно... Ну вот, поворачиваюсь я к Тиму-часовщику эдак вполоборота и замечаю, что он еле на ногах держится — рыдает навзрыд. Да я и сам-то был хорош. Долго еще я молчал, а потом говорю: «Смерти никому не избежать, но для тебя, Корс-бриллиантщик, для тебя бы я попросил исключения, если бы на свете была справедливость». Потом опять делаю длинную паузу, и тут уж мне пришлось взять зонт в свои руки, потому что Тим-часовщик держал его где-то совсем не там, где была моя голова и мой черный костюм.

Даю тебе честное слово, сам инспектор Клукхон из пятого отделения достал из кармана носовой платок, когда я сказал — погоди, как это, ах да: «Если между Миллернтор и Нобистор билось когда-либо честное сердце, то это было твое сердце, Корс-бриллиантщик, и мы, стоя здесь, под этим дождем, перед этой мрачной прямоугольной ямой, в которую тебя сейчас опустили на наших глазах, затуманенных слезами, мы, стоя здесь, не хотим верить, что отныне тебя уже нет с нами. Это просто несправедливо!»

Ох, ну и плакали же все, и притом еще этот дождь, я и сам, знаешь, стою, и прямо дрожь меня пробирает под этим зонтом. Да, говорить я всегда умел и иногда вот даже думаю: жаль, ты это все не записываешь, глядишь, и получился бы настоящий бестселлер.

Теперь-то я уж не на той высоте, а вот посмотрел бы ты на меня в молодости. Я с семьюдесятью четырьмя пфеннигами в кармане в Гамбург приехал. Дело было в девятнадцатом, сразу после первой войны. Остановился я на постоялом дворе «Родина». В сочельник захотел там один проходимец пропустить стаканчик ради праздника, вот он и уступил мне за мои семьдесят четыре пфеннига свою рубашку, совсем новую, только раз надеванную. Утром это было, а вот теперь слушай: отправляюсь я на Санкт-Георгштрассе, где-то на задворках звоню к какой-то старушке. Говорю: «Видите ли, бабуся, я мог бы сейчас получить работу, но туда надо явиться в чистом, не будете ли вы так добры, привести в порядок мою единственную рубашку?» Она, конечно, все сделала — выстирала, выгладила, еще тарелку супу мне налила. Знала ведь, что это значит — получить работу. «Это,— говорит,— я делаю из солидарности». Ну, рубашка опять как новая, и я тут же выручил за нее три марки шестьдесят пфеннигов.

На три марки я накупил новогодних открыток — по два пфеннига за штуку. Шестьдесят пфеннигов оставляю в резерве. А под вечер, как начали повсюду украшать елки, я и двинул. Делаю надпись на конверте: «Безработный просит о помощи. Купите одну из прилагаемых открыток. В случае отказа открытки возвратить». Конверт сую в щелку для писем, а сам звоню. Успех невероятный! Новогодние открытки на рождество нужны всякому, ну, и почти все в это время года настроены очень приветливо. Цены я не называл, и кое-кто давал даже по десять пфеннигов за штуку. А вечером меня везде приглашали отведать рождественского пирога. Вскоре я стал говорить, что у меня болит живот, и клал куски пирога в портфель с открытками. Он тут же наполнился доверху, пришлось мне даже два раза бегать на постоялый двор его выгружать. Потом я прихватил с собой одного типа, он стоял у подъезда с двумя большими сумками. До того как закрыли писчебумажный магазин, я успел еще прикупить открыток. Мне ведь, сам понимаешь, оба праздничных дня из квартиры в квартиру ходить — когда еще будет такой сезон! А вечером на постоялом дворе пожирали мои пироги, ну, парень, и наворачивали! Я велел составить столы, вывалил на них все это добро и давай продавать по пфеннигу за штуку. Даром! Прямо из рук рвали! И все же кое-что, сам понимаешь, я на этом подзаработал.

В общем за рождество я нажил тридцать одну марку сорок шесть пфеннигов. И если ты теперь вспомнишь, с чего я начинал, то поймешь, что́ я был за парень. Учти еще тогдашний кризис — покупательная способность почти нулевая!

Роберту были уже известны почти все истории Германа, но он всякий раз выслушивал их заново с глубоким интересом. Разные небылицы, охотничьи рассказы, изложенные в сентиментальном духе и расцвеченные воспоминаниями о воскресной школе и сведениями о движении акций на бирже, — вариации на тему о чистильщике, ставшем миллионером.

Герман Грипер не был миллионером, но для этого ему не хватало совсем немного. Его заведение было невелико, если судить по помещению, но зато удачно расположено — как раз посредине Реепербана, и тот, кто шел или ехал из гавани, почти неизбежно попадал прямо в его раскрытые двери. За сутки пивная Германа обслуживала примерно столько же клиентов, сколько проходит пассажиров по перрону железнодорожной станции. В пивной подавали только сосиски, картофельные оладьи и напитки, но его годовой оборот по одним лишь сосискам значительно превышал полмиллиона. Пивная называлась «Острый угол», но самым острым блюдом в этом «углу»,

включая горчицу, ром и жующих сосиски завсегдатаев, был и оставался сам Герман.

Он не хвастал, говоря Роберту: «Ты просто болваном будешь, если не останешься и не напишешь мои мемуары! Ведь ты бы на этом деле дуриком кучу денег заработал, я тебе гарантирую! Тридцать лет уголовщины, и ни одного дня отсидки!»

Это было удивительное явление; Роберт не раз наблюдал его с изумлением, но так никогда и не сумел объяснить себе до конца. Человек мог достичь предела своих желаний, стать министром, маршалом, банкиром или гангстером на покое, но в один прекрасный день им непременно овладевало бешеное желание выйти на широкую арену со своими триумфами и прибавить ко всему достигнутому еще нечто чрезвычайно для него ценное: книгу, написанную собственной рукой. И когда Герман Грипер, без пяти минут миллионер с тридцатилетним жульническим стажем, рассказывал шурину легенду своей жизни, он делал это не только ради того, чтобы прельстить его материалом, но и ради того, чтобы хотя бы таким путем избавиться от груза воспоминаний. Раз уж нельзя написать книгу, пусть хоть кто-нибудь выслушает.

Прошлое, к которому обращал свой взор Герман Грипер, трудно было назвать светлым, и рассказывал он о нем без всякого юмора. Он развертывал перед Робертом воспоминания разжиревшей и охромевшей канализационной крысы, но воспоминания эти были довольно занятны, особенно если учесть обстоятельства, при которых рассказывались.

Герман лежал на диване и всякий раз, приподымаясь, чтобы подлить в стаканы, чуть отодвигал занавеску на маленьком окошечке и, заглянув в зал, считал гостей у стойки и за столиками. «Дела идут»,— говорил он обычно с удовлетворением и время от времени барабанил пальцем по стеклу, напоминая жене, что пора «удить рыбку». Жена его, Лида, сестра Роберта, входила после этого в комнату и приносила часть выручки— вынутые из кассы крупные ассигнации. Герман разглаживал их ладонью и прятал в бумажник, лежавший у него под подушкой. При этом он давал Лиде указания, сколько горчицы должны раздатчицы класть на тарелки, и велел ей следить за тем, чтобы вчерашние позеленевшие сосиски подавали не кому попало, а тому, кому надо. Лида выслушивала его приказы холодно: она уже давно жила в этом вертепе и хорошо знала свое дело, а муж ее был на двадцать пять лет ближе к могиле, чем она сама. Выходя, она подмигивала Роберту. И, как только она оказывалась за дверью, Герман тоже ему подмигивал и принимался расхваливать усердие и деловые качества его сестры.

— А сколько она работает! — не унимался он.— Да это просто клад, золото. Я и сам когда-то работал вовсю, ух и работал, скажу я тебе, с утра до ночи. Кто-то напел мне, что так зарабатывают деньги, и я, как дурак, поверил. Нанялся в порт на элеватор. Был у них такой зернопровод, зерно прямо с барж отсасывал. Труба шла по прямой, а потом загибалась, и там была небольшая дверца, потому что в этом месте иногда получался затор. Вот к этой-то дверце меня и приставили — смотреть, как скользит зерно, и помешивать его специальной палкой, если какая заминка. Ну и зрелище, скажу я тебе, поток золотого зерна, миллионы, миллиарды эдаких малюсеньких штуковинок, но мне не нравилось, что все они так и норовят мимо меня да мимо меня, и тем быстрей, тем самоуверенней, чем чаще я шебуршу палкой. Эдак, брат, сказал я себе, останешься с носом. Вот тогда-то я и стал деловым человеком.

Сперва торговал золотыми часами. Их и впрямь, знаешь, не отличить от золотых, когда получаешь от реставратора. Тут главное — не допустить проникновения воздуха. Они, понимаешь, позолочены методом обжигания, так это называется, и выдерживают всего лишь сутки. Я покупал всякий раз по три пары, каждая обходилась мне по восемь марок и восемьдесят пфеннигов. Двое часов у меня были в коробочках, хорошо упакованы в вату, из-за воздуха, сам понимаешь, а одни в жилетном кармане. Вот я и прогуливаюсь воскресным утром по Реепербану, когда пижоны возвращаются с Фишмаркта. Всякая там деревенщина, молодые парни, приехавшие из глухих мест, знаешь, решили пережить что-нибудь эдакое. По вечерам-то они обычно осторожны, ну а утром что может случиться?

Мой первенький был сыном мясника из Бремервёрде. Сперва я за ним понаблюдал, потом подхожу, снимаю шляпу, очень взволнован. «Простите,— говорю,— *я не здешний, не знаете ли* вы, где тут ломбард?» — «Нет,— говорит,— я тоже приезжий, а разве ломбарды вообще-то по воскресеньям открыты?» Тут я побледнел, наверно, совсем стал зеленым с лица, потому что он говорит: «Что это с вами, вам плохо, а что вам вообще-то надо в ломбарде?»

Ну, я и объясняю ему, что наделал долгов, а мой кредитор грозится теперь все рассказать отцу, если я не заплачу до обеда, вот я и хотел заложить часы. Этот голубчик глядит на меня эдак с хитрецой и говорит, что прекрасно все понимает, у него тоже строгий отец, мясник в Бремервёрде, но он, пожалуй, мог бы мне помочь — а ну-ка, посмотрим, что за часы такие.

Я поскорей достаю часы из жилета, а сам первым делом гляжу, золотые ли они еще, а он, увидев, что часы золотые,

корчит такую гримасу, как все равно в кинофильме, когда играют в покер. «И сколько же вы за них хотите?» — спрашивает, а я отмахиваюсь: «Да я не собираюсь их продавать! Это подарок отца на конфирмацию, он всякий раз про них спрашивает, они ведь такие дорогие! Потому-то я и хотел в ломбард, оттуда я их всегда могу назад взять, как буду опять при деньгах».

Ну, брат, дает мне этот осел тридцать марок под залог часов и записывает свой адрес, чтобы я мог их у него выкупить за тридцать пять, когда у меня будут деньги. «Эмиль Шульц,— говорит,— это и есть я, в Бремервёрде спросишь любого, там меня каждая собака знает. Да что вы,— говорит,— не стоит благодарности, всегда рад помочь». И тут, гляжу, пошел он прочь — сперва потихоньку, не спеша, а потом все быстрей и быстрей, и если он очень поторопился, то часы еще были золотыми, когда он перешагнул порог своей мясной лавки.

Вошла Лида, взглянула на уровень в бутылке и молча подождала, пока Герман досмакует свой рассказ.

— Ты лучше его не слушай,— сказала она,— он говорит правду. После второй бутылки он всегда говорит правду. Ну, как, был ты в Парене?

Она всякий раз спрашивала про Парен, но Роберт знал, что спрашивает она совсем о другом. Она приехала в Парен тогда же, когда и он,— во время войны, спасаясь от бомбежек, и уехала из него в тот же самый день, что и Роберт, но по другим причинам и в противоположном направлении. Для Роберта это чуть не обернулось исключением из университета, и если бы не Рибенлам и Трулезанд, кто знает, чем бы все это кончилось.

На третий день после начала семестра Роберта вызвали в деканат. Старый Фриц сидел выпрямившись за своим письменным столом. Ангельхоф — латинист и секретарь партбюро — стоял у окна. Они не предложили ему сесть и не ответили, когда он поздоровался.

Вёльшов долго рассматривал какую-то бумажку, потом сказал:

— Мы получили тут сообщение.

Роберт взглянул на бумажку, но Вёльшов сунул ее под стекло письменного стола и, жестом приглашая Роберта, предложил:

— Высказывайся! И побыстрее!

Роберт беспомощно посмотрел на Ангельхофа, но тот и бровью не повел. Роберт перебрал в уме все темные пятна своей биографии, но не нашел ни одного, о котором бы не упомянул в автобиографии или в анкете. Разве что из партшколы сообщили про выговор, который он получил там за то, что поцеловал одну девчонку во время семинара по политэкономии? А может, стало известно про его споры с мужем матери, заслуженным антифаши-

стом? Или про Ингу, пасторскую дочку? А может, он здесь, на факультете, сделал что-нибудь не так? Например, у Шики на уроке математики?

— Я хотел бы сначала узнать, о чем идет речь.

— Судя по ответу,— сухо заметил Ангельхоф,— речь могла бы идти о многом.

Роберт молчал. Наконец Вёльшов спросил:

— Как давно ты знаешь свою сестру?

— Что?.. Какую именно?

— Ту самую, о которой идет речь,— сказал Ангельхоф.

Роберт обернулся и стал говорить, чувствуя, как постепенно теряет самообладание:

— Я не понимаю, о какой из них и о чем вообще идет речь. У меня две сестры. Одну зовут Лида, она моложе меня на год, другую — Гертруда, она на год меня старше. Если можно кого-нибудь знать с первого дня существования, то я знаю Гертруду двадцать три года, а Лиду — двадцать два. Ей как раз исполнилось двадцать два.

Старый Фриц хлопнул по бумажке, которую снова вытащил из-под стекла, и разразился:

— Не вижу причин для иронии. Так о какой из двоих, по-твоему, идет речь?

Прежде чем Роберт успел ответить, вмешался Ангельхоф:

— Да ведь он уже себя выдал. Он назвал Лиду первой, хотя она младшая. А ну-ка, Исваль, выкладывай, какую роль ты играешь в этом деле.

— Пусть сюда придут товарищи Рибенлам и Трулезанд,— сказал Роберт.— Товарищ Рибенлам — руководитель моей рабочей группы, а Трулезанд — мой друг. Без них я больше ничего не скажу.

— Интересно, интересно,— сказал Ангельхоф, но Вёльшов приоткрыл дверь в соседнюю комнату и дал какие-то указания секретарше.

Пока те двое не вошли в кабинет, никто не проронил ни слова; Ангельхоф тихонько насвистывал.

— Что случилось?— спросил Рибенлам, и Вёльшов потряс своей бумажкой:

— Его сестра убежала на Запад, а он не считает нужным высказаться по этому поводу.

Роберт не обратил внимания на подлую подтасовку, он только подумал: «Лида, господи, да что же это? Что с тобой, что ты делаешь?»

— Когда?— спросил он.

— В тот же день, вслед за тобой,— сказал Вёльшов.— Через

несколько часов после твоего отъезда. Не станешь же ты утверждать, что это случайное совпадение.

— Ты знал об этом? — спросил Трулезанд.

— Ты спятил?

Ангельхоф отошел наконец от окна и стал ходить взад и вперед по комнате.

— Случайное совпадение! — произнес он. — Случайность — это точка пересечения двух необходимостей. Ни одна черепица не упадет с крыши, если она до того не расшаталась и если не подует ветер. А для вас с сестрой откуда ветер дует, Исваль?

— Даю честное слово, — сказал Роберт, — что я об этом ничего не знал и не знаю.

Ангельхоф перебил его:

— Честь — это вообще из другой оперы!

— Гм, Исваль, — заметил Рибенлам, — ты ведь взрослый человек и должен понимать — такие вещи не случаются ни с того ни с сего. Что же с ней стряслось?

— Стряслось с ней много чего, — сказал Роберт, — у нее несчастная любовь. Нечего смеяться, товарищ Ангельхоф, такое в самом деле бывает на свете. И ты наверняка перестанешь смеяться, если я тебе скажу, в чем дело. У нас жил советский капитан, гарнизонный врач...

— Русская... — сказал Ангельхоф и тут же смолк. Но Роберт договорил за него:

— «Русская любка», совершенно верно, так у нас говорили — и булочник по соседству, и солдатская вдова под нами. Скажу откровенно, мне тоже было несладко, когда я про это узнал. Потом-то я подружился с Сашей, и мне их было здорово жалко — и сестру и его. Под конец они только и делали, что пили и ревели. Слух о них дошел до комендатуры, и они знали, чем это пахнет. Я спал в комнате над ними и каждый вечер слышал их голоса, а однажды слышу — плачет только Лида: Саша не пришел и никогда уже больше не приходил. Тут соседи осмелели и стали высказывать вслух то, о чем раньше только шептались. Но если она отправилась на Запад, черт бы ее взял...

Черт ее не взял. Она стала женой Германа Грипера. До этого она много чего перепробовала — работала и в тире, и подавальщицей, чуть не вышла замуж за ювелира с острова Зильта, свадьба эта расстроилась, потому что мать ювелира разнюхала о ее прошлом.

Писем она не писала, и Роберт ей не писал, они встретились на каком-то семейном празднике в Гамбурге, и с тех пор он иногда к ней заходил. И всякий раз она спрашивала его с

проблеском бессмысленной надежды в голосе: «Ну как, был ты в Парене?»

Но Роберт давно уже не бывал в Парене. Да, пожалуй, теперь там и не осталось никого из тех, кого он близко знал. Сначала уехала Лида, потом мать. Инга теперь тоже не жила в Парене. Инга знала, как все будет. Когда Роберт уезжал учиться, она проводила его на вокзал и долго-долго смотрела на него, словно стараясь отыскать что-то в его лице.

— Здесь?— спросил он и вытер лоб рукой. Но она все смотрела и смотрела и, только когда подошел поезд, сказала:

— Да нет, ничего, так.

Она стояла, опустив руки, рядом с тронувшимся поездом и плакала, а Роберт не понимал почему. «Из-за каких-то несчастных трехсот километров нечего реветь,— беспомощно думал он,— ведь по воскресеньям я буду приезжать домой, она же это знает!»

Сначала он и правда почти каждую субботу приезжал в Парен, но это было долгое и дорогое путешествие, и на пребывание в Парене оставался всего один день, а когда случались неполадки с расписанием, то и вовсе полдня.

В первый раз Ангельхоф не хотел его отпускать.

— У нас митинг,— заявил он,— а ты намерен увильнуть? Хорош, нечего сказать! Ты, видно, плохо представляешь себе историческое значение этого дня! Мы празднуем рождение Германской Демократической Республики! Это историческое событие такой же важности, как канонада под Вальми, а ты лезешь со своими семейными делами.

— Про эту канонаду я не слыхал, но газеты читаю, и надо уж быть совсем чокнутым, чтобы не понимать постановлений.

— Вот и понимай,— сказал Ангельхоф.

— Я хочу выяснить, что там с моей сестрой,— сказал Роберт,— она всегда была молодцом, ей, видно, туго пришлось, уж поверь.

Ангельхоф ответил, что ждет в понедельник подробного отчета, и отпустил Роберта. Но в Парене все знали только одно— Лида исчезла, оставив в своей комнате записку, что уезжает в Гамбург и никогда не вернется.

Мать Роберта тоже не смогла рассказать ему ничего другого, а Нусбанк, ее муж, был глубоко уязвлен. Разве не доказывал он постоянно, вопрошал он, что готов на все ради семьи, ради детей, разве не проявил себя как настоящий отец, разве уклонялся от каких-либо обязанностей и давал им понять, что он

только отчим? Но эта девчонка всегда была слишком упряма и не прислушивалась к его предупреждениям, что надо мыслить политически и знать границы братанью. И какова логика: раз она не может уехать со своим Сашей на Восток, она бежит на Запад и бросается в объятия преступников. Именно теперь, когда основана республика! Ведь это дело политическое, ведь это значит лить воду на мельницу тех, кто только и ждет случая подставить ножку товарищу Нусбанку.

— Нет, на меня вы больше не рассчитывайте, у меня и без того неприятностей хватает, и вообще я теперь буду разъезжать по деревням, растолковывать крестьянам значение текущего момента. Ну, мне пора, надо еще обеспечить хор и гитаристов для сегодняшнего митинга. Лизхен, ты почистила мои ботинки?

Мать Роберта подала мужу ботинки и сказала:

— Тебе нельзя так волноваться, Эрнст! Гитаристы — это хорошо, но с Лидой наверняка дело не политическое. Если подумать, то понятно, почему Лида убежала именно туда. Не только из-за того, что там родственники. А потому, что там она не будет встречать никого из русских.

Эрнст Нусбанк перестал шнуровать ботинки и посмотрел на жену с тяжелым недоумением.

— Не гляди на меня так,— продолжала она,— ведь это вполне объяснимо. В последнее время с ней просто по городу ходить нельзя было — как завидит русскую военную форму, так и рванется вперед, а подойдет поближе и сникнет: не Саша. Этак долго не выдержишь. А в Гамбурге русских нет.

— К сожалению,— вставил Нусбанк.

— Пусть к сожалению, тем не менее это так,— возразила ему жена,— и, значит, то, что случилось с Лидой, с политикой не связано.

Нусбанк начал было ей объяснять, что все связано с политикой, но Роберт напомнил ему про гитаристов, и тот спохватился, что времени у него в обрез.

Когда Нусбанк ушел, мать Роберта сказала:

— Я даже не спросила, как тебе нравится в университете. Не слишком утомительно? А кормят вас прилично? Я приготовила тебе еще смену постельного белья, возьмешь с собой. А учителя у вас симпатичные? Они уже заметили, как хорошо ты пишешь сочинения? Если бы твой отец дожил до того, что его мальчик стал студентом, он бы, наверно, заплакал от радости. Ах, твой отец...

Тут она расплакалась, и Роберту еле удалось ее успокоить. А потом он взял ее велосипед и поехал в Бардеков к Инге.

Под открытым окном чердачной комнаты, где жила Инга с

матерью, он свистнул и стал ждать.

Инга вышла из дому и пошла по деревне в сторону пруда.

Сначала Роберт пробовал убедить ее не делать из их дружбы такой уж тайны, но у него ничего не получилось.

Она была в черном костюме. Роберт спросил:

— Собираешься в церковь?

— Я уже оттуда.

— А целоваться после этого можно?

— Попробуй.

— Гм, отлично. Надо тебе почаще ходить в церковь.

— Пастор говорит, что вы хотите стереть с лица земли Германию.

Роберт расстелил свой френч на пне и сел.

— Ну, пойди сюда,— сказал он,— и признайся: веришь ты этому? Веришь, что я хочу стереть с лица земли Германию?

Она села рядом и сказала:

— Ты — нет,— но смотрела она не на него, а куда-то в сторону.

Роберт повернул ее лицо к себе.

— Только не увиливай. Ты сама сказала «вы», а теперь хочешь сделать для меня исключение. Но ведь ты понимаешь, что исключить меня нельзя. «Вы» — это верно, а вот «стереть Германию» — это чушь. Ваш пастор болван или опасный человек.

— Теперь ты тоже сказал «ваш»,— заметила Инга.— Я говорю «вы» и ты — «вы», а для «ты» и «ты» у нас, кажется, не остается места. Что же будет дальше?

— Сядь поближе.

Но Инга не шевельнулась, и Роберт сказал:

— Когда пастор расправляется с библейской историей, тут я ничего не могу возразить — он при сем не присутствовал. Но ведь здесь-то он присутствует, здесь-то он может глядеть во все глаза, и если он так говорит, значит, просто лицемерит. Ты что же, не видишь этого?

— Давай больше об этом не говорить,— сказала Инга.

Они пошли обратно к шоссе, а потом брели без дороги, и Инга подобрала картофелину, забытую в поле, и тогда они стали искать еще и рассказывать друг другу про костры, которые жгли в детстве на полях под Кёнигсбергом и в саду в предместье Гамбурга, и расписывать, какие огромные были те печеные картофелины и на вкус как марципаны, а у нас — как шоколад, их можно было есть не с фасолью, а даже с ванильным соусом; ну, это еще что, вот у нас были такие, что подложишь их наседке, и цыпленок вылупится — правда, высиживать его надо немного подольше, ведь все-таки картошка, да и цыплята-то не простые, а

фазанчики... Но на поле за деревней Инги они не нашли больше ничего, да и было бы чудом что-нибудь там найти.

Роберт вывел свой велосипед из кустов у пруда и уже перекинул ногу через седло, когда Инга сказала:

— Нам раздали анкеты для экзамена на аттестат зрелости в будущем году. Там спрашивается, есть ли родственники за границей. Что ж мне теперь писать — да, брат в Гёттингене и две тетки в Баварии? С седьмого октября тысяча девятьсот сорок девятого года, так, что ли?

Роберт прислонил велосипед к тополю.

— Что за чушь, это ведь только переход...

— От чего к чему? От Германии к России и Америке?

— Нет, от... ах, черт, ты на все смотришь не знаю чьими глазами. Да посмотри ты своими... много ли ты видела за свои двадцать лет от той самой Германии, о которой сейчас так причитаешь? Что ты видела, кроме пушек, свастик и военных сводок да городов, где горели крыши, а не фонари? Я лично ничего больше не видел. А вот хочу посмотреть и на что-нибудь другое. Я прошел всю Польшу и часть России и видел не пейзажи, а только поля сражений. Я не бродил, а маршировал, и каска на голове заслоняла мне небо. Ничего себе была когда-то рекомендация: приходишь куда-нибудь, и все знают, что ты немец. А я хочу, чтобы это и вправду было рекомендацией, и не хочу больше зарываться в землю ни как солдат, ни как пленный, ни в чужой стране, ни у себя дома. Почему ты никак не поймешь, что теперь все может пойти по-другому? Теперь мы не Германская империя и не Великая германская империя, а Германская Демократическая Республика. Ты, может, не так чувствуешь разницу: съездила на прошлой неделе из деревни в город, в школу, и завтра опять поедешь из деревни в школу... А вот я... вчера, когда было объявлено, что мы теперь Республика, Германская и Демократическая, так вот, вчера я уже четвертые сутки жил в доме, который называется «Общежитие рабоче-крестьянского факультета». Может, такое название с непривычки кому и покажется неблагозвучным, как и название «ГДР», но ничего, это пройдет! Главное, все здесь соответствует действительности, это так и есть, и тебе я могу сознаться: я горжусь этим, чуть не лопаюсь от гордости.

— Оно и заметно,— сказала Инга,— вот-вот лопнешь. Но это еще не причина говорить такие длинные речи. Я в растерянности, а ты произносишь речи. Да что речь! Проповедь читаешь. Уж в этом-то я кое-что понимаю. А еще неверующий. У человека нет времени, поезд уходит, причем не по расписанию германского рейха, а по расписанию Германской Демократической Республ-

лики, а он становится под мокрый тополь у пруда и читает проповедь о том, что отныне нельзя быть грешником, пора стать ангелом — германским демократическим. Садись-ка на свой велосипед, проповедник, тебя ждут на небе, а меня — моя мать.

Она помахала ему вслед рукой, и на этот раз у него гора с плеч свалилась, когда поезд тронулся. Сообщение, которое он сделает Ангельхофу, наверняка покажется тому довольно скудным, но разузнать что-либо о Лиде оказалось просто невозможным. Теперь Роберту было все-таки досадно, что он не принял участия в митинге по случаю образования республики, и еще ему было почему-то досадно, что он ничего не знает о канонаде под Вальми. Впрочем, к его утешению, никто из соседей по комнате тоже ничего о ней не знал.

Было уже далеко за полночь, когда Роберт появился в общежитии, но и здесь шла оживленная дискуссия. Квази Рик разведал, что ребята на верхнем этаже начали давать названия своим комнатам. Жаль, конечно, что идея эта родилась не в комнате № 32, но лучше поздно, чем никогда. Квази предлагал назвать комнату «Германская Демократическая Республика», Трулезанд и слышать об этом не хотел.

— Да ты представляешь, что это значит,— кипятился он,— только и делай, что подметай да убирай. В тридцать второй грязь по колено — еще кое-как сойдет, а примерь-ка к твоему названию... А что, если «Седьмое октября»?

— «Седьмое октября», конечно, здорово,— сказал Квази,— только об этом и без нас догадались, одну комнату так уже назвали.

— Тогда, может быть, просто «Октябрь»,— предложил Якоб, но его предложение было единодушно отвергнуто.

— Еще скажут,— возразил Трулезанд,— что мы только о яблоках и думаем. Тут должна быть политическая ясность, а потому вношу предложение: назовем комнату «Красный Октябрь».

Принято единогласно.

Роберт оторвал обложку от блокнота для рисования. Трулезанд толстым карандашом написал на ней название, а Якоб сделал из проволоки четыре гвоздика. Но когда они начали прикреплять вывеску к двери, Квази Рик заявил, что получается слишком уж сухо.

— Надо бы сюда еще чего-нибудь добавить,— сказал он,— например, звезда была бы квази в самый раз.

Трулезанд нарисовал пятиконечную звезду, красный флажок и пулемет с ярким пламенем на конце дула, а в уголке еще книгу по настоянию Якоба. Когда все легли и погасили свет, Трулезанд сказал:

— Попадет нам за такую вывеску.

Все ждали разъяснения, и Трулезанд продолжил:

— Роберт этого не знает, он не был на митинге, но вы-то все ведь знаете, какое сейчас положение. Слышишь, Роберт? Шагаем мы сегодня по городу и сперва, ясное дело, поем «Восстанавливай, строй!», потом «Небо Испании», дальше поем «Вперед, рабочий народ!» и, наконец, естественно, «Интернационал». Каждый, конечно, заметил, что «Интернационал» лучше всего, и потому мы тут же затянули его во второй раз, а когда пришли на Марктплац, то опять давай его петь. Здорово звучало! Но потом Старый Фриц взял нас за бока — говорит, что это было вовсе не уместно; мол, Германская Демократическая Республика стоит на страже антифашистско-демократического порядка, а мы «Интернационалом» отпугиваем людей, так сказать, неподготовленное население. Я, по правде, как-то не совсем понимаю, в чем тут дело, но отнестись к этому случаю надо критически и самокритически. Кого мы, собственно, отпугиваем? Уж не тех ли, кого стоит разок стукнуть?

— Помню,— сказал Роберт,— у нас в лагере тоже был случай с «Интернационалом», и тоже все было неверно. Мы там организовали антифашистскую группу, тогда нас было еще немного, но пели мы здорово и приветствовали друг друга поднятым кулаком, по-ротфронтовски. Это ввел один портной, правда, сам-то он оказался не из тех. Ну, создали мы свою антифашистскую группу, а тут и католики зашевелились. Конечно, у них совсем другое дело: поют себе «Аве Мария» да четки перебирают, вот чем они брали — народу у них собиралось побольше, чем у нас. Как-то в воскресенье утром устраивают они богослужение прямо у нас под окном. У них был польский священник. И их пение врывалось прямо в наш семинар на тему «Цена, прибыль и заработная плата». Тогда мы открыли окна и давай петь «Интернационал», допоем до конца и снова начинаем, пока они не сдались. А все остальные, не антифашисты и не католики, стоят вокруг и животы надрывают от смеха. Вот в этом-то и была наша ошибка.

— Ну ладно,— пробормотал Квази Рик,— раз петь «Интернационал» и рисовать на дверях красные звезды — перегиб, так надо нам это квази учесть и придумать что-нибудь более подходящее. Вот хоть стихи:

Мы, немецкие демократы,
За республику умрем.
И не посадит враг нас в печку на лопате,
Мы верную, примерную политику ведем.

— Отлично,— сказал Трулезанд,— только «за республику ум-

рем» звучит слишком уж жертвенно, давайте заменим на «для республики живем» — это будет получше, помирать никому неохота, каждому хочется жить.

Квази встал с постели и зажег свет. Взяв карандаш и листок бумаги, скомандовал:

— А ну-ка, сочиняем «Октябрьский марш», каждый по одной строчке. Лесник, просыпайся, тебе начинать!

— Да я и не сплю вовсе,— сказал Якоб,— только я не умею сочинять в рифму. Я простой лесоруб, а не поэт. А вы начинайте с того, что сказал Трулезанд, здорово звучит: «Помирать никому неохота, каждому хочется жить».

Квази, покачав головой, заявил, что с трудом представляет себе, как можно такое петь; он попробовал на один мотив, потом на другой, но его пение настроило и остальных весьма скептически. Тогда они решили предоставить заботу о мелодии специалисту, а самим заняться текстом.

Следующую строчку опять пришлось предложить Трулезанду. Он бегал босиком взад и вперед по комнате, а потом, заметив, что подметает пол своей длинной ночной рубашкой, подхватил ее, словно балерина юбочку, и прошелся в ритме марша на цыпочках. При этом без остановки повторял первую строчку, стараясь подогнать ее под марш.

— Еще подумают, что это балет, а не демонстрация,— пробормотал он,— зато содержание что надо! Итак, продолжаем. Записывай, Квази:

Помирать никому неохота,
Каждому хочется жить.
А значит — к черту все войны!

Следующий, пожалуйста!

— Ничего, хитер,— буркнул Роберт,— рифму мне подсунул. А ну-ка падай от изумления, я придумал:

Молот в руки! Колеса крутить...

— Минутку, минутку!— крикнул Трулезанд.— «Молот в руки, колеса крутить» — здесь неясность. Так можно нечаянно и по колесу трахнуть. Как бы не вышло недоразумения. А потом, мне кажется, тут опять вкрался перегиб: молот, колеса — все это прекрасно, но где же идейное начало, где работники пера, кисти, слова?

Работников слова из песни не выкинешь, пришлось их вставить — утром на митинге ораторы то и дело возвращались к идеям и духу,— и Якоб оказался на высоте, посоветовав заменить «колеса крутить» на «и перья вострить». Наконец-то текст

получился и в рифму и политически выдержанный.

— Все,— сказал Якоб,— теперь можно спать спокойно.

На другой день «Октябрьский марш» звучал уже не так победно, как ночью. Все были очень удивлены этим обстоятельством и задумались, у кого бы получить консультацию о тайнах стихосложения. Никто не мог предложить дельной кандидатуры, но все сошлись на том, что доктор Фукс, преподаватель немецкого языка, подходит тут меньше всего. С доктором Фуксом у них уже был печальный опыт, так же как и у доктора Фукса с ними. Страдания Фукса начались с первого же урока. Он надеялся найти здесь более понятливую аудиторию. Конечно, он понимал, что придется пахать залежь, но думал, что это будет по крайней мере добрый чернозем, а не бесплодная глина.

Излагая свое учение о знаках препинания, он так и сыпал афоризмами вроде «Двоеточие и точку надо ставить точка в точку», но — увы! — когда стал пожинать плоды своего посева, то увидел, что и запятые, и точки, и многоточия проросли во всех сочинениях где попало. Поблекший, он стоял возле кафедры и защищался против упрека, которого никто ему, собственно, не делал:

— Вы что же думаете, это я придумал знаки препинания? Ведь это не я!

Он попал в самое худшее положение, в какое только может попасть учитель: его не принимали всерьез. Одного-единственного урока, самого первого, оказалось достаточно. Быть может, этого не случилось бы так быстро, если бы в классе тогда горел свет, но рано или поздно это все равно должно было произойти, потому что для доктора Фукса важнейшей жизненной необходимостью была правильная пунктуация — остальное приложится. Для него было внутренним компромиссом уже то обстоятельство, что ему пришлось на первом уроке, вместо того чтобы воспевать чудо тире и двоеточий, прочесть стихотворение и заняться его интерпретацией.

Начинать надо всегда с осторожностью — такой лозунг выбросил Вёльшов на педсовете, и Фукс был в достаточной мере педагогом, чтобы признать правильность его девиза. Осторожнее, чем начал он, вряд ли можно было начать. Он выбрал «Вечернюю песнь» Келлера, прекрасную, прозрачную вещь. Она подходила к моменту — был вечер, когда он вошел в класс. Электричество давали только в семь, но сейчас, в шесть, было уже темно. Фукс ощупью пробрался в темноте к своей кафедре, сопровождаемый тишиной, полной ожидания, и, устремив взгляд вперед,

туда, где затаили дыхание тридцать с лишним человек, произнес ту самую фразу, которую, несомненно, сам черт его дернул произнести:

— Я вижу все!

В следующую секунду педагог Фукс погиб, вернее, он был уже на краю гибели, когда в темноте раздался голос какой-то девочки. Голос этот, тихий и все-таки внятный, ясный и мягкий, и все же не без перчинки, спросил:

— Как это вам удается?

Послышался приглушенный смех, только Квази рассмеялся немного громче, но, когда Трулезанд крикнул: «Эй, вы, хватит!» — смех тут же смолк и перешел в ожидание. Доктор Фукс сказал:

— Я буду преподавать вам немецкий язык. Это язык благозвучный, богатый интонациями и обладающий огромным запасом слов. Богатство и изобилие всегда нуждаются в мере и дисциплине. Это можно сказать обо всех сферах жизни, в том числе и о языке. Порядок в нем устанавливается благодаря грамматике. Грамматика есть абсолютное выражение разума. Тот, кто претендует на звание разумного человека, должен как минимум овладеть грамматикой родного языка. Нашему с вами вступлению на путь обучения и усвоения должно предшествовать стихотворение. Таково пожелание дирекции. Я выбрал стихотворение Готфрида Келлера. Итак, слушайте:

О глаза мои, окошки в белый свет.
Столько лет в меня вы льете ясный свет...

Трулезанд во второй раз проявил сознательность, прервав нарастающий шум почти отеческим упреком:

— Ребята!

Доктор Фукс прочитал все четыре строфы, потом повторил первую еще раз и наконец спросил:

— Ну, что скажете?

— Тут все время одна рифма,— крикнул кто-то,— «свет», «лет» и опять «свет» — ничего работка, порядочно повозился!

— Восприятие у вас правильное,— сказал доктор Фукс,— но словесное выражение, в котором вы его формулируете, изобилует вульгаризмами. «Повозился», «работка» — неужели вы не смогли бы подыскать более подходящие слова?

Молодой человек поразмышлял некоторое время при участливом молчании окружающих и затем с сомнением осведомился:

— Может быть, «работенка» звучало бы лучше?

Не нужно было света, чтобы заметить раздражение Фукса.

— Да оставьте же этот отвратительный жаргон! Почему вы

не можете просто сказать: тут было много работы? Может быть, для вас работа — недостаточно уважаемое занятие?

Тишина, царившая в классе, как-то изменилась, это была уже напряженная, сердитая тишина; и прервана она была чуть слышным постукиванием пальцев и голосом девочки — голосом, который запомнился всем с самого начала урока. Она снова сказала тихо и все-таки внятно и ясно, но уже гораздо менее мягко, а перчинка была куда крупнее, чем в первый раз:

— Это Гюнтер Бланк сейчас говорил, он передовик труда.

Послышался скрип половиц, легкое шарканье ног, причмокивание, потом доктор Фукс произнес:

— Вношу следующую поправку: достигнутый вами уровень овладения языком, господин Бланк, очевидно, значительно ниже того уровня, на который, как я слышу, и слышу с радостью, поднялись вы в своей профессии. Мне приходится остаться при своем мнении, что выражения «работка» и «работенка» не являются подходящими для обозначения творческой деятельности поэта такого масштаба, как Готфрид Келлер. Но поскольку мы уже начали этот разговор, пусть и не совсем в приятной форме, скажите мне, господин Бланк, передовик производства, какого вы мнения о содержании этого стихотворения — что касается формы, так о ней мы поговорим потом. Что он за человек, поэт Готфрид Келлер?

Прошло много времени, прежде чем огорченный передовик кое-как оправился от обрушившегося на него раздражения, и неизвестно по какой причине, то ли из осторожности, то ли из-за недоверия к собственным языковым возможностям, недоверия, появившегося впервые в жизни, студент Бланк сформулировал свой ответ одним-единственным словом:

— Атеист.

— Это почему же? — воскликнул доктор Фукс. — Это еще откуда? Но чтобы избежать опрометчивых суждений, я прежде всего хочу попросить вас сформулировать ваш ответ полным предложением. Вот тогда мы посмотрим, в чем тут дело.

На Бланка снова начало что-то обрушиваться, но он успел еще выговорить свое предположение:

— Поэт Готфрид Келлер — атеист.

Похоже было, что он собирается сесть, но учитель не отступал:

— Какие у вас основания для столь неожиданного предположения? Позвольте, ради всего святого, узнать ваши аргументы!

Поскольку последнее требование не заключало в себе никакой языковой ловушки, передовик Бланк не заставил себя долго ждать. Он заявил с упрямой убежденностью:

— Вы сказали, что поэт Готфрид Келлер думает, будто когда он закроет глаза, ну, окошки эти, тут и наступит шабаш, конец всему, и душа тогда тоже закроет свою лавочку и отправится на отдых: стянет с себя сапоги и уляжется в ящик. Вы не можете еще раз прочесть это место про сапоги?

Доктор Фукс прошелся взад и вперед по классу и только после этого прочел еще раз вторую строфу. Он придал своему голосу выражение неисчерпаемого терпения.

А когда вас скроет сень усталых век,
А когда погаснет ясный свет,
В темноте, разув сандальи, сняв доспех,
В свой сундук душа уляжется навек.

— Я тоже вношу поправку,— сказал передовик,— не сапоги, а сандальи, и не ящик, а сундук. «Век», «доспех», «навек» — тут было много работы. А с атеизмом все ясно: у тех, кто верит в бога, душа улетает на небо, а у поэта Готфрида Келлера ее хоронят вместе с человеком.

И тут зажегся свет — словно у Гюнтера Бланка была тайная договоренность с электростанцией. Перед глазами класса предстали довольный всевидящий передовик и изнуренный, выдохшийся учитель.

Доктор Фукс поднялся на кафедру и разъяснил, что эта дискуссия уводит слишком далеко от того учебного материала, с коим ему поручено ознакомить учащихся. Стихотворение должно было послужить всего лишь небольшим торжественным вступлением к их занятиям, а это, собственно говоря, достигнуто. Что же касается мнения господина Бланка, то он тщательно разберется в этом вопросе, а также и в вопросе о том, имеет ли он право связать этот вопрос с учебным планом, и в случае положительного решения он вернется еще раз к не лишенному интереса вопросу об атеизме Готфрида Келлера. Разумеется, несомненна духовная близость его с Фейербахом и так далее, однако это завело бы нас слишком далеко, а необходимо еще дать домашнее задание, сейчас самое время уделить ему внимание.

Прежде чем выйти из класса, он снова вернулся к стихотворению.

— Господин Бланк,— сказал он,— но ведь вы, я думаю, согласитесь с тем, что заключительные строки, эти слова: «Пейте, о глаза, в тени ресниц золотую прелесть мира без границ!» — прекрасны, не правда ли?

— Еще бы не прекрасны,— сказал передовик Гюнтер Бланк, и класс шумно выразил ему свое одобрение.

Роберт больше не мог уснуть. Диван, на котором он лежал, был ему слишком короток, в комнате стоял какой-то незнакомый запах, было душно, в окна светили фонари и врывался шум с Санкт-Паули.

Но не потому он не мог сомкнуть глаз. А из-за абсурдного ощущения отчужденности. Он чувствовал себя так, словно весь день ехал в сломанной машине времени по местности, которая была его прошлым и не была им, была чужой и в то же время его родиной. Он слушал рассказы и вспоминал истории, как будто бы не имевшие друг к другу никакого отношения и все же как-то связанные между собой. Еще утром он проснулся в кровати, отдаленной от этого дивана на несколько железнодорожных станций, а теперь ему казалось, что до нее дальше, чем до Луны.

Роберт Исваль, член партии, лежал на диване гангстера и думал об обитателях комнаты «Красный Октябрь» и о дочери проповедника, а под окном проститутка говорила озябшему человеку:

— Я еще получше Клеопатры.

— И чуть-чуть постарше,— ответил тот, и это помогло Роберту вернуться к действительности.

Он мысленно усмехнулся и представил себе этого человека — он мог бы его увидеть, если бы встал и подошел к окну,— но решил, что лучше себе его представить.

Человек этот был не слишком высокого роста, и не так уж широк в плечах, но сильный и крепкий. Он озяб, потому что возвращался с ночной смены из гавани в четыре часа утра, а стоял февраль, трамваи ходили не чаще чем через полчаса, и идти до предместья было еще далеко. Он вряд ли знал что-либо о Клеопатре, как, впрочем, и о Цезаре и Антонии, и, вероятно, ничего не знал о битве при Акциуме и об укусе змеи. Но он ответил на саморекламу потерявшей надежды проститутки с тем последним запасом юмора, какой у него еще оставался в четыре часа утра на таком холоде. Роберт нашел его ответ отличным. Он был словно нарочно найден для этого города, который кричал на всех углах, что он лучше, богаче, удачливее, ловчее, громче, пестрее, бурнее, моднее, чем все города вокруг.

Он хвастал, но нельзя сказать, чтобы врал: таким он и был, и еще разным другим, и, уж во всяком случае, по сравнению с теми городами, которые Роберт считал теперь родными, куда искушеннее в обладании и удовольствиях, и из всех его недостатков только один заслуживал упоминания: он был чуть-чуть постарше.

Кроме Роберта, в пивной никого не было. Лида и его шурин, гангстер, жили за несколько улиц отсюда в полуподвальном этаже бывшего госпиталя. Это был квартал, где старушки,

выводя по вечерам прогуливать до ближайшего фонаря своих собачонок, для безопасности клали в сумочку опасную бритву. Заброшенный госпиталь не наводил на мысль о кладах, и это было на руку шурину Герману: он знал о внимании налоговых инспекторов к себе и своему заведению.

Конечно, Роберт мог бы спать в одной из уютных комнат полуподвального этажа, но ему хотелось хоть на какое-то время выпутаться из паутины гангстерских рассказов Германа Грипера. А кроме того, здесь было веселее: если уж жить в Санкт-Паули, то в самом центре Реепербана.

Роберт встал и сварил кофе — того, что варили для домашних, а не для посетителей; оставив без внимания кастрюлю с сосисками, поджарил глазунью. За завтраком полистал «Констанце» — здесь, в пивной, иллюстрации выглядели еще пошлее.

Дымный ветер дул над площадью и, казалось, пронизывал до костей; даже швейцары немногих круглосуточно открытых веселых заведений не имели, видно, никакого желания вступать в разговор: всю ночь они зазывали приезжих, обещая им острые ощущения и времяпрепровождение пусть сомнительное, но зато поучительное — сейчас, в пять часов утра, на их рынке начинался застой, покупателей на эти ценности не находилось.

Сторож в гараже едва взглянул на Роберта, когда тот предъявил ему квитанцию, и Роберт отказался от мысли спросить у него, как пройти по этому лабиринту, образованному автомашинами. Он потерял много времени, но в конце концов между двумя машинами «оппель-капитан» нашел свой «боргвард».

Уличное движение стало гораздо оживленнее; но пока в автокроссе участвовали только грузовики и фургоны, доставлявшие товары в магазины. В их поток и втиснулся Роберт, и поток этот понес его машину от Хольстенваля через Ломбардский мост.

За мостами через Эльбу движение стало спокойнее, а в зеленом районе Харбург — Вильгельмсбург было и вовсе пустынно и тихо. Дамба отсюда совсем близко, но она оказалась недостаточно высокой. Все давно привыкли к ней как к парапету, и никто не воспринимал ее как защитное сооружение. Да никто и не чувствовал угрозы от воды за нею. Ведь вода эта была Эльбой, а не морем: море было далеко — километров за сто отсюда, а здесь был Гамбург, современный неприступный город.

Роберт оставил машину возле одного из установленных недавно временных фонарей и пошел пешком к поселку. Желтый щит предупреждал об опасности эпидемии, другой, тоже желтый, о том, что по грабителям будет открыта стрельба без предупреждения.

В одном из опустошенных наводнением садов какой-то чело-

век при свете ручного фонаря складывал кирпичи.

— Доброе утро,— сказал Роберт,— рано вы поднимаетесь.

Человек рукой прикрыл глаза от света и, прежде чем ответить, некоторое время рассматривал Роберта.

— Вы тоже,— ответил он.— Полиция, страхование или газета?

— Не полиция и не страхование.

— Значит, газета. Вам еще не надоело?

— Самое главное только начинается,— сказал Роберт.— Как пойдут дела дальше и что тут теперь будет?

— Ха-ха, что тут теперь будет! Не прикидывайся простачком, дружок. Что тут будет, ты знаешь получше меня. Все мы получим новенькие квартирки, а участки перейдут в собственность вон той фабрики маргарина. Они уже двадцать лет зарятся на эту землю, хотят здесь что-то строить, ну, теперь наконец-то им повезло. Давай записывай поскорее, а то забудешь.

— Я из Восточного Берлина.

— Тогда проваливай,— сказал человек,— да побыстрее, понял? Вас это не касается. Еще не хватало мне с вами связываться. Сматывайся, понятно?

Роберт подошел к фонарю и спросил:

— Можно прикурить? У меня нет спичек.

Человек отодвинул стекло, и Роберт прикурил от фонаря.

Человек молча наблюдал за ним, потом, потянув носом воздух, сказал:

— Небось махорка. Лучше бы Ульбрихт закупил вам вагончик-другой «Урожая № 23», чем такую дрянь покупать.

— Это «ХБ».— Роберт подержал пачку перед светом.— А запах от меня. Мы на Востоке все так пахнем — степью, мазанками, черным хлебом, этого уже не вытравишь.

— Не болтай,— оборвал его человек,— чего тебе здесь надо?

— Ничего особенного, посмотреть, как тут и что, да узнать, что будет дальше — будут ли снова насыпать дамбу и платить за убытки, сколько и кому, и только ли стихия здесь виновата, или, может, еще что, и задает ли эти вопросы кто-нибудь, кроме меня, и какой ответ получает, и все ли тут верят в несчастный случай, и научит ли это происшествие кого-нибудь чему-нибудь. Вот и все, что я хочу узнать.

— А какое дело до этого Ульбрихту?

— Вот тут вы правы. Какое дело до этого Ульбрихту, когда об этом заботится Аденауэр? Ведь он заботится — так, что ли?

— Еще бы не заботился! Нет, друг, с этим ты ко мне не подъедешь. Ничего я тебе не расскажу. Я лежал в постели, когда жена крикнула, вскочил, а вода уже по щиколотку... Потом мы

влезли на крышу. Моя старуха до сих пор еще не оправилась от испуга...

— Вы тут жили вдвоем с женой?

— Да, а дочка с зятем — за квартал отсюда. Зять на этом просто свихнулся — все думает, что он во всем виноват. Бред собачий, конечно, он тут ни при чем, да поди втолкуй ему. Была его смена у «Лесмана» — это такой пищевой комбинат, здесь, неподалеку, там консервированные супы делают, соусы, яичный порошок в пакетах, такого добра там хоть отбавляй, а он у них на автофургоне работает, подвозит ящики на пристань. В конторе, видно, уже кое о чем знали. Зять рассказывает, они там здорово суетились, говорили, надо угонять машины со двора — скорей, скорей, без задержки. Да ведь у них всегда так, потому что они грузят тут, в гавани, и простой судов замеряют секундомером, а за каждую лишнюю минуту можно купить дом. Зять говорит, он должен бы заметить — что-то случилось, по ночному времени слишком уж много народу набежало, а у Твитенского моста он уже ехал по воде. На мосту — а мост узкий — получился затор, ни туда, ни сюда. С той стороны шли самосвалы с песком на строительство дамбы, и они не могли съехать с шоссе — оно выше лежит, чем сады, а зять мой не мог дать задний ход, потому что ведь не он один, много машин выехало со двора комбината. И конца этому не было видно... пока самосвалы кое-как не перебрались на ту сторону. Но вода уже сильно поднялась, и мы сидели на крыше, а моя дочь, жена моего зятя, наверно, тогда и утонула вместе с малюткой. И зять мой вбил себе в голову, что это по его вине. Попробуй-ка разубеди его. Вот и все, что я знаю, а теперь оставь меня в покое.

Роберт оставил его в покое. От рассказа старика можно было взвыть, но репортеры не воют. Врачи ведь тоже не воют. Правда ли это, про врачей? Может быть, и правда. А репортеры слушают, смотрят и информируют — воют за них читатели.

И ты этому веришь, Роберт Исваль? И ты хочешь кого-то в этом убедить? А кто же тогда так пристально рассматривает серию фотоснимков о самоубийстве некой жительницы Нью-Йорка и другую — об убийстве венгерского полицейского? И всегда пытается думать вместе с фотокорреспондентом: расстояние слишком велико, но, если поставить телеобъектив, женщина уже не производит того впечатления, не кажется такой одинокой, как сейчас, там, наверху, на карнизе; света, правда, маловато; да здравствует пожарная команда и ее прожекторы; разок-другой щелкнуть телеобъективом не повредит, ведь читатели хотят видеть ее страх, а вдруг ее угораздит прыгнуть как раз в

тот момент, когда я меняю объектив, минуточку, мадам, будьте любезны... Да что же это они, хотят его укокошить, что ли, а я тут с фотоаппаратом один-одинешенек на всю округу, ах, братцы, ах, я болван, а ведь знает, бедняга, что ему крышка, губы дрожат, три метра, три метра — точно; а сколько свет держать, с какой скоростью он кувырнется, быстрее, чем вратарь, да нет, конечно, куда там, одной двухсотпятидесятой хватит, но что же они так медлят; ах черт, это было здорово, когда он сейчас руку держал перед глазами, готово, так, сколько у меня уже кадров? Шесть трупов, дважды слезы радости, потом раздавленный, этот у меня пять раз, и трижды знамя свободы — итого шестнадцать, что ж, хватит; эх, если и его заполучу, если пуля угодит в него, тут же беру отпуск. Посылаю Лиз телеграмму, собирайся, дорогая, у Биг-Боя завелись деньжата; вот он уже лежит, попался, голубчик, да, мне он попался, где тут почта... Профессия, как всякая другая, не так ли? Ремесло, больше ничего. Фотограф есть фотограф. Он делает фотоснимки — вот фото прелестной задницы Дези на меху белого медведя, а вот — атомного гриба. А репортер есть репортер. Он слушает истории, записывает, как что было, когда тетя Густа еще не выжила из ума, и как что было, когда стала прибывать вода. Он не смеется, не плачет — он информирует.

Кто этому поверит, кто обязан этому верить, кто наплел эти небылицы? Кто придумал эти чертовы побасенки? Но не будь побасенок, Роберт Исваль не был бы репортером. Он и так-то не настоящий репортер, а только внештатный сотрудник, пишет для газеты все, что угодно, но реже всего репортажи.

Иногда он тосковал по своей старой, по своей первой профессии.

Трехфазный ток, постоянный ток, переменный ток, низкое напряжение, высокое напряжение, цинк, алюминий, медь, выключатель, изолятор, розетки, тройник, скрытая проводка, наружная проводка, алебастр, подземный кабель, реле и всегда отвертка. Одно в голове, а другое в руке, тут свистнешь, там ругнешься, когда пот прошибет, а когда и нет, когда поскучаешь, а чаще любопытно, почти все зримо и измеримо, можно рассчитать, можно показать — вот это работа, полезная работа! В кухнях становилось светлее, на лестницах можно было чувствовать себя увереннее, мешки взлетали вверх на лифтах — люди не гнули спину, пиво и летом оставалось холодным, гладя рубашку, легко было петь про прекрасную жену садовника и белого голубка, сажа не летела в открытые кастрюли, ночники светились в темноте в доме для престарелых, никто не стукался головой о балки в хлеву, и, нарезая репу, можно было стоять сложа руки, пилы крутились, холодильник замораживал, насос накачивал — и

все оттого, что рано или поздно появлялся некто, кого приветствовали возгласами: «Наконец-то!» или «Слава богу!» — а когда он уходил, хозяйка провожала его благодарным взглядом, а крестьянин — похлопыванием по плечу, и оба добавляли: «Да уж, пожалуйста, возьмите!» Счет приходил по почте позднее.

Вот это были времена, вот это действительно была работа, которой не постыдишься и потом, пусть даже получилось короткое замыкание, или снова сломался звонок, или пятно от гипса на потолке свидетельствует о грубой работе со скрытой проводкой — все это ведь не страшно, можно спать спокойно. Но что, если ты заглянешь в свою статью и она окажется гораздо глупее, чем был ты сам, когда ее писал, и она уже не имеет с тобой ничего общего, кроме имени; что, если ты стараешься уловить в ней эхо всего того, что было, но не слышишь ни звука, и на листе, исписанном тобой, лежит желтизна трусости?

Что можешь ты ответить, если тебя об этом спросят? Когда еще была Инга, Роберт часто ездил с ней по деревням, и Инга начала постепенно понимать, почему электромонтеры не любят бетонных стен, и тем более — каменных и кирпичных. Она вместе с ним вздыхала о том, как провисает алюминиевая проводка, и знала, как его радует твердый характер меди. Она слушала его сообщения о новых открытиях, сделанных в дебрях старого сарая, где произошло особенно хитрое короткое замыкание. Она видела тот легендарный столб, который когда-то раньше был еще гораздо выше, гораздо-гораздо выше, и совсем гладкий, и вот-вот готов был рухнуть,— тот самый столб у колодца, только тогда он был выше, гораздо выше, наверно, он за это время осел, вошел в землю, ведь тогда с него можно было глядеть поверх церкви, и тому, кто на нем висел, казалось, что он висит на верхушке мачты над бурным океаном, и нельзя было себе представить, что есть еще какой-нибудь способ очутиться на земле, кроме как броситься вниз головой; так думалось между гудящими проводами там, наверху, на этом столбе, который когда-то был намного выше — по крайней мере вдвое. Тогда, вместе с Ингой, все было интересно.

С Ингой легко было чувствовать себя знающим и деятельным, и, когда хотелось произвести на Ингу впечатление, это нетрудно было сделать.

— А если тебя током дернет, тогда что?

— Сперва покажется, будто кто-то ткнул тебя проводом в руки и до самого сердца, а потом самое большее — чихнешь разок, и все.

— А что ты сказал той женщине, когда она хотела дать тебе свиного пойла?

— Я не объедаю животных, сударыня,— сказал я.— Я ведь знаю, что такое голод!

Когда Роберт распрощался со своей старой профессией, Инга никак не могла этого понять.

— Разве это не ты, Роберт Исваль, говорил всегда: «Мы можем жить без собственников!» А теперь! Твой хозяин закрыл свою лавочку, и ты словно рыба, вытащенная из воды, ты нанимаешься к первому попавшемуся актеришке, чтобы ехать с ним невесть куда.

— Никакой это не актеришка, он так читает Маяковского, что мурашки по спине бегают, и РКФ — это не невесть куда.

— А я тебе говорю — невесть куда. Если бы здесь случайно проходил шарманщик, он наверняка заполучил бы ассистента по имени Роберт Исваль. И почему только ты не стал уборщицей? Вчера тут открыли новую лавку, и на окне висит объявление: «Требуется уборщица. А также ученицы». Почему бы тебе, дураку, не плести соломенные шляпки?

— Я хочу уехать отсюда,— сказал Роберт.

— Значит, вот оно что. Значит, из-за меня.

— Да не мели ты чепухи! Если бы не ты, я бы давно уже был за тридевять земель. Я хочу уехать из-за Нусбанка, и вообще у нас нет семьи. Мать боготворит этого типа, а ведь она была когда-то женой моего отца. Отец был человеком, перед отцом даже самые злые шавки снимали шляпу. А теперь этот Нусбанк. Вчера он мне говорит: «Ну-ка изобрази мне крестьянина, такого, знаешь, совсем отсталого, которого я должен переубедить!» Хорошо, я ему изображаю крестьянина, и такого отсталого, что его даже сам Нусбанк никак не может переубедить. Тогда он жалуется матери и говорит, что это, мол, подозрительно, почему у меня реакционные лозунги всегда наготове,— тут, говорит, причина глубже.

— И ты его не высмеял?

— Да нет, я больше не могу, я уж над ним столько смеялся, что и смеха не осталось, теперь совсем дело плохо. Когда я его высмеивал, он говорил, что я, видно, смеюсь над его седыми волосами, а они стали седыми в лагере, где он и за меня сидел, да-да, за меня, конечно, и пусть-ка моя мать посмотрит на меня и скажет, как этот сопливый нацист оказался в нашем доме.

— Твоя мать...

— Ах господи, моя мать! Знаешь, что у нас вчера после этого было? Она взялась изображать крестьянина, которого Нусбанк должен переубеждать, и, клянусь богом, я сам слышал, как он ей говорил: «Да нет, ты не так спрашивай, эти крестьяне спрашивают глупее, ты глупей спрашивай!» И моя мать, вообще-то умная

женщина, чтобы угодить своему Нусбанку, уж до того идиотские вопросы задавала, что он ей отвечал без запинки. Ну, кого тут не стошнит?

— Я только одного боюсь: если ты переменишь дом, и город, и профессию, не захочется ли тебе переменить и все остальное?..

— Ничего не понимаю!

— Это у Шторма, что ли, такой рассказ есть, где герой уезжает учиться в большой город, а когда возвращается домой, он уже слишком умен и не хочет больше знать ту девочку, с которой играл в детстве.

— Этот рассказ, по-моему, есть у кого хочешь, я уже раз десять его читал, и еще я читал про ведьм, которые летают на помеле, и про кисельные берега и молочные реки, и про то, что миллионеры начинают свой путь чистильщиками сапог.

— Что ж, многие и правда начинали чистильщиками...

— Да, и некоторые из них, заметь, так и остались чистильщиками.

Инга много значила для Роберта, и он со страхом смотрел на то, как пропасть между ними все увеличивается и увеличивается. Они словно стояли на двух разных льдинах, и ветер гнал эти льдины в разном направлении. Нет, неточный образ, ветер гнал их в одном направлении, их разделяло что-то другое.

Их разделяла правда, чистая правда, и ничто, кроме нее. Роберту понадобилось много времени, чтобы понять это, и, если бы не Трулезанд, понадобилось бы еще больше.

Однажды в воскресенье вечером Роберт увидел Трулезанда с какой-то пожилой женщиной на платформе в Рибнице. Сунув свой набитый, но очень легкий рюкзак в купе Роберта, он снова вернулся к провожавшей его женщине. Он прощался и целовался с ней долго и обстоятельно, ни на кого не обращая внимания, потом махал ей огромным носовым платком, пока она поспешно пробиралась к выходу с перрона.

— Нет, ну скажи,— обратился он к Роберту,— ну что это за человек!

— Я ее почти и не видел,— ответил Роберт,— она что, тебе полный рюкзак сена напихала?

— Это пух, старик, настоящий довоенный пух, собственноручно тетей Мими выщипанный, рассортированный, высушенный и выглаженный.

— И ты целуешься с тетей Мими?

— Да это вовсе не тетя Мими, а тетя Лена, моя настоящая тетя. Пуха у нее нет, и потому она его не раздаривает, зато

сердце у нее, брат,— не сердце, а золото. А что у тебя? Как твой роман с дочуркой того проповедника, ходили вы еще раз в цирк и глаза у нее все такие же огромные?

— Наверно, такие же, не знаю.

— Итак, подытожим: вы опять поругались. А теперь в чем дело? Когда-нибудь, брат, хотелось бы и мне встретить такую, как твоя, такую, которая спорит о Наполеоне, когда хочешь положить ей руку на колено. Не знаю почему, но я все встречаю других — они только и ждут, чтобы их хватали за коленки, ну и все такое. Что же на этот раз с дочкой пастора?

Роберт немного побоксировал с рюкзаком, потом стал рассказывать:

— Она сказала, что ее заставляют вступить в ССНМ, а я говорю, никто тебя заставить не может, но очень плохо, что ты сама туда не вступаешь. Тогда она сказала, что если так, то уж лучше она вступит в партию, по крайней мере будет считать, что она в социал-демократической партии.

— Что-о-о?

— Да. Мол, так же, как и я.

— Что-о-о?

— Да, так же, как и я считаю, говорит, что я член СДПГ, хотя формально я в СЕПГ — точнее, это она думала, что я так считаю. Ну чего ты на меня уставился? Уж скорее я соглашусь глотать пух тети Мими, чем считать себя членом СДПГ. Но ей я до сих пор ничего такого не говорил, хотел сперва ее подготовить, пойти с ней в цирк или на гору Фитингбарг, показать ей пещеру разбойника Фитинга, на Эльду хотел с ней сходить или, уж не знаю, в оперетту, что ли, но с ней, только с ней, все равно куда, только с ней, это было самое важное. Но получалось каждый раз так, будто катаешься на коньках по первому льду. Вдруг оказывается, что ты весишь пять центнеров, а слой льда под тобой не толще пергаментной бумаги. Здесь трещит, там вот-вот провалится, и, если ты не проскочишь побыстрее это место, тебя вдруг обдаст ледяным холодом, а вокруг все темно-зеленое, и вот тебя уже ищут с длинными баграми. Но ведь все равно ты не перестанешь кататься на коньках. Так и у меня с Ингой: «Гляди-ка, как солнце просвечивает сквозь листву!» — «Да, как в церкви через цветные стекла!» — «Гм... видишь, вон там водокачка? Рядом с особняком, я там чинил проводку». — «А окна в особняке тогда тоже были грязные?» — «Гм... Слушай-ка, вчера я чуть не достал материал на костюм». — «Чуть? Мой брат пишет из Бремена, что он купил себе два костюма, это там такой же пустяк, как купить пару носков». — «Гм». — «Роберт, мама вчера спросила меня, в какой ты части СЕПГ, в СДПГ или в

КПГ. Я ответила, что в СДПГ, это ведь правда?» — «Гм...» все «гм» да «гм», и поскорее через тонкий лед, вот как у меня с Ингой.

— Гм,— сказал Трулезанд, потом он долго молчал и наконец заговорил снова: — Ну и что же, лед от этого стал толще?

— Иногда мне казалось, что да. Иногда с Ингой было хорошо, иногда с ней можно было сидеть и глядеть вдаль, не открывая рта, и все равно это было словно самый лучший разговор. Но, наверно, мы и тут жульничали.

— А ты вполне самокритичен,— заметил Трулезанд.— Ну-ка, признайся, на вопрос про СЕПГ ты опять сказал «гм» или что другое? И каков результат?

— А результатом был спор, он начался с Маркса и «Готской программы», а закончился пожарной юбкой. Только не думай, пожалуйста, что мы друг на друга рычали или что-нибудь в этом роде, с ней такое не выйдет — тут все с самыми лучшими манерами, со всякими там «нет, уж ты извини» и «позволь, позволь». Сам себе дурак дураком кажешься. Но хуже всего то, что я всякий раз в какой-то момент теряю мужество — вдруг подумаю, что она может встать и уйти и никогда больше не вернуться. Видимо, я к ней здорово привязан.

— Да, уж похоже, что так,— сказал Трулезанд,— вот возьмика сигареты, дядя их для тебя дал... Значит, с твоей Ингой вот что выходит: всякий раз, как ты скажешь ей правду, все трещит по швам, так, что ли? Ну вот, если ты меня спрашиваешь, могу тебе сказать: это не фундамент для отношений.

Некоторое время они молча смотрели на поток искр за окном, потом Роберт глубоко вздохнул и сказал:

— Давай-ка поговорим о чем-нибудь другом. Но если ты когда-нибудь попадешь в такое положение, что ты слушаешь девчонку, а она говорит ерунду — я хочу сказать, настоящую ерунду, про политику, философию, или про господа бога, или про какие-нибудь там принципы,— так вот, ты слушаешь ее и думаешь про себя: все это чушь, дорогая, то, что ты сейчас мелешь. Но, думаешь ты, ладно, говори что хочешь, любую чепуху, все равно факт остается фактом — говоришь ты прелестно, и рот у тебя прелестный, и нос прелестный, и глаза прелестные, и брови прелестные, и лоб самый прелестный на свете, а волосы такие прелестные, что, когда на них смотришь, прямо в ушах звенит,— так вот тогда, мой милый, не думай, что ты уже все осознал — и то, что среда меняет людей, и то, что бытие определяет сознание, и что новое идет на смену старому с неудержимой силой, и что ты и есть это новое, и что ты ее сумеешь изменить, нет, не думай ты этого, Герд Трулезанд, а делай только то, что я тебе сейчас

скажу: вставай и беги куда глаза глядят. Аминь.

— Аминь,— сказал Трулезанд,— но со мной такого не случится. Ведь я тебе уже сказал, что со мной всякий раз происходит. А еще со мной происходит — об этом я хотел бы поговорить со сведущим человеком — вот какая штука: иду я куда-нибудь, ну, скажем, на танцы в Рибнице, вижу, у той коленки красивые и у этой неплохие и погладить их ничего бы не стоило, но потом входит такая, в которой я вижу больше или, вернее сказать, меньше, потому как сперва я, например, даже и коленок не вижу, а вижу, выражаясь научно, явление в целом, как правило, прекрасное явление.

Но ведь плотники — народ осторожный, а Трулезанд, как известно, плотник. Трулезанд начинает примеривать, испытывать на прочность, тут постукает, то есть, конечно, мысленно, там просверлит и приходит к заключению: твердый орешек. Потом начинает набрасывать примерный план. Попробовать предложить пива? А вдруг ее мутит от одного запаха? Да и как быть с кудрями? А вдруг она не выносит кудрей? Заговорить с ней во время танца или лучше молчать? А если заговорить, то о чем? О погоде? «Да, погода ничего».— «Скука тут, в Рибнице».— «Что вы, здесь так весело!» — «Я лично плотник». Или, может, про это лучше помалкивать? И вообще, ведь тема разговора зависит от музыки, под которую танцуешь.

И вот возникает вопрос: на какой танец ее пригласить? «Улыбаясь, проходи по жизни»? Тут надо подпевать, и, наверно, это будет неуместно: ты ее совсем не знаешь, а сам ведешь ее то вправо, то влево и еще поешь ей в лицо, что она, «улыба-а-ясь, проходит по жизни», а она, может, вовсе и не собирается проходить по жизни улыбаясь, а вдруг, чего доброго, у нее в семье туберкулез.

Теперь играют танго без слов. Танго — это хорошо, можно делать всякие нежные наклоны и повороты, но танго это называется «Жалюзи», и еще совсем недавно я думал, что тут, видимо, подразумевается потушенный свет и так далее, но у нас ведь, сам знаешь, был доклад под названием «Популярные песенки — опиум для народа», с чем я мог бы поспорить, но в этом докладе научно доказывалось, что «жалюзи» по-французски значит «ревность», а ревность — понятие буржуазное, значит, для Трулезанда исключается.

Так проходит вечер. Я сижу и набрасываю план. Вокруг меня коленок — хоть мостовую мости, но меня эти коленки как-то не волнуют, меня интересует только явление в целом. А что делает она? Танцует, болтает, поет, и если бы от пива ее и вправду мутило, она бы давно уже валялась на полу без сознания. Ах, так,

думаю, тогда давай скорее, Трулезанд, не откладывай, вот как заиграют следующий танец, и будь он хоть «сосиски с капустой», что может вызывать у нее, чего доброго, аппетит, к чему ты экономически не подготовлен, все равно давай, давай, Трулезанд, с кудрями или без кудрей, с пивом или без пива, давай, Трулезанд, жми.

И тут как раз случается то, о чем мне хотелось бы посоветоваться со сведущим человеком: у меня внутри происходят какие-то катаклизмы, которые ставят меня перед научной загадкой. Конкретнее, у меня начинает болеть живот. Да так болеть, что я с места сдвинуться не могу. Сижу, сам трезвый, ноги резвые, в голове множество глубоких мыслей, а в животе словно камни перекатываются, как у волка в сказке про семерых козлят.

А оркестр уже начинает играть «Доброй ночи, по домам, пусть приснится ангел вам!» И все спешат в гардероб, и коленки, и явление в целом. В гардеробе явлению подает пальто эдакий хлыщ, и по роже его видно, что он уже предвкушает, как будет это пальто снимать и так далее, в таком духе.

— Н-да,— сказал Роберт,— тебе и вправду надо посоветоваться с кем-нибудь сведущим. Случай чисто клинический. Надо думать, это у тебя временно, не то пришлось бы тебе навсегда распроститься с истинно прекрасным. Ну, а у нас на факультете? Перекатываются у тебя когда-нибудь камни в животе?

Трулезанд отрицательно покачал головой.

— Нет, это, знаешь, дело тонкое — только когда музыка играет. Но чтобы быть точнее, отвечу: одна у нас есть — Вера.

— Да ну? — сказал Роберт.

Поезд вяло тащился по редким холмам побережья; сноп искр перед окном взвивался, только когда ветер сдувал его на другую сторону через крышу вагона; колеса стучали, пересчитывая шпалы, и в окна врывался запах влажных картофельных полей. Но к конечной станции поезд подкатил с таким шумом и скрежетом, словно мчался на бешеной скорости и без остановок от самого Гибралтара.

Тем же поездом, что Роберт и Трулезанд, возвратились и другие ребята; они шумно приветствовали друг друга и с песнями прошли через вокзал, мимо складов и садовых участков до самого факультета. По дороге Трулезанда поддразнивали из-за его гигантского рюкзака, а когда выяснилось, что он привез в нем перину, шуточки стали еще более колкими. Все сошлись на одном: каждый студент рабоче-крестьянского факультета должен спать под периной, а зимой, пожалуй, и под двумя.

Они пели «По долинам и по взгорьям...»

Трулезанд пел громче всех; правда, голос его звучал немного

приглушенно — ему пришлось нагнуть голову, потому что на плечи он закинул свой огромный рюкзак.

В комнате «Красный Октябрь» еще никто не ложился спать. Квази Рик стоял возле печки и зубрил вслух климатические зоны, а Якоб, очевидно уже не в первый раз, вполголоса задавал сам себе один и тот же вопрос: «Если девяти женщинам для вязки восьмисот десяти напульсников требуется тысяча шестьсот двадцать часов, то сколько напульсников изготовят семьдесят семь женщин в течение ста двадцати шести часов?»

Трулезанд лег на свою постель и сказал:

— Ты, лесник, все не так делаешь, по глазам видно. Представляешь себе напульсники, перед тобой мелькают спицы и клубки, и семьдесят семь женщин бормочут: «Две лицевые, две изнаночные». А так нельзя. Надо мыслить не конкретно, а абстрактно. А это знаешь, что значит? Это когда тебе все равно, что они там вяжут — рольмопсы, коврижки или подковы. Если будешь думать конкретно, тебе никогда не сосчитать. Если мыслить конкретно, то среди этих семидесяти семи вяжущих женщин может оказаться и моя тетя Мими, а она тут же начнет рассказывать нравоучительные истории, сыпать притчи и напевать «Господь, наш Спаситель!», и все твои расчеты полетят к черту. Надо мыслить абстрактно, мой мальчик.

— Условие точно такое же, как в задаче с пятнадцатью кузнецами и девяносто тремя жеребцами,— сказал Роберт.— Ее ты решил? Условия всегда одни и те же, только цифры другие, вот и все их уловки.

Якоб отложил тетрадь в сторону и начал растерянно слушать.

— Тогда я не понимаю,— проговорил он наконец,— к чему все эти лошади и спицы, если все дело тут в числах.

Но Трулезанд понимал.

— Это элементарная математика,— сказал он,— а потом у нас будет высшая математика, и тогда, наверно, все то же самое будет происходить на потолке или на воздушном шаре, а то и у ангелов на небесах.

Квази Рик запротестовал:

— Ребята, я изучаю субтропический пояс. Это интересно, но трудно, я устал, но доволен, мне здесь надо квази сосредоточиться, а все эти ваши напульсники уводят меня в сторону от субтропического пояса. На двери висит расписание, когда что учить. Предлагаю обозначить его как «организованное самообучение», сокращенно — «оргобуч». Я посвятил составлению этого плана все утро и предлагаю квази утвердить его общим голосованием. Итак, голосуем? Или, может, кто желает сперва прочесть?

Все пожелали сперва прочесть и единодушно одобрили: Квази составил план как надо — можно принять в качестве руководства. Даже для «высказываний по личным вопросам» — сокращенно «личвопр» — было отведено порядочное количество часов. План утвердили.

— Прежде чем я предамся организованному ночному отдыху,— сказал Трулезанд,— охраняемому ангелами и осыпаемому розами, а ты вновь причалишь к субтропикам, Квази, мне хотелось бы задать один «личвопр»: у тебя какой-то странный кашель, коллега, и какое-то странное одеяло. Взаимосвязь между первым и вторым я считаю научно доказанной. Как следует поступить в этом случае? Следует укрыть тебя теплее. И вот теперь-то и выявляется общественная значимость моей тети Мими. Она посылает тебе эту перину, и не стесняйся, а не то нам придется голосовать.

Разумеется, Квази все равно стеснялся, и, когда все трое принялись убеждать его, что, право же, стесняться тут нечего, он скрылся за печкой вместе со своим учебником географии.

Роберт и Трулезанд легли спать, и только некоторое время спустя, когда каждый уже думал, что другой спит, Роберт тихо спросил:

— А почему именно Вера?

— Ох,— сказал Трулезанд,— девчонка что надо.

Он поглядел в потолок, потом начал тихонько напевать:

Разгромили атаманов, разогнали воевод...

Роберт и Якоб подхватили, и даже Квази запел за своей печкой:

И на Тихом океане свой закончили поход...

Одним и тем же раствором циркуля можно от Гамбурга достать и до Балтийского моря и до Северного. От башни церкви св. Михаэля ближе до острова Фемарн, чем до красных скал Гельголанда. Если считать от Санкт-Паули, то Северное море лежит на западе, а Балтийское — на севере. И все-таки каждый приехавший издалека уже предчувствует, что там, за фрисландскими плотинами, откроется вид на ганзейский портовый город, и принимает Куксхафен за краешек Альтоны, и подымает к глазам цейсовский бинокль уже возле Зюльберга, стараясь разглядеть ближайший брандер. А в Нойбранденбурге, распивая пильзенское пиво, распевают песни о городе «на берегу океана» и при этом имеют в виду Гамбург, хотя находятся куда ближе к волнам Балтийского моря, чем воспеваемый ими город Гамбург к Немецкой бухте.

А если жителя Гамбурга занесет в такой, например, сухопут-

ный город, как Парен, откуда легче добраться до дюн Кюлюнгсборна, чем от Финкенвердера до моря у Фридрихскуга, то никакая географическая реальность уже не спасет ганзейца от прозорливых взглядов сухопутных жителей, отыскивающих следы морской соли в его бровях и в бороде, а в его походке — извечный ритм морских волн. И во всем виновата Эльба.

Эльба сводит расстояние, равное ста десяти километрам, к нулю. Она уравнивает с морем семьсот сорок шесть квадратных километров земли, занятой домами и улицами, башнями, парками, фабриками, рынками, площадями, стадионами.

Эльба связывает воедино океан и город.

Эльба превращает миллион восемьсот тридцать тысяч торговцев мылом, разносчиков угля, владельцев ипподромов, регулировщиков уличного движения, билетеров, рабочих кондитерских фабрик и заводов металлоизделий, кровельщиков, гинекологов, служащих аэродромов, посетителей бистро, корзинщиков, карманных воров, криминалистов, психиатров, студентов, учеников школы прикладного искусства, старушек, первоклассников и грудных детей — превращает их всех в жителей побережья, обеспечивает им особую славу у всей нации — все они якобы просыпаются вместе с криком чаек и засыпают под шум прибоя.

Ах, в ушах у них совсем другие звуки, у этих мореходов по асфальту. Они слышат шум, доносящийся из аэропорта Фульсбюттель, и гудение электролебедок на стройке фирмы Унилевер, и рев львов из парка Гагенбека, и пение шин, и числа, и даты премьер и голоса солдат, требующих пива. А гудки пароходов они слышат только по ночам, только тогда, когда перестают ходить трамваи. А шум гавани они слышат обычно только рано утром в воскресенье, когда его передают по радио, и само слово «гавань» навеки соединилось в их головах с духовым оркестром и верхненемецким напевом: «А что же я, ах, что же я...»

Но спроси их о приливах и отливах, попробуй заговорить с ними об этом на нижненемецком или просто спроси: «Что это такое, прилив и отлив, и как это получается?» И ты увидишь: каждый из них знает, что это что-то такое, когда меньше воды и когда больше воды, и как-то там — на это выражение ты можешь твердо рассчитывать, — как-то там все это зависит от луны. Больше ты ничего не узнаешь, кто бы тебе ни попался — первый ученик или чиновник из портового ведомства.

Но если ты спросишь чиновника из портового ведомства насчет отлива, а тем более насчет прилива в начале 1962 года, то не удивляйся — он вдруг вспомнит, что торопится на давно назначенное деловое свидание, и не успеешь ты еще выговорить слово «прилив», как в двери появится секретарша и передаст

своему шефу приказание от его шефа явиться к нему немедленно, и ты останешься один, сначала на стуле в приемной перед дверью его кабинета, затем в коридоре и наконец на улице перед дверью портового ведомства — наедине со своими вопросами и со своими, почерпнутыми из энциклопедии, знаниями относительно разницы уровня воды при приливе и при отливе и закона Ньютона о земном притяжении и о взаимодействии между землей, солнцем и луной; один со своими открытиями о суточном, зенитном и лунном приливах.

Роберт ничему не удивлялся.

Город, в который он приехал не как сын, а как задающий вопросы чужеземец, недавно потерпел поражение, возможно, самое горькое или по крайней мере одно из самых очевидных со дня своего основания.

На этот раз, правда, число человеческих жертв было невелико по сравнению с другими временами; оно было даже ничтожным, если вспомнить о тех годах, когда смерть не из воды подымалась, а падала с неба, вылетев из бомбовых люков или из орудий на борту самолета.

Но то было во время войны, а это — во время мира.

Если подсчитать убытки, то вода уничтожила даже меньше зданий, чем большой пожар в 1842 году, о котором писал еще Гейне в «Зимней сказке»:

> Полусгоревший город наш
> Отстраивают ныне.
> Как недостриженный пудель, стоит
> Мой Гамбург в тяжком сплине.

Но это было много десятилетий назад, когда выражение «железная дорога» было на берегах Эльбы менее известным, чем теперь слово «ракета» на дорогах Африки. Пожар произошел в старые, горестные времена, а наводнение случилось теперь, в течение одной зимней ночи.

Это было поражение, а побежденные не любят отвечать на вопросы.

Господин Виндсхуль, коммерсант, был одним из немногих, ответивших без замешательства на вопрос Роберта.

— Почему бы мне и не поговорить с вами,— сказал он.— Если я не сделаю этого сегодня, мне, быть может, придется сделать это завтра: завтра вы, возможно, обратитесь ко мне по делу, и как я буду выглядеть, если вы окажетесь недостаточно тактичным и напомните мне о сегодняшнем отказе? А это вполне вероятно, я и сам на вашем месте был бы недостаточно тактичным. Так лучше уж поговорим сегодня. Вы упомянули про пожар сорок второго года и про Гейне. Про Гейне, очевидно считая, что я его

не знаю и вы можете щегольнуть передо мной своей эрудицией, а мне придется почувствовать смущение.

Но если вы ничего не имеете против, я дам вам один совет: никогда не рассчитывайте на невежество других. Я сам не раз допускал подобную ошибку, и, как правило, за нее приходилось расплачиваться. Если бы вы пришли ко мне лет десять назад, я — независимо от того, захотел ли бы я вообще вас принять,— очевидно, подумал бы: «Интересно! В мою дверь постучался журналист коммунистического толка, ну что ж, пусть войдет, ничего не случится, если я потрачу минут пятнадцать, чтобы выслушать его заклинания: империализм, загнивающий капитализм, будущее Востока, пролетарии всех стран, возрастающее обнищание, экспроприация, ни бог, ни царь и не герой, и прочее, и прочее». Теперь я стал умнее, теперь я знаю: вы пришли сюда не для того, чтобы спасти мою душу, вы не собираетесь обратить меня в новую веру, вы хотите всего лишь узнать мое мнение и хотите этого потому, что вам приходится со мной считаться.

Вы научились и считать. В итоге вы, разумеется, собираетесь столкнуть нас с того, на чем мы сидим, но вы уже раскумекали, что слова «Вперед, социалисты, смыкай ряды» далеко не всегда помогают. Вы неплохо изучили правило рычага и гораздо лучше осведомлены теперь о том, что мы думаем и что делаем. В этом вы видите многообещающее плечо действия силы. Похвально, весьма похвально! Но и мы хорошо знаем это правило, да и вас тоже. Все это вносит немножко оживления в наш мир, где рычаги и сила играют немалую роль.

А теперь давайте-ка выпьем по чашечке кофе. Такого кофе вы вряд ли скоро отведаете. Этому вам тоже еще придется обучаться — вести деловой разговор за чашкой кофе. Иначе не так-то легко вам будет убедить в чем-нибудь такого, например, человека, как я.

Очень мило, что вы одобряете мой кофе, вот у нас уже по двум пунктам полное взаимопонимание: кофе и Генрих Гейне. Надо вам сказать, что я начитанный коммерсант, господин Исваль, я читаю Бёлля, читаю Грасса, читаю Бахман и Гейне, так что вот как обстоят дела, видите ли!

Разрешите спросить, не относитесь ли вы к тем утонченным журналистам, что любят предварять свои статьи цитатами и афоризмами? Если так, то вы, конечно, не упустите случая процитировать:

Отстройте снова свои дома.
Утрите нос и губы.
Заведите получше законы себе,
Покрепче пожарные трубы.

Не правда ли, неплохо, отлично зарифмованный сарказм?

— Один из моих друзей,— ответил Роберт,— сказал бы на это: сплошное недоразумение. Под лучшими законами здесь, у вас, и там, у нас, понимают совершенно разные законы.

— Хоть я и интересуюсь политикой,— заметил господин Виндсхуль,— все же я не политик. Я коммерсант и, как коммерсант, намерен вступать в деловые отношения. И именно поэтому я тоже нуждаюсь в законах. Большинство законов возникло как раз благодаря этой потребности, общественной потребности, как сказали бы вы.

— Потребности другого общества, не того, в котором живу я, господин Виндсхуль. А потому я и на законы эти смотрю иначе, чем вы.

— Осторожнее, мой милый, будьте осторожнее. Когда я сталкиваюсь с вашим братом, мне всегда доставляет мрачное удовольствие наблюдать, как хорошо вы помните правила игры, установленные нами. В случае надобности вы ведь умеете говорить и по-другому.

— Вполне возможно. Но вернемся, извините, к наводнению: не согласитесь ли вы со мной, что было бы куда важнее ограничить власть Северного моря, чем расширять власть полиции?

— Несомненно, дорогой мой господин Исваль, несомненно. Разумеется, необходимо построить более высокие дамбы, и, конечно, надо улучшить систему шлюзов и систему предупредительной сигнализации. Это общественная задача, которую я всячески поддерживаю, несмотря на то, что ее выполнение — я думаю, тут уж вы со мной согласитесь — потребует увеличения общественных расходов.

— Как раз с этим-то я и не соглашусь. Общественные расходы должны быть направлены на другое, прежде всего...

Виндсхуль качнул бутылку коньяка и заметил смеясь:

— Ого, вот вы и превратились в агитатора. Еще минута, и вы сошлетесь на военный бюджет и потребуете денег у господина Штрауса. Это примерно то же самое, как если бы вы, видя, что нам не хватает одной балки на крышу, посоветовали развороторить пол. Исключено, господин Исваль, неужели тут надо еще что-нибудь объяснять? Я коммерсант, а не политик, я читаю Бёлля, читаю Энценсбергера и часто признаю весьма разумным то, что пишут эти господа. Иногда, правда, чересчур резко, но они люди с головой, ничего не скажешь. Однако все это не заставит меня потерять голову! А ведь укреплять одно, ослабляя за счет этого другое, и значило бы как раз потерять голову. Впрочем, я не выдам тайны, если напомню вам о наших, так сказать, националь-

ных обязательствах. Наши обязательства в известном смысле являются платой за то, что нам дали возможность снова встать на ноги и чего-то достичь. Долги надо платить, господин Исваль, иначе какой же ты коммерсант? Это, можно сказать, закон.

— Так,— сказал Роберт,— теперь уж придется мне процитировать Гейне: «Заведите получше законы себе». Потому что закон, который ставит менее обеспеченных людей перед дилеммой, чего больше бояться: повышения уровня воды или повышения налога на наводнение...

Господин Виндсхуль весело рассмеялся.

— Прекрасно сказано — наводнение или налог на наводнение! Перед чем маленький человек будет дрожать сильнее? Пока что из-за налога на наводнение никто еще не помер от жажды.

Роберт покачал головой.

— Снова недоразумение. Начитанный коммерсант, знаток Бёлля и Грасса, должен воспринимать метафору как метафору.

— Вы, кажется, начинаете подтрунивать надо мной?— спросил Виндсхуль.— Нет, серьезно, не станете же вы утверждать, что людям здесь плохо живется. Никогда еще, ручаюсь честью моей фирмы, никогда еще тут так хорошо не жилось, как теперь.

— В этом есть зерно истины, господин Виндсхуль, тут и Гансик откормлен как на убой, и ведьме остается только включить электрическую жаровню. Или, если разрешите, я снова обращусь к Гейне:

Кто был теленком, тот теперь
Гуляет быком здоровенным.
Гусенок гордые перья надел
И сделался гусем отменным.

— Вот это как раз мне и не нравится у вас, коммунистов: вы всегда предполагаете у других злые намерения. Когда бедняки едят вместо масла маргарин, да и то не каждый день, вы зовете свою Кете Кольвиц, и велите ей поскорее зарисовать эту картину, и вопите, что мы заставляем бедного пролетария помирать с голоду. Когда же мы честно с ним делимся и у него круглеет мордашка, вы тут же кричите: «Обратите внимание на дьявольские хитрости буржуазии, она откармливает его, чтобы посадить в печь, а потом, конечно, съесть». Но это же попросту не корректно.

Роберт протянул ему свою пустую рюмку.

— Разрешите мне еще немного. Нет, вы в самом деле сказали «честно делимся»? Нет, в самом деле? Тогда, пожалуйста, наливайте полнее. Уважаемый господин Виндсхуль, вы, право же, приятный человек, вы читаете поэтов и писателей, вы уделяете

мне свое драгоценное время, нет, я не иронизирую, я ведь знаю, что вам приходится много работать, но, когда вы касаетесь отношений работодателей и рабочих, вы начинаете говорить, ну, как... тот рыбак, который заявил, кладя рыбешку на горячую сковородку: «Я друг животных, наконец-то бедняжка спасена — вода-то в речке холодная...»

— А вы догматик,— сказал Виндсхуль.

— Ваше здоровье! — сказал Роберт.

И господин Виндсхуль тоже сказал:

— Ваше здоровье!

Это было в последние дни октября. Они только начали привыкать к удивительному ритму своего нового существования: к шести часам занятий во второй половине дня, к собраниям до поздней ночи, к приготовлению уроков с утра до обеда, к перенесению нагрузки с рук и ног на голову, к тому, чтобы слушать, вникать, записывать, думать вместе с тем, кто говорит, к ошарашивающей радости познания, весомости авторучки, никогда до сих пор не испытанному ощущению тяжести век и к неожиданной головной боли.

Это было только самое начало, но для одного из них, казалось, уже наступил конец. Накануне вечером их предупредили, что, согласно общему порядку, все должны пройти просвечивание, и они собрались в путь.

Квази Рику выражение «согласно общему порядку» дало толчок к оживленной деятельности. Потратив всего лишь час времени, отведенного по расписанию на ночной отдых, он выработал точный график для этого мероприятия: время выхода из общежития, прибытие в поликлинику, процесс просвечивания, отбытие из поликлиники — все было рассчитано с точностью до минуты; если все пойдет по графику, нигде не будет ни толкотни, ни бессмысленного ожидания. Он пожертвовал еще час своего сна, чтобы разнести «график» по комнатам общежития. Не осведомившись, спят ли уже или еще не спят хозяева комнаты, он входил и громко объявлял: «Предпосылка выполнения графика — строжайшее соблюдение порядка!» А перед комнатами, где жили девочки, он выкрикивал свой девиз у закрытой двери.

Обитатели «Красного Октября» должны были выступить первыми. Трулезанд сформулировал лозунг дня: «Сапоги надели — вперед к цели!» Этот девиз они пронесли по всем коридорам общежития и с ним вступили в вестибюль поликлиники.

Врач вышел из кабинета и спросил:

— Только четверо? Я ожидаю вашу школу в полном составе и, судя по шуму, был уверен, что она уже здесь.

Квази вручил ему «график».

— Все будет в ажуре, господин доктор. Начинайте борьбу за народное здоровье, вам остается только командовать «вдох — выдох»! Все остальное организовано.

Врач не без удовольствия рассмотрел бумажку с «графиком» и крикнул:

— Фрейлейн Хелла, будьте добры, подите-ка сюда на минутку! Сегодня у нас тут все по-военному. Запишите, пожалуйста, адрес этого молодого человека и пошлите ему, если все пойдет, как он запланировал, талончик на масло, ну, скажем, на двести граммов. Как видите, он даже о нас подумал. Вот тут написано: «10.00—10.15—перерыв для медицинского персонала». Вам, молодой человек, прямая дорога в генеральный штаб.

Квази собирался было что-то возразить против «генерального штаба», но ассистентка не дала ему и рта раскрыть.

— Раздевайтесь,—сказала она,—снимите рубашки и входите в кабинет по одному.

Однако Трулезанда это не устраивало. Он обратился к врачу:

— А не могли бы мы все вчетвером? Мне хотелось бы посмотреть, как они изнутри выглядят. Любопытно знать, с кем имеешь дело. А кроме того, у меня научный интерес.

— Ладно,— решил врач,— научный интерес допустим, только ни гу-гу, а не то выставлю за дверь.

Ассистентка выключила свет и включила аппаратуру. Роберту вдруг стало страшно. Он проходил осмотр незадолго до возвращения из плена и вовсе не чувствовал себя больным, но знал, с какой скоростью распространяется эта болезнь за последние годы.

Туберкулез легких — этого призрака он боялся по-настоящему. У туберкулеза были в его воображении нечеткие, нереальные контуры настоящего призрака, но Роберт хорошо знал, что он вполне реален. В лагере он то и дело выбирал себе жертвы, а вернувшись домой, Роберт узнал, что двое из его соседей, которых он помнил здоровыми, умерли от ТБЦ; еще в детстве он понял, какой ужас заключен в том, другом слове — «чахотка». Рентгеновский аппарат жужжал, сердце Роберта билось от волнения, и он замешкался, услыхав приказ ассистентки:

— Первый, пожалуйста!

Первым вошел Якоб.

Ассистентка сказала:

— Громко и отчетливо назовите ваше имя, фамилию, профессию и дату рождения, остальное вам скажет господин доктор!

Якоб пробрался ощупью за экран и произнес громко, непривычно громко для его соседей по комнате:

— Якоб Фильтер, лесоруб, родился четвертого июля тысяча девятьсот двадцать восьмого года.

— День независимости,— сказал доктор,— четвертое июля — день провозглашения независимости Америки. Так нас учили еще в школе. Правый бок ближе ко мне — не знаю, будут ли учить этому вас. Вы лесоруб? Это заметно. С вашими легкими вы можете всю декларацию о независимости прочесть единым духом. Норма, фрейлейн Хелла, даже более чем норма. Следующий, пожалуйста!

— Я уже здесь,— сказал Трулезанд.— Герд Трулезанд, плотник, четырнадцатого июня тысяча девятьсот тридцатого года — тоже знаменательная дата.

— Вдохните глубже, не дышите,— попросил доктор.— Какая же?

— Не независимость, а, наоборот, четырнадцатого июня тысяча девятьсот сорокового года фашисты вошли в Париж.

— Так-так, фашисты. В день вашего десятилетия, так-так. Ну, хорошо. Норма, фрейлейн Хелла.

Роберт старался не касаться металла аппаратуры, и, когда почувствовал, что врач взял его за плечо, ему показалось, что его поймали. Он услышал, как хрипло прозвучал его голос, когда он сказал:

— Роберт Исваль, восьмого января тысяча девятьсот двадцать шестого года, профессия — электромонтер.

— Что с вами? — спросил голос по другую сторону экрана.— Вы дрожите! А я-то хотел изумиться, как вы отважились в двадцать три года сесть за парту, а вы дрожите. Глубокий вдох, не дышать, еще раз! У вас когда-нибудь было что-нибудь? Нет? И сейчас ничего не видно. Запишите, фрейлейн Хелла, дрожит, однако норма. Следующий!

— Здесь! — крикнул Квази. Он щелкнул каблуками, очутившись за экраном, и произнес быстро и четко: — Рик, Карл Гейнц, жестянщик на сахарном заводе, родился второго второго тысяча девятьсот двадцать девятого года.

— Вольно,— сказал врач,— правое плечо поднимите, теперь левое, вдохните как можно глубже,— и затем, помолчав, добавил: — Фрейлейн Хелла, пожалуйста, запишите точно: в верхней правой доле инфильтрат величиной с десятипфенниговую монету, слева — чисто, прошу повторить осмотр завтра. Как вы себя чувствуете? Вялость есть? Потеете ночью? Мокрота? Ну-ка, выходите, подойдите сюда, рассказывайте все по порядку.

Квази появился из-за экрана. Как раз в тот момент, когда

ассистентка включила свет. Четко повернувшись, вошел он в узкое пространство между экраном и задней стенкой аппарата, а теперь, с той же четкостью, выпал из этого узкого пространства — он лежал на полу, скорчившись, без движения. Доктор снял клеенчатый фартук слишком медленно, как показалось Роберту, потом наклонился к Квази, поднял его и положил на кожаный диван.

— Это, по-видимому, не запланировано,— пробормотал он.— Хелла, глюкозу, а вы, ребята, принесите-ка его вещи. Да не смотрите вы так, не бойтесь, не умрет, он только внесет беспорядок в свой прекрасный распорядок. Ну так, а теперь глюкозу в вену, и он тут же откроет глаза и скажет: «Ух, где я?» Но скорее всего он спросит, который час.

Но Квази не спросил ни о времени, ни о пространстве.

Он сказал тихо и твердо:

— Ну и дерьмо!

— Он жив,— констатировал доктор,— вынесите его из кабинета и через некоторое время можете переправить домой. Завтра в восемь утра пусть придет снова. Скажите ему: «Ровно в восемь». Это его поддержит.

Они медленно пошли к факультету; они бы отнесли его на руках, но он с бешенством отказался. Он отчаянно сопротивлялся и когда они пытались уложить его в постель, но потом вдруг успокоился и лежал совсем тихо.

— Это что же, Гейнци,— сказал Трулезанд,— что же ты так? Может, лучше поревешь маленько? Ты скажи, мы тогда все выйдем.

Но Квази и так уже плакал.

Они беспомощно стояли вокруг его кровати, пока он наконец немного не успокоился.

— Надо бы вам устроить меня еще куда-нибудь,— сказал Квази,— в кладовую, что ли, ведь все тут занято. А то еще вас заражу. Если там убрать, кровать поместится.

— Нет,— сказал Якоб,— лучше уж нам отсюда съехать. Но я не думаю, что это заразно. Тогда бы доктор предупредил, а он только велел отвести тебя домой.

— У нас один раз был научный доклад про... про эту штуку,— сказал Трулезанд,— он назывался: «Легкие...» Да нет, забыл уже. Во всяком случае, теперь считают...

— Теперь это не считается слишком опасной болезнью,— поддержал его Роберт,— это, так сказать, скорее призрак. Раньше-то, конечно, этого здорово боялись и придумывали всякие жуткие названия, я сейчас уже не помню какие, но теперь это вообще ничто. Тебе лучше всего полежать, просто чтобы страх

прошел, а завтра сходишь к врачу, и он пропишет тебе какие-нибудь таблетки, а через неделю будешь сам над собой смеяться. Хотя смеяться ты можешь уже сегодня — ведь сегодня латынь.

С латынью Квази был явно не в ладах.

— Друзья,— говорил он,— этот так называемый язык просто кто-то выдумал, и причем тот — я лично убежден,— кто был очень далек от народа. Тому типу просто надо было кое-что скрыть. В жилах его текла не кровь, а вода. Сказать вам, что, на мой взгляд, квази представляет собой латынь? Сооружение из детского конструктора.

Разгорелся спор о том, следует отказаться от латыни или нет.

Так они обсуждали все предметы, всякий раз вырабатывая общую точку зрения.

— Не понимаю! — удивился Якоб.— Просто не понимаю, как ты мог такое сказать! Если латынь словно из конструктора смастерили, она должна тебе нравиться. Я в сравнениях не силен, но твое до меня дошло. Оно ведь значит, что латынь — хорошо организованный язык, а можно так сказать: организованный язык? Я был бы рад, если бы и немецкий был таким же.

— Немецкий получился скорее из химического набора,— вмешался Трулезанд.— Чуть-чуть одного порошка насыплешь, чуть-чуть другого, польешь кислотой, помешаешь, смесь посинеет, еще раз помешаешь, пожелтеет, и вонь подымется. А вот с латынью все ясно. Кто хочет заниматься наукой, должен знать латынь. Потому Трулезанд и долбит эту самую латынь.

Спор о предмете вскоре перешел в спор о преподавателе.

Ангельхофа недолюбливали, во всяком случае вне класса. Он был не только хвастун, но и наушник. Почти каждое собрание вел он и встречал в штыки половину выступлений. При этом обычно выяснялось, что он всегда в курсе всех событий на факультете, особенно неприятных. Он мастерски создавал впечатление, что лишь против воли взял на себя роль общественной совести. Запинаясь, перечислял чужие грехи, вдруг обрывал свою речь, усаживался с видом мученика, вертелся на стуле, но затем, преодолев, как он говорил, мелкобуржуазную щепетильность, давал каждому событию соответствующую политическую оценку. Ангельхоф хорошо знал первоисточники и всегда находил цитату, с помощью которой не без смущения, но верный своим принципам, возводил упущение в колебания, а ошибку в уклон. После собрания или в перерыве он подходил к очередной жертве и, глядя ей прямо в глаза, протягивал руку. Он надеется,

говорил он, что его правильно поняли, что всем ясно, о чем он печется — о деле, только о деле, об их общем деле...

Многие попадались на эту удочку: они чувствовали себя еще неуверенно, хотели учиться и все понять, и одно уже поняли — ошибка становится злостной, когда ее не называют настоящим именем.

Трулезанд, однако, и слышать не хотел об Ангельхофе.

— Раз как-то был я в театре,— рассказывал он,— еще в Штеттине, ныне Щецине. Там на сцене рыцарь решил с собой покончить. Всадил себе в бок кинжал. Послушали бы вы, что он нес! Чертовски, говорит, тяжко, но отечество — и он еще протянул: оте-е-е-чество — требует, и это его, мол, крова-а-а-вый долг. А сам на вид невзрачный коротышка и вообще ничуть не похож на Ангельхофа, зато Ангельхоф похож на этого рыцаря — смешно, да? — но это, наверно, и есть диалектика.

С той поры и другие стали внимательно приглядываться к латинисту, и скоро в комнате «Красный Октябрь» он получил прозвище Кинжал.

На занятиях, однако, Ангельхоф был совсем другим. Воздух аудитории действовал на него магически, точно влага на одно из тех диковинных китайских растений, которые, стоит только их опустить в воду, превращаются из невзрачных комочков в цветы фантастической красоты. У доски Ангельхоф был остроумным, обаятельным и человечным. Он обладал даром красноречия, умел увлекать слушателей, и учились у него легко, без труда.

Вера Бильферт как-то сказала:

— По-моему, он колдун. Когда он говорит, мне кажется, будто я давно знаю латынь, просто забыла ее немного, и он мне помогает все вспомнить. А я ведь никогда не учила латыни!

Квази Рику все это было подозрительно.

— Друзья, следует проверить, не гипнотизирует ли он нас. На меня, впрочем, его мистическая болтовня не действует, но вас он заворожил. Латынь мертва, вокабулы — всего-навсего куча старых костей, а так называемый педагог собирает из костей скелет и уверяет нас, что перед нами живой человек. Но бдительное око видит, что это скелет. А нужны нам скелеты? Нет, говорю я, нам скелеты квази не нужны.

Он стойко сопротивлялся Ангельхофу, и всякий раз, как только преподаватель покидал класс, Квази выходил вперед и, хлопнув в ладоши, восклицал:

— Рабочая группа А-один, проснись! Наваждение исчезло!

И вот бледный, словно похудевший Квази лежит под периной Трулезанда, и каждый видит, с какой охотой пошел бы он на занятия, даже к Ангельхофу, к этому Кинжалу.

Когда они вернулись, он лежал все в той же позе, и на следующее утро им показалось, что он за все время даже не шевельнулся.

Квази не слушал их рассказов, не смеялся их остротам, он с трудом съел завтрак и не заметил, что зимнее пальто Роберта, которое на него надели, ему длинно.

Очутившись в клинике, они притихли.

Рентгенолог доктор Гропюн это тотчас подметил.

— Я выражаю энергичнейший протест: четыре постные физиономии, да еще натощак, это уж слишком! Похоже, вы не верите в мое искусство врачевания, да и в искусство врачевания вообще. Фрейлейн Хелла, проверьте-ка у них документы. Этих людей я не знаю, это не вчерашние ребята, вчера приходили бравые молодцы, а сегодня — жалкие сопляки.

— Господин доктор,— сказал Трулезанд,— подумайте сами, нас точно обухом по голове кто ударил. Удар из-за угла!

Но рентгенолог, приложив палец к губам, шепнул:

— Т-с-с, помолчите... слышите хихиканье? Слышите, как болезнь потирает от радости свои костлявые руки — какая удача,— прямое попадание! Целилась в одного, а свалила четверых! Как говорилось в недоброй памяти времена моей солдатчины: колоссальный моральный эффект! Простаки! Как же нам одолеть болезнь, если вас так легко запугать? А вашему Рику мы сейчас вот что пропишем: дополнительные талоны на сливочное масло, а растительного — не меньше бочонка, и пошлем его домой. Там он месяц полежит, подышит свежим воздухом и к рождеству снова вернется к вам... Кстати, господин Рик, большое спасибо за ваш график, прием прошел блестяще. Поскорее возвращайтесь, без вас на вашем чудно́м факультете все полетит вверх тормашками.

Квази спокойно выслушал врача и даже не вздрогнул, когда ассистентка всадила ему в руку иглу, только выражение «чудно́й факультет», кажется, задело его. Но прежде, чем он успел открыть рот, ответил Роберт:

— Здесь есть одна загвоздка: мы четверо — вроде как сиротский приют. Вот у него нет родителей, и у Карла Гейнца Рика тоже нет. У Трулезанда есть, правда, какие-то завалящие тетки с перинами, а у Рика и этого даже нет. Можно ему с нами остаться? А?

Врач размышлял долго.

— Пожалуй, можно и остаться,— сказал он наконец,— все зависит от того, как будет протекать процесс в легком. Месяц лежать, не вставая, при открытом окне, больше ему, наверно, и не надо. Мы вовремя захватили... А кто будет за ним ухаживать?

— Мы,— ответили они.

Врач написал необходимые рекомендации и, передав их Роберту, обратился к ассистентке:

— Фрейлейн Хелла, отправляйтесь с этими самаритянами, поглядите на их обитель. Вы знаете, на что надо обратить внимание. А вы, господин Рик, досконально изучите все пятна на потолке. Колоссальный терапевтический эффект! И запаситесь терпением, все будет в порядке.

Квази подал ему руку.

— Большое спасибо, господин доктор,— поблагодарил он,— большое спасибо. Если это помогает, я буду лежать, не вставая. Но разрешите вам сказать: мы вовсе не «чудно́й факультет»!

— Похоже, что я это уже понял.

Ассистентка оказалась весьма общительной девушкой. Собственно, она не была настоящей ассистенткой, она еще училась и теперь проходила практику.

Поначалу она молча шла рядом с молодыми людьми, но вскоре уже смеялась их остротам. А при покупке льняного масла так даже выручила их.

Бакалейщик был не слишком сговорчив. Он сразу понял, что они нестоящие клиенты, а на масло у него уже явно были другие виды.

— Пять литров сразу?— удивился он.— Что за вздор! Да оно же у вас прогоркнет. Зачем вам сразу все пять литров?

— Боимся, что остаток у вас прогоркнет,— ответил Трулезанд,— или вдруг его вылакает кошка. Может, ваша кошка любит лакомиться творогом с маслом?

— У меня нет кошки,— вспылил торговец,— и я категорически протестую против ваших намеков. Думаете, я не понимаю, на кого вы намекаете?

Роберт удивленно взглянул на Трулезанда.

— На кого это ты намекаешь? Человек говорит, что у него нет кошки, а ты все про кошку да про кошку! Нет, скажи, на кого это ты намекаешь?

— Но нам все-таки хотелось бы получить пять литров масла,— повторил Трулезанд.

Однако бакалейщик нашелся:

— Пожалуйста, пожалуйста, как вам будет угодно. Желаете, чтоб драгоценное масло прогоркло — как угодно, будьте добры, вашу посуду.

Посуды у них не нашлось.

— Посуды у нас нет,— признался Трулезанд,— нам, понима-

ете, не каждый день приходится покупать по пять литров масла.

Торговец искренне посочувствовал:

— Очень жаль, господа, что у вас нет посуды. Вы же знаете, как теперь все трудно достать.

Роберт упрекнул Трулезанда:

— Разве ты не знаешь, как теперь все трудно достать? Правда, масла теперь можно достать сколько душе угодно, но только если у тебя есть посуда. А если посуды нет, так и масла для тебя нет. Ты просто несправедлив к этому уважаемому господину: кошки у него нет и посуды у него тоже нет. Теперь нет. Прежде — да, прежде у этого господина всегда было и масло, и кошки, и посуда. Но вот теперь...

Тут Хелла отстранила их и, улыбнувшись лавочнику, сказала:

— Поищите, пожалуйста, может быть, у вас все-таки найдется чистая канистра или двухлитровая бутылка. Двух литров нам пока хватит. Бутылку вы нам дадите взаймы, конечно, под залог. Видите ли, нам нужно масло для медицинских целей, все эти молодые люди больны — да вы, верно, это уже сами заметили,— они находятся под моим наблюдением. Моя фамилия Шмёде, я ассистентка в клинике.

Когда они вышли на улицу, она спросила:

— Зачем вы себя так вели?

— Как это так? — воскликнул Роберт.— Вы же видите, у него все есть. И пятилитровая бутыль наверняка тоже... Меня зло берет, когда вижу таких типов!

— И меня тоже,— подхватил Трулезанд,— спекулянт как пить дать. Вывеску на дверях лавчонки видели? «Колониальные товары». Ясно, хочет получить назад свои колонии. Все эти лавочники — эксплуататоры.

— Очень мило,— сказала Хелла Шмёде,— мой отец тоже лавочник.

Они заверили ее, что их это ничуть не смущает, а если у нее еще есть вопросы, так пусть, не стесняясь, выкладывает.

Но потом они все-таки долго молчали.

И только у входа в общежитие Трулезанд спросил:

— А вы читали Островского «Как закалялась сталь«? Нет? Прочтите, тогда вам многое станет ясно!

— Большое спасибо за совет,— холодно ответила фрейлейн Шмёде.— Может быть, мне удастся взять реванш другим литературным примером. Есть еще один Островский, который написал пьесу «На всякого мудреца довольно простоты». Так где же ваша комната?

Герман Грипер ни разу в жизни не был в театре и никогда о том не жалел.

— Ты человек пишущий,—сказал он Роберту,—тебе туда ходить положено, а мне чего ради? Сам кого хочешь одурачу, так чему я там научусь? Напиши-ка мои мемуары, и тебе тоже театр будет ни к чему. Тридцать лет только и нарушаю законы, а за решетку ни разу не угодил. Когда за спиной такой опыт, ни один актеришка тебя не удивит. Цирк — дело другое, в цирк я хожу. С цирком меня связывают дорогие воспоминания. Собственно, дорогими они были для других. Вот на Хейлигенгейстфельд был когда-то цирк... Постой-ка, когда же это было? Сдается мне, в начале двадцатых годов. Работал там фокусник, высший класс. Такие фокусы с картами делал — просто чудеса. Ну, я в чудеса не верю и никогда не верил. Кончилось представление, я этого фокусника пригласил на серьезный разговор. Он пил вино, а я называл его «маэстро». После трех бутылок серьезность с него слетела, он оказался простецким парнем. Я-то не прост, но при случае могу прикинуться.

Утром я приволок его в цирк, потом поспал два часика и тут же начал разучивать оба его фокуса, секрет которых я у него вечером выманил.

Знаешь, как долго я тренировался? Тебе и в голову не придет, ты же писака. Две недели, целых две недели! По восемь часов в день! И целых две недели ни гроша не зарабатывал, чистое разорение. Конечно, можно было устроиться иначе. Шулеров в то время околачивалось повсюду тьма тьмущая. Впрочем, чаще всего они не околачивались, а сидели там, где карты запрещены. Почему, думаешь, они сидели? Да потому, что обучились своим фокусам у типов, что тоже околачиваются повсюду с двумя колодами, но чаще всего и те не околачивались, а тоже сидели, потому что своим фокусам... ясно?

Образно это можно выразить так: хочешь стать придворным сапожником, не учись у холодного сапожника. Я не тщеславен, но, выражаясь образно, стал придворным сапожником.

Только пойми меня правильно и не подумай, что я стал эдаким светским авантюристом, снимал с веселых вдовушек бриллиантовые колье. Я никогда не крал, к воровству я испытываю отвращение. Опасное занятие.

Мои фокусы изобрел король иллюзионистов. А я их усовершенствовал, приобрел сноровку.

Для первого публичного выступления я забинтовал правую руку, и она у меня висела на черной повязке. День был базарный, а в базарные дни здесь творилось нечто невообразимое. В городе было полно зевак.

Крестьяне, распродав зелень и кур, сидели по трактирам и играли в карты. Дурачье, не могли подождать, добраться до своей деревни, нет, им надо было именно здесь играть! Меня злила их глупость.

Хорошо одетый, аккуратно причесанный на пробор, с рукой на перевязи, я только следил за игрой. И вздыхал. Вздыхал до тех пор, пока один крестьянин не спросил, чего это я все вздыхаю. Я осторожно приподнял забинтованную руку и перестал вздыхать. Потом из моей груди снова вырвался вздох. Тут уж они из меня вытянули, в чем дело: обидно мне, что играть не могу, несчастный случай на работе, вот и стою здесь, карманы набиты деньгами — за увечье получил,— а играть не могу. Крестьяне-то показали себя сущими соблазнителями. В конце концов я не устоял против соблазна, согласился все же попробовать.

Но если игрок сам карты стасовать не может, то какой же это игрок. Из чувства собственного достоинства я прежде всего попытался тасовать карты одной рукой, левой.

Крестьяне тем временем продолжали играть, пока я не сказал, что теперь, пожалуй, можно попробовать.

Заказал новую колоду, запечатанную — так принято, когда играешь в незнакомой компании.

Официант принес карты на подносе; я взял колоду, проверил печать, потом показал остальным и бросил карты на стол. Но это были уже не те карты, что принес официант.

Играть одной левой, да еще новой колодой,— слишком рискованно. У меня были собственные карты. Они-то и очутились на столе.

У тебя у самого котелок варит, поэтому я тебе вот что скажу: я уважаю всех, у кого котелок варит.

Я работал левой что надо, но главное — я работал головой. К примеру, умел из тридцати двух колод составить две и знал их как свои пять пальцев, узнавал по рубашкам. Узор рубашек обязательно должен быть очень сложный, будто тканый. Для профана все такие рубашки одинаковые, но профессионал видит больше. Профессионал из тридцати двух колод составляет две и знает в них каждую карту.

Вот такая колода и лежала на столе, когда мы начали.

Когда же мы кончили, оказалось, что я выиграл изрядную сумму, но у каждого понемногу, чтобы никто не был в обиде.

Крестьяне пожелали мне поскорее выздороветь, и это, верно, помогло. Вечером боль как рукой сняло, только к следующему базарному дню она вновь меня скрутила. Но однажды я прослышал, что на рынке меня прозвали Герман Больная Лапа. Мне это было не по душе, слава мне ни к чему.

Я переключился на другую технику и потом все менял и менял приемы, поэтому много лет мне все сходило с рук. Но не только поэтому, главное, потому, что я человек прилежный.

Ты тоже прилежный, и я это уважаю. Не будь я прилежным, не выдержать бы мне при такой конкуренции восемь лет. Все восемь лет я начинал свой трудовой день в девять. Жил я в гостиницах не слишком дорогих, но и не слишком дешевых — в средних. В девять мне приносили завтрак. Я съедал его в постели, а кончив, переворачивал поднос и начинал тренировку. Все известные приемы я отрабатывал так тщательно, будто проделывал их впервые. Восемь лет подряд ежедневно по шесть часов. Нет, никто не может сказать, что я свои деньги на улице подобрал. И ты это подчеркни, когда мои мемуары писать будешь. Народ теперь — особенно молодые — ничего в таких делах не смыслит. Думают, все легко дается, как в ковбойских фильмах. Смотрел я эти фильмы ради интереса, так вот послушай: карточный король есть чуть не в каждом, и он выигрывает, пока его не прирежут или не пристрелят, потому что чужое добро впрок не идет. Но обращаю твое внимание: парни эти никогда не тренируются. Как же верить таким фильмам, когда ты сам профессиональный игрок? Меня от этого с души воротит. Если уж нужно искусство, то пусть будет без вранья. Я потому и в театр не хожу. Да еще потому, что многих актеров знавал. Как представлю себе, что те, кого я знаю, короля или ковбоя играют, а то еще, чего доброго, игрока, так...

Нет, театр — это не жизнь, вот цирк — дело другое, туда я и теперь еще заглядываю, там видно работу.

В комнату «Красный Октябрь» пришли посетители. Но пришли они не с цветами и не с яблоками в папиросной бумажке, а со своими соображениями.

Ангельхоф и Вёльшов, Старый Фриц, навестили Квази Рика, чтобы сообщить, что ему нельзя больше оставаться в общежитии. Они детально обсудили этот вопрос, заявили они, и выработали единое мнение.

Когда они вошли, Якоб и Роберт учили латынь, а Трулезанд мастерил для Квази маленький пюпитр. И вот по одну сторону постели больного стоят трое друзей, а по другую — Вёльшов и Ангельхоф. Квази молча переводит взгляд с одного на другого.

— Но почему? — спрашивает Трулезанд.— Почему, товарищ директор?

— Да ведь это ясно как день,— отвечает Старый Фриц,— это ясно как день. Потому что он болен.— И, не глядя на Квази, он

показывает пальцем в его сторону.— Его надо положить в больницу.

— В больницу кладут тяжелобольных,— говорит Роберт,— а Карл Гейнц не так уж болен. Он только начал болеть и не разболеется, если за ним хорошо ухаживать.

Ангельхоф предложил:

— Тогда его надо поместить в санаторий. А здесь у нас не санаторий. Здесь общежитие рабоче-крестьянского факультета.

— Но доктор Гропюн сказал нам,— робко вставил Якоб,— что в санаториях точно такие же больные, как в больницах. И все санатории переполнены.

— Это уж наша забота,— заявил Вёльшов,— будем действовать через государственные учреждения. Ведь речь идет о нашем студенте, о рабочем студенте.

— Согласен,— сказал Трулезанд,— но врач установил, что у этого рабочего студента всего небольшой очаг, так нужно ли включать госучреждения, если врач считает...

— Мы читали врачебное заключение,— прервал его Ангельхоф,— оно звучит безобидно. Но мы читали также характеристику врача. Она звучит менее безобидно. Этот человек был майором медицинской службы, учился в Тюбингене и Гейдельберге, а ученую степень получил в Бонне. В Бонне! В тысяча девятьсот тридцать четвертом году! А знаете, что он ответил, когда ему предложили вступить в Общество по изучению культуры Советского Союза? Зачитать вам? Доктор Гропюн ответил: «Благодарю, нет». Вам это нравится?

— Нет, не нравится,— согласился Трулезанд.— «Благодарю, нет»— это плохо. Он, верно, думает, что и так достаточно культурен, раз знает английский и помнит про четвертое июля. И то, что он был майором медслужбы, мне тоже не нравится. Но я не вижу связи между всем этим и очагом у Рика.

Ангельхоф подошел к угловому окну и кивнул им:

— Подойдите сюда! Посмотрите и скажите, что вы видите?

Трулезанд поглядел в окно и сказал:

— Все еще идет дождь...

Но Ангельхоф поправил его:

— Дело вовсе не в дожде. Дело вовсе не в географическом климате, а в политическом. Мы с вами находимся в бывшей казарме, в завоеванном нами разбойничьем гнезде немецкого милитаризма. Враг разбит, но уничтожен ли он? Нет. И наша задача— его уничтожить. Но что же мы видим, глядя в окно? Мы видим, что со всех сторон окружены фруктовыми садами, садовыми участками, огородиками, а значит, мелкобуржуазной собственностью. А что присуще мелкому буржуа, товарищ Трулезанд?

Трулезанд внимательно посмотрел на Ангельхофа, бросил взгляд в окно, словно ища что-то, поглядел на Вёльшова, на Роберта и Якоба, но не нашел ответа.

Ангельхоф повторил свой вопрос:

— Ну, товарищ Трулезанд, что присуще мелкому буржуа?

Вёльшов, видя, что Трулезанд растерялся, решил помочь ему. Он согнул руки в локтях, вытянул ладони, словно на них намотана шерсть, и стал раскачиваться из стороны в сторону.

— Мелкая буржуазия,— повторил он настойчиво,— мелкая буржуазия, товарищ Трулезанд...— Он все сильнее раскачивался и приговаривал: — Влево, товарищ Трулезанд, вправо, товарищ Трулезанд, мелкая буржуазия, товарищ Трулезанд!

Товарищ Трулезанд наконец понял.

— Колеблется,— сказал он.

Вёльшов остановился, Ангельхоф благодарно кивнул ему.

— Верно, мелкая буржуазия колеблется. Она и теперь колеблется. Она еще не решила окончательно. Она всегда готова пойти за тем, кто сильнее. А мы сильнее, это ей известно, и потому она начинает ориентироваться на нас. Но малейший признак слабости в наших рядах — и она отвернется, нащупает слабое место, и этого будет для нее достаточно...

До сих пор Якоб следил за беседой, беспомощно поглядывая то на одного, то на другого, но теперь он с любопытством спросил:

— А очаг Рика и есть такое слабое место? Вы это имеете в виду, господин директор?

Вёльшов предоставил отвечать Ангельхофу.

— Он мог бы им стать. Нельзя понимать это буквально, но с политической точки зрения он вполне мог бы им стать. Разберемся, что происходит? Заболевает студент Рик, пусть не по собственной вине, но заболевает. Случайно, совершенно случайно, как раз у студента Рика нет, как выясняется, родного дома. Что же происходит дальше? Товарищи по комнате из мнимой солидарности берут на себя заботу о нем. А результат? Результат следующий: уже не один, а четыре студента, то есть четыре рабочих студента, отвлеклись от своей непосредственной и главной задачи и, следовательно, позже, чем намечено, достигнут цели, поставленной перед ними их классом. Это в свою очередь означает, что класс стал слабее, что он ослаблен. А кто заинтересован в ослаблении рабочего класса? Кому в конечном счете на руку, если врач, противник изучения культуры Советского Союза, противник, стало быть, культуры Советского Союза и, следовательно, противник Советского Союза,— кому на руку, если этот противник своим приукрашенным медицинским свиде-

тельством направит четырех рабочих студентов по ложному пути? Это на руку нашему противнику.

— Понимаю,— сказал Якоб.

— Я тоже,— откликнулся Трулезанд,— все совершенно ясно, если это так. Только вот я не знаю, так ли это.— И он вопросительно взглянул на Роберта.

Роберт пожал плечами.

— Предположим, что это так. Как же мы должны поступить? Скажем нашему Квази: «Отчаливай, брат, противник хочет поймать нас на удочку»? Что-то мне это не по душе. А ты что скажешь, Карл Гейнц?

— Врач показался мне славным парнем,— ответил Квази Рик,— будь он скотиной, написал бы просто «норма», и все. Ему интереснее было бы, чтобы я как следует разболелся и других заразил. Да и ассистентка вряд ли на такую подлость способна. Но решать должны вы.

Тут опять вмешался Ангельхоф.

— «Славный парень»— категория не политическая. А кто такая эта ассистентка? Вы ее знаете? Известно ли вам, в каких она отношениях с бывшим майором медслужбы? У противника много разных масок, и «славный парень», безусловно, одна из них.

Вёльшов принял решение:

— Случай слишком сложный, мы не можем взять на себя такую ответственность. Надо посоветоваться с партией. Пусть решает высшая инстанция. Я предлагаю вот что: товарищи Трулезанд и Исваль сходят в районный комитет и посоветуются. Я освобождаю их на сегодня от выполнения домашних заданий. И прежде чем идти на занятия, доложите мне о результатах да не забудьте попросить решение в письменном виде. Мы подошьем его в дело.

Вёльшов и Ангельхоф ушли, а Роберт с Трулезандом тут же вслед за ними отправились в районный комитет.

— Вот видишь,— сказал, уходя, Трулезанд Якобу,— придется тебе спрягать латинские глаголы одному, ты ведь беспартийный!

Районный комитет помещался в одном из красивых особняков неподалеку от Рыночной площади. В конце длинного темного коридора мерз вахтер.

— Да,— сказал он,— Хайдук у себя, только не знаю, пропустит ли вас Цербер.

Цербером была секретарша Хайдука, девица не первой молодости, с соломенно-желтыми волосами. Она накинулась на

посетителей, строго спросила, когда же работать товарищу Хайдуку, если всякий будет являться без предварительного звонка, уточнила, не анархисты ли Роберт и Трулезанд, и в конце концов осведомилась, о чем же это они собираются беседовать с секретарем.

— *О возможном наступлении противника,*— заявил Трулезанд.

— Где?

— На РКФ.

— Противника?

— Да.

Секретарша встала и отворила дверь.

— Товарищ Хайдук, к вам посетители.

Секретарь райкома, растянувшись на полу перед письменным столом, отжимался на руках.

— Минуточку,— прокряхтел он,— еще два раза... девять, десять... все!

Поднявшись, он вытер ладони о брюки. И оказалось, что ростом он не выше Трулезанда, а худ, как Роберт.

— Садитесь, садитесь! Вы знаете, что такое свобода? Когда отжимаешься, хотя можешь этого и не делать. Да садитесь же и рассказывайте. Кому чего когда надо и почему?

Они рассказали ему о Рике, и о ТБЦ, и о противнике.

— Лола!— крикнул Хайдук.— Лолита, mi querida*, принеси, пожалуйста, мои записи о докторе Гропюне, знаешь, об этом...

— Знаю,— откликнулась Лола из-за двери и через минуту принесла несколько сколотых листков.

Секретарь полистал их и бросил на стол.

— Врач ваш — bueno**, первоклассный специалист и немножко чудак. Работает по шестнадцать часов в сутки, раз в месяц жалуется на что-нибудь в военную администрацию или в райком, к спирту в клинике не притрагивается, разыгрывает из себя эдакого солдафона, а сам никогда им не был, ругает больных, если они явятся на прием с грязной шеей, а по вечерам посещает их на дому и ругается с домовладельцами. В Общество по изучению советской культуры записываться отказался, верно, он вообще ни в какие общества не записывается, говорит, что он, мол, член общества по изучению чахотки, а это общество международное и стоит всех остальных, вместе взятых,— одним словом, чудак! Но как врач — bueno. Можете успокоить Вёльшова.

---

* Моя дорогая *(исп.)*.

** Хороший *(исп.)*.

— Ему нужна бумага.

— Ясно, ясно, но он ничего не получит.

— Тогда Квази придется выметаться.

— Если товарищ Вёльшов так решил, то бумажка ничего не изменит.

— Товарищ Вёльшов очень ценит письменные указания.

— Ладно, получит письменное... Лола, Лолита, пиши: доктор Гропюн — bueno, контакт с интеллигенцией — дело важное, доверие — тоже дело важное, в райкоме ему доверяют, claro*?

— Хорошо! — отозвалась Лола за дверью.

— Она подслушивала? — спросил Роберт. — Откуда же она знает, что писать?

— Лола не подслушивает, она думает и вспоминает. Она уже написала несколько десятков таких писем. Думаете, недоверие — ваше изобретение? Я иногда кажусь себе чуть ли не королем Фридрихом, так и швырнул бы свою палку да крикнул: «Любите друг друга и доверяйте!» Пока мы не победим недоверие, мы вообще не победим.

— А как же быть с бдительностью? — спросил Трулезанд.

— Могу тебе объяснить. Потеряешь бдительность, так завтра, когда потянешься утром кудри расчесывать, заметишь, что ночью тебе голову отхватили. Если ты, брат, дорожишь кудрями, будь бдительным.

— Хорошо, — согласился Роберт, — это ясно. Но я все-таки хочу знать разницу между бдительностью и недоверием.

— Лола, — крикнул Хайдук, — зайди-ка! — И когда она вошла, попросил: — Прочти им абзац о недоверии и бдительности.

Лола взглянула на листок бумаги, который держала в руке, и прочла:

— «Дорогие товарищи, недоверие отравляет атмосферу, бдительность очищает ее. Бдительный человек внимательно наблюдает, точно рассчитывает и думает, думает, думает, всегда задается вопросом о возможных последствиях того или иного шага, но всегда движется — иногда назад, иногда в сторону, но в целом — всегда вперед. Бдительность присуща храбрым. Недоверие — удел трусов. Недоверие стреляет по призракам, попусту растрачивая боеприпасы. А подобные действия строго наказуемы».

Лола положила листок перед Хайдуком для подписи и напомнила:

— Через десять минут начинается заседание по вопросам учета в сельском хозяйстве, а с крестьянами лучше быть точным.

---

* Ясно? *(исп.)*

— Знаю. Мы уже кончаем.— И когда секретарша ушла, он продолжал:— Не стану приписывать себе чужие заслуги. Этот текст — своего рода наследство. Он взят, во всяком случае смысл его, из приказа по внутренней службе нашей бригады. А указание о боеприпасах следовало тогда понимать буквально.

— По бригаде? Ты был в Испании?

— Был. Teniente* Хайдук — звучит, а? Тогда я по пятьдесят раз отжимался, честное слово.

— Здорово,— восхитился Трулезанд,— а ты не сделаешь у нас доклад? Мы бы это квази организовали.

Роберт изумленно посмотрел на Трулезанда, а Трулезанд, казалось, сам удивился своим словам, потом они дружно рассмеялись, и Трулезанд сказал:

— Извини, мы тут вспомнили кое-что.

— Claro,— ответил Хайдук,— но доклада я делать не буду. Рассказать — да, расскажу как-нибудь. А теперь идите. Слышите, как Лола по столу барабанит?

В приемной шестеро посетителей уже ждали, рассуждая о приросте поголовья свиней и крупного рогатого скота. В университетской столовой Трулезанд вспомнил об их рассуждениях.

— Мешай не мешай ложкой в супе, ни свинины, ни говядины не выловишь, булькает — и только. Потому, наверно, и называется бульон, да?

— Кто его знает. Да, собственно, что нам до того — ведь тут бульоном и не пахнет. Вон фрейлейн Шмёде идет, ты у нее спроси. Она наверняка во французском сильна.

Медичка села рядом с Робертом, достала из портфеля клеенчатый пакет, вынула из него и положила рядом с тарелкой серебряную ложку, развернула салфетку.

— Приятного аппетита.

— Спасибо, и вам также,— ответил Роберт.— А салфетка помогает? С ней что, вкуснее?

— Ничего ты не понимаешь,— вмешался Трулезанд.— Салфетка на тот случай, если фрейлейн Шмёде прольет супчик: пятна — ужасная гадость.

Невозмутимо доедая суп, Хелла спросила:

— А как себя чувствует господин Рик?

— Кто? А, господин Рик... господин Рик чувствует себя превосходно. Правда, он еще ощущает слабость, но вот Трулезанд снесет ему этот комбикорм, и тогда его, пожалуй, в кровати не удержишь.

— А вы успеете после этого на занятия?

---

* Лейтенант *(исп.)*.

— Claro,— ответил Трулезанд.— Claro — по-испански значит «ясное дело», у нас есть знакомый, он знает испанский, был бойцом интербригады, если вы что-нибудь про нее слыхали.

— Да уж откуда мне! Но вот что касается супа для господина Рика, то, если хотите, я захвачу его с собой, мне все равно в ту сторону.

Трулезанд снял со спинки своего стула посудину Рика и высоко взмахнул ею над столом. Это был старый почерневший красноармейский котелок, весь во вмятинах, с толстой проволочной ручкой и слишком большой эмалированной крышкой.

— Внимательно взгляните прежде на этот сосуд. Еще не раздумали?

— Нет, не раздумала,— подсказал Роберт,— его можно накрыть салфеткой.

Хелла взяла котелок и, повернувшись к Роберту, сказала:

— Терпеть вас не могу.

— Это все женщины поначалу так.

— Талоны на обед у вас, господин Трулезанд?

— Claro. Но я сам схожу за супом. Только вот...

— Что только?

— Нам надо кое-что передать Рику. Квази, то бишь господин Рик, ждет от нас известий...

— А мне их можно доверить?

— Нет, но собственно говоря, да. Как ты считаешь, Роберт, можно их доверить? Я считаю, можно. Ведь речь идет о доверии. Дело вот в чем: пациент может быть спокоен, все bueno, то есть в порядке.

— И это все?

— Все. И еще привет от его amigos*.

— Хорошо.

Хелла Шмёде поднялась было, но Трулезанд попросил ее обождать, пока он принесет суп. Она сидела, глядя в одну точку, а Роберт, подперев ладонью щеку, нагнулся к ее уху и шепнул:

— Так вы меня совсем-совсем больше не любите?

Она встала и пошла к раздаточному окошку.

— Да что ты к ней привязался?— спросил Трулезанд, вернувшись.— Она ведь не вредная. Раз уж согласилась с этой посудиной по городу шагать, значит, наверняка не вредная.

— Салфеточка,— ответил Роберт,— серебряная ложечка, а где же вазочка с водичкой для пальчиков? Да-да, у них это заведено, а когда окунают в нее ручки, кажется, сейчас на пианино играть

---

* Друзей *(исп.)*.

начнут. Ингина мамаша тоже так делает.

Трулезанд весело ухмыльнулся.

— Хочешь, я тебя сейчас научно разоблачу?

— Давай-давай.

— Я буду опираться на доклад, который назывался: «Человек и окружающие его условия». Ну, название-то ничего никому не говорит, но сам доклад был убедительный. Я уж не помню, как там все по порядку, но одно нам стало ясно: как бы человек ни поступал, он поступает так не с бухты-барахты. На все есть причина. А если кто ведет себя чудно, то и для этого есть научное объяснение. Если, к примеру, человек лупит своих младенцев, хоть они пикнуть не смеют, так это, может, оттого, что он жены боится. Может, она сильнее или по вечерам всегда усталая, ну и все такое... понял?

— Про доклад-то понял, но при чем тут фрейлейн Шмёде?

— А вот при том. Она и есть те младенцы, которых ты лупишь.

— Она — те младенцы, которых я... а кто же тогда... хм...

Трулезанд быстро встал:

— Вон Вера и Роза, спрошу-ка я у них про биологию.— Он пересек зал и крикнул: — Эй, девочки!

Роберт угрюмо взглянул на чужого студента, тотчас севшего на освободившееся место, и стал задумчиво рассматривать свой суп. «И не поздоровается, зазнайка эдакий,— подумал Роберт.— Серебряные ложки с собой таскать умеют, а здороваться не умеют. Нет, у него, оказывается, ложка оловянная, но здороваться и он не умеет. Даже дурацкий свой берет не снял, зазнайка несчастный, а-а наконец-то, самое время, у нас небось сеанс телепатии, а он не иначе ясновидец, только ясновидец может догадаться, что за столом береты снимают. Сегодня тут, кажется, одни ясновидцы собрались, и Трулезанд тоже из их братии. И какое ему дело, каких младенцев я луплю и почему, и что он ко мне привязался со своими психовыкрутасами и дурацкими полупереваренными докладами о человеке в определенных условиях, когда я дразню Шмёде ее серебряной ложкой? Может, он влюбился в нее, может, чувствует колики в животе, как взглянет на нее,— надо его предупредить, надо ему сказать: беги, Трулезанд, тебе машут салфеткой и пожарной юбкой, ее отец не пастор, зато торгует бакалеей, он жаждет возврата колоний, а она хочет послушного мужа. За коленки ее и тронуть не смей, пока не согласишься, что в лесу — ну, точно как в церкви. Теперь она отправится к Квази Рику, отнесет ему суп и проникнется своим благородством, потому что котелок черный, помятый, а она чистенькая, гладенькая, как Красная Шапочка, и несет бабушке

пирог и вино в измятом русском котелке. Гостинцы пойдут впрок старушке, они пойдут впрок бабушке-Квази, Красная Шапочка повяжет ему свою салфетку, ведь у Квази, невежественного дикаря, таковой не имеется, у него имеются только букашки, где?—в грудной клетке, как пояснила нам фрейлейн Шмёде, студентка-медичка Шмёде, она в этих делах разбирается, знает, где букашки заводятся. В груди, в груди, где находятся легкие, а также сердце. Интересно, сердце чувствует, что рядом, в грудной полости, появилось затемнение? Ну а как же! Это и есть сердце в конкретных условиях, сердце тревожно колотится, если кругом букашки ползают, сердце замирает, если прослышит о боли другого сердца—Готфрид Келлер или Роберт Исваль, интереснейшие поэты Германии, с рифмой или без рифмы, но с Германией что-то неладно. Келлер-то швейцарец, а Исваль из Гамбурга. Инга Бьеррелунд из Кёнигсберга, а фрейлейн Шмёде откуда? И где она, фрейлейн Шмёде? Фрейлейн Шмёде у Квази Рика. Квази Рик ест с серебряной ложки из рук фрейлейн Шмёде и глядит при этом на ее грудь, и, если его не тянет погладить ее, значит, он и вправду болен. Но прежде ему придется признать, что лес—это поистине церковь, хорошо, если он хитрец по натуре, тогда он скажет «гм», с «гм» можно далеко уехать, с «гм» можно кой-кого в ловушку заманить, если сам не отлетишь подальше. А то можно ведь в один прекрасный день очутиться у черта на куличках. Сиди да дивись, как тебя сюда занесло, сиди в университетской столовке, гляди на хлебающего студента и тверди, надо, мол, убираться отсюда, надо раз и навсегда объяснить Инге Бьеррелунд, что лес вовсе не церковь, а любовь не законсервируешь».

— Пошли, старина,—позвал Трулезанд,—с биологией все ясно, девочки наши что надо. Я тебе все сейчас расскажу... Ну, чего ты на меня уставился? Может, обиделся за фрейлейн Шмёде и младенцев? Я, брат, вовсе не хотел тебя обидеть. Просто критически подошел к этому вопросу.

Они отправились в гимназию, и по дороге Трулезанд разъяснил ему взгляды доктора Ваннермана на биологию. Только перед дверью, над которой было написано «Мы учимся не для школы, а для жизни», Роберт сказал:

— Дашь мне вечером листок почтовой бумаги из запасов тети Мими, а еще лучше—два?

— Claro,—ответил Трулезанд.

Роберту понадобилось три листка. Он писал письмо, а Трулезанд и Якоб повторяли для Квази Рика урок биологии и

без конца спорили: Трулезанд пытался по-своему изложить высказывания доктора Ваннермана, Якоб же настаивал на точности и каждый раз читал вслух свои записи; Вера Бильферт принесла ужин для Квази, ее тоже расспросили об одноклеточных и делении клеток, и она высказала третью версию ваннермановского сообщения. Заглянул передовик Бланк, полюбопытствовал, что они станут делать с брикетами, если не собираются топить из-за Квази Рика, но получил эти брикеты, лишь изложив свою точку зрения на деление клеток; пришел и ушел Старый Фриц — пришел сообщить, что все уладилось, ко всеобщему удовольствию, райком прислал письменное подтверждение, и ушел, напомнив им для бодрости, что даже такая болезнь не в состоянии остановить победное шествие исторически нового; ввалился привратник и объявил, что тот, кто еще раз поднимется по лестнице в грязных ботинках, будет иметь дело лично с ним; а Роберт все писал.

«Дорогая Инга,— писал он,— с письмом этим ты лучше отойди куда-нибудь в угол и сядь там, чтобы тебя никто не видел. Боюсь, письмо мое причинит тебе боль. Ну вот, главное ты уже знаешь, я вломился, как буйвол, даже не предупредив тебя мычанием. Но я не знаю, как надо писать, чтобы сперва получилось тихое мычание и оно подготовило бы к тому, что последует. Да ведь я и не буйвол. Я тебя всегда любил, это ты знаешь и знай, что измениться тут ничего не может. И все-таки я должен написать тебе такое письмо. Это звучит абсурдно, так оно, наверное, и есть. Гляжу я на бумагу и на то, что написал, и думаю — нет, ты не можешь, ты не должен так писать, но в то же время думаю, что должен, иначе все будет совсем плохо, и я пишу. Я как-то рассказывал тебе длинную историю о маленьком мальчике, у которого был враг и не было другого выхода, кроме как сказать своему врагу: пошли на Зонненвег, к кривой березе, там и решим наш спор, иначе никак нельзя. Нет-нет, ты мне не враг, об этом даже думать нечего. Мой враг — что-то другое, я сам не знаю что. Но это и твой враг, так же как мой. И я долго ждал, но теперь говорю ему: пошли на Зонненвег.

Все для нас погибнет, если будет продолжаться так, как было до сих пор. Я все делал неверно. Никогда я тебе не лгал, но и не всегда говорил правду. Ладно, думал я, обойдется, это не в счет, пустяки, такие мелочи не стоит принимать всерьез. И так каждый день должал, по грошику. А теперь вот сижу и пишу тебе. Пишу: скажем друг другу «прощай», пока мы не изолгались вконец. Но сейчас мне пришло в голову, что ты подумаешь, будто я все забыл, все хорошее. Нет, не забыл. И не забуду. Просто не хочу писать об этом, боюсь, что уговорю себя, как и раньше.

Всегда, когда на душе кошки скребли, я вспоминал твои голубые глаза, и дым костров на картофельном поле, и запах люпина и мокрых волос. Ну и к чему же мы пришли? Вот я и решил не дожидаться встречи, а написать тебе. Не знаю, смог ли бы я сказать то, что пишу. У тебя слишком большие глаза.

Я теперь не скоро приеду в Парен. Не только потому, что уж очень близко там наше озеро и ели на берегу Эльды, но, главное, потому, что должен остаться здесь. У нас теперь много дела, по математике дошли уже до икса, а по биологии надо подать раскрашенные таблицы с делением клетки, и один наш товарищ болен, даже по воскресеньям не может никуда выйти, это тот, жестянщик, который всюду вставлял словечко «квази», хотя в последнее время что-то перестал. Лучше не пиши мне, Инга. Твой Роберт».

Она и не писала. Она не ответила, что было и плохо для Роберта и все-таки хорошо. Плохо не знать, услышали ли тебя, поняли ли; плохо, когда представляешь себе, что письмо твое порвали, но еще хуже думать, что его читают и перечитывают. Мучительно думать о слезах, но еще мучительнее — о холодном блеске глаз. Особенно скверно было поначалу, среди дня,— он все ждал стука в дверь и слов: «Письмо Роберту Исвалю!»

И все-таки это было хорошо. Роберт понимал, что готов по одному-единственному ее слову зачеркнуть свое письмо, объявить его сумбуром, сочиненным в сумбурную минуту, взять его с покаянием и стыдом назад, он знал, что готов проглотить все ее возражения и снова стать покорным.

Да, хорошо, что этому положен конец. Он чуть не стал свойственником, или как это там называется, вдовы проповедника, для которой цирк — языческое действо, а русские — порождение дьявола. И он чуть было — да нет, ей-богу, ему бы этого не избежать,— чуть было не украсил в один прекрасный день свою голову цилиндром, а партийный значок — миртовым букетиком и не встал к алтарю. А рядом с ним стояла бы невеста в белом платье — конечно, в этот день в белом, в виде исключения,— и орган заливался бы вовсю, а Инга Исваль, урожденная Бьеррелунд, нежно подтолкнув его локтем, показала бы глазами на витражи: смотри-ка, сегодня в церкви, как в лесу... Гм.

Очень хорошо, что всему положен конец! Роберт поделился только с Трулезандом. Тот выслушал его и одобрил, хоть кое о чем и пожалел. По крайней мере, сказал он, Роберту следовало с ней встретиться, да и Трулезанду хотелось бы ее разок увидеть. Судя по всему, не слишком она вредная, а в Рибнице вообще ни одной такой девчонки нет, еще, чего доброго, не успеешь и поглядеть на такую.

— Не успеешь? Как это не успеешь?

— Ну, до женитьбы. Или, ты думаешь, женитьба не такое уж неизбежное зло? Почитай-ка Энгельса «Происхождение семьи...», тогда поймешь, что с научной точки зрения это неотвратимо, ибо семья и государство исторически между собой связаны, а мы основали новое государство, так тут уж никак не избежать женитьбы, ну и все такое...

С Якобом ни Роберт, ни Трулезанд о девушках не разговаривали. Якоба одолевали иные заботы. В учебном материале Якоб барахтался, как новичок в бассейне. Он в отчаянии цеплялся за все правила, это ведь было единственное, за что можно уцепиться. Он двигал руками и ногами именно так, как его учили, он дышал по команде, а когда команды не было, точно делал заученные движения, но при каждой непредвиденной волне захлебывался. Не заболей Карл Гейнц Рик, Якоб, скорее всего, потонул бы на первых же ста метрах. Чем слабее был Квази, тем сильнее становился Якоб. Но теперь Роберт и Трулезанд каждое утро, готовя домашние задания, вспоминали прошлый урок, и для Якоба это было чем-то вроде дополнительных занятий. Он сидел у постели больного, слушал Роберта и Трулезанда, внимательно сверял их изложение со своими записями, поправлял дословными цитатами причудливо измененные Трулезандом правила и настаивал на подробностях, если Роберт пытался объяснить в общем и целом. А когда попадались особенно трудные места и связь между словом и записью терялась, Якоб озабоченно склонялся к Карлу Гейнцу Рику и спрашивал:

— Ну, а это ты понимаешь, Карл Гейнц?

Иногда Квази отвечал, что нет, не понимает, а иногда говорил — да, понимает. Скоро, однако, они догадались, кто же из них не понимает, и раздел, о котором Якоб спрашивал Рика: «Ну, а это ты понимаешь?» — всегда повторяли.

А скажет Якоб: «Ну, вот видишь»,— и хлопнет Рика по плечу, значит, можно двигаться дальше, и, если бы в комнату «Красный Октябрь» вошел посторонний и понаблюдал за лицами четырех ее обитателей, он скоро заметил бы, что Квази Рик то и дело переводит взгляд со своих учителей на Якоба Фильтера и что взгляд его темнеет, словно чего-то требуя, как только темнеют глаза Якоба. Тогда, опережая Якоба, спрашивал уже Роберт или Трулезанд: «Ну, а это ты понимаешь, Карл Гейнц?»

В конце концов Квази всегда все понимал, но вот что он вряд ли понял бы, думал Роберт, так это историю с Ингой Бьеррелунд. А потому в разговоре с Квази Роберт избегал этой темы, избегал

еще и потому, что Трулезанд заклинал его и Якоба не болтать в присутствии Квази про «девушек, ну и все такое...»

— Представь себе, ты сломал ногу, а я тебе без конца все про футбол да про футбол!

Но однажды в свободный от занятий день — у педагогов было какое-то совещание, Якоб поехал к себе в деревню, а Трулезанд отправился в Рибниц за приемником — Рик сам заговорил про «футбол».

— Роберт, как ты думаешь, сколько лет фрейлейн Шмёде?

— Постой-ка, она уже отмахала восемь семестров, а начала в восемнадцать, ну, может, в девятнадцать, значит, двадцать два — двадцать три. Самое время замуж выходить.

— А ты думаешь, она не замужем?

— Вот уж не знаю. Да и не интересует меня это.

— Почему же? Разве она, по-твоему, не красивая?!

— Красивая? Вот уж нет. А по-твоему, красивая? Постой-ка, с каких это пор она стала красивой?

— Всегда была.

— Когда она у рентгена стояла и покрикивала «Рубашки долой!», она уже была красивой?

— Не знаю, тогда, может, еще и нет.

— Ну, значит, когда мы льняное масло покупали и она сказала, что отец ее спекулянт?

— Да она этого вовсе не говорила, сказала просто — он мелкий торговец, а была ли она красивая, не знаю.

— Значит, когда принесла тебе котелок с супчиком. Верно?

— Ну, не могу сказать. Она вообще красивая, а не от случая к случаю.

— А сколько раз она уже здесь была?

— Четыре.

— И с каждым разом становится все красивее?

— Да.

— Ага.

— Что ага?

— Ничего. Я только отмечаю, что фрейлейн Шмёде от раза к разу становится все красивее. Эдакая многоступенчатая красавица... Сказать тебе, что ли? Ты сам себе внушил, что она красивая.

— Да ведь это невозможно!

— Невозможно? Мне пришлось как-то проваляться в госпитале четыре месяца. Сестры все казались мне прекрасными. С каждым днем все прекраснее, хоть в кино снимай. Особенно одна, сестра Эльфрида, она была такой благородной красавицей. Голос — мед, пальцы — лепестки роз, глаза — как у младенца Христа в рождественском стишке, а там, где она приколола

брошку с красным крестом, там, скажу я тебе, красота была неописуемая, и даже ее ноздри надо было воспевать стихами.

— Ноздри?

— Ну да, а ты еще не заметил, что у фрейлейн Шмёде прекрасные ноздри? Нет? Ну, скоро заметишь. Все еще впереди. Главное — перспектива. Когда лежишь в кровати, нельзя не увидеть ноздри. Короче говоря, берегись!

— А в чем дело-то? Разве сестра Эльфрида не была красавицей?

— Нет, не была... Вот слушай. В ту неделю, когда мне в первый раз разрешили встать, у нее было ночное дежурство, значит, я опять видел ее с подушки. Вот наконец как-то вечером я решился, спросил, не согласится ли она сходить со мной в кино, когда мне дадут увольнительную. На пятый день свидание состоялось. Фильм назывался «Девушка с острова Фанё» и был очень грустный. Но Эльфрида-то оказалась уродом. На ней было зеленое платье, довольно длинное, но, увы, недостаточно длинное. А ноги! В нашей футбольной в Парене играл левый защитник, вот у него были такие и больше ни у кого, кроме Эльфриды. А какого туману она напускала своей брошью, понять не могу. На этот раз она приколола туда деревянные башмачки, знаешь, такой раскрашенный сувенирчик, сталкиваясь, они громко стучали и, наталкиваясь на ребра, стучали еще громче, хватит с тебя?

— Пожалуй, да. Но голос? Голос ведь всегда голос...

— О, с голосом все было в порядке. Сидели мы где-то в последних рядах, но, когда Эльфрида изрекала: «Сейчас он ее поцелует!», на нас оборачивались с первого ряда. А стоило ей засмеяться, как башмачки и кресло стучали наперебой. Что и говорить, голосок у нее был отменный, не то чтобы мед, но вполне подходящий.

Квази Рик засмеялся несколько вымученным смехом, но все-таки засмеялся впервые за много дней; Роберт улыбнулся ему и шепнул:

— Ну а это ты понимаешь, Карл Гейнц?

Теперь уж Рик рассмеялся по-настоящему и спросил:

— Сказать тебе, что ли, Исваль? Или не говорить? Черти вы полосатые с Трулезандом, два квази черта полосатых!

Роберт поднялся, парадным шагом промаршировал до середины комнаты, вскинул вверх воображаемую фанфару и, сыграв туш, рявкнул:

— Мы, обитатели и владыки комнаты «Красный Октябрь», что по Роберт-Блюмштрассе, двадцать три, объявляем ныне, шестого ноября года тысяча девятьсот сорок девятого, что наш

брат, сосед и однокашник Карл Гейнц Рик, бывший жестянщик с сахарного завода, подал первые квази признаки преодоления грозившей ему чахотки, та... та-та... та-та-та-та!..

Но рано пташечка запела! Нет больше с нами Квази Рика. 6 ноября 1949 года он, правда, засмеялся впервые после долгого перерыва и даже повторил свое почти забытое словцо, а через месяц поднялся с постели и в комнате «Красный Октябрь» наконец-то закрыли окна и всем стало тепло. Ведь очага больше не существовало, противник остался с носом. Зато у многих был повод для радости: у доктора Гропюна, который, словно Шейлок, наживал капитал на своем успехе, рассказывая о студенте небезызвестного, но все же не такого чудно́го факультета, чем оказывал на пациентов необычайно сильное моральное воздействие; у секретаря районного комитета Хайдука, который отныне в своих письмах и выступлениях, доходя до различия между недоверием и бдительностью, ссылался не только на испанские примеры; у студентки медицинского факультета Хеллы Шмёде по самой простой и древней на земле причине; и, уж конечно, у Роберта, Трулезанда и Якоба, хотя теперь Якобу и невозможно было, прикрываясь болезнью Квази, получать дополнительные консультации. Короче говоря, у многих был повод для радости по многим поводам в тот день, когда Квази Рик через месяц после обретенной способности смеяться поднялся с постели, повесил на гвоздь котелок, обменял у лавочника бутыль на свой залог и вошел в дверь, над которой было написано: «Мы учимся не для школы, а для жизни». И все-таки Квази Рика больше нет с нами. Он не умер, но погиб, его нет, он погиб, а значит, все равно что умер.

Три года изучал Квази Рик немецкий язык у доктора Фукса, стихи Келлера и Брехта, Гейне и Маттиаса Клаудиуса, рифмованные и нерифмованные, «Песню о Гильдебранде» и монолог Фауста «Я философию постиг...», «Седьмой крёст» и сказание о Тристане и Изольде, а также все правила расстановки знаков препинания, выдуманные, как продолжал утверждать доктор Фукс, вовсе не доктором Фуксом. Три года ломал он вместе с Рибенламом голову над тем, кто же построил семивратные Фивы и не в двух ли ипостасях предстает перед нами Наполеон, и над тем, что было бы, если бы президент Эберт не перетрусил и не имел прямой связи с Генеральным штабом.

Он научился петь по-русски «Однозвучно гремит колокольчик» и, манипулируя сложными грамматическими формами, выяснять у своего соседа по парте, не собирается ли тот, следуя прекрасной инициативе тракторного завода «Раскаленный мо-

лот», применить недавно разработанный метод комплексного изготовления деталей.

Он проделал с Ангельхофом Галльский поход Юлия Цезаря, пытаясь, однако, подменить задания по склонению и спряжению комментариями к организационной структуре римского войска.

Он блистал в математике и во всех естественных науках, а благодаря лекциям Старого Фрица о текущей политике обогатил свой словарный запас такими выражениями, как «основное звено в цепи», «новый тип», «высшая ступень», «основополагающий», «базис», «неантагонистические противоречия».

А потом он исчез, погиб, умер. Но фамилия его не высечена на могильной плите, она значится в телефонной книге города Гамбурга: «Карл Гейнц Рик, ресторатор» — написано там, и ни слова о бывшем жестянщике сахарного завода в Дёмице-на-Эльбе возле Эльдского канала, ни слова о брате, соседе и однокашнике, об изгнанном туберкулезе и «та...та-та... та-та-та-та!..»

Что же делать с таким Квази Риком, хозяином пивной Риком, Гамбург, Зекслингствите, 4, пивная «Бешеная скачка»? Уместно ли упомянуть о нем в прощальной речи, призванной отразить блеск и славу РКФ?

Нет, неуместно, но значит ли это, что его не было? Интересная была бы эта история, если бы в ней не было всего того, что неуместно. Интересные это речи, в которых нет того, о чем говорить неуместно. Если в актовом зале действительно хочешь упомянуть о Квази Рике и чем он кончил, так стоит лишь чуть повысить голос и, слегка растягивая слова, сказать: «Теперь у него пивная под названием «Бешеная скачка». И все будет ясно.

А все ли?

Возможно, кое для кого и все, вероятно, многим все будет понятно: учился у нас, на наши деньги, сбежал, стал трактирщиком, торгует пивом, разбавляет шнапс, променял прямой путь на кривую дорожку, перспективу на полицейский час, чистое небо на пивной чад, друзей на клиентов, был жестянщик, а теперь обманщик и плут, да и всегда был плутом...

Так ведь нет, не был он плутом, парень был, каких мало. Легкие у него были с изъяном, зато сердце — как у Трулезандовой тетушки, чистое золото. И даже спас кое-кому жизнь. И не кое-кому, а двум друзьям. Да, Карл Гейнц Рик, бывший Квази, ныне трактирщик, спас некогда жизнь Роберту Исвалю, ныне журналисту, и Герду Трулезанду, ныне специалисту в одной из сложнейших областей лингвистики. Он втащил их на крышу, когда они сорвались и повисли, уцепившись за ее край, на высоте двадцати двух метров над землей.

Идею о лозунге на крыше подал Трулезанд, а поводом были выборы.

— На выборах что главное? — поставил вопрос Трулезанд.— Главное — убедить массы. Чем больше лозунг и чем дальше его видно, тем больше народу его увидит. Если мы напишем лозунг на нашей крыше, его прочтет чуть ли не вся округа.

Текст был выработан на длительном ночном заседании, и расположение слов варьировалось до тех пор, пока весь лозунг не уместился на чертеже крыши. Верхняя строка — двухметровыми буквами: «Чтоб бомба не бахнула в этот дом», нижняя строка: «Национальный фронт изберем!» — метровыми буквами. Якоб, правда, не видел никакой связи между пожеланием в верхней строке и заявлением в нижней. Квази Рик счел лозунг пацифистским и эгоистичным — ведь в городе много домов, как же быть с ними? Но ничего лучшего ни тот, ни другой предложить не могли. И текст был принят без обсуждений — в духе времени.

Дом оказался куда выше, чем представлялось им снизу, а крыша была огромная, чуть ли не с футбольное поле, покатая и скользкая. Ветер с залива так и свистел над коньком, а с утра еще прошел дождик. Но краска была хороша, и лозунг был хорош, а к высоте ведь привыкаешь, да что значит привыкаешь — им, Трулезанду, плотнику, и Исвалю, электрику, и привыкать было нечего: «Без паники, ребятки, без паники, и не по таким еще крышам лазили...»

Что правда, то правда, но все же намучились они здорово. Якоб смешивал на чердаке краску из мела и клея, а Квази, стоя тут же, крутил самодельную лебедку и спускал ведро из слухового окна на крышу, то и дело сверяя каждую новую букву с чертежом. Трулезанд и Роберт стояли на крыше, вернее, на балке, укрепленной на двух крюках. Пока один писал, другой держал ведро. Квази требовал, чтобы они обвязались веревкой, и, конечно, каждого в отдельности уговорил бы, но они были вдвоем, и ни тот, ни другой не хотел согласиться первым.

Напишут букву, и Квази осторожно передвигает ведро на веревке дальше, а оба художника ступают на покатую крышу, чтобы передвинуть балку к следующему крюку. Сверху все это выглядело куда опаснее, чем было на самом деле. Квази каждый раз из себя выходил, кричал, куда им ставить ноги, следил, чтобы руки балкой не прищемило, вопил, что больших идиотов он в жизни не видел: подумать только, не обвязаться веревкой на такой высоте!

На фруктовой аллее напротив факультета начали собираться зрители: прохожие останавливались и задирали вверх головы, студенты выходили из общежития поглядеть, что увидели там прохожие. Когда же всем стало ясно, какой лозунг те двое

задумали написать, группы оживились, послышались выкрики «дурачье» и «браво», и Трулезанд был вполне удовлетворен.

— Наш лозунг производит впечатление, он зовет людей на улицы.

— Просто они давно не были в цирке,— возразил Роберт.

— Вот и пришли полюбоваться!— орал Квази из слухового окна.— Да обвяжитесь вы наконец, будет ведь политической ошибкой, если вы сверзитесь.

— Ладно, ладно, бабуся.

— За нами тогда будет ухаживать фрейлейн Шмёде.

— Если кувырнетесь, так не ухаживать за вами, а хоронить вас она будет.

— Это уж твоя забота, Квази, ты все организуешь как надо!

— И обвяжешься, перед тем как склониться над нашей могилой.

— Не искушайте черта!

Поздно, черт уже сидел на крыше. Это он, черт, подтолкнул Роберта в бок и показал на девушку, которая, прислонясь к яблоне, глядела на них вверх.

— Фрейлейн Вера Бильферт, швея, тоже пришла. Очень интересный на ней свитер,— сказал Роберт.

Трулезанд, прежде чем взглянуть на Веру, тщательно выписал запятую в первой строке, а потом спросил:

— Что же интересного в ее свитере?

Черт подмигнул Роберту, и Роберт ответил:

— Как это «в»? Разве я сказал «в»?

Трулезанд сунул кисть в ведро и, медленно спустившись с балки, заскользил вниз, до следующего крюка.

— Куда ты?

— Поглядеть, как лозунг выглядит снизу.

— Отличная идея. Я, пожалуй, тоже спущусь.

И черт подтвердил: «Отличная идея».

Квази яростно орал, чтобы они возвращались, но они уже начали спускаться, а внизу под яблоней стояла Вера Бильферт и, закинув голову, смотрела вверх.

На самом краю крыши, у сетки, они улеглись на живот и, подперев голову руками, тоже посмотрели вверх, на свежевыведенные белые буквы.

— Неплохо выглядит?

— Просто хорошо!

А черт возьми и подскажи: «Да, ребятки, а снизу, с улицы, и особенно из-под той вон яблони, вы выглядите настоящими героями!»

— Если оттолкнуться как следует, то, пожалуй, можно и вверх

взбежать,— сказал Трулезанд.

— Думаешь? Давай попробуем.

Они уперлись ногами в сетку, как в стартовую колодку, но ведь сетка не колодка, а просто сеточка из тонкой жести, и она обломилась под их двойным весом, а крыша — не земля, она покатая, твердая и скользкая. Земля была где-то в двадцати двух метрах внизу.

Когда же они вновь были в состоянии думать, слышать и видеть, оказалось, что ноги их повисли над пропастью, толстый край водосточного желоба впился в тело, так что пришлось согнуться под прямым углом, и изменить эту позу они не могли, а острые края сломанной решетки так врезались в пальцы, что и провисеть долго не было никакой возможности.

Но тут подоспел Квази. Он спустился по веревке с ведром и очень походил на ангела, да, собственно, и был их ангелом. Он втащил на крышу Трулезанда, а потом Роберта и сказал при этом — ах, да что там сказал! — он пропел, пропел ангельским голоском:

— Черти вы полосатые, ах вы черти полосатые!

Вот каким был Карл Гейнц Рик, звавшийся тогда Квази,— уже не жестянщик на сахарном заводе, а один из первых рабочих студентов в стране, тогда свой парень, а теперь?

Так что же оратор Исваль, кто он теперь?

Самое правильное, Роберт Исваль, больше не вспоминать об этой речи, и об РКФ, и о Квази Рике — пропади они все пропадом! Ты здесь не в отпуске! Ты должен... Ну и что же? Разве я не работаю? Я очень хорошо знаю, что я должен, и делаю все, что должен. А как я это делаю — мое дело! От меня требуется репортаж о наводнении в Гамбурге и о последующих днях. Будет им репортаж. Нельзя же сказать, что я просидел здесь все время за столом, думая только о давних годах и давних друзьях. Я довольно побегал по городу. Если они хоть половину напечатают из того, что я уже сейчас могу написать, и то будет чудо. Надеюсь, я имею право думать не только о лопнувших мостах и страховых полисах, подскочивших ценах на резиновую обувь и сырых пятнах на обоях, о сенаторах, произносящих траурные речи и держащих нос по выборному ветру, о бундесверовских вертолетах, о болельщиках с Тегернзее и из Билефельда, о вдовах и сиротах и о приезжих, захвативших походные кровати на случай повторной катастрофы; надеюсь, я имею право посидеть минуточку на диване у Германа Грипера и полистать телефонную книгу?

— Мне надо еще в город,— сказал Роберт, и Лида кивнула ему в ответ. Она как раз диктовала колбасной фабрике заказ на следующий день.

Роберт слышал, что ей нужно на двадцать кило сарделек больше, чем накануне. Сардельки — дело особое. Заказал бы ты прежде здесь сардельку, тебе сунули бы эдакую хрустящую коротышку, да еще с кусочком шпика и тмином или с другими жуткими специями, и занесли бы тебя в категорию чужеземцев и матросов и правы были бы, потому как истый гамбуржец не ест сарделек, гамбуржец ест копченую колбасу и заказывает копченую колбасу, если хочет, чтобы ему дали копченую колбасу, но теперь ему приходится заказывать сардельки, если он хочет получить копченую колбасу, во всяком случае, на Реепербане, где большинство посетителей иностранцы или матросня.

Поглядим, как она называется у Квази. Если копченая колбаса — хорошо, добавим ему один балл — он ему понадобится, ведь все остальные вычеркнуты, и за ангельскую миссию на крыше тоже. Только на нее не рассчитывай, Квази Рик, она в зачет не пойдет, господин трактирщик!

Роберт спустился в метро. Ехать было недалеко, и он не спешил, а наземная часть пути между мостами у порта и Рёдингсмарктом была самой красивой в городе. У Миллернтор, там, где находится эта заплеванная подвальная станция Санкт-Паули, метро всего-навсего сподручное и неуютное средство передвижения с вонью на выбор — в вагоне для курящих или для некурящих,— своего рода пневматическая почта, место не более уютное, чем сточная канава. Но когда неподалеку от Гельголлендераллее поезд, выскакивая из кафельной шахты, мчит между кустами рододендрона и газонами и останавливается на станции «Ландунгсбрюкен», тут у всех иностранцев глаза на лоб лезут: эй, гляди-ка, мы уже в порту!

Здесь метро превращается в надземную электричку, поезд катит по бастиону и по набережным до Баумваля, и внутренняя гавань отсюда видна, а вон Кервидершпитце, а там — Грасброк, где срубили голову Штёртебекеру, говорят, он пробежал шаг-другой без головы, но это, верно, легенда, только куры без головы бегают, да и то очень редко.

И вот мы уже у Рёдингсмаркта, старого рынка, только теперь здесь давно никакого рынка нет, и Гусиного рынка тоже нет, и Конного, и Хмельного, а возле цейхгауза и Ратуши так и подавно рынков нет. А та вон речушка, что течет в город, никакого отношения к порту не имеет, это канал Альстера, мутный сток в Эльбу; Эльба в городе свой долг выполнила, дважды превратилась в озеро, одно большое, другое маленькое — Внутренний

Альстер и Внешний Альстер,— и теперь может спокойно отправиться дальше, изгаженная и грязная, никому до нее нет дела; тот, кто здесь редко бывает, глядит из окна на церковь святого Михаэля, но еще мгновение, и поезд уже ныряет под землю, проскакивает под Биржей, и она — вот уж удобно и честность обеспечивает — размещается с Ратушей в одном здании, и если тебе надо на Зекслингствите, так выходи у Главного вокзала. Вопрос только в том, можно ли ему идти на Зекслингствите. Правда, Роберту неизвестны предписания, которые запрещали бы ему отправиться в этот путь. Но вероятно, они все-таки есть, и вполне вероятно, что они имеют свой смысл. Но еще вероятнее, что не всегда в них есть смысл. Следует лишь иметь веские основания, чтобы защищать свой поступок, и тогда ты всегда и везде сумеешь оправдать то, что ты совершил.

Итак, защищай свой путь, Роберт Исваль! Только не говори, что этот трактирщик, этот Рик, был, мол, твоим другом. Ты знаешь, как мы относимся к подобным аргументам. У всех у нас были когда-то друзья, и у всех оказались среди них такие, которые предали нас, и с того дня они перестали быть нашими друзьями — мы не вспоминаем их больше как своих друзей, они стали нашими врагами, а значит, и мы — их врагами. А как быть с нашими спасителями? Каждый из нас обязан кому-то жизнью. Не будем говорить об отце с матерью, и об акушерке, и даже о врачах, вовсе не их мы имеем в виду. Мы говорим о мальчишке, вытащившем нас из пруда, и о девчонке, что стрелой припустила в пожарную часть, заслышав запах газа, и о том человеке, который, оттолкнув нас в сторону, сам попал под машину; мы говорим о соседке, которая повредила нам зуб, вытаскивая застрявшую в горле рыбью кость, и о подвыпившем угольщике, который собрался отоспаться в песчаном карьере и один лишь сохранил присутствие духа, когда нас засыпало песком.

Мы можем вечно что-то помнить, помнить наших спасителей, помнить дежурного противовоздушной обороны, вовремя предупредившего нас, обер-ефрейторов — за то, что не дали нам воды, зная о ранении в живот; генерала, для которого Рыцарский крест не был самоцелью; знатоков-грибников и ясновидцев; сильных духом и подкупных, доноров и убийц.

Вот и не лезь к нам со спасителями.

Ты говоришь, любопытство? Что ж, любопытство — это уже кое-что, его мы ценим. Мы, правда, несколько отвыкли от любопытства и от вопросов, однако подобное воздержание не пошло нам на пользу, а потому мы снова вопрошаем и хотим, чтобы все задавали вопросы; любопытство снова считается у нас достоинством, только называем мы его не любопытством — это

слово отдает сплетней, мещанством,— мы говорим о любознательности, о радости первооткрывателя и возводим умение мыслить и тем самым умение задавать вопросы — а что толку, хочется еще иногда спросить,— в первейшую обязанность человека. Вот и скажи нам преспокойно, что пошел из любопытства, но скажи это другими словами. Скажи о какой-то проблеме и ее разрешении, и тогда мы станем тебя слушать.

Ладно, если вам так проще, я назову Карла Гейнца Рика проблемой. Но для меня он больше чем проблема, для меня он загадка, поражение, наваждение. Он был одним из троих сбежавших, но единственным, кто сделал это без каких-либо оснований, во всяком случае, без каких-либо видимых оснований. И был он моим другом, и я его хорошо знал. Двое других в счет не идут. Один, рассеянный, слишком часто спотыкался о кровать соседа по комнате, а в голове второго Ангельхоф отыскал идеи, которые следовало заклеймить,— идеалистические, экзистенциалистские, космополитические,— у обоих, стало быть, имелись основания.

Но Квази? У него и прошлого-то никакого не было, зато будущее открывало перед ним самые блестящие перспективы. Он был математик номер один из набора тысяча девятьсот сорок девятого года и почти гений как организатор. Не только он был словно создан для нашей страны, но и страна была словно создана для него. Не очень-то благоустроенная страна в ту пору, страна математиков, страна организаторов, страна планов и плановых заданий, страна логарифмов, страна перспективы, страна программистов. Словом, страна Квази Рика.

И вот, оказывается, все не так. А почему? Кто обидел Рика? Кто дал ему основание? Из нас — никто, мы бы заметили; мы знали, сколько у каждого из нас зубов во рту и что за шрам над бровью у одного или под пупком у другого, мы все друг другу выкладывали: и как прошел первый школьный день, и на что была истрачена первая получка, и вкус первого поцелуя и первой рюмки водки; мы знали все: у кого какие остроты, какие уловки в скате, и комбинации в шахматах, и любимые песни, и причуды, и у кого какие слабые места. Каждый из четырех обитателей комнаты «Красный Октябрь» мог бы заполнить анкету за другого и написать за него автобиографию. Да и что это были за автобиографии: «Я, Карл Гейнц Рик, старший сын капитана речного судоходства Фердинанда Рика и его жены Эльзы, урожденной Пеплов, родился 2 февраля 1929 года в Дёмице-на-Эльбе. С 1935 по 1943 год посещал там народную школу. Затем был учеником жестянщика Эугена Крана в том же Дёмице. С 1946 года работал подмастерьем на сахарном заводе Вильгельма

Лухтмана (в Трейханде). С 1946 года состою членом ССНМ, а с 1947-го — членом СЕПГ. Родители были беспартийные. Погибли вместе с моим десятилетним братом 18 июля 1944 года при воздушном налете...»

Пустяк, а не биография, но при желании можно было бы упомянуть еще о многом: имена учителей, любимый напиток мастера, причину, побудившую вступить в партию, обстоятельства, при которых погибли родители и брат...

Как-то раз в воскресенье, вскоре после медицинского осмотра, Квази рассказал об этом Роберту и Вере Бильферт. Он хотел оправдать свой страх перед болезнью и сомнения, обуревавшие его, когда его заверяли, что он выздоровеет, если, конечно, будет выполнять все предписания врача.

— Не знаю,— говорил он,— сам не знаю, как это объяснить. Вам, наверно, покажется, что я суеверен, но я ведь не суеверен и уж, во всяком случае, не религиозен. Религия — следствие квази невежества. А ведь я получил образование. Я учился в районной партшколе, и на курсах в окружной партшколе, и в школе ССНМ. Религиозным я просто не могу быть. Но у меня уже есть кое-какой опыт, и я боюсь. Я, собственно, не собирался ничего вам рассказывать, такое, в конце концов, есть у каждого на душе, но, если я не расскажу, так это, пожалуй, и будет суеверием или квази зародышем такового. Нет, как вспомнишь историю гибели моих родителей и брата, особенно брата, поневоле жуть берет. Его звали Детлеф, и девять лет своей жизни он болел. Он переболел всеми болезнями, какие есть на свете. Акушерка рассказывала в Дёмице, что он ее самый трудный случай, и утверждала, что сунула его в духовку, а то он никак не согревался. Это она, конечно, выдумала, но девять лет брат мой действительно не вылезал из болезней. Корь и ветрянка, понятное дело, и свинка, но к тому же дифтерит, и скарлатина, и трижды в год ангина, и воспаление среднего уха, а то еще плеврит, ну, грипп, тот вообще за болезнь не считался. На берегу-то ничего бы, но отец водил баржу, а мы плавали вместе с ним. Брату было уже девять, когда он подхватил коклюш. Нам всегда казалось странным, что коклюшем он еще не болел, и, когда это случилось, мы с ним остались на берегу у хозяина баржи.

Коклюш — болезнь не страшная, но врачи, сдается мне, в ней не разбираются. А в Дёмице врач нашел новый способ лечения, мы, во всяком случае, о нем не слыхали. Он послал меня с братом на газовый завод. Там было огромное помещение, а в нем горы шлака и мелкого угля и всюду проложены мостки для автокаров. Вот по этим-то мосткам брат целыми днями и ездил на своем

самокате. Врач сказал, что тамошний воздух поможет Детлефу. Да разве там был воздух? Скорее уж газ, и мне поначалу даже дурно делалось. Но брату это помогало. Правда, он смертельно уставал, ведь как-никак, а несколько километров за день отмахивал, но вскоре обнаружилось, что газовый завод неплохо лечит коклюш, и брат изо дня в день ездил все быстрее и дольше, хоть и ревел, что устает, но я его все гонял и гонял по мосткам — он потом на свой самокат и глядеть не хотел. Но кашель к тому времени прошел. И не только кашель, вообще все прошло. Представляете? Девять лет парнишка непрерывно болел, а тут вдруг выздоровел. Я спрашивал у фрейлейн Шмёде, неужели это и правда от газа...

— Ты ведь, кажется,— прервала его Вера Бильферт,— рассказываешь свою историю впервые?

— Верно,— ответил Рик,— фрейлейн Шмёде я ее не рассказывал, а излагал в медицинских квази целях.

— Понятно,— сказала Вера, и Квази, внимательно поглядев на нее, продолжал:

— Итак, Детлеф выздоровел, и мать считала, что теперь-то уж он выкарабкался. А в каникулы и случилось все это — восемнадцатого июля сорок четвертого. Мы везли цемент на озеро Мюриц. Отец был в рубке, мать развешивала белье, а мы с Детлефом сидели на баке, любовались лугами. Эльба течет там среди лугов, только кое-где кустарник растет, а то все луга. И вдруг брат как закричит: «Гляди, самолет с дыркой!» Но это был не самолет с дыркой, а двухфюзеляжный истребитель «лайтнинг». Отец крикнул, чтобы мы прыгали в трюм, прятались среди мешков с цементом, а сам укрепил руль и выскочил на палубу. Детлеф побежал к нему, и мать тоже, а я стоял и глазел на этот «лайтнинг». Сперва казалось, что он пролетит дальше, но он описал круг и стал снижаться. Я не слышал выстрелов, но за кормой полетели брызги, и я увидел, как отец толкнул мать и оба упали на брата. В суденышко наше было одно-единственное попадание — как раз в том месте, где лежали родители с Детлефом, все трое погибли. Брат был всего год здоровым, вот я и спрашиваю: зачем я гонял его по той газовой вони и зачем акушерка совала его в духовку, если потом прилетает такое чудовище и нет человека — одна дырка?.. Можете вы мне это объяснить?

Роберт и Вера старались вовсю, но, сколько ни распространялись о случайности и необходимости, ответа от них Квази не получил. Теперь, правда, это все не важно; превращение Квази в ресторатора Рика ничего общего с этим не имело, Квази никогда больше не проронил ни слова о гибели брата, и легкое его, если не считать рубца, было в полном порядке.

Роберт прекрасно знал, что ссылка на болезнь — самая бессмысленная отговорка, какую только можно придумать, чтобы оправдать свой отъезд из ГДР. Любопытную историю на эту тему рассказала ему Вера. Он уже и раньше слыхал от нее, что в ее глазной клинике лежит одна женщина — интересный медицинский случай; но то, что эта история кончится так странно, тогда никто и не предполагал. Сначала Роберт вообще не мог понять, почему Вера пришла домой взволнованная, в слезах и все твердила, что люди отвратительны, что лучше бы она стала ветеринаром или скульптором, или скульпторшей — «так, что ли, в женском роде?».

Роберт предложил «скульпторицу» или «скульптурницу», но Вера сказала, что ей сейчас не до дурацких, пошлых, безвкусных, вульгарных, идиотских, плоских, гадких, отвратительных шуток, сейчас ей хочется повеситься, удавиться или кого-нибудь пристукнуть, убить, отрубить голову.

— Если все дело в открытке и это она тебя привела в такое неистовство,— сказал Роберт,— тогда перестань мять ее в руках, а то ты вообще ничего не разберешь и сама не будешь знать, что тебя так взвинтило.

Вера бросила скомканную открытку на стол.

— Никогда этого не забуду, можешь записать и проверить. Такая низость, такое безобразие, такое...

Негодование Веры можно было понять, только зная, как она относилась к своей профессии глазного врача. Роберт утверждал, что она хочет исцелить мир при помощи одной медицины, и дразнил ее «таблеточная социалистка». Помочь человечеству значило для Веры оздоровить его. Она считала, что в их стране врач не может быть аполитичным, если он настоящий врач, и что правильно выписанный рецепт убеждает гораздо сильнее, чем самые мудрые речи. «Я лучше посижу с больным, который не может уснуть, чем сама буду спать на собрании»,— говорила она и требовала от Роберта, чтобы он понимал это как альтернативу.

И вот появилась больная, которая теперь написала ей открытку. Когда эта женщина пришла в клинику, она уже почти ничего не видела, и все-таки муж насильно привел ее туда. Нет, она не хотела, ни за что не хотела, чтобы ее лечили, а уж об операции и речи быть не могло. Раз уж она ждала так долго, то как-нибудь продержится еще немного — настанет день, когда ее братья и сестры найдут какой-нибудь выход. Ее братья и сестры жили вместе со своими детьми в Касселе и в Нижней Баварии. Они посылали ей препараты, прекрасные, западные, а главное, очень дорогие. Они вкладывали в каждую посылку счета и всегда писали, кто из них на сей раз раскошелился. Только таблетки и

мази, к сожалению, не помогли, и врач, «восточный врач», к которому больная все-таки наконец обратилась, разволновался и заявил, что мазями тут делу не поможешь: помочь может только операция в клинике. Он старался убедить в этом больную, но она сопротивлялась. Она говорила, что все ее родственники на Западе хорошо обеспечены: у брата собственный завод шарикоподшипников, сестра замужем за владельцем сыроварни; для них не такое уж трудное дело оплатить операцию, только настоящую операцию, на Западе. Но оказалось, что для них это дело трудное. Жена владельца сыроварни сослалась на импорт из Голландии, Франции и Италии, сильно осложнивший их жизнь, у брата положение с шарикоподшипниками было не лучше. Они советовали своей сестре довериться восточным специалистам — врачи ведь никакого отношения к политике не имеют, да здесь это к тому же и дешевле. Муж больной своего мнения по этому поводу не имел, но, поскольку жена уже почти ничего не видела, привел ее в клинику. Так они попали к Вере. Женщину сразу оставили в стационаре. Это была тяжелая пациентка. Пока проводились необходимые исследования, что длилось около четырех недель, она была полна недоверия и писала длинные письма с бесконечными жалобами своим родственникам; и ее ничуть не смущало то обстоятельство, что сестры, которым она диктовала письма, и были те самые сестры, на которых она жаловалась. Процесс излечения протекал нормально, более чем нормально. После операции женщина была оставлена в клинике еще на несколько недель, и зрение ее полностью восстановилось. Ее отношение к врачам и сестрам за это время сильно изменилось. Она относилась теперь к ним, да и вообще к «восточной медицине», гораздо более уважительно — о, ее сестра была права, говоря, что врачи — всегда врачи, не только там, но и здесь тоже, и она этого никогда не забудет. На прощанье она купила цветы и коробку конфет и покинула клинику вместе со своим мужем, который теперь уже снова шел несколько позади нее и, кроме как «большое спасибо», так ничего и не сказал. Через несколько недель после этого Вера получила открытку. Открытка пришла из Касселя, где ее бывшая больная находилась уже две недели и чувствовала себя вполне хорошо. Родственники очень милы и внимательны, писала она. Сестра вместе со своим мужем, владельцем сыроварни, тоже недавно нанесла ей визит, и теперь, на старости лет, она сможет наконец-то насладиться несколькими годами свободы. «С дружеским приветом. Ваша всегда благодарная пациентка...»

Слово «свобода» привело Веру чуть ли не в состояние истерики, и Роберт тоже ничем не мог ей помочь — он и сам не

знал ответа на ее вопросы.

Но сейчас, здесь, на темной и мокрой улице в районе Санкт-Георг, он был в лучшем положении: он мог сам спросить обо всем хозяина «Бешеной скачки», задавшего ему загадку,— оставалось пройти всего лишь несколько шагов.

Пивная «Бешеная скачка» была из тех, где лучше и вовсе не спрашивать меню. А если спросишь, рискуешь встретиться с уничтожающим взглядом официанта. Если у него есть время, он скажет: «Меню? О, к сожалению, сегодняшнее еще не готово. В типографии, видно, опять никак не могут решить: писать «рольмопс» с двумя «л» или с одним. Они уже звонили, спрашивали, не знаем ли мы. А вы не знаете? Вы, похоже, гимназию кончали».

Если же официант попадется нагловатый, он крикнет в сторону стойки громко, с насмешкой: «Патрон, посетитель требует меню. Как у нас насчет меню?» И тогда уж самое лучшее вдруг вспомнить о забытом свидании и сматываться, пока не поздно, стараясь по возможности не провалиться сквозь землю по пути к двери; кому это удается, тот еще молодец.

Если же у официанта нет ни времени, ни юмора, он начинает перечислять, ставя после каждого загнутого пальца вопросительный знак: «Колбасу с хлебом? Сосиски с салатом? Биточки с салатом или с хлебом? Жареную селедку? Рольмопс? Можем, конечно, открыть для вас и банку сардин. А то я принесу вам кулек земляных орехов, желаете?»

— Рюмку вермута и пива,— сказал Роберт.

«Пожалуйста» он оставил при себе, хотя «официант» был официанткой. «Пожалуйста» говорят здесь только чужаки и близкие друзья. Официантка принесла пиво и модный вермут, показав при этом как бы невзначай обручальное кольцо на пальце, которое она снимет, как только кончится рабочий день.

Квази кивнул ему, как кивают случайному посетителю, и взглянул на него с тем интересом и дружелюбием, с каким смотрят на пятимарковую ассигнацию, когда добавляют ее к пачке. Он стоял за стойкой и разговаривал с двумя мужчинами, сидевшими за ближайшим столиком. Речь шла, в соответствии с названием пивной, о предстоящих скачках.

— На Хронистку ставить — деньги бросать на ветер,— сказал Квази,— ее отец, правда, скакун, но матери давно пора на комбинат Витлингера.

Он указал на рекламу, висевшую у него за спиной,— фирма Витлингера превозносила нежность своих сарделек. Один из собеседников протянул кружку к стойке:

— Еще одну, Гейнци. Я не утверждаю, что Хронистка в

форме, но как-то нутром я за нее.

— Ну и ставь на нее,— сказал Квази,— вот проиграет один к десяти, тогда не нутром, а карманом почувствуешь, чего она стоит.

«Гейнци,— подумал Роберт,— здесь его зовут Гейнци. А мы никогда его так не звали. Правда, Трулезанд назвал его раз Гейнци, но ведь тогда мы думали, что он умрет. А он не умер. И не умрет. Он разрешает этим типам называть себя Гейнци и на каждой кружке пива наживает грош. Скоро они будут называть его «наш толстяк» или просто «пузан». «Пузан» — это неплохо, это подошло бы. Грош за каждую кружку — как тут не разжиреть! Даже если сам пьешь, и то на каждой кружке наживаешься».

Официантка куда-то скрылась, и Роберт позвал:

— Хозяин!

Он кивнул на пустую кружку и рюмку, Квази нацедил пива, налил вермута, долил пива, когда осела пена, и подошел к его столику.

— Здорово, Квази,— сказал Роберт.

— Здорово, Исваль,— сказал Квази.

— А что, Хронистка в самом деле кляча?

— Наверняка,— ответил Квази.— Не стал бы я с ней связываться. Я вообще не стал бы связываться с тем, в чем ничего не смыслю. Может, ты что-нибудь смыслишь в лошадях, Исваль?

— Ни черта. А ты?

— Да чего тут только не услышишь. Хочешь не хочешь, а научишься,— ответил Квази. Он вернулся к стойке и сказал официантке:— Когда захотите покурить, Эльвира, можете не уходить. Идите-ка сюда и разливайте пиво сами.

Прихватив кружку пива и газетку «Новости ипподрома», он подсел к столу Роберта.

— А ты вообще хоть раз был на бегах?

— Мальчишкой, в Баренфельде,— ответил Роберт.

— Да, ведь ты из этих мест.

— А теперь ты в этих местах поселился.

— А ты разве нет?

— Нет. А в Баренфельд я тогда отправился потому, что ребята рассказывали, будто там можно легко заработать — распахнуть перед кем-нибудь дверь, помочь выйти из машины толстому дяденьке или тетеньке, прикатившим на скачки.

— Ну и много ты заработал?

— Да нет.

— Так я и думал. Я бы сам тебе ничего не дал. Глаза у тебя больно неподходящие двери распахивать, слишком ты высокомерен. Всегда был таким.

— Не потому ли ты дал деру?

Квази поднял газету к глазам и сказал:

— Два года назад один железнодорожник из Эрфурта приехал к другому железнодорожнику в Ганновер, а тот тоже был родом из Эрфурта, и говорит ему: «Чего тебе тут делать, почему бы тебе не вернуться в Эрфурт? Там у нас не хватает людей на сортировочной, тебя бы с распростертыми объятиями приняли». А теперь этот железнодорожник, приехавший из Эрфурта, тоже застрял здесь. Правда, в каталажке. За попытку похитить человека.

— Это что, в твоей дерьмовой газетке написано?—спросил Роберт.—А не описано ли там, как ганноверский железнодорожник сбегал к телефону и кое-куда сообщил? А то как бы он поймал похитителя?

Квази пододвинул ему через стол газету.

— Может, он просто крикнул: «Помогите!» В таких случаях здесь помогают незамедлительно.

— Ничего себе порядочки,—заметил Роберт.

— Минутку,—сказал Квази. Он принес две кружки пива и рюмку вермута.—С каких это пор ты пьешь вермут? Помнится, прежде ты не переносил ликеров и вермутов.

— Все мы меняемся, Квази, не ты один.

— Приятно слышать,—сказал Квази и поднял кружку.—За вечное изменение! Кстати, как поживают Трулезанд и Роза, они все еще в Китае? А как Вера, она все еще твоя жена?

— Трулезанд и Роза уже вернулись,—ответил Роберт,—а Вера все еще моя жена.

— Кто бы мог подумать!—воскликнул Квази, поднося к губам кружку с пивом.

Роберт положил руки на стол и откинулся назад.

— Ты не мог бы?

— Не стоит сейчас пускаться в пререкания,—сказал Квази,—посетители еще подумают, что ты разозлился оттого, что тебе не удается меня сманить. И не говори мне, что это белиберда, Исваль. Сам знаю. Но вернемся к твоему вопросу. Нет, честно говоря, я не мог этого подумать. Ведь я-то—и это тебе придется зачесть мне в оправдание,—ведь я-то знаю, кто отправил Трулезанда с Розой в Китай, и кто их поженил, и для чего. Приятное воспоминание, я держу его при себе тепленьким на случай, если вдруг затоскую по родине. Оно помогает мне справляться с ностальгией.

— Я бы на твоем месте тоже тосковал,—сказал Роберт.

Квази встал:

— Вот и не забывай этого.

Роберт наблюдал, как он выписывает счет на одном из столиков, получает деньги с подвыпившего гостя и кладет ему сдачу на ладонь. Квази выглядел куда старше своих лет. Ему было всего тридцать три года, а он был похож на заправского трактирщика из книжки с картинками. Уважаемый человек, внушающий доверие, не напивается, не одалживает денег, сам не обманывает и себя обмануть не даст, владеет лицензией на торговлю спиртным и на нелегкую, но обеспеченную жизнь— здравомыслящий бюргер. Когда он вернулся к столу, Роберт спросил:

— А как твои легкие?

— Ничего, в порядке, грехи молодости о себе уже не напоминают.

— Ты и сам все забыл.

— Э, нет, я к этому отношусь несколько иначе. Правда, я ни о чем не жалею. Ведь когда ты говоришь о молодости, ты имеешь в виду те годы... В конце концов, кое-чему полезному я научился.

— Вот как?

— Да, так. Сложным процентам, дробям, немного английскому и порядочно немецкому. Это имеет большое значение, когда у тебя дела с пивоварней и с налоговым управлением. Уметь выражать свои мысли тоже не вредно.

— А как ты пользуешься историей и обществоведением?

— Ну что ж, и это мне не мешает. На последних международных скачках был тут жеребец по кличке Потемкин, первоклассно объезженный фаворит, сын Холостяка и Месидоры, ну, разумеется, все в моем заведении называли его Потэмкин, как было написано. Только я и смог им разъяснить, что говорить надо По-тем-кин, ведь не зря же мы русский учили. И тут я, к случаю, поведал им кое-что про Екатерину Вторую, и ее фаворита, и про потемкинские деревни, так что, как видишь, и история пригодилась.

— А «Броненосец «Потемкин» ты тоже упомянул или забыл?

— Ну как же, дорогой, как же! Ведь это прекрасный фильм! О том, что у русских есть хорошие фильмы, у нас говорить можно.

— Одно из двух,—сказал Роберт,—либо ты стал круглым дураком, либо я.

— Да,—согласился Квази,—надо всегда брать в расчет все возможности. Выпьешь еще кружечку?

— Нет, спасибо! Мне пора. Твоя Эльвира и так уже сердится, что ты сидишь и болтаешь, а работать приходится ей одной. У нее растет пролетарское самосознание, а ты, как предприниматель, не можешь быть в этом заинтересован. Сколько я должен?

— С учетом обслуживания и с чаевыми для Эльвиры — три пятьдесят. Да, а про Хеллу Шмёде ты что-нибудь знаешь?

— Несколько лет назад встретил ее в трамвае, в Берлине. Про тебя она не спрашивала. Выглядит хорошо, можно сказать, даже красивая.

— Н-да,— сказал Квази, глядя на свой живот.— Хорошая была девушка.

— Ну ладно, не распускай нюни,— сказал Роберт и встал.

Квази проводил его до двери, и они постояли минутку в зеленом свете неоновой подковы, висящей над входом.

— Ты подал мне неплохую идею,— сказал Роберт.— Напишу на факультет, чтобы ее пригласили. Наш факультет летом закрывается. Навсегда. Мы устраиваем ему торжественные похороны, и я буду держать надгробную речь. В актовом зале, там, где и ты некогда блистал как оратор. Напишу, чтобы они пригласили Хеллу Шмёде, она ведь тогда здорово о нас заботилась.

— Да, на это возразить нечего. Передай ей привет, ладно?

— От тебя? Почему бы нет? «Вас приветствует господин Рик, хозяин пивной в Гамбурге!» Ей это будет наверняка приятно услышать. Если хочешь, я передам от тебя привет всему собранию. «Дорогие друзья, дорогие товарищи, уважаемые дамы и господа, я счастлив передать вам сердечный привет от одного из выпускников нашего факультета, который в настоящее время держит пивную в Гамбурге, дела у него идут отлично. Вы, возможно, не припомните его, если я назову вам его имя или фамилию, но если я скажу вам, что мы звали его когда-то Квази и что в свое время он с этой самой трибуны, с которой я сейчас обращаюсь к вам, произнес потрясающую, вдохновенную речь по поводу выборов студенческого совета, то вы...»

Он сделал паузу, и Квази сказал:

— Ну, хватит, Исваль, ведь я знаю, какой ты оратор... Заходи как-нибудь, если будешь еще в наших краях.

Пока Роберт, подняв воротник пальто, спускался со ступенек крыльца, Рик негромко проговорил:

— А то, может, лучше тебе и не заходить. И никому не рассказывай, что был у меня, если тебя об этом где-нибудь прямо не спросят. Так будет лучше для нас всех.

Роберт посмотрел на него, но ничего не ответил, он ждал; и тогда Квази Рик сказал, и это прозвучало словно из забытой сказки:

— Ты это понимаешь, Роберт?

Он повернулся и исчез за дверью пивной «Бешеная скачка».

Роберт быстро зашагал под дождем к метро, ругаясь про себя.

Да, ничего не скажешь, много узнал нового! Даже не выяснил, что подают у него в заведении: сардельки или копченую колбасу. Так что же... что можете вы посоветовать, эксперты, знатоки, специалисты, мудрецы, объяснители всего и вся, Соломоны премудрые, что написано по этому поводу в ваших книгах? Могу точно сказать: ничего не написано, ничего вы не знаете, потому что вы не были свидетелями дружбы Рика и Исваля, а значит, чтобы судить, вам не хватает начала.

Спросили бы Трулезанда или Якоба Фильтера, лесоруба по прозвищу Лесник, который стал теперь настоящим лесничим, лесничим с высшим образованием, старшим лесничим, главным лесничим или, вернее, самым главным из всех лесничих, лесничим на той общественной ступени, где уже можно говорить обо всем лесном хозяйстве страны,—они были свидетелями, они знают почти все. Во всяком случае, Трулезанд был при том, как Исваль сыграл роль господа бога, судьбы и исторической необходимости,—как же он мог при этом не быть, если как раз его-то господь бог и послал в Китай, хотя он куда охотнее остался бы изучать философию и решать проблемы причин и взаимосвязей, и теперь уже не только из-за зубного врача.

Рик не забыл этой истории. Он хранит ее как сыворотку против тоски по родине, и на это она вполне годится, хотя и нисколько не касалась его самого. Ведь ему-то никто не сказал: а ну-ка, рюкзак на плечи и отправляйся на семь лет в Китай, ах, да, и еще вот что, сущие пустяки,—женись-ка перед этим, да поскорей, на такой-то, с ней мы уже переговорили...

Впрочем, уточним: не то чтобы это был приказ отправляться прямой дорогой в ад—наоборот, любой бы охотно поехал, и сам Исваль, и Якоб Фильтер, и Квази Рик; да и Трулезанд поехал бы с радостью, правда, не так уж охотно именно с такой-то, а куда охотнее с другой—вернее сказать, только с другой.

Но господь бог не пускался в обсуждения; в своей беспредельной доброте он понимал все, но не мог же он думать только об одном Трулезанде и о такой-то; он должен был не упускать из виду целое, а интересы целого требовали в данном случае не Рика, не Фильтера и не Исваля; они требовали Трулезанда, а также такую-то.

Трулезанд уехал на семь лет в Китай, и с ним вместе уехала такая-то, тоже на семь лет.

А десять лет спустя некий господин Рик, хозяин пивной в Гамбурге, которого это все, казалось бы, нисколько не касается, утверждает, что история Трулезанда и его богоданной жены помогает ему против тоски по родине. «Если ему нечего больше поставить нам в упрек,—подумал Роберт,—тогда дела наши не

так плохи, то есть не мои, конечно, не мои лично, а нашей страны в целом и нашего времени, тогдашнего времени; если у него нет других причин, кроме этой, тогда у него вообще нет никаких причин. Тогда он просто дурак».

Какая-то дурость была в нем всегда, в этом главном организаторе — Квази Рике, странно только, что у него ничего не проваливалось окончательно, вернее, что в конце концов все получалось так, как он задумал, пусть и не совсем по намеченному им плану, пусть и не без того, чтобы на чем-то обжечься. В день произнесения знаменитой речи в актовом зале он, если пользоваться тем же сравнением, и вовсе погорел, но и погоревший победитель все-таки победитель.

Уже сам факт, что Квази и другие делегаты рабоче-крестьянского факультета вообще проникли в актовый зал, можно было назвать победой. Большинство представителей факультетов и членов прежнего студенческого совета высказались против участия этих «приготовишек» в выборах, и Старому Фрицу пришлось проявить все свое ораторское искусство и вести героическую борьбу на ученом совете. Немалую роль при этом сыграли уже всем теперь хорошо известные стихи:

Мы не созрели,
Эту песню пели
Столетьями нам,
Темным, неученым...

А также:

Свет разума и сила знаний —
Да станут всенародным достояньем!

И, наконец, ученый совет порекомендовал студенческому совету принять во внимание указание министерства, которое к чему-то обязывает, во всяком случае, его невозможно игнорировать.

— Эти рабовладельцы,— сказал Квази, когда Ангельхоф в своем педагогическом раже снова перешел однажды от сравнительно сухой латыни к греческому, которому обучал бы гораздо охотнее, и, приведя лабиринтоподобную цитату из Фукидида в оригинале и в переводе, пустился в рассуждения об ораторском искусстве эллинов,— эти рабовладельцы могли себе позволить трепаться сколько влезет. Пока они там с камешками или без камешков ворочали языком да перевертывали песочные часы семьдесят семь раз с головы на ноги, их рабы — илоты, пенесты, клароты и фамиоты — надрывались на сборе оливок. Всякий раз,

когда такой вот изократ доводил свое предложение до конца, он становился на две квази бочки монет богаче. А одного, Ксенофонта, прозвали аттической пчелой, как я слышал. Трутень он был, настоящий зажравшийся трутень, эксплуататор, ребята, и с какой это стати нам брать с него пример? Все имеет классовый характер, ребята, даже манера говорить речи. Вот на суде, видите ли, где дело шло о драхмах, где инвалид жаловался на то, что не получает пенсии, или несовершеннолетний подросток — на своего опекуна, там, видите ли, вдруг раздавалось: «Будь краток!» — там судья указывал на песочные часы, если бедняга, жалуясь на свою беду, произносил слишком много слов, там, видите ли, они спешили сделать из эксплуатируемого «аттическую рыбу», эти кровопийцы! А что делает Ангельхоф? Встанет в позу и жужжит нам все это в уши еще раз, только бы доказать, что предложение «Сегодня жарко» можно сформулировать и по-другому, например так...

И Квази строил, продуманно и изящно, один из тех заумных периодов, которые по своей логической и ритмической структуре не оставляют желать ничего лучшего, но оказываются в конце концов не чем иным, как утверждением того факта, что сегодня здорово жарко. Квази не знал, что посредственные острословы изощрялись в том же духе в школах всех времен, а знал бы, у него быстро пропала бы охота передразнивать, даже в том случае, если б ему сообщили ту истину, что его пародии куда удачнее большинства школьных пародий. Но он этого не знал, и не школярское тщеславие подталкивало его ко все более утонченным словесным фигурам, ко все более полному благозвучию, когда он выходил на турнир с аттическими болтунами и с самим латинистом Ангельхофом.

Тактика предвыборной пропаганды, изобретенная Квази, отличалась удивительной простотой: «Выборы студенческого совета — не что иное, как буржуазный предрассудок, но, поскольку они имеют место, мы обязаны добиться на них успеха. А успеха мы добьемся только в том случае, если убедим избирателей. За нашими противниками было до сих пор большинство, и они захотят его сохранить. Причем задача их проще, чем наша. Они не хотят ничего нового, потому им и не надо говорить что-либо новое. Они рассчитывают с самого начала на полное взаимопонимание с большей частью студентов. Мы наткнемся на полное взаимонепонимание. Это взаимонепонимание основано прежде всего на простом непонимании. Нам надо, чтобы нас поняли. Наша цель ясна, значит, и наша речь должна быть ясной. Ясная цель — ясная речь. Ясная речь — это прежде всего краткая речь. Тем, другим, нет необходимости что-либо сказать, поэтому они

будут говорить длинно. Нам надо много чего сказать, но мы должны выразить это очень кратко. В краткости вся соль, вся политическая соль. Итак, ребята, наш лозунг — краткость да побольше соли!»

— Так нам и говорить? — спросил Трулезанд. — Или как? Ведь не все умеют отпускать такие шуточки!

Но, как выяснилось, он просто не понял Квази. Тот вовсе не собирался ограничивать ораторов РКФ. Он призывал их всего лишь к четкости и деловитости.

— То, что мы скажем, должно быть наглядно и неоспоримо. Поэтому я предлагаю разбить все наши соображения на пункты. Каждый высказывается только по одному пункту. Здесь то преимущество, что многие из наших выступят. А впечатление: на этом факультете люди со сложившимися взглядами. А отсюда недалеко и до вывода: этот факультет должен быть широко представлен в студенческом совете.

Хотя многие поддержали Квази, и в том числе Якоб Фильтер, предложение его не прошло бы, если б за несколько дней до этого он не был избран председателем организации ССНМ факультета и теперь не указал бы на то, что вряд ли сумеет справиться со своими обязанностями, раз первое же его предложение встречает такой отпор.

Вот почему на предвыборном собрании в переполненном актовом зале десять ораторов отняли все вместе у присутствующих всего четырнадцать минут, и эти коротенькие четверть часа оказались самыми веселыми со дня сооружения сего торжественного зала архитектором Андреасом Майером — нет, более веселых минут никогда не видели своими намалеванными глазами славные герцоги фон Поммерн-Вольгаст! А по прошествии этих веселых минут стало совершенно ясно, что новый факультет не имеет никаких шансов на представительство в студенческом совете.

Философы, геологи, историки, агрономы, теологи, медики и физики, химики и биологи, филологи и географы веселились от души, и, хотя в их смехе звучало злорадство, трудно было поставить им это в вину, ибо инсценированное Квази политическое ревю из десяти блицвыступлений было действительно комическим зрелищем.

Каждый его подопечный без вступления и без заключения, кратко излагал собранию один из десяти программных пунктов. Им было велено просить слова, как только начнутся прения, и потому они заняли первые места в списке ораторов, хотя и не в том порядке, в каком шли пункты их программы.

Так, передовик Бланк, оказавшийся первым оратором, заявил

со значительным видом:

— Примеру товарища Хеннеке надо следовать и в университете. Как мы сегодня учимся, так будем завтра жить!

Его возвращение на место длилось дольше, чем его речь. Он был еще в пути, когда в середине зала поднялся какой-то студент и, нарушив громкими хлопками тишину ошарашенного зала, пропищал детским голоском:

— Недурно!

Тем, что расхохотались первыми, было наверняка известно, как он сегодня учится, а остальные могли себе это представить, и все веселились от души.

Следующей должна была выйти на трибуну Роза Пааль. Она раньше других горячо поддержала предложение Квази — говорить кратко было в ее характере. Казалось, она хотела справиться со своим заданием как можно скорее и чуть ли не бегом бежала к трибуне. Но так как ей надо было пройти через весь зал, присутствующие успели выкрикнуть ей вслед замечания вполне аполитичного толка.

Во время своего выступления Роза нимало не заботилась о том, чтобы ее услышали — ни ради восхищенных слушателей, ни ради самой себя, — и потому ни один человек так и не понял, что же она, собственно, сказала. Только когда она уже сошла с трибуны, в зале заметили, что она, как видно, все же что-то сказала, — и тут разразился гром аплодисментов.

Роберт прочел свою фамилию по губам председателя собрания, совершенно растерявшегося преподавателя со впалыми щеками. Подождав, пока в зале установилась относительная тишина, Роберт произнес голосом, исполненным готовности преодолеть любой шум, с гневом, никак не соответствующим теме выступления:

— Студенческий совет, который не защищает интересы культуры, не выполнит своей задачи. Каждый член студенческого совета должен быть также и членом «Культурбунда».

Снова встал остряк и вежливо осведомился:

— А на скрипке он тоже должен играть?

Роберт был так взбешен, что не придумал никакого ответа. За него ответили из зала:

— Нет, только на дудке!

— И бить в литавры!

— Но, прошу заметить, обязательно демократично!

Председатель не нашел ничего лучшего, как попросить собрание не мешать ораторам высказываться. Его заявление вызвало бурный восторг, который достиг своего апогея, когда один студент, добившись наконец слова, с подчеркнутой вежливостью

внес предложение к порядку ведения собрания.

— Надо попросить господ ораторов соблюдать регламент.

Выдумка какого-то старшекурсника окончательно сорвала план Квази — он поднял над головой часы и во время выступления следующих ораторов громко отсчитывал секунды. Якоб Фильтер, Вера, Трулезанд, футболист Тримборн и еще трое несчастных сумели донести до аудитории всего лишь обрывки фраз — весь зал считал хором: шестнадцать... равноправие... семнадцать... женщин... восемнадцать... необходимо... девятнадцать... прогресс... двадцать... все!

Все было кончено. Концепция Квази о новейшем политическом лаконизме привела к десятикратному ораторскому краху и к краху надежд рабоче-крестьянского факультета завоевать себе право на представительство в студенческом совете. Квази молча сидел в третьем ряду между Робертом и Трулезандом. Он не собирался выступать в прениях, так как считал своим долгом осуществлять общее руководство и следить за реакцией зала. Результат выступлений, казалось, ошеломил его. Держа в руке карандаш и бумагу, он уставился в пол. Только когда седой профессор психиатрии, сидевший перед ним, сообщил своей соседке, и отнюдь не шепотом, свое мнение о происходящем, Квази наклонился вперед, чтобы лучше расслышать его слова, а потом написал что-то на клочке бумаги и показал Роберту: «Что такое «аграмматизм» и что такое «дебилы»?»

Роберт развел руками, и, взяв у Квази записку, сложил ее и, написав: «Фрейлейн Хелле Шмёде», бросил медичке, сидевшей в том же ряду по другую сторону прохода.

Председатель собрания уже неоднократно призывал зал к порядку, и теперь наконец наступила тишина. Тогда он назвал следующего оратора, историка — это слово он произнес так, словно речь шла о редком драгоценном камне. По залу пробежал гул одобрения. Историк был, как видно, всем хорошо известен. В смиренной позе выжидал он, пока ему дадут возможность говорить, и начал с легким поклоном:

— Многоуважаемые дамы и господа, дорогие коллеги! Разрешите сделать одно частное замечание: мы вели себя некорректно. Мы — я, разумеется, имею в виду только студентов, — мы слишком поддались веселому настроению и позволили себе шутить над людьми, нуждающимися в нашем доброжелательном отношении, а не в наших насмешках. Молодые люди, которые сейчас обращались к нам со столь странными речами, являются теперь — к этому нам придется еще привыкнуть, — являются, или, во всяком случае, иные из них в один прекрасный день явятся нашими коллегами. Мы не знаем, кто или что усадило их за

школьную парту, как они себя за ней чувствуют и какие сомнения пришлось им преодолеть, прежде чем они решились подняться на трибуну и произнести фразы, едва ли во всех случаях являющиеся плодом их собственного мышления. Я вас спрашиваю, уважаемые дамы и господа, кто бы из вас согласился, стоя здесь, на трибуне, сносить насмешки целого зала, будучи в конечном счете ни в чем не виновным? Я апеллирую к вашему благородству, к чувству сострадания, я прошу вас принять во внимание: не над этими людьми надо смеяться.

Зал вдруг наполнился благородными спортсменами и добродушными дяденьками. Благонравная серьезность разлилась по лицам, и актовый зал превратился в собрание милосердных самаритян. У Роберта возникло желание выкрикнуть что-нибудь неприличное, но, наверно, его все равно никто бы не услышал, ибо сострадательные братья и сестры топали ногами в знак одобрения, заставляя дрожать прославленных герцогов и барочных ангелов.

— Благодарю вас,— продолжал историк,— а теперь мне хотелось бы перейти к тому, ради чего, собственно, мы все здесь собрались, к вопросу о выборах в студенческий совет, которые должны начаться завтра. То, что я собираюсь сказать по этому поводу, я хочу по примеру предыдущих ораторов — да позволено мне будет пошутить — выразить как можно короче: нам следует вновь избрать тех наших коллег, которые до сих пор представляли нас в совете, и заново снабдить их мандатами. Свой экзамен — о да, им пришлось держать трудный экзамен! — они выдержали summa cum laude*, и с нашей стороны было бы непростительной глупостью именно сейчас дать им отставку. Мы должны внести их в список кандидатов per acclamationem **.

— Правильно! — закричали с мест.

— Первое разумное слово!

— Только так!

— Отличная мысль!

Но историк все еще не покидал трибуны. Указав в сторону секретаря, он сказал:

— Теперь это записано в протокол. Но там еще не записано вот что: как быть с местами, которые освободились или вскоре освободятся в связи с тем, что некоторые из членов совета закончили или скоро закончат свое образование? Одним словом, придется провести дополнительные выборы. Кого же мы будем выбирать? Мне кажется, это должны быть люди, подходящие к

---

* С отличием *(лат.)*.

** Без голосования *(лат.)*.

основному составу совета и по убеждениям, и по культуре, и по образованию.

Какой-то студент в потрепанной шинели военнопленного поднялся со своего места и крикнул с наигранным возмущением:

— Но, устанавливая такое ограничение, коллега, вы оставляете за бортом наших друзей с факультета приготовишек!

Оратор на трибуне протестующе поднял руку:

— Не я ограничиваю, не мы ограничиваем! Объективная реальность проводит здесь свою границу. Объективная реальность, дух нашего города и нашей высшей школы. Всему свое время — мы чтим этот принцип. Мы всегда были за прогресс, но за такой, который шагает в ногу с наукой, именно шагает, а не несется бешеным галопом, подымая пыль и не создавая непреходящих ценностей. В этих стенах всегда думали и производили отбор, здесь утверждали и насаждали только то, что выдерживало испытание временем. А многое в течение столетий оставалось здесь незыблемым — таким, каким было прежде. И в самом деле, уважаемые коллеги, так ли уж велика разница между тем, как выглядит наш город сейчас, и тем, как он выглядел семьдесят пять лет назад, согласно описанию известного историка Карла фон Ноордена. Мне хотелось бы привести цитату: «Главная улица густо поросла травой; несмотря на это, цены очень высоки; большинство вещей здесь дороже, и только некоторые, например квартира, если удается ее найти, дешевле, чем в Бонне».

Хохот и топот заполнили зал. Председатель собрания поспешно подошел к трибуне и что-то шепнул оратору. Тот снова поднял руку, прося зал успокоиться, и продолжал:

— Господин коллега осведомился у меня, действительно ли в приведенной цитате говорится о Бонне? Я понимаю его тревогу, она понятна каждому. Могу, к успокоению всех, подтвердить, что я действительно всего лишь процитировал, и ни о каком выпаде с моей стороны не может быть и речи! Но разрешите перейти к характерным чертам нашего города и нашего высокого учреждения — они имеют прямое отношение к сегодняшнему обсуждению. Мужи в этом учреждении, а также и юноши в своем академическом союзе никогда не позволяли так называемой волне времени захлестнуть себя, и как раз этому актовому залу, где мы с вами сейчас находимся, всегда удавалось оставаться неприступным островом, скалой, твердым рифом, о который разбивались все исторические бури и вихри. И если эти стены видели жаркие битвы, то это были научные споры и дискуссии, такие, как, например, тот теологический диспут, на котором присутствовал в тысяча семьсот двенадцатом году Петр Великий. И если дух истории реял в этом зале, то это был дух

примирения. Так, например, первого апреля тысяча восемьсот десятого года Карл Тринадцатый, король шведов, и Наполеон заключили здесь торжественный мир.

— Теперь нам, собственно говоря, следовало бы дружно подняться и выйти,— шепнул Трулезанд,— какое нам дело до всех этих феодальных боссов?

— Погоди,— сказал Роберт,— может, он еще влипнет в историю с какой-нибудь из своих историй.

Тут Квази Рик высказался впервые за весь вечер. Он хмуро пробормотал:

— Типичная аттическая пчела, только вот с... она отравленным медом.

Психиатр, кажется, расслышал неподобающий глагол; он обернулся и внимательно посмотрел на Квази, но Квази не отводил глаз, пока тот не принял прежней позы. На лице профессора было написано, что он разглядел все, что хотел разглядеть.

— Где моя записка?— прошипел Квази, и Роберт кивнул через проход Хелле Шмёде. Она встала и протянула ему сложенную бумажку.

Между тем оратор продолжал:

— Этот город,— заявил он,— и в отношении архитектуры и в отношении традиций выходил почти без всякого для себя ущерба из всех исторических пертурбаций. В 1945 году было найдено немало признательных слов для коменданта города, который благодаря мудрым переговорам с противником избавил нас от самого страшного. Но за радостью было почти забыто одно обстоятельство: действия этого полковника были направлены всего лишь на то, чтобы сдать город. С вашего разрешения сошлюсь на одну историческую параллель: в середине Тридцатилетней войны, в 1626 году, другой комендант города, Антон Твистен, так же как и его последователь, имел задание провести военную операцию против превосходящего его по силам врага. Во главе двухсот вооруженных горожан ему пришлось бы выйти на открытый бой под Трибзесом и Деммином с подступившими шведскими войсками, что, без сомнения, привело бы к позорному поражению. Антон Твистен поступил иначе — он спешно собрал девять тысяч геллеров, и эта сумма подвигнула шведского полковника отступить с юга Померании на восток. Наш городок остался нетронутым.

Наш университет — и на этот раз почти благодаря чуду — остался не затронутым и другим движением — движением, от которого не удалось спастись ни одной высшей школе в Германии. Я говорю о свободолюбивых устремлениях студенческих

корпораций, я подчеркиваю — о свободолюбивых устремлениях. Да, это было положительной чертой развития научного духа, вне всякого сомнения, но это только подтверждает мой тезис: мы всегда держались твердо — независимо от того, какой природы были соблазны, дурной или хорошей. Мы были тверды. До тех пор, пока явление не застывало, не принимало четкой формы. И я подчеркиваю снова: таков дух нашего города и нашего учебного заведения. Это нашло свое подтверждение в обоих случаях с комендантами, что вписано или будет вписано крупными буквами в учебники истории.

О чем все это говорит, дорогие мои дамы и господа? А вот о чем: в наших традициях исключать все чрезмерно новое, не вызревшее. Не случайно в нашем университете революционное движение XIX века выразилось всего лишь в разработке тайного опознавательного знака для членов Общества друзей народа: «Дотронуться безымянным пальцем до переносицы, в ответ на что другой прижимает правую руку к сердцу, после чего оба пожимают друг другу руку, причем каждый трижды постукивает указательным пальцем по пульсу другого». Это город, в котором первый паровой двигатель был изготовлен через шестьдесят один год после его изобретения, да и то не в одной из тех оружейных мастерских, что всегда гонятся за сомнительным прогрессом, а на уксусной фабрике.

У нас ко всякому новшеству подходят с оглядкой. Возможно, кому-нибудь это могло бы дать повод для насмешек, но мы-то знаем: с оглядкой — это значит осторожно, вдумчиво, а слово «вдумчиво» происходит от другого слова, от слова, которое всем нам здесь особенно дорого, от слова «думать»!

В заключение оратор в нескольких кратких энергичных фразах предложил не избирать пока в студенческий совет представителя учебного заведения, «пожалуй, слишком поспешно» названного факультетом, прежде всего для пользы самих же учеников этого заведения: ведь им еще многому надо учиться, и в первую очередь, как показал сегодняшний вечер, искусству свободной речи. Но это уже почти никого не интересовало.

Собрание подходило к концу. Студенты смаковали удачные формулировки историка, лишь немногие были несогласны с мнением столь подкованного оратора и громко спорили со своими соседями, из одного угла хором требовали закончить дискуссию, а председатель собрания, умоляюще сложив руки, старался перекричать всех:

— Уважаемые дамы и господа...

Роберт передал Квази записку, про которую от злости совсем позабыл, и они вместе прочли ответ Хеллы Шмёде: «Дебил» —

значит слегка слабоумный, «аграмматизм» — термин, обозначающий патологическую неспособность к усвоению правил грамматики. Не обращайте внимания!»

Квази, сопя, уставился в затылок профессора психиатрии, и Роберт на всякий случай схватил его за локоть, что, впрочем, не помешало Квази встать и громко крикнуть:

— Я прошу слова!

Председатель собрания был явно обрадован представившейся ему возможностью хоть как-то действовать. Он широким жестом указал на кафедру, и Квази в мгновение ока оказался за ней.

— Ну, держись,— сказал Трулезанд,— сейчас достанется этим чертовым пижонам!

— Да,— сказал Роберт,— выдаст он им кратко и сдобрит, надо думать, солью!

Квази Рик сразу сообразил, что из передних рядов видна лишь верхняя часть его головы, и потому тут же вышел из-за кафедры и встал с ней рядом.

— Студенты, мы собрались здесь с самых разнообразных факультетов,— сказал он,— но все мы участвуем в сражении, исход которого одинаково важен для всех нас, хотя речь идет не о нашей жизни, не о существовании наших бренных тел: речь идет о новом духовном мире, который мы обретем.

Трулезанд уставился на Квази и пробормотал:

— Чего это он мелет?

— Его ужалила аттическая пчела,— отозвался Роберт, и, когда он взглянул на трибуну, ему показалось, будто Квази подмигивает ему в подтверждение.

Квази не оставил своим слушателям времени для обмена мнениями. Подняв руку, он застыл в классической позе оратора, которую перенял у Ангельхофа и пародировал так же часто и точно, как речи эллинских риторов.

— Дадим мы возможность разуму одержать победу,— продолжал он,— надежда наша исполнится, и каждый из нас окажется на своем месте — там, где требует история. Только вам придется, друзья мои,— а все вы в эту минуту мои друзья, все, к кому я обращаюсь,— вам придется сохранять мужество и не поступать так, как обычно поступают лишь самые неопытные: случись им потерпеть неудачу в каком-либо деле, они уже заранее боятся, что все другие их попытки окажутся столь же тщетными. Наоборот, успокойтесь, друзья мои, и те из вас, кто участвовал сегодня в столь трудных битвах, и те, кто сопровождал выступления в этом собрании, как, надо думать, и во многих иных собраниях, негодованием и насмешкой,— все успокойтесь, и давайте задумаемся над тем, как неожиданно складываются

подчас обстоятельства нашей жизни, и попытаемся начать все с самого начала в надежде, что счастье наконец нам улыбнется; а вы, сомневающиеся, предположите по крайней мере, что не навсегда все останется таким, каким было, и попытайтесь, о, столь разные, но все же объединенные присутствием в этом зале, попытайтесь и вы начать все сначала с твердым намерением действовать в духе тех общих изменений, которыми охвачена наша страна.

Если раньше, во время блицвыступлений, громкий счет шутников определял ритм речи оратора, то теперь периоды Квази регулировали дыхание всего зала. Когда после шестой запятой он набирал воздуху в легкие, вслед за ним вздыхала и вся завороженная аудитория, и одновременный вдох шестисот человек создавал своеобразный акустический эффект; а затем поднимался легкий гул, который смолкал лишь после того, как Квази снова начинал говорить.

— Да это же его коронный номер,— пробормотал Трулезанд, и в следующую передышку Роберт ответил:

— Ясно, речь Никиаса к отчаявшимся постигнуть алгебру.

Речь Никиаса из раздела истории Пелопоннесской войны были излюбленной речью Ангельхофа, он часто произносил ее, когда переходил с предписанной латыни на любимый греческий. И Квази очень скоро научился отлично ее копировать и пользоваться ею как заклинанием против отчаяния, которое почти всякий раз охватывало класс после урока математики доктора Шики. Правда, она мало кому помогла избежать провала по математике, но зато сам он находил в ней отдушину для негодования по отношению к Ангельхофу-Кинжалу и к аттическим трутням и дармоедам. Остальные же веселились от души. И главное, его никогда не приходилось упрашивать, надо было просто сказать:

— Ну-ка, Квази, выдай нам этого Ники!

Сейчас Квази «выдавал» самого блестящего «Ники» в своей жизни. Он стоял, подняв голову, с вытянутой вперед рукой и посылал в актовый зал фразу за фразой.

— Я хотел бы еще раз довести до вашего сознания, студенты, что у вас нет ни права, ни возможности противодействовать тому обстоятельству, что мы, другие, новые, тоже, как бы ни противоречило это вашему желанию, носим звание студентов и что мы намерены носить его с честью не только в этом университете, но и во всех других университетах страны. Мы чувствуем в себе достаточно сил и энергии, чтобы провести наше намерение в жизнь. И если вы не хотите, чтобы история, чей светлый лик один из вас только что старался превратить в искаженную

судорогами гримасу, если вы не хотите, чтобы история прошла мимо вас, словно вы камни немые, которых ни о чем не спрашивают, ибо они все равно не могут дать ответа, если вы этого не хотите, то склонитесь перед тем, что неотвратимо несет с собой наше время, и согласитесь сидеть вместе с нами в совете. Вряд ли вам когда-либо представится более подходящий случай проявить свою порядочность и благородство, чем во время сегодняшней нашей встречи, которой надлежит решить нашу общую дальнейшую судьбу, а потому обдумайте все вместе и каждый в отдельности, когда будете отдавать свои голоса, тот факт, что вы представляете в совете не только факультеты и те или иные науки, но и весь город и славное имя нашего университета. Тот, кто хоть немного превосходит других по знаниям и умственному развитию, никогда не найдет более удачного случая проявить эти свои качества на пользу самому себе и на благо укрепления нового порядка.

Сначала весь зал вслед за оратором дружно вздохнул, и только потом разразилась буря. Что за буря, в первую минуту понять было довольно трудно, но в том, что она носит благоприятный характер и для самого Квази и для его факультета, ошибиться было уже невозможно. А Квази, сев на свое место, громко сказал психиатру, который обернулся к нему всем корпусом, но смотрел на него так, словно не замечал его присутствия:

— Это к вопросу об аграмматизме.

По предложению историка Квази Рик был внесен в список кандидатов в студенческий совет «ввиду,— как выразился тот,— проявленного дара и говорить и мыслить, а также неоспоримого чувства студенческого юмора». Жужжание аттической пчелы дало и еще кое-какие результаты: на многих лицах в зале глубочайшее смятение сменилось полным восхищением; Трулезанд сформулировал свой безграничный восторг всего в трех словах: «Ну и парень!»; Роберт испытал столь же безграничную зависть; кто-то из девушек мягко коснулся рукой плеча оратора; профессор психиатрии предложил ему «заглянуть как-нибудь побеседовать», а доцент Ангельхоф сделал заявление, что, ни секунды не колеблясь, поставил бы сейчас студенту Рику пятерку honoris causa*; секретарь же райкома Хайдук, сидевший все это время в качестве незваного гостя на галерее, крикнул ему:

— Ну что, amigo, язык-то небось горит?

На самого Рика великая речь Квази-Никиаса почти не произвела впечатления.

---

* *Здесь:* по заслугам *(лат.).*

— Никак не возьму в толк,— не унимался он,— почему наши десять ведущих пунктов не оказали должного воздействия. Придется нам обсудить все это более серьезно. Кратчайшая линия между двумя точками, безусловно, прямая, так вот квази спрашивается: разве с людьми по-другому?

Обсуждение этого вопроса так и не состоялось, но весьма сомнительно, что его исход предотвратил бы нынешнее положение вещей: то, что Карл Гейнц Рик торгует пивом в «Бешеной скачке».

Зато несомненно другое: пивом он торгует, и несомненно, что это большая беда.

Герман Грипер, умудренный жизнью шурин, лежал на своем диване, пьяный в стельку и настроенный философически.

— Я все продумал,— сказал он,— и пришел к убеждению: ты шпион. Можешь не признаваться — ведь если бы ты признался, то только для того, чтобы я решил, что это не так, а значит, тем самым ты доказал бы, что это так. И можешь не отнекиваться, потому что если ты станешь отнекиваться, то только для того, чтобы я подумал, что на самом-то деле ты признаешься, и опять все получилось бы так, как я сейчас говорил, когда объяснял, что было бы, если бы ты признался. Значит, нам, людям понимающим, о таких вещах и говорить нечего. Да и вообще все, кто приезжает оттуда сюда, а потом уезжает обратно,— все шпионы. А кроме тех, что уезжают обратно, есть еще такие, которые остаются. И вообще все газетчики — шпионы, это мне один из вашей братии говорил, ему я дал как-то раз кое-какие практические советы. А еще тут заходил полицейский, очень тобой интересовался.

— Когда?— спросил Роберт.

— Ага,— сказал Герман Грипер,— теперь я точно знаю, что ты шпион. Почему? Могу дать объяснение. Потому что ты не выказываешь испуга. Так тебя вышколили — не выказывать испуга. А вообще-то ты ждал, что о тебе будут справляться. Так тебя, стало быть, вышколили, тебе известно, что тебя может здесь ожидать. Полицейский явился сегодня после обеда. Лида ничего не знает.

«Хорошо,— подумал Роберт,— значит, это не Квази его послал. Да и как бы он мог, я ведь не сказал ему, где живу. А может, сказал?»

— Совсем молодой. Очень приветливый. Заявил, что это обычная формальность. Ну, я, конечно, про себя посмеялся! Думал меня успокоить — обычная формальность, говорит. Вот

когда ты напишешь мои мемуары, мы ему пошлем один экземпляр. Пусть-ка посмотрит, как часто мне приходилось слышать за тридцать лет — а ведь я все эти годы был преступником, только ни одного дня не сидел, — как часто мне приходилось слышать эти словечки: формальность, обычная формальность. Да я и сам как-то раз был шпионом. Или чем-то в этом роде. Борцом Сопротивления.

— Кем?

— Вот видишь, ты насторожился! Ясно, что ты шпион. Тебя вышколили присматриваться к тем, кто раньше был борцами Сопротивления. Вы их собираете для своей пятой колонны. Но я не гожусь в колонну. Я против колонн, я индивидуальный борец. Если бы я не был так антивоенно настроен, меня можно было бы использовать в качестве экипажа подводной лодки-малютки. Но это для меня слишком уж военизированно, да и потом, я не переношу моря... А вообще-то я был борцом Сопротивления.

— О господи, — сказала Лида, которая вошла в комнату с вечерней выручкой, — сейчас опять начнется про цыган. Да перестань ты, все равно Роберт не станет над этим смеяться.

— Ну и пусть не смеется, — сказал Герман Грипер, — главное, чтобы он уже заранее знал, еще до написания моих мемуаров, как многогранна была моя жизнь.

— Он об этом и так догадывается.

— Одно дело догадываться, другое — знать наверняка. Как журналист, ты должен придерживаться фактов, и как тот, другой, — тоже. Ты понимаешь, Роберт, что я имею в виду. Начинается на ту же букву, что шпинат, шпоры, шпроты и так далее.

— Шпагоглотатель, — подсказала Лида.

— Кто шпагоглотатель — он, что ли?

— Да нет, я не говорю, что он шпагоглотатель, я говорю только, что шпагоглотатель начинается на ту же букву, что и шпинат, шпоры, шпроты.

— Ладно, — согласился Герман Грипер, — шпагоглотатель сгодится. Это похвально, что ты следишь за ходом мысли своего мужа. Это хорошо, когда жена старается думать так, как думает ее муж. Жена ведь — это человек не думающий, так пусть хоть будет другом думающего человека...

Роберт попытался вернуть его к прежней теме.

— Так ты, значит, был борцом Сопротивления, — сказал он.

— Правильно, был. Заметна твоя выучка, ты не упускаешь из виду существенного. Сразу можно отличить журналиста и так далее. Я вел ожесточенную борьбу против фашистского режима. Разумеется, не огнем и мечом, потому как это не соответствует

моему темпераменту, но боролся упорно, ожесточенно.

— Он нелегально переправил цыган,— сказала Лида.

Герман Грипер запротестовал против такого определения:

— «Нелегально» — неподходящее слово, криминальное. А на самом деле это был акт сопротивления — я дал цыганам возможность эвакуироваться из страны.

— Дал возможность! — сказала Лида.— Цыган было двенадцать человек, и четверо из них погибли от жажды в трубе парохода, зато вот лошади, которых они у тебя оставили, те не погибли от жажды.

— Не болтай о том, в чем ничего не смыслишь, не бабьего ума это дело. Я не виноват, что этот паршивый стюард не принес им воды. И я сто раз тебе говорил, что они не просто сидели в трубе, а так замаскировались. Да и вообще, должен же был кто-нибудь позаботиться об их лошадях, а то бы они издохли или достались фашистским властям. А я это предотвратил, продав лошадей. Я часто спрашиваю себя, Роберт, почему я не заявил потом официально о своей борьбе, но всегда решаю — да что я, хвастун какой, что ли? Да и вообще мне бы тогда пришлось заявлять о многом таком, о чем уже сейчас и не вспомнишь. Например, как я оказывал сопротивление с помощью талонов на табак — тут, знаешь, риск был немалый.

— Сопротивление с помощью талонов на табак,— усмехнулась Лида.

— Да, сопротивление с помощью талонов на табак, смейся, смейся, им-то, фашистским властям, не пришлось смеяться. Они бы знаешь как дрожали, если бы про меня пронюхали. Но я этого не допустил, работал конспиративно. Роберт, как журналист и так далее, понимает, о чем я говорю.

— Все понятно,— сказал Роберт,— кроме одного: как ты это делал при помощи талонов на табак.

— А я подрывал им их экономическую политику. Талоны эти были просто блеф, как ты сам понимаешь. Подделка, да еще плохая, настоящая халтура. Изготовлял их, видно, какой-то заправский халтурщик, а мне один тип продал целый чемодан по дешевке. Он-то, осел, думал, что я сам пойду табак по ним покупать. Тебе, Роберт, с твоей выучкой не приходится объяснять, что этого я делать не стал. Да и вряд ли бы что-нибудь вышло. Я придумал кое-что получше. Я разыскал человека в ведомстве экономики, который гасил талоны, поступавшие от различных торговцев. Настоящие талоны, понимаешь? Сперва я продаю ему первоклассный габардин, конечно, с черного рынка, вернее, не сам материал, а ордер. Так вот, он, как этот материал купил, стал с большим сочувствием относиться к моей борьбе, к

Сопротивлению. Дал мне за чемодан, полный фальшивок, столько же настоящих талонов на табак. А фальшивки погасил — большим круглым штемпелем поставил штамп «недействительно». И они стали тогда дважды недействительны — из-за штампа и как фальшивки. Но это уже нельзя было разглядеть — под штампом, да и кто станет присматриваться к талонам, на которых стоит жирная несмываемая печать «недействительно». Ну а с настоящими талонами я уж знал, что делать — стал подрывать их экономику.

— Неизвестно, сколько бы еще продлилась война, если б не ты,— сказал Роберт.

Герман Грипер, как видно, еще никогда не задумывался над этим вопросом: он откинулся назад, на подушки дивана и, судя по всему, решил обдумать его досконально. Но вскоре задремал. Лида с трудом растолкала его, когда собралась домой.

— Я уезжаю завтра,— сказал Роберт.

— Так скоро?— спросила Лида, а ее муж пробормотал:

— Конечно, так скоро, задание выполнено, все бомбы подложены, послезавтра ратуша взлетит на воздух. Прекрасная ратуша! Вы что, не слышите, как тикает бомба? Тик-так...

— Да,— сказала Лида,— мы слышим. Твои часы тикают так громко, что в голове отдает.

— Значит, я мультимиллионер,— пробормотал Герман Грипер.— Ну-ка, кто больше даст, раз, два...

— Караул,— сказала Лида,— надо скорее уходить, а то он сейчас примется рассказывать, что вытворял на разных аукционах.

Роберт запер за ними дверь и вернулся в комнату. Под окном стояла Лида и стучала в стекло. Роберт растворил окно.

Лида указала ему на Германа Грипера — тот, не двигаясь с места, стоял посреди тротуара и глядел вверх, в светлое небо над Санкт-Паули.

— Теперь он ведет беседу с господом богом. Это он всегда, когда хлебнет лишнего. Хотелось бы знать, что они там обсуждают.— Она немного помолчала, потом добавила: — Ты расскажешь о нем своей жене?

— Не думаю. А что?

— Да так, мне бы не очень хотелось.

— Почему? Ты ведь с ней не знакома.

— Может быть, как раз поэтому. Сама не знаю. Спокойной ночи! Пошли, Герман Грипер, здесь ветрено.

Роберт задержался у открытого окна. Спертый воздух выбивался из комнаты клубами, а влажный, свежий врывался в окно.

Последнее время он почти не вспоминал о своей сестре, но

теперь знал, что она несчастна, во всяком случае не счастлива. Да и как может быть она счастлива здесь, на этом золотом дне, одна, с вечно пьяным авантюристом. Золотое дно, а вернее, волчья яма или, скорее, львиный ров, настоящий львиный ров, хотя львы пожирают тут сардельки и пьют «Винтерхудер пилс»*, впрочем, лучше уж не пускаться в такие сравнения и не рисовать себе подобные картины, ибо в книге пророков сказано, что бог послал в тот ров к Даниилу своего ангела и ангел этот держал львам пасти — ангел был, как видно, индийского образца, многорукий, потому что львов-то ведь там собралось великое множество,— ну а здесь что было бы, если бы ангел вздумал держать львам пасти, не давая жрать и выпивать, каково пришлось бы хозяину заведения, что сталось бы с выручкой и как чувствовала бы себя при этом жена хозяина, которая только и мечтает о том, чтобы выбраться из рва, вскарабкавшись по лестнице из купюр — другого пути она не знает.

Быть может, лестница эта в один прекрасный день и подымется до краев рва, и Лида выйдет на свет. Но она пойдет по земле не так, как Даниил, не легко и победно, потому что провела в этом рву не одну ночь, как он, и потому, что львы пожирали все это долгое время не только колбасу с новым названием, но и сердце хозяйки — по кусочку каждую ночь.

— Дело дрянь,— сказал Роберт.

Вечерний берлинский поезд был почти пуст. Если бы и дальше никто не подсел, можно было бы снять ботинки и вздремнуть часок — сон на продавленном диване в «Остром углу» был неглубоким и слишком уж кратковременным.

А то можно было бы и пободрствовать, почитать Раймонда Чандлера: «У нее было как-то очень много лица и подбородка. Волосы цвета глины с ломкими завитками перманента, крупный нос, похожий на клюв, и большие влажные глаза, напоминающие мокрые камни. Шея была обрамлена кружевами, но ей куда больше подошел бы футбольный свитер...»

Существовала и еще одна возможность. До того, как решение будет принято, кто-нибудь мог спросить, не найдется ли в этом купе свободного местечка.

Это было вполне вероятно. Однако человек, приоткрывший дверь купе, спросил вовсе не так, он спросил как-то по-иному:

— Прошу прощенья, нет ли в вашем купе вакантного сиденьица?

---

* Сорт пива.

Еще один оригинал! Неужели в этих чертовых поездах только и ездят что оригиналы и всех их несет прямо на Роберта Исваля?

— Кроме моего, все для вас,— сказал Роберт.

Человек обернулся и крикнул:

— Носильщик, попрошу, пожалуйста, сюда!

У него было совсем немного лица и еще меньше подбородка. На голове было примерно столько же волос, сколько попадается спаржи в консервной банке, на которой написано «Овощная солянка со спаржей». Как-то раз ему, видно, сказали, что у него красивые глаза, и теперь он глядел так, словно ему твердили об этом на каждом шагу. На нем был твидовый костюм, плечи которого представляли собой одну сплошную ложь.

«Ладно, ладно, мистер Чандлер,— проворчал про себя Роберт,— кончайте, давайте уж я буду выражать свои мысли сам, а ну-ка!»

Человек в твидовом костюме вошел в купе. В руке он нес чемоданчик белой кожи, под мышкой что-то вроде коробки для шляпы, носильщик, появившийся вслед за ним, внес еще два чемодана белой кожи. Он положил их на верхнюю полку, а когда появился снова, то внес еще два чемодана белой кожи. Потом он снова скрылся и, когда вернулся, то внес в купе еще два чемодана — два чемодана белой кожи. Роберт, потеряв дар речи, смотрел, как купе наполняется белыми чемоданами. Прижав к себе детективный роман, он произнес про себя молитву: «Помогите, мистер Чандлер, прошу вас, позабудьте, что я сказал, и не уходите. Этот тип наверняка из какой-нибудь вашей превосходной книги, и я не знаю никого, кто бы справился с этим парнем так, как делаете это вы, мистер Чандлер!»

Человек в твидовом костюме сел в угловое кресло напротив Роберта, вытащил из жилетного кармана маленький ключик и сунул его в замочную скважину шляпной коробки. Но, еще не успев открыть крышку, вдруг вытянул вперед голову и спросил, так широко раскрыв глаза, словно речь шла об извержении Этны:

— Как вы думаете, в Берлине можно будет найти носильщика?

— Да, конечно,— ответил Роберт.

— О, это было бы хорошо,— сказал его спутник и обвел своими красивыми глазами все свое белокожее богатство.

Затем он открыл коробку и вынул из нее черную кошку, которая с мяуканьем устроилась у него на коленях.

Роберт Исваль крикнул про себя: «Мистер Чандлер, мистер Чандлер, начинается!»

И он услышал, как мистер Чандлер ответил: «Будь я на

вашем месте, я бы сейчас сказал этому типу: «На вашем месте, любезный, я бы убрался из этого купе. Так было бы лучше для вас, мистер, и для вашего мяукающего ублюдка, а также для этих шести мерзких белых чемоданов. Я, черт возьми, Роберт Исваль и знаю, что говорю».

Кошатник дернул молнию на маленьком карманчике, приклеенном к коробке, и вынул из него свернутый в клубок длинный ремешок. Он тоже был кожаный, только красный, точно такого же цвета, как ошейник, надетый на кошку.

— Знаете,— сообщил он,— без носильщика — ну просто хоть плачь.

— Могу себе представить,— посочувствовал Роберт.

Человек с кошкой поежился.

— Как-то раз приехал я на гастроли в Рим, а там забастовали носильщики. Ну и пришлось мне изрядненько постоять — влип, что называется. Господи, что там творилось! Думал, совсем пропаду. На вокзале так и шныряли разные типы, готовые на все, лишь бы заработать несколько шиллингов, там ведь нищий на нищем. Но их я не подпустил к моим чемоданчикам, очень уж они были грязные. Не подумайте, что я какой-нибудь чистоплюй, но я люблю, чтобы мои чемоданчики были чистые. Наконец я все же подыскал одного носильщика, который срывал забастовку: этот был пожилой и вполне распрожженный...

Роберт перебил его:

— Простите, какой, вы сказали?

Кошатник постукал себя по лбу длинным пальцем.

— Тысяча извинений. Опять эти выражения, не внушающие уважения! О, как чудовищно невежливо с моей стороны! А все оттого, что целый сезон играешь Нестроя. На редкость заразительный автор. Еще раз прошу прощения.

Он опустил веки своих прекрасных глаз и разыграл роскошную пантомиму пристыженности и смущения. Закончив ее классическим «ну все, забудем это, жизнь продолжается», он решительно вскинул свою маленькую головку и перешел к практическим действиям — принялся прикреплять кошачий ремешок красной кожи к кошачьему ошейнику красной кожи.

Животное с той минуты, как его выпустили из коробки, спокойно лежало на твидовых коленях своего повелителя. Оно шевельнулось только в тот момент, когда щелкнул крохотный карабинный крючок, и тут же сделало прыжок колоссальной длины прямо на чемодан Роберта, лежавший в багажной сетке над верхней полкой. Кошатник, казалось, был к этому вполне подготовлен. Поводок скользил у него между пальцами, словно леска с катушки. Теперь он держал его за самый кончик и,

потянув на себя, нежно позвал:

— Ну-ка, слезай сейчас же, Геракл!

Геракл мяукнул и улегся спать на чемодане.

Когда в купе вошел служащий пограничной охраны, он увидел двух пассажиров, молча наблюдающих друг за другом, один из них держал в руке поводок, протянувшийся наискось через все купе к чемодану в багажной сетке над головой другого.

Постояв некоторое время в раздумье, пограничник решил действовать так, словно не увидел ничего необычного. Он поздоровался с пассажирами и попросил их предъявить билеты и документы. Кошатник поспешно вытащил паспорт из своих твидовых глубин и спросил с широко раскрытыми глазами:

— Как вы считаете, господин пограничник, в Берлине есть носильщики?

Чиновник посмотрел на него, потом на его паспорт, потом на красный поводок, потом на Роберта. Множество вопросов было в его взгляде.

— Господин тревожится,— пояснил Роберт,— удастся ли ему найти в Берлине носильщика.

— В каком Берлине — Западном или Восточном?

— Очевидно, в Западном,— ответил Роберт, и кошатник кивнул.

— Я, правда, там еще не был,— сказал пограничник,— но думаю, носильщик наверняка найдется.

Пассажир с кошачьим поводком окинул прекрасным взглядом прекрасных глаз свои чемоданы, как он уже и прежде делал, и сказал то, что уже и прежде говорил:

— Да, это было бы хорошо!

Пограничник прокашлялся.

— Подъезжаем к Бюхену. Поторапливайтесь. Это ваши чемоданы?

Владелец чемоданов подарил его хорошо отработанным взглядом, выражавшим: «Да скоро ли все это кончится?» — и пронзительным голосом произнес:

— О, разумеется, это мои чемоданчики. А что вы, собственно, хотите этим сказать?!

Пограничник еще раз обвел взглядом чемоданы, кошатника, паспорт, кошачий поводок, потом взял разрешение Роберта, выписал из него даты и ушел.

Человек в твидовом костюме послал Роберту прекрасный взгляд прекрасных глаз, означавший «ах, я всегда веду себя так глупо», поднял вверх тонкую руку с длинными пальцами, держащую кошачий поводок, и вздохнул:

— Нестрой!

Роберт улыбнулся и поглядел вверх — на кошку.

— Она там и останется?

— Ах, что знаю я об этом животном,— сказал владелец кошки.— Мы путешествуем вместе по Европе, но я никогда так и не узнаю его до конца.

— А теперь вы едете на гастроли в Западный Берлин?

— Ненадолго. Но к выражению «Западный Берлин» я никак не могу привыкнуть. Я сразу представляю себе, как бы это звучало. «Я играю в Западной Вене», или «Я гастролирую в Восточном Копенгагене», или «Я ангажирован в Северной Праге»! Звучит весьма странно, не правда ли?

— Это и в самом деле странно,— сказал Роберт.

Контроль в Шванхайде прошел их купе без новых гала-выступлений исполнителя Нестроя. Разумеется, он использовал и этот случай, чтобы спросить, можно ли найти в Берлине носильщика, скромно заметил, что это было бы хорошо, и обратил взгляд своих больших прекрасных глаз к окну.

Роберт сделал вид, что спит, и время от времени он в самом деле ненадолго засыпал. Поезд много раз останавливался в открытом поле; снег, как видно, был не предусмотрен в расписании, и они прибыли на станцию «Зоологический сад» с опозданием на два часа.

Еще горели фонари, и, кроме дежурного, не было видно ни одного человека в форме.

— Я не вижу ни одного носильщика,— провозгласил исполнитель Нестроя.

Пока он упаковывал Геракла в шляпную коробку белой кожи, Роберт вынес на перрон шесть чемоданов белой кожи. В приступе веселья он поставил их в кружок, и, когда поезд тронулся, в центре этого кружка все еще стоял путешествующий актер с Гераклом в коробке для шляп. На пустом и темном перроне звучал его жалобный голос:

— Носильщик! Носильщик!

Но никто его не слышал и никто на него не смотрел.

Вера крепко спала, но уверяла, что все время — «до этой минуты!» — лежала с открытыми глазами и ждала его.

— Так и надо,— сказал Роберт,— жена должна бодрствовать неусыпно.

— Вот как?

Роберт на цыпочках подошел к постели сына и шепнул ему на ухо: «Здравствуй, малыш!» Мальчик повернулся на спину и пробормотал во сне:

— В нашем кооперативе он тоже есть...

— Не смейся так громко, разбудишь,— строго сказала Вера,— иди-ка лучше сюда и расскажи мне что-нибудь про капитализм. Есть хочешь?

— Я только что с Запада, дитя мое, как же я могу быть голодным?

— Тогда ложись спать.

— Сейчас,— ответил Роберт.— Только сначала мне надо кое от чего отделаться, а то еще, пожалуй, приснится... Я был в пивнушке Квази Рика.

— В пивнушке?— изумилась Вера.— Ведь он никогда не пил...

— У него своя пивная, и теперь он пьет.

— А зачем ты вообще пошел к этому типу?

— Хотел посмотреть на этого типа.

— Ну и какой он?

— Не знаю.

— Ладно, ты мне все это утром расскажешь. Завтра расскажешь все подробно, а сегодня я целый день оперировала. Двое мальчишек, совсем маленьких, пули от пневматического ружья... прямо в глаз... Почему не запретят эти чертовы ружья?!

— В Женеве об этом еще не договорились.

— Ну, знаешь, если ждать, пока они договорятся...— Она вдруг приподнялась на постели и спросила:— Он что, правда теперь пьет?

— Ну, сколько он там пьет, я не знаю, но как-то трудно себе представить хозяина пивнушки борцом за трезвость. Это примерно как если бы ты раздавала на улицах мальчишкам пневматические ружья.

— Неудачное сравнение,— сказала она.— Я прекрасно помню, как он тогда расчихвостил вас с Трулезандом, когда вы напились, войдя в контакт с базисом.

— Ты всегда помнишь не то, что нужно.

— Ох, и разозлилась я тогда на вас! Вы, может, и не так выглядели, даже наверняка не так, но все равно вы запомнились мне как двое бродяг: небритые, глаза заплывшие, с носа свисает капля, чуть ли не слюни текут, вид совсем кислый.

— Это оттого, что мы и сами казались себе такими после всех ваших обвинительных речей. Но побрились мы наверняка.

— А уж Исваль-то до того был жалок и смешон. «Да, дорогие друзья, признаем, оплошали, но это никогда не повторится, право, никогда не повторится...»

— В жизни своей так не скулил.

— Скулил, визжал, стоял на задних лапках. О, как это было прекрасно! Исваль на коленях! Высокомерный Исваль!

— На коленях? Может, еще в рубище и посыпал главу пеплом? Высокомерный? И что это вы все вдруг заговорили о высокомерии?

— Кто это — все?

— Квази, он тоже что-то молол о высокомерии.

— Правда? Во всяком случае, от твоего высокомерия и следа не осталось, когда вы явились с базиса пьяные в стельку.

— Да ведь это был пивоваренный завод.

— А что, пивоваренный завод, по-твоему, не базис? Собирались наладить контакт, а сами напились до бесчувствия.

— И все-то ты путаешь. Нас туда послали, потому что они не пустили нашу делегацию на вечер, организованный профсоюзом.

— Ну да, а назад вы приползли на бровях.

— Так ведь мы никогда в жизни не пробовали крепкого мартовского пива, его только на экспорт тогда варили и для репараций. Мы пили только жидкое! Если бы нас таким угостили, наверняка бы ничего не случилось.

— Да-да, Трулезанд нам тогда это тоже доказывал. Прекрасно помню, как он пытался свалить с больной головы на здоровую и упрекал нас, что это мы плохо вас подготовили к боевому заданию. Помнишь, он говорил, что надо было заранее приучать вас к более крепкому пиву? Как сейчас вижу — ерошит свои кудри и разглагольствует: «Почему это мы не должны были пробовать пива? У вас какое-то не совсем правильное отношение к пиву. Взгляните на пиво диалектически. Или абстрактно. Если смотреть на пиво абстрактно, то пиво — это не пиво, а продукт, а пивзавод — не пивзавод, а народное предприятие. Мы получили задание выяснить, почему товарищи с предприятия не пропустили нашу делегацию. Но ведь мы не из прокуратуры. Должны мы были поинтересоваться производством, прежде чем перейти к основному вопросу? Как там, мол, у вас обстоит дело с хмелем и все такое прочее... Вот, например, ты приходишь на фабрику детских колясок. Нельзя же интересоваться только формой этих самых колясок и как там их собирают, а о том, что кладут в эти коляски, вообще не иметь никакого представления. Как же тогда с проблемой формы и содержания? Тут может возникнуть неясность. А там, где мы были, формой был пивзавод, а содержанием — пиво. Нам пришлось изучить обе стороны явления, а содержание, то есть в данном случае пиво, с точки зрения диалектики опять же имеет свою форму и свое содержание. Вот об этом-то мы и позабыли, тут уж надо нам быть самокритичными, Исвалю и мне. В этом смысле ваша критика справедлива. Мы упустили из виду тот момент, что пиво пиву рознь: есть пиво темное, а есть светлое. Есть пиво частного сектора, а есть

пиво — народная собственность. Есть пиво слабое, а есть и крепкое. Но ведь все это мы не могли предугадать. И никто из товарищей, критикующих нас сейчас, не предупредил нас об этом. Или, может, кто-нибудь из присутствующих станет утверждать, что он нас предупреждал? В таком случае мне хотелось бы задать ему один вопрос: а почему бы, собственно, нам не выпить?»

— Да,— сказал Роберт,— мы, конечно, были хороши, и Квази вынес нам выговор за несознательное поведение. Правда, я не уверен, что на нашем месте он вел бы себя иначе. Впрочем, возможно, он организовал бы при пивзаводе общество трезвости или кружок по изучению вредных последствий злоупотребления алкоголем. Но что касается самого происшествия на Первое мая, то, думаю, он повел бы себя не лучше. Председатель завкома пивзавода так и не дал нам никакого ответа, он только все приговаривал: «Правильно! Молодцы, ребята! А ну-ка еще по одной!» Как видно, добрый был разбойник!

— Как видно, хорошие были времена,— в тон ему заметила Вера и, помолчав, сонно пробормотала: — Ах, прекрасное прошлое!

Роберт обнял ее и сказал:

— Ах, прекрасное настоящее!

На другое утро прекрасное настоящее оказалось уже не таким прекрасным. Во-первых, из-за письма от Мейбаума. Директор писал, что его радует согласие Роберта, что трудно было бы найти более значительный повод для его выступления и что он далек от мысли давать Роберту какие-либо указания. Ему совершенно ясно, что дело теперь в надежных руках и никаких разъяснений не требуется. И все же он позволит себе несколько замечаний, которые Роберт, разумеется, может и не принимать во внимание. Если же сочтет, что они послужат на пользу общему делу, пусть воспользуется ими в той мере и в той форме, в какой пожелает.

Однако «замечания» Мейбаума вряд ли могли послужить на пользу общему делу: это был хорошо известный Роберту текст из ежегодного справочника для поступающих в университет — перечисление заслуг и достоинств факультета рабочей молодежи. Мейбаум даже не дал себе труда заменить казенный язык справочника своим собственным, однако в письме просил Роберта сделать это. Ему хотелось бы, писал он, только наметить определенные вехи, разумеется не обязательные; индивидуальную окраску и личные воспоминания Роберт, разумеется, добавит

сам — в этом никто на факультете не сомневается.

Ах, да, еще одна мелочь: не будет ли Роберт так любезен прислать не позже чем за месяц-полтора до торжественного события один-два экземпляра речи в письменной форме в деканат факультета. Речь идет, боже упаси, совсем не о том, чтобы кто-либо вносил в нее какие-либо поправки и вообще подвергал ее какой-то цензуре, речь идет просто о координации действий; хотелось бы, чтобы ораторы не говорили одно и то же.

«Свое предложение, дорогой Мейбаум,— подумал Роберт,— можешь спокойно спрятать в карман. Координируй, координируй, только, чур, не меня. Если мы, дорогой мой, пойдем по этой дорожке, хлопот не оберешься, это уж наверняка, потому что, боюсь, твоя система координации не выдержит моей индивидуальной окраски и личных воспоминаний, и тогда-то и начнется знакомый спектакль: а не мог бы ты вот тут сказать чуть-чуть по-другому? Обязательно ли сейчас говорить именно об этом? Здесь можно было бы, пожалуй, обобщить, не вдаваться в подробности?.. А не правильнее ли было бы вместо этого... Не правильнее ли, не лучше ли, не уместнее ли?.. И опять, не правильнее ли?..

Нет, в эту игру мы играть не будем, Мейбаум. Одно из двух: или тебе нужна речь Исваля, или она тебе не нужна, только так. А речи Мейваля или Исбаума тебе от меня не получить!»

Роберт с раздражением и в то же время не без усмешки заметил, что начинает волноваться, и мысленно задал себе вопрос: стоит ли того все это дело? И сразу же снова задал вопрос: да разве дело во «всем этом деле»?

Чересчур уж ты стал впечатлительным, Роберт Исваль, слишком часто ты взрываешься в последнее время. Как известно, это вредит здоровью. Будь я на твоем месте, Роберт Исваль, я тут же взял бы себя в руки.

Злиться из-за Мейбаума — только этого еще не хватало. Мейбаум просто смешон, таким он был всегда, и не ты ли первый отпускал шуточки по его адресу?

Он всегда был бюрократом, таким и остался. Впрочем, справедливости ради следует уточнить: он всегда был бюрократом нового типа.

Это Мейбаум сам о себе сказал. Когда кто-то на него накричал, взорвавшись от его предписаний и придирок, он стукнул кулаком по столу и выпалил: «Да, товарищ, я бюрократ, согласен, но заметь — бюрократ нового типа!»

Мейбаум всегда был на высоте. Уже его первое появление на факультете было — сплошной блеск. Он был назначен директором общежития, и разговоры о нем начались еще тогда, когда никто

его и в глаза не видел,— на одном из бесконечных организационных собраний. На этом собрании хотели основать факультетскую группу «Культурбунда». Необходимость создания такой группы давно назрела и никем, собственно, не оспаривалась, и только при выборе руководства дело застопорилось. Выяснилось, что уже создан целый ряд общественных организаций и теперь руководящих кадров не хватает. Но в конце концов состав бюро кое-как наскребли, не хватало только председателя.

И тут Старый Фриц подал идею. Он предложил избрать на этот пост человека, как он выразился, специально для него созданного. Опытного педагога, вполне образованного, культурного и энергичного товарища, который не даст реакции убаюкать себя песенкой, что мы, мол, еще не созрели, темные, неученые,— человека, на знамени которого написано, что свет разума и сила знаний должны стать всенародным достоянием. Оказалось, этот прирожденный председатель «Культурбунда» — не кто иной, как новый директор общежития товарищ Мейбаум, который должен завтра приступить к своим обязанностям.

Предложение Старого Фрица было принято единогласно. Представители местного отделения «Культурбунда» тоже удовлетворенно кивали, только один из них, видимо, был с чем-то не согласен.

Он сидел рядом с председателем местного отделения, знаменитым любителем и знатоком птиц, и что-то взволнованно шептал ему на ухо. Но, по-видимому, ему никак не удавалось того убедить: в конце концов он попросил слова. Это был худощавый человек без правого уха — очевидно, поэтому вместо очков на носу у него красовалось пенсне.

— Дорогие друзья, товарищи по «Культурбунду»,— сказал он,— против вашего предложения возразить довольно трудно, и для члена «Культурбунда» товарища Мейбаума оно, безусловно, должно быть лестным. Могу со своей стороны, опираясь на собственный опыт, подчеркнуть, что все сказанное коллегой Вёльшовом о коллеге Мейбауме, о его убеждениях и образовании — все это верно и сомневаться в этом не приходится. Хочу оговорить, что не личные мотивы заставляют меня выступить против выдвинутого предложения. Мне кажется, я вправе сказать, что из присутствующих здесь я дольше всех и лучше всех знаю члена «Культурбунда» товарища Мейбаума. Я и сам предложил бы кандидатуру товарища Мейбаума, если бы не был уверен, что он и так перегружен общественными поручениями. Коллега Мейбаум является членом районного и областного руководства «Культурбунда». Он председатель секции педагогики и руководитель рабочей группы по исследованию и изучению творческого

наследия А. С. Макаренко. Кроме того, он председатель Общества содействия внедрению в жизнь учения Трофима Денисовича Лысенко, а также активный член кружка по изучению энциклопедического наследия М. В. Ломоносова. Этот товарищ взмок как мышь от избытка почетных поручений. Не буду больше перечислять общественные организации, членом которых является товарищ Мейбаум, так как большинство здесь присутствующих сами члены этих организаций. Резюмируя все вышесказанное, предлагаю отвести кандидатуру товарища Мейбаума. Основание — перегрузка. Кроме этих объективных причин для отвода кандидатуры товарища Мейбаума, имеются также серьезные и не менее важные субъективные причины: он страдает прогрессирующей близорукостью, а в результате ранения на фронте у него осталось только одно ухо.

Все уставились на защитника члена «Культурбунда» Мейбаума, с недоумением рассматривая его пенсне и то место, где у людей обычно находится ушная раковина, и тут только до сознания слушателей постепенно стало доходить, что перед ними член «Культурбунда» товарищ Мейбаум собственной персоной.

Разумеется, все единогласно проголосовали за кандидатуру товарища Мейбаума, ибо невозможно было не согласиться со Старым Фрицем, что лучшего председателя факультетской организации «Культурбунда» им и не найти. После выступления товарища Мейбаума это стало еще яснее: новый директор общежития, человек, связанный со столькими организациями, человек, воплощающий нерасторжимое единство верхов и низов, человек, который принес в жертву самое дорогое и на собственной шкуре испытал самые чудовищные проявления периода бескультурья и организованного варварства, был просто создан для этой должности.

Мейбауму пришлось взять назад свой самоотвод, и протокол собрания он подписал уже как председатель. И на него-то досадовать! Нет, для этого надо совсем потерять чувство юмора, для этого надо, особенно если ты Роберт Исваль, совсем уж дойти до точки. Потому что когда-то у Роберта Исваля юмора и в самом деле было хоть отбавляй, а он еще к тому же себя сильно переоценивал. Правда, тут возникает законный вопрос, действительно ли есть чувство юмора у человека, который воображает о себе невесть что на том лишь основании, что обладает чувством юмора?

Юмор — это природный дар, неосознанная манера поведения; стоит только его осознать, начать прибегать к нему сознательно, как он превращается в нечто такое, о чем уж лучше помолчать.

И вообще твое так называемое чувство юмора, Роберт Исваль,

всегда было довольно своеобразного свойства. Оно действовало безотказно, когда речь шла о других, но когда задевали тебя самого, пусть даже вполне безобидно, чувство юмора тебе вдруг изменяло. А теперь ты и вовсе бесишься, увидав, что Мейбаум остался Мейбаумом. Постарел ты, что ли, или вправду стал чересчур высокомерен? В этом тебя упрекали давно и упрекают постоянно. Но ты всегда умел возразить и им и себе, а когда уж очень припекало, даже включал фазу истинного смирения. И все-таки в один прекрасный день тебе придется разобраться в том, как обстоит у тебя дело с высокомерием и зазнайством — слишком уж много об этом идет разговоров.

В один прекрасный день, нет-нет, не сейчас. Сейчас еще рано возвращаться назад. Вот когда твою голову украсят седины и коленки начнут плохо сгибаться, тогда ты сядешь у камина — о, разумеется, у камина — и напишешь душераздирающий роман-исповедь, где выведешь себя как некое воплощение высокомерия и зазнайства. Вот тогда ты разоблачишь себя как следует в назидание юношеству. Это будет устрашающий пример: «О юноши! — воскликнешь ты. — Разрешите старому человеку дать вам совет, не будьте такими, каким был он!»

Но все это произойдет еще не так скоро. Не бойтесь, о юноши, морализирующая писанина Исваля появится значительно позже, призыв к смирению прозвучит у камина, а у нас пока еще и камина-то нет.

Роберт позвонил в редакцию, вызвал Вернера Кульмана и пятнадцать минут спорил с ним о размерах репортажа.

— Вам, молодым, всегда хочется целый роман написать! — кричал Кульман в трубку. — Когда я в «Роте фане» работал, я один раз втиснул репортаж о пожаре универмага в шесть строк.

— Но ведь универмаг-то был не твой, — сказал Роберт.

— Ну и что? — кричал Кульман. — Может, Гамбург... Так-так, вижу, вижу, куда ты гнешь. Но все равно пиши экономно, не увлекайся анекдотами. По-деловому пиши, побольше цифр и фактов, тогда отдел пропаганды уступит нам свое место. А будет много анекдотов, они скажут, что это относится к культуре, и тогда твой очерк сожрет весь мой план на неделю. Мне и так уже две недели приходится передвигать из номера в номер рецензию о кукольном театре. А тут еще, на беду, министр опять так очаровательно играл на клавесине, что его личный референт звонит нам каждый день и спрашивает, неужели мы не можем оценить по достоинству столь редкое явление: министр, а собственноручно играет на клавесине, ведь в этой области у нас мировое первенство, ну и так далее... А моя старая приятельница Эльзбет! Она разоблачила еще одно неправильное толкование

Моцарта и написала об этом целый трактат: «Моцарт пел по-другому». Эльзбет считает, что его никак нельзя печатать в приложении, в приложении его никто не прочтет, а ты прекрасно знаешь, каково с ней спорить, когда она в чем-то убеждена.

— Да,— сказал Роберт,— с Эльзбет не хотелось бы портить отношения. Так я уложусь в двенадцать страничек, чтобы мир как можно скорее узнал, что Моцарт пел по-другому. А кроме того, у меня есть предложение...

— Что еще?

— РКФ летом закрывает свою лавочку или, как это говорится... Можно дать серию статей о его первых шагах и дальнейшей судьбе его воспитанников.

— Серию? Уж не посвятить ли ему специальный номер? Когда я работал в «Роте фане», мы ни разу не помещали серию о наших марксистских рабочих школах.

— Но РКФ — это ведь совсем другое дело. Тебе сколько хочешь места отведут. Кем только не стали его выпускники — врачами, агрономами, спортсменами, инженерами, офицерами, экономистами. Тебе каждый отдел с радостью даст место на очерк о человеке своей специальности.

— Что ж, пожалуй,— сказал Кульман.— Поговорим, когда привезешь репортаж о наводнении.

Роберт обрадовался своей идее. Так он по крайней мере убьет двух зайцев: не надо будет постоянно метаться от сочинения речи к добыванию хлеба насущного, и все пойдет в дело — и серьезное и смешное. Впрочем, стоп! Так говорить не стоит.

Три дня писал Роберт свой репортаж о Гамбурге; в его обязанности входило также отвозить жену в клинику, следить за тем, чтобы сын позавтракал и сделал уроки, отвечать на его вопросы о взаимосвязи между сухим снегом и мокрыми ногами и решительно отводить подозрения, будто между ведьмой из сказок братьев Гримм и одной из соседок существует таинственная связь. Он варил фасоль — огромную кастрюлю, чтобы хватило на три дня, то и дело подбегал к телефону, который за день звонил ровно двадцать четыре раза, не ответил ни на одно из полученных шести писем, в течение полутора часов искал словарь иностранных слов и наконец нашел его в детской — он оказался прекрасным фундаментом для большого гаража,— три часа провел в поисках лимонной кислоты, но так и не нашел ее, выкурил семьдесят две сигареты — по поводу каждой жена сказала не меньше двадцати двух слов, и каждое слово предвещало рак легких,— посетил собрание Союза журналистов и партсобрание

той же организации, выслушал на том и на другом примерно то же самое, только на одном его называли «коллега», на другом — «товарищ», и, несмотря на все это, все-таки написал ровно двенадцать страниц по тридцать строчек в каждой о последствиях наводнения в Гамбурге.

Затем с солидным документом от редакции в кармане он поехал на север — туда, откуда он начал...

Документ этот был необходим, ведь от Мейбаума можно было ожидать и такого разговора: «Конечно, товарищ Исваль, конечно, я тебя знаю, знаю как облупленного и, конечно, помню, что ты должен вскоре держать речь о нашем факультете. Но если ты сейчас собираешься писать что-то для газеты, то мне все же хотелось бы кое-что уточнить. Как наш бывший студент и будущий оратор, ты, разумеется, получишь у нас полную поддержку, и как представитель партийного органа, разумеется, тоже, но все же это разные вещи, и я хотел бы получить от тебя какое-либо письменное подтверждение, потому что в таких делах я люблю порядок».

Мейбаум сказал не совсем так, но он явно был доволен, когда прочитал письмо из редакции. Он отдал распоряжение своей секретарше подшить к делу копию этого документа, после чего оставил Роберта наедине с архивом факультета.

Архив был именно тем, чем он и должен был быть,— свалкой. Казалось, здесь хранится каждая записочка, каждый клочок бумаги, который был исписан за тринадцать лет существования РКФ. Разрешения на поездку домой, заявления о приеме, инструкции к применению цветных мелков, проекты правил поведения в общежитии, объяснительные записки — «...из-за необходимости срочного ремонта протеза ноги не смог присутствовать на занятиях...»,— копии аттестатов, расписания занятий, приказы по кухне, в которых всякий раз речь шла об экономии и гигиене,— все здесь было. Все о прошлом и ничего о настоящем.

Однако из протоколов об окончании курса можно было почерпнуть сведения, на какой факультет какого университета подали документы окончившие. Это было уже кое-что. По крайней мере стало ясно, в каком направлении следует вести поиски.

С Робертом происходило примерно то же, что обычно происходит с человеком, который ищет в энциклопедии какое-нибудь слово, ну, скажем, «Родезия». Он сначала натыкается на «Радеберг» и, собственно, охотно перевернул бы страницу, но ему захотелось все-таки посмотреть, упоминается ли там пиво «радебергер», такое знаменитое и так редко поступающее в продажу, и верно, здесь об этом написано и даже объяснено,

почему «радебергер» так редко бывает в магазинах: «Пивоваренный завод, работающий на экспорт», что ж, прекрасно звучит, всего 16 390 жителей, а завод работает на экспорт, и — ого! — летний театр... впрочем, кого это, собственно, интересует, надо добраться до «Родезии» — раджа, радиус, ракетки теннисные, Ренц Эрнст Якоб, директор цирка; Резекне — это еще что такое? «Резекне, русск. Режица, раньше Розиттен». Это не там ли, где была орнитологическая станция? Здесь не написано, написано только: «Обработка сельскохозяйственных продуктов, см. Розиттен», но это уже в следующем томе, а там стоит: «Розиттен, см. Резекне», ну, ладно, хватит, так где же эта Родезия?

Роберт искал следы Квази Рика, но сейчас он читал свое собственное выпускное сочинение, время от времени сглатывая слюну: «Таким образом, можно с точностью установить, что Чаковский в своем романе «У нас уже утро» всесторонне воплотил пять пунктов, характеризующих социалистический реализм...»

Ну и ну!

Якоб Фильтер писал сочинение о «Матери» Горького, который, как следовало из сочинения Якоба, не только всесторонне воплотил пять пунктов, но даже еще и изобрел их. Якоб так и писал: «...Максим Горький изобрел социалистический реализм», а доктор Фукс на полях замечал, что было бы лучше вместо слова «изобрел» употребить выражение «разработал в своей художественной практике», поскольку изобрести можно телефон или, скажем, громоотвод, но не социалистический реализм.

Личные дела были расставлены по полкам в отдельном шкафу: прием 1949 года, как и полагается, на самой верхней полке. Шкаф содержал материал для основательной докторской диссертации о значительном отрезке немецкой истории, и не только истории народного образования. Студенты с верхней полки при поступлении на факультет были на пять лет старше тех, кто пришел на РКФ десять лет спустя. Но суть была не только в пяти годах разницы, суть была в том, какие это пять лет.

Тот, кому в октябре 1949 года стукнуло двадцать пять, обязательно носил в свое время в кармане солдатскую книжку, и ему едва ли удалось уберечься от ранений и — если, конечно, это был человек мыслящий — сохранить чистую совесть. На вопрос анкеты — двойной серый лист бумаги большого формата — о принадлежности к бывшему фашистскому вермахту ему приходилось отвечать «да». А от вопроса о том, в какой воинской части он служил и в захвате каких территорий принимал участие, у него спирало дыхание, потому что... как же это, черт возьми,

называлась та деревня на Буге, которую они подожгли?.. Да кто же возьмет его теперь сюда, в школу, если это станет известным?

А потом шел вопрос: «Бывали ли вы за границей и с какой целью?» Разве ответ на вопрос о вермахте не давал об этом исчерпывающего представления? Возможно, но здесь еще спрашивали о цели пребывания за границей, и это окончательно запутывало дело. С какой целью, например, был он в Польше? В Польше? Вернее, в Польской Народной Республике. Да нет, когда он там был, эта территория называлась не Народной Республикой и даже не Польшей. То место, где он стал солдатом, называлось тогда еще Кольберг и принадлежало Германии, а другой город, где его, как солдата, зверски муштровали, находился в присвоенной Германией части Польши, в Вартегау, как она тогда называлась, в местности, которая была, собственно, за границей и на самом деле относилась к Польше, но считалась германской провинцией. Так что же надо теперь писать в ответ на вопрос: «Бывали ли вы за границей?» Написать: «Да. В Польше»? Просто так: «В Польше»? Но тогда ему могут сказать, что он игнорирует новую действительность. Значит, надо добавить «в Народной Республике», но это относилось бы только к тому времени его пребывания за границей, когда он был в плену, да и то не ко всему сроку плена, а только к его части. Когда он попал в плен, Польша еще не была Народной Республикой, но чем же она тогда была, ах ты господи, чем она была в январе сорок пятого года? Территорией Польши, временно оккупированной немцами, только что освобожденной советскими войсками, а значит, снова Польшей. Польской республикой, но не такой, какой она была до войны, а вскоре и совсем другой — Польской Народной Республикой, дружественной страной? И как можно все это охватить в анкете?

Роберт отыскал свое дело на полке, чтобы посмотреть, как он тогда решил эту проблему. Оказалось, что он попросту не стал вдаваться в подробности и на вопрос о пребывании за границей ответил коротко: «Советский Союз, Польша». Вопрос о цели пребывания в этих странах он оставил без ответа. Да и в самом деле, как можно было определить эту цель? Захват вышеуказанных территорий? Когда он туда прибыл, они были давным-давно захвачены, и Роберт не мог считаться захватчиком хотя бы уже потому, что его военная служба состояла, грубо говоря, из двух больших маршей: быстрого и довольно удобного — с запада на восток, и менее быстрого и удобного — с востока на запад. Он проехал в товарном вагоне и на грузовиках до верхнего Буга, а потом проделал тот же самый путь в обратном направлении, но уже пешком, и при этом потерял сперва каблуки, потом сапоги, а

также большой палец и кусок икры на левой ноге, что не способствовало завоевательским настроениям. Правда, это было его субъективное восприятие, и оно ничего не меняло в тех объективных целях, орудием которых он должен был стать, но ведь, с другой стороны, в этой анкете речь-то идет именно о нем, о Роберте Исвале, а не о немецкой истории.

Так какова же была цель его пребывания за границей? «Защита вышеназванных территорий от их законных владельцев»? Тогда нужно было бы сделать оговорку, что Роберта Исваля никогда не прельщала роль защитника чужих земель и неведомых стран. Чувства, которые он испытывал в то время, сводились к страху, тоске по дому и голоду, и убежать оттуда ему всегда хотелось гораздо больше, чем что-то там защищать.

К этому надо еще добавить, что цель его пребывания в вышеназванных местностях менялась вместе с изменением их положения. Ведь в январе сорок пятого года его сняли с роли защитника и дали другую, опять не очень подходящую ему роль военнопленного. Сначала разница была не так уж велика. На шкале чувств произошла перегруппировка: голод и тоска по дому остались прежними, но заняли ведущее место, а страх стал иным. Но и это изменилось в течение последующих лет. Тоска по дому, правда, не проходила, но голод стал отступать, по мере того как он отступал во всей стране; с каждым новым шагом слабел и страх. Однако и это еще не исчерпывало происшедших изменений, ибо в один прекрасный день Роберт мог бы поехать домой, но не поехал, сам решил задержаться еще на целый год, совершенно добровольно. Его пребывание там обрело наконец понятную ему цель, но как бы он мог все это выразить в анкете? «Действенное возмещение нанесенного ущерба по политико-моральным соображениям».

Разумеется, разумеется, ну а как быть с орденом?

Роберт посмотрел на серый формуляр. Там вслед за вопросом «Бывали ли вы за границей и с какой целью?» стояло: «Да. Участие в военных действиях, потом плен».

И в его автобиографии было сказано об этом ненамного больше. Все было для него тогда еще слишком запутанно, да и сейчас, собственно, осталось не менее запутанным.

К его анкете с вложенной в нее автобиографией была прикреплена записка, на которой кто-то нацарапал красным карандашом: «Рабочий, нормальный путь развития до 45 г., в плену — слушатель антифашистской школы»; внизу тем же самым красным карандашом была проведена жирная черта, а под ней приписано чернилами, уже другим почерком: «Принять; относительно начитан, но держится с подчеркнутой самоуверенностью,

семейные обстоятельства не вполне ясны, уровень знаний по арифметике неудовлетворительный».

Если комиссия не могла себе ясно представить тогдашних отношений в семье Роберта, то виною тому были, конечно, его высказывания о Нусбанке; он даже не знал тогда, как его называть — наверно, надо было отчимом, а он называл «теперешний муж моей матери».

Уже одного этого было, конечно, вполне достаточно для заключения о том, что отношения в семье «не вполне ясны». Ну и, кроме того, он наверняка дал понять, что не ладит с Нусбанком, хотя тот и просидел шесть лет в концлагере; тут и в самом деле была явная неясность. Вот если бы они знали Нусбанка, они, быть может, кое-что и поняли бы.

Роберт встретил его без обычной в подобных случаях предвзятости. Конечно, Нусбанку было далеко до его отца, да и вряд ли кто-нибудь вообще мог с ним сравниться, но раз мать вышла замуж за Нусбанка, значит, для того уж была какая-то веская причина, ведь не могла же мать забыть, что была когда-то женой Пауля Исваля; она знала, какие требования надо предъявлять к человеку, который собирается занять место Пауля Исваля.

Конечно, она не могла считать, что Нусбанк вполне заменит ей первого мужа, но наверняка надеялась, что он будет выглядеть достойно рядом с портретом покойного Пауля Исваля.

Это была первая причина, по которой Роберт испытывал доверие к Нусбанку; второй причиной было политическое прошлое Нусбанка.

Когда Роберт был в плену, он видел Освенцим и Майданек, говорил со многими бывшими заключенными поляками и немцами, читал записки Когона и других, он представлял себе — в той мере, в какой это может представить себе тот, кто не испытал этого сам,— что пришлось пережить людям в концентрационных фашистских лагерях, и он мог — поскольку сам четыре года находился в заключении,— помножив свой собственный опыт на то, что знал о фашизме, представить себе хотя бы примерно, что пришлось вынести Нусбанку.

Обо всем этом он в первое время всякий раз заставлял себя вспоминать, когда чувствовал, что его охватывает бешенство.

Он готов был считать Нусбанка достойным мужем своей матери.

Несправедливо, убеждал он себя, все время сопоставлять его с идеализированным образом отца. Отец умер, да здравствует муж матери! Ты остался — или успел стать снова — наполовину фашистом, если не умеешь понять и принять Нусбанка и обвиняешь его в том, в чем он вовсе не виноват. Он сломленный человек, но

в этом надо упрекать не его, а тех, кто привязал его к дыбе и пытал шесть лет подряд. Ты видишь только шрамы и забываешь об огне, на котором его сжигали. Ты испытываешь гнев против жертвы и забыл уже о палачах. Ты будешь последней сволочью, если не сумеешь принять Нусбанка.

Но все это помогало недолго.

У Нусбанка не только не было ничего общего с покойным Паулем Исвалем, но он так резко отличался от всех своих бывших товарищей по несчастью, что прошлое его не смогло стать мостом между ним и Робертом.

Для того чтобы это понять, Роберту не надо было встречаться с секретарем районного комитета Хайдуком, воевавшим в Испании, прошедшим Верне и Дахау и оставшимся человеком, которому во всем хотелось подражать — даже в манере разговора, — тем самым Хайдуком, благодаря которому Роберт мог представить себе как живых героев книг об Испании и о котором вспоминал всегда, когда речь заходила о коммунистах.

Для этого не нужны были истории, рассказанные Гердом Трулезандом о его дяде, слесаре-инструментальщике из Штеттина, который, вернувшись из концлагеря, стал директором завода в Штральзунде и на все упреки, что работает, не щадя себя, заявлял: «Я восемь лет пролежал в холодильнике, а потому свеж как огурчик». Об этих людях Роберт узнал уже после того, как сбежал от Нусбанка на факультет.

Но еще раньше, в плену, он встретил Хайнера Зонневальда, в прошлом моряка, потом такого же бойца интербригады, как Хайдук, и такого же узника концлагеря, как дядя Трулезанда, а позднее штрафника девятьсот девяносто девятого батальона и, наконец, военнопленного в польском лагере; Зонневальд мог бы уехать домой уже через год — когда ему сообщили, что личность его установлена и он может тут же собираться в Германию, где в нем крайне нуждаются, — но он никуда не поехал. Он остался еще надолго в лагере, и одним из тех, кто у него учился, был Роберт Исваль.

А однажды в лагерь пришли Данута и Ванда и начали давать первые уроки антифашизма немецким военнопленным. Одной из них было семьдесят четыре года, другой — сорок; одна знала Ленина и Розу Люксембург, была еврейкой, входила в состав прежнего польского ЦК; другая нелегально жила в Берлине, объездила в качестве курьера с чужими паспортами весь мир, часто вспоминала о довоенном кафе «У вдовы Цунца»; одна придавала большое значение пению и яростно взмахивала своей хозяйственной сумкой, когда в «Варшавянке» не звучали как надо «вихри враждебные»; другая утверждала, что человек

только тогда перестает быть обезьяной, когда по-настоящему поймет «Капитал»; одна доставала для них обувь в Красном Кресте, другая клялась, что Международный Красный Крест — не что иное, как плохо замаскированное гнездо агентов империализма, но тем не менее сумела раздобыть в варшавском филиале этого общества у его председателя-швейцарца, «доброго дяденьки», пятьсот Библий, отпечатанных на тончайшей бумаге, и уверила их, что бог не будет иметь ничего против, если эту бумагу они пустят на самокрутки. Одна ругала Роберта за то, что он портит Гейне неправильной интонацией, и переводила для него Мицкевича, а другая показала ему, как надо писать передовую статью и обращаться с ротатором. Одну звали Данута Авербах, другую — Ванда Зайонц; у обеих при всей придирчивости было почти необъяснимое терпение, и позднее, когда Роберт встречал какого-нибудь учителя или учительницу, он невольно сопоставлял их с собирательным образом Ванды и Дануты и утаивать от себя результат этого сопоставления считал просто несправедливым.

Но у Нусбанка не было с ними ничего общего.

Он был педант и одновременно расточитель, болтун и любитель из всего делать тайну, тиран и трус, революционер и обыватель и при всем том еще комедиант — в общем, весьма жалкий заместитель Пауля Исваля.

Нусбанк был в последние годы Веймарской республики функционером в правлении одного коммунистического жилищного товарищества; вскоре после фашистского переворота он поступил на работу в нацистское жилищное управление. За год до войны гестапо упекло его в Заксенхаузен, так как в его доме был арестован подпольщик.

Роберт всегда сопротивлялся соблазну приуменьшить подвиг солидарности, совершенный Нусбанком; для такого поступка требовалось не так уж мало, и он знал, по какому счету пришлось расплачиваться Нусбанку. Но Нусбанк держался так, что уважение к нему не могло быть прочным и длительным.

Когда Роберт впервые встретился с этим человеком, занявшим место его отца, ему было, среди многочисленных рукопожатий и похлопываний по плечу, неоднократно повторено, что отныне не следует забывать главного: теперь он сын всеми уважаемого представителя нового порядка и ему необходимо извлечь уроки из фашистского прошлого вообще, и прежде всего из своего фашистского прошлого.

Затем Нусбанк предложил ему прогуляться вместе по городку Парену. Нусбанк знал здесь почти каждого и почти каждому представлял Роберта, всякий раз повторяя одну и ту же тираду:

хотя у него с сыном и не было в прошлом никаких точек соприкосновения, в будущем они непременно изменят это положение, о чем уж позаботится он, как отец, да и сын принес с собой из плена определенные предпосылки для этого, о развитии которых уж он, как отец, позаботится. Нусбанк собирался также позаботиться о развитии города Парена, и, по его словам, получалось, что в самые ближайшие годы городок станет таким, что им могло бы гордиться даже коммунистическое жилищное товарищество, в котором Нусбанк был функционером в годы Веймарской республики, и если только Роберт его верно понял, то в довольно короткий срок Парен будет называться уже не Пареном, а Нусбанкштадтом.

Поучениям Нусбанка, его предупреждениям и заклинаниям, казалось, конца не будет. Он не одобрял медные пуговицы на старом кителе Роберта и его английский покрой; по его мнению, это могло быть воспринято советскими друзьями в городе как провокация. И он тут же разъяснял членам семьи черты новейшей британской политики на Ближнем Востоке. Он критиковал чересчур соблазнительную походку соседской домработницы и считал своим долгом поставить Роберта в известность об опасностях, которые таят в себе случайные половые связи. Прическа его напоминала стрижку прусского унтер-офицера, а Роберт, разумеется, стригся не так, как надо, и это придавало ему сходство с космополитом, а космополитизм, как известно,— оборотная сторона шовинизма, и высказывание Гёте по этому поводу понимается обычно совершенно неверно, да и вообще у Гёте было много разных причуд.

Первый скандал разразился уже через неделю: Нусбанку не понравилось, что Роберт опять ищет место электрика, он хотел устроить его на работу в жилищное управление, потому что еще Горький говорил, что жилищем можно убить человека, словно топором, а сейчас речь как раз и идет о распределении топоров и о том, чтобы дело это попало в действительно прогрессивные руки. Жилище — это же не просто местожительство человека, это прежде всего среда, часть среды, а следовательно, часть материального существования, бытия, а бытие, как известно, определяет сознание, формирует человека — ура, ура, да здравствует!

Роберт сказал как можно спокойнее:

— Не спустишь ли ты меня хоть на минутку со своих отеческих колен? И не поставишь ли ты в угол свой рупор?

«Рупор» прозвучал, кажется, слишком громко, но все остальное Роберт сказал очень тихо. Однако это не помогло. Лицо Нусбанка налилось кровью, и он взревел, как бык. Из его крика выяснилось, что в Роберте все еще живет фашистский зверь и что

Роберт способен стать убийцей своего отчима.

Роберт выбежал на улицу и тут же наткнулся на домашнюю работницу с соблазнительной походкой. Ее звали Гертрудой, и она, судя по всему, не была в курсе тех опасностей, которые, по мнению Нусбанка, таят в себе случайные половые связи, а может быть, просто плевала на них, точно так же как Роберт в тот вечер и впредь плевал на Нусбанка.

Все это и еще многое другое стояло за коротенькой фразой, написанной на бумажке, приколотой к анкете Роберта: «Семейные обстоятельства не вполне ясны».

Если бы они — Старый Фриц и в особенности Ангельхоф — знали тогда все эти подробности, интересно, приняли бы они его на факультет? Наверно, все-таки приняли бы, потому что кто же из тех, чьи личные дела хранились в этом шкафу под рубрикой «1949 год», мог представить комиссии вполне ясные сведения о семейных и других обстоятельствах?

Разве что девушки, если говорить о рабочей группе А-один, у них все было в полном порядке, их анкеты были белы как снег, они могли писать «не служ.» в ответ на вопрос о службе в гитлеровской армии. И за границей они тоже никогда не были, поэтому им не надо было отвечать на вопрос о цели их *пребывания там.*

Впрочем, нет, не так уж и тут все было просто. Например, Вера Бильферт, швея, родилась в Польше и приехала в Германию, в Штаргард, только в 1944 году, следующей весной вместе с матерью ушла пешком в Мекленбург, а двоих ее братишек они везли в ручной тележке. Ей было тогда четырнадцать лет, и была она, наверно, ненамного выше этой тележки, да и сейчас она ненамного выше.

Однако у нее и у Розы Пааль, когда они пришли на факультет, были еще живы родители, и о случайных, как это некоторые называют, связях тут не могло быть и речи, да и о неслучайных тоже. *Можно себе представить, каково пришлось бы Трулезанду,* если бы он подъехал к ним со своими рассказами про камни в животе и всякими намеками! Но Трулезанд старался выражаться как можно деликатнее, когда обстоятельства вынудили его коснуться этой темы.

А обстоятельства заключались в его разорванной ночной рубашке.

— Такую рванину,— сказал он Вере,— я не могу продемонстрировать моей тете, ведь это дорогая память. Она начнет расследовать причины столь плачевного ее состояния, а об этих причинах с моей теткой вообще говорить невозможно.

— Ладно,— сказала Вера,— я-то ведь не твоя тетка, со мной возможно.

Но Трулезанд не проявил никакого желания углублять эту тему.

— Я к тебе — не ради покаяния, а ради самой рубашки, короче, потому, что ты швея, а я плотник.

Он попытался, строя страшные гримасы, выпроводить из комнаты Роберта и Квази, которые привели его сюда, к девочкам, вместе с его разорванной рубашкой, однако ничего не добился.

— Можешь спокойно рассказывать,— заявил Квази.— Откровенность и в этих вопросах принадлежит к квази лучшим чертам членов Союза свободной немецкой молодежи.

— Разумеется,— поддержал его Роберт,— а Вера и Роза, судя по всему, не из тех, кого удастся провести.

Роза Пааль покраснела и подняла руки, словно защищаясь.

— Не хочу я ничего слушать, наверно, какая-нибудь гадость. У Исваля такое выражение лица!..

— Да нет же, девочки,— сказал Трулезанд,— у него всегда такое выражение. У нас один раз была лекция про выражения лиц, физио... Нет, забыл, что-то похожее на гномов — про физиогномов, что ли, ага, про физиономов, в общем, насчет того, отражается ли душа и порок на лице, ну и всякое такое, но в конце концов лектор научно доказал, что все это совсем не так. А потому не принимайте во внимание, что там за лицо у Исваля. Но вот намек на то, что моя рубашка связана с какой-то гадостью, меня задевает. Придется кое-что разъяснить, а не то у вас еще останутся сомнения.

Прежде всего он сообщил девочкам тот факт, что сердце его легко воспламеняется — обстоятельство, которое, впрочем, его вовсе не удивляет, ведь его отец плавал в свое время по морям. Потом припомнил название доклада, который однажды слышал. «Человек как единое целое» назывался доклад.

— Это, безусловно, так,— заявил Трулезанд.— А раз человек — единое целое, то нечего удивляться, что у него воспламеняется не одно только сердце. Это вам понятно, девочки?

Девочки сначала сделали вид, что ничего не поняли, но потом Роза Пааль выпалила:

— Значит, все-таки какая-то гадость!

— Глупости,— возразил Трулезанд.— Просто мне удалось выяснить, что нервы моего живота и мое сердце неразрывно связаны друг с другом. Представляют собой единое целое.

И он рассказал свою знаменитую историю о танцплощадке и о том, как у него в животе перекатываются камни, словно у волка из сказки про семерых козлят,— особенно в тех случаях, когда оркестр играет прощальный марш «Доброй ночи, по домам,

пусть приснится ангел вам».

— И в результате этого,— печально заключил он,— мне приходится избегать музыки. Тогда еще кое-как получается.

— Что получается?— спросила Вера Бильферт.

Роберт подавил смех, а Квази Рик заявил, что этой теме надо будет посвятить специальное собрание группы, и девочки опять покраснели.

— Послушайте-ка,— сказал Роберт,— давайте уж я доскажу вам эту историю до конца, а то он никогда не доберется до своей рубашки, а вы, пожалуй, еще заболеете краснухой. Так вот, когда мы были на днях в кафе «Рикки», Герду пришла в голову блестящая идея. Он несколько раз подряд танцевал с одной и той же девицей, и было здорово заметно, что его отец в свое время плавал по морям. Но еще задолго до того, как оркестр начал играть «Доброй ночи, по домам», наш Трулезанд сбежал — отправился домой. Поэтому он чувствовал на обратном пути не боль в животе, а любовь в сердце — оно явно воспламенилось. И теперь он только и ждет возможности встретиться с этой девчонкой, но уже без музыки. Эта девушка — мы приближаемся наконец к нашей рубашке,— эта очаровательная девушка живет недалеко отсюда, в конце аллеи, там, где садово-огородные участки. Если бы у нас не было вечерних занятий, он бы наверняка подкараулил ее, когда она возвращается домой, но, к сожалению, это отпадает. Значит, остается только утро. Однако насчет утра у Герда Трулезанда особая точка зрения. А ну-ка выскажи свою точку зрения, Герд!

— Моя точка зрения заключается в том,— сказал Трулезанд,— что нечего приставать к девушке, когда она спешит на работу. Может, она не выспалась, или думает в эту минуту о своем начальнике, которого не выносит, или, может, она опаздывает, а тут ты откуда ни возьмись выступаешь из утреннего тумана и говоришь: «Привет, девушка!» Утро вечера дряннее, во всяком случае, в таких вещах.

— Да,— сказал Роберт,— такова его точка зрения, и потому он никогда не подойдет к этой девушке, поскольку у него вечером занятия, а утром принципы. Разве что в воскресенье, когда она пойдет в церковь, а потом на прогулку в лес.

— Ну, это не для меня,— проворчал Трулезанд,— с меня довольно опыта Исваля.

— А у него тоже есть опыт?— язвительно спросила Вера Бильферт.— Но мы опять ушли в сторону от нашей рубашки.

— Этот опыт уже не имеет значения,— поспешно заявил Роберт.— Странно, но теперь, когда мы рассказали столько вставных новелл, история с рубашкой как-то поблекла. Я изложу

ее совсем коротко. Так вот, девушка из кафе «Рикки» проходит каждое утро около половины восьмого по аллее, а Трулезанд каждое утро около половины восьмого стоит у окна и, краснея, следует за ней взглядом.

— Краснея — это вранье, — вмешался Трулезанд, — и следует — тоже. Очень мне надо за ней следовать! Но ноги у нее, девочки, — можете спокойно спрятать свои!

Обе как раз это и сделали. Вера, разложив на коленях рубашку Трулезанда, внимательно рассматривала дыру, словно увидела ее впервые. Роза убрала свои длинные, немного худые ноги под стол, подальше от любопытных взглядов Роберта.

Роберт усмехнулся и продолжал:

— Как только эта девица из кафе «Рикки» минует наш дом, она исчезает из поля зрения Трулезанда. Но Герд не теряется, он выбегает из комнаты «Красный Октябрь», мчится по коридору, разумеется в ночной рубашке, и оказывается у окна умывалки как раз вовремя, чтобы следовать взглядом за торжественным шествием фрейлейн «Рикки» с еще более близкого расстояния. Из собственных наблюдений могу подтвердить, что тут есть на что посмотреть.

Он прошелся по комнате, прислонился спиной к печке, в раздумье поглядел на Веру и Розу и наконец сказал Трулезанду:

— И все же нашим юным соученицам нечего, как я вижу, бояться сравнений.

— А Исваль-то, оказывается, задавала, — сказала Вера, обращаясь к Розе.

Роза кивнула и, заметив направленный на нее оценивающий взгляд Трулезанда, поспешно добавила:

— И Трулезанд тоже.

Рик, очевидно, почувствовал себя обойденным. Он подошел поближе к девушкам, осмотрел их столь же старательно, сколь и бесцеремонно, и сказал с обидой:

— *Я хотел бы кое-что уточнить, дорогие соученицы, а именно* следующее: в этом смысле я тоже квази задавала.

Все рассмеялись, а Роберт продолжал свой рассказ:

— Сегодня утром Трулезанд проспал свое время — да и что тут удивительного, если вспомнить о вчерашнем собрании. Но я проснулся почти что вовремя и успел еще увидеть, как фрейлейн «Рикки» нырнула за угол. Я как заору: «Герд, скорей, она уже с той стороны дома!» Тут мой Трулезанд как вскочит с постели и к двери, но порыв его вступил в конфликт с инерцией его рубашки. Рубашка большей своей частью оставалась еще в комнате «Красный Октябрь», в то время как сам Герд был уже в умывальной. Он стоял у окна, сердце его пылало, а зад его овевал

свежий утренний ветерок...

Трулезанд, в бешенстве теребя свои черные кудри, заявил:

— *Эй ты, нечего сочинять поэмы о моем телосложении!* И если тебе все еще охота цепляться за мою рубашку, берегись, как бы я не поведал кое-что о красной пожарной юбке с синим кантом.

— Синей с красным кантом,— буркнул Роберт.— Прекрати!

Девочки стали подначивать Трулезанда, но он наотрез отказался рассказывать.

— Это наши мужские дела. Зашейте-ка лучше мою ночную рубашку, хотя, если считаться с принципом единства формы и содержания, разорванная рубашка подходит мне сейчас гораздо больше. Как человек я в данный момент не представляю собой единого целого.

Мейбаум вошел в архив с кофейником и двумя чашками.

— Ну, как дела, товарищ Исваль?— спросил он.

— Да помаленьку,— ответил Роберт.

— Если бы ты мне сказал, какова основная цель твоих изысканий, я мог бы, пожалуй, дать тебе кое-какие указания.

— Я и сам еще не знаю, какова основная цель. Пока просто роюсь в этом хламе и пытаюсь уловить дух прежних лет.

— Пытаешься уловить дух? Позволь, но зачем это тебе?

— Вспоминаю при помощи носа. Если мне удается выяснить, чем пахла та или иная ситуация, то остальное уже приходит само собой.

— Чем пахла ситуация? Своеобразно.

— Возможно, но это помогает. Например, весной пятидесятого года в нашей комнате очень сильно пахло просмоленным деревом, и я знаю почему.

— И ты даже сейчас чувствуешь запах? А что это, собственно, был за запах? *Откуда он взялся?*

— Он взялся от телеграфного столба, который мы стащили. Теперь-то я могу тебе это рассказать, а тогда ты, наверно, поднял бы бучу. Трулезанд, Фильтер и я две ночи подряд распиливали его и перетаскивали в нашу комнату. Фильтер ничем особенно не блистал, но в деле со столбом он был просто неоценим. Ведь он лесоруб, а потому работал за двоих — за себя и за Квази, тот отказался в этом участвовать.

— Очень разумно. А что вы, собственно, хотели делать с этим столбом в вашей комнате?

— Как что? Топить, разумеется. Я не собираюсь упрекать тебя, но с дровами вы нас здорово прижимали.

— Мы? Это не мы. Общее экономическое положение в стране не давало других возможностей. Если бы ты знал, каково приходилось тогда мне, как директору общежития. Порядком из-за вас доставалось. А потом, ты и сам говоришь, дело было весной!

— Да, по календарю. Но в комнате «Красный Октябрь» стоял собачий холод, мы уже хотели переименовать ее в «Белый февраль», только Трулезанд не соглашался, поскольку это могло повести к политическим недоразумениям.

— Совершенно верно,— сказал Мейбаум.— И тогда вы попросту украли телеграфный столб? Это можно было бы расценить как саботаж. Меня и сейчас в жар бросает, как подумаю, что я, директор общежития... .

— Ну, не так уж это было страшно,— заметил Роберт.— Мы ведь столб не из земли вырыли и проводов с него не снимали. Якоб Фильтер нашел его. И если бы его нашел кто-нибудь до нас, то все равно бы утащил. Столб лежал в кустах, за пустырем с разбитым бункером — туда никто не решался ходить из-за мин. Только Якоб Фильтер решился. Он в лесу уже не раз откапывал мины и уверил нас, что возле столба их вообще нет.

— И тогда вы этот столб просто перетащили к себе и спалили?

— Да нет, не так-то это было просто. Во-первых, столб был порядочной длины, и нам пришлось клянчить у дворника пилу, а тут еще Квази отказался участвовать.

— И вполне правильно поступил, только он должен был сообщить об этом мне.

— Попробовал бы! Да и вообще он был от нас в полной зависимости. Он ведь был тогда по уши влюблен в одну медичку и все время спрашивал у нас совета. Но мешал он нам здорово. В вопросах общественной собственности он был крайне щепетилен, и если он в детстве играл в «жандармов и разбойников», то наверняка всегда был жандармом. Стоило только его послушать, как он у себя в Дёмице разоблачил расхитителей сахара. Он ведь был жестянщиком на сахарном заводе. Там все время пропадал сахар, и притом в огромных количествах. Завод тогда еще находился под контролем оккупационных властей, и начальники стали уже раздражаться, потому что сахар пропадал прямо центнерами.

— И Квази все это раскрыл?

— Да, но не из тщеславия и не из-за того, что хотел получить вознаграждение. Когда мы ему намекнули насчет вознаграждения, он пришел в бешенство. Как завопит: «Да ведь это же был квази твой сахар, и твой, и твой! Что, разве не так?» И при этом

все тыкал нас своим заскорузлым пальцем в живот и чуть ли не ревел. Нет, он был детективом из принципа, и честным он был тоже из принципа. И за общественную собственность стоял горой, уж во всяком случае, из принципа.

— И был совершенно прав. Так как же он разоблачил воров?

— Своим умом дошел. Вынести с завода сахар никто не мог — каждого обыскивали. Все выезжающие из двора грузовики тоже проверяли. Завод был обнесен высоким забором, вход охранялся, а подземных ходов не было. Квази все это как следует взвесил, и тут ему в голову пришла догадка — по воздуху!

— По воздуху? Уж не хочешь ли ты сказать, что у воров был собственный вертолет?

— Твоя догадка не так уж далека от истины. Квази и это приходило на ум. Но он это отверг. Зато подошел совсем близко к разгадке. Окончательно же он все понял, когда во время спортивного праздника увидел одного метателя молота. В следующую ночь он залез на крышу завода и застал там другого метателя на месте преступления. Но тот манипулировал не куском металла на толстой проволоке, а маленьким мешочком с сахаром, которому придавал нужное ускорение, крутя его над головой на крепкой веревке, и мешочек летел через забор в *кусты, где его поджидали другие лакомки.*

— Ничего не скажешь, хитроумные ребята. Ну и что же, Квази посадил их?

— Да где там! Этот метатель сахара оказался его старым приятелем. Он бросил это занятие, и Квази вполне удовлетворился.

— Он поступил неправильно, товарищ Исваль.

— Возможно, но ведь Квази не был доносчиком.

— Не знаю, уместно ли для данной ситуации это выражение. Во всяком случае, в таком виде эта история не подойдет...

— Не подойдет? Для чего?

— Ну, для торжественного вечера. А то бы отлично можно было ее использовать: «Студенты, которые в то время пришли на факультет, показали себя с лучшей стороны во всех областях общественной жизни. Они не только создавали собственными руками материальные ценности, они охраняли эти ценности, проявляя незаурядные индивидуальные способности. Например, студент Квази...»

— Квази — его прозвище.

— Совершенно верно, так я и думал. Я при всем желании не могу вспомнить студента по фамилии Квази. А ваши прозвища были мне неизвестны. Вы так мало общались со мной как с директором общежития, товарищ Исваль... Но мне и в самом

деле жаль, что нельзя воспользоваться этой историей. Мне как раз пришло в голову, какой прекрасный конец мог бы у нее быть.

— А ну-ка расскажи!

— Итак, Квази наблюдает, как вор перебрасывает сахар по воздуху. И тут возникает конфликт. С точки зрения принципа он должен заявить на данного человека, но против этого восстают в нем остатки ложно понимаемой солидарности. Возможно, он служил в свое время в фашистском вермахте и еще не отделался от извращенных представлений о духе товарищества. С другой стороны, он принадлежит к рабочему классу и отныне он хозяин заводов и производимых на них ценностей. Вот, стало быть, конфликт. И пока там, на крыше, в нем борются противоречивые чувства, он замечает вдруг, что вор как-то особенно ловко манипулирует мешочками с сахаром. Вот тут-то и приходит решение! Блестящее решение, и с него начинается поворот темы. Как тогда, на спортивном празднике, при наблюдении за метателем молота, у него блеснула гениальная догадка, заставившая его влезть на крышу, так и сейчас метатель сахара возвращает его к метателю молота!

— Как так?

— А вот как, товарищ Исваль. Он открывает у вора спортивный талант. Он выходит из-за трубы и говорит: «Этого, Кристиан, я от тебя, моего старого товарища, никак не ожидал. Разве ты не знаешь, что миллионы людей нуждаются в сахаре?» Вор страшно испуган и уже видит себя за решеткой, что, собственно, было бы вполне справедливо. Но Квази разрешает конфликт по-иному. Он похлопывает вора по бицепсам и говорит: «Ты неправильно используешь свой талант. Ты растрачиваешь его на мешочки с сахаром...» Это вообще верно сказано, товарищ Исваль,— вор растрачивает свой талант. Верно не только в смысле образа, но и в буквальном смысле слова! Затем Квази советует вору посвятить себя спорту. Или нет, еще лучше, он указывает вору на то — эта мысль должна возникнуть раньше, когда Квази наблюдает за настоящим метателем молота,— итак, он указывает вору на то, что в районном масштабе метание молота еще очень отстает и что район на предстоящих соревнованиях с другим районом может потерять в этом виде спорта драгоценные очки. И тут для вора открываются огромные возможности. Если он,— так говорит ему Квази на крыше,— если он примет участие в этом соревновании и выиграет его, тогда Квази не станет на него заявлять. И разумеется, с этого же дня должно быть прекращено хищение сахара.

— Гм,— сказал Роберт,— и, разумеется, новый метатель молота выигрывает соревнование и завоевывает очки для своего

района. Не так ли?

— Совершенно верно!

— Ну, не знаю. Скорее это похоже на новеллу фрау Тушман. «Не пожелай сахара ближнего своего» могла бы она называться или, может быть, «Сахар и молот». А то, пожалуй, еще «Следы сахара». Но, к сожалению, Рик испортил эффектный конец.

— Кто?

— Карл Гейнц Рик, детектив высшего класса, по прозвищу Квази.

— Рик? Так это он?..

— Да, Рик, перебежчик, покинувший демократическую республику!

— Совершенно верно, покинувший республику... Почему же ты сразу не сказал... Нет, тогда это все не годится. О нем лучше вообще не говорить на торжественном вечере. Я считаю, что о подобных личностях ни в коем случае не следует говорить.

— Ясно. То есть, по правде не так уж ясно. Из нашего выпуска перебежали только трое. И как раз тогда, когда рассказываешь, чего за это время добились остальные, можно, пожалуй, сказать и об этих трех болванах. Рик, например, со всеми своими талантами пропадает теперь в Гамбурге, содержит пивную.

— Нет-нет, товарищ Исваль, я попросил бы тебя, и притом из самых принципиальных соображений: ни слова о Рике. Разумеется, можно вскользь упомянуть о том, что некоторые — не стоящее разговора меньшинство — не выдержали экзамена, поставленного перед ними историей, но имени Рика не следует упоминать ни в коем случае...

— Он не стоит памяти, так, что ли?

— Совершенно верно.

— Ну что ж, приходится с этим согласиться. Мне было бы тоже нелегко найти верные слова, чтобы сказать о нем. Пожалуй, речь — это все-таки нечто другое, чем роман.

— А ты что, собираешься роман писать?

— Да нет, куда уж! Как только представлю себе это мучение... Годами корпеть над одной вещью — нет, на это у меня пороху не хватит. Да и теперь опять входят в моду очень уж толстые романы, примерно такого объема, как «Унесенные ветром», тысяча восемь страниц про Скарлет О'Хара с зелеными глазами без единой коричневой крапинки... Недавно к нам в редакцию пришел один молодой автор, показывал свой рабочий план. Он собирается в шестьдесят четвертом году написать девятьсот страниц. И название у него уже есть: «Камни остаются навеки». Не знаю, читал ли он «Унесенные ветром», но противопоставле-

ние в заглавии звучит программно. Программные декларации в названиях тоже вошли в моду. Один озаглавил ничтожную историйку, скорее напоминающую плохонький романс, весьма многозначительно: «Этого ветру не развеять». Опять ветер и опять программное противопоставление зеленоглазой Скарлет. Я прямо так и вижу автора, как он в редакции швыряет на стол свой тоненький манускриптик и вещает: «Этого ветру не развеять!» Ну и самомнение у этих людей! Недавно вышла из печати еще одна толстенная книга, и тоже не без ветра. Называется она: «Нет такого ветра, чтоб развеял мечты». Неплохо — на семистах страницах веет ветер, а мечты остаются на месте. Нет уж, с романом я погожу.

— Не знаю, товарищ Исваль, пожалуй, твое отношение к этому делу не совсем правильно. Новая литература должна быть оптимистичной, она ведь отражает наш новый общественный порядок. Это, по-моему, вполне закономерно.

— Возможно. Но я всегда был хулителем. Это даже записано в резолюции о моем приеме на факультет. Правда, выражено как-то поприличнее, но все же записано. Да, кстати, тут, на полке сорок девятого года, почему-то не хватает одной папки.

Мейбаум взглянул на него с тревогой:

— Быть не может. Наш архив в полном порядке. Об этом забочусь лично я с тех пор, как занимаю должность директора.

Роберт подошел к шкафу и показал на полку сорок девятого года.

— Пожалуйста, вот «Раабе», «Риберт», а потом идет «Рорбах». А ведь сначала должен был бы стоять «Рик», но его нет.

— Ах так, да, совершенно верно... Его папку мы вынули, после того...

— После того как он сбежал?

— Совершенно верно... Так это обычно делается.

— Ах вот оно что! Ну ладно, неважно. Не стоит он памяти, точка.

Мейбаум поднялся и убрал со стола кофейник и чашки.

— Если тебе понадобятся какие-нибудь разъяснения, приходи прямо в мой кабинет. Я дал секретарше соответствующее распоряжение.

— Спасибо, — ответил Роберт. — Обязательно приду. Ты ведь наверняка знаешь, где теперь работает большинство окончивших. Мне бы хотелось кое-кого разыскать, а для этого нужны адреса.

Мейбаум поправил очки в роговой оправе, которые он носил теперь вместо пенсне, и сказал обрадованно:

— Блестящая идея. У меня, правда, не обо всех есть сведения,

но об очень многих. Если б тебе удалось показать, как наши бывшие студенты, стоя у пульта управления в разных областях народного хозяйства, руководят новым государством, это было бы просто великолепно.

— Совершенно верно,— сказал Роберт.

Он взял папки, снова поставил их на место. И при этом заметил пустоту, которая так и осталась между папками Риберта и Рорбаха, после того как он продемонстрировал Мейбауму, что папка Рика отсутствует. Он придвинул друг к другу Риберта и Рорбаха и задумался. А как же звали тех двоих? Фамилию одного он вспомнил сразу — очень уж она противоречила странным склонностям того, кто ее носил: Монахман — вот как его звали.

А другого? Его тоже удалось вспомнить, потому что Ангельхоф имел привычку называть фамилию этого студента на каждом собрании и до и после его бегства — для устрашения других. Кажется, Бад или что-то в этом роде. Да нет, не Бад, а Кад, правильно, Кад.

Папка с надписью «Кад» стояла на своем месте, и с надписью «Монахман» — тоже. В каждую была подшита карточка, красным карандашом помечено: «Перебежч.».

Тут было все совершенно ясно. Неясно было одно: почему такой надписи нет в папке Рика или, вернее, почему здесь вообще нет папки Рика.

— Ладно, разберемся,— пробормотал Роберт Исваль.

Мейбаум предложил ему пообедать на факультете, но Роберт решил пойти в город. Он давно здесь не был и радовался этому свиданию, а кроме того, надеялся встретить кого-нибудь из знакомых.

Кое-кого он видел иногда в Берлине, но почти все приезжали в столицу по случаю того или иного совещания или конференции, и обычно кто-то — начальник или шофер служебной машины — с нетерпением ждал конца разговора. А потому, собственно, ни на что другое не оставалось времени, кроме как заверить друг друга, что надо будет как-нибудь встретиться по-настоящему, поболтать, выпить кружку пива где-нибудь в спокойном месте.

Роберт привык делать различие между теми, кто говорил в этом случае о «кружке пива», и теми, кто заявлял о «бутылке вина»; он взял себе за правило избегать любителей вина — и не только потому, что всегда предпочитал пиво. Он подозревал, что люди, считавшие вино подходящим напитком для такого разговора, вряд ли остались теми, какими были когда-то,— его друзьями и однокашниками. Ему всегда слышалось в таком предложении

хвастливое: «Уж теперь-то мы можем себе это позволить!» — и не верилось, что за бутылкой вина в компании с тем, кто «уж теперь-то может себе это позволить», получится разговор о прежних временах на Роберт-Блюмштрассе.

И в то же время он смеялся над собой, называл себя романтиком и узнавал в себе того простоватого парня, который дал в лагере клятву, что, вернувшись домой, будет — как бы хорошо ему ни жилось — в годовщину того дня, когда он попал в плен, есть не из тарелки, а из заржавленной консервной банки, да еще деревянной ложкой, и притом обязательно суп без жиров и без мяса — из одной только крупы или брюквы. Эту клятву он позабыл уже в первую годовщину, и не только потому, что в тот день на обед были картофельные оладьи.

Но от своего довольно комичного, впрочем, «критерия выпивки» он никак не желал отказаться. Вина, конечно, можно выпить, рассуждал он, но позиция эта нам не подходит, а тем более когда приглашение подкреплено сентенцией: «Уж теперь-то мы можем...»

Самый неприятный случай из области «уж теперь-то мы можем...» произошел у него с бывшим футболистом Тримборном. За это время Тримборн успел сделаться известным химиком и руководителем большой промышленной лаборатории. Он стал замечательным специалистом, и его жизненный путь и карьера были просто образцом для речи в актовом зале. Многие патенты носили его имя. Работа его давала государству ежегодно сотни тысяч марок дохода, и государство выражало ему свою благодарность, награждая премиями и орденами.

Роберт встретил Тримборна на Фридрихштрассе, и в первую же секунду его охватил страх: Тримборн, здороваясь с ним, снял шляпу и степенно держал ее в руке в течение всего разговора. Роберта все время подмывало сказать: да надень ты свою дурацкую шляпу, старик! И он старался представить себе, как Тримборн сидел тогда возле печки и сушил на голове черный колпак, которому Квази Рик придал вполне современную форму, но это ему не удавалось: тот Тримборн и этот Тримборн были совершенно разными людьми.

Тот был огромный грубоватый парень, рыбак из Фрееста, зубрила и любитель пива, свой в доску; во время болезни Квази он нередко таскал котелок с супом из столовой в общежитие. Это расстояние он пробегал бегом, и Квази получал суп еще теплым, а Тримборн поспевал вовремя на занятия, кроме того, это была еще для него, как футболиста, прекрасная тренировка.

Тот Тримборн мужественно перенес свой ораторский провал во время выборов в студенческий совет; возвращаясь из Фрееста

после воскресенья, он привозил товарищам по комнате свежую рыбу, а когда вечером, шагая по городу с вокзала, пел вместе со всеми «По долинам и по взгорьям», при взгляде на его широкую спину невольно думалось: да, с таким пройдешь и по долинам, и по взгорьям.

Этот новый Тримборн стоял теперь посреди Фридрихштрассе, держа в одной руке серую фетровую шляпу, а в другой авоську с луком — он, как выяснилось, только что вернулся из Бомбея с Международного конгресса химиков.

Да, конечно, уж теперь можно себе это позволить — посмотреть мир, кое-что ведь собой все-таки представляешь, даже англичане купили один из его патентов, а на той неделе он едет в Стокгольм, правда, невероятно дорогая прогулочка, но что поделаешь, теперь всё чаще приглашают, химия ГДР завоевала почетное место, нас уважают, и нельзя сказать, чтобы дело обошлось без... да и кто же станет сам себя расхваливать... Ну, а ты как живешь, старина?

Роберт словно завороженный глядел на шляпу, но почти с такой же силой его взгляд притягивала к себе авоська с луком. Лук в тот момент был таким же деликатесом, как бананы. Но Роберт им интересовался во много раз больше, чем бананами, и потому в конце концов не смог удержаться от вопроса, где Тримборн раздобыл столь прекрасный лук, да еще полную авоську.

Химик поднял добычу вверх с таким же гордым видом, как раньше, в давно прошедшие времена, подымал, наверно, семикилограммовую щуку, и проговорил как ни в чем не бывало:

— В Бомбее.

Роберт был крайне удивлен, но после многочисленных заверений Тримборна ему не оставалось ничего другого, как поверить. Великий химик по пути с конгресса на аэродром в Бомбее купил пять кило лука, сел в самолет компании «Эйр Индия» с авоськой, полной луковиц, пролетел над морями и городами, сделал пересадку в Цюрихе, потом еще одну в Праге, приземлился в Шёнефельде, а оттуда приехал в город и сейчас стоит здесь, на Фридрихштрассе, собираясь укатить на служебной машине в свою лабораторию, и изумляет всех прохожих своей авоськой с луком, а Роберта — той же самой авоськой и еще серой шляпой. Но больше всего тем, что Роберт ищет и не находит в этом знаменитом химике, докторе Тримборне, рыбака из Фрееста и своего бывшего однокашника с Роберт-Блюмштрассе, — не находит, хотя и очень старается найти.

Наконец этот человек, который «уж теперь-то мог себе это позволить», взглянул на часы, заверил Роберта, что им надо

обязательно встретиться за бутылкой вина, протянул ему руку с авоськой, надел серую фетровую шляпу и пошел к своей персональной служебной машине.

Дело было несколько лет назад, но Роберт не уставал рассказывать эту историю все с тем же изумлением и негодованием. И всякий раз поднимался с места, чтобы показать, как Тримборн со шляпой в одной руке и авоськой с луком в другой стоял посреди улицы и похвалялся, кем он теперь заделался.

Вера во время представления всегда смеялась и утверждала, что Роберт злится только потому, что Тримборн не подарил ему ни одной луковицы.

— Господи,— сетовала она,— теперь у тебя появился второй Фриц Клюндер, а мне и одного вполне хватало!

Она просила его сообщать ей заранее, если он снова соберется изображать Фрица Клюндера или химика Тримборна, когда придут гости. Тогда она достанет вязанье, потому что, как только слышит фразу: «Так вот, знавал я когда-то некоего Фрица Клюндера...», на нее нападает непреодолимая скука.

— Единственное, что еще прогоняет мой сон,— это вариации: с течением времени Фриц превратился у тебя в настоящего черта, и химику с авоськой лука, видно, не избежать той же участи.

Фриц Клюндер был крестьянином из небольшой деревеньки неподалеку от Парена. Но Роберт встретил его в другом месте. Он познакомился с ним в лагере, обрел земляка после долгих и напрасных поисков.

Слово «земляк» было не совсем подходящим, потому что Роберт все еще считал себя гамбуржцем; но все-таки он жил в Парене до того, как был призван в армию, и его мать, о которой он несколько лет ничего не слыхал, тоже жила там, и он даже не знал, какие события произошли в Парене за время войны.

Тогда у них в варшавском лагере уже был Комитет самоуправления, в который избрали и Роберта. Всякий раз, когда из соседних лагерей присылали новичков в антифашистскую школу, Роберт просматривал их документы, надеясь найти кого-нибудь из Парена.

И в один прекрасный день он нашел крестьянина Фрица Клюндера из Гризова. Правда, тот тоже мало чего мог рассказать о Парене, но каждый вечер они сидели вдвоем на нарах и перебирали названия улиц родного города.

Роберт устроил земляку место в своем бараке, немного более обжитом, чем другие, потому что в нем поселились первые военнопленные варшавского лагеря. Он помог ему перевестись в другую бригаду, что избавило Фрица от работы на строительстве дороги, куда обычно посылали новичков. Он дарил ему свою

порцию табака и отдавал часть пайка, а в конце концов даже сделал для него нечто совсем незаконное: внес его в первый список возвращающихся на родину.

Для этого потребовалось немало ухищрений, но в конце концов все уладилось, и вот однажды осенним утром Фриц Клюндер уехал в Германию — на год раньше Роберта Исваля.

Когда же через год Роберт сам вернулся домой, у него первое время нашлось много других дел — ссоры с Нусбанком, девчонки, — и он не сразу поехал к Клюндеру. Но как-то раз он получил наряд в деревню поблизости от Гризова и разыскал Фрица Клюндера.

Вернее, разыскал его домишко, хозяина дома не оказалось. Его жена, ворчливая баба, как видно, никогда ничего не слыхала о Роберте. Она поглядывала на него с недоверием, и Роберту едва удалось вытянуть из нее, что ее муж сейчас в поле по ту сторону железной дороги.

Прежде чем уйти со двора, он невольно поискал глазами шестерых детей, которых сам приписал в анкете бедной фрау Клюндер, чтобы ее муж вернулся на родину раньше других. Двор был широк, но пуст.

Фриц Клюндер возвращался с поля домой обедать, вот тут-то и повстречал его Роберт. Когда Роберт изображал эту встречу перед восхищенной публикой, иначе говоря, перед Верой, он обычно вставал, чтобы дать возможность зрителям представить себе действующих лиц.

Изображая одного, он поднимался, словно ища опоры на разъезженной глинистой полевой дороге, и вытягивал шею, как бы глядя вверх, на кого-то восседающего где-то в вышине; руки же клал на руль воображаемого велосипеда. Изображая другого, он тоже вставал, чтобы глядеть на своих зрителей сверху вниз, но при этом было понятно, что человек этот, располневший, уверенно держащий в руках поводья, сидит на высоких козлах.

— Подъехал это он ближе, вижу — и в самом деле мой Фриц Клюндер. Но он, должно быть, еще не узнает меня издали, спокойно погоняет своих лошадок, а лошадки сытые, откормленные. Они бы так на меня и наехали, если б мой Фриц Клюндер в последнюю минуту не проворчал: «Тпру!» Тут уж я ему, из осторожности больше, говорю: «Здорово, Фриц!» Повозка останавливается, я машу Клюндеру рукой, а он глазеет на меня, словно я бревно на дороге. Но в конце концов отвечает: «Здоров».

Я старательно пробираюсь по грязи со своим велосипедом мимо его жирных кобыл, оказываюсь прямо под козлами и жду: сейчас, думаю, он слезет.

Я, конечно, не мог себе представить, что он спрыгнет с козел и бросится мне на шею, но все-таки ожидал чего-нибудь поприветливее, ну, скажем, «Здорово, Роберт!». Так нет. «Здоров»,— говорит он.

Слыхали, как коровий блин падает на рыхлую землю? Вот так это и прозвучало. Шлеп — и дело с концом!

Я стою со своим велосипедом под козлами и гляжу на него вверх, а он глядит со своих козел вниз, на мой велосипед.

Наконец я говорю, скользнув взглядом по откормленным задницам его кобыл:

«Ну, как живешь?»

У него такой вид, будто сперва он этот вопрос должен еще как следует обдумать. Потом глядит мимо меня и отвечает:

«Хм...»

Точь-в-точь тем же тоном, что и «Здоров».

На это было трудно что-либо возразить, да мне ничего и в голову не пришло.

Я, правда, уже начинал злиться, но все еще уговаривал себя, что Фриц, видно, чем-то огорчен, может, у него за это время и в самом деле народилось шестеро детей, все близнецы — шестерня, и может, все шестеро больны сейчас корью, кто знает, надо дать ему очухаться.

Время идет; сытые лошади показывают мне свои сытые зады, в мой левый ботинок понемногу натекает вода, перед самым носом у меня прочные сапоги Фрица Клюндера, а тот, на кого они надеты, мой старый добрый лагерный товарищ Фриц Клюндер,— ни тпру, ни ну.

Но в конце концов он все-таки сказал «Ну», вернее, «Но-о» и поехал.

Минуточку, не подумайте чего плохого о Фрице Клюндере! Нет, он не оставил меня посреди поля, так и не дав никакого объяснения. Он дал мне разъяснение еще до того, как сказал «Но-о».

«Ну, бывай, мне время обедать!» — объявил со своих козел мой добрый старый товарищ Фриц Клюндер.

И только тогда сказал «Но-о».

Фрицу, изможденному пахарю, было время обедать, а я остался посреди поля — не то чтобы умирающий с голоду, но дело было в начале сорок девятого,— и когда я смотрел вслед его удаляющемуся экипажу, то видел по правую и по левую сторону от него все те же сытые зады лошадей, и у меня было такое впечатление, словно кобылы нарочно показывают мне свои откормленные задницы. А зад Фрица Клюндера на козлах я и по сей день вижу так ясно, словно все это было вчера.

Вера не одобряла этого конца: она говорила, что раньше Роберт рассказывал историю Фрица Клюндера без столь выразительных подробностей, и получалось совсем неплохо; ей вообще хотелось бы отметить, что как лошади, так и сама история, если проследить за их развитием с самого начала, становятся раз от разу все объемистее, а что касается воды в левом ботинке, то это совсем уже что-то новое.

— Я предчувствую, что придет день,— сказала она,— когда ты встанешь в свою обычную позу,— кстати, а почему бы тебе не рассказывать сидя?— и начнешь повествовать своим изумленным внукам, как ты в джунглях, неподалеку от Бомбея, вырвал Фрица Клюндера из пасти разъяренного тигра, а потом в один прекрасный день, заявишь ты, мой утлый челн потерпел крушение в Индийском океане, и вот я уже несколько недель, с трудом держась на воде, плыву по волнам, а мою левую ногу гложет стая акул, и тут появляется роскошная прогулочная яхта, и кого же я вижу на капитанском мостике? Моего старого друга Фрица Клюндера. «Здорово, Фриц!»— кричу я (на этом месте ты, конечно, сделаешь паузу, это так мужественно и скромно),— а мой добрый старый товарищ Фриц Клюндер, опершись о перила мостика, не отвечает мне даже «Здорово, Роберт!» или хотя бы просто «Здоров», а плюет в море— «Тьфу!»— прямо рядом со мной и уплывает на своей роскошной яхте в сторону заходящего солнца. И я еще вижу издали, за минуту до того, как пойти ко дну, что делает Фриц Клюндер на борту своей яхты: он похлопывает по сытым бокам своих верховых лошадей, шесть штук, которых всегда возит с собой, и кормит их луковицами— каждая величиной с кулак...

— А лошади вообще-то едят лук?

— Уж если ты возьмешь кого на прицел, то ни перед чем не остановишься— накормишь его лошадей и чем-нибудь похуже лука,— сказала Вера.

Теперь она подошла вплотную к своей излюбленной теме: об отсутствии чувства меры у Роберта, о безмерном отсутствии чувства меры...

Наш милый городок, думал Роберт, пересекая площадь Освобождения, уж никак нельзя обвинить в отсутствии чувства меры; он мужественно держится за добродетель, свойственную ему последние семь веков,— растет черепашьими темпами. Правда, кроме университета и пивоваренного завода, здесь появились теперь еще мебельная и швейная фабрики, а на площади Освобождения нельзя уже больше играть в футбол из-за машин,

но в остальном — во всяком случае, судя по внешнему виду — он оказывает решительное сопротивление всем соблазнам нового. И если бы тут решили, например, снимать фильм про РКФ в первые годы его создания, то не так уж много пришлось бы и заслонять декорациями.

Несколько вывесок надо бы, конечно, снять; вон там, например, где сейчас написано «Фрукты и овощи», пришлось бы снова написать «Колониальные товары», а у дверей поставить толстого спекулянта растительным маслом в заляпанном фартуке. Неоновую надпись «Дом пионеров-тельманцев» тоже, конечно, пришлось бы убрать и повесить обратно вывеску «Банк», а на ресторан водрузить старую вывеску «Дом Нетельбека», да и площадь Освобождения снова переименовать в Помернплац.

Тут можно было бы дать такую сцену: рабоче-крестьянский факультет, выражая протест против названия площади, весь день марширует по ней с гигантским плакатом, на котором начертано:

ПОМЕРАНИЯ СОЖЖЕНА,
ОБНОВИЛАСЬ ВСЯ СТРАНА,
ТАК КОГДА ЖЕ БУДЕТ ПЛОЩАДЬ
ПО-ДРУГОМУ НАЗВАНА?

Доктор Фукс, правда, покривился при виде этих неуклюжих стихов и настоял на том, чтобы по крайней мере вторая запятая была заменена точкой с запятой, но тем не менее браво маршировал вместе со всеми, а ведь для него это было, пожалуй, труднее всего, потому что среди жителей, стоящих на тротуаре по сторонам площади, были и его коллеги по старой гимназии и друзья из Общества любителей хорового пения.

Даже Шика маршировал вместе со всеми, но в знак своей духовной отчужденности от всего происходящего нес в руке счетную линейку, на которую то и дело смотрел, а потом снова подымал взгляд к облакам, плывущим по небу; таким образом, каждый мог видеть: только ноги его участвовали в политике, шагая по булыжнику. Дух же его проник в более глубокие сферы, в сферы корней квадратных.

Старый Фриц и Ангельхоф шагали впереди под транспарантом, который несли два самых сильных и самых высоких студента факультета — передовик труда Бланк и футболист Тримборн.

Время от времени Старый Фриц целиком передавал руководство Ангельхофу, а сам выходил из колонны и пропускал мимо себя торжественное шествие, но вовсе не для того, чтобы принимать парад, а чтобы объяснить всем, что он сейчас заглянет к «Нетельбеку» — не прохлаждаться там, пока другие маршируют,

а возобновить переговоры с бургомистром и проверить, не готова ли крепость к капитуляции.

Бургомистр, как можно было понять из сообщения Вёльшова о результатах переговоров, был совершенно обескуражен этим чрезвычайным происшествием: демонстрация в его мирном городке, демонстрация своих людей, беспорядки, да еще из-за чего? Из-за подозрения, что он, бургомистр, способен поддержать реваншизм! А какое основание для таких подозрений? Он хотел действовать постепенно, убрать сначала самые зловредные фашистские названия улиц, затем названия, знаменующие военные победы и напоминающие о феодализме и пруссачестве, а уж под конец те, которые по своей природе, собственно говоря, невинны, но могли бы вызвать некоторые недоразумения. Постепенно и демократически — главное, демократически, а это значит, что решение выносит городской совет, ведь бургомистр в конце концов не самовластный правитель, он уполномоченный представитель демократического управления городом и государственной власти. И это должен понимать товарищ Вёльшов, понимать и уважать, а следовательно, призвать к порядку своих необузданных учеников.

— Разумеется,— сказал Старый Фриц в своем сообщении студентам, которые, сгрудившись вокруг него под транспарантом, проходили очередной круг по площади и, слушая, одновременно следили за тем, чтобы Вёльшов не упал, поскольку он, делая сообщение, шагал задом,— разумеется, я указал товарищу бургомистру на то, что вы не ученики, а студенты рабочекрестьянского факультета и не необузданны, а полны пролетарского нетерпения и уж ни в коем случае не неучи какие-то, которых можно «призвать к порядку», а замечательные представители нового, благодаря энтузиазму которых свет разума и сила знаний станут всенародным достоянием. Но в вопросе о демократии мне, разумеется, пришлось согласиться с товарищем бургомистром. Все вы, конечно, помните не хуже меня, какой урок мы извлекли в прошлом году из статьи центрального органа о самокритичном отношении к одной редакционной ошибке. Этот урок поистине незабываем.

Конечно, они все прекрасно помнили. Три дня подряд прорабатывали фраза за фразой редакционную статью «Нойес Дойчланд», и если бы все зависело от Ангельхофа, то выучили бы ее наизусть. Статья называлась «Самокритичное отношение к одной редакционной ошибке» и послужила поводом к тому, что весь факультет в течение трех дней подробно обсуждал вопрос о сущности демократии.

— Эти редакторы,— сказал тогда Ангельхоф,— наши редакто-

ры, и ошибки их — это наши ошибки, а значит, мы должны занять с ними единую самокритичную позицию.

Казалось, каждый студент РКФ и каждый преподаватель РКФ сам лично пропустил слово «демократическая» в газетном сообщении, хотя на самом деле эту ошибку допустили даже не редакторы газеты — их проступок состоял в том, что они не заметили отсутствия этого слова, когда принимали сообщение телеграфного агентства.

Разумеется, можно было бы, пожалуй, сослаться в свое оправдание на то, что слово это — хотя оно и выпало из напечатанного текста сталинской телеграммы — осталось в многочисленных комментариях по поводу этой самой телеграммы, опубликованных в том же самом номере газеты. Но тогда этот пропуск был серьезным упущением.

Среди последствий этого упущения была и статья «Самокритичное отношение к одной редакционной ошибке», и трехдневная дискуссия на факультете о сущности демократии, о происхождении слова «демократия», о его первоначальном значении и об изменении этого значения, о демагогическом использовании его буржуазией и монополистами — с обязательной оговоркой о той первоначально безусловно прогрессивной роли, какую сыграло это понятие примерно в середине девятнадцатого столетия,— об искажении его значения рейнскими сепаратистами и, наконец, о воплощении его в жизнь в новом государстве рабочих и крестьян. Ведь в телеграмме Сталина что было сказано? Не просто: да здравствует единая независимая миролюбивая Германия,— а совсем другое: единая независимая демократическая миролюбивая Германия. Тут есть разница. Но об этой разнице и речи не было ни в комментариях, ни в выступлениях, опубликованных в газете, так как их авторы имели перед глазами полный текст телеграммы. И вдруг слово это выпало, да еще в центральном органе; последствия было трудно предвидеть, и все это послужило нам наукой.

Роберту казалось, что даже теперь, двенадцать с половиной лет спустя, он может в любой момент сделать доклад об истории слова «демократия». И ему вполне хватит материала, почерпнутого в той трехдневной дискуссии.

Однако с таким же успехом он мог бы, использовав тот же самый материал, да еще, правда, упомянув о некоторых обстоятельствах дискуссии и демонстрации на Помернплац, дать описание одного из самых характерных проявлений догматизма.

Он наверняка не преувеличивал, предполагая, что случайный пропуск в телеграмме Сталина — эта небольшая оплошность переутомленного редактора — дал толчок к интенсивнейшим об-

суждениям и уточнениям сущности демократии не только на их факультете, но и на всех других факультетах страны, и не только во всех университетах, но и во всех школах, на большинстве предприятий, во всех парторганизациях и, уж конечно, на собраниях каждой группы Союза свободной немецкой молодежи, как и на многих других собраниях. Общий уровень понимания сущности демократии во всей стране значительно повысился после опубликования статьи «Самокритичное отношение к одной редакционной ошибке».

Этот результат наверняка не терял своего значения даже перед лицом того факта, что во всех этих самобичеваниях, как и в повышении общего уровня сознательности, был, в сущности, повинен один-единственный разиня. Но столь же достоверно было и то, что не у одного только студента Када от всего этого голова пошла кругом.

Даже на факультете Кад был далеко не единственным, кто заметил отсутствие слова «демократическая» в телеграмме Сталина, опубликованной в газете, и его присутствие в комментариях, и не он один спрашивал, не исправлено ли уже, собственно, то, что искажено в документе, подробными разъяснениями, помещенными в том же номере.

О, Ангельхоф объяснил ему, что к чему! Уж не воображает ли господин студент, что он умнее, чем товарищи из центрального органа? Может быть, он считает, что редакторы не знали, что делают, когда заявляли о своем самокритичном отношении? А задумывался ли он когда-либо вообще над ролью Советского Союза? Или ему вовсе нет дела до создания единой независимой демократической — да, демократической! — миролюбивой Германии?

Кад попробовал было объяснить, что он имел в виду, задавая свой вопрос, но это ему не удалось. И тогда он замолчал и стал изучать вместе со всеми сущность демократии.

Однако полгода спустя, во время демонстрации на площади, когда Старый Фриц напомнил о ноябрьской дискуссии, выяснилось, что Кад и до сих пор далеко не все еще понял. Он много думал, заявил он шагающему перед колонной спиной вперед Старому Фрицу, целые полгода думал об этом, и все-таки он должен сказать, что тогда явно перегнули палку. Так много шуму, а из-за чего?

Тут уж и Ангельхоф повернулся лицом к колонне и зашагал спиной вперед.

— Ах, так, значит, вот оно что,— зашипел он,— выходит, твое тогдашнее заявление о согласии было лицемерным. Ты сделал вид, что все понял и со всем согласился, Кад, только для того,

чтобы прекратить дальнейшее выяснение. Тебе, Кад, захотелось мелкобуржуазного спокойствия, захотелось, чтобы тебе не мешали в твоих планах, не так ли? Каковы же они, твои истинные планы, Кад? И почему ты ставишь этот уже исчерпанный вопрос именно сейчас, в этой революционной ситуации? А ну-ка выскажись, Кад! Тебе не нравится, что мы хотим изменить название этой площади? А может быть, у тебя такое задание — я не спрашиваю, от кого ты получил это задание, пока еще не спрашиваю! — чинить препятствия уничтожению в нашем городе опорных пунктов реваншистского мировоззрения, одним из которых является название этой площади? Теперь не время разбирать это неслыханное дело — мы не позволим остановить нас в нашем революционном начинании подобными провокациями. Но мы еще поговорим обо всем этом, Кад!

Они так и не поговорили об этом — ни об этом, ни о чем-либо другом.

Кад, фамилия которого с того времени звучала на всех собраниях почему-то как Гад, на следующее утро исчез, и никто больше никогда ничего о нем не слыхал.

Помернплац в то же воскресенье, уже во второй половине дня, была переименована в площадь Освобождения; бургомистр — разумеется, после того, как его уполномочил на то городской совет, нарушивший ради этого свой послеобеденный покой, — собственноручно повесил картонную табличку с новым названием, прикрыв ею старое, реваншистское. На фоне такого успеха потеря механика Када была не так уже заметна.

Сейчас, шагая по этой площади, Роберт расценивал все несколько иначе. Он, правда, не считал, что название «Помернплац» могло оставаться и до сих пор — ничего особенно хорошего в нем не было, — но вот механик Кад действительно должен был бы остаться. Теперь Роберт понимал гнев секретаря райкома Хайдука, увы, запоздалый.

Хайдук узнал обо всем только в понедельник, вернувшись с совещания в областном комитете. Он был вне себя от ярости.

— Да вы что, все там с ума посходили? Какого черта вы разыгрываете ультрареволюционеров, ваше дело — учить дроби, стихи и русский язык, а по возможности еще и испанский! Вы что, черт побери, не нашли себе важнее забот, чем эта дурацкая Помернплац? Да, конечно, название надо сменить, разумеется! Но сперва смените-ка себе головы. Себе да еще нескольким миллионам своих дорогих земляков! Но эта задача вам кажется недостаточно великой — так, что ли? Пустяки, маленький переворот в головах, уж с этим-то мы справимся! И отправляетесь топтаться на площади. День там проторчали — и реваншизма как

не бывало! А что при этом один-два человека убегут — не в счет. Вы ведь совершили революцию! И кому только взбрела в голову эта идиотская идея!

— Мне,— сказал Роберт и поспешно добавил: — Я был в плену в Польше, там над воротами лагеря висел плакат: «Пленный, когда вернешься домой, борись против войны!» Вот что!

— Исваль, ты задавала, вот что! Борись против войны, но не устраивай цирка. Изучай физику или хоть польский язык, пока башка варит, а потом делай котлету из реваншистов! Только не размахивай красной тряпкой, не дразни быков — их все равно тут нет! И Када тоже — или как там его зовут, этого парня!

— Да ведь не я же его стращал, товарищ Хайдук, это Ангельхоф.

— Да, разумеется, ну а что же ты молчал, ты ведь так здорово умеешь разглагольствовать. Раз вы говорите, что Кад порядочный парень, прилично учился и вся его вина только в том, что он всегда хотел во всем получше разобраться, то почему же вы вчера не остановили Ангельхофа? Может быть, Ангельхоф правильнее судит о Каде, чем вы, но ведь вполне возможно, что и наоборот. А вот теперь все это уже представляет только теоретический интерес: Када и след простыл, а настроение у вас на факультете, разумеется, великолепное, не так ли? Вы ведь выиграли грандиозную классовую битву, перекрестили площадь, подумать только! Да еще стерли о ее булыжник свои кожимитовые подметки! Теперь у нас есть площадь Освобождения! И одним будущим инженером меньше. Прекрасный расчет, santa madonna! Можете задирать кверху нос, когда будете шагать по своей площади Освобождения. Повторяю, Исваль, ты задавала.

— Согласен,— сказал Трулезанд,— но ведь Исваль не один маршировал по площади. Плакат со словами «Померания сожжена» писал я, доктор Фукс ставил точку с запятой, директор с товарищем Ангельхофом шагали впереди, а мы все следом за ними. Если здесь поднимают вопрос о том, кто является задавалой, то необходимо поднять и другой вопрос: «Кто не является задавалой?» И почему?

— Этот вопрос мы поставим,— сказал Хайдук.— Не беспокойся, amigo, как раз этот-то вопрос мы и поставим. В четверг вечером у меня заседание, которое я могу отменить. Вот тогда-то мы и устроим у вас собрание. Ну все, а теперь выметайтесь, а то мне влетит от Лолы!

В ресторане Роберт нашел свободный столик, сидя за которым можно было обозревать площадь Освобождения. На улицах он не

встретил ни одного знакомого и здесь тоже не видел пока никого, к кому мог бы обратиться по имени.

Для киносъемки было бы, пожалуй, достаточно заменить новые вывески и надписи старыми да выпустить на площадь толпу плохо одетых статистов. Но Роберт не стал бы смотреть этот фильм. Все дело свелось бы к фальшивым усам и наклеенным бородам — к фальшивой старой одежонке и фальшивому пафосу.

И вот это мы? Бодрячки, которым режиссер долго вдалбливал, что у них должно быть решительное выражение лица, набеленные статисты в сером послевоенном тряпье из костюмерной, неучи с глазами, устремленными в светлое будущее, получающие гонорар за хоровое исполнение «По долинам и по взгорьям»; хористки в модных бюстгальтерах под обтрепанными свитерами; юнцы, во имя искусства несущие плакаты; покорители истории во славу режиссера, Гансы Альберсы и Марики Рокк — «Гоп-ля-ля, совершим переворот в народном образовании! Ах, как интересно учиться!» Так это мы — верные сценарию носители транспарантов и прогресса, шагающие в шеренгах ради страсти сниматься в кино, изображающие для цветного фильма жажду к образованию в первые послевоенные годы?

Нет уж, друзья, лучше этот фильм не снимать!

Я не говорю уже о том, что в фильме, если он хоть в какой-то мере претендует на достоверность, должен быть соответствующий запах, хотя, возможно, это мой собственный бзик, знаменитый бзик Исваля, обладающего тонким нюхом, и на него не следует обращать никакого внимания. Да и технических условий еще нет для того, чтобы все это воплотить. А впрочем, вне сомнения, наступит время, когда в театральной афише рядом с именем дамы, что свяжет тот самый свитер для исполнительницы роли Веры Бильферт — правда, из лучшей шерсти, — рядом с именем парикмахера, который завьет кудри исполнителю роли Герда Трулезанда, и еще многими другими именами напечатают имя художника, ответственного за запахи. Но даже и тогда нелегко будет воссоздать дух той сцены, что послужила прототипом для этой. Дух воды, дух города и полей — вот на чем был замешан тогда воздух над Помернплац, и на том же он замешан теперь — воздух над площадью Освобождения. Талантливый запахокомбинатор мог бы, собственно, без труда это воссоздать. Однако стоп, осторожнее, друг носоублажитель, не так-то все это просто. Конечно, дух воды, дух города и полей во многом, по существу, остался прежним, но подумай сам, дорогой духооператор... По воде теперь идут корабли, впервые спущенные с верфи соседнего города, — ходовые испытания, проверка скорости лагом. А сколько здесь траулеров и сторожевых катеров народного

флота, которого в те времена еще тоже не существовало! И тебе еще здорово повезло, дорогой мой ароматор, что в фильме твоем дело происходит в марте, а значит, и съемка будет, надо думать, в марте — по крайней мере тут пока нет белых пассажирских пароходов, на которых совершают водные прогулки отпускники, а не то пришлось бы тебе отфильтровать вместе с другими запахами и запах солярки, чтобы получить добрый старый прозрачный воздух — чистый дух воды, дух прежних лет.

Да и с духом полей, уважаемый коллега духотворец или как уж там позволишь тебя величать,— да и с духом полей придется тебе еще порядком помучиться: ведь и он уж не тот, каким был в пятидесятом. Итак, снова бери свой фильтр и очищай воздух от гари солярки, сейчас март, уважаемый ароматных дел мастер, а в марте, как известно, крестьянин запрягает свою лошаденку. Но лошаденку в этих краях встречаешь все реже и реже, да и крестьянин уже не тот, каким был на милых старых картинках, где он еще пахарь и сеятель и вид имеет возвышенный и назидательный. Теперь в марте один крестьянин залезает на сеялку, а другой садится за руль трактора, к которому она прицеплена, и оба они состоят в сельскохозяйственном кооперативе, а в кооперативе том не один трактор, а вокруг города с площадью Освобождения не один такой кооператив. И потому дух полей над площадью теперь уже совсем не тот, и без фильтра тебе никак не обойтись.

Кроме того, не мешало бы тебе осведомиться, не носит ли ветер в марте над полями мельчайшие частицы калия, азота и других искусственных удобрений. Если да, то давай сюда свое сито, уважаемый духокомбинатор,— их необходимо отсеять, чтобы получить воздух прошлого, потому что в марте пятидесятого года не была еще принята программа химизации сельского хозяйства, а с другой стороны, репарации... Но ведь это ты и сам знаешь.

Теперь остается еще дух города. Тут уж тебе не отделаться одними фильтрами да ситами: тут придется не только отсеивать, но и добавлять.

Вот, например, механизация. Ее, конечно, придется удалить из воздуха, если хочешь сделать его достоверным.

Или возьмем другое: швейная фабрика, мебельная фабрика, расширение пивоварни. Все это пахнет на свой лад, и все эти запахи должны быть удалены.

Долой из воздуха над площадью Освобождения аромат натурального кофе! Добавить в воздух над Помернплац запах суррогатного кофе с примесью цикория! Долой запах сала с жареным луком, долой запах масла — добавить сюда... господи, да

неужели это всерьез называлось тогда маргарином!.. Выдувайте отсюда — да нет уж, лучше не будем! — благородный дым «Варнова» и «Ориенте» и напускайте побольше дыма «Особой смеси», самосада и — о дар друзей! — доброй старой махорки!

И это все, что пахнет антиисторично, и это все, что носилось тогда в воздухе?

Почти все, измученный представитель сектора запахов. Теперь тебе осталось только попросить женщин, пересекающих площадь Освобождения, на некоторое время, точнее говоря, на время съемок, ограничить до минимума употребление духов «Черный бархат», смывки для лака и бадузана; теперь осталось только отнять у ребятишек изделия фирмы «Лилиенмильх» и одновременно попробовать убедить их, что вот эти кислые, как уксус, липкие серые куски глины с надписью «РИФ» тоже мыло — «право же, из песка можно не только куличики делать, он годится и для кожи, и если потом хорошенько смыть его водой, то вместе с ним сойдет и мыло, а вместе с ним и кожа, а вместе с ней и грязь». А мужчин, живущих возле площади Освобождения, тебе придется уговорить вернуться на время съемок к старому способу бритья, а то еще в воздухе над Помернплац не окажется одного из важнейших компонентов.

Ну, теперь, кажется, все в порядке?

Да, пожалуй, что так; теперь пахнет вполне реалистично, и для того, чтобы пахло именно так, а не натуралистично, друг мой завносом, нам придется оставить без внимания — уместно ли говорить в данном случае о внимании? — городскую свалку, которая в те времена была, так сказать, темным пятном на лице города. А также забудем о пекаре на Помернплац, об этой скотине, который смазывал противни керосином, а на сэкономленном растительном масле жарил себе пончики.

Ну наконец-то для того, у кого есть нос, чтобы нюхать, дух города, дух полей, дух воды снова таков, каким он был в один из мартовских воскресных дней пятидесятого года над площадью и над несколькими сотнями демонстрантов, шагавших по ней. Да, еще нужно добавить к этому букету запахов те испарения, что подымались в небо над колонной; и это не так уж мало.

Здесь, на площади, дышали, курили, потели, а когда мартовский дождь падал на вигонь или на грубую шерсть, на воротники из кроличьего меха, на непромокаемые куртки ребят и на платочки девушек, на шляпы преподавателей, на лица и руки, он поднимался паром, пахнувшим всем, чем угодно, только не фимиамом, и уж ни в коем случае не лаврами победителей.

Но довольно о запахах и о духе; Роберт Исваль не обмолвится больше ни словом на эту тему, однако он позволит себе

высказаться по поводу еще некоторых проблем образного воплощения этой исторической сцены.

Во-первых. Если уж вы непременно хотите снимать этот фильм, то ни в коем случае не делайте его цветным, друзья мои. Право же, никакой пестроты в те времена не наблюдалось. Берите контрастные цвета — белый и черный; с их помощью вы сумеете сохранить, почти во всем, верность подлиннику.

Правда, транспарант — транспарант был из красного кумача. Но кто же из ваших зрителей представит себе его иначе? Если вы показываете лозунг над толпой, то давать цвет уже совершенно не обязательно. Это сделает за вас публика: она знает жизнь и знает ваши фильмы.

А что еще было красного цвета? Пустяки, всего несколько пятен! Платок на голове Ирмхен Штраух, бусы Розы Пааль, галстук директора и лицо Ангельхофа, когда он произносил фамилию Кад, словно Гад,— стоит ли ради этого идти на затраты? Даже губной помады, и то было мало в те времена, в марте на Помернплац.

Да и другие цвета были представлены очень скупо. На двух девушках были одинаковые синие дождевики, время от времени кто-нибудь из ребят сморкался в носовой платок в бело-голубую клетку, преподаватель истории Рибенлам шагал в парусиновых брюках, выкрашенных в желтый цвет, картуз Мейбаума, сдвинутый на отсутствующее ухо, был тоже линяло-желтого цвета; зеленого было чуть побольше — на некоторых девушках зеленые юбки, кое на ком из парней зеленые куртки, и непромокаемый плащ Якоба Фильтера был густого довоенного зелено-лесничьего цвета, так же как и — правда, всего на одну треть — длиннющий шарф Трулезанда (на остальные две трети коричневый), собственноручно связанный его бабушкой. Но зато капюшон его дождевика был серым, и серый цвет был вообще преобладающим в этой картине.

К чему же тогда ради столь узкого спектра тратить столь дорогую цветную пленку?

Во-вторых. Если вы собираетесь делать звуковой фильм, то запаситесь сильными микрофонами для толпы на площади. Потому что, если вы ограничитесь микрофоном, едущим впереди колонны, вам мало что удастся разобрать. Правда, вы услышите, как Старый Фриц рассказывает о своих переговорах с бургомистром и как Ангельхоф бросает в лицо Каду-Гаду резкие вопросы. Но настоящий шум толпы вы сможете уловить только в середине колонны.

Ваша звукозапись не представит никакого интереса, если вам не удастся уловить роскошный бас футболиста и рыбака Трим-

борна, распевающего песни о небе Испании, и о битве под Мадридом, и о дивизии, которая шла по долинам и по взгорьям, и о том, что «все мы люди, не дадим нас бить в лицо сапогом», и о кронштадтских матросах, и о молодежи, у которой теперь есть цель впереди.

Ваша звукозапись не представит никакого интереса без высокого сопрано Веры Бильферт, которое как-то не подходило ко всем этим боевым песням и в котором при исполнении «Песни стройки» почему-то слышалось: «Как пошла к колодцу я...»

Она не представит никакого интереса без ничем не оправданных веселых выкриков. Квази Рика между куплетами, какие он издавал всякий раз, когда у него хватало на это дыхания.

И это еще всего лишь пение, а ведь здесь не только поют, во время демонстрации протеста против одиозного названия площади. Здесь смеются, выкрикивают, шепчутся, спрашивают и отвечают, спорят и флиртуют. Рассказывают разные истории и анекдоты. Там отпускают меткое словцо насчет какой-то шляпы в толпе зрителей, стоящих на тротуаре; тут жалуются на голод, а тут проклинают дождь. Пересказывают целые диалоги из фильмов: кто из «Чапаева», кто из «Светлого пути». Трулезанд размахивает руками, изображая сабельные удары конников в «Буре над Азией», а Роберт Исваль показывает, как коровы в «Веселых ребятах» звонили в звонок. И тут все запевают марш «Веселых ребят» — одни поют, другие изображают оркестр.

Два учителя русского языка углубились в дискуссию о старославянском; доктор Фукс вспомнил стихотворение, очень подходящее к сегодняшнему дню:

Холодного ветра дыханье
Прогонит ночную тень,
И снова боль и страданье
Несет мне грядущий день.

Вера Бильферт рассказывает в начале нового круга по Померниплац, как она везла своих младших братьев в ручной тележке по Померании; Герд Трулезанд кричит подавальщицам из «Дома Нетельбека» свое неизменное «Хелло, девочки!»; Гейнц Громоль просит Олли Бервальд перечислить ему латинские вокабулы; Хартмут Нагель и Дитер Кноль повторяют вслух полезные ископаемые Лабрадора; Лили Пфау опять быстрее решает задачу, чем длинный Бернхейер, а Лизхен Штоль и Герд Людвиг поспорили из-за того, имеет ли Библия отношение к общему образованию; Герд говорит, что никакого, а Лизхен чуть не ревет; Герхард Тротцки описывает Ханне Пацвальд вкус табака из мать-и-мачехи, а Карл Гейнц Эбелинг любезничает с

Ильзой Кединг, и вдруг все эти диалоги обрываются, потому что Квази Рик командует: «„На баррикадах под Мадридом“!.. Три-четыре!»

И они поют, и вы можете записать это на вашу пленку. Но вы не можете записать на нее то, что они думают.

А потому, в-третьих, бросьте-ка вы, друзья, эту затею!

О, Роберт Исваль хорошо знает, что вы хотите сказать. Вы хотите сказать, что в таком случае вообще надо оставить затею делать фильмы — ведь еще не изобретены микрофоны, улавливающие мысли. А бормотание с неподвижными губами, внутренний монолог, услышанный всеми при помощи голоса за кадром, давно уже набил оскомину. И потом, вы хотите сказать или, вернее, спросить с едва сдерживаемым возмущением, что, в конце концов, все это значит? Уж не намекает ли этот господин Исваль, что демонстранты на Помернплац думают нечто прямо противоположное тому, что они поют и говорят? Нет, Роберт Исваль вовсе не хочет это сказать, хотя есть, конечно, отдельные случаи... Только спокойно, не стоит волноваться; он сейчас все разъяснит.

Вот, например, этот самый Кад. В эту минуту он как раз поет: «Есть цель у тебя впереди, и ты не заблудишься в жизни...» Он поет это четко и громко, хотя точно знает, что, как только кончится песня, Ангельхоф снова набросится на него и станет произносить его фамилию как название какого-то отвратительного пресмыкающегося и будет засыпать его вопросами, которые так и прилипают к человеку навсегда, и если бы они могли обрести какую-то форму, то это наверняка было бы пятно, вернее, большая клякса. Кад поет: «Ты знаешь, что делать тебе, чтоб лучше жилось и привольней!» — а сам в этот момент вовсе не знает, что ему делать.

Его научили здесь думать, во всяком случае, думать больше, чем он думал до сих пор, и на уроках истории у Рибенлама он получает пятерки за хорошо поставленные вопросы, но вот он чего-то не понял, задумался, спросил, потому что не хочет заблудиться в жизни, потому что впереди у него есть цель, такая же, как и у всех остальных, и он не понимает только одного этого вопроса. И вдруг его имя начинает звучать так, словно он не человек, а змея. И наверно, то, о чем он думает, не вполне созвучно с песней, которую он поет.

А вот некий Карл Гейнц Рик, прозванный своими друзьями Квази.

Он руководит здесь пением, следит за тем, чтобы не сбивались ряды и чтобы все шагали в ногу. Он запевает «На баррикадах под Мадридом», а сам тем временем, возможно, уже представляет

себя в Гамбурге за стойкой.

Э, нет, это предположение Роберт берет назад. Ведь Квази скрылся за стойкой не на следующий день после демонстрации; еще два с половиной года он учился на факультете и был не только гордостью доктора Шики из-за выдающихся способностей к высшей математике, он был хорошим товарищем и дружил с Робертом Исвалем, он достиг совершенства в имитации античного красноречия и так любил студентку медицинского факультета, а позднее врача Хеллу Шмёде, словно знал, как близка разлука.

Нет, Квази Рик не мог тогда, на холодном мартовском ветру, от серого рассвета до победного послеполудня думать ни о чем другом, кроме как об устаревшем названии площади и о песнях, способных его смести.

В общем и целом мысли демонстрантов совпадали с тем, о чем пелось в их песнях, и с тем, о чем они говорили. И все же без их мыслей этой сцене не хватало бы объемности и глубины, и потому Роберт Исваль не хотел бы увидеть ее в фильме.

Ему захотелось бы встать и крикнуть во время сеанса: «Поглядите-ка вон на того, господа, в зеленом плаще лесничего! Это Якоб Фильтер, удивительный человек. Теперь он занимает высокий пост в лесном хозяйстве, сидит в министерстве и из-за всех лесов, которыми он управляет, не видит ни одного зеленого деревца. Но тогда он был лесорубом и студентом РКФ. Тогда он как раз научился писать «ложка» через «ж», и, пока он там шагает, он все думает об уроке по биологии, потому что никак не может запомнить классификацию насекомых, хотя как никто другой был знаком в своем лесу со всеми, кто летает и ползает. Однако естествознание — это еще не самое худшее. Тут ему кое в чем помогает его опыт и даже дает иногда преимущество перед остальными; но ведь есть еще девять других предметов, один сложнее другого, а уж немецкий язык и вовсе книга за семью печатями. Дело не в грамматике, ее при большом старании можно еще кое-как усвоить, и не в правописании — тут надо упражняться и упражняться. Но вот что непостижимо для Якоба Фильтера: почему человеку, который хочет научиться выращивать молодняк и бороться с вредителями леса, надо начинать с заучивания Мерзебургских заклинаний. У него нет никакого интереса к чудесам, никакой фантазии, он не может понять, почему доктор Фукс мучает его Парсифалем и почему недостаточно выучить наизусть «Вперед, заре навстречу» и оставить Вальтера фон дер Фогельвейде сидеть на его символическом камне, пока тот к нему не прирастет. «А, чтоб его волки сожрали!» — с горечью сказал тогда Якоб Фильтер, а уж до связного пересказа у него дело так и не дошло. Этот удивитель-

ный человек — как ни невероятно это звучит, когда речь идет о немецком ребенке, выросшем в немецком лесу, — не прочел в своей жизни ни одной сказки. Такого не бывает, скажете вы, дорогие кинозрители? А вот и бывает. Не берусь утверждать, что это бывает часто, но с Якобом Фильтером было именно так.

А теперь ему пришлось пересказывать здесь, на факультете, запутанные истории и в день демонстрации повторять про себя на ходу отряды класса насекомых, и части, на которые в свое время распалась Галлия, и отношения между внутренними и внешними углами треугольника, и шесть падежей русского слова «вольность», и законы Солона, и при всем этом еще петь: «По всем океанам и странам развеем мы алое знамя труда!»

Все это Роберт Исваль хотел бы добавить к изображению на экране Якоба Фильтера и еще разъяснить зрителям, которые ведь ничего обо всем этом не знают, понятие «дерзать».

Так вот, господа, вы, конечно, спрашиваете себя, что заставило приемную комиссию принять на факультет этого удивительного, совершенно невежественного человека. Мне это неизвестно, могу только догадываться.

Я догадываюсь, что Якоб Фильтер показался директору Вёльшову прототипом того самого «темного, неученого», о котором он так много говорил стихами и прозой; я могу предположить, что Ангельхоф увидел в нем свой педагогический идеал — я думаю, что оба преподавателя русского языка, поглядев на этого мекленбургского мужика, сразу вспомнили всю русскую литературу и, вдохновившись примером, подали свои голоса за его прием; я полагаю, что доктор Фукс, испуганно выслушав нечленораздельные ответы Якоба Фильтера и почувствовав, какие мучения предстоят ему как учителю, согласился тем не менее, чтоб его приняли, только потому, что не счел возможным терпеть такое невиданное невежество; и я знаю почти наверняка, что Шика разглядел зачатки логики в его пробной контрольной работе по арифметике, а на Рибенлама произвели сильное впечатление долгие паузы между вопросами и ответами, свидетельствовавшие о работе мысли.

Все они увидели в сидевшем перед ними Якобе Фильтере не что иное, как смутную надежду, но они увидели ее, и хвала им за это; а также и за то, что благодаря им этот Якоб Фильтер получил полное среднее образование, и, хотя его никак нельзя было назвать одним из самых сильных в их выпуске, слабым он тоже отнюдь не был. Но прежде всего хвала им за то, что они умели дерзать во время получасового вступительного экзамена и быть придирчивыми и неотступно требовательными в течение трех суровых лет обучения.

Вот об этом-то и хотелось бы Роберту Исвалю заявить в кинозале, пусть даже с риском, что это вызовет только недовольство зрителей и ему укажут на дверь... А ему так много надо было бы еще рассказать!

В сущности, все демонстранты были очень похожи на Якоба Фильтера. У всех у них в этот ветреный мартовский день было еще много чего на уме, кроме таблички с новым названием площади, текстов песен и равнения рядов.

У всех у них были свои страхи, свои заботы — каждый нес их с собой, шагая по площади. Маленькие страхи: единица по географии, непонятная химическая формула, непостижимая перегласовка; большие страхи: один, маршируя здесь, под дождем, вспоминал о том, что твердо обещал жене уж в это-то воскресенье обязательно приехать домой; другая среди шума и суеты вдруг снова понимала, что она слишком стара для всего этого — уж лучше бы она осталась продавщицей; третий написал в анкете не всю правду и думал о дне разоблачения, до которого надо использовать каждый час, учиться, бешено учиться... Четвертый ума приложить не мог, как дожить до стипендии и вообще как с ней быть, с этой нищенской стипендией, четвертью его прежнего заработка часовщика. И все это только ничтожная доля больших и малых страхов, а страх был далеко не единственным чувством, не совсем вязавшимся с песнями, маршировкой по площади и тем, что послужило для этого поводом.

Тут было, например, и чувство с прекрасным, но трудно произносимым названием,— чувство, которое не выносят обычно на арену политических действий. Ну, имело ли в самом деле отношение к протесту против названия «Помернплац» то обстоятельство, что Роберт с такой жадностью слушал рассказ девушки в свитере грубой вязки, словно то, что она рассказывала, было самой неслыханной историей на свете? Рассказ же этот и вовсе не имел к Помернплац никакого отношения, просто местом его действия была Померания. Девочка везла по ней в ручной тележке своих братьев, дело было пять лет тому назад. Померания пылала и дымилась, девочке Вере было четырнадцать лет — а ноги до чего болели!

Роберт Исваль громко пел вместе со всеми; он пел в знак протеста против политически неверного названия площади, он пел за призыв над воротами польского лагеря для военнопленных, и за Ванду и Дануту — своих учительниц; он пел потому, что пелось так легко, когда впереди была цель, и Трулезанд, и Карл Гейнц Рик, и Якоб Фильтер шагали рядом, а в толпе на тротуаре многим — это было по ним здорово заметно — не очень-то нравилось такое пение.

Роберт Исваль слушал Старого Фрица, который, пятясь задом, делал сообщение о своих переговорах с бургомистром, и одновременно Ангельхофа, разоблачавшего Када и произносившего его фамилию, словно имя гада ползучего; он слушал описание сцены на лестнице из кинофильма «Броненосец «Потемкин», и диалог о стратегии и тактике между Чапаевым и его комиссаром, и анекдот про то, как в самолете летели Сталин, Трумэн и тот англичанин... Этот анекдот он слышал сегодня уже в двенадцатый раз, зато в первый раз он слышал спор учителей русского языка о твердом знаке в старославянском и далеко не в первый — речь Герхарда Тротцки о преимуществах табака из мать-и-мачехи, мнение Лизхен Штоль о Библии, возглас Трулезанда «Хелло, девочки!» и команду Квази «Три-четыре!».

Но совершенно новым был для него среди всего этого шума звук голоса, повествовавшего о девочке и ее братьях в полыхающей огнем Померании. Совершенно новым было и то, что с некоторых пор этот голос перестал ему казаться чересчур высоким и каким-то неуместным рядом с гудящим басом футболиста Тримборна, особенно в песне: «Вперед же по солнечным реям...»

Шагая по Помернплац, болтая и распевая песни, Роберт Исваль все время задавал себе один и тот же тревожный вопрос: нет, что же это, черт возьми, происходит, почему это он с некоторых пор, примерно с полудня, все старается отстать от первых рядов колонны и оказаться в середине ее, поближе к девушке в чересчур широком свитере и с чересчур высоким голосом — да и история ее про Померанию, в сущности, довольно банальна,— поближе к Вере Бильферт, швее.

«Уж не... уж не хочешь ли ты сказать,— думал он,— что в ней что-то есть, в этой задавале, стриженной под мальчишку, в этом скороспелом математическом даровании, в этой худенькой, как подросток, насмешнице, уж не... Тебе еще надо разобраться с той, большеглазой... Тебе надо уплатить по счету самому себе...»

Но было уже поздно... и все это тоже должно бы войти в сцену демонстрации на Помернплац в ветреный мартовский день. И так как вы, киношники, неспособны уместить на ваших кинолентах все эти разнообразные слова, а тем более чувства, мысли, запахи, я еще раз решительно вам советую: бросьте-ка лучше эту затею!

— Наконец-то,— сказал Роберт Рибенламу, который осторожно сел на стул, стоящий против Роберта,— только зря ты крадешься на цыпочках, я не сплю, это у меня просто вид такой.

— Здорово, Роберт,— сказал Рибенлам.— Что привело тебя в наш городок?

— Чистая сентиментальность.

Они пожали друг другу руки, и Роберт рассказал ему о предстоящей речи и задуманной серии статей.

— У тебя не сохранилось никакой связи с факультетом?— спросил он.

— Из студентов я никого теперь не знаю. Последний мой выпуск был в прошлом году, а из товарищей по работе остался один Мейбаум. Но с ним мы никогда не были близки.

— А теперь ты заведующий районным отделом народного образования?— улыбнулся Роберт.— Нравится тебе это дело?

— Нравилось, но я уже целый год как на другой работе. Встань навытяжку: перед тобой заведующий областным отделом школ. Я приехал сюда по делу.

— Черт возьми,— сказал Роберт,— широко шагаешь. Может быть, ты еще и штудиенрат?

— Бери выше. Оберштудиенрат,— ответил Рибенлам.— Я педагогическое светило. Ты что же, не знал этого?

— Да уж откуда мне? А может, я у тебя когда-то учился?

Рибенлам усмехнулся:

— Верно. Я об этом иногда вспоминаю, читая твои статьи. Тогда я вздыхаю и задаю себе вопрос: «И где только была его голова в те времена?»

— Итак, ты теперь заведующий областным отделом и оберштудиенрат,— констатировал Роберт.— Да здравствует умелое распределение кадров! А у нас ведь немало вышло деятелей. Передовик Бланк — какая-то крупная шишка в совете народного хозяйства. Ирмхен Штраух — тоже какой-то деятель от педагогики. Якоб Фильтер — главный лесничий или что-то в этом роде. Уж не особый ли это немецкий путь развития — «республика деятелей»?

— Все шуточки,— сказал Рибенлам,— а ты не отделался от своих дурных привычек. Да, можешь пополнить свой перечень: Хелла Шмёде — деятель медицины, недавно заменила доктора Гропюна в тубдиспансере, он что-то немного расклеился. Она, правда, не с нашего факультета, но, помнится, тогда вы с ней водили компанию.

— Да, особенно Квази.

Рибенлам поглядел на часы:

— Немного времени у меня еще есть, а потом придется пойти на заседание. Обмен опытом, тут ведь только и делают, что экспериментируют. Как думаешь, запах водки выдохнется?

— Может, у них есть зубровка, она пахнет, как вальдмейстер-

ский лимонад. Так, значит, тут много экспериментируют? И всерьез?

Рибенлам заказал зубровку и спросил:

— Что значит «всерьез»? Ты, наверно, уже забыл, что самый смелый педагогический эксперимент всех времен произошел именно здесь? Эксперимент под названием «Воспитание Роберта Исваля»?

— Нет, не забыл,— сказал Роберт.— Только мне не совсем ясны его результаты.

— Не всегда все удается,— сказал Рибенлам.— Но школы в нашем районе самые лучшие. Выпьем за них! И вообще за этот городок.

— Почему бы не цыпить? Выпьем.

— Исваль, ты задавала.

— Это твое личное мнение или цитата?

— И то и другое. Что уж к тебе прилипло, то твое. Кто же это приклеил тебе такое милое словечко?

— Сначала Вера, потом Хайдук, а потом и все подхватили. Я и сам не знаю почему.

— Так и не знаешь?

— Так и не знаю. Налить еще «лимонаду»?

— Да нет, лучше не надо. Теперь я выпью крепкого кофе. Серьезно, у нас есть все основания обвести золотой рамочкой название этого города. Почему? Да потому, что все мы здесь многому научились. А это самое лучшее, что вообще можно сказать о каком-либо городе.

— Ты энтузиаст.

— Да, энтузиаст. Ну и что же? Без этого в моей профессии не обойтись. Я всегда подсмеивался над Вёльшовом и над его пунктиком насчет неучей — да будет ему земля пухом,— но что касается вашего уровня, то вы сюда и впрямь поступили темными, неучеными, и разве не здорово мы вас тут обработали? Теперь вы всевозможные деятели во всех отраслях знаний и сами делаете историю.

— Ну уж историю!..

— А что же еще? Кто построил семивратные Фивы? Забыл, что ли?

— Нет, насчет этого ты нас здорово вышколил, потому-то ты теперь и заведуешь областным отделом школ. Но вот с тех пор, как я получил телеграмму Мейбаума, у меня не выходит из головы эта речь. Я знаю, от меня ждут чего-то эпического, а мне приходит в голову одно только смешное.

— Что ж тут удивительного, у вас есть все основания смеяться.

— Ты имеешь в виду эдакий белозубый хвастливый смех победителей: «Ага, уж теперь-то мы деятели!»

— Вот именно. А что тебя тут задевает? Если ты не хочешь держать речь, откажись от поручения. Тогда ты будешь сидеть в актовом зале, скрестив на груди руки, и слушать кого-нибудь другого. Да еще твердить про себя, что ты сказал бы гораздо лучше.

— Давай-давай! Скажи мне еще «интеллигент».

— Нет уж, поостерегусь. Это, пожалуй, недостаточно оригинально. Теперь так говорит всякий, кто хочет помоднее выругаться. Может, пойдешь со мной на конференцию учителей? По крайней мере увидишь, что у других есть свои заботы. В педагогике сейчас происходит не меньше потрясений, чем в Африке. Вдруг тебя это увлечет, и ты станешь учителем.— Рибенлам снова взглянул на часы и заметил: — Ну, мне пора. Я живу тут у нашего Фукса. Будет время — заходи вечером, не то я как-нибудь загляну к тебе в Берлине. А пиво у тебя есть в погребах?

— Нет, но зато магазин в двух шагах. Слушай, я был бы очень рад, и Вера тоже.

— А, Вера Бильферт, швея! Передай ей привет. Мне всегда хотелось ее разок поцеловать, но ваша проклятая мораль... Вы так строго следили, ты и Герд Трулезанд.

— Да, он тоже. Ну, если б я знал, что и ты на нее заглядываешься...

— Тогда ты предложил бы послать меня учиться во Вьетнам и женить на Ирмхен Штраух, а? Э, нет, брат, это бы не прошло. Я уже выучился, и потом, посмотри на мою лысину. Ну ладно, Роберт, будь здоров. Передавай привет Вере, я зайду как-нибудь, если угостишь пивом.

— Будь здоров,— сказал Роберт,— пропесочь там как следует своих педагогов.

Рибенлам пошел за пальто, и, когда он, уже направляясь к выходу, проходил мимо столика Роберта, тот спросил:

— А ты правда не знаешь, что случилось с Квази?

— А ты меня разве об этом спрашивал?— сказал Рибенлам.

— Я теперь тебя спрашиваю,— ответил Роберт,— ведь ты, в конце концов, был нашим секретарем, когда он исчез.

— Конференция! Опаздываю... Точность мы унаследовали от пруссаков. Не ломай голову над Квази Риком. Для твоей речи он все равно не годится. Ну, будь здоров!

Рибенлам ушел. А Роберт никак не мог понять — показалось ему или Рибенлам и в самом деле ускорил шаг?

«Ну конечно, это не только померещилось»,— решил он. Так

бывает со всяким, кто таскает за собой груз непреодоленного прошлого — впрочем, это выражение чрезмерно драматично. Кое-какие неясности — это еще не непреодоленное прошлое. Когда человек оглядывается на свою жизнь, в которой все упорядочено и разложено по полочкам, то, наверно, понимает, что прожил скучную, пассивную, ленивую жизнь. Да и вообще сомнительно, возможна ли такая жизнь в этом мире, в котором на каждом шагу попадаешь в затруднительные положения и ловушки. Когда как следует пороешься в самом себе, наверняка наткнешься кое на что, от чего кровь бросится в лицо. Причины для стыда всегда найдутся, да и воспоминания, от которых хочется убежать как можно дальше. Все это естественно. Естественно, однако, и то, что задаешь себе вопросы и не убегаешь от ответов, как бы они ни были тебе страшны.

Мы оставили Када один на один с его страхом — не только с его страхом перед Ангельхофом, но и со страхом перед нами. Мы оказались не лучше Ангельхофа. Мы были не глупее его, только менее опытны. Но мы молчали, а он говорил. Почему исчез Квази — никому не известно, возможно, это не наша вина, да, вполне возможно, но с Кадом история другая. Мы вернулись с площади Освобождения на факультет невероятно довольные собой, невероятно крикливые; за ужином мы держали речи, будто дело шло о баррикадах в Веддинге, мы вставали с гордо поднятой головой, словно на лбу у нас были пропитанные кровью повязки. Мы ничего не замечали. У нас было все в порядке. И то, что Кад сел один в темном углу, показалось нам его личным делом, и то, что он так никогда уже и не вышел из темного угла, — мы-то тут были при чем? Победители часто очень высокомерны, а особенно одержавшие не слишком уж крупную победу. Там, где одержана победа, потерь не считают. Победа была одержана и в борьбе за Веру Бильферт, швею. Победителя звали Роберт Исваль, а потерей была дружба. В течение многих лет он не ощущал потери, но теперь вдруг ощутил ее. Он вспомнил о ней, обдумывая предстоящую речь, в которой надо было говорить об успехах и славных делах, победах и победителях. Вначале казалось, что это воспоминание принадлежит тебе одному. Но потом выяснилось, что его хранят многие — да еще как хранят! Трактирщику Рику оно служит лекарством от тоски по родине, и оберштудиенрат Рибенлам тоже о нем не забыл. А Трулезанд? Как ладит он со своей женой, которая досталась ему, так сказать, по политической необходимости и благодаря хитрости Роберта Исваля? Может быть, он все еще думает о Вере

Бильферт? Думает ли синолог доктор Герд Трулезанд о Вере Бильферт, которая когда-то была швеей, а теперь стала специалистом по глазным болезням? Думал ли он о ней все эти семь лет в Пекине и Шанхае? Был ли он мысленно с ней, когда ездил с другой к Великой китайской стене, пролетал над пустыней Гоби или пересекал реку Хуанхэ? И что он думал все это время о Роберте Исвале? Одно по крайней мере ясно: как о друге он о нем больше не думал. Он никогда не писал ему, и тогда, перед отлетом, говорил с ним не как плотник Трулезанд с электриком Исвалем, не как Герд с Робертом, не как товарищ с товарищем, а как кто с кем? Как человек, слишком поздно закончивший свое образование, не видевший за свою жизнь ничего, кроме двух-трех городков на берегу Балтийского моря, и теперь, выполняя общественное задание, отправляющийся далеко на восток. Подмастерье, который только недавно выучился писать без ошибок на родном языке и теперь во имя международной солидарности должен учить китайский; пригожий паренек с черными кудрями, которого любили девчонки и который сам любил девчонок, но в этот час — одну только Веру Бильферт, а она об этом и знать не знала; студент рабоче-крестьянского факультета, который три года назад пошел на штурм твердыни науки, словно красный матрос на штурм Зимнего, и никак тогда не предполагал, что ему придется овладевать культурой дальних стран, и что для этого ему понадобится семь лет, и что на этом придется потерять любимую девушку и лучшего друга; этот Герд Трулезанд стоял на аэродроме и говорил члену комиссии по проводам:

— Желаю успеха, Исваль!

Роберт не хотел ехать на аэродром, но Рибенлам спросил его, уж не трусит ли он ко всему прочему, и тогда Роберт впервые понял, что не один Трулезанд разгадал все и видит его насквозь. Тогда он вскочил в автобус, предчувствуя, что с ним произойдет примерно то же, что с Хагеном, убившим Зигфрида, с Хагеном, от одного присутствия которого из убитого вновь начинала сочиться кровь.

Не раз случалось чудо на памяти людей:
Едва лишь приближался к убитому злодей,
Как раны начинали опять кровоточить.
Так удалось и Хагена в то утро уличить*.

Раны Трулезанда не кровоточили, и все же, когда Роберт и Трулезанд подали друг другу руки, а Трулезанд сказал: «Желаю успеха, Исваль!» — не так это было далеко от «Нибелунгов».

Из всех прощавшихся на аэродроме самой счастливой была Роза Пааль. Правда, она улетала на семь лет в Китай, так далеко

* Перевод Ю. Б. Корнеева.

и так надолго. Но Китай был дружественной и сказочной страной, да и все это было сказкой, чудом: впервые девушка из Клейн-Бюнцова, птичница, получила полное среднее образование. И кончила на одни пятерки, господин бургомистр. И Клейн-Бюнцов выходит теперь на мировую арену благодаря Розе Пааль! Что скажете, господин хозяин лесопильни, наш Клейн-Бюнцов летит в Китай, наша Роза отправляется в Пекин, там будет изучать — возьмите себя в руки, фрау пастор,— китайский язык, и это наша Роза из Клейн-Бюнцова!

Но то была лишь маленькая часть чуда, а большая его часть называлась — Герд Трулезанд. И к тому же новый заграничный паспорт с новой фамилией, звучавшей так удивительно,— Роза Трулезанд; Роза Трулезанд, урожденная Пааль. В один прекрасный день — да когда ж это было, вчера, позавчера или неделю назад? — ее неожиданно вызвали с занятий в дирекцию. По дороге через двор она проверила свою совесть и нашла ее совершенно чистой, и все же кого бы не взял страх: переступив порог директорского кабинета, она увидела группу мужчин, представлявших собой, судя по выражению их лиц, какую-то важную комиссию. Но Старый Фриц помог ей преодолеть замешательство:

— Добрый день, товарищ Пааль! Садись, садись и срочно измени выражение лица. Здесь тебе никто ничего плохого не сделает. Наоборот, мне кажется, мы можем тебя обрадовать. Да садись же, а вот и кофе, ты ведь любишь кофе, не правда ли? Всех товарищей, присутствующих здесь, ты знаешь, кроме разве что товарища Вигга, представителя министерства. Ведь дело, которое мы хотим с тобой обсудить — разумеется, обсудить по-дружески,— очень важное. Ты тут главное действующее лицо, ты и еще один человек, но сейчас речь пойдет только о тебе. Однако я все еще вижу на твоем лице тревогу, и мне это понятно, это понятно нам всем: любой из нас на твоем месте, сидя вот на этом стуле, чувствовал бы себя точно так же. Поэтому я хочу поскорее пояснить тебе, о чем идет речь, и ты увидишь, что дело это хорошее, прекрасное дело, я бы даже сказал, великое дело. Ты выразила в своей анкете желание изучать после окончания нашего факультета романскую филологию в Берлинском университете, и, конечно, нам нечего возразить против этого. Мы были с этим согласны, мы и сейчас с этим согласны, но нам кажется, что мы нашли для тебя кое-что получше. Разумеется, очень важно, чтобы наша молодежь, над которой когда-то здесь смеялись, которую называли темной, неученой и которой хотели отказать в праве на знания,— чтобы эта молодежь овладевала иностранными языками и зарубежной

литературой. А ты, как сообщил нам товарищ Ангельхоф, за несколько лет сумела достичь прекрасных результатов в латыни, и мы с радостью послали бы тебя в Берлин изучать романские языки, но... Теперь позволь мне перейти к тому делу, о котором я уже говорил. Спрашивается, нет ли в лингвистической науке еще более важных отраслей знания, чем романские языки? Что, например, сказала бы ты о китайском языке? Я вижу, ты испугалась. Ты не раз слыхала о десяти тысячах иероглифов, да еще очень сложных, и тебе, вероятно, кажется, что выучить их невозможно. Но спроси-ка себя: разве еще совсем недавно ты не думала точно так же о латыни, разве не была ты испугана, не приходила в отчаянье? Вот видишь. А теперь ты в самые ближайшие дни получишь — уж выдам тебе эту тайну ради столь необычного случая — свидетельство об окончании, там в графе «Латынь» будет стоять блистательная пятерка. В связи с исключительными обстоятельствами, которые собрали нас всех в этом кабинете, я разрешу себе пойти еще дальше и сообщить, что на том месте, где обычно выставляется общий итог экзаменов, в твоем аттестате будет также стоять блистательная пятерка. Студентка РКФ Роза Пааль закончит свое полное среднее образование с общей оценкой «пять», собственно говоря, уже закончила. Это решение непоколебимо и ни в коем случае не будет зависеть от результата нашего дружеского разговора. Я хочу тебе сказать это сразу, чтобы ты не думала, что мы заключаем тут с тобой какую-то сделку. Итак, уже по успеваемости твоя кандидатура очень подходит для выполнения плана, о котором мы тебя сейчас поставим в известность. И мы твердо надеемся, что ты его одобришь. Мы — я имею в виду министерство, представленное здесь товарищем Виггом, а следовательно, мы все — получили от китайских друзей бесценное приглашение: прислать в Пекин двоих товарищей, имеющих среднее образование, для изучения синологии — языка, литературы, истории и культуры Китая. И нам хотелось бы — вот теперь-то ты все и узнаешь! — чтобы одной из этих двоих была ты. Ну, я так и знал, что ты обрадуешься, ведь это просто мечта, правда? Да мы и мечтать об этом не смели! А теперь мечта превращается в действительность, потому что в Китае победили коммунисты и а теперь у нас с ним дружба на вечные времена. Не стану скрывать, что китайские товарищи поставили нам довольно строгие условия: они хотят — я думаю, ты поймешь это, — чтобы в их страну приехали самые способные и самые лучшие! Поэтому в том, что выбор пал на тебя, большую роль сыграли не только успехи в учебе, но и твое происхождение. Ты родилась в деревне, а Китай — аграрная, крестьянская страна. У тебя нет

родственников за границей и в Западной Германии, а это тоже одно из условий, поставленных китайскими товарищами, короче говоря, ты словно создана для этой замечательной миссии. Если ты дашь согласие, то в ближайшее время, возможно даже уже через неделю, ты отправишься в далекое путешествие. Не обязательно решать сию же минуту, ты должна взвесить все обстоятельства. Скажу тебе сразу, что обучение там будет длиться несколько дольше, чем это принято у нас, а именно — семь лет. И ты, конечно, понимаешь, что из Пекина в Бюнцов не съездишь на лето в отпуск. Но если я правильно истолковал твой кивок, ты тем не менее хочешь принять это прекрасное поручение. Для всех нас здесь это большая радость. И мы тебя понимаем! Теперь я должен сообщить тебе еще одно условие наших китайских друзей. Это условие ты оценишь по заслугам, если вспомнишь, на какой долгий срок рассчитано обучение. Ехать ты должна не одна, это было бы плохо — и из-за тоски по родине, и по многим другим причинам. И надеюсь, ты поймешь меня правильно, если я скажу тебе с удовлетворением, что ты сильно развилась за немногие годы учебы на нашем факультете. Речь идет не только о твоем духовном развитии и образовании. Как пожилой человек, я, думаю, вправе тебе сказать, что ты и внешне очень похорошела, что ты повзрослела, а это имеет самое прямое отношение к тому вопросу, к которому я сейчас перехожу. Итак, я перехожу к еще одному условию китайских товарищей: они приглашают к себе двух студентов, но не двух девушек или двух юношей — что, впрочем, и так ясно, ибо мы ведь уже, как видишь, выбрали тебя,— а студента и студентку. Студентка — это ты, остается решить, кто будет студент. Но прежде чем перейти ко второй кандидатуре, а вернее говоря, для того, чтобы перейти к ней, мне придется остановиться еще на одном условии, поставленном нам китайскими товарищами. Принимая во внимание большое расстояние от родины и долгое время, необходимое для обучения, и учитывая определенные естественные требования человеческой природы, наши друзья из Пекина сообщают нам, что, по их мнению, посланные к ним студенты, ну да, эти посланные к ним студенты должны быть мужем и женой. Да нет же, не смотри на меня так разочарованно, мы знаем, что ты не замужем, знаем это так же хорошо, как и то, что ты вполне соответствуешь всем остальным поставленным нам условиям. Однако если бы мы исходили только из этого последнего условия, то наш факультет, к сожалению, вынужден был бы ответить отказом на почетное предложение китайских товарищей. У нас, правда, есть две супружеские пары, но они не отвечают остальным требованиям, и потому вопрос о них совершенно отпадает. Я говорю о

супругах Клут. Успеваемость их — разумеется, это между нами — не дает оснований ждать, что они легко усвоят столь трудные предметы. А супруги Зенгер отпадают по другим причинам, о которых я тебе сейчас скажу. По успеваемости и по общественной работе и он и она — образцовые студенты, но у Герберта Зенгера двоюродный брат живет в Висбадене, и, кроме того, он еще представитель торговой фирмы. Поэтому мы не можем предложить их кандидатуры нашим китайским друзьям, не нарушив требования пролетарской бдительности. Таким образом, получается, что у нас, собственно говоря, нет никого, кто мог бы принять почетное предложение Пекина, а это очень и очень огорчительно. Я вижу, что и тебя это огорчает. И вот мы, я имею в виду партийное руководство, решили — на эту мысль натолкнул нас один из членов партийного комитета, студент,— спросить тебя, не захочешь ли ты взять на себя эту почетную миссию. Во время нашего разговора ты уже не раз дала нам понять, что готова на это, и теперь нам осталось решить еще один вопрос — вопрос довольно своеобразный и весьма деликатный: найти подходящего студента, который поехал бы вместе с тобой на семь лет в Китай в качестве твоего мужа. Ну, наконец-то слово сказано. Я вижу, тебе немного не по себе. Но поверь, мне и самому немного не по себе, да, наверно, и всем остальным товарищам здесь тоже. Не каждый день все-таки посылаешь людей в Китай, и не каждый день выступаешь в роли свата. А мы, дорогая моя Роза Пааль, сидим перед тобой именно в этой роли. И мне, как главному оратору, поверь, немного страшновато: а так ли я с тобой говорю? Ведь мне никогда в жизни не приходилось быть сватом, а тут еще столь необычные обстоятельства. Так вот, придется задать тебе сейчас вопрос: согласна ли ты отправиться по нашему поручению в Китай с одним молодым человеком, студентом твоей же рабочей группы, к которому ты, как мы знаем от товарища, натолкнувшего партийное руководство на это решение, питаешь дружескую симпатию,— итак, согласна ли ты отправиться вместе с ним в Китай в качестве его супруги? Теперь наступает самый ответственный момент: я должен назвать тебе имя этого студента. Самый ответственный и самый острый момент, потому что студент из партийного комитета мог ведь и ошибиться, говоря о твоей дружеской склонности, ее может вовсе и не быть. Поэтому я спрашиваю тебя, Роза Пааль, согласна ли ты уехать на семь лет в Китай, выйдя замуж за своего товарища и сокурсника Герда Трулезанда? Да? Согласна? Ты киваешь, правда молча, но все-таки киваешь, и мне кажется, что твой кивок — от всего сердца. Это хорошо, это прекрасно, и мы все на это надеялись,

все этого ждали. Мы еще покажем тем, кто столетия подряд объявлял нас незрелыми и неучеными, мы покажем им, что бывают решения, которые могут изменить весь мир! Но что это? Ты вдруг помрачнела, ты становишься все мрачнее и мрачнее, что это, испуг или сомнение? Сомнение, не правда ли? Какого же рода это сомнение? Сейчас попробую угадать. До сих пор ты со всем соглашалась, следовательно, до сих пор тебе все было ясно. Но теперь появилось сомнение, и я, кажется, догадываюсь, какова его природа. Ты задаешь себе вопрос — совершенно естественный! — как отнесется ко всему этому тот, кого тебе так поспешно пришлось представить в качестве мужа, да и знает ли он хотя бы о том, что в ближайшие дни должен стать твоим мужем. Я вижу, что угадал. И могу ответить на твой вопрос: да, с ним мы уже говорили вчера на заседании бюро. Мы сказали ему: все зависит теперь от Розы Пааль, если она скажет «да», отпразднуем свадьбу и затем отправим двух выпускников нашего факультета в Китай. А до тех пор, сказали мы ему, помолчи, товарищ Трулезанд, и если выяснится, что Роза Пааль по какой-либо причине не согласна, тогда, товарищ Трулезанд, придется тебе забыть про этот разговор, забыть навсегда. А теперь, дорогая Роза Пааль, я хочу сообщить тебе, чтобы не оставалось никаких неясностей, что тебя бы мы также попросили, если бы ты отклонила наше предложение, забыть про этот разговор, забыть навсегда. И тогда б мы тебе сказали, что с товарищем Трулезандом мы еще об этом не говорили — ведь иначе вам обоим пришлось бы потом очень трудно. Как видишь, мы все продумали, и мы счастливы, потому что товарищ Трулезанд согласился еще вчера, а ты согласилась сегодня. Это значит, вы поедете на семь лет в Китай мужем и женой, нашими посланцами. Мы с радостью благословляем вас на это, и я даже чуть не сказал «аминь!».

И Роберт Исваль тоже мысленно сказал: «Аминь!» Ибо Роберт Исваль сидел среди сватов, затаив дыхание во время длинной речи Вёльшова, ибо, разумеется, это он был тем студентом из партийного комитета, которому пришла в голову столь счастливая идея, и для него согласие Розы означало больше, чем триумф факультета,— оно давало ему полную свободу действий, хотя и обрекало на угрызения совести. «Аминь» было для него самое подходящее слово.

Все это случилось десять лет назад, летом 1952 года. И теперь, весной 1962 года, Роберт Исваль, вспоминая об этом, спрашивал себя, была ли та история про Розу и Герда, и про Веру и Роберта,

и в особенности история про Герда и Роберта трагической или комической. Трагично ли это, когда человеку не достается та, которую он любит, потому что другой тоже мечтал о ней и получил ее? Трагично ли это, когда человек получает ту, о которой он и думать не думал? Если свести все дело к столь абстрактному построению, то от трагедии не останется и следа, да и смешного тут, собственно говоря, ничего нет. Может быть, это просто в миллионный раз повторенный древнейший спектакль в театре человеческой жизни? И только одно удивительно: как прежде, так и теперь он волнует публику. Например, студента РКФ Рика и трактирщика Рика так же, как преподавателя РКФ Рибенлама и оберштудиенрата Рибенлама.

В миллионный раз? Да, и миллион — это не такая уж большая цифра, когда речь идет о том, что некий Б мечтает о некой А и некий В тоже мечтает об этой А, однако ему, В, достается Г. И этим еще тоже ничего не сказано. Когда кто-нибудь находится при смерти и умирает, то в этот час с ним случается точно то же, что до него уже случалось с миллиардами людей, но разве ему от этого легче умирать?

Смерть, как известно, ничуть не теряет своей значительности оттого, что она удел всех, точно так же как и жизнь; и любовь тоже ничего от этого не теряет. Потому что — тоже, как известно, — всякий раз это происходит с другим человеком и всякий раз по-другому. Летом 1952 года был вновь разыгран этот древний спектакль, но с новым, неповторимым составом действующих лиц. Однако не только в этом была новизна происходящего. В данном случае Б действовал как подлец, потому что любовь оказалась для него дороже дружбы. А не отвергла подлеца, потому что видела только его любовь, а В махнул рукой и на любовь и на дружбу, потому что «дело» было для него важнее и того и другого. А Г ничего обо всем этом не знала. Но и это все было уже не ново, и такой вариант спектакля разыгрывался уже тысячу раз. Новым было здесь то, что Б и В были не только друзьями, но и товарищами по общему делу, а дело, ради которого В махнул рукой на любовь и дружбу, было главным делом жизни и для Б, и называлось это дело — социализм, интернационализм, пролетарская революция, рабоче-крестьянская власть. Новым было то, что Б это дело, которое составляло смысл всей его жизни, превратил во время одного заседания в средство борьбы со своим соперником. Новым было красное знамя, развевавшееся над сценой, новым и почти невыносимым для Роберта было то, что в заключительном акте, на аэродроме, оркестр исполнил для Розы и Герда мелодию на слова:

По всем океанам и странам развеем
Мы алое знамя труда.

Роза и Герд улетели в Китай, а Роберт Исваль поехал с аэродрома домой и передал привет всем на факультете, а год спустя женился на студентке медицинского факультета Вере Бильферт, бывшей швее. Этот год был добровольным испытанием: они хотели посмотреть, что получится, если они не будут больше учиться вместе и спать под одной крышей. Они хотели, как они заверяли друг друга, «вести себя разумно».

Для Роберта этот год, однако, значил гораздо больше. Он издевался над собой, мысленно называя себя вдовцом с обязательным сроком траура — а то ведь что люди скажут! Но вскоре это показалось ему самому попросту смешным, ведь никто, собственно говоря, не умер, а люди скорее удивлялись тому, что они с Верой ждут так долго. Только два человека вникли в это обстоятельство глубже — Квази и Рибенлам; но Рибенлам ни разу не сказал тогда обо всем этом ни слова, а Квази исчез. Да, этот год принадлежал Трулезанду. Хотя к чему это было теперь — Трулезанд далеко и женат на Розе Пааль. Но Роберт поклялся, что оставит Трулезанду возможность действовать в течение этого года. Если он напишет Вере, думал Роберт, и расскажет ей все начистоту, то хоть он и останется в Китае, женатый на Розе Пааль, зато может рассчитывать, что Вера Бильферт никогда не выйдет замуж за Роберта Исваля. А это уже кое-что, когда сидишь в Китае. Да и вообще, может же вдруг оказаться, что человек не в силах выучить язык Лао и Мао и органически не способен манипулировать кисточкой для туши и палочками для риса! Такого наверняка прицлют обратно, и суду понадобится никак не больше двух часов на бракоразводный процесс: четверть часа для обоснования своего решения и час сорок пять минут, чтобы разобраться в странных обстоятельствах этого бракосочетания.

Но Роберт знал, что Герд Трулезанд никогда не напишет Вере подобного письма. Он был не из тех, кто только задним числом понимает, что обманут; он был не из тех, кто, как некий Роберт Исваль, думает в конечном счете лишь о самом себе; он был из тех, кто, получив удар, не закричит — ведь ему от этого лучше не станет, зато другим станет хуже. Например, Вере Бильферт и в особенности Розе Пааль. А главное — делу. На Герда Трулезанда можно было положиться. И это была самая подлая мысль из всех, какие приходили Роберту в голову в течение этого года ожидания.

Как было все ясно и просто в тот дождливый день в марте пятидесятого года! Демонстрация кончилась. Помернплац была переименована в площадь Освобождения, все вымокли до нитки, все были счастливы, если не считать Када, но никто не заметил, как ему тяжело, все устали и были голодны, а у Роберта Исваля еще оставалась уйма неиспользованных талонов на мясо и на жиры.

— Ты что сейчас делаешь?—спросил он Веру Бильферт, и она в ответ только молча показала на свой промокший свитер.

— У Грёбеля еще топят,—сказал он,—а пока мы дойдем до общежития, ты схватишь чудовищный насморк. Ведь жар энтузиазма уже прошел. А у Грёбеля мы сядем к печке и используем мои талоны на мясо.

— Что ты знаешь о моем энтузиазме?

— Почти ничего, потому и говорю про талоны на мясо.

— Куда вы?—крикнул Квази.—Нам надо подвести итог!

— Нам тоже,—крикнул Роберт, обернувшись.

В закусочной Грёбеля он посоветовал Вере взять холодец.

— Здесь его можно есть не опасаясь. Больше нигде, только у Грёбеля. Дело в том, что у него зоб, и это, естественно, минус для его заведения. Зоб ведь очень мешает трактирщику. Для бухгалтера или владельца скобяной лавки зоб никакого значения не имеет, а вот для того, кто торгует едой и напитками,—это просто бич, даже в наше время. Зоб портит посетителям аппетит и вызывает у них подозрение. Такому трактирщику ничего больше не остается, как улучшать качество блюд. У Грёбеля можно есть все. Я, в частности, всегда ем холодец.

— Целиком полагаюсь на твой опыт,—сказала Вера, и он заказал холодец.

Она села на стул, поставив его боком, и прислонилась спиной к горячей печке.

— Когда высохнет спина, я обниму печку.

— Чертова печка,—сказал Роберт.

Она рассмеялась, а когда стала есть холодец, заметила, что теория Роберта кажется ей верной и впредь, прежде чем зайти в ресторан, она всегда будет осведомляться о внешних данных хозяина.

— Красивым я доверять не буду.

— Это я приветствую,—сказал Роберт и поправил очки.

— Ну и страшны же они,—сказала Вера,—выброси их поскорее.

— Не могу. Без очков ты, как говорилось выше, перестанешь мне доверять.

— Чушь. Сними, слышишь?

— Не могу. Мне придется мигать и щуриться.

— А если я тебя прошу снять очки?

— Тогда уж, видно, придется. Пожалуйста!

— Хм,— сказала она,— сразу помолодел на десять лет.

— Значит, мне четырнадцать,— сказал он и поскорее снова надел очки.— В четырнадцать я готовился к конфирмации. Но, во-первых, на церемонию я опоздал на полчаса — пастор сказал «четверть десятого», а мне почему-то показалось «без четверти десять»,— и я пришел тогда, когда другие стояли уже на коленях, успев принять святое причастие, а потом, оставив дома гостей, я отправился на площадь, где было гулянье, и вмиг растратил деньги, подаренные по случаю конфирмации. А во-вторых, брюки...

— А с ними-то что случилось?

— Это были первые длинные брюки в моей жизни и самые неудобные. До полдесятого я все еще бегал в коротких штанах, но мать настаивала на длинных. Настоящее принуждение. Наконец я натянул эти идиотские брюки и стал пробираться окольными путями в церковь, держась поближе к домам. Руки я засунул в карманы, чтобы выглядеть хоть немного спортивнее. Даже если бы конфирмация началась без четверти десять, я все равно бы опоздал. Целых десять минут стоял я перед дверью, не решаясь войти в церковь: из-за опоздания, а главное, из-за брюк. Внутри запели, и я решился наконец войти — теперь они ничего не услышат, да и не увидят, потому что уткнулись в свои молитвенники. Но когда я открыл дверь, пение как раз кончилось. А дверь была огромная, тяжелая и скрипела на всю церковь. Все обернулись, в том числе и ребята, стоявшие на коленях. Мать говорила, что, пробираясь вперед, к алтарю, я засунул руки в карманы по локоть. Я тоже стал на колени, и пастор, дав мне глотнуть вина, прошипел в ухо: «Исваль, ты чудовище!» Но все-таки конфирмация состоялась.

— По тебе не заметно, во всяком случае, когда ты без очков.

— Да оставь ты в покое очки. Мне подарил их сам Рокфеллер.

— Еще одна история? Ну, давай. Когда ты рассказываешь истории, ты очень мил.

— Ты понимаешь, что ты сейчас сказала? Ты понимаешь, что с этой минуты я только и буду делать, что рассказывать тебе истории — до скончания века. Ты сидишь возле печки и греешь спину, а я сижу перед тобой и подогреваю тебя рассказами.

— И тем временем мы едим холодец, который очень хорош, потому что у господина Грёбеля зоб. Ну, давай. Итак, в один прекрасный день приходит к тебе господин Рокфеллер и говорит, что ты так мил, сразу видно, только что с конфирмации, и вот он

решил подарить тебе свои очки...

— Нет, совсем не так. В один прекрасный день я поздоровался с деревом и, заметив, что оно не отвечает на мое приветствие, понял, что мне нужны очки. Я пошел к лагерному врачу — дело было в лагере военнопленных в Варшаве — и рассказал ему историю с деревом. Он показал на таблицу и велел читать буквы. «Я с удовольствием прочту,— ответил я,— только скажите, пожалуйста, господин доктор, где она, эта таблица?» Тут он сказал, что с моими глазами действительно что-то не в порядке, но помочь он ничем не может. В лагере больше ста человек нуждаются в очках — у русских солдат такая привычка: как берут в плен, так отбирают очки. У меня-то они ничего не забрали, у меня их и не было, но другие об этом говорили. Может, русские думали, что, кто без очков, тот не убежит. Во всяком случае, в лагере не хватало ста пар очков. Я пошел к Ванде, рассказал ей об этом, а она пошла к уполномоченному Международного Красного Креста, которого, правда, терпеть не могла, но не раз отлично использовала в подобных целях. Была устроена всеобщая проверка зрения, и через два-три месяца прибыли очки. Дяденька из Красного Креста объяснил, что их собрали для нас в Америке. Ну и экземпляры попадались. На каждом была наклеечка — с указанием диоптрий. Лагерный врач собрал нас всех в барак и стал сравнивать наклейки со своим списком. О размерах и фокусных расстояниях он и слышать не хотел — лишь бы диоптрии подходили. Некоторым даже пенсне досталось, и мои очки были еще далеко не самые дурацкие, но зато с широченной оправой — так уж мне повезло, потому что очередь до меня дошла только в конце. Почти все теперь кое-что видели в своих очках и, когда рассмотрели меня в моих рокфеллеровских окулярах, так и покатились со смеху. Правда, я сам хохотал, потому что и они все выглядели довольно дико — сотня ребят в самых идиотских очках.

— А твои, значит, были от самого Рокфеллера?

— Так я по крайней мере думаю. Рассуди сама, кто может себе такое позволить — черепаховая оправа в килограмм весом!

— Да, это, безусловно, был миллионер. Потому-то они тебе и не идут — ты ведь не миллионер. Ой, мне же еще физику учить!

— Жаль. Я что, плохо рассказал эту историю? Можно было, конечно, ее расцветить: когда первый нацепил очки, еще никто не смеялся, потому что никто еще ничего не видел; когда второй — то засмеялся первый, получивший очки; над третьим смеялись уже двое и так далее, а потом смеялись и те, кто еще ничего не видел: те, кто уже был в очках, описывали им других очкариков, и кто был без очков, смеялся еще громче тех, кто был

в очках. Ибо то, что рисует тебе фантазия, всегда производит более сильное впечатление, чем то, что видишь своими глазами. Так мне кажется.

— Нет,— сказала Вера,— ты очень хорошо рассказал.

— Правда?— переспросил Роберт, глядя, как она расправляет все еще мокрый свитер.— А насчет фантазии, как я теперь понимаю, это не всегда верно.

Они уплатили по счету и направились к выходу, и Роберт сделал попытку взять ее за руку, но она и слышать об этом не хотела.

— Я не знаю, как отношусь к тебе,— сказала она.— Когда ты рассказываешь, ты, правда, очень мил. Но ты жуткий задавала, и если бы я не была такая мокрая, я наверняка не стала бы есть с тобой холодец. Так и знай.

— Теперь я это знаю,— сказал Роберт.

Перед вертящейся дверью Вера спросила:

— Ты ждешь итогов?

Он ждал, скрестив руки на груди. Тогда она сказала:

— Первое: кажется, мне удалось избежать насморка. Второе: к Грёбелю я теперь буду ходить часто. Третье: о тебе я при случае подумаю. Четвертое: спокойной ночи!

— Бесспорно,— ответил Роберт.

Когда Роберт вошел в комнату «Красный Октябрь», Рик ковырялся в приемнике, Трулезанд сказал:

— Наконец-то! Квази сломал радио.

— Оно само перестало говорить,— тут же запротестовал Рик,— прямо посреди последних известий вдруг замолчало, и я ищу повреждение.

Роберт отстранил его.

— Иди, иди, жестянщик, мы позовем тебя чинить нужник, когда завалим дерьмом.

Все трое посмотрели на него, а Квази, тихонько присвистнув, заметил:

— С тебя марка. Или скажешь, что ты не выражался?

— Валяй записывай,— сказал Роберт,— хотя погоди, сегодня, я думаю, ты еще и не то услышишь!

Квази взял записную книжку, которую называл «Сторожевая башня», пока не узнал случайно, что так же называется газета «Свидетелей Иеговы». Он хотел записать проступок Роберта, но Трулезанд остановил его.

— Минуточку, на мой взгляд, этот случай подходит под дополнительный пункт «а». Прочти-ка его, Квази.

И Квази прочел:

— «Если установлено, что пережито тяжелое душевное потря-

сение, штраф может быть отменен. Однако состояние душевного потрясения считается действительным только в течение ограниченного времени — не более трех часов. В течение этого времени разрешается произнести три «выражения». Вышеуказанное состояние устанавливается общим голосованием».

Роберт отмахнулся.

— Бросьте, я заплачу марку. Я всегда был против похода Квази за моральную чистоту, но что поделаешь, под соглашением стоит и моя подпись.

— Тогда ты знаешь,— заметил Трулезанд,— что у тебя нет права голоса. Ну а все-таки, как ты сам считаешь, ты находишься в состоянии тяжелого душевного потрясения или нет?

— Нет,— ответил Роберт.

— Да у него от злости глаза на лоб лезут,— сказал Рик.

— А твое мнение, лесник?— спросил Трулезанд.

— Он злится,— подтвердил Якоб Фильтер.

Трулезанд снова обратился к Роберту:

— Не хочешь отвечать чистосердечно, поставим вопрос по-другому: о чем ты разговаривал со швеей?

— О моей конфирмации и моих очках.

— Правда?

— Правда.

— И что же она сказала? И что ты сказал, когда прощались?

— Она сказала: «Спокойной ночи!» — а я, кажется, сказал: «Бесспорно!»

— Таким же злым голосом, как сейчас?

— Вполне возможно.

Трулезанд взял у Квази записную книжку и захлопнул ее.

— Случай ясен. Марку вычеркнуть. Конфирмация, очки и ни слова о весне и о всем таком прочем. Выражение было употреблено в состоянии тяжелейшего душевного потрясения. Я считаю, если вас интересует мое мнение, что сегодня он имеет право еще на девять «выражений».

— Сойдемся на четырех,— сказал Квази Рик,— я согласен.

Якоб Фильтер кивнул.

Когда Роберт починил приемник, разрешенный запас «выражений» был уже исчерпан, и, как только зазвучала модная песенка, он подхватил ее вместе со всеми:

Когда зазвенят колокольчики...

Урок физики всегда проходил напряженно. Шика и без того был нетерпеливым преподавателем, а когда он манипулировал с проводами, рычагами и магнето, то был и вовсе невыносим. Этот

предмет выходит за рамки его профессии, заявлял он. Он математик, а не физик, а первое относится ко второму, как художник к маляру; как это можно заставлять специалиста по интегралам демонстрировать принципы действия термометра?

— Каждая доярка нынче знает, что между температурой и поднятием столбика ртути имеется связь. А кто хоть раз разобрал и собрал, например, велосипедное динамо, знает уже почти все об электричестве. Физика — наука о предметах обихода, и, в сущности, она служит ремесленникам. А я — мыслитель, уважаемые дамы и господа. Материя меня не интересует. И если уж физика сумела пролезть в науки, то исключительно благодаря великодушной помощи математики. Швырять вверх камни, а потом следить за их падением могут и обезьяны, но рассчитать этот феномен может только человек. Я решаю, и лишь благодаря этому я человек. Есть у кого-нибудь вопросы насчет этих магнето?

Всегда находился кто-нибудь, у кого были вопросы, и Шика отвечал с видом тигра, который не может постичь, почему ему приходится точить когти о какую-то дурацкую решетку, когда по ту сторону сияют столь аппетитные розовые лица. Шика давал требуемые ответы и пыхтел от досады.

В этот день рыбак Тримборн хотел знать, правда ли — вот он читал,— что раньше математика и физика не разделялись как науки?

— Утверждать сие определенно нельзя,— прорычал Шика.— Разумеется, многое в этих науках связано и переходит одно в другое, но решающая роль всегда принадлежала думающей голове и гораздо меньшая — манипулирующим рукам. Вот возьмите Фарадея. По внешним признакам его можно назвать физиком и химиком, ибо имя его связано со многими открытиями в этих областях. Но задумайтесь над тем, что говорит о встрече с Фарадеем пользующийся полным нашим доверием Гельмгольц, ибо он тоже физик и к тому же еще физиолог. Цитирую дословно: «Он показал мне все свои замечательные штуки. Их было немного, ему, кажется, хватало кусочка старой проволоки, дерева и железа для величайших открытий». Чего они друг другу показать не могли — так это то, что было в их черепных коробках, а именно там-то и была разгадка. Старая проволочка была только толчком, настоящим открытием был расчет. Я пойду еще дальше, уважаемые дамы и господа, я утверждаю, что пошлая материя только сбивает с толку гениальных мыслителей. Приведу пример из недавнего времени. Лауреат Нобелевской премии Энрико Ферми, физик-ядерщик, тем самым близко стоящий к проблемам математики, блестящий теоретик, без

которого, между прочим, была бы немыслима атомная бомба, хотел утеплить свой дом. Для этого он рассчитал эффект двойных рам. Однако полученный результат доказывал, что двойная рама вызывает значительное понижение температуры в комнате. Потом, однако, выяснилось: знаменитый ученый ошибся на одну запятую. Понимаете, что я хочу сказать? Блестящий теоретик, который нашел математические предпосылки для такого чуда научной мысли, каким, безусловно, является атомная бомба, пасует перед двойными рамами. А почему? Потому что речь идет о пустяке. Ферми тут выступает как танцовщик, которого послали работать грузчиком. Вы успеваете следить за ходом моей мысли?

— Нет,—сказал Трулезанд,—по-моему, двойные рамы полезнее атомной бомбы. Я это как плотник считаю.

— Первое,—сказал Шика,—мы договорились, господин Трулезанд, что если вы желаете выразить свое мнение, то поднимаете руку. Второе, я, как и прежде, осуждаю вашу манеру высказываться. И третье, при всем уважении к вашей профессии смею заметить, что польза меньше всего волнует ученого, а тем более математика, во время его размышлений. Разве иначе была бы изобретена атомная бомба?

На этот раз Трулезанд поднял руку и, когда Шика кивнул, сказал:

— То-то и оно.

Но Шика ему не спустил.

— Что значит «то-то и оно»? Извольте выразиться точнее.

— Могу. Я считаю, что если бы господин Ферми со своей великой головой больше интересовался тем, что получится из его расчетов, то он, может быть, из чувства ответственности ошибся бы на одну-две запятые при расчете атомной бомбы. Тогда бы эту штуковину не изобрели.

Шика прижал указку к носу и наклонился к Трулезанду.

— Синтаксическая путаница вашей речи соответствует путанице в ваших мыслях. Там, где думают о результатах, не может быть науки. Проблемы науки стоят вне общества и тем более вне политики. Ученые, которые вмешиваются в политику,—обычно посредственности в научном отношении.

— А Эйнштейн?—выкрикнул Роберт.

— Что Эйнштейн?

— Ведь он-то не посредственность.

— Надеюсь, что этот вопрос в обсуждении не нуждается.

— Нет. Но ведь Эйнштейн занимался политикой.

— Вот как? Тогда расскажите, господин Исваль, что вы знаете об Эйнштейне.

— Нам рассказывал об этом секретарь райкома Хайдук. Когда они были в Испании, им нужны были деньги, потому что война стоила дорого. И тогда собирали деньги во всем мире, и в Америке тоже. К Эйнштейну пришли и попросили у него рукопись его теории относительности. Ее хотели продать с аукциона за большие деньги. Но рукопись осталась в фашистской Германии. Тогда Эйнштейн написал все снова от руки для Испанской республики и таким образом добыл много денег. А ведь это политика, господин доктор Шика!

Квази Рик поднял руку и продолжил:

— Еще пример, господин доктор. Нам о нем рассказал тоже товарищ Хайдук. Жолио-Кюри изобрел для борцов Сопротивления в Париже бутылки с особой взрывчаткой, разве это не политика?!

Ирмхен Штраух напомнила о Стокгольмском воззвании, и на Шику посыпался целый град научных имен, а передовик Бланк имел дерзость напомнить доктору Шике, что и он сам подписал это воззвание. Но доктор Шика только снисходительно улыбнулся.

— У вас полная путаница,— сказал он,— как в выступлениях, так и в соображениях. Если разрешите, я распутаю сейчас этот узел. Первое. Содержание Стокгольмского воззвания — начнем хотя бы с этого,— собственно, и не политическое. Оно стоит над политикой. В нем речь идет не о партиях, а о человечестве. Политические вопросы в этом случае являются величинами, коими можно пренебречь. Это математическое понятие. Второе. Атомная бомба имеет по меньшей мере две стороны — научную и моральную,— и стороны эти не соприкасаются. С точки зрения морали эту бомбу следует порицать, с точки зрения науки — она высочайшее достижение человеческой мысли. Когда я подписывал воззвание, я выражал не мою научную, а мою моральную позицию. Третье. Когда Эйнштейн и Жолио-Кюри делали то, о чем сейчас здесь говорилось, они действовали из соображений нравственности. Их научный статус оставался при этом незатронутым. Кстати сказать, они так же являются отцами атомной бомбы, как и Ферми. Наука существует вне морали. Четвертое. Я удивляюсь вам, господин Исваль, вы привели здесь в пример Эйнштейна, но вы, по-видимому, не знаете, что его учение в Советском Союзе мало известно. Пятое. Прошу вас отныне избавить меня от подобных дискуссий. Я обязан преподавать вам математику и, к сожалению, физику. С политическими вопросами обращайтесь лучше к вашему господину Хайдуку, который, судя по всему, блестяще осведомлен в подобных вопросах. Пожалуйста, запишите: магнето постоянного тока...

Трулезанд поднялся и сказал:

— Разрешите еще один, последний вопрос по этому поводу, господин доктор.

— Дорогой господин Трулезанд,— ответил Шика, гнусавя, потому что прижал указку к носу,— если бы ваша назойливость распространялась и на математические проблемы, я выслушал бы вас с бóльшим терпением. Что вам, черт возьми, еще надо?

Трулезанд покраснел, и по его старательному произношению было заметно, как борется он с жаргоном штеттинского предместья.

— Вопрос такой: разве каждый человек, кем бы он ни был, физиком или, скажем, плотником, не обязан всегда думать о том, каков будет результат его действий для других людей, то есть для человечества? Я хочу сказать, разве не в этом человечность?

— Вы, видно, всякий раз, укрепляя балку, думали о человечестве.

— Да нет, но уж определенно о том, чтобы эта балка никому не свалилась на голову!

— Весьма похвально, дорогой господин Трулезанд, но это скорее не вопрос человечности, а вопрос профессиональной добросовестности. Кстати, я вижу кое-какие различия между работой плотника и работой ученого. Наука существует — и на этом мы закончим дискуссию — вне политической, идеологической и этической сфер. Математическое уравнение не имеет политической окраски. Его решение не зависит от общественной жизни. Верное решение не может быть ни человечным, ни бесчеловечным. И человек и человечность в данном случае величины, коими можно пренебречь. Ученый как человек, разумеется, не должен быть бесчеловечен, но как ученый он должен быть, так сказать, внечеловечен. Дискуссия окончена. Фрейлейн Бильферт, принесите нам, пожалуйста, магнето из шкафа.

Никто не обратил на Веру никакого внимания, потому что все ждали возражений Трулезанда. И потому никто не мог потом сказать, как это случилось. Даже сама Вера. Она говорила, что встала из-за парты, а потом очнулась в больнице, и сначала у нее даже не болела голова.

Вера упала, ударившись лбом о стекло шкафа, и, когда рыбак Тримборн ее поднял, все лицо ее и волосы были залиты кровью.

Квази Рик, стоя на стуле, отдавал приказания, словно заранее подготовился к этому событию.

— Всем оставаться на местах. Пальцами и носовыми платками не прикасайтесь. Лесник, встань с ней рядом — ей нельзя шевелиться. Тримборн, в доме номер одиннадцать живет врач, бегом! Герд, к вахтеру за аптечкой! Бланк и Рунге, на чердаке за второй

трубой стоят носилки! Исваль, мой руки! Посмотрим, чему ты выучился на своей дерьмовой солдатской службе.

Когда Тримборн вернулся с врачом, Вера уже лежала с перевязанной головой на носилках, а Квази исчез. Роза Пааль сказала, что ему, кажется, стало дурно.

Вчетвером они понесли носилки в дом доктора.

— Повязка хорошая,— сказал доктор,— но придется наложить швы. В этом вы мне помочь не сможете. Как это случилось? Она поскользнулась?

— Никто не видел,— ответил Трулезанд.— Зазвенело стекло, и вот она уже в шкафу. А пошла за магнето, у нас была физика.

— А-а... интересный предмет.

— Еще бы,— сказал Трулезанд.

Врач проницательно посмотрел на Роберта и спросил:

— Она ждет ребенка?

— Упаси бог,— сказал Роберт и услышал, как Трулезанд сказал то же самое.

Доктор равнодушно кивнул.

— Ну хорошо. Вы свободны. Если вас это интересует, могу сказать, что держались вы образцово. Девушку придется потом переправить в клинику, но ходить вам туда сегодня не следует, независимо от того, ждет она ребенка или нет. Всего хорошего, господа!

На улице Роберт спросил:

— Есть у кого непреодолимое желание идти сейчас на русский?

Рыбак Тримборн качнул головой.

— Сомневаюсь. А вот надо бы проведать Када, он, наверно, вчера простудился. Пошли, передовик? Они тут с матерью недалеко живут.

Роберт и Трулезанд поглядели вслед уходящим верзилам, и, только когда те скрылись из виду, Роберт сказал:

— Не думаю.

Трулезанд замотал потуже свой шарф.

— И я не думаю.

Они пошли к Городскому валу, и на площади Освобождения Роберт сказал:

— Может, вчера это было чересчур для нее.

— Ты про что — про демонстрацию и про дождь?

— А про что же еще?

— Да ни про что, если ничего больше не было.

— Ничего больше не было. Я ведь тебе сказал, о чем мы разговаривали: холодец, очки, конфирмация. Безобиднее ничего и быть не может.

— Может, слишком много впечатлений?

— На другой день?

— А может, она в тебя втюрилась?

— Да, и упала в шкаф с приборами, чтобы дать мне это понять. Так, что ли?

— Ну, знаешь, они иногда такие странные.

— А ну-ка приведи примеры из своего опыта. Может, какая-нибудь бросилась из-за тебя с колокольни в Штеттине?

— Во всяком случае, я ничего об этом не знал.

— Вот то-то и оно. И потом, если уж у кого из нас и пошла голова кругом, так это у меня. Еще сегодня за обедом в столовой со мной что-то сделалось, когда я ее увидел.

— Это я и без тебя знаю. Я ведь рядом сидел. Ты даже насчет супа ни слова не сказал.

— Доказательства неоспоримы, арестуйте меня, товарищ комиссар.

Трулезанд шагал немного впереди Роберта; помолчав, он сказал:

— Это я могу понять.

Роберт кивнул, но вдруг спохватился.

— Как это так, старик, ты можешь понять, когда я сам ничего понять не могу?

— А я могу. Ведь она что надо.

— Да уж молчал бы. У нас по крайней мере полдюжины девчонок куда красивее ее. У Розы Пааль, например, такие ноги, правда, слегка тонковаты, но мне все равно приятно видеть ее в шортах.

— А она ведь думает, что ноги — только для того, чтобы бегать.

— Возможно. Но когда-нибудь ей объяснят. И я не уверен, что она чересчур огорчится. Или, например, Ирмхен Штраух... если она изменит свой стиль... Ведь она просто прелесть!

— Безнадежно. Не могу себе представить ни одной части тела, при виде которой она бы не воскликнула: «Привет, дорогой товарищ!»

— Но что же такого в Вере?

— Ты что, маленько того,— сказал Трулезанд и постучал пальцем по лбу,— втюрился по уши, и я еще должен объяснять тебе, почему это? А почему ты пошел вчера с ней к Грёбелю и потратил все талоны на холодец? Уж это-то по крайней мере ты должен знать.

— Вот именно, что не знаю. Может, потому, что ее свитер... Какая-то она совсем не как остальные. Это будит любопытство.

— И она его удовлетворила?

— Да говорю тебе, основной темой была конфирмация.

— Ну что ж, тоже довольно интимная тема. Ну, какие у тебя намерения, старик? Пошлешь ей цветы?

— Ты что, спятил? Цветы? Может, мне еще пробор сделать? И потом, откуда их взять, цветы? Не посоветуешь?

— Claro,— сказал Трулезанд. Он толкнул садовую калитку, мимо которой они проходили, и потащил Роберта за собой. На медной дощечке, прибитой к двери коттеджа, было написано: «Профессор Эвердинг». Трулезанд позвонил и поплотнее укутал шею шарфом. Роберт остался стоять на нижней ступеньке высокого крыльца, но это ему не помогло. Потому что, когда сухонькая старушка отворила дверь, Трулезанд указал на него и заявил:

— Добрый день, фрау профессор! Вот это мой друг, он в полном отчаянии. Его невесту отвезли в клинику, и он хотел бы отнести ей цветы, но их нигде нельзя достать. А мы видели, что у вас на окнах прекрасные цветы. Не могли бы вы в виде исключения расстаться с одним цветком? Ведь вы знаете: радость — лучшее лекарство.

— Ах вы, студенты, студенты,— сказала старушка.— Ну и времена, даже цветов и то не найти! Но голь на выдумки хитра, да и любовь тоже. Подождите, сейчас принесу вам несколько альпийских фиалок.

— Эй ты, трепло! — сказал Роберт, но Трулезанд прошептал:

— Прорепетируй-ка вежливый поклон и попробуй сказать «милостивая государыня».

Это был настоящий букет. Трулезанд сказал, что он просто восхитителен, и попросил извинить молчаливость его друга — тот, мол, совершенно выбит из колеи. Он отвесил безукоризненный поклон, и Роберт тоже постарался соблюсти все приличия. Они почти бегом пустились по садовой дорожке, но у калитки Трулезанд обернулся и поклонился еще раз, а женщина помахала им рукой.

— С тобой можно дешево прожить,— сказал Роберт.— А что, без «невесты» нельзя было обойтись?

— Да как же иначе? Для «приятельницы» старая дама не расщедрилась бы. Это звучит так неприлично.

— Ну уж теперь она наверняка думает, что я готовлюсь стать отцом!

— А кто тебя знает?

— Слушай-ка, Трулезанд. Я вчера вечером вообще впервые в жизни был с ней наедине. Может, слегка в нее и втрескался, но она в меня наверняка нет. Она говорит, что я «задавала». Знаешь что, иди-ка ты к ней наверх и передай ей привет от класса, а

если хочешь, и от меня. А то как же это выглядит, старик? Сам подумай: я иду с ней к Грёбелю, потому что на улице холодно, а она промокла до нитки, гляжу на нее, поскольку она все-таки довольно хороша, и только из-за того, что на следующий день она хлопается головой о стеклянный шкаф, наши отношения должны считаться уже чем-то более серьезным? Это дешевка! И потом, я-то знаю, как это бывает — ты лежишь расквашенный на больничной койке, и вдруг открывается дверь и входит некто с цветами. Такие сцены ведут к недоразумениям. Иди-ка ты наверх, а я подожду здесь.

— Согласен,— сказал Трулезанд,— но ведь тогда получится, что дверь открывается и с цветами вхожу я. Если твоя теория верна, то недоразумение произойдет со мной, а я не уверен, что у меня найдутся душевные силы потом его разъяснить. Ты ведь знаешь, я считаю ее «что надо».

— Ладно, хватит,— сказал Роберт. И это прозвучало резче, чем ему хотелось.— Давай передадим цветы и приложим записку.

— Это разумно, но трусливо. Ты не считаешь?

— Ну хорошо, пошли наверх.

Дежурная сестра была из породы ведьм.

— Да что же это такое? — возмутилась она.— Не успела девочка в себя прийти, как являются толпы посетителей. Да еще не считаясь с часами приема! И речи быть не может! У нас тут не парк!

— Это уж наверняка,— сказал Роберт.— Да вы посмотрите на него, сестра, покупает на последние деньги цветы, а вы сами знаете, как их трудно достать. Но ему хорошо известно, что радость — лучшее лекарство. Поди-ка, Герд, попроси хорошенько сестру, встань на задние лапки!

— Это ему не поможет,— заявила сестра.

Но Трулезанд подошел к ней совсем близко и умоляюще прошептал:

— Ну пожалуйста, сестра!

И тогда она, вздохнув, сказала:

— О боже, какой соблазнитель! Ладно, на пять минут, не больше. Только не дотрагиваться! — Она удержала Роберта за рукав и спросила: — А вам-то зачем? Вам-то уж там и вовсе делать нечего!

Роберт осторожно высвободился.

— Нет,— сказал он,— это только на первый взгляд так кажется.

Трулезанд подождал его и первым пропустил в дверь. Они вошли в палату на цыпочках.

— Ну и видик у вас! Такие красивые! — сказала Вера Бильферт.

Роберт ответил, не успев даже подумать:

— А вот ты и правда красивая!

— Это пока повязку не сняли,— сказала она.— Я ведь ужасно тщеславна.

Трулезанд сделал успокоительный жест.

— Ничего, пустяки. Исваль всю дорогу меня уверял, что ты прелестнее всех в нашем общежитии. И он прав. А несколько царапин в счет не идут. Больно?

— Пока еще нет. Но потом будет. Мне кажется, они зашивали меня проволокой. Так тянет!

— Отдай-ка ей цветы,— сказал Роберт.— Видишь ли, мы ведь делегация и передаем* братский боевой привет от рабочей группы А-один и так далее.

— Брешет он все,— усмехнулся Трулезанд.— Это была его идея. И мы пришли сюда, потому что хорошо к тебе относимся и ты нам нравишься. Скажи, а ты часто падаешь?

— Доктор тоже меня об этом спросил. Но я и сама не понимаю, как это вышло. Я встала, а тут это стекло прямо как-то на меня наехало. Вы мне тоже нравитесь.

— Ах, как рады все вокруг,— сказал Роберт.— Ну, пошли, Герд, не то она еще передумает, а если мы просрочим свое время, сестра нас никогда больше сюда не пустит.

Они кивнули Вере, и в коридоре сестра сказала им, что если они всегда будут вести себя так хорошо, то могут приходить еще. Она не сводила глаз с кудрей Трулезанда.

У двери, ведущей из отделения, Трулезанд обернулся и зашагал по коридору назад — к сестре. Роберт подождал его на лестнице, и, когда Трулезанд вернулся и объявил, что дал исчерпывающее разъяснение насчет жениха и невесты и сегодня вечером заглянет к сестре в гости, у него отлегло от сердца.

— Представь,— сказал Трулезанд,— как повезло мне, бедному сироте. Она говорит, что живет одна в мансарде и сперва надо пройти через чердак, а там очень темно — как бы я не стукнулся головой. Видишь, как повезло!

— Еще бы,— сказал Роберт.

В гимназии во всех окнах горел свет, но до того часа, когда обычно прекращают подачу тока, оставалось уже недолго. Они опоздали и на второй урок русского языка и дожидались на школьном дворе последней перемены. Теперь оставалась только география. Но тут беспокоиться было не о чем. Дольф, географ, был прирожденным рассказчиком, и, чтобы не схватить двойку на его уроке, достаточно было хорошо помнить его рассказы о путешествиях и дальних странах.

— Ну, скоро конец этим уютным урокам в сумерках,— сказал

Трулезанд,—весна на носу! Чувствуешь запах?

— Еще бы, весна идет, прямо лавиной обрушивается, но вот не знаю, как мне к этому отнестись. Я, собственно, больше люблю осень. Да, быстро летит время. Ведь мы здесь уже целую вечность. И вот ответь мне, каков результат? Не могу сказать, чтобы я чувствовал себя намного умнее. Сравни: я проучился полгода у мастера, и тут его помощника забрали в армию, и хозяин стал посылать меня одного по вызовам, а счета мне оплачивали как электромонтеру. Вполне справедливо, впрочем, я работал не хуже его помощника. А здесь что? Даже по русскому засыпаюсь... Лесник и тот лучше меня справляется.

— Наглядная разница между старанием и ленью.

— Ладно, но разве я ленив? Я ведь даже по математике и то стараюсь, а она мне вовсе не по вкусу.

— Э-э, да Шика бы тебя просто изрубил на куски, а потом бы еще с тобой сфотографировался—указка вместо сабли, нога на твоем животе. А товарищ Толстоевский сам тебя боится.

— Толстоевский—это неплохо, ты только сейчас это придумал?

— Сам не знаю. Мне это всякий раз приходило в голову, когда он повторял свой припев: «Вы должны изучить язык Толстого и Достоевского. Это требование времени, и, кроме того, друзья мои, это требование гуманизма!» А тебя он боится, знает, что ты лучше его владеешь немецким.

— Это звучит как критика. В мой адрес.

— А я и хотел, чтоб это звучало как критика. Не могу сказать, чтобы меня вдохновляли его речи. Но подтрунивать над ним на уроке—дело нехитрое.

— Добавь еще, что я задавала.

— Могу,—сказал Трулезанд.

В редакции никто не поинтересовался серией статей об РКФ. Газету крепко покритиковали за «недостаточное освещение мероприятий по весеннему севу», и проработка была в самом разгаре.

— Если у тебя среди твоих окончивших РКФ есть какой-нибудь ведущий работник в области сельского хозяйства или какой-нибудь знатный агроном, работающий над повышением процента сахара в сахарной свекле, добро пожаловать, напечатаем с удовольствием,—сказал Вернер Кульман.—Все остальное сейчас никого не интересует. Даже в спортивном отделе печатают только отчеты о соревнованиях общества «Трактор». Постой, постой, да не убегай же, это еще не все. У меня тут письмо из

Союза писателей. Товарищ Брайзель пишет от имени секретариата, что они поражены — наш орган не уделяет им заслуженного внимания. Сегодня у них собрание, на которое они нас убедительно просят прийти. «Убедительно», разумеется, надо понимать иронически. Повестка довольно своеобразная: обмен опытом между писателями старшего поколения и молодыми. Если у тебя есть время, сходи послушай, ты ведь знаешь это заведение. Напечатаем ли — еще видно будет. Сельское хозяйство сейчас пожирает все. Но, должно быть, мне удастся получить место, если разъясню ситуацию на редколлегии.

Секретарь союза Брайзель не забыл упомянуть в своем вступительном слове о присутствии многочисленных представителей прессы и заявил, что, хотя каждый из находящихся в этом зале прекрасно понимает важность посевной кампании, не следует, однако же, забывать, что необходимо трудиться и на ниве художественной литературы — ведь и здесь крайне важно собрать богатый урожай. Вот как раз в интересах труда на этой ниве все присутствующие и собрались здесь, в зале, — старшее поколение и молодые, опытные и новички, и надо думать, что разговор окажется плодотворным.

На этом месте одаренный автор трилогии о временах инфляции опрокинул рюмку с коньяком и с возмущением сказал кельнеру, который, собственно, давно уже отошел к соседнему столику:

— Ничего себе, ловко! Это что же, землетрясение в Македонии?

Критик Шлихтков, который в свое время с восхищением приветствовал самые первые выступления в печати автора инфляциады и с тех пор сравнивал каждый выходивший из печати роман с первым томом трилогии «Короны пали, деньги — пыль», громко расхохотался над шуткой маститого писателя и несколько раз выкрикнул:

— В Македонии! Нет, ну разве не прелесть?!

Секретарь союза Брайзель почтительно улыбнулся и уже только после этого предложил молодому писателю Обристу рассказать, как он внутренне пришел к тому, что взялся за перо.

Обрист некоторое время испуганно таращил глаза, а потом пролепетал:

— Да, товарищи, как бы это сказать? Это, наверно, так: литературным даром как-то не овладеешь. Скорее, может быть, он тобой овладеет. Я как-то не знаю. Это всегда так, когда приходится говорить. Может быть, сначала скажут другие товарищи?

Брайзель подождал немного, но, так как Обрист не издал

больше ни звука, наконец произнес:

— Благодарю товарища Обриста за первое слово в дискуссии. Он сломил печать молчания, что всегда самое трудное, а теперь, как лично мне кажется, должен выступить кто-нибудь из старших товарищей...

— Я! — одновременно крикнули Паули и Куршак.

Секретарь попробовал было не обратить на них внимание, но так как никто больше не вызывался, ему пришлось выбирать кого-нибудь из этих двоих. Роберт чувствовал, как труден для него этот выбор. Он и раньше присутствовал на многих собраниях союза, обычно Паули и Куршак первыми просили слова, и это всегда выглядело очень комично.

На этот раз Брайзель решил в пользу Паули.

Тот, расчищая себе дорогу, пробрался через переполненный зал, и, пока Роберт не без интереса рассматривал атлетическую фигуру этого шестидесятилетнего человека, походившего, несмотря на свой возраст, на боксера, который имеет все шансы победить на ринге, он услышал, как один из двух сценаристов, сидевших за соседним столиком, шепнул другому:

— Не буду говорить о себе...

Роберт подмигнул ему, и тут же раздался голос Паули:

— Не буду говорить о себе — это не имело бы здесь никакого смысла. Слишком быстро многое забывается. Правда, хорошо, что не всеми и не всегда забывается. Например, недавно в Советском Союзе снова переиздана моя книга в двадцати тысячах экземплярах. Но я не хочу говорить о себе. Хотя иногда невольно задумываешься. Да, все это прекрасно — необходимо поощрять молодые таланты. Я стою за это горой. Дело только в пропорциях, а пропорции необходимо соблюдать, и я никогда не устану повторять это.

— Сейчас перейдет к одному товарищу, с которым встретился на книжном базаре,— шепнул сценарист.

Паули постучал своим толстым пальцем по трибуне.

— Недавно я был на книжном базаре. Я не особенно люблю там бывать, но, в конце концов, надо же быть сознательным. Да и слишком уж часто приходится потом слышать: «Что с вами случилось? Почему вы не были на книжном базаре союза?» Люди все замечают, не все же в конце концов о нас позабыли. Но я не хочу говорить о себе. Просто необходимо об этом упомянуть, поскольку это типично. Так вот, подходит ко мне один руководящий товарищ — не буду называть здесь имена,— но весьма высокопоставленный товарищ, с которым я знаком еще с давних пор, и говорит мне: «Юпп, ну как дела с твоей книгой?» Он, видите ли, интересуется, этот руководящий товарищ. «Да что уж

там!»—только и мог я ответить. Я рассказываю это здесь, разумеется, не потому, что имею что-либо против молодых и их выдвижения. Все это, конечно, должно быть. Просто есть же в конце концов и такие—я не хочу говорить о себе,—кого издают в других странах миллионными тиражами. А что с ними происходит здесь, у нас? Во всем этом должна быть полная ясность.

— Здесь у него только четырехсоттысячные тиражи,—шепнул сценарист, а секретарь союза произнес:

— Я благодарю коллегу Паули за участие в дискуссии. Как мне лично кажется, сейчас должен бы выступить кто-нибудь из молодых товарищей...

— Так-так!—пробасил Куршак, как видно почувствовавший себя обойденным.—Сколько же времени я буду просить слова?! Я сижу с поднятой рукой со времени основания Иерусалима!

— Сейчас, сейчас, Густав,—сказал Брайзель,—ты следующий на очереди. А теперь должен выступить представитель молодого поколения... Я считаю, что сейчас должна взять слово, например, наша юная коллега Бухгакер. Как мне лично кажется, тогда будет представлена преемственность литературного процесса.

Гертруда Бухгакер попросила разрешения говорить с места, так как это экономит время, а она уже три дня не имеет возможности работать над своим новым историческим романом о старшем почтмейстере Стефане.

— О, как прекрасно!—шепнул сценарист.

— Как же это так получается,—сказала Гертруда Бухгакер,—что я все еще продолжаю числиться в рядах литературной молодой гвардии? Как женщина—пожалуйста. Когда я гляжу на моих коллег писательниц, присутствующих в этом зале, я могу согласиться, что здесь я одна из самых молодых, если не самая молодая. Да, пожалуй, самая молодая. Но сколько же нужно еще писать? Когда я написала роман о Якобе Кнайпе, мне казалось, что мне удалось взять этот барьер. И что же? Меня пригласили на вечер молодых дарований. Но не об этом, не об этом хотела я говорить. Я хотела говорить совсем о другом. Я вынашиваю сейчас книгу о Германе Фридрихе Швабе—человеке, роль которого в развитии отечественного производства растительного масла, как мне кажется, еще никто не оценил. Я надеюсь восполнить этот пробел моим новым произведением. Это должна быть очень поэтичная книга, но, разумеется, мне придется ознакомиться и с вопросами технологии в свете решений Биттерфельдской конференции. Однако что же происходит? Меня не пропускают на производство, где вырабатывается растительное масло. Мне ставят преграды, аргументируя при

этом целым сводом предписаний о правилах гигиены производства пищепродуктов. Спрашивается, для чего же я, собственно, являюсь членом Союза писателей?

— Совершенно верно! — крикнул сценарист, и Гертруда погрозила ему пальцем, украшенным коллекцией перстней.

— Благодарю коллегу Бухгакер за ее дискуссионное выступление, — сказал секретарь союза и, немного поколебавшись, обратился к Густаву Куршаку:

— Ну как, Густав? Выступишь?

— А ты как думал? — ответил тот. — То, что я хочу сказать, как раз вполне соответствует тому, что сказала сейчас юная Бухкакер. Все тот же вопрос о функционерах, занимающих высокие посты, дорогие друзья. Могу рассказать вам про это побасенку. В прошлом году, зимой было дело, а я тогда еще разъезжал по клубам на моей лошадке, семьсотпятидесятисильной «харлей дэвидсон», — так вот, получаю я приглашение, куда бы вы думали? В Пазевальк, кажется, так. Ну, отправляюсь я туда, а холодно было, доложу я вам, так примерно градуса двадцать два мороза. Заявляюсь я в клуб, и что же вижу, к моему неописуемому удивлению? Ни души. Только одна маленькая девочка, лет этак четырнадцати, в ярко-красной блузке. «Что ж это, — говорю я ей, — я писатель Густав Куршак, а у вас тут ни души?» — «Они, — говорит, — все на другое собрание пошли». — «Так-так, — говорю я, — тогда беги-ка туда поскорее и скажи, что писатель Густав Куршак приехал, и пусть-ка попробуют не явиться!» — «Хорошо, — говорит, — а вы пока погрейтесь вот тут, у печки». Вот этим-то я и занялся, друзья мои, и стал постепенно оттаивать. Смотрю, и нос мой тоже оттаивает. Что должен предпринять человек в таком случае? Он должен воспользоваться носовым платком. Ах да, совсем позабыл, там ведь еще собака была, в клубе. Сидит этот пес передо мной и смотрит, как я оттаиваю. Громадная такая дворняга. А как только я полез в карман за платком, вдруг начинает рычать. Выну я руку из кармана — перестает. Но мой нос, друзья, к сожалению, продолжает таять. Я снова лезу в карман за платком, и пес опять начинает рычать. Вот тут-то я и заметил связь между этими явлениями. Так прошло довольно много времени. Нос тает, я лезу в карман, собака рычит, я отказываюсь от своей попытки, и все сначала: нос тает, я пробую шевельнуть рукой, пес скалит зубы, я, плюнув на нос, решаю — пусть его тает. И так проходят часы, друзья мои! Вот потому-то и я, так же как коллега Бухкакер, хочу поднять голос протеста против функционеров, занимающих высокие посты.

Гертруда Бухгакер была одной из немногих в зале, оставших-

ся серьезными. Когда смех утих, она крикнула с возмущением:

— Моя фамилия — Бухгакер, коллега Куршак, можно было бы и запомнить мою фамилию! Но я хотела сказать не об этом. Я хотела сказать совсем о другом. Я не понимаю связи. Связи между моими серьезными замыслами и функционерами, занимающими высокие посты.

— Так поймите, голубушка,— сказал Куршак,— ведь это одно и то же!

Секретарь Брайзель с трудом удерживал власть над залом.

— Благодарю коллегу Куршака за участие в дискуссии,— сказал он с кривой усмешкой,— как мне лично кажется, нам необходимо подвести итоги... Но я вижу, наш уважаемый Бертольд Вассерман хочет что-то сказать. Прошу вас, профессор!

Профессор Вассерман, чья трилогия об инфляции стала эпохальным произведением, закрыл глаза и проговорил словно про себя:

— Когда я начал мой роман «Короны пали, деньги — пыль», первая мировая война была уже позади. Я попал на нее молодым лейтенантом кавалерии, но в моей сумке, пристегнутой к седлу, лежали произведения Зигмунда Фрейда. Потом был Лангемарк, и вот лик Медузы Горгоны — я говорю об эпохе Вильгельма — стал зримым. Тогда из груди моей невольно вырвался вскрик, который и лег в основу моей книги. Но — и об этом мне хотелось бы поведать молодым, тем, кто начинает писать сегодня,— книга должна быть как кошка. Одного возгласа, вскрика еще недостаточно. Надо еще уметь показать, что́ именно вскрикнуло. В нынешней литературе я слышу много криков, но не вижу ни одной кошки. Это я не устану подчеркивать.

«Кошка» Вассермана уже много лет витала в статьях и докладах по теории литературы. Так, например, рецензии Шлихткова, как правило, заканчивались словами: «Но к сожалению, и в этой книге нам не удалось увидеть знаменитой «кошки» нашего заслуженного мастера литературы». Однажды он даже написал: «Прекрасно, здесь чувствуются когти льва, но снова встает вопрос: где же кошка?»

«Кошка» невидимой тенью пристраивалась на письменных столах романистов, неслышно ступая, прокрадывалась на семинары и конференции, вылезала на первые места в заглавиях, и только каким-то чудом ее изображение не стало символом Союза писателей. Хотя, собственно говоря, и это не было чудом, это было в самой природе ее образа — невоплотимого образа. Каждый утверждал, что он уверен в ее существовании, но никто не мог ее описать. Была ли она серой или белой с черными пятнами, круглой, как шар, или длинным тощим чудовищем, был ли ее

хвост пышным или облезлым? И какие у нее были глаза — желтые, зеленые, серые? Или, может быть, вовсе красные? Никт этого не знал.

Когда речь шла о «голубе мира», можно было, скажем ориентироваться на Пикассо. Даже о чудовище Лохнесса можн было каким-то образом составить себе представление, но «кошкой» Вассермана дело обстояло безнадежно. Знали тольк одно — и в этом отношении никаких расхождений не наблюда лось: «кошка» эта была удивительно живуча. И еще одно ни кого не вызывало сомнений — творчеству она не приносил никакой пользы. Прошел смутный слух, что где-то в район Балтийского моря возникло Общество молодых любителей сло весности под руководством некоего профессора, написавшег драму об Эрнсте Морице Арндте и теперь работающего вместе с своим коллективом над монографией о трилогии «Короны пали деньги — пыль», целью которой должно было стать научно обоснование «кошки» Вассермана. Но даже и этим исследовате лям не удалось схватить знаменитого зверя за шкирку воскликнуть: «Эврика!» Поговаривали, что один из членов общества, отчаявшись, стал экономистом, а другой — теологом, только профессор не отрекся от веры в «кошку».

Основоположник же этой веры, писатель Вассерман, ни раз не дал себя подвигнуть на то, чтобы более точно определит сущность своего создания; он лишь тонко улыбался, когда — а последнее время это случалось все чаще — молодые и бесстраш ные требовали от него разъяснений; он говорил тогда о свои друзьях Фейхтвангере и Цвейге, упоминал в положительно смысле о Бехере, ссылался на талант Брехта, находил вполн приемлемой Анну Зегерс, промямливал несколько слов насче Людвига Ренна, качал головой при упоминании Хермлин: который был одно время так близок к «кошке», расхвалива Бределя и Мархвицу, признавался, что никого не знает и молодых, и вновь рассказывал, как было дело, когда он начина писать «Короны пали, деньги — пыль» и преодолевать Зигмунд Фрейда и лик Медузы Горгоны эпохи Вильгельма.

Роберт с удивлением заметил, что редактор «Берлинер цай тунг» старательно записывает выступление Вассермана, и пр этом лицо у него такое, будто он слышит здесь нечто сенсацион ное — хоть завтра же на газетную полосу.

Знаменитый писатель говорил теперь о ценах на молоко двадцатых годах, и все знали, что за этим последует сокрушени по поводу широкого распространения гомосексуализма, а зате история про Брехта — Вассерман якобы сказал однажды Брехту «Налево шагаем, господин Брехт? Как наша левая нога захочет?»

что очень задело Брехта и заставило его в конце концов обратиться к марксизму; вслед за этим пойдет рассказ о встрече с женщиной, у которой волосы были как белесый туман — пусть-ка молодежь представит себе это; а затем история про Романское кафе и заявление о давно назревшей необходимости со всей резкостью поставить вопрос: неужели правительство в самом деле считает, что из немецкой литературы снова получится какой-нибудь толк, если у писателей нет столь важного в творческом отношении места для общения?

Все это могло бы быть интересно и весело, если бы не было уже напечатано в книге воспоминаний Вассермана «Пульс бьется у горла». Книга эта вышла пять лет тому назад и начиналась словами: «Когда я решил написать мой ставший впоследствии широко известным роман «Короны пали, деньги — пыль», цены на молоко были очень высоки, гомосексуализм получил широчайшее распространение, Брехт был сильно переоцененным публикой горланом, а Медуза Горгона снова таращила свои древние злобные глаза. Необходим был вскрик, и этот вскрик издал я».

Редактор «Берлинер цайтунг» был не единственный в зале, как отметил Роберт, кто водил пером по бумаге; оба сценариста за соседним столиком тоже время от времени делали какие-то пометки: они играли в «крестики и нолики», а сидевший вместе с ними поэт, один из последних представителей школы рифмованного стиха, углубился в разрисовывание фотографии модной певицы, помещенной на обложке иллюстрированного журнала — он уже успел снабдить ее довольно внушительными усами.

Профессор Вассерман закончил краткое обозрение своей книги мемуаров, и секретарь союза Брайзель, почтительно поблагодарив его за весьма ценное выступление в этой дискуссии, заявил, что, как ему лично кажется, следует теперь в заключение...

Это было словно сигналом для драматурга Тинклер-Билля. Он встал со своего места и крикнул:

— Минуточку! Кое-кто скажет, что тут уже говорилось достаточно много, другие скажут, что еще ничего почти не было сказано. Верно? Пусть этот вопрос каждый решает сам для себя. Для одних всегда все сказано, для других — никогда ничего. Верно? Я лично никому не хочу подсказывать, что ему думать. Это было бы неверно. Правильно? Правильно. Одному нравится то, другому это. Но все-таки это неверно. Разве не так? Так. Один говорит: «Мне нравится мир», другой: «Мне нравится война». Ну, предположим, что это две точки зрения. Точка зрения всегда есть точка зрения. Но всякая ли точка зрения — точка зрения? Думаю, что нет. Одна точка зрения такая,

другая — другая. Верно? Верно. Надо же различать. Надо? Надо.

На этом месте детская писательница Альма Хайслер подала реплику. У того, кто хотя бы трижды побывал на собраниях Союза писателей, непременно должно было создаться впечатление, что Тинклер-Билль приходит сюда специально для того, чтобы сказать решительное заключительное слово, Альма Хайслер — чтобы подать реплику во время этого заключительного слова.

Старые друзья обоих знали, что так повелось еще со времен Ассоциации революционных пролетарских писателей и стало правилом в годы эмиграции во Франции и в Америке. Детская писательница написала шесть книг, и все они приобрели мировую известность; драматург же сочинил не меньше двенадцати пьес, и ни одна из них не продержалась на сцене дольше месяца. Как говорили, он утверждал, что родился слишком рано, но драмы его всегда запаздывали с появлением на свет, хотя и производили впечатление недоношенных. Каждая из них появлялась как раз тогда, когда в политической ситуации, отраженной в ней скорее в агитационном, чем в драматическом плане, четко намечался коренной перелом. Вскоре после премьеры падал занавес на сцене политической жизни, и, когда он подымался вновь после полной перемены декораций, драматург Тинклер-Билль сидел уже над следующей запоздалой пьесой и вынашивал планы третьей. Было ясно, что и их ожидает судьба их предшественниц, но Тинклер-Билль не делал никаких выводов из своего жизненного опыта. Зато он постоянно защищался от упреков в оппортунизме, которых никто ему, собственно, не делал — всем было хорошо известно, что драматург твердо стоит на своих политических позициях, никогда не был подвержен никаким колебаниям и мужественно держался даже в самые худшие времена. Но над ним довлело заблуждение, что всякая пьеса должна быть чем-то вроде боевого тактического оружия, и потому творческий путь его был дважды двенадцать раз отмечен решающими событиями противоположного характера: двенадцать — успешными премьерами и двенадцать — позорным снятием с репертуара. Это сделало его недоверчивым и раздражительным и укрепило в привычке произносить в конце собраний решительное последнее слово, которое постоянно перебивала своими репликами с места детская писательница Альма Хайслер.

Альма Хайслер прибегала всякий раз к одной и той же уловке, а Тинклер-Билль всякий раз попадался на ту же удочку — она прикидывалась спящей. Как только ее старый приятель поднимался, чтобы произнести решительное последнее слово, Альма тут же погружалась в глубокий сон. Все сидящие в

зале могли это видеть собственными глазами, а иногда и слышать собственными ушами. Лицо ее, красивое и в старости, становилось невозмутимо спокойным, глаза, прикрытые веками, казалось, никогда больше не раскроются, губы были сомкнуты, словно все уже сказано и обсуждению не подлежит, и каждому становилось ясно, что между сном и красотой существует таинственная связь.

И вдруг, когда драматург делал секундную паузу, чтобы перевести дух, раздавалась реплика Альмы. На этот раз она звучала так:

— Кто же это здесь говорил, что ему нравится война?

Тинклер-Билль пришел в замешательство, но ненадолго. Создавалось даже впечатление, будто бы замешательство драматурга — столь же твердо установленная часть ритуала, как сон Альмы и нарастание решительности в его последнем слове после ее реплики.

— Наша всеми уважаемая Альма, — заявил он с язвительной снисходительностью, — как видно, опять слушала меня не совсем внимательно. Я не говорил, что кто-либо здесь говорил, будто бы ему нравится война, я сказал: один говорит, что ему нравится война. Есть тут разница? Разумеется. Верно? Верно. Это разница между утверждением и гипотезой. Я говорю о возможности. Все возможно. Возможно, один скажет, что ему нравится война, а другой — что ему не нравятся рассказы для детей Альмы Хайслер. Возможно это? Да, все это возможно. Против чего мы должны бороться? Против смешения несмешиваемых понятий. Верно? Верно. Все в одну кучу: война, мир, Альма Хайслер, литература; один — то, другой — это, а ну-ка, вали все сюда! Имеет это место? Конечно, это имеет место. А как говорит сегодня противник? Разве он говорит: «Нет, я не хочу того, что нравится тебе, ты должен принять то, что нравится мне»? Нет, он говорит иначе. Верно или нет? Верно. Он говорит: «Ладно, вали все в одну кучу — и твое и мое: ты — пьесу Брехта, я — пьесу Ионеско, ты — роман Шолохова, я — роман Кафки, ты Хикмета, я — Эзру Паунда, ты — укол пенициллина, я — укол морфия, ты — букет ромашки, я — букет крапивы, ты — поэта, я — палача, ты — мыслителя, я — душителя, ты — мир, я — войну, ты лошадь, я — ласточку, так и получится у нас довольно странное варево». Так он говорит? Так. А кому такое варево по вкусу? Никому? Никому. Вот это верно. Вот мы и договорились. Верно? Верно.

После этого драматург Тинклер-Билль сел, и секретарь союза Брайзель, поблагодарив его за заключительное слово, подводящее итог дискуссии, объявил собрание, как ему лично кажется, закрытым.

Пробираясь в толпе к выходу, Роберт сказал сценаристу,

оказавшемуся с ним рядом:

— Эта твоя штука про учителя — просто блеск. Надо будет нам как-нибудь встретиться, поговорить о ней поподробнее.

— С удовольствием,— ответил тот,— спасибо на добром слове. Ну и что же ты теперь собираешься про нас писать?

— Если есть какие пожелания, буду рад пойти им навстречу,— сказал Роберт.

Начальник главного управления министерства сельского и лесного хозяйства был у себя и сразу попросил Роберта подняться. Он ждал его у дверей кабинета и приветствовал с искренней радостью.

— Вот хорошо, что ты заглянул,— сказал он,— статьи твои читаю, но увидеться и поговорить куда лучше.

Он усадил Роберта в самое удобное кресло и стукнул кулаком в стену. Вошла молоденькая девушка, Якоб представил ей гостя:

— Фрейлейн Блюстер, вот это, стало быть, и есть мой друг Роберт Исваль.

Она улыбнулась и протянула Роберту руку:

— А, так это вы добавляете мне работы?

— Я?

Фрейлейн Блюстер подошла к шкафу, вынула оттуда папку и положила перед Робертом на стол.

— Не хотите ли кофе?— спросила она Якоба.

Он кивнул, почему-то при этом покраснел и, взяв со стола папку, положил ее на стул рядом с собой.

— Однажды я попросил фрейлейн Блюстер вырезать твою статью, с тех пор она делает это регулярно. «Господин Фильтер, ваш друг опять статью написал»,— говорит она, а иногда еще и добавляет: «Знаете, тот, у которого такие замечательные сочинения были!» Я об этом вспоминал раз сорок, не меньше.

— А жена твоя, верно, сюда не заходила?

— Жена? Ах, вот что! Заходила. Выпила кофе, приготовленный фрейлейн Блюстер, и сказала, что я могу оставить ее на работе.

Фрейлейн Блюстер принесла кофе, поставила папку на место и спросила, прежде чем притворить дверь:

— Соединять только при лесном пожаре?

— Ну, в это время года мы почти в безопасности,— сказал Роберт.— Но если я отрываю тебя от работы, ты гони меня в шею.

— Вздор, лес часок и без моих руководящих указаний обойдется... Давненько же мы не виделись. Я уж думал, что до

торжественного вечера не придется.

— А разве приглашения уже разосланы?

— Да. И в них указано, что ты произнесешь речь.

— Я еще ни строчки не написал. Даже думать еще не думал.

— Тебе-то хорошо. Знал бы ты, как я мучаюсь при подобных обстоятельствах. Если кому пятьдесят стукнет, или кому «передовика» присвоят, или на доклад в школу лесоводства меня пригласят, так все мои сотрудники дрожат вместе со мной. Но ты... ты и сочинения писал в последнюю минуту!

— А вот и сорок первый!—отметил Роберт.—Только ты ошибаешься, ведь я просто мошенничал. С этой речью так не выйдет.

— Именно с этой?

— Да, именно с этой.

— Ну, не болтай чепухи. Если бы у тебя был садик и в нем плохо росли карликовые ели, я бы еще поверил, что ты растерялся, но не из-за речи. Ты вскочишь на трибуну, как всегда делал, и начнешь: «Уважаемое собрание! РКФ, так же как и ГДР,—одно из величайших достижений немецкой истории...»

— Напишу-ка я Мейбауму, что речь произнесешь ты. Судя по началу, ты превосходный оратор. Давай дальше. Что бы ты еще сказал?

— Еще бы я сказал... ну, просто так, шутки ради... я бы сказал: «Это было лучшее время нашей жизни и самое веселое».

— Правда, ты бы так сказал? Это было самое веселое время твоей жизни? Что же в нем было веселого?

— Ага, «веселое», оказывается, не то слово. Вот и поручай мне речь держать! Может, «радостное» вернее, только очень уж по-книжному звучит. Но именно таким оно было. Для меня, во всяком случае. Никогда не забуду, как вы меня разыграли с акушерской школой. Я тогда подумал: «Видишь, Якоб Фильтер, они сразу распознали простачка из леса». Но потом, когда ректор выступал и мне уж совсем не по себе стало, ты сказал: «За три года, друг, уйму можно выучить». Вот именно уйму пришлось мне осилить, и друзьями мы остались. Думаешь, я не знал, что я для вас балласт, особенно когда ввели эти дурацкие учебные коллективы—все отметки плюсовали и делили на четыре? Я вам вечно среднюю портил, ты получал четверку по немецкому и я четверку, потому что сочинение писали мы всем коллективом. Вот уж бредовая затея!

— Видишь,—сказал Роберт,—в том-то и загвоздка. Захочу упомянуть в речи про эксперименты с коллективом, так надо их критиковать, а я не знаю, уместно ли это.

— Критиковать всегда уместно.

— В сельском и лесном хозяйстве — да, но в торжественной речи?

— Если ты меня спрашиваешь, я скажу — да. Конечно, нам критиковать куда проще — теперь, прежде-то нет. Прежде нужно было, начав свой годовой отчет словами: «Кто тебя, о чудный лес, вырастил таким высоким?», ответить: «Партия и товарищ Сталин». А теперь надо обязательно доложить цифры: кубических метров столько-то, качество вырубки и посадки такое-то, надо сказать о борьбе с вредителями, об объеме экспорта-импорта, и горе тебе, если в отчете не будет самокритики. И если говорить об РКФ, то можно козырнуть цифрами. И можно, нет, нужно сказать о наших ошибках, чтобы другим неповадно было писать коллективные сочинения, за которые Фильтер получал бы четверки, потому что Исваль в его группе. А то, глядишь, Фильтер и вправду возомнит, что заслужил четверку! А потом друг Фильтер вступает в жизнь, где еще не дошли до такого прогресса и не создали учебных коллективов, и под рукой нет Исваля, который бы подсобил, и Фильтеру влепляют двойку, и то если повезет, и приходится ему горько плакать. Это обязательно надо сказать. Коллектив — дело доброе, и эксперименты тоже нужны, но не такие дурацкие, как с сочинениями и общей отметкой на всю группу. Хотя Квази все это было очень по душе. Что, кстати, он поделывает? Подает хоть какие-нибудь признаки жизни?

— Торгует пивом в Гамбурге.

— Бедняга.

— Что значит «бедняга»? Вид у него весьма довольный, и мне даже показалось, что он подшучивал надо мной, когда я стал кое на что намекать. Я ведь не так давно был в Гамбурге, заходил к нему в пивную. Только под конец он повел себя как-то чудно.

— Как же?

— Проводил меня до двери и вспомнил без всякой связи нашу добрую старую поговорку, которой мы тебе обязаны, но произнес ее словно какое-то заклинание: «Ну, а ты это понимаешь, Роберт?» И не то в его голосе слезы, не то зубы дробь выбивают, но можно было понять его и так: «Ладно, не ломай голову над этим». Дьявол его знает, что все это значит.

— Ну, так и правда, нечего тебе голову ломать над этим.

— А я и не ломаю, он может быть спокоен. Только злюсь и, пожалуй, обижен. Наш Квази Рик!

Якоб подумал, а потом сказал:

— Был у нас с ним разговор как-то, он, верно, знал тогда, что собирается делать.

— Когда это?

— Да вы все уже разъехались, ты был в Берлине. Вот однажды вечером он заглянул ко мне. Мне ничего особенного в голову не пришло. Он ведь мне рекомендацию давал, как раз перед выпуском в кандидаты меня приняли. Родителей у него не было, а Хелла Шмёде уехала на экскурсию. Мы пошли в лес побродить, а он меня спрашивает, не боюсь ли я в институт поступать, в лесной. Ну, я сказал, что нет, в лесном институте я снова как в лесу буду — о святая простота! — и спросил, что он собирается делать, неужели изучать математику? Вот ужас! Но он ответил, что нет, математика его не страшит, а вот к другому привыкать труднее: «Ты в Эберсвальде, Роберт в Берлине, Трулезанд в Китае!» Помню, я сказал ему, что такой уж беды в этом нет, даже Китай по нынешним временам не на краю света, а он мне: да, мол, Китай не на краю света. А потом уж совсем странно ответил. Я ему говорю: «Хелла-то ведь здесь останется!», а он: «Да, она останется». Конечно, чего себе только не внушишь, но я почти уверен, что прозвучал ответ его как-то совсем не так, как надо. Ему бы прозвучать весело, а мне сдается, он прозвучал грустно. Нет, я не ошибаюсь, я еще подумал: они, наверно, поссорились, а он к этому не привык. Но он вел себя как обычно, поужинал у нас, ночевать, правда, не остался. Я проводил его до автобуса, и тут он сказал такое, что я считаю и теперь еще очень важным. Он сказал: «Слушай, Якоб, если что случится, ну, с рекомендацией моей или вообще, так ты знай, она все равно действительна, слышишь!» Он уехал, а теперь вот торгует пивом.

— Пустое он сболтнул, тебе от этого ни жарко, ни холодно. А что в райкоме сказали о твоем рекомендующем?

— Да ничего. Наверно, первая злость уж выветрилась. Я, конечно, как узнал, сразу туда пошел. Мне Хелла Шмёде сказала. В один прекрасный день, в конце каникул, получаю от нее открытку, ей, мол, срочно со мной поговорить нужно, только она уже врачом работала и не могла отлучиться. Поехал я к ней — ну, ужас, что там было. У нее дежурство, она приходила на несколько минут, так что я всю историю обрывками слышал, да оттого она утешительнее не стала. Я ждал Хеллу в дежурке туботделения, она меня увидела да как заревет, потом протянула мне письмо, вытерла глаза и пошла к больным. Если бы мне не было так тяжело, то, может, ситуация показалась бы мне даже забавной. Сплошные превращения: она входит, лицо спокойное, уверенное, как положено врачу, поговорим мы с ней немного, она расплачется, ну, растерянная девчушка, и только, а потом вспомнит о работе и опять выходит, и снова лицо такое уверенное, как и положено врачу, на него взглянешь и уже точно

знаешь, что еще сто лет проживешь. Письмо от Квази было короткое. Он писал, чтобы она его забыла, он ей не подходит, но это не ее вина, а только его, он уезжает далеко и навсегда, и, если она хочет сделать ему приятное, пусть вычеркнет его из памяти или что-то в этом роде. Насколько я вообще в состоянии был что-либо воспринимать — очень уж я был взволнован,— письмо было какое-то неестественное, будто Квази его откуда-то переписал. Но это не самое главное. Я поначалу подумал, что этот идиот бросил такую замечательную девушку, и, хорошо помню, еще решил: погоди, доберусь я до тебя — подцепил себе девицу покруглее да потемпераментнее нашей Шмёде и строчит дурацкие письма, дам по шее раз-другой, быстро в себя придешь. Но потом опять входит Хелла и подает мне конверт, а на нем штемпель Западного Берлина. «Да спьяну он, что ли, туда забрел?» Но Хелла ответила, нет, не спьяну, он уже прислал свой партбилет в райком. Только теперь дело прояснилось, если в этом случае вообще так можно сказать. И когда врач Шмёде, взяв себя в руки, вышла из дежурки, там остался вконец растерянный Якоб Фильтер. Мы с ней судили-рядили, она плакала, я и сам готов был разреветься, она все спрашивала, не случилось ли чего на факультете, но ведь там ничего не случилось. Кончил Квази на «хорошо», по естественным предметам на «очень хорошо», ну а математик Шика даже примечание в аттестате сделал, что-то там насчет гениальности, но это же не причина, скорее, наоборот, а другой мы не находили. Потом я распрощался, к счастью, в коридоре, а там были больные, и лицо у нее было строгое, как положено врачу. Но я под конец страшную глупость сморозил: если она хочет, ляпнул я, то может за меня замуж выйти. Я, видно, считал, что утешу ее. Ну и стыдно же мне потом было, долго я ее обходил при встрече, когда приезжал в отпуск. Теперь она давно замужем и не ревет больше, когда говорят о Квази.

— А ты тогда в райком пошел?

— Да, тут же. Лола, конечно, накричала на меня: только приняли в кандидаты, а уже секретарю надоедает, он как раз на совещании по вопросу жилищного строительства на селе. Для нее это святая святых. Но когда я объяснил, в чем дело, она вызвала Хайдука. А его в те дни свои заботы одолевали. На Западе вышла книга одного социал-демократа, тот писал, что в лагере Хайдук ночи напролет с ним спорил, утверждая, будто для Германии существует особый, немецкий путь к социализму, в союзе, правда, с СССР, но кое в чем отличный от его пути! Хайдук мог бы попросту заявить, что все это неправда, но лгать он не хотел, и началось! Ты ведь знаешь, как в те годы было.

— Да, знаю,— сказал Роберт,— с Нусбанком, мужем матери,

было нечто подобное. Его, видно, обуяла мания величия, он раздавал кредиты из сумм Крестьянской помощи — тем временем он уже съехал на эту ступеньку — людям, которым они вовсе не полагались, кулакам и прочим. Его посадили и объявили агентом буржуазии. Это, конечно, бред: он был хвастун и паша турецкий, а в сущности, жалкий догматик, но никакой не агент. Для этого ему и смелости бы не хватило. Он так струсил, что на следствии все на мою мать свалил. Надо же — на мать, которая при нем и пикнуть не смела. Но ее тоже арестовали, а когда она через две недели вышла, то квартира ее была пустой. Мать бегала из райкома в прокуратуру и опять в райком, но оказалось, что никто к этому не причастен, и никто ничего не желал сделать для нее. Из партии ее уже исключили, автоматически, после ареста, и райком объявил, что не может ею заниматься, а в прокуратуре отвечали, что это партийное дело и, конечно, оно на этом не кончится. Ну, тут мать испугалась и перекочевала в Западный Берлин. Оттуда она написала мне. Я ничего не знал, мы ведь уже давно разъехались из-за Нусбанка, мне предстоял первый экзамен, дело было незадолго до семнадцатого июня. Я сразу же поехал в Лихтерфельде. Мать жила там у адвоката, была у него экономкой, кухаркой, нянькой и прачкой, и все за крышу над головой, за еду, поношенные платья и за спасибо. Я хотел увезти ее, но она боялась, ведь она еще, ко всему прочему, сбежала. А потом Гротеволь выступил с заявлением, и она вернулась. Поехал бы я тогда с ней в Парен, может, все по-другому вышло бы, но у меня в голове была учеба и Вера, вот я и оставил мать один на один с людьми, которые поняли Гротеволя совсем наоборот. Короче говоря, помучилась она с месяц, как Йозеф у Кафки, и снова уехала, на этот раз в Гамбург, окончательно.

Якоб Фильтер внимательно посмотрел на Роберта и медленно сказал:

— Да, много чего мы натворили, но сравнивать с Йозефом у Кафки не стоило. Чересчур это злобно. Ругаться можно, но лучше своими словами.

— Я-то хотел изящно выразиться,— вздохнул Роберт,— но оставим это. Начнем спорить о Кафке — конца не будет. Министерству придется подыскивать себе другого начальника. Мне кажется, тебе здесь по душе.

— Это, конечно, не совсем то, о чем я мечтал, но смысл в моей работе есть. Я ведь хотел работать где-нибудь в далеком районе, отрастить бороду и погуливать с ружьишком, но чуть-чуть фантазии — и лес можно увидеть даже в статистических таблицах, а собака у меня есть. Вот бы ее твоему отцу — до чего умна! Кстати, все твои истории про отца и его собак я фрейлейн

Блюстер рассказал. Они ей очень понравились, такие истории о своем отце, говорит она, может рассказывать только хороший человек. Это я подтвердил.

— Ты, кажется, сказал что-то о «фантазии»?

— Да-да, я тем временем ею обзавелся. Вы мне все уши прожужжали: «Чем тебе, леснику, обзаводиться нужно? Фантазией, фантазией!» И верно, не будь у меня фантазии, так в Эберсвальде, и в институте, и здесь в первые годы уж и не знаю, как я бы жил. Ты себе даже не представляешь, как велось у нас лесное хозяйство! А наше министерство смахивало на швейцарское министерство морского флота.

В дверь постучали, вошла секретарша. Звонил, сказала она, министр, но она ответила, что у начальника представитель прессы, министр остался доволен.

— Он просил вас потом заглянуть к нему.

— Это у нас тоже в новинку,— сказал Якоб.— С тех пор как «Нойес Дойчланд» открыла флору и фауну, он стал уважать прессу.

— Нет, правда?— рассмеялся Роберт.— Ладно, я тебя не задержу. Хотел только повидаться с тобой и очень рад. Может, как-нибудь заглянете к нам вместе с женой? Только про Хайдука и рекомендацию Рика расскажи хоть в двух словах.

— Что ж Хайдук? Он сказал, что в моем деле все это не имеет значения, не один же Квази принимал меня, а все вы, второй рекомендующий — Трулезанд, тот стоит двоих, потом сказал, что напишет в Эберсвальд, второй-то рекомендующий тоже уехал и теперь в Китае. Он так и сделал, а в Эберсвальде в руководстве буквоедов не было, не стали очень уж копаться, и через два года меня приняли в члены партии.

— Так что же он про Квази сказал?

— Не много. Велел мне прочесть ему наизусть «Прометея» и, где о цветах грез говорится, что не стали плодами, сказал: «Да-да, именно это я имел в виду. Сам уже наизусть не помню, но стихотворение хорошее. У Гёте многому можно поучиться и вам и мне». А потом и говорит: «Понимать надо, amigo». И выпроводил меня, а через месяц, кажется, его сняли. Все из-за той истории с особым немецким путем. Потом он был директором МТС, потом три года учился в высшей партийной школе, а теперь в Тюрингии второй секретарь.

— Отличнейший он парень,— сказал Роберт.

— Да, верно. Не забудь о нем в своей речи. Его обязательно надо упомянуть. О нем даже я сумел бы сказать.

— Не сомневаюсь.

Начальник главного управления, ничуть не похожий на книжного начальника, думал Роберт, и это не кто иной, как Якоб Фильтер, человек, исполненный достоинства, без фальшивого бодрячества, без покровительственного тона и без страха перед начальством, любитель кофе, разумный человек с чувством юмора и маленькими причудами, лесовод, который не принимает Кафку, но умеет считать и мечтать, генштабист, способный признаться: «Мне было стыдно». Над этим стоит задуматься. Просто признается: «Мне было стыдно» — и при этом еще сейчас слегка краснеет. Так вот, он говорит, что время учебы на РКФ было самое веселое время в его жизни, но кто учился с ним, знает, как он пыхтел, Якоб Фильтер, «лесник», а точнее, всего-навсего лесоруб, теперь же начальник главного управления министерства и наш главный хранитель лесов.

О нем, конечно, я буду говорить в своей речи, именно о нем, и все станут удивляться. Почему, будут они думать, он выбрал именно его, министерского чиновника, бюрократа, никак не иначе, канцелярскую крысу, чернильную душу, почему этого начальника, когда есть столько интересных людей?

Вот как, что же это за интересные люди, кого вы имеете в виду?

Ну, к примеру, только из набора сорок девятого года у нас четыре врача: ветеринар, стоматолог, хирург и глазной,— конечно, если ты о последнем не упомянешь, мы тебя поймем, это Вера, на ней ты женат, и, упоминая о ней, ты можешь произвести нехорошее впечатление — все наши врачи люди достаточно зрелые, все, особенно хирург, выдающийся нейрохирург с превосходной репутацией в своей области и уже доцент, сделавший головокружительную карьеру, эдакий гений со скальпелем в руках, к тому же передовой человек, член партии, член родительского комитета и без капли чванства. Если придет к нему на прием крестьянин из сельхозкооператива, наш доктор может его спросить: «Ну как, уважаемый, нынче репа уродилась?» А если пациент удивится, доктор скажет: «Нечему удивляться, и я был когда-то сельскохозяйственным рабочим, в нашей стране дело обычное, что сельскохозяйственный рабочий стал врачом». Вот какой он, этот нейрохирург, немножко он, понятно, преувеличивает, не такое уж обычное дело, чтобы сельскохозяйственный рабочий переквалифицировался в специалиста по трепанациям, даже у нас это не каждый день случается,— так неужели ты не упомянешь о нем в своей речи?

Обязательно упомяну, для него местечко найдется; хотите, упомяну даже, что он в первый же год пребывания на Роберт-Блюмштрассе завел гербарий и заставлял нас привозить ему по

воскресеньям, если кто уезжал домой, разные цветики да травки, а получив, тут же закладывал их в тетрадь и награждал звучными именами, так что по биологии с первых же дней шел первым и вообще был работягой, как сказал бы мой шурин. Никакого чуда, что он стал звездой по долбежке черепов, никакого чуда, а все же чудеса. Три положенные ему строчки он получит, и статью в газету о нем напишу, материал уже подготовлен, если ее прочтут там, где надо, он станет заслуженным врачом, а по сути, он уже заслуженный и заслужил это звание, и если нам повезет, то присуждение звания совпадет с моей речью, тогда мы станем демонстрировать его как лучший экземпляр факультетского гербария!

Вполне, вполне с вами согласен, товарищ Исваль, превосходное предложение, гениальная идея, но откуда этот сарказм в конце и почему же вы все-таки избрали центральным персонажем вашей речи не врача, а начальника управления?

Не спрашивайте меня, я еще и сам точно не знаю; знаю только, что врач для меня не чудо и четыре врача тоже не чудо, а вот Якоб Фильтер — чудо, и я еще докопаюсь почему. Признаюсь вам, меня раздражает славословие врачам. Что-то в этом кроется такое, от чего жуть берет. Не иначе как средневековые предрассудки сказываются, врач — властитель над жизнью и смертью, рыцарь, побеждающий смерть и дьявола; чего стоят все эти возложения рук и заговоры, болтовня о спасениях, излечениях и разные другие штучки вплоть до интимного тона и злоупотребления множественным числом. «Так что же у нас болит? Ага, сейчас нащупаем. Надо только немножко потерпеть». Будь младенцем перед лицом врача своего, и он тебе поможет. Верь в него. Выздоровление зависит от доверия.

Справедливо, конечно. Но одно дело — доверие, а другое — суеверие. Или вот вам еще прекрасная тема: хирург как блистательный пример достижений РКФ. «Мы вырастили даже нейрохирурга!» Нет, друзья, такой речи я держать не буду.

Врачи могут быть превосходными людьми; я знаю многих таких и даже женат на врачихе, и ваш нейрохирург наверняка один из таких же, но все они вовсе не чудо. Вам хотелось бы, чтобы это было так, потому что постоянно слышишь — того или иного чудом спасли, и ведь легко может случиться, что вам тоже понадобится чудо, и все же они не чудо. Лучшие из них — прежде всего неутомимые работяги, с блестящей памятью и твердой рукой, втайне педагоги, умелые мастера, осторожные и мужественные, не жалостливые, но сострадающие, может быть, и любопытные, как исповедники, но без сопливого школярского цинизма. Если вы мне докажете, что мой однокашник, ваш

прославленный хирург, не сочтет это «простой врачебной ошибкой», когда больной из-за его неточного движения умрет на столе, тогда я назову его звездой РКФ, тогда он действительно нечто из ряда вон выходящее.

Ага, на это вы не согласны, такой разговор может завести совсем не туда, куда надо, не так ли? Я уверен, что обязательно заведет. Но если говорить серьезно, все это не очень уж важно. По мне, допустив ошибку, пусть хоть «гоп-ля» воскликнет, пусть обладает гипнотическим взглядом, пусть размахивает курильницей, если считает, что больному это нужно, по мне пусть, подражая своему шефу, рассказывает за обедом об операции геморроя, считая, что это доказывает его независимость,— пусть его. Главное, чтобы я поверил: да, действительно, он стал врачом, он выполнил свой долг, и большего с него не спросишь. Он доказал: и мы можем быть врачами. Браво! А рыбак Тримборн доказал: мы можем быть и химиками. Браво! А Ирмхен Штраух доказала: среди нас было немало потенциальных преподавателей высшей школы. Браво! Сколько окончивших, столько доказательств, и столько раз крикнем: браво! Кое-кто болтал: им, мол, не одолеть наук, а мы доказали, на что способны. Смеется тот, кто смеется последним. Мы способны на все, на что способны они, и, как полагали, способны только они одни. Это мы доказали.

А теперь давайте веселиться. Ну, ясно, для этого мы и собрались. Среди нас четыре врача, преподаватель высшей школы, химик-орденоносец, побывавший даже в Бомбее, и еще три химика, и три физика, и два синолога, они учились в Пекине, и три слависта, из которых один защитил диплом в Москве, и германист доцент тоже есть, и много историков, вот мы какие! Не стыдно себя показать!

Поднимем же бокалы! Ты кто? Ах, черт побери! А ты? Ну и ну! А ты? Гляди-ка! А ты что поделываешь, Якоб Фильтер? Ох ты, боже мой! В министерстве сидишь? Серьезно? Ребята, послушайте, Якоб Фильтер стал бюрократом, канцелярской крысой, руководителем, чернильной душой, ага, вот это здорово— махал топором, а теперь подмахивает пером! Дружище Якоб, ну и провели же тебя. А как твое местечко называется? Начальник главного управления, ого, начальник главного управления в министерстве сельского и лесного хозяйства! И что же ты там делаешь? Управляешь сбором смолы или командуешь сборщиками березового сока, а может, планируешь количество рождественских елок? Ну, скажи честно: можно на такой работе быть счастливым?

Кто знает, что ответит на это Якоб Фильтер, но я знаю, что

ответит на это Роберт Исваль, я знаю, что я на это отвечу. Я выйду на трибуну в нашем актовом зале, поклонюсь его превосходительству ректору, а также бюстам славных герцогов, подмигну однокашникам и однокашницам и скажу:

— Достижения, которые мы нынче демонстрируем, поистине удивительны: целая плеяда солидных специалистов, а тринадцать лет назад все они были жалкими невеждами. В этом зале нет человека, не имеющего как минимум аттестата зрелости, а тринадцать лет назад для большинства из нас, сидящих в зале, за исключением, разумеется, педагогов и достойных всяческого уважения представителей университета, слово «аттестат» было всего лишь иностранным словом, смахивающим по своей недосягаемости и торжественности на Кёльнский собор. В ту пору с этой самой трибуны один приятный пожилой господин излагал нам свои сомнения. Он дружелюбно говорил нам: ловите рыбку, дети, но только не в моих водах, там для вас слишком глубоко. С тех пор, однако, мы освоились во многих водах и достигли глубин, казавшихся недостижимыми. Остряки называли нас «приготовишками», а теперь к нам обращаются — во всяком случае, к некоторым из нас, когда я говорю «к нам», то имею в виду «некоторых из нас» — с просьбой перевести китайский текст. Медицина была для нас недостижимой мечтой, но мы овладели ею. Вот сидит человек, бывший сельскохозяйственный рабочий, а теперь его именем названы специальные щипцы. И щипцами этими — в том-то вся соль — вовсе не вытаскивают гвозди, ими вскрывают черепа. И даже в Мельбурне и в Монреале эти щипцы называются именем нашего товарища. Химия, когда мы впервые сидели в этом зале, представлялась нам эдаким вонючим облаком, и ничем больше. А видите, вон сидит человек, да, вон тот, во втором ряду, с виду похожий на футболиста и на рыбака, у него серая шляпа на коленях? Так вот он, не задумываясь, входит в это вонючее облако и каждый раз, когда выходит из него, вытягивает за собой новый синтетический материал, и уже конкретно стоит вопрос об избрании его в академию, куда обычно попадают после шестидесяти. Тринадцать лет назад самое трудное для нас в учебе было научиться учиться. Теперь мы этому научились, а одна из нас особенно преуспела: она снабжает школы новыми методами обучения, и если мы в близком будущем не станем поспевать за нашими детьми, то виновата в этом она, и только она, но мы простим ее с радостью.

Если бы это зависело от меня, уважаемые слушатели, я не стал бы произносить речей, а поступил бы совершенно иначе — я поднял бы палец и указал на вас — на вас, поступившие в сорок девятом, на каждого из вас в отдельности, и сказал бы: встань,

назови свое имя и свою профессию, ту, прежнюю, и настоящую, и садись, ибо это все. Требуются только факты. Итак, факты. Встаньте и покажитесь!

Ирмгард Штраух, продавщица,— преподаватель высшей школы; Иоахим Тримборн, рыбак,— химик; Роза Пааль, птичница,— синолог; Вера Бильферт, швея,— глазной врач. А теперь, пожалуйста, второй ряд: часовщик — физик; парикмахер — специалист по токам высокой частоты; народный полицейский — сотрудник... как, простите, называется ваша нынешняя профессия?.. Сотрудник, гм, сотрудник... чего?.. Министерства госбезопасности... Так-так, сотрудник, да?.. Точнее говоря, полковник, благодарю, следующий: сельскохозяйственный рабочий — нейрохирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач; лесоруб — служащий... Стоп, опять скромничаешь? Что значит служащий? Так, Якоб Фильтер, ты скажешь, когда отдашь паспорт в полицию на продление. Готов спорить, что и в теперешнем твоем паспорте помечено именно «служащий», и то же самое будет в нем, если ты станешь председателем Совета Министров, но здесь, у нас, говори открыто. Итак, что ты за служащий и в каком учреждении? Громче, громче, пожалуйста, и яснее... начальник главного управления в министерстве сельского и лесного хозяйства, дипломированный лесовод.

Очень хорошо! Так, выходи-ка вперед, Якоб Фильтер, садись в первый ряд, сейчас речь пойдет о тебе, оратор Исваль настроит сейчас жужжание аттической пчелы на тебя; другим больше незачем подыматься, все равно мы услышим одно и то же: рабочий кирпичного завода — главный технолог; красильщица — прокурор; радиолог, который был каменщиком, и так далее и тому подобное. Скучно перечислять. Кто и теперь еще не представляет себе, что за люди собрались здесь, кто и теперь еще не понимает, что такое РКФ, кто и теперь еще не уразумел, что такое ГДР, того нам просто жаль, тому помочь трудно, того Роберт Исваль и видеть не желает, когда, превратившись в аттическую пчелу, станет жужжать: «Жил-был однажды лесоруб, звали его Якоб Фильтер...

Жил-был однажды Якоб Фильтер, и был он последний человек из последних. Жил он в диких чащобах, а на много-много миль кругом жили только угольщики, разбойники и ведьмы, а еще на много-много миль кругом жил господин Леман. Господин Леман жил в роскошном замке и время от времени уезжал по делам. Ему нужно было не упустить своих интересов в Штеттине, интересовала его в Штеттине собственная верфь, а в Бреслау — точильная мастерская, а в Штральзунде — якорная, а во Франкфурте-на-Одере господина Лемана интересовал пивоваренный

завод, а в Померании, в Бранденбурге и в Силезии — молочные, и винокуренные, и кирпичные заводы, а в Штеттине был еще бордель. Все это принадлежало господину Леману. Господину Леману, собственно, незачем было самому разъезжать, все было упорядочено и скреплено договорами, и везде у него были преданные работники. Одного такого работника звали Фридрих Фильтер, у него был сын, звали его Якоб. Фридрих был лесорубом, и Якоб тоже стал лесорубом. Ему тогда было четырнадцать лет. В ученики ему поступать было незачем, все, что надобно знать, чтобы угодить господину Леману, он уже давно изучил. Якоб умел пилить, вколачивать клинья, затягивать цепь вокруг ствола и тушить лесной пожар, он умел спугнуть ягодников и шугануть грибников, умел снимать шапку перед господином Леманом. Он умел без часов определить время и знал, где север, а где восток, он знал, кроме того, почему отец ушел на войну и почему вообще была эта война: потому что русские зарятся на все, чем владел господин Леман. А подтвердилось это, когда кончилась война, пришли русские, они поселились в замке господина Лемана, пили вино господина Лемана и требовали древесину господина Лемана. Якобу уже стукнуло семнадцать, и, когда пришел к ним русский и сказал, что труд отныне дело чести и славы, Якоб Фильтер рассмеялся совсем как взрослый. Работы было выше головы, а лес редел, при господине Лемане такого никогда не случалось. Чему ж тут удивляться, говорили люди, ни Лемана нет, ни государства больше нет, леснику даже охотничье ружье не дозволено иметь, чему ж удивляться, если лес гибнет, как от пожара, если никого не осталось, кто научил бы, как ухаживать за лесом. И лесник, бывший когда-то лесорубом, но гораздо старше отца Якоба, сказал: «Надо, чтобы кто-нибудь изучил это дело. На районном активе спросили: если знаете, кто способен к ученью, назовите. Я и назвал Якоба Фильтера, другого-то я никого не знаю, а он один среди нас в подходящем возрасте». Тогда Якобу Фильтеру исполнился уже двадцать один год, а школы он уже семь лет в глаза не видел. И Якоб стал отказываться, но как-то не очень ловко. Тогда ему сказали: тебе от нас не увернуться. Они тут придумали такое, что и уговаривать никого не надо: если кто не хочет ехать, надо его делегировать. Мы делегируем тебя, и придется тебе ехать, у нас ведь демократия. Так Якоб Фильтер оказался перед приемной комиссией, но, заметив, что проверяют его знания, почувствовал надежду, ведь у него никаких знаний не было. И все-таки он попал в ловушку, его спрашивали о работе и о лесе, а сами ничего в этом не понимали, и он им все подробно объяснял. Так его и поймали. В октябре сорок девятого старый

лесник подарил ему непромокаемый плащ, а лесорубы посмеивались. Но что ему было делать — он был их делегатом. Три долгих года пришлось Якобу Фильтеру изучать науки, к лесу почти никакого отношения не имеющие, и еще четыре года — такие науки, о которых говорили, что они о лесе, но это был лишь умозрительный лес, так сказать, научный лес, и, когда семь лет прошли, Якоб Фильтер заявил: так, а теперь отпустите меня домой, в мой настоящий лес, собственно, теперь он уже совсем не лес, но я хочу из него снова сделать лес, затем я сюда и приехал и теперь знаю, как это делается. Однако его наставники ответили, что не для того учили его всем наукам, чтобы он разменивался на мелочи, лес господина Лемана — это ведь еще не весь лес, и вот они хотели бы знать, достаточно ли он, Якоб Фильтер, сознательный. Сознательности, ответил Якоб, у него хватает, и нечего ему господином Леманом в глаза тыкать, разве он не выучил всего, что от него требовали? «Да,— отвечали наставники,— ты все выучил, и немало потов с тебя сошло, и нам это немало усилий стоило, но это еще и денег стоило, а тебе, конечно, известно, кто их давал. Так иди и отплати ему добрыми делами, иди и расти лес для того, кто платил нам за наши усилия». И Якоб Фильтер стал служащим в министерстве сельского и лесного хозяйства, а когда по радио пели: «В лесу и на лужайке — везде мне хорошо!» — он выключал приемник. Но иногда он все-таки отправлялся в лес, не развлекаться, не на охоту — хали-хало, хали-хало! — а чтобы проверить взаимодействие почвы и дернового покрытия, размеры поражения вредителями, площадь лесопосадок и противопожарные мероприятия, и, когда он приезжал, лесорубы говорили: «Ого, вот явилась государственная власть!» А звучало это так: «Гляди, вот явился новый господин Леман!» Не помогало, что он показывал им свои руки. Они на них глядели и говорили: да, они ему верят, он когда-то работал этими руками, но теперь он сидит в верхах, а верха всегда остаются верхами, какие бы руки у кого ни были. Тогда Якоб Фильтер вернулся в министерство и стал ломать голову над разными вопросами — о лесе, и о рабочих, и о том, как изжить из верхов этого господина Лемана. Но ничего другого не придумал, кроме как работать. Он хотел выполнять работу как можно лучше и разумнее, а для того часто ездил в лес, показывал рабочим свои планы и расчеты, расспрашивал их обо всем подробно, и, если ему говорили, что то или иное не годится, он выяснял почему, он спорил, измерял, доказывал и выслушивал советы, а иногда менял свои планы, что легко сказать, но попробуй сделать, иногда же проводил в жизнь свои планы, что тоже легко сказать, да не просто сделать, и помаленьку да

полегоньку лес начал расти, и помаленьку да полегоньку начал изживаться господин Леман из памяти людей, а потом и вовсе пропал, понять это можно было уже из того, что рабочие в лесу предлагали Якобу Фильтеру табачок покурить, а при господине Лемане всегда бывало только наоборот, но еще понятнее это было из того, что теперь стоило в лесу разгореться спору, и рабочие говорили: «Об этом мы напишем наверх!» Что звучало так: «Об этом мы напишем Якобу Фильтеру!».

Благословенны будьте все мои ныне ученые друзья, благословен будь прежде всего Якоб Фильтер, начальник главного управления министерства, который еще тринадцать лет назад писал «ложка» через «ш», а теперь добился того, что сотни рабочих в лесу господина Лемана и в лесах других леманов слова «государственная власть» произносили как имя «Якоб Фильтер»: «Якоб Фильтер, служащий, начальник главного управления, дипломированный лесник и бывший лесоруб».

А теперь аттическая пчела Роберт Исваль погибает от жажды, но, конечно же, в этом торжественном зале оратору поставили на кафедру восхитительную пресную водичку, ну уж ладно, сочтем ее за холодное пиво: ваше здоровье, господин ректор, ваше здоровье, дорогой мой набор сорок девятого, вы, ребята, действительно оказались молодцами!

На сохранившихся у Роберта старых фотографиях ребята вовсе не выглядели молодцами, скорее наоборот. А уж тем более на маленьких карточках для паспортов, подклеенных к анкетам в архиве у Мейбаума. Посмотрев на них, можно было понять скептически настроенного психиатра: аккуратные проборчики, кружевные воротнички до солнечного сплетения, косички, сережки! Головки, вырезанные из семейного альбома — на фоне материнского платья в цветочек и клешни омара из натюрморта на стене. Поджатые губы — «фотографироваться глупо», раздутые ноздри — «фотографироваться нелепо», растерянность — «а как же веснушки?», кокетство — «а как мои глазки?». Так, кажется, и ждут птичку из черного ящика. А в анкете сказано, что данный запечатленный на фотографии субъект желает, получив аттестат зрелости, поступить на химический факультет и, окончив его, работать в области органической химии. Но и другие фотографии, любительские и специального формата, отпечатанные на глянцевой бумаге, были лишь смутным обещанием.

Вот рабочая группа А-один в конце первого учебного года у забора нового общежития, с табелями в карманах. Выстроились, будто футбольная команда, рота рекрутов или хор певческого

союза. И у всех вид чертовски победный, ну просто «4:0 в нашу пользу», а в глазах девушек вопрос «Хорошо ли я причесана?» Девушек немного, они точно незатейливые ромашки перед частоколом парней, чувствуется — фотограф тоже растерялся.

Эти фотографии лучше не показывать своим детям, иначе с вами не станут советоваться по вопросам моды. Брюки такие широченные, что сгодились бы слону, а негнущиеся плащи — будто из толя — способны любого милого мальчика и даже маменькина сынка превратить в трудновоспитуемого.

Подобные карточки вызывают желание охарактеризовать фотографию как искусство искажения.

Даже педагоги выглядели кретинами. Шика, в тридцать втором году с блеском защитивший диссертацию, посвященную теории потенциала, выглядел так — и тут напрашивалось затасканное сравнение,— словно не знал, что дважды два — четыре; Ангельхоф широко открыл рот, что его вовсе не украшало; Рибенлам, озабоченный, видно, тем, что его голова не войдет в кадр, стоит на полусогнутых ногах; царственные черты Старого Фрица так искажены неудачным освещением, что можно подумать, будто их директор всего лишь узколобый и заносчивый тип.

Отложим эту фотографию — она лжет.

А эта? Говорит она правду? Если да — то какой ужас! Шесть профанов на знаменитом состязании в Вартбурге. Их анкеты хранятся в папках оргбюро по проведению баховских дней для немецкой молодежи. Они, сказано там, являются делегацией рабоче-крестьянского факультета, избранной для получения — из рук в руки — культурного наследства.

Их профили четко очерчены резким весенним светом, они так напряженно таращат глаза в аппарат, словно видят самого господина Вольфрама фон Эшенбаха, шествующего по холмам на состязание миннезингеров. А эти важные позы они, видимо, собезьянничали, им такие позы совсем не подходят, как не подходят им и береты, напяленные на четыре из шести делегатских голов, поскольку Квази Рик выяснил: хочешь взять приступом крепость науки — покрывай голову беретом.

Он сделал это открытие уже в поезде, обследовав делегации других факультетов.

— Они ничего не упускают, чтобы отличаться от нас, точнее говоря, чтобы доказать, что мы от них отличаемся. Теперь они нацепили береты, что ж, отобьем у них охоту. Купим себе такие же. Беретами можно обзавестись не задумываясь, это национальный убор басков, а баски были против Франко.

Однодневное пребывание в Веймаре он использовал, чтобы раздобыть береты; остальные делегаты отправились в гости к

Гёте, как предписал им доктор Фукс, осмотрели дом, лужайку на берегу Ильма — «работал он вовсю, этого у него не отнимешь»,— разочарованно прошли по затхлому дому Шиллера, недоверчиво осмотрели Национальный театр, обрадовались, найдя на мемориальной доске знакомые имена («Говорю же вам, Музеус — это знаменитый сказочник»), но единодушно решили, что Ницше здесь делать нечего, а вечером Квази нахлобучил на себя и на троих ребят неуклюжие, грубо сшитые береты неопределенного цвета. Изуродованными до неузнаваемости выехали они к Баху в Эйзенах.

Впрочем, это мог быть Гендель, или Моцарт, или еще более древние композиторы — Глюк или Телеман. Разницы для ребят не было бы никакой. Старый Фриц вызвал их в дирекцию и объяснил, что они — лучшая учебная группа факультета и потому подходят для данного мероприятия. Он ткнул пальцем в громкое имя на пригласительном билете и произнес его так, словно оно обозначало опаснейший форт врага, а они стояли вокруг письменного стола, как на все готовый штурмовой отряд. А потом позвали доктора Фукса, старейшего члена городского общества любителей хорового пения, и директор попросил его прочесть делегатам факультета короткую, но содержательную лекцию о гражданском и культурном значении этого двести лет назад в бозе почившего музыканта.

Но Фукс отказался самым неожиданным образом. А сказал он ни больше ни меньше как следующее:

— Не стану я говорить с молодежью об отношениях полов.

Обсуждение подобных вопросов в присутствии студентов вообще противоречит его принципам, сказал в ответ Вёльшов, категорически противоречит всем его педагогическим принципам. И тем не менее на отказ коллеги Фукса ему хочется возразить следующее:

— Просвещать — наш долг, господин коллега доктор Фукс!

Безусловно, ответил Фукс, вся его работа на этом и строится, но, когда дело касается Баха, он отказывается выступать со своими разъяснениями и оценками, до того как на сцену выйдет дирижер. Он просит позволить ему сделать отступление. Покойного профессора Галетти из Иены обозвали как-то раз болваном, и главным образом за то, что он попытался одним словом охарактеризовать полконтинента: он позволил себе заметить, что Южная Америка — кособокая. На первый взгляд это глупость, но разве не заключена в этом определении и мудрость? Как иначе мог бы профессор в туманной Иене, этой тюрингской удушливой дыре, рассказать о Южной Америке сынкам хозяев отелей из Оберхофа и дочкам заводчиков из Галле? А теперь, возвращаясь к своему

отказу, он просил обратить внимание на следующее: по мнению многих врачей, желательно, чтобы девицы знали, что их ждет, если они заиграются на сеновале с парнями. Но какая женщина, разрешите спросить, какая истинная женщина вспоминает о своих познаниях в области нервной деятельности млекопитающих при реакциях на тактильный раздражитель, когда чувствует сильную руку, расстегивающую ей на спине пуговицы?

Глаза Старого Фрица в этот миг напоминали не портрет из хрестоматии по отечественной истории, а, скорее, фотографию объекта исследований Карла Базедова.

— Бах,— возопил он,— это же Крестьянская война, гражданственность, математика!

— Да, и это тоже,— возразил Фукс,— безусловно, уважаемый коллега директор, но и еще кое-что: почти физически осязаемый бог, глубокий страх перед адом, страсть к кофе и женщинам, ощущение бесконечности, смирение, жгучее любопытство и... широкий зад. Все это и, конечно же, ваша Крестьянская война и математика. Но прошу вас, уважаемый коллега Вёльшов, пусть уж шестеро наших избранников отправляются на концерт без лекции.

Они и отправились, нацепив нелепые береты и сгорая от любопытства после разговоров о сеновале и кособокой Южной Америке. Про себя твердо решили подмечать все, что связано с Крестьянской войной, а не то, что со смирением и страхом, намереваясь ничем не отличаться от студентов с других факультетов, казаться более умными, чем на самом деле, и никому не отдавать этого Баха, потому что, как гремел Старый Фриц, «он наш», и, хоть Вёльшова было в чем упрекнуть, никто не мог отрицать, что до сих пор он сделал все, чтобы «темные и неученые» обрели свои сокровища.

Но прежде чем слушать музыку, им пришлось выполнить обширную программу Праздничного комитета и познакомиться с городом. Эйзенах, может, и красивый город, но теперь он был переполнен, а гид, хоть и гонял их по каждой улочке, где Лютер будто бы пел свои послания, зато не имел ни малейшего понятия о съезде в Эйзенахе, а его коллега в Вартбурге только тем был лучше, что к своим старым текстам приспособил новые лозунги. Показывая им дырку в стене, где некогда было чернильное пятно, он сперва пролепетал что-то со страхом о черте, а потом бодро закончил, что атеистическая наука подводит нас теперь к предположению, что в данном случае речь, по всей вероятности, шла о галлюцинации у переводчика Библии. Показав на распятого Христа и его раны, он поскорее перескочил на историю искусства, потом сделал паузу, поднял указательный палец,

поспешно заглянул в свои записки и пробубнил:

— Чтобы все это сохранить, мы должны сохранить мир. А теперь войдем в знаменитую мозаичную капеллу, которую прошу не путать с певческой, но это, конечно, шутка...

Концерт, что и говорить, был куда веселее. Во всяком случае, они потом выразили свои переживания словом «веселее». Даже смотреть на пожилых музыкантов, взошедших на подиум и сидевших там, точно они в зале одни, было весело.

— Наверно, так принято,— сказал Трулезанд, найдя тем самым формулу, с помощью которой объяснил то загадочное действо, которое разворачивалось перед ними. После того как выяснилось, что у Трулезанда имеется дядюшка, который играет на скрипке и на валторне, он прослыл в их группе экспертом по вопросам музыки.

— Не могу судить,— говорил Трулезанд,— хорошо он играл или нет. Я вообще не могу о нем объективно судить, так как он причинил мне немало огорчений. Семья у нас была большущая, и мы то и дело отмечали дни рождения, и, когда все собирались, без конца те же истории пережевывали, одна из них — это о дядюшке и обо мне, когда я только на свет родился. Когда я родился, дядюшка, как обычно, был под мухой, а пьяненький он очень изысканно выражался. Моя тетка Герда, жена дядюшки, была у нас, хлопотала возле матери. В те времена мы ведь еще в своем доме являлись на свет, а не в родильном. Вдруг раздается звонок, тетушка открывает, в дверях — дядя. «Идет ли речь,— спрашивает он мою тетю Герду, с которой бывал ужасно вежлив, когда пропустит рюмочку,— идет ли речь о мальчике, благородная дама, или о девочке?» — «Заходите, заходите, благородный рыцарь,— отвечает тетя Герда,— речь идет о мальчике, но только не шуми здесь». Дядюшка поставил валторну в сторонку и на цыпочках прокрался к нам с матерью в спальню. Тетка рассказывала, что мама, увидев его, только воскликнула: «Ах ты, господи, боже мой!» А я спал. И потом под его громовую музыку тоже спал. Дядя достал из футляра скрипку, положил под подбородок платок и торжественно и громко объявил: «Клер,— это он моей маме,— я научу его играть на скрипке!» Вот в чем изюминка всей истории. На каждом дне рождения ее вспоминали, остальное было уже приправой. Как дядюшка пропиликал серенаду Тоселли, а я и бровью не повел, зато обе женщины чуть не умерли со смеху, про мать уж это точно, ведь после родов прошло всего несколько часов, потом они опять пытались его урезонить, но он наяривал, а они хохотали, так я ровно пяти часов от роду прослушал всего Тоселли. Но это еще пустяки, главным было торжественное обещание: «Клер, я научу его играть на скрипке!»

Ничего не стоило оживить самое скучное общество в день рождения, вспомнив эту историю. Можно было не сомневаться, кто-нибудь обязательно ее вспомнит, а я сидел как дурак, и все на меня глаза таращили, точно это я торжественно провозгласил: «Я научу его играть на скрипке!»

— Ну и что,— спросила Роза Пааль,— научил он тебя, ну играть на скрипке?

— Не-ет, вскоре наше семейство рассталось с дядюшкой, тетя Герда развелась с ним, потому как он заболел белой горячкой. Трезвый он смахивал на верного кролика, держал наготове пепельницу, когда она курила, грел для нее черствые булочки и все такое. А вот когда, пропиликав ночь на скрипке или продудев на валторне и хлебнув кюммеля, он под утро возвращался домой, то вытаскивал ее из кровати и требовал, чтобы она под его скрипку танцевала на улице, даже зимой, в снег, и горе ей, не назови она его «благородный рыцарь». Вот она и развелась и сидела с кислым видом, как и я, когда речь заходила об этом дяде и о его обещании: «Клер, я научу его играть на скрипке!» Все веселые истории со временем перестают быть веселыми.

— Вздор,— возразил Роберт,— об этом и поспорить можно. Если история хороша, ей ничего не грозит.

— Ты так думаешь?— воскликнул Трулезанд.— А что ты запоешь, если я тебе скажу, что история о моем дяде теперь только рев вызывает? Соберемся мы в кои-то веки, и какой-нибудь осел обязательно ее припомнит, и тут все рев поднимают. Тетя Мими первая. Начинает считать, кого с нами нет из тех, кто раньше приходил. Моих мать и отца, и пьянчужку дядю вспомнит, он без вести в Сталинграде пропал, а пропавших без вести в нашей семье хоть пруд пруди. Что же хорошего в истории, от которой все ревут?

— А разве мы сейчас не смеялись?— спросил Роберт.

— Ясно, смеялись, да только потому, что не знали всей истории до конца. Если бы знали, не смеялись бы.

— Может, в том-то и вся соль?— спросила Вера Бильферт.

— Ну-ка выкладывай,— сказал Роберт.

Вера недоверчиво взглянула на него, но потом все же сказала:

— Может, история только тогда веселая, когда ее до конца не знаешь. Это трудно объяснить, но вот что я думаю: собственно говоря, про войну тоже не может быть веселых историй, ведь в целом-то она была страшной. А их все-таки очень много.

Якоб Фильтер, до сих пор молча слушавший, сказал:

— Ты говоришь, веселые, если их до конца не знаешь. А про войну мы ведь все знаем.

До этих слов Квази Рик не испытывал ни малейшего интереса

к затронутой теме; но раз высказался Якоб, его подопечный, он решил поддержать его:

— Верно, про войну, как таковую, нам все объяснили, но, спрашивается, помнит ли тот, кто рассказывает веселые военные истории, полученные нами уроки.

— Кое-что хоть знаешь, да не всегда обо всем помнишь,— возразил Трулезанд,— никто так не может: всегда обо всем помнить. Всегда обо всем помнить — с ума сойдешь. Тогда вообще не было бы ничего веселого.

— Теперь я понял, что вы хотите сказать,— проговорил Якоб Фильтер.— Это как картонный нос нашего обер-лесничего.

— Ты, собственно, о чем?— строго спросил Квази.— Картонный нос, на мой взгляд, здесь совершенно неуместен.

— А это мы еще посмотрим,— заявил Трулезанд, и Роберт подбодрил Якоба:

— Давай рассказывай!

Якоб начал, как всегда, с запинкой:

— Был у нас обер-лесничий, я о нем вам уже говорил. Вот уж подлый был человек, и все его боялись. Но как-то раз наш помещик устроил лесной праздник для своих гостей из города. У нас никто и знать не знал, что такое лесной праздник, но управляющий нам объяснил: все должны быть ряженными, а вечером разожгут костер, и тогда всем надо плясать. А мы народных танцев не знали. Управляющий ругался, велел хоть как-нибудь танцевать, а главное, всем рядиться. Что ж, получилось очень даже весело. Нам, детям, во всяком случае, было весело. Только, глядя на обер-лесничего, никто не смеялся. Хоть он и нацепил огромный красный нос, картонный, конечно. На другого с таким носом смотреть было бы весело, а на него — нет. Глядя на него, никто не думал о носе, а все думали: вот господин обер-лесничий. Он был настоящей скотиной, и никто этого забыть не мог, и картонный нос ничего не менял.

— Надеюсь,— сказал Роберт,— он заметил, что нос ему не помог. Такие типы, бывает, ведут себя, как люди, вполне человечно, но увидят, что ничего у них не выходит, и готовы лопнуть от злости. Они в ярость впадают, уверяю вас, как почувствуют, что пусть лесной праздник, где пиво льется рекой, пусть картонный нос, а они для всех — обер-лесничие. Есть один способ их одолеть: не смеяться вместе с ними и не допускать, чтобы они смеялись вместе с нами.

— Пожалуй, это не единственный способ,— храбро сказал Якоб,— нашего обер-лесничего потом браконьер пристрелил.

— И так можно,— согласился Роберт.

— Но это же террор,— пробормотал Квази.

— Ясно, что браконьеру этот пункт был не совсем ясен, и обер-лесничий отдал концы,— сказал Трулезанд.

Роберт вернулся к теме.

— А здорово, я считаю, получилось с картонным носом. Картонный нос — уж очень неподходящее украшение для лесничего, поэтому вам не стало веселее. А история про скрипичного дядюшку все равно веселая, хоть и знаешь, что потом с семьей случилось. Скрипичный дядюшка — это вам не картонный нос.

Тут все стали дурачиться. Выдумывали музицирующих родственников и устанавливали, что каждый из них тоже не картонный нос. Вера положила всему начало. Тетя-флейтистка, сказала она, это вам не картонный нос, а бабушка-барабанщица и подавно, добавила Роза. Трулезанд пожертвовал тетушку с тромбоном, а Квази — племянника с дудкой. Они превращали картонный нос то в оловянную ногу, то в стеклянный пупок, и пожилой человек, открывший дверь в их купе, услышал, как Якоб, очевидно после долгих раздумий, сказал:

— Фортепьянный братец — это вам не деревянное ухо.

Все чуть не визжали от восторга, у Квази даже возникла блестящая идея переложить слова «фортепьянный братец — это вам не деревянное ухо» на музыку, и они продолжали веселиться до тех пор, пока проводник не попросил их вести себя потише. Они еще немного посмеялись, и Роберт спросил, рассказывал ли он, как под страхом смерти пел песни собственного сочинения?

— Мне рассказывал,— кивнул Трулезанд,— но валяй, повтори. История вполне годится, хоть и про плен, но все равно веселая.

— Да, про плен, но скорее уж про меня, законченного дурака, а потому наверняка вам понравится. Вот, значит, был я в то время дурак дураком и жуть как боялся русских. Они нас, правда, пока не сожрали, но явно вот-вот собирались это сделать. Война еще не кончилась, у них, видно, времени все не находилось. Дело было в апреле сорок пятого. Мы строили блиндажи для зенитного батальона, а зенитчиками там были женщины. Когда утром они выводили нас из лагеря, то всегда заставляли петь. А команду подавали: «Гали-гало!», песню мы им пели с «хали-хало!», но они «х» не выговаривали. Так вот, как-то утром копаем мы землю, и подходит к нам одна из них, метров эдак двух роста. Винтовка ее походила на итальянский карабинчик, хотя и была настоящей прусской винтовкой, просто она казалась маленькой, уж очень сама зенитчица была велика. Можете теперь себе представить, какой у нее был рост. Поглядела, поглядела она на нас, потом этаким миленьким движением, согнув палец, поманила, и как раз меня. Я было сделал вид, что не замечаю, но

другие меня стали подталкивать, рады, конечно, что не их зовут. Видели бы вы эту зенитчицу. Ну, плетусь я перед ней, а сам перебираю в уме все ужасы, какие могут меня ждать. И от всех мороз по коже подирает. Жутковато мне стало. Как я уже сказал, отъявленный был я идиот. А она велела мне лезть в блиндаж, который оказался кухней, надеть белый халат — вы бы все в него со мной вместе влезли — и чистить картошку. Вот уж чего я не умею, так это картошку чистить. Даже вареную, а уж тем более сырую. Но вот сижу я в блиндаже, напротив меня эта тетенька, карабин, зажатый ею между колен, выглядит теперь нормальным. При подобных обстоятельствах будешь и картошку чистить. Только я приступил к первой картофелине, зенитчица и говорит: «Давай, гали-гало!» Я посмотрел на нее недоверчиво, но она взмахнула винтовкой, точно тросточкой, я сразу все понял и спел ей песню с «хали-хало». «Эх, грошик, ты мой грошик!» называется. Как до «гали-гало» дошло, она радостно кивнула, и я спел всю песенку до конца. Хотел уже заняться картофелем, но моя дама опять свое: «Гали-гало, давай!» Я снова про грошик затянул, но она не пожелала. Понял я, что она другую просит. И спел «Карие глазенки». Может, вам и глупым покажется, что вот сижу я в блиндаже, напротив тетенька с карабином и сержантскими погонами, а я распеваю: «У девчонки моей карие глазенки». Зенитчице песня, видимо, нравилась, она прикладом отбивала такт по земляному полу, но я глянул на нее и обнаружил, что винтовка не поставлена на предохранитель. И, распевая «О дивный Вестервальд», я дважды запамятовал текст, все себя спрашивал, разрядила она винтовку или нет — «...и малый даже лучик до сердца достает». Я попытался, не закрывая рта, указать ей ножом на предохранитель, она как рассердится да как погрозит мне кулаком, а он пострашнее винтовки. Я ей песенку радистов спел, с идиотским текстом, но как дошел до слов: «И каждой девчонке твердит: дидадидит, дидадидит!», лицо ее повеселело; тогда я перешел на народные песни — у них ритмы поспокойнее. И верно, когда я затянул «Дикую розу», она винтовку на колени положила и медленно стала раскачиваться из стороны в сторону, а под «Розмари» ее лицо даже приняло кроткое выражение, как у самой обычной женщины. Но запас таких песенок у меня скоро иссяк, пришлось переходить на легкую музыку. Вальсы, оперетты, шлягеры — «Голубка моя» и «Красный фонарь на воротах горит». С ума сойти можно, я ору «На Реепербане ночью...», сержантша от удовольствия глаза закрыла, только погоны в такт прыгают, а я про себя мучительно думаю: что же еще спеть? Повторений она не терпела, я попытался еще разок, но она как застучит прикладом по доске: «Гали-гало, давай!», пришлось новую песню найти.

Я уже спел «Ах, елочка, ах, елочка, зеленые иголочки» и «Птичка под моим окошком», но скоро выдохся, в моем багаже остались одни нацистские песни, их я вовсе не желал петь, но она и их из меня выжала. «Мы новый порядок построим», «Восточный ветер взвил знамена», но от «Песни Хорста Весселя» я удержался, очень было опасно. Вот в таком-то бедственном положении я начал сам сочинять и музыку и текст. «О боже», пел я, что, вообще говоря, небезынтересно в том смысле, как быстро в подобном положении вспоминаешь господа бога. «О боже, милостивым будь!» — пел я на мелодию, какую иной раз воскресным утром передает радио. Но кухонная сержантша тотчас заметила разницу. Она так подозрительно глянула на меня, что я поспешно между двумя ариями пробормотал: «Оперр, оперр!» Тогда она кивнула и все-таки почуяла неладное, я ведь чепуху молол, перебрал все кухонные принадлежности — шумовка, кастрюля, ого-го-го — и закончил чем-то совсем бессмысленным вроде: «Фортепьянный братец — это вам не деревянное ухо», и мелодии тоже были не лучше. Сержантша совсем обозлилась, искусство мое ее больше не трогало, тут она обнаружила, что я все еще первую картофелину держу в руках, и я был изгнан. Ребята никак не хотели верить моей истории, но потом, когда, случалось, в бараке настроение падает, обязательно кто-нибудь найдется, как у Трулезанда на рожденье, и крикнет: «Эй, Роберт, спой-ка нам!» Остальные подхватывают хором: «Гали-гало, давай!»

— Но конечно, — сказал Квази Рик, который от всей души хохотал, — конечно, нельзя обо всей Красной Армии судить по кухонной сержантше.

— Не-ет, — ответил Роберт, а Трулезанд уточнил:

— Но конечно же, нельзя судить обо всей фашистской армии по Роберту Исвалю.

— Не-ет, — сказал Роберт, а Вера Бильферт добавила:

— Но конечно же, нельзя судить обо всем РКФ по Квази Рику.

— Не-ет, — сказал Роберт и нагнулся к Якобу, — ни в коем случае нельзя, ибо что такое, милый мой Якоб Фильтер, обер-лесничий для нас?

— Обер-лесничий — это вам не картонный нос, — ответил Якоб.

Только по приезде в Эйзенах они перестали поминать обер-лесничего, который вам не картонный нос, и фортепьянного братца, который вам не деревянное ухо.

А в Эйзенахе было действительно весело. Меньше было экскурсий и буклетов, которые не иначе как Старый Фриц сочинял, меньше тюрингских клецек. Но зато весело было

глядеть, как серьезные пожилые музыканты восседали на концертных эстрадах, и от безудержных трубных звуков было весело, и от старинных деревянных инструментов, и от хора мальчиков в белых воротничках, и от «Крестьянской кантаты», и от полуразговорных и полупесенных диалогов и речитативов — тут сразу же невольно вставал в памяти случай с Робертом Исвалем в кухонном блиндаже,— и от полнозвучных тарелок в «Бранденбургском концерте», и от флейт, напоминавших о весне, и лете, и о первом сене, и от точно рассчитанного чередования светлого и мрачного, резкого и нежного, которое так же трудно описать, как и Южную Америку, и которое так же неведомо им, как она, и все же стало постижимее теперь и никогда, может, больше не покажется таким прекрасным, как в этот раз, и от скрипки, на которой Трулезанда чуть не обучили играть, и от однотипных поз концертных завсегдатаев, и от слушателей, что пальцем водят по своей партитуре, и от изысканного сочетания скромности и достоинства в поклоне дирижера, и от резких трелей гобоев, и от пуговок на спине девушки, сидящей перед тобой, и от пронизывающей, ошеломляющей тебя мысли: «Старина, а ведь ты слушаешь концерт Баха!», или «Да тебе это, кажется, нравится!», или «Теперь это уже всерьез».

Роберт Исваль не знал, его ли одного одолевают подобные мысли, но зато хорошо знал, что у него всегда получалось так: к великим открытиям приходишь обходным путем, новые, ошеломляющие истины обнаруживаются в мелочах, не имеющих, казалось бы, к ним никакого отношения,— первая ласточка возвещает весну.

Так, суть войны он понял не из специальных сообщений, суть эту раскрыли ему не отмена занятий в школе, не солдаты и не танки на улицах и даже не слезы матери и не отец в форме, резко пахнущей нафталином, война только тогда раскрылась ему во всей своей ужасающей сути, когда отец сказал: «Можешь теперь взять мой велосипед!»

И даже через пять лет, когда он надел такую же форму — только от его формы несло не нафталином, а запахом пыли, смазочного масла и пóтом перегруженной швейной фабрики,— он все еще не понимал, что он солдат, не понимал, что ему предстоит, не понимал, что он может погибнуть. Но когда впервые увидел, чтó делает снаряд с крышей дома, как высоко в небо взлетают балки и кирпичи и как бесконечно медленно падают они на землю, словно эти балки и кирпичи не тяжелее сырого дыма, тогда он наконец понял: война может сделать с тобой все, что угодно.

А плен для Роберта начался не выкриком: «Не стрелять, не

стрелять!», и не ударом в переносицу, и не захватывающей мечтой хоть о трех холодных картофелинах, плен начался для него с той минуты, когда стоящий рядом с ним в строю парень при всех спустил штаны и, не сходя с места, опростался, и никто не обратил на это никакого внимания. Тут только Роберт понял, что они вышли из игры и почти уже перестали быть людьми.

Война, близость смерти, плен — вот основные этапы его жизни, и он осознавал их без всякой патетики. Даже радостные открытия и те происходили без туша и фейерверка, часто комически, и почти всегда без приличествующего в таких случаях достоинства, о каком пишут в книгах.

Возвращаясь из плена, иными словами, получив свободу, он и не думал проливать счастливые слезы при виде вновь обретенной родины; переезжая Одер, они хором орали «Рыбаков с Капри», и разве что безудержность их рева указывала на колоссальное значение шага, который они в этот миг совершали.

И любовь обернулась для него огромным благодеянием, и было ему удивительно хорошо, словно он удачно забил гол в решающей игре, или получил целую миску клубники с сахаром после суровой зимы, или прыгнул головой вниз с перил железнодорожного моста, или влез под холодную струю после утомительного велокросса в жару по степи — все эти ощущения несла с собой любовь, а то, что это самая тайная из всех тайн, вероятно, делало ее особенно завлекательной, и то, что он был еще слишком молод, тоже играло немалую роль, но, боже ты мой, до стихов дело не дошло, стихи были позднее, но в этот раз, с первой, его только смех разбирал, да и она тоже до слез смеялась бы, если бы он принес ей стихи. Ее муж слишком долго был солдатом, а ей ведь было всего двадцать восемь, и она бренчала на рояле, во всяком случае, кусок из вальса «Весенние голоса» она играла, и куда ей по тем-то временам было надевать платье с глубоким вырезом! Из выреза худые ключицы так и торчали, вот, посмотрите, а тут еще этот вальс «Весенние голоса», ах, не надо, пожалуйста, антенна может в конце концов и подождать. Если бы все шло, как об этом рассказывают, он чувствовал бы себя в тот момент или после того мужчиной, наконец мужчиной, но ему в голову то клубника лезла, то степь, правда, очень скоро ему стало ясно, что он вышел победителем, правда, понял он это тогда, когда уже знал, что не так уж она исхудала, хоть ключицы и торчат, да и случилось все это как-то невзначай. «Слушай-ка! — сказала она, выходя из кухни с бутылкой лимонада, но платья с глубоким вырезом на ней уже не было, и вообще ничего не было.— Слушай-ка,— сказала она,— а хозяин думает, ты мне антенну ставишь!»

Тут только он понял, что́ закрутилось. За все будет расплачиваться хозяин, который сидит сложа руки дома и ждет, пока ученик заработает ему деньжат: молотком, клещами, долотом, сверлом, в подвале исправит насос, в сарае — мотор, в кухне — лампу, на крыше — антенну, восемь часов в день, и девять, и десять. Вальс «Весенние голоса» никак не входил в распорядок дня, и худющие ключицы тоже, и совсем особенный вкус тепловатого лимонада в этот совсем особенный день, уж конечно, тоже. «Да ну его»,— сказал Роберт Исваль и рассмеялся, а лимонад выплеснулся и потек ему за воротник, и это все решило: он стал говорить «ты» пианистке, женщине на двенадцать лет его старше. Именно это и было истинной вершиной их отношений, а не вальс и даже не ее совсем особенная и очень приятная манера приходить на помощь, если ты облился лимонадом.

Своеобразный механизм великих открытий работал всегда безотказно, снова и снова главное раскрывалось через второстепенное, и потому Роберт Исваль ничуть не удивился, когда в концертном зале Эйзенаха столкнулся с восхитительным, дух захватывающим и невероятным фактом — он стал студентом.

Через двенадцать лет это слово превратилось в нечто обычное, как многие другие, как «дерево», или «завтрак», или «жестянщик», но без этих двенадцати лет слово «студент» было экзотикой, как Гималаи, или Южная Америка, или Шанхай, или принц-регент, или Кохинур, или Шекспир, или Бах. «Бах», к примеру, такое же слово, как «гобой», или «фагот», или «клавесин», это какое-то неземное слово, хотя и вполне от мира сего, но все же неземное, неосязаемое, неуловимое.

Но вот, сидя у ног музыкантов в черных фраках с фалдами, напоминающими хвосты ласточек, ты ощущаешь, как исчезает недоверие, и ослабевает внутренний отпор, и возникает чувство удовольствия, и если не понимание, то, во всяком случае, любопытство, ибо только теперь ты начинаешь осознавать, что отныне тебе все открыто.

Люди, не падайте в обморок: Трулезанд, которому пьянчужка дядя пиликал серенаду Тоселли, слушает Баха, и Роберт Исваль, гали-гало-Исваль, слушает Баха, и Роза, и Квази, и Якоб, и Вера слушают Баха, они не притворяются, у них от удивления глаза на лоб лезут, они с любопытством все это слушают, и хоть не совсем еще понимают почему, но все-таки музыка им нравится, не все, правда; речитативы, к примеру, они считают чудны́ми, да, каким-то дурацким завыванием, ну и пусть, скоро они привыкнут, а формула Трулезанда — что, мол, тогда, наверно, оно было принято, это разговорное пение,— оправдалась, и теперь в общем и целом они готовы доложить на факультете: мы, ваши

делегаты, сообщаем вам, что оценка, данная директором, верна, Бах действительно наш или мог бы быть нашим.

На факультет они вернулись без беретов, потому что в замке Вартбург и в городе оказалось столько беретов и украшали они такие дурацкие физиономии, что Трулезанду стало тошно, он заявил, пусть-де лучше его не считают студентом, ему от этого ни жарко, ни холодно, это обнаружится иным путем, он, во всяком случае, решил украсить своим беретом одного из ослов, подымающих экскурсантов на Вартбург, и деяние сие пришлось по душе даже Квази Рику.

Вот почему была всего одна фотография с беретами, и кто ее видел, не мог не одобрить действий Трулезанда даже через двенадцать лет. А кто, как Роберт Исваль, под одним из этих отвратительных беретов узнавал самого себя, тот спешил сунуть фотографию обратно в кучу других, столь же безыскусных.

Но безыскусная фотография или нет, а у каждой своя история; *больше того, каждая имеет историческое значение, но разглядеть* это способен лишь посвященный. Кому и что говорит, например, фотография, на которой еле различима пустая студенческая столовая, а в центре на стуле стоит молодой человек в тренировочном костюме? Глупейшая ситуация? Да, и в то же время важнейший момент в жизни рыбака и студента РКФ футболиста Тримборна. Его диковинное одеяние, включая широченные шаровары, не что иное, как первый тренировочный костюм рыбака Тримборна; он получил его в подарок от своего спортивного общества за хорошую игру в футбол, это премия за успех, которой он гордится, а когда человек надевает свою премию, он поступает с ней так же, как с новыми брюками,—спасая ее от пыли, взбирается на стул. И если ему скажут: «Эй, друг, замри-ка на минутку, твой костюм надо увековечить»,—он замрет, ведь всякому ясно: первый тренировочный костюм в жизни, да к тому же еще премия, как же его не увековечить?

Роберт отложил фотографию; решил захватить ее с собой на торжественный вечер и показать доктору Тримборну. Поглядим, что он скажет, может, посмеется, а может, нет, и это уже будет новая история, печальная история рыбака Тримборна, который когда-то влез на стул из-за мешковатого штапельного тренировочного костюма, а теперь носит серые фетровые шляпы.

И у фотографии, на которой рабочая группа А-один—э, нет, тут уже рабочая группа А-два демонстрирует полученные сию секунду значки за отличные успехи,—тоже есть своя история, и даже весьма запутанная.

Значки, заорали они все разом, этого еще не хватало, об этом и речи быть не может, пусть Квази и весь его центральный совет

с кем хотят устраивают такую комедию — экзамены и раздача «орденов», — только не с ними, с них хватит и значков, и орденов, пусть Квази — эта аттическая пчела — жужжит хоть до потери сознания, нет, они не хотят!

Они захотели только тогда, когда прошел слух, что из двенадцати филологов, пожелавших сдать экзамены, выдержали только двое, а у географов из восемнадцати — вообще только один.

Ну, если так, если это не медальоны для попугаев и зубрил, если штуку эту получает тот, кто доказал умение самостоятельно политически мыслить, если надо не только уметь рассказать о Павле Корчагине, но немного быть на него похожим, если эта бляшка дается за настоящее дело, тогда возьмем да и заполучим ее, нажмем-ка, рабочая группа А-два, посидим сверхурочно и в ночную смену, нажмем на Рибенлама и на Старого Фрица, будем делать обзоры газет и выжимки из брошюр и повторим-ка еще разок третью черту диалектики, и товарный фетишизм, и радикализм как «детскую болезнь «левизны» в коммунизме», и решения I съезда ССНМ, и Апрельские тезисы, и «Зимнюю сказку», припомним, как писать статьи в стенгазету и еще сотню-другую необходимых вещей, потом поспрашиваем друг друга и получим значки, а университетские пусть лопнут от злости.

Ну и чудаки же мы были, подумал Роберт и покачал головой. На карточке ты, брат, такой гордый, эх, ты, балда, а ведь значок-то бронзовый! Это была лишь первая бронзовая капля, позже на факультет хлынул бронзовый ливень, ибо был брошен клич: каждый член ССНМ должен стать значкистом. Но даже золотой значок было легче заработать, чем первые бронзовые значки, да и радости такой он не доставлял, но первые — первые доставляли буйную радость, и надорванное фото еще до сих пор мерцало их отблеском.

В Робертовой папке среди множества фотографий только две были профессиональные: сильно увеличенные, контрастные, хоть сняты «экзактой» или «лейкой», и глянцевые. На обороте стояли фамилии фоторепортеров, а одна была даже с пометкой государственной пресс-службы. Обе зафиксировали торжественные официальные события. На одной в самом центре — трап самолета, на другой — трибуна в актовом зале. На трапе стоят Трулезанд и Роза, а на трибуне — Старый Фриц и Роберт Исваль. Герд и Роза держат в руках огромные букеты гвоздик, а Старый Фриц как раз вручает Роберту такой же букет. На трапе виднеются развевающиеся флаги, и за Робертом Исвалем на возвышении перекрещены государственные флаги, черно-красно-золотые, еще без молота и циркуля в венке из колосьев. Флаги 1952 года. Обе

фотографии запечатлели проводы, но совсем разные.

Одну Роберт при случае разглядывал, и всегда с любопытством, и всегда с гордостью.

Другую окидывал лишь беглым, почти слепым взглядом, которым не разглядеть остроты ситуации на снимке. И слепым — вовсе не от гордости. Дважды лето пятьдесят второго, дважды прощание, дважды победа, один раз — честная, другой — жалкая, дважды Роберт Исваль, один — честный, другой — жалкий, два Роберта Исваля, но в целом все-таки один.

Снимок актового зала не зафиксировал никакого движения; фотограф поймал как раз мертвую точку: пожатие руки и передача гвоздик, застывшая извечная группа — учитель и ученик; и только тот, кто был там, помнит, какой поднялся крик и как сразу после этой сцены взорвался порядок торжества, и только тот, кто, подобно Роберту Исвалю, был там, может сказать, как выглядит веселая толпа с высоты двух-трех метров в момент, когда сила земного притяжения берет свое и тормозит взлет человека, которого за выдающиеся успехи подбрасывают вверх шестнадцать выпускников. А он и счастлив и озабочен одновременно, потому что в руках у него премия, десять томиков Гёте и четыре Шекспира, и, если треклятый Квази не прекратит свое «раз-два, взяли!», все это великолепие разлетится черт знает куда и того гляди набьет его превосходительству шишку, а он как раз произнес такую прекрасную речь об искусстве собирать камни и о полете времени.

О полете за тридевять земель, в тридесятое царство, в китайское государство его превосходительство ничего не сказал; этим через несколько дней занялся товарищ Вигг из министерства высшего образования и потратил немало усилий, чтобы удержать в руках исписанные листки — над аэродромом свистит ветер, он гуляет по полю и с особой силой треплет листки бумаги, флаги и кудри Трулезанда, но товарища Вигга это ничуть не волнует, ибо сам он не в меньшем порыве, чем ветер, ведь это его первая большая речь, и повод для нее — тоже первый в своем роде. Поэтому товарищ Вигг выучил речь от слова до слова наизусть, а исписанные листки держит только в силу традиции; церемонию снимает кинохроника, и кто-нибудь, чего доброго, сочтет, увидев, как он произносит речь без бумажки, что он недостаточно серьезно относится к торжеству проводов. Но уж чего-чего, а серьезности у товарища Вигга хоть отбавляй, он и не подозревает двусмысленности своих слов, когда говорит:

— Добрые пожелания ваших товарищей сопровождают вас в чужие края.

Для большинства присутствующих слова эти имеют один

смысл: счастливого пути, желаем вам всего хорошего, не болейте, учитесь усердно, передавайте привет нашим китайским братьям! Товарищ Вигг говорит от их имени, а также от имени Роберта Исваля. Но Роберт хочет пожелать Розе и Герду еще многое другое: поладьте, ребята, станьте не только официальными супругами, но настоящими мужем и женой, а ты, Герд Трулезанд, будь снова мне другом! Это, конечно, много, очень много, знаю, сейчас еще рано говорить об этом, да мы бы и не смогли, даже если бы ты захотел. «Ильюшин» умчит тебя за восемь тысяч километров — я точно подсчитал — через Варшаву, Москву, Казань, Свердловск, Новосибирск, Омск, Иркутск, Улан-Батор; я навел справки, ты полетишь над Одером, Вислой, Днепром, Волгой, Иртышом, Обью, Енисеем и Байкалом, через Уральские горы, над пустыней Гоби и над Великой стеной. Я вертел глобус и знаю теперь — ты прилетишь в город, расположенный в десяти градусах долготы от нас и семью часами ближе к восходу солнца, я хорошо это помню из географии, долгие годы ты не получишь отпуска, один разок, может, за все семь лет, так я слышал, а в своем котелке придется тебе найти местечко для возможно большего числа совершенно чуждых тебе десяти тысяч иероглифов, и для всех династий между sinanthropus pekinensis* и Мао, и для литературы от Цюй Юаня до Мао, и для революционеров от Чэнь Шэна до Мао; я слышал только об этом, но знаю, что в твою голову за семь лет должно влезть еще в тысячу раз больше знаний, миллионы различных фактов, дат и подвигов, все они должны обрести известный порядок, поскольку являются частью не только знаний вообще, но и науки, и тут я спрашиваю себя, и в вопросе моем заключена надежда, добрая и злая: останется ли при этом в твоей голове место, хватит ли у тебя сил и времени для мыслей о Вере Бильферт, швее, и о Роберте Исвале, который всего несколько дней назад был твоим другом, а теперь стоит у взлетной полосы, чтобы пожелать тебе и Розе Пааль всего наилучшего, точно так же как товарищ Вигг из министерства высшего образования и немножко не совсем так?

Не думай только, Герд Трулезанд, что у друга твоего легко на душе, что он мысленно потирает руки от радости. Совсем, совсем нет. Хоть он и торжествует победу, большую победу, но при этом ему реветь хочется.

Нелегкое это прощание, и от алых флагов не веселее, и от музыки не радостней, ибо это прощание с дружбой, с целым периодом, полным чудес; возможно, Роберт Исваль чуть чаще, чем надо, произносит слово «чудо», возможно, десять лет назад

---

* Синантроп пекинский *(лат.)*.

он обращался с ним осторожнее, возможно, там, на аэродроме, слово это не пришло ему в голову, но, когда он теперь вспоминает то время, оно кажется ему полным чудес.

Нет, это всего лишь наваждение, друг, прошлое в свете бенгальских огней, история в блеске разноцветных ракет, история в сиянии фейерверка — даже теней настоящих нет. Какие уж там чудеса — один магний.

Днем поглядишь — и чудеса тускнеют. А все-таки они были, и они есть, и почти безмолвное взаимопонимание между ним, Робертом, и Трулезандом — одно из этих чудес. Стоило плотнику заговорить, и слова его звучали заклинаниями. Скажет он, к примеру, смертельно уставшему Роберту Исвалю, у которого нет ни сил, ни охоты не только пойти выпить кружку пива, но даже просто встать с кровати, Роберту Исвалю, наповал сраженному таблицей логарифмов, злодейски замученному коварным творительным, пронзенному копьем в войне Алой и Белой розы, в Крестовом походе против альбигойцев, в Тевтобургском лесу и на Березине, умирающему от жажды в Сахаре, Гоби, Калахари и соленой пустыне штата Нью-Мексико, раздавленному столь тяжелыми предметами, как философия и политэкономия, изъеденному едким натром — NaOH, разъеденному соляной кислотой — HCl, задыхающемуся под грудой папоротников, всевозможных трав и мхов, ослепленному сиянием солнц, имена которых Гомер и Софокл, Данте и Сервантес, Шекспир и Вольтер, Ибсен и Чехов, и Гёте, Гёте, Гёте, оглушенному гласными и согласными, звонкими и глухими звуками, такими, при которых зев прикрыт, сужен или закрыт, и такими, которые зовутся сонорными, или фрикативными, или лабиальными, дентальными или палатальными, парализованному многочисленными попытками произнести правильно «Гоголь», не «Го-о-го-оль, господин Исваль, и не Гокель, неужели это в-самом-деле-так-трудно?» — так вот, этому Роберту Исвалю скажет Герд Трулезанд: «Пошли, старина, выпьем по кружечке, кто-нибудь анекдот расскажет, посмеемся. Ну как?» И Роберт Исваль, сын Пауля Исваля, вскакивает, а Квази Рик испускает боевой клич: «Комната «Красный Октябрь» экономит электроэнергию!»

Они экономили и на пиве, чем не очень-то радовали официантов, они строго следили за правильной мерой и точно считали деньги, ведь в словах «сдачи не надо» звучит скрытая коррупция, а с ней необходимо бороться. И в кинотеатре, как в одном, так и в другом, их недолюбливали, потому что они повадились во время душераздирающих любовных сцен вовсю хрустеть морковками, а как начиналась пальба — срочно звать врача. В политических дискуссиях они принимали самое горячее участие —

громогласно и по всем правилам диалектики. Ариела, девушка-змея, отчаянно ругаясь, покинула во время представления сцену, потому что Тримборн выразил ей свое глубокое восхищение, выкрикнув: «Как гнется, черт, в ее-то возрасте!» А однажды они с трудом избежали партийного взыскания за пронзительный свист во время спектакля «Гавайский цветок», все пошло в ход — и пальцы и ключи, а ведь в этой оперетте показано горе порабощенного народа, и уж если пробовать свои силы в борьбе с декадентщиной, то, пожалуйста, на «Лукулле» или тому подобных спектаклях.

И профессор психиатрии сложил с себя, правда на два часа всего, обязанности председателя Комитета Национального фронта, потому что Трулезанд оказался не кочегаром, хоть и утверждал, что кочегар; он лгал с самыми гнусными намерениями, а главное — кому? — дочери вышеназванного профессора.

Девица пришла в кафе «Рикки» с папашей, мамашей и многочисленными тетушками передохнуть, как она сообщила Трулезанду, выделывавшему с ней изящные па медленного вальса, от сумасшедшей спешки нашей жизни.

— Ясно, я спросил, от какой это сумасшедшей спешки она страдает. Оказалось, говорит вообще — профессии у нее никакой нет, помогает матери по дому, а разве это работа в профессорской семье? «Пардон,— говорю я и испуганно убираю руки,— я не ослышался? Вы, кажется, сказали, что ваш папаша — профессор?» Профессор, подтверждает она, но просит продолжать танец, от этого медленного вальса, мол, так сладко щемит сердце. У меня голова кругом пошла, ее папаша — настоящий профессор, я танцую с дочерью настоящего профессора, я... Но она успокоила меня, ничего, мол, особенного, «а чем вы занимаетесь, позвольте спросить?» Вот я и придумал этого кочегара, поглядели бы вы, как она обрадовалась. Ради такого впечатления я, пожалуй, готов и в матросы идти. А посудина моя, кстати сказать водоизмещением восемьдесят тысяч тонн, топится брикетами и совершает регулярные рейсы между Мурманском и Гонолулу, штурман у нас — мулат с деревянной ногой, первоклассный моряк, эдакий суровый морской волк! Очередной танец я пропущу, зато следующий опять мой — пропущу, чтобы не обращать на себя внимания, а то тетушки еще невесть что подумают.

Роберт, внимательно следивший за профессорским столиком, предупредил:

— Не оборачивайся, Герд, там явно рассказывается твоя история, тетушки на нас глаза вылупили, а увидят твою физионо-

мию, и правда черт знает что подумают. Ну вот, теперь показывай свой моряцкий профиль, хорошо, только профессор почему-то подозвал официанта.

Как только профессор узнал в «кочегаре» студента, члена возглавляемого им университетского Комитета Национального фронта, он расплатился и ушел; а на следующий день Трулезанду пришлось явиться сперва к Старому Фрицу, а потом в институт психиатрии, чтобы принести извинения за свое безобразное поведение и за срыв политической работы в рядах Национального фронта.

Трулезанд все утро прождал в приемной, битком набитой душевнобольными, а когда его наконец впустили и благосклонно выслушали, он чувствовал себя совершенно измочаленным и готов был профессору руку целовать. Но тот, «оказывается, парень что надо, как раз читает «Анти-Дюринг», ну, я ему еще кое-что посоветовал, а он все твердит: «Занятный малый этот Энгельс, весельчак, видно!» Я ему сказал: пусть, мол, прочтет переписку Энгельса с Марксом, вот уж до упаду нахохочется, он записал себе, потом еще прочел мне вслух кусок из «Анти-Дюринга» и все повторял: «Чертовски забавный малый этот Энгельс!» Не совсем, конечно, классический путь к марксизму, но что поделаешь, он ведь психиатр».

Трулезанд отлично справился и с епископом, хотя тот не читал Энгельса, даже чтобы посмеяться, не читал. Этот служитель церкви без страха переступил порог комнаты, называвшейся «Красный Октябрь», и для начала признал, что картина, где Сталин набивает трубку, исполнена истинной человечности. Он опустил все свои титулы, скромно сказал, что зовут его Фангельторн, что он из местной консистории и зашел к ним по совершенно определенному поводу. Накануне обитатели этой комнаты — все четверо, стало быть и Якоб,— побывав в районном загсе, сделали некий решительный шаг.

— Быстро сработало,— удивился Роберт, и Фангельторн понял его тотчас.

— Мы всегда сотрудничаем с городскими властями,— объяснил он,— так было и с советской комендатурой, и даже с господином Хайдуком мы наладили прекрасные отношения. Тем более я буду вам признателен, если вы объясните мне ваш шаг.

— Это шаг принципиальный,— заявил Квази и, казалось, хотел пуститься в разъяснения, но Роберт удержал его.

— Разрешите задать вам вопрос, господин пастор, или вы не пастор?

— Я епископ.

— О, сам епископ! Тогда разрешите два вопроса, господин

епископ. Считаете ли вы, что мы должны вам отвечать, то есть считаете ли вы, что это наш долг? И второй вопрос: вы всегда лично посещаете тех, кто совершает подобный шаг?

— Ни в коем случае. На сей раз его совершили одновременно четверо, и по долгу своего сана я должен лично заняться явлением, которое приняло такой размах. На другой ваш вопрос ответить труднее. Вы не обязаны мне отвечать, я хочу сказать, нет такого закона, который принуждал бы вас к этому, но я считаю, что, ответив, вы поступили бы как порядочные люди.

— *Порядочность. Да, словечко это прочно вошло в обиход,*— сказал Роберт,— все, кто от нас чего-нибудь хочет, знают его.

— Ваше замечание звучит резко, но у вас, наверно, есть свои причины так говорить. Именно поэтому я и пришел.

— Господин епископ, ваше посещение для нас большая честь,— сказал Трулезанд.— Но дело в следующем: через час у нас собрание, а до того нам надо обязательно съесть картофельный салат, который дала мне с собой моя тетя, до завтра он испортится, а салат этот — единственный повод выпить томатное винцо, которое привез Исваль. Поэтому разрешите нам закусить и не откушаете ли с нами?

— *Конечно, кушайте, и благодарю за приглашение, но я сыт.* А вот вы упомянули томатное вино? Это нечто необычное.

— Оно и по вкусу необычное,— ответил Трулезанд,— но гнали его из пшеницы, а потому — подпольно. Томатное же вино никто не запрещал, и это как-то легче выговаривается.

— Кажется, вино изобрел кто-то из ваших людей? — спросил Роберт.

— Не успели вы сделать свой шаг, как уже говорите о нас как о чем-то далеком и чужом.

— Я никогда и не был близок к вам, господин епископ.

Квази разделил вино и салат, не забыв епископа Фангельторна. А потом поднялся и произнес:

— *Щебечут пташечки в лесу, сейчас съедим мы всю еду. Ваше здоровье!* — Он зажал нос и осушил стакан.

Якоб, Роберт и Трулезанд поспешили последовать его примеру, и епископ не отстал от них. А потом все начали уплетать салат, и епископ тоже — такое уж это было вино.

— Что верно, то верно,— сказал Фангельторн,— напиток весьма своеобразный.

— Какие же напитки употребляете теперь вы,— спросил Трулезанд,— при конфирмации и прочей чеп... прочих торжественных случаях?

— У нас всегда кое-что в запасе найдется. Церковь умеет вести хозяйство. Позволю себе пошутить: теперь, когда вы

четверо сделали этот шаг, запасы вина иссякнут чуть-чуть позже. Правда, грустная шутка получается, но я здесь не для грустных или веселых шуток, я пришел из-за вашего шага. Вы хорошо все взвесили?

Они ответили, что «хорошо», и Квази поднял полный стакан:

— Пищит мышонок в норке, съедайте все до корки. Ваше здоровье!

Они снова зажали носы и, с трудом проглотив томатное вино, быстро заели его салатом.

— А вы каждый вечер наслаждаетесь сей жгучей жидкостью? — спросил Фангельторн и взглянул на уровень вина в бутылке.

— О нет, — ответил Трулезанд, — только когда Исваль побывает дома. А Якоб вообще впервые в жизни хлебнул винца, при конфирмации ему пришлось удовольствоваться водой с сиропом, его всегда трясет, когда на уроках литературы речь заходит о вине, этом благороднейшем из напитков.

Епископ посмотрел на Якоба.

— У вас прекрасное старинное имя. Оно никак не подходит к сделанному вами шагу. Иаков, служивший ради Рахили. Пример верности. И вдруг такой шаг.

Квази задумчиво поднял стакан и громоподобным голосом изрек:

— Кричат в траве перепела, подайте нам еще вина. Ваше здоровье!

— Будь что будет, — сказал епископ, зажал нос, выпил и стал есть. А когда его тарелка опустела и Трулезанд подложил ему еще, Фангельторн, не жеманясь, съел вторую порцию, но, заметив, что хозяева на него поглядывают, сказал:

— Не знаю, в чем дело, но у меня такое ощущение, будто жидкость сия, столь хитроумно названная вами томатным вином, растворила содержимое моего желудка и теперь в нем образовалась пустота, которую необходимо заполнить. К тому же салат ваш успокаивающе действует на обожженную глотку. И тем не менее я был бы вам премного благодарен, если бы вы кратко объяснили мне мотивы вашего шага. Просить вас об этом — мой долг, даже в этом доме и за вашим столом.

Квази хотел было еще раз наполнить стаканы, но Трулезанд отрицательно покачал головой.

— Господин епископ, — сказал он, — шаг наш объясняется следующим. Мы сочли невозможным называться христианами и не быть таковыми. Это честнее. У нас не хватает образования, чтобы одновременно состоять в партии и в церкви. Мы рады хоть с одним текстом справиться.

— Удивительнейший ответ,— произнес епископ,— я ожидал услышать ссылку на несовершеннолетие при крещении, или утверждение, что господь, по-вашему, недостаточно оберег мир от страдания, или даже эту ужасную мысль, что религия есть опиум.

— Зачем? Это вы и так знаете.

— Вы, стало быть, все обдумали? Вы сделали этот шаг не без сомнений?

— Увы, без всяких сомнений, но не без оснований. А основания эти преподают нам на факультете.

— Весьма примечательное учебное заведение, столь глубоко затронувшее сознание своих воспитанников. Что ж, теперь я пойду. Я не высказал всего того, что предполагал, но у вас здесь все не так, как обычно. Даже вино. Если вам когда-нибудь покажется, что я могу вам хоть чем-нибудь помочь, рад буду видеть вас. Всего хорошего!

Когда епископ ушел, Квази объявил:

— Легко отделались. Я ждал, что сейчас начнется эдакое иезуитское джиу-джитсу, а поп возник и исчез, точно огонек в ночи.— Потом подумал и добавил:— Но может, мы были недостаточно принципиальными?

— Ты отличнейшим образом принципиально молчал,— заметил Роберт,— или, может, считаешь свои изречения по Брему очень уж принципиальными?

— Счастье еще,— сказал Трулезанд,— что он ограничился ими. Имей в виду, Квази: спорить с епископом по вопросам религии тебе не по зубам. Ни тебе, ни мне. Шике, может быть, но и он его вряд ли скрутит. Скажешь попу, что не веришь в бога, так он тебя спросит о боге, а в этой области он, безусловно, знает больше... Нет, друг жестянщик, пожалуйста, не думай, что мы его победили. Мы только не поддались ему, и я полагаю, что помогло нам томатное винцо. Что и говорить, страшное оружие.

Когда же в один прекрасный летний день 1952 года Герд Трулезанд улетел в Китай, Роберту показалось, что все эти истории Герд забрал с собой, что, кивая в последний раз с трапа, он втянул их за собой, смотал, словно лестницу, словно канат, и не успел за ним захлопнуться люк, как всех этих историй не стало.

А для Роберта Исваля началась новая жизнь в совсем другом месте, с совсем другими задачами и другими трудностями; начались занятия, при которых можно было забыть математику, физику, химию, биологию и географию, и нужно было освободить в голове место для новых дат и новых понятий; начались годы учения, и он постепенно стал понимать, что до сих пор видел

лишь надводную часть айсберга, и то всего лишь одно мгновение, как бы в тумане. Не было больше ни комнаты «Красный Октябрь», ни директора общежития Мейбаума, приходилось сражаться с хозяйками за киловатт-часы и даже сбегать от них; от одной — потому, что она без умолку болтала о своей юности, мешая ему писать реферат о романе Гёте «Родственные натуры», а для молодого человека в этих воспоминаниях было слишком много «вечной женственности» и «игры на свирели»; от другой — потому, что ее «пунктиком» был кайзер Вильгельм и цены на яйца в его время; и попадал к третьей, которая, собственно говоря, вообще не сдавала супружеским парам и не скрывала, что считает студенческое супружество почти столь же сомнительным, как и морганатическое. Новый город оказался колоссальным государством, его надо было изучить. На городской электричке по кольцу за двадцать пфеннигов, если удавалось словчить, и за пять марок, если проходил контролер; пешком в район Альт-Кёльн и через Тиргартен, по Моабиту и Веддингу, через Александерплац и по Шёнхаузераллее в Панков; трамваем в Иоганнисталь и — в те времена еще — в Лихтерфельде поглазеть на ами, а в Тегеле — на французов, на шотландцев в юбочках — в Шпандау-Вест и на англичан — в Кройцберге; на велосипеде съездить в Мюггельские горы и в район Далем и Фронау. Роберт читал Грифиуса и Сталина, «Гамбургскую драматургию» и «Краткий курс истории ВКП(б)», «Гипериона», «Зеленого Генриха» и «Золотой горшок», и речи Жданова, и «Святое семейство», и «Эмпириокритицизм». Он посещал семинар по «Западно-восточному дивану» и агитировал владельца молочной лавки в Шарлоттенбурге голосовать за СЕПГ, копал на полях картофель и факультативно слушал курс фонетики, до полицейского часа спорил со студентами Технического, так называемого «свободного», университета из-за одного-единственного слова, из-за слова «свобода», например, и шесть раз смотрел «Кавказский меловой круг» и еще чаще — Елену Вейгель в роли мамаши Кураж. Сдавал два раза в год экзамены, а в конце — госэкзамены, писал семинарские работы и листовки и однажды написал свою первую статью, получал стипендию, а потом и зарплату, стал парторгом и отцом, был в Западной Германии на встрече с молодежью и на процессе компартии, до глубины души испугался, когда умер Сталин, и еще больше — когда прочитал известную речь Хрущева, в двадцать девять лет позволил себе купить первую пластинку, а в тридцать пять получил орден. И постепенно в дыму клингенбергской тепловой электростанции забывался вой морского ветра, на лекциях корифеев — Старый Фриц, в гостинице «Нева» — студенческая столовая, на Карл-Маркс-аллее забыва-

лась Роберт-Блюм-штрассе, в новой квартире — комната «Красный Октябрь», а глазной врач Вера Исваль вытеснила из памяти плотника Герда Трулезанда.

Забывалось все это и в то же время не забывалось. Кто умеет ходить, не думает о том времени, когда он этому учился, но изредка вспоминает его по рубцам на коленках и подбородке. Кто в состоянии выговорить «энцефалография», не вспоминает своих мучений с написанием коварного слова «корова», но когда в докладе по всемирной литературе ему пришлось назвать визиря Птахотепа, сразу всплыли воспоминания. Уверенность заставляет забыть неуверенность... до первой неприятности. С горы всегда кажется, что долина раскинулась далеко внизу, но ведь есть и другие горы... Подобную чепуху можно нести без конца.

А теперь пора ехать! К черту фотографии, хватит болтать, перечеркнем воспоминания, покончим со всем этим, и точка! Сколько нужно времени, чтобы поставить точку? Ответ за Гердом Трулезандом.

Нет смысла вновь строить всевозможные предположения. Пора положить конец дурацкому слалому вокруг всех этих «если» и «но». А теперь быстрее спускайся в долину. Это по Берлину ты хочешь проехать быстрее? У светофоров на Франкфуртераллее стоят шутники-регулировщики и точно рассчитанным рывком включают перед твоим носом желтый свет. Здесь тебе не промчаться по «зеленой волне», здесь регулировщик, здесь прежде всего думают о безопасности, а где бешеная скорость, там несчастные случаи, и поэтому мы включаем светофор, включай его, включай, коллега. Желтый, красный, желтый, зеленый, а самосвал перед тобой едва ползет, словно официант без надежды на чаевые, но в первый ряд проезжей части ему все равно не попасть. А почему это, разве он не равноправный трудящийся и разве вон тот парень в легковушке — трудящийся? Один средь бела дня в машине, в которой места хватило бы пятерым,— это, несомненно, бездельник, пусть подождет. И приходится ждать, как раз у вокзала Лихтенберг, ибо шутник и там дал ему желтый свет. Красный, зеленый, поехали, первая скорость, вторая скорость, тре... Пешеходная дорожка, стой, ну, шагай же, папаша. Ага, десять машин, двадцать, тридцать, пожалуй, даже сорок, и только тогда товарищ на перекрестке поднимает жезл к небу. Вам что, туда надо? Если нет, тормозите, из переулков людям тоже надо выехать. Ну, давай, товарищ, чего медлишь? Он не медлит, он ищет что-то на плане города, верно, нездешний, какая-то бабушка спросила у него дорогу, тоже небось нездешняя, а может, и здешняя, да

спрашивает, чтобы не ошибиться, а постовой, тоже чтоб не ошибиться, смотрит по плану и повернул к тебе свою широкую спину, а это значит, что путь закрыт; вот наконец он нашел, что искал, бабушка получила ответ, но теперь ей еще надо уйти с перекрестка — жезл вверх, внимание, включили скорость, тронулись, полтора километра со скоростью пятьдесят и поворот, а теперь осторожнее, здесь зоопарк, в республике семнадцать миллионов человек, и половина из них, кажется, только и делает, что бегает в зоопарк, одни зебры да зубры у них на уме и *никакого понимания правил уличного движения*, ух, чуть не влип, поедем-ка еще осторожнее — и Роберт Исваль едет дальше, самый дисциплинированный из всех дисциплинированных граждан. А теперь ныряем в тоннель с трамвайной линией и отличной булыжной мостовой, а теперь по прекрасному асфальту мимо Высшей экономической школы — улица эта напоминает итальянские спагетти, — поворот, китайское посольство оставляем справа, там, на третьем этаже, сидит, верно, прилежный китаец, точно сошедший со страниц одного из тех роскошных журналов, которые Роберт Исваль обязательно находит раз в месяц на своем письменном столе и в которых, вернувшись вечером домой, может прочесть, как дешевы помидоры в Пекине. Станция электрички Карлсхорст, ипподром Карлсхорст. Перекресток, желтый свет, красный, желтый, зеленый, поехали, обгон запрещен, заводская железная дорога, на платформах огромные бухты кабеля, адрес указан по-английски, прекрасно, дальше — перекресток, проскочили и въехали в узкую горловину Обер-Шёневейде. Но тут — внимание, щит с эмблемой известного ресторана, скорость не более шестидесяти, а для грузовиков с прицепом — восемьдесят. Ага, вот и сам ресторан «Адлерсхоф». Водка! Германское телевидение! Мимо, скорее мимо! Вот мы и на шоссе, ведущем к автостраде, а теперь выжмем восемьдесят, ага, под капотом засвистело, но это всего-навсего вентиль, а не жаворонок, и в коробке передач застучало. Вот и контроль на границе города — «Снимите, пожалуйста, темные очки», — ну, теперь дуй вовсю, до Лейпцига не больше двухсот километров.

На автостраде скорость не должна превышать ста километров, гласит закон, что ж, верно, но если в это время хочется думать, подыскивать нужные слова, чтобы поставить точку, так и ста чересчур много, восьмидесяти вполне хватит, со скоростью восемьдесят едешь спокойно, и остается в голове свободный уголок для мыслей о том, что ждет тебя впереди, и о том, что осталось в прошлом.

Но что впереди — сокрыто. Удается ухватить только случайные мелочи, вот, например, вахтер, он качает головой: нет,

доктора Трулезанда нет, он на конференции, не здесь, нет, не здесь, а где, он, вахтер, сказать не может, вернее, мог бы, но не знает, имеет ли право, ведь, возможно, это секрет, ладно уж, сделает исключение, конференция в Иене, впрочем, возможно, и вовсе не в Иене, он ничего не говорил, а звонить нет смысла, кому звонить, ведь когда конференция, секретарша берет свой день для работ по дому, очень жаль, но ничего не поделаешь.

Вот, пожалуй, возможный эпизод будущего, но в нем скорее сказываются тяжелые последствия травмы, национальной травмы — всемогущий, ничего не ведающий, неприступный, стоящий на страже вахтер. Зачем в институте синологии вахтер, что секретного в конференции синологов, зачем все так нелепо осложнять?

Ну, так обойдем вахтера, его и нет вовсе, ворота института открыты, указатель показывает дорогу: «Секретариат». «Добрый день, можно видеть доктора Трулезанда?» — «Он занят важным делом». — «Но мое дело тоже важное». — «И служебным». — «Мое тоже служебное». Ладно, опустим словечко «тоже», скажем просто: «*Мое дело служебное*». — «*Изложите суть, я доложу* доктору Трулезанду». — «Не уверен, коллега, что вас следует посвящать в мое дело». — «А вам не следует относиться так *несерьезно к своим обязанностям*». — «*Но я знаю, для чего* существуют секретари». — «Да как вы смеете, что за тон?» — «Ну, милая, славная... Ладно, не милая и не славная, просто: уважаемая коллега! Доложите, пожалуйста, обо мне доктору Трулезанду, я представитель социалистической прессы». — «А я с самого начала сказала, что он уехал по служебному делу». — «Уехал? Зачем же вы меня держите? Когда он вернется?.. А еще считаете себя хорошим секретарем?! До свидания».

Еще одна травма. Следствие печального опыта и сатирических выпадов. Бессмысленные перегибы. Приветливых секретарей гораздо больше, чем мы себе представляем. И вообще все секретарши любезные, а у Трулезанда ее и вовсе нет. Ты вообразил себе этих чудовищ, чтобы не думать о следующем этапе, ведь тогда сразу же придется сочинять первую фразу, первую твою фразу, с которой ты обратишься к Герду Трулезанду, которую ты произнесешь после десятилетнего перерыва и прощания, когда в тебе боролись столь противоречивые чувства.

Ни вахтера, ни секретаря, всего-навсего дверь с дощечкой «Д-р Трулезанд, ст. научн. сотрудник». Постучимся и войдем. Но за столом сидит не Трулезанд, а девушка, хорошенькая, двадцати одного — двадцати двух или трех лет, в ее взгляде испуг и досада: разве время уже истекло? Почему ей мешают? Она пишет контрольную работу. Разве вы не видели на двери: «Экзамен! Не

мешать!» А потом все-таки спрашивает, не известно ли тебе что-нибудь о вдовствующей императрице Цыси и о компрадорах, если нет, так удались, здесь сдают государственный экзамен.

Вот он, след третьей травмы: контрольные работы, экзамены, квалификационные комиссии, ни у кого нет времени, все должны учиться, сдавать экзамены экстерном, очно, заочно, на вечернем, на дневном, не мешать!

Теперь Герд Трулезанд оказался настолько чужим, что воображаемый институт, где все очень заняты и откуда тебя попросту выпроваживают, вполне может встать между ним и тобой; подобное предположение так разозлило Роберта Исваля, что у селения Михендорф ему пришлось резко затормозить — не заметил щита с указанием: «60 км».

Итак, картины будущего не получилось, трусость порождает искусственные преграды, но ведь как раз, чтобы покончить с трусостью, и пустился Роберт Исваль в путь. Он отправился на Зонненвег, он хочет явиться к месту встречи — и будь что будет. Ведь на Зонненвег, на этом его пути к истине, всегда было так: надо было только принять решение и положить конец сомнениям, а сам путь к истине — это уже борьба и преодоление трусости. И всегда было так: как бы ни звался противник Роберта, Вальдемар или еще как, настоящее его имя все равно было Роберт Исваль.

В американских фильмах это называют showdown, а если это вестерн, то в конце под угрожающий грохот музыки оба героя шагают навстречу друг другу, у злодея на лице коварная усмешка, а у доброго парня лицо пустое, как улица перед ним, как площадь, на которой происходит showdown. Злодей крадется, прижимаясь к деревянным домишкам, и по всему видно, что он затаил какую-то гнусность, а добродетельный герой шагает посередине улицы, и с первого взгляда понятно, что самая большая подлость не погубит этого молодца. Они сходятся на Рыночной площади, в море пыли, и, как только опускается последнее жалюзи, воцаряется жуткая тишина. Музыки нет, только пальцы, сжимающие кольты, только осторожно ступающие в пыли ноги, только глаза — коварная усмешка в глазах злодея и грустные глаза добродетельного героя, а потом кадры летят с молниеносной быстротой: злодей первым вытаскивает револьвер, добрый парень — намного позже, он опоздал, кадр — коварная усмешка, кадр — грустные глаза, кадр — из усмешки исчезает все коварство и остается только вопрос, а рука хватается за сердце, кровь, человек медленно оседает, пыль, музыка, крупный план — площадь оживает, из всех дверей показываются люди, и заика-парикмахер, и косой трактирщик, и честнейший кузнец, и

старичок с охотничьим ружьем, стареющая телеграфисточка и гордая дочь гордого владельца ранчо, все сходятся на площади, и лишь один человек незаметно уходит — добродетельный герой, а ныне бесконечно усталый человек, он убил, он сделал это против воли, но так надо было, и теперь он устал — showdown.

Добрый Роберт Исваль пустился в путь, чтобы уложить наповал злого Роберта Исваля, чтобы «поставить точку», как он говорит, чтобы покончить с этим делом, перечеркнуть его, уплатить долг, загладить вину, и все-таки он не знает, правильные ли он подобрал слова. Быть может, его подгоняет всегонавсего любопытство, порок, превращенный благодаря профессии в добродетель: как выглядит эдакий Трулезанд через десять лет, во что превратили семь лет в Китае скромную девушку из городка Клейн-Бюнцов, идет ли плотнику степень доктора наук, как сложилось их супружество, как разговаривают бывшие друзья, как разговаривает человек, которого предали, со своим предателем, что осталось от прошлого?

Но это уже вопрос не журналиста, это вопрос оратора. Ответ на него ожидается в торжественно украшенном актовом зале, его определяет сама торжественность обстановки. И конечно, ответ не разочарует слушателей. У оратора нет основания хулить прошлое, даже свое собственное. Он только не хочет ничего замазывать, не хочет розовых слюней, не хочет лака, он не хочет скрывать, что переваливал через хребет, а не шел по цветущим лугам. Оратор Исваль хочет говорить чистую правду.

А правда — это не только деяние, но и его итог, не только причина, но и ее следствие, намерение и результат; кроме того, правда — это все их друзья. Поэтому-то он и пересекает теперь горный хребет Флеминг, катит на юг, прислушиваясь к щебету вентиля и кашлю в коробке передач, мчит куда-то, что так неопределенно называется «прошлым». А далеко внизу, хоть добраться туда можно за несколько часов, живет учитель, который рассказывал мальчишке о ледниковом периоде и находил для этого прекрасные слова; он рассказывал о глетчерах высотой с десять церковных колоколен и о массах земли, вздыбившихся под напором льда в горные хребты, и все равно, называл он Флеминг хребтом или нет, в голове школьника Исваля Флеминг на всю жизнь остался горным хребтом, вершины которого уходят в облака, а склоны изрезаны расселинами. Всякий раз, даже много лет спустя, пересекая Флеминг, он будет удивлен и разочарован: пологие спуски, плавные повороты и никаких следов ледникового периода.

Горная цепь, открывшаяся перед ним, была словно из праздничной речи — красивенькая, прилизанная, ухоженная и без

намека на глетчеры и ледниковый период. Такую речь Роберт не хотел бы произносить. Переваливая через горы, невольно вспоминаешь прошлую дружбу и не можешь отделаться от мысли, что и в ее истории ледниковый период наступил только в конце. Он не возвещал о себе треском и грохотом, не гудел первобытным гулом, он начался тихо, с робкого намека и осторожной речи новомодного свата, и в отличие от геологических событий причины его лежали на поверхности.

Роберт Исваль полюбил девушку, и с этого все началось. Ибо случилось это в то время, когда он еще не был уверен в себе. Однажды он, не задумываясь, вместе со всеми пошел по направлению, указанному дорожным знаком, и вместе со всеми упал, охваченный страхом, и долго лежал не двигаясь. Но потом пришли они и сказали: «Будь ты мертв, как многие другие, ты мог бы здесь валяться, но раз ты жив — так живи, двигайся, работай, мысли, учись». Ну что ж, так можно было жить. Работа развеивала страх, учеба обогащала, а новые мысли помогали многое забыть. Но всегда жить одному, жить только для себя, только для Роберта Исваля,— это невозможно. Мысль рвется наружу. В одиночку ей не пробиться. Ей нужно помочь, ее нужно высказать, ее нужно передать дальше. Так Роберт Исваль научился говорить и однажды увидел себя рядом с теми, кто все еще валялся на дороге, и услышал, как сам говорит им: будь ты мертв, ты мог бы здесь валяться, но раз ты жив — вставай и живи, вот есть у меня одна идея, я вынашивал ее для себя, но она пригодится и тебе, вставай и поразмысли над нею и потом скажи мне свое мнение. Так Роберт Исваль стал учителем в школе, обнесенной высоким забором, в далекой чужой стороне. А вернувшись домой, счел, что свое дело сделал. Но так он думал недолго, скоро он понял, что снова запутался в сетях тезисов и антитезисов, и хорошо еще, что у них была новая школа, в которой прежде всего хотели научить учеников мыслить. Вообразить можно все, что угодно: Страсбургский кафедральный собор и плавку никеля, плач Кримхильды и смерть Тиберия Гракха, пересекающиеся параллельные и материю вне чувственного восприятия, а главное, в воображении можно встать рядом с самим собой, Роберту Исвалю встать рядом с Робертом Исвалем и сказать: «Ну-с, Исваль, что поделываешь?» Исваль в резком споре мог бы выступить против Исваля, но это был бы спор двух братьев, и подвоха нечего было опасаться. Увертки плохо помогали, позу иногда прощали, однако незамеченной она не оставалась, и, если один зарывался, стоило другому тихо сказать:

«Эй, ты!» — и тот уже сгорал со стыда. Особенно непримирим «внешний» Исваль был ко всяким там чувствам, а к размышлениям относился доброжелательно, оценивая их по существу, придирался лишь к неточностям, переспрашивал, убедительно просил держаться фактов и был безупречным экзаменатором, но, как только другой Исваль поддавался чувству, выражение лица и позиция первого Исваля резко менялись, прислонясь к стене, он тихонько начинал постукивать ботинком по полу и, скрестив руки и подняв брови, просил: «Хорошо, а теперь повтори все это еще раз». Тем самым он словно предупреждал «внутреннего» Исваля, и тот пытался выразить свои чувства в трезвых выражениях, но это не всегда удавалось. Вот и получилось, что один Исваль из страха перед тихим постукиванием другого душил свои чувства как только мог. Но кое-какие чувства все-таки дозволялись и в присутствии другого Исваля, он даже разделял их и поощрял. Это чувства, возникавшие при воспоминании об отце. Тут уж руки не скрещивались на груди и ботинок не постукивал, тут сказывалось, видно, кровное родство и то обстоятельство, что отец был человеком с глубокими чувствами, умел излагать их словами и столь же выразительно вскидывать брови. Пауль Исваль умер и уже не мог завтра стать иным, он и сегодня был тем, что вчера, и всегда будет таким, поэтому ему можно верить. Ко всем же остальным людям, к тем, кто жив, следует относиться осторожно, особенно если видишь — умом этого не охватить, нужно просто в это поверить. И всегда, когда казалось, что встретил хорошего, даже превосходного человека, что можешь не задумываясь его полюбить и даже должен его любить, Исваль тотчас вызывал своего сомневающегося брата, если тот сам не являлся к месту происшествия.

Слова, которые один Исваль произносил в такт постукиванию другого, падали, точно камни, разбивая ровное течение их разговора. «Что ж,— говорил Роберт Исваль, когда второй Исваль открывал ему глаза,— но ведь это хорошо».— «Вот как,— тут же говорил другой,— а ты в этом уверен?» В искусстве говорить «вот как», словно счищая наждачной бумагой полировку с каждой фразы, он достиг выдающихся успехов, лучше уж было не посвящать его в свои сердечные дела или притвориться, что тоже не принимаешь их всерьез. Так добился он того, что о нем говорили: «Ну и задавала же этот Исваль!» И лишь очень немногие сквозь пальцы смотрели на так называемое высокомерие Роберта Исваля и даже его не замечали; среди них был Рибенлам, который и сам умел неподражаемо произнести «вот как», Хайдук, в глазах которого не хотелось быть задавалой, и прежде всего непоколебимый Герд Трулезанд.

И вдруг появилась Вера Бильферт, швея. Вообще-то она была среди них уже много месяцев, но появилась все-таки только в один из дождливых дней, хотя уже не раз обращала на себя его внимание — умела так сшить юбку, что та не только грела, носила широченный, как плащ короля гномов, свитер, все-таки не скрывавший ее стройности, уплетала, не жеманясь, холодец, с ходу улавливала соль анекдота, смеялась именно там, где надо, упала ни с того ни с сего в кабинете физики, разбила стекло и дала этим пищу для размышлений, впрочем, не только этим, а вообще... Эй, хладнокровный брат, где ты, где ты околачиваешься, не видишь разве, что́ тут закрутилось, не замечаешь, что ли, как долго нынче утром твой брат проторчал перед зеркалом? Неужели ты все еще считаешь перемену места в студенческой столовой случайностью? А знаешь ли ты о фокусах с иглой и ниткой и неужели все уловки сегодня, вчера и все последнее время считаешь только проявлением вежливости? И не зародились в тебе сомнения, не пришло на ум кое-что другое, похожее, *неужели обязательно напоминать о пожарной юбке, разве ты еще* не сыт по горло всей этой чепухой? Ага, наконец ты скрестил руки, наконец задвигались твои брови, наконец ты застучал ботинком, наконец-то, но ты чуть-чуть опоздал и нужды в тебе нет, я и сам как-нибудь справлюсь, буду начеку, ведь я прекрасно разбираюсь в себе и в девицах. Одни хотят только удовольствий, будем это так называть, с ними хорошо пить лимонад, будем и это так называть, и лимонад, приправленный улыбками, напиток без последствий, общедоступный, дешевый и бодрящий: хочешь еще раз повеселиться, приятель, валяй заходи, а кто не хочет, тот, видно, здорово струхнул. Но есть и другие, интересно-то с *ними будет, это верно, хоть и не без трудностей поначалу, но* только лимонад выкинь из головы — не тот стиль, тут речь пойдет не иначе как о вине, а вино, мой милый, надо выдержать. «Виноградная лоза нуждается в большом количестве тепла и солнечных лучей. Особенно благоприятны почвы, хорошо прогретые солнцем. Обязательным условием для образования многочисленных побегов и плодородия является внесение достаточного количества перегноя и питательных веществ, а в засушливое лето также обильный полив». Стало быть, приятель, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Говори, что говоришь, но душевно, с теплотой, разожги костер из своих хитроумных мыслей, держись веселей, веселье согревает, тепло способствует образованию побегов, а также плодородию. Плодородию? Не обязательно, достаточно образования побегов, но для этого требуется тепло. С того дня Роберт Исваль не расставался с термометром. Он измерял температуру своих слов и своих дел. Как только

заметит понижение — подбрасывает охапку забавных историй, а стоит ему ощутить жар, тут же оживляет воспоминание о пожарной юбке — щепотка иронии приятно охлаждает, и уже никакой внешний брат не нужен, внутренний Исваль все сам под контролем держит, и постепенно отогревается Вера Бильферт, швея.

Как это сказала она, возвращаясь домой в один из давно прошедших мартовских дней? «Не знаю сама, нравишься ты мне или нет,— сказала она и добавила:— О тебе я должна подумать». Что ж, пусть думает. Зададим-ка ей несколько загадок, пусть займется настоящим делом. И если она решила съездить в воскресенье домой, так расскажи ей, ну, ясное дело, не прямо ей, а всем вообще, но так, чтобы она слышала, о грандиозных планах на субботний вечер. Сегодня мы опустошим кафе «Рикки». Никакого побоища, просто игрище. Викторина, отгадка шлягеров. Первый приз — бутылка грюнебергского вина, второй — коробка шоколадных конфет, третий — просто конфеты, и все выигрываем мы. Знаем ли мы эти шлягеры? Конечно, мы их не знаем. Вы не представляете, какой только дребедени там не играют, лишь бы сохранить свое вино. Ухом там ни черта не уловишь, вся надежда на глаза. Только, ребятки, молчок, никому ни слова. Музыканты играют по нотам, а один пюпитр стоит возле колонны и отражается в ней. Конечно, отражение зеркальное, верно, но ведь там не иероглифы, а Тримборн легко читает зеркальное отражение, даже если отплясывает самбу. Подхватит себе куколку, с которой полегче танцевать, и на всю ее болтовню отвечает односложным «хм» — голова ему нужна, чтобы читать зеркальное отражение,— и от эстрады не отрывается, он ведь не только читать, но и танцевать задом наперед умеет, все высмотрит — и к нам, доложить Квази результат. Тут кафе «Рикки» и конец. А вообще-то нас там любят, пухленьких девиц там полным-полно.

Вера Бильферт только головой качает, и, если кто скажет, плутовство, мол, это или даже мошенничество, она кивнет, но ни слова не вымолвит и подумает, держу пари, не о вине этом злополучном, а о пухленьких девицах. И домой едет с этой мыслью, хоть накануне фыркнула: «Ну и что?» Всю субботу она перебирает в памяти самых разных девушек, а когда вечером в воскресенье возвращается автобусом, то уже совершенно точно знает: «Исваль — задавала». Но вот автобус подходит, на улице темно, хоть глаз выколи, льет дождь, а до общежития добрый километр, и тут вдруг на остановке оказывается Исваль. Он промок до нитки, но ему это нравится, говорит он, просто вышел погулять, никак задача не решается, а увидел остановку и

подумал, не здесь ли останавливается автобус из Вюльнова и не поехал ли кто-то погостить в Вюльнов?

Виноградная лоза нуждается в большом количестве тепла и солнечных лучей, а ничто не согревает так хорошо, как прогулка под дождем, да и математика тоже дает немало тепла. Пока Роза Пааль добирается до дому с поезда из Клейн-Бюнцова, Вера успевает рассказать все новости из Вюльнова: кража, новый зубной врач, младший брат не желает больше учиться. Она успевает даже справиться о результатах викторины. О, все прошло как по маслу, только грюнебергское вино на вкус оказалось дрянью, и вообще ничего интересного, одни пухленькие девицы. И знаешь, нет ничего скучнее, чем кафе, где полным-полно пухленьких девиц.

Обязательным условием для образования многочисленных побегов и, хм, да, для плодородия является внесение достаточного количества перегноя и питательных веществ, а в засушливое лето — также обильный полив. Усвоишь это правило — хлопот не оберешься. Вчера на тебя смотрели подчеркнуто холодно, а сегодня с тобой уже перебрасываются шутками. До вчерашнего дня складка на брюках считалась дуростью, нынче ты под руководством Квази изучаешь технику глаженья. В куртке с блестящими пуговицами я смахиваю на швейцара? Мне и самому давно это кажется — долой их! Исваль, Исваль, а что ты говорил своему брату? Я, мол, и сам справлюсь, ты мне не нужен. Что же означает вся эта суета и этот интерес к новому зубному врачу в Вюльнове и к младшему брату, не желающему учиться? Пусть станет парикмахером, или пиратом, или служкой в церкви. Так нет, тебе надобно высказаться, изложить свои глубокие соображения по педагогике, а потом выслушать рассказы о проделках этого озорника, когда ему было еще шесть лет, и ты добродушно посмеиваешься над ним, точно он и она — одно целое. Да так оно и есть, черт побери, а это заводит тебя слишком далеко, это вводит тебя в семью, это приводит тебя однажды в воскресенье на обед к накрытому столу, на котором в тот день одним прибором больше; а ты сидишь дурак дураком, все на тебя глазеют, и ты давишься вареной говядиной, спорю, что ты ешь вареную говядину, раз уж явился с визитом, и многие, попав в подобное положение, женятся только затем, чтобы заполучить собственный стол и твердо сказать: на нем никогда не будет вареной говядины! Живей назад, в окопы, Исваль, за бруствер, дружище, укройся за холодными словами, наплюй на уют и отправляйся играть в футбол или в скат, придумай себе заседание университетского партийного бюро или секретариата Национального фронта, зубри с Якобом инфинитив, или пусть Квази

натаскивает тебя по алгебре, найди себе мужское занятие, подхвати пухленькую девицу — тут и лимонадом обойдешься.

Ага, ты уже отступаешь, используешь сей великий трюк стратегии! О комната «Красный Октябрь», будьте благословенны твои неприступные стены! К черту всех швей! В помойку всех тещ вместе с их говядиной! А маленькие братцы пусть катятся в школу!..

«Посетите оптовую ярмарку в Лейпциге!»

Щит при въезде на мост через Эльбу сверкает свежей краской; это, конечно, дело рук художников ярмарки, а они, известно, парни дошлые, знают толк в магии красок и рекламы, за плечами у них чуть не восьмисотлетний опыт, но он их не придавил, каждые полгода они получают гонорар, а всевозможные кампании проводят каждый день. К ним надо идти на выучку, у них можно научиться искусству подготовки к кампании и подведения итогов, гостеприимству и технике торговли, регулировке движения и ночной жизни, искусству обставлять квартиру и составлять меню. А что, если бы всех журналистов посылали практикантами на ярмарку, и всех городских архитекторов, и продавцов, и дворников, и дикторов с телевидения, и бургомистров, и заведующих клубами, и директоров магазинов?

Эх, Исваль, оставь этот тон, во-первых, ярмарка и будни — разные вещи, а во-вторых, чего ты строишь планы для семнадцати миллионов, изготовляешь рецепты для всей страны, если не умеешь уладить свои собственные дела? Валяй выступай как новатор, но только когда справишься со старым грузом, а ведь до Лейпцига еще сотня километров. Только когда они будут позади и будет позади разговор с доктором Трулезандом, ты тоже получишь право обратиться к общественности со своими великими проектами, сможешь предложить ей свои патентованные решения и получишь право заняться судьбами мира.

Тогда открывай Союзу молодежи секрет веселой жизни, изобретай быстрорастворимый рафинад, помогай телевидению, разъясняй, что такое детективный фильм, делай колбаски снова хрустящими, снижай процент разводов, укрепляй нервную систему наших боксеров, отвлекай людей из пивных и веди их в театры, а если сможешь — избавь нас от желания заглянуть в хозяйственную сумку нашего ближнего, избавь нас от собраний, от рака легких, дай нам насущное, как хлеб, чувство собственного достоинства, разбей воздвигнутый над нашими главами свод из ракетных трасс, принеси нам мир.

Все это предстоит тебе совершить, Исваль, все это ждет тебя, как только ты поставишь точку в Лейпциге, вот, стало быть, и

поставь эту точку. Иди к Трулезанду и скажи: «Давай покончим с этой чепухой. Нельзя, чтобы наша дружба кончилась. Но может, этого уже не изменить? Тогда, по крайней мере, надо так прямо и сказать. Я вовсе не кающийся грешник, но у меня есть причина кое-что уточнить! Назови это эгоизмом, если хочешь, считай, что я опять все делаю только ради себя, но позволь мне высказаться. Ты знаешь, кто подбросил Старому Фрицу идею «китайского супружества», но я не уверен, что ты знаешь почему. Виной всему страх. Я боялся тебя и боялся за Веру Бильферт. Я видел, как надвигается что-то, чего я не могу предотвратить. Я видел это и в твоих глазах, и в глазах Веры. С тобой я, пожалуй, справился бы, но с ней? Тебе я сказал бы — да-да, будь спокоен, тебе я сказал бы, если б видел в этом смысл: «Послушай, Трулезанд, не заглядывайся на девчонку, кое-кому она уже приглянулась, и этот кое-кто — я. Ты глубоко ошибаешься,— сказал бы я,— если надеешься, что все это пустяки. До сих пор я был заинтересован в твоей ошибке, я сам создал ее в твоем сознании и до известной степени — в своем собственном. Я внушил тебе, я раззвонил на весь мир: у Исваля со швеей нет ничего серьезного. Но по правде говоря, все было для меня очень серьезно, да откуда вам-то знать, когда я и сам этого не осознавал. А когда понял, так должен был прийти к тебе и сказать: Герд Трулезанд, дружище, выбери себе пухленькую девчонку, но про швею забудь. Она предназначена Исвалю, чего бы он ни болтал о любви, сердце и чувствах. Шутки в сторону. Исваль по-настоящему полюбил, старина».

Ты, наверно, отпустил бы шуточку, процитировал бы одного из лекторов или одну из своих бесчисленных теток и перестал бы глядеть на Веру Бильферт, не без труда, наверно, но все-таки перестал.

Я говорю — наверно, но допускаю и другие возможности. Знать наверняка мне не дано. Я и себя-то не знал достаточно хорошо. До того заседания бюро по поводу письма из Китая я в любую минуту сказал бы тебе: надежней меня у тебя нет и не будет друга. Но так ли это было? Хотя благословенная и проклятая идея мне и правда пришла в голову только тогда, когда Вёльшов прочитал письмо и обрисовал положение с кадрами. Я сам с удивлением услышал, что назвал ваши имена — твое и Розы, но решился я на подобный поступок уже давно. Не было бы письма, может — кто знает,— нашелся бы топор?

Я ничего не преувеличиваю и не строю из себя ни раздавленного горемыку, ни гнусного злодея, просто я не вижу разницы между билетом на самолет и топором. Я тогда стиснул зубы, но, не сомневайся, у меня нашлось бы силы на смертельный удар.

Это идиотизм, знаю, ибо насилие — почти всегда идиотизм и почти всегда результат страха. С тобой бы я поговорил, а с Верой? Я опасался будить спящего зверя. Вдруг, выслушав меня, она сказала бы: «Благодарю за ценное указание, до сих пор я не понимала, что со мной, я лишь чувствовала, что надвигается нечто необычное, но теперь я знаю, в чем дело, благодарю тебя, мой странный друг, и прощай». Идти на такой риск я не мог.

Впрочем, несколько лет назад я заговорил с ней на эту тему — очень осторожно, полунамеками, конечно, я никогда не говорил ей, почему переправил вас с Розой в Китай, но вообще-то я часто разговаривал с ней о тебе, хотя бы потому, что она никак не могла понять, чего это вы нам не пишете. И мне всегда казалось, будто я напоминаю ей какой-то сон, давно забытый сон. Довольно было одной ее грустной улыбки, и я быстро переводил разговор на другую тему, ну, хотя бы о Китае вообще, а это всепоглощающая тема. Может, однако, эта тема поглотила и весь круг твоих интересов, ведь это же твоя специальность. Тогда извини за беспокойство. Извини вообще. Вот это я и хотел сказать, из-за этого я и приехал.

Но пока еще Роберт не приехал, пока еще он только подъехал к бензоколонке, чтобы заправиться. Перед ним стояла солидная машина — «заксенринг» с берлинским номером. В глубине дремал пожилой человек, а на спинке заднего сиденья лежала книга в очень знакомой, даже в какой-то родной, обложке. Роберт вышел из машины. Ну ясно, это Карл Май, как он сразу не вспомнил, эту обложку ведь невозможно забыть, восемнадцать таких книжонок стояли когда-то на полке чердачной каморки в Парене, а ее обитатель читал все, что попадалось под руку в такой обложке. О, восхитительный саксонский враль! Будь благословенно твое всеми поносимое имя! Благодарю тебя, гениальный фантазер из Хоэнштейн-Эрнсталя, благодарю тебя за тысячу и одну ночь, наполненные пороховым дымом и конским топотом. Горячо благодарю тебя за солнце экватора и ветер прерий, за песок пустынь и травы степей, за Олдшэтерхенда и Хэджи, за Виннету и Ястребиного Когтя, от всей души благодарю тебя за них, кто бы и что о тебе ни говорил! Тебя обвиняют в религиозности и сентиментальности. Все может быть, но меня ты своими сорока книжечками не сделал религиозным, а сентиментальным — право, не знаю. Когда говорят о тебе, то обязательно говорят о национализме. Если это верно, придется тебе исправиться, восхитительный мерзавец, и больше не греши этим, ибо национализм нам никак не годится, но, честно говоря, я этого твоего национализма не заметил. Конечно, только потому, что был глуп, и, может, потому, что кругом в те времена, когда я зачитывался

тобой, свидетель бог, было много куда более националистического, чем твои книжечки, но, если ты националист, пусть тебе будет стыдно, хоть я и благодарю тебя, о захватывающий лгун и непревзойденный мастер приключений! Так, а теперь глянем, кто возит тебя в своей служебной машине.

— Чудесная у вас книга,— сказал Роберт в окно машины.

Седок поморгал, обернулся и прикрыл «Сокровища Серебряного озера» подушкой.

— Это мой шофер читает,— ответил он.

Жаль, подумал Роберт, вот было бы здорово — любитель Карла Мая в служебной машине, поклонник Ястребиного Когтя из министерства, может, даже из министерства народного образования или из министерства культуры, вот было бы занятно! Но в жизни так не бывает.

И Роберт вошел в помещение, где заправщик бензоколонки болтал с шофером.

— Тридцать литров высшего сорта, пожалуйста.

— Будет сделано, с вас сорок пять марок!

Шофер сунул в карман талоны на бензин.

— Ну как, нравится вам Май?— спросил его Роберт.

Молодой человек не сразу понял, о чем речь, потом, смеясь, ответил:

— А ты хозяина спроси, я такой ерунды не читаю, а шеф прямо помешался на ней.

Парень ушел, и, пока Роберту давали сдачу, черная машина исчезла на автостраде.

Не было никакого смысла мчаться за ней, хоть Роберта так и подмывало это сделать. Но, как назло, тарахтела коробка передач и свистел вентиль, а если он нагонит мощную машину, что дальше? Заманить ее на обочину, выйти и сказать: «Извините, но я узнал, что «Сокровища Серебряного озера» — ваша книга. Скажите, кто вы такой? Что вы за начальник? Что вы за человек?»

Бредовая идея. Что же при этом выяснится? Быть может, это начальник экспериментальной лаборатории уголовного розыска, или хранитель музея природоведения, или драматург Театра народного творчества, или генеральный директор управления пищевой и вкусовой промышленности министерства внутренней и внешней торговли — ведь это не имеет никакого значения. Важно другое — он симпатичный человек, читающий Карла Мая, и несимпатичный субъект, отрицающий этот факт. Еще один из тех, кто предает свою же собственную греховную мечту, кто любит, чтобы все было шито-крыто, курить он бегает в уборную, а после рюмочки жует лук. Сваливать Карла Мая на шофера —

вот уж последнее дело, а может, дома он еще укоризненно качает головой, если жена не справляется с «Тихим Доном»? Неужели жизнь такова?

Что, хранитель нравственности Исваль уже опять принялся за свое? Опять объявился второй Исваль, а ведь пора ему вспомнить о встрече, до которой осталось каких-нибудь пятьдесят километров. Так что же было с глазами Трулезанда и Веры Бильферт, блеск которых заставил тебя разыграть господа бога, судьбу и историческую необходимость?

Все случилось однажды весенним днем, вернее, вечером этого весеннего дня. Мы на грузовике отправились на Зундскую верфь, наш хор должен был выступить перед рабочими. Я не пел в хоре, и Трулезанд тоже не пел, но забежали девушки — баритонов, мол, у них не хватает, а все студенты на экзаменах. Мы-то выпускные уже сдали, нам осталось только узнать результаты. О вечере на верфи договорились давно, нельзя же, чтобы баритоны подкачали. Нам петь в хоре? Вот смех-то, в хоре у нас пели девчонки и педагоги, а мы выполняли свой общественный долг в других областях: на работах по восстановлению, на сборе свеклы, на собраниях-заседаниях. Но теперь, когда экзамены сданы, почему бы нам не проехаться к Зунду? Песни их мы все знали, ведь они пели в хоре то же самое, что мы на демонстрациях или по вечерам, возвращаясь из кафе «Рикки». И репетировали девушки в общежитии, а полгода назад даже Квази Рик записался в хор, разумеется как организатор, и все уши нам прожужжал этими текстами и, конечно, вопросами, допустимы ли подобные тексты в наши дни. Там ведь пели и народные песни, а они выражали, по мнению Квази, отсталые настроения. До сих пор помню, как он допекал нас известной песенкой о крестьянине и его неверной жене, а Маттиас Клаудиус, после того как Квази вышел из церковной общины, казался ему чересчур набожным. Но у Рика был красивый, хоть и резковатый, тенор, а главное, стоило ему записаться в хор, и никто уже не забывал своих нот. Итак, песни эти не представляли для нас трудностей, кроме разве что одной, новой для нас, хотя и была она древней как мир, точнее, это была не песня, а канон, и исполнять его надо было особенно чисто, так вот, когда мы пообещали девушкам, что поедем на верфь, Квази взялся до вечера разучить с нами этот канон. Ладно, сказали мы, Трулезанд и я, но сначала сходим-ка закусим, и не в студенческую столовку, а к Грёбелю! У Грёбеля сегодня жареная селедка и молодой картофель, а у нас экзамены уже позади, и мы ничуть не волнуемся за результаты, только, может, лесник немного волнуется, да и то больше по привычке —

он давно уже не отстает от нас.

Из отметок преподаватели наши особой тайны не делали, так что многое нам было известно. Мне лично они еще могли преподнести сюрприз, потому что от математики зависело, будет ли у меня аттестат с отличием или нет. Еще полгода назад о круглых пятерках нечего было и думать, ведь у Шики на уроках я сидел дурак дураком. Было время, я вообще ничего не понимал из его объяснений. И всецело переключился на гаданье, но в математике попробуй угадай. Если бы не Вера, я бы совсем пропал. Квази, который сперва мне помогал, оказался бессилен. Он уговаривал меня, решал за меня задачи, стоило мне кивнуть разок в ответ на его объяснения, он орал: «Ну, вот видишь!» — но все равно понимать я у него ничегошеньки не понимал. Дело было безнадежное, числа оставались для меня темным лесом, а Шика просто перестал меня замечать. И тогда мной занялась Вера, она взяла надо мной, как говорили, шефство, что само по себе вызывало у всех улыбки. Ребята изощрялись в остротах: «Исваль опять с Верой счеты сводит!» Ну и тому подобное. Все уже видели в нас супружескую пару, а на самом-то деле мы были всего-навсего шефствующая тетя Вера и ее маленький подшефный Роберт, а наш любовный лепет вертелся вокруг сферической тригонометрии. У нее я все понимал и, правда, медленно, ведь слишком много запустил, но все-таки стал догонять класс, а потом и соображать на уроках математики. На словах это быстро, а на деле тянулось долгие месяцы; и расплачиваться пришлось Вере. В аттестате у нее отметка оказалась хуже, чем у меня, потому что она плохо написала решающую контрольную, чересчур уж много думала о своем подшефном.

Но я ведь совсем о другом хотел рассказать — об их глазах, о ее глазах и глазах Трулезанда в тот вечер, когда мы пели в хоре, а до того еще и об обеде в кафе у Грёбеля. Рыбу есть вообще-то опасно, а тут еще канон, который хотел разучить с нами Квази Рик, мы чуть все на тот свет не отправились. Квази ведь такой, он ни минуты не желал терять — как только мы заказали еду, сразу начал петь. Придется и мне спеть эту песню, а то непонятно будет, что произошло:

Три гусенка в сене
Сидели, песни пели.
А тут бежит бегом
Крестьянин с батогом:
«Не вы ли песни пели,
Эй, три гусенка в сене?»

Кстати сказать, у Грёбеля народу было битком набито, ведь там неподалеку автобусная станция, казалось, все водители и

кондукторы прослышали про селедку и молодой картофель. Квази это ничуть не мешало; он несколько раз пропел нам канон и разделил между нами строчки. Ему самому достались первые две, потом вступал Трулезанд, а когда тот доходил до «крестьянина с батогом», подхватывал я. Квази даже раскошелился на пиво для всех, но мы и без того пели, мы знали, в это время нам на факультете выставляют оценки. Один только Якоб хмурился, но он все равно не пел, у него совсем не было фантазии, а, согласно теории Рика, для пения так же необходима фантазия, как для жареной селедки — пиво. Когда принесли селедку, теоретически нам уже все было ясно, текст мы запомнили, мелодия оказалась простой. Квази поднял вилку и затянул. Конечно, Трулезанд проворонил свое начало, селедка была ему важнее, и тогда Квази заставил его угостить нас пивом. Это, объяснил он, «договорная неустойка», придумана специально для недисциплинированных артистов. Мы выпили, а следующую неустойку платил уже я, потому что мог осилить только «Три гусенка в сене» из дуэта Трулезанда и Квази. Обычно трех кружек для Квази уже многовато, а тут пили средь бела дня, да еще мысли о сданных экзаменах ударили в голову, ну, сами понимаете, как все это на него подействовало. Он заявил, что песенку разучивать можно только с настоящим хором, и, прежде чем мы успели его удержать, вскочил на стул и принялся разъяснять жующим водителям создавшуюся ситуацию. После краткого обзора культурной миссии РКФ и, в частности, студенческого хора он отметил непреходящую ценность фольклора и разделил всех присутствующих на партии для исполнения канона. Водители и кондукторы минутку-другую послушали его, а потом вновь занялись своими селедками, и, когда Квази затянул «Трех гусят», никто и рта не раскрыл. Он решил, что его не поняли, и повторил все сначала. Мы же только боялись, как бы от смеха не подавиться рыбьей костью. Между Риком, разгоряченным пивом и каноном, и абсолютно трезвыми шоферами словно стена выросла, они спокойно сидели за столиками, уплетали молодой картофель и на дирижера не обращали никакого внимания. Пришлось усадить его силком на стул и обещать, что сразу же после обеда мы пойдем на спортплощадку упражняться, без этого мы, пожалуй, с ним бы не справились. Мы и в самом деле пошли туда и разучили песенку о гусях. А потом Квази проспался, и вечером все поехали на верфь. Не уверен, что от нас с Трулезандом партия баритона выиграла, разве только при исполнении революционных песен, но уж никак не канона из бесценных сокровищ фольклора. Когда дошла очередь до гусей, мы друг друга стали локтями подталкивать, вспоминая, как наш

дирижер стоял на стуле среди жующих шоферов. Значит, до этой минуты между мной и Трулезандом все было в порядке.

А после концерта начались танцы, и один рабочий поднес нам с Гердом по рюмочке, вы, мол, здорово представляли, ну точно два клоуна. Ясное дело, опять заговорили об экзаменах, и я, осел, ничего лучшего не придумал, как напомнить, что Вера плохо написала работу. Я и сам заметил, что вышло глупо и для нее обидно, но уже закусил удила и остановиться не мог. В душе кляну себя, а сам несу невесть что. Водка не может служить мне оправданием, а успехи на экзамене — тем более, ибо ими я целиком обязан Вере, и только Вере. Так нет же, Исвалю надо что-то из себя строить, выдавать себя за великого математика, уверять, что это его кое-кто еще благодарить должен, а то мог бы вообще не выдержать экзамена. Некоторые, заявил я, вообще не созданы для науки о числах, особенно девицам с ней нелегко, и между уравнением Эйлера и выкройкой лежит глубокая пропасть. А ведь сам я об уравнении Эйлера знал не больше, чем о выкройке, и надо было видеть, как я пришивал пуговицу. В другое время Вера меня отчитала бы, но она устала, переутомилась и была не в состоянии осадить такого задавалу. Бывают остроты, которые просто нельзя допускать, именно такие я и выдавал в тот вечер и в таком количестве, что даже Якоб не выдержал. Когда Вера пошла танцевать с передовиком Бланком, он сказал:

— А я, Роберт, думаю, что тебе так шутить не следует. Она сейчас твоих шуток, пожалуй, не поймет.

— Ничего, пусть учится терпению,— заявил я, любуясь собой,— ты, лесник, и не подозреваешь, чему ей еще придется научиться.

— У тебя, что ли?— спросил Трулезанд, и тут меня осенило, потому что он взглянул на меня как на постороннего.

Может, я и преувеличиваю, может, я внушил это себе, потому что нуждался в оправдании, но все же я заметил, что друзья не на моей стороне, и захотел исправить положение. Я предложил спеть «гусей», думал, что нам снова станет весело и мы приведем все снова к общему знаменателю. Так часто бывает: пробежит между друзьями черная кошка, но благодаря добрым воспоминаниям отношения опять налаживаются. Впрочем, «воспоминания» в данном случае не очень подходящее слово, ведь у нас еще в горле першило от пения, теперь Квази мог бы по-настоящему исполнить этот канон, после того как спел его с двумя баритонами на сцене. Но моя уловка не удалась. Я перегнул палку и вызвал только раздражение, все прекрасно знали, чем я обязан Вере, и все любили ее.

Вот и сидим мы за столиком, глядим, как Бланк с Верой танцуют, и рычим друг на друга, они втроем на меня, а я — на них впервые за три года. Конечно, нам случалось спорить и даже ссориться, но тут выходило совсем другое, и надо же, как раз в тот день, когда нам бы на радостях обниматься. Мы работали до седьмого пота, никакими шуточками этого не скроешь, мы подогревали и подгоняли друг друга, и нужно было немало энтузиазма, чтобы выдержать такое напряжение; было трудно, но теперь мы достигли цели, нам осталось только получить аттестаты, и мы знали, что они неплохие.

Надо же, чтобы как раз в этот день у нас все пошло вкривь и вкось. И вот сидим мы в танцзале и рычим друг на друга, вместо того чтобы радоваться, петь канон о гусях или пускать тирольские трели. И кто во всем виноват? Я, Роберт Исваль, друг Герда Трулезанда и Веры Бильферт, я, задавала несчастный! Но я не собираюсь впадать в патетику, а если и подпустил немного патетики, так чтобы все сразу видели, что меня до сих пор трясет, когда я об этом вспоминаю. Но прежде всего я хочу все рассказать про тот вечер. Каждому из нас было ясно, что мы крепко поссорились и по чьей вине. Я, во всяком случае, это знал и рад был бы что-нибудь сделать, чтобы спасти положение. Но я уже отрезвел и понимал, что лучше мне помолчать. Только бы еще больше не напортить. А потом танцоры вернулись, и Трулезанд сказал:

— Так, Исваль, а теперь повтори, что ты нам сказал.

Сперва до меня не дошло, но тут в последний раз оправдала себя наша испытанная «сигнальная система». Я взглянул на него и понял, чего он добивается, и сделал, как он хотел.

— Вера,— сказал я,— я должен извиниться перед тобой. Друзья считают так, и я тоже. Все знают, благодаря кому я справился с математикой, и я тоже. Большое спасибо!

— Да ладно, ладно.

Посмотри она тогда на меня, все было бы в порядке, но в том-то и дело: она посмотрела не на меня, а на Трулезанда. Что ж, он и правда заслужил благодарного взгляда, ведь без него я бы не извинился. Но для выражения благодарности мне ее взгляд показался слишком уж долгим. Я говорю — показался, ведь утверждать это невозможно, а теперь я даже сомневаюсь в этом. Но тогда я был убежден, что поймал нежный взгляд Тристана и Изольды, я, король Марк.

К тому же, известно, всегда видишь то, что хочешь видеть. Я поглядел на Трулезанда и по его глазам понял: Тристан. Все сразу получило особый смысл: теплота и уверенность, с какой он всегда говорил, что швея — стоящая девчонка, и эта холодная

злоба, с какой он спросил: «У тебя, что ли?» И еще — подожди, подожди-ка, когда мы из-за лозунга на крыше чуть себе шею не сломали, не Вера ли была в этом повинна? Конечно! Кто начал эту дурацкую игру? Трулезанд! И все из-за Веры Бильферт! А с больницей, когда она упала в классе? Неглупо придумано: Трулезанд позволил Исвалю преподнести цветы, но глаза его кричали: «Они от меня!» Точно так он сию секунду заставил Исваля пробормотать извинение, но она знала, кто накрутил Исваля, ее выдал взгляд. И все это тянется уже давно, Исваль, они уже много лет морочат тебе голову. Ясное дело, еще тогда, в коридоре перед аудиторией теологов, кто это вступился за маленького плотника против огромного электрика? Ирмхен Штраух, но ведь она была не одна. Не стояла ли рядом фрейлейн Бильферт? Ну разумеется! Как я мог это забыть!

Сегодня все это звучит глупо, но в тот вечер, на верфи, в моем рассуждении была железная логика. Я восстанавливал историю обмана с последовательностью фанатика. Вбил сваи в несуществующую почву, заложил фундамент из пены, поставил камыш вместо балок, а крышу покрыл комариными крылышками. И вот уже готово здание, где гнездится порок, и я твердо вознамерился разжечь под этим гнездом лжи костер и выкурить зло.

Жаль, что я не верю в черта: мне его даже иногда не хватает. Кое-какие расчеты без него не сходятся. Тогда я занимаю его, как, бывало, в школе на уроке арифметики я занимал десяток, когда надо было отнять тринадцать от семи.

Стоит мне впутать в эту историю черта — заимообразно, разумеется,— и вот что получается: черт, не долго думая, на другой же день после концерта, послал к нам на факультет товарища Вигга, из министерства высшего и специального образования, и тот прочел нам письмо из Пекина. Может, не очень правдоподобно, чтобы черт использовал для своих целей руководящего товарища из государственного аппарата и наших китайских друзей, но что вообще правдоподобного в черте? Если уж втянул его в свои расчеты, так чего хочешь можно ждать, даже на нуль делить можно, что, согласно доктору Шике, уж наверняка чисто дьявольская затея. А чем иным вы мне объясните неожиданное появление представителя власти с китайским письмом? Больше того, как случилось, что в этот последний день, когда в хоре еще принимали участие выпускники РКФ, голосов не хватало именно в партии баритона и пришлось звать на помощь Трулезанда и Исваля с их весьма сомнительными голосовыми данными? Почему хватало теноров и альтов? Разве у теноров и альтов не было госэкзаменов? От всего этого так и

разит серой, и не скрыть дьяволу своего копыта. Вот будь тут сейчас Ангельхоф, он бы все поставил на свои места — на основании причинности объяснил, что дьявол есть всего лишь один из многих синонимов понятия «случай», а «случай» в свою очередь есть лишь точка пересечения тех линий, какими разум и глупость прочерчивают историю. Но Ангельхоф прилежно служит науке как латинист, он теперь работает в академии и разъясняет те места, которые до сих пор считались темными, ходят слухи, что при последней проверке документов его исключили из партии. А главное, в этом случае он тоже не помог бы, ибо где закономерная связь между трехлетней дружбой и чуть ли не смертельной враждой, между нехваткой баритонов в хоре и товарищем Виттом, между потребностью Китая в немецких студентах и тем обстоятельством, что из всех ребят на факультете только у Герда Трулезанда и у Розы Пааль оказались подходящие анкеты? И кто может разумно объяснить, почему Роберт Исваль после двух лет строгого контроля над своими склонностями, после того, как он мастерски провел свой корабль мимо скал, на которых возлежали пухленькие девчонки, и мимо залива, где с берега тянуло ароматом вареной говядины, кто может объяснить, почему Роберт Исваль именно в тот вечер, когда были с блеском сданы экзамены, когда у него еще ребра болели от пения, а первый молодой картофель вместе с селедкой спокойно переваривался в его желудке, кто, стало быть, может объяснить, почему именно в этот вечер Роберт Исваль неожиданно превратился в короля Марка из Корнуэлса, в венецианского мавра и Ричарда Третьего Йоркского,— кто, иными словами, может объяснить причинную связь между этим превращением и всем тем, что ему предшествовало? Никто? Тогда мне вновь придется попросить господина черта принять участие во всей этой истории, чтобы добраться до ее концовки. Для тех, кто опасается, что это может нанести ущерб их материалистическому миропониманию, я еще раз подчеркну, что взываю к черту чисто условно, он служит мне вспомогательной конструкцией, как бы взятым заимообразно десятком, о котором можно забыть, как только дважды подчеркнешь верное решение. А противоречие между появлением посланца ада и временем и местом действия меня не пугает. Конечно, присутствие черта куда более уместно в замке Вартбург, чем на РКФ, и общаться с чертом куда более с руки доктору Фаусту, чем директору Вёльшову, и гораздо легче представить себе его шепчущим что-то на ухо композитору Леверкюну, чем члену партбюро Исвалю, но хоть каплей фантазии, считаю я, должен обладать каждый. Дьявол, как известно, замешан во множестве историй, так почему бы ему в наши дни не

принять участия в беседе по вопросу о кадрах, если мы еще раз укажем на его чисто вспомогательную роль? Существует масса чертей самого разного рода; одни занимаются карнавалами, другие — пиявками, третьи — ворожбой и азартными играми, четвертые — отношениями мужчин и женщин, а есть и такие, что просто мешают при переводе Библии, или загоняют молодых ученых на гору Броккен на шабаш ведьм, или нашептывают эдакому неустойчивому буржуазному юнцу двенадцатитоновую систему музыки, так почему бы не быть такому, который вмешивается в партийные дела, вещает устами Исваля и Вёльшова и сводничает? В приведенных примерах дело кончалось плохо, правда, переводчик Библии отразил первую атаку чернильницей, но впоследствии все же предался дьяволу и написал трактат «Против кровожадных и разбойничьих шаек крестьян»; лейпцигский доктор едва ноги унес от дьявола, а музыканту из Кайзерсашерна это не удалось, он отправился в преисподнюю, да еще под музыку, звучащую так, будто она написана Арнольдом Шёнбергом,— ладно, допустим, что все это верно, допустим даже, что можно по недоразумению подумать, будто я, Роберт Исваль, излагающий всю эту историю, считаю, что в Пекин ведут следы черта. Так нет же, вовсе нет: учеба в далеком Китае еще не основание для дьявольского хохота, и даже брак по исторической необходимости — тоже нет, а вот конец нашей дружбы с Трулезандом — это уж основание. Только воздействием одолженного черта могу я объяснить, что тогда, на совещании руководства, я будто бы сказал с искусно разыгранной небрежностью: «А что вы скажете, если послать Трулезанда и Розу Пааль?»

Нет, не будто бы, а действительно сказал: все это слышали, товарищ Вигг и Старый Фриц, Рибенлам и Квази Рик, и Герд Трулезанд, до позавчерашнего дня мой лучший друг, исполнявший вчера партию баритона в хоре и вчера же ставший моим мнимым соперником, которого необходимо убрать подальше, а *Пекин, что ж, Пекин как раз достаточно далеко.*

Так, а теперь вернем черта, которого мы заняли, будто десяток, и поглядим, какой получился ответ — он и есть конец этой истории, во всяком случае такой, каким я его вижу. Да, собственно, что долго рассказывать о колебаниях Трулезанда, о том, как он все повторял, что мечтает изучать философию и что не уверен в своих способностях к китайской фонетике, зачем вспоминать, как он чуть не рвал на себе волосы, пытаясь убедить нас, что мысль о женитьбе на Розе Пааль и о семилетнем свадебном путешествии кажется ему по меньшей мере несколько неожиданной, хотя Роза — отличная девчонка; к чему вспоминать, как он заявил партийному руководству, что для брака, по

его мнению, необходима «такая штука, как любовь и все такое прочее», а не просто вдруг возникшее желание погладить коленку; к чему вспоминать, как три битых часа Герда Трулезанда убеждали в том, что он обязан выполнить историческую миссию?

Я не вижу основания повторять здесь скупые слова, сказанные товарищем Виггом; он понятия не имел ни о дружбе обитателей комнаты «Красный Октябрь», ни о Вере-Изольде Бильферт. Он только разъяснил нам стоящую перед нами задачу, почетную и радостную задачу, он обязан был проследить, чтобы были выполнены условия китайских товарищей, поэтому не придумал ничего более убедительного, чем спросить: «Хорошо, но если не ты, так кто же, дорогой товарищ?»

В конце концов перечисление аргументов, выдвинутых остальными членами бюро, ничего не дает, хотя все много говорили и даже высказывали совершенно противоположные мнения; мне только хочется отметить, что Квази Рик, который до сих пор каждый узелок ввязывал в точный узор и умел любую неразбериху быстро свести в четкую схему, на этом заседании держался удивительно пассивно и почти ничего не говорил — именно на этом заседании, где жужжание аттической пчелы было бы как нельзя более уместно. Возможно, однако, молчание его было связано с тем, что его самого за два часа до заседания вызывали в дирекцию — как я забыл об этом сказать? — и он просидел там до начала бюро... А с кем, собственно говоря? Не со Старым Фрицем и не с товарищем Виггом, потому что они ходили по выпускным классам, зашли и к нам, послушали минутку-другую нашу беседу с доктором Фуксом, как обычно дружески-ироничную, но только более свободную, ведь экзамены были позади и мы только ждали объявления результатов. С кем, стало быть, беседовал Квази в дирекции? Странно, я никогда его об этом не спрашивал. А в общем, не так уж это странно, у меня в ту пору голова была забита совсем другим — король Марк, Тристан, Изольда... и уже возникшими сомнениями. А потом Китай стал центральной темой дня, если не считать экзаменов, а потом подоспело торжество в актовом зале и его апогей — «Исваль окончил с отличием»,— а потом свадьба Розы и Герда и их проводы, и я уехал в Берлин, чтобы подыскать для нас с Верой комнату, и все это время я из сил выбивался, чтобы заставить Веру забыть «задавалу» и вечер на верфи, а тут еще пришлось самостоятельно кое-что решать, ведь Герд Трулезанд со мной не разговаривал, а меня теперь, когда я накрепко связал их с Розой, начали мучить сомнения, и Квази Рик исчез, растаял в далеком облаке прощальных залпов, исчез без прощания и

обнаружен был, хотя и не очень скоро, за стойкой гамбургской пивной.

Во всяком случае, на том заседании, на котором по моей подсказке Герда Трулезанда решено было отправить в Китай, Квази не произнес ни слова, да и Рибенлам не проявлял активности. Он, правда, задавал Герду время от времени вопросы, но не уговаривал его, явно желая убедить не столько его, сколько самого себя, упомянул о его здоровье, поинтересовался, не опасается ли Трулезанд тоски по родине, сказал, подмигнув, что Роза и Герд смогут на месте точно выяснить, куда отправились китайские каменщики в тот вечер, когда была готова Великая стена, да, хоть на один вопрос читающего рабочего они наверняка ответят, чего три года назад никто и предположить не мог, он явно получал удовольствие, представляя себе, как осенью, войдя в класс новичков, прочтет им Брехта и скажет: «Кстати, господа, двое из тех, кто сидел здесь три года назад и слушал это превосходное стихотворение, в данную минуту находятся возле Великой китайской стены и выясняют все подробности на месте. Пустяки, это и вам под силу. Надо только всегда ставить правильные вопросы».

Но из всего, что хотел уточнить Рибенлам, только одно было важно, *во всяком случае для меня,— только одно.* Он очень хорошо понимает, сказал Рибенлам, что Трулезанду неохота жениться вот так, с бухты-барахты, хоть и при столь необычных обстоятельствах. Роза Пааль, конечно, нисколько не уродина, и голова у нее работает, и он понимает, что есть гораздо более неприятные вещи, чем учиться вместе с Розой Пааль по-китайски говорить, по-китайски писать, по-китайски петь, по-китайски готовить, по-китайски...

Старый Фриц легким покашливанием положил конец перечислению восточно-чужеземных сфер обучения, и тут Рибенлам задал вопрос, заставивший меня вздрогнуть:

— Но если у тебя уже есть любимая девушка, то, конечно, фрейлейн Пааль отпадает... в связи с имеющейся сердечной склонностью. Так есть у тебя девушка?

Трулезанду стоило только кивнуть так же небрежно, как я назвал его имя, и все было бы в порядке. Может, кто-нибудь и попытался бы выяснить подробности, потому что кивок, даже легкий, вовсе не исключает способностей избранницы Трулезанда к изучению синологии, но такое предположение можно было устранить одним-единственным движением головы: кивок, и Старый Фриц положил бы конец мучительной ситуации, потому что хоть и выступал с пылом за революцию в области образования, но никогда не вмешивался в дела сердечные и, не будучи

уверен, что является выразителем исторической необходимости, не осмелился бы задать неделикатный вопрос и не потерпел бы этого от других.

Однако Трулезанд не кивнул на вопрос Рибенлама; он ответил «нет», и все сочли, что это хорошо.

И я, вместо того чтобы ощутить замешательство или усомниться в самом себе, ибо лжецом Герд Трулезанд никогда не был, тоже счел, что это хорошо. Это явное противоречие, знаю: с одной стороны, я готов был приписать ему все уловки Тристана, с другой — не желал верить, что он способен лгать, да еще так просто и удобно — легким кивком головы. Но эту неясность я обошел стороной; я услышал «нет» на вопрос о другой девушке, которая, с моей точки зрения, звалась Верой Бильферт, и с места не двинулся, когда Трулезанд в конце концов сказал, что, мол, да, посылайте меня в Китай, и почему бы не с Розой, она отличная девчонка, и нечего меня так уговаривать и объяснять, что этого требуют интересы общего дела, как будто я ради общего дела не готов на многое, да разве женитьба на Розе вообще жертва, говорить так — значит чуть ли не оскорблять такую девушку, как Роза Пааль, и меня самого, ведь ради общего дела я уже многое совершил, вот только вчера я пел ради него «Трех гусят», так уж тем более смогу выучить китайский и жениться на Розе Пааль, а если я поначалу и брыкался, то только потому, что сознаю всю колоссальную ответственность перед факультетом, перед Розой Пааль и еще перед друзьями — Квази Риком, к примеру, и Якобом-лесорубом.

Если бы он назвал наши с Верой имена, я, может быть, и пришел в себя и заметил бы, что происходит нечто невообразимое, и сегодня я даже думаю, что встал бы тогда и сказал: «Кончайте комедию! Неужели никто не понимает, что Трулезанд притворяется? Да представляет ли кто-нибудь из вас, что он после одного-единственного заседания бюро ни с того ни с сего изменил все планы на будущее, разве достаточно нескольких часов, чтобы философию превратить в синологию, четыре года учебы — в семь, Берлин — в Пекин, а какую-то девушку, пусть неизвестно какую, в Розу Пааль? Неужели вы так плохо знаете этого плотника, что можете подумать, будто он всерьез хвалится готовностью приносить любые жертвы ради общего дела? Разве вы не слышите в его словах юмор висельника,— сказал бы я, если бы это не звучало несколько двусмысленно в связи с поставленной перед нами исторической задачей.— Неужели вы верите лживым речам этого честнейшего малого?»

Но среди своих друзей он не назвал ни Веры, ни меня, и этого было достаточно, чтобы утвердить меня в моем подозре-

нии, я только подумал: «Ну что ж!» — и промолчал.

И все-таки другим было явно не по себе от столь неожиданного и многословного согласия Трулезанда, даже Старый Фриц не стал, как обычно, восторгаться триумфом истории и победой над маловерами и мракобесами, он не позволил себе ничего, кроме тихих слов:

— Ну, значит, все в порядке!

И хоть звучало это успокоительно, было не совсем ясно, кого он пытается успокоить.

Теперь я припоминаю, Квази Рик тоже что-то сказал, правда, точных его слов я привести не могу, но он как будто поднял глаза, когда Герд перечислял своих друзей, и сказал, что Пекин сегодня нам ближе, чем многие другие точки на планете, что из-за нескольких лишних тысяч километров не следует терять друзей, что расстояние — не причина, чтобы рвать дружбу, для этого должны быть совсем другие основания. Когда я думаю сегодня об этом, мне все больше кажется, что и Якоб сказал ему нечто подобное в последнем с ним разговоре.

Может быть, я все путаю; одно только я помню точно: Квази произнес какие-то утешительные и горькие слова, но вполне возможно, что это я переношу свое нынешнее знание в прошлое, возможно, я веду себя, как многие старухи на похоронах: они, мол, видели печать смерти в глазах дорогого покойника еще в то время, когда он весело прыгал по жизни.

Не сказал ли я что-то о моем нынешнем знании? А что, собственно, я знаю ныне, что я знаю в действительности? Разве я знаю, почему Квази Рик разливает ныне пиво в чаду пивной «Бешеная скачка»? Разве я знаю, о чем он думал на заседании бюро? Я даже не знаю точно, что он там сказал. Я ничего не знаю о нем, ничего не знаю о Трулезанде, не знаю даже достаточно о самом себе, чтобы с уверенностью утверждать: вот как все получилось тогда, вот каким я был тогда, а вот как обстоят дела сегодня и вот каков я сегодня.

Мне ясно одно: я должен все узнать, если хочу жить,— этому меня научили и Рибенлам, и Ванда, и Хайдук, и Данута, и многие другие, кто вошел в мою жизнь после них, в частности Герд Трулезанд, заклятый враг всякого тумана, Герд Трулезанд, перед дверью которого я уже стою и которому сейчас скажу: «Добрый день, я — Роберт Исваль, помнишь меня?»

Но дверь Роберту Исвалю открыл не Герд Трулезанд, а Роза Трулезанд, урожденная Пааль.

— Сюда нельзя, Катрин! — крикнула она маленькой девчушке,

выползающей из кухни, и только после этого обернулась к Роберту.— Извините, пож... Быть не может! Господин Исваль собственной персоной? Ну, заходи, заходи, извини только за беспорядок. Герд искал свои удочки, а я решила ничего не убирать, пусть полюбуется... Садись. Хочешь кофе?

— Удочки? Разве у вас отпуск?

— Нет, библиотечный день,— крикнула она из кухни,— я хоть детей могу искупать, а он отправляется рыбку удить. Там ему лучше всего думается...

Она принесла кофе.

— Чай мы пьем редко. Человеку нужны контрасты... Извини, так уж говорят. В нашем институте есть сотрудники, которые пьют только чай, да еще зеленый, а детишки, наверно, у них едят палочками... А у вас дети есть?

— Мальчик... Если бы Вера знала, что я к вам еду, она передала бы приветы, но я просто взял и поехал. Иначе никогда не соберешься.

— Так и с письмами. Обсудим? Или не стоит? Только два слова, ладно? Герд тогда говорил, что письма писать, а тем более получать — только тоску по дому нагонять. Я это тоже замечала, когда приходили письма из Клейн-Бюнцова. Если живешь в Пекине, эта деревенька начинает вызывать большой интерес.

— По мне, так письма вообще отменить можно,— сказал Роберт,— я больше люблю говорить.

— И больше всего в майеровском актовом зале, как мы недавно узнали.

— Что поделаешь. Мейбаум забросал меня письмами, уже месяца три покоя не дает, и теперь, наверно, весь факультет гирлянды вяжет. А вы поедете?

— Если кто-нибудь возьмет детей, поедем. У нас ведь двое. Ян в детском саду. Но он скоро придет и перевернет все вверх дном. А тут еще Герд вечно со своими удочками, каждый раз одно и то же: «Я точно помню, куда их положил!» Но конечно, они лежат совсем в другом месте, и виноваты всегда дети, да и я тоже.

— А разве здесь есть где удить? Неужто в Плейсе?

— Нет, он ходит на канал, но с таким же успехом мог бы ходить на Плейсе. Какая разница — что в канале рыбы нет, что в Плейсе. Он еще ни разу ничего не принес домой, но я не сержусь. Ты видел когда-нибудь воду в здешних каналах?

— Нет, но хочу, не теряя времени, поглядеть на нее. Я его найду?

— Да, если только он на старом месте. Местечко, где наверняка клюет, утверждает он вот уже год. Я покажу тебе по карте.

Пообещав вернуться к ужину с Трулезандом, Роберт отправился на канал.

Герд Трулезанд оказался единственным рыболовом на всю округу. В выцветшем красном тренировочном костюме он сидел на полуобгоревшей покрышке, а рядом стояло пустое ведро. Подняв глаза, он сказал без всякого удивления:

— Ну-с, что слышно, Исваль? — потом сунул конец удочки под покрышку, встал и протянул Роберту руку.— Здравствуй, Роберт, вон еще одна покрышка. Можешь смело говорить погромче. Рыбы тебя не услышат. Они здесь не водятся.

— Им, видно, слишком скучно... Ну, старик, и местечко же ты выбрал!

— Да, мне всегда кажется, что этот город высосал всю жизнь вокруг себя. У вас, берлинцев, дело обстоит куда лучше.

— Увы, теперь нам не хватает атмосферы большого города,— ответил Роберт.— С каких пор ты балуешься удочкой? Это что, китайская привычка?

— Так я и знал. Если у меня развязался шнурок от ботинка, все спрашивают, не китайская ли это привычка.

— Мы мучаемся разными загадками, а ответ, быть может, в развязавшемся шнурке.

— Подобные вопросы вызывают у меня аллергию, ведь не пифия же я в конце концов.

— Вот она, разница между нами. Уж я бы, старик, насладился ролью оракула и отвечал бы только так: «Удить рыбу — для китайцев излюбленное занятие. Это национальное пристрастие нашло свое отражение в поговорке «рыбак видит много лун», относящейся к периоду Минь».

— Все вы начитались китайских романов. А что касается наслаждения, то даже ты плюнул бы на него, если бы тысячу раз слышал, как тысячи председателей на собраниях говорят: «Этот товарищ семь лет прожил в Китае, он ответит на все ваши вопросы».

— Лучше, чем наоборот.

— Как это — наоборот?

— Ну, лучше, чем если б вовсе не спрашивали, как еще недавно было.

— Конечно, лучше, но ведь спрашивают всегда меня! И Розу тоже, но она хоть иногда может отговориться — дети, мол.

— Хорошо, рта больше не раскрою. Как это говорят в китайском народе со времен Чунской династии: «Мудрецу отвечает тишина».

— Чунской династии не существует. Это тоже одна из немецких выдумок. Всегда, когда немцы хотят показать, что

знают Китай, они говорят «чинг» или «чунг». Говорите уж лучше: Мао или Нанкин-род, компрадоры или Великий поход, Конфуций, Сунь Ятсен, гоминьдан, Шанхай, Чан Кайши, Хуанхэ, опиум, рис, союз, Яньань и шестьсот миллионов — это, правда, тоже общие места, но за ними по крайней мере угадывается часть Китая. А от вашего вечного «чинг-чанг» просто тошнит.

— Как по-китайски «так точно»? — спросил Роберт и попытался, сидя на своей покрышке, принять позу «смирно».

— Но ведь правда,— сказал Трулезанд,— теперь все вдруг заволновались, дошли какие-то слухи, а раньше просто принимали к сведению, что в Китае, кроме фарфора и голода, есть еще революция. «Ага, эти, стало быть, тоже»,— сонно бормотали обыватели и поворачивались на другой бок, а теперь, как пошли разговорчики, что не все там гладко, сразу же глаза протерли.

— Но не всем же изучать синологию, кстати, разве ты сам не протираешь время от времени глаза?

— Бывает.

— Вдобавок ты несправедлив. Мы вовсе не клевали носом. У Рибенлама, как ты помнишь, мы зубрили китайскую историю, ну, конечно, не в должном объеме, но ведь мы сдавали на аттестат, а не защищали докторскую по синологии. И книг о новом Китае тоже много вышло — все пишут, начиная от Кубы и кончая Хермлином. Думаю, что не одни вы с Розой там были и не все немцы ездили в Китай только учиться.

— Ну, не злись. Я ведь тоже знаю, как мы им помогали, и немало. Надеюсь, однако, что имею право считать это само собой разумеющимся, если твердо стою на принципах пролетарского интернационализма?

— Я с тобой вполне согласен, только они, кажется, по-другому заговорили. Это правда насчет специалистов?

— Правда. Они отсылают домой всех, кто не верит в бумажного тигра. Идиотизм. Давай поговорим лучше о чем-нибудь веселом. Ты все еще любишь веселые истории?

— Конечно.

— Так я расскажу тебе историю о пекинских балах для иностранных специалистов.

— О пекинских балах?

— Так вот тебе история. В наше время в Пекине раз в месяц устраивали бал для специалистов. Поначалу мы все туда ходили, потом нам уже некогда было, да и балов больше не устраивали, верно, не желали собирать в одном помещении такое количество ревизионистов. Но вначале все приходили на эти балы: венгры, поляки, наши монтажники, гидротехники, химики и много-много русских. В первое время идешь, бывало, по улице, а мимо

семенит детский сад, и ребятишки что-то щебечут хором, оказывается, вот что: «Здравствуйте, дядя из России!» Так было в первое время, но не думаю, чтобы теперь еще такое случалось. Ах да, я ведь хотел веселую историю рассказать. Так вот, бал. В первый раз мы с Розой пришли, а тут и китаяночки приехали. Было их сто или двести, не знаю, во всяком случае уйма, и одна красивее другой. «Хорошо, что я с Розой»,— подумал я, когда они выпорхнули из автобусов, венгерских, кстати сказать, а потом еще раз подумал: «Хорошо, что я с Розой». Поймешь дальше почему. Ровно в восемь раздвинулся занавес, оркестр заиграл, прислушаешься — и понимаешь: Глен Миллер. Они играли «Лунную серенаду». Но они могли играть и в стиле Бена Гудмена и Дюка Эллингтона. А мы пошли танцевать. Роза со специалистами — китайцев-то на балу почти не было,— а я по очереди со всеми изящными девчушками. Поначалу я решил, что нам прислали школьниц — у многих торчали косички. Но все разъяснилось, когда я танцевал со стриженой китаяночкой. Сперва, правда, я попробовал танцевать с другой, у той была коса. Ну и прелесть девчонка! Только вот я по-китайски ни бум-бум, а она еще русский не одолела. И к тому же — коса! Шаг шагну, она мне по руке легонько скользит, щекотно. А я щекотки терпеть не могу. Попытался рукой прижать косу к спине, но тогда она защекотала ладонь, вот я и стал после этого выбирать стриженых. У моей китаяночки была иссиня-черная гривка и красная кофточка, и смахивала она на старшеклассницу. Но хоть говорила по-русски, поэтому я знаю, что танцевал не со школьницей, а с двадцативосьмилетним врачом, главврачом целого комбината. И как ты думаешь, о чем болтал Трулезанд со своей партнершей? Да-да, ты уже догадался: о том самом зубном враче и о кариесе, помнишь? Она сказала, что такие есть еще и у них, меня это, по правде говоря, сильно удивило, в наших-то книгах о Китае об этом ни слова не писали... Так вот, все веселились ровно до двенадцати, а в двенадцать оркестр последний раз сыграл «Лунную серенаду», и занавес закрылся. Что же касается луны и всего такого прочего, так мальчикам нашим ничего, кроме музыки, не досталось. Тут же начинается прощание, девушки выпархивают с той же скоростью, с какой впорхнули, ж-ж-ж — подъезжают автобусы, прыг-прыг — косички и кофточки уже внутри; ж-ж-ж — следующий «Икарус», «прощайте, выпускницы», ж-ж-ж — следующий, «до свидания, дядя из России», еще раз ж-ж-ж — и конец всем «здравствуйте» и «до свидания», только вонь от дизелей остается. Рядом со мной среди машущих специалистов стоял электрик из Пирны, он не махал. Скрестил руки на груди, слов-

но сам себя хотел удержать. Парень молодой, не больше двадцати пяти. Я никогда еще не видел, чтобы на лице было написано одновременно столько злости, разочарования и полной безнадежности, и сказал он всего одну фразу, но это был целый роман. Скрестив руки, он процедил сквозь зубы: «И так каждый раз!»

Роберт улыбнулся, представил себе лицо того парня, ему это удалось, он еще раз улыбнулся и обрадовался, что Трулезанд все так же шутит, несмотря на свою ученость, и что в речи его, несмотря на Пекин и Лейпциг, все так же слышатся штеттинские словечки и... дружеское расположение, несмотря ни на что. Роберт не сомневался, что, согласись он только слушать, Герд Трулезанд выложит ему кучу забавных китайских историй, таких, которым, конечно, не место в докладе об этапах развития международного рабочего движения, но которые зато вполне уместно излагать на берегу мрачного канала, сидя на старых покрышках. Приятно обнаружить, что все обернулось совсем иначе, а ты боялся, ты ведь — чего отрицать? — этой встречи боялся. Приятно, что все обернулось иначе, но ведь этого мало. Это еще далеко не все. Они могут сидеть возле вонючего канала и рассказывать друг другу истории, перебрасывая их, точно доски, через пропасть, которая их разделяет, но пропасть все-таки останется, и вонять из нее будет, как из этого канала, где не водится рыба. А потом они отправятся ужинать, выпьют пива и по рюмочке водки, может, постепенно спадет их взаимная настороженность, и водка вытянет из них вопросы, хотя такие вопросы лучше и ставить и отвечать на них с трезвой головой. Из-за этих вопросов и этих ответов Роберт приехал сюда. И если вдруг покажется, что не может быть пропасти между людьми, рассказывающими друг другу веселые истории, то все же надеяться на это нельзя — это было бы слишком удобно.

Роберт поднял голову и спросил:

— А ты не удивился?

Трулезанд вытянул удочку из воды и с досадой поглядел на целехонькую приманку:

— Самый аппетитный червяк, какого я мог найти... А почему я должен удивляться? Только потому, что после десяти лет разлуки принято встречать друг друга удивленными возгласами, обходить со всех сторон и, тыча друг друга в ребра, выражать восторг и изумление по поводу того, что другой еще жив-здоров? Но ведь войны не было.

— А между нами?

— Между нами? Да, была как будто, но, на мой взгляд, тихо угасла от старческой немощи. Тридцатилетняя война не для меня.

— Весьма сожалею, если нарушу твой покой, но я ведь упрямый осел. Я способен и своей профессией, и своей предстоящей речью спекульнуть. Вот суну тебе под нос журналистское удостоверение и скажу: «Товарищ Трулезанд, в связи с торжественным закрытием вашего бывшего факультета разрешите задать вам несколько вопросов».

Трулезанд подтянул молнию на куртке, словно это был узел галстука, и с достоинством отвечал:

— Что ж, если вы так настаиваете. Однако прежде всего позвольте, мой друг, задать вам один вопрос: вы, кажется, сказали «торжественное закрытие»? До меня дошли сведения лишь о закрытии, у нас тут, во всяком случае, и речи нет о торжественности, у нас закрывают тихо и скромно, и я даже слышал весьма убедительный довод в пользу этого. Закрытие, как таковое, не является типическим для нашей жизни, а посему нет повода для грома литавр и пушечных залпов. Кроме того, я припоминаю высказывание известного эксперта по вопросам культуры и образования Рюдигера Клабунде из министерства «по всяким и разным делам», который не так давно осчастливил нас своим присутствием на заседании ученого совета. Он процитировал в своем выступлении в связи с затронутой вами темой слова одного крупного военного деятеля: «Старые солдаты не умирают — они уходят». Вот, стало быть, мой ответ.

— Кончай трепаться,— буркнул Роберт.

— Только не волнуйся,— продолжал Трулезанд,— возможно, что речь идет о местных нюансах, возможно, очень возможно, что у них там, у Мейбаума, повсюду вывесят флаги, зазвучит Девятая симфония, а с трибун будут произносить торжественные речи...

— Н-да, но хорошо бы знать наверняка,— сказал Роберт.

Он встал и швырнул в маслянистую воду ржавый велосипедный руль.

— С ума сошел? — заорал Трулезанд.— Рыбы!

— А я думал, их здесь нет.

— Кто знает,— уже спокойно сказал Трулезанд. Он потянулся и подмигнул Роберту: — А ты правда так любишь речи?

— Ну, не это сейчас главное, хотя в данном случае я спокойно мог бы сказать «да». Возможно, я вообще охотно говорю, вероятно, это так, даже наверняка, если тема интересная и люди, которым я хочу что-то сказать, собрались и тоже хотят меня слушать. Тогда я говорю охотно, сознаюсь, сознаюсь также и в том, что мысль об эдакой речуге в актовом зале меня приободрила, взбодрила, разбудила, возбудила и еще не знаю там что...

но сам себя хотел удержать. Парень молодой, не больше двадцати пяти. Я никогда еще не видел, чтобы на лице было написано одновременно столько злости, разочарования и полной безнадежности, и сказал он всего одну фразу, но это был целый роман. Скрестив руки, он процедил сквозь зубы: «И так каждый раз!»

Роберт улыбнулся, представил себе лицо того парня, ему это удалось, он еще раз улыбнулся и обрадовался, что Трулезанд все так же шутит, несмотря на свою ученость, и что в речи его, несмотря на Пекин и Лейпциг, все так же слышатся штеттинские словечки и... дружеское расположение, несмотря ни на что. Роберт не сомневался, что, согласись он только слушать, Герд Трулезанд выложит ему кучу забавных китайских историй, таких, которым, конечно, не место в докладе об этапах развития международного рабочего движения, но которые зато вполне уместно излагать на берегу мрачного канала, сидя на старых покрышках. Приятно обнаружить, что все обернулось совсем иначе, а ты боялся, ты ведь — чего отрицать? — этой встречи боялся. Приятно, что все обернулось иначе, но ведь этого мало. Это еще далеко не все. Они могут сидеть возле вонючего канала и рассказывать друг другу истории, перебрасывая их, точно доски, через пропасть, которая их разделяет, но пропасть все-таки останется, и вонять из нее будет, как из этого канала, где не водится рыба. А потом они отправятся ужинать, выпьют пива и по рюмочке водки, может, постепенно спадет их взаимная настороженность, и водка вытянет из них вопросы, хотя такие вопросы лучше и ставить и отвечать на них с трезвой головой. Из-за этих вопросов и этих ответов Роберт приехал сюда. И если вдруг покажется, что не может быть пропасти между людьми, рассказывающими друг другу веселые истории, то все же надеяться на это нельзя — это было бы слишком удобно.

Роберт поднял голову и спросил:

— А ты не удивился?

Трулезанд вытянул удочку из воды и с досадой поглядел на целехонькую приманку:

— Самый аппетитный червяк, какого я мог найти... А почему я должен удивляться? Только потому, что после десяти лет разлуки принято встречать друг друга удивленными возгласами, обходить со всех сторон и, тыча друг друга в ребра, выражать восторг и изумление по поводу того, что другой еще жив-здоров? Но ведь войны не было.

— А между нами?

— Между нами? Да, была как будто, но, на мой взгляд, тихо угасла от старческой немощи. Тридцатилетняя война не для меня.

— Весьма сожалею, если нарушу твой покой, но я ведь упрямый осел. Я способен и своей профессией, и своей предстоящей речью спекульнуть. Вот суну тебе под нос журналистское удостоверение и скажу: «Товарищ Трулезанд, в связи с торжественным закрытием вашего бывшего факультета разрешите задать вам несколько вопросов».

Трулезанд подтянул молнию на куртке, словно это был узел галстука, и с достоинством отвечал:

— Что ж, если вы так настаиваете. Однако прежде всего позвольте, мой друг, задать вам один вопрос: вы, кажется, сказали «торжественное закрытие»? До меня дошли сведения лишь о закрытии, у нас тут, во всяком случае, и речи нет о торжественности, у нас закрывают тихо и скромно, и я даже слышал весьма убедительный довод в пользу этого. Закрытие, как таковое, не является типическим для нашей жизни, а посему нет повода для грома литавр и пушечных залпов. Кроме того, я припоминаю высказывание известного эксперта по вопросам культуры и образования Рюдигера Клабунде из министерства «по всяким и разным делам», который не так давно осчастливил нас своим присутствием на заседании ученого совета. Он процитировал в своем выступлении в связи с затронутой вами темой слова одного крупного военного деятеля: «Старые солдаты не умирают — они уходят». Вот, стало быть, мой ответ.

— Кончай трепаться,— буркнул Роберт.

— Только не волнуйся,— продолжал Трулезанд,— возможно, что речь идет о местных нюансах, возможно, очень возможно, что у них там, у Мейбаума, повсюду вывесят флаги, зазвучит Девятая симфония, а с трибун будут произносить торжественные речи...

— Н-да, но хорошо бы знать наверняка,— сказал Роберт.

Он встал и швырнул в маслянистую воду ржавый велосипедный руль.

— С ума сошел? — заорал Трулезанд.— Рыбы!

— А я думал, их здесь нет.

— Кто знает,— уже спокойно сказал Трулезанд. Он потянулся и подмигнул Роберту: — А ты правда так любишь речи?

— Ну, не это сейчас главное, хотя в данном случае я спокойно мог бы сказать «да». Возможно, я вообще охотно говорю, вероятно, это так, даже наверняка, если тема интересная и люди, которым я хочу что-то сказать, собрались и тоже хотят меня слушать. Тогда я говорю охотно, сознаюсь, сознаюсь также и в том, что мысль об эдакой речуге в актовом зале меня приободрила, взбодрила, разбудила, возбудила и еще не знаю там что...

— Но ведь ничего еще не решено.

— Ну, не знаю. «Закрытие — явление не типическое и не дает основания» — звучит, насколько я разбираюсь в наших порядках, чертовски убедительно.

— Если ты действительно разбираешься в наших порядках, то не забросишь черновик речи. А ты уже и в самом деле что-нибудь написал?

— Да нет, только в уме прикинул, что можно сказать. Собственно, оставалось всего два неясных пункта: ты и Квази.

— Компания не очень лестная.

— Да, извини. Но общее между вами, я имею в виду в моей речи, в моей предполагаемой речи, только одно — в связи с вашими именами возникают вопросы, на которые я не могу ответить.

— Лучше вычеркни наши имена. Они не годятся для актового зала. И речь — это ведь не изложение биографий.

— Но без биографий такая речь никуда не годится.

— Согласен, если сумеешь обобщить судьбы. Но ни Квази, ни я для этого не подходим.

— Исключительные случаи, ты так считаешь?

— Один исключительный, другой просто скучный.

— А что уж такого исключительного в поступке Квази? Знаешь, сколько за эти годы ушло за Иордан?

— Если это так просто, то зачем ставить вопросительный знак за его именем?

— Потому что других, кто так поступил, я лично почти не знаю, а тех немногих, кого знаю, толкнули обстоятельства, я это понимаю, вот мою мать, например, или сестру, Када и кое-кого еще. А в истории Квази одни вопросительные знаки.

Трулезанд поднялся и сложил удочки на траву.

— Рыбка все равно не ловится, кругом — ни души, подходящее место рассказывать истории. Так вот: у нас в институте есть один аспирант, историк, работает над проблемой китайско-японских отношений. Тоже кончил РКФ, только не наш. Был у него друг, он до сих пор говорит о нем взахлеб, отчаянный, видно, был парень. С виду как будто ничем не примечательный, но на редкость упорный, в учебе — первый, да и в партии активнее всех. А потом, скажи на милость, не успел паренек аттестат получить, как тут же исчез. Очень странно это было, никто ничего не понимал. Наш историк до сих пор ничего не понимает. Говорят, друг его из тех был, кто американцам даже тлю виноградную простить не мог. И все без грана наигрыша, без всяких вывертов. Парень горячий, но вывертов никаких. Короче говоря, этот горячий и ничем с виду не примечательный человек

нынче обретается в Руре... Да ладно, расскажи лучше о себе. Ну, как в газете? Занятно?

— Всяко бывает, бывает занятно, а бывает и тошно. Самое скверное, что ничего не успевает созреть. Только напишешь, сразу в номер. В отделе культуры это, конечно, не буквально так, не то что в информации, но разница невелика. Правда, теперь я вольный художник, ушел из штата, стало полегче. Можно больше самому выбирать... Слушай, Герд, обо всем этом поговорим вволю в другой раз, для нашей встречи на берегу мерзкого канала я припас другую тему.

— Мне что, дурачком прикинуться?

— Нет... Скажи прямо, не хочешь об этом говорить, так я не буду настаивать.

— Эх, да что тут хочешь не хочешь, просто не знаю, что сегодня обо всем этом сказать. Мы, видно, тогда оплошали, но ведь с тех пор и повзрослели на десять лет. Будь я тогда чуть разумнее, так заметил бы, что у тебя в голове полная каша. А я разыграл обиженного. В жизни со мной больше этого не случится — разве можно вынести такое душевное напряжение? Кажется, придется кое-что тебе рассказать. К счастью, Роза оказалась не только хорошей девчонкой, но и умницей. Я дурак дураком стоял перед ней, когда мы первый раз встретились после вашего с ней разговора на бюро. Старый Фриц передал мне, так сказать, ее согласие, видел бы ты, какой он был при этом красный, а меня мучила мысль: теперь придется и мне с ней поговорить. Вот я и пошел к ней, в голове пустота. Ведь подумать только, ситуация не очень-то обычная. Хоть я и знал Розу, а все-таки побаивался, не ляпнет ли она какой глупости — «любимый мой» или еще что,— и твердо знал, если она такое скажет, я за тридевять земель убегу, плюну на всякую историческую необходимость. Но она была на высоте. Вошел я к ним в комнату, а она и говорит: «Заходи, садись, только глупостей не болтай». Я сел и на всякий случай молчу. Зато она говорит, и то, что она говорит, не совсем обычно: «Ужасно будет, если мы сделаем вид, будто все это нормально, и разговаривать станем, будто все нормально. Так ты уж лучше молчи. Но я буду не совсем нормальной, если я хоть одного не скажу: я очень рада!» Эти слова она и от меня услышать может, ответил я, а для начала большего от нас не требуется. Еще за минуту до того, еще в коридоре, я счел бы это ложью, а как присмотрелся к ней, так, говорю тебе, это стало правдой. Но встреть я тебя в коридоре, думаю, на месте бы прикончил.

— Вот это я и хотел услышать,— сказал Роберт,— для этого я здесь.

— Ладно уж,— ответил Трулезанд,— не очень-то радуйся. По мне, так об этом и вовсе говорить нечего, но ты неисправим. Что не разжуешь, того не поймешь. Будь по-твоему, расскажу тебе, что я тогда, десять лет назад, думал, да и потом тоже, но избавь меня от своих покаяний. Ты приехал ко мне, это, по-моему, хорошо, и вот мы сидим на канале, ловим рыбку и впадаем в старческую болтливость. Ты мне рассказываешь смешные истории, потом я тебе, а теперь я тебе расскажу про то, как я злился на тебя и какой удар ты нанес моему миропониманию. Да, тогда я мыслил только такими масштабами, я и впрямь убить тебя хотел. Хотя это, пожалуй, было уж чересчур. Помнишь, какими мы были друзьями, водой не разольешь. Я, правда, не всегда понимал твои поступки, а главное, твое идиотское отношение к Вере, но все-таки мы были очень привязаны друг к другу и отлично ладили. Ты, конечно, был задавалой, но высшего класса, а это меня всегда убеждает. О своих ошибках я из естественной скромности не упоминаю. Да они, кажется, и не играли никакой особенной роли, не понравится тебе что-нибудь, ты сразу выкладываешь, это твоя хорошая черта. Но ты пока еще не умер, поэтому расхваливать тебя нечего — просто ты был настоящий друг. До этого злосчастного бюро, где мне казалось, будто я вижу кошмарный сон. Ведь как-никак, а мы мечтали с тобой вместе перевернуть Берлин вверх дном, и вдруг ты меня женишь да еще упекаешь в Китай! Хочу тебе сразу сказать, чтобы ты меня правильно понял, и с Розой и с синологией я в самую точку попал, но ведь знать этого я не мог, когда услышал, что ты называешь наши имена. Впрочем, даже знай я об этом наперед, никакой бы разницы не было. В принципе я ничего против Китая не имел, а тем более против Розы Пааль. Будь это не так, я при всей злости на тебя ни за что не согласился бы на эту авантюру. Но злость — это не то слово. Злость — это что-то здоровое, а я был болен. Я был болен, потому что ничего не понимал, а когда наконец начал понимать, мне лучше не стало. Мне бы тебя спросить, но ведь спрашивать стоит, если готов верить ответу. Ни к кому другому я идти не хотел, хотя бы из-за Розы. Представь себе, я бы пошел к Рибенламу и сказал: так и так, товарищ секретарь, меня предали и продали, помоги мне! Он забил бы отбой. Китай, и свадьба, и все прочее — к чертям собачьим, вот и подумай о Розе. Она-то ведь уже сказала, что очень рада, и как она это сказала! И я ведь тоже что-то подобное ляпнул и нисколько при этом не лгал, а тут созывают собрание или опять бюро и Розу приглашают, и Рибенлам объявляет: «Сожалею, товарищи, но произошла серьезная ошибка. Трулезанд сам не знал, что делает, когда согласился на наше предложе-

ние. Свадьбы никакой не будет, а в Китай поедут другие студенты». Нет, невозможно. На это я не мог пойти ни из-за вас, ни, главное, из-за Розы. Вот я и прикусил язык и только все про себя думал, а как стал соображать, в чем дело, так еще хуже запсиховал. Я же, конечно, каждое словечко припомнил, каким мы с тобой обменялись за последние дни, и, разумеется, тот вечер на верфи тоже припомнил. Собственно, само собой это вовсе не разумеется, потому что прежде всего я нашу ссору вспомнил, но потом отбросил — не тут собака зарыта. Я, правда, критиковал тебя в тот вечер, но ведь не впервой и всегда считал, что взаимная критика — основа нашей дружбы, и баланс, по-моему, сходился. К тому же ты ведь извинился перед Верой и тем признал, что я прав. Но когда я вспоминал, что перед самой-самой ссорой мы так дружно распевали «Трех гусят» и со смеху умирали, а сразу же после этой ссоры дружба наша кончилась, я решил еще раз этот пункт продумать. Что же произошло? Ты дразнил Веру ее неудачным экзаменом, а она шутки не поняла. И никто из нас, кроме тебя, не понял этой шутки. Даже Якоб взвился, хоть и на свой манер, а с меня было довольно. Я тебя хорошо знал, я знал, что у тебя есть причина дурака валять, и, если б ты со мной связался, я бы тебе под стать ответил — и порядок. Но с Верой так не получилось. Не только потому, что она из-за тебя полгода тянула двойную лямку и к экзаменам окончательно выдохлась — это еще не самое худшее, и ты это прекрасно знал и своими дурацкими остротами прикрывал собственное смущение, — не только потому пытался я тебя удержать и привести в чувство. Было еще нечто гораздо более существенное. Попросту говоря, она тебя любила. В те времена я бы, пожалуй, побоялся употребить это слово, я бы, наверно, сказал, да и подумал, конечно же, так: она без памяти втюрилась, до умопомрачения втрескалась в этого мерзавца; но теперь, когда мы стали на десять лет старше и не боимся больше слов, я могу тебе сказать: я видел, что она тебя любит. Все это видели, все это знали — все, кроме тебя. Ты опьянел от своих пятерок и бесился вовсю. А объектом — надо же! — выбрал именно Веру. Может, это и смешно было: хитрющий Исваль пробился сквозь дебри экзаменов, а теперь ходит гоголем и слишком глуп, чтобы понять девчонку. Только по-настоящему смешного в этом мало. Девушку я жалел, а на тебя глядеть было тошно. Вот ужас-то обнаружить, что тебе тошно смотреть на друга, за которого ты все три года готов был жизнь отдать. Ты, видно, сам кое-что заметил, иначе как объяснить, что ты вдруг согласился извиниться? Я, правда, думал, что мы еще вернемся к этому вопросу, но, когда ты извинился перед Верой, я счел его, так сказать, принципиально

решенным! А потом уж все это на бюро завертелось. Стало быть, вспоминал я позже, ломая голову над этим, стало быть, причина лежит где-то между извинением и началом бюро. Но тогда мы почти и не разговаривали. Не из враждебных чувств — я, во всяком случае,— мы просто не одни были на верфи, ведь там же вечер был и все танцевали до упаду. Короче, прошла вечность, прежде чем я сообразил, что произошло в твоей взбалмошной башке. И над этим, пожалуй, можно бы вволю посмеяться, да не получалось. У меня от разочарования временами голова кругом шла и от злости тоже. Ведь ты уже успел на том бюро бросить свою знаменитую фразу: И я думал: вот ты каков, значит, уважаемый товарищ! Вбил себе блажь в голову и превратился в неандертальца, три года держался грим, а теперь румяна стерлись; стоит таким решить, что им идут наперекор, и они ножи вытаскивают. Все это теперь звучит чуть ли не бредом, но учебу в Китае я воспринял как изгнание. А ведь уверен: узнай мы за несколько дней до того вечера на верфи и до того бюро о предложении ехать в Китай, мы бы ночи напролет проговорили, все бы перебрали, только бы найти способ попасть туда. И если бы, к примеру, выяснилось, что лишь один из нас отвечает поставленным условиям, голову даю на отсечение, другой бы ему сказал: действуй, старина, такой шанс выпадает раз в жизни. Отлично было бы нам вместе учиться в Берлине, но я могу себе и другое представить: один из нас в Берлине, другой — в Пекине, и время от времени мы обмениваемся новостями, разве плохо? Конечно, мы именно так говорили бы. Говорили бы, но не поговорили. И это мучило меня не знаю уж до каких пор.

— До сегодняшнего дня,— сказал Роберт.

— Возможно,— согласился Трулезанд,— хотя и не настолько, чтобы посыпать главу пеплом. Но изредка все же царапает что-то внутри.

— Ну, насчет неандертальца и ножа — это ты, пожалуй, чересчур загнул.

— Так я и знал. Ты неисправим, Исваль. А теперь я жду следующего вопроса.

Роберт рассмеялся:

— Ладно, давай: насколько я был близок к истине?

— С полным правом мог бы тебе ответить: бесконечно далек, но это была бы полуправда. Скажем так, не ближе, чем я сейчас к рыбам.

— Но ты же удишь.

— Да, но ведь рыбы-то здесь нет.

— И не было?

— Что значит не было? Неужели ты думаешь, что я ходил бы

сюда, если бы ее не было?

— Извини, но ты все-таки заговорил по-китайски.

— Ну, так вот тебе по-немецки: между мной и Верой до вечера на верфи было ровно столько же, сколько между Розой и мной до твоего великолепного предложения, чтобы я на ней женился, а точнее — ничего. Но когда ты меня женил на одной, ты вбил мне в голову мысль о другой. Одно благодаря другому. Диалектика, с твоего разрешения. Безумие, если хочешь. Но все было именно так. Как только я додумался, в чем ты меня подозреваешь, я решил, что в этом есть соль. И если до тех пор я был невиновен, то теперь мысли мои вполне соответствовали сущности обвинения. А у тебя появились все основания для ревности — что касается меня. Иное дело Вера, она вовсе и не замечала беднягу Трулезанда. Она была ему благодарна, потому что он защитил ее от гада Исваля, но прежде всего потому, что гад Исваль вдруг превратился в нежнейшего влюбленного, и она сочла это попыткой самокритично исправить положение. И еще одно нельзя забывать: ее лучшая подруга выходила замуж, а Вера ведь швея — забот не оберешься!

— Знаешь что? — предложил Роберт. — Сматывай-ка свои дурацкие удочки... А то еще рыба начнет вдруг клевать — большей неприятности у меня сейчас быть не может.

Они молча пошли вдоль канала к машине, и, только когда Роберт дал газ, Трулезанд сказал:

— Ты мало изменился.

— А ты совсем не изменился, — ответил Роберт и потом с запинкой добавил: — Или все-таки немножко?

Роза взяла из рук Герда пустое ведро.

— Много же ты наловил. Зато на ужин копченая селедка. Что ты будешь пить, Роберт, пиво или чай?

— На этот раз лучше чай, мне ведь еще ехать.

Они уверяли его, что глупо и даже опасно выезжать на ночь глядя, у них, мол, есть удобная тахта, и кто знает, когда еще удастся увидеться, но Роберт стоял на своем. Дома его ждут жена и ребенок, сказал он, и, кроме того, много дел, между прочим, надо поработать над небезызвестной речью, теперь, после этой поездки, он знает, как к ней подступиться.

— Кстати, — вспомнила Роза, — господин доктор Трулезанд, тебе письмо от Мейбаума... Скажи, Роберт, у вас тоже Вера не смеет вскрывать твои письма? Господин доктор Трулезанд очень принципиален в этом вопросе!

— Я тоже, — ответил Роберт.

— То-то я смотрю, меня вдруг «господином доктором» величают,— сказал Трулезанд, возвращаясь из соседней комнаты с письмом в руке,— но на этот раз Мейбаум действительно написал «господин», что на него не похоже.

Он похлопал по письму, глянул на Роберта и спросил:

— Спорим?

— Зачем? Дважды он вас приглашать не будет. Но может, тебя просят дополнительно прочесть доклад о некоторых вопросах развития международного рабочего движения?.. Хотя обычно он это просит только по телеграфу.

— Так спорим?— повторил Трулезанд и вскрыл письмо.— Читаю: «Уважаемые выпускники, как Вам известно из недавно полученного Вами приглашения, которое Вы уже успели принять, мы предполагаем организовать встречу всех бывших студентов нашего факультета с нынешними выпускниками. Основываясь на многочисленных мнениях, мы пришли к выводу, что запланированная нами программа была чересчур обращена в прошлое. Мы считаем более целесообразным ориентироваться на все новое, на задачи, стоящие перед нами, и потому вместо предполагаемого торжественного вечера в актовом зале университета предлагаем следующие мероприятия: первое — собрание всех выпускников и нынешних студентов нашего рабоче-крестьянского факультета с докладом на тему «Задачи выпускников в деле социалистического преобразования университетов». Второе — заключительное собрание ССНМ с докладом на тему «Программа Союза свободной немецкой молодежи по работе в университетах и задачи выпускников рабоче-крестьянского факультета на специальных факультетах». Поскольку вряд ли можно предположить, что за оставшееся время кто-либо подготовит хотя бы один из названных докладов, их сделает товарищ Мейбаум.

P. S. Разумеется, новая программа также предполагает товарищеский ужин и небольшой концерт, для чего мы и пригласили ансамбль гитаристов «Турбо». Заказы на столики (например: группа СМ 1/1956 — 6 мест) принимаются до четверга, до 14.00, в оргбюро. С социалистическим приветом Мейбаум, директор».

— Какой ансамбль пригласили?— переспросил Роберт.

Трулезанд протянул ему письмо и сказал:

— Ансамбль «Турбо». Наверно, от турбины. Небольшой концерт с завыванием... Ну-с, что ты на это скажешь?

— Чего же ты удивляешься, ты ведь сам спорить хотел.

— Хотел,— подтвердил Трулезанд,— но такой наглости даже я не ожидал. А вообще-то этого милого Мейбаума нетрудно загнать в угол. Надо только спросить его, как он расценивает

нынешнее положение дел в университете, ежели социалистическое его преобразование считает задачей будущего. Нет, правда, надо бы его спросить, что же мы, по его мнению, все эти десять лет делали.

— Не надейся,— буркнул Роберт.— Такого в угол не загонишь, он тебе живо объяснит, что́ есть социализм. Он расскажет тебе, что́ в нашем обществе следует считать новым, типичным и перспективным, он объяснит тебе характер рабоче-крестьянского факультета и будет весьма удивлен, если у тебя будут недоуменные вопросы по Китаю, а если выскажешься против небольшого концерта с воющими парнями, он заявит, что ты сектант, а если осторожно напомнишь ему его же собственные слова из прошлого письма, он возмущенно обзовет тебя отсталым элементом.

— Ну, не ругайся,— сказала Роза,— лучше поешь, если и правда решил ехать, и радуйся: тебе по крайней мере не придется держать речь.

— Я радуюсь,— ответил Роберт,— но совсем по другому поводу.

Конечно, они не отпустили его, пока не вспомнили еще с десяток занятных случаев тех времен, и Роберт невольно вызвал у обоих горестные слова относительно Китая. Тут у него мелькнула мысль, что возможные разногласия между странами и партиями они принимают особенно близко к сердцу еще и потому, что без дружбы этих стран и партий им, вероятно, никогда не быть бы мужем и женой, и тогда ему тотчас пришла на ум другая пара, о которой он не знал, были бы сегодня они мужем и женой, если бы не призыв из Пекина. Тогда он понял, что должен незамедлительно кое-что уточнить и с Верой, иначе не имело смысла ставить точку. Когда все это промелькнуло в голове Роберта, он встал и сказал, что ему окончательно пора, что скоро они опять увидятся, но теперь ему надо ехать, а до Берлина ни мало ни много добрых двести километров, и на пути еще громоздится этот Флеминг, хребет ледникового происхождения, а на дворе уже ночь.

До Дессау он чувствовал себя еще совсем бодрым, но тут вдруг его одолела сонливость. Он пытался отогнать ее испытанными способами: курил одну сигарету за другой, включил радио, напевал песенки, опустил стекло, осыпал себя проклятьями. Он, правда, знал, что эффекта от этих мер ждать не приходится, и потому стал себя убеждать: ехать теперь уже совсем недалеко, каких-нибудь сто километров по автостраде, это пустяки, с закрытыми глазами можно катить — и тут же почувствовал

неодолимое желание закрыть глаза и доказать себе, что так отлично можно ехать. Лучше, пожалуй, не надо, подумал он, впереди, кажется, трейлер, еще врежешься в него, ладно, если он пустой, а что, если груженый, они ведь обычно груженые, в такой дальний путь они порожняком не выедут, это только мы себе можем позволить, а те — нет, у тех конкуренция, а мы их обгоняем, да, лучше обогнать, но при этом не врезаться в него, он, может, гружен маргарином, тьфу, черт, влипнешь вот так в кучу маргарина, не очень-то будет приятно, хотя маргарин этот, как утверждает девчушка по телевизору, очень приятен на вкус, но трейлер гружен не маргарином, он везет сигареты, этот провокатор везет сто двадцать кубических метров первосортного табака по Германской Демократической Республике, не иначе как его нанял Леммер, и вот, возбуждая всеобщую зависть, он едет по нашей республике, это же черт знает что, но, стоп, приятель, не завидуй, достань-ка сигарету «Варнов», тоже с фильтром, и держись лучше правой стороны, за тобой, гляди, мчит кто-то, тоже, может, человек Леммера. Ах, нет, теперь там не Леммер, а другой министр, как его, этот, с аккуратным пробором, всегда кажется, будто его вычистили скребницей. Да не все ли равно, кто у них там сидит! А вот меня обогнал «мерседес» — какие там сто километров, уважаемые господа, не меньше ста сорока, нет, никак не меньше. Надо же так напугать человека, ведь хотелось-то ему всего-навсего вздремнуть чуток, а тут эта штуковина обгоняет, лучше уж на стоянку свернуть и там подремать или придумать что-нибудь эдакое, что и впрямь прогонит сон. Вот сыграть бы, например, партию в шахматы с самим собой — в уме, как тот человек в новелле Стефана Цвейга, это вернуло бы тебе, конечно, бодрость, но такая игра тоже таит в себе опасность: проиграть-то ты никак не можешь, но, значит, и выиграть и с досады еще не увидишь поворота, покатишь по прямой и кувыркнешься с моста, которого, собственно, еще нет, потому что всего четыре года как его строят. Встречное движение оживленное, надо быть начеку, водители никогда не выключают вовремя фар — какой уж тут сон. Единственный, кто без промедления включает подфарники, — это Роберт Исваль, он и тут, конечно, первый претендент на приз за благородство, Роберт Исваль, спортсмен-одиночка, единственный рыцарь-подфарник, которому, однако, этот приз придется переслать по почте вместе с пеплом после его собственной кремации, если он и дальше так будет вести машину, а кто же будет держать речь, ага, сразу сон как рукой сняло, кто же будет держать торжественную речь над гробом Исваля, кто разомкнет сомкнутые печалью уста, кто подойдет для этой роли? Только один человек подойдет —

Мейбаум, тот, кто всегда идет вперед и наотрез отказывается оборачиваться назад. Поглядим, как он над гробом Исваля будет ориентировать собравшихся на новое, послушаем, как он объяснит провожающим, что о прошлом вспоминать не стоит и потому он лучше поговорит о предстоящих задачах, и послушаем торжественную музыку — постойте, уж не концерт ли это он организовал в заключение, пригласил, надо думать, тех самых «Турбо», и те с энтузиазмом провоют: «Вперед, вперед!» — эх, ну и погребение!

Вот чушь! Нет, не удастся это тебе — вести ночью машину и отгонять сон призраками: они слишком хорошо друг друга знают и отлично спелись. Если уж не хочешь свернуть на обочину, попытайся думать о чем-нибудь по-настоящему серьезном. А чтобы представить себе, как все эти мейбаумы стоят у гроба и делают вид, будто никто не умер, не нужно сильно напрягать воображение. Не так уж трудно вкладывать всякий вздор в чужие уста. Труднее сочинить одно-единственное разумное предложение, чем длинную дурацкую речь. Попытайся-ка, если не хочешь заснуть, сочинить такое предложение, ну, допустим, первое предложение твоей речи. Да, я уже знаю, что, по всей видимости, тебе не придется ее держать, но это только облегчает дело. Предложения, которые не надо произносить, сочинять куда легче. Но если ты хочешь побороть сон, забудь о письме Мейбаума господину доктору Трулезанду и не надейся, что найдешь такое же у себя дома, а представь себе, что в празднично украшенном актовом зале некий господин в строгом черном костюме назвал только что твое имя, и ты поднимаешься по ступенькам на трибуну, и через несколько мгновений откроешь рот и произнесешь речь, возвышенную и прекрасную, о времени, возвышенном и прекрасном, и звучать она должна возвышенно, ибо ты говоришь в исполненном величия здании, и публика перед тобой самая отборная, и это пробил твой час, Исваль, настал час великого оратора Исваля. Мы слушаем тебя.

Роберт принялся было за первую фразу, он знал — придется сказать что-то в высшей степени умное, сочинить эдакий изысканный период, отличающийся глубиной и пониманием исторического момента, воздвигнуть словесную колонну, круглую и значимую, подобно несущей колонне в актовом зале Андреаса Майера, выстроить благородный ряд зрелых и одновременно полных юмора мыслей, соответствующих бюстам прославленных герцогов и пухленьким амурчикам на потолке,— и вдруг он увидел косулю, самка это или самец? — но этого он уже разглядеть не мог, потому что в ту же минуту ему пришлось вывернуть руль вправо и одновременно нажать на тормоз, что никак не

рекомендуется, а тем более ночью, на сыром асфальте, но сообразить все это у него времени не оставалось — глаза выхватили из темноты огромного зверя, освещенного светом двойных фар, а все остальное уже было делом рук и ног, и тут машину бросило на край дороги, не куда-нибудь, а именно на оградительную балку из серого бетона, и, опустив, точно бык, свои лучи-рога и забыв, что на спине ее сидит Роберт Исваль, машина бешено помчалась на бетонную ограду и только в последний миг, уже почти достигнув ее, подчинилась приказу рук, вновь обратилась в машину, вновь стала транспортным средством и затормозила, и он вышел из нее.

Вот я и проснулся, подумал Роберт и хотел было рассмеяться, но вместо этого лег в сырую траву и понял, что смеяться, пожалуй, не стоит. Теперь ему стало по-настоящему страшно, даже дыхание перехватило, тут уж не до смеха. Так и лежал он под темным небом, и в голове была одна только мысль: «Кажется, я чуть не разбился».

А потом он услышал стук своего мотора, увидел, что включены фары и задний красный свет, и подумал: плохо она стоит.

Он поднялся, сел в машину, глянул назад и медленно тронулся с места.

Но в конце концов он все-таки рассмеялся, забавный получился бы рассказ: «Как Роберт Исваль собирался держать речь».

Как Роберт Исваль собирался держать речь и много месяцев только о ней и думал, внес достаточный беспорядок в собственную жизнь, а потом привел все в порядок, собрался было навести блеск и так старался, что почти все уже наладил, и проверил, и не раз, словно Нарцисс, вглядывался в свои черты, а когда вообразил, что наконец-то настало время раскрыть рот, обнаружил, что никто не желает его слушать. Тут его обуяла такая ярость, что он помчался навстречу смерти.

Ну и забавный же рассказ, подумал он, да еще с какими преувеличениями! Никто не умер, никого не обуяла ярость, а что касается речи, то мы еще о многом поведем речь.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ



DAS IMPRESSUM

Berlin, 1972

Перевод *И. Каринцевой*
Редактор Р. Грецкая

© Перевод на русский язык «Молодая гвардия», 1974

Сейчас самое главное — современность, и характер заданной ею темы... определяет все, что будет написано в дальнейшем...

Генрих Гейне

1

Да не хочу я быть министром! Я уже не говорю, что не по моим это способностям, какие там способности, но я и не хочу. Главное — не хочу, не желаю.

Разумеется, этим я осложняю ситуацию. Если я скажу им, что не хочу, они воспрянут духом; разбить этот довод, полагают они, труда не составит. Желать — тактика индивидуально-наступательная, не желать — тактика оборонительная, но оперировать ею — неприкрытая дерзость. Где есть желание, там все понятно, но и отсутствие желания тоже надо понять.

Если я докажу, что неспособен к этому, им придется труднее. Они, правда, не согласятся с моими доводами, скажут — и мы ошибались, еще Ленин говорил: не ошибается только тот, кто ничего не делает,— главное, не допустить кардинальной ошибки,— они не хотят больше слышать о моих мнимых, а хотя бы и подлинных срывах, не то, пожалуй, разозлятся — как это я мыслю себе их работу, может, думаю, они выуживают кадры, как лотерейные номера из барабана, или, может, полагаю, они добывают ответственных руководителей с помощью детской считалочки: «Первый мервый карапот»? «Первый мервый карапот. Кто-то по лесу идет. Дети, дети, быстро, быстро, кто-то вылезет в министры. Первый мервый десять тысяч, и за это розгой высечь. Вот поклон, выйди вон...» *

Им обо мне все досконально известно, скажут они, они

* Перевод стихов Е. Витковского.

изучили меня — меня, мою работу, мою жизнь, мое происхождение, мои успехи, а также, понятное дело, мои ошибки, и Мюкке кладет ладонь величиной со скоросшиватель на скоросшиватель, я знаю, в него подшиты мои документы, а в них — решительно все обо мне, о моей работе, моей жизни, моем происхождении, моих успехах и моих ошибках.

Все? Все, да не все, а где есть пробелы, там есть и лазейки. Мои анкеты, аккуратно сложенные и скрепленные, лежат одна на другой, сфотографируйте их, и будут они выглядеть стопкой бумаги объемом около шести тысяч кубических сантиметров — шесть литров жизнеописания, анкет, справок, характеристик, трудовых договоров и похвальных грамот; но если не фотограф, а художник с обостренным восприятием правды жизни изобразит эту пачку, то, возможно, окажется, что это лестница, в данном конкретном случае ступенчатый путь наверх, ничуть не легкий, отнюдь нет, и уж вовсе не едва заметно восходящая ввысь лестница гётевского дома в Веймаре, и не библейская, прямая как стрела, небесная лестница, а скорее крутая ухабистая тропа, переходящая в извилистую стежку, каменистая дорога с размытыми канавами и заградительными насыпями, щелистая, скрипучая лестница, зачастую не бог весть как освещенная, шаткий в непогоду судовой трап, что иной раз висит над мрачно-бездонными водами, а иной — обернется сверкающим трапом самолета или фотоэлементным эскалатором с синхронно бегущими перилами, но чаще, увы, это всего лишь трос, канат, не раз уж бывший в деле, пригодный для многих целей канат, по которому ты, перехват за перехватом, сдирая кожу с рук, растягивая сухожилия, сбивая дыхание, карабкаешься вверх, всегда только вверх, никогда не сползая вниз, в общем и целом это всегда один путь, в одном направлении, путь наверх.

Однако в высших инстанциях сидят не художники, питающие слабость к сверхдействительности, нет, тем, кто сидит в высших инстанциях, хватает действительности как таковой, и с ней-то хлопот не оберешься, они покорнейше благодарят за сюрреализм, им бы с реализмом управиться, ах, Шагал, так уж и быть, если без него не обойтись, хотя, с их точки зрения, без него сплошь и рядом обойтись можно, но как бы там ни было, а в кадровые вопросы пусть не суется. Они тоже видят правду жизни в реальном мире, только иные ее аспекты, а в килограмме моего жизнеописания они видят: вот человек, которого мы ищем.

Они видят человека, который делал то, что обязан был делать, отдавал то, что от него требовали, целиком и полностью перестроился и все-таки остался прежним, который выполнял обещания и порвал с прошлым, пришел к ним и нашел свое

место в жизни, умел сносить взбучки, умел и сам их задавать, неплохой был учитель и хороший ученик; они видят сговорчивого человека, который выслушивает доводы, но отличает приказ от предложения и умеет растолковать то, что сам приказывает; они видят крепкого парня, помнят, какой он крепкий был орешек, знают, что и поныне от него крепко достается врагам, видят единомышленника, который, случалось, покачнется, словно дерево, однако, словно дерево, намертво врос в родную почву; они видят молодого еще человека, правда, у него за плечами долгая жизнь, но и впереди не менее долгая. Одним словом, они видят образцово-показательный кадр.

Они знают, кто им нужен, они искали нужного человека и теперь полагают, что нашли.

Я же смотрю на себя совсем другими глазами. Увы, то, что вижу я, в высших инстанциях юридической силы не имеет; самооценки приветствуются там как дополнение, но ничего не меняют, там в счет идут дела и результаты. А результативных дел у меня хоть отбавляй, скоросшиватель разбух от них. Против них я бессилен, повторяй я хоть тысячу раз: не желаю. И уж подавно бессилен против них, если объявлю: не по моим-де способностям. Ведь анализ личного дела можно упростить, построив график: по горизонтали отложить годы, по вертикали — дела. По вертикали отмечены этапы: работа, успехи, принадлежность (к тому-то и тому-то), компетентность, звания, награды и семейное положение. Вертикаль отражает твои действия, твои дела, а горизонталь — время, когда ты их провернул. Но проведем от этих точек горизонтальные и вертикальные прямые, и пересечения этих прямых образуют кривую твоих свершений. Тут одного взгляда достаточно, чтобы уяснить себе, чего человек стоит. Ползет кривая помаленьку-полегоньку, значит, парень мягкотелый, его продвигает время; кривая взлетает и резко падает вниз — неуравновешенный парень, присмотримся, на какие же годы приходятся взлеты, а на какие — падения. Середина пятьдесят третьего — скатился по наклонной? Осень пятьдесят шестого — стремительный взлет? Хорошо, выправился и все исправил, но посмотрим, что было после августа шестьдесят первого? А вот у этого парня кривая постоянно набирает высоту, двадцать два года все вверх и вверх, его-то мы и ищем, это он.

На сей раз это я. График моей жизни против меня, ибо говорит за меня.

Мое счастье, что кадровики не пытаются облегчить себе задачу. Но это и моя беда, их усердие усложняет и мою задачу. Сотрудники инстанций как-никак люди и решения принимают не только на основании кривых. У них имеется память, прежде

всего память, так сказать, политическая, однако и житейская, прихотливо работающая человеческая память у них тоже есть. Никогда не знаешь, что засело в уголках этой памяти и что всплывет, если ее расшевелить.

Кто знает, например, что придет в голову Вольфгангу, кадровику из очень и очень высоких инстанций, если он вдруг вспомнит свои подштанники и мою персону в связи с этими подштанниками?

Я напомнил ему как-то эту историю, года два-три назад. Он ее начисто забыл, теперь нашел забавной и рассмеялся. Я тогда выпил, да и он, видимо, тоже немного выпил — крымское шампанское, прием, какая-то годовщина, эх, нынче мы гуляем, привет, дружище, а помнишь?.. Помнишь, спросил я, как ты в роли администратора встречал президента Всемирной федерации, а я изображал командира почетного караула, и, когда самолет уже выруливал, ты все еще так суматошился, что следовало бы вырезать тебя из хроники и убрать с президентских глаз?

Нет, ответил Вольфганг; кажется, он и правда все позабыл, но кажется мне, что на мгновение лицо его помрачнело, какое уж там: привет, дружище! Минуту-другую он, видимо, рылся в памяти: что за президент, что за федерация, да еще всемирная, что за встреча и как так — меня едва не вырезали из хроники?

Но я — ох уж это шампанское, друзья мои! — я пришел ему на помощь, ведь он сказал: помоги мне, что-то я забыл.

Вот я ему и рассказал: где тебе помнить, что я был рядом, я ведь был всего-навсего начальником встречающих, командиром одной лишь сотни из Центральной группы порядка, был, так сказать, статс-дамой над отрядом фрейлин, а ты был полномочным представителем с цветами. Цветы-то и явились причиной того, что так поздно обнаружилось одно прискорбное обстоятельство. Ты крепко прижимал их к животу — красные гвоздики, штук пятьдесят, не меньше, да, пятьдесят красных гвоздик, — и мы ничего не заметили, но вот подрулил самолет, все восторженно загомонили, гость направился прямо к нам, я скомандовал моим центральным фрейлинам «Смирно!», кинокамеры стрекочут, а ты перехватываешь пятьдесят злосчастных гвоздик в левую руку, тебе же правая сию минуту понадобится для братского объятия, — и тут я вижу, все видят, кроме тебя: над твоим брючным ремнем, на фоне синей рубашки вьется широкий белоснежный пояс хлопчатобумажных кальсон, он даже смахивает на шарф, но только издали, а кинокамеры, увы, увы, очень близко, и президент вот-вот окажется еще ближе.

Все это видели, но никто слова не сказал, в протоколе мы к тому времени уже преуспели, а ты к тому времени уже добрался

до порядочных высот. Только я не совсем еще ладил с протоколом и, будучи командиром, взял на себя инициативу да как гаркнул через все летное поле, перекрывая рев самолета, в микрофоны радио- и кинодеятелей, но также и тебе в ухо: Вольфганг, кальсоны!

Гвоздики по-своему принесли пользу: укрывшись за ними, ты устранил аварию, у тебя хватило времени буркнуть мне через плечо «Спасибо», и тут подошел президент.

На приеме Вольфганг рассмеялся, но быстро нашел глазами профессора, которому желал сказать два-три любезных слова, а мне заметил на ходу:

— Вот как, ты, значит, мой спаситель, ты спас положение, подумать только, что порой выплывает на свет божий!

В дальнейшем он, собственно говоря, продолжал относиться ко мне как нельзя лучше.

Тем не менее я не уверен, в самом ли деле он благодарен мне за то, что я всколыхнул эти воспоминания.

Брюки сползли, черт с ними, но сдается мне, что лицо президента, а он был француз, не выражало большого восторга, когда он шагал вдоль фронта Центральной группы порядка, где величие Пруссии демонстрировалось на сей раз хоть и синее по форме и прогрессивное по содержанию, тем не менее всего лишь через пять лет после тягчайшего позора Пруссии.

Может, они позже обсудили это обстоятельство, Вольфганг с президентом, галльским коммунистом, и, может, у Вольфганга до сих пор на душе скверный осадок от того разговора, а может, и нет. Как бы там ни было, но, вполне понятно, кому охота, чтобы рядом с тобой сидел министр, который во время оно подтянул тебе штаны. Я, по крайней мере, не допустил бы этого.

В том-то и беда: возможности своей слоновьей памяти я приписываю и другим. Стоит мне вспомнить, как я когда-нибудь осрамился, и меня бросает в жар и холод, поэтому я думаю, что так бывает и с другими. Этот довод мне, быть может, следует привести, когда я буду разговаривать следующий раз в высших инстанциях: товарищи, вы прекрасно понимаете, какая честь для меня ваше предложение, но должен вам сказать, я терпеть не могу поражений, я их не забываю. А это весьма дурное свойство для человека, занимающего столь высокий и ответственный пост. Сегодня министр явление примечательное: он зовется слугой и обязан, скажем кратко, служить делу, но одновременно он человек, облеченный властью. Как, однако, сочетать личную власть с личной сверхчувствительностью? Знаю, знаю, на худой конец всегда имеетесь вы, и дело тоже всегда остается делом, оно превыше всего, и оно долготерпеливо, чуть ли не как всевышний,

всего память, так сказать, политическая, однако и житейская, прихотливо работающая человеческая память у них тоже есть. Никогда не знаешь, что засело в уголках этой памяти и что всплывет, если ее расшевелить.

Кто знает, например, что придет в голову Вольфгангу, кадровику из очень и очень высоких инстанций, если он вдруг вспомнит свои подштанники и мою персону в связи с этими подштанниками?

Я напомнил ему как-то эту историю, года два-три назад. Он ее начисто забыл, теперь нашел забавной и рассмеялся. Я тогда выпил, да и он, видимо, тоже немного выпил — крымское шампанское, прием, какая-то годовщина, эх, нынче мы гуляем, привет, дружище, а помнишь?.. Помнишь, спросил я, как ты в роли администратора встречал президента Всемирной федерации, а я изображал командира почетного караула, и, когда самолет уже выруливал, ты все еще так суматошился, что следовало бы вырезать тебя из хроники и убрать с президентских глаз?

Нет, ответил Вольфганг; кажется, он и правда все позабыл, но кажется мне, что на мгновение лицо его помрачнело, какое уж там: привет, дружище! Минуту-другую он, видимо, рылся в памяти: что за президент, что за федерация, да еще всемирная, что за встреча и как так — меня едва не вырезали из хроники?

Но я — ох уж это шампанское, друзья мои! — я пришел ему на помощь, ведь он сказал: помоги мне, что-то я забыл.

Вот я ему и рассказал: где тебе помнить, что я был рядом, я ведь был всего-навсего начальником встречающих, командиром одной лишь сотни из Центральной группы порядка, был, так сказать, статс-дамой над отрядом фрейлин, а ты был полномочным представителем с цветами. Цветы-то и явились причиной того, что так поздно обнаружилось одно прискорбное обстоятельство. Ты крепко прижимал их к животу — красные гвоздики, штук пятьдесят, не меньше, да, пятьдесят красных гвоздик, — и мы ничего не заметили, но вот подрулил самолет, все восторженно загомонили, гость направился прямо к нам, я скомандовал моим центральным фрейлинам «Смирно!», кинокамеры стрекочут, а ты перехватываешь пятьдесят злосчастных гвоздик в левую руку, тебе же правая сию минуту понадобится для братского объятия, — и тут я вижу, все видят, кроме тебя: над твоим брючным ремнем, на фоне синей рубашки вьется широкий белоснежный пояс хлопчатобумажных кальсон, он даже смахивает на шарф, но только издали, а кинокамеры, увы, увы, очень близко, и президент вот-вот окажется еще ближе.

Все это видели, но никто слова не сказал, в протоколе мы к тому времени уже преуспели, а ты к тому времени уже добрался

до порядочных высот. Только я не совсем еще ладил с протоколом и, будучи командиром, взял на себя инициативу да как гаркнул через все летное поле, перекрывая рев самолета, в микрофоны радио- и кинодеятелей, но также и тебе в ухо: Вольфганг, кальсоны!

Гвоздики по-своему принесли пользу: укрывшись за ними, ты устранил аварию, у тебя хватило времени буркнуть мне через плечо «Спасибо», и тут подошел президент.

На приеме Вольфганг рассмеялся, но быстро нашел глазами профессора, которому желал сказать два-три любезных слова, а мне заметил на ходу:

— Вот как, ты, значит, мой спаситель, ты спас положение, подумать только, что порой выплывает на свет божий!

В дальнейшем он, собственно говоря, продолжал относиться ко мне как нельзя лучше.

Тем не менее я не уверен, в самом ли деле он благодарен мне за то, что я всколыхнул эти воспоминания.

Брюки сползли, черт с ними, но сдается мне, что лицо президента, а он был француз, не выражало большого восторга, когда он шагал вдоль фронта Центральной группы порядка, где величие Пруссии демонстрировалось на сей раз хоть и синее по форме и прогрессивное по содержанию, тем не менее всего лишь через пять лет после тягчайшего позора Пруссии.

Может, они позже обсудили это обстоятельство, Вольфганг с президентом, галльским коммунистом, и, может, у Вольфганга до сих пор на душе скверный осадок от того разговора, а может, и нет. Как бы там ни было, но, вполне понятно, кому охота, чтобы рядом с тобой сидел министр, который во время оно подтянул тебе штаны. Я, по крайней мере, не допустил бы этого.

В том-то и беда: возможности своей слоновьей памяти я приписываю и другим. Стоит мне вспомнить, как я когда-нибудь осрамился, и меня бросает в жар и холод, поэтому я думаю, что так бывает и с другими. Этот довод мне, быть может, следует привести, когда я буду разговаривать следующий раз в высших инстанциях: товарищи, вы прекрасно понимаете, какая честь для меня ваше предложение, но должен вам сказать, я терпеть не могу поражений, я их не забываю. А это весьма дурное свойство для человека, занимающего столь высокий и ответственный пост. Сегодня министр явление примечательное: он зовется слугой и обязан, скажем кратко, служить делу, но одновременно он человек, облеченный властью. Как, однако, сочетать личную власть с личной сверхчувствительностью? Знаю, знаю, на худой конец всегда имеетесь вы, и дело тоже всегда остается делом, оно превыше всего, и оно долготерпеливо, чуть ли не как всевышний,

но вы, не в обиду будь сказано, всегда поспеваете только к концу; приняв решение, вы даете человеку достаточно времени доказать, что решили правильно, но еще больше времени даете вы ему, чтобы счесть доказанным, что решили неправильно. Вот когда перед ним открывается поле грозных возможностей. Наша страна кишмя кишит гражданами, хоть раз насолившими мне, предупреждаю, у меня завидная память на имена, не воображайте, что, например, у писак-читателей нет имен, которые берет на заметку такой человек, как я. Что же получится, если я стану слугой, наделенным всевластием, в коего вам желательно меня произвести, и в один прекрасный день мне придется дать положительный или отрицательный ответ на заявление, подписанное Альфредом Кляйнбаасом из Шваневайде?

Нет, вы с Альфредом Кляйнбаасом из Шваневайде незнакомы, но я-то с ним знаком, он читатель нашего журнала и прислал мне письмо. Разве это было читательское письмо! Памфлет, сущий памфлет, удар в спину, необъективный, самоуверенный, пронизанный неподобающей иронией, полный злобных нападок, истинная, да, истинная помеха в работе.

Я тогда съездил в первую серьезную командировку и написал первый серьезный репортаж, я считал его удачным, он действительно был удачным, пока у господина Альфреда Кляйнбааса из Шваневайде сердце не взыграло и не понудило его изложить, как он выразился, свое мнение по существу вопросу. А чего стоило его обращение: «Коллеге с глазами-рентгенами, сочинителю так называемого репортажа о Западной Германии»! Враждебность его дала себя знать уже в выражении «так называемого» — вы же знаете, кто в те времена что и кого называл «так называемые»! И к тому же: сочинитель! Я ничего не сочинял, кое в чем только чуть-чуть напутал, вообразив, что видел то, чего на самом деле не мог видеть, и, сознаюсь, написал, покривив душой. Я заставил человека увидеть с высокогорного пастбища, что на реке Партнах, вершину Цугшпитце, иначе говоря, как злопыхательски излагает Кляйнбаас из Шваневайде: «...журналист, надо думать, обладает глазами-рентгенами, если в своем так называемом репортаже узрел вершину Цугшпитце с места, с которого ее разглядеть нормальным зрением немыслимо, ибо...», ну да, ибо что-то там не ладилось с географией и с какой-то другой горой, точно география изменила бы что-либо в принципиальной правильности моего репортажа. Догматик и крохобор этот Свиньябаас из Кляйневайде, о социальных достоинствах моего сообщения он и словом не обмолвился, их он, видимо, упустил; один из тех субъектов, что всю жизнь ждут, когда человек запутается между Партнахом и Цугшпитце, и держат щепотку

своего пороха сухим на случай, если представится возможность запалить жалкий фейерверк, называемый читательским письмом; а на социологические и экономические проблемы, смысл которых им открываешь, они, эти Альфреды Дерьмокляйны из Свиновайде, плевать хотят.

Прошу прощения, товарищи, я дал себе волю, но тем самым доказал свой тезис: я слон, а слоны никогда ничего не забывают. Вот и представьте себе: вы делаете меня высокопоставленным слугой с правом решающего голоса и ко мне действительно попадает заявление Альфреда Кляйнбааса из Шваневайде, что же произойдет? Когда ситуация ясна, бог с ним, общественная ли польза, общественный ли вред, кто бы ни был проситель — дело решается просто, но как быть, если случай спорный, если его и так повернуть можно, и сяк, а решение выносит лицо заинтересованное?

Хватит ли у меня духу выбросить из головы иронию редакторши отдела писем или отмахнуться от ехидного замечания, услышанного в темном коридоре возле фотолаборатории; хватит ли у меня духу сделать вид, что не было длительного перерыва между моей первой командировкой на Запад и второй — перерыва, который, как мне объявили, я обязан использовать, чтобы наметать глаз в родных краях? Наметать глаз! Ох, боюсь я, боюсь, если господин Альфред Кляйнбаас из Шваневайде не лучше разбирается в деле, которое представят мне на рассмотрение, чем в вопросе, что́ можно и чего нельзя видеть с партнахского пастбища, то в решении моем возможен произвол, а значит, хорошего же министра вы себе подыскали!

Итак, позвольте уж мне повторить: страна наша кишмя кишит знатоками всех вершин, весь я с ног до головы в синяках от читательских писем. Правда, синяки эти, хоть их тьма-тьмущая, все-таки крошечные, с булавочную головку. А как я отнесусь к тем, кто с меня спускал шкуру, не раз мял мне бока, а то и палкой охаживал, как отнесусь я к тем, кто мне ножку подставлял, в ребра тыкал, иной раз даже под ложечку бил? Как я обойдусь с теми, кто показывал мне спину или указывал на дверь, не говоря о том, как я поступлю с людьми, к которым сам не проявил чуткости? Предвижу, какое неудовольствие вызову я в инстанциях, когда начну рассказывать о моей слабости: не забывать испытанных обид. Но еще лучше я знаю, что неудовольствие перерастет в острую неприязнь, когда я предъявлю реестр собственных неблаговидных поступков. Человек, который жалуется, что его в наше время и в нашем мире вознесло в верхи не святым духом, видимо, меньше, чем можно ожидать, разбирается во времени и мире, член же партии, который вооружается

чертовым копытцем и рогами, чтобы не взваливать на себя ответственность,— сознательный трус и самокритику использует в случаях, вовсе для этого не предусмотренных.

Ни единая душа в высших инстанциях не удовольствуется графиком моих плодотворных деяний, с его восходящей кривой; кривая показывает и характеризует тенденцию предстоящих решений, она отражает течение моей жизни, но не ее закон, и сама она вовсе не закон; она никого не вынуждает продлевать ее сколько заблагорассудится в одном направлении; если у начала кривой помечено — «курьер», а у ее нынешнего конца — «главный редактор», то это хоть и отрадное явление, но отнюдь не основание тянуть ее еще выше, до «министра». В лучшем случае она может послужить доводом, который легко отмести, когда обнаружится, что качества, на прежнем отрезке моего жизненного пути служившие лишь помехами, на следующем отрезке обратятся в неодолимые препятствия.

Возможности каждого ограниченны, и я уверен, что останусь тем, кто я есть, если докажу в инстанциях: выше той точки пересечения, на которой я сейчас нахожусь, я обману ваши ожидания, товарищи.

А позволено ли будет мне остаться тем, кто я есть,— в этом заключается проблема, и, пожалуй, самая для меня сложная. Если я стану упорствовать, надеясь доказать, что в будущем не оправдаю ожиданий, которые на меня возлагают, то должен быть готов к вопросу, гожусь ли я для дела, которое мне доверили в настоящем.

Доводы, что я привожу, пытаясь уберечь себя от повышения, обращаются против меня, и, сам того не желая, я не только не отвратил будущего, но поставил под вопрос настоящее.

И все-таки я хочу остаться тем, кто я есть; я люблю — отчего мне стыдиться этого выражения? — свою работу, я увлечен своей профессией, я отлично чувствую себя в редакции, я понимаю толк в своем деле, деньги, вложенные в мою выучку, дают прибыль, ошибок, надеюсь, я стал делать меньше, порученную мне работу, надеюсь, я в силах выполнять, более того — мне доставляет удовольствие ее выполнять; для человека в моем положении я сплю спокойно, у меня есть планы, друзья, есть и враги, но совесть подсказывает мне, что это как раз те враги, какие нужно, я знаю — я на своем месте, и потому хотел бы сохранить его. Если я хочу сохранить его, то должен убедить инстанции, что гожусь именно для этого места, а не для другого, высшего, и непригодность для будущих задач не ставит под вопрос мою пригодность для настоящих, я должен снять с себя подозрение, будто после неутомимого движения пожелал обрести

покой, после трудов и тягот — безмятежность или после длительной юности — стариковский удел.

Там, в инстанциях, я скажу: да, вы верно разобрались в моем графике, но истолкуйте же его верно. Цифры сами по себе еще ни о чем не говорят, прежние достижения не обеспечивают вечного прогресса, иначе говоря, правильность Давида Грота не гарантирует, что Давид Грот всегда и везде будет правильным.

Я, Давид Грот, уже двадцать лет в партии; звучат эти слова хорошо, и само по себе это тоже хорошо, но не сверкает ли эта цифра блеском чужой славы, сиявшей совсем в другие времена? Когда я вступал в партию, двадцать лет еще имели вес; когда их отсчитывали назад, их хватало до бурной середины первой республики, те двадцать лет — это изнурительные годы, годы, когда спокойно спать не приходилось, когда в горле у тебя постоянно стоял комок, а мозг лишь потому не сгорал и сердце не разрывалось, что железная воля руководила человеком, он знал: если я сорвусь, сорвется слишком многое, с моей гибелью пойдет прахом нечто более значимое, чем я, мое сердце, мои силы принадлежат не мне одному.

Когда я вступал в партию, мы аплодировали тому, кто был в партии уже двадцать лет, мы понимали — он видел Веймар с Эттерсберга, а Шанхай — под пятой Чан Кайши, он обивал пороги консульств в Марселе и бюро по найму в Нью-Йорке, он видел колючую проволоку в Швейцарии и пустые миски на Мальорке, маки в долине Харамы и дым над Берлином за черным дымом Ораниенбурга, а когда он видел Сталинград, за ним лежала Сибирь.

Мы знали тогда, где остались зубы, и фаланги пальцев, и добрые слова, знали, откуда у сорокалетних седые головы и застывшая гримаса боли и что голубые цифры на запястье не следы моряцкого озорства, мы понимали, что жесткость тона и аргументов вела свое начало от купленного дорогой ценой чувства правоты, слишком часто этим людям приходилось расплачиваться за слабость.

Кто был двадцать лет членом партии, когда я вступил в нее, был членом партии столько лет, сколько я прожил, стало быть, целую жизнь. А теперь я двадцать лет член партии, но это не просто половина человеческой жизни, это совсем иная, чем раньше, половина совсем иной жизни.

Нет, я вовсе не хочу сказать, что эта половина менее весома, чем та, другая, что на одной стороне — все, а на другой — ничего. Подобное разделение — в характере Арлекина, как замечает господь бог в песне санкюлотов, я же хочу только не упустить из виду разницу между двумя двадцатилетиями.

В моем двадцатилетии речь никогда не шла о жизни и смерти, а всегда только о жизни, справедливой, полезной, спокойной, мирной, честной.

Мне в моей жизни тоже приходилось за многое расплачиваться, но бреши в желудке, если б таковые, упаси боже, у меня были, приключились бы от столовской жратвы и в первую голову от жратвы беспорядочной — то пришли гранки, то отчет не готов, то фото запороли или сотрудник попался упрямый, а шеф — еще упрямее; а бреши в легких, если б таковые, не дай бог, у меня были, приключились бы от табака — на первых порах забористого, крепкого, из соседского садика, затем не менее забористого, прибывшего от наших друзей из совхозов, а теперь изысканного, с химическими наполнителями, дрезденского,— тоже следы запоздавших гранок, затянутых сроков, жарких споров, раскритикованных концепций, слабых материалов, проигранных словесных дуэлей и даже выигранных, трудных, а то и слишком легких решений, следы усилий руководителя и страданий рецензента, рубцы великих битв с бухгалтерами и главбухами, подписчиками и поставщиками бумаги, секретаршами и районными секретарями, невозмутимыми профессионалами и взволнованными дилетантами, с делегатами и делегациями, с начальниками, председателями и предписаниями, следы денно и нощно кипящей битвы ради прогресса, шрамы, нажитые в борьбе за действительное, единственное, истинно немецкое чудо.

Вот чем обернулись бы эти бреши, и потому я не признаю деления Арлекина и не свожу на нет свое двадцатилетие, не отвергаю того, что имело место *не* на Эбро и *не* в справедливом сражении на Волге, не стыжусь, что проливал за наше дело не кровь, а всего-навсего пот, что отливал из свинца не пули, а буквы, что изготовлял из бумаги не листовки, а газеты, что сражался в классовом бою не в те годы, а в эти.

Ибо что ни говори, но я сражался. Мне неизвестны «трудности преодоления гор», зато очень хорошо известны трудности преодоления равнин. Эти трудности мне известны, и даже очень. А что с ними считаются — это я вижу. Отчего бы иначе делать мне такое почетное предложение? Я только прошу — быть может, чуть многословно — не рассматривать цифру двадцать как некий ореол; я в эти двадцать лет не выжил, а просто и без особых издержек жил, я жил эти двадцать лет как журналист и член партии и, значит, можно сказать, работал в поте лица, но то же самое можно сказать и о бесчисленном множестве людей, а потому я еще раз спрашиваю: отчего именно я?

Оттого, что я не только давно, но и с успехом тружусь на пользу нашего дела? Оттого, что в самом начале моего послужно-

го списка указано «курьер», а в самом конце — «главный редактор»? Но помилуйте, это же в порядке вещей в нашей части мира. Мне известны сотни таких жизней. А я, я даже находил удовольствие в работе, за которую вы меня превозносите. По правде говоря, меня подстегивали спортивный интерес, и задор, и мысль посодействовать одному знакомому старичку: пусть-ка станет пророком в своем отечестве.

Меня взяли курьером, иначе говоря — мальчиком на побегушках, в сорок пятом, в мой журнал, который за это время и в самом деле стал почти моим детищем; мне было восемнадцать, значит, не такой я уж был мальчик, но ничего не умел такого, что в те дни могло пойти в ход, умел только бегать, считал, что выдержу любую дистанцию, а на другое не годен.

Что привело в неслыханную ярость моего первого шефа.

— Ке-ем? — гаркнул он во все горло, и первое же слово, услышанное от него, перепугало меня насмерть — в голосе его громыхал гром, ревела буря, слышались раскаты мировых катастроф; его трясло, точно через него пропускали ток под напряжением, какого хватило бы на расщепление молекул железа и меди.— Ке-ем, ке-ем тебя взяли? Мальчиком на побегушках?

Он так вопил, словно записка, которую я принес, сообщала, что на работу приняли отцеубийцу, на место курьера определили грабителя, наняли на службу вспарывателя животов, палача и разбойника с большой дороги.

— Ну да,— сказал я тихо, но внятно.

А он продолжал вопить:

— Ну да-а-а? Ну нет! Будь я проклят: нет! Никогда! К нам не нанимают мальчиков на побегушках, к нам — нет! Мы не старый «Берлинер рундшау», мы новый журнал «Нойе берлинер рундшау»! Мы работаем не у Моссе, мы работаем не у Шерля, мы работаем не у Ульштейна, мы работаем не у Гугенберга, мы работаем... где мы работаем?

— В «Нойе берлинер рундшау»,— ответил я.

— Верно,— сказал он теперь уже спокойно и приветливо,— и в наш журнал не нанимают мальчиков на побегуш-шш-ках,— последнее слово зловеще зашипело,— в «Нойе берлинер рундшау» принимают на работу курьеров, ты находишься в экспедиции, я — здешний патрон. А ты кто?

— Я, ну, курьер.

— Нет,— возразил он,— ты не «ну, курьер», ты курьер. А известно тебе, что такое курьер?

— Курьер, курьер бег... курьер ходит по поручениям.

— Хо-о-одит! — взревел он.— Об этом и не мечтай. Ходить ты будешь после работы, ходить ты будешь в нужник, ходить

можешь к своей красотке, если у тебя таковая имеется, но, если у тебя таковая имеется, чтоб у нас о ней и слуху не было, у нас ты ходить не будешь, у нас ты курьер, и что ты будешь у нас делать?

— Я... похоже, гонять.

— Гонять — это уж точно, — сказал он опять тихо и приветливо, — но гонка всего лишь основная форма твоей деятельности в «Нойе берлинер рундшау», гонка — это крайнее проявление покоя, какого в состоянии достичь курьер, гонка — это подернутая плесенью начальная стадия, гонка — это форма бытия, которая с грехом пополам прикрывает лень, гонка — это всего-навсего разбег, да еще на тормозах. Ты не гонять будешь, курьер Грот, ты будешь, покуда не освоишься, на худой конец летать со скоростью света.

— Надо признать, для новичка это завидная скорость, — заметил я. — Что же будет потом? Вроде бы, как мне известно, большей скорости не бывает.

— Как тебе известно, а что тебе вообще-то известно? — промолвил он, положив руку мне на голову. — Ты же новичок в «Нойе берлинер рундшау», и я тебе помогу: наивысшая и единственно признанная у нас скорость курьера — курьерская. Пример: в организованной на диво голове редактрисы «Нойе берлинер рундшау» зарождается некий замысел, весьма досадный замысел — нужно бы поинтересоваться экспедицией, разобраться, чем там занимаются курьеры. Но пока ее замысел еще в зародыше, пока он еще зыбкий пролог зыбкого проекта, что тем временем происходит в экспедиции? Курьер тихонько бормочет, едва слышно и ненавязчиво, чтобы никто не заподозрил, что он всезнайка и что вообще кому-то нужны его замечания: «Похоже, идет шефиня». После этого, но ни в коем случае не вследствие этого, твой патрон снимает со стула усталые ноги, приоткрывает усталые глаза, устало потягивается и командует: «Шефиня идет — пошевеливайся!» С какой же скоростью пошевеливается теперь курьер?

— С курьерской, — выпалил я.

— Очень хорошо, — согласился он, — но что же это за скорость: курьерская?

— Она выше, чем скорость замысла в голове редактрисы.

— Не такая уж это большая скорость, — буркнул он да как гаркнет мне в ухо: — Она больше скорости мысли!

Вразумив меня подобным образом и сбив окончательно с толку, он уселся в позолоченное кресло и так долго, так пристально рассматривал меня, что меня пот прошиб. Затем еще раз сквозь зубы буркнул, точно сплюнул, — мальчик на побегушках, растер подметкой на полу и прочел мне небольшую лекцию.

— Курьер, если не учитывать отклонения от нормы,— это, по существу, посланец, доставляющий послания. К содержанию доставляемого он отношения не имеет, но тем не менее часто с ним отождествляется, и потому жизнь его далеко не безопасна, принимая во внимание, что от дурных вестей адресат распаляется, чему пример — Чингисхан. А потому посланцу лучше знать, что́ он доставляет, тогда он успеет подготовиться и может даже выйти в герои, тому пример — воин из Марафона. Посланец, если подоспеет вовремя, способен предотвратить беду, казнь например, но это чаще случается в театре. Посланец, если запоздает, способен вызвать катастрофу, тому пример — Пёрл-Харбор, когда японский посол был посланцем, но явился умышленно с опозданием. Посол — это высшая степень посланца, ну а высочайшая степень посланца?

— По мне,— выпалил я, так как он начал действовать мне на нервы,— высочайшая степень посланца — это курьер в «Нойе берлинер рундшау».

Он подскочил на стуле и ухватил меня, прежде чем я успел увернуться, за ухо. Я смирился, понимая, что надерзил, но он вскричал:

— Прямое попадание! Да ты никак семи пядей во лбу? Пожалуй, в главные метишь, спорим, не быть тебе главным?

— Спорим,— принял я предложение, и мы ударили по рукам; когда я выиграл пари, он еще здравствовал, но теперь его нет в живых.

Кстати сказать, я скрыл от него, что был однажды мальчиком на побегушках. В аптеке, в Ратцебурге,— более дрянной службы в моей жизни не случалось. Я не бегал, я ездил на служебном велосипеде, а наши клиенты щедростью не отличались. Если больные лежали в постели, то высылали к двери ребенка или дорогого супруга, который с трудом скрывал свою радость, иные держали прислугу, но та и подавно ни гроша не давала. Ходячие же клиенты либо меня начисто забывали, радуясь, что наконец-то получили порошки от головной боли, либо видели во мне лиходея, притащившего им мерзостные капли,— и ему еще на чай давать! А каково мне было в аптеке! Лаборантки считали меня за малыша и уродину, а хозяин жену считал за старую каргу и уродину, из-за нее пришлось навесить второй замок на ящик с морфием; вот где очень кстати был мальчик для битья.

На такую службу никому поступать не советую. Лучше разносить булочки, пусть ни свет ни заря, или работать у садовника. У садовника мне было по душе; цветам люди всегда рады, даже если доставишь венки, сколько-нибудь сунут,

горе смягчает сердце, а ожидание наследства развязывает кошелек.

Я сказал, что дряннее службы, чем в аптеке, у меня не было, но теперь думаю, это не совсем верно. Еще хуже было у фрау Брест. Она жила на четвертом этаже, с трудом передвигалась и вдобавок держала кота. В мои обязанности входило навещать ее дважды в неделю после школы, наполнять ящик с углем и опорожнять кошачий ящик с песком. Ну и вонища стояла! Даже говорить противно, во что превращал за три дня этот зверюга песок, которым я наполнял ящик. И за все про все — десять пфеннигов, стало быть, двадцать в неделю. А уж как привередничала фрау Брест! Чтоб в песке ни камушка, у кота-де слишком нежный задик, о сыром песке и речи быть не может, хотя свален он был во дворе, а ведь случалось, и дождик покапает. Я без дальних слов развязался с фрау Брест. Наложил ей в ящик, засыпал свежим песком, об остальном позаботился кот.

Мой короткий, долгий и крутой путь от мальчика на побегушках до главного редактора наводит высшие инстанции на добрые размышления обо мне, а потому мой долг — разъяснить им, что этот путь для меня был изрядно крутым и долгим. Им все представляется в слишком розовом свете.

Верно, я не первый день в партии, верно, я рабочий парень, верно, я учился, но что остается делать в этой стране человеку, который нет-нет да и покажет, что он не дурак.

Вечерний университет, шесть лет наряду с работой, но вот все позади, а ты до того вымотался, что тебе радость не в радость. Главное, понимаешь, что раздобыл лишь ломтик, а на роскошное пиршество науки тебе в жизнь не попасть. Мне бы надо основательно поучиться, да духу не хватило расстаться с журналом.

Справлюсь между делом, заявил я, но едва костьми не лег. Я действительно справлялся между делом, но вникать в суть дела было необходимо, тогда и совесть спокойна, и давление нормальное. Ни одна душа не поверит, сколько наук нужно одолеть журналисту, если он желает получить диплом, честно говоря, по нашим газетам эту ученость не всегда видно. Наук и верно великое множество, и если ты принимаешься за них, закончив бесконечный рабочий день, иначе говоря, когда едва волочишь ноги, то учеба тебя живьем слопает — все соки из тебя высосет, затопит тебя, лавиной обрушится, собьет с ног. Да, скажем прямо, собьет. Ты мучительно задалбливаешь А, но уже тут как тут БВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ, без них тебе, понимаешь ты, и А мало что даст. Вот ты и приступаешь к Б, а пока ты с ним разделываешься, подоспеет новый материал, на

сей раз от альфы до омеги. В наше время Сизиф был бы заочником.

История, например, основной предмет для журналиста. Это ясно как день, но тут-то все и начинается. Возьмем Кубу. Когда я стал заочником, Куба была далеким островом с очень далеким диктатором по имени Батиста, какой-то Батиста в мире, где полным-полно таких Батист, а было это в пятьдесят восьмом. Когда же через шесть лет, чуть ли не патриархом среди главных редакторов, я получил бумагу, удостоверяющую, что я настоящий, потому что обученный, журналист, карибский кризис полтора года как миновал и на латиноамериканской почве уже строился социализм. За эти годы вышло шесть раз по пятьдесят два номера моего журнала, в выходных данных которого стояло мое имя, хотя и в разных местах, и по меньшей мере в ста двадцати номерах «Нойе берлинер рундшау» сообщал о Кубе. Получалось, что днем я читал и писал о свинстве в бухте Свиней, а вечером — он частенько начинался у меня около полуночи — узнавал о другом свинстве — к примеру, о том, старом Рузвельте и его «Диких всадниках». При свете дня я редактировал статью о новой системе образования в Гаване, а при свете лампы конспектировал материал о восстаниях рабов в Матансасе. Случалось и наоборот: стоило мне постичь кое-что о первой республике на Кубе, провозглашенной почти за пять десятков лет до первой немецкой, как появлялись уже новые факты о первой социалистической республике в Америке. Разбойничьи налеты Кортеса с Кубы на Мексику и первый полет Кастро в Москву совершались в моей голове одновременно, «Гранма» Фиделя подошла к берегам Кубы через четыреста шестьдесят четыре года после «Санта-Марии» Колумба — какими же разными могут быть два завоевания, но в моем мозгу обе даты уместились в одной клетке, а пути Аллана Даллеса скрестились в нем с путями пирата Пита Хейна. Так ведь это только Куба, значительная, но крохотная точка на карте истории, на которой не счесть гуситских войн, Каталаунских полей, англичан в Босфоре, немцев в Ливии, выстрелов в Техасе, красных знамен в Кантоне, ставок верховных главнокомандующих, рейнских демократов, саксонских коммунистов, Фуггеров и Вельзеров, суфражисток, активистов, большевиков и малолетних пап римских.

Это только история, всего один из двадцати толстых томов Брокгауза, если же тебе непременно нужен был диплом, то настоятельно рекомендовалось заглядывать и в остальные девятнадцать.

По мне, и без диплома можно прожить, в конце-то концов, жил и работал я все эти годы без него, так нет, имеется

постановление, и вот тебя тащат на галеры — discere necesse est *.

В этой стране царит диктатура. Мы стонем под диктаторским режимом науки. Здесь пытают настольной лампой. Деспотия заталкивает нас в бездну премудрости. А прессом ей служит пресса. Недаром говорится: где ученье, там мученье. Теория есть практика здешнего террора. Наши цепи куют ученые. Педагоги караулят каждый наш шаг. Профессора — наши тюремщики. Мы заперты в клетки собственного мозга. Нам приказано мыслить! У нас оккупированная кибернетикой зона. У нас единый лагерь тишины: тише, папа учится, еще тише, мама тоже! Ну ладно, я покорился, теперь я главный с университетским дипломом, но чую неладное — министру без кандидатской не обойтись.

Вот хотя бы поэтому я не хочу быть министром, да и неспособен я на это. Мне сорок лет, иной раз приходится прилагать усилие — дважды перечитывать одну и ту же фразу, хотя, если говорить только о времени, от возраста мудрости меня отделяют еще тридцать лет. Бог ты мой, неужто в этой стране никакое дело нельзя тихо-мирно довести до конца? В прежние времена ты начинал учителем и кончал учителем, но каким! Немного сноровки, и ты в молодые годы становился мастером-столяром, и надгробие твое украшала надпись: мастер-столяр. Зато уж какой мастер! Человек начинал вагоновожатым и оставался вагоновожатым. Зато как он водил трамвай! А нынче боишься повстречать друга через три года: как, ты все еще вагоновожатый? Понятно: техник службы движения — вот минимум, которого от тебя ожидают. У нас нынче все техники, а ты, почему ты не техник, что с тобой?

А то со мной, что мне сорок, и я только об одной превосходной степени мечтаю: быть главным редактором лучшего иллюстрированного еженедельника в мире. Я мечтаю, если можно так сказать, вглубь, а не ввысь. Знаю, у нас в запасе не так уж много богатств, и этому немногому мне хочется придать как можно большую ценность, хочется обрабатывать уголь до тех пор, пока из него не получится бриллиант. А бриллиант шлифовать до тех пор, пока его не станут рвать друг у друга из рук — от Иркутска до Хьюстона. Без науки тут не обойтись, знаю. Из одинакового количества стали можно получить наковальню или токарный станок; по весу они равны, но не по цене, цена зависит от вложенных знаний и приложенной науки. Позвольте же мне вложить полученные знания и приложить науку! Позвольте мне планомерно извлекать пользу из своего обученного

* Учиться необходимо *(лат.)*.

мозга! Оставьте мне «Нойе берлинер рундшау» и избавьте от руководящей должности в масштабе республики.

Разве от меня зависят данные моей биографии, разве моя вина, что они чуть ли не образцово-показательные и располагают вас ко мне? Разве от меня зависит все то положительное после вопросов, что так важно вам и всем нам? Происхождение — пролетарское; возраст — в цвете лет; принадлежность к политической партии — давным-давно член самой передовой партии; награды — всевозможные; профессиональные знания — не подлежат сомнению и достаточно солидные; семейное положение — в полном порядке.

А в полном порядке — это в моем возрасте значит: женат. Женат — значит, если нет других сведений, счастливо женат.

Мое счастье зовется «Фран», оттого что Фран терпеть не может «Франциски». Но что я могу поделать?

Как всегда, во всем виноват дождь. Дождь наводит веселый беспорядок. Дождь углубляет и высветляет краски, смещает световые блики. Дождь подходит едва ли не к любым волосам, но в один прекрасный день ты делаешь открытие — больше всего он подходит к коротким черным и к серым глазам, и объявляешь:

— При такой погоде вы мне нравитесь.

— Очень кстати — дождь, как передавали по радио, затяжной.

Она прошла в угол, к книгам по искусству, а я их ни в грош не ставил. Я читал только романы и воспоминания, стихов не читал никогда, книги с репродукциями наводили на меня ужас. У Гешоннека продавались едва ли не одни романы. Эту девушку я у него раньше не встречал. Левый чулок забрызган, шов, понятно, перекрутился, плащ задрался над коленкой, какой-то беспорядок с пояском.

— Новая клиентка? — спросил я Гешоннека-младшего, косившего на один глаз. Он кивнул, не переставая косить.

Гешоннек-старший клевал носом у прилавка с открытками. Плащ на спине у девицы промок; плечи казались очень широкими — старый трюк: свободное пальто, затянутый пояс. Короткая стрижка тоже старый трюк, шея — нечто нежное-нежное. Низкие каблуки — ну, ей можно, роста хватает, пожалуй, даже с лихвой. Подойду-ка сравню. Терпеть не могу, когда они поглядывают на тебя сверху вниз, и так уж нос задирают.

— А вы, похоже, все еще книжки с картинками любите?

— Как Пикассо.

— Для меня вы чуть-чуть высоковаты, не находите?

— Что же нам делать?

Глаза на одном уровне — еще куда ни шло; серые, ничего особенного, но недурны. Отходя, бормочу с ухмылкой:

— Может, что и надумаю.

Я ждал на улице... Юный Гешоннек проводил ее до дверей и, обнаружив меня, стал косить еще сильнее. Его отец, сидевший за прилавком, очнулся от сна.

Я зашагал рядом с ней.

— Погоду мы уже обсудили?

— Ну, начинайте,— предложила она,— скажите: что за мерзкая погода, да не бойтесь показать свою лихость, чертыхнитесь с хрипотцой — черт, ну и дерьмовая погода.

— Ни за что. О дожде я так не скажу. Я люблю дождь.

— Прошу вас, не надо! — воскликнула она.— Я все заранее знаю: *дождь наводит веселый беспорядок, он углубляет и высветляет краски, смещает световые блики. Дождь подходит к моим волосам и тем более к моим глазам, разве я не права?*

— В настоящее время замужем?

— *Ни в настоящем времени, ни в прошедшем,*— ответила она, улыбнувшись мне, и глаза ее взлетели куда-то на уровень карниза.

— Гимназию я не кончал,— буркнул я.— Давид Грот, также ни в прошедшем, ни в настоящем, лет — двадцать пять, редактор, сижу на больничном, сломал три ребра, у меня мотоцикл; вот подсохнет, я вас покатаю.

Когда ребра срослись, а солнце засияло, мы отправились в Ланке. Ее звали Фран, она была фотографом, но поженились мы только через три года, а до того мы надолго разошлись, бесконечно далеко отдалились друг от друга, хотя опять же до того мы раз-другой были так близко друг к другу, что ближе некуда. Это случилось еще прежде, чем мы съездили в Ланке, и прежде еще, чем кончился дождливый день с гешоннековскими книгами.

— Можете зайти ко мне,— разрешила она,— у меня есть банка маминого паштета. Мама живет в Вейслебене.

— Что во всех отношениях прекрасно,— заявил я.

Она тоже была во всех отношениях прекрасна. Порой она прикрывала глаза, но не всякий раз. Порой придерживала язычок, но не всякий раз. Порой лежала недвижно, но далеко не всякий раз. Я едва не утонул в глубине ее глаз и едва не затерялся в чащобе ее волос, никогда еще с такой болью не сжималось мое сердце и не исцелялось с такой быстротой, я от души жалею всех, кто до меня описывал легкий девичий вздох, я знаю с того дня вкус холодной воды, ибо с того же дня знаю, что такое жажда и что такое свобода, знаю, когда и почему все так, а не иначе и быть иначе не может.

— Слушай,— спросил я.— «Фран» родом из американского фильма?

— Нет, из моей родной долины, из Вейслебена, люди там не в ладах со вторым передвижением согласных. Разве можно у нас называться Франциской!

С ней ложного шага не сделать. Ты и подумать о нем не успел, а она уже поступит как подобает, да так, что ты веришь — именно подобным образом намеревался поступить сам.

Она позвала меня к себе, доверила открыть банку паштета, заварила какой-то чудной чай по-вейслебенски, легко болтала, точно соседская девчушка, избавив меня от честолюбивых попыток изъясняться как Хопалонг Касиди или, упаси боже, как юный Вертер, знала кое-что о Гойе, но ровно столько, чтобы не вгонять меня в краску, поцеловала меня, пока я размышлял, дозволено ли это, губы ее еще пахли паштетом, сказала, нет, она не носит рубашек, словно именно от этого у меня перехватило дыхание, рассказала мне, каково ей было, когда это было, доказала, что не утихло то, что уже утихло, дала мне напиться, утолив мою жажду, и ту и эту, и поблагодарила — ох, право же, меня, право же, томила жажда, благодарю. Фран способна была дать счастье, и я до сих пор счастлив, счастлив и сейчас, но все это, видимо, мало интересует высшие инстанции. Или интересует?

Когда в этом пункте полный порядок, то не интересует. Лично — пожалуй, но не по служебной линии. Хотя ни один работник инстанций не признается, что различает эти точки зрения. В тех сферах совсем иной отсчет времени, работа считается выполненной тогда, когда принято решение, там не разделяют даже те понятия, которые у нас, простых смертных, числятся под разными рубриками, например служебную и общественную деятельность. Трудно себе представить, чтобы Мюкке, или Вольфганг, или кто-нибудь другой из высших инстанций имели по одному и тому же вопросу два мнения: одно — служебное, второе — личное.

Трудно? Мне, во всяком случае, трудно, по крайней мере когда речь идет о делах особой важности. Конечно, они тоже отдадут предпочтение деловой стороне и все-таки не исключат собственного вкуса; если политика и благо государства того потребуют, они сделают именно то, что требуется, вовсе не считая в каждом случае, что требуемое и желаемое непременно совпадают.

Так, например, я знаю, какого мнения Ксавер Франк о боксе. Когда в инстанциях речь идет о спорте, обращаются именно к Ксаверу. Он знаком со всеми тренерами и президентами клубов, строителями трамплинов и директорами закрытых стадионов,

со всеми рекордсменами и таблицами всех рекордов, прежде всего международных. Вопросы спорта тоже находятся в ведении высших инстанций, а потому от них требуют более чем исчерпывающих ответов. И тогда на помощь приходит Ксавер; он и правда хорошо разбирается в спорте, к нему прислушиваются. Но если речь заходит о боксе, к нему не прислушиваются, по той простой причине, что тут от него ни слова не услышишь. Тут он молчит. Однажды он высказал свое мнение, и с тех пор бокс для него запретная тема. Правда, в конце прений он голосует, но только строго сообразуясь с политической точкой зрения, делая вид, будто речь идет о капитане кегельной команды или новом руководителе фехтовальной школы. Вот как он сам изложил мне однажды свою позицию. Мы опубликовали как-то материал о нашей олимпийской команде, и журнал торчал у Ксавера в кармане, когда он пришел в редакцию.

— Давно хотел взглянуть, как вы делаете свое дело,— сказал он,— решил завернуть к вам на минутку.

Так он объяснил свое появление. Потом разложил на столе журнал с портретами боксеров.

— Покажите-ка мне другие снимки, те, что вы не напечатали.

Фотографии принесли, он стал рассматривать их с видимым отвращением. Ткнул в нокаутированного боксера:

— Это что, труп?

— Да нет же, он в нокауте.

— Откуда это видно?

— Но это же видно!

— Сколько трупов тебе привелось видеть?

— Случалось раза два-три.

— А сам ты бывал в нокауте?

— Не в боксе.

— Но он-то смахивает на труп,— настаивал Ксавер и подвинул фото ко мне через стол,— видно же, что из него дух выбили! «Нокаут, вы-бить» — ничего себе выражение! Скажите уж прямо — до смерти забить. А самое верное — избить до потери сознания. Вспомни, как трясутся врачи над больным, чтобы не потерял сознание! Как они усердствуют, чтобы сохранить тебе печень! А их огорчения из-за наших почек! Представляешь, сколько они бьются над тем, чтобы хоть самую малость продлить нам жизнь! А мы ставим двух парнишек на ринг и говорим: ну-ка отдубасьте хорошенько друг дружку, и кто из другого дух выбьет, тот выиграл!

Ганс Бамлер, редактор спортивного отдела,— у него, как и у меня, душа ушла в пятки при виде гостя, он, видимо, решил, что допустил в комментарии какую-нибудь грубейшую ошибку, что-

нибудь об общегерманских иллюзиях или в этом роде,— наконец-то вымолвил словечко:

— Нокауты теперь случаются все реже, судья все чаще останавливает бой за явным преимуществом, а перерывы в соревнованиях после нокаута все длиннее, бокс держат под наблюдением!

— Да,— согласился Ксавер,— после гонга парней тоже держат под наблюдением, кто кого сильнее по голове бахнет, тот и выиграл.

— Перчатками же,— вставил Ганс.

— О да, перчатками,— согласился Ксавер,— мы люди цивилизованные. А известно тебе, что суд определяет кулак боксера как смертоносное оружие? Винтовка тоже смертоносное оружие, зарядить ее холостыми патронами вовсе не значит обезвредить. Эффект перчатки куда слабее холостого патрона.

Мы не знали, что и думать, а Ксавер Франк оглядывал мой кабинет. Указав на приемник, он попросил:

— Товарищ Грот, сделай одолжение, сними приемник с полки.

— Шнура не хватит.

— А он и не нужен,— сказал Ксавер,— приемник можно выключить.

Я поставил приемник на стол.

— Видел?— обратился Ксавер к Гансу.— Нет, ты видел, как он с ним обращается? Видел, как твой коллега опустил этот ящичек на стол? Словно одно резкое движение, и он взорвется. И ты бы так поступил, и я. С приемниками все так обращаются, тем более с этими дурацкими телевизорами. А почему? Каждый знает: это вещи дорогие и хрупкие. Да, да, хрупкие. Внутри там ломкие лампы, аккуратная пайка, сложнейшая путаница сплошных недотрог, их нельзя ни трясти, ни толкать и уж никак не бить. А вот намеренно двинуть человека по скуле — пожалуйста; залепить ему увесистым кулачищем в ухо — деяние дозволенное, засветить ему в глаз, так, что собственное запястье хрястнет,— против этого никто ничего не имеет! Зато я имею! В прошлом году я как-то стукнулся о лобовое стекло, так меня уложили на месяц в постель и всем нашим сотрудникам запретили сидеть рядом с водителем, даже если кому-то это нравится. А в вашем так называемом спорте сотрясение мозга планируется наперед и за увечья получают звания. Называйся по крайней мере «заслуженный мастер увечья», ну нет, это же спорт!

Мы с Гансом молча выслушали его бурную тираду, а потом я спросил:

— Это что, новая линия? Бокс отныне отменяется?

— Вздор! Это всего-навсего мое личное мнение; мне хотелось наконец-то его изложить. Надеюсь, у нас еще дозволено прийти и высказать свое мнение, не оставляя за собой никакой линии.

— Но ты же работаешь в инстанциях. Как же вы там обсуждаете подобные проблемы?

— О, мы уже давно все решили. Одни за бокс, другие против, но, пока бокс включен в Олимпиаду, мы будем участвовать. Еще одна проблема, которую придется отложить до коммунизма.

— А тогда бокс отменят? — чуть не с возмущением спросил Ганс.

— Если б у меня хватило сил,— вздохнул Ксавер.— Но тогда уж мне нужны силы, чтобы прожить сотню лет, а еще лучше — полторы. К тому времени, думаю, не будет надобности посылать десяток ребят в чужие края с заданием сломать другому десятку ребят переносицы или так дать в солнечное сплетение, чтоб дух вон, зато список медалистов покажет, что наша страна существует. Мы будем существовать как равные среди равных, локти нам не понадобятся, а если кулаки понадобятся, так не для этого. И чертовы ракеты тоже не понадобятся, по правде говоря, эти вопросы доставляют нам чуть больше хлопот, чем ваши благородные драчуны. Ну, я пошел. Снимайте-ка лучше гимнасток.

Мы проводили его до выхода из редакции, и, вернувшись, Ганс спросил:

— А что ему, собственно, нужно было?

— Видишь ли, Ганс,— ответил я,— человеку бывает необходимо высказаться.

— Верно,— согласился он,— разве и ему?

Удивительный вопрос — удивительный в первую очередь оттого, что мы все его задаем снова и снова. Среди нас и вокруг нас раскинулось царство самоочевидного, но над нами начинается нечто мистическое. Мы несем на себе груз стародавних суеверий: наши верхи устроены иначе, чем мы; хотя они и не равны богам, но не равны и нам, простым смертным. Слепленные из той же глины, что и мы, они все-таки устроены иначе, считаем мы, потому что стоят над нами.

Приглушаем ли мы тем самым зависть или ссылаемся на природу и чудеса, чтобы легче сносить собственную роль? Требуется ли у нас подобная оговорка? Требует ли наш строй подобных рассуждений?

Если в нас еще сильна слепая вера, так оттого лишь, что ей не противостоит достаточный запас знаний или эти знания недостаточно глубоки, чтобы рассеять наши химеры.

Ведь химеры — или, как люди просвещенные, скажем, пустые домыслы — чистое воображение, выдумки от начала до конца,

уродливое наследие прошлых лет.

Да, в первую очередь уродливое наследие. Нас по рукам и ногам опутывают традиции; мы ходим на помочах унаследованных представлений, нами управляет привычка мыслить по старинке.

Такое положение вещей должно бы нас неприятно поразить, взволновать, обеспокоить, пробудить: эй, проснитесь, мы живем в нынешнем, новом мире, а не в старом! Нами нынче правит наш брат. А нашему брату задачи ставит не бог-отец или какой-либо другой, более телесный праотец, наш брат не командовал еще в пеленках гвардией, с нашим братом голос из тернового куста не беседовал, нашего брата ни один Готский альманах не предусмотрел, и вообще Провидение, когда речь шла о нашем брате, отличалось удивительной слепотой.

Геральдики на нас в обиде, мы лишили их куска хлеба, да, их тоже; им ничего, кроме ретроспективных изысканий, не остается, а нам остается их гнев, мы ведь не можем предъявить ни скипетра, ни короны, ни державы, ни горностая — регалий высокого сана и происхождения; мы вообще неблагородного происхождения, наши предки не оставили нам данных для пестрой пачкотни, для опознавательных знаков исстари унаследованной власти. Наши родословные деревья никто не рисовал, с их ветвей ведь не свешивались гербы, гордые орлы не садились на их сучья, не взблескивало бриллиантом соколиное око, двуглавые птицы не свидетельствовали о наших сказочных деяниях, грифы не объявляли наше происхождение легендарным, а крылья дракона не хвастали, будто мы явились из волшебного королевства. У нас, если судить по генеалогии, нет прошлого.

А потому мне не забыть истории, которую я слышал однажды вечером, после конференции в малом зале дворца Цецилиенхоф в Потсдаме, под аккомпанемент концерта Корелли: сидели там писатели начинающие и известные, вернувшиеся, пили сухое вино, говорить им не хотелось, на конференции им чего только не наговорили, вполуха слушали музыку settecento*, бросали порой утомленный взор на потемневшие от времени сценки рыцарского житья, запечатленные прусской красной и прочими красками, и, потягиваясь, скребли сбитыми каблуками по гогенцоллернскому паркету; но тут взял слово Людвиг Ренн из рода фон Гольсенау, единственный аристократический отпрыск среди пишущих экс-буржуа и экс-пролетариев, и обратился к Хайнеру Мюллеру, или Карлу Микелю, или Вернеру Бройнигу, во всяком случае, к одному из молодых и, уж во всяком случае, худущему и

* Восемнадцатого века *(итал.)*.

худородному, обратился, сравнив, должно быть, мысленно одного из запечатленных на полотне курфюрстов с сидящим рядом сочинителем:

— А ты, как я посмотрю, тоже из тощих. И я из тощих. Твои все были тощие? Мои-то все были тощие.

Пока младший собеседник осознавал честь подобной общности и старался найти подходящий ответ, Людвиг Ренн обозрел внимательным взглядом далекое прошлое и добавил:

— Постой, постой, в семнадцатом веке был среди наших, да, был среди них один толстяк.

В семнадцатом — стало быть, этак двести пятьдесят, триста пятьдесят зим и лет назад — оказался среди них толстяк, толстый среди сплошь тощих Гольсенау, один-единственный, кто выделялся дородством в легионе долговязых камергеров, шталмейстеров, штандарт-юнкеров, генералов и кадетов, один-единственный, кто персоной своей целиком заполнял одну из бесчисленных рам в стиле барокко, рококо, бидермейер и модерн, один-единственный такой оказался среди них триста лет назад, и они это запомнили.

У нашего брата случаются осложнения разве что с прадедушкой: горшечник он или точильщик, перебрался из Нюрнберга в Гольштинию или это тот, что проживал в Хейдедорфе? Порой, когда непорядков в стране бывало меньше и домашнему порядку они большого урона не наносили, не вынуждали часто и поспешно спасаться бегством, прихватывая лишь самое необходимое,— так вот, порой у нашего брата можно было отыскать кусок картона, обработанного по совершеннейшему методу господина Дагера, на котором изображены застывший в напряженной позе усач и — чаще всего — куда меньшего росточка женщина, застывшая в туго накрахмаленной блузке; на обороте картонки угловатым готическим шрифтом сообщалось, что-де на обороте сфотографирован Кристоф Грот с супругой Фридерикой, урожденной Штельмахер, а изготовлен снимок фотографом Мурцей по случаю счастливого возвращения вышеназванного Кристофа Грота с великой битвы под Седаном в год коронации — тысяча восемьсот семьдесят первый.

Порой до нашего брата доходило, что некий Готфрид Грот приобрел в окрестностях Лауенбурга десять акров земли, некий Людвиг Грот обучился в Лерте ремеслу гробовщика, некий Готхельф Грот дослужился в гренадерах до ефрейтора, другой же Готхельф Грот взял в супруги Матильду Нельс, а некий Фюрхтегот, да, именно Фюрхтегот Грот, за участие в вооруженном мятеже разыскивался полицией, вывесившей объявочные листы.

А в иных случаях, особенно когда ты звался Давид и поступал в школу весной после пожара рейхстага, нужно было знать

историю трех поколений предков, но запас сведений убывал, как яркость источника света с квадратом расстояния, и за пределами светового круга от керосиновой лампы царила непроглядная тьма.

Гроты и семнадцатый век взаимосвязаны не больше, чем Гроты и Оливер Кромвель, Генри Перселл и Блез Паскаль; самая смелая фантазия не рискнула бы установить между ними связь. Чистое безумие даже вообразить, что один из тогдашних Гротов имел хоть малейшее понятие о своих великих современниках, пусть бы только в Германии. Лейбниц отстаивал свои монады, у него недоставало времени на Гротов, а Гроты отстаивали свою жизнь, им бы только выжить, у них недоставало времени на господина Лейбница.

Быть может, им случалось спеть благочестивую песнь господина Грифиуса, быть может. Быть может, они слышали от учителя о современных романах господина Гриммельсгаузена, быть может. Быть может, некий одержимый поэзией Грот мучил своих измученных родственников эпиграммами господина фон Логау, быть может, но, скорее всего, этого вовсе не было.

Скорее всего, Гроты, во всяком случае многие из них, как и прочие люди, захлебнулись в бурных волнах Тридцатилетней войны. Вот каков был для них семнадцатый век.

И уж наверняка многие Гроты гибли если не от оспы, так за религию и за все то, что шло под ее маркой, гибли в битве при Белой горе, на мосту через Эльбу близ Дессау, под Штральзундом и при Витштоке на Доссе. Не такой уж буйной фантазией нужно обладать, чтобы услышать тревожные крики некой Элизабет Грот, сзывающей детей, потому что в деревню нагрянули мансфельдцы; чтобы услышать вопли саксонского Грота, которому пика брауншвейгского Грота проткнула печень; или уловить хохот Грота из Гольштинии сквозь рев померанского Грота, висящего вниз головой над костром, который весело раздувает люнебургский Грот. Нет нужды в пылком воображении, чтобы представить себе голодных Гротов, болящих, крадущих, грабящих, ограбленных, ослепленных, глухих, исходящих кровавым потом, запуганных и сирых, убогих и юродивых. Линия этих Гротов доходит до совсем-совсем недавнего прошлого.

Как бесспорно, что в семействе Гольсенау в семнадцатом веке имелся толстяк, так же бесспорно, что среди Гротов той же поры имелись тощий добытчик торфа, изможденный деревенский цирюльник, чахоточный сапожник, испитой кирпичник, изнуренный крепостной, иссохший канатчик, ясновидец-ходячие мощи, а узкогрудые смиренники имелись в любом количестве — только их не писали масляными красками, оттого и не осталось в

наследство от них ни портретов, ни общественного сознания.

Это нашему брату предстояло наверстать, да, это тоже.

Ладно, сказали мы, то семнадцатый век, перечень имен у нас неполный, придется, видимо, заткнуть бреши меж всевозможными Валленштейнами, Тилли и Хатцфельдами, примыслить к каждому портрету господина такого-то тысячу-другую обозных и поденщиков Гротов, к каждому герцогу Фридландскому тысячу копьеносцев и батраков Мюллеров, к каждому генералу Гёцу тысячу наемников и безземельных крестьян Мейеров, к каждому Бернгарду Веймарскому тысячу алебардщиков и тележников Вагенкнехтов, к каждому Кристиану Брауншвейгскому тысячу солдат и кузнецов Шмидтов и так далее, к каждой высокородной персоне придется примыслить пропасть незаметного до недавних пор, потому что несметного множества, рабочего люда, так что в итоге на десяток намалеванных высокопоставленных носов выпадет уйма увесистых кулаков, а эта уйма составит массу, массу народа, народные массы, вот от них-то и происходим мы, наш брат и, стало быть, наши новые верхи.

Они и мы, все вместе мы изображали задний план на тех картинах, где передний план занимал владычествующий толстяк на толстозадом жеребце, они и мы, стало быть, наш брат; наш брат безликой толпой теснился позади откормленного, на века запечатленного военачальника; над нашим братом кисть художника и наполовину не трудилась так, как над избранным конским хвостом; мы были мелкими крапинами где-то там, на заднем плане.

Правда, в конце-то концов, да, в конце концов мы двинулись вперед и немало хлопот причинили толстякам, а затем и вовсе прихлопнули их.

Не без помощи, конечно, не без содействия таких людей, портреты которых, случалось, тоже писали художники, не без разъяснений некоего доктора Маркса, не без экстерном сдававшего университетские экзамены Ульянова, не без адвоката Либкнехта, не без фабрикантского сына Фридриха Энгельса и даже — гляньте-ка, кого мы сейчас назовем, — не без потомка тех самых фон Гольсенау, тощего Людвига Ренна, военачальника нового типа из старинной аристократической семьи, начальника штаба армии рабочих и беднейших крестьян, армии саксонских республиканцев на испанской земле — о Гамлет, это ль не карьера!

С той поры у нас новые верхи, и предками из семнадцатого столетия они не отличаются от новых низов.

Правда, если в семнадцатом веке среди нашего брата царило полное равенство, так мы не вправе закрывать глаза на разитель-

ное неравенство в двадцатом, то самое, что держалось до мая сорок пятого, да, пока что не вправе. Надо сказать — все те, кого мы чуть-чуть поспешно и уравнительно называли «наш брат», в двадцатом столетии приобрели значительные различия. Различия эти обнаруживались в биографических данных.

Возьмем — но только к примеру, ведь многие другие из наших высших инстанций, скажем Мюкке и Вольфганг, поступили бы точно так же, — возьмем еще раз Ксавера Франка, терзаемого сомнениями боксоненавистника, и для контраста возьмем, скажем, Германа Грота из Ратцебурга, дядю Давида Грота, не отца, Вильгельма Грота, тот пошел особым путем, а Германа, одного из многочисленных Гротов, возьмем, к примеру, его.

Оба, и это облегчает нам сравнение, на год старше нашего столетия, для того и другого пятьдесят лет назад имена Корелли, и Лейбница, и герцога Фридландского были в равной мере пустым звуком, оба к тому времени сходны были едва ли не во всем: это был наш брат.

Но в ноябре восемнадцатого года Ксавер дал хорошего пинка кайзеровскому морскому офицеру, и Герман тоже дал пинка, только он дал пинка французскому крестьянину.

В декабре того же года гвардейская пуля на Шоссештрассе в Берлине перебила Ксаверу ключицу, а Герман пришел наниматься к мастеру-жестянщику Шютту в Ратцебурге, для чего одолжил у отца крахмальную манишку и галстук.

Когда пробил последний час Розы, Ксавер, можно сказать, счастливо отделался — ему сломали всего три ребра; Герман узнал о событиях на Ландверском канале от портного Зеегера, каковой в тот день дважды вздохнул с облегчением: первый раз — по случаю событий на Ландверском канале и второй раз — по случаю прочищенного усилиями Германа унитаза.

Герману к тысяча девятьсот двадцать пятому году до чертиков опостылели засоренные унитазы и бранчливые хозяйки, и он на двенадцать лет завербовался в рейхсвер: он оказался в первой четверке сотни претендентов и к тысяча девятьсот тридцать седьмому дослужился до штабс-фельдфебеля, а использовать вступление в Судеты не сумел, ибо был уже кандидатом на должность в финансовом управлении Ратцебурга.

Ксавер же между тем накопил хоть и не столь блистательный, зато более глубокий и разнообразный опыт в обращении с оружием: под Хетштедтом он стрелял из маузера, а в него стреляли из парабеллума и угодили в ногу, в Нойкёльне он орудовал ножкой стула, и ножка же стула подпортила линию его носа после дискуссии во Фридрихсхайне, подправить ее не удалось хлыстом в зале Колумбиахауза, а уж в Зонненбурге

молодчики стегали его кожаными плетьми, причем метили в почки.

Пока уволенный из рейхсвера штабс-фельдфебель Герман Грот, не щадя сил, выполнял приказы секретаря ратцебургского финансового управления, вюрцбуржец Ксавер Франк командовал батальоном; дело было под Теруэлем, а это, как известно, в Испании.

Под Сталинградом они едва-едва не встретились, до этого, однако, не дошло, хотя Герман, несмотря на мороз, целился еще вполне прилично, а Ксавер громко и довольно четко говорил в микрофон.

Так им ни разу в жизни не довелось встретиться; когда Герман еще валил деревья в лесу на берегах Лены, Ксавер зарыл свой парашют у Одерберга, а когда Герман Грот, ныне уже секретарь финансового управления, послал портному Зеегеру налоговое извещение — Ратцебург, Гинденбургштрассе, девятнадцать,— Ксавер Франк жил в Берлине на Маяковски-ринг, и в Ратцебург ему был путь заказан. Наш брат и тот и этот, но никакого братского единомыслия.

В наших верхах много людей склада Ксавера Франка, а в народе, которым они руководят, много людей склада Германа Грота, но перед лицом эпохального исторического поворота было бы чистым безрассудством, если бы мы после незадавшейся сталинградской встречи Франка и Грота не осознали: нашему брату следует прислушиваться к нашему брату.

Только, на беду, людское безрассудство и нынче еще не перевелось и продолжает устанавливать порядок дня — на запад от Ратцебурга; на восток же от Ратцебурга все еще попадаются люди, не уяснившие себе разницы между герцогом Фридландским, например, и Ксавером Франком, хотя каждый из них вполне мог бы стать Ксавером Франком, но никогда — герцогом Фридландским.

Работник высшей инстанции — важная, говорят, птица, сидящая высоко и оттого, стало быть, особая, так вот министр тоже птица важная и особая.

А потому одни дрожат мелкой дрожью, когда видят министра, другие теряют дар речи, когда им навязывают пост министра. Например, я.

Например, я, Давид Грот, праправнук обозного и поденщика, живших в семнадцатом веке, сын Вильгельма Грота из Ратцебурга, племянник штабс-фельдфебеля, а ныне чиновника финансового управления Германа Грота там же, в Ратцебурге, супруг Франциски Грот, называемой Фран, экс-командир Центральной группы порядка, журналист с дипломом заочника, член партии с

двадцатилетним стажем, четыре года возглавляющий выходные данные «Нойе берлинер рундшау»,— я, Давид Грот, например, не хотел бы стать министром.

Но, пожалуй, надо мне еще раз, спокойно и придерживаясь строгой системы, обдумать этот вопрос.

2

Если знать, что отца Давида Грота звали Вильгельм, и если к тому же знать, что кайзера, под властью которого родился Вильгельм Грот, также звали Вильгельм, и если вдобавок прослышать, что работодателя, в чьей платежной ведомости значился Вильгельм Грот, когда у него родился сын, нареченный Давидом, что этого работодателя также звали Давидом, тогда мы вправе предположить, что Вильгельм Грот, давая сыну имя, размышлял вполне прозаически, следуя не высоким соображениям, а единственно тому, что имя Давид Грот звучит недурно, «а, и, о», и даже мелодично; предположение, что Вильгельм Грот намеревался переосмыслить «а, и, о» в «о, и, а», превратив их в Голиафа, что он желал придать имени своего сына библейский смысл, питая надежду, что его младший — он же и старший,— что его Давид Грот станет Давидом и Голиафом в одном лице и, стало быть, непобедимым,— это предположение придется отбросить как литературный домысел, а предположение, будто отец, выбирая имя своему сыну, желал выразить извечную мечту извечно битых, следует тем более отбросить, и поживей, ход мыслей отца куда проще и короче, он ведет от имени, которым величают работодателя, к имени, которым работник в его честь нарекает новорожденного сына; да, замысел отца прост и достаточно ясен, он рассчитан на благодеяния работодателя, вернее сказать, на щедрые даяния, связь имени Давида Грота с именем Давида Блументаля носит характер, скорее, экономический и вовсе не походит на связь между именем Вильгельма Грота и именем Вильгельма, императора; до ушей кайзера не дошла весть, что некий Грот дал своему сыну имя кайзера, а до ушей господина Блументаля эта весть дошла, он узнал ее из первых рук, от счастливого отца, и сказал:

— О, весьма любезно с вашей стороны, Грот, в день крестин вы увидите, что я вам признателен.

И Вильгельм Грот, шофер Давида Блументаля, зубного техника, увидел. Он увидел в тот день стол, накрытый на двадцать две персоны, накрытый, разумеется, в финансовом смысле, господином Блументалем. Он увидел сберегательную книжку на имя

Давида Грота с обязательным ежемесячным взносом в размере двадцати марок на протяжении двадцати одного года; накопленную сумму снять был вправе только самолично ее владелец по достижении совершеннолетия. Далее Вильгельм Грот увидел нотариально заверенный документ, в котором господин Блументаль обязывался нести полностью все прямые расходы, связанные с обучением упомянутого Давида Грота в гимназии, а в случае надобности и в университете, от начала означенных занятий до их окончания.

Он увидел серебряные карманные часы фирмы «МЧК», Швейцария, и выгравированную на них надпись: «Давиду Гроту от Давида Блументаля».

И только условий, требований, ограничений на тот случай, если... оговорок с подвохами он не увидел, и вообще никаких оговорок, а в церкви он и господина Блументаля не увидел, господин Блументаль был другого вероисповедания, и у лютеранской купели ему решительно нечего было делать.

А что видел Давид?.. Сие никому не известно, даже самому Давиду. Во-первых, он все торжество проспал, только раз или два моргнул, когда ему что-то холодное и мокрое попало на лоб, потом снова ничего не видел и не слышал, не слышал ни выспренних слов пастора в церкви, ни восторгов гостей, восторгов, касающихся главным образом его носишка, ни орга́на в ратцебургском соборе; не видел он голубых, боязливых даже здесь, в соборе, глаз своей матери или на удивление черного костюма отца, а тем паче не видел он господина Блументаля, стоявшего на углу по дороге из собора, неподалеку от паперти,— господина Блументаля, как оно и быть должно, ни одна душа не видела. Во-вторых, Давид обо всем этом понятия не имел, никто ведь не имеет понятия о том, что с ним и вокруг него разыгрывается, когда ему две недели от роду.

Но Давиду об этом напомнят.

Ему напомнят кое-что ему неизвестное, и на первых порах это будут приятные напоминания. Всегда, когда отец заводил шедевр «Международной часовой компании», а совершал он эту процедуру ежевечерне, иной раз, когда Давид еще не спал, покачав часами перед глазами сына, он говорил:

— Их тебе подарил господин Блументаль!

Вот почему случилось, что светлые, веселые блики и довольное отцовское лицо в представлении Давида сливались воедино с именем господина Блументаля.

Бывало, когда Давид только начал разглядывать первые картинки и запоминать первые буквы и цифры или повторял трудное слово, мать говорила ему:

— Вот вырастешь — всем наукам выучишься, об этом позаботился господин Блументаль!

Потому-то тяга к разгадкам и открытиям и те редкие минуты, когда материнские глаза теряли присущую им пугливость, сливались в представлении Давида воедино с именем господина Блументаля.

Бывало, когда слово «деньги» родители произносили чаще, чем обычно, да еще с горькой интонацией, Давид слышал, как они утешали друг друга — ну, уж мальчик наш этих тревог знать не будет, ему не придется крохоборничать да спину гнуть, господин Блументаль о нем позаботился.

Вот почему ощущение уверенности в завтрашнем дне, хоть и безотчетное и все же отчетливо обозначенное благодаря этому облегчение в представлении Давида сливалось воедино с именем господина Блументаля. До тех пор, пока господина Блументаля не утопили в ручье, в Кюхенбахе. О, господин Блументаль угодил в бурные воды не без собственной вины; веди он себя иначе, кто знает, может, ему удалось бы добраться до Принсенграхт в Амстердаме, укрыться по соседству с Анной Франк, или до Треблинки, где для него, как для зубного техника и превосходного протезиста, наверняка нашлось бы рабочее место неподалеку от огромной, пылающей жаром печи.

Так нет же, ему место нашлось в ледяной воде; господин Блументаль, человек своевольный, не удержался и поддел городского депутата Во́льтера, а ему не мешало бы вспомнить, что депутат Вольтер обладает чувством юмора и отличается последовательностью. Однажды на заседании магистрата господин Блументаль встал и заявил: прослушанная нами, весьма, впрочем, патриотическая, речь депутата Вольтера отличается той же глубиной и стремительной силой, что и небезызвестный ручеек Кюхенбах. Кюхенбах, о чем нетрудно догадаться, считался излюбленным местом отдыха пьянчуг — растянешься в нем и в полной безопасности протрезвишься, лежишь навзничь, а вода до ушей не достает; в школе учителю географии с трудом удавалось разъяснить ученикам, что ручьи наряду с реками относятся к текущим водам, дети слишком хорошо знали ручей Кюхенбах.

Депутат Вольтер тоже хорошо его знал и, отличаясь сообразительностью, едва ли не тотчас смекнул, что господин Блументаль сострил на его счет; а поскольку хохотали только определенные фракции депутатов и только определенная часть публики, то он смекнул, что острота была политическая. Однако депутат Вольтер тоже был порядочным шутником и кое в чем отличался находчивостью, а потому, не отступаясь от темы Кюхенбаха, ответил, что постарается предоставить господину Блументалю

случай упиться собственным остроумием.

Депутат Вольтер сдержал будто в шутку данное слово, и однажды февральской ночью года тридцать третьего, через двадцать один месяц после веселого оживления в магистрате, он долго вжимал Давида Блументаля в песчаное ложе, пока тот не понял, что тихие воды ручья глубоки, как вечность, и сокрушительны, как смерть.

Через два месяца, холодным весенним днем, после пасхи, Давид Грот впервые пошел в школу, и учитель, человек по имени Кастен, спросил его, известно ли ему, что означает красивое имя Давид. Оказалось, что нет, Давиду это неизвестно. У него было имя, как был нос и были ноги, он удивился и даже не очень-то обрадовался, узнав, что Давид означает «возлюбленный». По интонации человека, который звался Кастеном, он понял, что повода для радости у него нет, особенно когда учитель, потирая руки, заявил Давиду, что впредь будет называть его «Возлюбленный Грот», что имя Давид откровенно еврейское, правда, и другие имена, как, например, Яков или еще более древнее — Адам, дошли до нас из того же еврейского логова, но эти имена уже давным-давно обрели немецкий дух, особенно благодаря немецкому мыслителю Якобу Бёме и немецкому математику Адаму Ризе, о сколько-нибудь выдающемся немце по имени Давид, как ему, Кастену, известно, никогда и речи не было, да, кстати, как зовут твоего отца, может, Абрам или еще того лучше — Мойше?

— Моего отца зовут Вильгельм,— ответил Давид Грот.

— О,— подхватил человек по имени Кастен,— о да, Вильгельм Грот, что же это я сразу не догадался, подойди-ка поближе ко мне, мой Возлюбленный, сядь вот сюда, на первую скамью, поближе ко мне, Возлюбленный мой, я возьму тебя под свое особое попечение, сядь поближе, чтобы быть у меня под рукой, если ты сын того самого Грота, того самого Вильгельма Грота сын, которого зовут Давид!

Так в этот день одноклассники Давида, да, по сути дела, и сам Давид, узнали и потом еще узнавали в разные другие дни, кто, собственно, такой этот Вильгельм Грот; человек по имени Кастен знал все совершенно точно: Вильгельм Грот — мерзкий прыщ на длинном кривом носу некоего Блументаля, лакей Ицика, известного всему городу подстрекателя веймарских времен, он еще в «годы борьбы» громил фольксгеноссе Вольтера за его патриотическую речь, а впоследствии, всего две-три недели назад, покушался, в исступленной ярости от замечательной победы «пробудившейся немецкой нации», на жизнь фольксгеноссе Вольтера, однако окочурился сам, ибо фольксгеноссе Вольтер показал ему,

как способен защищаться истинный немец от неарийского вероломного убийцы; на суде все обстоятельства дела были неопровержимо доказаны, но там же неопровержимо доказано было и другое: некий вырожденец по имени Вильгельм Грот пытался, извращая ход событий, представить спекулянта Блументаля жертвой нападения, названный Грот не постыдился выступить на суде свидетелем защиты, так называемый немец выступал в защиту еврея в немецком суде, звали еврея Давид, а как, к слову говоря, зовут отпрыска того Грота, который ходил в прислужниках Давида Блументаля, а, как же его зовут?

— Эй ты, встань и скажи, как тебя зовут.

— Давид Грот,— сказал Давид.

— Верно, мой Возлюбленный, так тебя зовут, и скажи нам, что поделывает твой папаша в настоящее время?

— Он работает,— ответил Давид.

— Ого, еще как!— подтвердил человек по имени Кастен.

Вильгельм Грот не собирался ни ловчить, ни тем более подлизываться, когда крестил сына именем своего хозяина; он надеялся на подарок и на благорасположение; не получи он подарка или окажись подарок куда меньше, чем оказался на деле, Вильгельм Грот не обиделся бы — один человек предполагает, а другие располагают, у господина Блументаля были свои заботы и свои причуды, как у каждого человека, к тому же Давид в любом случае прекрасное имя. Вильгельм Грот не помчался также в суд, воздевая руки к небесам и разрывая на себе одежды, он хотел только изложить свои соображения, это казалось ему необходимым, ибо в газетах напечатаны были соображения, которые он считал ложными.

Конечно же, Вильгельм Грот понимал всю несправедливость постигшей его кары, но он знал, что еще более несправедливые кары постигали и постигли господина Блументаля — его смерть и все, что затем воспоследовало,— и потому не потерял головы и присутствия духа, когда показания в пользу мертвого Блументаля вызвали на него адов огонь брани и обеспечили ему место на нарах в кромешном аду концлагеря. Он умел водить машину, тогда это умели делать еще очень немногие; вот он и выдержал.

Он не слишком-то тревожился за свою жену; она всегда отличалась боязливостью, и потому ее не так уж ошеломила беда, которая обрушилась на них: она тоже выдержит, считал он.

Только мысль о мальчике не давала Вильгельму Гроту покоя. Мальчик был такой маленький, и город, в котором он как раз теперь пошел в школу, тоже такой маленький, такой маленький, что даже перелом ноги служил темой пересудов; мальчонке, отец которого ломает горб в далекой каменоломне из-за истории с

евреем, сумеют испортить жизнь. О Давид, меньший сын...

Но Давид тоже выдержал. Ему улыбнулось счастье, счастье понять, кто его истинный враг. Человек по имени Кастен, учитель Давида, хоть и был пакостник, но отношения с ним упрощались его глупостью. Он ни черта не смыслил в стратегии блоков и союзов; он разил не целясь, слепо, и потому ранил не одного только ученика Грота; так обнаруживались его слабые места, и замечал их не только Давид. Болезненно властолюбивый Кастен желал полного подчинения, но по дурости отводил в своих репрессивных действиях главную роль Давиду и оттого очень скоро обратил свой класс во вражеское войско, войско с многоопытным, ибо неоднократно битым, полководцем.

Когда Вильгельм Грот вернулся из лагеря, а его отпустили через два года, как усвоившего надлежащую науку, он нашел жену, которая, как это ни странно, держалась куда увереннее, чем раньше,— ведь страх ее оправдался,— и мальчугана, за которого ему нечего было опасаться. Учился мальчик хорошо, не слишком усердно, зато был неуязвим, по крайней мере в том, что зависело от него самого; не очень сильный, но быстрый и находчивый, хотя нельзя сказать, чтоб благонравный, он, встречая отца, проявил радость не слишком бурную, но проявил, немногословную, надежную, что и придало Вильгельму Гроту твердости духа.

Он стал водителем грузовика на цементном заводе и о господине Блументале больше не проронил ни слова; ему запрещено, отвечал он, если его спрашивали, господин Блументаль причастен к той работе, которой он, Вильгельм Грот, занимался два прошедших года и о которой обязался молчать, да, письменно обязался. «Стало быть, не будем об этом, кому охота слушать истории, если концовку нежданно-негаданно оборвут, и кому охота такие истории рассказывать? Только не мне».

Так он сказал и брату Герману, когда тот, переодевшись в штатское, однажды поздним вечером пробрался к нему, до смешного для военного человека, напуганный. Позднее Вильгельм Грот не раз спрашивал себя, правильно ли он поступил. Из сбивчивого и путаного рассказа Германа выходило, что он тоже хлебнул лиха, быть бы ему обер-фельдфебелем, если бы не тот суд и не брат в каменоломнях, а не окажись, на счастье, его полковым командиром граф Ранцау, пришлось бы ему вернуться к жестянщику. Для графа и полковника депутат Вольтер, управляющий городской живодерней, значил так же мало, как и еврейский торгаш зубными коронками, а мундиры, какие не значились в учебнике Рейберта или в справочнике Кнётеля, он почитал штатским тряпьем, они вызывали у него лишь омерзе-

ние; точно так же относился он и к коричневому мундиру, в коем живодер Вольтер явился в суд. Граф дал понять своему фельдфебелю, что контактов с членами семьи, замешанными в процессе, следует избегать, и вновь отрядил его муштровать рекрутов.

Если Герман Грот тем не менее однажды вечером оказался у дверей брата, так потому, что по-своему, нескладно, но любил Давида, и повидать хотел именно его, не столько брата, вечного насмешника, и уж тем более не свою невестку: ее всегдашние страхи наводили на него тоску, вдобавок она вечно ему выговаривала за лихие фортели и веселые забавы, какие он затевал с Давидом.

Ну разве не весело было, когда, упрятав под пальто полуторагодовалого парня, он сел на свой «триумф» и помчал вокруг Ратцебурга, сделал круг радиусом в тридцать километров, которые обратились в двести километров по Шлезвиг-Гольштейну и Мекленбургу, а кончилось все, непонятно почему, скандалом с невесткой? А разве не славный был фортель, когда он сгонял с Давидом в молочное хозяйство неподалеку от Мёльна, где они до отвала наелись сыру с тмином, почти два килограмма умяли? Давид, правда, едва-едва осилил полкило, и все удовольствие гроша не стоило — сын молочника был рекрутом у Германа Грота. А вот еще фортель, когда в лесу под Зегебергом унтер-офицер Грот очень удачно показал племяннику, как рвутся ручные гранаты, если их швырять в ельник,— ну разве не веселая вышла забава? Невестке и невдомек, как ему пришлось ловчить, чтобы припрятать две гранаты, но он пошел на риск, а все ради Давида, очень уж тот славно смеялся.

Невестке невдомек, чем он рисковал, идя к ним, когда Вильгельма только-только выпустили из концлагеря, ну конечно, ему хотелось взглянуть на парнишку, спать малец может всю жизнь, а дядя Герман навряд ли проведет с ним всю жизнь, дядя Герман солдат, и уж когда-нибудь они такой фортель выкинут, что грохоту будет больше, чем от двух гранат в зегебергском лесу.

Он поднял Давида из кровати, подарил ему два портрета — один Иммельмана, другой Рихтхофена,— спросил, не поесть ли им еще разок лакомого тминного сыру, а потом безо всякого удовольствия посидел минутку с братом и невесткой в гостиной.

— Чего они там с вами выделывали, в этом, как у нас говорят, концертлагере? — спросил он, косясь на часы.

— Э, сам знаешь,— ответил брат,— с утра до ночи концерты, а нам в них нет надобности.

Вильгельм повторил Герману свои слова об историях без концовок, которые нет охоты ни рассказывать, ни слушать, и

фельдфебель Герман Грот потихоньку убрался из дома. С годами, когда могила Давида Блументаля поросла травой, а воспоминания о каменоломне рассеялись как дым, Герман Грот стал заходить чаще и всякий раз приносил Давиду картинки или памятки, а то даже книги, и вся эта писанина давала кучу сведений об артиллерийских наблюдателях, Гинденбурге, гинденбургских свечах, неприкосновенном запасе, о Шмен-де-Дам и о городе Джибути, о сапе и сохраняемости горохового супа с колбасой, о стертых солдатских ногах, о генеральном штабе, гимнастических стенках и военных почестях.

Когда дядя Герман приходил в гости, Гроты от него узнавали об условиях получения знака отличия за стрельбу, о неумело завернутых портянках как источнике губительных болезней, о связи между стальными касками и ранним облысением, о славе, осеняющей полк Ранцау, и о солдатских правилах приличия, которые выражаются, например, в том, что военный человек никогда не сложит однажды использованный носовой платок.

Эти сведения адресовались главным образом Давиду, и тот внимательно выслушивал дядю даже в пору, когда сам недурно разбирался в запутанных проблемах войны и военного дела, когда у него хватало знаний, чтобы небольшой лекцией о плане Шлиффена отблагодарить дядю за подробнейшие разъяснения трудностей в обращении с указателем попаданий.

Винтовка образца 98-го года вскоре не составляла для него никакой тайны, напротив — Давида уже интересовали особые тонкости, как, например, происхождение понятия «стреляющие дубинки». Он доискался, что оно ведет свое начало от древнейшего орудия, дульный срез которого был утыкан металлическими шипами, и в случае нехватки беприпасов они служили существенным подспорьем.

Солдатский мозг Германа Грота накапливал все традиционное и согласное с уставом, Давид же разыскивал, находил и собирал военные диковины, гонялся за военными редкостями, уникумами, а поскольку он рос в стране, значительная часть жизни которой занята была проблемой, как лучше убивать, то постепенно такие спецпознания хоть немного да прикрыли его позорное пятно, пятно его имени, блументалевское пятно, пятно Давида. Постепенно, немного и ненадолго: во-первых, людей, подобных Кастену, было в стране не так уж мало, во-вторых, тот самый, так сказать, пра-и-обер-Кастен крепко держался за свои скудные остроты и, несмотря на заметный спад интереса, нет-нет да вспоминал их, в-третьих, само время заботилось о том, чтобы имя Давид не считалось обычным именем.

А о том, чтобы Давид и его соученики узнали о характерных

особенностях своего времени, позаботился тот же Кастен.

— Грот, Возлюбленный, встань и выйди к доске,— сказал он однажды ясным ноябрьским утром, причем сказал на сей раз на более многочисленную публику: на открытом уроке присутствовал педагогический совет школы и надлежало дать пример из родной словесности к теме «Народ», и вот истинный немец, истинно немецкий учитель Кастен выбрал для этого случая стихотворение некоего Германа Бурте и предложил Давиду его прочесть.

— «К Германии» Германа Бурте. «К Германии»:

С неутолимым пламенем во взоре
средь женщин чуждых пребываешь ты.
В альпийском фирне возлежат персты,
стопы омыла ты в Немецком море...

— Хорошо, достаточно, остановимся на этом. Что же имеется в виду в этой строфе?

— В этой строфе имеётся в виду наша родина с географической и исторической точек зрения,— ответил, не задумываясь, Давид, ведь учитель Кастен объяснял им это уже не раз, и вновь удержался от вопроса о словах «возлежат персты», так как в их школе не прочь были получать сведения, но интереса у своих учеников к новым сведениям отнюдь не поощряли.

— В этой строфе пока что с географической точки зрения,— сказал учитель Кастен,— историческая предстанет лишь в следующей строфе. Итак, следующая строфа!

Ни чуждое заморское вино,
ни ветр степей восточных одичалый
не трогают тебя — всезнаньем Валы
твое чело всегда озарено.

— Хорошо, довольно. Кто или что такое Вала?

— Вала — всеведущая жезлоносица из «Эдды»,— отбарабанил Давид, но услышал ворчание историка Памприна и увидел, что тот легонько покачал головой. Подобная реакция озадачила Давида, тем более что господин Памприн ворчал чрезвычайно редко, когда отвечал Давид Грот, знаток военно-исторических уникумов.

Кастен громко подтвердил:

— Да, Вала, всеведущая жезлоносица, всезнаньем ее, Валы, всегда озарено чело Германии. Однако мы преждевременно переходим к истории, вернемся к географии, Грот, и сейчас ты поймешь, почему именно на тебя пал мой выбор прочесть перед педагогическим советом истинно немецкие стихи «К Германии». Прочти нам еще раз первую строфу!

Давид прочел ее еще раз.

— Хорошо, очень хорошо! — радостно воскликнул Кастен.— Германия, наша родина, возлежит, стало быть, среди разных стран и морей, а что окружает ее?

— Разные страны и моря,— повторил Давид.— Немецкое море, например.

— Да, да, в нем она омывает свои стопы, это нам известно, так и написано в стихотворении, но Немецкое море — это Немецкое море, то есть тоже немецкая территория. Что же находится в иных краях, где нет Немецкого моря?

— А там альпийские вершины и восточные степи.

— Ну дальше, дальше, а что лежит за альпийскими вершинами и в восточных степях, что это, говоря собирательно?

— Говоря собирательно, это заграница.

— Ну вот, мы уже приближаемся к сути вопроса,— сказал Кастен, бросая взгляд на присутствующего на уроке директора,— вопроса, который мы сегодня в связи с примером из прочитанного стихотворения и разберем... Если человек надумал ехать за границу, что ему понадобится?

Давид Грот, одиннадцати лет от роду, еще никогда не думал ехать за границу. О чем он и сказал, и добавил: оттого-то он и не знает, что понадобится человеку, если тот надумал ехать за границу.

— Допустим,— сказал учитель Кастен,— мы вернемся к этому пункту. Пока спросим других. Кто знает, что нужно, чтобы ехать за границу?

Для класса проблема была внове, и ученики стали гадать. Юрген Клазен счел, что в подобном случае самое необходимое — чемодан. Гейнц Георг, сын мясника Калмейера, полагал, что самое главное условие — деньги, а Фриц Шеель, живший не в мире повседневности, а в мире сказок и легенд, убежденно объявил, причем его рассеянный взгляд обрел даже блеск и живость: кто отважится на подобное путешествие, тот, помня о драчливости чужеземных великанов, пусть прихватит прежде всего обоюдоострый меч.

Учитель Кастен, согласившись более или менее со всеми, пояснил, что в первую очередь в списке необходимых принадлежностей должен стоять документ, разрешающий выезд, так называемый заграничный паспорт.

— В противном случае,— продолжал Кастен,— любой человек уехал бы когда и куда ему вздумается, и никто не знал бы — почему. А именно это «почему» имеет первостепенное значение, когда кто-либо хочет отправиться за рубеж. Если, к примеру, кто-либо стремится в Южную Америку, дабы укрепить за границей тыл немецкой нации, задача, в решении которой и

вы принимаете участие, когда ежемесячно покупаете красивые синие свечи,—это желание достойнейшее, пусть такой человек едет. Однако имеются еще среди наших сограждан такие, кто стремятся не укреплять тыл отечества, а повернуться к нему тылом, их называют эмигрантами, и это главным образом евреи. Но со вчерашнего дня евреям поставлен заслон, со вчерашнего дня евреи обязаны предъявлять паспорта, чтобы ни один из них не мог скрыться за безобидным именем. Дело в том, что кое-кто из них в прошлом столетии купил себе безобидное имя, уму непостижимо, как такое было возможно, однако любой еврей мог пойти и заявить, что не желает отныне зваться Ициком Моше, а желает отныне зваться Мейером, он платил и с этой минуты разгуливал под немецкой маской Мейера. Правда, кое-кто жадничал, жалея денег на такое имя, как Мейер, оно стоило дорого, и покупал себе имя подешевле, зато подиковинней. Самые непривычные имена шли по дешевке, к примеру Подлестничер, такое имя стоило два-три талера, поэтому рекомендуется пристальней приглядываться к людям с непривычными именами, за ними может скрываться еврей. Но со вчерашнего дня все значительно упростилось, со вчерашнего дня в каждом еврейском паспорте, выправленном на безобидную фамилию или фамилию Подлестничер, указано дополнительно имя; у еврейских дам — Сара, а у мужчин-евреев — Израиль, теперь пусть-ка кто-нибудь из них попробует сунуться, сказать: ему, мол, из чистой любви к вояжам охота съездить в степи или за альпийские вершины, тут-то ему и выдадим билетик, он глаза вытаращит, как прибудет на место.

Человек по имени Кастен закончил свою речь и, казалось, внезапно, к своему великому удивлению, обнаружил у доски Давида.

— Вот так так! — воскликнул он.— Ты все еще стоишь, это почему? Позволь, позволь: народ, словесность, немецкая нация, заграница, заграничный паспорт, отметка в паспорте — Израиль, Давид,— ага, вспомнил! Тебе крупно повезло, Грот, можно сказать, посчастливилось, и счастье твое в том, что, выбирая отличительное для еврейства имя, фольксгеноссе остановились на имени Израиль. Ну и повезло же тебе, что не Давида выбрали, вот когда б тебя прижало, хотя тебя и так прижало, и не без моего участия. Понимаешь, стоит мне услышать, что человека зовут Давид, как у меня руки чешутся, да ты сам это знаешь, мы ведь давно знакомы, сколько лет мы знакомы, скажи-ка сам!

— Мы знакомы пять с половиной лет, господин Кастен,— ответил Давид Грот, и ему показалось, что это очень долгий срок, но он тут же подумал: мы так давно знакомы, а ему ничего нового не приходит в голову, он все еще мусолит мое имя, но

меня все еще зовут этим именем, и я уже больше не реву, когда он мучает меня, значит, он проиграл, или по крайней мере у нас ничья, как в шахматах, там тоже считается ничья, если игрок без конца повторяет один и тот же ход, а другой отвечает ему тоже одним и тем же ходом. Если так обмениваются ходами учитель и ученик, то это больше чем ничья, это значит, я выиграл.

Но другие не выигрывали в схватке с истинно немецким учителем Кастеном, другие проигрывали, а один проиграл даже жизнь, вызвав своей смертью, которой придали гнусно-унизительный вид, у немалой части обывателей прекрасного города Ратцебурга взрыв бурного хохота. Того, кто нашел такую смерть, звали Гирш Ашер.

Гирш Ашер, известный плутократ города Ратцебурга с населением в шесть тысяч душ, был владельцем универсального магазина и трусливым хитрецом: вместо того чтобы лежать в постели, когда в ночь с девятого на десятое ноября в году тридцать восьмом вышибли дверь его дома, он сидел в поезде, шедшем из Дортмунда в Ратцебург, делая вид, будто понятия не имеет, что катит сквозь «хрустальную ночь» в вагоне второго класса. Вдобавок Гирш Ашер отличался скаредностью и алчностью: когда утром на вокзале носильщик Бёкер шепнул ему, что накануне вечером его универмаг слегка пострадал, он немедля отправился в магазин, чтобы подсчитать убытки.

Там и отыскал его штурмфюрер Кастен, и там штурмфюрера Кастена осенила одна из его редких остроумных идей. Он приказал втащить Гирша Ашера на второй этаж магазина, в отдел «Предметы домашнего обихода», в подотдел «Предметы санитарии и гигиены», приказал ему занять позицию, то есть встать спиной к ванне, поднятой стоймя, и раскинуть руки, как Христос, распятый евреями, затем, выстроив своих парней возле аккуратно сложенных пирамидами ночных посудин, штурмфюрер, учитель и человек Кастен скомандовал:

— Огонь!

Чтобы история не выглядела чересчур жестокой, следует сразу же оговориться: многие горшки пролетали мимо Гирша Ашера, метальщики от хохота не могли целиться, а те горшки, что попадали, большого вреда не наносили, ведь горшок — предмет круглый, один, правда, выбил Ашеру ручкой передний зуб, но это был чистый случай, который, однако же, дважды обсуждался. Первый раз — еще десятого ноября тридцать восьмого, когда все одиннадцать стрелков претендовали на классный бросок. Второй раз — осенью сорок пятого года, когда ни один из пяти переживших войну метальщиков не мог припомнить, чтобы вообще принимал участие в подобной забаве. О событии этом, как о

комической безделице, вообще никогда бы не вспомнили, не прояви штурмфюрер Кастен в магазине Ашера нордического хитроумия: припомнив эффект волчка, он стал придавать горшкам вращательное движение и, придерживая двумя пальцами за край, метал их пружинящим движением согнутой в локте руки. Правда, баллистически безупречной траектории мешала ручка, тем не менее крутящиеся вибрирующие посудины после небольшой тренировки стали чаще и действеннее попадать в цель, одной из них штурмфюрер Кастен угодил владельцу магазина Ашеру между глаз.

Тут владелец магазина Ашер рухнул и долго лежал, истекая кровью, среди своих чистеньких ночных посудин, что, однако же, вовсе не означало неизбежной смерти; смерть наступила лишь потому, что ни в Ратцебурге, ни тем более в Нойенгамме не нашлось врача, который своевременно зашил бы ему рану.

Когда учитель Кастен на следующий после десятого ноября день пришел в класс, история обстрела еврея ночными горшками уже облетела город, в школе мальчишки, чуть-чуть видоизменив обстоятельства дела, давшего повод для веселья, распевали: «Исаак,— сказал Абрам,— я тебе по морде дам!» И Давид Грот спел разок вместе со всеми, но больше не пел, и молчал он не только оттого, что терпеть не мог учителя Кастена.

Зато к учителю истории Памприну Давид был привязан. Тот, правда, звезд с неба не хватал, любить его было трудно уже потому, что был он откровенно слабоволен, легко отвлекался, забывая о заданном уроке, стоило подбросить ему во время занятий военно-исторический факт, этакую приманку в доспехах, но уж палачом кастеновского типа он не был и не обладал его коварством. А как-то раз он даже выказал, хоть и на свой, заячий манер, каплю храбрости. Случилось это через два дня после открытого урока, когда речь шла о народе в произведениях родной словесности и когда вновь упоминалось имя Давида, а значит, всего день спустя после того, как владелец магазина Гирш Ашер умирал в подотделе «Предметы санитарии и гигиены».

В тот день учитель истории Памприн отвел ученика Грота в сторонку и сказал:

— Ты, кажется, увлекаешься всякими диковинами. Вчера я рылся в городском архиве и наткнулся на список почетных граждан. Список, пожалуй, громко сказано; он состоит из трех имен, и если читать с конца, то это следующие: Иоганн Шпеер числился почетным гражданином с девятьсот двенадцатого года, главным образом, видимо, за то, что проявил инициативу в строительстве железнодорожной ветки от нас до Турова, вдобавок он пожертвовал сорок тысяч марок нашей больнице. Далее,

до него в восемьсот девяностом году нашим почетным гражданином стал бывший рейхсканцлер Отто фон Бисмарк, этот факт в объяснении не нуждается. А вот до Бисмарка, стало быть, первым в списке, еще в восемьсот семьдесят седьмом году, почетным гражданином стал секретарь магистрата Рихтер; он тоже получил орден Красного Орла, чисто прусское отличие. Да, он был первым из тех троих, из коих одним был Бисмарк. Так вот, наш первый почетный гражданин, секретарь магистрата Рихтер — а он пятьдесят лет был секретарем, — звался, между прочим, как и ты: Давид Иоахим Якоб Рихтер; не правда ли, интересно? Ну а теперь беги, перемена кончается... Ах да, вот еще что, доведется тебе этот факт припомнить, так не труби повсюду, откуда ты о нем знаешь, а то подумают, я, мол, даю тебе дополнительные уроки, ты же в них вовсе не нуждаешься. Ну, беги!

Давид рассказал об этом разговоре отцу, что не значило трубить повсюду, и Вильгельм Грот тоже не счел сообщение достойным того, чтобы о нем повсюду трубить.

— Вот и хорошо, — сказал он, — при случае напомнишь Кастену, да, гляди, словечком не обмолвись о господине Памприне, а все равно того, что ты назван в честь господина Блументаля, это не меняет. Ну и дерьмовые времена, если люди враньем живы.

Давид уже давно научился не выспрашивать отца о смысле его изречений, но именно благодаря этим изречениям он не всегда распевал те песни, что пели другие, не всегда поступал так, как поступали другие, и не всегда и не во всем походил на других. Краткие и редкие отцовские замечания, в которых звучала горечь, скорее язвили, чем крушили мнимый порядок вещей и понятий, но не превращали мальчугана Давида Грота во взрослого, что само по себе ничего не значило бы, ведь взрослыми людьми были и учитель по имени Кастен, и фельдфебель Грот, и убийца господина Блументаля Вольтер, и все, кто от души потешался над тем, что одиннадцать мужчин забросали старика еврея ночными горшками, — скупые, но веские отзывы отца о подобных историях научили Давида не верить слепо всем и вся и нередко помогали ему, побуждали его насторожиться, понуждали часто и как раз тогда, когда это казалось не очень уместным, к несказанно тяжкому и вместе с тем раскрепощающему усилию, которое зовется размышлением.

Ни горькие слова, ни мрачные события не меняли того, что в этот период, который в позднейших сочинениях будут именовать коричневым, лихим, кровавым, Давид Грот был мальчишкой, вначале шестилетним ребенком, затем сорванцом одиннадцати лет и незадолго до конца этого периода — шестнадцатилетним,

все еще любопытным, дерзким и веселым, долговязым, желторотым пареньком, правда, о терзаниях и истязаниях ему довелось слышать больше, больше довелось видеть гнусностей, чем его однолеткам в предыдущие или последующие годы, но и у него этот отрезок жизненного пути в первую очередь знаменовали рождество, и пасха, и троица, и дни рождений, порой развеселые, порой нерадостные, и все-таки это были дни рождений и праздники; на этом отрезке его жизненного пути встречались барьеры осенних и весенних отметок, но ведь их серьезным препятствием не назовешь, а в общем и целом шагал он по этому пути радостно, быстро забывая его тяготы: свинку и господина Кастена, перелом ключицы, и случайную драку, и желтуху, и огорчение, что велосипеда все еще нет, хотя у других уже давно есть, и подготовку к конфирмации, и слово «концлагерь», сказанное на ухо или злобно рявкнутое, великие и малые отступления, потери и несправедливости, шрамы на теле и в сердце, рубцы на коленках и в памяти, собственные слезы и слезы матери, все, что зовется мерзостью, ибо вся эта мерзость — и когда случалась, а тем более позднее, уже в воспоминаниях,— не в силах была тягаться с юностью, да, с юностью, что, быть может, наряду с любовью наделена всепокоряющей силой.

А что же такое смерть? Смерть, если не принимать во внимание того, о ком речь еще впереди, олицетворяется черной каретой с резьбой на углах, как у церковных кресел в переднем ряду; кучером, который, если не слишком пьян, помалкивает, а хлебнул больше положенных трех стаканчиков, на всю улицу рявкает: «Потише мне, тут провожают усопшего, эй, тихо, черт побери»; смерть приносит белые астры и одевает хозяина рыбной лавки Шликса в цилиндр с вечной вмятиной; смерть сзывает чужаков на свою улицу, даже из Любека и Шверина, а когда последним сном уснула фрау Загебиль, так из Гейдельберга прибыл профессор, ее племянник, и, говорят, очень уж пререкался из-за наследства; смерть в первую очередь явление возрастное, если же приходит к детям, зовется чаще всего дифтерией, в школе всем делается как-то неуютно, там на час-другой воцаряется неуютная тишина. Смерть, видимо, представляет собой полный контраст юности; в ней, говорят, ничего веселого нет, а потому смерть — о чем говорить не разрешается — прежде всего дело скучное.

Вот что такое смерть.

Болезнь же в конечном счете еще скучнее. Не на первых порах. На первых порах, когда она только начинается, с тебя глаз не спускают, ухаживают за тобой, то и дело справляются, не нужно ли чего, ты поистине пуп земли. Но вот беда, чуть

опасность миновала, миновала и забота о тебе, мать вечно за стиркой, а читать тебе непонятно отчего вдруг очень трудно, как раз теперь, когда времени хоть отбавляй, а с улицы несутся крики Гейнца Алерса: «Я воюю с Англией». Пройдет еще дня три, пока ты сам станешь кричать: «Я воюю с...» — ну, это уж зависит от того, с кем играть, кто на сей раз Италия, или Россия, или Америка: если Гейнц Алерс — Италия, то, пока не надоест, воюешь с Италией, обзываешь Гейнца Алерса макаронником и итальяшкой, а отхватишь у него часть территории, так орешь вовсю: «Крысокошковый мышонок», не очень понятно, зато Гейнц Алерс злится, а для того ведь и орешь, зачем у него ручищи длиннющие и пальцы толстенные, да еще какие-то мокрые, фу-ты господи, ну и голова у него, точно у водяного в замке над озером, ах господи, кто это поет, здесь кто-то поет, а я воюю с феей Лило, нет, не с феей Лило, это же Грета Мильшевски, почему же это Грета Мильшевски и почему она здесь распевает? Тут подходит мама, спрашивает: «Ты почему поешь? Поспи-ка лучше, у тебя все еще температура, а ты хочешь на улицу. Ну и ну! Спи». И я засыпаю, чего уж скучнее.

В этом возрасте едва ли не все невзгоды нипочем: исколотят тебя, точно градины, и растают быстро — как градины. Невзгоды хоть и опасны, как гусак, но одолеть их можно, как гусака, да, они опасны, но их можно одолеть, как учителя Кастена, это опасность, но ее можно одолеть. С возрастом невзгоды одолевать сложнее; время на каком-то этапе словно переходит на их сторону: чем медленнее растешь, тем больше накапливается невзгод, в какой-то неуловимый миг они меняют название и отныне зовутся заботами, а у кого забот полно, тот уже взрослый. Но до той поры еще очень далеко, эй, невзгоды вчерашнего дня, где нынче ваше жало? Эй, невзгоды, где ваша победа? Да как вам победить воинство детских радостей; кто в веселом смехе на замерзшем озере Кюхензее разберет ваше брюзжание; кто расслышит его в буковом лесу Фуксвальд, заглушенное воинственным кличем индейцев; кого оно трогает, когда ребятня наперегонки мчит по плотине? Да мы сбежим от вас, невзгоды, на лыжах к фархауерской мельнице, босиком по жнивью под Цитеном, по шоссе на Мёльн к Тилю Уленшпигелю; мы забросаем вас желудями, буковыми орешками и каштанами; мы улетим от вас на крыльях бумажных змеев с порывом ветра из Мекленбурга; нам не до вас, когда мы ныряем, стараясь достать дна речушки Вакениц, или разглядываем семикратно отраженное солнце на семи любекских башнях, а если спрячемся за статуей Генриха Баварского, прозванного Львом, или диковинным камнем, который зовется Поющий школяр и уже потому диковин-

ный, что это надгробие и высек его самолично тот, кто под ним похоронен, знаменитость, как говорят, по фамилии Барлах, отец его был в здешних местах врачом,— да, так если спрячемся там, или среди свай старой купальни, или за пакгаузом бюхенской железнодорожной ветки, ни один черт нас не сыщет, а уж невзгоды — тем более.

История, правда, решила иначе, но для Давида Грота годы, что протекли от пожара рейхстага до того дня, когда на разбомбленный купол водрузили знамя, донесенное сюда из невесть какой дали,— эти годы, уж большая их часть наверняка, были счастливыми, ведь это были юные годы.

Конечно, безусловно, разумеется, честно говоря, о счастье, о радости и заикаться не подобает, упоминая о временах, когда убийство стало производственным процессом и в нем отчитывались, как в производстве обычной продукции.

Безусловно, разумеется, конечно, честно говоря, память не смеет быть столь эгоистичной и сохранять радость тех дней, когда многие не сохранили и жизни.

Разумеется, конечно, безусловно, честно говоря, нельзя было смеяться, когда бесчисленному множеству людей даже рыдать возбранялось. Но ведь юность — это и забавы, и смех, и радость, и счастье, и если мы едва ли не с докучной подробностью рассказываем о передрягах Давида Грота из-за его имени, и об узколобом дьяволе, который звался Кастен и был учителем, и о смерти господина Блументаля, а также Гирша Ашера, а вскоре расскажем и о смерти Вильгельма Грота, отца Давида, то оправдано это одним — в конце-то концов, Давид не сложился бы в такого человека, каким стал, не столкнись он в начале жизненного пути со всей этой зверской подлостью, однако следует признать — в записках этих мы не облегчаем себе задачи, мы прилагаем все усилия, чтобы прояснить обстоятельства, которые бы не выявились, получи слово сам Давид Грот и скажи он сам все, что говорят в тех случаях, когда начинаешь рассказ: юность моя прошла так-то... Вот и понимаешь, как важно для человека, желающего услышать ответ,— как важно для него правильно задать вопрос. Спросит он: послушай, расскажи, как жилось тебе в юности? Или, чего доброго, добавит: весело-то вам бывало? Так пусть не удивляется, если в ответ, в данном конкретном случае от Давида Грота, услышит следующее:

Да, конечно, приятель, ведь где, ты думаешь, я рос, в пустыне или в чумных бараках на берегу Ганга, среди силезских ткачей или был чернокожим в белой Африке? Я же родом из Ратцебурга, что в Лауенбургском герцогстве, в Шлезвиг-Гольштейне, на зеленом севере Германии, из Ратцебурга на озере Гроссерзее, что

на древнем соляном пути из Люнебурга в Любек. Я же родом из Ратцебурга, что лежит неподалеку от гольштейнской Швейцарии, неподалеку от веселой Меловой пещеры в зегебергских горах, неподалеку от уленшпигелевского Мёльна, вблизи Эльбы и Балтийского моря, ветер моей родины напоен запахами помидоров и огурцов, запахами спелой ржи, копченой ветчины и копченого угря, марципана и варенья, и солнечных картофельных полей Мекленбурга, и смолой от свай на озере Кюхензее. Я родом не из Рура и не из чикагских трущоб, я родом из Ратцебурга, островного города на древней Полабской земле, основанного славянским князем Ратибором, в графстве Генриха Льва, города, едва затронутого войнами и лишь однажды, но основательно разрушенного одним из датских королей — не всегда же они так безобидно и весело раскатывали по городу на велосипедах, как нынче,— но позднее вновь отстроенного, с такой основательностью и рассудительностью, что даже день торжественного открытия здания финансового управления был объявлен праздничным днем, города, правда, гарнизонного, но солдаты его, егеря девятого батальона, на протяжении пятидесяти лет были всего лишь статными и нахальными молодцами, их марш звучал на мотив «Ах елочка, ах елочка, зеленые иголочки», позже, уже в мое время, когда в казарме оставалась лишь простая пехота, то и она никому не мешала, тем более мне, ведь там находился дядя Герман, человек хоть и недалекий, но все-таки человек, и при случае я еще расскажу о нем.

В остальном же, приятель, Ратцебург не являл собой типичной Пруссии, а если уж и был Пруссией, то, несмотря на концерты военных оркестров на Марктплац и стрелковые состязания, скорее чавкающей Пруссией, мелкобуржуазной Пруссией, но никак не Пруссией маршалов или поденщиков, идиллическим уголком с липучками от мух, чехлами на креслах и зелеными шторами на окнах двух своих писчебумажных магазинов; город, в котором человек был персоной, если служил в сберегательной кассе или пел вместе с братом фельдмаршала фон Мольтке в группе басов ратцебургского хорового общества.

Ратцебуржец только что в королях не ходил, став королем стрелковых состязаний, но стать им он мог не столько за искусную стрельбу, сколько за совокупность притязаний, или иначе и яснее говоря: ратцебуржец наверняка становился королем стрелков, если был по рождению королем или кем-нибудь благородным, сами высокие господа скорее напустили бы в штаны, чем сбили птицу с шеста, об этом приходилось заботиться правителю округа или капитану стрелков, так и получалось, что слава высочайших успехов в сем состязании озаряла город; тем,

однако, слава города и ограничивалась, претендовать на большее за девятьсот лет существования город оснований не имел; первоклассным он не был ни в чем — ни в хорошем, ни в дурном.

А если уж в Ратцебурге попадаются знаменитости, так либо родом не из Ратцебурга, либо за пределами родного города их и за знаменитости не держат. Правда, церковь короля Генриха Льва одна из старейших кирпичных церквей Северной Германии, но только одна из старейших и только в Северной Германии. Правда, в городке был когда-то орга́н знаменитого Шнитгера, но, во-первых, его больше нет, а во-вторых, то был всего лишь реставрированный прославленным мастером старый инструмент, и, в-третьих, мастер поручил работу своему подмастерью Хантельману. Правда, на церковном кладбище стоит превосходная скульптура льва, но, увы, это всего-навсего копия с брауншвейгского оригинала. Правда, в предместье похоронен Барлах, но родился он в Веделе.

Правда, здесь родился Якоб Фридрих Людвиг Фальке, написавший историю немецких художественных ремесел, но кого в целом мире может заинтересовать история немецких художественных ремесел, а кто тем самым Яков Фридрих Людвиг Фальке? И так далее в том же духе, таков уж Ратцебург, ничем более не примечательный, вообще едва приметный и уж вовсе не достопримечательный. Ни хорошим, ни дурным. Да, ничем дурным Ратцебург тоже не примечательный город. В этом городе голодали, драли, крали или даже убивали не более, чем в других городах. Люди умирали в постели от старческой слабости или детской горячки, у нас в Ратцебурге люди умирали естественной смертью. Редко-редко кто-нибудь сам себе посодействовал в этом, я знаю троих: Фриц-скрипач повесился на буке, когда обнаружилось, что он не такой уж слепой, каким прикидывался; девица по имени Хейке вскрыла себе вены в лесу у горы Георгсберг, на том самом месте, где ее еще месяца два-три назад видели веселой и живой с неким стрелком-мотоциклистом из третьего батальона, и если Фриц-скрипач повесился оттого, что ему никто больше не желал подавать за игру на скрипке — ведь не был же он слепым, — то девица Хейке вскрыла себе вены оттого, что у нее недостало сил слушать песенку, народную песенку, что разнеслась в два счета, — о неиссякаемая страсть немцев к пению, о безотказная способность немцев к рифмоплетству! — песенку про красотку Хейке, что с милым под кустом... а дальше уж сочиняйте сами!

Третьим был Вильгельм Грот, мой отец, но о нем я расскажу позже, если опустить его историю, историю Давида Блументаля, именем которого я наречен, а также историю Гирша Ашера,

которого насмерть забили ночными горшками, то выходит, что Ратцебург тихий город, где жилось совсем недурно. Нужно было только держаться в сторонке, и довольно долго здесь дозволялось даже быть евреем.

А что приключилось в Ратцебурге с моим отцом, могло приключиться с ним в любом другом месте, в любом другом месте Германии.

Отчего ему было не служить в Ольденбурге у какого-нибудь господина Блументаля? Отчего ему было не выступать на суде во Фридрихсхафене свидетелем по делу господина Блументаля? Отчего ему было не попасть в концлагерь из Биттерсфельда? Отчего ему было не стать шофером грузовика на цементном заводе в Олдеслое? А в Шандау солдатом? И отчего ему было не умереть в Вайсенфельзе?

Хотя все это он совершил в Ратцебурге, никакого отношения к Ратцебургу его дела не имеют, и только моя память имеет ко всему этому прямое отношение, моя память о нем и о Ратцебурге.

Вот что удивительно: поначалу, когда меня спрашивают о городе, я вижу его в огнях, продуваемый веселым ветром, ощущаю запахи вершей и дыма от костров из картофельной ботвы, слышу на речушке Вакениц сигналы катера, вернее, моторной лодки, слышу перебранку рыночных торговок и грохот тележки мороженщика. А потом перед моим мысленным взором возникают окружавшие меня люди, маленькие друзья и взрослые враги, мой дядя Герман, господин учитель Памприн, мерзавец Кастен, Фриц-скрипач, и Хейке-резчица, и рыбак Шликс, и вмятина в цилиндре; я все еще люблю этот город и повторяю, что ни с голоду, ни от мук адовых люди там не мерли и его блеск и его нищета были всего лишь второсортными. Как для того, так и для другого ему не хватало решительности.

Теперь я перехожу к истории отца и должен сказать: ему в конце-то концов, вернее говоря, под конец жизни хватило решительности, он застрелился в полной парадной форме среди буков в лесу Фуксвальд, под виселицей, к которой никакого касательства не имел, и оттого я покинул Ратцебург.

Оттого Давид Грот покинул Ратцебург, когда ему минуло шестнадцать. Когда Давид Грот достиг шестнадцати лет, а Вильгельм Грот — сорока пяти, оба подвели черту под той частью жизни, какую провели в этом городе,— один навечно, другой надолго,— и у обоих для того была почти одинаковая причина.

Кто это смеется, услышав, что знаки судьбы заложены в именах, добрые или дурные? Кто смеется, услышав, что Вильгельм Грот мог нынче быть пенсионером, а Давиду Гроту, вероятно, не предлагали бы пост министра, если бы некий

владелец зубопротезного кабинета звался не Давид, а, скажем, Франц или Фридрих, а фамилия его не оканчивалась бы на -таль, или -баум, или -хаймер?

Ничего смешного в этом нет, Давид звался бы Франц или Фридрих, учился бы, может статься, в гимназии, а там и в высшей школе, к концу войны дослужился бы до фенриха, а то и лейтенанта, вряд ли поступил бы в «Нойе берлинер рундшау» курьером, не должен был бы и не хотел бы бежать из Ратцебурга, стал бы там зубным врачом или командиром эскадрильи «старфайтеров», а то держал бы лодочную станцию на Бодензее или служил репортером при «ИГ-Металл», не было бы ему нужды входить в состав правительства ГДР, а может, он и понятия бы не имел, что таковое существует,— вот была бы жизнь!

И Вильгельм Грот, повезло бы ему чуть больше, остался бы жить. Но все случилось иначе. Вильгельм Грот нарек сына именем Давид, меньше всего думая о Голиафе, а больше о благосклонности хозяина и щедром подарке, но впоследствии он слишком долго помнил добро, слишком громко возмущался убийством в ручье Кюхенбах, не слишком-то благонадежно мыслил в лагере и в конце концов поступил слишком последовательно.

А чего он добился?

3

С тем же успехом мог он колотить кулаком воздух.

Как подумаешь, какой переполох вызвал выстрел в лесу, так даже не верится. Но переполох и перелом — вещи разные. А перелома Вильгельм Грот своим выстрелом не добился — во всяком случае, в тех делах, в которых, быть может, хотел.

В своем письме он ничего не писал о переломе. Он не оставил завещания, он ничего не требовал от грядущих поколений и не взывал ко всему свету до того, как сунул себе в рот дуло.

В записке, торчавшей за пряжкой ремня, он просил одного — пусть жена и сын поймут его правильно: долго ему все равно не протянуть, и он полагает, что избрал для себя лучшее время, лучшее место и лучший род смерти.

Когда в полиции Хильде Грот предложили растолковать это краткое заявление, она с готовностью согласилась. Она не рыдала и не выказывала бестолковости, столь обычной для близких умершего. Она объяснила все очень просто и сказала, что давно предвидела такой конец.

— Когда-нибудь, скорее раньше, чем позже, он умер бы с голоду, чего ему никак не хотелось.

Прибывший из Любека советник уголовной полиции, который был призван на службу из запаса и не мог совладать с трясущейся головой, спросил без злобы, а скорее удивленно:

— Но отчего ему умереть с голоду: после травмы прошло полтора года, если он за это время не умер с голоду, отчего ему умереть теперь?

— Я тоже так думала,— ответила Хильда Грот,— да и он порой тоже верил, порой надеялся на это, но порой ждал самого худшего. Еще в лазарете врач сказал нам всю правду.

Ассистент советника, однорукий молодой человек с малым Железным крестом рядом с партийным значком, поинтересовался фамилией врача, но Хильда Грот ответила:

— Боюсь сказать. Пожалуй, не вспомню. Хотя все, что он сказал, я помню: на искусственном питании долго не проживешь. Таблетки не заменят той обработки, какой подвергается пища во рту и пищеводе. Не говоря уже о болях.

— О болях?

— Да, конечно, о болях, он постоянно испытывал боли. Вы, верно, не знаете, что такое искусственное питание? По пищеводу — стало быть, через рот — у него пища не проходила, ему закладывали все прямиком в желудок. Сперва в воронку, затем через резиновую трубку в желудок. Если ничего об этом не знаешь, можно подумать: ну и что, в животе прорезают две дырки, одну в брюшной стенке, другую в желудке, вставляют трубку, и готово дело. Но ведь человек живет после этого с двумя ранами. Трубка мешает им заживать, да им и нельзя заживать. Если ввести трубку сквозь дырку в стенке желудка, а дырка заживет, она сожмет трубку, но ведь через нее должна проходить пища. Потому-то и следят, чтобы раны не заживали; это называется «искусственный свищ», да, искусственный, а боли, которые человек испытывает, можно разве что сравнить с искусными пытками.

— Стоп, фрау Грот,— остановил ее пожилой полицейский,— не распаляйте себя. Теперь все в прошлом. Пока что нам неважно, как зовут того врача, но поверьте, если мы захотим, вы все вспомните. Лучше не болтайте вздора!

Молодой строго кивнул:

— Вздор — это еще мягко сказано. Медицина во время войны сделала значительные успехи; она, правда, еще не умеет пришивать руки, но больной пищевод — разве его нельзя оперировать?

— Можно,— сказала Хильда Грот,— конечно, можно, вот чего нельзя — заранее сказать, будет больной после этого жить и сможет ли он жить. Я поначалу тоже думала, что пищевод — это вроде трубки, по которой проскакивает пища, но он, оказывает-

ся, должен работать, а у мужа он был навсегда поврежден, муж постоянно испытывал боли. Должна вам сказать, не одни боли послужили тому причиной. Человеческий организм ведет себя точно дрессированная лошадь. Случалось, когда мужа донимала жажда, он споласкивал рот водой. Тут, видно, организм решал, что все опять пойдет как прежде, и начинал работать, все железы и мускулы начинали работать, а потом мужа часами позывало на рвоту. Вы же не знаете — он собственной слюны проглотить не мог. Человеку, который за едой думает: сыт, и ладно! — может, не так обидно, что его до краев наливают через трубку слизистым супом, но муж всегда получал от еды истинное удовольствие. А теперь, когда мы ели, он забивался куда-нибудь подальше, так ведь от запаха из кухни никуда не забьешься, а его от одного запаха порой начинало рвать.

Советник подал знак ассистенту, ведущему протокол.

— Итак, из ваших слов ясно: постоянные физические и душевные муки, в конце концов человек не выдержал, капитулировал, так сказать. Но почему именно вчера? Как-никак вчера он получил очень и очень высокую награду. Ведь Золотой значок за ранение, как правило, дается только при повторном ранении, полученном в бою; ваш же муж получил его только за одно, но рассматривать значок, что явствует из сопроводительного письма, следует, бесспорно, как высокую награду. А он тут же отправился в лес и вышиб себе мозги... Как вы это объясняете, фрау Грот?

— Я бы объяснила, да не знаю, можно ли вам рассказать.

— Что значит «можно», вы должны, уважаемая, мы же ведем следствие!

— Там тоже вели следствие, там, когда муж был во Франции, и все-таки прислали ему Золотой значок.

— Что значит «все-таки»?

— Мой муж на следствии заявил, что сам во всем виноват, сам ошибся, и никто за это не в ответе, а тем более крестьяне, у которых он стоял на квартире.

— Это были французские крестьяне? — спросил ассистент.

— Но крестьяне, — подчеркнула Хильда Грот, — муж еще в первом письме писал, что они почти не отличаются от наших. Он их языка не знал, а они не знали немецкого, но больше года ладили с ним, так зачем бы они подсунули ему щелочь?

— Затем, что это были французские крестьяне, что они стакнулись с партизанами, вот затем, фольксгеноссин Грот, они налили немецкому унтер-офицеру в винную бутылку щелочь; об этом нам лучше известно, а знали бы вы, чем только нам не вредили на Востоке!

Но советник движением руки остановил ассистента.

— Довольно, Крамп, нам нужно прежде всего дознаться, что думал этот человек, этот Грот, когда вчера... Итак, фрау Грот, что вы имеете против следствия, которое велось армейскими инстанциями?

— Я знаю только то, что об этом муж говорил.

— Пусть так, что же говорил об этом ваш муж?

— На первых порах он лежал в лазарете, в Бресте, кажется. Он говорил, что долго не мог сообразить, что с ним случилось. Не то, как все случилось, это он знал, а что́ именно случилось — что он себе все внутри начисто сжег и что ни мазями, ни порошками этого не вылечить. О том, как все случилось, он не думал, пока не началось следствие. Сперва, когда ему стали задавать какие-то странные вопросы, он решил, что они подозревают «самострел»...

На сей раз советник закачал головой явно демонстративно.

— Несусветная чушь. Для этого не глотают щелочь. Те негодяи стреляют себе в ногу через буханку, мерзавцы этакие, надеются, что мы не разберемся.

— А у нас на Востоке один отстрелил себе...— последнее слово ассистент шепнул шефу на ухо,— и вдобавок ко всему он был из Кастропа! — Ассистент подождал, пока до шефа дошла острота, и оба оглушительно расхохотались, между взрывами хохота ассистент выкрикнул: — Когда мы с ним покончили, ему уже все было ни к чему!

— Ну-с, хорошо, вернемся к нашему делу,— напомнил советник.— С подозрением в «самостреле» и увечье, стало быть, все уладилось, о чем же потом думал ваш муж, что он имел против следствия?

— Нет,— ответила Хильда Грот,— подозрение в увечье осталось. Ему позже сказали, если он не подтвердит, что крестьяне с умыслом напоили его щелочью, придется расследовать, не пытался ли он уклониться от военной службы, он же сидел в лагере, еще прежде.

— Чепуха, не могли ему это сказать. С лагерем вопрос был улажен, иначе его никогда не сделали бы унтер-офицером. А не говорил ли он вам, было ли какое-то основание оказывать на него такой нажим?

— Да,— ответила Хильда Грот,— основание у них было. Его показания не сходились с их донесением. Когда мужа отправили в лазарет, в деревне провели «акцию возмездия». Кого расстреляли, а кого услали на каторжные работы. Об этом муж узнал только вчера, получив сообщение о награде.

— Ну, милая моя,— сказал советник, поднимаясь,— видимо, у

вас все же разыгрались нервы после вчерашнего, и вы кое-что путаете. В сопроводительном письме ни слова не говорится о том, что вы нам расписываете.

Он взял со стола бумагу и сунул ей.

— Знаю,— ответила Хильда Грот,— но муж мне все рассказал. Ему объявили, что есть два варианта: либо он все подстроил сам и тогда предстанет перед военным трибуналом, либо это подстроили французские бандиты, и тогда это ранение и он получит пенсию и значок. Видно, когда в лазарете во время следствия ему об этом сказали, с французами уже покончили, но он только вчера это понял. А еще муж сказал, что их командир и раньше доносил по команде всякую всячину о бандитах, над чем все у них немало потешались, никаких бандитов там не было, они говорили, у командира, мол, болит горло, вот ему и хочется заполучить Рыцарский крест на шею для охлаждения.

Ассистент стукнул кулаком по столу.

— Да это же чистейшей воды пропаганда, вы распространяете злобные россказни!

— Я ничего не распространяю,— возразила Хильда Грот.— Вы спросили, что говорил мой муж, а он именно это говорил.

— Да, да, фрау Грот,— вмешался советник,— все это верно, но со своей стороны должен вас предупредить: никому больше не рассказывайте этот вздор, он приведет вас в тюрьму!

— Самое малое,— добавил ассистент, и шеф подтвердил это кивком.

— Ну-с, поглядим, каковы результаты нашей беседы,— продолжал он,— итак, фрау Грот, у вашего мужа вчера возникло, э, как бы сказать, подозрение, что с наградой Золотым значком за ранение... э-э... что-то нечисто. В разговоре с вами он утверждал, будто ему и раньше предлагали эту высокую награду, если он подтвердит, что стал жертвой партизан, далее он утверждал, будто на самом деле во Франции в тех местах никаких партизан не было, а донесение по этому вопросу его командир, э-э, стало быть, высосал из пальца. Но поскольку все это давно минувшие дела, то я не совсем понимаю, отчего же он вчера отправился в лес и...

— Как же, господин советник,— подхватила Хильда Грот,— ведь он все время считал, что дело улажено. В лазарете, правда, кое о чем шушукались, да он ничему такому не верил, пока не пришла эта золотая вещица. Это означало, что все сделалось так, как желал командир, и тогда он, мой муж, понял — да, он повинен в том, что тех французских крестьян, включая его хозяев, прикончили. Вот чего, должно быть, он не выдержал.

— Это еще что?— взвизгнул ассистент.— Прошу прощения,

господин советник, но сначала эта женщина рассказывает нам, что ее муж покончил с собой по причине своих порченых внутренностей, а теперь мы вынуждены слушать, что он это сделал от сердечного расстройства. Любопытно, какое отношение ко всей этой истории имеет небезызвестная виселица?

— Верно, фрау Грот, что вы скажете о месте происшествия, можете вы разъяснить нам этот вопрос?

— Что мне вам разъяснять? Могу только рассказать, как было дело. Муж говорил: нельзя, мол, человека вешать за то, что у него с девушкой шуры-муры. Так он прежде говорил, до значка. Когда повесили поляка, он еще не знал, что во Франции учинили то же самое и он тому причиной.

— Фрау Грот,— прервал ее советник,— вы опять что-то путаете. Французы, о которых ваш муж составил себе собственное представление, и здешний поляк ничего общего друг с другом не имеют, а посему и ваш муж с поляком вообще ничего общего иметь не мог, следовательно, с его стороны было чистым сумасбродством как раз под виселицей... э... вы сами знаете.

— Так не все ли равно — где,— сказала Хильда Грот.

Ее спокойные слова взбесили ассистента сильнее, чем все до сих пор сказанное. Заметно было, каких усилий стоит ему не сорваться на крик, но поэтому-то злоба его проступила особенно явственно.

— Что все равно, а что нет, определяем мы. Вы, видимо, так и не поняли, что произошло!

— Умер мой муж,— сказала Хильда Грот.

— Не просто умер, фрау Грот,— напомнил советник, и голос его звучал почти вкрадчиво.— Наше присутствие показывает, что он не просто умер. Если бы он, например, погиб на фронте, мы бы не приехали. Поймите же наконец разницу!

— Для меня она не так велика, как для вас, господин советник. Я восемнадцать лет прожила с Вильгельмом Гротом, и вот он умер. В этом вся разница.

— Допустим, фрау Грот, но мы хотим выяснить кое-что другое. Нам этот смертный случай представляется не совсем обычным. Государство рассматривает самоубийство как преступление, хотя и не в юридическом смысле. Во всяком случае, государство не одобряет самоубийства, ибо оно свидетельствует о непорядке. Тем более во время войны и тем более в период столь жестокой борьбы, какую мы ведем. А ваш муж совершил даже не обычное самоубийство. Немецкий унтер-офицер стреляется под виселицей, где понес заслуженную кару некий поляк, осквернитель расы; это уже политическая акция, милая моя.

— Но муж в жизни не занимался политикой!

— А за что же он сидел в Дахау? — спросил ассистент. — А болтовня о бандитах во Франции, а нынешняя история с польским кобелем — это что такое, по-вашему? Не политика? Вы нас что, за круглых дураков считаете?

— Да ведь он и не знал вовсе этого поляка!

— Именно! Знал бы, и то дело было бы скверное, французских мужланов он взял под защиту, их-то он знал, тоже скверное дело, но восточного рабочего он даже не знал, а стреляется там, где еще веревка не остыла; это же чисто политическая демонстрация, нечего морочить нам голову!

— Минуточку, Крамп, — вмешался советник, — вы, конечно, правы, но давайте рассудим: если этот человек желал, чтобы его действия восприняли как демонстрацию, к чему она должна была привести?

— Ясно как божий день, господин советник: это символ, пример, призыв, разложение морали, все проще простого!

— Верно, Крамп, совершенно верно. Но что же далее: если мотивы этого человека станут достоянием гласности, значит, его план удался, да? Значит, своей демонстрацией он достиг, чего хотел, верно? Ну как?

— Не знаю, что сказать, господин советник.

— Зато я знаю, Крамп, я знаю: дело следует замять! Фрау Грот, слушайте внимательно. Ваш муж от болей помешался. Огорчительно для вас, но людям будет понятно. Понятно, почему он именно там, у виселицы этого поляка... Так в здравом уме не поступают...

— Но муж сказал: с таким же успехом можно повесить человека за то, что он поел.

— Он так сказал?

— Да. Если парню двадцать четыре года, ему нужна девушка, как нужна пища. А если парню нельзя к девушке, потому что война, и если нельзя досыта поесть, потому что война, вот тогда и понимаешь, что такое война.

— Не занимался политикой, каково! — воскликнул ассистент. — Вообще не интересовался политикой! И такого субъекта награждают Золотым значком. Полагаю, господин советник, нам следует конфисковать значок, не оставлять же его в этом доме!

— А его здесь больше нет, — сказала Хильда Грот.

— Где же он?

— Какой-то голубь летает с ним на шее.

Голова советника затряслась с удвоенной силой, а рука ассистента судорожно вцепилась в свой пустой рукав.

— Постойте, фрау Грот... голубь?

— Муж любит порой пошутить.

— Любил,— поправил ассистент.

— Вечно разные шутки шутил.

— Вот и расскажите нам о его шутке с голубем.

— Он принес с голубятни одного из высоколетных данцигских, повесил ему на шею значок и посадил сюда, на подоконник. Голубь поначалу отряхивался, а потом вылетел в окно, тогда муж сказал, что в первую мировую войну ему бы со значком так легко не улететь, теперь же это всего-навсего жесть.

— Ах, какая аполитичная шутка,— воскликнул ассистент,— очень, очень забавная, вы от души веселились!

— Мне уж давно не до веселья,— ответила Хильда Грот.

— У вас к тому и оснований нет, уважаемая! Пишите, Крамп: «Многие симптомы указывают на то, что упомянутый Грот помешался задолго до своего поступка» — и в скобках: «Повесил на шею голубя высокую награду — Золотой значок за ранение». Ну-с, окончательно мы оформим протокол в управлении.

— Остается еще вопрос, господин советник, как этот человек сохранил у себя карабин.

— Э, тоже выясним позднее. Главное у нас есть: бесспорное помрачение рассудка. Имейте в виду, фрау Грот, вы обязаны принять наше заключение, остерегитесь рассказывать людям что-либо иное. Если вас спросят, ответ один: он помешался от болей, старая рана, французские бандиты, ясное дело, и ничего иного!

— А поляк? Что ей говорить об этом полячишке?

— Да очень просто: нелепая случайность. Смерть притягивает смерть, тем более если человек не владеет своим рассудком. Итак, фрау Грот, договоримся окончательно: вам повезло, да. Вы, согласно нашему заключению, вдова фронтовика. Вам даже оставят пенсию — разумеется, если вы перестанете повторять глупую болтовню мужа. А не перестанете, так мы вернемся, но тогда уж по вашему делу. Вам все ясно?

— Да, господин советник, мне все ясно.

— Вот и хорошо, и, если можете, изловите того голубя, не годится, что он везде и всюду летает со значком.

— Я сегодня же вечером скажу сыну. Я ему все скажу.

Но как, как она объяснит еще и это своему сыну? Все, что следовало объяснять, брал на себя муж, такой был меж них уговор, одно из тех негласных соглашений, какие заключают супруги, когда в глубине души сознают, что идет на пользу каждому из них и их супружеской жизни. Дело в том, что Вильгельм куда лучше умел объяснять. Он не говорил, как сказала бы Хильда:

— Уж ты обязательно здоровайся с госпожой пасторшей. Так

полагается, иначе у нас будут неприятности. Люди и так болтают про нас, будь добр, веди себя хорошо!

Вильгельм высказал это совсем иначе:

— Небо не обрушится, если ты с пасторшей не поздороваешься, а поздороваешься, все одно, тепленького местечка наверху мы не заполучим. Впрочем, и ты, если не будешь здороваться, все равно в герои не выйдешь. Добьешься только, что она на нас станет коситься да судачить о нас вкривь и вкось. Таких злоязычниц вокруг предостаточно, а скажешь «здрасте», глядишь, одной меньше будет. Не скажешь — тоже сойдет. Нас и так со всех сторон клюют, а значит, мы ее наскоки тоже вынесем. Сам подумай, как лучше.

По радио кричат,— говорил Вильгельм,— будто уже вот-вот война. Если начнется, меня назавтра же возьмут в солдаты. К счастью, ты подрос за те годы, пока я был в отлучке. Если у тебя хватит сил выполнять по дому то, что я выполнял, мать будет рада. Ну и я тоже. Это ведь много значит, во время войны во всем нехватка, не хватает мужчин, свободного времени, масла и радости тоже. Тут каждая малость помогает. Да, вот еще что, только виду не подавай, что знаешь: я вовсе не жажду стать солдатом. Это же своего рода людоедство. Твой дядя, тот любит войну, но ведь он всегда был чуть, да, чуть-чуть погл... помоложе меня. Может, он будет моим фельдфебелем, недурно бы, вот когда он наконец получил бы право на меня орать, но я бы ему одно отвечал: так точно, Герман, так точно, господин фельдфебель, а думал бы: ну, погоди, кончится война, только вернись домой!

Вильгельм умел обходиться с Давидом, но теперь Вильгельма не было; быть может, он даже сам не сумел бы объяснить мальчишке, что с ним стряслось.

А Давид уже не был мальчишкой. Словами объяснять ему то или иное надобность отпала. Смерть отца стала для него неким итогом в череде событий; отдельные слагаемые, когда они еще зарождались, он не всегда улавливал, теперь же, в итоге, различал каждое. В городе Ратцебурге так повелось — сидел отец в концлагере, тебе вновь и вновь давали понять, что он сидел в концлагере. Поводы для напоминаний бывали и серьезные, и пустячные: э, а ты не сын такого-то? Вопрос мог звучать и враждебно, и дружелюбно, боязливо-дружелюбно. А это не сын ли такого-то? И раз ты сын такого-то, значит, тебе не положено читать на празднике рождества стихи: «На небесах в сиянье кротком звезда вечерняя зажглась», хоть никто в школе их лучше не читает; и раз ты сын такого-то, ни в гимназию, ни в среднюю школу тебе не попасть, пусть по отметкам, включая даже отметки

учителя Кастена, ты едва ли не самый достойный; и ты, сын Вильгельма Грота, ты ни разу не видел отца под знаменами в национальный День труда или в День пробуждения нации, правда, в день рождения фюрера из окон спальни Гротов свешивался флаг, но просто по забывчивости, его вывешивали ради другого дня рождения, девятнадцатого апреля, в честь матери, и, когда Давиду исполнилось одиннадцать лет, отец объяснил свою забывчивость:

— День рождения твоей матери, безусловно, повод для торжества. С Адольфом я не в таких уж добрых отношениях. Но если двадцатого мы не вывесим флага, в городе это приметят, и к нам целый день станут наведываться гости, нам вовсе нежелательные. Ведь ты знаешь: все, что мы думаем у себя дома, что делаем и о чем говорим, дело наше личное, и если тебя кто спросит, отвечай, что у нас все в полном порядке. Поверь мне, мальчик, у нас все идет как положено.

Уговор свой они соблюдали. Принятый без излишней патетики, он не требовал беспрестанных подтверждений; в нем начисто отсутствовали и пафос страха, и пафос предумышленного сопротивления властям; тут и не пахло легендарной клятвой швейцарских кантонов или ужасами катакомб, даже рукопожатие отца и сына выглядело бы бутафорией из итальянской оперы. Это был именно уговор, они его соблюдали, в семье Гротов и впредь продолжали придерживаться порядка, как они его понимали. Не люби Вильгельм Грот и Хильда Грот и Давид Грот друг друга, это было бы невозможно, но они любили друг друга, и потому все было возможно, почти все, кроме громких слов. Вершин безудержного красноречия отец, так казалось Давиду, достиг, впервые встретив Хильду Йензен, но с тех пор никогда даже не приближался к подобным высотам. В тот раз, на балу пожарных в местечке Бергедорф, что близ Гамбурга, холостой шофер Вильгельм Грот сказал девице Хильде Йензен, горничной, сказал, едва увидев ее, сказал так, что в словах его слышно было — он жаждет познакомиться с ней, он объясняется ей в любви, он предлагает ей руку и сердце, он клянется ей в верности, все было в этих словах:

— О фрейлейн, какая же вы красивая!

Хильда Грот рассказала об этом сыну в рождественский вечер первой зимы, которую Вильгельм Грот провел в Дахау, рассказала и умолкла, а расплакалась, лишь когда Давид долго-долго разглядывал ее и наконец сказал:

— Что ж, это верно.

Тогда она расплакалась, но тут же рассмеялась, вспомнив бедового парня, который подскочил к незнакомой девушке и

воскликнул «О!» с таким прямодушным восхищением, что девушка осмелела и поверила ему, не могла не поверить, захотела поверить.

— Ему стоило поверить,— сказала она сыну,— и тебе стоит ему верить. Твой отец говорит то, что думает. Порой он говорит обиняками, но он не дурачит человека, ему забавно, что тот поначалу вытаращит глаза от удивления, а поймет, лишь если сам умеет думать обиняками, нам же с тобой все равно — пусть забавляется.

Давид скоро научился этому искусству — думать обиняками и с отцом говорить обиняками, догадался, что подобные обороты речи не только забава, но и защита, укрытие от окружающих и от самого себя.

Слова, если они честные, являют собой частицу тебя самого, и чем больше слов ты произносишь, тем больше отдаешь своей души; и оттого Давид держался навыков отца, придерживал свои восклицания — свои «О!» — для оказий и впрямь знаменательных, во всяком случае, придерживал те свои «О!», что высказываются вслух или произносятся с ударением, или те, что получают огласку, обычно он, как и Вильгельм Грот, тщательно и экономно выбирал слова и выражения, не произносил и звука, не пропустив его сквозь фильтр критического осмысления, тем самым воздвигнув в своей душе стену глубочайшего недоверия к любым трескучим фразам, которыми его побуждали на то или иное действие или удерживали от того или иного действия.

А когда он привык свои чувства и мнения излагать стенографическими и кодовыми знаками, тогда его слух и разум обратились в своеобразные посты подслушивания и расшифровки, и если ему подавали потайной знак, он его принимал, но фальшивый тон он тоже улавливал и в конце концов понял, что паузы могут сообщить больше, чем звучная фраза, а потому утверждение отца, что у Гротов все в порядке, было скорее молчаливым уговором, чем простым успокоением, и, как бы жутко ни опустел мир, когда его покинул Вильгельм Грот, смерть его тем не менее не изменила мира, в мире царил прежний порядок, а это означало: держи ухо востро, иначе этот порядок тебя сожрет.

Вильгельм Грот умер в полном одиночестве, но с общественным смыслом и сыну не задал никакой загадки. Смертью своей он сказал Давиду все, что знал сам, сказал в форме ему доступной, в этот единственный раз, пожалуй, без осторожных и хитроумных обходных маневров, в этот раз без осмотрительно скрытой насмешки, в этот раз с нескрываемой любовью и потому без околичностей.

У Вильгельма Грота иссякли последние силы. Дважды в день

отпустить шутку, выдержать и промолчать в минуту, когда хотелось криком кричать, когда нужно было криком кричать, если поддаться боли, да, на это у него еще хватало духу, но жить только волей к жизни не дано никому, и кто, чтобы подавить один-единственный вскрик, тратил столько энергии, сколько он, бывало, тратил за бесконечно долгий рабочий день под стражей в каменоломне, тому оставалось жить недолго. Вильгельм Грот понимал это и сказал об этом Давиду.

— Нам надо с тобой откровенно поговорить: у меня больше нет сил. Я не очень убежден, что правильно поступаю, что так откровенно говорю с тобой, но, думаю, несправедливо и с моей стороны даже трусливо будет не сказать тебе о том, что так для тебя важно. Я, надо признаться, не больно-то великий борец за смелость и справедливость; если бы можно было без них прожить, я бы сказал: плевать на них — какой прок в справедливости, если тебе придется голодать, и какой прок в геройстве, если ты отдашь свою жизнь; кому в хрестоматию попасть охота, тот пусть во всем этом упражняется, нас это не касается. Но теперь я думаю, что касается: у нас нет выбора, нам надо быть справедливыми и смелыми, иначе плохи наши дела. Моя история, казалось бы, доказывает обратное, до того плохи мои дела. Я не был трусом, и если некоторые считали, что я поступил как отпетый дурак, отстаивая в суде господина Блументаля, то уж никак не меньше было тех, кто не скрывал, что считает мой поступок порядочным. За последнее время, во всяком случае, когда все увидели, к чему клонится дело, я все чаще это слышу или чувствую. Вот тут-то можно себя спросить: ну и что же, что я выиграл? Меня засадили в концлагерь, колотили как собаку — а это правда, Давид, настало время сказать тебе все,— с работы меня выгнали, мои мечты, что мой сын станет образованным, уважаемым человеком, разлетелись в прах, винтовку и мундир этой гнусной своры, виновной во всем, мне все равно пришлось носить и не сегодня завтра мне придет конец, так какая же разница, вопил я «хайль» или выступал в защиту господина Блументаля, был штурмовиком или арестантом под номером 67618, трусом или храбрецом, порядочным человеком или нет, под землей какая уж разница.

Так выходит на первый взгляд, Давид, но дело обстоит совсем иначе. А получалось это оттого, что я был в одиночестве, во всяком случае, в нашем городке почти в одиночестве. Как бы все обернулось, не будь я в одиночестве и в нашем городе, и по всей стране? Теперь, когда знаешь, что́ в действительности нас постигло, с трудом рисуешь себе такую картину, а ведь ее не очень трудно себе нарисовать. Ладно, люди позволили одурачить

себя трескучими фразами, проголосовали за субъекта по имени Гитлер, уже скверно. Затем, однако, в городе, где каждый знает, что́ у соседа на ужин, мерзавец в форме штурмовика утопил в ручейке пожилого человека, но суд объявляет, что подлинным убийцей является, собственно говоря, убитый, а раз суд выносит приговор только на основании доказанных фактов, он и выставляет доказательство: утопленный, иначе говоря, подлинный убийца был еврей. Так неужто только сумасшедший может представить себе, что теперь-то, хоть теперь-то люди собрались бы и заявили: стоп, что же вы делаете, каждый в нашем городе знает, как все было, и не городите околесицу, занимайтесь политикой, в ней мы мало что смыслим, но не выносите приговоров подобного рода, вы же подрываете веру в ваше дело.

Такого не случилось, мой мальчик, и все, что я себе рисую, лишь мечты, но даже в мечтах я не жду ничего неисполнимого от своих сограждан, не жду, что они, вооруженные косами и цепами, сойдутся к зданию суда, не рассчитываю, что они построят ради господина Блументаля баррикады, в мечтах я жду только естественных поступков; я мечтаю о вопросах и сомнениях, я не жду, что люди будут потрясать кулаками, хоть бы головой покачали, я не требую ничего немыслимого — протеста, к примеру, нет, с меня довольно и просьбы, у меня скромные мечты. Знаю, даже для той малости, на мой взгляд вполне достижимой, нужно было при тогдашнем положении вещей обладать мужеством, в те дни даже этой капли мужества у нас не нашлось, а нынче положение вещей таково, что жизнь каждого человека под угрозой, будь он хоть самый что ни на есть благонамеренный трус.

Меня же терзает другое, меня терзают сомнения, рассказывать ли тебе все, что мне известно. В этом усматривается преступление, за которое мне отрубили бы голову, но пусть поторапливаются, а вообще-то меня это мало трогает. Но каково будет тебе? Истина — тяжкий груз, и я своим рассказом взвалю его тебе на плечи. С этой минуты преследовать станут тебя, о возрасте они не спрашивают. Тебя и так уже преследовали только потому, что ты мой сын, только за твое имя, но по-настоящему серьезный оборот дело примет, когда ты узнаешь правду. Как мне поступить?

— Я сам с этим справлюсь,— ответил Давид.

И он справился. Через две недели после смерти отца он уехал в Берлин. Ему помог мастер, у которого Давид два года пробыл в ученичестве. Он уладил обмен с Ремесленной палатой, даже приложил к заявлению письмо крейслейтера, чьи охотничьи ружья он содержал в порядке, и рекомендовал Давида своему

старому коллеге, жившему в Берлине, в районе Лихтенберг, тот принял Давида, не проявив излишнего любопытства.

Хильда Грот осталась в Ратцебурге, но Давида она не пыталась удерживать. Она, правда, побаивалась за сына, уехавшего в охваченный пожарами город, но сознавала — он рвется всей душой из города, где понимания и сочувствия соседей только-только хватало, чтобы, здороваясь, скрыть животный страх в глазах.

Новый хозяин Давида, человек немолодой, достаточно хитрый, понимал, что пускаться в расспросы опасно.

— В передрягу попал? — только и осведомился он и на кивок Давида буркнул: — Ну и ладно, а чего делать умеешь?

Вскоре обнаружилось, что он один из тех в общем-то неприметных, невзыскательных и миролюбивых людей, которые при определенных обстоятельствах могут обернуться нетерпимыми фанатиками. Человек в оружейном мастере Тредере был, можно сказать, овцой, оружейный же мастер был в нем волком, если позволено такое деление.

Давид за год ученичества не получил даже приблизительного представления о чудовищно многочисленной родне мастера. Ему казалось, что по мастерской и лавке катит непрерывный поток сыновей, дочерей, теток, внуков, кузин и кузенов, племянниц и невесток, незамедлительно унося с собой все, что Тредер получал благодаря блестящим махинациям с каптенармусами, буфетчиками и начальниками складов.

Создавалось впечатление, что военным мало крови, льющейся на войне, или что они побаиваются, как бы между боями не утратить меткость. Не успеют летчики из ночной истребительной авиации получить увольнительную, не успеют каратели прибыть для перевооружения с востока в столицу, не успеют в Потсдаме открыться краткосрочные курсы для солдат противотанковых частей из Италии, глядишь, тут как тут вояки или их посыльные, чиновники в форме или продувные бестии, засевшие на тепленьких местечках, урвавшие жирный кусок от армейского пирога, они являлись, чтобы проверить свои ружья и отправиться на охоту в леса вокруг Михендорфа и Букова. Иной раз они брали напрокат экземпляр из запасов Тредера, но чаще приносили трофейное оружие, его нужно было наладить для охоты на фазанов и кабанов или снабдить новыми приборами. Мастер Тредер был истинно ружейным королем, и хотя в любой казарме имелся свой склад оружия, а при каждом штабе — собственный оружейник, но знания этих специалистов ограничивались по большей части механикой, а от нее до оружейного искусства было — во всяком случае, согласно теории Тредера — так же

далеко, как от каноэ до подлодки капитан-лейтенанта Прина.

Обо всем этом Давид понятия не имел, представ впервые перед мастером, а потому до смерти перепугался, когда тот подверг его строжайшему экзамену, требуя сведений, которых Давиду неоткуда было бы взять, обладай он знаниями в объеме двух лет ученичества в Ратцебурге, а не будь он случайно знатоком истории войн и военного оружия. Но для Тредера, видимо, само собой разумелось, что новый ученик знает, когда обычную пулю сменил снаряд с цилиндро-оживальной головкой, в чем следует видеть заслуги оружейных дел мастеров Верндля, Венцля, Снайдера, Бердана, Арасаки и Веттерли или какое значение имели в году 1893-м обтюратор, уплотняющее кольцо, угломер-квадрант и модификация ружья М/86. Он показал Давиду собственную коллекцию оружия, своего рода домашний военный музей, и потребовал, чтобы тот, окинув лишь мимолетным взглядом хоть и нескладные, но ухоженные стреляющие механизмы на стене, определил виды замков и принципы их действия — фитильный, колесцовый, замок кремневого ружья, ударный замок или затвор системы «маузер», он желал получить точные данные о калибрах и видах нарезки, а также узнать точный вес пули японской винтовки образца 1905 года, словно это все равно что ответить, который час. А стоило Давиду задуматься больше чем на пять секунд, припоминая начальную скорость винтовки «манлихер», как Тредер недовольно буркнул:

— Да ты в своей ратцебургской дыре не со швейными ли машинками имел дело?

Что и говорить, Давид по большей части имел дело со швейными машинками и даже регулировал свободный ход велосипеда, а самым диковинным огнестрельным оружием, которое довелось ему держать в руках в крошечной мастерской, был карабин «каркано», итальянский сувенир какого-то ратцебургского вояки; однако первый хозяин строго-настрого наказал ему не проговориться Тредеру о зингеровских машинках и о велосипедах, иначе из ученья в Берлине ни черта не выйдет. Поэтому Давид, разыграв негодование, заявил, что тому, кто унижается до швейных машинок, лучше уж попросту ставить заплатки на велосипедных камерах.

— Ладно, этим пусть ведает рейхсмаршал! — удовлетворенно кивнул Тредер: видно, разыгранная будущим учеником немудреная комедия больше убедила мастера в пригодности Давида, чем результаты взыскательного экзамена.

Год ученья в Берлине открыл Давиду мир.

Раньше война представлялась ему всепоглощающим чудищем; это оно непрерывно требует, получает, хватает, это оно тенью

маячит каждый раз, когда тебе в чем-то отказывают, это оно служит объяснением, почему одного больше нет, а другого и быть не может; это чудище — причина всех бед.

У оружейника Тредера Давиду пришлось переучиваться. Беда была здесь предметом купли-продажи, нехватка высвобождала сокровища, внезапная смерть, случалось, порождала миллионы.

Однажды, например, в мастерскую заглянула вдова пивовара из Вейсензее.

— Мой муж погиб,— сказала она.

— Примите мое искреннее соболезнование, да, всем приходится платить дань,— ответил мастер Тредер.

— Благодарю. После него осталась коллекция оружия, что мне с ней делать?— спрашивает вдова.

— Да, задача не из легких, но так и быть, зайду посмотреть,— отвечает мастер Тредер.

Мастер Тредер раздобыл на час-другой грузовик вермахта и отправился в Вейсензее, а Давида предупредил:

— Имей в виду — ни жадного блеска в глазах, ни восторженных кликов, все, что мы там увидим, старье, все, к великому сожалению, начисто непригодные ружьишки, просто-напросто лом, ясно? Мы, собственно говоря, не торгуем ломом, но мы же не звери. Ты, само собой, туповатый ученик, смыслишь только в швейных машинках, и горе тебе, если твои бараньи глаза не увидят в двухстволке «лефоше» бросовый велосипедный насос! В мастерской пожалуйста, продирай глаза, но сейчас ты ни уха ни рыла ни в чем не смыслишь, ты туп, иначе помилуй тебя бог и наш истинно немецкий «Трудовой фронт».

Не желала бы вдова как можно скорей получить деньги, не нажимали бы на нее съехавшиеся наследники, ее наверняка озадачило бы поведение Давида. Она подметила бы что-то неладное, уж слишком умело, как бы походя, обращается молодой человек со сложными затворами и прицелами, чтобы быть желторотым юнцом, слишком легко заносит в записную книжку со слов мастера технические данные оружия, чтобы не понимать, о чем в каждом случае идет речь,— она увидела бы несогласие между сноровкой, которую дает только практика, и слишком уж нарочитой сонливой безучастностью на вообще-то весьма смышленом лице подмастерья, и конечно, ей нужно бы задуматься, почему этот парень если и открывал рот, то лишь неуклюже придирался тут к какому-то коричневатому налету в дуле, а там к какой-то поломке, будто сроду не имел дела с ржавчиной или спусковой пружиной.

Но вдова спешила, и мастер Тредер тоже заспешил, как только нагрузил машину. Мзда же Давиду за разыгранное

неведение выражалась в пятидесятимарковой купюре, игру эту он и намотал себе на ус.

Смерть пивовара многих осчастливила. Тредер по крайней мере каждому покупателю в военной форме, которому уступал экземпляры из столь выгодно приобретенной коллекции, немедленно давал почувствовать, каким великим счастьем было для того новое приобретение, а его, покупателя, счастье ему, Тредеру, высшая награда, и ему не нужно было добавлять, что, кроме этой награды, он сумеет оценить и небольшие дополнения из недоступных в принципе сокровищниц разных стран, занятых германской армией.

В Ратцебурге еще до того, как началась война, Давида учили бережно относиться даже к хлебу и маргарину; здесь же, у оружейника Тредера в Лихтенберге, он узнал, что такое изобилие. Иначе говоря, и ему кое-что перепадало, кое-какие блага и ему доставались, а проявлять за это свои таланты было тоже благом, хотя и иного рода. При покупках хозяин обычно отводил ему роль дурашливого придиры, зато при продаже назначал его на амплуа сведущего и восторженного знатока баллистики, который каждому оружию воздавал как технически, так и исторически обоснованную хвалу и лишь тогда с ужасом умолкал, когда понимал, чего до той минуты якобы не улавливал,— его шеф и учитель готов расстаться с восславляемой диковиной.

Мастер и подмастерье проявляли незаурядные драматические таланты, и впоследствии оказалось даже, что именно такое театрализованное представление, возможно, помогло Давиду пережить многих своих одногодков. В лавке Тредера появился в один прекрасный день генерал авиации и пожелал приобрести самое старинное ружье. Он так и выразился:

— Тредер, мне требуется самое старинное ружье, что скажете?

— Слушаюсь, господин генерал, на стенку вешать или стрелять?

— И то и другое, приятель, вещица чтобы и стену украшала, а при случае кабана уложила, хорошо бы что-нибудь древнегерманское.

— Э... знаете, господин генерал, во времена древних германцев мы, э... как ни жаль, еще не выдумали пороха.

— Но нынче-то, ого, нынче, хотите вы сказать, нынче мы порох выдумали, Тредер, старый хитрюга, ваш намек понял, терпенье, терпенье, скоро мы опять будем хозяевами воздуха. А ну, покажите-ка мне эдакую громобойку, шеф задумал грандиозную охоту, я даже маскарадный костюм нацеплю, но главное, мне надобен древний пугач.

Хозяин вызвал Даффи — он присвоил Давиду это имя, ибо настоящее слишком часто приходилось бы разъяснять, — и Давид, хорошо продумав последовательность, тащил генералу одно прадедовское оружие за другим, но при виде аркебузов и пищалей генерала все же передернуло.

— Эй, приятель, я не хочу привлекать к себе внимание, я хочу ружье, а это что за катапульта такая?

— Это опорная сошка, — спокойно объяснял Давид, — ружьецо-то весит добрых двадцать килограммов. Пока вы сыплете в него порох, свободна одна рука, а одной рукой, на мой взгляд, даже вы, господин генерал, эту пушечку не удержите.

— Даже я, ого, балаболка ты эдакая! А нет ли у вас чего поновей, самую малость, и чтоб без вил управляться?

— Не знаю, хозяин, — сказал Давид, — можно показать господину генералу мушкет Густава Адольфа?

Хотя хозяин впервые услышал, что владеет мушкетом Густава Адольфа, он кивнул и, чуть помедлив, согласился:

— Показать-то покажи, да из чистого интересу, такое оружие даже генералу в кои-то веки видеть доводится.

— «Даже генералу», ого, старый брехун, подавай твою игрушку!

Давид обходился с ружьем так, точно оно было из стекла.

— Просто не верится, триста лет от роду, а стреляет как новенькое! Да, да, оно отлично стреляет. Стой кабан хоть в двухстах метрах, тридцать четыре грамма свинца запросто пробьют его шкуру. Все потому, что шведская сталь, тут уж спорить не приходится, а легкое-то, и пяти с половиной кило не весит, всего пять триста. Не будь этого ружьишка, кто знает, может, мы все еще пребывали бы в католичестве.

— А ну погоди, — прервал его генерал, — это мне надобно поточнее знать, у меня уже работает воображение: я стою в лесу рядом с нашим первейшим охотником, поглаживаю шведскую сталь и небрежно бросаю: кто знает, господин рейхсмаршал, не будь этого ружьишка, мы, чего доброго, все еще пребывали бы в католичестве! Э, нет, стоп, черт побери, может, он, чего доброго, был католиком и это его больное место, но мне рассказывай все как есть, ради интереса.

Давид не заставил себя долго упрашивать.

— Когда Густав Адольф четвертого июля тысяча шестьсот тридцать первого года высадился в Померании, озабоченный судьбами протестантизма и потому еще, видимо, что войска Габсбургов под водительством Валленштейна, с его точки зрения, одержали слишком много побед в войне тысяча шестьсот двадцать третьего — тысяча шестьсот тридцатого годов между Север-

ной Саксонией и Данией, его войска были вооружены главным образом этими мушкетами, первым личным огнестрельным оружием в военной истории, при котором отпала надобность как в ружейной сошке с вилкой, так и в сошке с крюком, и если бы Густав Адольф в тридцать втором не погиб при Люцене, так прошагал бы с этим мушкетом по всей Европе. Но победить он победил, и где побывал, там все делались протестантами.

— Одним словом,— вмешался хозяин,— речь идет, господин генерал, о своего рода «чудо-оружии», какое вот-вот и мы заполучим.

— Опять вы со своими намеками, Тредер, старая лиса, но совсем недурно этак небрежно, между прочим заметить: да, между прочим, господин рейхсмаршал, как я уже сказал, это ружье — средневековое чудо-оружие, в связи с этим не позволите ли спросить... Короче говоря, приятель, что стоит твоя громыхалка?

Тут, собственно, Давид и подал свою главную реплику. Прижав к груди губителя католиков, он прошептал:

— Хозяин, я не ослышался, господин генерал хочет... купить? Но это же недоразумение, не правда ли, хозяин, мы же показали интереса ради. Конечно, я всего-навсего ученик, мое дело молчать, а на беду, господин генерал еще и генерал, ах, не то беда, что господин генерал — генерал, да ведь власть имеет приказывать, и прошу прощения, господин генерал, но у меня и в мыслях не было, что это ружье можно продать, хозяин всем всегда отказывал, да вот на днях у нас был господин Шниппенпес, что у Сименс-Шуккерта, вот я и подумал...

— Э, хватит, приятель,— оборвал его генерал,— что Шниппенпсина не получила вашей пукалки, так и быть должно, этакую вещицу не продают гражданским, но мне... Послушайте, Тредер, что у вас за порядки, когда вы отвесите парню подзатыльник?

— Отвешу, господин генерал, уж я ему отвешу, уж я его проучу. Не оправдываю его, нет, но чисто по-человечески его переживания понятны. Видите ли, у нас, оружейников, тоже своя гордость, ее мы денно и нощно внушаем нашим ученикам. Для нас продать такой мушкет — эй, Даффи, отнеси-ка его на место — примерно то же, что для вас потопить английский авианосец — о чем, кстати, давненько уже не слыхать. Да, парень у меня не очень давно, но, как я заметил, всю душу вкладывает в дело. И потому однажды в субботу я показал ему мушкет — он хранится отдельно,— рассказал о битве при... Люцове и обо всем прочем... Как бы там ни было, но он понял — это сокровище выражается не только в деньгах, но в первую очередь в моральных

категориях, и что же, господин генерал, он показывает вам оружие и вдруг слышит какие-то слова о купле-продаже. Честно говоря, мне тоже это нелегко дается, а парню все-таки не миновать взбучки.

— Э, что до меня, так простите его,— возразил генерал,— я не настаиваю, всегда уважал чувство чести. Но ближе к делу, Тредер, старый плут, называйте цену!

— Бог мой, цену, господин генерал, такую вещь ведь никакими деньгами...

— Я же сказал: называйте цену, а не цифру, голова садовая, однако, думается мне, без вашего военного историка мы теперь вполне обойдемся!

— Даффи!— рявкнул хозяин, и Давид исчез, а дня через три дом мастера Тредера кишел родственниками, и, судя по тому, что́ они уносили, Давид понял — да, генерал заплатил недурную цену.

От пивоварова наследства Давид так скоро не отделался. Будто мало было того, что он участвовал в купле-продаже и в установлении цен, а также содействовал бойкому притоку товаров, его еще привлекали к транспортировке и последующему перераспределению, а стоило ему, попав в торговую сферу, свести знакомство с генералом — чем, как позже оказалось, он застраховал свою жизнь,— так он принял участие и в потреблении доходов, что также имело самое прямое отношение к сохранению жизни, однако познания, которые он приобретал во время этих операций, не всегда носили экономический характер.

— Даффи,— объявил однажды Тредер,— проводи Урсулу в Тегель. Набьет чемодан до отказа, а потом, видите ли, не уволочет его. Тощая, что твоя палка, а жрет за троих!

Чемодан и правда был увесистый, а от Лихтенберга до Тегеля путь не близкий, пешком, на трамвае, в метро, опять на трамвае, опять пешком, а эта драная кошка, невестка, за всю дорогу словечка не проронила.

Только дома она наконец разверзла уста. Распаковав чемодан, о содержимом которого позаботились среди прочих пивовар, пивоварова вдова, шведский оружейный мастер, король Густав Адольф, два оружейника с актерскими талантами, а также генерал авиации, она спросила:

— А мартель вам известен?

— О, разумеется,— выпалил Давид,— Карл Мартелл, по прозвищу Молот, год семьсот семнадцатый — семьсот сорок первый, сын Пипина Среднего, мажордом Франкского королевства, он победил фризов, аллеманов, арабов и лангобардов, создал, так сказать, кавалерию как род войск, во всяком случае, в Европе...

— Во всяком случае,— прервала его невестка Урсула,— я не

его имела в виду. А вот это.— И она поставила на стол три бутылки.

— Нет, этот мартел мне неизвестен,— признался Давид,— я думал, вы имеете в виду того, при котором подвизался Бонифаций.

— Как так, он и его создал? Похоже, весельчак был этот майор. Превосходно, вы получите бутылку мартеля, вам еще неизвестного, а мне вы позднее расскажете анекдот о Бонифации, мне еще неизвестный.

— Но Бонифаций Карла Мартелла,— сказал Давид,— крестил язычников.

— Н-да, кошмарная путаница,— хихикнула невестка,— этого типа можете оставить себе. Только не вздумайте сочинять, будто не слышали о Бонифации Кизеветтере. Ах, как же вы миленько краснеете!

Давид воздал должное коньяку, забыв об осторожности.

— Эй, молодой человек, это вам не лимонад,— напомнила невестка, легко осушив, однако, стакан, словно он наполнен был именно лимонадом.— А что означает имя Даффи?— спросила она.— Не зовут же вас на самом деле Даффи? Постойте, выпьем-ка еще по стаканчику майорского винца, наливайте же, подмастерье! Вот хорошо! Так как вас зовут, имя, фамилия?

— Давид Грот,— ответил он и сжался, да, опять начинается история с его именем, никак этого не миновать, невестка невесткой, а измываться над собой он не позволит, какая-то щекочущая отвага распирала его грудь: пусть попробует ляпнуть что-нибудь о его имени, он ей парочку-другую Кизеветтеровых анекдотов отбарабанит, да позаористее, ха, пусть бежит к свекру, старому одру, то есть как к одру, к свекру, конечно же, а, да ведь это все равно, пусть бежит жаловаться, кто вспомнил Бонифация, не я же, ага, она уже открыла рот, но нет, первым делом опрокинула туда еще стаканчик, стаканчик майорского коньяка, блестящая идея — назвать коньяк именем создателя кавалерии, истинно коньячная идея, ха-ха-ха, коньячная идея, остроумно, вот оно, начинается, сейчас она скажет, ах, мол, как странно, что вас зовут Давид, но послушайте, я же могу зваться как хочу...

Он не ошибся. Она начала с имени. Подмигнув ему через пустой стаканчик, она переспросила:

— Давид? Это же тот, кто самострелом прикончил мерзкого великана.

— Пращой,— поправил Давид.

— Пращой?— переспросила невестка Урсула.— Это что, катапульта? А ну покажите-ка, я, кажется, вижу подозрительное местечко.— Она поставила стаканчик и протянула руку, словно

желая удостовериться, к местечку, где, как он до той поры наверняка знал, он никакой катапульты не прячет, сейчас, однако же, чувствуя ее руку, потерял былую уверенность, а уж как бы он рад был, чтобы две руки, внезапно ухватившие завязки от юбки и какой-то чудной пояс на спине этой дамы, не оказались его собственными, однако это ему не удалось, ибо остатками мозгов он ухитрился сосчитать: две руки невестки, две твои, вместе четыре, а сзади ведь не невесткины, она же одной выискивает катапульту, и, бог мой, кажется, она ее нашла.— Хм,— сказала невестка, а потом удивилась:— Да что с тобой? Не стой истуканом, да нет, стой, но не истуканом, ах, пожалуйста, еще, еще!

— Пожалуйста,— ответил Давид, вернее сказать, полагал, что ответил.

На обратном пути он подумал: в Ратцебурге я бы этому в жизни не научился. Да, одно дело жить в Ратцебурге и совсем-совсем другое дело — жить в Берлине.

4

И вот этот человек вышел на лестницу, сказал: «Пока, Франциска!» — чмокнул ее, как обычно, в нос, помахал, как обычно, из лифта, но тут, как обычно, что-то вспомнил, на этот раз не свое «Сегодня я чуть-чуть задержусь!», на этот раз он прошептал:

— А знаешь? Меня хотят назначить министром!

С этими словами он захлопнул железную дверцу, едва не сломав себе, как обычно, руку, чертыхнулся в лифте, свистнул еще раз с первого этажа наверх, и его тут же унесла «Волга».

Но если он станет министром, не свистеть ему больше на всю лестницу!

Если он станет министром? И если китайским императором — тоже. А если шахом персидским, так рук ему в лифте не ломать. А если магараджей Эшнапурским, так ездить ему на слоне, а не на «Волге».

Франциска Грот, именуемая Фран — за исключением утреннего прощания и особо торжественных минут,— убрала посуду после завтрака и, заметив сахарную дорожку от сахарницы через весь стол до чашки Давида, поняла, что все осталось по-прежнему. Она давно отказалась от борьбы с дурацким воздухоплаванием сахара и давным-давно уже не придвигала мужу сахарницу к чашке или, что она также пыталась делать, чашку к сахарнице — давно было доказано: ему обязательно нужно что-нибудь рассыпать, ну, если ему больше ничего не нужно,

пожалуйста, пусть себе! А сегодня у него, верно, опять разыгралось воображение, подумать только — министр. А что сегодня, вторник? Но редколлегии по вторникам не бывает, это спокойный день, в этот день он, как правило, не фантазировал.

Министр! Этого еще не хватало. Тогда-то уж фрау Мауер наверняка возьмет расчет, да, ничего не попишешь, она заявит:

— Стало быть, фрау Грот, ничего не попишешь, в этой игре я не участвую. Вы же не скажете, чтобы я когда-нибудь жаловалась, но это чересчур. При всей любви к вам. Я тоже только человек и, как вам хорошо известно, кроме работы у вас, занята в домовом комитете. Со стороны глядеть, кажется, легко, да со стороны все легко, но должна вам сказать, фрау Грот, уж тут ничего не попишешь, видимость обманчива, а в моем конкретном случае тем более. Знали бы вы, чего только не приходится доделывать в этих новостройках, пока они не перестанут быть стройками, а станут человеческими домами и квартирами, в которых уютно жить! Телефон звонит непрестанно, и я непрестанно что-то должна сделать: послать слесаря, принять меры, запретить псам гадить на газонах, как говорится на простом немецком языке, открыть подвал, чтобы эти чокнутые вытащили стол для пинг-понга, и горе мне, если что-то не клеится, в чем я ни сном ни духом не виновата, а стоит мне произнести слово «мастер», и больше мне слова не дадут вымолвить, вы понимаете почему, и вы же прекрасно знаете, фрау Грот, что твердят мне все в один голос. Мне твердят: какого черта вы работаете у главного редактора? Расскажите-ка ему обо всем, пусть пропечатает в журнале! Ничего не попишешь, фрау Грот, людям не втолковать, что господин Грот худ как щепка и без их дел. А теперь министр? Смех и грех, держите его тогда на улице покрепче, как ветер подует. Не поймите меня превратно, фрау Грот, но какой господин Грот министр? Он и для главного редактора худющий. Вот вам мое последнее слово: в этой игре я не участвую, при всей любви к вам, фрау Грот, ничего не попишешь.

Фран улыбнулась, но задумалась: а я, буду я участвовать в игре, если он придет и на самом деле вполне серьезно скажет: знаешь, мне предложили стать министром?

Тут всякой шутке конец. Есть вещи, которые так запросто не делаются, это тебе не лотерейный билет купить, на который обещан сказочный выигрыш: сто тысяч марок. Замечательно, вот вам пятьдесят пфеннигов, с сердечным приветом президиуму Красного Креста.

Да, если бы муж пришел и объявил, что ему предложили стать главным редактором первой газеты на Луне, значит, у него разыгралось воображение, это настолько неправдоподобно, что

тут еще можно принять меры.

Но министр, в нашей стране? Это, правда, забавно, но слишком уж похоже на правду. Такое в нашей стране вполне может приключиться.

Кто-нибудь, кто хотел бы придраться к социализму, мог бы упрекнуть социализм в том, что он ставит предел миру грез. Ставит ему предел, заселяет его или застраивает, как бы там ни было — заменяет действительностью и тем самым преображает.

Если увлечешься старинным романом средней руки — в отпуске всякое случается, — там можно наткнуться на эдакие устаревшие желания. Там бедняки позволяют себе роскошь украдкой мечтать: вот было бы чудесно, если бы наш мальчик стал доктором, лечил бы тяжкие недуги, приобрел уважение, и деньги, и милую, складненькую женушку!

А то бывает, они в мечтах возводят своего сына в пасторы, видят его в красивой церкви на кафедре, что, уж конечно, высшая точка, на какую возносит его их фантазия.

Или на гимназическую кафедру. Это вершина, достигаемая лишь в мечтах. Люди скромные мечтали лишь о школьной кафедре, их милый сын станет «господином учителем». Но прорывались и необузданные мечты, когда бесконтрольная фантазия обращала учителя в старшего учителя, а старшего учителя в директора гимназии, а уж директора едва ли не в небожителя, который зовется профессором и все же каждый воскресный вечер навещает мать, пьет с ней чашечку кофе — преданный сын, хоть и вознесенный на сверкающую вершину феерической карьеры.

Но всегда мечты относились только к сыновьям и звания, которыми их награждали в мечтах, были мужского рода: врач, или пастор, или профессор, а то даже генерал.

Однако, чтобы начертать легендарный путь дочерей, тоже требовалась немалая отвага мысли, хотя изобретать его было куда легче, ибо предназначение дочери, во всяком случае в тех рамках, — быть спутницей, спутницей жизни, супругой и, опять-таки предел мечты, «госпожой профессоршей».

А ты хотела бы стать «госпожой профессоршей», Франциска? Нет, ты не смейся, хотела бы или не хотела?

Если мне не позволено смеяться, то я на подобный вопрос ответить не могу. Не позволишь человеку смеяться, и он не отнесется серьезно к предложенному вопросу. Только тот, кому разрешено смеяться, может дать правильный ответ. Пышные слова, но и вопрос в конце-то концов не пустяковый, хоть и курьезный.

Я — госпожа? Я — госпожа, а Давид, значит, господин, мы

вместе — господа, недурная пара. Давиду положена бобровая шуба, а мне — каракулевая муфта. Да, сдаюсь, вопрос отпадает, мне с ним не справиться: каракулевая муфта. Для кого символ госпожи — каракулевая муфта, тот доказывает, что не созрел для достижения более высоких ступеней; для кого бобровая шуба — отличительный признак высокого положения, тот вылетает из кандидатов на ответственные посты. Бедная Франциска, откуда вынесла ты свои понятия?

Франциска очень хорошо знала, откуда она вынесла подобные понятия и почему подумала именно о бобровой шубе и каракулевой муфте.

Эти понятия она вывезла из Вейслебена, городка с четырьмя тысячами душ населения, расположенного в одной из самых плодородных долин Германии, в Бёрде; богатейший гражданин этого городка был владельцем кинотеатра в Магдебурге, а также бобрового воротника на коричневом пальто; а каракулевая муфта имелась у жены управляющего сахарным заводом, она и вообще-то была красавицей.

Прошли годы, ты не раз видела норку, котик и соболь, но старые понятия держались упорно, и всякий раз память, когда от нее требовали назвать приметы благосостояния, знатности и барства, выдавала прежде всего понятия «каракулевая муфта» и «бобровая шуба».

А задала бы ты памяти ключевое слово «графиня», понятие, близкое «госпоже», только более сказочное и одновременно более точное, мозговому компьютеру не пришлось бы долго искать и перебирать, в его памяти хранится кое-какая информация, прежде всего благодаря господам писателям, от Андерсена до Шокке, Генриха, но главную информацию поставляет лично пережитое, а потому первый ответ на запрос «графиня» будет «графиня Лендорфф».

Графиня была не только из древнейшего рода аристократов, но также из новейшего рода ловкачей журналистов. Родилась она на Востоке, жила на Западе. В ее устах слово «Восток» попахивало «сбруей», а в слове «Запад» слышались стихи Сен-Жона Перса. Когда же она говорила о людях — о наших людях, или «тех» людях, или о людях, хозяйничающих в ее бывшем имении, или «тех», с кем она на днях беседовала на заводе, в этом слове звучало пренебрежительное благоволение в духе демократизма старого Будденброка и бодрой сердечности прусского полковника, коему ведомо, что ни на пополнение, ни на деблокаду он в ближайшее время рассчитывать не может и в жизни или смерти обречен рассчитывать только на своих солдат. Графиня была умна, умела смеяться, одевалась изысканно, в

серо-коричневые тона, рассказывала еврейские анекдоты и могла выпить стопку-другую крепчайшей водки «нордхойзер», а докторскую защитила на тему «Отношение Адама Смита к физиократам». Такого рода враг опасней всего, ибо создавалось впечатление, что с ним можно найти общий язык.

— Лендорфф,— представилась она.

— Грот,— ответила Фран.

Они пожали друг другу руки и оглядели друг друга с ног до головы.

— Я полагаю, и, видимо, справедливо, что вы получили обо мне исчерпывающую информацию,— продолжала графиня,— надеюсь, вы позволите и мне сделать ответный ход. В конце-то концов, нам в ближайшие две недели предстоит вдвоем колесить по стране.

Если бы речь шла только о счете «ровно», она удовлетворилась бы после первых четырех вопросов, но у нее, по-видимому, имелись свои собственные представления о должности и задачах Фран, она объявила, что ее правило в общении с людьми — чистосердечие, это наследственная черта Лендорффов, правило, бог тому свидетель, не всегда удобное, что поняли еще Гогенцоллерны, танцуя с Лендорффами, и сам господин Фрейслер, да, он тоже, он зубами скрежетал, допрашивая ее дядю Олрика фон Доленхоффа после двадцатого июля, чистосердечие Доленхоффов оказалось явно не по вкусу этому омерзительному извратителю немецкого права. Зато в воспоминаниях дяди Олрика это один из самых блистательных эпизодов, быть может, Фран читала: Олрик фон Доленхофф, «Чистосердечные воспоминания времен войны и мира»?

— Мне не часто удается читать,— ответила Фран,— а если уж я читаю, то специальную литературу или роман.

— Расскажите о себе,— попросила графиня.— Если уж ваш отдел печати посылает вас со мной в это путешествие, то я включу и вас в свои исследования. Как вы живете?

— Как я живу? Работаю, иначе говоря, фотографирую, у меня муж и ребенок.

— А чем занимается ваш муж?

— Он тоже работает в журнале.

— Журналистское супружество — не слишком утомительно?

— Мне известен только этот вид.

— А не хочется ли вам порой остаться дома, не ходить на работу?

— Довольно часто, но фотография не только работа.

— А что же?

— Быть может, игра, или открытие мира, или возведение

памятников.

— Разве это женское дело?

— И это спрашиваете вы, именно вы, фрау... Да, как надо к вам обращаться — «госпожа доктор» или «госпожа графиня»?

— Просто графиня.

— Просто графиня? Мило. Да, что же считать в наши дни женским делом? Например, ваша поездка по этой стране разве женское дело?

— Ну, из моего ходатайства в ваш отдел печати вам известно, что я интересуюсь главным образом положением женщины в общественной жизни вашей страны. Вы, например, считаете свою деятельность и свою должность естественной; вы считаете естественным, что облечены известной политической или административной властью...

— А разве я облечена?

— Мне думается, да. Во всяком случае, господин в отделе печати именно этим объяснил мне, почему вы меня сопровождаете, и, видимо, пытался подсластить пилюлю. Без вас, сказал он, мне не подступиться к вахтеру даже небольшого предприятия. Вам есть что скрывать?

— Извините, графиня, вы сами сию секунду сказали, что меня посылают с вами, чтобы вы могли войти в любую дверь. Но прежде всего, так, во всяком случае, я понимаю свою задачу, я еду с вами, чтобы фотографировать, я не пропуск, а фотограф.

— Превосходно, Франциска, посмотрим, что важнее.

Фран едва не позабыла свой первый разговор с графиней Лендорфф и поездку с ней; ведь они вели не более чем чопорную и обтекаемую беседу, два совершенно разных человека, которые еще не знают, как подступиться друг к другу, и не спешат изменить ситуацию; поездка, вынужденная общность на длительный срок и в первую очередь работа вдвоем потребует тысячу тысяч слов, тогда-то они узнают, кто есть кто, что каждый собой представляет и почему именно это, а не то.

Скоро, однако, выяснилось, что такова лишь точка зрения Фран, но не спецкорреспондента доктора Ренаты графини Лендорфф. В ее очерке «Экспедиция к ближайшим соседям» мелькало некое странное существо, которое иной раз, и тогда в кавычках, называлось «сопровождающая» или «фотограф», чаще же без кавычек, наводящих на сомнения: моя очаровательная тень, фрау Сезам, дама из отдела печати и — всякий раз, когда графиня хотела подчеркнуть чуждую ей терминологию человека, которого она интервьюировала,— моя переводчица. Что же до разговоров между Фран и графиней, разговоров о духáх и детях, крейсерах в Карибском море и социальном страховании, о

лечении рака и Манхэттене — городском районе и «манхэттене» — коктейле, о Давиде Ойстрахе, кафеле, пленке «ОРВО», Сукарно, автодорожном налоге, о модах в журналах «Вог» и «Сибилла», о Штритматтере и опять о дяде Олрике фон Доленхоффе и самообслуживании, об апартеиде, о кампаниях «Без бюстгальтера» и «Без меня», о Франце Йозефе Штраусе (единогласие) и журнале «Шпигель» (разногласие), об Ульбрихте (разногласие) и о мужчинах вообще (полное согласие), о Гринвич-Вилледж (небольшая суховатая лекция, прочитанная доктором Ренатой графиней Лендорфф) и телепрограмме из Адлерсхофа (продолжительная темпераментная лекция, прочитанная фрау Франциской Грот), о гостинице «Урсула» в Хельсинки, в которой обе жили, и квартирах, в которых обе в жизни не хотели бы жить, об Иве Монтане и Фёльзенштейне, о Марии Каллас, о Кларе Цеткин и глупейшей суете мужчин в день Восьмого марта, а попутно о Дне матери, о противозачаточных пилюлях, а попутно о папе римском и Мартине Лютере Кинге, о блюдах из риса в здешних местах и по ту сторону границы и о лозунгах «Равная оплата за равный труд», «За твою продукцию — тебе отвечать», о рекламах: «Будешь чем-то владеть — сам будешь кем-то», «У этой хозяйки самое белое белье» и «Что-нибудь новенькое — как хорошо!», о лозунге «Ами, вон из Вьетнама», о Вьетнаме, и еще раз о Вьетнаме, и о тысяче тысяч разных разностей — о местностях, явлениях, положении вещей в этом мире, о мифах, понятиях, именах и реальных фактах,— разговоров, многократно объемлющих всю нашу землю и небо над ней, разговоров о бытовых мелочах в масштабах корыта и о проблемах в океанских масштабах, разговоров веселых и язвительных,— да, что до разговоров, то разговоры эти вели две донельзя чуждые друг другу женщины, спутницы на срок, которым ничего более не хотелось, считала Фран, как произвести хорошее впечатление друг на друга и выполнить свою работу.

Следы этих разговоров обнаружились впоследствии в очерке графини об экспедиции к ближайшим соседям, но только в такой форме: «как я слышала», или «мне дали понять», или «в городе N я узнала», или «тайком сказала мне одна молодая женщина», и Фран с удивлением увидела себя в самых разных обличьях; она читала, правда, свои слова, но видела, что ее обратили в «коренастую крестьянку, члена производственного кооператива», или в «робкого старшеклассника», или «на удивление самоуверенного молодого ученого», а однажды даже в «грубоватого моряка, самобытного парня из самобытных мест где-то на Балтийском море», тут наконец она взорвалась и с возмущением воскликнула:

— Так ведь я родилась за тридевять земель от моря, в самом сердце Германии, в Бёрде!

Давид от смеха едва не лопнул.

— Ох, разрази меня гром! — выкрикивал он. — Все-то она терпела, но не тронь ее прав на родину. О плодородная долина Бёрде, не только свекла накрепко вросла в твою почву, но и дочери твои порой ничем от нее не отличаются! Скажи честно, твой портрет, каким его преподнесла госпожа графиня, не так уж тебя коробит, как коробит то, что, распределяя твои драгоценные мысли, она не забыла и бравого морячка?

— Не знаю, коробит ли это меня. А вот читаю очерк и начинаю понимать, до чего я значительная особа и продувная бестия.

— Ну, не такая уж и продувная, графиня тебя тотчас раскусила: «Официально и частично в соответствии со своей основной деятельностью моя сопровождающая была газетным фоторепортером. Вне всякого сомнения, не знаю, в какой уж там школе, но фотографировать обучили ее превосходно. Свои элегантные платья она умеет носить элегантно, но мне всегда мерещился на ней едва уловимый абрис кожаной куртки. Надо, однако, признать: те, кто сочинил ее роль в сценарии, кое-что смыслят в подборе исполнителей; эта женщина поистине идеальное доверенное лицо, очаровательная сероглазая особа, она свободно изъяснялась на жаргоне рабочих, директоров и партийных секретарей, храбро сметала с нашего пути всех бюрократических противников диалектическими приемами каратэ, а возможно, и зашифрованной от меня ссылкой на своих непосредственных заказчиков, пожелавших иметь первосортные фото.

Рано или поздно она получит более ответственное задание, и мы, быть может, встретимся с ней вновь — на коктейле в ООН или на приеме в одном из посольств ГДР, которых ныне еще не существует, но которые неизбежно существовать будут, и Франциску Г. мне представят как резидента, простите, это описка фрейдистского характера, как президента, хотела я сказать, например, Объединения народных оптических предприятий, но, право, не думаю, что она меня узнает, не думаю даже, что она вспомнит, что некогда звалась Франциской Г. и существовала как таковая: милая молодая женщина из Средней Германии, на которую пока ее профессия не наложила своего отпечатка, профессия, которая в конце-то концов всегда ведет в места не столь отдаленные».

— Пусть лучше не попадается мне на глаза! — объявила Фран.

— А как ты бы тогда поступила? — смеясь, спросил Давид. — Сказала бы: ах, графиня, вы меня разочаровали, вы написали

очерк, достойный высокооплачиваемой западной журналистки, которой мешает уже само по себе наше существование, а я, положа руку на сердце, действительно всего-навсего фоторепортер, и даже цвет моих глаз — естественный. Так в чем бы ты ее еще упрекнула? Что твою сотню умных мыслей она раскидала примерно на все население ГДР? Ну послушай! Ты высказывала примечательные соображения, ей хотелось включить их в статью, но, во-первых, было бы слишком монотонно, если бы она то и дело писала: таково мнение Франциски Г., так считает Франциска Г., и во-вторых, это не соответствовало бы образу, который ей нужен; сопровождающая из отдела печати, как она постоянно и не без изящества повторяет, обязана быть личностью темной, образом из комедии плаща и шпаги, такая болтушка, как ты, ее не устраивала.

— Это я-то болтушка?

— Ты болтушка, временами, но, в который раз довожу до твоего сведения, мне это по душе.

— Благодарю вас, папенька,— пролепетала Фран, сделав неуклюжий книксен и стыдливо опустив глазки.

Она злилась и на его отеческий тон, и на свое глупейшее поведение, она и сейчас еще злилась и знала наверняка, что никогда не притерпится к Давиду в обличье Будды с огромным животом.

В этом обличье он вполне мог сказать «детка», или «ну, будь умницей, слушайся», или «попытаюсь выразиться попроще», а в критические минуты даже так: «и подумать только!».

Против этого было одно-единственное средство — молчать и смотреть, смотреть ему прямо в глаза, сдвинуть ноги, носок к носку, щиколотка к щиколотке, колено к колену, ручки сложить, слегка подобострастно пригнуться, вытянув шею, губы чуть выпятить, ноздри раздуть, а глаза вытаращить и округлить: дохнуть не смей, великий Готама вещает! Если ты выдержишь, он не выдержит; все ученье его раскрошится, крошки разбухнут в глотке, а Будда, который сипит и теряется перед публикой, потеряет свою значимость.

Разумеется, стань он в самом деле министром, дурная привычка поучать ему, возможно, пришлась бы кстати. Сотрудники обычно ожидают от шефов разного рода поучений; хоть терпеть этого не могут, но все-таки ожидают. Видимо, одно из тех древнейших установлений, без которых и ныне не обойтись. Еще не обойтись или никогда не обойтись?

А начальники ожидают от своих подчиненных этого ожидания, и по манере, в какой они оправдывают эти ожидания, легко угадать, что они за шефы. Они строго, но справедливо придержи-

ваются инструкций, они читали Макаренко и все свои распоряжения сдабривают щепоткой педагогики, а указания дают вопросительным тоном: нельзя ли это дело повернуть так-то... или: я как раз обдумываю, нельзя ли... или: как вы полагаете, возможно ли, чтобы?..

Метод неплохой, но требует больших усилий; чтобы, пользуясь им, добиваться успеха, то есть, несмотря на него, осуществлять собственные замыслы, надо внутренне подготовиться к аргументам и контраргументам, и, если уж ввел подобный вопросительный тон, знай заранее: тебе будут отвечать в том же вопросительном тоне, ни под каким видом не скажут четко «нет», хотя намерены сказать именно «нет», станут размышлять вслух над данной идеей, поначалу найдут ее, без сомнения, заманчивой, но уж словечком «поначалу» дадут понять, что вот-вот перестанут находить эту идею заманчивой, а последующий вопрос обнаружит, что замечательную еще секунду назад идею шефа они вообще-то считают хреновой. Гм, бормочут они, и это столь же почтительное, сколь и отклоняющее «гм» уже само по себе великое искусство, гм, подобное соображение, разумеется, весьма заманчиво, однако следует, конечно же, выяснить, действительно ли предпосылки, из которых исходит шеф при постановке своего вопроса... Чтобы остаться шефом не de jure, что могло бы тянуться довольно долго, а de facto, именно в этот миг следует отбросить всякую неопределенность и четко заявить: вопрос решен, все в полном порядке, а сейчас следует заняться дальнейшей его разработкой.

Метод, противоположный методу Макаренко, был хоть и проще, но давно устарел и вызывал всеобщую антипатию, а простота его к тому же была кажущейся, ибо, пользуясь им, можно было поначалу добиться успехов, однако он же мог завести в ловушку. Этот так называемый генеральский метод осуществлялся по формуле: я приказываю!

Я приказываю! — легко сказать, ведь догадливые подчиненные хорошо знали, что здесь не фронт, и потому, рявкнув «так точно!», настаивали: прошу подтвердить ваше приказание письменно!

Против этого возразить трудно, ибо внутренний закон подобной системы руководства гласил: бумага есть неизбежный катализатор всех желаемых процессов. Однако же если результаты в конце концов получались не совсем такими, как желало начальство, если они оказывались плачевными и вставал вопрос о виновнике, тогда основное досадное свойство каждого катализатора обнаруживало свою вредоносную сторону. Катализатор, правда, ускоряет реакцию, но не принимает в ней участия и

потому не претерпевает изменений. Роковая бумага с роковым словом «Приказываю!» оставалась жить, пусть даже данное распоряжение давным-давно обратилось в дым и занесено в убыток...

Потому-то ныне редко встретишь руководителя с ярко выраженными погонами; все теперь делалось на штатский манер и вполне демократично, а трудности переходного периода давали себя знать то в затяжных прениях, то в высокопарной лексике жарких споров или в забавном феномене подчеркнутой приветливости.

Особенно примечательным в этом смысле был тот статс-секретарь, который произвел на всех подкупающее впечатление человека делового и компетентного, пока во время осмотра завода шел разговор о трудностях с материалами, о проблемах рабочей силы и технологии и он, казалось, совсем забыл о представителях прессы. Но вот наступил перерыв, все пошли закусить, и человек, минуту назад одержимый своим делом, умевший ставить точные вопросы и давать точные ответы, сочетавший в себе скромность и решительность,— он же, едва вспомнив о журналисте с блокнотом и журналистке с фотоаппаратом, заговорил покровительственным и панибратским тоном, а первое, что слетело с его губ, был привычный штамп: поглядите-ка...

— Поглядите-ка, коллеги, какими простыми методами решают наши друзья из газеты свои технические проблемы, поглядите внимательно на этот штатив, посчитайте его ножки.

Он не скрыл, что в незапамятные времена был фотографом-любителем, пустился в рассуждения о сдвинутом изображении и оборванной пленке и дурацкой болтовней окончательно подорвал бы свой авторитет, не вспомни он под конец историю, благодаря которой в глазах Франциски вновь обрел ум и человечность, хотя бы потому, что не забыл этой истории и почел нужным ее рассказать.

— Дело было давным-давно,— начал он,— сто лет назад. Однажды воскресным вечером, осенью, я возвращался из кино. Фильм был порядочной мутью, и вечер был мутный, а перспектива провести остаток дня за изучением политической экономии в моей меблирашке тоже была не из веселых. Я понуро шагал по дорожке через садовые участки, в районе которых жил, и вдруг на углу моей улочки Лупиненвег вижу: стоит человек. Невысокого росточка, старенький, он показался мне каким-то странноватым. Видимо, хотел принарядиться, да не очень у него получилось. Рубашка, правда, белая, но древняя и ветхая, а галстук, закрученный вокруг шеи, выдавал, что он целую вечность не

носил галстуков. И вдобавок махонький плащ, непонятно, как на таком маленьком, тощем человечке плащ выглядел таким махоньким. Похоже, детский был плащ.

«Прошу прощения,— сказал он,— нет ли у вас фотоаппарата?»

«Есть»,— ответил я и подумал: что же дальше?

«Хочу только спросить,— сказал он,— вы не щелкнете?»

«Сейчас?— удивился я.— Кого?»

Он глянул в хмурое небо и кивнул, точно показывая, что понимает — да, время неподходящее,— но заявил очень решительно:

«Нужно обязательно сегодня. Нынче у нас, понимаете ли, золотая свадьба!»

Я горячо поздравил его. С достоинством приняв поздравления, он дал свой адрес: Хагебуттенштиг, четыре, и отправился к гостям, а я за аппаратом.

У меня на пленке оставалось еще десять кадров, и я готов был благодарить старика. На аппарат я долго копил деньги и приобрел его с великой радостью, но уже с середины первой пленки не знал, что запечатлеть своей машинкой: домишко, в котором я жил, и опять домишко, и мою хозяйку, это мне быстро прискучило. И вдруг — золотая свадьба, вот настоящая проверка, настоящее испытание, настоящий экзамен! Забавно, но мысленно я видел не отдельные кадры, нет, мысленно я видел портретные и бытовые фотоэтюды, создавал композиции, композиции из света и тени; я желал создать картину в рембрандтовской манере, это будет лучший портрет года, я назову его «Человек на золотой свадьбе», и еще я задумал кое-что в манере Брейгеля, перед моим мысленным взором громоздилась гора кренделей, я видел внуков, жрущих сосиски, и дюжину упившихся племянниц.

Увы, свадьба оказалась жалким зрелищем. «Золотая» невеста, видимо, приложила еще больше усилий, чтобы принарядиться, и, пожалуй, столь же безуспешно, что и «золотой» жених. Может, я несправедлив, но ее чисто умытое лицо так бросалось в глаза, словно обычно она не слишком-то старательно умывалась. А платье она наверняка не стирала с незапамятных времен, что было заметно, несмотря на его черный цвет. Нет, не стану приукрашивать: я сразу понял — они не просто бедняки, они люди опустившиеся. Запах вермута исходил не только от единственной бутылки и двух недопитых рюмок, а скатерть покрылась пятнами не сегодня; когда же я снял абажур, чтобы дать больше света, то всколыхнул пыль, покой которой не нарушали по крайней мере со дня серебряной свадьбы.

Жених и невеста сидели в одиночестве, не заметно было и следов побывавших гостей, да и писем как будто не пришло, к

липкому несессеру на комоде прислонились две открытки, одна из Пизы, другая из Цигенхальса под Берлином, они пожелтели, и на каждой три из четырех уголков загнулись.

«А вот и фотограф»,—сказал жених, когда я вошел в комнату, и мне показалось, что в его сообщении прозвучали нотки триумфа.

Женщина кивнула и водрузила на голову серебряный свадебный обруч.

«Ведь не видно будет,—спросила она,—золотой он или серебряный? На карточке не видно будет?»

Я усердно возился с аппаратом и с лампами, страстно мечтая поскорее вернуться к своей милой политэкономии. Я наплевал на Рембрандта и Брейгеля, на все и всякие художественные композиции, я щелкал и щелкал, как только жених и невеста уселись на стулья. На снимках потом трудно было что-либо разобрать, на одном еле видна женщина, она как раз поправляет украшение на голове. Она тогда сказала: «Обруч еще от прошлого торжества. Таким, как мы, золото не по зубам. Нет, не по зубам, да еще в этом государстве!»

Что сказали они о фотографиях, я не знаю, я бросил им все снимки в ящик у калитки; меня воротило от их брюзжания, от идиотских слов о нашем государстве, но главное—я ушел, чувствуя, что меня здорово надули или по крайней мере за мой счет довели до конца старый спор, какую-то руготню, у которой в этот день тоже был золотой юбилей, уходя, я услышал в тамбуре, как старик сказал: «А ну говори, у кого ничего путного не выходит?» И она ответила: «Да я разве что говорю? Только одно скажу: раз в пятьдесят лет, поди, маловато!»

Словно опасаясь, что над историей посмеются или, чего доброго, начнут ее обсуждать, статс-секретарь поднялся, произнеся последние слова, и все настроились было на вторую половину обхода, но тут этот чудак еще раз остановился и добавил:

— Кто знает, что это были за люди?

Нет, в конце подобной истории говорить такие слова Давиду Гроту никак было бы нельзя! Он тут же воскликнул бы: «Ну а почему он этого не узнал? Почему не докопался до сути! Почему не искал ответа, если считал, что ответ заслуживает внимания? Уму непостижимо: встретить загадку и преспокойно засесть за политэкономию! Велика ученость: разгадывать буковки, а не людей! Я бы лежал и лежал под окнами золотых молодоженов, пока не уяснил себе всей картины с малейшими деталями: с серебряным обручем и открыткой из Пизы, вермутовым зловонием и государством, в котором позолоченные безделки иным не по зубам. От таких историй у меня нутро переворачивается. Я бы

этим потасканным Филемону и Бавкиде фотографии по одной носил да выспрашивал бы все подробности, вплоть до первого свадебного пира, я бы... Боже, вот досада-то!»

Давид и впрямь так поступил бы, его и впрямь душила досада, что упущена блестящая возможность напасть на след людей, на след человека.

— Наш журнал не просто иллюстрированный листок,— изрекал Давид в торжественные минуты.— Долг нашего еженедельника — внести свой вклад в человеческую историю, а история рассказывает не только «что произошло», она объясняет и «почему это произошло», иначе она гроша ломаного не стоит. И наш журнал гроша ломаного не будет стоить, если не ответит «почему», а вы как журналисты ни черта не будете стоить, если не станете гоняться за этим «почему», как министр финансов за справкой об уплате налогов.

Горячность, с которой Давид отстаивал свое мнение, едва приступив к работе, была рождена догадкой, что ему окажут сопротивление, и горячность его, когда в позднейшее время разговор заходил на эту тему, не уменьшалась именно потому, что он твердо знал теперь то, чего раньше только опасался: одно дело наметить это «почему» в программе действий и совсем другое — осуществить намеченную программу.

Помимо существующей журналистской традиции, согласно которой иллюстрированный журнал отвечает своей задаче, представляя текущие события в иллюстрациях и лишь давая к ним подписи, дабы предотвратить заблуждения читателя,— Давид охотно приводил как классический пример подобных разъяснительных комментариев подпись под фотографией двух высокопоставленных лиц, облик которых соблазнил не одну сотню художников на дружеские шаржи, обстоятельство, не послужившее, однако, редактору достаточным основанием отказаться от подписи, гласившей: «Император Эфиопии Хайле Селассие (слева) беседует с вдовой американского президента миссис Элеонорой Рузвельт (справа)»,— итак, помимо семейных распрей между фоторепортерами и просто репортерами, Давиду случалось порой испытывать и на более высоком уровне куда более резкое и мощное сопротивление показу этого «почему». Но споры на таком уровне уводили стороны далеко от вопросов техники и экономии места на полосе, они вели в сферы основных принципов, а в спорах о принципах увядал юмор, исходя из них, зачастую запрещалось не только иллюстрированное «почему», запрещалось публиковать также иллюстрированные «что», голый факт, фотографию, изображение этого факта, ибо следствием такой публикации было бы не разъяснение, а полное смятение читателя.

Пример тому «дело ЗАКОПЕ», которое не расскажешь в двух словах, как анекдот с императором Хайле Селассие слева и миссис Рузвельт справа, над ним не посмеешься так, о нем и не поспоришь. Здесь речь пойдет о попытке переворота и одновременно курьезе. Об экономическом путче и одновременно о курьезе. Окончилась эта история как драма, протекала как сатирический рассказ Ильфа и Петрова, а началась почти как старая добрая сказка, она началась с дедушки Киста.

Жил-был в чудесном городе Берлине дедушка Рихард Кист, железнодорожник. Всю жизнь он был трудолюбивым человеком и, когда вышел на пенсию, все свои помыслы направил на отдых, твердо зная: это заслуженный отдых. Он прожил шестьдесят пять зим, из них сорок зим водил по заснеженным путям поезда, груженные картофелем и углем, цементом и клетками с курами, книгами, деталями машин и консервами, вагоны с отдыхающими, учащимися профессиональных школ, родственниками, едущими на похороны, солдатами и распевающими девицами, он устанавливал централизованные посты и подбивал щебенкой полотно железной дороги, он продавал билеты и пробивал их, проходя контролером по переполненным поездам, однажды при формировании состава ему оторвало два пальца левой руки, как-то, ночуя в общежитии в Позене, он потерял свой бумажник, а в партизанском лесу у Компьена — шестнадцать вагонов с краденными ценностями из Бреста, и вот он вышел на пенсию, на заслу-у-у-женный о-о-отдых.

В один прекрасный день его дочь, вторая, та, что с нервным мужем-бухгалтером, попросила:

— Если увидишь сливки, принеси, ты же расхаживаешь по городу.

Воистину справедливо сказано! Дело в том, что до дедушки Киста довольно скоро дошло, что «заслуженный отдых» — понятие весьма своеобразное. Никакого отдыха он не ощущал, двигаться он испокон веку любил. Его тянуло на вокзалы и на централизованный пост, в квартиры к коллегам, таким же ветеранам, как и он. А там они вновь и вновь обсуждали историю железных дорог за последние пятьдесят лет, вновь и вновь горячо дебатировали вопрос, отдать ли предпочтение паровозу или тепловозу или тепловозу и навязанному им сверху электровозу, там вновь и вновь грохотали словесные битвы вокруг ширины колеи и системы блокировки, одни горячо доказывали полную ненадобность, другие — обязательную надобность сцепщиков, хотя у них вечно ломаются ребра, когда они попадают меж буферов. Там вновь и вновь переживали громкую историю рельсового пути, страхи при переезде в туман на пароме

у Треллеборга, каверзу, подстроенную этому буквоеду чиновнику из Рюдесгейма, припоминали похотливую вдовушку в ночном поезде, идущем на Прагу, и телеграфисточку из Заальбурга, до того ж услужливую, и передрягу под Пинском и Минском, и гагенбековского слона, который не желал выходить на платформу, катастрофу у Мюльгейма, Вилли-то накануне предупредил блокпост, что назавтра он женится, а вышла беда — двадцать четыре трупа, и среди них Вилли. Так они заново объезжали на крылатом колесе четыре десятка прошлых лет, всю Европу, путь даже не в одну длину экватора, мчались по железнодорожным рельсам сквозь мир и войну, пункт отправления — артель по подбивке шпал в Эберсвальде, конечный пункт — заслуженный отдых.

Но порой получается, что хор престарелых служак прерывают, более того, обрывают, это вернулась домой невестка, она не стесняется в язвительных выражениях на тему о табачном дыме, или же телефон вызывает Герберта, он еще два года может работать, вправе работать, «работа» — какое это теперь прекрасное слово, или у садового забора ветрено, и дедушка Кист говорит:

— Что ж, пожалуй, я потихонечку двинусь, погляжу, нет ли где сливок; мне они ни к чему, но Хельга, которая за бухгалтером, не пьет черного кофе. А у меня свободного времени хоть отбавляй, схожу поищу.

Ну, дальше — больше, случилось так, что невестка его коллеги, или тот самый Герберт, которому еще два года трубить, или соседка у садового забора, или все трое, да в придачу еще кто-нибудь просят: «Если найдешь, так и мне купи бутылочку-другую!»

Однажды вечером дедушка Кист, совершив успешный закупочный обход, встретил молоденькую врачиху у почтового ящика, что висит на их доме, врачиха живет на третьем этаже, дел у нее по горло, но всегда приветлива, и тут она так приветливо говорит:

— Здравствуйте, господин Кист, парочку пива купили, провести свободный вечер?

— Многовато понадобилось бы пива,— ответил дедушка Кист,— у меня теперь все вечера свободные. Нет, это я сливки раздобыл, для семьи, а заодно и кое-кому из знакомых.

— Да, хорошо, когда есть кому о тебе позаботиться,— сказала она.

— А у вас некому? Если хотите, пожалуйста.— И он протягивает ей две бутылки.

Она берет, благодарит, насильно сует ему шестьдесят пфенни-

гов сверх цены и добавляет: ах, если он при случае увидит пластмассовую ванночку для малыша, она будет страшно рада. Но дедушка Кист не надеется на случай, он ищет, у него же есть время, он приносит ванночку, врачиха страшно рада и дает ему кое-что за ванночку — как уж положено.

Тут кончается сказочное начало, известно, в денежных делах сказкам места нет, а именно в денежное дело переросли любезность и времяпрепровождение.

Рихард Кист становится предпринимателем. Он ничего не производит и не спекулирует земельными участками, банка он тоже не основал — и тем не менее стал предпринимателем. Значит, он коммерсант?

Ответ зависит только от точки зрения.

Вот точка зрения Рихарда Киста: о нет, какой он коммерсант! Он помощник и, пожалуй, нарочный, но уж никак не коммерсант! Он же не покупает товар у производителя и не продает товар потребителям, его доход не основывается на приросте потребительской стоимости товара, приросте, который образуется на пути от производства к потреблению, но последние слова Рихард Кист произносит чуть тише, он не совсем уверен, правильно ли он говорит, или, вернее, он смутно сознает, что говорит не совсем правильно. Правда, он хотел бы ввести в качестве источника своих доходов категорию, до сей поры в теоретических работах по экономике не упоминающуюся, категорию любезности, однако самочувствие его при этом не улучшается, ведь в нашей стране, работая в среднем звене железной дороги, нельзя было не соприкоснуться хотя бы в самых общих чертах с учением Маркса, Карла Маркса, с «Капиталом» и другими работами.

Тем не менее Рихард Кист пытается выдвинуть эту категорию — любезность; он из любезности доставал дочерям и невесткам друзей и соседей и соседям соседей тот или иной товар; из любезности вышеназванные лица давали ему время от времени грош за его посредничество, ну, грош, а то и марку, даже, бывало, и две-три, смотря по обстоятельствам; из любезности, в благодарность за их любезность он давал людям, распоряжающимся запасами сливок, или пластмассовых ванночек, или огурцов, или печенки, или — это уже, извините, позже — запасами холодильников и телевизоров, — он давал этим людям кое-что из того, что сам получал от тех, кого осчастливливал, любезно взяв на себя заботы по их обеспечению. Да, он обеспечивает, но никак не торгует, он, пожалуй, поставщик, и даже не исключено, что посредник, если угодно, маклер.

А вот у экономиста, у теоретика, иная точка зрения: ему

известны, заявляет он, клятвенные заверения предпринимателей, что они наши помощники, самоотверженные помощники, в поте лица работающие на благо человечества, все это для него не тайна. Однако все это смехотворные бредни, на них он и останавливаться не будет. Торговля, а так сказано даже в Гражданском уложении, есть распределение по времени и месту экономических ценностей, придавшее им особо высокую потребительскую стоимость. Имел дело господин Рихард Кист с экономическими ценностями? Да! Повышалась ли в результате деятельности упомянутого господина Рихарда Киста их потребительская стоимость, как в исходном пункте, так и в конечном? Да! Была его деятельность с научной точки зрения своего рода распределением? Да! И наконец, разве факторы времени и места не играли значительной роли при повышении потребительской стоимости и тем самым, стало быть, при получении прибылей? Да! Четырехкратно подтвержденное определение: коммерция. А все прочее — смехотворные бредни. Что значит маклер? Маклерство есть лишь низшая форма коммерции! А что значит посредник? Коммерция уже давным-давно не сосредоточивается в одних руках; имеются закупщики, оптовики, розничные торговцы, агенты, коммивояжеры и, так точно, как исстари повелось, посредники, низшая форма понятия «коммерсант». А поставщик, что представляет собой поставщик? Ну-с, прежде всего это явление куда более позднее и предположительно американского происхождения, со временем оно появилось и в других странах, ныне существуют узаконенные конторы по поставкам, но, как сказано, здесь речь идет исключительно о явлении, и какова его суть? А суть этого явления — коммерция! Есть ли после сказанного необходимость разбирать еще понятие «обеспечение»? По всей видимости, нет. Это всего-навсего завуалированное защитительное понятие, и для научной экономики едва ли не столь же комичное, как понятие «любезность». Короче говоря: смехотворные бредни.

Прокурору, чья очередь наступает теперь, эти понятия также представляются комичными, но его заключение и основанные на нем юридические выводы звучат весьма грозно. Он внимательно выслушал доклад эксперта; коммерческий характер предприятия Киста можно считать доказанным, но он хочет отметить особый и, прямо скажем, нечистоплотный, гнусный, противозаконный характер этой коммерции, в данном случае он озабочен не тем, что упомянутый Кист не занесен в реестровую книгу и не имеет лицензии, то есть всем этим он тоже озабочен, а стало быть, озабочен появлением черного рынка, этим преступным ублюдком в общественно полезной сфере обращения, кроме того, он

озабочен более серьезными проблемами, а именно спекуляцией, и того более: подрывом народнохозяйственных планов, саботажем снабжения, да, он видит в действиях Киста не что иное, как экономическую контрреволюцию.

Но-но, товарищ прокурор, не слишком ли сильно сказано: спекуляция, подрыв, саботаж и даже контрреволюция? А все из-за каких-то сливок?

Совершенно верно, отвечает товарищ прокурор, сливок, да, в том числе. Из-за примерно одиннадцати тысяч бутылочек, иначе говоря, чуть больше тонны сливок, продажная цена которых около пяти тысяч марок; гонорар за обеспечение, поставку, посредничество или маклерство с каждой бутылочки — один грош, на круг тысяча любезных сердцу господина Киста марок за его любезность. Предосудительно? Ничуть. Как подумаешь, сколько пришлось ему побегать и сколько пришлось оставить любезным поставщикам и гоняющим по городу пенсионерам, которых пришлось включить в дело, чтобы раздобыть одиннадцать тысяч бутылочек, поймешь, что прибыль составит сущую мелочь.

Тем же способом купленные и тем же способом распределенные банки с огурцами приносили чуть больше. Примерная сумма прибыли, относящаяся к определенному периоду времени, составляет две тысячи марок.

Предосудительно? Ничуть. Много? Вовсе не много и даже слишком мало для господина Киста и его ЗАКОПЕ, что означает: «Заготовительная компания пенсионеров». Печень и венгерская колбаса «салями» приносили чуть-чуть больше — в уже упомянутый период времени, который, я помню, был именно периодом,— шесть с половиной тысяч.

И все еще ничего предосудительного? Собственно, все еще нет. Но остановились ли на этом господин Кист и его ЗАКОПЕ? Нет, не остановились, наоборот — теперь дело закрутилось по-настоящему, теперь в ход были пущены промышленные товары; чтобы избежать длинного перечисления, скажу: в списке значатся товары от чулок без шва до телевизоров; в нем богато представлены товары, которые у нас периодически или довольно долго бывают в ограниченном количестве или почти отсутствуют. Теперь вы знаете список, а сейчас услышите сумму, и я сразу добавлю, что это лишь доказуемый итог, истинная цифра, видимо, совсем иная. Но вот вам цифра, которую мы получили в результате расследования: два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч марок!

Даже судья испуганно отрывает нос от бумаг, хотя он, готовясь к процессу, достаточно часто совал свой нос в эти бумаги, даже он перепугался: цифра эта, будучи названа вслух,

звучит иначе, чем когда он ее читал на бумаге, она звучит не как итог спекулянтской наживы, она звучит как попытка переворота в секторе торговли, здесь речь идет не о воровской дубинке, а об экономическом рычаге, и это не безделка, это объяснение экономической диспропорции; тут не ограничивали дело незначительным черным рынком, а развернули его в масштабе республики. Дедушка Кист утвердительно кивает, он не столько напуган, сколько потрясен, он начинает сознавать свое запоздалое величие. Он олицетворяет Америку, карьеру мойщика посуды; он не только повторил жизненный путь Моргана, Дюпона и Рокфеллера, но оставил их далеко позади, они-то имели дело со свободным рынком, а у нас, мистер, у нас план, и предприятия государственные, и потребительская кооперация с ее постоянными комитетами в каждой торговой точке, черт бы их побрал! Карьера Дюпонов и Ротшильдов была следствием их системы, но я, господа, я, Рихард Кист, нашей системой не предусмотрен, или выражаясь еще резче: наша система создана, чтобы исключить всякую возможность моего появления, чтобы побороть меня и даже уничтожить.

Так вот, я ее одолел, на небольшой, правда, период времени, и все у меня шло как по маслу, и, между нами говоря, ваши цифры, господин прокурор, бледноваты, я мог бы назвать куда более яркие, только не хочу вас срамить.

Я признаю: в конце концов система меня победила, хотя поначалу она мне очень благоприятствовала.

Как вам, конечно же, известно, в торговом деле нужны научный подход, изучение рынка и организация. Так и в моем.

Мне пришлось заняться изучением рынка, и, скажу по совести, я его изучил! Потребности, цены, производственные показатели и способ распределения. Последнее поистине крепкий орешек! У нас говорят о равномерном распределении товаров, но «распределение» — это слово, которым все пытаются узаконить; вот мы, к примеру, видим крестьянина, шагающего по своему полю, он ритмично разбрасывает определенное количество зерна или удобрения — он ходит по заранее намеченным полосам, он заранее заглянул в календарь, он различает сухую и сырую почву и разбрасывает зерно или удобрение согласно соответствующим условиям. Увы, господа, торговля дело иное! И все же, не вдаваясь в подробности, скажу — мне удалось в результате напряженного изучения рынка даже в этой сфере разработать четкие схемы, в основе которых лежала хотя бы вероятность. А дальше все зависело от организации.

Я сорок лет служил на железной дороге, а там можно научиться организованности. Правда, мне не выпало чести

составлять расписания, но я знал, как это делается, мне пригодились статистика и математика.

Да, я прекрасно понимаю, что здесь не место для похвальбы, здесь скорее уместно признать свою вину, проявить активное раскаяние активным участием в раскрытии преступления, в выяснении обстоятельств дела и в предотвращении аналогичных преступлений.

Высокий суд, возможность таковых весьма невелика, ибо деятельность ЗАКОПЕ порождена, как и всякая коммерция, несоответствием между производством и потреблением, но истинным толчком к ней послужила нехватка: нехватка знаний, нехватка надлежащих организационных форм, нехватка предприятий, выпускающих продукцию, и нехватка готовой продукции, нехватка образованных и обученных специалистов и, в конце-то концов, нехватка промышленных товаров и товаров широкого потребления.

И все-таки — я говорю это с двойственным чувством: как основатель ЗАКОПЕ я говорю с сожалением, как гражданин нашей страны я говорю с удовлетворением и прошу мне верить, — нехватка заметно пошла на убыль, она настолько пошла на убыль, что это не могло не сказаться на деятельности ЗАКОПЕ, а в некоторых областях нехватка даже перешла в свою противоположность, и там у нас если еще не изобилие, то кое в чем избыток, именно это обстоятельство, как вам известно, положило конец моему предприятию, мое личное планирование дало осечку, я вложил слишком большой капитал в приобретение телевизоров, видимо, меня неверно информировали, оказалось, в магазинах теперь можно купить, и даже в кредит, те товары, которые прежде люди быстрее получали только через ЗАКОПЕ, производство меня обогнало и прикончило. Правда, со сливками, с которых я начинал, все еще перебои, но уж не такие частые, а с перебоями в прибылях от подобных продуктов мое предприятие функционировать не может, вот ЗАКОПЕ не устояла и развалилась.

Но я обязан устоять, я слышал, что господин прокурор произнес такие слова, как «контрреволюция» и «попытка экономического путча», и тут я, собрав все силы, твердо вам заявляю: нет, высокий суд, этого у меня и в мыслях не было!

Суд долго разбирался, что же было у него в мыслях, а что получилось на деле, и Давид, главный редактор, долго разбирался во всем, чтобы изложить в своем журнале и ту точку зрения, и эту; он охотно показал бы то самое «что» в фотографиях, а то самое «почему» описал бы подходящими словами, однако ни то, ни другое и вообще вся история ЗАКОПЕ в конце концов для

публикации не сгодились.

Но Фран, та вполне годилась для того, чтобы еще и еще раз выслушать историю дедушки Киста и его ЗАКОПЕ, аргументы прокурора и мотивировку приговора, мотивировку отклонения незрелого очерка и проклятья некоего главного редактора, и его тяжкие вздохи, и его мечты о будущей жизни на «заслуженном отдыхе», и его экономические теории, уснащенные восклицаниями: «Подумать только!», и его хохот, хоть живот Будды у него еще не отрос,—да, для всего этого вполне годилась его жена Франциска, называемая Фран, оттого ей и приходилось жить двойной жизнью, своей собственной и жизнью Давида Грота.

А разве не так должно быть в браке, разве не задуман брак именно для обмена мнениями, а не только нежностями, для разговоров не только о сыне, разве брак—это не понятие для жизни вдвойне, для содружества, для общности в противоположность одиночеству?

Верно, все верно, хотя иной раз он слишком усердствовал, этот главный редактор, вернее говоря, он был слишком усердный главный редактор, он тащил домой не только заботы, сомнения и триумфы, но и их причины, битком набивал квартиру документами, решениями Совета министров, письмами читателей и назойливыми участниками всевозможных конференций, втаскивал словно бы исправные, но на деле неисправные печатные машины в гостиную, доверху заваливал спальню чертежами заводовновостроек и проектами городских центров, продолжал дискуссию о проблеме сельскохозяйственной кооперации на кухне, о проблемах мирового рынка и космоса—на диване.

Порой, если ты, еще молодая женщина, звалась Фран и лежала на этом диване, тебе невольно думалось: а пошел он к черту, этот мировой рынок и ПЛАМАГ, набитый идеями Хензельман и журнал «Культур им хейм», здесь моя квартира, и мне хотелось бы воздвигнуть дамбу между своей квартирой и остальным миром: здравствуйте, господин главный редактор, это я, Фран Грот, рада вас видеть и докажу вам свою радость. Прошу вас, раздевайтесь, догадываюсь, вы провоняли конференцией по вопросу о «Старом городе и новом блеске»; смойте с себя пот гнева, знаю, дамы из отдела мод потребовали дополнительно цветную полосу, хорошенько прополощите горло, я терпеть не могу осадка из слов: туберкулез у крупного рогатого скота, халатность, напалм, бюрократизм и Рейнер Барцель, или из выражений «а пошли вы туда-то», или «и я не дурее вас», или «да как вы со мной обращаетесь?», из слов ярости и бессилия или тех, что выдают одиночество, стыд или боязнь. Встаньте под душ, освободитесь как изнутри, так и снаружи от зловония лака, от

копоти типографской краски и от смрада поучительной истории, которую вам пришлось услышать. Я знаю, вы Атлас, несущий на своих плечах небесный свод, но отложите на часок-другой дурацкий глобус в сторонку, не беспокойтесь, никуда он не денется, и не потирайте свои натруженные плечи, об этом уже позабочусь я сама, об этом и многом другом, ну так входи же, бедняга.

Но дамбы не существовало, а существуй таковая, очень сомнительно, захотелось бы Фран, чтобы она существовала. Чем был бы этот бедняга, ее муж, отними у него именно то, без чего она частенько охотно бы его видела? Такое и представить невозможно; это значило бы оторвать его от полнокровной жизни, его, как трехмерное существо, оторвать от жизни, отнять у него смех, который, как и его стон, был признаком жизни, отнять его юмор, которым он отвечал на тупую серьезность своей должности Атласа, отнять его нежность и жажду нежности, ибо и то и другое избавляло от неумолимой рутины и от насилия обычных, будничных будней.

Нежность. Нежность в общении с этим человеком проявлялась совсем иначе, чем с другими. Оттого-то ты была с этим, а не с каким-нибудь другим, а если женщина живет с мужем без этой причины, то как же она с ним живет, как остается с ним навсегда?

Нежностью было обращение:

— Милая моя женушка, дурная же ты девчонка!

Нежностью были обрывки историй, собранные по дороге домой:

— До меня донеслось только: «А я и говорю: господин доктор, глисты всегда водились у всех у нас, нет, не в них дело!»

Нежностью была одна-единственная роза среди густого тумана привычки и испаряющихся первоначальных отношений.

Вопрос «О чем ты думаешь?» был нежностью, и умение слушать, когда не ускользала ни единая побочная интонация, и решительный отказ маскировать собственную глупость, растерянность, желание пожрать и совсем иное желание. И та нежность, которую сразу же представляешь себе при слове «нежность». В этом смысле его, Давида, нежность ничего не упускает, ни внешних признаков, ни внутренних, ни единого слова и ни единого движения, ни подколенной ямки, ни морщинки на веке, ни волоска; нежность — это мягкое тепло и вместе с тем яростная гонка, она обрушивается на тебя, хоть и ожидаемая на знакомых улицах и с немыслимой неожиданностью в самых немыслимых местах. Такая нежность нуждается в ответной, с ней непросто, и совсем странно, если от нее избавляют; она хочет разделять и

владеть; с собой она обходится сурово, слышит едва уловимый призыв и всегда тут как тут.

И Давид всегда был тут как тут, даже выступая на конференции где-нибудь у экватора или исчезая из виду в битве с беззаботной посредственностью; его нельзя было спутать ни с кем даже под слоем пыли и меж гирляндами годовщин, он оставался Давидом и на отдаленных трибунах, и в сутолоке конгрессов, комиссий, комитетов, жюри и делегаций, он оставался Давидом, мужем Фран, под тысячью тысяч характерных масок: главный редактор, сотрудник, член той или иной организации, руководитель, оратор, участник дискуссий, организатор, уполномоченный, докладчик о том-то, ответственный за это, ответственный за то, ответственный вчера, ответственный завтра, ответственный за конкурсы и опросы, противник других конкурсов и других опросов, инициатор, инсценировщик, репортер, критик и прозорливый планировщик, человек пунктуальный, человек в постоянном движении, человек общественный, но при всем том, и несмотря на все, и сверх всего — человек, душой и телом преданный Фран, муж Фран.

А она, глядя на него за столом президиума, глядя, как он помешивает свой кофе, думала: бедняжка, у них кусковой сахар, не рассыплешь крупинки вокруг чашки. И, глядя, как он садится в «Волгу», она думала: знаю, ты охотнее сел бы на мотоцикл. А глядя, как он шел осматривать новое высотное здание, она думала: надеюсь, ему помогут справиться с лифтом.

Если ей попадался болтливый начальник, она вспоминала о Давиде, если читала о золотой свадьбе, тоже вспоминала о нем, и, услышав слова «пенсионер», «сливки» и «контрреволюция», она вспоминала о Давиде, а случалось, вспоминала все эти истории вместе, но сплошь и рядом вовсе о них не вспоминала, ведь сплошь и рядом и даже чаще всего она до того была занята собственными заботами, что о чем-либо другом или о других ей некогда было вспоминать, даже о Давиде, своем муже, а уж тем более о том Давиде, каким он был, прежде чем стать ее мужем.

И обо всем вместе взятом, и обо всем вперемежку, о графинях и железнодорожниках на пенсии, об исторических «почему» и о ее родной плодородной долине, о пифии, о смехотворных событиях в экономике и о глистах... ведь не в них причина, нет... и о серебряном обруче на грязных, свалявшихся волосах, о бог знает какой нежности,— обо всем вместе взятом и обо всем вперемешку Фран вспомнила лишь на тот долгий миг, который начался с восклицания Давида Грота:

— Меня хотят назначить министром!

5

— Доброе утро, Криста,— сказал Давид,— все в порядке — или намечаются катастрофы?

— Одна, во всяком случае, но, мне думается, не мирового значения: Карола не хочет на курсы. Да, кстати, доброе утро.

— Как так кстати? Я же сказал: доброе утро!

— Но я не сказала.

— Ага. А почему она не хочет?

— Это она скажет вам одному. Я попыталась спросить, но она четко объяснила мне, куда я вправе совать свой нос: в пишущую машинку, а вовсе не в обстоятельства ее личной жизни.

— Так, а ты что думаешь по этому поводу? — поинтересовался Давид, но Криста промолчала. Только сжала и без того тонкие губы и покрутила обручальное кольцо.

По этим признакам Давид понял: большего из нее не выжать. Если Криста корчит кислую мину и начинает крутить кольцо, это значит: я бы кое-что сказала, да остерегусь, не стану впутываться! Это значит, как известно Давиду, что обстоятельства, о которых Криста предпочитала молчать, имели какое-то отношение к теме номер один, теме, вызывавшей ее крайнее раздражение: к мужчинам; на эту тему она на работе не говорила, но однажды, уходя вместе с Давидом из редакции, призналась ему, что эта тема выводит ее из строя. И не без основания: она уже десять лет обручена с заведующим животноводческой фермой, а тот из уважения к своим родителям желает венчаться в церкви, чего она не желает из уважения к своим родителям. Из-за всего этого Криста сильно отощала, и порой обручальное кольцо съезжало с положенного ему места, а может, она слишком часто крутила его, и оно истончилось: слишком часто даже на работе заходил разговор о мужчинах, а в нем Криста не желала принимать участия.

— Вызови ее незамедлительно,— распорядился Давид,— или нет, я сам спущусь. Если что, скажешь, я у заведующей отделом кадров, там никто не посмеет нам мешать.

Карола Крель была, по мнению женщин, слишком высока для женщины, а по мнению мужчин, слишком умна и находчива для женщины.

Давид не разделял мнения ни первой, ни второй группы, он был в дружбе с Каролой, а в свое время даже больше чем в дружбе, и по существующим традициям она, собственно говоря, не вправе была заведовать отделом кадров в учреждении, которое он возглавлял, но, во-первых, она стала заведующей без его участия, он об этом даже не знал, он тогда сидел в отделе

«Внутренняя жизнь», и, во-вторых, их «больше чем дружба» давным-давно миновала, нет, не позабылась, но на работе не имела значения, к тому же ни один человек в редакции ничего такого не заметил, исключая его первого патрона, от которого ни единая мелочь не ускользала, но он уже давно уснул последним сном.

— Что я слышу?—спросил Давид.—Завотделом кадров не хочет на курсы?

— Ты слышал то, что есть,—ответила Карола,—я не хочу, сейчас не хочу.

— Ага, уже наметилась обнадеживающая оговорка,—облегченно вздохнул он.—Что тебе мешает именно сейчас?

— Это не «что», это не предмет и не обстоятельство. Я сама себе мешаю, вернее сказать, какое-то ощущение, которое меня не покидает.

— Тогда дело плохо. Предметы можно так или иначе убрать с пути, но ощущения... Тем более твои.

Она поднялась и сорвала листок календаря, а он подумал: в жизни не видел женщину с такими бедрами. И тут же отогнал эту мысль, он хорошо знал, что у мысли этой есть братцы и сестрицы и что этой шайке ничего не стоит допечь человека, а ведь он пришел переговорить с завотделом кадров, которая не хотела, чтобы ее обучали на курсах.

— Знаю,—сказала она,—если я тебя попрошу, ты отсрочишь мне курсы, и сделаешь это, ни о чем не расспрашивая, но давай поговорим, может, мы разговорим мое дурацкое ощущение.

— Поглядим, дурацкое оно или нет,—буркнул Давид.

Она села, сложив голубя из оторванного календарного листка, взглянула на Давида и спросила:

— Сколько мне лет?

— Тебе? Лет сорок шесть, кажется.

— Человек, для которого в свое время решающим аргументом было именно то, что я на шесть лет старше, мог бы ответить поуверенней.

— Ну уж, ну уж, Карола,—прервал ее Давид,—надеюсь, ты не станешь заниматься раскопками!

Она нанизала голубя на бечевку, что тянулась через ее комнату, увешенная другими бумажными птичками, другими голубями, из других календарных листков. У нее, утверждала Карола, нет чувства времени, а эти гирлянды якобы помогают не упускать из виду быстротекущие годы.

— Извини, я не то хотела сказать. В последние дни так получалось, что я иной раз вспоминала прошлое. Ах, славный был парень, вспоминала я, только как огня боялся, что я стану

разыгрывать перед ним мамашу. А вспомнила я это потому, что муж время от времени разыгрывает не то прадедушку, не то правнука, а пошлешь ты меня на курсы, у нас вообще все пойдет вкривь и вкось.

— Стоп,— воскликнул Давид,— знаю, твой Артур — орешек крепкий, во всяком случае, когда я вижу вас вместе, мне это ясно, так не я же тебя посылаю, курсы дело централизованное.

— Знаю, но нуждаюсь в твоем совете, а не в централизованном. Артур — крепкий орешек; он крепкий орешек для меня, а я для него. Я и сразу-то была для него орешком, а теперь и вовсе, да на иной манер. Кем был он, когда я вышла за него замуж семнадцать лет назад? Диспетчером Народного предприятия по заготовке и закупке сельскохозяйственных продуктов. А кто он сейчас? Он и сейчас диспетчер там же. А кем была я в ту пору? Упаковщицей в ротационке. А теперь я завотделом кадров — и редакции, и ротационного цеха. Феномен? Ничуть, не я феномен в нашей жизни, феномен-то как раз Артур. Семнадцать лет диспетчером НПЗЗ! Вот наступит двухтысячный год, а он все еще диспетчер НПЗЗ. На мой взгляд, пусть. Но на его взгляд, я не вправе продвигаться. Я и не хочу дальше, с виду, так сказать, у меня тут прекрасная работа, но в душе, Давид, в душе мне хочется двигаться вперед. А теперь давай обсудим — месяц на курсах, куда меня централизованно направляют. Месяц новых мыслей и учебы, споров и новых книг. А это накладывает свой отпечаток, и вот я возвращаюсь домой, а дома сидит Артур, вечный диспетчер, он все понимает и таит обиду.

Она замолчала, уставясь в пространство: видно, сама мысль о подобной перспективе ее угнетала.

Давид подавил улыбку, однако приберег ее, чтобы посмеяться потом.

— Так ведь Артур не дурак,— сказал он.

— Нет, не дурак,— отозвалась Карола,— но лентяй. Будь он дураком, он бы не мог быть лентяем. А диспетчер он, что и говорить, высший класс, но ведь в его деле главное — заведенный порядок. И он завел в НПЗЗ неукоснительный порядок и себя сделал пупом этого порядка, потому его и освобождали всегда от всяких курсов, без него у них все к чертям бы полетело. Попробуй добейся такого положения, если ты дурак. Но книги он в руки не возьмет, она же потревожит его покой; кстати, если я беру книгу, это уже тревожит его покой.

— Послушай, Карола, у меня ум за разум заходит, теперь я вспомнил: это ведь он засадил тебя за книги — или я что-то путаю?

— Нет, все верно. Я влюбилась в него двадцати девяти лет от

роду, бог мой, такой авторитетный, такой решительный человек — а все заведенный порядок, понимаешь,— я ради него вступила бы в спиритический кружок или вызубрила на память статистический ежегодник, вот я и вступала в одну массовую организацию за другой, а там и в партию. Он же мне сказал: жизнь тебя обгонит, если ты прирастешь к упаковочному столу! И я включилась в гонки, поначалу только ради него. Вступить в партию из любви к диспетчеру НПЗЗ — это вроде бы не вяжется с уставом. Но ты сам знаешь, как бывает: попробуй начни какое-нибудь дело, не успеешь оглянуться, и уже оно тебя целиком заграбастало. Ты вроде бы к нему только со стороны приглядываешься, а оно вдруг ухватит тебя и цепко держит, оглянуться не успеешь, и ты точно переродился под его влиянием.

Первое время Артур был доволен; по-моему, он втайне выставлял мне отметки; но не так давно у меня зародилась омерзительная мысль, тебе я открою, но больше никому: не сутенерство ли навыворот наши отношения с Артуром?

— Да ты в своем уме? — едва выговорил Давид.— С чего тебе подобная ахинея пришла в голову?

— Хорошо, если это ахинея,— ответила она,— куда лучше, чем правда. Я ведь не говорю, что он посылает меня на панель, чтобы его прокормить, он хорошо зарабатывает, о деньгах у нас в доме и речи нет. Но что-то между нами стоит, я же сказала — все навыворот: у нас, в нашей стране, деньги все еще весьма милы любому сердцу, но они не способны придать человеку больше авторитета, чем у него есть на деле. Я хорошо помню, как бывало прежде: если знали, что человек денежный, считали — он представляет собой нечто. Наверняка и до сих пор есть немало людей, которые так говорят и так думают, но постепенно начинает утверждаться и другое, я замечаю это по заявлениям, какие нам пишут, и слышу в разговорах с людьми: «Наша дочь изучает электротехнику слабых токов... Хорст учит испанский, чудно, правда, а ведь тоже неплохо... Я уже получил четыре премии за рационализаторские предложения... Ай да Фридман, его вторая дочь уже мастер на трикотажной фабрике...» Вот, Давид, что теперь у нас ценится, этим мы отличаемся от людей прошлого.

— Верно, и что же, к твоему Артуру все это не относится?

— Нет, не относится, он семнадцать лет сиднем сидит на своем диспетчерском стуле, а меня посылает набирать знания. Я, так сказать, развиваюсь и за него; однажды, когда он спросил, что же я на сей раз вынесла с очередных курсов, мне показалось — теперь, во всяком случае, мне так кажется,— будто он

требует, чтобы я назвала ему число своих любовников.

— Какая гадость,— вспылил Давид,— а ты говорила с ним?

— Пыталась, но, во-первых, выяснилось, что я не отдаю себе отчета ни в том, какова его ответственность, ни в том, какова его квалификация, во-вторых, он не мой кадр, я не его зав; сделай одолжение, объявил он, товарища завкадрами оставь у себя в кабинете. В последнее время он начинает злиться, едва я раскрываю книжку. Не вычитаю ли я оттуда, какими словами его характеризовать?— справляется он. И при этом тон у него такой, точно я манипулирую крысиным ядом над его тарелкой.

— И все же, я думаю, ты преувеличиваешь,— сказал Давид, но она медленно качнула головой, что было убедительнее любых горячих слов.

— Черт побери,— рявкнул Давид,— ты меня задела за живое! Может, мне с ним потолковать?

— О чем, собственно? Меня посылают на курсы? Учеба — это часть жизни? Он и без того все знает. В конце-то концов дело не в этом.

— Да,— кивнул Давид,— понимаю, видимо, дело в том, что твой брак вот-вот полетит в тартарары и я не вправе вмешиваться?

— Я точно детский врач, заболевший корью,— продолжала Карола,— что-то у меня разладилось, концы с концами не сходятся; разве я не завотделом кадров, стена плача и отстойник всех бед, духовник, утешительница и всеобщая сердитая мама, не вела я разве задушевных разговоров с сотней растерянных женщин и сотней упрямых отцов, не склеила я разве за шесть прошедших лет по меньшей мере шесть треснувших браков, разве не я заставила учиться десятков пять Хейди и Карин, Гунтрамов и Хольгеров, не я ли раз в пять лет гляжу Восьмого марта со страниц всех газет, не я ли награждена медалью, я, Карола, наглядный пример, образцово-показательный экземпляр, разве не я — живое коммюнике женских комитетов, мечта Августа Бебеля, излюбленная идея Клары Цеткин, разве не во мне сто семьдесят девять сантиметров и шестьдесят пять с половиной килограммов огорчений, разве после всего этого я не манная каша, не воплощенное злосчастье?

— Нет, наверняка не манная,— отверг Давид,— ее я не терплю с детства. Слишком рано и слишком часто мне повторяли, что она полезная. Ну, хватит рвать на себе волосы, образцово-показательный экземпляр, давай обсудим положение; первым долгом от курсов мы тебя освобождаем, у меня веские причины, без тебя именно сейчас я никак не могу обойтись...

— Значит, и тебе это удобно?

— Во-вторых, с твоим диспетчером я все-таки хочу поговорить, или нет, я придумал кое-что получше: мы *его* отправим на курсы. Быть может, там он оценит, что дома у него ученая жена.

— Но тогда кувырком пойдет снабжение мукой в стране!

— Это ему так хочется! Если он завел такой фантастически блестящий порядок, то обалдеет от изумления, увидев, с какой легкостью без него справятся. Если он считает, что в НПЗЗ нет человека, который перенял уже все его уловки, бог ты мой, видимо, настало время дать ему урок!

— Он не захочет.

— Конечно, не захочет. Но ему придется. У нас всеобщее обязательное и даже принудительное обучение. Поглядим-ка, кто у них директор, может, мы знакомы. Вот прок от нашего журнала: если давно в нем работаешь, то с каждым человеком в стране хоть разок да имел дело. А еще лучше, поговорю с его министром.

— Как коллега с коллегой?

— Ох, не болтай чепухи! Как товарищ по партии. А где я узнал их министра, ну-ка угадай, никогда тебе не додуматься: на курсах, вот где! Он с тех пор столько курсов прошел, что с наслаждением сунет твоего Артура в эту мельницу; почему все он да он, «Нищета философии» написана для всех!.. Или вот что, у меня есть журнал, пока он еще мой. Артур честолюбив?

— Кто, Артур? Да не больше, пожалуй, чем каждый мужчина, но и не меньше.

— Вполне достаточно. Мы дадим о нем полосу, в цвете. Запечатлеем его на элеваторе, среди гор из триллионов пшеничных зерен, которые он рассылает по всей стране; мы снимем его на золотом фоне в синем халате; может, он не носит халата? Придется надеть, золото и синева здорово сочетаются, цвета изобилия, мы дадим отличный контурный свет, и ему придется улыбаться, не слишком широко, однако чтоб все видели: перед нами человек, уверенный в своих силах, знающий, чего он хочет.

— А чего он хочет?

— Ну, это нам придется заранее изобрести. Мы приедем в тот самый миг, когда директор будет ему это втолковывать. Мы потащим его в зернохранилище и запечатлеем на пленке ОРВО: человек, достигший пятидесятилетия, опытный специалист, истинная душа НПЗЗ, один из тех, кто понял: без науки нам ходу нет! Когда это напечатают в журнале, ему деться будет некуда.

— Кажется, мы затеваем интригу? — спросила Карола и невольно улыбнулась.

— О, понятное дело, интригу, и не первую в моей жизни. Но, прошу иметь в виду, положительную, за которую я готов

отвечать. Беды никому от нее не будет, а возможно, она поможет тебе избавиться от твоего дурацкого ощущения. Надо испробовать все средства, Карола.

— Эту поговорку я помню.

— И что же, разве она не верна?

— Значит ли это, что ты все-таки уходишь?

— Что? Нет, она ведь говорит и о другом: надо испробовать все средства, чтобы остаться.

— Вот когда меня, кадровичку, смех разбирает!

— Это ты называешь смехом? Да ты же пронзаешь меня ястребиным взором опытного работорговца! Но подожди — может, мне все-таки удастся ускользнуть из ваших лап.

— А ты действительно хочешь ускользнуть?

Давид смотрел, как она нанизывает на голубиную гирлянду бумажную звезду.

— Это еще зачем?

— Это памятный знак, памятка, не забыть бы, что все не просто течет и изменяется, но порою к лучшему. Вот, отсчитай-ка назад двух голубей, значит, назад два месяца, там тоже висит звезда. Поговорила тогда с девчонкой, вытравила у нее мысль о смерти, и что ж — на той неделе она выходит замуж.

— А сегодня, что значит сегодняшняя звезда?

— Сегодня я поговорила с хорошим человеком, некогда моим возлюбленным — о чем молчок, — может, он и не выручит меня, но он сказал: надо испробовать все средства! Завтра он, того и гляди, взлетит высоко-высоко, но сегодня у него нашлось время затеять интригу, положительную, прошу иметь в виду, он понял, что и мне в кои-то веки понадобилась стена плача. А это ох как много, Давид, и заслуживает звезды, и предупреждаю: пусть ты станешь министром, звездочка-то сохранится и будет напоминать мне, каким ты был. Оставайся всегда таким.

— Запаси побольше бумаги, — заметил Давид и ушел, а в лифте, поднимаясь к себе и к своей секретарше с истонченным обручальным кольцом, с трудом отбивался от своры всяких и разных мыслей.

Криста помогла ему в этом. Случались дни, когда обычные дела она преподносила с подковыркой, словно она вестница божья, адресат же зовется не Давид, а Иов, порой Давид доставлял ей радость, брал на себя роль Иова, жаловался и плакался на незаслуженно большой груз возложенных на него тягот и под ее нажимом смиренно признавал, что во всем этом есть доля его собственной вины. Но сегодня он не включился в игру, что подзадорило ее на особо язвительную тираду.

— Звонили из общего отдела: всякий раз, как вы допоздна

прозаседаетесь, требуется кислородная палатка уборщицам. Фрау Шернер вчера целый час только пепельницы очищала. Бедняга еле языком ворочала, когда ее доставили домой. Далее, языком еще кое-кто еле ворочает: Эрик передает, что серия карикатур «Древнеримское массовое движение: споемте, друзья!» под угрозой срыва, художник Клункер в который раз валяется в вирусном гриппе, да-да, вирус знакомый — водочного исполнения... Из государственной плановой комиссии звонили: они не могут — не могут подчеркнуто — дать нам точных данных до заседания Народной палаты. Видимо, хотят удивить Народную палату, а вас просят перезвонить. Сегодня во второй половине дня открытие памятника на могиле товарища Шеферса, вас просят сказать два-три подобающих случаю слова, но именно подобающих случаю, товарищ Шеферс был в этих вопросах большим педантом... Вот четырнадцать писем на подпись, письмо на почтамт, на мой взгляд, все еще слишком резкое, а в Женский союз — соглашательское, да, все еще... А сейчас я принесу кофе!

Он выслушал ее сообщения не сморгнув глазом, и потому она даже последнюю фразу выпалила таким тоном, словно была пророком Ильей и знала мрачнейшие замыслы господа бога. Что было бы, подумал Давид, не такой уж нелепостью. И уселся за папку с письмами.

Миг, которого, казалось, только и ждала свора его мыслей. Одна, самая назойливая, с ворчанием наскакивала на него: какую память ты оставишь по себе, если уйдешь из журнала?

Что, кроме восьмиугольной звезды между двумя бумажными голубями, останется на память о тебе в этом доме?

Что сохранится в нем от тебя, когда годовую гирлянду сменит новая, пустая бечевка?

Отвратительно себялюбивый и подловатый вопрос, ведь, если начнешь искать добрый и утешительный ответ, к тебе тут же пристроятся самоуверенность и зазнайство, и вот ты уже сам себя переделываешь на желаемый лад и видишь собственные следы там, где на деле их оставил чей-то куда более твердый шаг еще в те времена, когда здесь обходились без тебя, их оставили шаги истории, она же могла направить сюда, в эту редакцию, кого-нибудь другого, и след того человека ничем не отличался бы от твоего собственного. А может, все-таки отличался бы? В этом или ином конкретном деле, пожалуй, отличался бы, но поставленный вопрос не решается только «тем или иным делом», на него требовался ответ: что здесь, в этой редакции, идет именно так и только так, потому что ты сидишь здесь, ты, Давид Грот? Не просто ты — главный редактор, ты — уполномоченный представительствовать здесь, а ты как личность, именно ты, Давид Грот?

Вопрос подловатый, на него никогда не находилось бесспорного ответа, вдобавок в нем содержалась ясная информация: молодость миновала.

Но почему же подловатый? В нем заключена простая истина, горькая или убийственная, никакого умысла или злобного намерения она не таит. Так для чего же обходиться с гонцом, приносящим эту истину, как обходился монгольский властитель с гонцами, доставляющими дурные вести; вот пошла бы резня, если б каждый, кто узнал: твоя молодость миновала! — стал кричать о подлости и хвататься за оружие.

А ведь каждый рано или поздно узнает эту истину, исключая, пожалуй, кретинов и дубин стоеросовых; ее узнают по внезапной боли, по бережному отношению или почестям, по обществу, в которое человека принимают или из которого его исключают, по разговорам или отговоркам, по оплошностям или новым возможностям, по визиту к портному или на кладбище, по изменению потребностей и привязанностей, по подарку или утрате: утрате воспоминаний, утрате способностей, утрате желаний. Ее узнают по тяге к воспоминаниям, а также благодаря достигнутым наконец-то вершинам или какому-то вновь возникающему желанию, совсем иному, чем все прежние.

Например, желанию узнать: какая память останется по мне? Куда поведет мой след? Сколько звезд нанизал я на голубиную гирлянду, которая поначалу казалась нескончаемой? А когда оно было, начало? И снова и снова вопрос: что же я начал и что успел кончить?

Давиду Гроту сорок лет, в этом возрасте еще рано подводить жизненный итог, но это уже возраст, когда следует подумать о подведении итогов. Это возраст, когда, как представляется нам, больше всего смысла подводить итоги, это рубеж, поворот, именно теперь следует обобщать и переходить к новой жизни: прежняя жизнь была, нынешняя есть, та еще предстоит! Время хоть и прошло, но и впереди времени еще достаточно.

Еще — это «еще» свидетельствует: молодость миновала. Сороковой день рождения Давида прошел уже месяц-другой назад, но он очень хорошо помнит тот миг, когда его мозг яркой вспышкой пронизала фраза, фраза, которую он поначалу принял за уступку дате, за традиционное кокетство скорее, чем за серьезный вывод, фраза, которая, однако, вновь всплыла в его памяти, подлейшим образом утверждая: отныне ты быстро покатишься с горки!

Да, опять — подлость! Но и тут слово это не годится, не такое уж оно меткое; что и говорить, глупейшее слово, и к тому

же неправда. Ведь быстро текло время и в другие времена — даже первый час нынешнего рабочего дня подтверждал эту мысль.

Сколько лет, сказала Карола, сколько же лет она замужем за своим зернораспределителем? Семнадцать? Да, немалый отрезок времени, за этот срок не одна кроха добралась от пеленок до аттестата зрелости, до подвенечного платья или до стальной каски. И вот теперь, когда срок этот миновал, он оказался лишь крупицей прошлого. Так много ли быстрее побежит время отныне потому только, что ты достиг сорока?

А какой стремительный путь проделала за эти семнадцать лет упаковщица Карола Крель со дня свадьбы до нынешнего утра с его новейшими, общественно обоснованными треволнениями заведующей отделом кадров Каролы Крель; этот путь вел по всей дуге радуги от горизонта до горизонта; и все-таки час, когда Давид Грот из второго ряда стульев в загсе глядел на спину невесты, спину, которой больше шли свитеры, чем белое кружево, и думал, не в первый и не в последний раз: ну и бедра у этой женщины! — все-таки казалось, час этот был только-только.

Но и другой час, за два года до свадьбы, час первой встречи с Каролой Крель, тогда Каролой Клингер, тоже ведь был только-только...

В ту давнюю пору — уж эта-то пора в самом деле похожа на стародавнюю, — в ту пору Тиргартен был совсем, ну совсем рядом и являл собой пустыню в двести пятьдесят гектаров. По иронии судьбы этот огромный парк, треугольником раскинувшийся между вокзалами городской электрички Зоологический сад, Лертер-Банхоф и Потсдамерплац, эта воскресная утеха пруссачества, где оружия разбросано чуть не столько же, сколько запретительных табличек, ибо едва ли не меж каждых двух сиреневых кустов размахивал саблей или стоял, многозначительно прислонясь к жерлу пушки, бронзовый бранденбуржец, — по иронии судьбы этот арсенал на лоне природы однажды весной превратился в поле битвы: парк прорезали траншеи, общая длина которых равнялась длине Шпрее и Ландверского канала, охватывающих его с двух сторон; землей из открытых щелей закидали все клумбы; гранаты выкорчевали деревья, автоматные очереди пробили эмалированные таблички с четкими указаниями, какие это ценные и редкостные деревья; войска — как те, так и другие — разбивали здесь свои биваки, толпам беженцев было не до садоводства, а вслед за стреляющими отступавшими и стреляющими наступавшими, вслед за теми, кто бежал от выстрелов тех и других войск, пришли голодные мирного послевоенного време-

ни и замерзающие на холоде разразившегося кризиса, пустырю же, точно в насмешку, оставили название парка: Тиргартен.

Но был он совсем рядом с редакцией, в обеденный перерыв можно было размять там ноги или покалечить их, набегавшись до упаду, такой он был огромный и такой искореженный.

Однажды Давид прогуливался в этих одичалых местах по ту сторону Вильгельмштрассе, он злился на Пентесилею, их неистовую редактрису, опять, в который уже раз, она оказалась права, и, подфутболивая камешки без оглядки на свои башмаки, требующие самого бережного отношения, едва не угодил обломком кирпича в широкую спину Каролы Клингер.

— Прошу прощения,— пробормотал он,— а вы тут что делаете, играете в прятки?

Она, сидя на корточках, едва глянула на него и разразилась бранью:

— Ах бандиты, преступники, людоеды, взгляните-ка!

— Нет, они не людоеды,— сказал он, опускаясь на колени рядом с ней и кроликом, угодившим в ловушку,— они кроликоеды.

Тут уж она, пылая яростью, впилась в него глазами.

— Ага, может, это ваша окаянная удавка?

Давид высвободил зверька, у того хватило ума не рваться из петли, да он и теперь еле двигался.

— Вот уж нет, где мне раздобыть такую тонкую проволоку? Такой блестящей я не видал со времен Великой Германии. А тварей этих я не потребляю.

Он поднялся, и она тоже, он подал ей кролика.

— Вы его освободили, теперь делайте с ним что хотите. Таковы нынче правила.

— Мне он не нужен.

— Так отпустите, пусть попадется в следующую ловушку.

— Думаете, здесь есть еще?

— Думаю. Никто не потащится в этакую даль с кусочком новехонькой проволочки, чтобы скрутить одну-единственную ловушку. Кто такую проволоку раздобыл, тот уже промышленник. Хотите поищем?

Она тотчас двинулась на поиски, опустив глаза в землю.

— Так вы ничего не найдете,— объяснил он,— ловушки расставляют по определенной схеме, по единому плану, по этому-то плану нам надо их искать.

— Объясните же, что за план!

— Ловушки должны быть расставлены в таких же укромных местечках, как это. Здесь вот лаз через жалкие остатки изгороди;

лазов этих кругом предостаточно, там и следует искать. Ваш душитель — умелый тактик.

— А проволоку мы что же, оставим?

— Только этот обрывок, повесим на нем записку, хорошенько припугнем злодея.

На клочке бумаги он нацарапал красным карандашом: «Ты фашист!» — и подписал: «Давид».

— А вас как зовут?

Она поглядела на записку и, помолчав, ответила:

— Карола.

— Тоже красиво звучит,— одобрил он, приписал ее имя и укрепил записку на стянутой петле.

— Отчего так уж сразу фашист?— спросила она.

— Хороши же вы, сию секунду честили его преступником и людоедом, а при слове «фашист» деликатничаете.

— Так это ж политика.

— Э, нет,— воскликнул он,— только не заводите вечного спора об отношении к людям! Уж не сестрица ли вы Пентесилеи?

— Чья?

— Пентесилеи, бывшей царицы амазонок и нынешней редактрисы журнала, редакция которого вон там, в том доме; там я работаю.

— Я тоже там работаю,— ответила она,— мы зовем нашу редактрису Петрушенция. Ни одна душа не знает — почему, но теперь я, кажется, понимаю: просто-напросто ослышка. У нас в ротационном сильный шум. А вы чем занимаетесь?

— Ох, тяжким трудом, внутренностями, э, я хочу сказать, внутренней жизнью, многогранной, расцветающей жизнью в советской зоне оккупации, в данный момент мы целиком и полностью поглощены Адольфом Хеннеке, мысленно я уже вижу, что он выполнил план на триста восемьдесят семь процентов.

— Значит, мы знакомы,— кивнула она,— я вас как-то видела.

— Мне это льстит,— заметил он,— но пойдемте-ка поищем причитающийся нам процент ловушек. Да, что же мы будем делать: вы отпустите зверя или прихватите с собой?

— Я подарю его. У моей подруги двое детей.

— А у вас?

— Ни одного.

— Ни одного ребенка — ни одного мужа?

— Эй, эй,— погрозила она, и хотя он уже заметил, что она ростом выше его, до этой минуты не видел, что намного выше.

Она шла рядом с кроликом в руках, а он доставал из кустов одну за другой четыре ловушки. Проволоку он засовывал себе в карман, Карола поинтересовалась:

— Кому же она теперь принадлежит?

— Она конфискована, упрятана, секвестрована, стала народным достоянием.

— А вы — народ?

— Частица народа, заметная частица.

— А может, просто заносчивая?

— Вполне возможно. Знаете, мы, бывшие жители Тиргартена...

Тут она рассмеялась:

— Еще один помещик из Силезии!

Он взглянул на нее вопросительно.

— С ними я с сорок пятого сталкиваюсь на каждом шагу,— пояснила Карола.— В моей смене работают двое. Одной принадлежала половина Исполиновых гор, утверждает она. А вторая из Восточной Пруссии. Ох, говорит, видела б я ее квартиру в Тильзите, все стены обиты штофом! Есть у нас, правда, и другие люди.

Он кивнул.

— Понимаю, о чем вы, но я правда жил здесь. Вон взгляните, чуть левее от Колонны победы, там все еще болтается обломок крыши, вот там я и жил. Не хотите пройтись?

— А ваша фамилия все еще указана на табличке у ворот?

— Никогда и не была указана. Там было выведено: «Генерал Клюц».

— Так вы к тому же и генерал?

— Эй, послушайте! — взревел Давид.

Карола рассмеялась.

— Ну зачем так кричать. Кажется, нам пора возвращаться, мой перерыв, во всяком случае, кончается; а вы по дороге выкладывайте свою историю.

— Да выкладывать нечего. Я там жил. Вам смешно, но почему бы мне там не жить. И двух километров нет до редакции, но теперь это английский сектор, а мы в советском. Здесь, где мы освобождаем кроликов, генерал галопировал на своем коне, ну и гад же он был, этот жеребец.

Теперь, когда она шла впереди него, по направлению к Лейпцигерштрассе, к себе домой, к себе на работу, у него мелькнула мысль: «Ну и бедра!», но, заметив, что она его слушает, он продолжал:

— Может, встреча с ним была для меня счастьем, кто знает. Генерал, клиент моего хозяина, продавал и перепродавал, хватал, брал, загребал, а когда меня призвали, он загреб и меня, от строевой подготовки хоть и не освободил, но от многих неприятностей, похоже, избавил. Я, надо вам сказать, специ-

алист-оружейник, а генерал был заядлый охотник. Видели бы вы его дом.

— Все стены обиты штофом!

— Все стены увешаны ружьями, и все ружья в полном порядке, я трудился в поте лица... Ох, у меня душа оборвалась: может, он еще живет там, ютится в подвале, мой генерал, может, это он расставляет ловушки, ведь он же одержимый охотник!

Карола покачала головой.

— Будьте уверены, такой искусный спекулянт, который во время войны галопировал по Тиргартену и завел личного чистильщика ружей, расставляет нынче ловушки покрупнее.

Давид ухватил ее за руку.

— Послушайте, вы же дали ему почти политическую оценку!

Подождав, пока он отпустит руку — а по ее походке он заметил, что от него этого ждут, — она сказала:

— Вздор, просто не такая уж я дура. Но, как я вижу, вы тоже заразились новомодным заболеванием, во всем, что не совсем глупо, видите политический смысл. Хотя иной раз и в глуповатых на первый взгляд словах заключен весьма и весьма глубокий политический смысл. Никакого политического смысла нет только в этакой средней глупости, и одолеть ее не так-то легко.

— А вам бы хотелось?

— Мне хотелось бы сохранить покой.

— Горе вам! — воскликнул он. — Я напущу на вас Пентесилею. Услышав, что кому-то нужен только покой, она обретает свою лучшую форму и укладывает человека на обе лопатки, тут уж побежденный либо рвется в политкомиссары на Балтийский флот, либо, задохнувшись, отдает богу душу. Если Пентесилея надумает формировать из тебя человека нового типа, берегись, заговорит насмерть, никаких запасов воздуха в комнате не хватит. Вот ее-то я напущу на вас.

— Ох, лучше не показывайтесь мне тогда на глаза, — предупредила Карола.

— А если нет? — быстро спросил он.

— Если нет? Случится как-нибудь обеденный перерыв, вам вздумается побродить вокруг своей виллы, а мне — проверить, как поживают кролики. Ведь один раз мы именно там уже встретились.

— Да, но одного раза мне маловато, а ваши слова не слишком конкретны. У меня есть реальное предложение: я не выдаю вас редактрисе и мы встречаемся на полпути между редакцией и генеральскими развалинами, то есть на Потсдамерплац, там в танцзале «Наше отечество» мы просто потанцуем.

— Предложение донельзя реальное, нынче то и дело слы-

щишь: «Я вам ничего дурного не сделаю, фрейлейн, зато вы осчастливите меня»,— отпарировала она не очень-то любезно. Но потом улыбнулась откуда-то с высоты.— «Просто потанцуем»— неплохо звучит, эх вы, оружейник. Во-первых, я на четыре сантиметра выше вас.

— На два!

— Может, и на два, во всяком случае, выше, а главное, я не хожу в этот бордель, там вытанцовывают только валютный курс: восток-запад, запад-восток, нет, этот танец я не танцую. Так и быть, проводите меня домой после работы, и вот вам задача на конец дня: в политике я не разбираюсь, но я не дура, время от времени не прочь лечь с мужчиной в постель, однако предпочитаю, чтобы меня прежде об этом спрашивали. Пока!

— Пока,— пробормотал Давид вслед Кароле, которая хоть и торопилась, но невозмутимо прошла ворота и направилась в ротационный цех, прижимая к себе кролика. Глядя на ее внушительную спину, Давид не в силах был удержаться, чтобы мысленно, со смешанным чувством удовольствия, желания и опаски, не представить себе, что и правда совсем недурно было бы улечься с ней в постель.

По дороге в редакцию, боясь напороться на неистовую редактрису, он настороженно озирался по сторонам, готовый, появись она на горизонте, кинуться в первую попавшуюся дверь, ибо Иоганна не отступалась от человека, будучи его врагом, но она не отступалась от него и будучи его другом, для Давида же, как он подозревал, она была и врагом и другом, а вдобавок еще неукротимым педагогом, созидательницей нового человека, но сегодня он свою порцию получил сполна и теперь, пробираясь по темным коридорам, смотрел во все глаза и напрягал слух, чтобы не упустить ни единого звука в сотрясающемся старом здании, и наконец благополучно добрался до своей комнаты.

Как она этого добивалась, он не понимал, но от нее ничего нельзя было скрыть, и если уж она прививала тебе вкус к какому-либо делу, оно тебе действительно приходилось по вкусу, если уж она хотела отравить тебе радость, так любая радость была не в радость, вот почему Давид не желал, чтобы она выпытывала, что делал он в обеденный перерыв; у нее хватило бы духу рекомендовать ему прогуливаться не в Тиргартене, а в парках советского сектора, советское она во всех случаях и в любых смыслах считала самым лучшим, и если, чего доброго, дозналась бы до истории с широкоплечей девчонкой, не прошло бы и десяти минут, как она нагрянула бы в ротационный цех — и прости-прощай, Карола, спокойной тебе ночи, и прости-прощай вовсе не спокойная ночь с Каролой!

Но пусть бы кроличья заступница спустила ему визит Петрушенции, так просто эта история бы не кончилась; вернее говоря, у нее могло быть два конца: либо редактриса не одобрила бы девицы из ротационного — наверняка бывшая фюрерша в «Трудовом фронте»... мать — пьяница... а отец не иначе бывший офицер... в корне неверное отношение к Советскому Союзу... да, а что у нее за прическа?.. кто знает, откуда у нее такой свитер...— после чего Пентесилея скорее утопила бы Давида, чем допустила, чтобы он еще разок приблизился к этой опасной особе; либо, если бы она отозвалась о девушке положительно, наградила высшей похвалой: «Настоящий человек!», Давиду лучше было сегодня же бежать и давать объявление об оглашении их брака, назавтра ему так или иначе пришлось бы это сделать — редактриса «Нойе берлинер рундшау» не терпела половинчатости.

Нет, Иоганна Мюнцер, думал Давид, я тебе нынче словечком не обмолвлюсь, хоть засади меня в Железную деву, расскажи в который раз историю «Арбайтер иллюстрирте цайтунг» или вспомни, как твоему Бертраму наконец-то удалось избыть влияние Архипенко и его «абсолютной пластичности», поднимись до ораторских высот, кувыркайся и прыгай, словно «отец гимнастики» Ян, уважаемая, да, правда, глубокоуважаемая начальница, но из меня тебе нынче ни слова не выжать о послеобеденных прогулках по Тиргартену, ни полслова — о девице высоченного роста по имени Карола, она даже кролика так на руках держит, что сам невольно хочешь стать кроликом, нет, многоуважаемая Пентесилея, Давид кое-что наметил на вечер и выполнит свои намерения на все триста восемьдесят семь процентов!

Дело было девятнадцать лет назад, и танцзал тот давным-давно снесли, и спекулянтские лавчонки на Потсдамерплац, теперь никому в голову бы не пришло, глядя на Тиргартен, что это последнее европейское поле битвы во второй мировой войне; никто не расставлял там больше ловушек для кроликов, зайцев покупали опять в магазинах Ролленхагена те люди, что жили чуть-чуть левее Колонны победы, а люди опять там жили и злобно отзывались о журналистах, работавших в двух километрах восточнее: они якобы обитают бесконечно далеко, и отечество якобы у них какое-то новое, и отобрали они кое у кого куда больше, чем моток проволоки; они и всякие там чертовы Хеннеке и их высшая инстанция с ее Ксаверами Франками, и одержимые бабенки, не желающие оставаться упаковщицами, и другие бабенки, которым мало оставаться вдовой знаменитого Бертрама Мюнцера, вдовой знаменитого ученика знаменитого Архипенко, и такие, кто не желал выращивать свеклу в родной плодородной долине, а желал заниматься фотографией и радо-

вать людей снимками этих Хеннеке, и Ксаверов Франков, и упаковщиц, и знаменитых вдов, и водителей свеклоуборочных машин на полях плодородной долины, снимками с этаким противным привкусом, за безобидным названием которого — прогресс — скрывалась истинная дьяволыцина — социализм; вся эта шайка со столярами во главе государства, каменщиками на трибунах, мальчишками-подметальщиками за письменными столами и оружейниками, которые вот-вот сядут в министерские кресла,— все это сатанинское отродье со времен битвы в Тиргартене куда решительней преобразило свою часть родины, чем последняя адская весна последней битвы перекроила парк между Бранденбургскими воротами и дворцом Бельвю.

Кстати, два слова о Бельвю! Кстати, два слова о «Прекрасном виде»! Правда, ныне из дворца вновь открывался вид на восток, километра на два, но взгляд наблюдателя, свободно проходя над зазеленевшими кущами парка, чуть-чуть левее площади Малой звезды, где-то под самым небом натыкался на нечто чудовищное, что, оказывается, было их, этих там, флагом, и флаг этот развевался на тех самых Бранденбургских воротах, воздвигнутых тем самым Карлом Готтардом Лангхансом, который почти одновременно воздвиг и дворец Бельвю, слава богу, хоть он нам остался.

Вот два слова о «Прекрасном виде»! Вот два слова о Бельвю!

Да, чтобы видеть прекрасное, нужна иная перспектива, например та, что открывалась из кабинета редактрисы «Нойе берлинер рундшау». Видимость оттуда была прекрасная, даже если ты оглядывался назад, на прошедшие девятнадцать лет, потому что тебе открывалась перспектива на девятнадцать лет вперед. Довольно часто, правду говоря, движение вперед тормозилось, а порой его и вовсе отказывались признать таковым, и уж подлинной редкостью бывали крупные шаги, моменты подъема, боевые мгновения, когда ты пулей пролетал многие и многие километры, например отмахав полумеридиан, отделяющий экспедицию «Нойе берлинер рундшау» от командного пункта редакции.

Господин Ратт не пожелал в свое время дать новому служащему точных сведений о его будущих обязанностях. Развалясь в позолоченном кресле, он объявил послушнику Давиду, что истинную деятельность курьера не выразить в цифрах и не представить в таблицах; в работе курьера важны вдохновение и нередко даже озарение, а раз уж он вооружил Давида основными познаниями, удел Давида дожидаться, что принесет ближайшее озарение господина Ратта курьеру Давиду.

— Вот, к примеру,— сказал он и внезапно поднялся, Давид

предосторожности ради тоже встал с табуретки, которую ему предоставили,—я даю тебе подходящее задание, обеги-ка трижды вокруг территории «Нойе берлинер рундшау» подобно Ахиллесу, о коем, надеюсь, тебе известно: он был Быстроногий. Подобно Ахиллесу—это значит: как он обежал Трою, так ты облетишь «Нойе берлинер рундшау», ведь ты собираешься ее завоевать и стать здесь заметной личностью, ну, к примеру, главным редактором. Вот и мчись вокруг редакции, чтобы в ушах свистело, обеги ее трижды, да внимательно следи за теми, кто выглядывает из бойниц, они засели в крепости, и, если ты хочешь ее завоевать, ты должен всех и вся побороть, вот, к примеру, фоторедактора Габельбаха, который вечно торчит в окне на северной стороне здания, а вдруг это Гектор и что-то против тебя замыслил; внимательно присмотрись к нему, невзирая на сверхъестественную скорость, с коей ты побежишь вокруг нашего дома, и при всей своей умопомрачительной скорости не забудь также глянуть на толстяка у ворот, не заблуждайся на его счет, пост у него скромный, он привратник, но человек уважаемый, захоти он, и пустил бы в тебя стрелу, задержал тем самым и стал, к примеру, твоим Парисом, хотя, судя по фигуре, этого не заподозришь, а ежели ты, милый мой Ахиллес, мчась со скоростью ветра, повстречаешь мрачную особу женского пола, так не рассчитывай на свою красоту и отвагу, ибо она являет собой истинную опасность, ведь никогда не знаешь, любит она тебя или задумала изничтожить, она может, к примеру, оказаться Пентесилеей, а о ней что легенды, что художественная литература рассказывают как-то сбивчиво: то ли она злодейски прикончила Ахиллеса, то ли он ее, дело пока не выяснили. Ну хватит, беги, мчись на самых высоких скоростях, гони в темпе курьера «Нойе берлинер рундшау» трижды вокруг Трои, марш!

Чокнутый!—решил Давид и пустился в путь, но дело было в октябре тысяча девятьсот сорок пятого года, чокнутые встречались чаще, чем пара новых башмаков, а он любой ценой хотел попасть в редакцию, вот и потрусил рысцой вокруг дома, большей скорости он все равно не мог достичь—за забором, окружавшим здание редакции, царил еще больший хаос, чем в Тиргартене, который в ту пору был совсем-совсем близко.

Последние сто метров последнего круга Давид даже подпрыгивал на бегу, намереваясь предъявить патрону капельку-другую пота, пот нижестоящих—за годы учения он это хорошо усвоил—служил чуть чокнутым вышестоящим лучшим доказательством благонадежности и преданности. Пыхтя, подлетел он к золоченому креслу патрона, но в кресле его патрон, господин Ратт, уже не сидел; в кресле сидела женщина, нескладная кубышка, этакая

добродушная матушка, несколько неряшливо одетая, видимо, жена патрона.

На ней — вот, к примеру, как сказал бы патрон,— были синие чулки, совсем уж новость для Давида, хотя они и напоминали ему что-то, о чем он читал и что в связи с женщинами свидетельствовало о строгости или учености, во всяком случае, о чем-то неженственном. На предполагаемой фрау Ратт синие чулки, видимо, оказались по чистой случайности, что, впрочем, ничуть не удивительно, время было такое, когда каждый одевался не по предписанным правилам, а кто во что горазд, горазды же люди были не на многое, порой доставали волею судеб одежду, и если она мало-мальски прикрывала наготу и грела — не спрашивали, идет она тебе или нет, символ это какой-то или нет, а надевали ее на себя, как, к примеру, синие чулки.

Нет, ни строгостью, ни ученостью, ни отсутствием женственности облик предположительной супруги патрона не отличался, да и сам патрон в тот миг, когда Давид весь в испарине собрался было приблизиться к его креслу, более не выказывал строгости наставника или учености, к примеру касательно Трои, и сидел он уже не в кресле, а на Давидовой табуретке, Давиду же предоставлялось право решать, перед кем ему остановиться.

Он остановился у двери, поздоровался и ждал, как же оценит Ратт его три круга и время, на них затраченное.

Вместо патрона, однако, заговорила его женушка:

— Подойди-ка ко мне и поздоровайся со мной!

Давид поздоровался во второй раз, про себя обозлившись на «ты», не такая уж она старая, не такой уж он юнец, но не сопротивлялся, когда она, схватив его руку и энергично встряхнув, пожала ее, как проделывали это в советских фильмах, в тех двух, которые он успел посмотреть.

— Откуда ты? — спросила она.

С трудом подавив желание ответить: «Из Трои», он переспросил:

— Сейчас?

— Сейчас ты явился с улицы и, как видно, изрядно спешил,— заметила она,— нет, я хочу знать, откуда ты, из каких слоев: из рабочего класса, из мелкой буржуазии, из крупной буржуазии или крестьянства, а может, ты интеллигент?

— Я или моя семья?

— Ну подумай, о чем ты спрашиваешь? Ведь я и сама вижу, что ты не буржуа, или думаешь, я приму тебя за интеллигента, в твои-то годы, хочу я сказать? А профессия у тебя уже есть?

— Значит, все-таки я,— буркнул Давид.

— Ну-ну, не торопись,— сказала она,— но ты прав: мой

попутный вопрос относится именно к тебе, но это вопрос именно попутный.

— Я был оружейником, учился этому делу.

Казалось, она мысленно прощупывала сказанное Давидом, а потом с пугающей и в то же время неожиданной резкостью напустилась на него:

— А, оружейником, вот как! Отливал пушки, вытачивал стволы, дабы то, что из них вылетает, попадало в цель, собирал спусковые механизмы для убийц, выверял насечки и мушки для бандитских глаз! Теперь я понимаю, почему мой попутный вопрос пришелся тебе не по нраву, куда приятнее, если б я спросила о твоей матушке, славной немецкой матушке, и о твоем папаше, славном немецком папаше. Уж он-то, верно, не кует смертоносного оружия, раз ты настаиваешь, чтобы я спрашивала о нем, а не о тебе; так кто же он — безобидный мельник или безобидный садовник?

— Прежде всего он покойник,— отрезал Давид, сам не понимая, чего он пустился в разговоры с этой особой в синих чулках, но злость его нарастала не столько против нее, сколько против патрона: тот, сидя на табуретке, делал вид, будто так и положено, чтобы его женушка распекала курьера «Нойе берлинер рундшау». Сидел и хоть бы словечко проронил, а ведь недурно знал всемирную историю, знаком был, к примеру, с Чингисханом и Ахиллесом, и ему следовало бы знать, что оружейному делу учатся не обязательно убийцы. Но он сидел молчком и ждал, видимо, озарения, не прерывая речи странной особы.

— Погиб или умер, на войне или в мирное время, здесь или на Дону, что он был за человек?

Вопрос состоял, собственно, из семи вопросов, и, судя по глазам, сверлящим Давида, в нем скрывались семь ловушек, отчего у Давида сразу пропала всякая охота отвечать, но он все-таки ответил:

— Это был мой отец, очень добрый человек, вы и представить себе не можете, какой это был добрый человек, умер он по причине сожженного пищевода, погиб от винтовочного выстрела, который произвел самолично, случилось это во время войны, и на нем была форма, а в мирное время он сидел в концлагере, умер же и погиб неподалеку отсюда, в Ратцебурге, а на том дереве, подле которого это случилось, висел человек, не с Дона, правда, а из Польши. А теперь я хотел бы знать, какое вам до всего этого дело?

— Ну-ну, парень, тебя, видно, за живое взяло,— сказала мнимая супруга патрона,— вот ведь как распалился, но ничего,

запал формирует человека лучше, чем многое другое, для меня же твой запал — добрый знак, здесь сейчас большинство остерегается запальчивости. Так, говоришь, в Ратцебурге? А Барлаха ты знаешь?

— Понятно, знаю,— ответил Давид и поразился, каким живым интересом загорелись ее глаза,— понятно, знаю, знаю его, как знаешь человека, у могилы которого случалось играть в прятки.

— Бедняга,— тихо сказала она,— а Архипенко, его ты тоже знаешь?

— Он что, тоже там лежит? — вопросом на вопрос ответил Давид, но она, не обратив на это внимания, продолжала свое:

— Солдатом был?

И опять тот самый подкарауливающий взгляд; вот почему Давид ответил с дерзкой бойкостью, напугавшей его самого:

— Так точно, в районе решающих боев!

— Звание?

— Гренадер.

— Изволь объясниться.

— В чем?

— Ты пытался меня спровоцировать,— рассердилась она,— или сострить, но острота, если ты хотел сострить, получилась неудачной. Я требую объяснения — острота это или провокация и зачем она тебе? А спрашиваю я, чтобы ты понял — я много чего от тебя жду, и это добрый знак, по пальцам можно пересчитать людей, от которых я многого жду, от большинства здесь сейчас я жду только пакостей; итак, спрашиваю я, это истинная правда, ты и впрямь был простым солдатом, но на значительном посту?

Зачем она все повторяет «здесь сейчас», словно хочет сказать — «здесь сейчас, в разбойничьем логове» или «сейчас здесь, в нашей дерьмовой редакции», звучит это грустно, звучит так, будто ей хочется все тут перевернуть. Ох и тетка! Любительница отметок. Мне уже вывела две положительные. Дважды два плюса или дважды два минуса, у нее не поймешь, друг она тебе или кости переломать готова. Эта вот? Уж ей ли ломать кости! Сидит и вправду ждет ответа: был я важной шишкой в солдатах или нет. Старушенция, ты истинная училка! И что-то, сдается мне, с тобой нечисто!

— А что такое провокация? — поинтересовался Давид.

И понял сразу, что прав был, считая ее училкой: она выпрямилась в золоченом кресле патрона, сосредоточилась, потом глянула на него и заговорила четко, будто диктуя для записи:

— Провокация — это наущение, это вызов, это подговор,

иначе говоря, подстрекательство. Процесс, который под этим подразумевается, известен как из древнего римского права, так и из медицины, обе области нас здесь сейчас не интересуют. Нас интересует это понятие как политическое. В политике же провокация — это умение подбить на действия враждебную политическую группировку и тем самым спровоцировать, а затем против нее выступить, или же в нее затесаться, чтобы спровоцировать ее изнутри, в политике, стало быть, провокация — это умение подбить враждебную группировку на действия или политическую позицию, которые дадут повод стереть эту группировку в порошок или унизить ее в глазах третьих лиц. Все, для начала достаточно.

Да, подумал Давид, для начала достаточно; зато я хоть понимаю, что не зря вспомнил о синих чулках и учености, думается мне, не супруга ты нашего патрона, нет. Но кто же ты?

Не зная этого, он осторожно сказал:

— Значит, все мною сказанное о моем военном звании вовсе не провокация, а если и так, то самая малая. Стереть вас в порошок я не хотел, пожалуй, чуть подразнить. Но вы меня тоже дразнили, я бы даже сказал, зная теперь, что это такое: вы меня тоже провоцировали.

— А, это очень важно, скажи: чем или посредством чего?

— Чуть не на каждой уцелевшей стене выведены слова о «новом почине» и «мирном начале», всех призывают сообща взяться за дело,— начал Давид,— везде и повсюду, здесь, сейчас написаны эти слова, но стоит мне сказать, что я был солдатом, и у вас глаза полезли на лоб, точно я Гиммлер, а если я учился на оружейника, так я не иначе как сам Крупп, или Ахиллес, или этот, как его, Гектор из Трои. Может, мне надо было на велосипедника учиться или швейные машинки чинить? И если уж вам так важно, скажу здесь, сейчас: я в жизни не выстрелил в человека, пожалуй, у меня и случая-то не было, вернее говоря, случай был, здесь, в апреле-мае, и не один, но я не стрелял. Очень может быть, я просто трусил, но раз уж мы заговорили о провокации: должно быть, как вы мне объяснили, это отец мне наказал не стрелять, и если от меня бы зависело, так выстрел, которым отец убил самого себя, был бы последним в нашей семье. Не нужна мне ваша Троя, ни черта мне не нужно. Но вы меня раздразнили. Я прочитал пропасть надписей, сейчас, здесь, я пришел и хочу работать не оружейником, не гренадером, а курьером и буду носиться с курьерской скоростью вокруг редакции сколько вашей душе угодно, так, а теперь оставьте меня в покое, точка!

— Дьявол, может, и оставит тебя в покое,— воскликнула она,

поднимаясь,— но не я! Ты пойдешь со мной. Меня зовут Иоганна Мюнцер, и я несу ответственность за этот журнал. Ты больше не будешь бегать вокруг редакции или для редакции. Ты для меня будешь бегать. Будешь бегать по всему городу, читать надписи на стенах, читать выражения лиц, прислушиваться, что говорят люди, подмечать, что люди делают, и будешь мне рассказывать, у меня уже сил нет бывать везде и всюду. И еще ты будешь читать, много читать; уму непостижимо — не знать, что такое провокация! Дикость и варварство!

Она кивнула Давиду и направилась к двери.

— Подыскивайте себе нового бегуна, а этому парню надо работать! — объявила она и исчезла.

В мгновение ока патрон вновь очутился в кресле.

— Ха-ха, кстати: «Не нужна мне ваша Троя, ни черта мне не нужно!» А ведь ты завоевал ее, к примеру, только что. Ладно, отчаливай, по мне, так опять с нормальной штатской скоростью, однако же на твоем месте я шел бы туда с оглядкой, помни, та, что ждет тебя, хоть и не лишена приятности, но может обернуться смертельно опасным чудищем по имени Пентесилея. Спорим, она загоняет тебя до главного; но спорим, не добраться тебе до главного!

— Спорим! — воскликнул Давид и второй раз протянул патрону руку по этому поводу, а также на прощанье, да, он распрощался с патроном, и с экспедицией, и с карьерой курьера, которую проделал с наивысшей из всех мыслимых скоростей: со скоростью курьера «Нойе берлинер рундшау», и последовал за Пентесилеей, редактрисой еженедельника НБР, которая несла ответственность за журнал, а отныне еще и за Давида.

В последующие двадцать два года Иоганна сняла с себя первую названную ответственность, отнюдь, однако, не вторую; и когда Давид уже выиграл пари, и во все последующие годы она побуждала его не только читать и слушать, но вечно учиться и работать, частенько, надо полагать, ненавидела его, но, надо полагать, и любила, всегда видела его насквозь, вечно ставила ему отметки и, пуская в ход блестящий пример Бертрама Мюнцера, искореняла в нем малейшее проявление склонности к Архипенко, а другой, не менее блестящий пример, пример газеты «Арбайтер иллюстрирте цайтунг», АИЦ, пускала в ход, едва ли не читая каждую гранку, и уж всенепременно в каждом каверзном для «Нойе берлинер рундшау» случае, и расточала похвалы Советскому Союзу — от Амура до Березины, от Гладкова до Пастернака, говорила с энтузиазмом о Ленине и обо всех советских людях, вплоть до продавщицы мороженого в ГУМе, Натальи Ивановны Прокопенковой, не выпускала из поля

зрения врага, но, увы, друга тоже, и все еще строго спрашивала с друга Давида, и все еще не вполне была довольна тем индивидуумом, каковым являлся Давид, и навеки осталась неистовой Пентесилеей в неизменно синих чулках.

Неизменно, вечно, все эти годы — вот опять понятия времени, напоминавшие о длинной череде лет и вновь поднимавшие вопрос о следах, которые останутся после человека по имени Давид.

Наконец-то Давид, хоть и с трудом, стряхнул с себя настырных преследователей, понимая, однако, что начисто отделаться от них ему не удалось. Ох, горький и цепкий народец — годы, а Давид Грот уже поизмотался, ведь он тащил на плечах тяжелую ношу, и среди прочего — земной шар, новое почетное предложение и план положительной интриги. Надеясь облегчить себе дальнейший поход, он снял трубку и поручил секретарше соединить себя с министром, товарищем Андерманом.

— Криста,— добавил он,— пусть зайдет Эрик, но с конструктивным предложением касательно вирусного гриппа живописца Клункера.

— Так ведь он же не Иисус,— вздохнула Криста.

— И не нужно,— невесело прозвучало в ответ.— От случая к случаю маленькое чудо — большего мне не требуется. Вызови его.

— Сию минуту,— сказала Криста,— вот только коллега Габельбах каждые пять минут мечет громы и молнии по селектору. Шумит так, словно папа римский запретил фотографию. Кого же первым?

— А, сама знаешь,— огрызнулся Давид и, усевшись поудобнее, впрямь обратился в Иова, ибо Федор Габельбах был всем бедствиям бедствие.

Если речь заходила об антипатии Давида к Габельбаху и ему предлагали объясниться, он ничего более вразумительного не мог сказать, чем следующее:

— Мы знакомы двадцать лет, даже двадцать два года, мы столько времени работаем в одном журнале, вместе тащим нашу телегу по тернистому и каменистому жизненному пути, а все еще говорим друг другу «вы», я обращаюсь к нему: коллега Габельбах, а он ко мне: господин коллега, на днях он даже сказал: господин главный редактор. От этого же остервенеть можно!

Других причин он толком назвать не мог, у него, правда, имелись еще кое-какие, но и теми он не убедил ни Фран, ни Пентесилею и с тех пор держал эти причины про себя. Кроме них двоих, никому ведь не скажешь:

— Он католик, а это вовсе незаметно.

Или:

— Он испакостит любое начинание, хотя всегда все сделает.

Кто-то третий, кроме Фран и Пентесилеи, решил бы, что Давид в штыки принимает католиков и уличает Габельбаха в каверзах. Отнюдь нет, к религиозным взглядам Давид оставался равнодушным, если его не вынуждали их разделять, однако считал, что люди, приверженные вере, обязаны как-то высказываться, воздействовать на окружающих. Габельбах же обманывал все его ожидания. Как бы глубоки ни были убеждения Габельбаха, внешне он ничем этого не проявлял. Он был блистательным фоторепортером, он был им с головы до пят, и ничем иным, во всем, что касалось работы. Даже такие темы, как разводы, предупреждение беременности, самоубийства, и те огромные по значимости вопросы, которые вынес некий молодой человек из Гютерсло на сцены всего мира, Габельбах рассматривал с оптической точки зрения: как перевести их на язык фотографии? Какие бы мысли ни порождали у него различные энциклики различных римских пап, в случае, если редакционная коллегия НБР их обсуждала, Габельбах, выслушивая рассуждения своих коллег, либо своевременно указывал на имеющийся архивный материал, либо прикидывал, во сколько обойдутся фотографии, которые в связи с этим, хочешь не хочешь, придется заказывать. И если у других в мировоззренческих спорах о драме «Наместник» язык распухал, то Габельбах лишь очень коротко, но с непревзойденным знанием дела напоминал о проблеме репродукции через растр при крупномасштабных изображениях, одеяние папы оборачивалось у него всего-навсего вопросом цветной печати и нескончаемым брюзжанием по поводу скверной бумаги и пленки, но, зайди речь о бое быков или плауенских кружевах, он брюзжал бы точно так же.

Когда возмутительные фотографии Франциски вызвали спор, грозивший разнести редакцию в клочья, спор о морали и эстетике, о границе профессионализма, о священных коровах и тайне жизни, спор, который, казалось бы, должен затронуть католика, Габельбах и в этом случае делил возмутительные фотографии единственно на технически совершенные и на такие, о которых этого не скажешь из-за голубоватого оттенка, нечеткости изображения или безучастности автора.

— Это фото что изображает — лунный пейзаж или послед? А раз получилось либо то, либо другое, значит, фотография не получилась. Уничтожьте ее, иначе архивариусы занесут ее в раздел астронавтики. Вообще наш архив — это же черт знает что, двадцать два года сплошной хаос!

Если послушать Габельбаха, то со дня его поступления в «Нойе берлинер рундшау» там царил сплошной хаос во всех

делах и начинаниях, каковые предпринимались, разумеется, против его воли, о чем он неизменно громогласно заявлял, и тому, кто постоянно имел с ним дело, не было нужды обращаться к голубиным гирляндам Каролы, чтобы заметить, как текут годы: каждый раз одиннадцатого сентября, в день своего поступления на работу, Габельбах переводил, оплакивая затяжной хаос в НБР, зубчатое колесо года на один зуб, сообщая навязшую у всех в зубах истину, что хаос в редакции усугубился, называя царящую неразбериху уже не семилетней, как еще накануне, десятого сентября, а ныне, одиннадцатого дня того же месяца, восьмилетней — да, он добросовестно вел календарь затяжного беспорядка и уже тем самым причинял довольно мук Давиду Гроту, ведь тот в числе других прочих не только постоянно общался с дотошным регистратором всех путаниц, но вдобавок за истекшее время передвинулся на первое место в выходных данных, и если в редакции действительно царил хаос, так хоть не всю вину, но уж ответственность он обязан был взять на себя.

Еще горшие терзания испытывал Давид от мучительно непонятной особенности Габельбаха — полного отсутствия какого-либо отблеска веры на его служебной деятельности, хотя известно было, что во внеслужебное время он исповедовал ее преданно и усердно и следовал всем ее предписаниям.

А известно это было потому, что, как ни велик город Берлин, он не так уж велик, чтобы исключить случайные встречи «ранних пташек» из числа сотрудников НБР с завотделом иллюстраций НБР, усердным посетителем богослужений Габельбахом; лаборант Гризе, например, рыболов и болтун, не раз обгонял на велосипеде своего непосредственного начальника, когда тот на рассвете благочестиво шествовал в церковь святого Франциска Ксаверия, а лаборант Гризе спешил, чтобы захватить местечко поудачнее для рыбной ловли.

— Уж лучше рыбацкие были,— эта не слишком удачная острота составляла обязательную часть сообщения, которое делал Гризе в понедельник о своей встрече воскресным утром,— уж лучше рыбацкие были, чем богословские небылицы.

Он в той же мере отличался болтливостью, похваляясь удачным уловом, в какой Габельбах — молчаливостью в делах своей веры.

Если бы пункт о принадлежности к тому или иному вероисповеданию вновь ввести в анкеты, из которых он давным-давно исчез, то наверняка ответ «римск.-католич.» попадался бы довольно часто в бумагах сотрудников НБР, и никто не стал бы этому удивляться, ни Карола Крель, ни Давид Грот, в редакции по этому поводу никто не вел бы разговоров; про такого-то все

было известно, ведь он уже не раз поднимал шум из-за своих убеждений, а другого и не слушали вовсе, он был настолько всем безразличен, что его вера тем более никого не интересовала.

Габельбах, однако, всех интересовал и уж наверняка никому не был безразличен, интерес к себе он вызывал двойственный: одним доставлял горькие минуты, других искренне радовал, ибо был порядочной ехидиной и отличным специалистом и в работе руководствовался не католической или какой-либо иной верой, а лишь верой в законы оптики.

В этом заключалась загадка, заключалось противоречие, которое должно было раззадоривать такого человека, как Давид Грот, хотя он уже давно знал — разгадки ему не получить, Габельбах упрятал ее в сокровенные глубины своей души, скрывал за семью печатями и любую попытку подступиться к ней — с откровенным ли вопросом, с брошенным ли намеком — отвергал до конца своих дней в журнале «Нойе берлинер рундшау» язвительно и резко.

Давид открыл дверь своему верховному фотокомандующему, пожал ему руку и пригласил сесть.

Как уже повелось, Габельбах словно не заметил жеста, которым Давид предложил ему одно из кресел, и, как повелось, уселся на стул против письменного стола, чтобы не оставалось сомнений: он здесь по служебным делам, сотрудник, подчиненное лицо.

Его вид не оставлял и других сомнений: он недоволен, а кругом царит, как еще двадцать два года назад, первозданный хаос; ну как же: вавилонская башня в центре города получает отныне лицензию, вытесняя со страниц «Нойе берлинер рундшау» все, что меньше ее, этой колючки, пропарывающей берлинское небо, да, если установка именно такова, пусть уж коллега главный редактор примет к сведению — к вытесненным примкнет и руководитель отдела иллюстраций Федор Габельбах, ибо подобное положение вещей наверняка приведет совершеннейшую неразбериху изначального сумбура к невообразимому хаосу, а он, Федор Габельбах, чем содействовать такой безалаберщине, лучше уж возьмет в руки посох.

Давид, притворившись, что не слышит знакомой угрозы посохом — риторической фигуры, значение которой он прекрасно понимал, при том что происхождение ее оставалось для него темным,— спросил с подчеркнутой деловитостью, единственным оружием против этого буйного троянца:

— В чем конкретно дело?

— А конкретно дело в том, что есть план вытеснить все постройки рук человеческих с иллюстрированных страниц жур-

нала, заменив их помпезным шилом под названием «телевизионная башня»,— ответил Габельбах и застучал по своему блокноту.

— Кто же этот план предложил?— спросил Давид.

— Кто этот план предложил, мне пока что неясно, но тени этого проекта уже лежат на стенах редакции, а тень этой бетонной стрелы уже лежит на плане следующего номера.

— А где конкретно лежит эта тень, на какой полосе?

— На полосе одиннадцатой, на мебельной полосе, на полосе с лучшими снимками мебели, которые когда-либо были подготовлены к печати в этом сумбуре, вернее, были бы подготовлены, точнее, едва не были подготовлены, не пади они жертвой преклонения перед торчком торчащим бетонным шипом.

— Но они вовсе не «пали жертвой»! Никто не выкидывал мебель, ее перенесли на двадцатую полосу, коллега Габельбах.

— Коллега главный редактор, перенести на двадцатую означает: убить, прикончить, уничтожить, иначе говоря, выкинуть. Терпения читателей хватает, пожалуй, до одиннадцатой полосы, после которой простирается глубокая могильная яма, и в эту яму вы сбрасываете лучшие фото мебели, какие когда-либо создавались во всей этой сумятице: вы сбрасываете их ради нелепой монументальной трубы.

— Вернемся, однако, к делу, коллега Габельбах: мебель мы даем, и башню тоже даем; мебель даем на втором месте, а башню— на первом, такое решение у нас было, такое решение у нас имеется, такое решение у нас остается. Башня по высоте занимает первое место в Европе, исключая московскую, и башня займет первое место в НБР. У вас есть предложения?

— Разумеется, у меня есть предложения, но разрешите прежде предостеречь вас?

— Не знаю, что бы я делал без ваших предостережений. Так, стало быть, я слушаю.

— Так, стало быть, слушайте: если долговязый уникум завалится, его проектировщику даже посоха брать не придется, из него на возмещение убытков выжмут все соки, за примером ходить недалеко.

— Догадываюсь, с ним-то вы и пришли, была не была, как у нас повелось, жду вашего предостережения.

— Ну, пока ждете, иронизируйте на здоровье, но уж не обессудьте, если потом перепугаетесь, да вот послушайте, я процитирую вам отрывок из сообщения номер один князю Георгу Альбрехту Остфрисландскому давнего нашего с вами коллеги Германа Ортгиза: «Перед местным кафедральным собором во время отсутствия Вашего Королевского Величества едва не возвели весьма помпезную траурную арку, однако же строитель-

ных дел обер-директору господину фон Эозандеру пришлось снести оную арку и loco poenae* понести все отсюда вытекающие убытки, поелику строительные работы он вел без особого на то Королевского Указа».

— Бедняга,— вздохнул Давид и больше ни слова не проронил, ибо за габельбаховскими примерами из истории журналистики простирались глухие топи, и кто пускался в спор, увязал в них; Давид давно испытал это на собственном опыте.

— Бедняга,— отозвался Габельбах, приподнимаясь со стула.

— Минуточку,— воскликнул Давид,— а ваше предложение?

— Ах да, верно, для того ведь я и пришел,— изрек Федор Габельбах, на сей раз, однако, не обратив концовку фразы собеседника в начало собственной, и, отбросив витиеватость мыслей, а также слога, и не выказывая отвращения к телебашне, изложил свой проект:— Нам следует проделать следующее— нынче же установить камеру на определенной точке в городе и придерживаться этой точки до завершения строительства, а для сравнения дать фото одного из лучших старых зданий, Красной ратуши, к примеру, или церкви Пресвятой Девы, или того и другого, затем еженедельно публиковать фото строго определенного места стройки — от фундамента до кончика антенны, а в конце, возможно, дать разворот, все фотографии одна за другой, и шапку: «Гигант — замедленной съемкой». Все.

— Хорошо придумано,— одобрил Давид,— выносите на редколлегию. Да не обсудите ли заодно с городским стройуправлением, куда водрузить нашего фотокорреспондента? А то они нам всю перспективу застроят. Большое спасибо!

— Не стоит благодарности,— ответил Габельбах,— если я в силах внести хоть каплю порядка в дела редакции, всегда к вашим услугам. До свидания, господин коллега!

— До свидания, коллега Габельбах,— ответил Давид, чувствуя, что до предела вымотался, но одновременно встряхнулся, чувствуя себя здоровым и бодрым, хоть голова шла кругом, как всегда после визита Габельбаха, хоть справа под ребрами ощущалось какое-то жжение — нечто совсем новое,— чувствуя себя в центре, не в начале и не в конце, чувствуя за плечами накопленный опыт минувших лет, чувствуя, что впереди есть еще много лет для накопления опыта, чувствуя себя на две-три голубиные гирлянды моложе и на тысячу башенных сооружений старше, чувствуя, что время от времени он вправе получить бумажную звездочку, а главное, чувствуя, что соответствует занимаемому им посту, и никакому иному.

---

* Вместо наказания *(лат.)*.

6

Кем быть тебе, если твой дед фотограф, и отец фотограф, и ты хочешь стать приличным и солидным человеком? Кем же быть тебе, если у тебя трое братьев и сестер, а из них — трое фотографы? Кем же быть тебе, если ты живешь в Вейслебене и все зовут тебя дочкой фотографа?

Не иначе как быть тебе фотографом. Да ты, собственно, уже фотограф, не успев даже стать фотографом.

А находишь ли ты радость в своей работе? Пока что это скорее забава, чем работа, и оттого всегда радость. Разве работа перестает быть радостью, если она не забава, а обязанность?

Франциска считает, что нет. С первого дня ученичества она не просто училась, она горячо взялась за дело. Вот в чем разница, однако Франциска испытала и другую радость: «Франциска, да ты никак отцу помогаешь?» — «Я у него в ученичестве!»

Кого и что можно фотографировать в Вейслебене, расположенном в плодородной среднегерманской долине Бёрде? В тысяча девятьсот пятидесятом году местечко насчитывало примерно пять тысяч жителей, из них что-то около трех тысяч двухсот уже получило удостоверение личности, стало быть, фотографии для паспортов требовались весьма редко. Примерно одна треть жителей достигла пенсионного возраста; они не нуждались даже в пропусках и вряд ли вступали в союзы, вручающие своим членам документы. Работающее население, исключая домашних хозяек — тем мыть посуду разрешалось без удостоверяющих фотографий, — составляло что-то около тысячи двухсот человек, из них лишь двести трудились на предприятиях, допускающих к работе не ранее, чем человек предъявит свое проштемпелеванное изображение; на поля вокруг Вейслебена, в булочные, в шляпные магазинчики Вейслебена можно пройти и без таковых. Лишь триста жителей города состояли в партиях или в таких обществах, включая добровольную пожарную дружину, где интересовались фотографиями своих товарищей, коллег и друзей. Первое место по потреблению фотографий твердо держал учитель Якш; он член шести самых разнообразных союзов, но и для этого довольно дюжины копий с одной фотографии, все равно остался бы солидный запасец на случай возникновения нового союза и всенепременного вступления в его члены, ибо учитель Якш человек в высшей степени сознательный.

Однако на деньги, получаемые с учителя, а тем более с других в той или иной степени сознательных жителей городка Вейслебен, семейство фотографа Греве жить не в состоянии, скорее оно живет на деньги с несознательных жителей, вернее сказать, оно

живет не столько на деньги со всего нового, в том числе нового общественного сознания, сколько на деньги со всего старого, в том числе и старого сознания. Оно живет на деньги, получаемые от фотографирования малой и самой малой ребятни, у которой нет никакого сознания, на деньги, получаемые благодаря обычаям скорее общительно-компанейского, чем общественного, свойства. Оно живет на деньги, получаемые с крестин и Дня первоклассника, неплохо живет на деньги, получаемые с конфирмаций, а также благодаря не сокрушенной и в Вейслебене вере родителей, что их дети самые красивые.

Когда Франциска поступила в ученичество, в Вейслебене имелось около двух тысяч граждан моложе ее. С года тысяча девятьсот сорок шестого, когда ее отец вернулся из американского плена и вновь открыл свое заведение, рождаемость почти удвоилась. Мужчины городка, из тех, кто мог вернуться, вернулись, а возвращение хорошо рифмуется с разрешением — от бремени, само собой разумеется. Пришли в город и такие, кто прежде здесь не жил; пришли из Эйдкунена и из Старгарда, а также из Лигница, что в Силезии; все они поначалу крепко держались друг дружки, потому что были на чужбине, а когда перестали чувствовать себя как на чужбине, расположились поудобней и, народив детей, заявили свое право на отечество, в данном случае олицетворенное городком Вейслебен в плодородной среднегерманской долине.

Правда, кое-кто из жителей подался на Запад, что лежит в сорока километрах западнее Вейслебена и зовется Хельмштедт; они добирались туда кто пешком, кто на велосипеде, а кто поездом через Магдебург или, уже позднее, самолетом, сделав крюк через Западный Берлин, пройдя лагерь у Заксендамм в Шёнеберге или в Мариенфельде, и, прежде чем пролететь над Мариенборном и покинуть свою старую, такую непереносимо новую страну, видели при ясной погоде внизу слева Вейслебен, они оставляли его слева, вот он еще, они чувствовали себя на немыслимой высоте, а он вот еще, они улетали, а Вейслебен оставался позади, но вот он еще, и кто знает, каково у них было на душе?

Впоследствии папаша Греве утверждал: он-де мог заранее сказать, кто вынашивал планы предстоящего отъезда, и подкреплял свое утверждение бухгалтерской книгой; он мог предъявить заказы на семейные портреты без всякого торжественного повода и на фотографии, увековечивающие расположение дома, или гостиную, или старого пса, при этом папаша Греве добавлял, что все вышеназванные, от кого он получал заказы, никогда раньше не заказывали у него ничего подобного, да и позже тоже никогда,

ибо позже они покидали город, оставляя свой дом, и гостиную, и пса, и множество кузин,— вот откуда появлялся повод собраться и всем вместе выстроиться перед фотоаппаратом, и звался этот повод прощаньем.

Тем и кормилось семейство Греве, что одни приходили, другие уходили, но все желали удержать свою тень, получить и оставить свидетельство о себе и о своем земном странствии; вот что, собственно говоря, Франциска усвоила за годы ученья: кое-что о характерных свойствах человека и кое-что об искусстве обхождения с людьми.

Она узнала об оттенках тщеславия, о соглашениях, удерживающих жизнь в рамках обычного порядка, об отношениях людей и вещей, об основаниях для гордости, о силе верного слова, о благорасположении, которым пользуется меткая ложь, о прикрасах, в которых нуждается истина, о дистанции между цветом черным и цветом белым, она научилась наблюдать и молчать, утрировать и ретушировать, а главное, Франциска научилась делать свою работу и находить в этой работе радость.

Дети, основные клиенты ее отца, не вызывали интереса у Франциски: малыши еще не способны ни на какие уловки, а тем, кто постарше, уловки внушены извне; платье для фотографии надевала мать, а манеру держать себя они переняли у отца.

Школьные съемки — уже другое дело, тут группировались характеры; порядок размещения выдавал ранги, взгляд, обращенный в камеру, зависел от положения дел в школе, не тот взгляд, когда перед съемкой группового портрета поднимают шумиху, все таращатся в аппарат и ощущают себя пупом земли, а другой, когда взгляд бросают искоса, исподтишка, ведь те выражения лиц, которые позднее открывались на пленке, вряд ли осознавались их обладателями: зависть к соседке по парте из-за свитера и к мальчишке впереди из-за бутерброда, любовные перемигивания Дитера и Мариты — обоим по двенадцать, а то и ненависть, что кинжалом впилась в спину учителя.

Отец вначале ворчал над испорченными пленками, но спустя некоторое время разрешил ученице увеличивать наиболее удачные снимки из ее улова, и вместе с ней посмеивался, и качал головой вместе с ней, и помог ей составить из отдельных частей панорамный снимок, который она, когда ей стукнуло семнадцать, нарекла «Человек и жизнь человека, живущего в Вейслебене».

Коллекция обладала живительной силой, правда кое в чем и устрашающей, и лучше было бы рассматривать профили на балу Общества пожарных вслед за теми, что Франциска запечатлела после единственной автомобильной катастрофы в Вейслебене, ибо она сфотографировала не двух покойников на мостовой, а

лица людей, окружающих трагическую сцену, и самое скверное заключалось в том, что все эти лица она знала с совсем иным выражением: «Секундочку, фрейлейн Греве, ваш торт готов». «Добрый день, фрейлейн Греве, не могли бы вы заглянуть в воскресенье на крестины, бабушке в Брауншвейге хочется фотографию!» «Ах, фрейлейн Греве, я принес пленку, надо бы ее проявить, но, знаете ли, фото у меня интимные, из отпуска, вы уж понимаете!» «Ох, фрейлейн Греве, поглядите, как уселся этот озорник, а ведь сию минуту отгладила ему рубашку, и что мне только делать с его вихрами?»

Сколь омерзительно таращились люди на погибших при катастрофе, столь же нелепо они обычно выглядели на похоронах и на последующей церемонии. Вокруг только-только уложенных могильных плит они стояли точно вокруг футбольного кубка. А объедались на поминках с безудержной радостью живущих. Они прекрасно понимали, какой у них дурацкий вид в одолженном цилиндре, их измучил бы прострел, попытайся они выстоять два часа, вытянувшись с подобающим случаю достоинством. Всех их блистательно представлял некий пожилой господин, которого Франциске удалось запечатлеть: сперва — когда он проверял счет погребальщицы, затем — когда, убитый горем, он, рыдая, шел на кладбище, и в конце концов — когда, сидя на корточках, стучал по дереву: действительно дуб! — гробовщица его не надула.

Профессия фотографа делала человека не по возрасту зрелым — во всяком случае, если принимать ее всерьез, как принимала ее Франциска. Нельзя же было приходовать сотни человеческих слабостей и не подбить однажды итог. Вот тут она и наткнулась на нечто весьма значительное, это нечто называлось противоречием, противоречием между мнимым и подлинным, между притязанием и осуществлением, между отображением и содержанием, между намерением и результатом, Франциска постепенно уясняла себе вездесущность этих взаимосвязанных противоречий и потому постоянно была готова вслед за одним открытием делать все новые и новые.

Франциска была к этому готова, и тем не менее одно событие едва не выбило ее из седла, а отца ее и в самом деле доконало. Он дал ей как-то листок с заданием, она села на велосипед, чуть-чуть посмеиваясь про себя и даже испытывая любопытство, но не слишком сильное, нет. Домашнее венчание в деревне в ее практике уже случалось. Чаще всего участники церемонии держались чопорно, по-дурацки конфузились, а потому давали дурацкие объяснения: невесте-де каждый раз нездоровилось, когда назначали свадьбу; жениха посылали каждый раз на монтажные работы; у матери есть излюбленный день, именно в этот день

надо играть свадьбу; а ребеночек между тем рос, и невесте теперь трудновато идти в церковь, так пусть господин пастор пожалует в дом, подумаешь, дело какое, главное, чтоб были счастливы!

На пути к счастливому жениху и невесте Франциска нагнала пастора и обрадовалась, ибо одинокие путники склонны к недозволенным шуткам, встречая восемнадцатилетнюю девицу на велосипеде. Пастор тоже обрадовался спутнице, он полагал, что имеет основания считать себя жертвой, которую преследуют все роды войск. На пути к первому его фронтовому богослужению шальная пуля в клочья разнесла шину переднего колеса его велосипеда, в другой раз он наткнулся на заградительное бревно и сломал себе нос; с той поры, подозревает он, его проповедям не хватает силы убеждения, поскольку ярко выраженная гнусавость, с которой он произносил их, может навести на мысль, что человек он спесивый.

Хотя именно спесь чужда ему, объяснил он Франциске и просил ее ничего такого не думать: едучи впереди и разговаривая с ней, он ни единого раза не обратил к ней взгляда; дело в том, что взгляд он устремлял исключительно на дорогу, по которой они едут, проверяя, нет ли где ловушек и капканов, у него достаточно причин для опасений.

Они тем не менее целыми и невредимыми добрались до одинокой усадьбы посреди плодородных полей, где их встретили с почетом, накормили праздничными яствами и напоили вином, после чего они взялись за работу.

Многочисленных родственников ради, а также из-за тесноты помещения некое подобие алтаря было сооружено под открытым небом, во дворе; священника это вполне устраивало, господу меньше хлопот наблюдать за церемонией, и Франциску это устраивало, недостатка в свете не будет, а деревенская свадьба под открытым небом — это кое-что для ее коллекции.

Она прислушивалась к проповеди, устанавливая штатив, и сочла ее вполне приемлемой, гнусавость же, поскольку Франциска знала о ее физической первопричине, ей ничуть не мешала.

Для той минуты, когда будет произнесено двойное «да», она встала на такое место, чтобы в объектив попала вся группа: гости, родители, свидетели, жених и невеста и пастор, а в придачу кусок дома и крыша сарая за ним и надо всем этим свод родных небес.

Она свободно держала в пальцах спусковой тросик и внимательно слушала, выжидая, когда пастор произнесет каноническую формулу: «Итак, я спрашиваю тебя...»

Франциска, разумеется, предостерегла собравшихся: щелкнет

она в ту секунду, когда жених произнесет «да», говорящий будет запечатлен с открытым ртом, что далеко не каждому к лицу, но родителей невесты мало волновали вопросы эстетики, их вряд ли интересовали Лессинг и Лаокоон, им важно было иметь документ, по-видимому, у них были веские основания во что бы то ни стало получить оптическое подтверждение того факта, что жених дал свое согласие.

— Итак, я спрашиваю тебя,— начал было пастор — и в то же мгновение замолк, не назвал имени невесты, которое должно было в этом месте последовать, помолчал, не только взглядом, но, казалось, всем своим существом устремившись в небеса, после чего, однако, не продолжил своей формулы, а рявкнул во всю глотку, невзирая на сломанный нос, не имя невесты, нет, а хоть и гнусаво, но, как сразу же выяснилось, достаточно убедительно рявкнул всем знакомую команду:

— Воздух!

Поданная в таком тоне команда «воздух!» означает «бросайся наземь», и не было человека в свадебной толпе, кто бы этого не понял, и вот все общество, разодетое в пух и прах, в мгновение ока оказалось на земле, правда, женщины постарше и перезрелая невеста проделали указанный маневр не столь быстро, как мужчины, прошедшие тренировку между устьем Волги и норвежскими фьордами, но быстрее всех проделал это сам пастор, и, когда связка братских посланий, отправленная из Хельмштедта на аэростате и снабженная — для лучшего распространения по всей советской зоне — разрывным зарядом, ударила в крышу сарая, праздничное общество уже лежало ничком на земле, только Франциска стояла во весь рост у аппарата и таким образом сделала свой коронный снимок.

«Хладнокровие» не то слово, которым можно объяснить ее поведение. Все было гораздо проще и объяснялось легче, если вспомнить, что Франциска в противоположность собравшимся не принимала участия в свадебном обряде; она ждала, чтобы жених произнес свое «да», но очередь до него еще не дошла, и потому Франциска не столь сосредоточенно, как родные молодой четы, прислушивалась к словам пастора и не была, как они, принимавшие деятельное участие в происходящем, внутренне готова воспринять требование священнослужителя так, словно оно в какой-то мере относилось к ней, и в унисон с молодой супругой произнести «да» во всеуслышание или про себя; она просто-напросто не была, как остальные, соответствующим образом настроена, не была частицей этого сообщества и оказалась способной отделить себя от происходящего, когда все, не вопрошая, распростерлись на песке, у нее в голове мелькнуло: «Вот так

так!», а большой палец, сработав рефлекторно, нажал спусковую кнопку.

С ней ничего не стряслось; единственным пострадавшим был пастор; падая, он свернул себе челюсть и теперь, обратившись к Франциске, загнусавил еще сильнее:

— Вот видите, я же говорил вам, что у меня есть свои основания!

Челюсть ему вправили, неповрежденный гонт собрали, пожилого родственника привели в чувство, алтарь водрузили заново, венчание завершили, жениха сфотографировали с раскрытым ртом, свадьбу отпраздновали, падение пастора осмеяли, испуг залили добрым вином, выпили за счастье, и еще раз за счастье, и еще раз залили испуг — ваше здоровье, ну и дела, черт побери! вот оказия! — после чего Франциска отправилась домой.

Она проявила пленку, и фотография оказалась в самом деле коронной. Сверх всякой меры курьезная, она была и сверх меры жуткой, но то, что случилось впоследствии из-за этой фотографии, обернулось для Франциски безмерной жутью.

Из-за этой фотографии она потеряла брата, а из-за этого потеряла отца, из-за фотографии, на которой разнаряженное свадебное общество ничком лежит в песке, а за ними часть крыши взлетает в воздух, из-за ее коронной фотографии.

Обо всем этом семейство фотографа Греве еще не подозревало, когда, разглядывая первый отпечаток, не в силах было сдержать хохот; деревенская свадьба при полном параде, и все до единого распростерты на земле — такого им видывать не доводилось, а смеяться ведь разрешается, все хоть и натерпелись страху, но серьезно никто не пострадал.

Серьезно пострадало лишь семейство Греве, ибо старшего сына осенила идея.

Симпатичный парнишка двадцати трех лет — Франциске было восемнадцать, — настоящий старший брат всегда и во всем, особенно с той самой поры, как слышал свист пуль; он знал жизнь, невест у него по всей равнине было до черта, а еще двух завел в Берлине, одну в Восточном, другую в Западном; да, все это требовало расходов.

Его звали Клаус, и был он честный малый в пределах семьи. Ездил в Темпельхоф, если в Магдебурге не оказывалось проявителя; знал обменный курс, как таблицу высшей лиги; Шарлоттенбург был его Макао: рынок и приключения, воровской притон и весь белый свет; никого он не боялся, ни спекулянтов-огородников, ни таможенников, ни преступной братии, что толклась возле станции Зоологический сад.

Стать хозяином отцовского заведения в Вейслебене он не

желал, он хохотал, когда отец говорил с ним о наследовании; он хотел попасть в большой мир, вырваться на простор, снимать Ага-хана или сибирских геологов, тайфуны, циклоны, засекреченные платья Диора, советских собак о семи головах, шесть из которых — синтетические, Манфреда фон Арденне именно в тот момент, когда он изобретает свой телефон без диска, социалистическую революцию в Мадриде, магдебургский «Локомотив» с Кубком Европы, Северный полюс и озеро Титизее в Шварцвальде.

Он вовсе не был одержим несбыточными мечтами, он их просто не считал мечтами — скорее этапами на том огромном пространстве, куда он намеревался отбыть и где хотел не миллионы загребать, а работать, не ограничивая себя вейслебенскими традициями, эстетическими взглядами местного пекаря и даже самого торговца спаржей, а также техническими возможностями отечественной фотохимии. Он не сорвался с места сломя голову, он прекрасно понимал: его не ждут ни «Пари-матч», ни «Тайм» или «Штерн», а подстраиваться в хвост безработных никакой охоты у него не было; да и ни к чему, ведь с такой точки зрения и Вейслебен городок хоть куда; чем побираться там, он уж лучше здесь отретуширует портреты «серебряных» новобрачных, налюбезничается с мясниковыми дочками, рассыпая остроты о шкуре белого медведя, смене позиций и обаянии девственности, да подождет удобного случая.

Именно такой случай подвернулся Клаусу, когда заплутавший снаряд угодил в крышу сарая, а Франциска рефлекторно щелкнула.

Что значит кража и ложь? Сестре никуда это фото не пристроить, а подарить его, в придачу к свадебному, тупоумным крестьянам или упрятать в свою коллекцию — то же самое, что угробить.

Клаусу Греве этот кадр послужит пропуском к тем, кто ведает кадрами в одной из крупных редакций; негатив и единственная копия — вот и весь багаж, а немного денег той и другой расцветки он скопил заранее.

Съезжу-ка я в Магдебург!.. Билет второго класса, Берлин, Фридрихштрассе!.. Да, это уже Зоологический сад, минуточку, я помогу вам, я тоже выхожу!.. Добрый вечер, у вас найдется комната на ночь?.. Доброе утро, я оттуда, у меня есть фотография... Конечно же, мистер Дорнеман, конечно, я сбежал по политическим мотивам; представляете, как они меня разыскивают!

Поначалу искали не его, а фотографию. Они прибыли на следующий после свадьбы день и пытались выяснить обстоятель-

ства дела. Произошел несчастный случай, необходимо тщательное расследование. Хорошо, что все обошлось сравнительно благополучно, и хорошо, что есть фотография, документ, разъясняющий обстоятельства дела. Отец невесты предъявил иск в связи с разрывным зарядом, заявив, что дочь Греве, городского фотографа, всему свидетельница, она как раз щелкнула, ну, все-все успела снять, как раз когда грохнуло, спросите-ка ее! Они спросили и пожелали видеть фото, очень вежливо, пока Франциска не вернулась с пустыми руками. Тогда они сами пошли искать и разговаривали теперь далеко не так вежливо; видно было по их лицам: они ведут борьбу, а здесь наткнулись на противника. При этом они все-таки были в естественном для себя положении, они делали свое дело: исчезла нужная фотография, они ее искали. Семейство Греве оказалось в скверном положении: им очень скоро стала ясна связь между исчезновением сына и отсутствием фотографии, обстоятельство, отодвигавшее сына в недосягаемую даль.

Франциска с отцом должны были поехать с ними. В течение трех дней их спрашивали и расспрашивали, попросили рассказать о себе, изложить свои взгляды на жизнь, Франциске даже было странно, какую долгую она прожила жизнь и какие в этой жизни бывали подозрительные ситуации.

Когда ее отпустили, она готова была сменить профессию, но ради отца не заикнулась об этом. А у него от страха душа ушла в пятки. Рядовой член нацистской партии, мелкая рыбешка, он на фронте служил фельдфебелем, проявлял аэрофотоснимки самолетов-разведчиков; казалось, все давно забыто, и вот услышал такие слова, как «сокрытие документов» и «умышленные препятствия в прояснении дела», самое же худшее заключалось в том, что он все понял. Человек он был честный, вернее, именно потому, что он был честный человек, его так глубоко задело происшедшее. Он приложил много сил, желая понять свои ошибки и не повторять их. Он отбивался, как мог, от попыток самооправдания, которое подсказывало ему, что всегда удобно считать себя жертвой обстоятельств. И опять возникли обстоятельства, в которых он, казалось, был никак не повинен, вот уж когда волей-неволей приходит в голову, что даже самая добрая воля не в силах противостоять злому стечению обстоятельств.

Письмо сына, чуждое и бессмысленно лживое, ничего не исправило, в нем ни словечком не упоминалось об исчезнувшей фотографии. Но по крайней мере это дело вскоре прояснилось, ибо вскоре к ним в дом вновь явились расследователи, на сей раз они ничего не искали, на сей раз они кое-что привезли.

А именно журнал с той самой фотографией на развороте. В

тексте, напечатанном белым по черному, говорилось об ошеломляющем документе и о царящем «там» повседневном терроре, далее из текста можно было понять, что наводчик-атеист направил орудие на крестьянский сарай из-за религиозного обряда, и еще в том тексте шла речь о постоянной угрозе христианам в «зоне» и о непоколебимом мужестве фотографа, имя которого — Клаус Греве.

Это уже не удивляло Франциску, хотя себе самой она удивлялась, и даже очень, мысленно спрашивала себя, не повредилась ли она в рассудке. Разглядывая фото, она ощущала некую иррациональную гордость: снимок получился великолепный; резкость не пострадала от увеличения, световые числа были безупречны, и тысячная доля секунды, этот крошечный отрезок времени, являла собой образец запечатленного движения. Но самое нелепое, что ее и теперь разбирал смех и приходилось изо всех сил сдерживаться, когда она видела на фотографии пастора: именно его и без того подпорченное лицо было рассечено фальцовкой на две словно бы неравные половины.

Франциска и ее отец написали дополнительное объяснение, копии были подшиты к делу, оригинал отправили в редакцию журнала, а брат, ничуть не смущаясь, продолжал слать вырезки из газет с фотографиями за своей подписью и однажды даже прислал снимок Ага-хана.

В довершение всех достаточно удивительных событий возникло еще одно обстоятельство. Курьезный и мучительно запутанный случай, происшествие, в результате которого счастье фотографа обернулось несчастьем всей семьи фотографа, общественно значимый эпизод вылился в семейную трагедию, оттого что не в меру предприимчивый братец предал его гласности, именно этот случай побудил Франциску сказать родной долине «прощай!», а Берлину «здравствуй!» и повторить это «здравствуй!» едва ли не в каждой редакции восточной части города.

Она не отдавала себе ясного отчета в своем поступке, старалась даже самой себе не объяснять его причин, ибо тогда ей приходилось вспоминать об отце, которого она не только оставила в горе, но которому добавила горя; у нее даже возникала мысль о безнравственности профессии, к которой она стремилась, идя по пути брата, словно именно этот путь не был доказательством того, что мировоззрение может потерпеть ущерб. И еще, пожалуй, мучительней была для нее возникшая однажды мысль: она, Франциска, чего доброго, хочет стать в восточной журналистике антиподом «западному» члену семьи Греве.

Пытаясь преодолеть свои мучения, она дразнила себя Жанной

из Вейслебена, спасительницей чести ГДР, благочестивой девой, вооруженной добропорядочным объективом; смех, да и только. С каких это пор она ввязывается в политику; как угораздило ее обрядиться в развевающиеся одежды патриотки; откуда у нее это знамя? Школьная наука снабдила ее твердым убеждением, что она относится к мелкой буржуазии; из книг она узнала, что в этом ничего хорошего нет; фильмы поставляли примеры: мелкая буржуазия всегда сильно колебалась.

Это колебание, если Франциска правильно понимала, выражалось в изменении политических склонностей смотря по обстоятельствам. Она считала, что колебаний легко избежать, надо лишь воздерживаться от склонностей такого рода. Никаких склонностей, никаких перемен во взглядах, никаких колебаний!

А как только в Вейслебене была создана организация ССНМ, отпала нужда в склонностях; у нее всегда отглаженная синяя блуза, всегда аккуратно уплачены членские взносы, и на картошку она едет без воркотни; Франциска считалась примерным членом Союза немецкой молодежи; когда же на картошке она сделала несколько жизнерадостных снимков для районной газеты, то стала активисткой, а после того, как центральный орган ССНМ перепечатал две ее оптимистические фотографии, она и оглянуться не успела, как оказалась избранной в руководящий состав организации.

Искусство, с которым ей удавалось отражать в фотографиях жизнь молодежи, создало ей репутацию человека правильных убеждений, а уж когда взялась руководить кружком юных фотокоров под громким названием «Новая оптика», то явно созрела для слета молодежи в Берлине, куда ее и делегировали.

Приглашение она получила еще до той жуткой свадьбы, до постыдного отъезда брата, до посещения их семьи следственными органами и до публикации той чудовищной фотографии, но секретарь районной организации ССНМ, у которого Франциска, рассказав ему об этих событиях, спросила, не лучше ли ей остаться дома, отрицательно помотал головой: в ее деле разобрались.

— Нам все ясно, девушка. Разве ты отвечаешь за брата? А если хочешь уехать из наших мест, хочешь в Берлин, вот тебе подходящий случай познакомиться с тамошней обстановкой. Я знаю одного парня в молодежном журнале, напишу ему письмо, захватишь с собой. Но если тебя и на этот раз угораздит щелкнуть какой-нибудь трам-тарарам, храни свои фото получше!

Молодежный журнал не очень привлекал Франциску, и потому она время от времени, сбежав с мероприятий слета, ходила по редакциям газет, которые, однако, как ни благосклон-

но ее там разглядывали, фоторепортерами все были обеспечены, а тут какая-то провинциальная девица, нет, детка, ничего не выйдет!

Ну что ж, значит, молодежный журнал! Приятель их секретаря — звали его Гельмут — заскочил на минутку в редакцию, как раз когда Франциска его ждала.

— Ну и чудак! — проворчал он, прочитав письмо. — В Берлине слет половины нашего молодого поколения, половину этой половины мне надо проинтервьюировать, а он пишет, чтобы я уделил тебе секундочку. Все, какие есть в эти дни, секундочки заняты. Хочешь, скачи за мной, может, два-три фото сделаешь: пробы все равно нужны... А что ты сделала со своей блузой?

— Как что?

— Ловко сидит, сразу видно, что ты девчонка.

В последующие три дня он все чаще напоминал ей, что она девчонка, недвусмысленно давая понять, что он-то парень, мужчина, молодой, энергичный, работящий, веселый, острый на язык и довольно бесцеремонный. Он добивался интервью, каких хотел, и ее между делом успел обо всем выспросить; скоро он уже знал ее школьные отметки, объем груди, а также имена всех ее теток, понял, что до сих пор никаких «пикантных дел», как он это назвал, у нее не было.

— Надо это поломать, — изрек он, — жаль, в такой запарке у меня, пожалуй, руки не дойдут, а то я подсобил бы.

Каков тон, словно одолжение собирается сделать, подумала Франциска, а ведь, я слышала, мужчина при этом тоже не в обиде. Тут она заметила, что потихонечку начинает влюбляться в него; ей стало жутковато, хотя и не очень. Она делала снимок за снимком, подавляя желание прихватывать его в объектив; две-три его карточки у нее уже были, их она сохранит как память о человеке, с которым едва-едва не дошло до главного. Оно, правда, дошло, но только успела она проявить пленку, как все прошло.

Они набегались до упаду и рады были, что отшумели веселые праздники троицы вместе с заключительным митингом. Они охрипли, распевая песню о синих знаменах: «В Берлин, в Берлин, знамена синие...» Подходя к Веддингу, неподалеку от нового стадиона имени Вальтера Ульбрихта, уже во французском секторе, они наткнулись на ожесточенный отпор и песне, и синим знаменам, дубинками их выбили обратно за границу сектора, туда, где знамена и песни были у себя дома. По милости дубинок в Веддинге Франциске легче стало подхватывать песни, присоединяться к клятвам, в которых на прощанье вновь и вновь говорилось о юности и мире. В переполненном подвальчике

«Беролина» на Алексе они выпили скверного вина и сквозь ночь, не знавшую покоя, пошли к Фридрихштрассе. На Маркс-Энгельсплац две-три сотни ребят еще плясали «Лауренцию» под исполинским портретом Сталина, висевшим высоко в небе на аэростате. Четыре прожектора, установленных на притоках Шпрее, освещали лицо улыбающегося генералиссимуса.

Франциска и деловой Гельмут, смеясь, глазели на танцующих, и тут один из них крикнул:

— Эй, подружка, милый фотограф, сними-ка нас в веселом танце дружбы, вот-то обрадуются в Шмилке!

— Жаль, не могу,— ответила Франциска,— моя вспышка отказала, а здесь света маловато.

Видимо, и другим танцорам очень уж хотелось, чтобы их коленца запечатлели на пленку, и они с восторгом встретили предложение своего вожака:

— Мне спрашивать друзья, не взять ли нам одна лучик у товарища Иосифа Виссарионовича, тогда ведь свету хватит!

— Нет, это не годится,— отказалась Франциска, а Гельмут обнял ее и шепнул:

— Обожди, я попытаюсь.

Если он этого добьется, подумала Франциска и тут же рассердилась на себя за подобное ребячество, так добьется всего — значит, ему все можно! Она подготовила аппарат и ждала, сама не зная, чего ждет и на что надеется. Мне бы впору ромашку обрывать: сбудется, не сбудется, а чего я вообще хочу, хочу или не хочу, ах, дорогие товарищи, уступите нам чуть-чуть от вашего света, ах нет, лучше не уступайте, или нет, ох, я и сама не знаю.

Тут поднялся великий галдеж, ритмические прихлопы загремели вплоть до далекого манежа, мощное «о-о-ох» прокатилось по площади, и песня «Ах, Лауренция, любовь моя!» взметнулась к самому небу, в котором огромный портрет постепенно начал темнеть и наконец совсем пропал, а все четыре луча склонились вниз, и на мощеной площади засиял день.

Значит, решено, подумала Франциска, все четыре, против этого мне не устоять, значит, решено!

Гельмуту едва удалось вырвать ее из дружеских объятий, сотни рук тянулись к ней с адресами в Шмилке, в Шкёлене, в Шлаткове и с деньгами за карточки и за пересылку; Гельмут объявил:

— Пишите на адрес молодежного журнала, с пометкой: «Ночная пляска», я сразу вспомню. А кто при этом выпишет журнал, получит снимок бесплатно. Дружба!

Франциске же он сказал:

— Мыслить надо всегда по-деловому. Будешь деловитой и вдобавок милой — всех покоришь, а те, кого не покоришь, вслед браниться не станут, но только если будешь милой.

— Как же ты о прожекторах договорился?

— По-деловому, с милой улыбкой. Повязал командиру роты пионерский галстук, раза два-три крикнул «Дружба!», а все прочее объяснил руками и ногами. Надеюсь, ему не попадет за эту темень. Ну ладно, пошли-ка поищем и мы темень, я постараюсь быть очень-очень милым.

Не так-то просто оказалось найти темный уголок. По всей Унтер-ден-Линден до самых Бранденбургских ворот, где бы ни обнаруживался таковой, выяснялось, что он уже занят, и Гельмут вновь, в который уже раз, показал, что он человек деловой и милый: песней о солнце, луне и звездах он заранее предупреждал настроенные на нежный лад парочки, и влюбленные с беспощадной поспешностью отскакивали друг от друга.

Франциска следовала за ним точно во сне, вернее, она пыталась убеждать себя, что идет точно во сне. Я потеряла голову, твердила она, в жизни не бывало мне так весело, теперь, по-моему, я знаю, что такое свобода, в жизни я не была такой сильной, я совсем потеряла голову, все кругом такие, такие милые, сейчас здесь чему-то пришел конец, и что-то сейчас взяло свое начало, здесь я у себя дома, мы все здесь у себя дома, отныне я знаю, что такое молодость, я, кажется, совсем потеряла голову от любви, я заразилась общей влюбленностью, что таится во всех углах, сегодня любовь носится в воздухе, и все так просто. Но не так уж это оказалось просто, и ей было не совсем по себе, а Гельмут оказался чуть-чуть деловитее, чем ей бы хотелось, и представляла она себе все немножко по-иному, она, правда, не знала — как, только уж наверняка не в ночной подворотне, а что все началось на бревнах, на какой-то стройке неподалеку от рейхстага, было, пожалуй, чуть-чуть чересчур.

Именно чуть-чуть, а Гельмут, такой деловой и такой милый, заставил ее позабыть, где она, правда, не сразу, хотя все-таки; он был нежен и не торопился, он устроил тайник и беспрестанно болтал что-то бессмысленно-ласковое, он обнял ее, точно защищая, и она приняла его защиту, ей нужна была его защита, ей нужны были сумасшедшие мгновения этой ночи в противовес безумному миру последних дней, она все познала и ничего уже не знала, не знала, в чем же счастье — в забвении или в познании; обнаружила, что поддается соблазну забыть весь мир, и стойко оборонялась, пытаясь мысленным взором увидеть образы этого мира, пастора, жениха и крышу сарая, лабораторию, следователей, отца, брата, все редакции, танцоров из Шмилки, ночную

площадь и портрет в небе, ясно понимала, что застывшая тень в правом уголке глаза — рейхстаг, и не желала понимать, что исцарапает себе плечи о бревна, а ответственность за свое сумасшествие в эту минуту возложила на орудийный расчет и его офицера, спустивших прожектора, и яростно выкрикнула: «Дружба!»

— Ты что — бредишь? — спросил Гельмут.

— Конечно, брежу, — подтвердила Франциска, — а ты как думаешь? Меня зовут Лауренция, я приехала из Шмилки. Сию секунду я щелкнула пастора, прожектором сбившего аэростат, на котором висело журнальное фото наших следователей. А я, Жанна д'Арк, член СНМ, вопрошаю тебя, готов ли ты выписать на свое имя здание рейхстага, и если да, то крикни громко и отчетливо: «Воздух!» — и спой деловито и очень-очень мило: «Ах, Франциска, любовь моя, когда же ты будешь вновь у меня?..» — или: «Я дева Мария с младенцем Христом...» Дружба!

— Дружба, — машинально повторил Гельмут и разозлился: — Да не пугай ты меня, я и вправду решил, что ты рехнулась, а глаза-то у тебя нормальные!

— Понятно, нормальные, — откликнулась она, — у меня есть все основания быть нормальной, общее положение вещей тоже нормальное, и мое положение в частности: подо мной будущие стропила, в двадцати метрах начинается Западный Берлин, там живет мой братец, надо мной навис обгорелый рейхстаг, а в цветущей долине у нас дома мой отец держится за сердце... Ох, да, кажется, у меня кровь... а прожектор послужил мне вспышкой, и я, кажется, люблю тебя, разве не тебя зовут Гельмут?.. А теперь я хочу домой...

Он проводил Франциску до дверей дома в Трептове, где она жила, а на следующий вечер его комната освободилась, слет молодежи кончился, синие знамена покинули Берлин, и хоть да здравствуют все стройки мира, но постель все же лучше.

Они не торопились, только в конце недели Франциска проявила пленки, увеличила, отложила те, где мелькал Гельмут, а фотографии с ночной пляской прихватила шутки ради, отправляясь на беседу к редактору молодежного журнала, они ей не удались, прожектора задуманы скорее для неба, чем для земли, и оттого хоровод молодежи Шмилки и Шкёлена смахивал на пляску призраков, все-таки она показала редактору и эти фото, добавив, что историю их появления расскажет Гельмут.

— Э, что там рассказывать, — пробурчал Гельмут. — Кто не накрутился за день, плясал на площади. Ночью там бурлило веселье. Эти фото лучше отложить.

— Нет, нет, погоди, — остановил редактор, — может, они при-

годятся. Разумеется, с надлежащим текстом: чем темнее ночь, тем веселее гость; молодость пьянит, без... э... да, того самого, как его: энтузиазм масс; «Лауренция» в Люстгартене — что ж, забавно. Жаль, что портрет товарища Сталина не попал в объектив, пожалуй, его можно вмонтировать. А почему, собственно, он не попал, с этой точки он должен был попасть в кадр, или уже выключили прожектора?

— Спустили,— ответила Франциска, удивляясь, что Гельмут предостерегающе качает головой,— они спустили прожектора, вернее, опустили, чтобы я сфотографировала пляску.

— Ох уж наши советские друзья,— хмыкнул редактор,— отличные ребята. И об этом надо рассказать в тексте: наша подруга из СНМ горячо просила наших советских друзей, э, два раза «наш» не годится, сформулируем-ка еще раз: к советским друзьям с горячей просьбой обратилась... да, как, кстати, тебя зовут? Ага, обратилась Франциска Греве, чтобы они уделили ей немного от их великого света, отличная шапка: «Великий свет дружбы!..» И вот искрящийся луч склоняется над огромным хороводом! Горячая просьба нашей подруги из... откуда ты?

— Она из Вейслебена,— вставил Гельмут,— хочу уточнить: краткую беседу с командиром прожекторов...

— Ладно, не забудь, что ты хотел сказать,— прервал его редактор,— я как раз продумывал другое: искрящийся луч, глубокая тьма, эге, осторожней, это надо хорошенько продумать. Так что ты хотел сказать, Гельмут?

— О, ничего,— ответил Гельмут,— все в полном порядке, хотел сказать что-то в таком роде.

Великолепно,— продолжал редактор,— незачем и формулировать. Видишь, Франциска Греве, какая ответственность лежит на мне. Главное — глубокий анализ, без него на моем месте не обойтись. Явления — прекрасно, сущность — еще лучше. Ты хорошо задумала фото, прекрасная инициатива, великолепная, но только что ты, сама того не подозревая, избежала большой беды. Э, нет, Франциска Греве, забери-ка свои фото и, раз ты не во всем разбираешься, прими в придачу добрый совет: явление — прекрасно, сущность — еще лучше, и глубокий анализ, и осторожность, да, осторожность, и еще раз осторожность.

Он пожал ей руку и напомнил Гельмуту, чтобы тот позаботился о Франциске Греве в идеологическом аспекте и вообще, после чего Франциска и деловой Гельмут разошлись на Фридрихштрассе в разные стороны.

Гельмут сказал:

— Плохо могла кончиться эта история.

А Франциска сказала:

наблюдателя, подзадорить, чтобы он вошел в раж и стал договариваться до нелепости, а когда сам замечал, что, разыгрывая фанфарона, выглядит достаточно глупо, быстро менял тему. Правда, различий во взглядах было порядочно. Тревоги это у Фран не вызывало, будь иначе, у нее, пожалуй, щемило бы сердце. Ее путь отличался от его пути, а его взгляды не могли совпадать с ее взглядами.

Нажил ли он себе больше врагов, чем она, трудно подсчитать, но проницательнее он был, это безусловно. Он постоянно числил себя в бою и, как ни странно, радовался, сталкиваясь с враждебностью: вот и еще одно положение подтверждается.

Фран знала, что в мире порой верх берет зло, считала, однако, это исключением, а не законом. Бороться она умела, хотя не любила. Он же очень любил.

Он считал закономерным, если дело, задуманное им, наталкивалось на сопротивление: либо у его противников ошибочные взгляды, либо у него, а в ошибочных взглядах кроются политические ошибки. Глупость, лень, трусость, зависть, недоброжелательство и враждебность — все это, как считал он, не основания, а только формы проявления политической вражды или по меньшей мере несознательности, его же любимое понятие именовалось: объективные причины.

Если у нее на работе что-то не клеилось и кто-то авторитетный не разделял ее взглядов, а она знала, что права, она огорчалась и злилась, но ей в голову не приходило винить в том господина Аденауэра или «госпожу классовую борьбу».

Давиду же всегда именно эта мысль приходила в голову, а выражение «госпожа классовая борьба», которое она изобрела, он строго-настрого запретил, ведь это, минуточку, черт побери, как это называется, да, антропоморфизм, иначе говоря, перенесение свойств человека на явления неживой природы; в пылу спора он готов был насмерть стоять за этот свой вздор и вездесущую классовую борьбу скорее объявить явлением «неживой природы», чем допустить, чтобы его излюбленное понятие пострадало от субъективизма.

Тут уж Фран впадала в крайность и в первую очередь требовала, чтобы он отбросил все личное у всех известных им личностей, и говорила в дальнейшем только об объективных признаках господина Аденауэра, и объективных признаках Иоганны Мюнцер, или объективных признаках Давида Грота, объявляя, что его отвращение к баранине носит политический характер, а не найдя своего гребня, заявляла, что это и есть проявление классовой борьбы.

Они всерьез играли в эту игру. Нападали друг на друга,

размахивая гротескно искаженными понятиями, з заставляли бо-
ся яростно и не сдерживать себя компромиссами, принятыми
реальном мире; такая утрировка служила им защитой от серь-
ных распрей; словесные марионетки выдерживали бой, которо
испугалась бы не только Франциска; но шаржированные понят
сражались без урона, а была нужда отступить, что ж, они
отступали от шаржа обратно к понятию — чуть-чуть-чуть подш
зато остаешься при своем мнении.

Соблазн пользоваться изобретенной игрой чаще, чем в сл
крайней надобности, был велик, но оба этого остерега
показывая тем самым, как хорошо они подходят друг другу.

Подходить друг другу означает также знать, какие опасно
таит совместное существование, самая страшная из которы
наждак привычки. Поначалу он сглаживает мешающие шерохо
тости, зато постепенно образуется полированная поверхно
ничто на ней не цепляет, нет трения, а значит, нет тепла, нет
электрических зарядов, отсутствует накал, наступает скука, жив
вдвоем для внешнего мира, тогда — если повезет — люди расс
ются, а не повезет — играют золотую свадьбу.

Фран и Давиду фортуна улыбнулась: покоя они не имели, то
покоя, от которого мелеют реки. Такой покой может даж
показаться движением. Отлив и прилив тоже движение, он
длится целую вечность; и все отклонения во времени и силе, ес
они принимают затяжной характер, обращаются в правил
мгновения, когда прилив переходит в отлив или отлив —
прилив, в момент равновесия мертвой воды на дно оседает ил
остатки планктона, они начинают прорастать, и настает день,
когда там, где еще накануне путь был свободен, все зарастает
пути больше нет. Фран и Давиду фортуна улыбнулась: их велик
распря случилась на первых же порах.

Фран и впоследствии продолжала настаивать: повод и обст
ятельства были достойны их. И ее ничуть не удивляло, что Дави
не желал вспоминать эту историю. Он, правда, припоминал ту
часть, которая была комической. Если речь заходила об их ссор
он многословно расписывал именно эту часть, ибо во второ
части его роль была незавидной. А как раз эта, вторая часть не
теряла своей силы за давностью. С первой можно было разд
латься шутя, о ней Фран и Давид не вспоминали, о своей
великой глупости они не вспоминали и таких глупостей больш
не совершали. Вторую часть ссоры можно было разве что
простить, только не забыть, и оттого-то она не всплывала
памяти Давида.

Фран помнила каждое слово, и то дерево все еще стояло
реки, но, когда она однажды пошла взглянуть, кольца не

наблюдателя, подзадорить, чтобы он вошел в раж и стал договариваться до нелепости, а когда сам замечал, что, разыгрывая фанфарона, выглядит достаточно глупо, быстро менял тему. Правда, различий во взглядах было порядочно. Тревоги это у Фран не вызывало, будь иначе, у нее, пожалуй, щемило бы сердце. Ее путь отличался от его пути, а его взгляды не могли совпадать с ее взглядами.

Нажил ли он себе больше врагов, чем она, трудно подсчитать, но проницательнее он был, это безусловно. Он постоянно числил себя в бою и, как ни странно, радовался, сталкиваясь с враждебностью: вот и еще одно положение подтверждается.

Фран знала, что в мире порой верх берет зло, считала, однако, это исключением, а не законом. Бороться она умела, хотя не любила. Он же очень любил.

Он считал закономерным, если дело, задуманное им, наталкивалось на сопротивление: либо у его противников ошибочные взгляды, либо у него, а в ошибочных взглядах кроются политические ошибки. Глупость, лень, трусость, зависть, недоброжелательство и враждебность — все это, как считал он, не основания, а только формы проявления политической вражды или по меньшей мере несознательности, его же любимое понятие именовалось: объективные причины.

Если у нее на работе что-то не клеилось и кто-то авторитетный не разделял ее взглядов, а она знала, что права, она огорчалась и злилась, но ей в голову не приходило винить в том господина Аденауэра или «госпожу классовую борьбу».

Давиду же всегда именно эта мысль приходила в голову, а выражение «госпожа классовая борьба», которое она изобрела, он строго-настрого запретил, ведь это, минуточку, черт побери, как это называется, да, антропоморфизм, иначе говоря, перенесение свойств человека на явления неживой природы; в пылу спора он готов был насмерть стоять за этот свой вздор и вездесущую классовую борьбу скорее объявить явлением «неживой природы», чем допустить, чтобы его излюбленное понятие пострадало от субъективизма.

Тут уж Фран впадала в крайность и в первую очередь требовала, чтобы он отбросил все личное у всех известных им личностей, и говорила в дальнейшем только об объективных признаках господина Аденауэра, и объективных признаках Иоганны Мюнцер, или объективных признаках Давида Грота, объявляя, что его отвращение к баранине носит политический характер, а не найдя своего гребня, заявляла, что это и есть проявление классовой борьбы.

Они всерьез играли в эту игру. Нападали друг на друга,

размахивая гротескно искаженными понятиями, заставляли биться яростно и не сдерживать себя компромиссами, принятыми в реальном мире; такая утрировка служила им защитой от серьезных распрей; словесные марионетки выдерживали бой, которого испугалась бы не только Франциска; но шаржированные понятия сражались без урона, а была нужда отступить, что ж, они отступали от шаржа обратно к понятию — чуть-чуть поддашься, зато остаешься при своем мнении.

Соблазн пользоваться изобретенной игрой чаще, чем в случае крайней надобности, был велик, но оба этого остерегались, показывая тем самым, как хорошо они подходят друг другу.

Подходить друг другу означает также знать, какие опасности таит совместное существование, самая страшная из которых — наждак привычки. Поначалу он сглаживает мешающие шероховатости, зато постепенно образуется полированная поверхность, ничто на ней не цепляет, нет трения, а значит, нет тепла, нет электрических зарядов, отсутствует накал, наступает скука, жизнь вдвоем для внешнего мира, тогда — если повезет — люди расстаются, а не повезет — играют золотую свадьбу.

Фран и Давиду фортуна улыбнулась: покоя они не имели, того *покоя, от которого мелеют реки. Такой покой может даже* показаться движением. Отлив и прилив тоже движение, оно длится целую вечность; и все отклонения во времени и силе, если они принимают затяжной характер, обращаются в правила, и в мгновения, когда прилив переходит в отлив или отлив — в прилив, в момент равновесия мертвой воды на дно оседает ил и остатки планктона, они начинают прорастать, и настает день, когда там, где еще накануне путь был свободен, все зарастает и пути больше нет. Фран и Давиду фортуна улыбнулась: их великая распря случилась на первых же порах.

Фран и впоследствии продолжала настаивать: повод и обстоятельства были достойны их. И ее ничуть не удивляло, что Давид не желал вспоминать эту историю. Он, правда, припоминал ту ее часть, которая была комической. Если речь заходила об их ссоре, он многословно расписывал именно эту часть, ибо во второй части его роль была незавидной. А как раз эта, вторая часть не теряла своей силы за давностью. С первой можно было разделаться шутя, о ней Фран и Давид не вспоминали, о своей великой глупости они не вспоминали и таких глупостей больше не совершали. Вторую часть ссоры можно было разве что простить, только не забыть, и оттого-то она не всплывала в памяти Давида.

Фран помнила каждое слово, и то дерево все еще стояло у реки, но, когда она однажды пошла взглянуть, кольца не

оказалось, а может, его просто не видно было; может, разрослись ветви или сорока поддержала свою репутацию. Не видно было обручального кольца, одного из двух, того, что висело на ветке, второе лежало на дне.

Броски ей никогда не удавались, а уж зашвырнуть что-нибудь далеко по прямой — тем более. Смешно было смотреть на ее броски, было смешно, когда она швырнула кольцо — одно в воду, другое об дерево. Собственно, ему тоже полагалось попасть в воду, но оно угодило в дерево и спасло положение.

Давид с самого начала валил всю вину на Анетту Вундер, Фран же неустанно возражала. Верно, без Анни, как звали квартирную хозяйку Давида в профессиональных и дружеских кругах, дело не дошло бы ни до обручения, ни тем самым до их распри, в конце-то концов, не Анни покупала кольца, а Давид, госпожа Вундер разве что подала повод к великой распре, но не создала ее причин. Поводом послужила точка зрения; точка зрения Анетты, согласно которой под ее кровлей никому не дозволялось лежать в постели друг с другом, буде участники сего действа по крайней мере не прикидывались правдоподобно, что при первом же благоприятном случае закрепят свои отношения официально.

У любой другой хозяйки подобное требование никого не удивило бы, но Анетту Вундер никак не назовешь «любой другой». Она была директрисой кукольного театра, пользовавшегося заслуженной славой, и очаровала Давида, когда он посетил ее однажды по служебному заданию. Она сразу же заварила чай. Затем подала домашнее печенье. А потом показала Давиду коллекцию пестрых заклеек для конвертов — вот что окончательно расположило к ней Давида: подумать только, такая выдающаяся личность по-детски радуется кучке пестро-лакированных картинок. А потом Давид узнал кое-что о юности Анетты в городке Марне, Зюдердитмаршен, в местах, где бродил Пол по прозванию Кукольник, куда забрел однажды и кукольник Георг Вундер и откуда ушел, прихватив с собой Анетту, наследницу магазинчика канцелярских товаров. А потом и Давид был допрошен о доме и родителях и тотчас вслед за тем оказался жильцом фрау Анетты Вундер — пятьдесят марок в месяц и время от времени небольшая стилистическая правка программы для театра. По рукам. Тогда же, с той же минуты Анни Вундер стала обращаться к Давиду на «ты», и тогда же, с той же минуты ему разрешено было, когда он пожелает, присутствовать на репетициях и, разумеется, разрешено было приглашать при этом фоторепортершу, и, конечно же, им не только было разрешено, но и вменено в обязанность все виденное доводить до всеобщего

сведения словами и снимками, и поначалу фоторепортерше было разрешено заходить к новому жильцу в гости по вечерам, а уходить домой утром, но в один прекрасный день этому был положен конец — сперва извольте обручиться.

Может, это было причудой, у Анни имелись основания для таких причуд, ибо Георг Кукольник всю свою жизнь беспечно содействовал укреплению одиозной славы актеров и заигрывал со всеми куколками, какие изъявляли на то желание, а таковых оказалось немало, для Анетты даже чересчур много; итак, у нее имелись веские основания, и все же уму непостижимо, что именно она потребовала от Давида обручения.

Обручение так же устарело, как родительское благословение, или альбомы стихов, или пестро-лакированные заклейки для конвертов, и Давид даже начал подумывать о переезде, однако Фран отнеслась к требованию Анетты куда проще.

Весело хихикая, они составили высокопарное объявление о помолвке, и вечером после рабочего дня Давид изготовил в наборном цехе единственный, неповторимый оттиск «Нойе берлинер рундшау», который и предъявил Анни Вундер.

Она с удовольствием прочла весь набор вычурных слов и пожелала увидеть обручальное кольцо, а его-то у Давида не оказалось.

Анни слышать ничего не желала. Давид пытался объяснить ей, что в продаже ни золотых, ни серебряных обручальных колец не сыскать, а на покупку у спекулянтов у него не хватит денег, да и вообще, кольцо, подумаешь, не птицы же они, чтоб их кольцевать, кольцо куда меньше значит, чем уже осуществленное и документально подтвержденное обручение. Анни отмела довод об отсутствии колец в продаже и процитировала из основополагающей теории кукольника Георга Вундера фразу, гласящую, что никакое действие не будет истинным действием, если оно не имеет вещественного выражения.

Стало быть, тот не обручен, у кого обручение не выражено вещественно, кто хочет остаться у Анни жильцом, тот обязан обручиться.

Давид очень хотел, квартира была близко от редакции, а в подвале, благодаря авторитету Анетты Вундер, в подвале всегда имелся запас угля, к тому же к ней съезжались гости со всего света, и наконец Давид очень хорошо знал, что для многих хозяек даже объявление о помолвке не послужит достаточным основанием, чтобы терпеть под своей кровлей внебрачную интимную близость.

Тут-то Давид и сделал десять шагов и купил кольца, но эти десять шагов были, скорее, гигантским прыжком, моральным

оказалось, а может, его просто не видно было; может, разрослись ветви или сорока поддержала свою репутацию. Не видно было обручального кольца, одного из двух, того, что висело на ветке, второе лежало на дне.

Броски ей никогда не удавались, а уж зашвырнуть что-нибудь далеко по прямой — тем более. Смешно было смотреть на ее броски, было смешно, когда она швырнула кольцо — одно в воду, другое об дерево. Собственно, ему тоже полагалось попасть в воду, но оно угодило в дерево и спасло положение.

Давид с самого начала валил всю вину на Анетту Вундер, Фран же неустанно возражала. Верно, без Анни, как звали квартирную хозяйку Давида в профессиональных и дружеских кругах, дело не дошло бы ни до обручения, ни тем самым до их распри, в конце-то концов, не Анни покупала кольца, а Давид, госпожа Вундер разве что подала повод к великой распре, но не создала ее причин. Поводом послужила точка зрения; точка зрения Анетты, согласно которой под ее кровлей никому не дозволялось лежать в постели друг с другом, буде участники сего действа по крайней мере не прикидывались правдоподобно, что при первом же благоприятном случае закрепят свои отношения официально.

У любой другой хозяйки подобное требование никого не удивило бы, но Анетту Вундер никак не назовешь «любой другой». Она была директрисой кукольного театра, пользовавшегося заслуженной славой, и очаровала Давида, когда он посетил ее однажды по служебному заданию. Она сразу же заварила чай. Затем подала домашнее печенье. А потом показала Давиду коллекцию пестрых заклеек для конвертов — вот что окончательно расположило к ней Давида: подумать только, такая выдающаяся личность по-детски радуется кучке пестро-лакированных картинок. А потом Давид узнал кое-что о юности Анетты в городке Марне, Зюдердитмаршен, в местах, где бродил Пол по прозванию Кукольник, куда забрел однажды и кукольник Георг Вундер и откуда ушел, прихватив с собой Анетту, наследницу магазинчика канцелярских товаров. А потом и Давид был допрошен о доме и родителях и тотчас вслед за тем оказался жильцом фрау Анетты Вундер — пятьдесят марок в месяц и время от времени небольшая стилистическая правка программы для театра. По рукам. Тогда же, с той же минуты Анни Вундер стала обращаться к Давиду на «ты», и тогда же, с той же минуты ему разрешено было, когда он пожелает, присутствовать на репетициях и, разумеется, разрешено было приглашать при этом фоторепортершу, и, конечно же, им не только было разрешено, но и вменено в обязанность все виденное доводить до всеобщего

сведения словами и снимками, и поначалу фоторепортерше было разрешено заходить к новому жильцу в гости по вечерам, а уходить домой утром, но в один прекрасный день этому был положен конец — сперва извольте обручиться.

Может, это было причудой, у Анни имелись основания для таких причуд, ибо Георг Кукольник всю свою жизнь беспечно содействовал укреплению одиозной славы актеров и заигрывал со всеми куколками, какие изъявляли на то желание, а таковых оказалось немало, для Анетты даже чересчур много; итак, у нее имелись веские основания, и все же уму непостижимо, что именно она потребовала от Давида обручения.

Обручение так же устарело, как родительское благословение, или альбомы стихов, или пестро-лакированные заклейки для конвертов, и Давид даже начал подумывать о переезде, однако Фран отнеслась к требованию Анетты куда проще.

Весело хихикая, они составили высокопарное объявление о помолвке, и вечером после рабочего дня Давид изготовил в наборном цехе единственный, неповторимый оттиск «Нойе берлинер рундшау», который и предъявил Анни Вундер.

Она с удовольствием прочла весь набор вычурных слов и пожелала увидеть обручальное кольцо, а его-то у Давида не оказалось.

Анни слышать ничего не желала. Давид пытался объяснить ей, что в продаже ни золотых, ни серебряных обручальных колец не сыскать, а на покупку у спекулянтов у него не хватит денег, да и вообще, кольцо, подумаешь, не птицы же они, чтоб их кольцевать, кольцо куда меньше значит, чем уже осуществленное и документально подтвержденное обручение. Анни отмела довод об отсутствии колец в продаже и процитировала из основополагающей теории кукольника Георга Вундера фразу, гласящую, что никакое действие не будет истинным действием, если оно не имеет вещественного выражения.

Стало быть, тот не обручен, у кого обручение не выражено вещественно, кто хочет остаться у Анни жильцом, тот обязан обручиться.

Давид очень хотел, квартира была близко от редакции, а в подвале, благодаря авторитету Анетты Вундер, в подвале всегда имелся запас угля, к тому же к ней съезжались гости со всего света, и наконец Давид очень хорошо знал, что для многих хозяек даже объявление о помолвке не послужит достаточным основанием, чтобы терпеть под своей кровлей внебрачную интимную близость.

Тут-то Давид и сделал десять шагов и купил кольца, но эти десять шагов были, скорее, гигантским прыжком, моральным

сальто-мортале, отчаянным порывом, срывом, событием, исполненным такой непоследовательности, какой до сей поры в жизни Давида еще не бывало.

— Что угодно, сударь?— осведомился продавец.

— Кольца, пожалуйста.

— Обручальные, сударь?

— Нет, не об... то есть да, обручальные.

— Разрешите, сударь, показать вам кое-что, мы как раз получили новые образцы, или вы хотели бы кольца традиционной формы, круглые и гладкие?

— Лучше круглые и гладкие и, если у вас найдется, просто позолоченные...

— Ну, разумеется, сударь, дешевые и со вкусом, ведь мебель тоже стоит денег, как вы находите вот это кольцо, разрешите, о, точно впору, а есть у вас размер вашей невесты, если мне позволено будет так выразиться?

— Как мой правый мизинец.

— Тогда подойдет вот это, сударь, сорок шесть марок вместе, минуточку, да, по сегодняшнему курсу... это составит двести восемьдесят марок шестьдесят, скажем, двести восемьдесят восточных марок, и, если вы не возражаете, я не вложу в коробочку, лучше, если вы завяжете колечки в носовой платок, до свидания, желаю счастья в новой жизни!

Выражение точное: новая жизнь. Свежеизмаранная новая жизнь, жизнь по новому курсу, валютный курс его жизни, колебания курса, да, отныне он покатится по наклонной плоскости, чего Давид Грот никак не ожидал от Давида Грота.

Он обменял двести восемьдесят марок по курсу одна к шести и одной десятой, и у него было такое ощущение, словно он разменял прежнего Давида Грота из расчета шесть и одна десятая. Остался сорокашестимарковый Грот, одна шестая часть Давида, Давид Грот с таким тонким слоем прежнего Грота, что он едва ли не стал подделкой.

Безумие. Безумие, измеряемое десятью шагами. Десять шагов по Фридрихштрассе в году тысяча девятьсот пятьдесят первом: «You are entering the American Sector» *— один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. «Что угодно, сударь?.. Желаю счастья в новой жизни!»— десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. «Вы вступаете в Советский сектор Большого Берлина», Давид Грот вернулся, кошелек его облегчен на двести восемьдесят марок, зато карман отягощен двумя обручальными кольцами; он облегченно вздохнул оттого,

* Вы вступаете в Американский сектор *(англ.)*.

что не попался, переправляя валюту из сектора в сектор, зато его отяготило чувство вины, а полученная душевная рана вовек не зарубцуется.

Вовек? Франциска знает: видимо, да! Ей трудно это понять, но нетрудно заметить. У Давида была своя манера опускать нежелательное, если дело доходило до воспоминаний. Тогда апостроф служил знаком восклицания. Давид владел способом до тех пор вертеть и крутить допущенную ошибку, пока не отыскивалась ее смешная сторона; тогда он справлялся со своей ошибкой. С историей же обручения в угоду Анетте Вундер он так никогда и не справился; был в ней такой участок, куда он не желал вступать. На этом месте, если дело доходило до рассказа, стоял апостроф, а рассказывать, понятное дело, приходилось, достаточно было кому-нибудь упомянуть Анетту Вундер, или в общем-то обычную ссору влюбленных, или вздохнуть: ох уж тогдашний Берлин.

Давид, как понимала Фран, терзался оттого, что ему не удалось «устоять» в тогдашнем Берлине, и пусть посторонний счел бы это чистой нелепостью, она-то прекрасно знала: без ее смехотворных, наполовину неудачных бросков на берегу Шпрее брак Давида и Франциски Грот, скорее всего, никогда бы не состоялся.

Он охотно рассказывал о ее неуклюжих, лишь частично удавшихся попытках забросить кольца в Шпрее:

— Я уж думал, что она от ярости сама прыгнет в воду, и стал подыскивать сухое местечко для партбилета, из-за пятен при уплате взносов поднялся бы шум, а Фран кричит, надрывается, ради Анетты Вундер она-де не желает носить кольцо, петрушка она, что ли, у этой марионеточной владычицы, вот я — да, я — петрушка, самая дурацкая деревяшка из всего кукольного ансамбля Анни Вундер, с моим характером я гожусь только в ее коллекцию заклеек, такой же пошлый, сверху чуть отлакированный! Меня и сегодня душит злость, когда я вспоминаю эту сцену: в окнах казармы, что напротив, полно полицейских, а эта особа исполняет пляску святого Витта и объявляет основополагающую теорию Георга Вундера чистейшей белибердой, объявляет Анетту Вундер последней капиталисткой в ГДР, кричит, что «Нойе берлинер рундшау» — дрянной бульварный журнальчик, а я — сверхдрянной редактор в этом бульварном журнальчике, скорее уж она выйдет замуж за собачника-живодера, чем протянет мне палец, чтобы надеть на него это дурацкое куриное кольцо. Тут одно кольцо полетело в воду, а второе угодило в дерево, там на ветке оно, верно, и поныне висит!

Фран стоически терпела, когда он изображал ее сумасбродкой,

и даже была довольна, что из всех слов, какие она тогда сказала, он едва ли повторил одно.

Ибо слова ее были, к сожалению, отмечены истерией, обусловленной тогдашним временем, и не так-то весело вспоминать, что они из-за этой ссоры долго избегали друг друга. Повинны в их ссоре были не его глупейшие оправдания и яростные обвинения, которые неизбежно следовали в ответ, когда он пытался умиротворить ее робкой шуткой, повинно было ее разочарование.

Восток ли, Запад ли, ХДС или СЕПГ, Аденауэр или Гротеволь, мошеннический курс или нет — это до нее не очень доходило; рабочий класс, эксплуатация, революция и мир во всем мире были для нее хрестоматийными понятиями, они так же не подвергались сомнению, как удельный вес меди или длина экватора, они существуют, а ей-то что? Конечно, она за мир, как же иначе? Разумеется, она против атомной бомбы, а то как же? Она ни в коем случае не желала, чтобы одни кутили, а другие голодали, а вы как думаете? Уж если она стояла за кого горой, так за порядочных людей против непорядочных, за правду против лжи, и, конечно же, за справедливость, и за мужество, и за неукоснительную последовательность.

Оттого-то она и любила Давида. У него были убеждения, он многое пережил. Нацисты для него не просто какие-то наспех сменившие одежду личности, пробиравшиеся по Вейслебену: он ненавидел их, потому что видел насквозь. У него перед глазами не возникала школа, когда речь заходила о классах; он хорошо разбирался в трудах Маркса и Энгельса. Он член партии и там, бесспорно, на своем месте.

У нее нигде нет своего места. По-настоящему нет ни в одном из классов, в Вейслебене уже нет, а в Берлине еще нет, ведь и города как такового, обозначенного одним словом, не существует, а существуют два города, так где же ее место?

Оттого-то она и любила Давида. Он знал, где его место.

И вдруг он совершил такой поступок! Ей важно было, чтобы он ее правильно понял: она вовсе не легендарная беспартийная коммунистка, внутреннее чутье которой помогает ей выручить заблудшего члена партии, если у того не хватает сознательности. Она не подхватывала знамени, которое он обронил. Она относилась без уважения к запретам, которые он преступил. Если уж быть совсем точным, она сама купила бы эти кольца, и плевать она хотела на классового врага.

На Давида ей вовсе не хотелось плевать. У него были основания не ходить к тем, по ту сторону границы, со своими деньгами. У него были основания считать щиты на Фридрихштрассе пограничными щитами между друзьями и врагами. У

него были политические основания, у нее же не было никаких политических оснований ссориться с ним.

Просто ей надоели люди с двумя личинами, она верила, что нашла в Давиде человека, у которого одно лицо на все случаи жизни. А Давид не выдержал искуса.

Вот это и сказала ему Фран, когда они стояли напротив полицейских казарм на берегу Шпрее и отчаянно ссорились. Прогулка в обеденный перерыв вокруг острова Музеев вошла у них в привычку, и они повторяли свой обход всякий раз, если среди дня находили время друг для друга, и ей в голову бы не пришло, что именно здесь, в этот день, их совместная прогулка прервется на очень долгое время. Он был в веселом настроении, когда позвонил ей, он был в веселом настроении, когда зашел за ней, и все еще весело рассказал ей о покупке колец.

И тут она уловила, что кое-какие нотки он вымучивает, и поначалу, обругав его, надеялась, что поможет ему отбросить вымученную веселость. Когда же он стал защищаться остротами, которые у него явно не вытанцовывались, она перешла в наступление и лишь в разгар спора поняла истинную причину своей злости. Добром все это кончиться не могло. Он уже и сам себя не прощал, и ему претило слушать от нее то, что он и сам знал.

Вот когда все началось. То, что минуту назад было смешной глупостью, теперь называлось цинизмом. Недопонимание обратилось в ненависть. Разочарование стало зваться презрением. Про себя каждый пытался сигнализировать себе и другому: послушай, остановись! Оба задирались: нет, ты послушай, что я тебе скажу! И то, что они говорили, привело к катастрофе.

Какое же все-таки счастье, что Фран была еще очень юной, неискушенной в подобных ссорах, и потому она воспользовалась жестами, взятыми напрокат из посредственных книг и посредственных фильмов. Вот, к примеру: если обрученные или супруги, во всяком случае «окольцованные», ссорятся и хотят положить конец своим отношениям, то должны возникнуть новые обстоятельства: разлука без возврата и прощанье на веки вечные. Новым обстоятельствам требуется некий знак, поэтому все происходит так: невеста или соответственно супруга снимает с пальца кольцо и швыряет его через всю гостиную; в углу оно еще раз тихонько звякает, а затем наступает тишина, после чего, как известно, наступает конец.

Франциска не снимала кольца, она его и не надевала; она держала оба кольца в кулаке, ей стоило разжать пальцы, остальное довершила бы сила тяжести, едва слышно булькнуло бы — и всему конец.

Но Франциска читала книги, видела фильмы, потому не станем бранить подобные книги и подобные фильмы, благодаря им в игру вступила справедливость, иначе говоря, чувство юмора, то непринужденное веселье, которое основано на взаимопонимании. Во всяком случае, нечто, желавшее добра Франциске и Давиду, подсказало ей ту кривую, по которой оба кольца отправились бы в воду, сначала одно, а затем и второе. Первый бросок еще кое-как удался; правда, она затратила слишком много усилий, таким броском можно закинуть далеко в воду даже медицинбол, и плечо сразу заныло. Франциска выложилась в этом броске. Как бы там ни было, роковое кольцо исчезло, исчезли двадцать три марки западных, сто сорок восточных, жест ей удался, телодвижение последовало за словами, подчеркнуло их весьма выразительно — смысл происшедшего немыслимо было истолковать превратно.

Теперь стоило подать второй знак, и возникли бы грустные обстоятельства, а это означало бы конец.

Но то крошечное нечто, желавшее добра Франциске и Давиду, позаботилось еще раз, и с большим нажимом, об утрировке: второе кольцо, взлетев к небесам, повисло на сухой ивовой ветке, а когда Фран и Давид разошлись, одна туда, другой сюда, они, ослепленные ужасом, не углядели, что рядом с кольцом на дереве у Шпрее примостилась всемогущая смешинка.

Да, она сидела там, а гнев их постепенно угасал, и однажды серым июньским утром, серым не только от дождя, а оттого, что это был семнадцатый день июня месяца, благодетельное совпадение, то крошечное ироничное нечто, свело товарища Давида Грота на Штраусбергерплац с молоденькой девицей, которая вознамеривалась сфотографировать орущего человека в заляпанных известкой штанах. И вот первые слова, которыми Давид и Франциска обменялись после двух лет разлуки:

— Ты что, спятила, да они тебя твоим же аппаратом изуродуют!

— А штаны, гляди, штаны у него подозрительные.

— Здесь много подозрительного, а теперь проваливай отсюда!

— А ты, ты сам, что — не спятил, с партийным значком на пиджаке!

— Я ни черта не боюсь!

— Значит, ты не все слышал!

День этот оказался долгим, кошмарно долгим и волшебно долгим, долгим, как затянувшаяся война, и долгим, как старая сказка, долгим, как стон, и долгим, как юность, день с концом скверным и прекрасным, день, положивший конец реву и молчанию, день вовсе не праздничный, а все-таки праздник.

— Я собираюсь здесь снимать,— заявила Франциска,— ты же либо отколешь значок, либо уберешься. Из-за тебя еще и меня поколотят. А я хочу фотографировать, ведь такого, как сейчас здесь, никому никогда не увидеть.

— Надеюсь,— согласился Давид и отколол значок от пиджака.

И все-таки это не спасло, дважды им надавали по шеям.

— Ну что ты за журналист?— после первого раза удивилась Фран.— Тебе ведь не агитировать надо, а наблюдать.

— Плевать я хотел на наблюдения,— огрызнулся Давид,— наблюдать, как они бьют стекла и в клочья рвут наше знамя? Плевал я на такие наблюдения.

— Тогда уходи,— повторила она.— «Зоркий» стоит восемьсот марок, а мои глаза и того больше.

— Здесь гибнет кое-что подороже!— крикнул он в ответ.

Тут уж она заорала на него:

— Ну, меня-то, дурень, меня-то ты не агитируй, не мешай, мне нужно работать!

Давид создал ей условия для работы, но, когда съездил по шее какому-то плотнику, стукнувшему ее по руке, сам получил в ухо.

— У него был топор?— поинтересовался он, когда она заряжала «Зоркий» новой пленкой.

С этой минуты он все свое внимание сосредоточил на событиях дня семнадцатого июня и на Франциске Греве. Он увидел, что щит на границе секторов на Фридрихштрассе расколотили и на Потсдамерплац тоже, он увидел пожар в универмаге на той же площади, и книгу Келлермана под стоптанными башмаками, и женщину с кляпом во рту, он увидел, как летят камни из военных руин какого-то дома, он увидел опущенную на ворота Дома министерств решетку, и велосипедиста под обломками собственного велосипеда, и значок «Жертва фашизма» на пиджаке человека, которому выворачивали руки. Давид очень хотел увидеть своих товарищей, но мало кого увидел, их накануне вечером предупредили: сохраняйте спокойствие, у нас все в полном порядке! Так ведь нет же, порядка как не бывало! Давид увидел людей, приложивших к этому руку, и самое скверное, не все лица были лицами врагов.

Давид уже перестал понимать, кто он, когда обнаружил, что он, хотя до тошноты напуганный и растерянный, забывает на долгие секунды и даже минуты разгром, понесенные потери, мечтая, как бы ему завоевать, вновь завоевать, заново завоевать эту девчонку, такую же, как и два года назад, и все-таки совсем иную, противоестественно спокойную в этом вихре правды и кривды и, может, не хладнокровно, но, во всяком случае, осмотрительно выполняющую свою работу.

— Да что с тобой? — удивился он.— Тебя это совсем не волнует?

Ответа он не получил.

Какой же ты чудовищный глупец, думала она, какой ограниченный преемник партийных треволнений, какой собственник норм морали! Кто не рыдает, тот, значит, не страдает; кто не пускает в ход кулаки, у того каменное сердце, кто не кусает в кровь губы, того, значит, не берет за душу! Твой вопрос тебе придется искупить, я затолкаю его тебе обратно в глотку.

Сейчас для этого не время и не место. Сейчас я хочу все видеть и закрепить увиденное на пленке; сейчас я работаю, и, сдается мне, настанет день, когда у меня поинтересуются не криками возмущения, а результатами работы.

Здесь нынче сам черт отплясывает «Лауренцию», то, что здесь сейчас падает с неба, вовсе не заплуталось, и я докажу вам это, снимок за снимком.

Иначе зачем я училась видеть и осмыслять увиденное? На что я тут нужна?

А потому уходи-ка ты с дороги, парень, не уходи от меня, но уходи с моей дороги, сейчас я фоторепортер.

7

Редакция — это всего-навсего обычное производство: пятидневка, боевой местком, вахтеры-стенкоры, обед в столовой — пальчики оближешь, лифт, взлетающий со скоростью допотопного ворота, главный бухгалтер, комната отдыха для женщин, у Фогель шашни с Никишем, стенгазета, что шагает в ногу со временем, ну разве чуть-чуть прихрамывает, ответственный за противопожарные мероприятия, инспектор по технике безопасности, каждые полгода кампания против электрокипятильников, а в СНМ-то чертовски весело, учеба в сети партпросвещения, диспетчер по имени Кассиус Клей, и тоже, как тот, называет себя Величайший, плановые цифры, отставание плана, перевыполнение плана, плановая дисциплина, обсуждение плана, обсуждение последнего пленума и повторное обсуждение склонности коллеги Курца подчеркивать отрицательные стороны противоречий, обсуждение премий, бригада «Дружба народов», обследование у гинеколога, отряды самообороны, товарищеский чай, соревнование, собрание на тему «Отдых как нервное возбуждение или как полный покой», кампания: «Все — на донорский пункт», поиски волейболистов; в понедельник утром редакция — битком набитый ковчег, в пятницу в семнадцать — космодром перед запуском

ракеты; Элли во вторник родила ребенка, скинемся; в среду Йобсту шестьдесят пять, скинемся; в четверг похороны коллеги Цаймерта, скинемся, да, все его очень любили; пять дней как обычно, а через два на третий сенсация средней руки: Эрих вернулся, свеженький как огурчик, у Циппольд свистнули кошелек в Доме ребенка, лаборантка завела халат-мини, Балдауфы втихаря купили «трабант», дочку Нойберта показывали по телевидению, Йонушкайт заявил: если еще раз подложат ему свинью, он обратится к адвокату; пять дней работают и судачат, пять дней служат прогрессу, но ни единая душа этого не замечает, пять дней один смахивает на другой, и все-таки они разные, пять делений на шкале вечности, да, такая редакция — это всего-навсего обычное производство.

Такая редакция — это производство особого рода, а редакция «Нойе берлинер рундшау» уж совсем-совсем особая. Говорит Давид Грот.

У их продукции, говорит Давид Грот, потенциально столько потребителей, сколько на земле людей. Стало быть, грубо говоря, три с половиной миллиарда потребителей.

Ха-ха, говорят другие, и у них на то есть самые разные основания.

Давид с этим не согласен. В году двухтысячном, говорит он, потребителей будет уже шесть миллиардов, потенциально.

Он не видит ничего смешного в том, что редакторша одного юмористического журнала, продемонстрировав на летучке загубленную цветную полосу, воскликнула: «Что скажут наши читатели в Австралии!»

Права она, утверждает Давид, и его ничуть не смущает, что среди подписчиков того юмористического журнала до сих пор значилось лишь два австралийца. В Австралии восемнадцать миллионов жителей. Есть где развернуться.

Конечная цель означает реализованную возможность. Мечтать — значит находиться в движении. Отважные планы, отменная работа — две горошины из одного стручка. Особенность редакции «Нойе берлинер рундшау» быть всего-навсего производством не лишает ее той особенности, что журнал задуман для владычества над миром. Задуман так Давидом Гротом. Если я не готов завоевать Австралию, говорит он, у меня не хватит мужества завоевать даже Глаухау. Никому не придет в голову смеяться над тренером по плаванию, который, охотясь за первоклашками, дерзко и вполне хладнокровно рассчитывает на олимпийские старты тысяча девятьсот семьдесят шестого года. Он понимает, говорит Давид, что единственное связующее звено между нынешним днем и тем, будущим, зовется труд; это

кратчайшая прямая между двумя названными пунктами, и он знает: для него эта прямая будет бесконечно длинной.

А школа как таковая, с жаром доказывает Давид, не существовала бы вообще без расчета на вечность. Она ведь тоже обычное производство, здесь судачат и работают шесть дней в неделю, болтают в учительской о подвесных моторах и витаминах. Фрау Мантей, захлебываясь, рассказывает о карьере своего шурина на Западе, а господин Штир считает, что заработная плата причитается ему за четырех оболтусов в классе, идти в ногу с прогрессом не так-то легко, на службе крутишься как белка в колесе, пенсия маячит где-то в дальней дали, увы и ах! — но в той учительской есть и Ванцка-мечтатель, он высматривает нового Гаусса, и находит именно потому, что Ванцка — истинный мечтатель.

Почитайте-ка книгу об этом учителе, говорит Давид, и поймете: у школы расчет на вечность. Она хоть и ворчит на каждый прожитый день, в то же время обогнала нынешний на десять тысяч дней. Ее требования беспредельны, давайте не будем и мы ставить себе пределы. Так говорит Давид Грот, и было бы смешно, если бы он только говорил. У него хватает смелости и кругозора, чтобы не упустить из виду Глаухау, раз уж он намеревается завоевать Австралию. И если смелость требует оснований, то оснований у него предостаточно.

Он заключил чудовищно самонадеянное пари со своим чокнутым патроном и выиграл это пари, он завоевал Трою, Австралия, правда, находится чуть-чуть подальше. С ним в союз всегда вступали и другие мечтатели, первая среди них — Стальная Иоганна, неистовая созидательница нового человека, и Федор Габельбах, любитель недобрых предсказаний, неутомимый работяга, который вечно толковал о хаосе и неизменно хлопотал о порядке и не раз протягивал Давиду руку помощи на его пути к первому месту в выходных данных НБР.

Именно Габельбаха послала Иоганна с Давидом, когда надо было получить ответы на первый опрос НБР: «Итак, 1946 год. Чего вы от него ждете?»

То было мрачной порой ноября, в редакции царила безумная паника, планировался рождественский номер, и тут раздался отчаянный вопль, впоследствии не раз сотрясавший эти стены: «Нам чего-то не хватает!» Опрос как не раз впоследствии был верным решением, спасением журналистов от очередного лиха, выраженного воплем: «Нам чего-то не хватает!»

Габельбах заявил, что номер выглядит беспорядочной мешаниной, в нем даже намека нет на какую-либо основополагающую идею.

Иоганна ответила ему именно теми словами, какие следовало

ожидать от нее в подобном случае:

— Наша основополагающая идея — человек!

Однако в номере чего-то не хватает, это признала и она. Только Клоц, наряду с отделом мод и рубрикой «Хозяйкам на заметку» ведущий литературный отдел, был вполне доволен планом рождественского номера.

— Как так, как так, откуда вы взяли, что нам чего-то не хватает? Ведь номер же настоящий боевик! Статья «Наконец-то займемся кастрюльками» с цветными фото держит весь номер. А мы еще кое-что добавим! Фрау Шарлотта ответит на вопрос «Как перешить отцовский мундир?». Затем последует рецепт: «Стойкое повидло из зеленых помидоров». Потом деловой совет: «Черенок+крышечка бутылки=нож для чистки рыбы», и, конечно же, фото. Далее содержательная заметка о новом лечебном средстве, называемом пенициллин. Вдохновенная шапка: «Запомни это название!» К тому же, дамы и господа, переизбыток литературных материалов: роман «Встреча в тумане» уже идет, его хватит до следующего рождения младенца Христа, дадим также стихотворение Верфеля и, пожалуй, добавим Бехера, а для любителей искусства лакомый кусочек — рецензия на спектакль театра «Ам Шиффбауэрдамм»: Рудольф Платте в «Очаровательной девушке». Так у нас же всего хватает, дамы и господа, у нас просто переизбыток материала!

— Переизбыток — это эвфемизм для полной безалаберщины,— объявил Федор Габельбах,— и, ежели дозволите, я отважусь предсказать вам читательские письма: «А где вы достали зеленые помидоры?.. Убедительно прошу сообщить, как бы мне раздобыть гво́здик, дабы пригвоздить вашу бутылочную крышечку к вашему черенку, не говоря уже о том, где раздобыть рыбу?.. Кастрюля — недурно, а что слышно о мясе?.. Нам бы ваши заботы! Как перешить отцовский мундир? Ха-ха-ха!!! Да его, видимо, будет носить сам отец, если не захочет разгуливать нагишом! Но прежде всего, уважаемый господин редактор, ответьте мне на другой вопрос: где он, мой отец?»

Однако Клоц отмел возражения Габельбаха: читательские письма не его ведомство, ими занимается Лило, а Лило всегда найдет ответ. Лило, простая и бесстрашная душа, ее убежденность была вариантом веры в horror vacui*, как природа не терпит пустоты, так не терпит она и вопросов, на которые нельзя найти ответа, правда, нужно уметь искать. Читательские письма были ее горем и ее радостью, она давно поняла, что не каждый вопрос выражал жажду знания, но и радость тоже выпадала ей

* Страх перед пустотой *(лат.)*.

на долю в отделе писем. Чтобы правильно ответить, Лило постоянно общалась с великими знатоками в различных областях знаний, и каждый из них навеки запечатлевался в ее сердце. А Лило так легко поддавалась впечатлению, что по ее лицу, манере говорить, манере держаться было видно, с кем она в данное время имеет дело. Занималась Лило письмом, содержащим вопрос о местонахождении школы Палукки, все знали наверняка, что она в бешеном темпе носится по городу и глаза ее мерцают, точно две капли лебединого озера, а чтобы метко ответить на вздорную читательскую реплику по поводу Герхарта Гауптмана, Лило вступала в столь бурное духовное общение со всевозможными германистами, что еще очень долго в ее лице явственно проглядывали гётевские черты.

Иоганна Мюнцер чрезвычайно высоко ставила Лило и ее деятельность, потому что видела в ее почти болезненной страсти к знаниям существенную предпосылку формирования нового человека и еще потому, что читательские письма согласно соответствующему замечанию Ленина создавали благоприятные условия для изучения народного мнения.

Поэтому Иоганна тотчас выступила против каркающего Габельбаха и заявила:

— Кто боится вопросов народа, тот пусть страшится вопросов господа!

Она охотно нападала на Габельбаха с этих позиций, но он даже ей не позволял втянуть себя в богословский спор.

— Страшиться,— заявил он,— нам следует только того мгновения, когда и наши читатели заметят то, что мы сами уже подозреваем: в номере недостает изюминки. Мы, правда, могли бы выйти из положения тем же манером, как некогда корреспондент Франц Герман Ортгиз, который сообщил из Берлина своим фризским читателям семнадцатого седьмого тысяча семьсот семнадцатого года — дата мною не выдумана,— что «причину скудных новостей мы зрим в непримечательности минувших событий», однако не знаю, во-первых, удовлетворит ли нынешнюю публику подобное оповещение, во-вторых, как соотнести его с нашей политической ответственностью. Поскольку, если я хоть как-то разбираюсь в общей непроглядной неразберихе, царящей у нас в редакции, этот вопрос касается прежде всего господина Майера, пусть он и выскажется.

Это, пожалуй, было слишком, что прекрасно понимал и сам Федор Габельбах, но круг задач Генриха Майера, прозванного Возница Майер, был столь нечетко очерчен, что Возница Майер сделался постоянным объектом колкостей Габельбаха.

Имя Возницы Майера стояло в выходных данных «Нойе

берлинер рундшау», там значилось: «Генрих Майер, ответств. редактор». Кроме места в выходных данных и места за редакционным столом, у Майера в НБР места не имелось. Майер был своего рода историческим недоразумением. Он был так называемый зиц-редактор, подставное лицо, человек с готовым узелком, которого в давно прошедшие времена препровождали в тюрьму, когда юстиция вопила о возмездии за нарушение газетой закона. Возницу Майера назначили в НБР не столько для такой надобности, сколько из опасения, что читатели не примут всерьез журнала, которым руководит Иоганна Мюнцер, стало быть, женщина. Время для этого еще не созрело, объявили редакции, и Иоганне пришлось подчиниться; не помогли ей и примеры, которыми она пыталась доказать, сколь зрелыми проявили себя женщины в это время и сколь пригодными для любой должности; в выходные данные требовался мужчина, ответственность перед внешним миром должен нести надежный, закаленный, волевой мужчина.

Возница Майер был человек надежный, волевой и закаленный, хотя истинной причины его назначения ему лучше было не называть. Он ничего не имел против, когда ругали начальство и пособников начальства, он и сам их ругал всю свою жизнь, но если б ему сказали, что он получил должность потому, что у населения предполагается отсталое сознание, он встал бы на дыбы.

Ведь это означает отступление, а не в его характере было отступать. В молодости он был возчиком, возил пиво знаменитого завода «Шультхайс», управлялся с шестеркой лошадей, а позже водил огромный грузовик пивоваренного завода «Киндль».

— День-деньской, как заведенный, колесишь, бывало, по городу, не то останешься на бобах!

Был он когда-то и борцом-тяжеловесом в рабочем спортивном ферейне, дважды выигрывал первенство Берлина.

— Там уж держись, бывало, до последнего, не то останешься на бобах!

Партии он служил как шофер и как телохранитель.

— Труднее всего приходилось с Карлом. Сам невысокого роста, я ему ящик подставлял, когда он речь говорил. Но если уж войдет в раж, я его за брючину дергал, чтобы поторопился с выводами, пока не нагрянули «синие». Там, бывало, только успевай, гляди в оба, не то останешься на бобах!

Возница Майер неизменно сидел за редакционным столом, благожелательно прислушивался к спорам прогрессивных интеллигентов, сам в них, однако, участия не принимал, он настороженно ждал, не раздадутся ли тяжелые шаги «синих»: то

обстоятельство, что с новым полицей-президентом они в одном лагере не только остерегались «черных», а, объединив свои силы, давали им достойный отпор, ничуть не притупило его бдительности.

Подтрунивания Габельбаха его не задевали. Фоточудак был интеллигентом, а терпение Возницы Майера испытывали интеллигенты почище этого.

— Владимир, вот буйный был парень! Стихи прямо на улице сочинял и шпарил их по-русски, на всех буржуев страху нагонял, дело-то было в период относительной стабилизации капитализма. Нет, вам с Маяковским не тягаться, не слишком-то вы нынче языкастые!

Давида шпильки Габельбаха задевали, и не оттого вовсе, что сам он бывал жертвой фотографа, нет, он брал сторону Возницы Майера, ибо тот был таким человеком, каким Давиду хотелось быть: бескомпромиссным, верным, с давних пор имеющим ясную цель.

А потому Давид, хоть и содрогаясь внутренне от своих слов, все-таки сказал:

— Господин Габельбах тоже подтвердил, что в номере чего-то не хватает, а связь этого факта с политической ответственностью коллеги Майера показалась ему весьма забавной, тогда позвольте все-таки вас спросить, господин Габельбах, будь вы лицом, несущим политическую ответственность, что предприняли бы вы, дабы выявить, чего же нам не хватает, вот что мне хотелось бы знать?

— Вам что-то хотелось бы знать? Это же превосходно, если вам что-то хочется знать, юноша,— ответил фотоначальник,— значит, вы, позволю себе надеяться, понимаете по крайней мере, чего вам недостает. Пользуясь случаем, обращаюсь к вам, фрау Мюнцер, будьте столь любезны, разъясните, пожалуйста, на каком посту мне следует видеть этого птенца, когда я силюсь хотя бы мысленно внести порядок в нашу редакционную жизнь?

— Он мой референт,— объявила Иоганна Мюнцер,— сейчас вы уясните себе, как это следует понимать. Если я чего-нибудь не знаю, а знаю я только то, что знаете все вы — Лило, коллега Клоц, вы, коллега Габельбах, и наш ответственный редактор товарищ Майер, тогда я обращаюсь к моему референту: Давид, нам чего-то не хватает, что ты можешь предложить? Мой референт раскинет умом, он для этого и существует, и даст свое предложение. Сейчас, Давид, мы это наглядно продемонстрируем, чтобы коллега Габельбах получил представление о тебе и твоей деятельности.

Ну и свинью же ты мне подложила, госпожа Пентесилея,

хорошенькую же свинью ты мне подложила, подумал Давид, от меня ведь мокрое место останется. Подумай, я же новичок здесь! Габельбах меня терпеть не может, уважаемая начальница, а товарищ Майер не в силах мне помочь. Клоца и Лило этот вопрос не касается, они свое уже выложили, я один-одинешенек среди вас, фрау Мюнцер, что же вы спрашиваете именно меня? Сама обещала, что я буду у нее учиться, и хоть в ее словах звучала угроза, но было в них и обещание. А теперь загоняет меня в западню. Как же я выберусь из нее, эй ты, чудище в синих чулках? Да это же, это же эксплуатация, вот что это, она поступает в точности как мастер Тредер и генерал: а ну давай, Даффи, а ну действуй, и чтоб было сделано, а как ты будешь действовать, меня не касается, но чтоб сделано было! Все только Даффи, только Давид! Я же хотел быть у вас курьером, а вовсе не референтом! Я даже как следует не знаю, что такое референт.

— Ну что ж,— промямлил Давид, но Пентесилея окинула его сияющим взглядом, словно он сказал что-то вразумительное.— Ну что ж,— продолжал Давид,— если вы считаете, что нам чего-то не хватает, попытаемся дознаться, чего же именно. Можно, конечно, спрашивать всех подряд: чего нам не хватает? Хотя вряд ли в этом есть смысл, ведь ни один человек не сказал: того-то и того-то, все, кроме господина Клоца, сказали: чего-то не хватает. Если можно так сказать, то нам не хватает знания того, чего нам не хватает.

— Так не только можно сказать,— воскликнула Иоганна Мюнцер,— именно так и следует сказать. Ты сформулировал основную черту нашего времени. У людей частенько бывает муторно на душе: им не хватает знания того, чего им не хватает. Продолжай в том же духе, Давид!

О, неистовая воительница-амазонка, мелькнуло в голове Давида, продолжать в том же духе — прекрасно, это в точности манера мастера Тредера: ежели пижону Борзигу всенепременно понадобилось ружье с серебряной насечкой, как у Виннету, а у нас в кладовой завалялась древняя громыхалка Дрейзе да моток серебряной проволоки в придачу, как, ты считаешь, надо поступить, Даффи? Мастер Тредер был такой же эксплуататор, как и вы, фрау Мюнцер, разве что без синих чулок; а Габельбах уже снова ухмыляется.

— Поэтому,— продолжал Давид,— поэтому нет смысла спрашивать всех подряд: господину Клоцу всего хватает, фрейлейн Лило пришлось бы сбегать к знатокам, чтобы узнать, чего ей не хватает, товарищ Майер не обязан это знать, господин Габельбах все равно считает, что в редакции несусветная путаница, а редактриса есть редактриса. Выходит, остаюсь я, но я тут

новичок, и, если бы меня спросили, чего не хватает, я бы сказал: всего, а это вздор, потому что все не влезет в журнал. Кроме того, журнал делается не для меня. А может, спросить тех, для кого журнал делается?

— Превосходно,— обрадовался редактор Клоц, он-то знал, что его деятельность совпадает с пожеланиями читателей, и был уверен, что опрос подтвердит его мнение: всего у них хватает, разве что надобно добавить материалов по его разделу.

— Превосходно, считаете вы?— вмешался Габельбах.— Прелюбопытно, сказал бы я! Журнал, который вы станете изготовлять, сообразуясь с пожеланиями читателей, превратится в Луна-парк без складу и ладу, в парк Тиволи, набитый финтифлюшками, в диснеевский мир для чокнутых, Пратер для вéнцев, в дешевку из газетной бумаги, американские газетчики уже давно такое придумали, вот и любуйтесь на этих газетчиков.

— Нет,— возразила Иоганна,— мы не станем любоваться на американских газетчиков, во всяком случае сейчас, ведь мой референт еще не развил свою мысль. Развивай свою мысль до конца, Давид!

Когда же ты уймешься, палачиха?— подумал Давид. А как все чудесно складывалось: Габельбах рассказал бы об Америке, он был в Америке. Возница Майер заинтересовался бы положением негров, фрейлейн Лило, цедя слова, словно в носу у нее кольцо, сделала бы сообщение о впечатляющей беседе с исследователем Африки Шомбургком, все оказались бы при деле и позабыли обо мне, так нет же: развивай свою мысль до конца, Давид! Ну-ка, раскинь мозгами, Даффи, как нам поступить с этим арбалетом! Да что же это такое, почему вы надо мной измываетесь? Вот Габельбах уже потирает руки!

— Может быть,— продолжал Давид,— может быть, еще не пришло время спрашивать людей, чего не хватает в журнале, давайте спросим, чего им вообще не хватает, да, в общем и целом, а может, не следует спрашивать человека, чего ему не хватает, пожалуй, начнет жаловаться на свою судьбу, не лучше ли спросить, чего люди сами себе желают, раз Новый год на носу, такой опрос никого не удивит. Если же мы соберем пожелания людей, то наверняка заполучим материал для журнала, а пожелания — ведь они связаны с будущим, по-моему, без взгляда в будущее нам не обойтись.

— Ясное дело,— согласился Возница Майер,— надо глядеть только вперед, не то останемся на бобах!

И хотя Клоц заявил, что опрос читателей — способ допотопный, Лило утверждала, что письма в ее адрес дают достаточное представление о пожеланиях читателей, а Габельбах предсказы-

вал, что вместо разумных ответов «Нойе берлинер рундшау» будет завален грудой вздора, Иоганна Мюнцер твердо решила:

— Давид нашел верное слово, ухватившись за него, у нас достанет сил вылезти из трясины, в которой увязли сейчас здесь и люди и страна, это слово — будущее. Будущее же начинается с вопросов, общих и конкретных. Конкретно твое будущее, Давид, начинается в «Нойе берлинер рундшау», а потому слушай внимательно, я говорю с тобой и о тебе, вопросы будешь задавать ты. Да, ты проведешь опрос. Совещание окончено.

— Окончено или не окончено,— буркнул Федор Габельбах,— но предлагаю, я пойду с этим малышом и сделаю два-три снимка.

Он предупредил Давида, чтобы тот ровно через два часа был во дворе редакции; до тех пор следовало уладить кое-какие организационные мероприятия. Давиду большая часть времени понадобилась, чтобы выпросить у бухгалтера, заведовавшего редакционным хозяйством, два новых карандаша и блокнот, затем он съел порцию супа — дробленый ячмень и толченая тыква — и вышел во двор. Габельбах явился точно, обвешанный фотоаппаратами, правой и левой рукой он вел по велосипеду, а на грудь и спину повязал белые тряпицы, на которых по-немецки и по-русски было выведено: «Пресса».

Габельбах и Давида снабдил такими же эмблемами, предложил воссесть на один из велосипедов и первым пустился в путь. Заговорил он только на Лейпцигерштрассе, однако, когда Давид поравнялся с ним, энергично махнул рукой, указывая, что место его сзади.

— Это против правил. Репортеры должны строго придерживаться правил, если это не препятствует их работе. Вы уже набросали план?

— Какой еще план? Нам же предстоит спрашивать, чего желают себе люди в наступающем году, к чему какой-то там план?

— Как вам угодно,— пробормотал Габельбах, не потрудившись не только обернуться, но даже говорить чуть громче.

— Один вопрос мне все-таки хотелось бы задать!— крикнул Давид.— К чему нам эти тряпицы? Мне кажется, у нас довольно комичный вид.

— У меня будет довольно плачевный вид, если мы вернемся без велосипедов,— проговорил Габельбах на ходу,— велосипеды я одолжил, сударь... Так плана у вас, стало быть, не имеется?

— Нет, я думал, мы где-нибудь начнем и зададим вопрос первому встречному.

— Как вам угодно,— повторил Габельбах,— но задавать вопросы будете вы, я всего-навсего фоторепортер. А вот и

первый встречный.

Он махнул рукой в сторону намеченной остановки, притормозил, повозился, устанавливая свой велосипед у кромки тротуара, открыл футляр и направился к пожилому человеку, одиноко сидящему на проржавевшей коляске мотоцикла посреди пустынной Дёнхофплац.

Давиду не оставалось ничего другого, как именно здесь и с этого человека начать свой опрос.

— Добрый день,— обратился он к нему,— мы...

— Вижу,— прервал старик и ткнул в тряпицу на груди Давида,— и что же вам хочется знать?

— Да вот, стало быть, мы проводим опрос...

— Сам понимаю,— снова прервал его старик и ткнул в блокнот,— что же вам хочется знать?

— Чего вы ждете от наступающего года, точнее говоря, чего желали бы в наступающем году?

— Ждать не жду, а желать бы желал,— ответил старик.

— А чего бы вы желали?

Устремив взгляд поверх груды развалин прямиком на Красную ратушу, старик объявил:

— Записывайте: я желаю одного — пусть вновь введут гимнастику по системе Мензендикк; Мензендикк, два «к» в конце, по имени создательницы Бесс Мензендикк, Нью-Йорк. Единственная гимнастическая система, упражнения которой учитывают анатомо-физиологические законы женского тела. Единственный вид гимнастики, сознательно исключающий мужские элементы. Единственный вид мышечной тренировки, служащий в разумном сочетании с повседневной жизнью порукой здоровья и красоты женского тела.

Он поднялся, качнулся, стоя на одной ноге, и, скрестив на груди руки и упершись взглядом в Красную ратушу, продолжал объяснять:

— Вот для образца упражнение Гамбургской гимнастической школы по системе Мензендикк: ритмически равномерный мах левой согнутой ногой, стопа поднимается и опускается; движение согласуется с коленным суставом; туловище остается неподвижным.

Туловище у него отнюдь не оставалось неподвижным, зато лицо застыло, точно маска, лишь едва заметное презрение мелькнуло в его глазах, когда он вновь уселся в коляску и продолжал:

— Все остальные системы противоестественны, пусть их хоть весь мир восхваляет; школа Геллерау-Лаксенбург, школа Элли Бьёркстен, Доры Менцлер, Гедвиг Хагеман, школа ритмического

танца Гильды Зенфф в Дюссельдорфе — все это костоломные уклонения, пусть их хоть весь мир восхваляет; наша цель — возврат к Мензендикк.

Замолчав, он устремил свой взор на Красную ратушу, словно именно там свили себе гнездо злокозненные апологеты псевдогимнастических систем, а Давид робко поинтересовался:

— Это все ваши пожелания на Новый год?

— Все,— отрезал старик, и Давид, вконец смущенный, вернулся к велосипеду.

— Нуте-с,— поинтересовался Габельбах, который, как заметил Давид, пытался совладать с велосипедом по системе Мензендикк, оставляя корпус неподвижным, а взгляд тупо устремив в одну точку,— что же говорит народ о будущем? Не возражаете, если я подам вам совет?

— О нет!— воскликнул Давид.— Я ничуть, ничуть не возражаю, господин Габельбах, я даже прошу вас, подайте мне совет. Ведь я же новичок.

— Что ж, тогда прежде всего наведем порядок в нашем задании,— начал фоторепортер, когда они покатили по Молкенмаркту.—Вы собираетесь провести опрос, значит, вам нужен план. Будете спрашивать первого встречного, всенепременно нарветесь на этакого мензендикканца. Вообще говоря, сами могли бы догадаться — кто по такой погоде в одиночестве торчит на пустынной площади и таращится на опустевшее здание, почти наверняка окажется сектантом. Вы же затеяли опрос населения, вам сектанты лишь помеха. Второй упрек: если уж вы напоролись на чудака, так давите, выжимайте из него все, что возможно. Не понадобится сегодня, сгодится завтра. Может, вас завтра пошлют искать чудаков, как вам пригодился бы ваш мензендикканец! Итак, для начала собирайте, в порядок привести успеете и позже. Вернемся к опросу: весь мир вам не опросить, да и зачем, если вам попадутся тертые калачи, стреляные воробьи, глашатаи общего мнения. Итак, наш план: обращаться к людям, которые, как можно надеяться, многое слышат и многое видят, и свое мнение составляют из виденного и слышанного, это и будет, скорее всего, мнением большинства. И вдобавок, конечно, умело тасовать: стариков, молодых, мужчин, женщин, бедняков, богачей и так далее. Вам моя мысль понятна?

— Мне ваша мысль понятна, господин Габельбах,— отозвался Давид.

— Кого же вы теперь станете спрашивать?

Давид сосредоточенно огляделся вокруг и, увидев, что на Юденштрассе о чем-то оживленно толкуют две кондукторши, воскликнул:

— Может быть, кондукторшу?

— Не может быть, а непременно, очень хорошо,— кивнул Габельбах и сошел с велосипеда.

Одна из женщин, близоруко щурясь, прочла надпись на Давидовой тряпице и удалилась.

— Словечка с вами не скажу,— объявила она при этом,— больно мне нужно в вашу «Правду».

Вторая осталась, но спросила Габельбаха:

— А карточки я получу?

Тот указал на Давида.

— Попробуйте поладить с моим коллегой, он главный.

— Этакий желторотый?— удивилась женщина, но глянула на Давида дружелюбно.— Я надеюсь, что не вечно останусь кондукторшей. Ведь я же закройщица по женской верхней одежде; надеюсь, одежду опять будут шить; и неплохо, если снимок останется на память.

Ага, по выговору — Силезия, подумал Давид, тут, пожалуй, есть связь с будущим. И спросил:

— Это ваше пожелание на Новый год? Мы хотим узнать, какие у людей пожелания, и напечатать в нашем журнале. Чего же себе люди желают?

— Чего себе желают? Да тут и спрашивать нечего! Могу по пальцам все желания пересчитать: чтобы муж вернулся целый и невредимый, да пусть уж не целый, пусть какой есть, только чтоб вернулся. Или пусть хоть письмо пришлет, чтоб знать, что к чему. Это надо же такое придумать, чтоб жена не знала, жив ли муж, где он и что с ним, да, это наказание так наказание. Иной раз думаешь — неужто ты такое заслужила? Ах да, вам нужны пожелания. Чтоб штучку-другую брикетов заполучить и хоть полкило фасоли. У меня двое детей, у них сейчас самый рост. А они не растут. Если дела пойдут так и дальше, то через двадцать лет вокруг нас одни карлики мельтешить станут. Бог ты мой, через двадцать лет, что-то будет! Послушайте-ка, вот что важно: людям надо быть лучше! Иной раз думаешь: откуда это? Откуда у людей столько пакости? Я работаю на длинном маршруте, нынче я здесь помогаю, а обычно работаю на длинном маршруте. От Иоганнисталя до Лихтерфельде. Туда и назад съездишь, значит, восемьдесят километров отмахала, все кругом искорежено, и город и люди. И все до единого бранятся. Знаете, если попадется за весь длиннющий маршрут хоть один сердечный человек, так и то на душе праздник. Кстати, скоро в самом деле праздник. Если бы меня спросили, я бы сказала — не нужно на этот раз рождества. Без сердечности что за рождество! Когда была война, я все мечтала: только бы она кончилась! Но, видно,

она слишком поздно кончилась; мы по-прежнему царапаемся да кусаемся. Конечно, если дети не растут, беда, главное, они слышат, как грызутся взрослые, и считают, что такими и должны быть люди, какие же из них вырастут люди, из наших детей? Вам, верно, все это не пригодится для журнала, тогда подпишите под моей фотографией: хочу, чтоб муж вернулся и чтоб люди в трамваях снимали рюкзаки.

— Обязательно,— заверил ее Давид,— так мы и напишем, а теперь, пожалуйста, ваш адрес, куда прислать фотографию. И еще раз огромное вам спасибо!

Большего им узнать не удалось, и лучше никто им не ответил. Стоял мрачный месяц ноябрь, первый послевоенный, у людей нашлось время ощутить свою боль, война им на это времени не оставляла. А может, им самим не хотелось иметь на это время, подумал Давид.

Многие из опрошенных словоохотливо брюзжали, но редко кто задумывался. Люди жаловались на настоящее, а когда оно началось, словно бы понятия не имели. С возможностью высказать свои пожелания они обходились несуразно, как глуповатые сказочные персонажи. Что и говорить, когда желают, чтобы вернулся муж или сын, понять можно, ну а дальше, а дальше — разве что перебиться, по части же политики их хватало только на одно: чтоб никогда больше не быть войне!

— Что-то я не слышу того самого слова «будущее», ухватившись за которое, говоря словами нашей глубокоуважаемой редактрисы, мы вытянем страну из трясины,— сказал Габельбах.— У них у всех будущее не идет дальше завтрашнего дня, но, спроси вы меня, я тоже ничего бы не придумал. Честно говоря, тот мензендикканец оказался единственным идеалистом на весь город, хотя для нашего опроса он не годится. Разрешите еще кое-что посоветовать?

— Ну, конечно же, господин Габельбах, я так рад, что вы мне советуете!

— Удивительно. Дело вот в чем, вам необходимо всю эту болтовню вразумительно изложить и — на случай, если вы еще не уловили, что важно для фрау Мюнцер,— наметить образ нового человека. А иначе вам придется взять в руки посох. Я бы построил материал на опросе кондукторши; вы помните, как она говорила о сердечности?

— Да,— сказал Давид,— но меня жуть берет, как подумаю, что придется писать; я в жизни не писал ничего, кроме недельных отчетов по мастерской и писем.

— А как вы думаете, почему я стал фотографом?— спросил Габельбах и приготовил аппарат.— Вот идет полицейский, его

еще прихватим, и достаточно.

— Добрый день, господин вахмистр,— обратился Давид к полицейскому,— у меня к вам вопрос!

— Профессиональный?— спросил тот.

— Да.

— Кто вы?

— Давид Грот.

— Нет, из какой газеты?

— Из еженедельника НБР.

— Вопрос?

— Простите? Ах да, вопрос. Вопрос такой: ваши личные пожелания на новый, наступающий год?

Полицейский потянулся было за блокнотом, но спохватился и сказал:

— У нас будет тысяча девятьсот сорок шестой? Так вот, на тысяча девятьсот сорок шестой год у меня есть следующие личные пожелания: во-первых, я не хотел бы оставаться полицейским, я, к вашему сведению, каменщик, полицейский я, чтобы не сделали бургомистром, а ведь собирались сделать у нас в Эстервеге; во-вторых, я хотел бы, чтоб население Берлина опять исправно соблюдало правила уличного движения, так дальше дело не пойдет. Вот они, мои пожелания на тысяча девятьсот сорок шестой год.

Давид пригляделся к движению на Александерплац: один «опель» с древесно-газовым генератором, две ручные тележки и десяток велосипедистов — вот и все, и до их разговора тоже было не гуще.

— Ну и что же?— вспылил полицейский.— Вы думаете, так всегда будет? Надо быть чуточку дальновиднее. Ведь у нас мир! Опять все возьмутся за работу, а значит, на улицах появятся машины и мотоциклы и каждый обзаведется велосипедом. И детей на улицах опять появится больше. А у них опять будут мячи. И люди опять заведут собак. А уж когда люди будут сыты, они выйдут погулять. И еще эти чертовы трамвайные линии, шесть — вдоль и поперек площади, кругом магазины, люди с покупками выходят, нагрузятся, ничего за свертками не видят. И пьяницы у нас опять будут. Вот что такое мирное время, коллега, и я всей душой за мир, но я понимаю, он породит новые проблемы, и, если мы нынче же не начнем к ним готовиться, завтра они нас сожрут. В Эстервеге знавал я человека, одного из лучших людей в городе. Каждое утро он повторял: «А ну поглядим, кто кого? Я этот день осилю или он меня осилит?» Состязание он выиграл; уж на что случались пакостные дни, а его не скрутило. А теперь? Теперь он дальше настоящей минуты не

мыслит. Не знаю, есть ли у нас в голове уголок спецназначения, где накапливаются ожидания, планы, надежды, но что-то такое, верно, уж есть, а в голове человека, о котором я рассказываю, этот уголок словно засыпало. У него отказал, видно, времяуловитель, этакий щуп будущего, как у других слух. Страшное дело. А какой отсюда урок? Нельзя считаться только с настоящей минутой, думаю я. С ней ты, пожалуй, управишься, зато на следующую — сил не хватит. Вот почему я упорно твержу: соблюдайте правила уличного движения. У нас во что бы то ни стало опять будет уличное движение, и все мы угодим на кладбище, если не перестанем разиня рот разгуливать по городу. В следующий раз, когда мы встретимся, уважаемый коллега, я хотел бы видеть ручной тормоз на вашем велосипеде в полной исправности. Честь имею!

Они не раз еще имели честь видеться, Давид и товарищ Рейциг. Он не стал каменщиком и бургомистром тоже не стал; он продолжал носить мундир полицейского и однажды, в середине шестидесятых годов, держал речь на районном партактиве, в ней он прослеживал некоторые аспекты регулировки уличного движения в связи с реконструкцией Александерплац и внезапно, начисто позабыв принятый и едва ли не обязательный на таких собраниях стиль, заговорил о своих сокровенных желаниях, и главным его желанием было, чтобы берлинцы наконец-то исправно соблюдали правила уличного движения, иначе, сказал товарищ Рейциг, все мы послезавтра угодим на кладбище, ибо в ближайшее обозримое время каждый берлинец обзаведется машиной, а подземные переходы, и городская автострада, и подвесные тротуары — все это очень хорошо, все это приметы социализма, а он за социализм всей душой, — но он понимает, что такое движение рождает новые проблемы, и, если мы нынче же не начнем к ним готовиться, завтра они нас сожрут.

Давид, однако, почувствовал некоторое разочарование оттого, что товарищ Рейциг не упомянул также того органа чувств в нашей голове, в существование которого Давид твердо поверил с той самой давней встречи с полицейским вахмистром на Александерплац; Давид так искренне в него верил, что часто, не в силах сдержаться, обращался к участникам редакционной планерки с несколько забавным и всех всякий раз забавлявшим призывом: «Сделайте одолжение, включите ваши щупы будущего».

Выражение это, однако, не пришлось по вкусу Пентесилее; из опроса она его вычеркнула на том основании, что человек не облегчит себе жизни, если станет на каждую трудность придумывать себе новый орган, обходиться следует теми, что есть, но их, разумеется, должно развивать и формировать, доводя до высоко-

го совершенства; а уголки спецназначения — нет, и щупы спецназначения — нет, от них недолог путь до носов и глаз спецназначения у Пикассо — все эти спецкрайности приведут мало-помалу к противоположным крайностям, они, если уж мы затронули область искусства, рано или поздно приведут к Архипенко и его «двухмерной» скульптуре, к трехмерной живописи и к портретам из геометрических фигур, а Бертрам Мюнцер, ее муж, дорого заплатил за то, что клюнул на удочку Архипенковых соблазнов; нет, щупы будущего и уголки спецназначения — эти слова в «Нойе берлинер рундшау» не пройдут, а в остальном очерк написан совсем неплохо, не так скверно, если сравнить с тем, как пишут здесь сейчас. Тем самым она чуточку припугнула и в то же время подкупила Давида. С Федором же Габельбахом ей так легко справиться не удалось: он пропустил мимо ушей похвалу, которой она наградила его фотографии,— особенно расположила ее к себе кондукторша, ратовавшая за сердечность. Габельбах понял — Иоганна не хочет давать фотографию, на которой Давид беседует с мензендикканцем, а Давид в глубине души надеялся, хоть и был признателен Габельбаху за все его советы, что тому не удастся одолеть в споре Пентесилею. Ибо снимок точно отразил его внутреннее состояние во время демонстрации упражнений Гамбургской гимнастической школы по системе Мензендикк: Давид застыл, одуревший от изумления.

Разумеется, победила Иоганна Мюнцер. Фото не попало в газету, зато оно попало на стену в кабинете Габельбаха, и Давиду представлялась возможность созерцать его когда и сколько угодно.

С течением времени стены габельбаховского кабинета покрылись сотнями неопубликованных сокровищ, изготовленных большей частью самим коллекционером, а также его учениками и сотрудниками. Среди них выделялась фотография, творение Франциски, самая красочная и кровоточащая из всех ее неслыханно смелых фотографий, видимо, уж очень кроваво-красочная, а потому и не опубликованная в НБР.

Фотодокументы, собранные Габельбахом, представляли собой своеобразное приложение к истории журнала: они отражали подспудную историю НБР, иначе говоря, историю, стоящую за кулисами истории; они свидетельствовали о неловких попытках, имевших место перед блистательным выходом, о перечеркнутых импровизациях и о забвении границ допустимого, об открытиях, которые приходилось оставлять себе на память, об испытаниях, которые никому не хотелось бы восстанавливать в памяти. Коллекцию можно было считать просто циничной хроникой, а ее владельца — проповедником циничной, иначе говоря, собачьей

философии, и преемник Возницы Майера, один из тех, кто на законных основаниях занял первое место в выходных данных «Нойе берлинер рундшау», главный редактор Герберт Блек, именно так и сделал: назвал фотографии циничной хроникой, а редактора Габельбаха — проповедником циничной, а то и просто собачьей философии. Надо сказать, что в значительной степени из-за подобного подхода к делу журнал, пока Герберт Блек стоял на первом месте в выходных данных, шумной славы не стяжал.

Герберт Блек, без всякого сомнения, человек ученый, прекрасно разбирался в ранних философских школах и в поздних тоже, разбирался в идеях — отражении жизни в головах мудрецов, сам мнил себя мудрецом и любил заострять чужие промахи в собственных речах. Только несовершенство людей как некой данности — термином «человек как некая данность» Герберт Блек очень дорожил,— да, только их несовершенство мешало ему единым махом изменить мир, единым махом за одну неделю с помощью иллюстрированного журнала НБР.

Годами журнал обходился без кого-то, кто звался бы главным редактором; Иоганна стояла у руля управления, а Возница Майер — в выходных данных, внезапно дело, которое прекрасно шло, дальше не пошло; общество достигло высокой ступени развития, и оно требовало четких разграничений в сферах руководства, и тут кто-то обнаружил, что в руководстве НБР царят неупорядоченные отношения.

Иоганне и ее референту, как все еще именовался Давид, стоило неимоверных усилий разъяснить комиссии, присланной из высоких инстанций, причины подобного положения вещей, членам комиссии казалось неправдоподобным, что были такие времена, когда считалось неположенным ставить женское имя на первое место в выходных данных.

К счастью, один из членов комиссии догадался именно в этой неправдоподобности усмотреть признак прогресса, признак того, что страна сделала огромный шаг вперед и что ныне мы находимся на достаточно высокой ступени развития; а если так, значит, можно поразмыслить над преобразованиями.

Простейшего решения найти не удалось; теперь уж Иоганна не желала официально носить то звание, которое фактически неизменно принадлежало ей, иначе говоря — ответственного редактора, она желала оставаться редактрисой. И тогда комиссия, тщательно изучив весь кадровый состав, решила, что редакцию нужно укрепить свежим человеком. Нет, в составе самой редакции не нашлось ни одного сколько-нибудь подходящего; сотрудники НБР были либо слишком старыми, либо слишком молодыми, главное, они были прежде всего практики, а практицизм в те

времена стоял на одном из первых мест в списке опасностей, угрожающих нашему общественному развитию.

В редакцию необходимо ввести теоретика, человека, обладающего общественным сознанием в сочетании с историческим кругозором, человека не только обученного, но и ученого.

Такой вскорости нашелся, звали его Герберт Блек, теоретик с университетским дипломом в кармане. В краткой, но остро закрученной речи по случаю вступления в должность он разъяснил всем практикам, что рассматривает их как некую данность, понимать это следовало — как необходимое зло, как явление переходного периода на промежуточной стадии, требующей преодоления.

Кроме этой ошибки, Герберт Блек в первый же день совершил по меньшей мере еще три: он оборвал своего номинального предшественника Генриха Майера, именуемого Возница Майер, когда тот собрался было рассказать, как сиживал в пивной на Розенталерплац с Андерсеном-Нексе, после чего незамедлительно вылетел из категории прогрессивной интеллигенции, попав в категорию интеллектуалов, которую Возница Майер расценивал на совсем иной лад, и, будь Блек редакционным практиком, он содрогнулся бы от ужаса.

Но в том-то и дело, что Герберт Блек разбирался в идеях лучше, чем в людях, и потому решительным шагом двинулся в обход редакции. Тут он совершил вторую ошибку. Он сразу же попал в комнату Давида, расположенную рядом с конференц-залом, где увидел томик рассказов Кафки, а пробежав глазами раскрытую страницу и прочитав вслух название рассказа «Превращение», ему, как человеку высокообразованному, хорошо известного, резким тоном объявил:

— Превращение человека в насекомое — выход для нас не приемлемый.

Вот тут он и в глазах Давида потерял всякий авторитет. Давид, правда, не восторгался Францем Кафкой, но весьма чтил его и мысли не допускал, что несчастный пражанин пытался историей о Грегоре Замзе кому бы то ни было предлагать какой-то выход. На первых порах, однако, Давид не имел охоты спорить с новым главным редактором о чем-то приемлемом или неприемлемом или о чем-либо другом; человек этот, видимо, был слишком доволен собой и своей ролью «новой метлы»; в споры вступать было еще преждевременно.

Ему, Давиду, еще преждевременно, но ничуть, посчитал он, не преждевременно будет, если мнениями обменяются «новая метла» и «старый стреляный воробей», завотделом иллюстраций Федор Габельбах, а потому постарался свести их на узкой тропе.

С тем же успехом Давид мог бы подставить Блеку ножку на пороге лаборатории; больнее новый редактор не расшибся бы. У Габельбаха, видимо, были мотивы невзлюбить новичка, и повел он себя так, словно у него имелась тысяча мрачнейших причин. Молча, одними лишь лихорадочными жестами дав понять, что безумно занят в настоящую минуту, он обследовал лупой увеличенную фотографию, карандашом и линейкой расчертил ее и стал аккуратно разрезать на ровные полоски, а затем побросал их в корзинку.

Блек, сперва с интересом наблюдавший за этим занятием, заметил в конце концов, что его авторитет разлетается на куски, и потому, круто повернувшись, обратил острый взгляд на незадачливые «памятники старины», развешанные на стенах лаборатории.

При беглом взгляде могло показаться, что это обычные газетные фотографии, каких и следовало ожидать в этом отделе, только попадали они на стенку, а не в газету, потому что содержали побочный смысл, не служивший на пользу дела.

Висел там, например, фотодокумент, в котором вообще никто бы ничего особенного не нашел, но именно отсутствие чего-то сделало фотографию ценным экспонатом коллекции. Снимок запечатлел серьезных людей, рассматривающих картины, подпись объясняла, что на этом фото надлежало показать и что там показано не было и почему: «Коллегу (имя по настоянию Иоганны заклеили) на снимке не видно, задержался на минуту у другой картины».

Новый редактор обозрел коллекцию и мало-помалу, кажется, начал смутно догадываться: здесь что-то неладно!

Он невольно содрогнулся от неслыханно кровавой фотографии Франциски, памятка о встрече Давида с мензендикканцем заставила его призадуматься, соль фотографии с коллегой-невидимкой он, похоже, не понял, и вскоре все-таки отыскал фото, к которому сумел придраться: на снимке в густой толпе, стоящей на коленях, он разглядел Давида, тот тоже стоял на коленях, согнувшись под тяжестью двух перекрещенных бревен, а проще говоря, под тяжестью, если зрение его не обманывает, креста, да и другие прочие, если все это не было иллюзией, ползли, нагруженные бревнами — символами христианства.

Герберт Блек, ткнув в фотографию, спросил с опасливым недоумением:

— Субботник на стройке?

Давид расхохотался, подумал: ну, если он сострил, тогда еще не все пропало, а если спросил всерьез, тогда мы скоро от него избавимся, и ответил:

— Нет, хотя в известном смысле все-таки да, в данном случае все зависит, и даже очень зависит от точки зрения; с нашей точки зрения, тут некое средневековое действо; это, знаешь ли, процессия богомольцев.

— И мне так показалось,— согласился Блек,— но ты-то как попал к богомольцам, товарищ Грот; я полагаю, ты член партии, как же ты попал к паломникам?

Габельбах прервал свою трудовую пантомиму и прислушался, ухмыляясь без всякого благочестия. Тем самым он загнал Давида в угол. Хоть решительный новичок был Давиду не по душе, он его товарищ по партии и получил задание от партии; хочешь не хочешь надо выручать. Габельбах частенько мог довести до исступления, в особенности когда начинал размахивать знаменем, возвещавшим: я беспартийный! В то же время Давид не забывал, что многим обязан этому вечно всем недовольному фотографу и что без него, по всей вероятности, недалеко пошел бы в «Нойе берлинер рундшау», редакция-то кое в чем оказалась именно той самой Троей, которую поминал его первый патрон, господин Ратт.

Ведь он из чистого озорства столкнул лбами этих двоих, теперь надо выпутываться, и Давид с деланной беззаботностью объяснил:

— Как журналисты попадают к паломникам? Знаешь, товарищ Блек, иной раз оглянуться не успеешь, и ты уже в толпе, тем более если растеряешься. Ты внимательно приглядываешься к процессии, ведь тебе ее описывать, ты думаешь: надо послушать, что говорят люди, те самые богомольцы, это же нужно для очерка; тут волей-неволей смешаешься с толпой. А потом улицы начинают сужаться, ряды паломников тоже, и неожиданно замечаешь — ты в самой гуще.

— Ладно, это я понимаю,— согласился редактор,— конечно, идеи — отступим в данном случае от их содержания,— идеи выражаются явлениями, и анализировать явления тоже необходимо верно, но нам известно: важно не допустить, чтоб явления тебя придавили. А эта фотография, на которой мы имеем, так сказать, запечатленное явление, доказывает, на мой взгляд, что ты в данном конкретном случае дал явлению придавить себя, меня это тревожит, тем более что крест я определяю как явление, характерное для чуждой нам идеи.

— Что верно, то верно,— вздохнул Давид,— штуковина эта меня и впрямь едва не придавила, увесистое оказалось бревнышко. Понимаешь, выбора не было. Я же говорил, улицы сужались, а на подходе к церкви превратились в узенькие переулки, я очутился в самой гуще паломников, вот уж верно, и смех и грех.

Знал бы я, что за углом меня поджидает явление, характерное для христианской идеи, я бы попытался выбраться, как ты, однако, совершенно верно заметил, обстоятельства меня придавили, пожелай я выбраться, ничего бы не вышло, и за следующим углом мне пришлось опуститься на колени.

— Видишь,— воскликнул Блек,— вот оно, главное: тебе пришлось опуститься на колени! Почему же пришлось? Я считаю это обстоятельство вдвойне, так сказать, унизительным. Прежде всего с точки зрения идеи, а затем с точки зрения твоего фактического положения.

— Я в тот момент рассматривал его прежде всего с точки зрения своего положения,— ответил Давид, задаваясь мысленно вопросом, так ли обязательно поднимать на смех этого великого умника,— унижение унижением, а мне ничего другого не оставалось: с кем поведешься, от того и наберешься, как тебе известно. Если бы я остался стоять, рассматривая эту позу в двух смыслах — буквальном и фигуральном, от меня не осталось бы ни рожек ни ножек. Сам понимаешь: Верхняя Бавария, Альтёттинг, узкие проулки, забитые богомольцами, э, нет, лучше не пытаться. По идее, все верно, но улочка полным-полна была этакими дюжими явлениями, тут уж ничего другого не остается: влез в толпу, ползи с толпой!

— И вдобавок все это на Западе? — переспросил Блек, не на шутку перепугавшись, и вдвойне насторожился.— И ты позволил, чтобы на тебя взвалили крест да еще сфотографировали? А в редакции-то тебя обсудили? Решение приняли?

— Обсудили,— кивнул Давид,— на это мы мастаки. Успехи, провалы, явления, идеи — мы обсуждаем все, чтобы не притуплялись щупы будущего. О да, мое унижение мы обсудили и присудили: вместо журнала — стенка. На этой стене, понимаешь ли, висят только такие фотографии, которые мы, обсудив, присудили — на стену. Эти снимки попадают, пожалуй, под следующее определение: запечатленные явления, которые могут натолкнуть зрителя на ложную идею.

— Значит, придется эту стену срочно обсудить и кое-что соответственно присудить,— объявил новый шеф,— странная концепция демонстрируется, по-моему, на этой стене, но ты собирался объяснить, как взвалил на себя крест в двух смыслах — буквальном и фигуральном. Ты изложил нам, как тебя поставили на колени, а где оказался на тебе крест, это запечатленное явление христианской идеи?

Габельбах рванулся было, когда речь зашла о концепции его стены, но теперь помалкивал, и Давид понимал: он наслаждается ситуацией.

— Крест,— продолжал Давид,— явился на следующем углу. Понятие «крест как явление» можно рассматривать в двух смыслах — либо это понятие из мира идей, либо понятие из сферы оптики, хотя должен отметить, оба смысла здесь не годятся. Идеям в моей голове в тот момент места не оставалось, слишком болели коленки, у меня, знаешь, костлявые коленки, не приспособленные для паломничества, а с оптикой дело было совсем плохо: во-первых, передо мной маячила зеленая куртка; а во-вторых, коленки причиняли мне такую боль, что в глазах темнело! Вот тут-то мне и водрузили крест на спину. Кресты, видимо, подавали из окон, иначе я в толк не возьму, откуда они явились. Тому, в зеленой куртке, тоже крест достался, его крест то и дело стукался о мой, пока мы ползли вокруг той церкви в Альтёттинге, что в Верхней Баварии. Скажу тебе честно: религия не такое уж простое дело.

Рассказ Давида заметно обескуражил редактора Блека, и он спросил, но в тоне его уже не чувствовалось остроты, а скорее растерянность перед лицом «человека как некой данности» в образе Давида Грота:

— И все это вы обсудили?

— О да, еще бы!

— И эту фотографию на стене, ее вы тоже обсудили?

— Да, обсудили и присудили — на стенку.

— Что ж, ладно, что было, то было,— объявил новый редактор.— Надеюсь, вы сделали из обсуждения верные выводы, однако дознались ли вы, как вообще появился этот снимок? Он, видимо, сделан в непосредственной от тебя близости, и я спрашиваю: с какой целью, какая идея служила его предпосылкой? До этого вы дознались?

— Тут не о чем дознаваться. Фотография сделана коллегой Габельбахом. Выдающееся достижение, понимаешь ли; коллеге Габельбаху не пришлось, правда, тащить крест, но ползком щелкнуть такое фото — это же настоящий успех, считаю я.

— Теперь я начинаю понимать,— заявил Блек, и тон его приобрел остроту.— Вы тоже были там! Разрешите спросить, как вам удалось сделать такой снимок?

Наконец-то до слова дорвался Габельбах.

— Мне удалось сделать такой снимок, господин коллега, потому что я этому учился,— ядовито начал он.— Вы, быть может, еще не поняли, ибо в этой редакции все несколько запутано, но я фотограф, если вам понятно, что я имею в виду. Если же вы считаете, что не поняли этого, так, пожалуйста, задавайте вопросы. Таков наш обычай.

Блек едва ли не с радостью принял предложение.

— Раз уж вы заговорили об обычае: как коллекция, подобная этой, укладывается в рамки обычаев прогрессивного органа печати? Если по-латыни обычай назван тираном: usus est tyrannus, то, по-моему, для вас эту пословицу можно перевести иначе: дурной обычай, а в вашем случае обычай коллекционировать вредоносные фотографии ведет к пагубным последствиям, а в случае с вашей стеной — к пагубной концепции!

— Если вы говорите о концепции,— Габельбах тоже обрадовался,— стало быть, вам, вооружившись сим полезным понятием, удалось пробиться сквозь царящую у нас неразбериху, так не будете ли вы столь любезны и не изложите ли мне концепцию моей коллекции, мне было бы весьма любопытно получить разъяснение.

— И вы его получите,— загремел главный,— вы получите его со всей откровенностью: я считаю вашу коллекцию явлением, в основе которого лежит циничная идея. Если нормы поведения требуют относиться к совершенным в период становления ошибкам как неизбежным следствиям того факта, что работа, которую предстояло нам осилить, могла быть начата и проделана только человеком как некой данностью, находящимся на определенной стадии развития, а ошибки, стало быть, следует воспринимать как явления переходной стадии и квалифицировать их подобным образом, то не пытайтесь установить взаимосвязь между вышеупомянутыми ошибками и выставить эту связь на обозрение, чтобы тем самым навести на выводы, стоящие в неминуемом противоречии с основной линией нашего развития. Подобную концепцию я называю циничной, а лежащую в ее основе философию — собачьей философией, от греческого слова kynikos — собачий или от греческих слов kyno sura, то есть собачий хвост. На этой стене выставлены на обозрение, так сказать, собачьи хвосты развития нашего общества. Так где же тут, позвольте спросить, зарыта собака?

Давид понял, что Габельбах готов сделать ряд не слишком деликатных предположений касательно этой самой собаки, и, не без основания испугавшись, как бы это не кончилось катастрофой, поспешил вмешаться:

— Товарищ Блек, коллега Габельбах, разрешите? Мне кажется, что спор свернул на слишком специальную стезю. Собачий хвост по-гречески, нет, это выше моего разумения! Ваш спор, полагаю я, несколько заострился. Думается, в процессе обмена мнениями вы упустили из виду нашу общую цель. Что является нашей первоочередной задачей? Вашей, коллега Габельбах, твоей, товарищ Блек, и моей. Да, что же является нашей общей задачей? Коротко говоря: выпуск журнала НБР. А что явилось

предметом вашего спора? Некоторые издержки производства «Нойе берлинер рундшау», я бы даже сказал — отбросы, иной раз юмористического, а иной раз и не столь уж юмористического толка. Нам поручено руководство огромной токарной мастерской, а мы занялись опилками. Знаешь ли, товарищ Блек, мы здесь сейчас ухватили за шиворот мельчайшую долю какого-то побочного явления, но потеряли из виду идею в целом. Знаете ли, коллега Габельбах, мне известен кое-кто, кого вы своими советами не раз вызволяли из малых и великих трудностей, что пошло на пользу НБР. Не вижу причин отступать от этого принципа. Нашему журналу такое отступление, во всяком случае, на пользу не пойдет.

— Само собой разумеется, я готов вести наш спор на принципиальной основе,— согласился Герберт Блек,— это действительно необходимо, чтобы идея не выродилась в собачий хвост. А посему не будем задаваться вопросом, зачем фото этих пилигримов висит здесь на стене, поставим вопрос иначе: зачем вообще был сделан такой снимок? При подобной постановке вопроса можно получить принципиальное разъяснение, а оно кажется мне необходимым.

— Мне оно тоже кажется необходимым,— ответил Габельбах,— но возможно ли оно, не мне судить. Однако попытаюсь: сей молодой человек, референт на все случаи жизни, уже год-другой работает в журнале; и я уже год-другой работаю в этом журнале. Ученых мужей наша редакция не породила, но без мастеров своего дела в нашей профессии далеко не уедешь, а уж вникнуть в ту или иную ее особенность должен каждый, и как можно скорее. Чтобы не запутаться в непроглядных джунглях, остановимся на случае, повторное разъяснение которого представляется вам столь необходимым. При этом нам придется затронуть вопрос, для каждого журнала животрепещущий,— вопрос о репортаже. Репортаж, как вы, конечно, знаете, в чем я ни на минуту не сомневаюсь, репортаж в нашем деле понимается как сообщение, а происходит это слово от французского reporter, то есть: приносить что-то откуда-то. Репортер, прежде чем что-либо сообщить, должен кое-что принести: впечатления, опыт, взгляды, понятия, восприятия чувственного плана, определения идейного плана. Репортер прежде всего собирает материал, а потом уж приводит его в порядок.

Для начала этих элементарных сведений достаточно. Перейдем к конкретной ситуации: два сотрудника «Нойе берлинер рундшау» собираются в путь, в командировку,— вы понимаете, что сие означает,— получают необходимые документы, необходимые деньги и задание. Задание гласит: написать очерк о другом

немецком государстве, показать, что есть в тех краях иное, чем у нас, иное потому ли, что новоиспеченное, потому ли, что ветхозаветное; показать наши различия! Оба сотрудника приступают к работе — слова «работа» я хотел бы снабдить маркировочным буйком,— они начинают с севера, толкуют — я пытаюсь представить вам наглядно их работу — с крестьянами о ценах на торф и тем самым узнают кое-что о практике европейского товарно-денежного хозяйства; перед молодежной туристской базой, за дамбой у Северного моря, они натыкаются на колокол «Имперского земельного сословия», чудовищный инструмент с чудовищными свастиками и чудовищными изречениями, о чем они непременно упомянут в своем очерке, в результате чего упрямые крестьянские парни, читавшие в школе «Вервольф» Германа Лёнса, возьмут да и закопают этот колокол — до будущих дней национальной славы; далее оба сотрудника «Нойе берлинер рундшау» попадают в город Гамбург, присутствуют там на сборище «Германской имперской партии», где получают ответ на риторический вопрос: «Чего желает истинный германец?»; им удается осмотреть казарму летчиков в том же городе, благо их приняли за сподручных вермахта по части журналистики, что весьма способствует откровенности беседы и ознакомлению с такой проблемой, как психологическая подготовка солдат к встрече с врагом; они, эти репортеры, надеюсь, вам пока все ясно, с трудом раздобывают два сидячих места на евангелический «спектакль» Билли Грэхема, это уже в Руре, и оказываются свидетелями ошеломительного ораторского искусства и огорчительно-ошеломительной внушаемости людей, живущих не где-нибудь, а в центре самой современной индустрии; далее, оба сотрудника выслушивают в Кёльне, на Рейне, мнение приветливого библиотекаря заводов Форда, почему господин Форд так много денег отпускает на привлекательно-завлекательную литературу: она, так сказал библиотекарь, заставляет забывать о непривлекательной классовой борьбе; но вот оба сотрудника «Нойе берлинер рундшау» в Висбадене, где исхитрились — честность требует выразиться именно так — попасть на конгресс СДПГ по вопросам культуры, и во все уши слушают Карло Шмида, во Франкфурте они проникли на сборище ветеранов Африканского корпуса, а в Мюнхене — художников-неофутуристов; попав в Гармиш, они по канатной дороге съездили на Партнах, где один из них поддался оптическому обману, за что впоследствии и поплатился, а под конец путешествия оба репортера оказались в верхнебаварском городке Альтёттинг; здесь они отправились взглянуть на могилу Тилли, где один репортер прочел другому затейливую лекцию о битве при Брейтенфельде, в которой

старик Тилли пал жертвой новой военной тактики шведского короля Густава Адольфа, что второй репортер с тех пор раз и навсегда запомнил; тактика ли, стратегия ли, а оба репортера, о коих идет речь, вы, конечно, помните, о ком речь,— осторожности ради точное их звание следует еще раз ввести в рассказ,— оба сотрудника «Нойе берлинер рундшау» опомнились: они же здесь не ради военной истории, скорее уж ради современной, в нее-то им и следует внести свой вклад, они прибыли сюда, чтобы работать — я уже, кажется, снабдил это слово маркировочным буйком,— они должны отразить в своем очерке то иное, что увидят между реками Эйдер и Инн, должны сделать репортаж, иначе говоря, привезти из командировки материал о старом и новом в тех краях, а потому обязаны собирать материал даже в Альтёттинге. Альтёттинг наверняка может преподнести им что-нибудь поинтереснее, чем могила Тилли. В этот день под конец их долгого рабочего путешествия Альтёттинг преподнес им религиозную процессию, тут уж второй сотрудник взял реванш за лекцию о тактике шведского короля и проследил, со своей стороны,— ибо случайно знаком с традициями католической церкви, а сейчас в виде исключения ему даже следовало обнаружить эти знания для пользы дела,— так вот он, со своей стороны, проследил историю религиозных процессий и разъяснил первому репортеру: оба они, сотрудники «Нойе берлинер рундшау», поступят в духе своего задания, если самым внимательным образом станут приглядываться и прислушиваться к благочестивому шествию. Конец истории, смею надеяться, вы еще не забыли, добавлю лишь одно: нам ничего не оставалось бы, как взять в руки посохи, не выполни мы в этом случае свой долг.

Остается сказать последнее: репортер и агитатор кое в чем отличаются друг от друга. Если позволите, я намечу их примерные различия: агитатор — я говорю сейчас только об агитаторе, представление о его антиподе вы, тешу себя надеждой, составите себе сами — не вправе был бы молча выслушивать ни высказывания торфозаготовителей, ни речей фордовского библиотекаря; его работа — разъяснить им характер европейского товарно-денежного хозяйства и нравственную задачу литературы; ему надо бы кричать «караул!» при одном виде испещренного свастиками колокола и живучих остатков Африканского корпуса; он обязан был бы истошными криками вывести из транса тех несчастных, что стали жертвами Билли Грехэма, и пробудить ото сна всю братию Карло Шмида; в казарме летчиков он должен был провозгласить лозунг: «Долой атомную смерть!», а старых германцев ему следовало с пристрастием допросить, что они творили не столь давно с молодыми семитами. Не поступи он так

или подобным образом, ему ничего не осталось бы, как взять в руки посох.

Репортер же — вы разрешите чуть посодействовать вам небольшой маркировочной репликой, — репортер, которому пришла бы идея так поступить, загубил бы свою работу. Вообще-то говоря, он загубил бы ее и в том случае, если бы постоянно не стремился выйти из своей роли и бороться с недомыслием, путаницей в мыслях и злодеяниями; если бы в этом случае он не пытался высказаться с партийной точки зрения, он проявил бы низкую степень сознательности, и тут уж для него надо было бы приготовить посох, ибо наша профессия требует высокой степени сознательности.

Это была всего лишь маркировочная реплика. Я, если разрешите пролить каплю света на проблему, возвращаюсь к обязанностям и образу действия репортера, которые можно выразить на удивление простой формулой: действуй так, чтобы выполнять свою работу осмотрительно, настойчиво, не давая сбить себя с пути истинного. А это значит — надеюсь, вы разрешите мне подробное разъяснение, — это значит: если репортер попал в толпу роммелевских «лис пустыни» или благочестивых паломников, слушай во все уши, гляди во все глаза, а рот раскрывай лишь для хитроумных вопросов, это значит далее, собирай, набирай, копи, постигай, сохраняй и накапливай — слова, интонации, звуки, ужимки, жесты, манеру держаться, выражение лиц и глаз, движение губ, походку, узоры галстуков, марки автомашин, перстни с печатками, синтаксис, словарный запас, излюбленные сорта сигарет, рукопожатия, прически, модели шляп, это значит — ищи ответы на вопросы: кто, куда, где, как, и если удастся, почему?

Журналисту, который это забудет, заранее готовьте посох!

Если же он этого не забудет, милостивый государь, значит, выполнит то, что составляет суть его работы, и, выполнив эту часть своей работы, займется следующей частью, то есть отбором материала, с которым вернулся, — вы, возможно, уже уловили, reporter значит приносить что-то откуда-то, — и тут обнаружится, что у него собран материал годный и никуда не годный, все зависит от тех или иных причин, оставим их в стороне, иначе река нашего повествования растечется по необозримой дельте, и боюсь, что вы, невзирая на маркировочные буйки, которые я время от времени расставлял, в ней затеряетесь, — тут репортер не раз окажется перед трудным выбором и может даже дойти до белого каления, когда станет ясно: то, что он принимал за сокровища, другие считают мурой; где он видит драгоценные камни, все остальные видят дешевую подделку; и вот тогда

нужно, собравшись с духом, отказаться от этого материала.

Рассмотрим следующий случай: один сотрудник «Нойе берлинер рундшау» сфотографировал другого сотрудника «Нойе берлинер рундшау» в ситуации, которая — это легко предусмотреть — пожалуй, во веки веков не повторится: сотрудник, человек молодой, при случае даже воинствующий атеист, член партии и свободомыслящий человек, стоя на коленях, ползет, как доказывает нам фотография, нагруженный ребристым символом христианской веры, вокруг церкви в Альтёттинге, и он — о чем также свидетельствует эта фотография — чувствует себя явно не в своей тарелке.

Фотография не опубликована — не стану сбивать вас с толку перечислением причин, — фотография не опубликована.

Что же, считать, что она обратилась в ничто, в монстра, которого следует уничтожить?

Нет, я этого не считаю, сударь! Для меня она осталась частицей моей работы, комической частицей моей жизни, свидетельством моей уверенности, что нет ничего невозможного, это часть меня самого и часть моего собрата по труду, вот этого самого молодого человека, работать с которым я имею удовольствие не один год. Мы же с вами, вы, сударь мой, и я, мы с вами ни малейшего удовольствия, полагаю я, иметь от совместной работы не будем, если, конечно, вы не выберете единственно верный путь и не сделаете то, чем по-настоящему внушите мне уважение: сядете и поучитесь, дабы знать что-нибудь путное, помимо греческих собачьих хвостов, и в конце концов станете толково выполнять свою работу. Это пойдет на пользу вам, это пойдет на пользу НБР, на пользу всем нам, к тому же вам не вредно поиметь в виду: вы стартовали у нас, сударь, поистине хуже самого захудалого собачьего хвоста.

В стенах НБР это была самая продолжительная речь Федора Габельбаха, самый продолжительный визит Герберта Блека в фотолабораторию, а у Давида на самое продолжительное время язык прилип к гортани.

Но с каким успехом Герберт Блек стартовал, с таким успехом прошел он за год и всю дистанцию.

Он снова и снова запутывался в путанице сомнительных идей и подозрительных явлений; он не мог поладить в редакции ни с одним «человеком как некой данностью», и сама Иоганна, хоть неистово, но терпеливо формирующая нового человека, не в состоянии была переформировать этого Блека; у него начисто отсутствовали щупы будущего, а в мозгу не сыскалось самого крошечного уголка спецназначения, где прижилось бы чувство юмора; он так долго долбил о прогрессе, что слушатели увядали

от скуки, и не оставил по себе, когда наконец покинул редакцию, ничего, кроме обычая, смущающего каждого непосвященного, обычая, по-латыни называемого usus, согласно которому на собраниях и планерках в самую наинеподходящую минуту должен был раздаться возглас: «Превращение человека в насекомое — выход для нас неприемлемый!»

Вот и все, не так уж это много для главного редактора. Ибо главный редактор Герберт Блек не обладал одной весьма важной добродетелью, наиболее почитаемой в стране, точным слепком с которой был журнал «Нойе берлинер рундшау»: при всей своей учености он не понимал, что ученью нет и не бывает конца.

Вскоре он исчез из памяти сотрудников НБР, а редакция продолжала работать, и теперь, без него, лучше прежнего.

Но пришел новый главный; он назначил Возницу Майера диспетчером и нисколько не боялся Габельбаха; он прямо спросил у Давида, кто такой этот треклятый Архипенко; он, прежде чем прийти в редакцию, просмотрел годовые подшивки «Нойе берлинер рундшау» и, говоря о совершенствовании, рекомендовал сотрудникам изучать один давний рождественский номер и те пожелания, что высказали в давнем сорок пятом году кондукторша трамвая и полицейский; он очень скоро распознал всю опасность возгласа: «Нам чего-то не хватает!», он тоже был человек ученый и наверняка опытный в обращении с идеями и явлениями, но поначалу сидел тихонько и работал до тех пор, пока не понял: такая редакция — производство совсем особого рода.

Однако этот главный не удержался, с ним случилось следующее: сознавая, что он новичок, он ходил по редакции с оглядкой, подмечал ее особенности, он дознался, почему Иоганна Мюнцер звалась в редакции Пентесилеей, а в ротационном цеху Петрушенцией, уяснил себе принцип, которым руководствовался Габельбах, собирая свои фото, а также его пунктик говорить о сумбуре и хаосе, когда речь заходила об организационных принципах НБР, докопался до истории брака завкадрами Каролы Крель, постиг словоохотливость господина Ратта касательно гомеровских времен, благодаря фрейлейн Лило был в курсе читательских писем и знал о своеобразном обаянии знатоков во всевозможных областях, а благодаря Вознице Майеру был в курсе различий между интеллектуалами и прогрессивной интеллигенцией.

Вместе с деталями он постиг и общие редакционные дела: складчину на подарки, штурмовщину, мелкие стычки бригад, великие битвы за лишнюю уборщицу, неравномерный ритм между одним плановым заданием и другим плановым заданием,

специфику взлетов и падений производительности труда, ритуал распределения премий, мелодичность интонаций в Международный женский день, силу главного бухгалтера и всесилие Объединения народных предприятий, называемого кратко и безобидно ОНП.

Именно его всесилие и неисповедимость его решений этот главный почувствовал на собственной шкуре, ибо, как раз когда он счел, что разбирается в сути новой работы, именно в эту минуту, через год, его отозвали с поста главного редактора НБР, другой, более высокий пост уже поджидал его.

Такая редакция — это всего-навсего обычное производство.

8

Во времена, когда правил преемник преемника первого преемника Возницы Майера, во времена, стало быть, третьего действительного и наделенного исполнительной властью главного редактора «Нойе берлинер рундшау», Давид наткнулся в экономическом отделе АДН на сообщение, весьма его заинтересовавшее.

По существующим правилам Давиду следовало переправить это сообщение Йохену Гюльденстерну, ибо экономика подлежала его компетенции, а со времени прихода к власти третьего преемника в редакции строго придерживались компетенции. Но Давид, взяв ленту с этим сообщением, отправился к Иоганне Мюнцер. Что тоже противоречило заведенному порядку. По заведенному порядку тот, у кого возникала идея, обязан был изложить ее на планерке или же, в случаях безотлагательных, тотчас и в первую голову — главному редактору. В этом была своя логика; такой порядок укреплял организационный принцип, повышал оперативность, упрочивал положение главного и умерял авторитет Пентесилеи.

Давид не без основания полагал, что данный пункт играл в приказах третьего преемника, скажем прямо, не последнюю роль. Давид понимал его и скрепя сердце даже соглашался с ним. Ведь, когда Иоганна произносила «здесь сейчас», а она все еще охотно повторяла свое любимое речение, оно все еще напоминало о царящем кругом опустошении или хотя бы о минных полях, а скептическое отношение к своим согражданам все еще уравновешивалось у нее тайным умыслом сформировать нового человека. АИЦ так и осталась ее кумиром, а склонность к Архипенко — величайшим пугалом, и она пыталась по-прежнему ориентироваться сама и ориентировать других на пример «великих лет»,

даже в тех случаях, когда эти «великие годы» уже по историческим причинам не могли служить примером.

Однако сама она, несмотря ни на что, оставалась для Давида примером, на который он постоянно равнялся. И пусть она порой своей подозрительностью против всего, что не предусмотрено было в «великих книгах», повергала его в отчаяние, зато вынуждала доказывать ей то или иное положение, вынуждала его думать, раздумывать и даже задумываться над будущим.

И пусть она частенько нападала на него как истая Пентесилея, зато ограждала его от всяких и разных опасностей: от заносчивости, которая, казалось, шла рука об руку со сноровкой, какую обрел Давид в обращении со словами; от уныния, которое порой одолевало его, если у него на глазах бесследно рассеивалась взлелеянная им мечта или, что того хуже, скрывалась из глаз уже проделанная работа; она пыталась остеречь его, не всегда успешно, но так, что его не оставляли сомнения в собственной правоте; да, она пыталась остеречь его от тщеславия, опьянения успехом, жалостливости к собственной особе, переоценки собственных сил, недооценки собственных сил, от безудержной увлеченности и от вспышек командирского рвения.

Она хитростью ограждала его от упоения как поднебесными высями, так и морскими глубинами, удерживая много лет на золотой середине, и не отпускала с чрезвычайно расплывчато очерченной должности референта, на которой он порой, правда, оказывался мощной дланью редактрисы, но всегда оставался только дланью Иоганны Мюнцер.

Третий действительный и исполняющий должность обладатель первого места в выходных данных и в этом деле кое-что переиначил; кое-что, правда, но так, что в редакции стало чуть больше порядка и чуть меньше стало чувствоваться влияние редактрисы на текущие дела. В штатном расписании Давид назывался отныне не референтом редактрисы, а референтом редакции, и правомочием распоряжаться его особой владел самолично третий преемник.

Давид очень скоро ощутил, во что такое преобразование вылилось: если прежде он был своего рода редактором для особых поручений, преимущественно для поручений Пентесилеи, и сколько душе угодно повсюду разъезжал и обо всем писал, то ныне его все больше и больше загружали организационными заданиями.

В этом тоже была своя логика, ибо среди старожилов НБР он был самым испытанным, превосходно разбирался в сложной системе редакционной жизни, в механизме журнального дела и был весьма и весьма полезен третьему преемнику, пришедшему

к ним из ежедневной газеты. Однако Давид, хоть скрепя сердце и принимал общие нововведения, от всего сердца противился перемене, коснувшейся его лично. Он понимал: да, аппарат редакции требует опытного руководства — штат сотрудников увеличивался, структура его усложнялась с каждым годом, и прежними незатейливыми приемами с ним уже не совладать, но ведь он, Давид,— журналист, а не управленческий работник; он хотел видеть и слышать и писать, а не просматривать бумаги, выслушивать жалобы бухгалтера и составлять запросы на фондовые материалы.

Вот отчего ему так по душе пришлось сообщение отдела экономики АДН, вот отчего он не передал его Йохену Гюльденстерну, вот отчего он не отправился с идеей, возникшей у него благодаря этому сообщению, к Преемнику III и не ждал еженедельной планерки, а, взяв телетайпную ленту, пошел к Иоганне Мюнцер.

— У меня кое-что есть,— объявил он,— разрешите прочитать?

— Э, дельце, видимо, щекотливое,— ответила она,— раз ты пришел ко мне, значит, мы затеваем интригу, понятно, интригу положительную, как ты это называешь, но, гляди, именно положительную, иначе, надеюсь, ты не осмелился бы прийти ко мне; ну, значит, читай, дружок.

И Давид прочел:

— «По приглашению «British Gunsmith Association»* народные предприятия по производству охотничьих ружей ГДР примут участие в выставке охотничьего и спортивного оружия в Лондоне».

Иоганна, поразмыслив, кивнула и сказала:

— Иной раз согрешишь невольно и воскликнешь мысленно: проклятая классовая борьба! Вот нам волей-неволей приходится хвастать смертоносным оружием, нам здесь сейчас, чтобы заграница обратила внимание на нашу республику; как тут не согрешить!

— Охотничьим и спортивным оружием,— мягко напомнил Давид.

— Да как у тебя язык не отсох от такого сочетания: спортивное оружие! Я за спорт; я присутствовала на многих всесоюзных спартакиадах... э, да что там, а ты, значит, хочешь отправиться в Британию, к пушечным королям?

— «Gunsmith Association» никакого касательства к пушкам не имеет; они оружейники, они изготовляют...

— Знаю, знаю, спортивное оружие, но это же словесный

---

* Британская ассоциация оружейных мастеров *(англ.)*.

цинизм, надеюсь, ты помнишь, что такое цинизм!

— Угу,— подтвердил Давид,— собачья философия.

Оба рассмеялись, и тут Иоганна поинтересовалась:

— А он еще ничего не знает?

— Нет.

— А наш «эконом» тоже не знает?

— Йохен Гюльденстерн? Нет, тот тоже не знает.

— А репортерская группа?

— И они не знают. Сообщение только что получено с телетайпа.

— Ну что ж, предложи завтра на планерке, но не слишком нажимай, слышишь, подай в «разном», будь готов ко всему, на это требуется валюта, и вообще данный случай вправе обсуждать все: бухгалтер, репортеры, «эконом» Розенкранц, то бишь Гюльденстерн, кадровичка, Габельбах по поводу фото из Альбиона, наши международники и, разумеется, сам товарищ главный редактор; будь готов ко всему!

Она оказалась права: все, когда речь зашла о «Gunsmith Association», пожелали высказаться, хотя до того, при обсуждении недельного плана, высказывались далеко не все.

Преемник III стоял за разделение ведомственных интересов; эффективность-де возрастает, если по обсуждаемому вопросу выступают только люди компетентные, а таковых в редакции ныне развелось великое множество. И на этом совещании все мирно и тихо выступали по очереди, пока Давид не зачитал свое «разное», а Иоганна Мюнцер не выудила из этого «разного» пункт, который ее, видимо, заинтересовал:

— Не так быстро, Давид, за тобой не поспеешь. Может, другие и поспевают, но я уже стара. Ты, кажется, прочел там что-то о промышленной выставке?

— О промышленной выставке? Нет, об этом ни слова не было сказано. Да она бы и не попала в «разное», такой материал я передал бы Йохену Гюльденстерну.

— Но ты же сказал что-то о выставке?

— Выставка? Что-то не помню, ах да, извини, да, ты права, товарищ Мюнцер, предполагается выставка охотничьего оружия, вот что; извини, пожалуйста, ты права.

— Передай-ка сюда,— потребовал Йохен Гюльденстерн,— это по части легкой промышленности, мы, пожалуй, используем этот материал.

Однако взял слово Герд Корн из внешнеполитического отдела:

— Я тоже не прочь глянуть на сообщение, разве выставка будет не в Лондоне?

— Сейчас дам тебе,— поспешил ответить Давид.— Сейчас найду, только это как будто охотничье оружие. Или оно — внешняя политика? Оружие — пожалуй, но охотничье — тоже?

— Однозначно — легкая промышленность,— воскликнул Йохен Гюльденстерн,— перебрось-ка сюда, экономистам нужно в первую очередь глянуть.

— Глянуть — это уж скорее моя забота,— вставил Габельбах,— пусть пока и не совсем понятно, идет ли речь о внешней политике или экономике, их проблемы так или иначе переплетаются, а поглядеть на такую выставку — дело подходящее, и Лондон для этого место вполне подходящее, но поглядеть можно только на объект, который сфотографирован. Моя мысль выражена ясно?

Хельга Генк из репортерской группы кивнула.

— Очень ясно, коллега Габельбах, я поддерживаю ваше мнение: Лондон превосходный объект для фоторепортажа — очерк и иллюстрации; тут и название напрашивается: «Зуль в Сохо!»

— Не знаю,— взял слово третий Главный,— на мой взгляд, несколько рискованная ассоциативная связь: город Зуль, Тюрингия, зеленое сердце Германии, и подозрительный район лондонских кабачков. Ведь Сохо — гнездо преступного мира, хороша же ассоциативная связь: оружие ГДР в оплоте британского гангстеризма. Над этим вопросом еще надо серьезно поработать.

— Вы, стало быть, уже работаете? — спросил главный бухгалтер.— Тогда позвольте и мне принять участие в этой работе. У меня создалось поначалу впечатление, что вы обсуждаете «разное», теперь я вдруг слышу, что пункт этот, кажется, собираются включить в план. А это уж вопрос валюты, и тут для моего министерства требуются весьма веские доводы.

— Развитие экономики ГДР,— воскликнул Гюльденстерн,— подъем экономики, престиж, гордость по поводу экономических успехов, стимул к дальнейшим успехам!

Герд Корн поддержал коллегу, добавив и другие доводы, которые, правда, подчеркивали, что вопрос входит скорее в компетенцию его отдела:

— Повышение престижа ГДР во всем мире, в том числе и в капиталистической его части, внешнеэкономические связи, внешняя торговля, внешняя политика, признание; хватит как будто для министра финансов.

— Министру финансов надо положить на стол что-то конкретное,— опять взял слово Габельбах,— наглядный материал, наглядно подтверждающий, на что ушли деньги; недурно было бы приложить к заявке несколько фото с промышленных выставок в

Бангкоке и Вене; министру легче будет разобраться в этом вопросе.

Хельга Генк вновь утвердительно кивнула и напомнила о заслугах репортерской группы в тех или иных случаях, пожалев лишь, что ей не удалось отстоять великолепный заголовок «Панков в Бангкоке» — третьему преемнику подобная ассоциативная связь показалась чересчур рискованной.

Главный бухгалтер так внимательно всех выслушал, точно ему впервой было слушать подобные доводы, и наконец сказал:

— Меня вы всегда убеждаете, только деньги-то ведь не мои. Да их и нет вовсе! Фунты стерлингов! Они же нынче что молоко в грозу. Подумать только: на Английский банк всегда можно было положиться, как на обсерваторию в Гринвиче. Но если они у себя и дальше так поведут дела, пускай уж и нулевой меридиан переносят... Фунтов у нас нет! Во всяком случае, для двоих. На одного я еще могу сделать заявку.

Прежде чем взял слово следующий компетентный оратор, выступила Иоганна Мюнцер:

— Тогда и смысла нет затевать дело, тогда, Давид, отложи свое сообщение опять в «разное». Вопросы финансов выше нашего разумения. Жаль, конечно, но отказ от этого дела освобождает нас и от споров. Хорошо еще, что нет нашего «спортсмена»; он тоже мог бы сказать свое слово, если это выставка спортивного оружия. Разве это не выставка также и спортивного оружия, Давид?

— Да, охотничьего и спортивного.

— Ну так хорошо, что его нет; спорт — довод веский для министра финансов. Нет, Давид, отложи все в «разное», из этого дела ничего не вытанцуется.

— Минуточку, — прервал ее Главный III, — вопрос тем не менее вырастает в моих глазах в весьма существенный комплекс вопросов, и получается весьма мудреная ассоциативная связь: спорт, легкая индустрия, внешняя торговля, внешняя политика, образцовая работа зульских мастеров, наглядная демонстрация нашей роли, признание, представительство ГДР на международной выставке промышленных достижений. Ничего не скажешь, наш журнал мог бы содействовать укреплению авторитета ГДР. Именно такие вопросы стояли в центре внимания на последнем совещании, товарищ Мюнцер.

— Меня там не было, — отрезала Иоганна, — но так оно и быть должно. Впрочем, если на двоих фунтов нет, а есть на одного — это все равно что на ветер их выкинуть. К тому же вот что мне сию минуту пришло в голову — ведь мы имеем дело со специализированной выставкой; как именуются устроители, Давид?

— Они именуются «British Gunsmith Association».

— Да, звучит очень и очень профессионально. С ними, видимо, следует разговаривать профессиональным языком, в противном случае наш престиж потерпит урон; знатоки обычно люди весьма педантичные, верно, Лило, как ты считаешь?

— О да! — воскликнула фрейлейн Лило.— Впечатление производят сильнейшее и очень, очень педантичные!

— Видите! — продолжала Иоганна.— Значит, нечего и обсуждать, а может, ты что-нибудь смыслишь в оружии, Хельга? И наш уважаемый «эконом» тоже, нет или да? А внешнеполитический отдел? Может, коллега Габельбах? Нет, нет, и нечего смущаться, я тоже ни черта не смыслю в этом. Знаете ли, так уж повелось в мое время — мы еще с Бертой Зуттнер провозглашали: «Долой оружие!», до сих пор помню, как трудно пришлось моему милому Бертраму: не успел он высвободиться из пут Архипенко, как был брошен лозунг: «Искусство — это оружие!» Нелегко ему было справиться, но в ином понимании мы с оружием никаких дел не имели...

— Да, да, очень, очень интересно,— прервал ее третий Главный,— хоть слишком все это мудреные речи. Одно мне ясно: чтобы справиться с подобной задачей, нам нужен специалист, а такого мы не имеем, следовательно, смысла нет и заваривать кашу, полагаю, можно продолжать планерку.

— Конечно,— согласилась Иоганна, и по решительности, с какой она, сняв свою сумку со стола, крепко ее сжала, Давид понял: она изготовилась для решающего удара.— Нам ничего не остается, ибо у нас нет знатока... А ты как считаешь, Карола, тебе же хорошо известны все анкеты, теперь, пожалуй, ты одна в них еще ориентируешься; нет ли в твоих папках этакого сокровища?

Карола Крель подняла взгляд от своих бумажных голубей, оглядела всех невинными глазами и полуготовым голубком указала на Давида.

— А ты разве что-то в таком роде не изучал? Да, положение дел таково: в твоей анкете это записано.

Можешь говорить, подумал Давид, положение дел таково... Я же напомню тебе, что узнала ты это не столько из положения дел, сколько из положения, какое занимают он и она в постели, и хоть он на седьмом небе, а все-таки ему не очень-то по себе, для нее такое положение будто бы само собой разумеется, но ему не столь часто случалось бывать в подобном положении, к тому же он много моложе ее, той, что с широкими бедрами, и он пытается спасти свое положение болтовней, конечно же, как все мужчины, о вещах, в которых знает толк: о питейных обычаях некоего авиационного генерала, об учителе по фамилии Кастен, о мастере

Гредере, который звал его Даффи, о городе Ратцебурге и об озере Кюхензее, о Вильгельме Гроте и голубе с Золотым значком за ранение, о стихах, в которых встречается словечко «персты», о карманных часах «Международной часовой компании», о тактике Густава Адольфа и, конечно же, о мушкете Густава Адольфа, о винтовке «манлихер» и карабине «каркано», о барашковом прицеле, и ударном замке, и цилиндро-оживальной части снаряда: «Знаешь ли, я ведь, собственно говоря, оружейник...»

Можешь говорить, что хочешь, думал Давид, а сам задавался в который раз вопросом, кому из сидящих здесь, кроме него и Каролы, об этом известно; твердо он был уверен в одном — от внимания Пентесилеи обстоятельство это в свое время в виде исключения ускользнуло. Вслух он сказал:

— Все верно, так записано в моей анкете: я учился на оружейника.

— Верно,— воскликнула Иоганна Мюнцер,— где была моя голова! Товарищи, удивительная история: то, что было давным-давно, мне памятно до мельчайших подробностей. Ах, подумать только, споры об искусстве в АИЦ, да я там каждое имя помню: Кольбе, Альбикер, Барлах, Маноло, Архи...

— Ну опять ваши мудреные речи,— прервал ее Преемник III,— вернемся-ка к английской выставке, у нас появилась новая точка зрения. Нам нужен специалист, и, как выяснилось, товарищ Грот именно такой специалист. Вырисовывается совершенно новая ассоциативная связь. Мне только неясно, товарищ Грот, почему ты сам не указал на это?

— Видишь ли, я полагал, что нужен человек, который поедет туда, а я всего-навсего референт редакции, я отвечаю за организацию, за оперативность...

— Именно за оперативность,— подтвердил Главный III,— а именно она и требует, чтобы кадры использовались целесообразно; прежде чем ты выродишься в бюрократа, товарищ Грот, дадим-ка тебе хлебнуть журналистской практики. Случай очень удобный, и речи быть не может, чтобы мы упустили такую возможность, как британская выставка. Я предлагаю пункт о выставке оружия тотчас вставить в рабочий план, сразу же выделив его. Благодарю вас и прошу одновременно приступить к тщательной подготовке, дело обещает быть достаточно сложным и мудреным.

И оно действительно стало сложным и мудреным. Давид не в силах был отделаться от ощущения, что половина государственного аппарата страны отныне занята его особой и его поездкой; ежедневно на орбиту их руководства запускали новые предложе-

ния, докладные записки и письма, они облетали проект лондонской поездки по траекториям, законы которых, как казалось Давиду, скорее раскрылись бы астрологу, чем астроному.

К тому же компетентные лица в редакции ни на минуту не забывали о предстоящем событии: пусть они не едут, но Давид обязан блюсти их интересы; ему втолковывали внешнеполитические, внешнеторговые, политико-экономические точки зрения; Ганс Баммлер из спортивного отдела снабдил его таблицей результатов международных стрелковых соревнований; редактор Клоц — литературой он, правда, давно уже не занимался, но по-прежнему занимался «советами хозяйкам» — просил Давида проникнуть в тайны английской кухни; Лило обязала его осмотреть Тауэр, среди ее корреспондентов нашелся особенно упрямый специалист по Англии; Хельга Генк из репортерской группы тоже надеялась на сувенирчик, по крайней мере на очерк, и уже заготовила название: «Ода миру на британской лире», а Габельбах желал получить что-то около тысячи фото.

Давид освежил свои фотонавыки, собрал в памяти все крохи английского, попросил главного бухгалтера разъяснить ему коварство британской валюты и системы мер, пополнил запас необходимых сведений о стране и ее людях, его снабдили бумагами и в избытке бумагой, и наконец он распрощался с семьей, с друзьями и с «Нойе берлинер рундшау».

В семье прощание прошло кратко и по-деловому, семье эта процедура была не внове, но друзья обернулись знатоками шотландских острот и Шекспира, тут уж лучше было не задерживаться. Габельбах довольно язвительно назвал Давида «господином коллегой» и объявил, что Англия его не слишком интересует, вот в Америку — это да, туда он бы охотно съездил, и если вопрос встанет о поездке в США, тут у него куда больше шансов, чем у Давида или еще у кого бы то ни было в редакции, ибо он беспартийный, а поскольку в американских сводах законов записано, что человек со взглядами и интересами Давида не смеет и ногой ступить на землю Соединенных Штатов, то пусть радуется, что его хоть на Британские острова пускают. После чего не преминул предостеречь Давида, напомнив об опаснейшей сумятице, обычно царящей на выставках, процитировал корреспондента Франца Германа Ортгиза, сообщившего о случае, когда два потсдамских лейтенанта выказали небрежность в обращении с огнестрельным оружием, в результате чего «один, сместив по неосмотрительности направление ружейного дула, прострелил другому голову», и заклинал Давида, случись что-либо подобное в Лондоне, быть своевременно с аппаратом на месте происшествия. Иоганна Мюнцер с пристрастием проверила, знает ли

Давид «Положение рабочего класса в Англии», воздержалась от попытки живописать ему тип британца, как тип человека, зато не удержалась, чтобы не напомнить о памятнике Марксу, на который, конечно же, Давид съездит поглядеть, хотя как скульптура он не очень-то интересен — ведь тогда все зависело от цены. По этому случаю Давид узнал также, какого мнения был Бертрам Мюнцер о Генри Муре.

Вот наконец и аэропорт Шёнефельд. Представителя зульского народного предприятия «Высокая цель», изготавливающего охотничье оружие, не составило труда отыскать. С огромным чемоданищем он стоял у билетного окошечка на Прагу, за плечом у него висело ружье в жестком футляре.

— Грот,— представился Давид,— здравствуйте, кажется, мы договорились здесь встретиться.

— А я Бёве, Карл,— объявил маленький человечек,— давайте знакомиться.

Бёве Карл не разводил церемоний; пока они летели до Праги, он рассказал Давиду почти всю историю своей жизни. Как заводской эксперт, он уже кое-где побывал, правда, Лондон и ему был внове.

— Что значит «великая»,— рассуждал он,— любая страна чаще всего такая, какой ее себе представляешь, но, понятное дело, надобно ее правильно себе представлять. Жена всякий раз злится, когда на вопрос: «Ну как там?» — я отвечаю: «Ну точно как я себе представлял». А уж шуму-то, шуму перед каждой поездкой! Точно я в Америку отправляюсь! Вот я всякий раз и твержу: «В Америку, Герда? Дудки!» Хотите — верьте, хотите — нет: она как услышит, так успокаивается.

Ружье он вез с собой, ручным багажом. Это была трехстволка, выполненная по специальному заказу для пэра-левши; прежде чем вручить ружье заказчику, его продемонстрируют на выставке.

— Остальные поделки мы уже отослали, но этакую редкость я из рук не выпущу, сказал я, лучше уж вовсе не поеду. Ну и писанину развели, а все из-за условий доставки. Я получил сертификат, но в нем только всего и записано, что ружье, в том виде, в каком я везу его, не стреляет, записано это на шести языках, даже на португальском. Я им говорю: вы что, думаете, в Англии португальские таможенники? Ну, говорю я, тогда припишите заодно и по-индейски, на случай, ежели мы по пути в Америку залетим! Вот смеху было!

Из Праги чешским самолетом они вылетели в Цюрих.

Теперь настала очередь Давида рассказывать о себе, и, когда выяснилось, что он учился у Тредера в Берлине, Карл Бёве

протянул ему руку.

— Тогда переходим на «ты»! Значит, ты учился у старого мошенника? Ох и смеху же было однажды! В конце войны — мы давно выпускали уже только карабины образца девяносто восьмого года — он продал нашему коммерческому директору ударное ружье, двустволку, подлинник якобы из частной коллекции короля Вюртембергского, генерал, что ли, такой, не знаю точно, был у Наполеона...

— Против Наполеона,— поправил Давид,— после восемьсот тринадцатого года командовал седьмым армейским корпусом, невеликий был искусник в военном деле.

— Чего не знаю, того не знаю,— продолжал Бёве Карл,— но Тредер, твой учитель, вот уж скажу тебе, был бо-ольшой искусник! Смех, да и только: подлинник! Почти все подлинные детали оказались подлинно тредеровского изготовления. Кто знает, может, это ты над ними трудился.

— Кто знает,— подтвердил Давид, но, прежде чем он успел докопаться в своих воспоминаниях до факта продажи подлинной ударной двустволки из частной коллекции Вильгельма Первого Вюртембергского, они уже прибыли в Цюрих, где им пришлось пройти в кассовый зал: дома что-то напутали с билетами.

Да, вот это аэропорт, сразу понимаешь, как велик мир: одни вылетают в Сингапур, другие прилетают из Монровии, точно по расписанию приземляются машины из Рейкьявика, пассажиры в Каракас, пассажиры из Аддис-Абебы, чартер в Стамбул, карго из Гонконга, fly air India, fly BOAC, see the world with BEA, up and up and away with TWA*. Монреаль и Огненная Земля, все очень хорошо, но Лондон тоже не глухомань, так где же окошечко на Лондон?

Народу в аэропорту полно, Давид заметил:

— Стоит им ошибиться, и ты приземлишься на Фудзияме, а хотел в Бремен.

— Вот бы смеху было,— развеселился Бёве Карл,— в Бремене я бывал. Не бойся, здесь работают как часы, да еще швейцарские. Жена, та вечно что-нибудь выдумает, а я говорю, не переживай, мать, если меня и завезут куда, так обязаны поить-кормить, а это денежек стоит, потому они глядят в оба.

Они получили билеты и отправились к таможне. На чемодан и сумку Давида никто внимания не обратил, на чемодан Бёве тоже, но заплечный футляр ему пришлось открыть.

---

*Летайте самолетами эйр Индия, летайте самолетами Британской заморской авиатранспортной компании, посмотрите мир на самолетах Британской европейской авиатранспортной компании, летайте все выше и дальше на самолетах американской авиатранспортной компании «Трансуорлд эйр лайнс» (*англ.*).

— Ружье! — воскликнул таможенник.

Бёве кивнул.

— Охотничье, два ствола для дроби, один для пуль, индивидуальное изготовление, по спецзаказу.

— Да, штучка что надо,— согласился таможенник.

Бёве кивнул:

— И стреляет что надо, ценнейший экземпляр, изготовленный в ГДР.

— В... как, простите?

— Знаю, вы нейтральные, вам ничего не известно. ГДР, есть такая страна, лежит вокруг Берлина.

— Но ружье,— продолжал таможенник,— на этот счет имеются правила.

Бёве опять кивнул и помахал сертификатом:

— Мы их соблюдаем, пунктуальная страна наша ГДР и очень, очень способная к языкам. Здесь на шести языках указано: жизненно важная деталь, обращающая сей образец в настоящее ружье, удалена и отправлена к месту назначения совсем иным транспортом. Выбирайте любой язык, там даже по-португальски есть.

— Я знаю португальский,— ответил таможенник,— и без того все в полном порядке.

Они получили штампы и, как водится, поспешая рысцой за важно шествующей девицей, вовремя сели в машину на Лондон.

Приземлились они в Лиссабоне.

— Ну и смех,— пробормотал Бёве Карл,— вот мы и в Португалии.

— Угу,— подтвердил Давид,— с точностью швейцарских часов.

Они не могли понять, когда и где была допущена ошибка, но обходились с ними так, словно это они ее совершили, а вооружение Бёве ни в коей мере не смягчало ситуации.

Поначалу чиновники лишь с любопытством взирали на футляр, но, заглянув в паспорта, забили тревогу.

— Что вам у нас нужно?— вопросил старший, на воротнике которого поблескивало больше золота.

— Нам у вас ничего не нужно,— ответил Давид,— нам вообще сюда не нужно.

— Вы имеете что-нибудь против Португалии?— продолжал вопрошать чиновник.

Тон его не пришелся по душе Давиду, и потому он сказал:

— Об этом можно потолковать, но в данную минуту я предпочитаю знать: где здесь дорога на Лондон?

Последовали длительные прения по-португальски между дву-

мя чиновниками, последовало исчезновение более молодого, последовало его возвращение вместе с господином в светлом костюме. Доклад по-португальски старшего чиновника этому господину, вопрос по-португальски этого господина старшему чиновнику. Старший сунул под нос господину в светлом костюме обе пары паспортов, одной рукой паспорта Давида, другой — паспорта Бёве, два паспорта, выправленных Министерством иностранных дел Германской Демократической Республики, и два — Allied Travel Office* в Западном Берлине. Господин в светлом, склонившись над документами, изрек нечто весьма краткое и весьма португальское. Вслед за чем паспорта, выправленные МИД ГДР, перешли в руки их владельцев.

— Возьмите,— заявил старший чиновник,— такой страны не существует.

— Смех,— ответил Бёве Карл,— а как же мы, мы-то существуем?

Чиновник взглянул на него не слишком любезно.

— Только как личности, а именно как нежелательные иностранцы неизвестной национальности.

Подобный ответ настроил Бёве Карла тоже не слишком любезно.

— А ну осторожнее в выражениях, милейший коллега, ежели наше государство у вас в голове не умещается, вам же хуже, но почему неизвестной национальности? Мы — немцы!

Тогда его визави раскрыл союзный паспорт Бёве и указал на штамп: "Presumed German" **.

— Здесь указано — предположительно, вполне возможно и весьма вероятно, что вы немцы, но мы не обязаны это предполагать. Для нас вы нежелательные иностранцы неизвестной национальности.

Бёве замахал своим паспортом:

— Это же скандал! Я немец, как вы португалец, здесь это и прописано!

Тут разозлился чиновник.

— Спрячьте его, мы его и видеть не желаем, его нет, он не имеется, не существует!

— Я полагаю,— включился Давид,— сюда следует пригласить представителя нашей авиакомпании. Она получила с нас деньги, она нас сюда доставила, для нее мы существуем; не вызовете ли вы агента компании?

Конференция по-португальски. Распоряжение господина в

---

* Союзное бюро путешествий *(англ.)*.

** Предположительно немец *(англ.)*.

светлом. Отбытие младшего чиновника. Возвращение с четвертым господином, уже в темном костюме.

Он смущен до глубины души, объявил господин в темном, подобного случая у него еще в жизни не было. После долгих переговоров на местном языке он дал справку, да, увы, положение вещей именно таково: нежелательные иностранцы неизвестной национальности. Соответствующее предписание: вылет означенных лиц с первой же машиной компании, доставившей нежелательных лиц в страну, до тех пор пребывание таковых в транзитном зале, приличное питание там же за счет компании, но, как уже сказано, смущен он до глубины души.

Господин в темном хотел было проводить Давида и Бёве Карла в транзитный зал, но тут старший чиновник поинтересовался:

— Содержит сей футляр оружие?

Бёве Карл крепче ухватился за ремень.

— Для вас нет,— объявил он,— то, что содержит сей футляр, вывезено из ГДР, а потому не существует. Можно сказать: это presumed weapon*, да, предполагается, вполне возможно, весьма вероятно, что это оружие. Смех, да и только!

Португальская конференция грандиозного масштаба; решение: если это оружие, оно должно быть предъявлено, на сей счет имеются правила.

Бёве Карл продемонстрировал свой сертификат, но никому в руки его не дал.

— Здесь указано: жизненно важная деталь, обращающая образец в настоящее ружье, удалена и отправлена к месту назначения совсем иным транспортом; стало быть, в футляре, во-первых, всего-навсего presumed ружье, а во-вторых, это вообще не ружье, а образец, и, в-третьих, вам эта бумага не поможет, хоть там и написано по-португальски, она же presumed paper, на ней ведь штамп Министерства внешней торговли ГДР, так называемого presumed Foreign Trade Ministry, вы уже сами знаете: как предполагается, что вполне даже возможно и весьма вероятно!

Господин в светлом костюме, господин в темном костюме, господа в форме провели еще одну конференцию; агент авиакомпании взял на себя обязанность доложить ее решение:

— Мы договорились разрешить создавшуюся проблему следующим образом: вас здесь не было, поскольку это касается местных властей. Но вы, разумеется, находитесь здесь, поскольку это касается меня, и под опекой моей компании. На следующей

---

* Предположительно оружие *(англ.)*.

нашей машине вы отбудете в Лондон. До тех пор местные власти просят вас держаться так, будто вас здесь нет.

— Довольно сложная задача,—сказал Давид,—а не сказали вам, из-за чего весь этот цирк?

— Ну, видите ли, точка зрения местных властей зависит, по всей вероятности, от конституции вашей странной... э... простите, вашей страны. Местные власти в этих вопросах весьма щепетильны.

— Так они знакомы с нашей конституцией?

— О, я имею в виду не бумагу, не документ, не писаную конституцию; я имею в виду, то есть представители местных властей имеют в виду, своеобразие вашей, странной... э... страны, ее строй, методы ее управления, форму ее правления, законодательную и исполнительную власть, права ее граждан; вы меня извините, но мне кажется, что представители местных властей руководствуются политическими мотивами, поверьте, меня все это смущает до глубины души!

Бёве Карл объявил, что его от всей этой канители с души воротит; представители властей удалились, не проронив ни слова, агент позаботился о свободном столике в транзитном зале, пожелал приятного аппетита и напомнил, что, само собой разумеется, они гости авиакомпании; они закусили и выпили по глотку доброго вина, Бёве закинул за спину ружье и пошел размять ноги, по пятам за ним двинулся неприметный молодой человек, а Давид дремал и думал о своем.

Он не мог пока установить, какое место займет этот примечательный казус в ряду событий, связанных с их путешествием, начального пункта которого Давид уже не видел, а конечного еще не видел, он угодил в Португалию, сам не зная как, он знал одно: хоть он и прибыл сюда, в то же время быть он здесь не был, а потому его так и разбирала охота встать и для разрядки громко произнести знаменитую фразу, и он ее произнес, вернее, про себя пробормотал:

— Превращение человека в насекомое — выход для нас неприемлемый!

Бёве Карл с предположительным ружьем за плечами, с неприметным молодым человеком за спиной прошагал мимо и сказал:

— Самое смешное: когда я расскажу все жене, у нее опять будут резоны!

Самое смешное, подумал Давид, что в этой ситуации вообще нет никаких резонов, это же истинно presumed situation, никак не предусмотренная, сюда не прибывают, если прибывают оттуда, откуда я прибыл, из этой... э... странной страны Странании, из

«так называемой» страны, общий конституционный порядок которой местным властям не по вкусу, а в этих вопросах они весьма щепетильны.

Подумать только, как нарочно, они! Нет, не как нарочно, а конечно же они!

Смех, скажет Бёве, а дома скажут: ну и насмеялся же ты досыта. Габельбах справится, запечатлел ли я этот цирк на пленке, и не преминет процитировать корреспондента Франца Германа Ортгиза, которому, несомненно, довелось хоть раз оказаться в подобной ситуации.

Давид взял аппарат и щелкнул тюрингца с его ружьем — действие, обратившее неприметного молодого человека за соседним столиком из сонного в настороженного. В этих делах они щепетильны, подумал Давид, они не желают фотодоказательств того, что у них был некто, кого здесь вовсе не было.

Этих забот Франц Герман Ортгиз наверняка не имел, от него требовали корреспонденции письменной и без фото, от Давида же Грота требовались и фото, и письменная, так не лучше ли сразу приступить?

Он вытащил ручку, а заметив, какую позу принял неприметный молодой сосед, дружелюбно кивнул ему и предупредил, чему немало способствовал выпитый коньяк:

— Будете сидеть в такой позе, заболят шейные позвонки; сами виноваты, если спондилит заработаете. Позвольте представиться — Франц Герман Ортгиз, сочиняю корреспонденцию из Португалии, страны весьма щепетильной во всех вопросах, касающихся общего конституционного порядка в ГДР. Знаете ли, я поставляю обозрения, новости, все и всяческие известия о стране и людях, я закрепляю в словах все сенсационное и эпохальное и вот сейчас намерен кратко закрепить на бумаге свои соображения по поводу общего конституционного порядка страны Португалии; о, это всего лишь шутка, вы понимаете! Франц Герман Ортгиз, как я уже представился.

Молодой сосед слушал его с туповатым изумлением и в конце концов решил заняться изучением португальского ночного неба, а Давид записал: «Как стало мне ведомо, страна сия управляется тремя силами, а именно — генералами, финансистами и князьями церкви.

Дошло также до меня, что силы эти тому сорок лет назначили верховного правителя, имя коему Антониу ди Оливейра Салазар и власть коего подобна королевской.

В здешних местах, где я ныне пребываю, газеты оповещают, что в стране Португалии все идет воистину изрядно и общая ее конституция, то бишь система, дает ей право с завидной

щепетильностью отказывать в уважении другим державам.

Так, дошел до меня слух, что по части смертности младенцев сразу после рождения Португалия стоит на первом месте в Европе. Однако же повсеместно раздаются голоса, что из тех ста детей, коим удается выйти живыми из родильного дома, восемьдесят попадают в школу на четыре года, каковой срок считают вполне достаточным, дабы снизить число тех, кто не умеют ни читать, ни писать и зовутся неграмотными, так что не останется навечно соотношение, каковое существует ныне — сорок к ста.

Из достоверных источников дошло до меня далее, что месячный доход подданных сего надежного Салазара при большом усердии составляет примерно сто марок, и доход сей есть средний в здешней державе.

Как стало мне известно, оная названная выше территория есть лишь двадцать четвертая часть империи, каковая распростерлась преимущественно по всей Африке.

А посему ходят легенды, что поелику черные людишки подобное государственное устройство не жалуют, как им должно, то португальское государство вынуждено из каждых ста марок сорок тратить на вооружение и довольствие господ военных, так что не нужен вовсе такой знаток арифметики, как Ризе, дабы разъяснить, почему простолюдина это бьет по карману.

Однако же в здешних местах упорно говорят, твердят, и выдают за истину, и принуждают повторять, и повсеместно и повсечасно оповещают, извещают и подтверждают официальными писаниями и писаниями присяжных писак, что в сей стране действует самая высокая правовая квалификация в международном частном праве, а посему здесь особенно щепетильны с путешествующими из других земель, где общее положение в стране столь разительно отличается от здешнего.

По окончании сей корреспонденции воспоследует следующая...»

Далее изливать свою ярость на бумагу Давиду не пришлось, появился агент и сообщил, что ближайшая машина их компании готова в путь на Лондон. Увы, возникло новое обстоятельство, и обязанность сообщить им о том смущает его теперь уже до самой глубины души. Речь идет об условии, поставленном здешними властями, от которого они ни при каких обстоятельствах не желают отступать, а потому хоть Давид и Карл со следующей машиной вновь окажутся на пути в Лондон, но это, увы, будет далеко не кратчайший путь, нельзя даже сказать, что путь этот ведет непосредственно в Лондон, он приведет их туда лишь косвенным образом, строго говоря, маршрут их следует назвать окольным путем, однако ничего не поделаешь, готовая к отлету

машина и есть именно ближайшая по условию местных властей, но, куда бы она ни летела, Давид и Карл будут находиться и в дальнейшем на попечении его авиакомпании.

— А самолет летит не к Фудзияме? — поинтересовался Давид.

Бёве Карла вопрос безмерно развеселил, агент воспринял его как отличную шутку и изящную гиперболу, ведь это означало бы не более и не менее как перелет вокруг земного шара, мысль, способная устрашить кого угодно, смущает его до глубины души и сердца. Нет, таким уж сверхдлинным их окольный путь все-таки не окажется, хотя названия «кратчайший» он тоже не заслуживает, но существенно-то в конце концов одно: они вновь находятся на пути в Лондон.

Так они покинули места, где в известном смысле никогда и не бывали, и без сил рухнули в кресла, взмыв к небесам в четырехмоторном чудище; однако не пребывание в щепетильной Португалии свалило их с ног и даже не пережитое, а скорее то, что предстояло пережить, и в дрожь их бросало не от ретроспективы, а скорее от перспективы. Дело в том, что эта ближайшая машина держала курс на Сан-Хуан, расположенный на острове Пуэрто-Рико, в свою очередь расположенном в Карибском море чуть наискось и по ту сторону Атлантического океана, на самом маленьком острове Больших Антильских островов, его открыл Колумб, а президент Мак-Кинли включил в состав владений Соединенных Штатов.

— Вот уж где будет не до смеху, — простонал Карл Бёве, — и как я растолкую такой перелет своей старухе?

— Меня он окончательно доконал, — вздохнул Давид, — теперь мы все-таки попадем к индейцам, и к американцам мы тоже попадем, а если уж португальцы подняли такой шум, то какой же шум поднимут пуэрториканцы?

Но пуэрториканцы никакого шума не поднимали. Правда, Карлу Бёве пришлось опять помахать сертификатом, очень оказалось кстати, что данные относительно жизненно важной детали в нем изложены были и на испанском языке, конституцию ГДР они обсуждать не пожелали, видимо, не в последнюю очередь потому, что весть о существовании такой страны еще не достигла этих широт.

Правда, столь диковинный маршрут, как Берлин — Прага — Цюрих — Лиссабон — Пуэрто-Рико, показался им весьма забавным, но приезжих они проводили в зал для транзитных пассажиров, где местный агент авиакомпании угостил всех ромом, а Бёве Карл имел возможность расхвалить перед широкой публикой преимущества тюрингских трехстволок.

— Раз уж нас сюда занесло, смех смехом, но можно и о делах

подумать,— заявил он и, раздавая визитные карточки, расписывал по-английски, хоть и с сильно выраженным зульским акцентом, искусство оружейников ГДР.

Простились с ними тепло, зато в нью-йоркском аэропорту Айдлуайт их встретили более чем холодно.

О прибытии заблудших местные власти были извещены, и, быстро заглянув в сертификат, они так же быстро спровадили их в транзитный зал, паспортов видеть не пожелали, бога ради, нет, нет, а владельцев и того меньше.

Транзитный зал был велик, пассажиры то и дело менялись, а Бёве Карл с ружьем на плече и здесь продолжал вышагивать вдоль и поперек зала. Среди ожидающих всякий раз находился охотник, так что Карлу Бёве четыре часа кряду всякий раз заново приходилось разъяснять тонкости изготовления заказного экземпляра, предназначенного для левши, английского пэра, и кто поставил бы ему в вину, что он давал обстоятельный ответ на каждый вопрос, куда он летит и откуда, и что всякий раз заходила речь о стране, каковая официально для здешних мест не существовала, somehow* существовать должна же была, в чем можно было воочию убедиться, ибо все воочию видели beautyful shotgun и marwellous handicraft**, а кто плоховато видел собственными очами, тому Бёве Карл содействовал патриотическими речами.

Давид нащелкал множество кадров, явно не идущих к делу и потому годных разве что для габельбаховской стены, а в воздухе, возвращаясь через Атлантику, на сей раз непосредственно в направлении Лондона, писал репортаж для «Нойе берлинер рундшау» и, припомнив слабость Хельги Генк к броским заголовкам, рискнул на заглавие «Наш человек с ружьем».

В нем заключалась такая ассоциативная связь, от которой третий Главный только поежился, но на этот раз Хельга Генк боролась до последнего, настояв на принципе ограниченной ответственности отделов, пусть ей не удалось пробить заголовок «Панков в Бангкоке», этот заголовок она пробила, тем более что коллеги всеми силами ее поддержали.

Ограниченная ответственность отделов — под этим знаменем объединились князья против короля, и святое дело подстегнуло их изобретательность. «Эконом» Гюльденстерн объявил, что самое важное слово в спорном заголовке слово «наш».

— Наша страна, наше государство, наш завод, наше строительство, наше производство, наше достояние; «наш» — это

---

* Тем не менее *(англ.)*.

** Прекрасное ружье... превосходную ручную работу *(англ.)*.

синоним социализма; слово «наш» обязательно должно войти в заголовок. А в остальном я за принцип ответственности отделов!

Редактор Клоц едва не свел на нет столь прекрасно взятый разгон, ибо наряду с работой над советами домашним хозяйкам все еще слишком много читал и не мог не подчеркнуть созвучие этого заголовка с Грэмом Грином и его человеком в Гаване, впрочем, он тоже был за принцип ответственности отделов.

«Международник» компенсировал ляпсус Клоца: созвучие с Гаваной следует лишь приветствовать, и не только потому, что Пуэрто-Рико лежит в непосредственной близости к Кубе, стало быть, не столько из-за географической близости, сколько по внешнеполитическим мотивам, так как именно понятие «наш», как растолковал им коллега Гюльденстерн, отныне является связующим звеном между ГДР и значительной частью Антильских островов, а в остальном следует поддержать принцип ответственности отделов.

За этот принцип был и Ганс Баммлер, он был и за ружье в заголовке, ведь ружье — спортивное оружие, а спорт и без того постоянно урезают.

Иоганна Мюнцер также вновь подтвердила свое благосклонное отношение к принципу ответственности отделов и высказалась за порядок, который, правда, некогда, во времена своего неограниченного владычества, именовала стадией, предшествующей анархизму; а за Давидов заголовок она высказалась потому, что он напоминал ей о советском фильме «Человек с ружьем».

Преемник III нервно остановил Пентесилею, прежде чем она успела перейти от вопросов киноискусства к общим вопросам искусства, в частности, к вопросам изобразительного искусства, и объявил о своем согласии с заголовком, для его разумения, правда, чуть мудреным. Отнюдь не согласен был он с обыкновением сотрудников говорить только об ответственности, а не об ограниченной, как подобало, ответственности отделов.

Князья дружелюбно закивали — король проиграл сражение, пусть на здоровье держит тронную речь.

Преемник III обладал чутьем на настроения и потому попытался найти союзников.

— Нам хотелось бы, коллега Габельбах, услышать, как расцениваете вы снимки, которые прилагает коллега Грот к своему репортажу.

— Как я расцениваю? — начал Габельбах.— Подобная формулировка открывает передо мной возможность высказаться подробнее; если б вы спросили, как я оцениваю эти фото, я мог бы высказаться короче и объявить: серединка на половинку. Мы

находим здесь снимки, документально подтверждающие, что усилия, вложенные нами в обучение молодых людей, дали в известной степени положительные результаты. Но имеются тут и такие снимки, которые не заслуживают названия фотографий, ибо на них лишь клубится туман первозданного хаоса. Как часто я заострял внимание на глубине резкости, этом важнейшем условии всех условий, и что же? Вот, например, на злополучном снимке, врученном мне и изображающем якобы внутренний вид португальского транзитного зала, резкость можно обнаружить разве что на лике господина из Зуля, вашего несравненного человека с ружьем, но задний план — да это чистая olla podrida, сумбурная мешанина. Если верить утверждению нашего молодого журналиста, здесь сфотографирован португальский транзитный зал; с таким же успехом это может быть турецкий базар или бразильский карнавал, празднество по случаю убоя свиней в Ванне-Эйкеле, убийство эрцгерцога Фердинанда или открытие Олимпийских игр, профессор Пикар в Филиппинских подводных пещерах или идеограмма редакционного совещания в «Нойе берлинер рундшау». А главная беда — я не вижу системы! На одном фото какое-то сонмище облаков, а на другом резкость, которую я, пожалуй, назвал бы безупречной. Состояние умственных способностей субъекта, отснявшего подобные разнородные фото, весьма напоминает состояние рассудка, которое наблюдал известный корреспондент Ортгиз у короля польского, а именно «что он, то есть рассудок его, per intervallo, время от времени, видимо, помрачается». Впрочем, я беру все эти фотографии на свою ответственность, если вам угодно — на личную ответственность, на ответственность моего отдела.

Третий редакционный король невозмутимо принял намек на неугодный ему принцип, поскольку Габельбах выдал Давиду изрядную долю тумаков, что ему придало духу тоже раскритиковать референта.

— Поскольку вы упомянули господина Ортгиза, дорогой коллега Габельбах, — начал он, — то и мне припоминается комплекс вопросов в твоем очерке, товарищ Грот, который нам следовало бы еще раз прокомментировать. Вот ты показываешь нам варварские условия жизни в натовском государстве Португалия, а я задаюсь вопросом: нужно ли писать об этом нарочито архаичным языком? Я считаю, что социальный протест теряет остроту из-за подобного штукарства. Кроме того, мне недостает в этом тексте четко выраженного противопоставления. Я представляю себе, что здесь вполне уместно было бы использовать испытанный оборот: «между тем как...»: «Между тем как смертность новорожденных в натовской Португалии считается одной

из самых высоких в Европе, в ГДР, благодаря социалистической социальной помощи семье, и особенно матери и ребенку, удалось...», понимаешь, испытанный оборот: «между тем как...»!

— Да, понимаю, конечно,— ответил Давид,— но это, видишь ли, репортаж, так уж я позволю себе, per intervallo, разнообразие стилей. Если бы весь репортаж был написан в таком духе, ни один человек бы не выдержал, да и «между тем как» долго никому не выдержать. Я полагаю, если факты, о которых ты собираешься писать, соотносятся как черное и белое, то в стиле вполне можно отказаться от примитивной черно-белой мазни. Вдобавок, приглядись-ка внимательней, в этом стиле кроется еще одна ассоциативная связь: отжившие свой век социальные отношения описаны отжившим свой век языком. Это так называемый «эффект подменяемости».

— Ты хочешь сказать — «эффект изменяемости»?

— Не «изменяемости», а «подменяемости», «подмен-эффект». Метод ошарашивания. Наглядно это можно представить примерно так: разговаривают две марионетки, и одна говорит другой: «Ну и большущая же у тебя голова!» Публика начинает приглядываться к этой голове и видит, что на деле-то у марионетки не такая уж большая голова, скорее даже маленькая, вот это и есть «эффект подменяемости». Публика ошарашена и задается вопросом: а почему речь шла о большой голове, когда она маленькая? Опять внимательно разглядывает упомянутую голову и вновь задается вопросом: а почему эта марионетка, высказываясь о голове другой марионетки, кое-что подменила? — понимаешь, подменила! — и теперь уже сама вслед за первой марионеткой начинает кое-что мысленно подменять. Вот примерное действие «подмен-эффекта».

— Ну, для меня оно слишком мудреное,— вздохнул Преемник III, однако пометил что-то в своем блокноте.

— А мне так все едино,— объявил главный бухгалтер,— по мне, пусть коллега Грот свои португальские похождения хоть иероглифами запишет, меня интересует финансовый план. Мне что же, всю эту бешеную сумму в английских фунтах занести в счетную книгу с пометкой: истрачено на сочинение Давида Грота о приключениях малыша Давида, которого занесло в Вест-Индию? И это все, что сделано на такие колоссальные деньги? Или в тот раз, когда вы выделили этот пункт в своем плане, речь шла не о выставке оружия в Лондоне?

Подобные реплики министра финансов оказывали то же действие, что и безапелляционные решения третьего короля: они лишь объединяли отдельских князей.

Да нет же, в один голос заверили они бухгалтера, право же, нет, о выставке оружия «Gunsmith Association» и участии в ней промышленности ГДР — событии, столь важном для поднятия престижа нашей страны,— будет сообщено в следующих номерах, под сенсационными заголовками, и еще не было случая, когда валюта тратилась бы с большей пользой. Едва ли не все отделы редакции выиграли от путешествия в Лондон; пожалуйста, пусть финансисты проверят: одни только превосходные фото, большая часть отличной резкости, сэкономят немалые деньги при закупке фотографий в центральной фотохронике, а как снизятся расходы благодаря наличию в редакции знатока по истории оружия и путешествиям вокруг света, теперь читательских писем ради, относящихся к мушкетам или к Пуэрто-Рико, Лило не нужно будет отправляться в дорогостоящие вояжи к великим знатокам, ей тут же, под родной крышей, все разжуют и даже, ха-ха, в рот положат, если она того захочет. Уж не говоря о двух самобытных рецептах английской кухни для редактора Клоца и двух новых шотландских остротах для страницы юмора — по такой дешевке они еще в жизни не доставались редакции! А международный престиж все за те же деньги и за ту же сумму еще экономические соображения, и поскольку отдел спорта получит разворот о стендовой стрельбе во время выставки, так можно, пожалуй, считать, что им удалось обойтись редакционными средствами. Нет, пусть коллега главный бухгалтер с легкой душой проведет по счету это смехотворное количество фунтов и отстаивает его в министерстве, на сей раз в самом деле за эти деньги для журнала горы наворочены.

— Не забудем также человеческую сторону дела,— вставила Иоганна Мюнцер,— здесь сейчас это весьма важный аргумент. У нас прежде всего появились статьи, трактующие тип человека вообще, начиная от португальского таможенника и кончая феодалом-левшой из Лондона, далее мы получили обстоятельный портрет чудесного человека из Зуля, обладающего уже чертами нового, чего не оплатить какими-то капиталистическими пенни. Но что для нас превыше всего, дорогие товарищи и коллеги: мы извлекли отсюда неоценимый урок!

— Ну, товарищ Мюнцер,— прервал ее Главный III,— нам, правда, не следовало бы столь долго задерживаться на комплексе идей о человеке нового типа, но если в них заключен урок, то выделим для него время, ибо я неустанно повторяю: учиться нам всем и всегда полезно. Что же это за урок на сей раз?

— Минуту,— объявила Пентесилея,— сейчас скажу. Но прежде еще кое-что: меня порадовали твои слова; меня порадовало, что ты сказал — учиться нам всем и всегда полезно. Именно когда

их говоришь ты, меня они особенно радуют. Меткие слова! Теперь вернемся к уроку. Мы с вами поняли, каким важным может быть пункт «разное». От нас едва не ускользнуло крошечное сообщение экономической службы АДН, если бы — вот тут-то собака и зарыта, вот тут-то сказывается школа, — если бы Давид не приметил его своим острым глазом. Давид, должна тебе сказать: у тебя верный глаз на потенциальные возможности. Если бы это не было противно моей природе и если это вообще не было противно самой природе, я сказала бы: у тебя есть щуп будущего.

— Прекрасно, — согласился Преемник III, — мы тебе весьма благодарны, товарищ Мюнцер, и я попытаюсь увязать твое выступление со следующим вопросом. Я все равно еще раз хотел взять слово по пункту «разное», а теперь мне легче увязать эти вопросы. По совместному решению соответствующего отдела высших инстанций и Объединения народных предприятий отныне в выходных данных «Нойе берлинер рундшау» произойдут некоторые изменения, что, понятно, повлечет изменения и в структуре нашего предприятия. Для того, чтобы поднять эффективность нашего журнала, более четко координировать нашу работу с работой других органов печати, обеспечить еще лучшее взаимодействие всех отделов, повысить оперативность и усовершенствовать руководство, ответственная должность главного редактора будет подкреплена назначением заместителя, имя которого в качестве такового будет отныне стоять в выходных данных «Нойе берлинер рундшау». Всесторонне обсудив этот вопрос, мы приняли решение назначить заместителем главного редактора многолетнего сотрудника журнала НБР, органа нашей социалистической прессы, коллегу Давида Грота. Я выражаю ему свои сердечные поздравления и надеюсь, что в дальнейшем мы будем работать вместе так же дружно!

Все зааплодировали и не поскупились на вольные словоизлияния, каждый сообразно своему темпераменту. Иоганна чмокнула Давида в щеку, перепугав его этим до смерти, а Карола Крель смастерила огромную бумажную розу.

Габельбах являл собой редчайшее зрелище умиленного Габельбаха, но, осознав свое состояние, тотчас взял себя в руки и процитировал сообщение корреспондента Франца Германа Ортгиза о вопле скорби, который издал король Швеции при виде вражеских укреплений под Пенемюнде: «Неужто господь отвратил лицо свое от меня?» Затем он сдержанно пожал Давиду руку.

А Давид только и сказал:

— Это надрывает мне сердце!

9

Весьма и весьма поучительно, что тот или иной случай, ту или иную историю или просто фотографию можно назвать неслыханной, и кто-то будет при этом подразумевать одно, а кто-то другой — совсем другое.

Однажды случилась неслыханная история, какой не случалось за все истекшие дни до того самого дня, когда и произошло это неслыханное событие. А если подобная история когда-то и случалась, нам о ней ничего ровным счетом не известно.

Затем, однако,— одновременно или позднее, трудно сказать,— слово «неслыханная» обрело дополнительный смысл, таящий в себе негодование: неслыханная история была-де начисто лишена моральных устоев и даже противна добрым нравам.

Подобный двойной груз одних и тех же пяти слогов заставляет задуматься и дает повод к подозрениям, которые могут быть порождены завистью или неприязнью: не является ли в конце концов этот двойной смысл вопросом восприятия? Не могло ли случиться и так: для негодования достаточно было чего-то непривычного? Непривычного, нового, идущего вразрез с опытом, вкусами, обычаями и традициями? Представляет ли собой то или иное событие, или происшествие, или хотя бы фотография нечто неслыханное в моральном смысле только потому, да, именно потому, что они в другом, временном, смысле представляли собой нечто неслыханное?

Представляли? Или представляют?

Фотографии Франциски были неслыханными, и происшествие, о котором она рассказывала по поводу одной из них, тоже было неслыханным, неслыханным было и событие, о котором Франциска узнала при неслыханных обстоятельствах.

Она, надо сказать, собиралась рожать, обстоятельство, правда, весьма естественное, но естественно также, что в подобные минуты тебя ограждают от душераздирающих историй, и потому неслыханное дело, что сестра Туро рассказала Франциске свою душераздирающую, в самом ужасающем смысле слова, историю именно во время родов.

История была любовная, связанная с волосами сестры Туро, а фотографии Франциски были связаны с рождением ее сына, все же, вместе взятое, казалось невероятным.

Фран достаточно хорошо знала жизнь, чтобы не быть мечтательницей, и священный трепет был ей чужд, и все-таки, садясь с чемоданчиком в такси, она испытывала странное чувство, пытаясь поддержать свой дух, она, назвав адрес, добавила:

— А я еду рожать.

Таксист удостоил ее взглядом через зеркальце и ответил:

— Воля ваша, мадам.

Тем не менее он внес ее чемоданчик на третью ступеньку лестницы и, надо сказать, подчеркнутым нежеланием впутываться в дела своих клиентов более располагал к себе, чем привратник и сестры приемного отделения, величавшие вновь поступающих «мамаша».

Врач держал про запас иные защитные меры против ошеломляюще-интимной стороны своей профессии. Он был стерильно-вежлив и своей старомодной чопорностью напоминал аристократического любекского сенатора. Он назвал Фран «милостивая государыня», объявил ее состояние превосходным и дальнейшую заботу о ней препоручил сестре Туро.

Что-то было в этой сестре такое, что помогало Фран не терять почву под ногами, отвлекало от безумного напряжения, которое она, правда, считала допустимым и подобающим в ее состоянии, но которое тем не менее ей хотелось переключить на что-нибудь посторонее; в других ситуациях она так и поступала.

Сестринское одеяние, видимо, было задумано, чтобы обезличить человека, униформой скрыть формы и той же униформой подчеркнуть функцию, однако замысел этот потерпел полную неудачу в случае с сестрой Туро.

Фран внушала себе, что благодаря необычности своего состояния обрела особый дар видения, некое сверхвидение, и, по всей вероятности, ее восприятие есть лишь результат общей повышенной чувствительности; ничего не помогало: образ сестры Туро оставался для нее собирательным образом женственности.

Только лицо сестры не отвечало этому образу, или все же отвечало? Оно поистине обескураживало: прекрасное едва ли не в каждой частности, в целом оно воспринималось словно картина за исцарапанным стеклом.

Быть может, всему виной была белая шапочка, бесформенная штуковина, монашеский чепец, края которого доходили чуть ли не до бровей и скрывали волосы. А может, гладкая кожа, сверкающе-гладкая, сверхтуго натянутая, будто все лицо сестры Туро, от подбородка вверх до скрытого лба, заново покрыли кожей. Значит, для красоты не хватало морщин?

— Вы очень подходящее время выбрали,— сказала сестра Туро,— вторая постель в вашей палате свободна. Или вам приятнее общество?

— Скоро оно у меня будет, а когда крик подыму, лучше уж быть одной,— ответила Фран и принялась распаковывать чемодан.

Сестра увидела фотоаппарат.

— Это чудо-юдо вам бы лучше оставить дома: у вас отпуск.

— Ну что ж, будут отпускные фотографии,— откликнулась Фран,— стану для разнообразия щелкать. Вообще-то я фотографирую. Постель — удобное местечко на пляже, вы — моя милая соседка по пляжу, которой вечно обещают прислать снимочек. А доктор — чопорный господин, он с достоинством прогуливается по пляжу и обращает внимание только на волны и чаек. Я положила аппарат по привычке, может, он меня отвлечет.

— От вашего дела ничто отвлечь не в силах,— заверила сестра Туро,— но попытайтесь. Попытка не пытка, мы каждому разрешаем справляться на свой лад.

Да, правильно, все дело в коже, слишком туго натянута. Когда сестра говорила, двигались губы; больше на ее лице не двигался ни единый мускул, и, если бы не темные глаза и едва приметные морщинки в их уголках, впечатление было бы ужасающее.

— Думаю, мне лучше лечь,— сказала Фран,— что-то со мной дурацкое творится.

Сестра Туро направилась к двери.

— Пойду погляжу, как там другие, и вернусь.

Фран начала раздеваться и, сама с собой пререкаясь, пыталась заглушить еще далекую, но уже подступающую боль, которую она нарекла как-то бессмысленно: страстно ожидаемая боль. А что это она ляпнула: что-то со мной дурацкое творится! Не лучше, чем: я еду рожать! Вот уж верно, дурацкая манера. Нелепая развязность, которую мы сами же терпеть не можем. Только других раздражаем, отчего все ополчаются против нас. Поэтому таксист отвечает: «Воля ваша, мадам». Он всю жизнь возит скандалящих супругов или раздраженных театралов, и каждую ночь какой-нибудь пьяница допытывается: «Ты меня уважаешь?» А рожать он свез уже тысячу женщин, вот он и отвечает: «Воля ваша, мадам!» Иначе еще сочтет себя возчиком судьбы и свихнется на этой почве.

Доктор укрылся под маской истинного аристократа, чтобы мы не слишком надоедали ему своими причитаниями или бойкостью, причины которой легко разгадать, а у сестры сразу два трюка в запасе: скажешь ей, что тебе ох как худо, да еще добавишь «Что-то со мной дурацкое творится!», давая понять, что дурацкого тут ничего нет, а дело принимает серьезный оборот и случай твой из ряда вон выходящий, как она направляется к двери и заявляет, сходит, мол, поглядит на других, чтобы ты не забывала — имеются другие, и поворачивает к тебе лицо, словно обтянутое пергаментом.

Нет, не стану больше болтать, будто мне родить ребеночка — гоп-ля, и готово! Не стану молоть вздор, как та взбалмошная

девчонка у Тухольского, кончаю с высокомерным зазнайством и сознаюсь: мне больно!

— Ну что я говорила: вы очень подходящее выбрали время,— сказала сестра Туро,— остальные словно позабыли, зачем они сюда явились. У меня есть минутка побыть с вами, я всегда стараюсь выкроить время для тех, у кого первый. Опять схватило?

— Ох да,— вздохнула Франциска.

— Тогда одевайтесь-ка. Еще належитесь в постели. Лучше покажите, как обращаться с этим аппаратом, а я щелкну вашего мужа, когда он придет взглянуть на свое дитя.

— Не знаю, успеет ли он вернуться. Он уехал в командировку.

— Его счастье,— заметила сестра Туро,— а может, и ваше, уж не знаю.

Странный намек, но сестра тут же все объяснила:

— Среди посетителей редко доводится видеть людей сдержанных. Постоишь год-два за стеклянной дверью с новорожденными на руках, увидишь, как мужчины по ту сторону изо всех сил пытаются держать себя в узде, чтобы никто не заметил их радости и растерянности, и перестаешь относиться к ним серьезно.

— К ним и без того серьезно относиться не следует,— согласилась Фран,— мой муж — человек умный, но, когда возвращается из парикмахерской или, подняв капот, разглядывает мотор, будто он сам господин Отто, изобретатель моторов, невольно задаешься вопросом... Странно, когда вспоминаешь медицинских сестер, никогда не думаешь, что они замужем. А вы замужем?

— Нет,— ответила сестра Туро,— ну-ка пошли, нечего рассиживаться. Движение полезно всем заинтересованным лицам.

Фран вышла в коридор и, остановившись у окна, стала глядеть во двор больницы, где какой-то человек чинил ручную тележку. Пожалуй, я слишком рано явилась, подумала она, разгуливать и ждать можно с тем же успехом дома. С этой сестрой куда спокойнее, чем с фрау Мауер, та заведет свою песню — ах, прежде куда как легче детей рожали! Я вдоволь наслушалась ее: всегда повторяла и буду повторять, фрау Грот, побольше горячей воды и опытную акушерку, куда как хорошо, фрау Грот, а доктор, какой он ни есть, мне и даром не нужен.

Хотя главному врачу, который вошел сию минуту в подъезд, даже фрау Мауер доверилась бы: ах, фрау Грот, вот это доктор так доктор! Куда как хорошо!

— Нуте-с, милостивая государыня,— сказал врач,— у нас, видимо, вашему аппарату ничего не приглянулось?

— Никогда нельзя знать заранее,— ответила Фран,— но я забыла спросить разрешения. Можно здесь фотографировать?

— Разумеется, если это вас развлечет. Только я что-то ничего примечательного не вижу. Как вы себя чувствуете? Отлично, не так ли? Прекрасно, мы скоро увидимся.

Может, надо было спросить, не разрешит ли он себя сфотографировать, интересно, изменил бы он выражение лица? Тут она ощутила, что вот-вот нагрянет боль, и вернулась в свою палату.

— Вовсе не обязательно сжав зубы терпеть, чтобы криком не кричать. Крик хоть и не помогает, да ведь, когда тошно, ничего не соображаешь. И не надо бояться,— сказала сестра Туро.

— Страх уже прошел,— ответила Фран.— А профессор поймал меня с аппаратом, сказал, что разрешает мне фотографировать, если что-нибудь найду подходящее. Прошу вас, минуточку, я...

— Нет,— ответила сестра и пошла к двери.

Но внезапно остановилась, долго стояла в раздумье и, в конце концов, пошла к окну.

— Вздор все, снимайте. Как уж я там выйду, если буду стоять спиной к окну.

Фран облегченно рассмеялась.

— Могу вас заверить: какая вы при этой капле света выйдете, другие женщины не выйдут, пусть хоть портного с собой притащат, и я еще посодействую светом и тенью.

— Боже милостивый, не напоминайте мне,— откликнулась сестра Туро,— что было, то было. Наверно, так нельзя говорить, но раз уж все в прошлом, скажу: когда-то я была очень красивой.

— Не хочу с вами спорить,— возразила Фран,— только не понимаю, почему вы употребили прошедшее время?

— Потому что все в прошлом. Будь я уверена, что вы не слишком впечатлительная дама, я бы вам рассказала свою историю. И будь я к тому же уверена, что вы не решите, она, мол, только и ждет, кому бы ее рассказать. Впрочем, сама не знаю, может быть, жду. Правда, я давно не рассказывала, но что мне не хотелось ее рассказать — это неправда. Случится беда, и останешься одна-одинешенька, а поговоришь, и придет облегчение. Не стесняйтесь, скажите прямо, хотите послушать мою историю? Я только пойду гляну на остальных дам, и у нас будет время.

Франциска никогда не была охотницей до чужих несчастий и нередко ссорилась с Давидом, одержимым страстью слушать и выспрашивать обо всем — о несчастье или счастье, о банальном или необычном событии, он хотел вобрать в себя все, что приключилось с другими, а стоило ему столкнуться с человеком замкнутым, он обижался, его охватывала подозрительность:

видимо, есть что скрывать этому человеку?

Фран опасалась, как бы не связать себя обязательствами, которых вовсе не жаждала. Нельзя же просто выслушать, сглотнуть историю и промолчать; от тебя ждут мнения и суждения, а она рада бывала, если ей удавалось найти верное суждение о собственной жизни.

И все же сейчас Фран с готовностью будет слушать; правда, тон сестры не предвещал ничего доброго, и хоть в эту минуту Фран чувствовала себя так, будто подняла ложную тревогу, но уже по собственному небольшому опыту знала, что все может вмиг измениться, и ожидание не давало ей покоя.

— Мы спорим с шефом,— сказала, входя, сестра Туро,— я утверждаю, что в определенные дни что-то носится в воздухе и мужчины так и липнут к своим женам, а через девять месяцев стоят растерянные за стеклянной дверью; иначе как объяснить, почему у нас то затишье, как нынче, а то словно на рождественской ярмарке. Шеф не признает моей теории... Вы, наверное, подумали обо мне — чудная какая-то, но ведь я целую вечность не фотографировалась. И вот решила,— если у нее достает духа управляться в такую минуту с фотоаппаратом, ей можно рассказать почему.

И сестра Туро стала рассказывать; Франциске порой казалось, что лучше, пожалуй, не слушать, но тут же она говорила себе — нет, не годится так; она, видимо, придала сестре мужества, хотя сама не понимала, каким образом, зато понимала, что на долгие времена лишит человека мужества, если откажется слушать то, что наконец прорвалось наружу.

Размещались действующие лица не совсем обычно. Сестра сидела возле окна на стуле для посетителей и рассказывала, а Франциска медленно прохаживалась от стены к стене и слушала. Стоило Туро умолкнуть, как Фран останавливалась и, обходясь без ободряющих слов, подавала знак, что внимательно ее слушает.

История Туро была сначала всего-навсего старомодной любовной историей, и Фран делала усилия, чтобы следовать за рассказом Туро, ибо рассказывала сестра Туро об очень отдаленном крае и об устоях, казалось ушедших в далекое прошлое.

Бог мой, женский роман - из тех, что разыгрываются в Люнебургской пустоши, подумала Фран, когда Туро заговорила о бродячей артели косцов и черноглазом парне, который всю жатву в свое удовольствие прожил у ее матери, а потом старая песня: ребенок, отца нет, дурацкие пересуды по деревне, мерзкие детские стишки, бабьи сплетни о цыганском отродье и шлюхах, детство в лачуге и вечные причитания матери, и вот школа, древний как мир кошмар, пастор, беспомощный в своей ярости и

отвратительный в своем сострадании, упрямство матери, не желавшей уезжать, нет, теперь уж ни за что, опасная любезность мужчин после шестой рюмки или в темном углу сарая, их злоба, потому что номер не прошел, мать надрывается на работе, чтобы хоть тут уберечься от упреков и, главное, чтобы по крайней мере ее ребенка никто ни в чем упрекнуть не мог. Стало быть: где ты была, куда ты идешь, туда ты не пойдешь, ты останешься дома, тебя я уберегу, иди спать, почему ты не спишь, а чего надо Крюгерову Вилли от тебя, это еще что за ленточка, хочешь их до белого каления довести, в город и думать не смей, мы останемся здесь, не вечно же так будет, все меняется, и здесь все изменится.

Но роман сестры Туро разыгрывался не в Люнебургской пустоши, все произошло в округе Уккермарк, и, хотя Фран там бывать не доводилось, теперь она там очутилась — сестре удалось высказать все, что она хотела сказать. Она описала осень на берегу небольшого залива, что перечеркивала все воспоминания о лете, об отпускниках, о пляже. Дождь льет с сентября, туман повисает в октябре, мокрядь полгода — мокрые луга, мокрые дороги, сырые стены, сырая шерсть, снег долго не держится, но свинцовая серая вода в заливе держится целую вечность, и вечно скрипят ветровые колеса водяных насосов у топи залива; дует ветер подольше — луга досыта напьются водой, но ветер дует недолго, насосы стонут, люди среди этой мокряди на краю земли в стельку напиваются, удерживая в этом виде первенство страны, и верят в ведьм, а все, что зовется новым, с трудом пробивает себе дорогу на этой сырой почве.

Правда, бургомистр гремит на всю округу: у них в кооперативе есть тракторы и комбайн, а помещиков нет и в помине; у них в селе есть школа с двумя иностранными языками, есть равное право женщин на труд и оплату, есть социальное обеспечение матерей, включая незамужних, ведется культурно-просветительная работа, теперь тут не допустят болтовни о ведьмах и пересудов о цыганах. Теперь наступили новые времена, это не пустые слова, это сама действительность, и горе тому, кого он поймает на пересудах об этой Туро.

Нет, он никого не ловит, Туро надобно самой выкручиваться, что ж, она выкручивается. Работает, читает и твердо знает — в один прекрасный день она уедет отсюда.

Однако наступил такой день, когда она решила, что никогда не уедет отсюда, ибо надежде, которую она таила в глубине души, суждено было осуществиться именно здесь. Ее надежда — это человек, который пришел к ним и остался. Неверно было бы думать, что Туро ничего другого не ждала, как только мужчину, нет, она ждала того, что принес с собой этот человек: покоя,

определенности, защиты, радости, которую нет нужды прятать, ясной цели, уверенности, нежности, таящейся в силе, начала новой жизни.

Правда, до новой жизни надо еще запастись терпением, человек этот живет пока вместе с другими в вагончике, работа его только начинается, она для него важнее всего другого и задерживает его допоздна, однако, и это главное, он останется, он будет новым мастером на всем насосном участке, он построит дом — для себя и для Туро. А до той поры у них нет другого места, кроме цоколя огромного лопастного насоса; там, правда, крутится вал, и крутится с поразительной скоростью даже при слабом ветре, там, правда, цепляясь друг за друга, пронзительно визжат и лязгают зубья передачи, и угрожающий гул разносится в туманной тишине, но цоколь отделен от остального мира решеткой, дверь туда запирается, по лестнице можно спуститься, хоть и в непосредственную близость к валам и шестерням, зато там есть сухая доска, и два толстых одеяла, и даже подушка, а главное — место, куда больше никому нет доступа, место для Туро и ее любимого.

Странно, думала Фран, когда сестра Туро рассказывала о своих горестях, я все боялась — вот-вот стрясется еще большее горе, а теперь, когда она говорит о своей радости, я боюсь еще больше. Видимо, оттого, что о радости она говорит как о чем-то мертвенном, а я ее слушаю, хотя должна бы знать: история эта не для меня, кончится она плохо, и сама я попала в историю, о которой известно, что у нее и теперь бывает иной раз горестный конец.

Это же недозволено — поступать, как сестра Туро, это же против всех норм, а я вправе претендовать на нормальный медицинский уход, я же чувствую, опять тянет, ребенку не терпится на свет божий, но, услышав такие ужасы, что́ подумает он о нас и об этом самом «божьем свете»!

Тут Фран заметила, что остановилась, и, вцепившись в спинку белой кровати, скорее догадалась, чем ощутила, что боль где-то вдалеке отступила, а если и не отступила, то задержалась, и вновь весь мир изменился, она почувствовала облегчение, вновь была полна сил, да кто это сказал, что у нее не хватит духа выслушать страшную сказку Уккермарка, хотела бы она посмотреть на такого человека; она хотела сейчас слушать эту болотную балладу, хорошо все кончится или плохо, так продолжаться не может, ни эта история, ни ее собственное ожидание, чем дальше развертывается история, тем дальше отступает ожидание, а поэтому лучше уж слушать.

Рассказ Туро подошел к печальному концу именно тогда,

когда в нем зазвучала радость.

Девчонка узнала счастье, узнала, кем может быть парень девчонке, а девчонка парню; она плевать хотела на всю деревню и слушать не желала, когда мать сравнивала того бродягу с этим, тот — бесплотная тень, а этот — плоть и кровь, тот — начало несчастья, этот — начало счастья, да того и не было вовсе, а этот есть и на веки вечные останется с ней, и она каждый вечер ходит к веселому насосу, где высоко в поднебесье, прорезая ветер, кружится лопастное колесо, приносящая пользу карусель, что отдает свою силу удлиненному валу, а тот крутится проворно и неутомимо и передает свою силу механизму передач, который, получая эту силу, дает ей иное направление и совсем иной ритм, кружение обращается в ровный ход: вверх-вниз, бешеное вращение обращается в неторопливое вычерпывание, насос не визжит, он насвистывает и поет, это уже не стонущий туманный призрак, это прибежище, исходная точка, отсюда открывается путь в будущее. Но внезапно, в один далеко не прекрасный день, в самый разгар счастья, насос все-таки показал свою истинную натуру, обернулся всепожирающим чудовищем, чуть что не убийцей, и даже хуже — убийцей всех мечтаний, убийцей будущего, размалывающим лиходеем, стальные зубья которого вцепились в волосы девушки, центрифугой, рвущей в клочья ее надежды, недаром рабочий, бредущий домой с плотины, подумал: бедняга насос, криком кричит, ну точно человек! И еще: надо этим городским водопроводчикам сказать, ведь если машина так кричит, это уже не по-человечески. Рабочему, чтобы подумать, надо остановиться, поэтому он до тех пор не трогается с места, пока насос не обретает свой прежний голос, который опять звучит безмятежно, напоминая о родном доме, а того, другого голоса, нечеловеческого, в шуме колес и ветра больше не слышно, и тут рабочий, бредущий домой, внезапно видит, что по темному лугу движется какая-то тень, но лишь много часов спустя, когда он наконец едет из городской больницы домой, он понимает: это же не насос так надрывно кричал, нет.

— Знаете,— говорит сестра Туро,— бывает такая несообразность, ты что-то делаешь или о чем-то думаешь, чего, казалось, и быть не может. Все словно бы и верно, но, если взвесить свои поступки или измерить их понятием, которое называют разумным, увидишь, что они идут вразрез со здравым смыслом. Вы, конечно, считаете, что все, о чем я говорю, тоже идет вразрез со здравым смыслом, так нет же, я только не умею как надо выразить, а представить все себе хорошо представляю. Мне очень трудно объяснить вам, но попытаюсь: без того рабочего с плотины не быть бы мне в живых, это ясно. И даже очень

просто, из-за потери крови при травме, которая называется оскальпирование. Я бы провалялась ночь на дороге — и конец. Да не в этом дело, у меня и в больнице не раз подворачивался удобный случай — просто взять и махнуть на все рукой. Я говорю: просто, именно это я хочу сказать. Уверена, есть у нас потайной запас сил, чтобы держать себя в руках, а чуть отпустишь — и готов. У меня была тысяча поводов отпустить. Что меня ожидало в жизни? И для кого было жить? Для матери? Я ей и раньше была в тягость, и очень долго, и вот опять стала бы ей в тягость; она без меня лучше могла прожить.

А люди в деревне? Да они ни за что не приняли бы меня. Бывают суждения, которых не изменить. Они же оказались правы: какая-то чертовщина замешалась в мою жизнь, и вот возмездие.

Или тот человек? Он сбежал; но я его не виню. Он приходил как-то в больницу с цветами и едва второй раз в обморок не грохнулся. Когда полиция расследовала дело, он показал, что упал в обморок там, внизу, у насоса, а когда пришел в себя, меня уже не было. Я верю ему. Он прислал мне жалкое письмецо; кто же его упрекнет, я ведь была не такой, как прежде. Да, а теперь о несообразности. К жизни меня привязывал именно тот рабочий с плотины, я о нем вспоминала, когда решала, перестать мне дышать или нет; трудности это не составило бы. Знаю, сердце бьется, хочет того человек или нет; но знаю и другое: захоти я, оно бы остановилось. Я не хотела, и в этом вся несообразность, я не хотела из-за этого кривобокого горемыки, этого Фойгта.

Вовсе не то, что вы думаете,— старый он был и кривобокий, и детей пятеро, этакий дрянной пьянчуга, ни благороднее, ни лучше не стал, когда оказался спасителем. Затеял шумный скандал со страховой кассой, такую заломил цену за испорченную одежду, что ему возмещать не хотели. Говорят, счет выставил, точно на нем была парчовая мантия и под ней жилет из горностая. А то, что ему выплатили, тут же пропил. И был у него коронный номер — как он тащил на себе по полям и лугам эту Туро. Очень хорошо себе представляю.

Конечно, в ту пору, когда приходилось решать — жить или не жить, я так четко во всем не разбиралась, однако понимала: есть для него смысл в том, что я еще живу, и потому думала: вот и у этого кривобоки появилось в жизни что-то из ряда вон выходящее; а ведь мог покинуть наш мир так же незаметно, как по этому миру проплелся, но вот в его жизни что-то появилось, и, если я не выстою, люди, уж такие они в наших краях, станут говорить: ну, Фойгт, бухой простофиля, на кой пес ты изгадил свои драгоценные одежды, она-то все одно богу душу отдала?

А может, я из-за людей держалась за жизнь, может, больше из-за них, чем из-за кривобокого Фойгта; не хотелось им еще и это удовольствие доставить. Я же вам сказала, что-то во всем этом есть несообразное, но объяснить это было нужно, вот я и нашла объяснение в том жалком горемыке.

И для вас у меня есть объяснение. Последние мои фотографии можно увидеть в одном научном журнале. Я всего раз глянула на них, и с тех пор больше никогда. Тот врач такое учинил с моей головой, что иначе, как медицинским чудом, не назовешь, но в эти чудеса, сказал он мне, верят, только если их сфотографировать и описать, да, для других врачей очень важно, чтобы он их опубликовал, тогда они раньше времени не забьют отбой, если к ним на стол попадет такое несчастное существо, как я.

Подумав с минуту, сестра Туро сказала:

— Желаю одного: чтобы эти снимки им никогда не понадобились.

Уходя, сестра Туро подбодрила Фран, теперь, сказала сестра, Фран с легким сердцем может отдохнуть, она отшагала огромное расстояние, едва ли не от больницы до Уккермарка, теперь ждать остается недолго.

Ждала Фран недолго, а если и долго, то время промелькнуло быстро, потому что в промежутках между одной схватывающей болью и другой Фран яростно цеплялась за повесть Туро, повесть об иной боли и с иным концом, за сокрушающую повесть о крушении, но не только о крушении.

Если человек из такой истории выпутался, и не поверил в черта, и сам не стал озлобленным чертом, не источает ненависти и не впадает в отчаяние, а выполняет работу, требующую спокойствия и любви, да, любви, абсурдное слово в связи с такой повестью, и все-таки любви, значит, человек этот и есть тот, кого мы вечно ищем и кого нам следует вечно искать,— настоящий человек, да ведь это счастливый случай, а если и не случай, то как превосходно все сошлось, что этот человек выполняет свою работу именно здесь, здесь он очень, очень нужен, ведь здесь тебя порой разрывает от боли, и страх здесь тоже нередко испытываешь, и частенько воображаешь себя этаким необыкновенным явлением, а потому совсем недурно, что именно здесь работает необыкновенная сестра Туро.

Впоследствии, когда пошли разговоры о неслыханных фотографиях Франциски и даже шум поднялся вокруг них, когда Франциску спрашивали, откуда у нее взялась такая удивительная твердость духа — и слово «удивительная» звучало как «жутковатая» и даже «возмутительная»,— чтобы, едва родив, фотографировать едва-едва родившегося сына, только что отделенного от

пуповины кроху, новорожденного, новее которого и не придумаешь, да еще с таким самообладанием, а о самообладании свидетельствовала резкость наводки, то Фран отвечала, что твердости духа для этого не требовалось, только известная доля уверенности, нет, тут не твердость духа проявилась, а скорее гордость духа, и такое случается в те минуты, когда человек понял, как ему хорошо живется, да, в гордости духа она готова признаться, ведь от радости она чуть с ума не сошла, причин у нее было предостаточно, и одна из них — печальная история сестры Туро.

Историю эту Фран никому не рассказывала, только с Давидом поделилась, и, как еще раз обнаружилось, даже история может служить испытанием; Давид выдержал его, он молча слушал и только в конце сказал:

— Черт побери, как же мы сами себе жизнь корежим!

Фран поняла — он издал горестный вопль.

Но тем больше радости выказал он, увидев фотографии своего сына, смятение, которое они вызывали, развязало ему язык; вечерами он усаживался на ковер у колыбельки и докладывал спящему Давиду-младшему:

— Ох, парень, как же ты нам удался! Надеюсь, ты понимаешь, кого я подразумеваю, говоря «нам». Прежде всего, и это невозможно отрицать, твою мать, которая в официальных случаях хоть и неохотно, но отзывается на имя «Франциска», нашу всеми признанную, приятную, привлекательно-притягательную, ободряюще-представительную близкую родственницу, твою и мою, хотя другим она иной раз являет собой утомительно требовательную особу, чем и устрашает средний класс, каковой в данном случае, в связи с обсуждаемой нами, тобой, мой сын, и мною, твоим отцом, проблемой, является не социальной, а интеллектуальной категорией. Мы с тобой, ты, Давид, и я, Давид, мы оба подразумеваем, говоря о среднем классе, класс посредственностей, неповоротливый от сих до сих ферейн, канонично-ханжескую общину под лозунгом: «Церковь-должна-остаться-и-все-тут», ужасающе огромный лагерь под вывеской «Все-имеет-свои-границы». Вот их-то, мой прекрасный сын, их-то твоя мать и вогнала в страх твоими фотографиями, неприличными, как они считают, потому что — нет, тебе ни за что не угадать,— потому что они неприличные. Люди эти неустанно твердят, оперируют своей логикой, приводят доводы: приличия есть приличия... Спорить с ними хватает духу лишь тем, кто не страдает головокружением — столь глубоки разверзающиеся пропасти, которые откроются, если прислушаться к их доводам.

Милый мой сын, не стоит об этом сейчас говорить, только

нервы себе взвинтим, я же нас знаю; поговорим лучше о смятении умов, вызванном твоим появлением, в стенах «Нойе берлинер рундшау», ну, сам скажи, ты бы счел это возможным?

Я — ни за что, мальчик мой, скажу откровенно, я — ни за что, а я знаю свет на целых тридцать лет дольше, чем ты, и на целых десять лет дольше тебя знаю редакцию «Нойе берлинер рундшау»; меня от этой истории мороз по коже подирает — вот такие дела, мой мальчик, да, дела, дела!

Самое, однако, удивительное, во всяком случае, для Давида самое удивительное, что как раз Фран, виновница фотографий и тем самым переполоха, сохраняла полное самообладание в бурных дебатах «за» и «против» и выказала понимание почти всех мнений, хотя и не вполне согласилась с репортером Хельгой Генк, ибо мнение Хельги распространялось не столько на фотографии, сколько на фотографа.

— Mondo cane,— объявила Хельга Генк, а Давид точно передал Франциске все ее слова,— это же mondo cane pur, это же мир с его грязнющей стороны. Твои семейные отношения меня, правда, не касаются, товарищ Грот, но спросить-то я имею право: не боязно ли тебе хоть чуть-чуть, когда ты видишь, на что способна твоя жена?

После чего Хельга живописала, на что, по ее мнению, способна Франциска:

— Как только она подметит, что пробил ее последний час и смерть уже на пороге, что, думаешь ты, она сделает? Я скажу тебе, что она сделает: выкарабкается из постели, установит лампы, штатив, приладит фотоаппарат, холодеющими пальцами возьмет спусковой тросик и станет ждать. Ждать, пока не почувствует: следующего удара сердце не сделает, следующий вздох будет лишь слабой попыткой, следующее мгновение будет затуманено концом. Тогда она соберет остатки сил, а их хватит только-только, чтобы нажать большим пальцем затвор, и вот он — конец, а на пленке, в чем я ни минуты не сомневаюсь, будет доподлинно отображена агония. Я бы содрогнулась от подобной перспективы, будь я на твоем месте, товарищ Грот!

Но Давид не пожелал развивать мысль в предложенном направлении.

— О, в этом смысле я совершенно спокоен, Хельга, тут мне свидетелем быть не придется. Статистика утверждает, что мужья умирают раньше жен, а я отвечаю всем статистическим данным, с какой же стати мне содрогаться?

— А с той, что ведь она может учинить все, о чем я говорила, во время твоей агонии.

— Ну знаешь, Хельга, теперь-то я знаю, от чего мне и впрямь

надо бы содрогнуться — от тебя!

— От меня?

— Да! В жизни не задумывался, симпатизируешь ты Франциске или нет. Да и зачем бы? По-видимому, это самая распространенная ошибка, какую мы допускаем: мы думаем, что все думают, как мы. И оттого ни о чем не задумываемся. Теперь же я могу сказать: ты попросту терпеть не можешь Франциску. Дело твое, но зачем же выпускать когти? Не я откопал это выражение, ты сама заговорила о mondo cane, а потому я позволю себе сказать: зачем же все грязнить и чернить? За что?

— Да с чего ты решил: терпеть не могу! Я подумала только, что такие фото в состоянии сделать лишь бездушный человек; это меня напугало. А ты болтаешь о когтях! Я считаю: кто в подобный час способен, я имею в виду практически способен, сфотографировать рождение собственного ребенка, на что он вообще способен? Есть ведь известные пределы, и я только подумала: не хотела бы я быть на твоем месте!

— Ну, ты не на моем месте, радуйся, но так радоваться, как рад я, ты вовсе не в силах. И так радоваться, как рад я, что на моем месте нет никого другого, никто другой не сможет, ведь на моем месте нет никого другого... Бездушье? Да ты меня точно обухом по голове хватила. А что должна делать женщина в подобном положении, чтобы доказать, что у нее есть душа, да еще какая? Э, можешь не говорить, я в кино сотни раз видел: влажный взгляд сквозь рюши ночной рубашки, о боже, о счастье, дитя родилось! — и прочая монашеско-приснодевья муть, это, что ли, признак наличия души? О да, как-нибудь после, пожалуйста, фотографируйте: младенец в купели, младенец на горшке, ожиревший, перемазанный кашей, младенец в связанных мамочкой распашонках заливается от щекотки; но горе, если кто поведет себя иначе, отснимет пленку, на которой и впрямь запечатлеет нечто новое, часть mondo humane, мира человеческого, этакого человечка pur, да еще из единственной в своем роде перспективы главного действующего лица, тогда целомудрие вопиет к небу и начинает разыскивать душу!

— Ты впадаешь в безвкусицу, товарищ Грот!

— Я вхожу во вкус, товарищ Генк! Теперь меня разбирает охота ругательски ругаться, теперь я вошел в раж, почему, отчего, зачем? Да затем, что бешусь, когда учую запашок средневековья. Да, в бешенстве спорить негоже, и потому беру себя в руки и с полным спокойствием заявляю: у тебя все симптомы страшнейшего заболевания.

— Ну вот, Гротова кавалерия выступила вновь против вооруженного до зубов мещанства... Твоя идиосинкразия мне достаточ-

но хорошо известна, но мне известно и другое: мещанство — это не главная опасность.

— Знакомое изречение, все так: мещанство, что и говорить, не главная опасность, и я обороняюсь от сделанного вами перевода этого изречения: мещанство будто бы не опасность. Я не подумаю бросать против него армию, однако не премину напомнить часовым, обходя посты: не забывайте, друзья, враг наступает не всегда под барабанный бой и не всегда с одной стороны!

— Но теперь, уважаемый товарищ, как я поняла, теперь враг вступил в пределы страны и даже ворвался в лагерь, оттого что я выразила отрицательное отношение к фотографиям, сделанным твоей досточтимой супругой? Ты что же, объявил чрезвычайное положение только потому, что я нахожу эти фотографии тошнотворными и хотела бы избавить наших читателей от встречи с ними? В этом ты, Давид, видишь мещанство и потому, вполне серьезно, трубишь тревогу?

— Не в этом, Хельга, и не потому; позабудь снимки, они меня сейчас уже не волнуют, меня волнует то ужасающее сопротивление, на какое наталкивается все мало-мальски непривычное; меня волнует чудовищная изобретательность тех, кто защищает свои предрассудки. Сколько темного затаилось в человеке, который мысленно умертвил своего противника, чтобы поверить, будто тот способен на дикий поступок.

— Ну с меня довольно, мастер Грот,— взорвалась Хельга Генк, и, по словам Давида, на нее смотреть было страшно, он испугался, как бы она на него не бросилась с кулаками, однако она только сказала:

— Подробности и все прочее мы обсудим на партийном бюро!

— Подумай,— сказал Давид Франциске,— подробности и все прочее! Словно вызвала на дуэль, ты не находишь?

— Я нахожу, что ты зря удивляешься,— ответила Фран,— когда к твоим словам, которые ты мне передал, я мысленно добавляю твой тон, который ты очень предусмотрительно мне не передал, но который я без труда восстанавливаю, тогда я лишь удивляюсь терпению Хельги.

— Вот,— воскликнул Давид,— вот, сын мой, благодарность в духе твоей матери. Я превозношу ее обаяние, и ее искусство, и ее мужество, и не страшусь спора, который мы продолжим на партбюро, я не пугаюсь ни подробностей, ни всего прочего — и вот что я получаю.

— Прекрати,— остановила его Фран,— я не нахожу в ссоре с Хельгой ничего веселого. Будь я членом бюро, я бы взяла ее

сторону. Мне жаль, что она считает, будто я хотела сенсации. Но испугаться она была вправе, слышишь, вправе, а вот что ты не вправе делать: обзывать ее пережитком капитализма.

— Спокойно, дорогой мой юный друг, спокойно; ничего подобного я не совершил, а уж хоть слабенький протест я смею выразить, если мне говорят, что я женат на кровожадной сосульке?

Фран перебила его:

— Ты цитируешь драматизированный вариант. В прозе речь шла всего-навсего о том, что у Хельги преувеличенное представление о моем хладнокровии, а преувеличение было лишь выхлопом, который ей понадобился, потому что она перепугалась. Тебе не по душе ее взгляды, понимаю, но что ты собираешься менять, с чем бороться, что устранять — ее взгляды или ее самое?

— В вопросе заложен ответ.

— Твоя манера вести спор с Хельгой не вяжется с твоим ответом, Давид, разве ты этого не замечаешь? Ты, как всегда, слишком скор на великие подозрения. Ты оставляешь людям право выбора только между долгой тропой бегства и кратким путем в партийное бюро. Ты слишком дерзок. Ты дерзко уверен, что вправе ставить своих ближних перед выбором между Сциллой и Харибдой; никто не давал тебе подобного задания.

Давид поднялся и, осторожно ступая, прошел по какой-то линии на узоре ковра.

— Я бы сейчас выкинул черт знает что,— прошептал он.— Я бы спросил тебя, всерьез ли ты назвала партбюро чудовищем-губителем, я бы дерзнул пойти напролом, я бы себя спросил, как вышло, что я защищаюсь от тебя только потому, что защищал тебя от подтасовки фактов, не стану, однако, отступать от дела. А все началось с фотографий. Зачем ты сделала эти снимки?

— Зачем эти снимки и многое другое — ответить трудно, причины находишь позже, когда начинаешь искать, хотя уверенности нет, настоящие ли это причины. Быть может, я потому снимала, что в этом смысл моей жизни, мой метод самовыражения и самоутверждения. У тебя родился ребенок — это же невероятно. Я и теперь еще, бывает, вскочу среди ночи, гляжу на него, не могу наглядеться и постичь не в состоянии. Всем женщинам это знакомо. Когда ожидание позади, а боли точно не бывало, они глядят на ребенка, пытаясь не упустить связи, существующей между ребенком и собой, видимо, потому, что она им всю жизнь нужна будет. Говорят, это счастье, думаю, в этом случае счастье — понятие вполне уместное. Никто, вообще говоря, ни разу не спросил меня, зачем я фотографировала то или иное, единственным исключением, пожалуй, был тот свадебный

снимок, фотографировать — мое занятие, это все понимали, так почему же не в данном случае? Где записано, когда можно начать? С какого мгновения вправе мать фотографировать своего ребенка? Когда он идет в школу? А почему не в первый час его жизни? Я тогда не слишком задумывалась над такими проблемами и холодно-бездушной не была, скорее уж я вся пылала от счастья, только при этом никакой надобности нет в обморок падать... Вот, пожалуй, и все, остальное — опасные домыслы.

— Что значит остальное? — поинтересовался Давид, давно переставший разгуливать по ковру. — Люди считают, что твои фотографии — событие из ряда вон выходящее; тогда людям и причины следует назвать из ряда вон выходящие, чтобы они спокойно воспринимали фотографии.

— Вполне возможно, не будь сестры Туро, я бы на это не решилась. История ее жизни, пожалуй, только благодаря своей концовке не надломила меня: женщина, у которой обстоятельства должны были с корнем вырвать всякое мужество, способность жить, не сдалась, не озлобилась, но и святой, страстотерпицы из себя не корчит; она выполняет свою работу с полным пониманием дела, она понимает других людей и рада бывает, когда другие выкарабкиваются из своих злоключений,— вот что я нахожу из ряда вон выходящим, если вообще говорить о чем-то подобном, и я думаю, рискую так думать: увидев ее с моим ребенком, я обрела ту толику мужества, которой порой не хватает нам, чтобы решиться на естественный поступок.

— Быть может, наши друзья восприняли бы твои фотографии спокойнее, знай они все это: вот она, желанная, из ряда вон выходящая причина... Но ты же не согласна, что я вправе подраться с теми, кто, бросив взгляд на необычную фотографию, составляет себе определенное мнение о лице, эту фотографию изготовившем? Меня не столько волнуешь ты и даже мнение Хельги, что ты бездушная ледышка, сколько реакция таких людей на то, что подано иначе, чем они этого ждали. Меня не волнует убеждение, что ты не права, меня волнует предубеждение. Есть что-то мистическое в том, что ни один механизм не функционирует у людей так надежно, как механизм предубеждения. Я прошел через это; достаточно было называться непривычным именем — и тебя травили. Достаточно было иметь собственное мнение — и тебя хватали за глотку. Меня беда миновала. Но отец не ускользнул от таких людей. Дважды выступал он против их убеждений, которые были всего-навсего усугубленными предубеждениями, а потом он так хорошо постиг эти предубеждения, что даже умер на свой лад, не так, как те люди ждали. В ту пору его смерть пользы не принесла, но она вообще не принесла бы

пользы, если бы я забыл о ней.

— Так тебе не добраться до сути нашей действительности, если ты будешь судить о ней как о продолжении прошлого. Такая несправедливость тебе не свойственна, Давид; нельзя ненависть прошлых дней обращать против глупостей дней нынешних.

— Вот в этом-то я иной раз сомневаюсь,— ответил Давид,— не волнуйся, Хельгу Генк я не спутаю с учителем Кастеном, суеверных баб из Уккермарка — с мерзавцами, прикончившими Гирша Ашера, но я готов от злости взвыть, что в укромном уголке души члена партии товарища Хельги Генк притаилась предвзятость и она тотчас обретает голос, когда Хельгу выбивают из привычной колеи, ведь усердные труженицы Уккермарка действуют под влиянием понятий, столетиями изгонявших все чуждое, обрекая это чуждое на невзгоды: все непривычное, всякую самобытность, всякий разрушающий устоявшиеся представления талант, всякое смущающее дух новшество. Это тянется с незапамятных времен: земля наша — юдоль плача, кто скажет иное, тот порождение сатаны; король ниспослан богом, кто скажет иное, того пожрет адов огонь; женщин сотворили из Адамова ребра, а ребрышку положено помалкивать; земля плоская, предприниматель — работодатель; прививка заражает оспой; актрис бы заставить работать; человеку не дано летать; бурый уголь не годен для металлургического кокса; кто голосует за социал-демократов, тот губит Германию; чтение портит характер; политика портит характер; у евреев вообще нет характера; Германия превыше всего; красное вино прибавляет крови, а во время родов не фотографируют — вот так!

— Так,— сказала Франциска.— Ты все крушишь с одинаковым жаром, если уж распалился и бросился в атаку: и слонов и мух; я подчас удивляюсь, как вообще сложилась наша с тобой жизнь. Уж предубеждений-то, если пользоваться этим словом, предубеждений, как у Хельги Генк, у меня в ту пору было с избытком.

Давид остерегся признать, что эта мысль ему не нова. Он глаз не спускал с жены и сына, которые занялись своими делами и, казалось, внимания на него не обращали; вот и хорошо; у него горели уши.

Он прекрасно понимал: не отступи он от того или иного своего убеждения в те времена, когда зарождались его отношения с девушкой из средненемецкой плодородной долины, не отпусти он погулять тот или иной принцип на время свидания с Фран, не сидеть бы ему здесь и не участвовать в старой прелестной игре: мать — отец — младенец. На худой конец две из трех главных ролей исполнялись бы другими лицами; даже

подумать страшно.

Все, казалось бы, претило ему: Вейслебен — тот же Ратцебург, только в средненемецкой долине, да еще меньше, еще ничтожнее, а он ведь жаждал отделаться от всего, что напоминало ему Ратцебург.

И будущая женина родня претила ему, мещанский уют с бесцветными всплесками радости или злобы, цеховые убеждения, нетвердо заученные обряды по Августу Герману Франке, гостиная, и воскресные рубашки, и жизненные устои, почерпнутые у Маттиаса Клаудиуса, и конечно же: кушайте, пожалуйста, у нас всего хватает!

И будущий тесть, склонный кстати и некстати употреблять слово «разумеется» и все-таки захиревший, ибо не в силах оказался уразуметь окружающий его еще мир; одно излюбленное слово — «судьба»; основное занятие — работа в поте лица и нытье. Да, тепловато-пресная жизнь, в ней ни спорам, ни смеху места нет.

Теща, правда, отменно готовила ливерную колбасу.

Все претило Давиду Гроту, претило его взглядам; а как же Франциска?

Она была, правда, красивая и деловая девица, а в тех областях, где Давид ожидал, что натолкнется на арьергардный заслон саксонского пиетизма, на редкость неблагочестива; она прочла великое множество книг и считала себя в ответе за все события, происходящие в мире, она не боялась ни Иоганны Мюнцер, ни Анетты Вундер, а дело свое знала так, что сам Федор Габельбах объявил — она свое дело знает! А как она умела слушать — о добродетель номер один! — поневоле каждый раз хотелось ей все рассказывать.

Да, но... но-но!

Она, например, чрезвычайно высоко ставила Камю и Малапарте, любила балет и бегала в кино на Штейнплац, чтобы еще и еще раз посмотреть «Орфея».

Она, например, ругательски ругала Балтийское море и туманную погоду, а Давид любил и то и другое, и туман и Балтийское море, и больше всего их вместе.

К тому же вот и критическая точка: Фран страдала объективизмом и толковала ревнителю партийности Давиду Гроту о нейтральной объективности и — что самое страшное — была склонна к пацифизму.

Но они любили друг друга, а это значит: хотели помочь друг другу. Помогать друг другу — не самый скверный перевод понятия «любовь», правда, лишь частичный перевод, зато перевод самой основной его части.

И они помогали друг другу, иначе дело бы не пошло. От убеждений можно отступить, но лишь на короткое время, и не слишком-то охотно отправляются гулять принципы, они возвращаются, и когда-нибудь приходится либо расстаться с ними навсегда, либо навсегда сохранить им верность. И то могло сбыться, и другое могло сбыться, конечно, если помогать друг другу.

Ломка представлений возможна в неисчислимом множестве форм. Кое-что улаживалось само по себе. Кое-что улаживалось решениями вышестоящих инстанций. Моды отживали свой век, и вместе с ними отживало свой век их отрицание. Пришли знания, облегчавшие признание. Дашь другое освещение — и внезапно все прояснишь. Приходилось решать новые сложные проблемы, и то, что еще сию минуту столь много значило, теряло все свое значение. Время было не только мелом, но и тряпкой. Понимание рождало понимание.

Однако приходилось считаться и с силой инерции, да, приходилось считаться, если в том была нужда. Только следовало доказать, что в ней есть нужда; а это тоже значило прийти друг другу на помощь, значило любить, иначе говоря: не скупиться на доказательства. Доказательства же требовали усилий; и они не боялись усилий, они добровольно, даже с радостью соглашались на усилия, а разве это не залог того, что при всех разногласиях между сторонами будет царить согласие? Нажимом и окриком успеха не добиться; искушение пустить их в ход было подавлено в самом зародыше; кто сказал, что любви не нужен разум? И кто сказал, что товарищеским отношениям, где куда меньше точек опоры, чем в любви, кто сказал, что товарищеским отношениям, да, именно им разум не нужен еще больше?

У Давида Грота все еще горели уши, а сын его все еще сосал, когда Франциска сказала:

— Знаешь ли, мне, вообще-то говоря, очень по душе, что наша с тобой жизнь все-таки сложилась.

— Да,— согласился Давид,— ты всегда верила в чудеса... А как ты думаешь, новому Давиду придется пройти подобные испытания? Ссоры, неприятности оттого, что он защищает непривычное, и огорчения оттого, что выступает против привычного! Неужто, когда он вырастет, люди все еще будут страдать только потому, что не будут понимать, о чем хочет сказать другой? Не перестанут набрасываться друг на друга из-за различия во взглядах; таиться в цоколе мельницы, потому что на земле будут царить устаревшие представления о любви?..

— А два журналиста,— подхватила Фран и повернулась спиной к большому Давиду, укладывая маленького Давида в кроват-

ку,—два журналиста, долгое время отлично ладившие, с таким ожесточением накидываться друг на друга из-за двух-трех необычных фотографий, будто стоят под разными знаменами, под белым и под красным, и человек, слушая того и слушая другого, услышит, что над миром или по крайней мере над социалистическим лагерем нависла угроза, и, само собой разумеется, гнездится она во мнении оппонента. Ты это имеешь в виду, спрашивая, будет ли так и впредь?

— Да, и это тоже,—ответил Давид.

Фран взглянула на мальчонку и рассмеялась.

— Мне порой кажется, он каждое наше слово понимает. Посмотри, как он навострил уши!

— Он не навострил уши,—откликнулся Давид,—он унаследовал мои, а мы из породы остроухих. Надеюсь, со временем они выправятся.

— Не знаю, Давид, но, думаю, для тебя жизнь потеряла бы свою прелесть, не будь споров. И если твой сын унаследовал от тебя больше чем только форму ушей, ему покажется скучным, если не о чем будет спорить.

— Да,—согласился Давид,—и, надеюсь, это будут стоящие споры, а не брань из-за стопки так называемых «неслыханных» фотографий.

— Так ли бесполезна эта брань, я уж и вовсе не знаю,—усомнилась Фран,—одно знаю наверняка: мы сохраним самые первые фотографии Давида для Давида, пока он не вырастет, и, когда покажем ему и расскажем историю великого спора, а он ахнет от изумления или не ахнет, рассмеется или не рассмеется, тогда мы будем точно знать, зарубцевались наши наследственные язвы или еще нет. Я убеждена, Давид, он ахнет, он рассмеется, и мы вместе с ним.

— Милая жена,—объявил Давид,—я совершенно с тобой согласен.

10

Само собой разумеется: одна из неслыханных фотографий юного Давида висела с тех пор на габельбаховской стене. Снабжена она была не обычной горизонтальной подписью, а вертикальной записью, вернее, хронологической таблицей: 1958—фотография сделана, предложена для публикации в НБР, отклонена; 1960—первая публикация в медицинской монографии «Человек»; 1961—золотая медаль на венгерской выставке, посвященной вопросам полового воспитания, «Люди»; 1962—

получена первая премия на фотоконкурсе в Советском Союзе «Величие человека»; 1963 — опубликована в серии НБР «Новый человек» с подписью «Человек — новее нового!»; 1964 — отклонена жюри выставки «Наши люди»; основание: «Слишком много секса!»; 1965 — вклад ГДР в календарь ЮНЕСКО «Дитя человеческое»; 1966 — премирована серебряным кубком на международной фотовыставке «Человек — это звучит гордо!»; 1967 — ...

На таблице Габельбаха оставалось еще много места для многих лет, и он сказал Давиду:

— Потерпите, шестьдесят восьмой — год Горького, его слова, что «человек — это звучит гордо», будут опять повторять на каждом шагу, а ваша драгоценнейшая супруга заполучит еще кучу разных премий. С этой точки зрения нельзя не отметить, что при всей нашей безалаберщине все-таки намечается прогресс. Как вспомню пятьдесят восьмой...

При этом, подумал Давид, ты далеко не все знаешь, что было в пятьдесят восьмом! Ты же, по всей вероятности, не знаешь,— надеюсь, этого ты не знаешь,— как я требовал тогда, чтобы тебя незамедлительно вышвырнули из редакции, вымели поганой метлой, надеюсь, ты понятия не имеешь о том, что я категорически отказывался хоть один-единственный день работать с тобою вместе.

— Нет, товарищи, такого вы от меня требовать не вправе: работать с этим типом! Я не желаю участвовать в подобном безобразии и только удивляюсь вам. С фотографией Франциски делайте что угодно, но историю с Габельбахом мы доведем до конца; увидим, кто из нас ошибается.

Пока он это увидел, прошло известное время: волнение долго удерживалось на начальном уровне, заставив позабыть другое волнение, то, от которого и пошла вся заваруха,— волнение из-за двух-трех детских фотографий, ибо в этом случае речь шла о вопросах вкуса, в другом же — об основополагающих вопросах середины века, о путях в будущее и правильном выборе спутников, о расчете с прошлым и об основной проблеме — все *ли у нас в прошлом; речь шла о политике союзов, о кадровой* политике, о политике в отношении людей, о политике вообще, о политике в редакции НБР и в стране ГДР, горячие споры разгорелись вокруг Давида Грота, хотя поначалу они разгорелись вокруг Федора Габельбаха.

На пять часов назначено было партбюро; Хельга Генк вынесла свой спор с Давидом на обсуждение, и Давид был уверен, долго они на этом вопросе не задержатся, он готов пойти на уступки — во всяком случае, в этом вопросе, но не в вопросе о

фотографиях; ради них он, как и прежде, готов на бой; он извинится перед Хельгой и прямиком перейдет к главному делу.

Линия поведения ему ясна, стало быть, можно еще немножко поработать: через два месяца наступает в двадцатый раз годовщина «хрустальной ночи», и он взял на себя подготовку материала. У него мелькнула идея: вместо известных документов и рассказов известных людей или, на худой конец, в дополнение к ним опубликовать свидетельства людей, которые не могли быть участниками этих событий ни с той, ни с другой стороны, он хотел опросить в редакции тех, кто, подобно ему самому, просто при сем присутствовал, хотел сам поглядеть и показать, какие уцелели воспоминания о том жутком дне и какое влияние тот день имел на день нынешний, через двадцать лет.

— Привет тебе, кроликовая дева,— воскликнул он,— вижу, твоего босса нет на месте; это прекрасно, никто не помешает мне жадно созерцать тебя, к тому же, между нами говоря, с ним было бы слишком много церемоний. Поможешь мне?

— Я-то думала, тебе с избытком хватает созерцания собственного сына,— удивилась Карола Крель.— Но, кажется, это болтовня не по делу. Что тебе нужно?

— Мне хотелось бы получить список тех наших сотрудников, все равно где работающих — в редакции, в типографии или администрации, кто в ноябре тридцать восьмого уже хоть мало-мальски созрел умственно. Совсем хорошо, если среди них будут не только берлинцы. Может, найдутся баварцы, экспомеранцы, или рейнландцы, или даже — саксонцы.

— Ну ты и краснобай!.. В ноябре тридцать восьмого я отбывала трудовую повинность, но созрела ли я умственно? А что тогда случилось?

— «Хрустальная ночь».

— Ну, так кое-что вспоминаю,— задумчиво сказала Карола.— Я бы тебе и раньше показала. Меня от этого документа мутит, но один на один с этим делом меня мутит еще больше. Надеюсь, ты все сохранишь в тайне?

— Не могу обещать тебе,— ответил Давид.— Ты никак раскопала документы о Мартине Бормане, и оказалось — он у нас заведует складом?

Карола вытащила папку с личным делом и, посмотрев на дверь, положила ее на стол перед Давидом.

— Габельбах?— удивился Давид.— Чего доброго, коллега Габельбах и есть Мартин Борман?

— Остри, остри,— буркнула Карола, вынимая из каталожного шкафчика ящик с карточками,— ничего я не раскопала. А всего-навсего прочла кое-что, одно место в автобиографии

вашего Габельбаха, это место отчеркнуто — не мною: кто-то еще задолго до меня отчеркнул его.— Она открыла нужную страницу.— Ты читал что-нибудь такого Альфреда Керра?

Давид уже опустил глаза на серый в клеточку лист и на прямой почерк, до него едва дошел вопрос Каролы, и он машинально ответил:

— Статьи о театре, занимательное чтение. Высокопарные. Словно от театра зависит жизнь и смерть!

Он читал объяснительную записку Габельбаха, слыша при этом его интонацию, голос человека, который снисходит до вас, у которого силой выманили какое-то согласие, но он хочет в последнюю минуту сказать, что не верит в удачный исход дела:

«В связи с вышеозначенным считаю себя обязанным остановиться на одном из пунктов более подробно, чем делал это прежде в сходной ситуации. (Дабы тотчас ответить на необходимо следующий из этого вопрос: вначале, в первые три года моей работы в НБР, у меня не хватило мужества изложить события, о которых я хочу сейчас рассказать, вдобавок мне не хватало доверия, и — буду до конца откровенным — я еще не решил окончательно, не покинуть ли, как мне многие советовали, советскую зону оккупации. Это был для меня переходный период, и я не желал усложнять положение.) В первом изложении моей автобиографии, которое, несомненно, имеется в моем личном деле, я, говоря о своем отношении к захвату власти национал-социалистской партией, писал, что, будучи в то время студентом-германистом, поддался, как и подавляющее большинство моих соучеников, пропаганде националистских идей и проявил беспринципность, позволив вовлечь себя в нацистское движение. Далее: как активист КГНСК (Католической группы немецкой студенческой корпорации), я в 1934 году в соответствии с имперским указом автоматически стал номинальным членом национал-социалистского Студенческого союза, кроме этого, я не принадлежал ни к нацистской партии, ни к какой-либо другой ее организации, а после того как покинул университет, мое членство в Студенческом союзе прекратилось. В этой части своей автобиографии мне нечего изменить, зато есть что сказать о первой части, касающейся моих поступков в году 1933. Что до моих взглядов, то все мною записанное верно; относительно же своих действий я умышленно высказался не очень точно. Теперь, мне кажется, наступило время разъяснить, как обстояли дела в действительности.

10 мая 1933 года меня как делегата от Корпорации христианских студентов вместе с пятью десятками других представителей Кёльнского университета вызвали к руководителю пресс-центра,

профессору доктору Гельдмахеру. Тот объявил собравшимся, что в имперской столице состоится в этот день акт национального самоочищения. Берлинский университет, как выразитель воли всего народа, освобождается от противных истинно немецкому духу писаний. Само собой разумеется, и наш, Кёльнский университет подобным же актом подтвердит свою приверженность новым идеям, тем более что он был первым немецким университетом, призвавшим на посты ректора и членов ученого совета людей националистского умонастроения.

Однако студенческий фюрер, некий Мюллер, убедил ректора, профессора доктора Лойпольда, отложить в связи с проливным дождем направленное против антигерманского духа мероприятие, перенеся его на более погожий и потому пригодный день.

Затем были поименно названы студенты, которым предстояло символически осуществить торжественный акт от лица всех факультетов. Без моего, правда, согласия, но и без сопротивления с моей стороны я был занесен в списки от филологов.

Поскольку за это время сама история вынесла приговор, я воздержусь от каких-либо личных оценок, тем более что это, возможно, открыло бы мне путь к уверткам. Итак, сообщаю о самом факте: 17 мая 1933 года около 10 часов вечера я швырнул в костер три книги немецкого писателя, выкрикнув при этом: «Долой глумливое искажение немецкого языка! Защитим драгоценнейшее достояние нашего народа! Я предаю огню писания Альфреда Керра!»

Не знаю, имею ли я на это право, но, не пытаясь никоим образом обелить себя, должен истины ради добавить, что принимал участие в подобном действе без какой бы то ни было убежденности, стало быть, как истый соглашатель. Правду говоря, к писателю Керру я был вполне равнодушен, и сам бы никогда в жизни не додумался до мысли, что книгу следует швырнуть в костер, если не разделяешь взглядов, в ней выраженных.

И уж вовсе не равнодушно относился я, а скорее питал своеобразное влечение к двум авторам, чьи имена выкрикивались во время этого варварского действа, вслед за чем их произведения летели в огонь. Речь идет о Генрихе Манне и Эрихе Кестнере.

Тем не менее я участвовал в этой акции; и если во второй части моей автобиографии я, строго придерживаясь истины, пишу, что в других подобных действах участия не принимал, то это не означает попытки обелить себя. Обелить себя после такой акции немыслимо».

На этом кончался отчеркнутый абзац, и на этом закончил

Давид чтение документа.

— Нет,— выкрикнул он,— нет, Карола, этого не может быть; Габельбах, сжигающий книги,— это безумие! Понимаешь, не знаю, как ты, но я, если случается видеть фотографии той поры, как они проходят под Бранденбургскими воротами или стоят рядом с виселицей на Украине, точно зрители, или фотографии «хрустальной ночи», хохочущие толпы на улицах, я задумываюсь, и каждый, должно быть, задумывается, я спрашиваю себя, спрашиваю людей, которых вижу на этих фото и которые ничем не отличаются от других людей: и ты, вот ты, с такой белозубой улыбкой, как же ты теперь все это осмысливаешь, что ты делаешь, как живешь, вспоминаешь ли, помнишь ли и что рассказываешь ты, когда тебя спрашивают твои дети? Иной раз я придумываю им биографии, это совсем несложно. И все-таки очень сложно; то время бесследно исчезло, и невольно представляется, что и те люди бесследно исчезли, что их больше нет.

— Но мы тоже принадлежим к тому времени,— напомнила Карола.— Должна тебе сказать: я растерялась оттого, что хорошо его знаю. Не знаю, поймешь ли ты меня: костры из книг всегда отмечались как особые признаки фашизма, а Габельбаха я всегда считала человеком, делающим настоящее дело.

Давид попытался представить себе, как Федор Габельбах швыряет книги в костер, горланя при этом дикарские заклинания. Но это ему не удавалось; коллега Габельбах, человек обширных, хоть и беспорядочных знаний, человек педантичный, которого неразбериха лишала покоя, человек, который охотно делился своими знаниями, желая, чтобы они получали заслуженную оценку,— он же не мужлан и не чурбан неотесанный, он мог при случае любого куснуть, но никого бы никогда не прикончил, он же не душегуб, да в нем вообще ни единой черточки не было из тех, какие представляешь себе, представляя себе нацистов, учителя Кастена или живодера, депутата и штурмовика Вольтера или охотников за партизанами среди клиентов мастера Тредера. Габельбах не вписывался в фотографии костров десятого мая, а ведь стоял же у одного из них и принимал участие в националистском очищении. Концы с концами не сходились.

— Что ты насупился?— поинтересовалась Карола.— Гляди не наломай дров. Я показала тебе документы, чтобы с твоей помощью разобраться в них, но не затем, чтобы ты придумал, как свернуть шею Габельбаху. К тому же, все это хранится в его деле и уже десять лет, как известно; там же лежит записка с замечаниями Иоганны Мюнцер; Петрушенция, значит, читала этот документ, и уж если она оставила Габельбаха в редакции, тебе нечего метать молнии. Просто, Давид, мне хотелось с твоей

профессору доктору Гельдмахеру. Тот объявил собравшимся, что в имперской столице состоится в этот день акт национального самоочищения. Берлинский университет, как выразитель воли всего народа, освобождается от противных истинно немецкому духу писаний. Само собой разумеется, и наш, Кёльнский университет подобным же актом подтвердит свою приверженность новым идеям, тем более что он был первым немецким университетом, призвавшим на посты ректора и членов ученого совета людей националистского умонастроения.

Однако студенческий фюрер, некий Мюллер, убедил ректора, профессора доктора Лойпольда, отложить в связи с проливным дождем направленное против антигерманского духа мероприятие, перенеся его на более погожий и потому пригодный день.

Затем были поименно названы студенты, которым предстояло символически осуществить торжественный акт от лица всех факультетов. Без моего, правда, согласия, но и без сопротивления с моей стороны я был занесен в списки от филологов.

Поскольку за это время сама история вынесла приговор, я воздержусь от каких-либо личных оценок, тем более что это, возможно, открыло бы мне путь к увертюрам. Итак, сообщаю о самом факте: 17 мая 1933 года около 10 часов вечера я швырнул в костер три книги немецкого писателя, выкрикнув при этом: «Долой глумливое искажение немецкого языка! Защитим драгоценнейшее достояние нашего народа! Я предаю огню писания Альфреда Керра!»

Не знаю, имею ли я на это право, но, не пытаясь никоим образом обелить себя, должен истины ради добавить, что принимал участие в подобном действе без какой бы то ни было убежденности, стало быть, как истый соглашатель. Правду говоря, к писателю Керру я был вполне равнодушен, и сам бы никогда в жизни не додумался до мысли, что книгу следует швырнуть в костер, если не разделяешь взглядов, в ней выраженных.

И уж вовсе не равнодушно относился я, а скорее питал своеобразное влечение к двум авторам, чьи имена выкрикивались во время этого варварского действа, вслед за чем их произведения летели в огонь. Речь идет о Генрихе Манне и Эрихе Кестнере.

Тем не менее я участвовал в этой акции; и если во второй части моей автобиографии я, строго придерживаясь истины, пишу, что в других подобных действах участия не принимал, то это не означает попытки обелить себя. Обелить себя после такой акции немыслимо».

На этом кончался отчеркнутый абзац, и на этом закончил

Давид чтение документа.

— Нет,— выкрикнул он,— нет, Карола, этого не может быть; Габельбах, сжигающий книги,— это безумие! Понимаешь, не знаю, как ты, но я, если случается видеть фотографии той поры, как они проходят под Бранденбургскими воротами или стоят рядом с виселицей на Украине, точно зрители, или фотографии «хрустальной ночи», хохочущие толпы на улицах, я задумываюсь, и каждый, должно быть, задумывается, я спрашиваю себя, спрашиваю людей, которых вижу на этих фото и которые ничем не отличаются от других людей: и ты, вот ты, с такой белозубой улыбкой, как же ты теперь все это осмысливаешь, что ты делаешь, как живешь, вспоминаешь ли, помнишь ли и что рассказываешь ты, когда тебя спрашивают твои дети? Иной раз я придумываю им биографии, это совсем несложно. И все-таки очень сложно; то время бесследно исчезло, и невольно представляется, что и те люди бесследно исчезли, что их больше нет.

— Но мы тоже принадлежим к тому времени,— напомнила Карола.— Должна тебе сказать: я растерялась оттого, что хорошо его знаю. Не знаю, поймешь ли ты меня: костры из книг всегда отмечались как особые признаки фашизма, а Габельбаха я всегда считала человеком, *делающим настоящее дело.*

Давид попытался представить себе, как Федор Габельбах швыряет книги в костер, горланя при этом дикарские заклинания. Но это ему не удавалось; коллега Габельбах, человек обширных, хоть и беспорядочных знаний, человек педантичный, которого неразбериха лишала покоя, человек, который охотно делился своими знаниями, желая, чтобы они получали заслуженную оценку,— он же не мужлан и не чурбан неотесанный, он мог при случае любого куснуть, но никого бы никогда не прикончил, он же не душегуб, да в нем вообще ни единой черточки не было из тех, какие представляешь себе, представляя себе нацистов, учителя Кастена или живодера, депутата и штурмовика Вольтера или охотников за партизанами среди клиентов мастера Тредера. Габельбах не вписывался в фотографии костров десятого мая, а ведь стоял же у одного из них и принимал участие в националистском очищении. Концы с концами не сходились.

— Что ты насупился?— поинтересовалась Карола.— Гляди не наломай дров. Я показала тебе документы, чтобы с твоей помощью разобраться в них, но не затем, чтобы ты придумал, как свернуть шею Габельбаху. К тому же, все это хранится в его деле и уже десять лет, как известно; там же лежит записка с замечаниями Иоганны Мюнцер; Петрушенция, значит, читала этот документ, и уж если она оставила Габельбаха в редакции, тебе нечего метать молнии. Просто, Давид, мне хотелось с твоей

помощью разобраться в этом факте.

— Но меня словно кипятком ошпарило,— пробормотал он.— Я не сверну ему шею. Скорее уж Иоганне: она обязана была сказать мне все. Нет, не ему, он не стоит того... Беседовал я однажды с подобным типом. Тот во время оно написал письмо в газету. А я, разыскивая какой-то материал в старой, еще нацистской газете, кажется «Берлин ам миттаг», мимоходом подметил имя и адрес: Шёнхаузераллее. До той минуты я читал всю эту галиматью вроде как сообщения с поглощенного пучиной острова, но Шёнхаузераллее, да по ней же трижды в неделю ездишь, Шёнхаузераллее — это же рядом, это же нынешний день у нас за углом. Письмо написал субъект, весьма озабоченный тем, что вот-вот не останется ни единого еврея, а озабочен он был из-за детей, этот фольксгеноссе Мальман, проживающий на Шёнхаузераллее. Как же он объяснит детям, что такое евреи, если вот-вот не останется ни единого еврея, нельзя ли парочку экземпляров показывать в Зоологическом саду? Он еще пытался острить, этот фольксгеноссе: вовсе не обязательно помещать евреев рядом с обезьянами, ведь обезьяны, в конце-то концов, родичи людей. Вот так, с глубоким уважением и германским приветствием, фольксгеноссе Мальман, Шёнхаузераллее.

Я съездил к нему. Думал: неужто он еще живет здесь, и сам всерьез не верил в это. А он жил здесь, уже не фольксгеноссе, а господин Мальман, мастер на колбасной фабрике в районе Вейсензее, проживающий по старому адресу.

Конечно, он разнервничался, то наглел, то хныкал, однако напуган был не слишком. Чего, собственно, я хочу? Он свою вину искупил: один сын погиб на фронте, второй уехал в Канаду и не подает о себе вестей, жена умерла, а сам он три года провел в тюрьме в Баутцене, у него есть документы — свидетельство об освобождении, он показал мне его с неким торжеством, чего мне еще от него надобно? В Баутцен он попал за донос, он сожалеет об этом, он и вправду теперь сожалеет, но письмо? «Что вы хотите, коллега, ведь тогда все так считали. Понятно, неправильно это, и я сожалею, и вправду теперь сожалею». Если я хочу, пожалуйста, могу справиться на фабрике, как он работает, и, когда он еще разок-другой назвал меня «коллега», я сбежал.

Понимаешь, он мой коллега; он, конечно же, член профсоюза и, вполне возможно, делает отличную колбасу, и, вполне возможно, я каждую неделю съедаю кусок этой колбасы, он мой коллега, фольксгеноссе Мальман, и Габельбах, который жег на костре книги, тоже мой коллега, ну разве не великолепно?

— Когда произносят «жег книги», это звучит чудовищно,— сказала Карола Крель,— но, на мой взгляд, таким, как этот

сволочной колбасник, Габельбах наверняка не был. Я читала его автобиографию...

— Разумеется,— прервал ее Давид.— Таким он не был. Он же не колбасник, он студент-филолог, студент, изучающий языки и литературу; он не был в руководстве «Трудового фронта», не был штурмовиком, его всего-навсего записали в национал-социалистский Студенческий союз, к тому же в Католическую корпорацию. Тот мерзавец необразованный, этот мерзавец образованный. Не беспокойся, Карола, я делаю между ними различие, но, если хочешь знать, я безмерно разочарован, и это выбило меня из седла. С первого задания в этой редакции я работал с ним бок о бок, и мы работали неплохо. У меня язык не поворачивается, но, конечно же, он один из моих учителей, а теперь...

— А теперь тебе ничего не изменить,— успокоила его Карола, которая терпеть не могла, когда Давид начинал, как она это называла, копаться в своей судьбе,— к счастью, это и не в твоих возможностях; иначе вышло бы, что ты желаешь позабыть азбуку, если учил ее у господина Кастена в Ратцебурге. Вдобавок нельзя упускать из виду, что истории этой уже двадцать пять лет.

— Знаю, все знаю,— ответил Давид.— Я же не говорю, забудь о списке, который я у тебя просил, оставь в покое воспоминания о «хрустальной ночи», кто знает, каких чудищ мы вспугнем... Я же так не говорю, но надеюсь, что и тебя от всего этого жуть берет, Карола, самую малость надеюсь!

— Вот это, по правде говоря, хуже всего,— сказала она,— и я жалею, что показала тебе автобиографию Габельбаха. Истерику закатить я и сама бы сумела.

Давид шагнул к двери.

— Прежде чем ты меня подомнешь, как в стародавние времена, я лучше уйду, меня вызвали на партбюро. За списком зайду завтра или в другой раз. Я справлюсь со всем этим, Карола.

Он надеялся, но надежда обманула его. Поначалу он отнюдь ни с чем не справился. Поначалу он лишь учинил великую неразбериху оттого, что у него в голове царила полная неразбериха. В голове его состоялось бурное собрание.

Вот поднялся умудренный годами Давид, о ком известно — он немало повидал на своем веку, в парламенте его знают как Давида Разумного, и в его спокойной речи звучало предостережение: бойтесь оптического обмана, бойтесь увидеть то или иное событие крупнее, чем оно было на деле...

Но тут, выкрикивая слова Гейне о сожжении людей — чего следует ждать после сожжения книг,— его прервал один из более молодых Давидов, и Давиду-старшему пришлось просить пред-

седательствующего Давида обеспечить ему право слова.

У него нет оснований, продолжал Давид-старший, преуменьшать значение огненного действа, но он желал бы обратить внимание на то, что означенное событие получило многократное увеличение в силу многократного проецирования в сознании людей всего мира, отчего глупый студент внезапно начинает казаться исполином, размахивающим факелом.

Ага, вот как, раздались выкрики из молодой фракции Давидов, слушайте, слушайте, теперь они вдруг стали глупыми, эти студенты, а ведь еще совсем недавно господин коллега Давид именовал их учащимися нового типа, прозорливыми представителями нового образа мышления, конечно, тогда это всех устраивало, а нынче всех устраивает, если слово «студент» употребляется с прилагательным «глупый», тогда позвольте спросить, что же, собственно говоря, представляют собой студенты по мнению предыдущего оратора Давида?

Давид-фактограф попросил слова и получил его. Прозвище свое он носил по заслугам, ибо был адвокатом объективности. Он не желал вмешиваться в спор о сущности студентов, он осведомился о возрасте обвиняемого и узнал, что Габельбаху, когда тот швырнул в костер Керра, было двадцать лет, Давид-фактограф счел, что при одних обстоятельствах это возраст достаточно юный, хотя при других — вовсе нет, и было бы целесообразно выяснить обстоятельства, при которых жил в ту пору обвиняемый. Но многочисленная группа Давидов и слышать не хотела об этом — один за другим они вставали и выкрикивали: «В двадцать я уже имел профессию!», «В двадцать я уже давно был солдатом!», «В двадцать я едва не стал отцом!» (В этом месте протокол отмечает смех и возгласы.) «В двадцать,— продолжали они выкрикивать,— я уже вел самостоятельную редакционную работу!», «В двадцать я уже прочел десяток произведений классиков марксизма!», «В двадцать я стал членом партии!», «В двадцать меня считали взрослым, и никому не пришло бы в голову извинять совершенные мною ошибки молодостью,— к чему же эта болтовня о юном возрасте, если человеку было двадцать?» (Бурное одобрение.) Но одновременно кто-то из Давидов — в последних рядах — попросил слова:

«Да, конечно, Давид, тебе в тысяча девятьсот сорок седьмом было двадцать, а тому, другому, двадцать было на четырнадцать лет раньше; для него, двадцатилетнего, война была уже едва различимым воспоминанием, для тебя же она была живой действительностью... Да, еще кое-что! У тебя дважды забирали отца, первый раз надолго, второй навсегда, но между первым и вторым разом у него было время, и он помог тебе разобраться в жизни; а

что говорил тому, другому, его отец, и что ему говорили в школе и в высшей школе, и о чем ему твердили плакаты на стенах и выписываемая в семье газета? Тебе, Давид, тебе, когда ты был двадцатилетним, они продемонстрировали два трупа евреев и множество других трупов, тебе они показали четкую линию от первого трупа в Кюхенбахе до последнего в майской зелени Тиргартена; для того, другого, тоже двадцатилетнего, как и ты, хотя отнюдь не такого же, как ты, для того смерть была порождением фантазии Теодора Кёрнера и Эрнста Юнгера, она приводила на память Лангемарк, она обладала бесконечно далекой красотой святого Себастьяна, и главное: тот двадцатилетний не допускал и мысли, прочерчивающей огненную прямую в будущее от факелов перед университетом на месте древнеримской колонии Агриппина, что на берегу Рейна, до труб Майданека, ректор прорявкал ему что-то о фениксе германского духа, о пламенном протесте против вредоносного духа подстрекателей и совратителей народа, о салонно-большевистских интеллигентах, он услышал команду и бросил три книги в костер — так разгляди же разницу между собой, Давид, когда тебе было двадцать, и этим простофилей из корпорации, когда ему было двадцать!»

«Я вижу разницу,— воскликнул Давид-обвинитель,— но я ничего не прощаю...»

«Стоп,— воскликнул защитник, также по имени Давид,— прежде чем ты продолжишь... мы еще не покончили с различиями между твоими двадцатью и его двадцатью годами; предыдущий оратор говорил о командах, отданных двадцатилетнему Габельбаху, а как обстояло дело с командами, отданными Давиду, когда ему стукнуло двадцать? Когда ему стукнуло двадцать, в году сорок седьмом, его уже два года настойчиво перевоспитывали, говорили с ним языком газеты «Нойес Дойчланд» и газеты «Теглихе рундшау», повторяли слова Энгельса, и Брехта, и Ленина, читали ему книги Гейне и Зегерс, разъясняли ему речи Пика, Ульбрихта и Гротеволя, вспоминали «Голоса народов» Гердера и вновь и вновь вспоминали Великий голос Великого Манифеста, набрасывались на него с приказами: «Учись азам!» — и гремели над его ухом: «Время тебе встать у руля!» А на улицах, по которым ходил этот двадцатилетний парень, висели плакаты, для него вывешенные плакаты: «Помни, вперед шагая... Вставай, проклятьем заклейменный... Вперед, рабочий народ... Марш, левой! Два! Три!.. Воспрянет род людской!»

У этого двадцатилетнего Давида,— продолжал защитник Давид,— были еще и переводчики, если он чего-то не понимал, они обращали чуждые ему слова в понятные: «пролетарий» они переводили примером жизни Вильгельма Грота, а «солидар-

ность» — примером смерти Вильгельма Грота, «прибыль» — примером мастера Тредера, а «сверхприбыль» — примером Бергман-Борзига, «демагогию» — примером учителя Кастена, «антисемитизм» — смертью в ручье Кюхенбах, «милитаризм» они переводили примером жизненного пути Германа Грота из Ратцебурга и солдафонским всевластием генерала Клюца в Берлине, а «демократию» они растолковывали ему, сотню раз спрашивая и переспрашивая: а ты, что скажешь ты по этому поводу?

Кстати,— почти с нежностью добавил защитник Давид,— если уж речь зашла о заслугах переводчиков, следует назвать их имена, некоторые по крайней мере,— имя Иоганны Мюнцер, известной также как Пентесилея и Петрушенция; имя Ксавера Франка, тогдашнего районного партсекретаря в Берлине, ныне работника высших инстанций; далее имя товарища Возницы Майера, которого ты должен благодарить прежде всего за преподанное им умение отличать интеллектуалов от прогрессивной интеллигенции, а также за многое другое; по крайней мере упомянуть следует и патрона Ратта, колкости которого тебя частенько подгоняли; и...— вот тут в голосе защитника, который звался Давидом, зазвучали по-настоящему нежные нотки,— вот тут и должно быть названо имя Федора Габельбаха...»

Но еще прежде, чем адвокат Габельбаха успел перечислить заслуги Габельбаха перед Давидом Гротом, буйный хор Давидов загорланил: «Кончай, долой, подумаешь, вот именно поэтому все давно утратило силу, ничего о том знать не желаем, не желаем знать Габельбаха, не желаем его здесь видеть, хватит, хватит терпеть его здесь, все ложь, все маскировка, мы его не желаем, не желаем больше...»

Не желаю больше, думал Давид Грот, пусть говорят что угодно, я больше не желаю, я иду на партбюро и без всяких околичностей заявлю: с ним я больше не желаю иметь дело!

Только этого партийному бюро не хватало. Там как раз горячо обсуждали решение V партийного съезда и вопросы подготовки к выборам в Народную палату. В сущности, кроме двух-трех пустячных вопросов, партбюро и обсуждать было нечего: несколько разнородный состав парторганизации, которую надо вести в бой против последствий деятельности фракции Ширдевана и Вольвебера и за осуществление закона об упрощении и усовершенствовании работы государственного аппарата, ориентировать на осмысление политической сущности понятия конфедерации и мирного договора, генеральной линии развития народного хозяйства и социалистических изменений в области культуры и идеологии, кроме того, нужно обсудить вопрос о конференции рабочей молодежи и о Неделе Балтийского моря, а

также вопрос о безъядерной зоне. Партбюро осталось лишь подготовить два предложения для секретариата РК, переварить критические замечания ПБ, три решения первого Пленума ЦК конкретизировать для их журнала, ответить на запрос РКПК, обсудить два заявления о приеме в партию, передать одно дело об исключении из партии, обоснованно отклонить решение первичной организации одного из отделов, составить приветственный адрес, утвердить докладчика и двух пропагандистов и снова и снова и без конца добиваться понимания, как в пределах партбюро, так и за пределами партбюро, и снова и снова и без конца добиваться понимания того грандиозного события, которое известно нам под деловым обозначением — XX партийный съезд.

Вот уж действительно товарищ Давид Грот явился в подходящую минуту; добро пожаловать: наконец-то нам есть чем заняться!

И что же так заботит товарища Грота, что принес он интересного? Он, видимо, принес предложение по улучшению работы, он хочет взять на себя новое обязательство, у него имеется план, новая идея, он хочет помочь советом, желает проявить инициативу или, на худой конец, выскажет дельное замечание?

Или он опять собирается спорить из-за этих младенческих фото? Ах нет? И не сам товарищ Грот просил вызвать его на бюро? Так кто же? А, товарищ Генк. Она крупно поговорила с товарищем Гротом. Началось все из-за фотографий младенца Давида? Ага, стало быть, все-таки эти чертовы фото! Нет, с нас довольно! Как так, ссора уже улажена, товарищ Грот признает, что вел себя неправильно? И для этого вы требуете созыва бюро? Да вы что, ребятки! Ну, ну, ладно, принимаем к сведению: вы помирились. Отправляйтесь работать, у нас еще полно дел; надо обсудить план учебы в сети партийного просвещения... Но что же, боже правый, что вы еще хотите сказать?

А сказать Давид собирается свою замечательнейшую речь. Все предостережения, предупреждения, попытки к умиротворению на только что закончившемся совещании Давидов позабыты, товарищ Грот держит речь, он Дантон и Робеспьер в одном лице, железный борец, этакий монолит, глашатай пролетарской бдительности, рупор основных законов классовой борьбы; товарищ Грот высказывает своему бюро все, что у него накипело, он говорит резко, с жаром, и слова подбирает ловкие, и фразы складывает ловко, о! хоть бы их запомнить, ах какое горе, если он их позабудет и не сохранит для внуков и правнуков!

Какой позор, что партбюро, видимо, не может или не хочет

уследить за ходом его мыслей, во всяком случае, оно не следует за ним по риторической тропе к вершинам революционной добродетели. Члены бюро сидят, отгородившись от него зеленым столом, и все его слова-кинжалы, слова-топоры и фразы-копья не достигают цели, они и не собираются выкинуть белый флаг самокритики. Напротив, совсем напротив: они выставляют красный брейд-вымпел, подают знак — теперь наша очередь критиковать! Помолчи, товарищ Грот, послушай нас, товарищ Грот, теперь будет говорить партбюро!

Но оно говорит не о Габельбахе и не об Иоганне Мюнцер, которая якобы обязана была сказать Давиду Гроту, кто такой Габельбах; партбюро для начала говорит о товарище Гроте, наконец выкладывает ему то, что накопилось у всех на душе. Оказывается, не план учебы в сети партпросвещения их первейшая забота еще минуту назад; у них внезапно нашлось время для Давида Грота, они, можно сказать, увлекаются воспоминаниями о нем, но создается впечатление, что память у членов бюро несколько односторонняя, она удерживает факты, вовсе не существенные для данного случая, создается впечатление, что они не помнят его заслуг, зато помнят многое другое, и, главное, помнят — мыслимо ли это? — помнят, что партбюро парторганизации «Нойе берлинер рундшау» уже дважды вынуждено было помочь товарищу Гроту, вернуть его воспитательными мерами на твердую почву устава, — а почему, по какому поводу?

Давид с трудом вспоминает — слишком все давно было, — на вид ему поставили уже год назад, а выговор вынесли даже три года назад; неужто ему, такому занятому человеку, до сих пор держать все это в памяти, он и думать забыл обо всем, у него забот полон рот, ведь, в конце-то концов, не правда ли, классовая борьба не осуществлялась бы, не будь классового борца Грота, не так ли, товарищи? Что ж, товарищи ему помогают, для этого они и сидят здесь; они освежают память Давида и формулируют это весьма изящно: нам пришлось, дорогой товарищ, дважды вдалбливать тебе одно и то же, и, если бы не внутрипартийные правила, мы в обоих случаях записали бы как основание: «взыскание вынесено за совершеннейший идиотизм». В действительности на вид ставили и выговор выносили тебе за то, что ты поддался своей склонности к политически опасным индивидуальным действиям, и лишь твое сверхъестественное везение предотвратило и в том и в другом случае беду, которая должна была неминуемо последовать за твоими поступками, — беду, имеющую общественное значение. Итак, тебе дважды повезло: во-первых, не случилось беды, почву для которой ты сам подготовил, во-вторых, мы приняли во внимание это обстоятель-

ство, когда выносили тебе взыскание.

И, словно бы не удовольствовавшись столь абстрактным воспоминанием, бюро после этого вступления конкретизирует свою критику:

Случилось однажды, начинают члены бюро и при этом исполняют свой рассказ, как и подобает, коллективно, в манере антифонного пения: каждый выступающий подхватывает с полуслова фразу предыдущего оратора, каждый знает свою партию, и, взятые вместе, эти партии составляют две довольно странные истории, и обе начинаются как все истории: случилось однажды, да, случилось однажды, что некий юнец... но Давид Грот не очень-то охотно выслушивает обе истории.

Давид Грот слушает, что говорят его товарищи, прилежные плетельщики ковров, искусные мастера смальтовой мозаики, они подают друг другу то ниточку, то пестрый осколок, и вот уже возникают узоры и картины, по которым легко прочесть, что же собой представляет этот Грот; Давид слушает и удивляется, как это он дал оттеснить себя от своего благородного намерения, и какую вообще-то роль играет его великий поход в «Порт-Артур» или его обмен мнениями с Конрадом Аденауэром сейчас, когда главное — выявить, какую роль играл, играет и еще сыграет в будущем Федор Габельбах, сейчас, когда необходимо внести ясность, почему Иоганна Мюнцер, член партбюро и страж прообраза нового человека, ни единым словом не обмолвилась Давиду о костре 17 мая и участии в этом действе поджигателя, подстрекателя, подговорщика Габельбаха.

Само собой разумеется, Давид не прерывает своих товарищей — это не принято, когда тебя критикуют; кого критикуют, тот получит слово в конце; пока говорят члены бюро, лучше помолчать, ибо они тоже люди.

А люди не очень-то любят, чтобы их прерывали, когда они рассказывают истории; и Давид не осмеливается протестовать или возражать, если даже в душе он рвет и мечет, ведь все было совсем-совсем иначе.

Ну ладно, бюро хочет во что бы то ни стало изобразить Давида помесью анархиста с дурашливым мечтателем — да будет воля его здесь, на земле, но уж только не на революционных небесах, там оценят по достоинству то, что совершил Давид Грот для блага человечества и нашего дела как в поселке «Порт-Артур» тринадцатого октября пятьдесят седьмого года, так и в Большой аудитории Технического университета в Шарлоттенбурге, западном районе Берлина; пусть бюро до той поры носится со своими версиями; пусть развлекает себя рассказом: случилось однажды, да, случилось, что был среди нас некий юнец Давид

Грот, он считал себя умнее всех и недвусмысленно выказывал свою средневековую склонность вершить судьбы человечества в одиночку, надеясь лишь на самого себя, мысля себя господином положения; и если революции можно назвать локомотивами мировой истории, то Давид Грот желал быть стрелочником на путях исторических событий — так, или примерно так, мыслил Давид Грот.

И партбюро это утверждает, далее оно утверждает, что в самовольно присвоенной функции кормчего Давид уже дважды, по меньшей мере дважды, едва не довел дело до политического скандала; стоит вспомнить его великий поход в «Порт-Артур», а ведь это лишь одно из двух его прегрешений!

Случилось все в воскресный день, как раз такой, что называют тринадцатым роковым и который пользуется особой популярностью у любителей высасывать из пальца всякие и разные небылицы о ГДР.

Случилось все это в воскресный день октября, тринадцатого октября тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года. Давида разбудили спозаранок, вызвали поначалу в конференц-зал НБР, оттуда послали в районный комитет Вейсензее, отсюда переправили к бургомистру и в конце концов привели на агитпункт Национального фронта в районе Хоэншёнхаузен, его и многих ему подобных.

Там царило оживление, да к тому же еще политическое, что в этих стенах случалось не так уж часто. Дело в том, что требовалось нанести сокрушительный удар по врагу — как тут не активизироваться. Требовалось нанести сокрушительный контрудар, расколошматить врага — как тут не радоваться.

Но не штыки и не премудрые печатные изделия, именуемые брошюрами, служили оружием, с которым Давида и его друзей бросили в битву. Скорее речь шла о куда более традиционном средстве борьбы, которое нынче вновь собирались пустить в ход, речь шла о деньгах.

Давид Грот в это воскресенье стал менялой, был на шестнадцать часов принят на государственную службу в банк, стал временно банкиром и вышел на бой — о редкостный миг! — дабы спасти отечество.

Последнее, увы, не было преувеличением; страна была в опасности, как каждая страна, когда она теряет контроль над своими денежными знаками.

Из общей суммы банкнотов, выпущенных в обращение министром финансов и его банком, недосчитывалась кругленькая сумма в два миллиарда сто миллионов. В сберегательных кассах, в сейфах всех отделений банка, в несгораемых шкафах предпри-

ятий, торговых центров и административных органов их в наличии не имелось.

Министр и его эксперты догадывались о местонахождении указанных ценных бумаг. Значительная часть недостающих двух миллиардов ста миллионов, как они предполагали, припрятана в Большой Чулок их соотечественниками; их соотечественники — стреляные воробьи, они люди озабоченные, недоверчивые и оттого все еще близорукие; до сей поры они знали только государство, которое их облапошивало; они, быть может, и доверяли кое в чем новому государству, но в денежных вопросах многие состояли в далеком родстве с прусским финансовым воротилой Ханземаном и вслед за своим дальним родичем повторяли: дружба дружбой, а табачок врозь,— и припрятывали денежки в сундуках. (Когда же в конце года пятьдесят седьмого сберкассы доложили министру о непредусмотренных дополнительных вкладах в сумме полутора миллиардов марок, то министр узнал совершенно точно: в Большом Чулке соотечественники держали один миллиард пятьсот миллионов. И министр, как говорят, был весьма доволен.)

Напротив, не слишком-то довольны были в воскресенье тринадцатого октября там, где осели недостающие шестьсот миллионов: в том краю, что кратко именуется — Запад.

Назвать все пути, которые вели туда, не хватило бы ни времени, ни сил даже у партийного бюро, хотя члены его могли подменять друг друга во время рассказа, а Давид Грот, обязанный слушать воспоминания своего партбюро — ибо это его здесь драли за уши,— не слишком-то интересовался подробностями, сам прекрасно зная дорожку, вернее сказать, темную тропку, по которой из его страны утекли двести восемьдесят марок и шестьдесят пфеннигов. В душе его шевельнулось непривычное, щекочущее желание заявить во всеуслышание: эквивалент ста сорока марок тридцати пфеннигов из невыявленной суммы, видимо, все еще висит на дереве, на берегу Шпрее, неподалеку от острова Музеев! Но Давид остерегся; не остерегся он, однако, в то воскресенье, в день нанесения валютного контрудара, и уступил своей склонности к индивидуальным действиям, а теперь именно об этом факте напомнил ему хор партбюро.

В агитпункте Хоэншёнхаузена Давида назначили финансовым уполномоченным по району садовых участков поселка «Порт-Артур»; ему надлежало совершить в «Порт-Артуре» то, что его единомышленники в этот день совершали по всей стране: нужно было вместе с остальными уполномоченными принять у жителей «Порт-Артура» все наличные деньги и выдать взамен квитанции, а также выдать жителям «Порт-Артура» другие деньги, отныне

единственно имеющие хождение, максимально по триста марок на человека. В случае, если будут сдаваться большие суммы, ему следовало заверить сдающих, что и эти суммы в течение ближайших двух недель будут обменены, все операции следовало заносить в бухгалтерские книги и, что самое главное,— не в последнюю очередь именно поэтому на акцию обмена бросили его и ему подобных,— разъяснять политическое значение происходящего.

Вот все, что Давиду надлежало сделать в этот день, правда, во взаимодействии с другими уполномоченными. Однако другие что-то опаздывали.

Они должны были вот-вот явиться, но Давид, наш умник Давид, решил, что при контрударе дорога каждая минута.

А потому он предложил отправиться сразу же с деньгами в «Порт-Артур», там на обменном пункте он, не теряя ни секунды, проверит, все ли в порядке, и подготовит порции банкнотов для всех секций обменного пункта; ведь весь «Порт-Артур» разделили на секции — от «Порт-Артура I» до «Порт-Артура IV», и очень по-деловому получится, что деловой Давид еще до прибытия остальных товарищей-менял все подготовит.

Что ж, руководители обменной операции на агитпункте Хоэншёнхаузен, как люди образованные — двое были даже постоянными читателями «Нойе берлинер рундшау» и постоянными читателями очерков Давида Грота,— сделали на основании сравнительно толковых статей ошибочный вывод о деловых качествах их автора; испытывая своеобразное благоговение перед сочинителями, к чему склонны как раз порядочные люди, они согласились с планом финансового деятеля Грота, набили его мешок новыми марками в сумме двухсот восьмидесяти тысяч и с легким сердцем отпустили его в «Порт-Артур».

Они-то, вполне возможно, с легким сердцем, подумал Давид, когда члены партбюро в этом месте своего рассказа перевели дух и представили себе, качая головами и покручивая указательным пальцем у лба, те самые двести восемьдесят тысяч марок в мешке на плече Давида, они-то, вполне возможно, с легким сердцем отпустили меня, но на меня ответственность и деньги легли тяжким бременем. Однако, прежде чем Давид успел мысленно перехватить инициативу и продолжить рассказ, что, вне всякого сомнения, дало бы более верную картину последующих событий, бюро вновь взяло ведение бюро в свои руки; и это бюро — куда он явился из-за фотографий Франциски, ссоры с Хельгой и злодеяний Габельбаха,— это бюро вновь разразилось тирадами, никакого отношения к трем вышеуказанным поводам не имеющими; но главная-то насмешка заключалась в том, что подробности

дела, которые столь исправно излагались Давиду, были известны бюро только благодаря самому Давиду, ему самому и его самокритичному отчету, сделанному год назад.

Итак, он садится с двумястами восемьюдесятью тысячами марок в трамвай, маршрут 63, спорит с кондуктором, потому что тот требует платы за провоз багажа, и с какой-то мамашей он тоже поругался, потому что три джутовые веревочки его мешка зацепились за плетеную коляску ее ребенка, при этом он ощущает себя Великим Конспиратором, ибо удержался и не ответил мамаше на ее шпильку о чокнутых садоводах, которые, ей-же-ей, могли бы и в другое время возить кроличий корм.

Он сходит на остановке Вейсензеервег и взваливает на плечо свои двести восемьдесят тысяч; он прибыл в район садов-огородов «Порт-Артур»; остается лишь разыскать Дом культуры «Порт-Артура» — жаль, он позабыл на агитпункте изучить план поселка, но беды большой нет, ведь свой Дом культуры, как известно всем, в особенности журналистам, свой Дом культуры знает каждый гражданин страны.

И только журналист Давид Грот собрался спросить у первого встречного жителя «Порт-Артура» дорогу, как его охватывают сомнения: во-первых, ему давным-давно, еще на первом этапе журналистской карьеры, вдолбили — не обращаться к первому встречному, если требуется навести справки,— кстати, не тому ли самому коллеге Габельбаху обязан он этой наукой? Во-вторых, ему кажется, что лица жителей «Порт-Артура» выражают кровожадность, ну, может, не кровожадность, а просто жадность и даже алчность, и не носят ли все эти физиономии печати преступности, и разве садово-огородные участки не служат прибежищем всякому сброду?

Нет, у них он лучше не станет спрашивать дорогу, он, помказначея Грот, с мешком, набитым народными денежками, на спине! Премудрому товарищу Гроту не пришло в голову, что люди, в столь ранний час поспешающие по дорожкам, желают попасть туда же, куда и он ищет путь, ему не подумалось, что вид у людей невеселый по причине утренних радиосообщений, раннего вставания в воскресный день и забот о личных сбережениях; и, наконец, он не заподозрил, что хмурые лица портартуровцев, возможно, результат на этот раз не оптического, а психологического обмана, следствие подозрительности, к которой склонны люди, волокущие двести восемьдесят тысяч марок по незнакомой местности; что эти соображения не пришли в голову Давиду Гроту, не удивит никого, кто хоть немного знает Давида Грота.

Но мало-помалу партбюро начало действовать на нервы члену

партии Гроту. Если бы члены бюро кратко, по-деловому раскритиковали события тринадцатого октября, дабы припомнить ему все его промахи, ну, с этим он бы примирился, они же занялись разбором психологических обманов, обратились в консилиум из психологов, психиатров даже. Э, нет, это не по-партийному, и Давид мгновенно, и уж вовсе не по-партийному, решил: погодите, вас я больше в бюро не выберу!

И члены бюро, как действительно хорошие психологи, переключились в этом месте рассказа с эпической широты на анекдотичную краткость и быстро довели хоровой рассказ о великом марше через «Порт-Артур» до политически многозначительного конца. Итак, коротко говоря, заблудившийся носитель денежного мешка не рискнул спросить дорогу.

Далее: он обратился с вопросом к ребенку, тот послал его в сектор «Порт-Артур IV», но там была пивная «Солнечная земля», а никак не Дом культуры.

Далее: какой-то человечек крикнул ему через живую изгородь: «Сюда, сюда!» Человечек ждал коллегу своего племянника, который обещал принести древесные отходы с лесопилки. Небольшая путаница, большие усилия ее распутать: человечек насторожился, решил, что его обманывают, что в мешке дрова, пожелал взглянуть на содержимое мешка... Поспешное отступление, почти бегство Давида, только бы вырваться, он вырвался и убежал, и конечно же, направление выбрал неверное.

Далее: пошел дождь. Выдержит ли мешок? Примут ли портартуровские жители мокрые денежки? Осмотрительные меры осмотрительного Давида: он решает одолжить зонт! Результат: какой-то чужак, нагруженный мешком, появляется воскресным утром, в восьмом часу, в домике гражданина Кёнагеля, а там как раз купают детей, троих! Ну и крик же они подняли! Давид наскоро сочиняет небылицу, вручает пятьдесят еще действительных марок в залог, получает зонт и выскакивает на улицу, пока гражданин Кёнагель не включил приемник!

Далее: призывный вопль некой старой дамы; вопль явно относится к Давиду Гроту, шагающему по Фейльхенштигу, одной рукой он, еле удерживая равновесие, сжимает мешок с двумястами восемьюдесятью тысячами, другой держит над ним зонт. Старая дама стоит на табурете, пытаясь вытащить из-под крыши домика толстенный сверток. Ей нужно приподнять доску, она просит Давида помочь. Он помогает, встав на мешок, набитый новенькими купюрами,— на табурете для двоих места нет.

— Сегодня обмен денег,— объявляет дама.

Местечко под крышей — самый надежный тайник; она идет сейчас обменивать свои сбережения, говорят, обменивают в Доме

культуры «Порт-Артура».

Далее: Давид Грот, прослывший Хитроумным, притаился в засаде на Фейльхенштиг; четверть часика, и старая дама выходит из дома, сжимая под мышкой сверток, она семенит по Фейльхенштиг в направлении Дома культуры, а на расстоянии тридцати шагов за ней следует, сгибаясь под грузом двухсот восьмидесяти тысяч марок и зонта, финансовый деятель товарищ Грот, активист, готовивший контрудар и наконец-то нашедший дорогу в Дом культуры «Порт-Артура».

Когда он прибыл, народу там уже было полно; все другие «финансовые деятели», полиция, ребятня, пенсионеры, рабочие, вернувшиеся после смены, вдовы и старые дамы, молодые матери и отцы семейств, и слухов тоже было полно, и недовольства, и злобы, и гнева, и ненависти, и дождь затянулся, только ключа к Дому культуры не было, он ведь лежал у Давида в кармане, только денег не было, они ведь лежали в мешке у Давида, только самого Давида не было, он слишком много возомнил о себе, и за урон, нанесенный политическому сознанию жителей «Порт-Артура», ему вкатили строгий выговор.

Но это же перегиб, хотел протестовать Давид, когда услышал, чем закончило бюро свое сообщение,— тогда он получил вовсе не строгий, а всего лишь простой выговор, однако реплики он не подал: ему бы возразили, что прилагательное «строгий» употреблено здесь не в официальном смысле, а как обозначение моральной встряски, с помощью которой они надеялись довести до его сознания свое неодобрение, хотели довести — но, увы, теперь понимают: этого, совершенно очевидно, было слишком мало.

Давид пытался помешать партийному бюро развивать эти мысли, для чего прикусил язык и временно даже оглох на оба уха, ибо нравоучения ему до чертиков наскучили, хотя он и понимал, что партийному бюро вовсе не прискучило его поучать; сейчас они станут клеймить другой, более старый случай его сольного выступления и вновь возмущаться им, Давидом, и его диалогом с доктором Конрадом Аденауэром, бундесканцлером Западной Германии, когда тот собрался получить очередное звание почетного доктора.

За ту еретическую акцию ему поставили тогда «на вид», и Давид остерегался обнародовать, что нагоняй ни в коей мере не отравил ему радости от такой поистине прекрасной, хоть и еретической, акции.

А ведь Иоганна Мюнцер говорила о своем разочаровании и надолго занесла Давида в список людей, которым сейчас здесь следовало бы кое-чему научиться, а они здесь сейчас ничему не научились, ибо испорчены были до мозга костей еще в бесчело-

вечные времена.

Она назвала «операцию Аденауэр» провокацией и тут же вспомнила, что именно суть этого понятия была предметом первого поучения, полученного Давидом Гротом от Иоганны Мюнцер.

— Отвечай, ты провоцировал Аденауэра, зуровский сенат и штуммовскую полицию?— вопрошала Иоганна.

— Да, провоцировал,— отвечал Давид,— но ведь с противоположных позиций.

— Как так с противоположных?

— С позиций классовой борьбы. Я применил методы классового врага против классового врага. Я проник в лагерь классового врага и внес замешательство в лагерь классового врага.

— Верно,— согласился Возница Майер,— надобно задать им жару, иначе мы останемся на бобах!

— Товарищ Майер,— заявила Иоганна,— я категорически протестую против лозунгов времен Макса Гёльца. Нам известно, что ошеломляющие методы товарища Грота тебе по душе, но сейчас здесь иные времена. Вдобавок тебе неизвестны конкретные обстоятельства, которые здесь сейчас обсуждаются, ты же был на курсах, если я не ошибаюсь?

— Нет, не ошибаешься,— ответил Возница Майер,— все верно, а учиться нужно постоянно, иначе останешься на бобах!

Давид почуял — нашелся союзник, потенциальный, и мигом вставил:

— Если товарищ Майер тоже будет решать мой вопрос, он должен знать, о чем идет речь. Предлагаю: я еще раз кратко изложу события. Итак, я раздобыл билеты на церемонию торжественного присуждения Аденауэру докторской степени, сто...

— Раздобыл — это эвфемизм понятия «надул и выманил»,— уточнила Иоганна Мюнцер.

— Я,— продолжал Давид,— рассказал представителям студенчества в Шарлоттенбурге, что многие студенты гумбольдтовского университета горят желанием хоть разок увидеть господина Аденауэра. И это ничуть не надувательство; я только не упомянул о мотивах их горячего желания. Я убедил студентов Технического университета, что во имя неделимой Германии не мешало бы, чтобы они выдали мне сотню билетов. Их я и правда роздал студентам гумбольдтовского университета, девяносто девять штук.

— И уверял ребят, что за твоими действиями стоит партия,— сказала Иоганна.

— Я был в этом уверен, товарищи. Признаюсь, я так считал, иначе я не сказал бы этого нашим студентам.

Иоганна обратилась к остальным членам партбюро:

— Извините, если я отвлеку на минуту ваше внимание, но благодаря ежедневному общению с этим человеком я знаю его чуть лучше, чем вы. Он ловко переиначивает слова, если смысл их вовремя не уточнить. В его черепной коробке есть уголок спецназначения, где хранится запас невероятных идей, с ним нужно быть настороже. Ближе к делу, Давид!

— Так я же о деле толкую, а ты не даешь мне высказаться, товарищ Мюнцер.

— Высказываться,— пробурчал Возница Майер,— позволено каждому, иначе ни черта не раскумекать.

— Итак,— продолжал Давид,— студенты гумбольдтовского университета отправились со мной в Шарлоттенбург. Я их вовсе не подбивал на провокацию, я предложил им дискуссию с Аденауэром, а если он не пожелает, то демонстрацию. Мы обо всем договорились: я ловлю Аденауэра на каком-нибудь подходящем слове, а не ответит он, мы покидаем зал, ничего больше, покидаем зал, своими действиями мы лишь покажем, что он нас недостоин.

— Товарищи,— обратилась редактриса НБР к бюро,— вам известно, как выглядела эта дискуссия. Наш анархист что-то такое выкрикнул в адрес Аденауэра, что, видимо, считал политическим аргументом, после чего половина участников торжества вскочила и толпой повалила из зала.

— Ясно,— вмешался Возница Майер,— в этакой ситуации надобно, чтобы тебя понимали, ведь все дело во взаимопонимании.

— Да к тому же,— воскликнул Давид,— вовсе не половина участников, а три четверти покинули зал. Студенты Технички пошли с нами, многие, правда, только из озорства.

— Ясно,— согласился Возница Майер.— А что же Аденауэр, как он реагировал на этот цирк?

Давид получал истинное удовольствие.

— В ответ на мой выкрик он поначалу вообще ничего не сказал. И когда добрых пять сотен студентов убежали, тоже ничего не сказал. Ему хотелось заполучить докторскую шапочку. А тут, как на грех, застрекотали камеры, и микрофоны вытянули свои шеи. Внизу, в зале, ученый совет воздел руки к небесам, ожидая ответа Аденауэра, но ответа не последовало. Правда, когда я был у двери, а зал на три четверти опустел, Аденауэр вновь обрел свою пресловутую бойкость языка, с опозданием самое большее на три-четыре минуты, и воскликнул, указуя пальцем прямо в меня: «Я глубоко убежден, уважаемые дамы и господа, что недалек тот час, когда и его тоже мы обратим в свою веру!»

— Надеюсь,— обрадовался Возница Майер,— ты чихал на него!

— А я надеюсь,— воскликнула Иоганна Мюнцер,— что сейчас здесь всякому понятно, какую ситуацию спровоцировал товарищ Грот своим самочинным выпадом: он дал повод штуммовской полиции наброситься на студентов с дубинками.

— Да неправда же это!— закричал Давид.— Полиция решила, что торжество кончилось. Полицейский, дежуривший у двери, спросил у студентов, толпой спускавшихся с лестницы: «Уже конец?»— а студенты загомонили, ясно, мол, конец; тогда полицейские сунули игральные карты в карманы и высыпали на улицу, тут же подъехали машины, и, когда я спустился, они уже выстроились шеренгами по обеим сторонам улицы. Какие там дубинки, все в струнку вытянулись— просто не понимаю, чего ты вечно ко мне придираешься, товарищ Мюнцер!

— Я вечно к тебе придираюсь? Да я же за тебя в ответе, парень! В Шиндерханеса ты мог играть в ратцебургских лесах, в Робина Гуда, так и быть, в гольштейнской чащобе, но классовая борьба— это учение Карла Маркса, а не Карла Мая!.. Предлагаю поставить товарищу Гроту «на вид» за самочинный политический выпад и зазнайство, чтобы не назвать его действия анархией, а «на вид» только потому, что и на сей раз все сошло благополучно, но знай твердо, это я говорю здесь сейчас во всеуслышание, дружочек мой, еще одно нарушение партийной дисциплины— и я предложу вынести тебе выговор!

Так вот, он получил «на вид», а через год-другой и выговор, ныне же, еще через год, бюро решительно отвергает его нахальное требование разобраться в деле Габельбаха; для партбюро не существовало дела Габельбаха, а с тем, что некогда существовало, разобрались раз и навсегда.

Но во взглядах Давида Грота они не совсем разобрались, что партбюро и довело до его сведения; от него потребовали подвергнуть свои взгляды и свою позицию тщательной проверке и подумать, кто же в конце-то концов разумнее: он или партия.

Нет, сказало партбюро, оно не оспаривает его права ставить вопросы и не уклоняется от своей обязанности давать ответы, но не желает иметь дело с человеком, который является на бюро, угрожая пистолетом, готовый пристрелить каждого, кто не соглашается с его понятиями.

Зачем, стало быть, они вспомнили все сольные партии, все каскады и курбеты товарища Грота?

Затем, чтобы предостеречь его от скорой расправы и молниеносных выводов, так-то, и кончим на сегодня: проведи-ка черту от выпада против Аденауэра через «Порт-Артур» до сегодняшнего не в меру запальчивого выступления на партбюро и проследи, совместится ли твоя линия с линией партии; мы

побаиваемся, что линии не совпадут, они даже не пройдут параллельно, скорее всего получится спутанный клубок; обдумай все спокойно, и тогда мы спокойно поговорим обо всем еще раз.

— А я так сейчас попытаюсь,— объявил товарищ Возница Майер и вышел вместе с Давидом.

В столовой он взял у стойки две кружки пива, закурил сигару, вздохнул, покашлял, дважды заклеил сигару, обстоятельно вытер носовым платком чистый нос, передвинул стул поближе к Давиду и только после всего этого повел разговор:

— Прежде всего о Габельбахе. Предположим, я встретил бы его в сорок пятом, или сорок шестом, или даже в сорок седьмом, ну, в самом начале, и мне сказали бы: послушай, а он ведь был заодно с Геббельсом, палил книги, арийские очищения учинял — как думаешь, где очутился бы я минутой позднее? У моего старого приятеля по каталажке, у товарища полицей-президента, в его каталажке: за тяжелое увечье. Из партии я бы тоже вылетел, хоть и с тридцатилетним стажем,— за индивидуальный террор.

Ты уж извини, но я скажу, что причин поломать ему ребра у меня несколько больше, чем у тебя. Это не упрек тебе; просто до моих причин ты тогда еще не дорос. Впрочем, хватит и той, что человек жег книги. О Керре я понятия не имею, зато других, кого они сжигали или запрещали, знаю. С Эрихом Вайнертом я плечом к плечу не раз стоял в Веддинге; мотоцикл Бехера как-то три раза выжал, да, три раза над головой поднял, а он — отчаянный был тогда парень — и в уме не держал, что министром станет; да, а Владимир и Анна, ох и красавица была, но зубастая; даже Брехта довелось узнать, только он чудаковатым мне показался.

Стало быть, Габельбаху повезло, что я поначалу понятия не имел, где он шуровал, ну и мне тоже повезло.

И вот однажды — он уже давным-давно у нас работал, и, как всегда, отменно, не подкопаешься, сам знаешь — приходит он к Иоганне и выкладывает все начистоту. Она отправляется в ЦК, а потом мы созываем бюро; Ксавер Франк присутствовал, нарочно приехал; сильно подозреваю — из-за меня. Мы зачитали объяснение Габельбаха, побеседовали с ним. Не я, нет, меня душила бешеная злоба, но не думай, Иоганну тоже, да и всех нас.

Я только и ждал, сейчас он вытащит коробку стирального порошка и начнет отмываться: он-де был знаком с евреем, еще в тридцать пятом с ним здоровался, или он девушке-полячке гребеночку подарил, а ведь мог сам ею пользоваться, и прочие тошнотворные сказочки. Нет, этого не случилось.

Почему он в тридцать четвертом бросил учиться? Тут бы ему закатить пышную речугу, и кто бы с ним поспорил, наплети он о раскаянии или осознанной вине и сознательном отказе от изучения германистики?

Нет, ни одного такого слова он не проронил. Пожалуй, он не переварил всех противоречий, сказал он, а готовые решения, которые напрашивались или, вернее, навязывались, глотать не желал. Так он сказал. Он выучился на фотографа, начал учеником, а работать пошел в «Гефлюгель-бёрзе», была такая газета для голубеводов.

С тех пор щелкал только премированных кур и состоял в «Трудовом фронте». Обязан был, а то работы не получить.

Пусть что угодно говорят, но ведь студент, живи, веселись — и вдруг куриный фотограф! Поворот крутой.

И еще мне понравилось: на бюро его спросили, что же, он подался к пернатым, чтобы убежать от политики? А он ответил: вовсе нет, там он хорошо зарабатывал.

Да недолго он радовался; погнали его в Польшу, Францию, Грецию, Африку, оттуда вернули в Италию, а там — фьюить, опять погнали — на Миссисипи военнопленным, да он расхворался и весной сорок пятого уже был дома. Штабс-ефрейтор, не бог весть какой вояка, дешифровальщик аэрофотоснимков в штабе дивизии. Это мы уточнили.

Да, парень, он хоть и учинил мерзость, так один раз всего, и зарекся. Ни подвигов, ни подлостей.

Он человек религиозный, как нам известно, может, и это свою роль сыграло.

Одним словом, нельзя сказать, что его прошлое нас не интересовало, но можно сказать: его прошлое есть прошлое. Понимаешь, оно ушло, давно миновало.

Понятное дело, другом ему я не стану, да никто этого и не требует. От нас всех только требуют — от меня и от тебя,— чтобы мы не корчили из себя героев, не устраивали цирка, ежели что сразу не поймем.

Я понимаю, с чего ты взбеленился: какой-то чертовщиной от всей этой истории несет. Ты считал, что прошлое давным-давно миновало, а оно всего тринадцать лет как миновало, мальчик мой!

Над этим не задумываешься, а сообразишь, что сотрудник был одним из так называемых «древних германцев», да и сам ты жил во времена «древних германцев», кровь стынет в жилах.

Самый ловкий трюк нашей действительности в том, что хоть прощание с ужасающе долгим прошлым только-только началось, но кое-где уже сталкиваешься с приметами будущего, и все

вперемешку, вот и теряешь ощущение времени. Не успели мы избавиться от карточек на мясо, жиры и сахар — стало быть, от какой-то части войны и германского прошлого, как договорились, что проложен будет нефтепровод — от Каспийского моря до самых наших мест, а с ним для нас связано огромное будущее.

Вот я и считаю, что одна из главных задач, какую обязан решить нынешний сознательный человек,— это составить себе верное представление о времени.

Точнее говоря, о времени, в котором он живет, об исторической обстановке.

Понятное дело, такая задача всегда была важной. Стоит только вспомнить — мне эта мысль на курсах пришла на ум,— что Маркс и Энгельс едва не ощупью брели, прежде чем уяснили себе, в каком мире они, собственно говоря, живут, какова историческая обстановка, да, пришлось им потрудиться, ничего не скажешь.

А трудиться и нам приходится, не то останемся на бобах. Историческая же обстановка такова, что ясно — мы с тобой не на курсах сидим, прошу прощенья!

Когда война кончилась, тоже нужно было уяснить себе, какова историческая обстановка. Собственно, имелись всего две возможности: либо приняться за работу, трудиться на совесть со всеми, кто хотел нам помогать, понятно, исключая законченных бандитов, либо сказать: всем, кто знался с коричневыми, у нас не место,— но ведь это значило отмести очень многих, курьезная мысль, а? Мне по душе твое волнение, Давид, но согласиться с ним я не могу, оно исторически не оправдано. Твои номера мне, право же, по вкусу, хотя скажу тебе совершенно серьезно: член партии может сесть в грязнейшую лужу, если возомнит себя умнее партии.

Правду говоря, Давид, ты сегодня поднял суматоху на ровном месте, только людям нервы попортил. Я бы так сказал: тревогу ты забил несоразмерную. Спроси ты, хотя бы и в резкой форме, со злостью: как же так?— без цирка бы все обошлось. Наша сознательная жизнь наполовину состоит из вопросов и ответов, но именно сознательная.

А ведь ты ответа не ждал, ты хотел привлечь нас к ответственности, а мы, знаешь ли, нынче чувствительные стали.

Позволь дать тебе совет: считай себя прожженным хитрецом, по мне, считай себя даже хитрее всех, хоть это, конечно, рискованно, но не думай никогда, что ты способен перекрыть коллективный ум. А партия — если уж мы об этом заговорили — это в моих глазах именно коллективный ум.

К нему надо еще добавить такой вид ума, как опыт. Скажем,

речь идет о конкретном вопросе, к примеру о повышении заработной платы, ну, скажем, на два процента.

Самое меньшее, что может дать тебе партия, это опыт тысячи различнейших мест, где возникла та же проблема. От Индии до Исландии, у японцев и у Круппа, где хочешь. Понятно, обстановка всякий раз иная, но кое-что общее всегда есть, а это, как известно, зовется закономерностями. Так кто же посмеет спорить с партией, которая скопила ответы на тысячи вопросов — от Индии до Исландии и Круппа, разобралась в них и обобщила огромный опыт? Кому же под силу противостоять такому коллективному уму?

Я убежден: кому-то со стороны это не под силу! А в недрах партии, конечно, дело другое. Все мы видели, как оно получается.

Не мастак я растолковывать противоречия, но столько-то соображаю: если партия хочет, чтобы ее члены перестали недооценивать свои силы, ей, этой партии, наверняка придется столкнуться с новой проблемой, с тем, что кое-кто переоценит свои силы.

Мальчик мой, позволь предупредить тебя: ягодки еще впереди, ежели мы не будем начеку.

А потому полезно поскорее прочистить больной желудок; не слишком приятно, но не смертельно.

От несправедливых упреков мы, конечно, не застрахованы. Может, партбюро несправедливо припомнило тебе старые грехи, потому как твой вопрос сам по себе был правомочен. Только он на вопрос не похож. Ты им размахивал, точно топором.

Габельбах двадцать пять лет назад повел себя как дурак и свинья — я придаю большое значение и тому и другому слову! — но с тех пор, насколько нам известно, показал себя порядочным и разумным человеком. Все, что нам о нем известно, подтверждает, во всяком случае, что он вполне порядочный и разумный человек, тебе-то об этом лучше судить чем мне, ты же с ним каждодневно сталкиваешься.

Суди всегда правильно, парень, не то останешься на бобах!

Возница Майер отнес пустые кружки к стойке, закурил сигару и пошел из столовой, ступая грузно, но осторожно — озабоченный слон, исполин, нашпигованный проблемами, великий доброхот: настоящий член нашей партии товарищ Возница Майер.

Давид прекрасно помнит: выслушав эту необычайную, окольную проповедь, он еще долго сидел в столовой, еще долго злился на бюро и предъявлял ему политический счет; да, у него найдется, в чем обвинить партбюро, а поскольку в имеющемся у

него каталоге грехов не сразу удавалось подобрать подходящее наименование для заблуждений бюро, Давид выказал себя изобретательным, долго еще выказывал себя человеком уязвленным, наделенным богатой фантазией, но в конце концов остыл и мало-помалу показал, что он настоящий член партии, способный додуматься до мысли: а может быть, правы другие?

До такой мысли в один присест не додуматься, во всяком случае, человеку типа Давида; идея эта сперва представляется невыносимой. Поначалу очертания ее расплывчаты, это скорее слабое мерцание, нежели озарение. Мысль эта подступает неуверенно: она движется ощупью, пританцовывает, спотыкается, никакой четкой хореографии неприметно; приметны только нерешительные намерения и решительное противодействие, а лучшим средством выпутаться из создавшегося положения представляется попытка увильнуть от ответа.

Вкатить в гору тяжеленный камень трудно, еще труднее признать, что другие оказались правы, и самое удивительное: если ты член партии, то камень, хочешь не хочешь, вкатить нужно.

И самое благое: камень в конце концов вкатывается, чему очень и очень помогает добрая воля. И еще: партбюро однажды дало о себе знать, а теперь помалкивает и не вмешивается. Оно не задает тебе вопросов с намерением вызвать в твоей памяти то или иное событие, не вмешивается в твой мыслительной процесс, никак не поощряет — и Давид успешно одолевает трудный путь.

Чем-то принципиально значимым дело, может, и не кончится; оно просто кончается: о нем больше не говорят.

Правда, дело с Габельбахом чуть затянулось. Давиду ничего не остается, как выбросить мысль о том Габельбахе из головы, оттеснить ее, вытеснить из разговоров, необходимых переговоров, нормальных бесед с этим, нынешним Габельбахом; Давиду остается только отделить того Габельбаха от этого, нынешнего, слепить двух субъектов из одного и одного из них забыть.

Все получилось, но путем долгих тренировок.

На первых порах Давид полагал, что рано или поздно он обязан откровенно поговорить с фотографом, признаться в своих сомнениях и задать ему вопрос-другой. Однако проблема теряла остроту с каждым рабочим днем, который к Давиду и Федору Габельбаху предъявлял одни и те же требования.

А такими, честно говоря, были все дни девяти лет, что прошли с той поры. Девять вместе с тринадцатью предыдущими — это не просто определенный отрезок пробежавшего времени, нет, в эти годы два совершенно разных человека были неразрывно связаны с одним и тем же объектом, решали одни задачи, ломали головы над

одними проблемами, выполняли сходные обязанности; и хоть не они одни, но и они, да, не в последнюю очередь они создавали НБР, совершенствовали, изменяли, улучшали, защищали, журнал был их общим знаменателем.

Больше ничего общего у них не было — ни прежде, ни теперь. Какой бы сыгранностью и почти интимной близостью ни отличалась их совместная работа, в остальном жизнь того и другого протекала обособленно, положение, если судить по местным обычаям, весьма странное, а для Иоганны Мюнцер, считавшей такую затянувшуюся отчужденность бесчеловечно жестокой, даже нестерпимой.

Между Давидом и Габельбахом ни разу даже не наметилась такая ситуация, когда при общей работе возникает нечто большее, чем деловая общность, возникают дружественные, товарищеские отношения, а порой и дружба.

Доверительность в их отношениях возникала, если предстояло подавить общего противника, сердечность — если Габельбах к подходящему случаю цитировал корреспондента Франца Германа Ортгиза или Давид в который раз наслаждался фотографиями-осечками на габельбаховской стене, а предела задушевности их отношения достигли в тот час, когда главный редактор Грот обменялся мнением с заведующим отделом иллюстраций Федором Габельбахом относительно шансов Франциски в юбилейном году М. Горького и чуть не поддался искушению все-таки хоть кое-что рассказать коллеге Габельбаху о том, какие еще события разыгрались тогда, в году пятьдесят восьмом.

Но Давид тут же отказался от этой мысли; ему стоило усилия оттолкнуться от нее и возвратиться в сферу деловых отношений, однако, не желая выглядеть нелюбезным в ответ на искреннюю любезность коллеги Габельбаха, он заметил:

— На днях у Киша я наткнулся на превосходное обозначение для определенного рода фотографий. Он описывает сенсационные снимки в одной пражской газете, называя их «моментальными фотографиями в момент смертоубийства»,— не пригодится ли вам?

Габельбах явно получил удовольствие.

— В момент смертоубийства?— переспросил он.— Мог бы и Ортгиз сказать... Кстати, что это за срочное задание: фоторепортаж о зернодиспетчере Креле? Разрешите спросить: с каких это пор вы заказываете фотографии без согласования со мной? И почему такая срочность; почему ради фотографии, каковая покажет человека на фоне птичьего корма, почему ради этого мы должны пересмотреть свой рабочий план? Не укажете ли вы мне основания, почему ради этого зерно-крупяного управляющего вы

угрожаете внести хаос в сферу моей деятельности, в которой мне с нечеловеческими усилиями удалось навести некоторый порядок, почему, господин коллега, вы грозите внести в этот мирный уголок хаос? Ко всему прочему мне бы хотелось знать: этот овсяно-пшеничный раздатчик, чье начисто внеплановое моментальное фото в момент подсчета зернышек вам желательно получить, этот господин Крель не близкий ли родственник нашей почтеннейшей заведующей отдела кадров, быть может, ее уважаемый сын или уважаемый внук?

— Ну, ну,— пробормотал Давид,— уж не такая она старая!

По ответу Габельбаха понял, однако, что возразил слишком поспешно, ибо Габельбах сказал:

— Вот как? Ну, если вы говорите... я ведь не очень четко представляю себе, что и как.

Давид же подумал: ага, не очень четко? До этой минуты и я так считал; теперь понимаю, что ошибался. До этой минуты я думал, что обо мне с Каролой знал лишь мой незабвенный патрон господин Ратт. Ох, отсохни моя нога, Габельбах тоже знал.

— Большое спасибо за напоминание,— говорит он,— сегодня утром я затеял небольшую интригу, кое-какие детали придется еще отработать. Фотографии диспетчера — один из элементов интриги, а если впоследствии из нее вытанцуется интересная история, я вам ее расскажу, договорились?

— Только не требуйте, чтобы я ваши истории ко всему прочему еще и понимал, господин коллега,— ответил Федор Габельбах.

11

Положительная интрига, задуманная на благо супружеского счастья Каролы Крель и духовного формирования диспетчера НПЗЗ Артура Креля, быстро пошла на лад: личный референт министра, выяснив возможности, позвонил и сообщил, что для разговора, о котором просил товарищ Грот, предлагается две даты: либо через две недели в час дня, либо сейчас, сегодня, сию минуту.

— Я сказала, что вы придете сегодня во второй половине дня,— объявила Давиду Криста,— если вы сейчас отправитесь на кладбище и не будете держать чересчур долгих речей, успеете. С вами хотел поговорить Йохен Гюльденстерн, что-то у него возникло в связи с «Нордом». Я предложила ему тоже поехать на кладбище, там вам не помешают.

— А когда я обдумаю речь?— поинтересовался Давид, но Криста уже взяла телефонную трубку.

Она права: обдумывать особенно было нечего, сегодня вторая часть церемонии похорон старшего вахтера «Нойе берлинер рундшау», сегодня, когда устанавливают надгробную плиту, можно ограничиться кратким изложением речи, которую он держал на похоронах, ибо со дня смерти Шеферса новых сведений о нем не поступало, да ведь, и живя на свете, он не отличался многогранностью натуры.

Напротив, простой человек в прямом смысле этого слова и не лучший из людей. Человек, делавший любые дела лишь одно после другого и никогда два разом.

До войны он был электриком в типографии, простой и аполитичный человек, его облагали налогами, им управляли, его направляли и в конце концов отправили на Восток, где он отшагал до Курской дуги. Там ему в бою оторвало правую руку. Когда Красная Армия вошла в Берлин, Шеферс работал подсобным рабочим в своей старой типографии, и один-единственный короткий разговор с одним-единственным советским солдатом привел его в партию.

— Руку оторвало на войне? Понимаешь: коммунист говорить — Гитлер готовит войну. Ты не слушать. Гитлер начал войну. Война оторвала тебе руку. Лучше ты слушать коммуниста!

Дальше этих азбучных положений марксизма Шеферс не пошел. Слово солдата было для него непреложной истиной и казалось ему проявлением революционной мудрости; ярчайший пример связи теории и практики, яснее не скажешь. Так, во всяком случае, считал Шеферс, и, где бы он ни приступал к агитработе, его стигма оказывалась исходным пунктом для овладения научным мировоззрением.

Вот к нему-то и надо было обратиться Давиду, когда он решил вступить в партию.

Шеферс тотчас поправил Давида.

— Все не так. Вовсе не в том дело, решил ли ты вступить в партию; дело в том, решим ли мы принять тебя. У нас не заявляют о вступлении, у нас подают заявление с просьбой о приеме.

— Понятно,— согласился Давид,— тогда, значит, я подаю заявление с просьбой о приеме.

— И так не пойдет,— ответил Шеферс.— Тебе, коллега, нужны два рекомендующих.

— Есть у меня: товарищ Мюнцер и товарищ Майер,— объявил Давид и передал Шеферсу листок и несколько бумажек.

На листке две строчки: «Я поддерживаю просьбу коллеги

Грота о преме в партию и рекомендую его. Генрих Майер». На бумажках примерно то же самое, только Иоганна Мюнцер не преминула высказать целый ряд оснований, исторических соображений, общественных точек зрения, дифференцированных суждений и политических рекомендаций; когда Иоганна осуждала Давида за ошибки, он казался чуть ли не белогвардейцем, а когда она хвалила своего референта, оставалось только удивляться, как это партия до сей поры вообще существовала без Давида Грота.

— Что ж, выдадим тебе анкету. Ее ты заполнишь, ничего не скрывая, по всей правде, и печатными буквами, не то какой прок от правды, если ее не прочтешь. Следующий этап на твоем пути — собеседование, и мой тебе совет: хоть тебя и станут спрашивать о твоем личном жизненном опыте, в ответах ты личное свяжи с общим. И еще одно: наступает период, когда в цене будут профессиональные знания, поскольку это период восстановления. А потому важно, чтобы ты профессиональные знания диалектически увязал с политической обстановкой. Ну что ж, значит, до четверга, коллега.

В четверг Давида прежде всего спросили, почему он только теперь, после полутора лет работы в «Рундшау» и, стало быть, полутора лет работы вместе с испытанными членами партии, почему он только теперь подает заявление.

Ответить оказалось не так-то просто. Для промедления имелись разные причины, которые трудно было четко определить. Попытаешься высказать их словами, и они представляются не слишком-то разумными.

В редакции все члены партии были люди пожилые, и в голове Давида произошло совмещение понятий «член партии» и «пожилой человек» или по меньшей мере «вполне зрелый человек». Давид знал: партия — объединение равных, но равен ли он таким уважаемым людям, как Иоганна Мюнцер, Генрих Майер или тем более товарищ Ксавер Франк, который и по служебным делам, и по дружбе с Иоганной Мюнцер частенько заглядывал в редакцию?

С другой стороны, правда, совсем-совсем с другой, дело в том, что вырос он в годы, когда понятие «партия» не имело для него ничего притягательного, наоборот, только все отталкивающее. Слово «партия» в первый, более долгий период его жизни олицетворялось депутатом магистрата, живодером и штурмовиком Вольтером, учителем и штурмовиком Кастеном, убийством в ручье Кюхенбахе и убийством в магазине Ашера, долгой отлучкой отца и смертью отца. Неудивительно, что Давид испытывал противоречивые чувства и одолевать их можно было лишь опираясь на разум и очень неспешно, ибо они не во всем были разумными.

Существовала еще одна причина, но зачем же ее приводить, если она тем временем отпала: приведи он ее, и она прозвучала бы запоздалым упреком.

Оттого Давид и жался, являя собой непривычное зрелище. Тут уж Пентесилея не сдержала ярости:

— В чем дело, эй ты, ратцебуржец, почему не можешь ответить на поставленный вопрос? Из всех случаев придержать язык этот самый неподходящий, чего же ты им воспользовался? Хочет вступить в партию, а сидит словно в рот воды набрал; кто это одобрит?

— Да-а,— протянул Возница Майер,— слово тебе взять придется, не то останешься на бобах. Попытаюсь объяснить, почему мы тебя так дотошно выспрашиваем о причине этих проволочек. Федора Габельбаха, того я и через сто лет не спросил бы, почему он не в партии; вот уж было бы некстати, так некстати. Но про иных и думать дико, что они беспартийные. У таких хотелось бы спросить о причинах. Есть они у тебя?

— Были,— ответил Давид,— теперь потеряли силу. Когда я начал работать в журнале, существовали еще две партии, у меня были данные для обеих, и я не знал, в какую лучше вступить, и тогда решил: значит, обе без меня обойдутся. Потом они объединились, и я подумал: «Поглядим, как-то они уживутся?» Теперь я вижу — ужились, и очень даже хорошо, и мне самому странно, что я беспартийный.

— И я то самое говорю,— согласился Возница Майер, а Шеферс добавил, что ответ на вопрос увязан с конкретно-исторической обстановкой.

Ему бы тут и объявить, что имеется единодушное положительное мнение о приеме Давида в партию, окончательное же решение принимается не за этим столом.

Но Шеферс, полагая, верно, что обязан устроить Давиду строгий экзамен, подготовил список вопросов, и Давиду пришлось высказаться по основным положениям теории и главным проблемам практики, а поскольку Давид считал, что в этой чрезвычайной ситуации обязан блеснуть чрезвычайными познаниями, то подкреплял свои положения примерами из той области, которую хорошо знал по первой профессии и раннему пристрастию, оттого-то, к видимому неудовольствию Иоганны и слышимому удовольствию Возницы Майера, собеседование постепенно приобрело характер военно-исторического коллоквиума.

Лишь после того как Давид, отвечая на вопрос Шеферса о сущности понятия «коллектив в конкретно-исторической обстановке», привел в качестве примера недостаточного чувства коллективизма трагический, по его мнению, случай бессмыслен-

ного параллелизма в работе конструкторов винтовки Гаммерлиса, а противодействие феодальных вояк введению оружия, заряжающегося с казенной части, в качестве доказательства роли сознания в развитии производительных сил, только после этого Иоганна Мюнцер решительно вмешалась, потребовав, чтобы он вернулся в более штатские сферы, и уж по-настоящему она рассвирепела, когда Давид, не пожелав тотчас оборвать свою речь, сообщил будущим товарищам по партии, что успехам в военной и в штатской областях зачастую способствовали люди, показавшие себя равно изобретательными как в той, так и в другой: например, Спенсеру мы обязаны не только названной его именем винтовкой, но и автоматическим токарным станком, а Уайт, чей винтовочный магазин первым был использован в условиях военных действий, сконструировал также более чем мирную швейную машинку.

Тут Пентесилея стукнула сумкой по столу и потребовала, чтобы Давид прекратил здесь сейчас разглагольствовать как заядлый милитарист, речь в конце-то концов идет о его новой жизни, а не о старых орудиях убийства.

— Верно,— согласился Возница Майер.— Хотя для новой жизни ничуть не вредно разбираться в таких орудиях. Ну, отложи-ка в сторонку свой список, Шеферс, а ты, Давид, позабудь о своем арсенале, ты же собрался сделать решающий шаг в жизни. Я не говорю, что твоя жизнь сию секунду полностью преобразится, станет совсем иной, но прямо говорю: теперь тебе надобно работать без устали, не то останешься на бобах. Теперь ведь всяк, кому от тебя что нужно, скажет: ты же член партии... Это, конечно, честь, но прежде всего это требование: поднажми. Теперь, может, ты нам еще раз четко подтвердишь, что тебе все ясно и что ты станешь соблюдать все эти требования?

— Мне все ясно,— четко сказал Давид,— и я стану всегда соблюдать все эти требования.

— Ну вот и ладно,— кивнул Возница Майер,— тогда у меня есть предложение: кончим обсуждать! А может, ты, Иоганна, не хочешь его принимать?

— Ты что, спятил?— возмутилась Иоганна Мюнцер.— Кто его рекомендует, я или ты?

— Мы оба,— был ответ Возницы Майера.

И тогда Шеферс подвел итог:

— Стало быть, запишем в решении: рекомендуем партийному бюро и общему собранию принять коллегу Давида Грота в ряды партии. Основание: всем известная деятельность коллеги Грота в качестве референта товарища Мюнцер и разностороннее собеседование, показавшее, что все у него в полном порядке с точки

зрения специальности, диалектики, а также в личном плане, или, может, что не так?

— Все так,— согласился Возница Майер,— впиши-ка еще в свой протокол: если нам в результате обострения классовой борьбы потребуется генерал...

— Горе тебе, Шеферс,— воскликнула Пентесилея,— если ты упомянешь об этом! Одно только слово — и завтра же Ксавер Франк утащит его работать в полицию, но, товарищи, мне этот человек нужен здесь сейчас!

Давид горячо поблагодарил Иоганну Мюнцер и Возницу Майера и подумал: да это же как нельзя более кстати, похоже, и вы мне очень нужны!

Шеферс учел предостережение Иоганны, а потому Давиду не пришлось перебираться ни в полицейское, ни в армейское ведомство, он продолжал осваивать новую профессию — журналистику, а когда случилось все-таки, уже двенадцать лет спустя, что разговор вновь зашел о специальных знаниях Давида, товарищ Шеферс к этому никакого отношения не имел. Он сидел в проходной, когда Давид отбыл в Лондон, и он сидел в проходной, когда Давид прибыл из Лондона. Понятно, история неслыханного вояжа обежала редакцию еще до возвращения Давида, и вахтер не пропустил своего коллегу и товарища в редакцию, прежде чем тот не сообщил ему кучу любопытных подробностей о перелете через моря-океаны и не предъявил ему свой пропуск. И тогда дважды ублаготворенный Шеферс сказал:

— Подумать только, с чего мы оба здесь начинали, а вот, глядишь, летаем в Америку! Но я уже в те времена указывал не раз: все находится в развитии, значит, полный порядок. Сам видишь, в те времена у меня тут проходили два-три десятка человек, а нынче — целый день толпа. Создан справочно-библиографический отдел, все совсем новые коллеги. Не успеваешь запомнить лица; но в этом выражается наше развитие, все течет, товарищ Грот, и, как погляжу, нас тоже несет течением, и мы плывем вперед, разве не так?

Теперь плаванье товарища Шеферса пришло к концу: по дороге на работу, в трех шагах от ворот НБР, он упал.

— Болезнь менеджеров,— сказали его коллеги-вахтеры,— типичный случай: слишком большая ответственность, слишком мало движения и слишком крепкий кофе, рано или поздно все мы так кончим!

— Рано или поздно ты кончишь, как Шеферс,— сказал Давид Йохену Гюльденстерну, когда тот, сев в машину, распустил брючный ремень.— За поясом у тебя уже намечаются признаки менеджера, однако над тобой я надгробных речей держать не

стану. Прескверная традиция болтать над гробом. Понимаю, это видимость каких-то действий, когда разум от ужаса еще не в состоянии воспринять происходящее, этакая тренировка в переходный период от смерти к дальнейшей жизни, и еще одно скажу тебе: стоит нам подойти к свежей могиле, как мы превращаемся в древних германцев.

Йохен Гюльденстерн, искушенный в обхождении с главным редактором Давидом Гротом, ревностным борцом против устаревших обычаев, невозмутимо спросил:

— Тогда зачем же ты в этом действе участвуешь, если оно древнегерманская мура? А подумал ты, каково будет, ежели тебя самого тихонько, без лишнего шума спихнут в ямку?

— Совсем не обязательно тихонько, но к чему эти древние традиции? Их смысла никто не понимает, но все их соблюдают, вот и получается мура, а тебя от всего этого корежит! Возьми хоть очередь, чтобы кинуть на гроб дорогого усопшего три горсти земли, номер точно создан для Марсо. Приглядись при случае, ты не представляешь, каким только манером люди достают песок из ящика и сколько существует приемов, чтобы швырнуть его в яму. Одни тонкими струйками цедят песок сквозь пальцы, другие с силой швыряют вниз, но между тем и другим способом ты, если приглядишься, обнаружишь множество различнейших способов. И в заключение еще заминка: как очистить руки? Простые, детские натуры узнаешь тотчас — мазнут трижды по штанам, и все, проблема решена, но видишь и таких, что битых четверть часа украдкой сбрасывают песчинку за песчинкой, а одного человека мне пришлось наблюдать, тот вообще не справился с задачей, свесил грязную руку, точно она парализована, да так на улицу и вышел. А вот еще обязательный номер: ах, как я переживаю! Предлагается пропасть вариантов. Истинные этюды по Станиславскому, говорю тебе, чистый театр!

— Да-а,— кивнул Йохен Гюльденстерн,— тому, у кого ты будешь на похоронах, не придется жаловаться на недостаток участия.

— Нет, дело не только во мне. Может, все зависит от большого числа смертей, от привычки, притупляющей чувства. Просто слишком много людей умирает. У меня создается впечатление, что ежеминутно кто-то умирает, а, может, причина в том, что сам стареешь. Когда ты молод, твои друзья тоже молоды, и смерть у вас редкая гостья, а теперь ясно: если вокруг тебя начали умирать, значит, и ты вот-вот созреешь.

— Послушай-ка,— воскликнул Йохен Гюльденстерн,— сколько тебе стукнуло — восемь или все девять десятков? Твой возраст зависит и от должности. Как редактор журнала, ты олицетворя-

ешь общественность. Когда ты начинал у нас, много ли работало здесь таких людей, что тебе приходилось отправляться на кладбище? А теперь? Я и по себе вижу, хоть занимаюсь только экономикой — знаю человек тысячу, а может, и все десять тысяч. Иногда думаю, все десять, а возникает проблема, каждый раз одного не хватает. Ну что, можно переходить к делу? Собственно, я уже о деле.

— Разумеется,— сказал Давид.— Я тебя слушаю.

Он слушал, и время от времени ему казалось, словно это он сам себя слушает. Проблема Йохена Гюльденстерна была и его проблемой, более того, он знал, что не только его.

— Все началось с электростанции «Норд»,— заговорил Гюльденстерн,— или скажем так: именно там проблема обозначилась. Мне и раньше частенько бывало тошно, но я говорил себе: чепуха, разыгрываешь из себя интеллигентика, делай свое дело, и все будет в порядке. Ну, сам не знаю. Коротко говоря: история штабного генерала и его нечистой совести. Нет, начну, пожалуй, иначе: ты знаешь, я хорошо знаком с Бинхофером, вместе в Шпремберге стулья клеили, фирма «Плёц», теперь он пишет книги, мы заглядываем друг к другу, и я только диву даюсь, сколько у него идей в котелке. Молодцы мы, шпрембергцы! А тут он приходит на днях, весь кипит от злости. У них, в Союзе писателей, было собрание, партийное, доклад делал Фраувейн, директор машиностроительного комбината, мы как-то опубликовали интервью с ним. Он не дурак, но доклад, видимо, не продумал. Мастера культуры заволновались; сидят мрачные, ну, Фраувейн тоже стал мрачнее тучи и давай разносить литературу и литераторов: «Раз в три года по книжке писать, это ли производительность?! А читать начнешь — получается, что кругом одни продувные бестии... А где она, связь с жизнью?..» Вот тут, рассказывает Бинхофер, он и осведомился, кого, собственно, имеет в виду Фраувейн. Вопрос пришелся тому не по вкусу. И он заявил товарищам писателям: подобные-де выкрики не согласуются с партийностью, и вообще так вести себя не принято, во всяком случае, там, откуда он пришел. Ему тут же задали вопрос, откуда это он к ним пришел, и в ответ он заявил: «Из парторганизации, где главенствует рабочий класс!»

Что ж, собрание было сорвано, писатели не согласились с подобным разграничением; верно, не очень-то хорошо получилось бы, организуй себе каждый собственную, особую партию в партии.

Случай этот — для меня лишь отправная точка; главное, конечно, в другом: каково наше положение относительно рабочего класса? Не затем же я учился, чтобы в один прекрасный день

мне объявили: отныне ты не рабочий класс. Понятно, кое-что изменилось, но ведь не настолько, чтобы кто-то мог превратить меня в мою собственную противоположность? Нет, подобной мысли я не допускаю. В кумиры я никого и ничего не возвожу, но когда слышу: «Вперед, рабочий народ» — так и себя к нему причисляю, понимаешь?

— Понять несложно,— ответил Давид,— хотя проблема сама по себе сложная. Мы, что и говорить, больше не рабочие, не ремесленники и уж, понятно, не пролетарии. Пролетариев в классическом смысле у нас нет, рабочие, конечно, есть, и делать вид, будто мы и они по всем пунктам равны, ненаучно, но, и это представляется мне главным, так сказать, сутью проблемы: кто пытается превратить различие в противоположность, того следует одернуть.

Йохен Гюльденстерн отмахнулся.

— Вернемся к моим делам. Я только что побывал на стройке «Норд». Сам знаешь, каково там: высшее достижение техники до сих пор — железная дорога. Песок и сосны, вереск и гадюки. А через несколько лет вырастет атомная электростанция, и никому в голову не приходит в этом усомниться. Вот тебе пример прогресса в нашем сознании. Крупные послевоенные стройки положили конец такого рода сомнениям.

В конце-то концов получается черт-те что; per aspera ad astra*, очень хорошо, но поначалу довольно долго там одни aspera, понимай: работа до седьмого пота, топь, грязь, резиновые сапожищи и «раз, два — взяли, еще — взяли».

А тут является щелкопер, примерно тысячный, и в самом дружелюбном взгляде может прочесть: что делать, и этакие на свете живут.

Это в дружелюбном. Но ты выходишь из машины и всем мешаешь. Верно, работа для них не такая уж святыня, чтобы ее боялись перекуром осквернить, однако сейчас ты мешаешь.

Габельбаху, тому хорошо; у него с собой фотоскарб, сразу видно, он хоть как-то да работает, а я? Помню, в Шведте я, идиот, спросил рабочего: «Что, коллега, как развиваются у вас события?» Он мне ответил: «Что ж, коллега, события развиваются следующим образом: я беру вот это орудие, называется оно лопата, да, запишите-ка для памяти, и направляю его под прямым углом в землю, между нами говоря: точно под прямым никогда не удается, скорее получается тупой, примерно в сто градусов, что облегчает проникновение лопаты в земные недра. Чтобы проникнуть туда, я развиваю нижеследующую деятель-

* Через тернии к звездам *(лат.)*.

ность: упираюсь правой ногой, вот этой вот, в правое верхнее ребро лопаты — не потрудитесь ли запомнить: правой ногой в правое ребро, многие путают, что затрудняет развитие достижений в производительности труда; теперь наступает весьма важный этап: в моем теле развиваются определенные силы, однако в том лишь случае, если действуют согласованно все сухожилия, мышцы, кости и, главное, сознание, и не только сознание, что сейчас развивается сила, помогающая всадить лопату сквозь дерн в землю, но сознание общественной значимости моих действий,— просто так нажать ногой было бы, если рассматривать вопрос с точки зрения общего развития событий, неверно, ибо события не стали бы развиваться...»

Его приятели едва не лопнули, пытаясь сдержать смех, а у меня, когда они все-таки расхохотались, едва барабанные перепонки не лопнули. К счастью, я не удрал; извинился за дурацкий вопрос и сказал, что готов сам себе под зад коленкой дать, о горе мне!

— Не понимаю, о чем вы толкуете,— внезапно вмешался шофер Давида,— что во всем этом хитрого? Не задал бы ты дурацкого вопроса, не получил бы дурацкого ответа. Да ведь так бы тебе ответил и врач или актер. С чего ты выдумал себе заботу с рабочим классом и противоположностью? Такого тупицы не найти, кто бы не знал — в любом деле надо соображать, если хочешь, чтобы толк был. Что, не правда?

Йохен Гюльденстерн снова отмахнулся.

— Не так все просто, Эрих. Случай в Шведте, ясно, мой промах, я его запомнил, и такого конфуза больше у меня не выходило. Но то, что я теперь не рабочий, я постоянно чувствую.

Эрих, шофер, работал в «Рундшау» чуть больше года. А прежде — в институте растительных жиров, перемену места работы он так объяснил Кароле Крель:

— Вот, к примеру, получаю я записку: завтра в пять тридцать туда-то и туда-то за начальником таким-то. В полшестого я как штык у дверей. Садится ко мне начальник и бурчит: «Галле!» Еду в Галле. До Михендорфа он изучает центральный орган, остаток пути клюет носом. В Галле спрашиваю: долго вы там пробудете? Этого я не знаю, отвечает. И уходит. Стоит мне решить: схожу-ка выпью кофе, он тут как тут. Это уж точно. Если его не очень разозлили, скажет, пожалуй: теперь домой поехали. И опять дремлет. А возле дома снизойдет, скажет: до свиданья! Хоть и звучит это как «данья», а все-таки... Э, нет, уважаемая начальница, лучше уж я буду возить выдающихся личностей.

На первых порах Давид раза два-три поймал себя на попытке разыграть выдающуюся личность, но они и без того быстро

поладили.

Эрих покачал головой и сказал:

— Слишком высокая материя для меня, Йохен. Тебе надо, чтоб вечером руки-ноги ныли, или тебе клея по вечерам на пальцах недостает? Позволь тебе кое-что предложить? Возвращайся-ка на свою мебельную фабрику! Подумай, хочешь?

Давид расхохотался.

— Сию секундочку отпущу его, при условии, что, во-первых, он в замену себе найдет редактора, чтоб не хуже разбирался в экономике и журналистике; во-вторых, вернет государству деньги за образование — тысяч двадцать, видимо, не меньше; и в-третьих, больше в жизни ни строчки не напишет, во всяком случае для печати.

— А я буду «пишущим рабочим»,— вставил Гюльденстерн.

— Ну нет, тогда ты рано или поздно опять нам навяжешься! А как думаешь, что сказали бы твои коллеги, те самые, по фирме «Плёц» в Шпремберге, вернись ты к ним: друзья, мол, хочу к вам назад?!

— Э, да у него винтиков не хватает, сказали бы они,— вставил Эрих,— и не думай, что они обрадовались бы. Может, теперь, когда ты к ним заглядываешь, их коллега с высшим образованием, они подшучивают над тобой, но если ты всерьез станешь опять мебельщиком, значит, дал осечку. Это уж будет, я так считаю, вывих какой-то, и приятели твои подумают, во-первых, что ты как личность не одолел науки, а это тебя как личность не украшает, и, во-вторых, что ты не одолел науки как один из них, а это для них оскорбительно... Я так соображаю: ты, образованный редактор, во сто крат крепче с ними связан, чем ошметок какой-то, кто хотел-да-не-одолел. Я так соображаю.

— Все может быть,— согласился Йохен Гюльденстерн,— не о том речь. Никто и не говорит, что мне надо назад, к Плёцу... Но вернемся к стройке «Норд», с нее мы начали. Статью о ее народнохозяйственном значении я вам в любое время накатаю. Особенности строительства, новые методы, помехи, срывы, преодоление трудностей — все вам с легкостью изложу в очерках; две-три беседы в штабе стройки, два-три телефонных разговора, послушаю на совещаниях, почитаю специальную литературу — глядишь, и собрал нужный материал. Но ведь это теория журналистики, а практика состоит из тысячи деталей, крошечных подчас, но очень значимых. Ладно, я журналист, моя задача не строить, а передать впечатление от стройки и уже в случае крайней нужды — прийти на помощь, поднять вопрос в печати.

Такого рода журналистика ведет к специфической несправедливости: в какой-то момент я начинаю мыслить параметрами,

вижу только крупные участки всей дистанции, от одной даты плана до другой, я охотно поддаюсь соблазну и забываю основу основ, или, скажем, пренебрегаю ею, пренебрегаю жизнью, конкретной работой, симпатиями и антипатиями, взглядами и трудностями тех, без кого все запланированные параметры и, стало быть, вся дистанция полетели бы к чертям собачьим.

— Но мы же так не поступаем! — перебил его Давид.— На стройке телебашни мы показали все бригады, и не только на этой стройке. А ты что, хочешь за каждым строителем бегать?

Казалось, Йохен Гюльденстерн собирается кончить разговор, прекратить его как безнадежный. Он мрачно глядел в окно, ощупывая свой живот, и пыхтел, словно после трудной пробежки.

Давиду стало не по себе, он понимал, что именно заключено в центре не слишком четкой речевой спирали Гюльденстерна, и припомнил собственные мысли, крутившиеся вокруг того же стержня. Чего тут рассуждать, подумал он, лучше подготовлю выступление в память товарища Шеферса. Но внезапно заговорил Эрих:

— Ну ты даешь, Йохен. Я слушал вас, изо всех сил напрягался, чтобы понять ваш разговор, и вдруг — точка. Да мне же хочется понимать тех, кого я вожу, а то бы я и дальше растительные жиры возил. Но тебя я так и не понял.

— Увы, все, о чем я говорил, мне самому не слишком ясно. По сути, дело не в журнале или журналистике, а в том, чтобы сохранить свои чувства к тем, из чьих рядов ты вышел и для кого ты существуешь. Не знаю, что почувствовал бы я, козырни товарищ Фраувейн передо мной рабочим классом, а он все-таки производит продукцию, я же в лучшем случае об этой продукции пишу.

— Твой друг Бинхофер тоже только пишет о ней,— нетерпеливо прервал его Давид,— разве Бинхофера тоже мучают подобные соображения? Что-то я не заметил.

Гюльденстерн не сдавался.

— В том-то и дело, что он не просто пишет. Он строит. Он конструирует действительность. Он что-то написал, а для тебя потом это «что-то» становится реальностью, не только книга, понятно, но и люди, о которых идет речь. Он их придумал, и теперь они разгуливают среди нас.

— Я начинаю кое-что подозревать,— воскликнул Давид.— Ты хочешь стать писателем!

— Все хотят стать писателями. У Бинхофера, рассказывает он, не проходит выступления и обсуждения, чтобы кто-нибудь не поднялся и не объявил: «Будь у меня время, я бы знал, что рассказать людям, у меня такое в запасе есть — закачаешься... Вот

только будь у меня время». Выходит, говорит Бинхофер, писатель отличается от других людей тем, что выкроил время стать писателем... Нет, я не хочу быть писателем, но и мебельщиком снова тоже не хочу быть. Я сейчас о другом думаю — не перебраться ли мне на электростанцию «Норд», на период строительства, пожить там одной жизнью с рабочим коллективом. Вот почему я хотел поговорить с тобой, и вот почему буду иметь удовольствие прослушать твою речь над могилой товарища Шеферса, а вообще-то я и сам ничего не знаю.

— До чего ж хорошо! — вспылил Давид.— Ты на три года отправишься на берега залива Грейфсвальдер-Бодден строить «Норд» и спасать свою пролетарскую душу, совершишь паломничество в грейфсвальдерскую Мекку, твои очерки мы будем подписывать: от нашего корреспондента брата Йохена. Габельбаха мы пошлем до нашей двадцатой годовщины — пустяки, каких-нибудь двадцать месяцев,— на стройку телебашни; Ганс Бамлер будет неотступно следовать за нашей юной пловчихой Рамоной Шиковски, глаз с нее не спустит до Олимпийских игр семьдесят второго и, чтобы не потерять контакта с молодежью, будет ходить с ней в школу и вступит в пионерскую организацию имени Тельмана — почетным пионером; Герда Корна мы переправим, ну, хоть в Дамаск, где он сможет непосредственно наблюдать дальнейшие шаги ГДР по пути к мировому признанию; наших «культуртрегеров», самое лучшее всех троих разом, натравим на твоего друга Бинхофера, пусть присутствуют при рождении художественного образа,— всех троих, чтоб сменяли друг друга на этом посту: художники рождают идеи в самое невероятное время.

Эрих выказал явное удовольствие, представив себе эту картину.

— Придется вам тогда вернуть с пенсии легендарную Иоганну Мюнцер, чтоб заворачивала нашей конторой; по слухам, она прежде со всем управлялась... Ну, а пока мы прибыли на кладбище; я здесь подожду, мертвые личности меня не занимают.

Они вышли, и Давид не забыл предложить шоферу зайти в кафе напротив кладбища, выпить чашечку кофе; он хорошо запомнил то, что в виде предостережения пересказала ему Карола Крель, но, как всегда, Эрих отрицательно покачал головой и прикорнул в машине, собираясь вздремнуть.

Йохен Гюльденстерн взял цветы.

— Можешь больше ничего не говорить, я все понял, да я и сам еще раньше все знал.

— Нет, буду говорить,— обиделся Давид,— нельзя же спровоцировать меня на руководящую деятельность, а потом вдруг

лишить слова... Ты слыхал о Че Геваре?

— Слыхал ли я о Наполеоне или Гагарине?

— Извини, я не был уверен, ты ведь журналист... Убежден, он превосходный человек, революционер до мозга костей, Спартак, Джон Болл, кто хочешь... Вернул Фиделю министерский портфель и почти наверняка находится сейчас в Южной Америке, конечно же, во имя революции. Я беседовал как-то с двумя боливийскими товарищами, они, понятно, не партия, но сказанное ими звучит убедительно: будь сейчас революционная ситуация, была бы и революция. Тогда им понадобился бы каждый опытный революционер. Без такой ситуации любой ум, любой опыт и любой энтузиазм пропадут попусту. Что сейчас сделать можно, партия сделала бы и без Че, а вот на Кубе его очень недостает. Освобождение Латинской Америки, считают они, наступит тем скорее, чем скорее освобожденная Куба достигнет успехов. Переворот — это был первый ответ на наболевшие вопросы их континента, честь и слава тем, кто этот ответ дал, но на дальнейшем пути придется им столкнуться с тысячей вопросов. Можно ли жить без латифундистов и без американцев, воюя с ними,— вот лишь два вопроса из тысячи, можно ли жить лучше — третий вопрос, и так далее... Убеждение убежденных: да, можно, но это одно дело, доказательства же, без которых в наше время не обойтись, дело другое.

Они мне многое порассказали, эти товарищи, и о Кубе тоже, поразительные вещи и жуткие; они были полны симпатии к Геваре, хотя не одобряли его отъезда с Кубы. Вот что они сказали: быть революционером — значит всегда искать, и находить, и удерживать за собой то место, на котором ты добьешься максимальных преобразований.

— Хватит, Давид,— кивнул Йохен Гюльденстерн,— без твоей притчи, пожалуй, можно обойтись, но твоя боливийская формула революционера недурна, тем более что родиной ее могла быть Лейна или Берлин, Маркс-Энгельс-платц.

— Или стройка на берегу залива Грейфсвальдер-Бодден,— добавил Давид.

— Или стройка,— согласился Гюльденстерн,— но, знаешь, я очень хорошо понимаю Че Гевару.

— А я, считаешь, нет?— спросил Давид и подумал: неужели ты считаешь, что я не понимаю? Считаешь, что я только и ликую, как вспомню, что сделано за день — ура, полный порядок! Особенно сейчас, когда, разодетый барином, шагаю по кладбищу — глава редакции, который собирается сказать несколько скорбных слов над могилой своего заслуженного сотрудника? Особенно в такой день, как нынешний, когда я ничего не сделал,

разве только не дал остановиться пущенной в ход машине? Считаешь, я безумно доволен собой, если могу уведомить себя: ну что ж, дела идут, никаких происшествий, на постах без перемен? И в этом заключается счастье, мое счастье: машина работает, конвейер движется, ни перебоев, ни катастроф?

Я доволен, что дело у нас идет, ведь не всегда все шло гладко, а высотному полету не бывать, если на земле непорядок, но счастье — это, видимо, нечто иное.

Весьма сомнительные, мастер Грот, весьма сомнительные у тебя взгляды! Сам становишься себе поперек дороги. Куда же водворишь ты свое понятие о счастье?

Ты долго трудился, чтобы эта машина бесперебойно работала. Теперь она работает — сносно. Ты добивался согласованности требований и затраченных усилий — зазор между ними уменьшился. Кривая твоей жизни пошла вверх: ликуй, парень!

Ну-ну, ликовать довольно глупо; но брюзжать оттого, что в обязанности, которые ты на себя взвалил, входят обыденные дела, пожалуй, еще нелепее.

Щепотка мировой скорби дозволена. Когда тебе приносят статью о Вьетнаме, ты вправе помечтать о собственном военном репортаже. Когда репортеры отправляются с монтажниками из Эберсвальде в Бангкок, ты вправе пожелать: хорошо бы с ними поменяться. Над фотографиями из зала суда по делу о контергане ты вправе помечтать: недурно бы проследить путь денег из кошелька молодой женщины, которой не спится,— а отчего, собственно говоря? — в личный бюджет фабриканта, который спит, но как он спит? Если плохо, то что он принимает? А если хорошо, то вяжется ли это одно с другим? Что должен он думать, глядя на фотографии тех детей? А что думает он, глядя на собственных детей? Что делают с ним деньги, полученные таким путем? Быть может, он хотел добра? Быть может, у него, да, и у него тоже отсутствует сознание совершенной несправедливости? Быть может, он сам Эйхман в образе фармацевта или случайный человек, ставший фармацевтом? Есть ли у него философия, теория, вера, нужны ли они ему? Да, кстати, как он себе мыслит, как он себе представляет счастье?

Воля твоя, главный редактор Грот, мечтай: надо бы как-нибудь... Надо бы месяц проторчать в мастерской скульптора Фрица Кремера. Надо бы поселиться в деревне, которая должна переселиться, освободив место для буроугольного карьера. Надо бы побыть с Анной Краузе берлинкой, каких сотни — семьдесят два года, пенсионерка, вдова со времен фольксштурма, сходить с ней на почту за пенсией и за посылкой из Гейдельберга, к доктору и к слесарю в домоуправление, и на экскурсию съездить в Ланке с

группой «Народной солидарности», и побывать на конфирмации младшего сына ее дочери Эдельтраут, и вернуться назад, в комнату, где уже ничто и никогда не изменится.

Надо бы в Дубну съездить и в Йену, в Биафру и в Плате под Шверином, в тамошний «колхоз»; Бормана надо бы выследить, открыть талантливого изобретателя, проследить путь ящичка с угрями до покупателя; вытянуть воспоминания из Клауса Фукса; надо бы дознаться, отчего Джеки Мейсснер по прозвищу «Напильник» ворует, надо бы справиться об этом в законах и в книжных шкафах государственных экспертов по закупке кинофильмов, надо бы помотаться по классическим репортерским дорожкам: вокруг уголовного суда, по полям сражений, вокруг земли побродяжничать; надо бы проследить за судьбами, что воскресенье за воскресеньем вылетают из лотерейного барабана; наконец-то написать полную историю «Красной капеллы» и зеленой революции на полях меж Засницем и Грейцем, и вообще, надо бы все написать заново и еще лучше, правдивее, острее, лучше, лучше, лучше, а самое лучшее попытаться сделать все самому.

Прощай, однако, сослагательное наклонение — изъявительное напоминает: руководи, руководи, руководи. Раз в неделю Давид ближе всего к самоличному созиданию. Это случается на планерке: критический разбор предпоследнего номера на основании читательских писем; критический разбор последнего номера на основании собственного мнения; положение со следующим номером непосредственно перед получением пробного оттиска.

— В заметке об участии трудящихся в управлении производством дважды напечатано «правление ЭДС» вместо «правление СДП», подумать только: ЭДС!

Выкрики:

— Так ведь в заметке!

— Оставили бы СДПГ, ничего б не случилось!

Увы, Давиду приходится отступать от самоличного созидания журнала, ибо он видит: политическая директива не получила достаточно четкого выражения; а он на то и редактор, чтобы директивы получали четкое выражение: стало быть, прокомментируем ее еще раз.

Но тут, отрываясь от стенограммы, задает вопрос Криста:

— Когда мы успели перескочить к третьему пункту? Вы только что объявили повестку дня, и уже обсуждается третий пункт? А первый и второй сегодня выпадают?

— Совершенно верно, Криста, благодарю! Нет, мы, конечно, обсудим первый и второй пункты, затем — читательские письма, а под конец, Криста, как всегда,— будущий номер, пункты четвер-

тый и пятый. Итак, читательские письма, Лило!

Лило сообщает: не поступило ни горячей похвалы, ни разносной брани, вернее, с бранью одно письмо. Мелочи она уже передала в отделы — к примеру, четыре письма по репортажу «Из жизни народного заседателя», основание — фраза коллеги Ре: «И вот опять Петер С. стал на скамью подсудимых».

Общее оживление, коллега Ре злится. Лило продолжает: а серьезный разнос учиняет двадцать один читатель. Суть писем: недопустимая диспропорция в корреспонденциях об исследованиях космоса. Основной пункт: советская программа великолепна, но зачем делать вид, будто американцы камешками швыряют! Шесть раз повторяется дословно или почти дословно вопрос: «Зачем нам это нужно?» Учитель из Айзенхюттенштадта прислал письмо, блестящее по стилю и выразительности, следует подумать, не привлечь ли этого учителя к постоянному сотрудничеству.

— Вот беда, — вздыхает Хельга Генк, — придиры чаще всего здорово пишут.

Общий протест против выражения «придиры». Этот спор Давиду разрешается уладить.

— Верно, Хельга, критика требует изобретательности и фантазии, но для журнала полезно, если мы прислушаемся к подобным «придирам», не так ли? А вы что скажете, доктор Энзикейт, по вопросу пропорции материалов о космических полетах?

Доктор Энзикейт может сказать многое. С чисто профессиональной точки зрения, с чисто политической точки зрения, с партийной точки зрения, с человеческой, и вообще — доктор Энзикейт рассматривает космические события с разных земных точек зрения и высказывается за подобающие соотношения в корреспонденциях о космосе; Академия наук уже распекла его однажды; но ведь и американцы не выказывают особого энтузиазма, когда русские штуковины летают в космосе.

— Угодно кому-нибудь заглянуть в «Лайф»?

Многим угодно, и Давид вынужден вмешаться:

— Не сейчас! Доктор Энзикейт, дайте Лило, что у вас там есть для ответа, а ты, Лило, потрудись не упустить этого выразительного учителя, пусть напишет нам о своих уроках...

— Опять школа, — ворчит спортотдел, — нам надо бы называться «Нойе педагогише рундшау».

Жидкое хихиканье, сокрушенные выкрики, и вот уже главный бухгалтер протягивает ладонь в сторону спортотдела: за плоскую остроту — штраф одна марка, а так как это уже вторичная попытка ее протащить — две марки.

Главный редактор Грот говорит о значении школы, и, если б его облагали налогом за повторы, ему пришлось бы заплатить двадцать марок, самое малое. К тому же он нарушает повестку дня.

— Хельга, вы уже разыскали выпускников Магдебургской народной школы, окончивших в двадцать шестом?

Только Хельга Генк собралась ответить, как Криста останавливает ее вопросом:

— Так, стало быть, мы все-таки уже подошли к пункту пятому?

Нет, рассматривается пункт второй, критический разбор последнего номера. Сегодня анализирует материал Йохен Гюльденстерн, общий итог: сносно.

Подобные разборы чаще всего кончаются оценкой «сносно», со стороны и так предстоит получить еще немало тумаков — к чему предупреждать события?

Тут слова просит Аннегрет из справочно-библиографического отдела: красоточка, в журнале совсем недавно, и чуть слишком ученая, никак не желает довольствоваться своими досье, вечно у нее какие-то вопросы. Вот и сейчас желает знать, почему на иллюстрациях к статье «Как с туризмом в отелях „Интурист"» видишь одни и те же желтоватые люстры.

— Их видишь на всех иллюстрациях,— отвечает Габельбах,— потому что их видишь повсюду в этих отелях. Я испытываю неодолимое желание найти этому объяснение: быть может, они задуманы как средство против путаницы, для удобства ориентации в том смысле, что много путешествующий путешественник, открыв поутру глаза и спросив себя, где же он на сей раз обретается, как взглянет на люстру и узрит ее цвет, тот же час сообразит — он обретается в отеле «Интурист». Вполне, однако, возможно, что эти люстры приглянулись какому-нибудь высокопоставленному чину гостиничного хозяйства. Одного руководящего слова, видимо, оказалось достаточно, чтобы прояснить основное направление в деле установки светоизлучателей в отелях «Интурист». Корреспондент Франц Герман Ортгиз сообщает о сходном случае: Фридрих Вильгельм Прусский посетил однажды графа фон Доона и увидел, что наглец жжет во всех залах белые восковые свечи, тогда как сам он, Фридрих Вильгельм, пользуется желтыми, что и привело к нижеследующему, сообщаемому Ортгизом диалогу: «И он спросил: господин граф, а почему бы не жечь вместо белых свечей желтые? На что воспоследовал ответ графа: желтые несносно чадят, чего белые не учиняют. На что король ответствовал: вот как, сие мне неведомо». Видите, дорогая коллега, один период времени

сменился другим, а вместе с ним изменились и периодические издания, ведь, полагаю, вам не привелось читать в нашем журнале признание какого-нибудь короля: «Сие мне неведомо»?

— Причина, по всей вероятности, в том,— заметил Давид,— что мы редко даем материалы о королях.— Он не понимает, что тут смешного, и хотел бы знать, можно ли наконец переходить к обсуждению плана?

Нет, еще нельзя, Эдит Шобер, «Эдит-все-для-женщин», вновь просмотрела их объявления и теперь требует решительного разговора с рекламщиками, их безвкусица переходит все границы; Эдит демонстрирует два образчика безвкусицы:

— Вот начало брачного объявления, набранное полужирным: «Прогрессивная вдова с собственным приречным земельным участком и пенсией»... Смех, да и только, коллеги, вдобавок я категорически возражаю против подобного обесценивания понятия «прогресс». Во-вторых, я хочу прочесть вам полный текст не знаю брачного или уж какого там еще объявления: «Темпераментная пианистка приглашает молодого веселого скрипача для домашних концертов»; позволю себе спросить, какого рода концерты станут они исполнять? Кстати говоря, объявление помещено в «Разном».

Ганс Бамлер очнулся от дремы.

— Объясни, пожалуйста, Эдит, почему не в «Разном»? Там все музыкальные штуки стоят. «Кто согласится сыграть нам на празднике посвящения в юность? Аккордеон имеется». И прочее.

— «Музыкальные штуки!» — воскликнула Эдит Шобер.— «Посвящение в юность»! На мой взгляд, здесь речь идет о непристойном предложении; мне что, подробнее объяснить?

Большинство присутствующих считает это ее предложение весьма заманчивым, но главный бухгалтер спасает положение.

— В конце-то концов ругаться с рекламщиками придется мне, поэтому предлагаю: Эдит представит свои объяснения письменно, и у меня будет основа для разговора, я ведь в музыке не очень-то разбираюсь.

Он подмигивает, Эдит отмахивается, а Давид убивает в зародыше чье-то требование разослать записку Эдит по отделам в качестве «сообщения по редакции»; затем обсуждается пробный оттиск. Два следующих пункта тоже быстро приканчивают; правда, вновь вспыхивает спор вокруг украшений из даров Балтики, и вновь приходится удивляться, почему многие присутствующие терпеть не могут янтарь, но вопрос в принципе раз и навсегда решен: НБР делается не для присутствующих, «дары Балтики» подписаны в печать, и точка.

Далее на повестке дня пункт, который ближе всего подводит

Давида Грота к осуществлению его грез: план, перспективный план, долгосрочный план развития — надо бы как-нибудь...

На этом этапе в большом спросе люди с щупами будущего.

— А не прогуляться ли нам мысленно по будущему центру? Коллега Габельбах полагает, что с помощью ретуши моделей ему удастся наглядно проиллюстрировать материал, и, может, силой фантазии мы обнаружим, где и чего там не хватает. (Реплика: «Кабаков!!!»)

— Наш районный корреспондент сообщает, что в Левице с шестьдесят девятого начнут в крупных масштабах разводить рогатый скот; до недавнего времени там были едва ли не первобытные места, правда, много лугов, но в основном трясина, болота и топь, птичий заповедник на семидесяти квадратных километрах.

(Вопрос: «А что же будет с птицами? Это где-то у Людвигслуста? Там немало редкостных птичек». Ответ: «Разберемся заодно и в этом. Лило, ты знаешь орнитолога?» Лило знает.)

— Разрешите еще раз напомнить об олимпиаде? (Четкий ответ: нет, не разрешим, нет, не нужно, он напоминает о ней уже в течение трех лет, все на мази.)

— Есть идея к двадцатой годовщине! (Раздается чей-то тихий стон.) Можно по аналогии с картой мира на последней полосе НБР дать в шестьдесят девятом карту ГДР; неужели до тех пор этим премированным собакам конца не будет? (Возмущение собачьего фотографа подавлено общим шиканьем.)

— Тогда карту нужно было еще вчера заказывать; ведь юбилей — завтра! (Ворчанье: «Да кому ты это говоришь?!»)

— С новым романом дело пока дрянь; но «Фольк унд вельт» издает польский детектив; говорят, стоящий. («А кто говорит?» — «Переводчик». — «Ага!»)

— Удастся нам послать кого-нибудь в Доминиканскую Республику? Может, нашего австралийца? Полагаю, недурно было бы показать, что получается, когда ами спасают диктаторский режим.

— В следующем году Иоганне Мюнцер семьдесят; предлагаю разворот! («Браво!»)

— Я замыслил кое-что с Рулой; они начали выпуск электробудильников, уровень мировых стандартов, реально предусмотрели на этот раз потребности внутреннего рынка. («Ого!»)

— А что, собственно, собирается делать Ширах, выйдя из каталажки? Как приспособится он к общественному устройству на Западе? («Хочешь, что ли, его мемуары откупить?») Не-ет, только напомнить людям о том, о чем он умалчивает!

— Мы упустили из виду проблему автостопа; не

вернуться ли к ней в летних номерах?

— Мне нужно на две недели съездить в Академгородок.

— Нельзя забывать застрельщиков производства!

И плановиков, и руководителей, и писателей, и специалистов сетевого планирования, и других специалистов, и упаси бог позабыть «Комише опер», и смотр рабочей самодеятельности, и рюгенское радио вкупе с торговым и рыболовецким флотом, и волейбол, и силосную башню в Фердинандсхофе, и «Выставку достижений мастеров завтрашнего дня», и цветных в США, в Родезии и Южно-Африканской Республике, и станки для шлифования профилей зубьев завода «Седьмое октября» в Вейсензее, и гуманистические вестерны бабельсбергской киностудии, хор мальчиков дрезденской церкви Святого Креста, здоровый образ жизни и, конечно же! — нового человека.

Все они хотят, чтобы о них помнили, и все ведающие ими отделы хотят, чтобы их выслушали, и все сотрудники хотят, чтобы их похвалили, и всякую работу нужно спланировать, а кое у кого из коллег в голове немало вздорных причуд, с ними приходится бороться, а кое у кого из друзей еще путы на ногах, от них надо освобождаться, а кое у кого из членов партии возникают всякие сомнения, боже, помоги им проявить понимание, но, увы, бог плохой помощник, тут нужны веские аргументы, а редакции нужен новый художник — проклятое пьянство! — а бухгалтерия не желает выложить денежки за объектив «Рыбий глаз», а шрифтовиков нужно отучить от шрифтов в стиле «модерн»; вдобавок вечные стихийные бедствия: то секретарша выходит замуж, а мужу, видите ли, ее служба не по вкусу; то отпуска по беременности: в архиве — один, на телетайпе — один, в отделе внешней политики — сразу два, да что там у них такое, во внешней политике! Лаборантка получила наследство — дом в Плауене, а в нем бабусю, лаборантке нужно в Плауен, нужно сменить место жительства, редакции нужно сменить лаборантку на... кого? Кренек и Буш уходят на месячные курсы, собираются стать заочниками, да вы что, братцы, вечно будете учиться?

Бойкий и полезный парнишка из отдела техники пойдет в армию, а отдел пойдет ко всем чертям, старик Дорнхоф, помешанный на фантасте Гансе Доминике, в одиночку ни за что не вытянет! Мейснера, единственного знатока Индонезии, вызывают на курсы рабочих дружин, одна надежда, что в Индонезии ничего не приключится, пока Мейснер постигает автоматы Калашникова! Сара Вейс больна. Дурашливый лаборант тоже болен. Виземан болен. Девица, грудастенькая такая, тоже больна. Остальные прочие в отпуске.

Отчего я не болен? Отчего я не в отпуске? Отчего мне нельзя

на курсы рабочих дружин, или на другие какие курсы, или в армию? Мне в жизни не доставалось наследства. Подчас просто хочется умереть!

Подчас Давиду Гроту хочется умереть, но всечасно хочется оставаться еще очень молодым, легким на подъем, вот так, раз-два — и лететь в Боливию к гверильясам, бросить командный пост на Кубе, бросить редакторское кресло в «Нойе берлинер рундшау»! Но ему раз и навсегда втолковали: Hic Bolivia, hic salta! * Здесь твое место, гверильеро, ты нужен здесь.

А занесешься в романтических мечтах, гляди, натворишь бед! Твое имя в самом верху выходных данных свидетельствует: ты нижний, ты с самого низу поддерживаешь пирамиду, что зовется НБР; пойми, без тебя все веселые гимнасты рухнут в песок. И максимум внимания при переводе возгласа: hic salta! Ты не акробат, летящий на трапеции, ты даже не страхующий под куполом; ты стоишь на земле и отвечаешь за всю программу, а не только за один ее номер. Никто больше не приходит в цирк ради тебя, но утешайся: публика потеряла бы охоту бывать в твоем цирке, не оберегай ты высокое искусство, оберегая порядок в доме. Да, приятель, ты директор предприятия, но кому ты собрался на это жаловаться? Никто не хватал тебя за горло, никто не сажал тебя в твое кресло, угрожая пистолетом. Не пост пришел к тебе, напротив, это ты шел к нему. Восемнадцать лет ты целеустремленно шел прямиком к этому посту, с различной, правда, скоростью, порой с самой фантастической из всех мыслимых скоростей, со скоростью курьера НБР, а иной раз прогулочным шагом часовой стрелки, но ты не мог не знать, куда ведет тебя твой путь. Нет, ты вовсе не жаждал этой должности, и даже пари с патроном Раттом было скорее щекочущей самолюбие спортивной шуткой, но законы развития, не правда ли, законы развития этой страны, их ты хорошо знал и потому мог бы знать, послушно следуя за посвистыванием радиомаяка: будешь продолжать в том же духе — в очередной раз преуспеешь. А ты не находишь, что чуть рисуешься, ни с того ни с сего вздыхая, что конец именно таков, прикидываясь, будто это не твоих рук дело.

А что до стенаний, которые ты издаешь из-за мнимого отрыва от повседневности, отказа от журналистских сальто-мортале и от упоительного репортерского соло, из-за того, что приходится ограничиваться мечтой: надо бы как-нибудь... — из-за необходимости самообуздания, то обо всем этом следует сказать гораздо резче и тут же добавить кое-что касательно той самой пресловутой

---

* Перифраза строчки из басни Эзопа: «Hic Rhodus, hic salta!» — «Здесь Родос, здесь прыгай!», то есть покажи здесь, на что ты способен.

проблемы, которую вы потому только не именуете отчуждением от рабочего класса, что опасаетесь колотушек, выпадающих на долю того, кто не в том месте упомянет об этом отчуждении.

И вот что следует сказать: будучи к тебе расположены, мы посчитаем наперед, что ты хоть испытываешь страстное желание побывать во всех горячих точках земного шара, лично обрыскать каждое место происшествия, корреспондентом гонять по мрачным трущобам и сверкающим подмосткам нашего времени; итак, посчитаем наперед в твою пользу, что ты хоть и в немалой степени заботишься о славе удачливого охотника за фактами, свидетеля низостей и величия, следопыта на тропе преступлений или прогресса, что тебя хоть и воодушевляет честолюбивое стремление быть первооткрывателем великих событий, найти Ливингстона, развенчать начальника генштаба полковника Редля, присутствовать при том, как десять дней потрясли мир, мы полагаем, что хоть ты во всем этом страстно заинтересован, и мы как нельзя более одобряем твое стремление, потому что любим обширные планы и знаем — скромность способна и погубить, но... мы все-таки надеемся и верим, и в этом проявляется наше к тебе расположение, о котором мы говорили выше, мы полагаем, мы вправе надеяться, что при всем том ты ставишь журналистику выше журналиста Давида Грота, и согласен с тем, рассчитываем мы, что хоть Ливингстона, конечно, следовало найти, но совсем не обязательно это делать Давиду Гроту-Стэнли, что полковника Редля разоблачить надо было, но совсем не обязательно это делать Давиду Гроту-Кишу, что те десять дней описать следовало всенепременно, но уж не любой ценой это было делать Давиду Гроту-Риду; вот наше мнение о тебе — не считай мы так, ты не занимал бы своего поста.

Но ты занимаешь этот пост и потому вправе время от времени помечтать: надо бы как-нибудь!.. И еще ты вправе поразмышлять: а кто бы мог? И вправе потолкаться среди своих подданных в поисках собственного Стэнли. А удастся тебе найти его, так ты уже сделал больше, чем Стэнли, который нашел Ливингстона, ибо тогда ты станешь Давидом Гротом, который нашел нового Стэнли. И еще ты вправе подумать: нам бы нужно такого Киша! И вправе создать себе такого. Ищи себе паренька с задатками, он не может не сыскаться, ищи и отыщи его, не торопись, и его не торопи, но подгоняй. Заставь для начала одолеть тысячу книг, заставь обегать тысячу дорог и выжми для начала из него тысячу тысяч строк о купальных секретах трубочиста, о меню в Доме для престарелых «Зеебах», о выборах правления производственного кооператива шляпников, о

проблеме покупок, о квартирной проблеме, о проблеме трамвая и телестудии «Адлерсхоф». Спорь с ним, спорь до хрипоты, пока у него не останется ничего, кроме собственного мнения. Покажи ему, сколько может быть разных мнений по данному вопросу. Сбивай его с толку, чтобы он разработал собственную систему защиты. Научи его как огня бояться схемы. Громи его, если он станет презирать то, чего не понимает; приласкай, если признается, что не понимает тебя. Накричи на него, если он повторит слово «народ», где следует сказать «люди», и закури с ним, если он сочтет слово «обездвиженность» вопиюще несуразным. Пошли его взять интервью у самого тщеславного человека в республике. Загони его на вечерние курсы испанского. Позаботься, чтобы он читал Библию. Поручи ему наметить в общих чертах специфику в логике поведения страхового агента, сыграть в скат с владельцем передвижной прачечной и сказать новое слово по поводу Международного женского дня. Попытайся сделать из него человека дружелюбного, но не трусливого, скептика, но не пессимиста, насмешника, но не циника; такого, что любит работать и наслаждается досугом; ценит свободу и не мыслит себе жизни без дисциплины; в невежестве видит зачаток варварства, не следует догмам, а верность принципам не путает с догматизмом; настоящего товарища своим товарищам по партии и непримиримого врага врагов своих товарищей.

Все данные за то, что ты преуспеешь, главный редактор Грот: может, мы приобретем нового Киша, а может быть, нового Джона Рида, может, двоих Кишей и Ридов, а может быть, и пятерых — от тебя зависит, и если уж ты любишь мечтать и повторять мечтательно: надо бы как-нибудь... то мы скажем одно: действуй, приятель!

На тот случай, если ты все еще не приметил: сейчас мы говорили о твоей связи с рабочим классом, да, только о том и говорили. Ибо чего хочет от тебя твой рабочий класс? Неужели он хочет, чтобы ты показал, умеешь ли еще держать в руке молот, или чтобы ты в столовке с ним нос к носу сидел, или в дренажной канаве вкалывал, весь перемазанный, как и он? Может, он хочет видеть тебя время от времени в синем халате, или в блузе мясника, или на велосипеде, поспешающего к утренней смене вместе с ним, у замерзшего буроугольного карьера в Клеттвице, черного от угольной пыли в шахте, или клянущего все и вся в открытом море? Неужели он хочет, чтобы ты делал то, что он во сто крат лучше тебя делает? Или он все-таки хочет, чтобы ты делал свое дело, и завтра лучше, чем он вправе ждать от тебя уже сегодня?

Чего ждет от тебя твой рабочий класс? Ответ очень прост: он

ждет, что ты, именно ты дашь ему журнал, иллюстрированный еженедельник «Нойе берлинер рундшау».

Рабочий человек хочет раскрыть журнал в паузе между окончанием работы и телевизором и, читая номер, по меньшей мере раза три ощутить потребность, да, по крайней мере ощутить потребность, подняв голову, крикнуть жене в другую комнату или даже заглянуть туда и сказать:

— Видела эту штуковину? Ну и ну, вот это штука! Да они черт-те что придумывают!

Супружество длится не один день, случается, человеку не о чем поговорить, даже если есть охота, и не такая уж малость, что журнал дает ему повод встать, отправиться в соседнюю комнату и сказать: «Да они черт-те что придумывают!»

Благослови господь тот журнал, что дает человеку повод, прежде чем его в постели сморит усталость, поговорить о коралловом рифе, который он увидел на журнальных страницах.

— Знаешь, если б профсоюз энергичней работал, можно бы провести там отпуск, лежать день-деньской у воды да загорать до черноты, а ты бы в белом бикини... Почему это «нет»? Ты себя недооцениваешь, да, да, уж я-то знаю, что оценивать, вот ты недооцениваешь, а зря, ей-богу, зря, Улла, и ничуть не фигурально скажу: с твоей-то фигурой, Улла... как считаешь: с твоей-то фигурой? — И Улла тоже так считает, и ей очень даже по сердцу, что он дурачится, какая там усталость! Ей это очень даже по сердцу.

Рабочий человек, товарищ Грот,— говоря и о других его запросах — останется тобой доволен, если, читая твой журнал, он время от времени присвистнет:

— А у французов-то еще колонии, как я тут вижу! На лодке вокруг света, ну нет, благодарю покорно! И это был Тиссен? Надо же: двадцать лет я тянул у них лямку, а не узнал бы его, встретив на лестнице! Эх, вот это столовая! Не выбрасывай журнал, подарю его завкому завтра же в *нашей* столовой! И верно, земля-то голубая! Нет, это не для меня: город на вечном льду, хотя, как поглядишь, дух захватывает! Смотри-ка, я было подумал — что за длинноволосого олуха они мне показывают? А тут написано, что он математический гений,— не всегда, значит, по внешности разберешь!

Если тебя и правда заботит связь с рабочим классом, Давид, держись за свой НБР, делай его так, чтобы твои товарищи по классу видели — ты делаешь его для них. Делай его так, чтобы каждый твой читатель чуть поумнел, прочтя журнал. Покажи им их достижения, но только не называй их непрестанно героями. И не забывай ни на минуту: твои читатели целый день трудились;

все, что касается продукции, им хорошо известно. Им не терпится узнать кое-что о неизвестном и увидеть кое-что родное и известное. Помоги им хотя бы проникнуть в тайны того, что кажется им известным. Открой им мир, дай вкусить его загадок, повторяй им, что и они участвуют в их решении, введи еще одну букву в их алфавит, покажи им прекрасное, не дурачь, не втирай им очки, будь их впередсмотрящим, их курьером, прислушивайся к их руководителям и не отрекайся от обозленных, покажи веселую сторону жизни и позаботься, чтобы жизнь стала веселой, постарайся в меру своих сил, чтобы все мы эту жизнь сохранили.

Делай свое дело, как они делают свое. Делай свое дело на своем месте, которое сейчас, сейчас-то по крайней мере в кабинете главного редактора «Нойе берлинер рундшау». Тут тебе и боливийские горы, и Куба, и атомная электростанция «Норд», тут тебе и баррикады, и Байконур, джунгли Вьетнама, и пушка «Авроры», балкон императорского дворца, с которого Либкнехт провозгласил республику, и стол для оратора перед Домом министерств, чертежная доска для города-спутника в Галле, голова студенческой колонны, трибуна в ООН, партизанская школа в Анголе и циклотрон в Дубне — тут твое поле битвы, оружейник, пиши тут и руководи, планируй и учи, мечтай и борись сколько душе угодно.

Хватит наставлений, хватит утешений, принимайся за работу, товарищ редактор!

На такой бурный поток красноречия оружейник и редактор Давид Грот просто не в силах возразить незамедлительно, хотя именно сейчас от него требуется незамедлительная реакция: приниматься за работу! Вот случай поистине показательный!

Не отзвучи сию секунду ретивое наставление, надо бы воспользоваться поводом и воскликнуть: и это работа? Процесс, который вы называете работой, заслуживает этого наименования потому, пожалуй, что совершается в мое оплачиваемое рабочее время,— позвольте напомнить: сейчас я произнесу речь над новой могильной плитой; вот какова моя работа сейчас. Не взглянете ли на определения? Вот определение работы общее и с точки зрения гражданского права: деятельность с затратой сил, преодолевающая препятствия на пути к достижению цели; иначе: работа, связанная с затратой как физических, так и умственных сил, предполагает, что длительность результата превышает рабочее время, иначе говоря, работа в самом широком смысле слова есть расход рабочей силы человека на целенаправленную, сознательную деятельность, в процессе которой человек с помощью орудий труда изменяет природные материалы, чтобы использовать их в своих целях. Только обстановка здесь,

на кладбище, мешает мне саркастически воскликнуть: ха-ха! Условия окружающей среды — кладбищенский покой, мертвая тишина, кладбище, место упокоения; на каждом втором камне высечено: «Спи спокойно!» или «Покойся с миром!» — я поневоле подавляю желание высказать все, что следовало бы, и только тихонько вздыхаю: работа, ха!

Так, проронив всего два-три слова, шагали Давид Грот и Йохен Гюльденстерн по песчаным дорожкам к новому могильному камню товарища Шеферса, и лишь там, где был похоронен писатель из Фридрихсхагена, они на минуту остановились, и Давид сказал:

— Его я хорошо знал и очень любил. Читаешь его с трудом, но, когда поймешь, полюбишь мир больше, чем любил прежде. Христианин, и замечательный рассказчик, и развеселый человек! Большая утрата.

Над могилой товарища Шеферса Давид говорил не дольше, однако вдова, благодарно кивнув, пожала ему руку, а сын сказал: «Спасибо!» И Йохен Гюльденстерн сказал: «Вот видишь!» И соседка Шеферсов после речи Давида совсем по-новому, уважительно поглядела на новую могильную плиту усопшего вахтера «Рундшау», и Давид подумал: длительность результата превышает рабочее время? Он покачал головой, но, проходя на обратном пути мимо могилы писателя, заметил, что его вновь тянет побрюзжать из жалости к самому себе, и тут ему показалось, будто нынешний сосед Шеферса пробормотал: «Дружище, ты транжиришь свое драгоценное время, может, хочешь со мной поменяться?»

Нет, Давид не хотел меняться, а поэтому завершил абстрактные размышления и терзания способом, которому за многие годы научился у Федора Габельбаха: сев с Гюльденстерном к Эриху в машину, обсудил план статьи о «Норде». Они договорились, что малыш Тауберт на этой теме покажет, способен он на что-нибудь, кроме плетения словес, коему научился на журналистском факультете в Лейпциге, а другая новенькая, Рита Хейзе, с веселым задиком, пусть поработает над планом статьи о природном газе, сам Йохен Гюльденстерн, как они тут же договорились, отправится на совещание СЭВ в Румынию, это задание молодым петушкам не по плечу.

Целевая установка, срок, объем, необходимая документация, финансовая сторона, практическая сторона, политические особенности, кадровые вопросы, место материала в общем плане журнала — вся роспись была у них в голове, они со знанием дела рассмотрели ее пункт за пунктом; набросали, теперь уже поделовому, быстро и четко, почти без всяких усилий, как могло

показаться со стороны, предварительный план; ясно, им помогал большой опыт; можно, если угодно, соблазниться и употребить слово, слишком часто и слишком нарочито срывающееся с языка, и назвать происходящий процесс рутиной, но, пожалуй, куда правильнее в данном случае говорить о работе.

И разговор с министром Андерманом — в развитие интриги на благо супружеской жизни Каролы Крель — был кратким и обещал положительные результаты: ситуация у нас такова, угрозу мы видим в том-то, спасение, возможно, в том-то, стало быть, что скажешь, можешь помочь? У министра не возникло никаких сомнений, он даже поблагодарил: диспетчер, ни разу не побывавший на курсах, да где это видано, где это слыхано? И видано и слыхано в его владениях? С трудом верится, дальше он такого не потерпит, он наведет порядок; уж он научит его учиться!

Министр расхохотался, представив себе, как его диспетчер волей-неволей сядет за парту, потому что его фотографию опубликуют в журнале, цветную фотографию с подписью: отныне коллегу Креля, испытанного специалиста-практика зернокрупяного дела, неодолимо тянет к теории и науке.

Министр увлекся, его осенила идея — может, ловкий интервьюер подобьет зерноуправителя Креля на публичное признание того факта, что ученость способствует формированию личности, идет на пользу не только пище- и кормопродуктовому функционеру Крелю, но и Крелю-человеку, а также его человеческим взаимоотношениям, будь то на производстве, в компании или в личных сферах, скажем, в браке...

Тут министр спохватился — он очень спешит, утром референт не подозревал, какая будет нынче спешка, надо ехать к начальству раньше, чем предполагалось: видимо, из высших инстанций уже поступили предложения, создаются два новых министерства, «но только между нами, вопрос еще не подготовлен, с кадрами, как всегда, зарез, уйму всего нужно обговорить и урегулировать, благодари создателя, что тебя сия чаша миновала, вот где разводят церемонии, нет, в наше время все было иначе: Фриц, зайди-ка, присаживайся, Фриц, ты здоров Фриц, вот и хорошо, Фриц, с завтрашнего дня ты у нас министр!»

Еще раз пообещав, что выполнит свою часть положительной интриги, министр позвонил референту, и Давид упустил возможность этак мимоходом задать вопрос: да, скажи, пожалуйста, каково тебе, собственно, живется, каково человеку, я имею в виду — если он министр?

И он вернулся в «Нойе берлинер рундшау», и тут уж Криста позаботилась, чтобы он почувствовал, каково человеку, если он главный редактор.

12

Давид познакомился с Фрицем Андерманом каким-то на удивление многоступенчатым путем. Вначале было лишь имя, которое Василий Васильевич Спиридонов выговаривал как особенно меткое наименование Нечистого и пользовался им вместо сильных выражений: там, где у его соотечественников сорвалось бы с языка крепкое словцо, Василий Васильевич Спиридонов рявкал: «Фриц Андерман!»

Позднее Давид составил себе понятие о самом значительном и начисто обезоруживающем злодеянии Фрица Андермана, главным образом потому обезоруживающем, что внешние проявления его скорее позволяли предполагать стопроцентно положительное деяние.

Затем Давид узнал разом и почерк Андермана, и его яро отрицательный взгляд на некую личность из военной истории, а заодно познакомился еще с одной, до сей поры ему неведомой формой политических споров.

Чуть позже Давид узнал голос Фрица Андермана, что далось ему сравнительно легко, ибо голос гремел из четырех огромных репродукторов и лишь потому не приносил удовлетворительных результатов, что звук, страдая от неудачного расположения четырех акустических приспособлений по углам огромной площади, вполне мог сойти за магнитофонную запись летней грозы средней силы.

Спустя шесть лет Давид впервые увидел Фрица Андермана, и то на короткое время; после чего прошло еще четыре года, и Фриц Андерман стал его учителем в партийной школе, свирепым педагогом, обхождение которого никак не воодушевляло Давида напоминать о давнем знакомстве. А когда он все-таки впоследствии решился, оба поначалу очень смеялись, но потом опять до хрипоты спорили о той самой личности из прусской военной истории.

В конце концов Давид стал чаще встречаться с Фрицем Андерманом, главным образом как журналист с министром, а вот теперь они сообщники по одной положительной интриге в пользу завотдела кадров Каролы Крель.

Но в начале начал был все-таки Василий Васильевич Спиридонов, майор Красной Армии, комендант города и старый знакомый Иоганны Мюнцер по ее «великим временам».

Выглядел он так: широкоплечий, круглоголовый, атлетического сложения, размер воротника — сорок четыре, глаза светлые, нос картошкой, волосы редкие, цвет лица темно-коричневый до середины лба, свежевыбрит, плечи и живот борца в летах, хотя

возраст определить трудно — сорок пять с пятилетним допуском в ту или другую сторону, темперамент, судя по общему виду, отличался резкими колебаниями, а потому не рекомендовалось испытывать его на себе: может, признает другом, а может, вздернет на виселицу.

Охотно верю, подумал Давид, когда Пентесилея повелела, чтобы в ее госте он признал настоящего человека и одного из ее лучших друзей, в этом я не сомневаюсь, подумал он, вы оба как нельзя более подходите друг другу.

И тут же настроился на патетические порывы; натренироваться он успел, будучи ближайшим сотрудником Иоганны, и знал, чего ожидать, если ему в самый разгар работы вручали предписание явиться к редактрисе.

— Вот тебе мой референт, Василий Васильевич,— объявила Иоганна,— он к твоим услугам. А ты, Давид, приготовься отвечать товарищу Спиридонову, он был на докладе у генерала, а теперь пришел навестить меня, он майор.

Товарищ майор придирчиво оглядел Давида и кивнул. Что бы ни сообщила ему Иоганна о своем референте, теперь, казалось, ему все стало ясно.

Он пожал руку Давиду и спросил:

— Как состояние твоего здоровья?

— В порядке, в порядке,— ответил Давид.

— А как чувствуют себя твои уважаемые папаша и мамаша?

Давид покосился на Иоганну, та спокойно глядела на него, покачивая синей ногой; Давид ответил:

— Спасибо, ничего.

— Вот и хорошо,— сказал майор,— мы, значит, познакомились. А теперь небольшой вопрос...

Он замолчал, казалось, он ищет подходящее слово. Взгляд его помрачнел, он что-то шептал, словно пытался побороть дурные воспоминания; слетавшие с его губ слова, едва слышные, но с угрожающими нотками, звучали как проклятье, которое рвется из глубины души, но, видимо, проклятье совсем особое, подумал Давид; благодаря общению с русскими солдатами Давид получил некоторое представление об их искусстве сквернословия. Крепкое словцо, что сквозь зубы процедил майор, было, надо думать, бранью весьма ограниченного хождения, присущей, возможно, Иркутску или изобретенной жителями Казани, во всяком случае, никогда раньше Давид подобного выражения не слышал, ему еще ни разу не доводилось слышать русское проклятье, которое звучало бы как «фрицандерман»!

Прежде чем Давид успел осмыслить новый для него идиоматический оборот, Василий Васильевич Спиридонов задал ему

неожиданный вопрос:

— Что тебе известно о Мольтке?

Тут уж Давид не покосился, а вопросительно уставился на Иоганну, и она уже не просто глянула на него в ответ, она заговорила:

— Я, по правде говоря, не очень довольна, что тебе известны подобные факты, ибо они занимают в твоей голове место, в котором с большей пользой могли бы разместиться стоящие сведения, но я знаю, что тебе известны эти военные дела, вот тебе случай изложить их здесь сейчас моему советскому другу. Так излагай же их, Давид!

Прежде чем излагать, Давид поспешил убедиться, что речь идет не о Мольтке из битвы на Марне, а о Мольтке Кёниггреца и Парижа, и тогда стал излагать, и как он излагал!

Начал он свое сообщение, правда, очень осторожно, поскольку помнил, что советские офицеры в принципе не слишком-то высоко ценили немцев, сведущих в военной науке, но, раз уж сверх просьбы майора имелся еще и приказ Пентесилеи, он очень скоро забыл об осторожности и, отступив под натиском долго скрываемых знаний, открыл заветные хранилища и стал выкладывать свои запасы, как в ту пору, целую вечность тому назад, когда привел в удивление и негодование дядю Германа, фельдфебеля Грота из Ратцебурга, сообщив ему, что гениальный стратег великой Пруссии был не только датским офицером, но и военным пособником одного из турецких султанов; как в ту пору, когда Давид-меньший сын в борьбе с учителем Кастеном благодаря специальным познаниям по разделу «Наши великие немецкие мужи» и подразделу «Полководцы» завоевал авторитет среди одноклассников; как в ту пору, у мастера Тредера, когда он сумел связать продажу ружья Шасспо, модель 1866 года, с басней, будто именно из этого ружья под Парижем был произведен прицельный выстрел в графа Мольтке, что, в свою очередь, дало повод мастеру на протяжении всей торговой сделки говорить только о «знаменитом смертоносном оружии»; как в ту пору, так и теперь референт Грот излагал советскому майору Спиридонову «военную науку» фельдмаршала фон Мольтке, как в ту пору, когда на попечении Давида было все оружие генерала авиации Клюца и ему вменялось в обязанность ошеломлять избранных гостей генерала цитатами из труда фельдмаршала об итальянском походе 1859 года.

Иоганна Мюнцер слушала разглагольствования своего питомца, едва сдерживая ярость; ее явно до глубины души возмущало подобное злоупотребление могуществом человеческого мозга, при этом она явно радовалась возможности предоставить своему

советскому другу то, что он разыскивал.

А что он доволен, нельзя было не заметить, и нельзя было не услышать, с каким восторгом он на сей раз выкрикнул свое необычное проклятье; звучало оно как «черт побери!» или «тысяча чертей!», но выкликал он, да, не могло быть сомнения, выкликал он «Фриц Андерман!» — и в крике этом слышалось торжество.

Майор поднялся и так порывисто обнял Иоганну Мюнцер, словно покидал жену, отправляясь на долгую полярную зимовку, после чего обратился к Давиду:

— Мне пора ехать, а ты будешь мне сопутствовать!

Давид попытался подавить двоякое чувство: во-первых, ужаса — кто знает, в какие края привык заезжать подобный человек, и, во-вторых, беспокойного любопытства из-за манеры выражаться господина Спиридонова; чем-то допотопно-литературным веяло от его языка, чем-то стародавним, подобные обороты встречались в стихах из старинных школьных хрестоматий или очень старых выпусках ауэрбаховского детского календаря.

К счастью, Василий Васильевич говорил таким образом, только желая высказать без обиняков и только сугубо личное мнение; замечания общего характера, сообщающие, поучающие или повествующие, он излагал немецким языком, который был необычным только потому, что на нем совершенно свободно изъяснялся чужестранец. И конечно же, потому что везде, где напрашивалось смачное ругательство, звучали таинственные слова: «Фриц Андерман!»

Собственно говоря, тайна их относительно быстро раскрылась. Относительно, стало быть, не сразу, не в момент внезапного отъезда, когда Давиду едва хватило времени собрать кое-что необходимое в портфель и под разными предлогами, предназначенными для ушей Иоганны, сбегать в ротационный цех, чтобы наспех, через пятое на десятое, объяснить все Кароле; не прояснилась эта загадка и в первые два часа езды из Берлина, в направлении северо-северо-запада; в это время майор поначалу обменялся мыслями со своим шофером, башкиром, как узнал от него Давид; тот, видимо, по причине смятения духа, как пояснил В. В. Спиридонов, на пути к цели пропустил через свои легкие не менее двухсот граммов махорки и экземпляр «Правды», он злился из-за того, что в такой чудесный весенний день вез в своей машине «гада немца». Поэтому Василий Васильевич все время, пока они ехали от центра Берлина до Рыночной площади в Нейстрелице, употребил на то, чтобы нарисовать мрачно дымящему вознице облик Германии, наделенный, по мнению Давида, не в меру апологетическими чертами.

Двуязычный доклад майора сбил с толку как состоящего на действительной службе советского солдата, так и уволенного в запас немецкого солдата, ибо получалось, если оба они правильно его поняли, что едут они не столько по шоссе, которое, кстати, проходило мимо Заксенхаузена и Равенсбрюка, сколько по трассе, связывающей Берлин Генриха Гейне и Хиддензее Герхарта Гауптмана, вернее говоря, по стезе культуры, пересекающей неоглядный край, который простирался от родины Генриха фон Клейста на востоке и Теодора Фонтане на западе до северного острова Рюгена, где жил Эрнст Мориц Арндт, где родились Фриц Рейтер и Иоганн Генрих Фосс, по левую сторону от их пути лежал Рейнсберг Тухольского, а по правую — место добровольного заключения Ганса Фаллады, и Гюстров тоже был где-то неподалеку, а там — дом Барлаха, а в Нейстрелиц они завернули только для того, чтобы объехать вокруг последнего жилища Энгельберта Гумпердинка, и Давид подумал: «Бог мой, Энгельберт Гумпердинк, как это имя звучит для башкирского уха?»

Василий Васильевич Спиридонов наряду со сведениями культурно-географического характера о деятелях литературы и искусства пересекаемой ими местности создал для своего махоркопожирающего водителя по-русски, а для его нежелательного седока по-немецки портреты друзей и товарищей, которых можно было безнаказанно назвать «немцы», но никак нельзя было безнаказанно назвать «гады немцы».

Он создал выразительный портрет Иоганны Мюнцер, представляющий ее человеком доброго сердца, твердых принципов, широких взглядов и, что вконец озадачило Давида, человеком остроумным, не чуждающимся радостей жизни. Широкие взгляды — что ж, возможно, твердые принципы — бесспорно, а вот добросердечность — хм, а уж остроумие и радости жизни — нет, это Давид никак не мог постичь, и хотя он говорил себе, что русский майор прежде всего озабочен тем, чтобы башкирский курильщик составил себе правильное понятие о немцах, однако подобное украшательство считал непозволительным. Но именно в этом пункте Спиридонов встретил полное понимание у своего водителя; тот не раз одобрительно кивнул, а дважды вместе с клубами дыма исторг из себя какие-то звуки, видимо означавшие смешок по-башкирски. Если двуязычные рассказы Василия Васильевича и вправду были историями из жизни Иоганны Мюнцер, то они произвели двойной эффект: открыли молодому человеку за рулем машины новый облик немца, а молодому человеку в машине — совершенно новый облик Иоганны Мюнцер; истории оказались столь красочными и сочными, что сам майор, воодушевленный воспоминаниями, подчеркивая их соль,

всякий раз восторженно восклицал:

— Фриц Андерман, ах ты, Фриц Андерман!

Позднее, когда они проезжали по болотистой местности близ озера Мюриц, Василий Васильевич рассказал о другом немце, который также не попадал в категорию «гадов немцев», хотя и был, по-видимому, наделен каким-то чудовищным изъяном; каким — этого Давид пока что не узнал, уловил только какие-то намеки, ибо в самых различных местах похвального слова слышались сдавленные стоны майора, яростные и мучительные, бесспорно и явно ругательные:

— Ах, Фриц Андерман!

Немец, на которого начальник рекомендовал обратить внимание своему башкиру-кормчему, был, очевидно, бургомистром или партсекретарем города, к которому приближалась машина вместе с Давидом, все еще не имевшим понятия, ни где расположен этот город, ни что ждет его там; да, по всей вероятности, речь шла о немецком функционере того города, где советским комендантом был майор Василий Васильевич Спиридонов. По словам Спиридонова, лучший немец города не имел изъянов, за исключением одного-единственного, так и не названного. Он обладал львиной храбростью, медвежьей силой и лисьей хитростью. Это был один из тех, кто боролся в Руре и в Бранденбургской тюрьме, в Веддинге и Ораниенбурге. Сын гессенского медника, горняк, функционер КПГ, узник гестапо, один из тех, кто во время транспортировки из лагеря на берегу Хафеля на обреченное судно, ждавшее их в Балтийском море, бежал от эсэсовцев, человек, всей душой прилепившийся к Мекленбургу, всей душой прилепившийся к своей работе.

Пока Василий Васильевич Спиридонов рассказывал своему водителю об этом человеке, в душе у Давида зарождалось чувство, которое он давно пытался всячески подавить и яростными усилиями умудрился почти усыпить, теперь же у него вновь шевельнулась мысль, которую он, заведомо вступая в противоречие с разумом и воспоминаниями о собственном отце, объявил запретной, да, невзирая на дружеское общение с Иоганной Мюнцер, с Возницей Майером и другими подобными им людьми и невзирая на встречи с Ксавером Франком и подобными ему людьми, невзирая на сочинения — Маркса и Энгельса, Брехта и Бехера, — которые он одолел с великим трудом, хотя и великим удовольствием; мысль эта явилась вновь, и вот она здесь, в машине, полной махорочного дыма, катящей по извилистой дороге вдоль Плауенского озера, здесь, в обществе башкира и русского майора, у которого над карманом гимнастерки поблескивают в два ряда памятки о встречах с другими Гротами, и Майерами, и Франками;

подумать только, именно здесь, именно сейчас в груди Давида шевельнулось некое чувство и оформилось в определенную мысль: быть может, нам все-таки удастся, быть может, мы доживем до того, что, назвав себя, назвав свою страну, не вызовем ни у кого чувства ужаса; быть может, наши имена и название нашей страны станут когда-нибудь словами, звучащими не лучше и не хуже, чем Спиридонов и Ирландия, Башкиров и Венгрия, Дюбуа и Швеция. Однако с майором трудно было слишком долго предаваться радостным мечтам: предоставив водителя его голубовато-дымной усладе, он обратился к Давиду:

— А теперь, мой друг, я доведу до твоего сведения, я поведаю тебе свою беду: сейчас мы прибудем в Пархим, я тамошний комендант, и там родился Мольтке, и там — ах, Фриц Андерман! — да, там у меня разгорелся спор с руководящим немецким товарищем, и как ты думаешь, о чем мы спорим? О Мольтке. Положение таково: город долгие времена щеголял именем Мольтке, что можно понять. Самая большая площадь называлась его именем, самая большая аптека, самая длинная улица — хм, длинная! — ну, во всяком случае, улица, и мост, и ворота, и смотровая площадка. Ничего не скажешь, везде так принято; в Ленинграде тоже многое названо именем Кутузова — это в порядке вещей.

Для меня в порядке вещей, но подумай только, мой новоявленный друг, для кого это не в порядке вещей? Для Фрица Андермана! На первых порах он не затрагивал Мольтке; надо было заботиться о хлебе, кроватях и оконных стеклах, позже — о работе и порядке, об озорниках и новых учителях, он трудился в поте лица, этот Фриц Андерман. Он проводил кампании, этот наш товарищ: кампании против дурного супа и дурных мыслей, кампании за новую жизнь; словом, ты понимаешь, мой добрый друг!

Но потом он развернул кампанию против Мольтке, и с тех пор между нами война. Нет больше моста Мольтке, нет больше ворот Мольтке, нет больше улицы Мольтке, короче говоря: вообще нет больше Мольтке.

Он даже хотел снести памятник, да, памятник Мольтке на площади Мира, каковая прежде, — ты, верно, уж догадался, мой любезный приятель, — называлась площадью Мольтке, ах, чертпоберифрицандерман!

Я признаю, у товарища Андермана имелись свои причины, и казались они вполне обоснованными: он приехал в этот город, намереваясь все здесь изменить, все создать заново, и поначалу обыватели его побаивались и слушались, но вот жизнь вошла в свою колею, и те, кто сперва испугались, что с них шкуру сдерут,

скоро приметили, что шкура их не тронута и сами они целы, они обнаглели, гады этакие, и дали понять товарищу Андерману: чего ты хочешь, да откуда ты вообще-то явился, убирайся назад в свой Гессен или в свою шахту, да что ты понимаешь, ты, угольная кляча, тут тебе не шахта, тут ты в родном городе Мольтке, это город Мольтке, а мы все горожане этого города Мольтке и мыслим, как Мольтке. Короче говоря: они вселили ему ненависть к Мольтке, теперь в его представлении эти гады отождествляются с фельдмаршалом Мольтке, а потому, считает он, нужно убрать Мольтке. И памятник тоже — ой, Фриц Андерман!

Тут я вмешался: я же комендант. Я заявил: руки прочь от памятника!

Надобно тебе сказать, милый мой юноша, я все время вижу памятник. Он стоит по одну сторону площади, а напротив, по другую сторону,— моя комендатура. Там, стоя у окна, я смотрю маршалу в глаза — вернее, смотрел, смотрел ему в глаза, а теперь я смотрю в глаза другому...

Ах, как подумаю: Мольтке, генерал-фельдмаршал, предоставивший полководцам свободу водить свои полки. Начальник генерального штаба, предложивший новый метод оперативно-стратегического маневра.

Да что там, милейший, буду с тобой откровенен и прямо скажу: конечно же, как у товарища Андермана есть личные причины быть против памятника, так у меня есть свои личные причины быть за него. Не такая уж это малость, если бывший крестьянский паренек из деревни под Ростовом-на-Дону, стоя у окна, смотрит в глаза фельдмаршалу Мольтке.

Сорок лет назад в нашу деревушку пришло письмо от его высокоблагородия господина ротмистра; отец не вернется, гласило оно, он погиб, и деревенские бабы запричитали: «Ох, горюшко-горе, да он всех нас сожрет, этот проклятый немец». Ну а там и тебя самого заграбастал царь воевать за него; царя ты шуганул ко всем чертям, а вот немца, того не так-то просто было шугануть ни к чертям, ни из собственной страны, немец в Брест-Литовске сварганил то, что он назвал миром, и ты волей-неволей принял этот мир, а ночью, лежа на сене, солдаты шептались: «Ой, немец хитрюга, у него генералы похитрее самого Распутина». Ну а потом белые тебя пытались отправить на тот свет, а ты их. Они гнались по пятам за тобой, а ты гнался по пятам за ними, и так до самой Сибири, но однажды дела у тебя обернулись особенно плохо: каждый день стоил моря крови, а тебе никак этих негодяев не сломить. И тут ты узнал: ничего удивительного, браток, у них есть генерал, остзейский барон, жил у немцев, изучал там стратегию, ох, эта немецкая стратегия!

В конце концов ты их одолел своей собственной стратегией и возвратился домой, получив приказ: ты должен стать учителем! Садись, дружище, учись, а предмет мы тебе подобрали. И ты учишь, учишь немецкий. Немецкий язык, немецкую литературу, немецкую историю. Что ж, ты учишься, и тебе невольно приходит в голову: какой народ! Какие писатели, какая музыка, какие мыслители! Какие генералы — этих не так уж много, но кое-кто — ого! Клаузевиц, например, или Мольтке! Потом ты начинаешь учить детей немецкому языку, немецкой литературе, немецкой истории, ты даже организуешь драмкружок, ставишь с ребятами Клейста и Хеббеля, не стыдно и немецких друзей пригласить, одну из них зовут Иоганна Мюнцер, она поможет твоему лучшему ученику Ване Кулешову выучить роль принца Гомбургского; но незадолго до премьеры всему конец, опять на страну напал немец, другой немец, и ты никогда не узнаешь, видел ли Ваня свою отверстую могилу, подобно принцу, которого он хотел сыграть, ты узнаешь только, что могилу он себе нашел, неведомо где. А сам ты узнал страх, как тот принц: немец гонит тебя, все вокруг разбивает вдребезги и наступает, наступает, наступает, и однажды ты задумываешься: неудивительно, что они нас гонят — Шарнхорст и Гнейзенау, Клаузевиц и этот Мольтке! Но в один прекрасный день, после многих, многих дней ты резко повернул, и теперь наступаешь ты, наступаешь и наступаешь и в конце концов входишь в маленький город, тебе давно известный, только тебе неизвестно: когда-нибудь там у окна станет Василий Васильевич Спиридонов, майор и комендант, а напротив, на другой стороне площади, он увидит памятник, бронзовое изображение прусского фельдмаршала и начальника имперского генерального штаба графа Хельмута фон Мольтке...

Василий Васильевич с минуту раздумывал над своей историей, и на мгновение показалось, что он доволен, и вдруг он взревел, да так, что даже башкир выхватил изо рта свою самокрутку:

— А тут этот Фриц Андерман!

Лицезреть Фрица Андермана Давиду пока не пришлось, вдобавок он все еще не мог взять в толк, что делать ему в этом треугольнике — Спиридонов, Мольтке, Фриц Андерман; поначалу, когда машина, въезжая в город, мчалась мимо бесконечного ряда сараев, ему предложили закусить колбасой и глотнуть из бутылки.

Наконец они остановились перед кирпичным зданием; майор обнял Давида так же порывисто, как час-другой тому назад обнимал Иоганну Мюнцер, и прошептал:

— Браток, поднимись наверх и помоги товарищу, что сидит там, лучше понять генерал-фельдмаршала графа Хельмута фон

Мольтке, скажи, что ты от меня, скажи, что ты из журнала, скажи что хочешь, главное, скажи ему: Мольтке нам надо сохранить!

Давид, полупарализованный от долгого сидения, полуудушенный «утехой» башкира, полуподавленный новым обликом немцев и новым обликом русских, вылез из машины и, взбираясь по ступеням ратуши, тихо простонал:

— Ах, Фриц Андерман!

Его нелепое положение не оставляло ему выбора: расспрашивая всех встречных, он добрался до кабинета бургомистра и всякий раз, собираясь повернуть назад, вспоминал, что башкир-водитель вылез из машины вслед за ним и, усевшись на ступеньках ратуши с дымящей самокруткой в углу рта и с конструкцией товарища Шпагина в руках — модель ППШ-41, калибр 7,62, стрельба ведется одиночным и автоматическим огнем, при коротких очередях боевая скорострельность до семидесяти одного выстрела в минуту,— казалось, только и ждал кого-то.

Секретарша бургомистра и так уж была именно такой, какой следует быть секретаршам, а когда узнала желание и задание Давида, то показалась ему тоже творением товарища Шпагина.

Однако Давид стойко выдержал ее автоматную очередь — что ему оставалось? — а она все-таки отправилась к Фрицу Андерману, и вернулась от Фрица Андермана, и указала Давиду на стул и стол в углу приемной, и положила на стол записку: «Где появляются наши войска, там восстанавливается порядок» — Х.ф.М. после кровавого подавления революции 17.XI.1848 г.»

Давид вопросительно взглянул на секретаршу, и та выпалила непрерывной очередью:

— Вы должны на нее ответить у бургомистра нет времени заниматься празднословием он работает вы сами все отлично видите если вам удастся припомнить хоть что-нибудь в пользу этого треклятого Мольтке так сделайте одолжение напишите все что вспомните и вы получите ответ что я считаю однако же совершенно излишним и только диву даюсь неужели вам больше нечего делать бургомистр во всяком случае очень очень занят ну так не теряйте времени пишите же наконец! — семьдесят один выстрел.

И Давид, с семьюдесятью одной кровоточащей раной, сел писать:

«Но М. выступал против феодальной раздробленности и за национальное единство».

Секретарша прихватила письмо, когда пошла докладывать о следующем посетителе, пышущем злобой пожилом человеке, смахивающем на пышущего злобой старого учителя, а ответ она

принесла, когда провожала до двери мрачного человека, мясника, судя по фартуку.

«Да, по такому рецепту: «Очень важно, *пусть даже силой,* объединить Германию против Франции», М., август 1866-го; а после войны с Францией он писал, что исторической задачей Пруссии является «собрать воедино всю Германию и создать ей надежную защиту, задача, к решению которой только что сделан важнейший шаг». М., Военная переписка. Кроме того, мое личное мнение: национальный вопрос — дело важное, вопрос классовой борьбы — куда важнее! Ф.А.»

Этот хитрец не иначе как списывает, подумал Давид и обнаружил, что не знает, какова позиция М. в вопросе о классовой борьбе; об этом в книгах, которые он читал, не было ни слова, и вообще вопросами классовой борьбы он занимался только последнее время, а М. в новых книгах не встречался. Он попытался составить себе картину общественных отношений во второй половине прошлого века и приспособить к ним своего М.: его разногласия с феодальной камарильей, его спор с графом фон Вальдерзее и его место в северогерманском рейхстаге, и когда секретарша провожала к бургомистру молодую женщину в сестринской форме, то прихватила Давидово утверждение:

«Будучи аристократом, М. вступил в союз с буржуазией, тогда — прогрессивный шаг!»

Сестра, выходя, положила Давиду на стол возражение бургомистра:

«Тогда уже недостаточно прогрессивный. М. был палачом пролетариата. Он бросил на Парижскую коммуну десять тысяч военнопленных, а во время действия закона против социалистов рекомендовал «атаковать бунтовщиков на городских улицах в конном строю, нанося удары шашками плашмя, против баррикад пустить в дело шрапнель».

С М. и общим прогрессом, стало быть, ничего не вышло, это Давид понял; тогда он решил связать М. с техническим прогрессом, считая, что обязан сделать последнее усилие ради Василия Васильевича Спиридонова; так к бургомистру вместе с жаждущими помощи пенсионерками, протестующими кустарями, трубочистом и делегацией детей, притащивших сломанную мандолину, попали сообщения Давида Грота о великих заслугах М. в строительстве железных дорог и введении телеграфа, а также в развитии картографии; однако хромой солдат, негодующий лесник и пастор, потирающий руки, доставили ему весьма саркастические возражения бургомистра Андермана: верно, верно, современная техника связи, конечно же, необходима человеку, провозгласившему лозунг: «Раздельно двигаться, совместно бить», да и

надежные топографические карты нужны человеку, задумавшему напасть на Данию, или на Австрию, или на Францию, а что человек, планирующий молниеносную войну, знал, как ему пригодятся железные дороги, это уж само собой разумеется.

Выводы эти обозлили Давида, тем более что он понимал: он и сам мог бы их сделать с успехом, и, заметив, что какой-то посетитель, несомненно поэт или деятель искусств, засиделся у бургомистра, Давид с отчаяния сочинил последнее послание, а секретарша самолично отнесла его бургомистру и самолично вынесла Давиду ответ; вот текст последних писем, которыми обменялись референт редактрисы НБР и бургомистр города Мольтке:

Давид в кабинет: «Кроме всего прочего, М. был, говорят, очень талантливый писатель!» Фриц Андерман из кабинета: «Действительно, к тому же идеалист! Привожу образчик высокохудожественных писем генерал-фельдмаршала ф.М.: «Вечный мир есть мечта, и вовсе не прекрасная, а война есть постоянная составная мирового порядка. Во время войны расцветают самые благородные добродетели человека: мужество и самоотверженность, верность долгу и готовность на жертвы с риском для жизни. Без войны мир погряз бы в материализме». Приятель, сдавайся!»

И Давид сдался, а на дороге от стола к двери секретарша изрешетила его дополнительной очередью — семьдесят одно слово калибра 7,62, боевая скорострельность достигла девятисот выстрелов в минуту:

— Если вы надеялись что вы первый кто является к нам с этим Мольтке и что вы чего-то добьетесь хотя уж не раз и безнадежно полгорода и сам комендант пытались чего-то добиться будем надеяться что теперь вы получили хороший урок кстати у себя в журнале можете сказать если они захотят опубликовать статью о милитаризме и им понадобится консультант пусть обратятся за помощью к нам мы здесь на этот счет здорово подкованы!

Часовой-башкир покосился на угрюмое лицо Давида, раздавил окурок о магазин своего «шпагина» и понимающе вздохнул:

— Фрицандерман!

Затем отвез Давида в комендатуру, а хозяин дома поначалу даже и того не сказал, что его шофер; когда же Давид молча дал понять, что пришел с пустыми руками, Василий Васильевич лишь кивнул и показал на окно.

Давид посмотрел на улицу. Если уж ему не удалось реабилитировать Мольтке, так он хоть увидит изображение противоречивого полководца; увидел он только гигантское изображение

генералиссимуса Сталина. И подпись к портрету тоже была выполнена гигантскими буквами, это была историческая фраза: «Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается!»

Давид слышал, как майор что-то резко скомандовал по-русски, после чего со вздохом подошел к окну. Стоя у окна, комендант показал Давиду на своего высшего начальника и произнес:

— Ты видишь этот портрет, мой храбрый товарищ, но за ним не видишь больше Мольтке. Портрет поставил Фриц Андерман — ой, ну и стратег! Теперь я ничего ровным счетом поделать не в силах, и он это очень хорошо знает, как еще знает! Мне остается только обходить транспарант, обозревать сзади маршала, вашего маршала, и еще мне остается тактика, очень-очень осторожная, и то не без риска, потому что... Ах, Фриц Андреман!

Одной рукой он обнял Давида, а другой показал на четырех солдат, среди них был и башкир, шагающих с надписанным полотнищем в руках по направлению к портрету и памятнику. Дойдя до него, солдаты начали приколачивать и разглаживать полотнище у ног своего верховного главнокомандующего, а когда отошли поглядеть на дело своих рук, то Спиридонов и Давид тоже увидели дело их рук и прочли: «Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается, и Мольтке тоже!»

Прежде чем Василий Васильевич отпустил гостя домой, на сей раз с шофером-литовцем, и, как заверил майор, некурящим, они с Давидом умяли пол свиной туши и запили ее добрым глотком вина, а потому, когда комендант проводил референта своей старинной приятельницы Иоганны Мюнцер, уже наступил вечер, и тут-то, в разгар жаркого прощания, с четырех углов площади что-то мощно загрохотало и загремело, но не гром, а скорее все-таки человеческий голос, Давида он сильно испугал, но Василий Васильевич похлопал гостя, успокаивая, по плечу и прокричал прямо в ухо:

— Это товарищ Андерман. Утверждает, что способствует тем самым просвещению горожан, но я-то понимаю, кого он просвещает. Зачитывает Мольтке — кое-какие сомнительные места. Постоянно в один и тот же час.

Он дружески подсадил Давида в машину, дружески помахал ему, а затем, отступив, сжал кулаки, набрал воздуха и заревел что-то, чему, казалось, не будет конца, он ревел так, что сквозь шум мотора и четырехкратно усиленный грохот цитат Давид, весьма приблизительно знакомый с русским языком, безошибочно понял: речь была не о Фрице Андермане, нет, то была солдатская речь, лапидарно-ударный военный фольклор, боевой клич, рев сквозь сибирскую пургу, стон средь волховских болот, то были крепчайшие казацкие словечки, украинское звукоподражание и

исконные башкирские обороты, то сыпал проклятьями разъяренный сын матушки-России, не щадя никого — ни отца, ни внука, ни дяди, ни родимой матери и даже, если Давиду не изменил слух, не щадя начальника генерального штаба, генерал-фельдмаршала графа Хельмута фон Мольтке.

Но вот они уже мчатся из города, мчатся в темнеющий и тихий мекленбургский вечер; Давид мчится назад в «Нойе берлинер рундшау», назад к Иоганне Мюнцер; Давид мчится вперед сквозь дни и годы, но битву за графа фон Мольтке он не забыл, и проклятья майора Василия Васильевича Спиридонова он тоже не в силах позабыть, ибо они, в этом он готов присягнуть, гремят и по сию пору.

А Фриц Андерман? Как его позабыть, они же видятся часто, да вот только что Давид его видел. А возымеет он странное желание взглянуть на фотографию министра Андермана, так к его услугам архив отдела Габельбаха. Министров у них полно, фотографий министров сколько угодно, и, конечно, сколько угодно фотографий министра Андермана.

Однако сколько угодно еще не означает: все фотографии. Один снимок Андермана существовал в единственном экземпляре, и тот хранился у Давида дома, в шкатулке, ключ от которой был только у Давида, и больше ни у кого. Даже у Франциски, даже ей он не показывал этой фотографии, хотя она ее сама сделала и хотя история этого фото тесно связана с ней, Франциской, с ней и Давидом, с ней, Давидом и малышом Давидом, со всем семейством Гротов и любовью Давида и Франциски, именуемой Фран. С точки зрения техники исполнения фотография оставляла желать много лучшего, на ней с трудом можно было различить человека, на которого под проливным дождем со всех сторон наседают какие-то субъекты, притискивая его к колонне,— человека, который то ли перепуган, то ли охвачен ужасом, то ли разъярен, то ли впал в отчаяние, удивлен, растерян, полон ненависти или близок к смерти?

Фотография больше ничего не раскрывала; какова одежда этих субъектов, разобрать было трудно, они могли быть кем угодно, и колонна могла подпирать какое угодно здание, и час мог быть каким угодно часом какого угодно дождливого дня.

С точки зрения этики фотография не годилась для публикации, даже для Габельбаховой стены она не годилась; ее немыслимо выставлять, она секретный документ и таковым хранится в шкатулке у Давида.

Порой у Давида мелькала мысль, не порвать ли фотографию, однажды он даже подумал, не отдать ли ее Фрицу Андерману, но не уничтожил ее и не отдал; он оставил фотографию себе, она

нужна была ему, для себя. Давид не испытывал склонности к фетишам и символам, однако следы этой склонности, видимо, оставались у него в душе, как у каждого человека, а стоило ему поддаться своему мучительному желанию и уничтожить фотографию, и он решил бы, что это лишь другого рода фетишизм, по всем признакам еще более явный.

Снимок был сделан в его присутствии; он стоял рядом с Фран и на мгновение расчистил ей, насколько это было возможно в толпе, место для работы.

Более того, Давид крикнул Франциске: «Сфотографируй его!» — ибо понимал, что человек у колонны не просто человек в беде, ему, казалось, пришел конец, но он не сдается. Нет, он что-то выкрикивает, отвечает на злобный вопрос, которым вовсе не имя его желают узнать, желают получить повод, чтобы вопрос обратить в требование, желают получить повод, чтобы вопрос: кто же ты есть? — обратить в убийственный рев, но человек у колонны отвечает и тем самым показывает: он понимает, дело не только в имени, имя — дело последнее, он называет свое, он выкрикивает:

— Меня зовут Фриц Андерман, я из тех, кого вы собираетесь вздернуть — и не вы первые!

Слова эти дают ему крошечный выигрыш во времени, обеспечивают паузу для следующей фразы:

— Не с вами, а с теми, другими, хотел бы я говорить... Слушайте меня, коллеги...

Но шанс уже упущен, да его и не было вовсе, здесь верховодил не тот, кто желал слушать и говорить, здесь слово было за ревущими, здесь вопило безумие, и заблуждение вторило ему, а злоба углядела здесь для себя удобный случай и вопила, вопила:

— На фонарь их! Убей его! Заткни этой собаке глотку!

Фриц Андерман стоял, притиснутый к колонне, под июньским дождем и ждал, а о чем он думал?

О чем же он думал? — часто спрашивал себя впоследствии Давид; впоследствии, но не в тот мрачный июньский день, не в толпе рядом с Франциской, делавшей свою работу, не в толпе, теперь уже отступя на два метра от Франциски и на два метра приблизившись к человеку у колонны, и на два метра протиснувшись сквозь заграждения из ребер плотников, локтей десятников, бицепсов подсобников, плеч строителей и животов, отросших не на стройках, на два метра приблизившись к Фрицу Андерману.

Вот и все, что осталось у него в памяти: как он продирался к колонне, как крикнул Франциске: «Сфотографируй его!», как мелькнула у него мысль: да это же он, это же Фриц Андерман!

— Эй, негодяи, отпустите его! Я иду, Фриц!

Большего в памяти сыскать не удавалось, еще, пожалуй, дождь и страх, что его сейчас сомнут, уже в двух метрах от Франциски и еще в двух метрах от Фрица Андермана, он помнил только, что кто-то стянул Фрица с колонны, или сдернул, или столкнул, во всяком случае, Фриц исчез из виду и от смерти ушел, наверняка же Давид помнил лишь, что то движение руки было защитным, а сам защитник — в спецовке плотника или каменщика,— вот и все, что Давид мог сыскать в памяти. Но не находил там ответа на вопросы: как собирался поступить ты, о чем ты думал, какой импульс заставил тебя проделать ужасающий двухметровый путь сквозь беснующуюся толпу, дрожал ли ты от страха, храбрился ли, сошел ли ты с ума, что сделал бы ты, добравшись до колонны?

Ответа не было.

Впоследствии Давид, случалось, испытывал искушение представить себя в те минуты куда значительнее, этаким молодцом, воспротивившимся убийцам, сознательным героем среди жесточайшего безрассудства, солдатом, идущим на прорыв ради спасения товарища, но он не поддавался искушению, как ни хотелось ему облачиться в доспехи героя. Он прекрасно понимал, что целенаправленного замысла у него не было, что-то несло его тогда, и он, не сопротивляясь, позволил течению нести себя в правильном направлении.

Таким объяснением он удовольствовался, не без усилия, правда, но удовольствовался, и был удовлетворен, ибо знал, что многих тоже несло, но в направлении отнюдь не правильном.

Ну, хватит об этом, хватит о Давиде, хотя вовсе не хватит о Фрице Андермане. О нем можно подумать и должно подумать; его фотографию можно и должно как следует разглядеть, можно посмотреть на его лицо и должно задать ему вопрос: о чем думал ты в эти минуты?

Со временем Давид, правда, догадался, что прежде всего хлопочет о самом себе, хлопочет не столько об ответах Фрица Андермана, сколько об ответах Давида Грота.

Давид даже был убежден: объяснения, которые он получит, принадлежат к разряду тех, что будут служить ему на протяжении всей его дальнейшей жизни.

Он не считал, что имеет надежное представление о самом себе, но знал, что были мгновения, которые помогли ему хоть на малую долю лучше познать мир. То были точки перехода от действия к постижению, вспышки, когда опыт претворялся в сознание, повороты, когда однажды пережитое переходило в правило.

Давид благословлял свои раздумья о Фрице Андермане, кого пригвоздила к той колонне некая страшная сила, на первый

взгляд ему подобная, да она и была ему подобной, и Давид благословил попытку представить себя в положении Фрица Андермана, ибо она была той малой толикой чувства справедливости, без которого не обойтись ему, Давиду, в его время, в его жизни, в его работе.

Удобных случаев, чтобы поговорить о жестокости, упорстве, суровости суждения, узости взглядов, подворачивалось сколько угодно, и умерять стенания было легче, стоило взглянуть на дело глазами того Фрица Андермана, у колонны.

Вот и уясни себе, Давид Грот, постарайся уразуметь, что такой человек, как Фриц Андерман, в силу своей убежденности мог мыслить только так: начало свободы для ему подобных будет одновременно концом глупости ему подобных, той ужасающей глупости, которая делает человека покорным, богобоязненным, угодливым и легковерным, и даже способным на убийство. Он стерпел все, ибо считал: если те, за кого я терплю, все поймут, ничего подобного никому больше терпеть не придется.

Он никогда не ощущал себя жертвой злобного чуда; все, что случилось с ним, имело свое объяснение, а потому вполне можно никогда более не допускать ничего подобного.

Он совершил лишь ту ошибку, которую слишком часто совершают люди умные, мужественные и праведные: он слишком надеялся на ум, мужество и праведность и считал — прояви они себя в полной мере, настал бы их час и они воцарились бы на веки вечные.

Так он и в самом деле считал, несмотря на весь опыт, несмотря на годы в шахте, когда он не раз оказывался свидетелем, что для одной и той же собачьей жизни находилось множество объяснений разного цвета — не только красного, но и розового, а то и коричневого, и черного, белого и желтого.

Да, он так считал, хотя видел, кто шагал в рядах тех, других, от Рура и до Веддинга, под Бранденбургскими воротами в январскую ночь и к Марсову полю в Нюрнберге, кто шагал с оружием в руках по всем странам света и с оружием в руках вокруг колючей проволоки Заксенхаузена.

Фриц Андерман все это видел с глубокой печалью и гневом, но он видел также далеко вперед: он видел день преображения.

День этот настанет, и преображение тоже настанет, говорил он, и когда настали эти дни, дни свободы и великого преображения, тогда он переоценил скорость, с какой новые возможности обращаются в новую действительность, и слишком доверился доброй воле, сильно преувеличил ее масштабы и ее силу, да, подумать только, именно он, которого всю жизнь притесняла подлость, именно он не заметил, что с подлостью далеко еще не покончено.

О эти ошибки праведников: никаких поблажек, ибо себе они тоже не дают поблажек; нетерпение, ибо нужно спешить; взгляд, устремленный в одном направлении, к единственно верной цели; медленно отступающая слепота, вызванная внезапным озарением; тон, понятный лишь единомышленникам; порой отказ от каких-либо объяснений, ибо все и так понятно; и ложный вывод добродетели: раз я не желаю обогащаться, раз я не лгу, раз я не струсил, раз я терпел лишения, раз я не поддался соблазну, раз я стойко держался в трудное время — значит, ни корыстолюбие, ни трусость, ни глупость теперь, когда времена куда легче, не подымут головы.

Но вот такого человека однажды в июньский день притиснули к колонне, и тут он понял: он — мечтатель; он верил, что за ним, плечом к плечу с ним идут те, кто сейчас стоит перед ним, кто теснит его, кто хочет покончить с ним; может, не столько сам хочет, сколько хотят другие, но сейчас в этом нет разницы, у него накопился печальный опыт, он уже сталкивался с теми, кто как будто и не хотел: они выкриками срывали его выступления, но ведь их понуждали, они преследовали его, но ведь их понуждали, они избивали его, но ведь их понуждали, они прикончили б его, а потом сказали — мы этого не хотели, нас понуждали, нас заставляли, мы ни о чем понятия не имели.

Все это Фриц Андерман слишком часто слышал в прошедшие годы и слишком верил, что если они теперь все поняли, значит, больше не станут расхлебывать кашу, заваренную другими.

Но вот снова заварилась каша, и Фриц Андерман снова здесь, на одной стороне, а они снова там — на другой, восемь лет минуло с тех пор, как он пришел к ним, восемь лет, и он полагал: раз эти годы так отличались от предыдущих, то и люди за эти годы стали совсем другими, чем прежде.

Что ж, кое для кого это было справедливо, и Фрицу Андерману повезло вдвойне: они вырвали его из ловушки, в которой он оказался меж колонной и подогретой людской яростью; так он сохранил жизнь, и так он сохранил надежду.

Надежде, однако, еще долго с трудом приходилось оспаривать опыт того июньского дня. Разочарование на долгие годы возродило подозрительность, обострило чувства, задубило кулаки, убавило доверия; воспоминание без устали долбило: внимание, Фриц Андерман, осторожно, берегись, будь бдительным, не доверяй, лишняя воля заведет в неволю, кто спешит, тот вредит, никакого благодушия, никакого гнилого либерализма, никакой романтики. борьба не кончена, мы еще не победили, того мы еще не можем себе позволить, этого мы еще не должны разрешать, видимость обманчива, еще раз погляди, еще раз проверь, обожди

еще немного, не бойся упрека в узости, если это значит: ни пяди земли врагу, тот день июня не повторится.

Но, увы, добавились к нему и другие дни: тот день, например, когда венгерский Фриц Андерман так и не ушел от своей колонны; и настало время, когда во имя дела, которое может жить только правдой, мир облетели сообщения о горьком заблуждении, о пугающей смерти, и хоть во имя дела, но тем не менее и потому именно сообщения эти злобным эхом отозвались на самом великом деле: значит, все было ложью, все, все, все!

О подобном ходе событий не подозревал ни Фриц Андерман, ни Давид Грот в те часы середины июня тысяча девятьсот пятьдесят третьего года; в этот день они считали именно этот день самым бедственным из всех мыслимых — на фотографии Франциски, запечатлевшей Фрица Андермана у колонны, это ясно видно, и в памяти Давида сохранилось это ощущение, но и совсем другое воспоминание об этом дне сохранил он, одно воспоминание соотносилось с другим, как лед и пламя, и Давид, когда листик календаря напоминал ему о них, все еще не мог постигнуть их общности.

На конец дня пришлось два чрезвычайных положения. Об одном извещали мокрые транспаранты; о втором — признание в любви. Одно вбило следы гусениц в асфальт улиц; второе стало основанием для двоих больше не терять друг друга из виду.

Франциска и Давид вновь обрели друг друга, когда Андерман исчез, оторванный от колонны; Давид кинулся назад, одолевая два метра бурного моря, подгоняемый страхом, что берег он найдет пустым и, быть может, найдет лишь следы проигранной битвы — исковерканный фотоаппарат.

Но аппарат был цел, и девушка невредима, а как она справлялась с ситуацией, Давид тут же увидел воочию.

Он подоспел вовремя, кто-то схватил Франциску за руку, кто-то, похоже, прекрасно понимавший, почему не нужны фотографии этого дня, но еще прежде чем Давид успел заняться этим субъектом, Фран сама, и очень успешно, справилась с задачей.

Она вполголоса бросила фотопротивнику:

— Убирайся сию же минуту, не то я закричу, что ты в толкучке запустил лапы, куда к другим и в другое время не решаешься.

Помогло это куда лучше, чем помог бы взбешенный Давид,— субъекта как ветром сдуло.

Тут все кругом пришло в движение; насилие получило отпор, который тоже звался силой, приказы перекрывали крики. Здесь слишком долго стоял рев: «На фонарь его!», теперь здесь гремело: «Расходись! По домам!»

По домам — это значит по Вильгельмштрассе, вдоль Тиргартена, мимо развороченной рейхсканцелярии,— здесь хорошо виден дворец Бельвю, откуда в этот день в течение долгих часов и до этого мига в последний раз можно было созерцать то, что обещало название дворца: прекрасный вид восточной части города; по домам — это значило по Унтер-ден-Линден, в восточном направлении до Литтенштрассе, среди сбитых с толку людей, тем громче бранившихся, чем меньше они понимали, какая с ними приключилась беда и какую беду они допустили; по домам — мимо остатков знамени на Паризерплац, мимо опрокинутой машины перед Оперой, мимо бронированных грузовиков, мимо пьяного фонарщика, распевающего: «Германия, слава тебе»; по домам под дождем, с грохотом дизелей, с истерическими выкриками в ушах, вырвавшись из общего потока на Либкнехтштрассе, да, Либкнехтштрассе, а там свернуть на Литтенштрассе (Литтен, Ганс, адвокат, убит 4.11.38 г. в Дахау), добраться до Хакешенмаркт и уж оттуда шагать домой. Домой? Но где этот дом в данном конкретном случае? Что имеется в виду? Домой к Давиду? Домой к Франциске? В меблированную комнату фрау Вундер, стало быть, или в меблированную комнату Татьяны Гидеон, преподавательницы пения?

Не может быть и речи ни о том, ни о другом, и вообще не может быть речи о том, чтобы идти домой. Речь может идти только об одном: скорей принимайся за работу или хоть скорей возвращайся на свое рабочее место. Фран — человек свободной профессии, у нее много рабочих мест, а сейчас нет никакого; зато у Давида есть таковое, уже восемь лет оно есть у него, и зовется это рабочее место «Нойе берлинер рундшау», так скорей в НБР, и Фран отправляется вместе с Давидом. Пройдя по деревянному мосту за собором, им бы свернуть налево, наискосок через Люстгартен к НБР, они же пошли прямо, мимо Национальной галереи, уговаривая друг друга, что здесь, в стороне от охраняемых улиц, идти куда проще, и повторили тот же довод, идя от второго моста до Цеткинштрассе; да, мимо бронзового Гегеля и правда было близко, но они-то пошли дальше, по Купферграбену и по набережной Шпрее, а куда она их приведет, они прекрасно знали, только не говорили об этом.

Вот то дерево, курьезный памятник метательнице Франциске, омерзительный памятник валютчику Давиду, точка, стоящая в конце первой части истории Давид — Фран, а что представляет оно собой теперь? Что же ты представляешь собой теперь, дерево?

Давид во все глаза глядел на июньски зеленую, июньски мокрую крону, являя собой примечательное зрелище человека,

еще издали крикнул:

— Габельбаху накостыляли шею!

Он очень учтиво приветствовал Фран и с неожиданным задором рассказал следующее:

— Мы с ним, как началось это буйство, вышли на улицу. Он на первых порах держался в сторонке, все больше общий вид щелкал, да я подсказал: «Не мешало бы вам в гущу влезть, не то останетесь на бобах!» Представляешь, какого он мне жару задал и какие-то слова старика Оргтиза ввернул. А как выговорился, так приступил к делу, врубился в толпу, точно во вражеские полки! Вот уж где было ему разгуляться с его пунктиком. Стал всех направо и налево честить, и не за мерзопакостные лозунги, а за катавасию! Одному парню он что-то о хаосе и сумбуре толковал, я даже разобрал его любимое словцо — олья подрида, мне оно всегда очень нравилось. Но парню оно вовсе не понравилось: решил, верно, что это самая что ни на есть отборная берлинская ругня, ему неизвестная,— олла потшита или что-то в этом роде, и набросился на Федора, я и охнуть не успел, как они врукопашную схватились, ну Федор точно как Эрих в Хазенхейде и уж точно как истинный интеллигент и так же неумело. Дальнейший ход событий можно было предвидеть; но тут я с двойным нельсоном подоспел и увел коллегу Габельбаха. Представляешь, задала бы мне Иоганна перцу! А сейчас она Федора вовсю пушит: и человеческое достоинство поминает, и практическое знание жизни.

Давид оказался у Иоганны Мюнцер как нельзя кстати; Иоганна оставила в покое Габельбаха, который хоть и неважно выглядел, но все-таки, прежде чем отправиться к врачу, разрешил Фран проявить пленку в его лаборатории; теперь гнев редактрисы обрушился на Давида, и с какой силой!

Авантюризм, да, именно так здесь сейчас следует назвать его поведение. Попался на первую же провокацию, о, это можно было предвидеть, ее референт попался на первую же удочку. Забывает о своих обязанностях, ах, видите ли, в городе шум подняли, шатается по улицам, нет чтобы встать в строй с оружием в руках. Да, да, с оружием, она не признает оружия, верно, но когда нужда заставляет, то признает, кстати, она прибегла к образному выражению, обратилась на профессиональном жаргоне оружейников к оружейнику, ратцебуржцу, из коего надеялась сформировать человека. Бандиты черт знает что творят, она ищет, где же меньший сын Давид, ах, что там меньший сын, она ищет, где же ее референт, ведь ей здесь сейчас требуется помощь, но оружейника нет как нет, дисциплина не для него, где-то он околачивается, родной журнал бросил,

видимо, не понял вчера товарища Гротеволя в Фридрихштадтпаласт, а товарищ Гротеволь сказал: «Выходите на работу, товарищи!» Товарищ Гротеволь не сказал: «Выходите на улицу, товарищи!» Но, конечно же, Давид Грот почуял запах пороха, его любимого ружейного и пушечного пороха, а работать отправился беспартийный Габельбах, да, один, под маломощной охраной престарелого товарища Майера, и, разумеется, первое, что стряслось с незаменимым шефом отдела иллюстраций,— ему накостыляли шею!

Тут Пентесилея резко тормознула; позволив себе употребить крепкое выражение, она с горестью внимала теперь его звучанию.

— Нет,— наконец сказала она,— нет, все, что нынче делается, не умещается в человеческой голове, и нам всем надо подвергнуть себя тщательной проверке. Давай не мешкая начнем, Давид; нет, лучше, если здесь сейчас ты не скажешь ни слова, обдумай прежде то, что я с самыми добрыми намерениями высказала тебе,— не все, конечно, нужно тебе обдумывать, сам знаешь, что можно опустить,— позже мы спокойно поговорим, сейчас здесь покоя и в помине нет; ты-то явно потерял покой, я тебя понимаю и очень рада, что ты нашел эту девочку, я еще тогда подумала: а ведь она прекрасный и, сверх того, добрый человек!

— Да неужели?— удивился Давид.— Я этого как следует не разглядел, сбегаю поскорей погляжу.

Уже почти выскочив в коридор, он услышал голос испытанной воительницы:

— Через час общее собрание редакции, и думать не смей явиться без концепции; покажи им, Давид, на что ты способен!

Перед дверьми лаборатории ему пришлось постоять минуту-другую, прежде чем Фран его впустила. Длинный халат Габельбаха придавал ей чуть-чуть, правда, маскарадный, зато вполне профессиональный вид. Она и говорила тоже вполне профессионально, держа Давида на приличном расстоянии.

— Осторожней, привыкни сперва к красному свету, а то ванночки смахнешь со стола. Бачки для проявителя великолепные, мне бы такие дома.

— Не понимаю,— протянул Давид,— вся эта химия здесь, какой-то запах... он как-то странно возбуждает, ты не находишь?

— Если б так, мне бы пришлось нелегко в жизни,— отозвалась Фран,— позволь, ты что, первый раз в лаборатории?

— Не-ет, но обыкновенно этот халат бывает на Федоре Габельбахе, и химия не так дает себя знать. Боже праведный! Сейчас она очень и очень дает себя знать!.. Чем больше я к себе

прислушиваюсь, тем мне яснее, что сейчас она особенно сильно дает себя знать. Не веришь?

— Верю, верю! Отойди-ка, мне и без тебя жарко.

— Всему виной химия,— воскликнул Давид,— скажи, ты всегда так разгуливаешь по лаборатории?

— Как это я так разгуливаю?

— Да без ничего под халатом?

— Но у меня есть кое-что под халатом.

— Спорим?

— Ты с ума сошел? А если Габельбах войдет?

— Не сможет. Сам вмонтировал электрический сигнал: «Вход воспрещен!» Ведь сигнал включен, правда? Габельбах сам позаботился, чтобы с его сигналом считались, правда? Вдобавок здесь еще задвижка имеется, правда?

— Ты не в своем уме,— шепнула Фран и еще шепнула, словно жизнь ставила на карту: — Да и я не в своем уме.

— Вот и чудесно,— пробормотал Давид,— может, всему виной красный свет.

Примерно через одиннадцать световых лет, примерно через миллионную долю секунды, примерно на высоте ярчайшей звезды Кассиопеи, примерно на выкате трамплина в Холменколлене, примерно когда Магеллан вернулся домой, примерно когда Отто Хаан величественно кивнул Лизе Майтнер, примерно вместе с первым взрывом Бертольда Шварца, примерно восьмого мая, четвертого июля, четырнадцатого июля, примерно в первый школьный день, примерно в последний школьный день, примерно у истоков Нила, примерно над Парижем в кокпите «Spirit of St. Louis», примерно там и примерно тогда Франциска Греве сказала Давиду Гроту:

— А теперь надо вынуть пленку из проявителя.

И Давид ответил:

— Ну что ж, значит, вынем пленку из проявителя да покажем здесь сейчас, Франциска, на что мы способны!

Интонация Пентесилеи напомнила ему о Пентесилее, об общем собрании и о концепции, о нынешнем дне вообще, и о мокрой колонне, и о человеке у колонны, и о том, другом чрезвычайном положении, и он сказал:

— Если б ты знала, безумная девчонка, как ты меня скрутила, надеюсь, однако, ты никогда в жизни об этом не догадаешься. Покажи-ка кадры на Лейпцигерплац.

Фран, пропустив мимо ушей первое замечание, выбрала две пленки.

Он отыскал нужные кадры.

— А нельзя ли вот эти отпечатать?

Фран принялась за дело.

— За дверью есть зеркало и все прочее. Ты чуть растрепался.

Он вернулся причесанный, застегнутый на все пуговицы, он сказал:

— И ты тоже.

Она ушла, а он выудил из ванночки один из снимков, разглядел его внимательно и перепугался. Быстро положив фотографию в сушилку, он разыскал на полке конверт, сунул туда фотографию, и, когда Фран вернулась, одетая едва ли не слишком аккуратно и едва ли не слишком опять красивая, Давид объявил:

— Номер двадцать четвертый на этой пленке ты, пожалуйста, выпусти из списка. Я бы не хотел иметь такой вид, как Андерман на этом снимке; я бы не хотел когда-нибудь иметь такой вид, а ведь он куда сильнее всех нас.

Фран кивнула, и Давид направился к двери.

— У нас собрание. Ты останешься?

— Да, буду работать, пока меня не выставят... Мне бы такую лабораторию! Тут хоть двигаться можно.

— О да, двигаться здесь можно,— подтвердил Давид.

— Но глоток-другой воздуха мне не помешает,— продолжала Фран и вышла с ним в коридор.

Распахнув окно и тесно прижавшись друг к другу, они выглянули на улицу.

Там почти все стихло, только танковый дизель кашлял где-то неподалеку.

— Провалиться мне на этом месте,— воскликнул Давид,— раз Фриц Андерман не сидит на родине Мольтке, то где же быть Василию Васильевичу Спиридонову? Раз противник Мольтке в Берлине, то не окажется ли друг Мольтке в Берлине? Вполне возможно! Возможно, он командует здесь танками, возможно, его башкир ведет один из них, надымив полный танк. Вот когда ему поневоле вспомнится теория насчет «гадов немцев»! А что на это скажет Василий Васильевич? Ох, представь себе: может, он сидел начальником гарнизона в Нейруппине у Теодора Фонтане или во Франкфурте-на-Одере и там тоже организовал драмкружок, собираясь ставить Клейста с новым Ваней — принцем Гомбургским. Представь только себе, тут его и вызывают к телефону: Василий, садись в танк, двигай опять в Берлин, немец, знаешь ли, все еще ничего не понял. И Василий говорит: пошли, Ваня, отложи прекрасную драму, возьми автомат Шпагина, садись в танк — они думают, у них опять завелась стратегия. Натали придется подождать!

Надеюсь, ох, Фран, как я надеюсь, что восемьдесят километров до Берлина — достаточно долгий путь, чтобы Василий Ва-

сильевич успел выложить весь запас проклятий и успел понять: восемьдесят этих километров совсем не то, что могло ему показаться сгоряча, эти километры не продолжение того долгого пути, который начался в деревне под Ростовом. Мольтке Фрица Андермана действительно всего лишь памятник, а стратегию на нынешних улицах измыслили совсем другие головы. Ох, я надеюсь, я думаю, нет, я уверен, он понимает: могила, что вырыта нынче в Берлине, вырыта очень, очень длинной рукой, и задумана она необъятных размеров. Случай представлялся удобный, да и мы, видимо, не без вины, нам нужно было раньше видеть, что надвигается, плохо, что у нас глаза открылись только на краю могилы, теперь-то я знаю, кто ее вырыл, а надо бы знать еще вчера или сегодня в обед, надо бы прислушаться к выкрикам, надо бы присмотреться к именам на транспарантах, и я бы понял, кто вырыл нам эту колдобину, и не только затем, видимо, чтобы мы страху научились.

Глядя на фотографию, что под номером двадцать четыре, я понял — на ней запечатлен человек, который все увидел, Фриц Андерман, он уже утром знал, что полетело бы в ту могилу: все, что за восемь лет здесь изменилось, и все те, кто эти изменения осуществил,— Андерманы и Иоганны Мюнцер, Майеры и Габельбахи, Гроты и Греве.

Восьмое мая скинули бы туда, и седьмое октября, и наше знамя, что колет им глаза, когда они смотрят сюда из дворца Бельвю. Теперь, однако, я уверен, у них ни черта не выйдет.

Фран еще раз глубоко вдохнула июньский воздух, закрыла окно и сказала:

— Не знаю, что нам предстоит, но нынешний день мы не забудем. Я даже предвижу, что попаду в глупейшее положение — наступит эта дата, люди станут хмуриться, а я, конечно же, подумаю: что ж, у нас есть все основания хмуриться, но уж будьте добры, позвольте мне весело подмигнуть, у меня есть свои основания: жил-был человек, я его очень любила — не спрашивайте почему. Но потом он ушел, надолго, очень надолго — не спрашивайте почему. И вот случилась как-то мерзкая заваруха, вы, надеюсь, помните почему. С того дня тот единственный снова со мной, а потому я не в силах хмуриться. Вам надо его узнать, и вы поймете почему.

— Э, нет,— воскликнул Давид,— расскажите, будьте добры, почему?

— Да потому, что этот человек изобличает лживость законов развития; ведь с ним мне невольно приходит в голову: хоть через сотню лет его встреть, а все та же сумасшедшинка, та же почти сумасшедшая серьезность, то же забавное фанфаронство, та

же нежность, выходящая за пределы привычной, да, да, в этом я уверена, те же воздушные замки, тот же самобытный ум, вообще, до ужаса тот же самый Давид Грот, с головы до пят тот же самый, к великому счастью!

— Такой это человек? — переспросил Давид.

— Да,— подтвердила Фран,— это такой человек! И еще одно надо сказать — он начисто позабыл, что у него собрание.

— Боже,— вскричал Давид,— горе мне! И этой самой штуки, этой концепции, у меня нет!

Давид припустил по коридору, а Фран крикнула ему вслед:

— Да есть, как раз есть!

•

13

Криста в который раз требовала ясности — секретарь она редактора, или архивная крыса, или, того более, телефонистка, она добрых два часа убила на постороннюю работу, выясняя имя какого-то английского скульптора, кстати, не повторить ли ей вкратце замечания его друзей, услышавших, что главный редактор Грот на кладбище.

— Ладно, Криста, знаю, мои друзья языкастые люди. Почему же ты не позвонила Иоганне Мюнцер, если нужен скульптор? В ее пенсионной жизни великая радость, если она в силах помочь.

— Дома не было. Домработница сказала, что приезжал Франк, этот, из высших инстанций, и Иоганна в ярости уехала к какому-то министру.

— Экспансивная дама,— сказал Давид,— а ярость, что ж, ничего нового. Дай-ка мне папки с делами на завтра. Голова у меня битком набита могильными плитами, и настроение мрачное, охоты нет домой таким возвращаться.

— В почте лежит извещение о смерти.

— Вынь его, отложи, видеть не могу, терпеть не могу, не переношу, нет, нет!

Криста пропустила всю тираду мимо ушей, и Давид сел за папки. «Привет тебе, жизнь!» — едва не воскликнул он, но столь радужное настроение тут же насторожило его.

И все-таки дела — признаки жизни, свидетельства совершающихся процессов, а не их неизбежного конца, он рад делам, ибо, столкнувшись с ними, человек освобождается от мрачных мыслей и начинает действовать.

Но письмо, лежащее сверху первой же пачки, было в черной рамке, конверт со штампом Совета Министров.

Искушение сунуть его в папку приказов, жалоб и запросов

было результатом своего рода суеверия или трусости: о чем не знаю, о том сердце не болит. Итак, нужно прочесть скорбную весть.

Вот это удар под ложечку, как гром среди ясного неба: «Гергард Риков... на сороковом году жизни... после продолжительной болезни... надолго сохраним память о нем...»

Хотелось протестовать, кричать: «Не желаю верить, произвол, злая шутка, запрещенный прием, целиком и полностью недопустимый, целиком и полностью несправедливый, жуткая ошибка, недоразумение, скажите же, скажите, пожалуйста, что это недоразумение!»

С Гергардом Риковом такого не может быть, нет, с ним нет, с Давидом Гротом тоже такого не может быть, нет, с Давидом Гротом тоже не может.

А почему, Давид Грот? Почему не может быть с Гергардом Риковом? Ты что, читать разучился? Там сказано: Гергард Риков, на сороковом году жизни. Конец, черная рамка, тридцать девять лет от роду, там все сказано.

Да, я знаю, я вижу, но это гнусно, это чертовски гнусно. Ах, какое же это несчастье!

Давид понимал, несчастье его одолеет, если он поддастся ему. Оно его скрутит, парализует и вгонит в гроб. У этого несчастья есть все основания почувствовать свою власть, ибо смерть Гергарда Рикова дает полное основание ощутить себя несчастным. Границы несчастья велики: от скорби по Рикову до скорби по Гроту, Гергарду Рикову под сорок, Давиду Гроту сорок с лишним, получается пара, вполне возможна путаница и сдвиг от страдания к самосостраданию.

Давид отложил извещение подальше, на самый край стола. За работу! Как ты назвал дела в папке? Признаки жизни — эх ты, глупец, вот уж в самую точку попал! Ну ладно, кончай и давай начинай, о чем там первое опровержение?

Опровержение по вполне земному и очень жизненному вопросу из статс-секретариата одного министерства в связи с репортажем и опрометчивой критикой, опубликованной в НБР: «В технологии производства пластиковых пакетов для молока имеются, как и нам известно, еще кое-какие изъяны, однако вы непозволительно сгущаете краски, с нашей точки зрения. Прессе следует, по нашему мнению, помогать своей критикой, но не перегибать палку...»

А мы перегнули? Посмотрим очерк, нет, думаю, товарищ статс-секретарь, мы наверняка и половины не высказали того, что говорили на днях утром домохозяйки в молочной. Может, они, по-твоему, и перегибают палку, товарищ статс-секретарь,

эти домохозяйки, они не стеснялись в выражениях, уважаемый товарищ, а повод был пустячным — подумаешь, из кошелок, набитых хлебом, мукой и мясным фаршем, им на чулки капало молоко.

«Если процент брака верен,— черкнул Давид на уголке,— опровержение не принимать. Если недостатки успели устранить, найдем возможность показать. С приветом. Г.».

Как-нибудь загляну в словарь, откуда это выражение: перегибать палку. Подозреваю, оно возникло совсем в другом смысле, чем мы употребляем. Мы употребляем его, чтобы лишить то или иное дело гибкости, например критику: если мы докажем, что, критикуя, перегибаем палку, значит, критика ни черта не стоит. На каждый яд находится противоядие, и пары эти не всегда соотносятся как минус и плюс; на критику не ответишь простым «нет»; кто хочет от нее избавиться, должен прежде всего сказать ей «да» и только после этого может ее пресечь, заговорив о перегибе палки.

А ты неплохо разбираешься в этом вопросе, Давид, хватает практики? Пожалуй, с лихвой, только не донимайте меня подобными вопросами; разве не видите, я занят делом!

Да, он имел дело с предложениями и возражениями, запросами и протестами, разъясняющими и путаными, язвительными и робкими, он имел дело с людьми бодрствующими, и бдительными, и сверхбдительными, причем по совершенно разным причинам; он имел дело с озабоченностью и тщеславием, рассудительностью, а порой и с безрассудством, он имел дело с обществом, живым организмом, воспринимающим журнал НБР именно так, как и следует: как доску объявлений для новых отношений и нового сознания.

С каждой почтой Давид получал необходимые сведения: этот материал был хорош, а тот никуда не годился, этот материал был полезным, а тот вредным, этот был нужен, а тот мог быть нужен, этот можно не давать, а тот не надо давать, вот это в жизни уже меняется, а то вот-вот изменится, это надо изменить, а то уже изменили, вот что мы думаем, вот что полагаем, вот чего хотим, чего же вы хотите, как вам понравилось это, нам это не понравилось, вот что нам бы понравилось, а вот чего нам не хватает, только этого нам не хватает, этого мы не хотим, это мы хотим сейчас же, на это мы надеемся, этого мы требуем, вот что делаем мы, так делайте и вы свое дело!

«Мы делаем свое дело»,— писал Давид на полях писем или: «Это мы сделать не в состоянии по тем-то и тем-то причинам...» Он писал: «С этим мы согласны», или: «Вашему совету последуем», или: «Ваша идея представляется нам полезной», или: «Ваша

мысль представляется нам не слишком убедительной, потому что...», или: «Мы изучим этот вопрос».

В записях на полях Давид мог бы ограничиться двумя-тремя стенографическими значками, Криста умела их расшифровывать и создавать на этой основе письма, без нее поступающая корреспонденция задавила бы корреспондента Давида. Но Криста зорко следила за входящей почтой, отметая вздор, даже если надпись «Главному редактору лично» была трижды подчеркнута красным, так же зорко следила за исходящей почтой, следила, чтобы каждое письмо носило индивидуальный характер.

Она писала подлинные письма Давида Грота, как некогда писала подлинные письма Иоганны Мюнцер, или подлинные письма Герберта Блека, или подлинные письма третьего преемника, и все за смехотворную зарплату. В виде компенсации ее следовало бы упоминать в выходных данных, подумал Давид: главный редактор: Давид Грот; письма главного редактора: Криста Фогель; но на эту строчку ничего не купишь, и кто вообще читает выходные данные? Для этого надо быть человеком типа незабвенного патрона Ратта. Он много лет подряд каждую неделю посылал за свежим выпуском НБР и прежде всего с пристрастием изучал выходные данные. «Кто мне поручится, что за ночь не случилось перемещения в руководстве? Уж кому лучше меня известно, какое значение имеют руководители. Не знай я руководителей, так рассылал бы поступающую почту и циркуляры не в те руки. Нет, сознающему свою ответственность завэкспедицией нужно постоянно изучать выходные данные своего журнала».

И он не только изучал выходные данные, но при малейших изменениях вырезал их; с годами, прожитыми патроном Раттом вместе с журналом, из вырезок составился внушительный альбом.

Когда Давиду случалось забегать в экспедицию, он обязан был заглядывать в альбом.

— Вот, смотри, завоеватель Трои, здесь все записано, я называю этот альбом «выходноданник», можно всегда справиться: кто, что, когда. Помнишь ли ты, к примеру, кто был третьим преемником Возницы Майера? Помнишь, когда наши «педагоги» получили самостоятельность? Помнишь, чем занимался в пятьдесят четвертом Йохен Гюльденстерн? А знаешь, кто в этих выходных данных будет когда-нибудь стоять на первом месте? Да, это не каждый знает, но я-то знаю: там будешь стоять ты. Спорим, что я ошибаюсь?

— Спорим,— всегда отвечал Давид, как и в первый час своего пребывания в редакции, и только когда он выиграл пари, им пришло в голову, что о закладе они не договорились.

В тот день патрон Ратт вклеил новенькую вырезку в свою коллекцию и передал книгу Давиду.

— Не скажу, что ее сочинил Гомер, но, если читать ее серьезно, можно услышать довольно буйные напевы! Возьми ее, будешь справляться, как обстоят дела с руководством, и, раз уж нынче в стенах Трои торжество, скажу тебе: при других обстоятельствах из тебя вышел бы вполне порядочный курьер, спорим?

— Нет, на этот раз не буду, коллега Ратт. Вижу, вам хочется заполучить назад свой альбом, нет, в эту ловушку вы меня не заманите. «При других обстоятельствах» — это же в полном смысле ловушка!

Подобная формула действительно ловушка: поблескивающая штуковина с крепкими острыми зубьями, ловильная машина, вокруг да около которой с любопытством кружишь, если ты человек типа Давида Грота.

Что вышло бы из Давида Грота при других обстоятельствах? С какого момента обстоятельствам надлежало быть другими, чтобы сделать его другим? Как велико участие обстоятельств в становлении Давида?

Вопросы, обладающие преимуществом бесполезности, продержаться они могут века, ибо во веки веков на них не получишь иного ответа, кроме гипотетического. Предпосылки для другого пути воссоздать немыслимо; воссоздать можно разве что мечтания, а мечтания объединяет одно — они бессильны.

Тут Давид осекся: бессилие мечтаний, мечтаний — что было бы, если бы?.. Нет, это не совсем верно. Не выражают ли мечты нечто большее, чем простую склонность погрустить, раз едва ли не все люди однажды, а то и многажды задумываются над этим вопросом; видимо, все подозревают, что, обращаясь с такими вопросами к прошлому, они извлекают прямую пользу для будущих решений.

Не случайно именно писатели, чье призвание претворять смутные предчувствия в постижимые реальности, сгущать их в четкие мысли и привносить в реальный мир как непременные частицы этого мира, — не случайно именно они снова и снова возвращаются к пресловутой формуле: что-было-бы-если-бы.

Истории, возникшие по этой формуле, обнаруживают реализм мечтателей: воспроизведенные обстоятельства слегка смещались в этих повествованиях, зато они открывали людям возможность действовать при подобных обстоятельствах иначе.

При других обстоятельствах — но ведь их не создашь, иной образ действий, иные поступки в подобной ситуации можно себе представить, и те истории лишь для вида говорят о прошлом, и

каждая смерть, о которой они рассказывают, обретает свой смысл, когда живущие узнают о ней, тут им самое время поразмыслить над ней, а уж если люди начинают размышлять, значит, и запоздалые мечты могут кое-чего достигнуть.

Ах, ловушка захлопнулась и намертво ухватила своими блестящими зубьями Давида — пришлось Кристе прийти на помощь и освободить его.

— Если больше дел нет, я пойду,— сказала она и надела пальто. Показав на траурное извещение на краю стола, она спросила: — Надо что-нибудь заказать? Венок?

— Цветы,— ответил Давид.— Есть такое выражение: не могу постичь! Чтобы Риков, этого я и впрямь не могу постичь. Просто так умирает. Были ли мы друзьями, даже сказать трудно; во всяком случае не такими, чтобы навещать друг друга или звонить друг другу без особого повода. Бывают друзья, которых так называешь оттого только, что тебе жить веселее, если их встретишь на улице или на конференции. Знаешь, это такие люди, о которых иной раз, возвращаясь с собрания, думаешь: ах, опять потеря времени, зато с Гергардом Риковом повидался. Когда мы учились в партийной школе, мы жили вместе, и Фриц Андерман называл его «ветрогон». Таких ветрогонов нам бы побольше, теперь у нас на одного даже меньше. Иди-ка ты домой, Криста, а не то я тебе бог весть что нарыдаю в жилетку.

— Значит, цветы,— кивнула Криста и ушла.

«Ветрогон» — это же в корне неверно, тут Фриц Андерман решительно обманывался. Но, разумеется, легендарный оптимизм Рикова был ему подозрителен.

— Товарищ Риков очень талантливый кадр,— сказал Фриц Андерман, давая Рикову характеристику после окончания партшколы,— однако вполне может жизненно важное письмо доверить бутылочной почте.

Все присутствующие рассмеялись, поняв намек, и Гергард Риков тоже рассмеялся, ничуть не обидевшись.

— Не знаю, что ты хочешь сказать,— ответил он,— мое письмо дошло.

История его письма с тех пор приравнивалась к ответу на вопрос, что такое оптимизм.

Оптимизм — это когда человек... Да вот послушайте: ранней весной в самом конце войны у русских в плену был солдат по имени Гергард Риков. Он был родом из Мейерсторфа под Марницем в Мекленбурге, и ему только-только стукнуло семнадцать. Его не спрашивали о возрасте, когда натянули на него солдатские сапоги, а солдат, который вскоре стянул с него исправные сапоги, поскольку собственные, отшагавшие от Волги,

уже трудно было назвать исправными, тоже ни о чем его не спрашивал.

Когда мартовский ветер ожег ноги Гергарда Рикова, он сказал:

— Что ж, скоро наступит лето.

Риков вполне обходился деревянными башмаками, он же был из Мейерсторфа под Марницем. Совсем другие заботы одолевали его: и голод, конечно же, ведь он еще рос; и грязь, ведь дома он каждую субботу купался в лохани; и даль, ведь Мейерсторф лежал севернее Бранденбурга, а теперь между ним и Мейерсторфом пролегали три границы: граница Бранденбурга, граница Германского рейха и еще польская.

Мучило же Гергарда нечто иное, правда лишь время от времени, зато нещадно: он очень хорошо представлял себе, что сейчас делается в Мейерсторфе. Родители думали о нем, не ведая, где он и что с ним.

Родители его были людьми того склада, кто в лучшем случае говорит: «Да мы его жалеем», о любви они не заикались, слова такого нет в обиходе простых людей. Они его любили, в этом Гергард Риков был уверен, вполне уверен, он отчетливо представлял себе, как вечерами, измученные повседневной маетой, они сидят в кухне, глаз не смыкая от грызущего вопроса: где-то наш мальчуган?

Он пропал без вести, а это все равно что смертельно болен. Пропал без вести, это без малого — погиб. Погиб, так известно, где и когда, а пропал без вести — тоже погиб, но когда и где?

Во время войны перебои случаются не только в работе почты; но именно почты особенно недоставало Гергарду Рикову, и, когда он в полной мере почувствовал, что означали для его родных месяцы без вестей, он задался целью найти выход.

Он даже твердо решил: я найду выход!

Давайте, однако, припомним: шла война, и война беспощадная. Гергард Риков видел лишь ее небольшую часть, вогнутые внутрь столбы, колючую проволоку и сторожевые вышки с часовыми. А перед лагерем, на шоссе, куда он ходил днем работать, он видел еще одну часть войны, он видел тех, кого должен был громить и кто теперь шел на запад, чтобы громить таких, как он, или брать их в плен. Они проносились мимо на машинах; они быстро шагали мимо и пели, да так, что слушать было невмоготу. Гергарду Рикову казалось, будто они поют одну и ту же песню, те, что на танках, те, что на лошадях, те, что на грузовиках, и те, что шагали пешком. Стремительная мелодия на высоких и низких нотах, буйная, как ему казалось, песня, преисполненная гнетущей уверенности.

— Что они поют? — спросил он пленного, знающего язык.

— Мне бы твои заботы! — буркнул тот и перевел, злобно передразнивая поющих, слова песни: — «Расцветали яблони и груши»... и «про того, которого любила и чьи письма берегла».

— Яблони и любовь, — проговорил Риков, — а звучит лихо.

— Дай срок, они подожмут хвост, — сказал солдат, повторив лишь то, что говорили все, — а яблоневый цвет покроет их могилы не дальше, чем на берегах Одера. Думают, заграбастали нас, так нет же, им нас не заграбастать никогда!

Но Гергард Риков знал — его они уже заграбастали. Слишком долго слышал он эту песню вперемежку с лязганьем гусениц, ревом дизелей и тысячекратно повторенным шагом. Он просыпался под эту песню и засыпал под нее, и однажды ночью его осенила почти фантастическая мысль: песня зарождается на дальних берегах восточного океана, летит над солдатскими колоннами до дальнего запада, родины Гергарда Рикова, а все солдатские колонны, по сути, одна-единственная колонна, как и песня — одна-единственная, и колонны движутся неудержимо, как и песня звучит беспрерывно.

Между ним, Гергардом Риковом, и его родителями в Мейерсторфе под Марницем в Мекленбурге, долго-долго не будет иной связи, кроме потока моторов, орудий, лошадей и чужих солдат, что катит по шоссе мимо лагерного забора, впрочем, «связь» вряд ли верное слово в данном случае.

На следующее утро Гергард Риков отправился к лагерной кухне, и, хоть его трижды гнали прочь, он все-таки подошел достаточно близко, чтобы попросить клочок бумаги, может, обрывок кулька, и получил целое дно от картонного ящика.

В обмен на четверть хлебного пайка, выплатить который надлежало вечером, какой-то пленный одолжил ему огрызок карандаша. И Гергард Риков написал на картоне: «Семье Риковых, Мейерсторф под Марницем в Мекленбурге, Германия», а на другой стороне аккуратно выписал печатными буквами: «Дорогие родители! Я жив. Ваш Гергард».

Когда его вывели на работу на шоссе, он стал внимательно приглядываться. К танкистам было не подобраться, на обозных нельзя положиться, да и офицеры его отпугивали, а молодые ребята, что шагали в строю, не выкажут понимания или испугаются, хотя так молодецки распевают сейчас о яблонях и грушах.

Он выбрал старшину с широченной грудью и усищами, от которых страх берет. Старшина шагал перед взводом и, распевая, широко открывал рот, словно собирался проглотить буханку хлеба, но тотчас углядел, что Гергард Риков протягивает ему

картонку, он взял ее, не замедляя шага и не прерывая песни, а Гергард Риков отскочил назад, на свое место.

Пленные куда внимательней своих стражей; они заинтересовались, что дал Риков старшине, и Риков рассказал. Вот уж смеху было: да он же чистый псих. Дал письмо Ивану. Нашел почтальона. Иван ему дед-мороз. Ах, камрад Иван, зайди ко мне домой, там у меня сестренка есть. Спорим, твое письмо давным-давно в луже. Спорим, твой старшина раскурит его с махоркой. Спорим, он подотрется им.

Смех еще можно было терпеть, но вечером в бараке дело приняло дурной оборот: представляю, как твое письмо сейчас читает комиссар,— оставишь мне портянки, когда тебя заберут? А тебя не вздернут рядом со старшиной, как думаешь? Яснее ясного, это шпионская связь.

Внезапно Гергард Риков превратился в предателя: камрады, у нас один тип отправил с Иваном письмо, место назначения Мекленбург. Представляете, этот, с позволения сказать, камрад считает, что Иван дойдет до Мекленбурга. Более того, судя по этому поступку, он желал бы, чтобы красные завоевали нашу родину.

Чего заслуживает подобный мерзавец, камрады? Военного трибунала! Сколько потребуется времени трибуналу, чтобы вынести ему приговор, камрады? И пяти минут не потребуется! А какой приговор вынесет военный трибунал, камрады? В расход! В расход! В расход!

Считай, что тебя пустили в расход, красная свинья. Ты сгниешь заживо, да от тебя уже разит.

Март, апрель, май — холодная весна выдалась для Гергарда Рикова. Ни слова с ним, но много слов о нем, и слов недобрых. То помойное ведро перевернется... на него. То балка обрушится... на него. То пропадет куртка... у него. То не хватит хлеба... именно ему. То суп одна жижа... у него. А его сил недостает такое выдерживать, и тогда Гергард Риков мысленно разворачивал карту: тысяча двести километров от него до Мейерсторфа, и на пути к деревне — старшина с усищами и куском картона в кармане. Иной день он отшагает пятьдесят километров — ать, два, три, «расцветали яблони и груши», а иной и шага не сделает, прижатый к земле пулеметным огнем, сыпя проклятьями. И все-таки идет дальше, дальше, ведь колонны мимо ворот лагеря идут все дальше и дальше, и песня их не умолкает, и письмо его несут все дальше и дальше на запад, к Мейерсторфу, все ближе к тесной и темной кухне.

А так как Гергард Риков был ветрогоном, то посчитал, что его старшина делает в среднем двадцать километров в день, и,

погружаясь в сон, исколошмаченный внутренне и внешне, одинокий и преследуемый, осужденный и презренный, он приплюсовывал следующие двадцать километров к пути, проделанному его письмом, и вычеркивал день из календаря ожидания родителей, день страха и горести, и однажды заметил, немало смутившись, что песня, звучащая на шоссе, стала его песней.

И вот настал тот самый майский день, когда повсюду загремела бешеная пальба — с вышек у их забора, и вдали за горизонтом на западе, и на востоке тоже, а целью всей пальбы были облака, а причина буйного грохота называлась — мир.

Война умолкла здесь, а значит, умолкла она и в Мейерсторфе, решил Гергард Риков, и мой гонец уже добрался туда.

Ночью лагерь услышал песню, неслась она не из бараков и кухонь, а из караулен, и с вышек, и с шоссе, та же песня, что пели всегда, но звучала она теперь совсем иначе, в бараках же вздыхали, грозили и проклинали, как всегда, но звучали эти проклятья совсем иначе, а Гергард Риков, как всегда, оставался в полном одиночестве, но и оно было совсем иным. А когда зимой он вернулся под родной кров — слишком юный и слишком тощий, чтобы дольше держать его в лагере, — видно было, что он уже возмужал и обрел стойкость.

На кухне в Мейерсторфе под Марницем его ждали с того самого утра в конце апреля.

— В дверь вдруг застучали, у порога стоит русский. «Ты — Риков?» — спрашивает, а я ведь не знаю, зачем. «У тебя сын?» — спрашивает, а я говорю: «Да, не знаю где». — «Ты читать!» — говорит и садится в свою машину, маленькую, бензином от нее так и разит. Я прочел письмо и мать из-под кровати вытащил.

— Да, — подтвердила мать Гергарда Рикова, — твой отец все утро распевал в хлеву: «Вижу, вижу вдалеке, герцог скачет на коне».

— А русский такой огромный, с усищами, взглянешь, так страх берет? — спросил Гергард Риков.

— Кто?

— Да русский!

Нет, вовсе не огромный с усищами, от которых страх берет, так, среднего роста, молодой, кажется, офицер, по виду — из южных мест. А чтобы страх? Трудно сказать, тогда все смертельно боялись всяких мундиров, но, может, он и злился, значит, то была злость, от которой человеку реветь хочется, а может, все это одно воображение.

Сведений более достоверных Гергард Риков не получил; странствие его письма кончилось, а как это странствие совершалось, он никогда не узнал. Надо думать, все его авантюрное

счастье пошло на один-единственный результат, и уж большего ждать не приходилось — не ждать же ему вестей об усачепосланце, о его имени, его пути и размышлениях на этом пути, вестей, главное, о месте его пребывания — на земле или, чего доброго, в земле? Таких вестей Гергард Риков не получил, и, возможно, для него это обернулось добром, ибо он занимался этой неразгаданной историей дольше, чем если бы она была с определенным концом.

Гергард не забывал, что началась история письма с замысла, с надежды и с поступка, и никто не мог его разубедить, что надежды, замыслы и поступки составляют именно то, что потом назвали везеньем. Ах да, позже его назвали ветрогоном, человеком, доверяющим бутылочной почте, и неисправимым оптимистом.

И вот он умер, на сороковом году ушел из жизни, это так невероятно и так не сочетается с Гергардом Риковом.

Не сочетается, а разве смерть с кем-нибудь сочетается! Да, смерть бывает убедительной, а бывает, что она ни с чем не сочетается. С Гергардом Риковом извещение в черной рамке также никак не сочеталось, оно выглядело точно запоздалый, но сверхсильный довод против оптимизма как такового, оно словно доказывало, что глубокая убежденность может оборачиваться самонадеянностью. Мнение, также не сочетающееся с Гергардом Риковом.

Оно не соответствовало истине. Риков никогда не утверждал, что доживет до ста лет. Он только утверждал, что и за двадцать лет можно наворочать дел, какие прежде казались неодолимыми и за сто лет. Он только сказал себе: чтобы письмо пришло по адресу, надобно для начала его отправить. Мысль непритязательная, но она отличала его как мечтателя деятельного от мечтателей бездеятельных.

Говорят, познанное на собственном опыте порой застывает в догму. Что ж, возможно, но Гергард Риков не так обошелся с опытом своей жизни. Наоборот, этот опыт помог ему обрести уверенность и терпение и нерушимые дружеские чувства к людям, пронесшим его письмо сквозь огонь и дым до Мейерсторфа под Марницем в Мекленбурге. Этот опыт помог ему начать жизнь сначала, а уж о продолжении Гергарду Рикову пришлось позаботиться самому. И он позаботился.

— На первых порах мне было легко,— рассказывал он, когда в партийной школе у Фрица Андермана излагал свою биографию.— На первых порах наши деревенские меня за чудо природы почитали, если уж красноармейцы доставляют мои письма. Я как раз подоспел к земельной реформе, и, когда обмерял

рулеткой новые поля, наши шагали за мной по пятам, точно голодные грачи. Очень скоро, однако, начались стычки, хотя новая практика на полях пришлась им по вкусу, зато теория, которую я пытался им растолковать, как я ее понимал, им вовсе не пришлась по вкусу, ведь это же политика, да притом марксистская.

«Может,— говорили они,— русские были его почтальонами, зато нынче он стал посланцем русских, и от нас ему один ответ: твоих посланий мы не принимаем!»

Мои славные камрады в бараках и мои односельчане вдруг стали сродни друг другу, а когда мы превратили Машинный двор крестьянской взаимопомощи в Машинопрокатную станцию и я стал ее директором, они за одну ночь вырубили все деревья в моем саду. А меня самого председатель окружного совета чуть-чуть под корень не подрубил, обвинив в подлоге документов, недобросовестном ведении бухгалтерских дел и еще в ста смертных грехах, но это уже позже, когда меня перевели руководить районной станцией.

Мои технические познания кончались примерно на полиспасте; пришлось пригласить в помощники инженера на пенсии, а он заявил: «На честь хлеба не купишь!», и я платил ему жалованье тракториста. Для этого включил его в список трактористов, но в один прекрасный день прыткий корреспондент пожелал увидеть шестидесятивосьмилетнего капитана полей, и все выплыло наружу.

Говорили, что я поступил самонадеянно, а я отвечал, что поступал по своим полномочиям и не имел никакого понятия, во что это выльется, а имел бы, все равно взял бы на себя такую самонадеянность, теперь же у меня и понятия прибавилось.

Понятие и полномочия — подобное сочетание предъявляет к человеку высокие требования, потому-то я за широчайшее распространение как понятия, так и полномочий. Меня сделали заведующим первым кабинетом сельскохозяйственной техники в Управлении земли.

Жители Мейерсторфа и Марница теперь называли его шверинцем, а впоследствии стали называть берлинцем и при этом уже ничуть не острили.

На первых порах на его счет острили; когда он впервые отправился на курсы в районный центр, все смеялись, что он выучится и получит Нобелевскую премию, а когда он вступил в СЕПГ, стали говорить о Сталинской. И просили, пусть-де поинтересуется у своего товарища Лысенко, нет ли у того в запасе нового сорта высокогорного кофе, может, такого, который произрастает из люпина, они желают выращивать кофе на

Рунских горах.

Всякий раз, когда он уезжал на курсы, говорили, он-де слишком туп, ему без конца надо все вдалбливать, а всякий раз, когда он возвращался, говорили, он-де так туп, что его не желают держать на курсах.

Потом, когда его сделали директором всей районной техники и он перестал ходить на танцы, говорили, у него-де теперь вместо сердца дизельный поршень, а если он приходил на танцы, так чуть ли не всегда начиналась свара: то кто-нибудь после громового туша объявлял, господин, мол, районный функционер желает изобразить диалектический танец, то его школьный приятель, пьяный в дым, орал во всю глотку, переиначивая известный марш: «Вперед в поход, на Великомарксанию», что Гергарду и слушать было невмоготу, и сбежать он был не вправе.

С последней остротой мейерсторфцев он столкнулся во время великого преобразования деревни. Вернувшись на месяц-другой из района, он на велосипеде объезжал деревни — полезно для здоровья и не так чванливо, но кто-то, знавший его маршрут, протянул веревку поперек тропки у Рунских гор.

— Меня шибануло в подбородок и губу, и я со всего маху полетел в дрок.

Я знал, конечно, кто это сделал, и должен засвидетельствовать: он вступил в кооператив, не перенеся душевных мук. Я тогда сразу пошел к нему, лицо у меня заплыло, глаза едва открывались, вспухшими губами я еле шевелил и все шептал да шептал свои доводы, пока он не гаркнул: «Проклятая яванская маска!» — и подписал.

«Яванская маска» — и не заподозришь, чтоб в Мейерсторфе так бранились, мне все хотелось спросить, откуда у него это ругательство, да я редко теперь туда заезжаю — из-за новой должности.

Новая должность Гергарда Рикова была на стыке сельского хозяйства и промышленности: для крестьян он был «фабричный малый», у которого приходится с боем вырывать машины, а для командиров промышленности — «крестьянский генерал», который является за комбайнами, вскинув косу на плечо.

Для правительства же он был тем, кого оно призывало на помощь, видя прорыв в планах индустриализации сельского хозяйства.

Так, значит, работа свела его в могилу? Предположение не столь уж непозволительное, ибо работа у нас изнуряющая, нам, однако, непозволительно лишь предполагать, нам в наши дни нужна достоверность. Нам, например, нужна достоверность, когда нас спрашивают, умер Гергард Риков на работе или от

работы, когда, стало быть, просачивается слушок, когда начинают шептать: при других обстоятельствах он бы жил и жил.

Примем решение: дознаемся, от чего умер Риков; сделаем дело: спросим того, кому известен ответ. Подайте нам достоверность, пусть она не изменит прошлого, но вполне может изменить будущее.

— У телефона Андерман, э... что случилось, то о тебе годами не слышишь, то целый день только о тебе и слышишь; тебе Иоганна уже задала жару?

— Иоганна? С чего бы это? А целый день — ты, пожалуй, преувеличиваешь: я звоню второй раз.

— Ты — да. Но что случилось, может, твоя положительная интрига не так уж хороша?

— Может, она и не так уж хороша. Но я звоню из-за Рикова. Ты мне утром ничего не сказал, а сейчас я прочел.

— Я считал, ты знаешь. Я считал, вы были друзьями.

— Я ничего не знал.

— Вот так друзья.

— Ты прав, только кому от твоей правоты польза?

— Может, другим друзьям.

— Может.

Фриц Андерман умолк, и Давид долго не знал, что сказать; наконец он спросил:

— Так что же с ним было?

— Послушай-ка, дружок, — рассердился Фриц Андерман, — да, слушай внимательно, друг мой, ты человек занятой, знаю, и каждый день пересчитывать друзей тебе некогда, ладно, но Гергард Риков был болен полгода, и если ты ничего не знаешь, так это свинство, как же ты живешь?

— Целых полгода?

— Да, целых полгода, товарищ редактор, товарищ репортер! Я на днях звонил вам, очень мне понравился материал об Индонезии, но вот что я тебе скажу: плевал я на твои очерки об Индонезии, если тебе нужно траурное извещение, чтобы спросить о друзьях.

— Незачем кричать, я и так все понимаю.

— Я в этом не уверен, а кричу, потому что мне такое не по душе. Тебя я причислял к людям, на которых можно положиться, потому что их не назовешь глухими, слепыми и равнодушными. Я был доволен, что такие парни, как ты и Риков, держались вместе, поддерживали нас, стариков, и друг друга. И на́ тебе — Индонезия!

— Думаю, ты несправедлив, Фриц.

— Да, ты думаешь, ну и утешайся этим. Утешайся своим

одиннадцатичасовым рабочим днем и семидневной рабочей неделей. Ты человек усердный, об этом наслышан весь мир; ты не жалел себя — кому угодно видеть твои ордена? Тебе до всего дело — и до памятников Мольтке, и до диспетчерских браков, и до Индонезии; откуда же взяться времени для дружбы? А дружба, черт подери, лучшее средство против не изжитой еще вражды!

Разговор у них, у Давида Грота и Фрица Андермана, получился долгий; с Давидом обычно разговаривали дружелюбнее, а Фрица Андермана обычно слушали терпеливее, и, включись в их разговор третий, он бы счел, что они разругались не на жизнь, а на смерть.

Нет, они спорили о жизни и смерти, они не спорили даже, а, досадуя, сожалели о потере друга и злились на подлую бессмыслицу этой смерти, именно этой, ведь на тот свет отправился человек, веривший жизни, как едва ли кто-нибудь еще.

— Я на своем веку много видел смертей,— сказал Фриц Андерман,— так много, что ко всей мерзости, в какой нам приходилось жить, добавилась еще привычка — да, люди вокруг тебя подыхают. Я многих встречал, о ком было известно: он еще три месяца протянет, или: ему и года не протянуть. Мы, конечно же, пытались что-то предпринимать, и кое-кого нам удавалось спасти, а если не удавалось, мы не носились с нашим горем. Оно бы нас задушило; слишком много было на то причин. Словом, я знаю, что такое предсказанная наперед смерть, и потому думал, что приму эту спокойнее. Но когда у меня тому полгода отняли Гергарда Рикова и сказали, что я его никогда больше не увижу и никто его не увидит, что он навсегда для нас потерян, что он обратится в ничто и этого процесса не остановить, я пять часов катал в городской электричке туда и назад между Фридрихштрассе и Эркнером, потому что там полно народу, там нельзя бушевать или выть в голос.

Наш Гергард воплощал собой выполненное обещание. Именно такой человек, представлялось нам, будет жить в новом мире и в новом времени. Именно о таком человеке могли мы сказать: это для таких, как он, вынесли мы все тяготы на своих плечах, наше дело продолжат верные руки. Он позволял себе называть наш социализм дерзанием, но относился к строительству социализма как к первейшей своей обязанности и прежде всего как к своему праву — с полным пониманием и во всеоружии своих полномочий.

Надо тебе сказать, я порой смотрел на него так же, как он в свое время на того старшину, как на человека, неудержимо идущего к цели, своей, но и моей тоже, как на человека, дающего

мне основание для глубочайшей уверенности.

И вдруг налетает чудовище со средневековым наименованием, отравляет ему кровь и сводит его в могилу. Кому пойдешь ты жаловаться, Давид, знаешь ты место, куда можно подать жалобу?

— Я бы пошел с тобой, если б знал,— ответил Давид Грот, и, когда положил трубку, на душе у него скребли кошки.

Будучи, однако, человеком легкоуязвимым, он от парализующего отчаяния всегда загодя искал укрытия в налаженной системе, такой системой для Давида была работа. А потому он опять погрузился в ворох бумаг, не ощущая уже полной беспомощности, избитый, правда, но не разбитый. Он не мог, да и не хотел делать вид, будто ничего не случилось, и не остановился на благих намерениях; он продолжал свою повседневную работу, казалось, как обычно, но, невзирая на легкость, с какой он ответил председателю совета одного из городов Хафельской долины, почему уже давным-давно о них ни строчки нет в НБР, легкость, с какой он принял похвалу пчеловода и благодарность дома для престарелых, а также брань какого-то главного режиссера, невзирая на свой навык и обычное внимание и к вопросам, и к своим разъяснениям, он внезапно ощутил тревогу: оказывается, необходимо обладать чем-то большим, чем навык, ибо навык обернулся бедой; он проглядел дружбу, и сердечный союз, и свою человеческую обязанность.

Поэтому он строже, чем обычно, контролировал свои слова, проверяя, не звучит ли в них нетерпение или высокомерие, а когда дошел до проектов и идей к следующим номерам, долго раздумывал, прежде чем вписать еще одно новое предложение.

Он задумался над своим замыслом, желая знать наверняка, что это честный и разумный замысел, а не попытка облегчить душу искусным журналистским приемом.

Он кое-что понял на собственном опыте, но действительно ли это необходимый опыт, выяснится лишь в процессе будущей работы. Давид был уверен, что ничего недозволенного нет в его замысле, однако недозволенное — для его замысла еще мало.

Искренность — тоже старинное слово, и сейчас со всей искренностью надо спросить: вправе он делать, что задумал?

Он почувствовал, что застрял на профессиональной проблеме, выигрывая время для раздумья над более общей проблемой. А потому тотчас сократил это время и приступил к решению первого вопроса: вправе ли журнал заняться историей Гергарда Рикова и тем самым обратить тихую смерть в бурную жизнь? Ибо конечно же, закипит бурная жизнь, если в популярном журнале написать: мы знаем некоего оптимиста, автора письма, и счастливых получателей этого письма, но о посланце же, доставившем

письмо, мы ничего ровным счетом не знаем: ни о пути, который он отшагал, ни о его нынешнем пребывании. История Рикова — часть нашей общей истории, но и путь усатого старшины — тоже ее часть, а этой части у нас нет. Кто поможет найти ее?

Вот как Давид осуществит свои права: опыт Рикова многих озадачил; от его действий, вытекающих из этого опыта, выиграла страна в целом; значит, можно обратиться к стране и с рассказом, и с расспросами.

Итак: «План юбилейного номера.

Рабочее название: Письмо.

Объем: видимо, серия очерков.

Публицистическая целенаправленность: показать один из источников нашей дружбы и один из ее результатов. Подключить читателей к размышлению: наше происхождение? Осмысление истории ГДР.

Поиск:

а) ГДР: в каком лагере находился Риков — как можно точнее. Когда? Расспросить жену, разыскать товарищей: помнит ли кто-нибудь этот случай? Когда письмо получено в Мейерсторфе? Навестить родителей, соседей. Показать Мейерсторф в те годы. Разыскать соратников Рикова — по МПС, по кабинету сельхозтехники, по работе в Шверине, по работе в Берлине и т. д. Выяснить, жив ли тот инженер или крестьянин с веревкой (маловероятно, но расспросить в М.; событие, видимо, обсуждалось). Описать советского офицера, передавшего письмо. Показать Мейерсторф в наши дни. Сохранилось ли письмо?

б) СССР: выяснив местонахождение лагеря и время пребывания там Рикова, разыскать сведения о проходивших частях. То же самое о частях вблизи Мейерсторфа. Обратиться: в советское посольство — Берлин, в посольство ГДР — Москва, в штаб верховного командования — Вюнсдорф, в Генеральный штаб — Москва, в советский военный архив.

Далее: подключить советские газеты, «Огонек», армейские газеты.

Целенаправленность поиска: выяснить личность старшины, его дальнейшую судьбу, как письмо попало к офицеру?

По выяснении: восстановить маршрут, пройденный письмом, разыскать фото участников события, фото городов на пути, фото сражений. Вычертить весь путь по карте. Может быть, командировать репортера и фотокорреспондента по следам письма. Не забыть могил!

Создать рабочую группу: сбор документов, репортеры из ГДР и соц. стран (по двое), фотокорреспонденты (двое).

Начало работы: немедленно.

Конец публикации: юбилейный номер; начало — в номерах по числу очерков.

Ответственный: Давид Грот».

Давид Грот, вот как? А почему Давид Грот? Потому, что он лично заинтересован, потому, что он потрясен? Или потому, что не выполнил своего долга, долга перед дружбой? Потому, что дело того требует, или потому, что совесть мучает? Потому, что он увидел брешь и надеется ее заполнить? Какая же брешь и чем ее заполнить? Потому, что у него нет более важного задания? Неужто нет? Потому, что именно у Давида Грота есть все основания заниматься историей Гергарда Рикова? А есть ли у Давида Грота данные заниматься историей Давида Грота? Достоин ли он истории Гергарда Рикова? Достаточно ли хорошо понял он эту историю, проникся ли ею, хватит ли у него времени?

Давид вычеркнул свое имя из предложения, оставив пункт «ответственный» открытым.

Ответственные, усмехнулся он — и сам был не рад своей усмешке, — найдутся; они-то всегда найдутся.

И, кончив рабочий день, отправился домой.

А там уже сидела Иоганна Мюнцер. Ох, провалиться мне на этом месте, подумал Давид, где Иоганна, там рабочий день продолжается. Домчится заяц до конца поля с высунутым языком, глядь, а Иоганна Мюнцер уже там, как всегда, в синих чулках, и кротко так улыбается: а я уже здесь! И непременно ей что-то от тебя надобно, и если она кротко улыбается, значит, невесть сколько надобно. Значит, твой бег еще не закончен, рабочий день продолжается, значит, придется Давиду вкалывать; так повелось еще трижды семь лет назад.

Так ведется и ныне, хоть Иоганна уже не редактриса, а пенсионерка. Иоганна принадлежит к людям, которых подобные внешние обстоятельства ничуть не смущают. Иоганна продолжает делать свое дело, она до сих пор Давидова Пентесилея, сладостное обольщение и смертельная опасность во плоти, остается только удивляться, вспоминая покойного патрона Ратта, что он с первой минуты понял, как завяжутся отношения Давида и Иоганны, и лишь тот, кто не сумеет верно прочесть историю «Нойе берлинер рундшау», станет болтать о фаворитизме, когда речь зайдет о товарище Гроте и товарище Иоганне Мюнцер.

А ведь именно это было сказано, когда третий преемник Возницы Майера на посту редактора покинул редакцию, перебазировавшись в Комитет по радиовещанию, и явилась необходимость заполнить освободившееся первое место в выходных данных НБР. Ибо тут Пентесилея еще раз ринулась в бой, испуская воинственный клич:

— А давайте сейчас здесь возьмем и поставим нашего Давида!

И когда они взяли и поставили его, Иоганна Мюнцер, говоря словами Габельбаха и корреспондента Франца Германа Ортгиза, «выдала простолюдинам жареного быка, а также не один бочонок доброго вина» и держала свою последнюю громовую речь, в которой, мимоходом упомянув газету АИЦ, прямиком двинулась к определению, что есть новый человек, и к намечающейся аналогии между таковым и новым главным редактором Давидом Гротом. Сколь пышно отмечала она назначение Давида на пост, столь незаметно по прошествии нескольких лет ушла со своего поста; время от времени она появлялась, ругала того или иного редактора, придавая большое значение тому, чтобы ее считали просто читательницей, а не бывшей редактрисой, время от времени наведывалась к Давиду и Фран, и уж если объявляла, что сейчас здесь необходимо кое-что обсудить, значит, нужно было готовиться к серьезному разговору.

В этот вечер Давид не терялся в догадках; не зря ведь она звалась Иоганной Мюнцер и имела добрых друзей во всех отделах высших инстанций, чтобы не знать, что существует весьма почетное намерение относительно нынешнего главного редактора «Нойе берлинер рундшау». Другое дело, как относится упомянутая Иоганна Мюнцер к такому намерению, но это он незамедлительно узнает.

Раз навсегда установленный ритуал совершался в раз навсегда установленном порядке: чай из самовара, вопросы о здоровье сына, обмен мнениями о положении в мире, замечания к последнему номеру «Рундшау», едва ли не кроткие рассуждения о событиях последних дней, озабоченное высказывание о намечающихся тенденциях в скульптуре, замечания к произнесенной кем-то речи и к сборнику поэзии — ясная погода на полчаса. После чего небо мгновенно затягивают тучи.

— У меня побывал Ксавер Франк. Что это за история с Крелем?

Ага, мюнцеровская техника внезапных ударов!

— А что с ним такое? — Давид и правда не понимал, какое отношение имеет товарищ Франк к ненавистнику просвещения и кормосчетчику Крелю.

Но Иоганна пропустила мимо ушей его вопрос, да и на своем не настаивала, она задала новый вопрос, указывая на Франциску:

— А ты рассказывал ей о другой истории, не с Крелем, а с Крель?

— Другая история, — ответил Давид, — была вовсе не с Крель, а с Каролой, когда та не была замужем за нашим пшенично-просяным другом, и, кроме всего прочего, той истории уже

двадцать лет.

— Да, началась та история двадцать лет назад,— подтвердила Иоганна,— а твоя жена знает о ней?

— Она знает о ней ровно столько лет, сколько лет она знает меня, и знает от меня. Не кончись та история, Фран вряд ли взяла бы меня в мужья. У нее есть принципы, а я не терплю допросов.

— Разумеется, ты не терпишь допросов, и что ты их не терпишь, известно мне уже двадцать два года. Надеюсь, однако, ты помнишь, что я не слишком-то заботилась, терпишь ты их или не терпишь. Я их тоже не терплю.

— Так зачем же новый допрос?

— Затем, что во всем нужна ясность. Ежели человек хочет остаться человеком, он должен добиваться ясности.

— Прекрасно,— объявил Давид,— я человек, хочу остаться человеком, я должен добиваться ясности и желаю ясности: что все это значит?

Иоганна Мюнцер, как в былые времена, крепко сжала обеими руками свою сумку и ответила:

— Ксавер Франк иной раз заглядывает ко мне. Иной раз без всякого повода, поговорить о старых временах, иной раз по тому или иному поводу, поговорить о новых временах. Вот и на днях он заехал, и нынче тоже заехал, оба раза, чтобы поговорить о новых временах, вообще-то о твоих, Давид, новых временах и делах. На днях он попросил: «Расскажи мне о товарище Гроте!», а нынче он говорит: «Я расскажу тебе кое-что о твоем Гроте!»

Он созвал совещание, пригласил кое-кого из министров, и Фриц Андерман приехал, а когда они кончили, Андерман говорит Франку: «Ну и личности встречаются у нас!» И рассказывает ему о диспетчере НПЗЗ, о твоем звонке и о затеянной тобой положительной интриге. Поэтому-то Ксавер Франк приехал ко мне и сказал: «Я расскажу тебе кое-что о твоем Гроте!» — после чего я отправилась к Фрицу Андерману.

— Лопни мои глаза! — воскликнул Давид.— Быть не может, чтобы Ксавер Франк примчался к тебе, услышав историю со словечком «интрига», историю с частной проблемой, рассказанную в перерыве между решениями по проблемам мировым, нет, быть этого не может!

— При известных обстоятельствах очень даже может,— ответила Иоганна,— а кое-какие обстоятельства ты, сдается мне, позабыл.

Давид беспомощно взглянул на Франциску, та улыбнулась и сказала:

— Не смотри на меня так. Видишь ли, я тоже не знаю этих обстоятельств, да и частную проблему, рассказанную Фрицем

Андерманом Ксаверу Франку, я тоже не знаю; знаю я только твою Каролу Крель с ее широченными плечами, и тебя я немножко знаю, твое умение вести интриги, положительные интриги.

— Послушай-ка, ведь мы только сегодня ее задумали. Сегодня утром Карола рассказала мне о своей беде, и я кое-что затеял, чтобы ей помочь, и вот сижу здесь, ни черта не понимаю, а ты к тому же делаешь этакие глаза!

Он встал, но Иоганна вернула его в кресло.

— Не говори своей жене — «послушай-ка»! Так для тебя, стало быть, все это загадка?.. Да? Тогда давай здесь сейчас эту загадку разгадаем: на тебя имеются виды, не так ли, хоть это-то тебе известно?

— Естественно!

— Вовсе это не естественно, однако тебе известно. А известно ли тебе, кто в связи с этими намерениями подготовил материал для высших инстанций? Именно товарищ Франк, поэтому он и был у меня на днях и попросил: «Расскажи мне о товарище Гроте!» Ничего особенного я ему не рассказала, да и не нужно было, он тебя достаточно давно знает. И суждение о тебе уже имеет.

— Очень рад, что ему так просто расправиться со мной,— буркнул Давид.

— Не веди здесь сейчас провокационных речей!— прикрикнула Иоганна.— Не все с тобой так-то просто; и никогда не было просто, а товарищ Франк ничего никогда не упрощает. Он потому только нынче еще раз приехал, чтобы не вышло хаотической путаницы, как говорит этот сумасшедший Габельбах.

— Кажется, я догадываюсь,— воскликнул Давид,— Ксавер Франк путает старые и новые времена: старые времена Каролы и новые времена Давида!

— Нет, твои догадки неверны. Это не он путает, и он как раз не хочет, чтобы кто-нибудь путал.

— Очень мило с его стороны, очень любезно с его стороны,— съязвил Давид,— он поднапряг свою память, услышав, что Грот хочет что-то сделать для Каролы Крель, и вспомнил: а ведь что-то когда-то у Каролы с Гротом было! И задается вопросом, не хочет ли Грот сделать кое-что для себя, отправив супруга Крель на курсы, обрекая его тем самым на долгое отсутствие? Не так ли? Ах, как мило, что он озабочен этим! И кстати, откуда ему вообще известно о тех временах, о Давиде Гроте и о Кароле?

Тут уж Иоганна постучала себя по лбу — один из ее редких жестов.

— Не считал же ты, что ваш роман тайна? О нем был

разговор, когда тебя собирались назначить редактором. А Карола уже сидела завкадрами. О твоем романе в свое время судили и рядили примерно с той же деликатностью, с какой нынче судят и рядят о стройке этой самой телебашни. От меня тебе не удалось его скрыть, и от всех остальных в редакции НБР тоже. Единственный, кто ни разу не дал мне понять, что мой референт спит с красоткой из ротационки, той, что на шесть лет его старше и зовет меня Петрушенцией, был Федор Габельбах.

— Ох, у меня душа с телом расстается,— застонал Давид.

Иоганна разъяснила ему, что сейчас здесь его душа, а равно и его тело никого не интересует.

— В любовных делах ты всегда был дуралеем, но как интриган ты дуралей из дуралеев, от Берлина до Тихого океана. Человек, который утром замыслил интригу, днем ее сплел, а вечером уже попался с ней,— это же дуралей в масштабе социалистического содружества. И он, видите ли, желает быть здесь сейчас министром!

— Да ничуть не желает,— воскликнул Давид,— никогда не желал и никогда не пожелает, черт побери!

— Не тебе решать,— отрезала Иоганна,— нет, не тебе решать. Не ты решаешь, быть тебе министром, не ты решаешь, что тебе им не быть!

— Франциска,— воззвал Давид,— да скажи ты хоть словечко!

Фран только развела руками:

— Я плохо подготовлена, понимаешь? Видишь ли, я слишком мало знаю; что я могу сказать? Утром ты весело бросил мне несколько слов, прежде чем одолел лифт, и целый день, судя по всему, работал как каторжный, я же ничего, ну, совсем ничего не знаю. Конечно, кое-что я себе представить могу: если твое назначение не шутка, так работник высших инстанций непременно навострит уши, заслышав о положительных интригах и старых приятельницах; я бы этого от него потребовала. А на твоем месте я бы даже выразила ему благодарность, он же с ног сбился, да и фрау Мюнцер тоже, чтобы не вышло несусветной неразберихи.

— Покорно благодарю,— вспылил Давид,— я по горло сыт их заботами, к тому же и меня с утра мучили разные мысли, и я...

— Минуточку,— прервала его Иоганна,— никого не интересует сейчас, что с твоим горлом, Давид Грот, всех интересует, только что с твоей головой. Ты полагаешь, в ней родилась чудесная мысль, а со стороны видно — не такая уж она чудесная. Рукоплещешь ты порой своим идеям? Не говорю, что у других бывают лучшие, но говорю тебе: считай, что такое возможно.

— Да ведь у меня ничего иного и на уме не было...

— Знаю,— сказала Иоганна,— и товарищ Франк, когда ему все разъяснят, тоже это узнает. С тех пор как существует мир, люди говорили: я этого не хотел, и большей частью говорили искренне — стоит только взглянуть на наш мир!

— Мировая история и диспетчер Крель — восхитительно!

— Нет, мировая история и Давид Грот! В этом наше отличие от многих других: мы знаем, что неотъемлемы от мировой истории. Мы не всегда повинны в тех ситуациях, в которых оказываемся, но жить должны так, как если бы были повинны.

Давид не сразу ответил, обе женщины, и старая и молодая, тоже молчали, прихлебывая чай, наконец Давид сказал:

— Да, вполне возможно, что-то подобное я сегодня уже слышал: с полным пониманием и во всеоружии своих полномочий, да, вполне может быть, ибо речь идет о великом дерзании, да, это вполне возможно.

Иоганна взглянула на Франциску, а Франциска взглянула на Иоганну, и обе высоко вздернули брови.

Но Давид уже не принял этого близко к сердцу.

14

Генерал авиации Клюц, вызволив меня из казармы, объяснил:

— Война в низах — не для умников. А ты умник, светлая голова, да в верхах не числишься. Прошу заметить следующее: чтобы твоя светлая голова осталась целой, делай, что я прикажу. Считай: моя голова попроще. Но знай: я сижу в верхах. Мой девиз: кто исправно чистит мои ружья, тот не идет на войну. Я вообще-то человек, но для тебя и господь бог; поклонения я не требую, покорности — требую. Видеть меня — твоя абсолютная высота полета; выше меня для тебя ничего не существует. Зато ниже разверзается пропасть, и дно ее очень даже твердое. Не страшись, я тебя удержу — чисть мои ружья, держи язык за зубами, а болтай языком, только когда я пожелаю. Твое вознаграждение: целый и невредимый зад. Кстати о задах: моих знакомых дам не лапать. Далее: мои сигары курю я, моих собак луплю я, мои остроты превосходны, мои племянницы — девственницы и пока что таковыми остаются, победа близка. Развод караула закончен. Раз-зойдись! И вот мой тебе завет: быть человеком — это знать свои границы!

Таков мой генерал, а вот я сам: я чистил его ружья, а однажды, получив известную долю в доходе, обменял мастеру Тредеру превосходный кольт из коллекции генерала на жалкую

имитацию винтовки Гринсборо. Сигар его я не курил — я получал сигареты за каждую у него украденную. Пса его мне незачем было лупить, я только раз наподдал ему — но будь здоров! Что до племянниц, так он ошибался, об одной-то я знаю наверняка. А уж дам — лучше бы он сказал им, что говорил мне, — не я лапал, нет, вовсе не я! В остальном мой генерал оказался прав: он был добрым господином, а я его верным оруженосцем. Вполне может быть, что ему я обязан жизнью, разве это пустяк? Вот только с некоторых пор не знаю, что делать с его заветом. Это не его вина; возможно, это вина моя, что-то произошло со временем и с пространством; кое-что пригодное в Тиргартене непригодно у нас; кое-что пригодное в ту пору теперь более не пригодно. У заветов, видимо, тоже ограниченный срок действия.

Когда ратцебургский пастор застиг меня в своей клубнике, он сказал:

— Давид Грот, в глазах всего света ты всего-навсего мелкий воришка, пожелавший полакомиться, в глазах господа ты нарушитель его заповеди, а в моих глазах ты негодник — у вас у самих есть клубника! Да не тот ли ты Давид Грот, кто прошлой осенью в школьном актовом зале нарушил тишину на музыкальном вечере, посвященном Букстехуде, а именно, применив полученное знание законов рычага, использовал пюпитр как щипцы для орехов? В глазах певческого общества ты реабилитирован, ибо благодаря твоему поступку весть о вокальных успехах Ратцебурга проникла в любекскую газету, в моих глазах ты виновен в чудовищном проступке. Я провожу мысленно линию от орехов к моей клубнике и вижу направление, в котором ты идешь. Вижу, что ты проявляешь неуважение к трем видам собственности: к собственности как таковой, к духовной собственности и к церковной собственности. Предупреждаю тебя, Давид Грот, остановись, сверни с ложного пути, иначе не миновать тебе ада, ибо он создан одновременно с собственностью и для ее защиты. А не испытываешь ты перед ним страха — быть тебе великим разбойником. Так говорю тебе я как пастор, а как владелец клубники я тебя отлущу.

Таков мой пастор, а вот я сам: он, пастор, оказался прав во всем, что касалось меня, и своей пасторской рукой столь энергично наставил меня на путь истинный, что, предпринимая в дальнейшем походы за чужим достоянием, я всегда помнил о поджидавшем меня аде, что заставляло меня чаще всего держаться в границах и обостряло мою осмотрительность, если я все-таки

их преступал.

Пока не свершилось то знаменательное событие, которого мой пастор предвидеть не мог; в этом событии я принимал деятельное участие. В списке правонарушений оно помечено как экспроприация экспроприаторов; это научное определение, и означает оно: отчуждение собственности у грабителей, и, понятно, эти последние называют таковое отчуждение грабежом.

Далее, вполне согласно с наукой и то, что мой пастор, знавший в историческом процессе три формы собственности, не в состоянии был увидеть четвертой формы — ну кто же в состоянии увидеть из Ратцебурга Москву? Ныне, однако, мой пастор, буде господь бог сохранил ему жизнь, вполне может обнаружить эту самую четвертую форму собственности — мы облегчили ему задачу. Стоит ему поднять взгляд от своих клубничных грядок и устремить его в восточном направлении, и он обнаружит Гадебуш, где некогда погиб Теодор Кёрнер, и легко прочтет явившиеся в результате исторического процесса буквы: НС; НС — народная собственность, НС — четвертая форма собственности.

А если от вида тех букв у него разболятся глаза, у меня наготове для него утешение: он был прав в том, что касается меня и избранного мною пути, и хотя его энергичное «наставление» не имело длительного действия, пусть узнает: не только его наставления, но и наставления разных других ни на меня и ни на большинство таких, как я, действия не возымели.

Когда мой учитель Кастен выпустил меня в неизвестность, которую он называл «жизнь», то, обращаясь ко мне, сказал:

— Раз уж твой отец, Давид, Возлюбленный мой, удостоился ныне чести носить серый мундир фюрера, хотя не так давно благодаря нашему фюреру разгуливал в полосатой куртке, я буду рассматривать тебя как сына обычного нашего соотчича и напомню тебе строки из стихотворения нашего великого поэта Германа Бурте: «В твоей крови бурлит поток мелодий, блаженство смерти входит в песнь твою», мы его проходили; поэт пользуется местоимением во втором лице единственного числа, обращаясь к Германии. И я в сей великий для тебя час, невзирая на твое имя, обхожусь с тобой как с частицей Германии. Да не нарушишь ты во веки веков воспроизведенный в сих строках непрерывный процесс кровообращения, мы его тоже проходили: кровь истинного германца извергает поток мелодий, музыку, и музыка эта, происхождением своим обязанная крови, бурлит в песнях, славящих блаженство смерти и упоение кровью, песни

эти направляют руку мужа, и, куда ни ступит нога его, там вновь текут потоки крови, и так далее, примеры: Фолькер, прозванный Шпильман, и Рихард Вагнер. Ныне ты начинаешь битву за труд, но настанет день, и тебя призовут на иную великую битву, тогда-то выкажи храбрость в бою; а зазвучит песнь о Германии, что превыше всего, знай, песнь эта исторгнута из нашей крови и славит упоение смертью!

Таков мой учитель Кастен, а вот я сам: ни разу в жизни не случилось мне ощутить блаженство смерти — не успевал я ощутить блаженство, как ощущал страх, никак не добиваясь непрерывного процесса кровообращения, восславленного поэтом Бурте. Однако усилия господина Кастена не пропали втуне.

Его призыв пришел мне на ум, когда впоследствии вновь зазвучала та песнь о Германии, что превыше всего. Тут я задумался: о чем это вы поете; что это вы мне напеваете и какой певец здесь задает тон? Я присмотрелся пристальней и разглядел кое-кого из тех самых соотчичей, старых моих знакомых, мне показалось даже, что я узнаю среди них господина Кастена, тогда я сказал себе: где этакие люди поют и где этакие песни поют, там не ищи себе приюта, и не ищи себе покоя, если по соседству с тобой в упоении кровью пляшут под скрипку Фолькера.

Ничего нет лучше хорошего учителя: учит тебя понимать стихи, и если уж тысячу раз назовет тебя «возлюбленный мой» и хоть один-единственный раз остережет тебя — «да не нарушишь ты во веки веков!» — ты во веки веков будешь вспоминать о нем не иначе как с преданностью и с благодарной любовью.

Так обстоят наши дела с господином учителем Кастеном.

Когда мой дядя Герман, фельдфебель Грот, вместе со мной носился на мотоцикле по буковым рощам Гольштейна, он говорил мне:

— Ну что, разве не расчудесно здесь, на просторах нашей родины? Носись по лесам, ори, сколько душе угодно; при этаком грохоте ты воистину свободный человек, командуй и ругайся на ее просторах. На черта мне в казарме вякать, да еще в концлагерь угодить? Э, нет, Давид, вот что я тебе скажу: «Триумф» вещица и впрямь чудесная. Ведь «Триумф» обозначает триумф, это когда люди веселятся вовсю и повод у них подходящий. Потому я купил «Триумф», что знаю: наорет на меня гауптман, я ему в ответ: «Так точно», а вечером сяду на мотоцикл, да промчусь по приморской полосе, да как заору во все горло: «Господин гауптман, на-кось выкуси, у тебя... мозгов не хватает!» Вот ты и видишь, Давид, что за расчудесная ве-

щица этакий мотоцикл и как чудесны просторы нашей, в этих местах не густо заселенной родины. Вырастешь, купи себе мотоцикл, чтоб жить свободным человеком, но дома не вздумай заикнуться, о чем мы с тобой тут беседовали, только неприятности наживешь.

Таков мой дядя фельдфебель, а вот я сам: дядя меня раззадорил; все, что он говорил, говорило за покупку мотоцикла, и я в конце концов приобрел машину. Может, дело было в марке, но мне мотогонки так расчудесно не помогали, как ему. Я пытался и на отечественном «РТ-125», и на импортной «Яве», да только одного добился — от крика горло застудил. Может, я орал без должного рвения, ведь орать «товарищ Мюнцер» — это вам не «господин гауптман!».

А главное — в этом я усматриваю основную причину, почему дядин совет не возымел необходимого действия, — главное, мне слишком поздно удалось обзавестись грохоталкой. Связано это было с моей заплатой и производством мотоциклов в стране, а также с импортом последних; прежде чем у меня хватило пороху на этакое приобретение, дабы поистине расчудесно и свободно выкричаться, я уже слишком долго работал в «Рундшау», а господин гауптман звался там «фрау Мюнцер», «товарищ Мюнцер»; оная фрау гауптман не довольствовалась каким-то «так точно»; от нее вовсе не просто было вырваться, чтобы свободным человеком промчать на мотоцикле, она требовала здесь сейчас полной ясности, и уж чего-чего, а мозгов у нее хватало — так к чему мне было куда-то мчаться и орать во все горло на просторах своей родины?

А случись мне нынче встретить дядю Германа на своей старой родине или навести он меня на моей новой родине, я бы ему сказал: ты наверняка хотел мне добра, давая совет, но в ходе вещей многое изменилось: не такая уж расчудесная вещица теперь мотоцикл. Хотя вполне возможно, все дело в марке. Кое-чему, пожалуй, я все-таки на твоем примере научился: когда в редакции я вижу сотрудника, который купил мотоцикл, я внимательно слежу, не шевелит ли он губами под мотоциклетный грохот, и спрашиваю себя: эй, Давид Грот, надеюсь, ты не разыгрываешь перед ним старорежимного гауптмана?

Когда мой второй учитель и хозяин, оружейный мастер Тредер, дознался, что его тощая невестка занимается баллистикой с его учеником Даффи, он сказал:

— Мне бы надо набить тебе морду, и меня так и тянет обозвать тебя «Давидом»; ты заслужил и то, и другое. Меня

удерживает только нехватка в находчивых парнях, понимающих, что такое мушкеты Густава Адольфа и какова их ценность. Подумать надо, с Урсулой! Ты, верно, даже не глядишь на посылки, когда таскаешь их на почту, не читаешь Гельмутова адреса: интендантское управление СС, Минск? Думаешь, он там обер-дояр, коровенок за сиськи дергает? Ты бы его послушал, когда он в отпуск приезжает и бутылку мартеля выхлебает! Я только ахаю — ну, парень, ну, Гельмут, что ты такое рассказываешь, а человечнее вы б не могли — пулю в лоб, и точка? Слыхал бы ты, как он хохочет, так лучше б на «зимнюю помощь» трудился, чем на эту тощую козу. Да он тебя в шапку пены взобьет — как он выражается, когда бывает в настроении. Подумать надо — с его хлипкой супругой крутить! Это ж дьявольский труд! Слушай, Даффи, она и баба никудышная, и язык за зубами держать не станет. И вообще, бабе тайну доверять — все одно что по всем радиоприемникам в концерте по заявкам объявить. Баб господь халтурно сработал. Вот тебе для сравнения: мужчина — натуральный кофе, высший сорт «камерун», бабы — суррогат, солодовая смесь. Где у нас голова, Даффи, там у них подделка; а чтоб в глаза не бросалось, они отрастили волосы. Женщина как таковая ни черта не стоит; а чего-нибудь она стоит только как продолжение мужчины в низменной сфере наслаждений — так говорит мой старый клиент, ученый господин, да ты его знаешь, аркебузы его слабость. Послушай, Даффи, отступись-ка ты от этой ледащей Урсулы!

Таков мой второй учитель и хозяин, а вот я сам: я отступился. Учителя и хозяина должно с первого слова слушаться, и я послушался и вообще ко всем его словам прислушивался, кроме каких-нибудь двух-трех. Он заслужил мою благодарность, оружейный мастер Тредер,— кто знает, может, без него я давным-давно обратился бы в давным-давно растаявшую пену, подобно многим и многим другим?

А потому не стану корить его за то, что взаимоотношения мужчины и женщины он живописал скорее сочно, чем правдиво. Я частенько пытался разыгрывать из себя перед дамами продукт высшего сорта, того самого, камерунского, но, сдается мне, это выглядело комично. Возможно, я достиг бы успеха, когда Камерун был еще немецким Камеруном, и с тех пор я люблю повторять: кое для чего я, видимо, опоздал родиться.

Но касательно сферы наслаждений — мастер Тредер был прав, не пойму только: почему она низменная? По этой части я не счел нужным прислушаться ни к мастеру, ни к его ученому и авторитетному клиенту.

И еще кое-что важное для жизни извлек я из трактата моего

учителя и хозяина о женщине вообще, о женщине Урсуле, ее супруге Гельмуте и его «настроениях»: я научился вникать в сущность слов, а не довольствоваться, например, идиллическими представлениями, когда мне говорят — на войне, ах, я служил там в интендантских частях. Это относится в равной мере и к таким профессиям, как строитель, младший референт, медик или богослов.

Я весьма и весьма обязан моему мастеру.

Когда библиотекарь Гешоннек признал меня клиентом, достойным доверия, он сказал мне:

— Видите, господин Грот, вот «Звездные часы человечества» Стефана Цвейга, экземпляр весь в пятнах плесени, так и должно быть в данном случае: они суть мета его происхождения, если мне позволено будет так выразиться. Книга мне дорога, я не каждому ее выдаю, она напоминает мне, если можно так сказать, мой звездный час. У каждого есть таковой, а не только у Достоевского и других знаменитых господ, что описаны Цвейгом. Мой час пробил в последнем апреле последней войны. Русские вошли в Берлин, и жители города стали проглядывать свои книги; иные, видимо, выкидывали все, что у них было, ведь никто ничего толком не знал. Имелось много способов избавиться от подозрительных книг; кое-кто выкидывал книги в реки. Их кидали даже в нашу речушку Панке, апрель чуть-чуть поднял ее уровень. Я уже тогда был инвалидом и жил неподалеку от Панке, однажды, увидев, что в ее не слишком бурных водах полным-полно литературы, я понял — вот он, если мне позволено будет так сформулировать, мой звездный час. Поначалу из любопытства, а затем и с истинным интересом я вытаскивал речное добро, как говорят юристы, на берег, превращая его тем самым в береговое добро. Ни единый человек, понимал я, не пожелает признать себя его собственником, а потому я ввел в действие jus litoris* — к вашему сведению, я некогда служил в суде — и заявил свои притязания на отсыревшие находки. Большую часть книг я, правда, незамедлительно возвратил речонке, единым махом закинув в нее двадцать один экземпляр «Мифа XX столетия», но кое-какие книги остались; из остатков и создана «Библиотека Гешоннека». Книга, что в ваших руках, и ее пятна плесени напоминают о событиях тех дней. Можно, пожалуй, выразиться следующим образом: счастье поджидает человека не только на дальних берегах!

---

* Право берега *(лат.)*.

Таков мой библиотекарь, а вот я сам: я полностью согласен с господином Гешоннеком. Один мой приятель попытал счастья на дальних берегах, когда упомянутые моим библиотекарем временно расположенные на территории Германской Демократической Республики Советские Вооруженные Силы приблизились к нему. Мой приятель решил, что на Дарсе-то его никто не разыщет; он приготовился было к приятной полуостровной робинзонаде, однако его нашли. После этого он некоторое время трудился в Донбассе. Я же в ту пору считал, что Донбасс — это где-то в Сибири, как, впрочем, Москва и Ленинград, а потому не желал ни в Донбасс, ни в Ленинград. Генерал Клюц тоже не желал попасть туда, а потому своевременно позаботился, чтобы его присутствие стало необходимым в противоположной стороне, для меня в машине места не нашлось — сам генерал, его племянницы и багаж занимали слишком много места. Я вынужден был искать убежища на берлинских полях орошения, в местах, пересеченных водотоками, смахивающими на речушку Панке, разве что превосходящими ее силой зловония.

Не подумайте, что солдаты, нагнавшие страху на моего приятеля, на моего генерала, на берлинских книговладельцев, а также на меня самого, оставили без внимания пахучие места вокруг Берлина; патрулировать там посылали отборных воинов с крепкими нервами, и кого же им искать, считал я, как не меня.

А потому всякий раз, как они приближались, я укрывался в водотоках. Там обитало мое счастье, если позволено мне будет использовать выражение господина Гешоннека.

Но вскоре я и вправду затосковал по дальним морским берегам! По их мягким песчаным пляжам и всеочищающим волнам, по сладостным бризам и вольному ветру.

Да, после многократного погружения в кишечный тракт столицы рейха, после вынужденного молчания в жидкостях, которые кто его знает кто спустил, после долгих часов размышлений в непосредственном соседстве с дохлой крысой, после мгновений, посвященных самоанализу на ослизлом дне резервуара, где осуществлялся обмен веществ нашего столичного города, да, после невольной близости с сокровищами, какие в ту пору предлагали мне эти места, меня разобрало любопытство, а каково-то в Сибири, меня потянуло из трубы, и тяга эта едва не уволокла меня в Донбасс. Вот когда я подумал: о степь, тайга и тундра, будь что будет, милые мои, я иду к вам! Случилось, однако, так, что они не пожелали меня заполучить, прошла весна, прошло лето, а осенью я поступил на работу в «Рундшау». Любопытство же к Сибири осталось, и тяга к Донбассу тоже, и к Ленинграду, и к тайге, и вот я поддался этой тяге и утолил свое

любопытство, один раз, а потом еще много, много раз, ну как же было не возникнуть дружбе!

А поскольку начало свое она все-таки ведет у меня с берлинских полей орошения, я подписываюсь под словами господина Гешоннека: «Счастье поджидает человека не только на дальних берегах!»

Когда я интервьюировал основателя ЗАКОПЕ, пенсионера-железнодорожника дедушку Рихарда Киста, он сказал:

— Невзирая на все, что произошло, невзирая на неудачу, постигшую меня, невзирая на порицание общества, обрушившееся на меня, я все-таки придаю большое значение тому, чтоб считаться selfmademan'ом*, и рад, если во мне видят исчезающий из жизни пример.

Таков Рихард Кист, а вот я сам: у меня тоже был дедушка, и selfmademan в нашем семействе тоже имелся. Последнего я знал по рассказам первого; то были гневные рассказы и столь патриотичные, что даже выразительное английское слово дед выговаривал как немецкое: зелфмадеман.

Тот, кого он так именовал, его шурин, уехал в свое время из Ратцебурга и обосновался в Нью-Йорке — Ной-Йорке, как называлось оное местечко в рассказах деда,— и был к тому же членом Кифхёйзербунда.

Шурин, а мой двоюродный дед, сделал обычную для тех мест головокружительную карьеру — от мальчика, подающего мячи в гольфе, до джентльмена и фабриканта, производящего мячи для гольфа,— карьеру, уже потому сомнительную в глазах моего деда, что гольф в его Ратцебурге был в те времена примерно так же распространен, как ныне в моем Берлине, и потому еще, что игра эта лежала в основе удачи его шурина-джентльмена; как тут не счесть шурина джентльменом удачи?

Но вот приехал этот нойёркец в гости к сестре и шурину, наврал им с три короба что-то о небоскребах и демократии, накурил полную гостиную сигарного дыма, но упмановскими сигарами не угостил и вообще прикатил без единого подарка или хоть сувенирчика, наплел им о своих делах в Штатах и каждую небылицу заключал изречением: «К вашему сведению, я истинный selfmademan!»

Пытка эта длилась неделю, после чего дед выгнал selfmademan'а из дома и вдогонку крикнул самое бранное из всех известных ему бранных слов:

---

* Человеком, самостоятельно выбившимся в люди *(англ.)*.

— Ах ты зелфмадеман!

Впоследствии, когда я уезжал из Ратцебурга в Берлин, дед дал мне один-единственный совет, и произнес его тоном, в котором слились сердечная просьба и пламенная угроза:

— Гляди, мой мальчик, не превратился бы ты в этакого зелфмадемана!

Из сказанного явствует, что призыв основателя ЗАКОПЕ рассматривать его как наглядный пример, нашел у меня живейший отклик; к замечанию этого деда я присоединил замечание собственного деда, сложил их, а из суммы извлек вывод, который вовсе не представляет собой цитаты, каковой его можно счесть: бывает так, но иначе тоже бывает.

Время от времени, часто замечал я впоследствии, вспоминать об этом небесполезно.

Когда графиня Лендорфф совершала у нас обряд, называемый ею чаепитием, она сказала мне:

— Вот видите, господин Грот, вы из западных областей перебрались в восточные, а я из восточных перебралась в западные. Ваш отец, если я верно информирована, как того требует моя профессия, много страдал в Третьем рейхе; мой близкий родственник, Ольрик фон Долендорфф, о котором вы, конечно, знаете, ибо ваша профессия требует от вас таких знаний, также испытал на себе, что такое неправовое государство. Вы вышли из простой семьи, и я, по сути дела, тоже вышла из простой семьи, наш дом отличался не барственностью, а скромностью, и наши чулки в детстве были из той же грубой пряжи, что и чулки арендаторских дочерей. Вы учились упорно и настойчиво, и мне никто не разжевывал и не клал в рот готовые знания. Вы журналист и преданы своему ремеслу душой и телом, я тоже целиком предана этому ремеслу. У вас свои трудности с вашими читателями, у меня свои с моими читателями. Ваш издатель иного склада, чем мой издатель, но оба мы имеем издателей, мы оба лишь служим. Допускаю, наши взгляды на вопрос, что есть истина, расходятся, и все-таки главное для нас — выяснение истины, и этого у нас никто не отнимет. Мы оба трезво смотрим на вещи, мы люди трезвые, вот она, наша общность. Вы из западных областей перебрались в восточные, я из восточных перебралась в западные, члены уравнения взаимно уничтожаются, ибо земля круглая; направление — ничто, движение — все; вот видите, Грот; а теперь, скажите на милость, в чем же, в конечном счете, да, именно в чем же, в конечном счете, между нами разница?

Такова графиня, а вот я сам: согласен, теория графини обладает известной привлекательностью, не спорю, отдельные места в ее писании отличались благозвучием. Я бы даже сказал, нет, я обязан сказать: они мне льстили. Видимо, мои ощущения напоминали ощущения Василия Васильевича Спиридонова: он с глазу на глаз с Мольтке, легендарным гением.

Глупо не допускать мысли, что человек, получивший мощную затрещину, не испытает на какой-то миг удовлетворения, когда услышит от давнего и мощного обидчика: да мы ж с тобой равны. Ведь тот не сказал бы так, не будь он, по крайней мере на данный миг, побежден. Я с улыбкой отвел графскую руку с моей шеи, вспомнив о пальцах, некогда железной хваткой сжимавших мне горло, и с легкой иронией заметил: времена-де меняются, хотя тут же понял, что ироническая легкость тона, пожалуй, годится лишь для равных, а таковыми я нас, графиню и себя, не считал, что и высказал ей; я сказал:

— Как бы нам с вами не ошибиться, а ведь мы непременно ошибемся, если, видя лишь общие благодаря природе и истории черты, упустим два-три обстоятельства, нас разъединяющие. Наша общность смахивает на общность Германа А. и Германа А. Оба не только зовутся Германами, и не только Германами А., оба приговорены были к длительным срокам тюремного заключения, что, надо думать, оба считали величайшей несправедливостью, оба — и тут возникает самый серьезный знак равенства между ними, — оба, возглавляя предприятия, сидели в одном и том же доме, сто восемь, Берлин, Мауерштрассе, тридцать девять, и даже в одной и той же комнате, северный корпус, второй этаж; один Герман — в качестве члена правления «Дойче банк», второй Герман — в качестве главного редактора «Нойес Дойчланд», два Германа, два немца, но общего между ними не больше, чем между вами, фрау доктор, и мной.

Нет, нет, пожалуйста, не возмущайтесь преждевременно, я не путаю вас с первым А., а себя со вторым; не я выдумал эту игру, я хочу только додумать ее до конца; а потому предлагаю, давайте подвергнем испытанию нашу прекрасную общность, для чего оставим прошлое, и проверим ее на оселке настоящего. Ведь это игра, графиня, давайте все вместе, все участники игры, — вы и первый господин А., второй Герман А. и я — отправимся в комнату северного корпуса на втором этаже по Мауерштрассе, дом тридцать девять, сто восемь, Берлин, и выглянем из окна; в восточном направлении мы увидим Министерство внутренних дел Германской Демократической Республики, в северном направлении — заднюю стену советского посольства и часть здания Министерства народного образования, в северо-западном направ-

лении — Бранденбургские ворота и на западе, наконец, пограничное укрепление, кое-кем именуемое «стеной».

Оглядев все это, давайте сядем, немцы Лендорфф и А., А. и Грот, и запишем все, что придет нам в голову после такого обозрения, запишем все, что вспомним, запишем, что нам по вкусу пришлось и почему, а что нам не пришлось по вкусу и — в этом случае также — почему, запишем, что мы хотели бы сохранить и зачем, и напишем, что, если бы от нас это зависело, мы изменили бы и для какой цели.

Не стану вам надоедать, не стану доводить игру до момента, когда все четыре сочинения будут зачитаны; я уверен, мы получим не только четыре разные статьи, но такие четыре, из которых можно составить две пары, и подозреваю, ваша и моя не составят пары.

Мы не составим пары, графиня, если взглянем из того окна на небольшую часть окружающего нас мира, нет, мы не составим пары, из какой бы точки мы ни взглянули хоть на весь окружающий нас мир, это различие между нами давнишнее, и оно, видимо, не исчезнет еще очень и очень долго.

Должен признаться, игра с окном, возможно, была чуть-чуть утомительна и даже притянута за волосы; и все-таки иногда она бывает полезна. У меня вошло в привычку приглашать непрошеных или непроверенных друзей — теперь, после случая с графиней, разумеется, мысленно — к окну на Мауерштрассе, и когда речь заходит о точке зрения, я также всегда вижу себя там: мой взгляд обретает тогда особую остроту.

А все благодаря графине, я ей искренне благодарен.

Когда мой первый хозяин в Ратцебурге по причинам, которые он мне открыть не пожелал, уехал на неделю, он сказал:

— Парень, тебе так и так отпуск положен, вот и бери его теперь; можешь, значит, завтра и до следующего понедельника не приходить.

Таков мой первый мастер, а вот я сам: ой, вот радость-то точно с неба свалилась! Ах, какой замечательный денек выдался, ах, какой замечательный у меня мастер! Другой бы, взяв чемодан, надавал мне заданий и оставил в мастерской. Но не мой мастер: у него доброе сердце, мне этого вовек не забыть.

Я тоже отправился путешествовать: привязал рюкзак к велосипеду, и прощай, Ратцебург, привет, Мёльн, алло, Шварценбек, здравствуй, Гамбург! У меня там жили какие-то дальние тетушки и один настоящий дядя, старший брат матери, а самое главное — это был Гамбург, потому визиты родственникам я наносил

мимолетные. У одной тетушки, ненастоящей, мне разрешили остановиться; прочих родственников я оделял приветами, позволял их оделять меня бутербродами и тут же улетучивался, едва успев объяснить свое появление и пропеть хвалу своему доброму мастеру.

Добросердечный мастер и хозяин неизменно пожинал восторги моих родичей; и только в одном доме этого не случилось. У моего настоящего дяди. Таков уж он был по натуре. Мама сказала потом:

— Он же слепой, в этом все дело.

Верно, он слепой. Он служил кочегаром на судне — и однажды там лопнуло водомерное стекло.

Он участвовал в битве в Скагерраке, и в Киле когда-то в ноябре тоже в чем-то участвовал, о чем мать вспоминала только шепотом.

Они не находили общего языка, моя мать и ее брат; редкие посещения кончались ссорой, дядя-то был человек неосмотрительный, а отца считал тихоней.

— Он же слепой, в этом все дело,— говорила мать о брате.

Меня он принял приветливо, даже выключил радио, чтобы поговорить; я все равно ничего не понимал, о чем там говорят — по-иностранному и тихо-тихо. Пришлось рассказать ему обо всем, что я повидал в городе, дядя был доволен, и я охотно ему рассказывал.

Я ему рассказал и об отпуске, как неожиданно я получил его и как повезло мне с хозяином.

— Да,— ответил дядя,— дополнительный отпуск всегда кстати. А деньги он тебе заплатил?

— Пять марок за неделю,— гордо заявил я,— так и в договоре значится. Только отпуск этот не дополнительный. Просто мой отпуск, разве нет?

— Ну, не очень-то разбежишься на пять марок,— ответил дядя.— Почему же это твой отпуск? Я думал, ты его с бухты-барахты получил?

— Верно,— кивнул я,— мастер-то все равно уезжал!

От дядиной приветливости не осталось и следа. Он бушевал, обзывал моего мастера собакой и всех мастеров собаками, да еще какими-то чудными — эксплуататорскими собаками! И меня обругал за то, что я молча все стерпел.

Да ведь он слепой, в этом все дело, подумал я, он не видит, а потому кое-что не понимает. И я еще раз объяснил дяде: что значит «стерпел», отпуск неожиданный, и терпеть нечего, я ему рад без памяти, и вообще, как же не терпеть, я — ученик, мой мастер — мастер, хозяин, господин в своей мастерской, мой

господин — управляющий предприятием, разве нет?

Ну, тут дядя стал спокойно мне все объяснять, но я видел — наш разговор его волнует, и это заставило меня поверить в те его слова, какие мне удалось понять.

Всего я не понял и вопросов увез с собой больше, чем получил ответов. И ответы и вопросы долго не давали мне покоя, даже когда я опять через Мёльн возвращался в Ратцебург и даже когда снова вернулся в мастерскую моего хозяина.

Он спросил меня, как я провел отпуск, и я ответил, что хорошо провел, а сам подумал: если воображаешь, будто я и сейчас думаю — ой, вот здорово, что ты мне даешь отпуск, когда тебе угодно, а меня даже не спрашиваешь, угодно ли мне,— так нет, не воображай! Я узнал — все, оказывается, было уже иначе, и все еще будет иначе. А еще я узнал, что, хоть и зарабатываю у тебя кое-что, ты без меня вообще ни черта не заработаешь, мне все подсчитали точно. А еще меня научили, чтоб я смотрел на вещи не только с твоей точки зрения, чтоб я поглядел и с моей, а с моей они порой выглядят совсем иначе.

Нет, собакой я своего хозяина даже мысленно не называл, а уж тем более эксплуататорской собакой, но я никогда больше не называл его замечательным хозяином, хотя был он человек неплохой, что подтвердилось, когда умер мой отец.

Замечательный — нет, слишком часто я смотрел теперь на вещи собственными глазами; у меня это, можно сказать, вошло в привычку, мать быстро все подметила, а когда поняла, что моя манера принимать все в штыки — следствие визита к ее озлобленному брату, сказала:

— Он же слепой, в этом все дело!

Но я думал о том иначе.

Когда западноберлинский полицейский арестовал меня за то, что в моих запрещенных листовках речь шла о мирных переговорах, он еще на ступеньках участка сказал мне:

— Уж мы вашего брата раз и навсегда отвадим!

Таков полицейский, а вот я: я совершил поступок, за который дома мне влетело по первое число, поскольку мой поступок находился в вопиющем противоречии с текстом моей листовки, был вредным и бессмысленным, и научиться таким поступкам я мог только в западноберлинском кино; итак, я выслушал полицейского, прикинул, от чего он хочет меня отвадить, да к тому же раз и навсегда, и врезал ему в скулу; лишь возвращаясь поспешно домой, я воскликнул:

— Никогда!

Однажды, сочтя остроумными сатирические стишки на «пилюли», я опубликовал их, а сестра Туро сказала мне:

— Сколько, собственно говоря, у вас детей, господин Грот? Если я правильно сосчитала, у вас один Давид. Не спрашиваю, как вам это удается; полагаю, ничего оригинального вы не придумали; поработаешь десяток лет акушеркой, приблизительно представляешь себе, что к чему. Как вас угораздило напечатать этакий дрянной стишок, вот что я хочу спросить. Никто не упрекнет меня в том, что я не люблю детей; слишком многим я помогла явиться на свет, и я всех любила, всех, господин Грот, мне хотелось бы повидать их всех, как время от времени я вижу Давида. Я от души радуюсь, поверьте мне, когда слышу, как эти парнишки рассуждают о машинах, о музыке бит, о математике, и думаю: ах, малыш, теперь ты задаешься, но я помню, как ты жадно хватал ротишком воздух, и как от тебя пахло, и как ты силился показать, что мы тебя бросили помирать с голоду. И порой мне хочется напомнить: эй ты, похвальбушка, громовержец, а знаешь, кто тебя первый шлепнул по попке? А что ты скажешь, если я скажу: ведь я и пудрила ее. В каждой профессии есть свои подводные камни, но каждая профессия таит в себе нечто, из-за чего ее ни на какую другую не променяешь. Вот я, например, сижу в трамвае, разглядываю окружающих девиц и думаю: ну-с, фрейлейн, а не встречались ли мы с вами? Иной раз я, глядя на этих же девиц, думаю: а когда мы с тобой опять встретимся, когда ты пожалуешь со своим чемоданчиком и своими страхами? Я еще не так долго работаю, чтобы мои первые пожаловали рожать своего первого, но ждать уже недолго. У них уже круглятся коленки, и в объеме груди так называемая акселерация дает себя знать; в тот день, когда явится первая, для меня будет ясно: вот я в некотором роде и бабка. Но хватит болтать обо мне и хватит о зеленых юнцах; поговорим о стишке в вашем журнале. Значит, куда как смешно, что придумали средство, чтоб с акробатикой покончить, и с ночной математикой, и чтоб промышленные изделия не путались в высокие чувства, вам, выходит, смешно, что людей освободили от страха? Меня это удивляет, таким я вас не знаю. Ведь вы всегда тут как тут, когда надо дать отпор страхам; что же здесь смешного? На днях я слышала по радио певца, он пел «черные», как их называют, песни, вообще говоря, они не в моем вкусе, почти все, что он пел, не в моем вкусе; одна песня хоть и не понравилась мне, но что-то в ней было. Он пел о чьей-то жизни, никудышная была жизнь того человека, ничего-то у него не ладилось, а если что сладится, он и сам не знал для чего. Певец в известном смысле был прав, когда в каждой строфе спрашивал: «Для чего

же ты пришел в мир?» Не понравилась мне эта песня, впечатление такое создавалось, что не об одном горемыке идет речь; в ней шла речь обо всех людях и о всей нашей жизни, я об этом придерживаюсь другого мнения. Его вопрос мне понравился: «Для чего же ты пришел в мир?» Вопрос мне знакомый по моей профессии. Порой и меня эта мысль занимает, когда я на родителей гляжу: болтаются по жизни без толку, сами себе не рады, сами себя терпеть не могут, знают, что ни на что не годны, что свой шанс упустили, слоняются без вкуса по жизни, оживляются, только когда дело доходит до постели; и вот нарожают шестерых детишек, а на тех стоит только взглянуть — и понимаешь: школа в одиночку с их разболтанностью не справится, а тут уж и номер семь готов; вот когда я думаю: «Зачем же ты пришел в мир?» Правда, для таких людей и «пилюли» пустое дело, я не обольщаюсь, у них же никакой дисциплины. Есть, однако, множество других людей; то болезнь, то анатомические особенности, неладно с жильем или работа, которую не хочется бросать, учеба, которую придется прервать, а то мужчина, с которым тебе хорошо, но для замужества нужны более веские причины. Можно, конечно, сказать, что беды эти всегда были. Верно, горе тоже всегда было. А прежде и родильная горячка всегда была. Стишок в вашем журнале, господин Грот, на мой взгляд, ничуть не забавный, знаете, что, на мой взгляд, забавно? Представляю себе, что папа римский читает ваш журнал и этот дурацкий стих и удовлетворенно кивает, он доволен. Господин Грот, он доволен вами, ведь он тоже учит, что иначе, как ради детей,— это грех. Может, вас на личную аудиенцию пригласят и дозволят кольцо облобызать, такая у них заведена мода. Но если говорить серьезно, хотя бы для людей, которые хотят детишек, но почему-либо задумываются — для чего ты именно сейчас придешь в мир? — хотя бы для таких людей это изобретение благо. Я считаю: все, что освобождает мир от страха, или от утайки, или от притворства,— благо; и если что-то позволяет наслаждению и радости идти рука об руку — значит, это превеликое благо. Не знаю тонкостей вашей профессии, господин Грот; мне же вот какая мысль пришла в голову, когда я решила — выскажу-ка я господину Гроту свое мнение о несуразице, какую он напечатал. Так вот, мне пришло в голову, что кое в чем наши профессии сходятся: если я допускаю ошибку, страдают другие, порой всю свою жизнь. То же самое на любой работе, и на вашей, надо полагать, тоже, но от ошибок на вашей работе страдают разом тысячи. Ничего не могу поделать, мне было бы не очень приятно, знай я, что по моей вине тысячи людей сегодня так же идиотски хохотали, как их деды сто лет назад над прививкой оспы. Пожалуй,

я бы над этим крепко призадумалась.

Такова сестра Туро, а вот я: как ни тяжко мне было, я крепко призадумался.

Когда мне пришлось послать в Конго нашего редактора, и, пожалуй, даже самого лучшего, мы с ним по одному вопросу резко поспорили, и он мне заявил:

— Вы — начальник; если прикажете, я подчинюсь, хотя должен вам сказать, что считаю ваше требование излишним. Прививки, ну ладно, без них не обойтись. И хватит, я сыт по горло. Все прививки, вместе взятые, хуже, чем болезни, против которых они задуманы. Меня теперь ни холера, ни свинка не возьмет, а над малярией я только смеюсь. Правда, смеюсь я осторожно, эти чертовы иглы продырявили мне все тело. Если врачи станут еще меня обследовать, качать из меня кровь, разглядывать ее, так ведь, кроме профилактической жидкости, которую они же влили в меня, все равно ничего там не обнаружат. И вообще это пустая формальность, больше из-за соцстраха. На рентгене я был совсем недавно, сердце у меня здоровехонькое, с давлением я в наилучших отношениях; нет, не пойду я к врачам. Говорю вам откровенно, коллега Грот, я считаю все это излишним и по доброй воле никуда не пойду. Разумеется, я пойду, если вы прикажете, вы — начальник, я знаю свои обязанности...

Таков редактор, а вот я: я к нему очень хорошо относился, дельный, мужественный человек, он умел говорить, видеть и писать, на него можно было положиться; подчеркивать, что я начальник, мне вовсе не улыбалось, а потому я не настаивал на обследовании — он прожужжал мне все уши — и наконец сказал:

— Что ж, поступайте как знаете!

Вот, однако, какое дело: расхваливая свои органы, он не упомянул желудка и на то имел веские причины. Позже я узнал: у него с кислотностью был какой-то непорядок, небольшая сама по себе беда, даже маленькая, и дома он прекрасно с ней справлялся. Но он хотел попасть в Конго и опасался, что доктор даст ему проглотить мерзкую кишку только затем, чтобы потом объявить:

— Нет, господин хороший, оставайтесь-ка лучше дома!

А я, не желая подчеркивать, что я начальник, сказал: «Что ж, поступайте как знаете!»

В Конго ему ехать не годилось, еда ему там не годилась, а уж расстояние до ближайшей больницы и вовсе не годилось. Сперва просто расстроился желудок, потом началось что-то вроде желту-

хи, дальше заболела печень, и вот, пожалуйста, человек на себя не похож, а все по моей милости.

Теперь мне иной раз приходится довольно резко подчеркивать, что я начальник.

Когда мне предложили стать главным редактором «Нойе берлинер рундшау», у меня возникли сомнения, и товарищ Возница Майер сказал:

— Ежели ты станешь отбрыкиваться, значит, ничегошеньки не понял, хоть ученый, хоть неученый, значит, задним числом ты все экзамены провалил. О рабоче-крестьянской власти болтать всякий умеет, а ты давай осуществляй ее. Осуществляй, не то мы останемся на бобах, я даже точнее скажу: у нас и бобов-то не останется. Не воображай, что твои болячки — дело исключительное; они на любом уровне встречаются. Когда меня перевели в диспетчеры, я подумал: «Ну, старина Майер, будешь ты теперь смахивать на того шута горохового, что у Шультхейса из окошечка наряды выдавал: «Майер, вам в Штеглиц, глядите не запугивайте клиентов вашими лозунгами!» Конфликты случаются на любом уровне, и на любом уровне кто-то осуществляет власть. Власть штука конкретная. Пока ты в этом не разобрался, знаешь, в чем ты не разобрался? В основном вопросе, милый мой интеллигент. Во всем ты разобрался, да вот только с этим вопросиком не управился. Первый раз, как я после войны, каталажки и прочих удовольствий встретил Фрица Вольфа, он всех и вся громил по одной только простой причине: его назначили послом в Варшаву. Он-де не затем сражался, гремел он. Но я сказал, что он, видимо, затем и сражался, чтобы туда опять какой-нибудь Шуленбург отправился или Типпельскирх. Ну, тут уж он и на меня обрушился. На всех уровнях, говорю тебе, тот же цирк, и на всех уровнях вопрос стоит только так: кто же, если не мы? А вот моя личная точка зрения. Мне лично ты доставишь огромное удовольствие, если будешь главным. Тогда ты в известном смысле окажешься моим преемником. Нам-то с тобой известно, какие исторически отсталые точки зрения послужили причиной, почему меня в ту пору сюда посадили, но если кто станет писать историю нашего журнала, так ты окажешься в некотором роде моим преемником, ну, я не крохобор и потому скажу: преемственность, милые мои, как в сказке о зайце и еже, это руководящая деятельность с расчетом на далекое будущее, это планомерное выращивание кадров, у нас в «Рундшау» все уже имелось, когда и слов-то таких не знали. А почему? Потому что мы сразу верно поставили вопрос власти...

Да что там, чуточку прихвастнуть позволительно, конечно, если факты соответствуют истине. Сейчас, к сожалению, факт, что ты жмешься и не знаешь, стать ли тебе главным. Теоретический вопрос о власти ты одолел, а практически хочешь все вернуть к старому. У Эриха есть стихи, ты знаешь: о первой и второй главе мировой истории; ты сейчас ткнул пальцем в первую главу: о главных, о тех, кем быть ты не хочешь,— в первой, о власти, каковую ты обязан осуществлять, о ней все во второй. В общем, дела обстоят так: тебя приглашают занять место среди людей, облеченных властью, кроме чести, это еще и задание. Если ради чести, так можешь, по мне, сколько хочешь упираться, если же ты не примешь задания, я сочту тебя грубой исторической ошибкой. Гляди, не дай маху, не то останешься на бобах.

Таков товарищ Возница Майер, а вот я сам: мне очень не хотелось быть грубой исторической ошибкой, и я взялся за новую работу.

Когда *наши* корабли взяли курс на Кубу, а корабли адмиральской противной стороны встали перед островом, и на земле каждый, кто добрался в школе до деления, мог вычислить по расстоянию и скорости момент встречи, когда мы все поняли, что курс, проходящий по воде,— это лишь один из тех, на которых сейчас принимаются решения, ибо остальные давным-давно проложены под водой, над водой в подоблачной высоте и над водой в заоблачной высоте,— когда мы поняли: люди, в школе одолевшие куда более сложные действия, чем простое деление, давно подготовились и теперь держат Великий государственный экзамен и охотно прихватили бы нас в качестве слагаемых и множителей, в качестве делимых и делителей, тут мы должны были понять: после этого воцарится ночь, ночь над землей; и все мы, люди, многое перебрали в уме, и еще раз крепко призадумались и подсчитали, сколько голубей в наших гирляндах и сколько меж ними звезд; и я подсчитал, и я крепко призадумался и задал себе вопрос: ради чего ты пришел в этот мир, если катастрофа все-таки произойдет, а если она не произойдет, то для чего ты будешь жить дальше?

Таковы мои вопросы, а вот и мой ответ, ответ, который ныне я даю куда подробнее, чем в те далекие времена, ибо с тех пор случались еще ночи, когда мы со страхом прислушивались к небу; с тех пор случалось, что мы опять искали в атласах новые для них названия; одних адмиралов свергали, другие приходили; калькуляторы остались, великий счет тоже; гирлянды с голубями стали длиннее, малых и больших звезд стало больше, и я теперь хуже

яснее вижу, для чего я пришел в мир и для чего буду жить дальше.

Приходить в мир и жить имеет смысл, если мы употребим на благо все то, с чем сталкиваемся; употребим на благо, чтобы другим легче было приходить в мир, а уж тем более жить.

Мы обладаем некой способностью, о которой порой сами не знаем, а порой просто не желаем знать, но благодаря этой способности мы вышли из ледникового периода, и от нее зависит, долго ли мы проживем на земле: мы умеем учиться.

Вот мера, пользуясь которой мы в состоянии установить, как обстоят наши дела, на что употребили мы эту свою способность, как мы ею воспользовались?

И я не дам разубедить себя, хотя часто видимость, а то даже какие-то доли действительности противоречат этому, нет, никто не разубедит меня: мы не загубили наших возможностей, нет, мы их еще не использовали до конца, а вовсе не загубили. Осмотрительность наряду с убежденностью исходит из того, что это «мы» — понятие составное. Это «мы» слагается из ума и глупости, бодрствования и сонливости, усердия и лени, здоровья и болезни, богатства и бедности, остроты ума и тупости, юности и старости, силы и слабости, успеха и поражения, изобилия и нехватки, это «мы» слагается из бойцов и жертв, из разведчиков и дезертиров, из борцов и драчунов, из исследователей и верующих, из помощников и преступников, из передовиков и тунеядцев, оно слагается из трех миллиардов частиц, а каждый из нас составляет одну трехмиллардную часть этого «мы».

Сознание, что я одна трехмиллиардная часть этого «мы», хоть и доставило мне уйму хлопот, одновременно помогло мне в период тех самых ночей всяких разных адмиралов.

Я вылущил себя из этого бесформенного, неудобного в обращении числа, а запомнил его как некий множитель, который мне вновь понадобится, и попытался понять, кто же такой этот один человек, что он собой представляет и что заложено в одном человеке?

Это был лишь опыт, я не многого добился, в результате получился весьма несовершенный Давид Грот, примерно такой:

Сорокалетний человек, он родился при республике, вырос при диктатуре, ныне живет в социалистической стране. Его мать помнит кайзера в лицо, потому и он его себе представляет. Его отец был рабочий, и он тоже был рабочий, теперь он не рабочий, но он работает. Ему приходится иметь дело с учителями, акушерками, канцлерами, рыбаками, оружейниками, генералами — такими и этакими,— пасторами, фотографами, шоферами, наборщиками, врачами, пенсионерами, аферистами, возчиками,

девицами, тетушками, матерями, редакторами, функционерами, хорошими людьми, дурными людьми, такими людьми и этакими людьми.

Он побывал в Осло и в Эльснице, в Нанкине, на аэродроме Нью-Йорка и на других аэродромах и в других странах и городах.

Над пустыней Гоби он видел, как страдали от морской болезни четыре морских офицера, а в Байрёйте он над раскрытой могилой слушал душеспасительную проповедь пастора, о котором знал, что тот не верит ни в душу, ни в спасение.

Он прочел не одну тысячу книг; большая часть из них никуда не годилась. Он хорошо помнит ошеломляющее впечатление от первой прочитанной им строчки: кто-то на дощечке в саду написал: «Продаются черенки тиса!» И он понял, что хотел сказать этот человек. Он начал понимать, на что пригодно искусство читать и писать.

Он хорошо помнит, как тяжела рука после целого дня работы с напильником.

Марсель Марсо изобразил ему однажды, ему одному, что получается, когда Марсель Марсо изображает Наполеона.

Он пережил четыре аварии, две из них тяжелые. По пению как-то получил пятерку, что его и сейчас еще удивляет. В церквах испытывал жуть, даже в самых великолепных.

Он был свидетелем, как Пабло Неруда впал в ярость, причина: Травен.

Когда он впервые напился, друзья держали его над перилами моста.

Он находит сектантов забавными, если от них ничего не зависит.

Он получил не все интервью, которые хотел; из неудач его особенно злит неудача на Карл-Маркс-аллее в Берлине с Ричардом М. Никсоном, адвокатом.

В Шанхае торговец обувью спел ему песню времен первой мировой войны: «В походе на биваке...»

А в букинистическом магазине там же он купил «Кадетов» Эрнста фон Заломона.

Ему случалось питаться галетами для собак, трижды в день, шесть дней подряд.

Он присутствовал при том, как Чжоу Эньлай получал звание почетного доктора наук в Университете имени Гумбольдта.

Припоминает он далее: он получал колотушки за то, что качался на стуле, за то, что бегал за чужой девчонкой, за то, что записывал речь бывшего нациста; его хвалили за то, что он вернул двадцатимарковую банкноту, за то, что старушку развлек

рассказами, за то, что умел варить гороховый суп.

Припоминает он далее: тиканье часов фирмы МЧК, день, когда погибли Розенберги; осень в Венгрии; запахи у могилы Барлаха; утро, когда началась война, и утро, когда началась война против России; вечер, когда он обнаружил потерю партийного билета; бурю на озере Мюриц; костер, который разложил в день своего четырнадцатилетия; сауну в Лахти; голос Брехта; голос Герхарда Эйслера; спаржу с ветчиной в знаменитом ресторане Шаббеля в Любеке; час, когда до них на стройке Лениналлее дошло известие о смерти Сталина; папашу из «Дней коммуны» и «Марш Радецкого» Йозефа Рота.

Без усилий он еще кое-что может припомнить; а с усилием — еще очень многое.

Он уверен: во всем есть свой смысл: да, во всем есть смысл.

Вот к какому выводу я пришел, когда разглядел себя придирчивым оком, вот к какому выводу я пришел, когда разглядел одного из трех миллиардов, и не на шутку забеспокоился, когда произвел арифметическое действие: помножил этого одного на три миллиарда — это их-то подвергнуть риску?

Вместе с тем я успокоился, ибо увидел великую силу — что же может быть сильнее, чем коллективный опыт? Именно в этой силе, подумал я, нет, уверен я, кроются потенциальные возможности, кроются твои возможности, именно эта сила способна решать великие задачи, а ты вместе с ней, для этого мы пришли, и дошли до определенных высот, для этого и ты пришел и работаешь вместе с другими.

Верно, я знаю, как много еще предстоит учиться, но, считаю, нет беды в том, что человек это знает. Я счел бы досадным, я счел бы истинной бедой, если бы в верхах знали, что есть такой человек, и не попытались заполучить его.

Я, во всяком случае, заполучал таких, и я, во всяком случае — это остается еще сказать, — сам я пошел бы...

ПРИМЕЧАНИЯ

С. 28. *...в издании Филиппа Реклама-младшего.*—Издательство «Филипп Реклам» основано в 1828 г. в Лейпциге. Прославилось изданием дешевых книг карманного формата «Универсальной библиотеки», в которую включены крупнейшие произведения мировой литературы.

С. 29. *ЮНРРА*—Администрация Объединенных Наций по вопросам помощи и восстановления (1943—1947).

С. 32. *«Ойленшпигель»*—сатирический еженедельник в ГДР.

С. 44. *Концерн Кингеля*—намек на газетно-издательский концерн правого направления в ФРГ, основанный в 1947 г. А. Шпрингером в Гамбурге.

С. 51. *«Народная солидарность»*—массовая организация в ГДР. Ее основная задача—создание развитого социалистического общества.

С. 58. *...граница, стена.*—8 августа 1961 г. в демократическом Берлине для защиты государственной границы между ГДР и Западным Берлином была воздвигнута стена, так называемый «антифашистский защитный вал».

Хеннеке, Адольф—шахтер, зачинатель движения активистов-ударников в ГДР.

С. 59. *Лертский вокзал, склады, Дом конгрессов, «Красная ратуша»...*—в Берлине, столице ГДР.

Колонна Победы, дворец Бельвю, Ганзейский квартал, Технический университет, станция «Зоологический сад»—в Западном Берлине.

Аалто, Алвар (1898—1976)—финский архитектор.

Гропиус, Вальтер (1883—1969)—немецкий архитектор, дизайнер и теоретик архитектуры.

«Вельт», *«Франкфуртер альгемайне»*, *«Зольдатенцайтунг»*, *«Бильд»*—газеты ФРГ; *«Шпигель»*—журнал ФРГ.

С. 61. *Ленгемарк*—местность в бельгийской провинции Западная Фландрия. Во время первой мировой войны, когда здесь велись ожесточенные бои, на штурм

английских окопов бросили необученных юношей-студентов. Германская нацистская милитаристская пропаганда прославляла это сражение, называя бессмысленную гибель тысяч юношей «жертвенной смертью», «высшей целью» жизни немецкой молодежи.

Петра Краузе — героиня одного из самых смелых и правдивых немецких фильмов немого кино «Путешествие матушки Краузе за счастьем», режиссер Пиль Ютци.

Видукинд — один из вождей саксов в борьбе с Карлом Великим, которому он нанес сильное поражение в 782 г., но уже в 785 г. Карл Великий подавил восстание саксов. Видукинд сдался и в знак покорности принял христианство.

Танненберг (ныне Стембарк) — населенный пункт на севере Польши (бывшая Восточная Пруссия). Битвой при Танненберге в немецкой литературе названа Грюнвальдская битва (1410).

Тевтобургский лес. — В IX в. н. э. в Тевтобургском лесу германские племена во главе с Арминием уничтожили три римских легиона Квинтилия Вара, остановив тем самым продвижение Рима за Рейн.

Эрхард, Людвиг (1897—1977) — федеральный канцлер ФРГ в 1963—1966 гг., продолжал политический курс К. Аденауэра на ремилитаризацию, возрождение реваншизма в ФРГ.

С. 68. *...решение Экономической комиссии...* — Имеется в виду экономическая комиссия ООН для Европы, созданная в 1947 г.

С. 72. *Кто вспоминает Железного канцлера...* — Имеется в виду Бисмарк, Отто фон Шёнхаузен (1815—1898).

С. 75. *«Мы учимся не для школы, а для жизни»* — слова из 106-го письма философа Сенеки, ставшие пословицей.

С. 77. *...«кто возвел семиратные Фивы?»* — строка из стихотворения Бертольта Брехта (1898—1956) «Вопросы читающего рабочего».

С. 82. *Виннету и Олдшэтерхенд* — герои известных приключенческих романов немецкого писателя Карла Мая (1842—1912).

С. 97. *«Восстанавливай, строй...»* — строка из популярной в конце 40-х гг. у членов ССНМ песни (автор — Рейнхольд Лимберг).

«Небо Испании...» — начальные слова песни, популярной у бойцов XI Интернациональной бригады (слова Г. Кабиша, музыка П. Дессау).

«Вперед, рабочий народ...» — первая строка припева популярной итальянской песни «Бандьера росса» («Красное знамя»), переведенной на многие языки, в том числе и на немецкий.

С. 117. *Гагенбек*, Карл (1844—1913) — основатель крупнейшей в мире немецкой фирмы по торговле дикими животными. Создавал зоопарки, в частности — зоопарк в Гамбурге.

С. 119. *«Вперед, социалисты, смыкай ряды!»* — строка из стихотворения «Марш социалистов» Макса Кегеля, который посвятил его съезду социал-демократической партии (1891).

С. 137. *...военная администрация...* — Советская военная администрация в Германии осуществляла в 1945—1949 гг. власть в советской зоне оккупации Германии.

С. 139. *...из приказа по внутренней службе нашей бригады...*—Имеются в виду Интербригады, боевые интернациональные формирования, сражавшиеся на стороне Испанской республики в период Национально-революционной войны 1936—1939 гг.

С. 148. *Эберт,* Фридрих (1871—1925)—президент Германии с 1919 по 1925 г., правый лидер социал-демократической партии. Во время Ноябрьской революции 1918 г. был рейхсканцлером, заключил тайное соглашение с генеральным штабом о введении в Берлин войск для подавления революции.

С. 153. *Штёртебекер,* Клаус—один из предводителей витальеров, пиратов на Балтийском море, доставлявших в 1389—1395 гг. продовольствие осажденному датчанами Стокгольму. Витальеры проповедовали уравнительность. В 1401 г. разбиты Ганзейским флотом. Штёртебекер был казнен в Гамбурге.

С. 157. *«Лайтнинг»*—американский истребитель во второй мировой войне.

С. 169. *«Культурбунд»*—массовая организация в ГДР (основана в 1948 г.), *содействующая развитию социалистической культуры и духовному формированию* человека социалистического общества.

С. 184. *Нестрой,* Иоганн Непомук (1801—1862)—австрийский комедиограф и актер.

С. 193. *«Роте фане»*—немецкая газета (1918—1939), основана К. Либкнехтом и Р. Люксембург. С декабря 1918 г.—орган КП Германии. В 1933 г. запрещена и до 1935 г. издавалась в подполье, затем в Праге до октября 1936 г. и в Брюсселе—до осени 1939 г.

С. 199. *Когон,* Ойген—западногерманский публицист. Узник концлагеря Бухенвальд. Большую известность приобрела его книга «Государство эсэс».

С. 230. *...песня о битве под Мадридом...*—Эту песню сложили бойцы XI Интербригады в Испании в честь немецкого антифашиста Г. Баймлера, первого комиссара «Батальона Тельмана», когда он погиб под Мадридом.

«...все мы люди, не дадим нас бить в лицо сапогом...»—песня на стихотворение Б. Брехта «Песня единого фронта», музыка Ганса Эйслера. Пользовалась в 30-х гг. большой международной популярностью.

...о молодежи, у которой теперь есть цель...—строка из песни на слова Луи Фюрнберга. В первые послевоенные годы ее особенно любили члены Союза немецкой молодежи. Музыка написана самим Луи Фюрнбергом.

...«Песня стройки»—песня на стихотворение Б. Брехта (1947).

Холодного ветра дыханье—строка из стихотворения Эмануэля Гейбеля (1815—1884).

С. 232. *...Мерзебургские заклинания*—два древневерхненемецких заклинания, названные по месту находки. Записаны в X в.; опубликованы Я. Гриммом в 1842 г.

С. 235. *«Вперед же по солнечным реям...»*—строка из стихотворения А. Безыменского «Комсофлотский марш».

С. 239. *Веддинг*—рабочий район Берлина (в настоящее время—Западный Берлин), назывался «Красный Веддинг», так как рабочие этого района принимали особенно активное участие в революционных боях.

С. 265. *Биттерфельдская конференция* (1959).— Исходя из решений V съезда СЕПГ (1958), на конференции был выдвинут принцип, определяющий роль рабочего класса в социалистической культурной революции, и указано на то, что новый характер работы открывает новые культурные и творческие запросы рабочего класса. Там же было указано, что новые связи творческих работников и рабочего класса помогут преодолеть еще имеющийся отрыв искусства от народа и что деятелям культуры и науки следует лучше познавать человека сферы материального производства и воплощать его в своих произведениях.

С. 268. *Арндт,* Эрнст Мориц (1769—1860) — немецкий писатель. Его патриотическая лирика и публицистика способствовали, несмотря на элементы национализма, становлению национального самосознания немцев.

С. 269. ...*Романское кафе*— берлинское кафе, пользовавшееся особенной популярностью среди деятелей искусства и литературы.

С. 270. ...*Ассоциация революционных пролетарских писателей*— первая социалистическая организация писателей в Германии, основанная в 1928 г. А. Абушем, И. Р. Бехером, К. Грюнбергом и Л. Ренном в Берлине. Руководила этой организацией КПГ. Под лозунгом «Искусство — это оружие», выдвинутым Ф. Вольфом (1888—1953), члены Ассоциации поддерживали работу групп агитпропа.

С. 274. ...*«Кто тебя, о чудный лес, вырастил таким высоким?»*— начальная строка из стихотворения немецкого писателя-романтика Йозефа фон Эйхендорфа (1788—1857) «Прощанье охотника».

С. 277. ...*Крестьянская помощь*— Объединение взаимной крестьянской помощи, массовая организация крестьян и садоводов в ГДР, основана в 1946 г.

...*до семнадцатого июня.*— 17 июня 1953 г. империалистические шпионские организации в Берлине и других городах ГДР попытались совершить контрреволюционный путч. Был подавлен силами сознательных рабочих с помощью Советской Армии и народной полиции.

С. 285. *«В лесу и на лужайке — везде мне хорошо!»*— начало стихотворения Вильгельма Борнемана «Охотничья песнь» (1816).

С. 287. ...*состязание в Вартбурге.*— Согласно легенде, в Вартбурге состоялось состязание знаменитых миннезингеров, среди них были Вольфрам фон Эшенбах (ок. 1170 — ок. 1220), Вальтер фон дер Фогельвейде (ок. 1170 — ок. 1230), Генрих фон Офтердинген (даты жизни неизвестны).

С. 288. *Музеус,* Иоганн Карл Август (1735—1787) — сатирик, прославился своими остроумными «народными» сказками.

Телеман, Георг Филипп (1681—1767) — немецкий композитор.

С. 289. ...*о съезде в Эйзенахе.*— Имеется в виду общегерманский рабочий съезд в Эйзенахе в 1869 г., на котором была создана под руководством В. Либкнехта и А. Бебеля Социал-демократическая партия Германии.

...*чернильное пятно...*— По преданию, когда М. Лютер переводил Библию, ему явился черт, и Лютер запустил в него чернильницей.

С. 294. *«Дикая роза»*— песня на одноименное стихотворение И. В. Гёте.

С. 295. *Весселъ*, Хорст — нацистский рифмоплет, написал марш для отрядов СА, который называли «Песнь Хорста Весселя».

С. 296. *«Крестьянская кантата»*, *«Бранденбургский концерт»* — музыкальные произведения Иоганна Себастьяна Баха (1685—1750).

С. 298. *Кохинур* — знаменитый бриллиант весом 106 карат.

С. 302. *Цюй Юанъ* (ок. 340 — ок. 278 до н. э.) — китайский поэт.
Чэнъ Шэн (II в. до н. э.) — вождь первого известного в истории Китая крестьянского восстания.

С. 304. *Национальный фронт* — создан в ГДР в 1949—1950 гг., объединяет политические партии, массовые организации и беспартийных граждан. Работает под руководством СЕПГ.

С. 309. *Грифиус*, Андреас (1616—1664) — один из крупнейших немецких поэтов и драматургов XVII в.
«Гамбургская драматургия» (1767) — литературно-теоретическая работа Лессинга, Готхольда Эфраима (1729—1781), немецкого мыслителя, литературного критика и писателя, крупнейшего деятеля эпохи Просвещения. В этой работе Лессинг отстаивает эстетические принципы просветительского реализма.
«Западно-восточный диван» — сборник лирических стихотворений И. В. Гёте.
Вейгель, Елена (1908—1971) — жена Б. Брехта, актриса и организатор (совместно с Б. Брехтом) театра «Берлинер ансамбль», которым руководила до своей смерти. Один из основателей и член Академии искусств ГДР.

С. 310. *...визирь Птахотепа* — египетский визирь, автор поучений (III тысячелетие до н. э.).

С. 312. *...день для работ по дому...* — В ГДР работающие женщины, имеющие семью, и матери-одиночки получают в соответствии с Трудовым законодательством один день в месяц для работ по дому.

С. 313. *Цыси* (1835—1908) — маньчжурская императрица, знаменитая своей хитростью и жестокостью.
Компрадоры — капиталисты-посредники между иностранным капиталом и местным рынком в колониальных и зависимых странах.

С. 322. *«Заксенринг»* — марка машины люкс, выпускавшейся цвикауерским автомобильным заводом до 50-х гг.
...фантазер из Хоэнштейн-Эрнсталя. — Имеется в виду Карл Май, который родился в этом городе.

С. 330. *...композитор Леверкюн* — герой романа Т. Манна «Доктор Фаустус».

С. 331. *Кайзерсашерн* — город, в котором провел школьные годы Адриан Леверкюн.

С. 338. *Нанкин-род* — улица в бывшем международном сетльменте Шанхая, то есть районе, заселенном и управляемом иностранцами и изъятом из подчинения местной власти.
Великий поход... — В 1934—1936 гг. под натиском гоминьдановских войск основные силы китайской Красной армии перебазировались из советских районов в Центральном и Южном Китае на Северо-Запад страны.

Гоминьдан— политическая партия в Китае, до 1927 года играла прогрессивную роль, затем превратилась в правящую партию буржуазно-помещичьей реакции, связанную с иностранным империализмом. Власть гоминьдана свергнута в 1949 г. После 1949 г. гоминьдан остался на о. Тайвань.

Куба— псевдоним Курта Бартеля (1914—1967), немецкого поэта (ГДР).

С. 350. *Леммер,* Эрнст— бывший министр по делам беженцев в ФРГ.

...сыграть бы партию в шахматы с самим собой...— Имеется в виду рассказ Стефана Цвейга (1881—1942) «Шахматная новелла».

С. 357. *Осень пятьдесят шестого...*— Имеется в виду контрреволюционный мятеж в Венгрии, ликвидированный с помощью частей Советской Армии.

С. 358. *...встречал президента Всемирной федерации.*— Имеется в виду президент Всемирной федерации демократической молодежи Ги де Буассон.

С. 363. *...он видел Веймар с Эттерсберга...*— На горе Эттерсберг находился фашистский концлагерь Бухенвальд.

...он обивал пороги консульств в Марселе и бюро по найму в Нью-Йорке, он видел колючую проволоку в Швейцарии и пустые миски на Мальорке...— Речь идет о немцах-антифашистах, эмигрировавших из гитлеровской Германии.

...видел... маки в долине Харамы...— Речь идет о бойцах интернациональных бригад в Испании. В долине реки Харамы шли ожесточенные бои интербригад с фашистскими войсками.

...дым над Берлином за черным дымом Ораниенбурга...— Вблизи Ораниенбурга был фашистский концлагерь Заксенхаузен.

С. 364. *...на Эбро...*— Сражение интербригад с фашистскими войсками в долине реки Эбро было последним наступлением республиканцев.

...«трудности преодоления гор...»— Б. Брехт однажды сказал, что «трудности преодоления гор уже позади, а впереди у нас трудности преодоления равнин».

С. 365. *Моссе, Шерль, Ульштейн*— владельцы газетных концернов, существовавших в Германии с начала XX в. до установления в стране фашистской диктатуры.

Гугенберг, Альфред (1865—1951)— германский монополист, председатель крайне правой Немецкой национальной народной партии; финансовой поддержкой способствовал приходу Гитлера к власти.

С. 369. *Карибский кризис*— международный кризис (1962), вызванный агрессивными действиями империализма США, направленными на удушение Кубинской революции. Большую роль в ликвидации кризиса сыграл Советский Союз.

...о свинстве в бухте Свиней...— 17 апреля 1961 г. в бухте Кочинос (от исп. cochinos— свиньи) пытались высадиться контрреволюционные банды, финансируемые США. Кубинский народ уничтожил агрессоров за 72 часа.

...о том, старом Рузвельте и его «Диких всадниках»— Речь идет о Теодоре Рузвельте (1858—1919), в то время морском министре США, создавшем из ковбоев в США добровольческую кавалерийскую дивизию для участия в испано-американской войне 1898 г. на Кубе.

...о первой республике на Кубе...— 20 мая 1902 г. Куба была провозглашена независимой республикой. Однако фактически превратилась в полуколонию США.

Каталаунские поля— равнина на северо-востоке Франции, где в июне 451 г. войска Западно-Римской империи в союзе с франками, вестготами, бургундами и др. разгромили гуннов во главе с Аттилой.

С. 377. *Готский альманах*— генеалогический и политический справочник, выходящий ежегодно с 1763 г. в городе Гота (Германия).

...в... зале дворца Цецилиенхоф в Потсдаме...— Дворец Цецилиенхоф в городе Потсдам (ГДР)— резиденция прусских королей; в 1945 г. здесь проходила конференция глав правительств СССР, США и Великобритании (Потсдамская конференция).

С. 378. *Готхельф и Фюрхтегот*— в буквальном переводе с немецкого «бог в помощь» и «побойся бога».

С. 381. *...дал... пинка кайзеровскому морскому офицеру...*— Имеется в виду Ноябрьская революция 1918 г., приведшая к свержению монархии и установлению республики (Веймарская республика).

Шоссештрассе— улица, где в 1918 г. происходили ожесточенные столкновения между революционными рабочими отрядами и императорскими гвардейцами.

...вступление в Судеты...— В результате Мюнхенского соглашения Великобритании и Франции с Гитлером и Муссолини (сент. 1938 г.) от Чехословакии была отторгнута и передана Германии Судетская область (окт. 1938 г.).

...под Хетштедтом он стрелял из маузера...— Имеются в виду мартовские бои 1921 г. немецких горнорабочих за свои права.

...в Нойкёльне... во Фридрихсхайне...— районы Берлина, где в 30-е гг. происходили столкновения рабочих со штурмовиками, получившие название «зальные побоища».

...в зале Колумбиахауза...— В Берлине, в районе Темпельгоф, находилось здание, называвшееся «Колумбиахауз», где штурмовики истязали антифашистов.

Зонненбург— один из первых концентрационных лагерей в фашистской Германии.

С. 386. *«Годы борьбы»*— так называли гитлеровцы годы до захвата власти.

...от... победы «пробудившейся немецкой нации»...— «Пробуждением немецкой нации» гитлеровцы называли победу Гитлера на выборах 5 марта 1933 г., так как одним из лозунгов Гитлера был лозунг «Германия, пробудись!». День выборов был объявлен национальным праздником и назван Днем пробуждения нации.

С. 390. *...о... гинденбургских свечах...*— Имеются в виду долго горящие свечи в жестяных или картонных стаканчиках, наполненных стеарином.

Шмен-де-Дам— шоссе во французском департаменте Эн, где в первую мировую войну (май 1917 г.) шли кровопролитные бои между немецкими и французскими войсками.

...о плане Шлиффена...— Шлиффен, Альфред фон (1839—1913)— германский генерал-фельдмаршал, теоретик молниеносной войны путем окружения главных сил противника.

С. 393. *...когда ежемесячно покупаете... синие свечи...*— Синие свечи продавались в гитлеровской Германии, средства от продажи шли в помощь так называемому «Союзу немцев, проживающих за границей»— националистической и реваншистской организации. Ее члены фактически были агентами гитлеровцев.

С. 394. *«Хрустальная ночь»*— организованный фашистами в Германии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. антисемитский погром.

С. 398. *...невзгоды... где нынче ваше жало... где ваша победа?* — Автор перефразирует библейское изречение: «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» (Книга пророка Осии, 13, 14).

С. 403. *...дослужился бы до фенриха...* — Фенрих — унтер-офицерское воинское звание в германской армии.

С. 411. *«На небесах в сиянье кротком...»* — строка из рождественского стихотворения Теодора Шторма (1817—1888).

С. 412. *...День труда.* — Гитлеровцы объявили 1 Мая Днем национального труда, стремясь лишить этот праздник его интернационального и революционного характера.

...тут и не пахло легендарной клятвой швейцарских кантонов... — Согласно легенде, в 1307 г. швейцарские кантоны Швиц, Ури и Унтервальден поклялись на горном плато Рютли сбросить иго Габсбургов.

С. 417. *...до подлодки капитан-лейтенанта Прина.* — Гитлеровский офицер Г. Прин проник на английскую военно-морскую базу в Скапа-Флоу, где потопил линкор «Ройял Ок» (1939).

С. 418. *«Трудовой фронт»* — официальная организация рабочих и служащих в фашистской Германии.

С. 423. *Бонифаций* (ок. 675—754) — церковный деятель, миссионер, добился полного подчинения папе римскому франкской церкви.

Кизеветтер Бонифаций — персонаж серии скабрезных анекдотов.

С. 427. *Шокке*, Генрих (1771—1848) — немецко-швейцарский писатель, драматург, историк. В романе «Приключения в новогоднюю ночь» высмеял дворцовые интриги и аристократию.

С. 428. *Фрейслер* — в фашистской Германии президент так называемой «народной судебной палаты», действовавшей совместно с гестапо.

...после двадцатого июля... — 20 июля 1944 г. полковник Клаус Штауффенберг совершил неудавшееся покушение на Гитлера.

С. 430. *«Без меня»* — девиз прогрессивных немцев, выступающих против ремилитаризации Западной Германии.

С. 439. *...на крылатом колесе...* — «Крылатое колесо» — эмблема государственных железных дорог в Германии до второй мировой войны и в ГДР.

С. 445. *ПЛАМАГ* — Плауенский машиностроительный завод.

Хензельман, Герман (р. в 1905 г.) — главный архитектор и руководитель экспериментальной лаборатории Института градостроительства и архитектуры в Берлине.

«Культур им хейм» — журнал ГДР по вопросам ведения домашнего хозяйства, благоустройства квартир и т. д.

Барцель, Рейнер (р. в 1924 г.) — западногерманский политический деятель, воинствующий антикоммунист и реваншист.

С. 463. *«Арбайтер иллюстрирте цайтунг»* (АИЦ) — рабочая иллюстрированная газета немецкоязычных стран (1925—1933), имевшая большое политическое влияние и отличавшаяся высоким литературным уровнем; в ней сотрудничали И. Р. Бехер, Э. Вайнерт, В. Бредель, Э. Э. Киш, М. Горький, И. Эренбург, А. Барбюс, Р. Роллан, А. Зегерс. В 1933—1938 гг. газета издавалась в Праге.

Архипенко, Александр (1887—1964) — один из основоположников кубизма в скульптуре, представитель абстрактной пластики. С 1908 г. жил и работал за границей.

«отец гимнастики» Ян. — Ян, Фридрих Людвиг (1778—1852) был первым организатором спортивных занятий в школах.

С. 464. *...со столярами во главе государства...* — Речь идет о Вильгельме Пике (1876—1960), крупном деятеле германского и международного коммунистического движения. Был первым президентом ГДР.

С. 472. *...молодой человек из Гютерсло...* — Имеется в виду Рольф Хоххут (р. в 1931 г.), западногерманский писатель, драматург, живет в Швейцарии. Наиболее известна его драма «Наместник».

С. 483. *Макао* (китайское название — Аомынь) — территория в Восточной Азии, на побережье Южно-Китайского моря. Аомынь — торговый порт, финансовый центр, известен многочисленными казино, ночными клубами, опиокурильнями, а также тайной торговлей золотом, наркотиками.

С. 484. *Ага-хан* — титул имама мусульманской секты исмаилитов. Здесь имеется в виду Маулана Шах Карим аль-Низаини, ставший имамом в 1958 г.

Арденне, Манфред фон (р. в 1907 г.) — физик, известен изобретениями в области электронной физики. С 1955 г. руководит научно-исследовательским институтом в Дрездене. Лауреат Государственной премии Советского Союза.

С. 488. *«В Берлин, в Берлин знамена синие...»* — строка из стихотворения «Песня синих знамен» И. Р. Бехера.

С. 496. *Пол Кукольник* — герой одноименного рассказа Т. Шторма.

С. 500. *...щиты на Фридрихштрассе...* — На Фридрихштрассе, на границе секторов, стояли щиты с текстом: «Вы покидаете советский сектор Большого Берлина» и «Вы вступаете в американский сектор Большого Берлина».

С. 503. *...значок «Жертва фашизма»* — вручается людям, подвергавшимся преследованиям гестапо, СС и других преступных организаций гитлеровской Германии в Советском Союзе, Польше, Германии, Франции и других странах. Ежегодно в сентябре отмечается День памяти жертв фашизма.

С. 504. *Кассиус Клей* — американский боксер, чемпион мира среди тяжеловесов-профессионалов.

С. 506. *Ванцка-мечтатель* — герой романа писателя ГДР А. Вельма (р. в 1927 г.) «Ванцка уходит на пенсию».

Гаусс, Карл Фридрих (1777—1855) — немецкий ученый, математик и астроном. Иностранный член-корреспондент (1802) и иностранный почетный член (1824) Петербургской Академии наук.

«То было мрачной порой ноября»... — строка из поэмы Г. Гейне «Германия. (Зимняя сказка)».

С. 508. *Палукка, Грет* (р. в 1902 г.) — известная танцовщица и педагог. В 1925 г. основала школу танца в Дрездене, закрытую фашистским правительством — и вновь открытую в 1945 г.

С. 509. *Труднее всего приходилось с Карлом.* — Речь идет о Карле Либкнехте.

...нагрянули «синие». — У полицейских в Веймарской республике была синяя форма.

С. 510. *...остерегались «черных»...* — то есть эсэсовцев.

С. 511. *Дрейзе,* Иоганн Николаус (1787—1867) — военный промышленник, в 1827 г. начал производство игольчатых ружей — ружей с нарезами в канале ствола, заряжавшихся с казенной части бумажным патроном.

С. 529. *«Имперское земельное сословие»* — официальная организация крестьянства в фашистской Германии.

Герман Лёнс (1866—1914) — немецкий писатель, ему принадлежат рассказы о животных, охотничьи рассказы, известностью пользовались его стихи и роман «Вервольф» (1910). В его произведениях заметны националистические тенденции.

«Германская имперская партия» — партия, созданная после 1945 г., ее основатель — майор Ремер, командир фашистского полка охраны, расстрелявшего участников заговора 20 июля 1944 г. Запрещена в конце 50-х гг.

Билли Грэхем — американский проповедник, собирал тысячные толпы на площадях. За свою манеру произносить проповеди прозван «Божий пулемет».

Карло Шмид — один из лидеров правого крыла Социал-демократической партии Германии в первые годы после второй мировой войны и образования ФРГ.

С. 531. *...попал в толпу роммелевских «лис пустыни»...* — Гитлеровский генерал Роммель, командующий Африканским корпусом, был прозван «лисой пустыни», отсюда и прозвище его солдат.

С. 534. *АДН* (Альгемайнер Дойчер Нахрихтендинст) — информационное агентство ГДР, основано в 1946 г.

С. 539. *«Панков в Бангкоке».* — Панков — район в Берлине, где после 1945 г. жили члены партийного руководства КПГ, после 1949 г. там была резиденция президента ГДР Вильгельма Пика.

С. 540. *Зуттнер,* Берта (1843—1914) — австрийская писательница, один из организаторов пацифистского движения, в 1889 г. опубликовала роман «Долой оружие», получивший широкий общественный резонанс, а в 1892—1899 гг. издавала журнал «Долой оружие!». Лауреат Нобелевской премии мира.

С. 543. *Мур,* Генри (р. в 1898 г.) — английский скульптор, автор скульптуры «Женщина» перед зданием ЮНЕСКО.

С. 554. *Olla podrida* (*исп.*) — похлебка, приготовленная из ветчины, яиц и разных приправ.

Пикар, Огюст (1884—1962) — швейцарский физик. На батискафах собственной конструкции опускался на глубину 1380 м и 3160 м.

Зеленая революция— термин, появившийся в 60-х гг. в связи с внедрением новых высокоурожайных сортов зерновых культур во многих странах.

ЭДС— электродвижущая сила.

С. 626. *Ширах*, Бальдур (р. в 1907 г.)— руководитель нацистской молодежи в Гитлеровской Германии, в 1940—1945 гг. гауляйтер и наместник в Вене. Осужден Международным трибуналом в Нюрнберге.

С. 628. *...бросить командный пост на Кубе...*— Имеется в виду Гевара (Гевара де ла Серна), Эрнесто (Че) (1928—1967)— латиноамериканский революционер, участник Кубинской революции. Был президентом Национального банка и министром национальной промышленности. В 1965 г. уехал с Кубы для участия в революционном движении народов Латинской Америки. В 1966—1967 гг. руководил партизанским движением в Боливии; захвачен в плен и убит.

С. 633. *...писатель из Фридрихсхагена...*— Имеется в виду Иоганнес Бобровский (1917—1965), живший в Фридрихсхагене, предместье Берлина.

С. 639. *Рейтер*, Фриц (1810—1874)— немецкий писатель. В юмористических повестях и романах реалистически показал провинциальный быт.

Фосс, Иоганн Генрих (1751—1826)— немецкий писатель эпохи Просвещения, выразитель республиканских идеалов. Его лирика отличалась политической окраской, а его идиллии— социально-критическими мотивами.

Гумпердинк, Энгельберт (1854—1921)— немецкий композитор. Разработал на основе вагнеровской музыкальной драмы, однако все более избавляясь от ее влияния, народно-песенный оперный стиль. Прославился операми «Гензель и Гретель» (1893) и «Королевские дети» (1908).

С. 643. *Клейст*, Генрих фон (1771—1811)— немецкий писатель.

Хеббель, Кристиан Фридрих (1813—1963)— немецкий драматург и теоретик драмы. Пессимистически-метафизическое понимание истории вело к абсолютизации им противоречий буржуазной действительности, отсюда изображение в его трагедиях «извечной» борьбы гуманистического героя с миром.

...принц Гомбургский— герой драмы Г. Клейста «Принц Фридрих Гомбургский».

С. 645. *Вальдерзее*, Альфред фон (1832—1904)— генерал-фельдмаршал, заместитель Мольтке, его преемник на посту начальника генерального штаба.

С. 651. *Марсово поле в Нюрнберге*— один из стадионов в Нюрнберге, где с 1933 по 1938 г. проводились съезды (партайтаги) национал-социалистской партии.

С. 656. *Эрих в Хазенхейде...*— Имеется в виду писатель Эрих Вайнерт, который до 1933 г. выступал в местах отдыха рабочих.

С. 658. *Хаан*, Отто (1879—1968)— немецкий радиохимик (ФРГ). Открыл протактиний (совместно с Л. Майтнер), ядерную изомерию у естественных радиоактивных элементов, деление ядер урана под действием нейтронов (совместно с Ф. Штрасманом). Лауреат Нобелевской премии (1944).

Шварц, Бертольд— по неподтвержденным данным, францисканский монах, живший ок. 1360 г. во Фрейбурге, один из первых изобретателей пороха.

«Spirit of St. Louis»— «Душа Сент-Луиса», так назывался самолет американского летчика Ч. Линдберга, на котором он в 1927 г. впервые в мире совершил перелет через Атлантический океан.

СОДЕРЖАНИЕ

В. Девекин. В дополнение к анкете 5

Актовый зал. *Перевод И. Каринцевой и А. Исаевой* 25

Выходные данные. *Перевод И. Каринцевой* 355

И. Каринцева. Примечания 705

ГЕРМАН КАНТ

АКТОВЫЙ ЗАЛ

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ИБ № 3068

Редакторы *И. Н. Марченко, Р. П. Грецкая*
Художник *В. Г. Алексеев*
Художественный редактор *А. П. Купцов*
Технический редактор *О. Ю. Коган*
Корректоры *В. М. Лебедева, Р. Х. Пунга*

Сдано в набор 4.04.86 г. Подписано в печать 8.12.86. Формат 60×84 $^{1}/_{16}$. Бумага офсетная. Гарнитура Баскервиль. Печать офсетная. Условн. печ. л. 41,85. Усл. кр.-отт. 41,85. Уч.-изд. л. 46,32. Доп. тираж 100 000 экз. Заказ № 2393. Цена 5 р. Изд. № 2764.

Издательство «Радуга» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» им. А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28.